

БЕНЕДИКТ
САРНОВ

БЕНЕДИКТ
САРНОВ

СТАЛИН

СТАЛИН

И
ПИСАТЕЛИ

И
ПИСАТЕЛИ

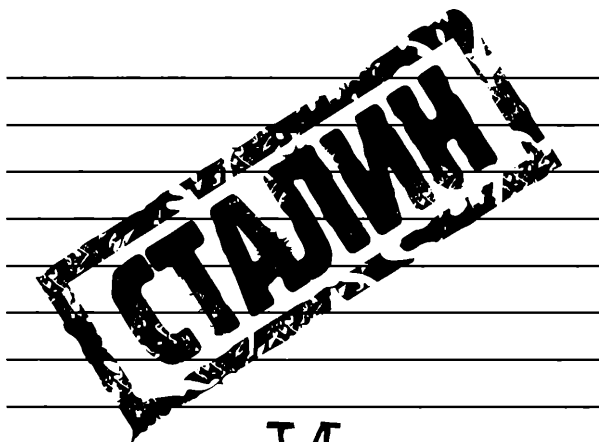
КНИГА
ЧЕТВЕРТАЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ



ДИАЛОГИ О КУЛЬТУРЕ

БЕНЕДИКТ
САРНОВ



И

ПИСАТЕЛИ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ



ЭКСМО

МОСКВА

2011

УДК 8-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
С 20

Оформление серии *Евгения Савченко*

Сарнов Б. М.

С 20 Сталин и писатели. Кн. четвертая / Бенедикт Сарнов. – М. : Эксмо, 2011. – 1184 с. – (Сталин и писатели).

ISBN 978-5-699-47622-0

Четвертый том книги Бенедикта Сарнова «Сталин и писатели» по замыслу автора должен стать завершающим. Он состоит из четырех глав: «Сталин и Бабель», «Сталин и Фадеев», «Сталин и Эрдман» и «Сталин и Симонов».

Два героя этой книги, уже не раз появлявшиеся на ее страницах, – Фадеев и Симонов, – в отличие от всех других ее персонажей, были сталинскими любимцами. В этом томе им посвящены две большие главы, в которых подробно рассказывается о том, чем обернулась для каждого из них эта сталинская любовь.

Заключает том короткое авторское послесловие, подводящее итог всей книге, всем ее четырем томам.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-699-47622-0

© Б. Сарнов, 2011
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2011

СТАЛИН
И БАБЕЛЬ

ДОКУМЕНТЫ

1

С.М. БУДЕННЫЙ БАБИЗМ БАБЕЛЯ ИЗ «КРАСНОЙ НОВИ»

«Октябрь», 1924 г., № 3

Под громким, явно спекулятивным названием «Из книги Конармия» незадачливый автор попытался изобразить быт, уклад и традиции 1-й Конной Армии в страдную пору ее героической борьбы на польском и других фронтах.

Для того, чтобы описать героическую, небывалую еще в истории человечества борьбу классов, нужно прежде всего понимать сущность этой борьбы и природу классов, т. е. быть диалектиком, быть марксистом-художником.

Ни того, ни другого у автора нет.

Поэтому для него неважно, как и почему и за что сражалась, будучи величайшим оружием классовой борьбы, 1-я Конная Армия. Несмотря на то, что автор находился в рядах славной Конной Армии, хотя и в тылу, он не заметил, и это прошло мимо его ушей, глаз и понимания, ни ее героической борьбы, ни ее страшных нечеловеческих страданий и лишений. Будучи от

природы мелкотравчатым и идеологически чуждым нам, он не заметил ее гигантского размаха и борьбы.

Гражданин Бабель рассказывает нам про Красную Армию бабьи сплетни, роется в бабьем барахле-белье, с ужасом по-бабьи рассказывает о том, что голодный красноармеец где-то взял буханку хлеба и курицу; выдумывает небылицы, обливает грязью лучших командиров-коммунистов, фантазирует и просто лжет.

Громкое название автору, очевидно, понадобилось на то, чтобы ошеломить читателя, заставить его поверить в старые сказки, что наша революция делалась не классом, выросшим до понимания своих классовых интересов и непосредственной борьбой за власть, а кучкой бандитов, грабителей, разбойников и проституток, насильно и нахально захвативших эту власть.

Это старая песенка господ Сувориных, Милюковых, Деникиных и пр., которые в свое время до хрипоты кричали, писали и шипели по поводу грубо-оголтелого, вонючего, ненавистного им мужичья, но которые поняли глупость и перестали.

Меня это не удивляет, меня удивляет то, что как мог наш советский худ.-публицистический журнал, с ответственным редактором-коммунистом во главе, в 1924 г. у нас в СССР допускать пять подобные песни, не проверив их идеологического смысла и исторически-правильного содержания.

Гр. Бабель не мог видеть величайших сотрясений классовой борьбы, она ему была чужда, но зато он видит со страстью садиста трясущиеся груди выдуманной им казачки, голые ляжки и т. д. Он смотрит на мир, «как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы».

Да, с таким воображением ничего другого, кроме клеветы на Конармию, не напишешь.

Для нас все это не ново. Эта старая, гнилая, дегенеративная интеллигенция грязна и развратна. Ее яркие представители: Куприн, Арцыбашев (Санин) и другие — естественным образом очутились по ту сторону баррикады, а вот Бабель, оставшийся благодаря ли своей трусости или случайным обстоятельствам здесь, рассказывает нам ста-

рый бред, который переломился через призму его садизма и дегенерации, и нагло называет это «Из книги Конармия».

Неужели т. Воронский так любит эти вонючие бабье-бабелевские пикантности, что позволяет печатать безответственные небылицы в столь ответственном журнале; не говорю уже о том, что т. Воронскому отнюдь не безизвестны фамилии тех, кого дегенерат от литературы Бабель оплевывает художественной слюной классовой ненависти.

2

ИЗ ПИСЬМА СТАЛИНА КАГАНОВИЧУ

7 июня 1932 г.

В «Новом Мире» печатается новый роман Шолохова «Поднятая целина»... Видно, Шолохов изучил колхозное дело на Дону... он — писатель глубоко добросовестный, пишет о вещах, хорошо известных ему. Не то что «наш» вертлявый Бабель, который то и дело пишет о вещах, ему совершенно не известных (например, «Конная армия»).

3

ИЗ ПИСЬМА КАГАНОВИЧА СТАЛИНУ

23 июня 1932 г.

М. Горький обратился в ЦК с просьбой разрешить Бабелю выехать за границу на короткий срок. Несмотря на то, что я передал, что мы сомневаемся в целесообразности этого, от него мне звонят каждый день. Видимо, Горький это принимает с некоторой остротой. Зная, что Вы в таких случаях относитесь с особой чуткостью к нему, я Вам об этом сообщаю и спрашиваю, как быть. Л. Каганович.

(Сталин и Каганович. Переписка. 1931—1936 гг. М., 2001. Стр. 189).

4

ИЗ ПИСЬМА СТАЛИНА
КАГАНОВИЧУ*26 июня 1932 г.*

По-моему, Бабель не стоит того, чтобы тратить валюту на его поездку за границу. И. Ст.

(Там же. Стр. 198).

5

ПИСЬМО И.Э. БАБЕЛЯ СЕКРЕТАРЮ
ЦК ВКП(б) А.М. КАГАНОВИЧУ*Москва, 27 июня 1932 г.*

Дорогой т. Каганович.

Через несколько дней моей жене должны сделать в Париже операцию частичного удаления щитовидной железы. Выехала она за границу, принужденная к этому тяжело сложившимися семейными нашими обстоятельствами; теперь острота этих обстоятельств миновала. Мой долг — присутствовать при ее операции и затем увезти ее и ребенка (трехлетняя дочь, которую я еще не видел) в Москву. Я чувствую себя ответственным за две жизни. Постоянная душевная тревога, в которой я нахожусь, привела меня к состоянию, граничащему с отчаянием. Я не могу работать, не могу привести к окончанию начатые работы (в их числе — пьеса, которую надо сдать в театр не позже августа, роман о пеглюровщине и др.), труд нескольких лет находится под угрозой. Я прошу вас помочь мне в скорейшем получении заграничного паспорта.

Ваш И. Бабель

6

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СЕКРЕТАРИАТА ЦК КП(б) О РАЗРЕШЕНИИ
ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ И.Э. БАБЕЛЮ

Не ранее 27 июня 1932 г.

Просьба писателя И. Бабеля разрешить ему поездку во Францию сроком на 1,5 месяца.

Разрешить поездку писателю И. Бабелю во Францию сроком на 1,5 месяца.

На бланке постановления Секретариата ЦК ВКП(б) имеются следующие резолюции: «А. Стецкий», «За. Л. Каганович». И поперек их подписей — «Решительно против. И. Сталин».

7

ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ВОЕННОЙ
КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР

26 января 1940 г., Москва

Совершенно секретно. Отп. 1 экз.

Председательствующий — Армвоенюрист В.В. Ульрих.
Члены: Бригвоенюристы: Кандыбин Д.Я. и Дмитриев Л.Д.
Секретарь — военный юрист 2 ранга Н.В. Козлов

Председательствующий объявил о том, что подлежит рассмотрению дело по обвинению Бабеля Исаака Эммануиловича в преступлениях, предусмотренных ст. ст. 58-1а, 58-8 и 58-11 УК РСФСР.

Председательствующий удостоверяется в личности подсудимого и спрашивает его, получил ли он копию обвинительного заключения и ознакомился ли с ней.

Подсудимый ответил, что копия обвинительного заключения им получена и он с ней ознакомился. Обвинение ему понятно.

Председательствующим объявлен состав суда.

Отвода составу суда не заявлено.

Подсудимый ходатайствует о вторичном ознакомлении дела, допуске защиты и вызове свидетелей, согласно поданного им заявления.

Суд, совещаясь на месте, определил: ходатайство подсудимого Бабеля, как необоснованное о допуске защиты и вызове свидетелей — отклонить, т. к. дело слушается в порядке закона от 1/XII-34 г.

Председательствующий спросил подсудимого, признает ли он себя виновным.

Подсудимый ответил, что виновным себя не признает, свои показания отрицает. В прошлом у него имелись встречи с троцкистами Сувариным и др.

Оглашаются выдержки из показаний подсудимого об его высказываниях по поводу процесса Якира, Радека, Тухачевского.

Подсудимый заявил, что эти показания не верны. Воронский был сослан в 1930 г., и он с ним с 1928 г. не встречался. С Якиром он никогда не встречался, за исключением 5-минутного разговора по вопросу написания произведения о 45-й дивизии.

За границей он был в Брюсселе у матери, в Сорренто у Горького. Мать жила у сестры, которая уехала туда с 1926 г. Сестра имела жениха в Брюсселе с 1916 г., а затем уехала туда и вышла замуж в 1925 г. Суварина он встречал в Париже в 1935 г.

Оглашаются выдержки из показаний подсудимого о его встрече с Сувариным и рассказе его ему о судьбах Радека, Раковского и др. Подсудимый заявил, что он раньше дружил с художником Анненковым, которого он навестил в Париже в 1932 г., и там встретил Суварина, которого он раньше не знал. О враждебной позиции к Сов. Союзу он в то время не знал. В Париже в тот раз он пробыл месяц. Затем был в Париже в 1935 г. С Мальро он встретился в 1935 г., но последний его не вербовал в разведку, а имел с ним разговоры о литературе в СССР.

Показания в этой части не верны. С Мальро он познакомился через Ваньяна Кутюрье, и Мальро являлся другом СССР, принимавшим большое участие в переводе его произведений на французский язык. Об авиации он мог сказать Мальро только то, что он знал из газеты «Правда», но никаких попыток Мальро к широким познаниям об авиации СССР не было.

Свои показания в части шпионажа в пользу французской разведки он категорически отрицает. С Бруно Штайнер он жил по соседству в гостинице и затем в квартире. Штайнер — быв. военнопленный и являлся другом Сейфуллиной А.Н. Штайнер его с Фишером не связывал по шпионской линии.

Террористических разговоров с Ежовой у него никогда не было, а о подготовке теракта Беталом Калмыковым в Нальчике против Сталина он слышал в Союзе советских писателей. О подготовке Косаревым убийства Сталина и Ворошилова — эта версия им придумана просто. Ежова работала в редакции «СССР на стройке», и он был с ней знаком.

Оглашаются выдержки из показаний подсудимого в части подготовки терактов против руководителей партии и правительства со стороны Косарева и подготовке им группы из Коновалова и Файрович.

Подсудимый ответил, что это все он категорически отрицает. На квартире Ежовой он бывал, где встречался с Гликиной, Урицким и некоторыми другими лицами, но никогда а/с разговоров не было.

Больше дополнить судебное следствие ничем не имеет.

Председательствующий объявил судебное следствие законченным и предоставил подсудимому последнее слово.

В своем последнем слове подсудимый Бабель заявил, что в 1916 г. он попал к М. Горькому, когда он написал свое произведение. Затем был участником гражданской войны. В 1921 г. снова начал свою писательскую деятельность. Последнее время он усиленно работал над одним произведением, которое им было закончено в черновом виде к концу 1938 г.

Он не признает себя виновным, т. к. шпионом он не был. Никогда ни одного действия он не допускал против Советского Союза и в своих показаниях он возвел на себя клевету. Просит дать ему возможность закончить его последнее литературное произведение.

Суд удалился на совещание. По возвращении с совещания председательствующий огласил приговор.

Председательствующий В. Ульрих.
Секретарь Н. Козлов.

8

ПРИГОВОР

Признавая виновным Бабеля в совершении им преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-1а, 8 и 11 УК РСФСР, Военная коллегия Верховного Суда СССР, руководствуясь ст. ст. 319 и 320 УПК РСФСР,

ПРИГОВОРИЛА:

Бабеля Исаака Эммануиловича подвергнуть высшей мере уголовного наказания — расстрелу с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный и на основании постановления ЦИК СССР от 1/XII-34 г. в исполнение приводится немедленно.

Сюжет первый

«Я ЕМУ НЕ ПОНРАВИЛСЯ...»

Этот устный рассказ Бабеля о его встрече с вождем я уже приводил однажды (в главе «Сталин и Шолохов»). Там, быть может, он был не так уж необходим. Но в этой главе мне без него не обойтись. Так что придется повторить.

Со Сталиным, — если верить этому его рассказу, — Исаак Эммануилович встретился у Горького, и именно он, Горький, был инициатором этой встречи.

Накануне он сказал Бабелю:

— Завтра у меня будет Сталин. Приходите. И постарайтесь ему понравиться. Вы хороший рассказчик... Расскажите что-нибудь... Я очень хочу, чтобы вы ему понравились. Это очень важно.

Бабель пришел.

Пили чай. Горький что-то говорил, Сталин молчал. Бабель тоже молчал. Тогда Горький осторожно кашлянул. Бабель намек понял и пустил первый пробный шар. Он сказал, что недавно был в Париже и виделся там с Шаляпиным. Увлекаясь все больше и больше, он заговорил о том, как

Шаляпин тоскует вдали от родины, как тяжело ему на чужбине, как тоскует он по России, как мечтает вернуться. Ему казалось, что он в ударе. Но Сталин не реагировал. Слышно было только, как звенит ложечка, которой он помешивал чай в своем стакане.

Наконец он заговорил.

— Вопрос о возвращении на родину народного артиста Шаляпина, — медленно сказал он, — будем решать не мы с вами, товарищ Бабель. Этот вопрос будет решать советский народ.

Поняв, что с первым рассказом он провалился, Бабель, выдержав небольшую паузу, решил зайти с другого боку. Стал рассказывать о Сибири, где был недавно. О том, как поразила его суровая красота края. О величественных сибирских реках...

Ему казалось, что рассказывает он хорошо. Но Сталин и тут не проявил интереса. Все так же звякала ложечка, которой он помешивал свой чай. И — молчание.

Замолчал и Бабель.

— Реки Сибири, товарищ Бабель, — так же медленно, словно пробуя на вес свои чугунные слова, заговорил Сталин, — как известно, текут с юга на север. И потому никакого народнохозяйственного значения не имеют...

Эту историю — тогда же, по горячим следам события, — будто бы рассказал одному моему знакомому сам Бабель. А закончил он этот свой рассказ так:

— Что вам сказать, мой дорогой? Я ему не понравился.

Вдова Бабеля Антонина Николаевна Пирожкова в своих воспоминаниях о муже прямо дает понять, что на самом деле Исаак Эммануилович со Сталиным никогда не встречался:

- Мне не раз приходилось слышать, что Бабель будто бы встречался у Горького со Сталиным, или же что он с Горьким ездил к Сталину в Кремль. Мне Бабель

никогда об этом не говорил. А вот придумать беседы со Сталиным и весело рассказать о них какому-нибудь доверенному человеку — это Бабель мог. Так, видимо, родились легенды о том, как Сталин, беседуя с Бабелем, предложил написать о себе роман, а Бабель будто бы сказал: «Подумаю, Иосиф Виссарионович», или о том, как Горький в присутствии Сталина якобы заставил Бабея, только что вернувшегося из Франции, рассказать о ней, как Бабель остроумно и весело рассказывал, а Сталин с безразличным выражением лица слушал и потом что-то произнес невпопад...

*(А. Пирожова. Семь лет с Исааком Бабелем.
Нью-Йорк., 2001. Стр. 57–58).*

Стало быть, всю эту историю о своей будто бы имевшей место встрече с вождем Бабель просто-напросто выдумал. Примерно так же, как Булгаков свои знаменитые устные рассказы, в которых Сталин будто бы приглашал его к себе в Кремль, одевал, обувал, звонил во МХАТ, приказывая немедленно поставить его пьесу, и даже жаловался: «Понимаешь, Миша, все кричат — гениальный, гениальный, а не с кем даже коньяку выпить!..» С той только разницей, что Булгаков, обнадеженный сталинским телефонным звонком и его репликой: «Надо бы встретиться, поговорить», рисовал эту неосуществившуюся свою встречу с генсеком хоть и не без иронии, но все-таки в самых радужных, идиллических тонах, а суровый и беспощадный реалист Бабель очень трезво представлял себе и весьма натурально изобразил, как бы протекала и чем бы закончилась такая встреча, если бы она действительно состоялась.

Встречи не было. И не было сталинского гробового молчания. И позвякивания ложечки о чайный стакан. И чутунных сталинских реплик. Но итог этой «невстречи», самая суть отношения к нему Сталина была Бабелем угадана с точностью прямо-таки поразительной.

Из недавно опубликованных документов, которых Бабель, разумеется, знать не мог, о самом существовании которых не мог даже и догадываться, мы узнали, что Сталин к Бабелю относился именно так, как это было отражено в том сочиненном, выдуманном бабелевском рассказе. Подчеркнуто отчужденно: «Не то что «наш» вертлявый Бабель». Пренебрежительно, чуть ли даже не брезгливо: «По-моему, Бабель не стоит того, чтобы тратить валюту на его поездку за границу». С нескрываемой, грубой и раздраженной неприязнью, особенно ясно проявившейся в его резолюции, начертанной поперек подписей готовых удовлетворить просьбу Бабеля членов Политбюро: «Решительно против. И. Сталин».

Оказалось, что при всей своей сочиненности, выдуманности, даже фантастичности этот бабелевский рассказ реальное положение дел отразил верно. Не только по сути, но даже и в деталях.

И Горький за Бабеля не только хлопотал, донимая Кагановича телефонными звонками. Он действительно очень хотел, чтобы Бабель Сталину понравился.

► ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО
И.В. СТАЛИНУ

Не ранее 7–10 марта 1936 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович,
сообщаю Вам впечатления, полученные мною от непосредственного знакомства с Мальро.

Я слышал о нем много хвалебных и солидно обоснованных отзывов Бабеля, которого считаю отлично понимающим людей и умнейшим из наших литераторов. Бабель знает Мальро не первый год и, живя в Париже, пристально следит за ростом значения Мальро во Франции. Бабель говорит, что с Мальро считаются министры и что среди современной интеллигенции

романских стран этот человек — наиболее крупная, талантливая, влиятельная фигура, к тому же обладающая и талантом организатора.

(Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917—1952. М., 2002. Стр. 300).

Видимо, уже не надеясь преодолеть устойчивую антипатию Сталина к «вертяльвому Бабелю», Горький пытается хотя бы внушить ему, что этот его подопечный — «умнейший из наших литераторов», «отлично понимающий людей», — человек нужный, на суждения которого можно положиться, и что он, Сталин, как рачительный хозяин, по крайней мере эти его качества не может не оценить и не использовать.

Забегая вперед, тут надо сказать, что эта горьковская характеристика Бабелю не помогла. Скорее — повредила. О близости Бабеля к Мальро, с которым «считаются министры», Сталин не забыл, и, надо полагать, не случайно, когда Бабель был арестован, на следствии из него особенно упорно выколачивали признания о его шпионских связях именно с этим «агентом мирового империализма».

► ИЗ ПРОТОКОЛОВ ДОПРОСА И.Э. БАБЕЛЯ

— Вы имели широкие встречи с иностранцами, среди которых было немало агентов иностранных держав. Неужели ни один из них не предпринимал попыток вербовки для шпионской работы?.. Предупреждаем вас, что при малейшей попытке с вашей стороны скрыть от следствия какой-либо факт своей вражеской работы вы будете немедленно изобличены в этом...

— В 1933-м, во время моей второй поездки в Париж, я был завербован для шпионской работы в пользу Франции писателем Андре Мальро...

— ...Где, когда вы установили шпионские связи?

— В 1933-м... Эренбург познакомил меня с Мальро... представив как одного из ярких представителей моло-

дой радикальной Франции. При неоднократных встречах со мной Эренбург рассказывал мне, что к голосу Мальро прислушиваются деятели самых различных правящих групп, причем влияние его с годами будет расти...

За границей живет почти вся моя семья. Моя мать и сестра проживают в Брюсселе, а десятилетняя дочь и первая жена — в Париже. И я поэтому рассчитывал рано или поздно переехать во Францию, о чем говорил Мальро. Мальро при этом заявил, что в любую минуту готов оказать нужную мне помощь, в частности, обещал устроить перевод моих сочинений на французский язык. Мальро далее заявил, что он располагает широкими связями в правящих кругах Франции, назвав мне в качестве своих ближайших друзей Даладье, Блюма и Эррио. До этого разговора Эренбург мне говорил, что появление Мальро в любом французском министерстве означает, что всякая его просьба будет выполнена. Дружбу с Мальро я ценил высоко, поэтому благоприятно отнесся к его предложению о взаимной связи и поддержке, после чего мы попрощались. В одну из последних моих встреч с Мальро он уже перевел разговор на деловые рельсы, заявив, что объединение одинаково мыслящих и чувствующих людей, какими мы являемся, важно и полезно для дела мира и культуры.

— Какое содержание вкладывал Мальро в его понятие «дела мира и культуры»?

— Мальро, говоря об общих для нас интересах мира и культуры, имел в виду мою шпионскую работу в пользу Франции...

— Уточните характер шпионской информации, в получении которой был заинтересован Мальро...

*(В. Шенталинский. Рабы свободы.
В литературных архивах КГБ.
М., 2009. Стр. 43–45).*

И в самом страшном сне не могло Горькому присниться, чем обернется для Бабеля его письмо Сталину. Между тем совершенно очевидно, что все эти навязанные Бабелю и выбитые из него признания, как колос из зерна, растут именно из того горьковского письма. В кривом зеркале этого протокола отразилась и реплика Горького о том, что «Бабель знает Мальро не первый год и, живя в Париже, пристально следит за ростом значения Мальро во Франции», и фраза его — опять-таки с ссылкой на Бабеля, — что «с Мальро считаются министры», и даже указание на то, что помимо своего литературного дарования Мальро обладает еще и «талантом организатора». (В интерпретации следователя — умелого и опытного вербовщика.)

* * *

Горький такой поворот событий предвидеть, конечно, не мог. Но кое-что он, наверно, все-таки чувствовал.

В устном рассказе Бабеля он говорит:

— Я очень хочу, чтобы вы ему понравились. Это очень важно.

Почему это «очень важно», гадать не приходится. Потому что от того, понравится Бабель Сталину или не понравится, зависит многое. Может быть, самая его жизнь.

Бабель понимал, что Горький за него боится. И понимал, чего именно он опасается, от чего хочет его обезопасить.

- ▶ Как-то, возвратившись от Горького, Бабель рассказал:
 - Случайно задержался и остался наедине с Ягодой. Чтобы прервать наступившее тягостное молчание, я спросил его: «Генрих Григорьевич, скажите, как надо себя вести, если попадешь к вам в лапы?» Тот живо ответил: «Все отрицать, какие бы обвинения мы не предъявляли, говорить «нет», только «нет», все отрицать — тогда мы бессильны».

(А. Пирожкова. Семь лет с Исааком Бабелем. Стр. 57).

Времена были еще вегетарианские. В более поздние (при Ежове, при Берии), если уж ты попадал к ним в лапы, — отрицай не отрицай, — ничего тебе уже не поможет. Но и в те вегетарианские времена — не так уж они были бессильны.

Интересен в этом диалоге, однако, не столько ответ Ягоды, сколько самый вопрос Бабеля. Просто так, ни с того ни с сего такие вопросы не задаются. Значит, появлялись у него такие мысли.

Поэтому от просьбы Горького он не отмахнулся и честно — изо всех сил — старался Сталину понравиться. Но все эти его попытки разбились о каменную стену сталинской антипатии.

Так было не только в этом — выдуманном — его рассказе.

В жизни — во всяком случае, однажды — он тоже предпринял такую попытку:

► ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ И.Э. БАБЕЛЯ
НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

23 августа 1934 г.

Говоря о слове, я хочу сказать о человеке, который со словом профессионально не соприкасается: посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованы его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры. Я не говорю, что всем нужно писать, как Сталин, но работать, как Сталин, над словом нам надо. (*Аплодисменты*).

(*Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. Стр. 279*).

Ничего хорошего из этой его попытки, как мы знаем, не вышло. Так же как из таких же, — и даже еще более изощренных — попыток других ораторов.

Для наглядности приведу небольшой фрагмент из выступления поднявшегося на съездовскую трибуну вслед за Бабелем А.Я. Аросева:

- ...классики мировой литературы дали героев своего времени в законченном виде. Наша литература в этом отношении, конечно, весьма отстала...

Нехватка современных типов в литературе почувствована вождем нашей партии т. Сталиным. Вы знаете, на XVII съезде т. Сталин дал нам фигуры двух типов: зазнавшегося вельможи и честного болтуна. Сама форма, в которой т. Сталин изложил это, высоко художественна, в особенности там, где речь идет о болтуне. Там дан высокой ценности художественный диалог.

И если предыдущий оратор, т. Бабель, говорил о том, что мы должны учиться, как обращаться со словом, у т. Сталина, то я поправил бы его: учиться так художественно подмечать новые типы, как это сделал т. Сталин.

Разве выступление вождя партии, лучшего друга и руководителя нашей литературы, не является прямым политико-творческим советом и указанием для нас?

(Там же. Стр. 280).

«Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости осанку благородства», — вздохнул Пушкин. Но он же сказал, что еще и не так заговоришь, «как дело до петли доходит». А тем более — до пыточного застенка:

И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла.

В 1934 году, когда шел первый писательский съезд, до петли и до пыток дело еще не дошло. Но что-то такое, видать, уже носилось в воздухе.

Бабелю, как мы знаем, эта его попытка «понравиться Сталину» не помогла. Не помогла она и Аросеву: его Сталин уничтожил в 1938-м, на два года раньше, чем руки у него дошли до Бабеля.

- АРОСЕВ, Александр Яковлевич (25.V.1890, Казань — 1938) — рус. сов., парт. и гос. деятель, писатель. Чл. Коммунистич. партии с 1907. Род. в бурж. семье. Окончил Казанское реальное училище в 1908-м, в 1909—1911 гг. учился в Льеже на ф-те философии и лит-ры. Участник революц. движения с 1905 г., неоднократно подвергался репрессиям. В марте 1917 г. избран в Твери пред. Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В период Октябрьской революции — член моск. Военно-революц. комитета и командующий войсками Моск. воен. округа. В 1920 г. — пред. Верховного революц. трибунала на Украине. Полпред СССР в Литве и в Чехословакии. С 1934 г. А. — пред. Всесоюзного общества культурной связи с заграницей.

*(Краткая литературная энциклопедия.
Т. 1. М., 1962. Стр. 323).*

Эта краткая биографическая справка с исчерпывающей ясностью объясняет, почему А.Я. Аросев попал в кровавую мясорубку 37-го года. При такой биографии он не мог в нее не попасть. Этой сталинской «кадровой революцией» последовательно и целенаправленно уничтожался весь слой старой, ленинской партийной номенклатуры.

Бабель к этому слою не принадлежал. С ним Сталин расправился, так сказать, в индивидуальном порядке.

* * *

Одна моя знакомая, хорошо знавшая Бабеля, рассказала.

— Двух вещей в жизни мне уже не дано будет испытать, — сказал он ей однажды. — Я никогда не буду рожать и никогда не буду сидеть в тюрьме.

— Ох, Исаак Эммануилович! От сумы и от тюрьмы... — напомнила она.

— Ну что вы, — усмехнулся он. — При моих-то связях...

Что это было? Бравада? Желание отмахнуться от мрачных предчувствий? Неудачная шутка?

Но примерно в том же смысле Бабель высказался однажды не в шуточном, а вполне серьезном разговоре.

- ▶ ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ПЕРВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР
О НАСТРОЕНИЯХ И.Э. БАБЕЛЯ
В СВЯЗИ С АРЕСТАМИ БЫВШИХ
ОППОЗИЦИОНЕРОВ

5 июля 1936 г.

27.VI

Пирожкова рассказывает, что спросила Бабеля: «А Вас не могут арестовать?» На это Бабель ей ответил: «При жизни старика (Горького) это было невозможно. А теперь это все же затруднительно».

(*Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917–1953. М., 2002. Стр. 317*).

На самом деле не так уж это было и затруднительно. А случись это год спустя, в разгаре Большого террора, который в народе называли *ежовщиной*, – никто бы даже и не поморщился.

Но беспечная бабелевская фраза («Ну что вы, при моих-то связях») была произнесена не год, а три года спустя, когда пик Большого террора был уже пройден, и Бабеля вполне могло казаться, что чаша сия его уже миновала. Тем более что в доме того, с чьим именем сопрягался весь этот кровавый разгул, он в то время был, можно сказать, своим человеком.

С женой Ежова, Евгенией Хаяутиной, Бабель был коротко знаком еще со времен своей одесской юности. Во всяком случае, он узнал ее задолго до того, как она стала женой железного сталинского наркома. Дама была любвеобильная, и

дружба ее с Бабелем, как и со многими другими постоянными гостями ее литературного салона, была отнюдь не платонической. Но не это влекло его в тот страшный дом. Не хозяйка салона, а хозяин интересовал его. С острым интересом вглядывался он в этого кровавого карлика, стараясь понять механизм Большого террора.

Многие считали тогда — а кое-кто так полагает и сегодня, — что именно это любопытство Бабеля и стало причиной его гибели.

- ▶ Что тянуло Бабеля в дом Ежова, куда он летел, как бабочка на огонь? Прежде всего профессиональный интерес писателя. Известно, что он долгое время работал над книгой о ЧК: собирал материалы, беседовал с видными чекистами, рассказы их слушал с жадностью, что-то заносил в свою записную книжку. Ходили даже слухи, что его «роман о ЧК» был отпечатан в нескольких экземплярах для Сталина и членов Политбюро и не получил одобрения. Скорее всего это легенда, но не случайная, нет дыма без огня.

Илья Эренбург пишет в своих мемуарах, что его друг понимал всю опасность этих визитов, но хотел, как сам говорил, «разгадать загадку». Однажды он сказал Эренбургу:

— Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем...

Писатель хотел поймать «момент истины». Неужели нужен был лубянский застеночек, чтобы пришел этот момент?!

*(В. Шенталинский. Рабы свободы.
В литературных архивах КГБ. Стр. 68).*

Итак, Ежов пал, и среди тех, кого он увлек своим падением в бездну ГУЛАГа, оказался и Бабель. Какие тут еще нужны объяснения? Все ясно.

Отчасти так оно и было. Об этом как будто свидетельствуют и протоколы самых первых допросов Бабея:

- ▶ — Следствию известно о вашей близости и шпионской связи с английской разведчицей Евгенией Хаютиной-Ежовой. Не пытайтесь скрывать от нас факты, дайте правдивые показания о ваших отношениях с Ежовой.

— С Евгенией Ежовой, которая тогда называлась Гладун, я познакомился в 1927 году в Берлине, где останавливался проездом в Париж. Гладун работала машинисткой в торгпредстве СССР в Германии. В первый же день приезда я зашел в торгпредство, где встретил Ионова, знакомого мне еще по Москве. Ионов пригласил меня вечером зайти к нему на квартиру. Там я познакомился с Гладун, которая, как я помню, встретила меня словами: «Вы меня не знаете, но вас я хорошо знаю. Видела вас как-то раз на встрече Нового года в московском ресторане».

Вечеринка у Ионова сопровождалась изрядной выпивкой, после которой я пригласил Гладун покататься по городу в такси. Гладун охотно согласилась. В машине я убедил ее зайти ко мне в гостиницу.

В этих меблированных комнатах произошло мое сближение с Гладун, после чего я продолжал с ней интимную связь вплоть до дня своего отъезда из Берлина...

В конце 1928 года Гладун уже жила в Москве, где поступила на работу в качестве машинистки в «Крестьянскую газету», редактируемую С. Урицким. По приезде в Москву я возобновил интимные отношения с Гладун, которая устроила мне комнату за городом, в Кусково... — Мне ничего не известно о шпионской связи Гладун-Ежовой... В смысле политическом Гладун была в то время типичной «душечкой», говорила с чужих слов и цеголяла всей троцкистской терминологией... Во второй половине 1929 года наша интимная связь пре-

кратилась, я потерял Гладун из виду. Через некоторое время я узнал, что она вышла замуж за ответственного работника Наркомата земледелия Ежова и поселилась с ним на квартире по Страстному бульвару.

Познакомился я с Ежовым не то в 1932-м, не то в 1933 году, когда он являлся уже заместителем заведующего орграспредотделом ЦК ВКП(б). Часто ходить к ним я избегал, так как замечал неприязненное к себе отношение со стороны Ежова. Мне казалось, что он знает о моей связи с его женой и что моя излишняя навязчивость покажется ему подозрительной. Виделся я с Ежовым в моей жизни раз пять или шесть, а последний раз летом 1936 года у него на даче, куда я привез своего приятеля, артиста Утесова. Никаких разговоров на политические темы при встречах с Ежовым у меня не было, точно так же, как и с его женой, которая по мере продвижения своего мужа внешне усваивала манеры на все сто процентов выдержанной советской женщины.

— В каких целях вы были привлечены Ежовой к сотрудничеству в журнале «СССР на стройке»?

— К сотрудничеству в журнале «СССР на стройке» меня действительно привлекла Ежова, являвшаяся фактическим редактором этого издания. С перерывами я проработал в этом журнале с 1936 года по день своего ареста. С Ежовой я встречался главным образом в официальной обстановке в редакции, с лета 1936 года на дом к себе она меня больше не приглашала... Помню лишь, что однажды я передавал Ежовой письмо вдовы поэта Багрицкого с просьбой хлопотать об арестованном муже ее сестры Владимире Нарбуте, однако на эту просьбу Ежова ответила отказом, сказав, что муж ее якобы не разговаривает с ней по делам Наркомата внутренних дел... Вот все, что я могу сообщить о своих отношениях с семьей Ежовой.

(Там же. Стр. 49–50).

Но никакого дела «сварить» из этих бабелевских показаний следователям не удалось, и с этой темой они вскоре от него отстали. На первый план вышли обвинения в других его «шпионских связях».

Во время судебного заседания, уже перед самым вынесением приговора, в вопросах судей опять на мгновение мелькнули имена бывшего сталинского наркома и его жены:

- ▶ – У вас были связи с Ежовым?
- С Ежовым никаких террористических разговоров у меня никогда не было.
- Вы показали на следствии о том, что на Кавказе готовилось покушение на товарища Сталина.
- Я слышал такой разговор в Союзе писателей...
- Ну, а подготовка убийства Сталина и Ворошилова шайкой Косарева и Ежовой?
- Это тоже выдумка. С Ежовой я встречался, она была редактором журнала «СССР на стройке», а я там работал... На квартире Ежова я бывал, встречался с друзьями его дома, но никаких антисоветских разговоров там не было.

(Там же. Стр. 78).

Но и тут тоже эта тема отступила на второй и даже третий план, оказавшись в тени других, якобы выявившихся и доказанных в ходе следствия более серьезных его «преступных связей»: с Воронским, с Мальро, с Суваринным, с Якиром...

Эренбург, когда его спрашивали, каким чудом в годы Большого террора ему удалось уцелеть, отвечал:

– Лотерея... Это была лотерея...

В его случае, может, оно так и было. Но Бабелю в той лотерее счастливый билет не мог выпасть ни при какой погоде. Если не близость с женой рухнувшего в преисподнюю сталинского наркома, для его ареста нашлись бы другие поводы.

Он был обречен. Его гибель была неизбежна по многим причинам. Но, конечно, не последнюю роль тут сыграла личная неприязнь Сталина.

* * *

Одна из причин этой сталинской неприязни нам известна. О ней Сталин упомянул сам — в том своем письме Кагановичу, в котором имя Бабеля предварил заключенным в иронические кавычки словом «наш» и презрительным эпитетом «вертлявый».

- ▶ ... он (Шолохов — Б.С.) писатель глубоко добросовестный, пишет о вещах, хорошо известных ему. Не то что «наш» вертлявый Бабель, который то и дело пишет о вещах, ему совершенно неизвестных (например, «Конная армия»).

Тут у него невольно прорвалось что-то личное. Какое-то личное раздражение, личная уязвленность, личная задетость, особенно заметная потому, что выплеснулась она у такого сдержанного, умеющего собой владеть человека, как Сталин.

Природу этой личной уязвленности угадать нетрудно. О нем, о Сталине, в бабелевской «Конармии» — ни полслова. А ведь не кто иной, как он, был создателем Первой Конной.

Такова, во всяком случае, была официальная версия.

Тут, наверно, стоит вспомнить еще одну коротенькую историю из интеллигентской фольклорной «сталинианы».

Вызвал однажды Сталин Семена Михайловича Буденного и говорит:

— Как ты ко мне относишься?

— Как отношусь? Очень хорошо отношусь. С любовью отношусь.

— Нет, Семен. Ты плохо ко мне относишься. Даже фотографию свою мне не подарил. Всем даришь, а мне не подарил. Достал фотографию.

— Вот, надпиши.

Буденный задумался: что писать?

— Я сам тебе продиктую. Пиши.

И продиктовал:

— «Дорогому Иосифу Виссарионовичу Сталину, создателю Первой Конной армии».

Буденный написал, расписался, вручил.

Сталин:

— А теперь я тебе свою фотографию подарю.

Достал фотографию и надписал:

«Дорогому Семену Михайловичу Буденному, подлинному создателю Первой Конной армии».

Историю эту рассказывал зять Семена Михайловича, так что в отличие от многих других устных рассказов о Сталине она вряд ли выдумана. Во всяком случае, она в духе сталинского юмора. В узком кругу Сталин вполне мог позволить себе пошутить над «выдающейся ролью товарища Сталина» в создании Первой Конной армии. Но ДЛЯ НАРОДА и ДЛЯ ИСТОРИИ именно ОН должен был оставаться истинным ее создателем. И писателю, взявшемуся отобразить героический путь доблестной Первой Конной, надлежало об этом помнить.

Но помимо этого свободное, не стесненное никакими идеологическими установками и шорами прикосновение Бабеля к теме «Первой Конной» было для Сталина особенно болезненным и по другой, еще более деликатной причине.

* * *

Достаточно вспомнить только заглавия большинства рассказов, составивших бабелевскую «Конармию» («Переход через Збруч», «Костел в Новеграде», «Пан Аполек», «Путь в Броды», «Кладбище в Козине», «Берестечко», «У святого Валента», «Замостье», «Чесники»), чтобы, даже не вникая в их содержание, понять: дело происходит в Польше. То есть — во

время печально знаменитого польского похода Первой Конной. А этот злосчастный ее поход был самой позорной страницей военной биографии Сталина.

- ▶ Успехи Конармии закончились так же неожиданно, как и начались. В середине августа Буденный находился всего лишь в нескольких километрах от Лемберга, русского Львова, украинского Львива, до 918 г. столицы Королевства Галиции и Лодомерии. Своими мощными улицами, трамваями, варьете и роскошным отелем «Георг», в котором был даже лифт, современный город производил впечатление оазиса, окруженного вязкой, окровавленной землей, сожженной солдатами и орудиями.

Однако Лемберг взять не удалось. Бабель с удивлением записал в своем дневнике 18 августа: «Что это — безумие или невозможность взять город кавалерией?» Он не знал, что двумя днями ранее Пилсудский начал в Варшаве контрнаступление и совершил «чудо на Висле».

Польский поход Красной Армии потерпел поражение. Лорд Д'Абернон, британский посол в Берлине, назвал в своем дневнике то время «восемнадцатой решающей битвой всемирной истории».

Она спасла Центральную и частично Западную Европу от «фанатичного деспотизма Советов»... Не столько Буденный, которого Ленин назвал «самым блестящим полководцем в мире», сколько Сталин нес основную ответственность за неожиданное поражение.

В то время как командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский надвигался с севера на Варшаву, Конармия всё еще стояла в 300 километрах юго-восточнее, перед Лембергом. Приказ о выступлении на север был выполнен не сразу: то ли по технической причине, то ли из личных соображений — военный комиссар Сталин был, вероятно, заинтересован в том,

чтобы войти в русскую историю как завоеватель Лемберга. Центральный комитет вызвал его в Москву и потребовал объяснений, которые счел недостаточными: по решению ЦК и Политбюро Сталина исключили из Реввоенсовета Юго-Западного фронта...

Вина Сталина в провале похода на Польшу замалчивалась, словно он к этому не имел никакого отношения. Спустя месяц Ленин решил предоставить историкам возможность изучить причины поражения. Однако им это по существу не дали сделать. В 1925 г. Сталин, будучи к тому времени уже генеральным секретарем ЦК, затребовал из Киевского государственного архива документы Революционного военного совета Юго-Западного фронта: секретные записи, записи телефонно-телеграфных переговоров, приказы во время решающих дней похода на Польшу. Документы он не вернул.

(Р. Крумм. Исаак Бабель. Биография. М., 2008. Стр. 62–63).

Справедливости ради тут надо сказать, что главными виновниками провала польского похода были Ленин и Троцкий.

Поход на Варшаву задумывался ими как инспирация пролетарской революции в Германии и даже в Италии. В июле, когда армия еще продвигалась быстро, Ленин передал по телеграфу Сталину, что «необходимо тотчас же начать революцию в Италии». Такие же распоряжения делались им и в отношении Венгрии, «возможно также Чехии и Румынии».

Взятие Красной Армией Варшавы должно было стать тем факелом, которым предполагалось разжечь пожар мировой революции. Согласно историческим и политическим концепциям Ленина и теории «перманентной революции» Троцкого польский пролетариат должен был радостно приветствовать революционные советские войска. Но едва только эти войска оказались на территории Польши, как они

сразу же стали восприниматься поляками не как революционные, а как русские. Это был тот самый — давний — «спор славян между собою», о котором некогда писал Пушкин. Ни о какой мировой революции и ни о каких братских объятиях польского и русского пролетариата уже не могло быть речи. Полякам теперь надо было защищать отечество от стародавнего, исконного врага.

Это и стало главной причиной потрясшего мир «чуда на Висле».

Сталин, однако, не мог не ощущать военное поражение Первой Конной как свой личный провал.

Во всяком случае, неаккуратное — а по существу, любое — прикосновение к этой теме вызывало у него не менее острую и болезненную реакцию, чем такое же неосторожное прикосновение к темным страницам его кавказской биографии.

* * *

Книга «Конармия» отдельным изданием впервые вышла в свет в 1926 году. Она состояла из тридцати четырех новелл, которые печатались в одесских журналах и газетах («Шквал», «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б) У и губпросвета», а также в журналах «ЛЕФ», «Красная новь» и «Прожектор» — с февраля 1923 г. по апрель 1925 г. Две из них были даже напечатаны в «Правде» (3 августа 1924 г. — «Переход через Збруч» и «Конец св. Ипатия»).

И сразу же посыпались возмущенные, гневные отклики бывших бойцов Первой Конной. Они писали, что рассказы эти «идеологически вредные», что у автора «больное воображение», что он — «не из наших», что перед публикацией необходимо было дать «военнослужащим конармии просмотреть рукопись». В редакциях журналов, печатавших рассказы Бабеля, над этими гневными откликами посмеивались. Маяковский, напечатавший в своем «ЛЕФе» четыре бабелевских рассказа, по этому поводу иронически заметил, что

прежде чем писать свои рассказы о царивших в конармии беспорядках, автор должен был доложить об этом своим начальникам.

Но на один из этих откликов Бабель счел нужным все-таки ответить.

Это было письмо, в котором казак Мельников жаловался редакции «Октября» на то, что в рассказе «Тимошенко и Мельников» его изобразили неправильно. Он, Мельников, никогда не заявлял о выходе из коммунистической партии.

Бабель ответил на это открытым письмом, которое так ярко отражает уязвимость тогдашнего его положения, что, пожалуй, стоит привести его здесь полностью.

► В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ОКТЯБРЬ»

Сентябрь—октябрь 1924 г., Москва

В 1920 году я служил в 6-й дивизии Первой Конной армии. Начдивом 6-й был тогда т. Тимошенко. Я с восхищением наблюдал его героическую боевую и революционную работу. Прекрасный, цельный, этот образ долго владел моим воображением, и когда я собрался писать воспоминания о польской кампании, я часто возвращался мыслью к любимому моему начдиву. Но в процессе работы над моими записками я скоро отказался от намерения придать им характер исторической достоверности и решил выразить мои мысли в художественной беллетристической форме. От первоначальных замыслов в моих очерках осталось только несколько подлинных фамилий. По непростительной моей рассеянности, я не удосужился их вымарать, и вот, к величайшему моему огорчению, — подлинные фамилии сохранились случайно и в очерке «Тимошенко и Мельников», помещенном в 3-й книге журнала «Красная новь» за 1924 г. Все дело тут в том, что материалы для этого номера я сдавал поздно, редакция и,

главное, типография торопили меня чрезвычайно, и в спешке этой я упустил из виду необходимость переменить в чистовых первоначальные фамилии. Излишне говорить о том, что тов. Тимошенко не имеет ничего общего с персонажами из моего очерка. Это ясно для всех, кто сталкивался хотя бы однажды с бывшим начальником 6-й, одним из самых мужественных и самоотверженных наших красных командиров.

И. Бабель

*(И. Бабель. Сочинения. Т. 1.
М., 1990. Стр. 239—240).*

Стилистика этого «оправдательного документа» и впрямь больше напоминает докладную записку, адресованную вышестоящим товарищам, нежели открытое письмо писателя в редакцию литературного журнала. Так что Маяковский, пожалуй, зря иронизировал, говоря, что прежде, чем писать свои рассказы, Бабелю следовало бы доложить о существующих в конармии беспорядках своему непосредственному начальству.

Но письмо Мельникова было только «пристрелкой», за которой тотчас же к полю боя была подтянута тяжелая артиллерия. В том же журнале «Октябрь» (1924 г, № 3) появилась статья легендарного командующего Первой Конной С.М. Буденного (см. документ № 1. — Б.С.) — «Бабизм Бабеля из «Красной нови».

Авторы этого сочинения (скорее всего оно было коллективным; во всяком случае, явно не сам командарм был его автором, хотя написано оно было как бы его слогом), видимо, были очень довольны остроумием этого заголовка. А смысл его угадать не трудно. Тут просматривается даже несколько смыслов.

Первый — намек на то, что автор «Конармии» никакой не боец Первой Конной, за которого себя выдает, да и вообще не мужик, а — баба.

Второй — что все эти его рассказы о Первой Конной — чистое вранье, «бабьи сплетни».

И наконец — третий:

- ▶ Гр. Бабель не мог видеть величайших сотрясений классовой борьбы, она ему была чужда, но зато он видит со страстью садиста трясущиеся груди выдуманной им казачки, голые ляжки и т. д. Он смотрит на мир, «как на луг, по которому ходят голые бабы, жеребцы и кобылы».

Так была прочитана и понята, а скорее всего нарочно грубо переиначена поэтическая фраза Бабеля, заключающая рассказ «История одной лошади» — тот самый, на который обиделся и по поводу которого выразил свой протест казак Мельников (в окончательной редакции рассказа он стал Хлебниковым):

- ▶ ...Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером... Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

Особого успеха эта атака Буденного на Бабеля не имела.

Можно даже сказать, что атака эта была отбита. У Бабеля нашлись защитники. Одним из них был Д. Фурманов, председательствовавший на конференции по обсуждению бабелевской «Конармии». (О времени ее проведения — 29 ноября в 20.30 — было объявлено в «Правде» и «Вечерней Москве».)

Но главным защитником Бабеля, не раз вступавшимся за него и его «Конармию», был Горький.

Он даже сопоставил Бабеля с Гоголем, отдав бабелевской «Конармии» предпочтение в сравнении с гоголевским «Тарасом Бульбой»: «В повести «Тарас Бульба» он, — писал Горький о Гоголе, — изобразил запорожцев боголюбивыми рыцарями и силачами, которые поднимают врага на пике, хотя древко

пики не может выдержать пятипудовую тяжесть, переломится. Вообще таких запорожцев не было, и рассказ Гоголя о них — красивая неправда».

Все это говорилось не в укор Гоголю. Скорее — наоборот. «Значит ли, что тем, что сказано выше, я утверждаю необходимость романтизма в литературе? — спрашивал Горький. И отвечал: — Да, защищаю...»

И как раз вот в этой связи он вспомнил бабелевскую «Конармию»:

- ▶ Товарищ Буденный охал «Конармию» Бабеля, — мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев.

*(М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах.
Т. 24. М., 1953. Стр. 473).*

Отрывок из статьи Горького «О том, как я учился писать», в котором содержался этот его ответ Буденному, был напечатан в «Правде» и в «Известиях» 30 сентября 1928 г., 26 октября того же года «Правда» напечатала написанное Буденным «Открытое письмо Максиму Горькому», в котором легендарный командарм настаивал на своей правоте, так же решительно, как и за четыре года до этого, протестуя против «сверхнахальной бабелевской клеветы». Спустя месяц — 27 ноября 1928 г. на страницах той же газеты М. Горький опубликовал свой «Ответ С. Буденному».

Бабель этим его ответом был недоволен:

- ▶ Номера «Правды» с письмом Буденного у меня, к сожалению, нету. Не держу у себя дома таких воюющих документов. Прочитайте ответ Горького. По моему, он слишком мягко отвечает на этот документ,

полный зловонного невежества и унтер-офицерского марксизма.

*(Из письма И. Бабеля А. Слоним 29 ноября 1928 г.
И. Бабель. Сочинения. Том 1. М., 1990. Стр. 291).*

Ответ Горького справедливо показался Бабелю чрезмерно мягким. Но Бабель не знал, что в процессе редактирования этот ответ претерпел весьма существенные изменения.

► Сторяча Горький написал резкую отповедь, подлинный текст которой тогда не увидел света:

«Товарищ Буденный, разрешите сказать Вам, что... въехав в литературу на коне и с высоты коня критикуя ее, Вы уподобляете себя тем бесшабашным критикам, которые разъезжают по литературе в телегах плохо усвоенной теории, а для правильной и полезной критики необходимо, чтобы критик был или культурно выше литератора, или — по крайней мере — стоял на одном уровне культуры с ним».

...Артемий Халатов, близкий к Сталину человек, который был в довершение ко всему еще членом редколлегии «Правды», посоветовал Горькому «более мягкий» вариант:

«Критика полезна при том условии, если критик объективен и внимателен к молодым растущим силам».

Горький безропотно согласился. Сталин мог записать в свой актив еще одно очко.

*(А. Ваксберг. Гибель Буревестника.
М. Горький: последние двадцать лет.
М., 1999. Стр. 219).*

Сталин безусловно следил за этой «дискуссией», но не считал нужным в нее вмешаться. Следил за ней, так сказать, издали.

Лишь однажды он позволил себе высказаться на эту тему, но — отстраненно, как бы не от себя.

- ... Буденный не мог успокоиться. Когда он однажды проезжал в открытой машине Воронского, то он сильно выругался: «И тебя, и твоего Бабеля надо выдрать арапником!» А Сталин во время одного мероприятия в Большом театре спросил у Воронского: «Что ты печатаешь в «Красной нови» про Конармию»? Буденный сердится».

(Р. Крумм. Исаак Бабель. Биография. М., 2008. Стр. 65. Источник: Г. Воронская. Исаак Бабель. Неопубликованная рукопись. Магадан, 1954. Стр. 1).

О том, что не только Буденный, но и он сам тоже «сердится» на Бабеля за «Конармию», — ни полслова. А может быть, тогда он «Конармию» еще даже и не читал, только слышал про нее от Буденного. Ну а прочитав, уже не стал скрывать своего к ней отношения, о чем прямо написал Кагановичу.

Что же касается желания Буденного выдрать Бабеля (а заодно и напечатавшего его «Конармию» Воронского) арапником, то оно в конце концов было реализовано, и отнюдь не метафорически, а, можно сказать, буквально.

Через пятнадцать лет после появления той буденновской статьи вся система высказанных в ней обвинений всплыла в показаниях Бабеля на следствии, в его — отнюдь не добровольных — признаниях своей вины. (Какими способами выбивались из подсудственного такие признания, мы теперь хорошо знаем.)

- «Конармия», — оговаривает себя арестованный Бабель, — явилась для меня лишь поводом для выражения волновавших меня чувств и настроений, ничего общего с происходящим в Советском Союзе не имеющих. Отсюда подчеркнутое описание всех жестокостей и несообразностей Гражданской войны, искусственное введение эротического элемента, изображение только крикливых и резких эпизодов и полное забвение роли

партии в деле сколачивания из казачества, тогда еще недостаточно проникнутого пролетарским сознанием, регулярной и внушительной единицы Красной Армии, какой являлась в действительности Первая конная.

(Из протокола допроса арестованного бывшего члена Союза советских писателей И. Бабеля.

С. Поварцов. Причина смерти — расстрел. М., 1996. Стр. 62).

Эти обвинения, предъявленные Бабелю на следствии, чуть ли не дословно совпали с теми, что содержались в появившейся за пятнадцать лет до его ареста статье Буденного. И тут во всех этих преступных намерениях Бабеля обвинял уже не Буденный, а сам Сталин.

Но недовольство Сталина бабелевской «Конармией» было не единственной причиной ареста и гибели писателя. Как мы сейчас увидим, для нелюбви к Бабелю и желания расправиться с ним у Сталина были и другие, более серьезные основания.

Сюжет второй

«ОН МНЕ НЕ ПОНРАВИЛСЯ...»

Устный рассказ Бабеля, с которого я начал эту главу, был там мною оборван. Концовку этого рассказа, последнюю его реплику я оставил «про запас», сразу решив, что сделаю ее заглавием этого — второго сюжета.

На самом деле этот бабелевский рассказ кончился так:

— Что вам сказать, мой дорогой? Я ему не понравился, — закончил свой рассказ Бабель. — Но хуже, гораздо хуже другое.

И на немой вопрос собеседника ответил:

— Он мне не понравился.

Осмелился ли Бабель на самом деле выговорить такое вслух, или это тоже легенда? Не знаю. Но известны и другие его высказывания, подтверждающие, что в начале 30-х у него в отношении Сталина уже не было никаких иллюзий.

23 октября 1932 года в Париже Бабель беседовал с давним своим знакомым Борисом Суваринным. Бывший некогда коммунистом и даже занимавший какую-то должность в Исполкоме

Коминтерна, Суварин в это время давно уже жил в Париже на положении эмигранта. Своего разочарования в Советском Союзе не скрывал и даже активно выступал в печати с резкой критикой всего, что там происходит.

В Москве Бабель вести такие откровенные разговоры, может быть, и поостерегся бы. Но тут он, что называется, потерял бдительность и развязал язык. Суварин же эти их разговоры записал, а потом — много лет спустя, когда Бабелю это уже не могло повредить, — и напечатал. (*Б. Суварин. Последние разговоры с Бабелем. Континент. Мюнхен, 1980. № 23. Стр. 343—378*).

Никаких политических разоблачений Сталина в этих бабелевских откровениях не было. Но тут интересен даже не смысл, а тональность, в которой Исаак Эммануилович рассказывал своему парижскому собеседнику о вожде. Тональность эта не оставляла сомнений в том, что вождь ему *не нравился*.

Взять хоть такой, — казалось бы, — совсем невинный эпизод.

На одной из встреч с писателями Сталин поднял стопку с водкой и обратился к только что потерявшему должность председателя РАППа Авербаху:

— Пей! До дна!

Авербах пить отказался.

И тут всегда сдержанный Сталин вдруг сорвался.

— Пей! — закричал он. — Ты что, отказываешься? А-а! Ты боишься! Ты бо-ишь-ся прого-во-риться!!!

Эпизод вроде пустяковый, но в этой последней реплике с необычайной яркостью выплеснулась маниакальная подозрительность Сталина. А главное, — тут Сталин сам **проговорился**: вот, значит, зачем он так настаивал, чтобы Авербах выпил до дна. Рассчитывал, что, опьянев, тот выговорит, выболтает какие-нибудь свои тайные мысли.

Дело тут — как, впрочем, и во всех других известных нам высказываниях Бабея о Сталине, — было не в том, что в них

так или иначе выразилось его неприязненное отношение к вождю, а в том, что он СТАЛИНА РАСКУСИЛ. В отличие от многих своих высоколобых современников он Сталина ПОНЯЛ.

Вспомним хотя бы брошенную в разговоре с Эренбургом его реплику:

— Дело не в Ежове. Конечно, Ежов старается, но дело не в нем...

Если причина кровавого разгула «ежовщины» не в Ежове, значит, она — в Сталине! Тут не может быть никаких других толкований.

А вот как в это самое время — по свидетельству того же Эренбурга — реагировали на происходящее другие его собеседники:

► Всеволод Эмильевич говорил: «От Сталина скрывают...»

Ночью, гуляя с Чукой, я встретил в Лаврушинском переулке Пастернака; он размахивал руками среди сугробов: «Вот если бы кто-нибудь рассказал про все это Сталину!...»

*(И. Эренбург. Люди, годы, жизнь.
Воспоминания в трех томах.
Т. 2. М., 1990. Стр. 159).*

Да, Горький не зря назвал Бабеля — в письме Сталину — «отлично понимающим людей и умнейшим из наших литераторов». (Сталин это запомнил. И сделал свои выводы.)

Но ведь и Мейерхольд с Пастернаком тоже были не дураки. А вот — поди ж ты!

В оправдание их наивности, которая сегодняшнему читателю может показаться неизреченной глупостью, тут надо напомнить о неизменной иезуитской стратегии и тактике Сталина. Во всех своих кровавых начинаниях он умел создать видимость самопроизвольного, ни от кого не зависящего раз-

гула вырвавшейся из-под контроля стихии, которую не кто иной, как он, потом укрошал.

Так было с «перегибами» времен сплошной коллективизации, якобы остановленными его статьей «Головокружение от успехов».

Так было с крахом ослепительной карьеры Ежова, которого он объявил врагом народа, свалив на него им самим развязанный кровавый кошмар 37-го года.

Так было с внезапным прекращением потока антисемитских фельетонов во время антикосмополитической кампании 49-го.

Но была — что говорить, была, была! — и наивность, и трудно доступная сегодняшнему нашему понимаю слепота, поразившая не последних в стране людей:

- ▶ Вчера был у Тынянова. Говорил ему свои мысли о колхозах. Он говорит: «Я думаю то же. Я историк. И вот восхищаюсь Сталиным как историк. В историческом аспекте Сталин как автор колхозов — величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он, кроме колхозов, ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи. Но, пожалуйста, не говорите об этом никому». — «Почему?» — «Да знаете, столько прохвостов хвалят его теперь для самозащиты, что если мы слишком громко начнем восхвалять его, и нас причислят к той же бесовственной группе».

(К. Чуковский. Собрание сочинений. Т. 12. Дневник. 1922—1935. М., 2006. Стр. 405).

В этом монологе поражает, конечно, и восхищение (видимо, искреннее) Тынянова Сталиным. Казалось бы, такой человек, как Тынянов, мог бы и не поддаться искусственно раздуваемому всеобщему массовому психозу. (Хотя — поддались же ему и тот же Чуковский, и Пастернак.) Но самое по-

разительное тут даже не само это его восхищение вождем, а то, ЧТО более всего в деятельности Сталина его восхищает, — в чем он видит главную его историческую заслугу и из-за чего даже готов назвать его «величайшим из гениев, перестраивающих мир».

Эту запись в своем дневнике К.И. сделал 5 июня 1930 года. В это время для многих было уже более или менее очевидно, что создаваемый Сталиным колхозный строй был не чем иным, как новой формой крепостного права, в чем-то даже более страшной и зловещей, чем та, что была отменена реформами царя-освободителя. Казалось бы, кто другой, но Тынянов не мог этого не понимать. Ведь он не только понял, но в какой-то мере даже предвидел такое развитие событий. Предвидел именно «как историк», что с достаточной прямоотой и ясностью выразил в завершенном им два года тому назад (в 1928 году) историческом романе «Смерть Вазир-Мухтара».

Эпизод романа, о котором идет речь, связан с проектом политических и экономических преобразований, который Грибоедов представил Паскевичу. Проект этот по тем временам был не то что прогрессивным, а прямо-таки революционным. Но сразу же наткнулся на бешеное сопротивление бывшего своего единомышленника — в недавнем прошлом декабриста, а теперь — влиятельного, быть может, даже самого влиятельного в окружении Паскевича лица, от которого прямо зависит судьба этого грибоедовского проекта.

И вот какой по этому поводу происходит между бывшими единомышленниками разговор.

► — Итак, — сказал он, — нам нужно говорить с вами о проекте вашем.

Он подтянулся.

— Я ночь напролет его читал и две свечи сжег. Я читал его, как некогда Рейналя читал, и ничего более увлекательного по этой части, верно, уж не прочту....

Так он говорил, должно быть, с Пестелем.

— Ваше мнение?

— Отрицательное, — сказал Бурцов. И молчание.

— Это образец критики французской, — улыбнулся Грибоедов. — Сначала «*cette pièce, pleine d'esprit*», а потом: «*chute complete*».

— Я не критик и не литератор, — сказал грубо Бурцов, и жилы у него надулись на лбу, — я барабанная шкура, солдат.

Грибоедов стал подыматься.

Бурцов удержал его маленькой рукой.

— Не сердитесь.

И дождь сухо забарабанил в полотно, как голос председателя.

— В вашем проекте, в вашей «книге чертежа великого» все есть. Одного недостает.

— Вы разрешите в диалоге нашем драматическом быть без реплик. Я должен, разумеется, спросить: чего?

— Сколько вам угодно. Людей.

— Ах, вы об этом, — зевнул Грибоедов, — печей недостает, как Иван Федорович давеча сказал. Мы достанем людей, дело не в этом.

— Вот, — сказал торжественно Бурцов, — ваша правда: дело не в этом. При упадке цен на имения вы крестьян в России даром купите...

— А о людях для управления, так они найдутся. Вы вот воюете же у Ивана Федоровича. Есть еще честные люди.

— Мало. Но хорошо, — сказал Бурцов, — что же из вашего государства получится? Куда приведет оно? К аристокрации богатств, к новым порабощениям? Вы о цели думали?

— А вы, — закинул уже ногу на ногу и развалился Грибоедов, — вы в чертеже своем — не стеклянном,

другом, — вы о цели думали? Хотите, скажу вам, что у вас получилось бы.

— Что? — вдруг остановился Бурцов.

— То же, что сейчас. Из-за мест свалка бы началась, из-за проектов. Павел Иванович Пестель Сибирь бы взял, благо там батюшка его сидел. И наворотил бы! И отделился бы. И войной против вас пошел бы.

— Я прошу вас, я покорнейше прошу вас, — у Бурцова запрыгала губа, и он положил маленькую руку на стол...

— Ага, — протянул Грибоедов с удовольствием, — ну, а Кондратий Федорович был человек превосходный, человек восторженный...

Бурцов вдруг побледнел.

— Кондратий Федорович, вкупе с вами, мужика бы непременно освободил, литературую управлял бы...

Бурцов захохотал гортанно, лая. Он ткнул маленьким пальцем почти в грудь Грибоедову.

— Вот, — сказал он хрипло. — Договорились. Вот. А вы крестьян российских сюда бы нагнали, как скот, как негров, как преступников. На нездоровые места, из которых жители бегут в горы от жаров... В скот, в рабов, в преступников мужиков русских обратить хотите. Не позволю! Отвратительно! Стыдитесь! Тысячами — в яму! С детьми! С женщинами! Это вы, который «Горе от ума» создали!

Он кричал, бил воздух маленьким белым кулаком, брызгал слюною, вскочил с кресел.

Грибоедов тоже встал. Рот его растянулся, оскалился, как у легковесного борца, который ждет тяжелого товарища.

— А я не договорил, — сказал он почти спокойно. — Вы бы как мужика освободили? Вы бы хлопотали, а деньги бы плаыли, — говорил он, любуясь на еще ходящие губы Бурцова, который не слушал его. — И сказали бы вы бедному мужику российскому: младшие братья...

Бурцов уже слушал, открыв толстые губы.

— ...временно, только временно не угодно ли вам на барщине поработать? И Кондратий Федорович это назвал бы не крепостным уже состоянием, но добровольною обязанностью крестьянского сословия. И, верно, гимн бы написал.

(Ю. Тынянов. *Смерть Вазир-Мухтара*.
Л., 1937. Стр. 267—269).

Именно так, как толкует в тыняновском романе Бурцову Грибоедов, все и произошло спустя сто лет — в стране «победившего социализма». Новое крепостное право было объявлено «добровольною обязанностью крестьянского сословия». Ну и гимны соответствующие по этому поводу тоже были написаны («Страна Муравия» А. Твардовского).

Для Твардовского сталинская коллективизация обернулась личной драмой. Можно даже сказать — трагедией. Она прямо ударила по его семье. Но Александру Трифоновичу в 1930 году было двадцать лет. Он был молодым комсомольцем, истово верившим каждому слову, исходившему из уст вождя.

А Юрию Николаевичу Тынянову в том году стукнуло уже тридцать шесть — возраст, в котором его любимый Александр Сергеевич уже завершил свой жизненный путь. И был он — историк. И историк, как мы только что могли убедиться, очень даже недурной. И именно «как историк» он и несет всю эту чушь, захлебываясь восторгом, повторяясь и путаясь в превосходных степенях прилагательных:

- В историческом аспекте Сталин как автор колхозов — величайший из гениев, перестраивавших мир. Если бы он, кроме колхозов, ничего не сделал, он и тогда был бы достоин назваться гениальнейшим человеком эпохи.

Все это я говорю не в укор Тынянову, а только лишь для того, чтобы показать, как велика была тогда степень всеобщей задуренности.

М.Д. Вольпин (друг и соавтор Николая Эрдмана) в конце 29-го или в самом начале 30-го оказался где-то в глубинке, в селе. И собственными своими глазами увидал все ужасы коллективизации и «ликвидации кулачества как класса».

Увиденное потрясло его до глубины души. Подавленный — лучше даже сказать, раздавленный — этими своими впечатлениями, он поделился ими с Мандельштамом. Но вопреки ожиданиям сочувствия у него не нашел.

Выслушав его рассказы, Осип Эмильевич надменно вскинул голову и величественно произнес:

— Вы не видите бронзовый профиль Истории.

Рассказ этот я слышал от самого Михаила Давыдовича.

По версии Михаила Ардова, реплика Мандельштама была несколько иной. Осип Эмильевич якобы сказал:

► — Надо без страха смотреть в железный лик истории.

*(М. Ардов, Б. Ардов, А. Баталов.
Легендарная Ордынка. С.-Пб., 1997. Стр. 70).*

В записи В.Д. Дувакина эта реплика выглядит ближе к моей версии:

► И вдруг Мандельштам, подняв высоко голову, как он умел (у него петушиный вид сразу делался), сказал мне: «Ну, знаете, Вы не замечаете бронзового профиля Истории!»

*(Анна Ахматова в записях Дувакина.
М., 1999. Стр. 266).*

Этот разговор Мандельштама с Вольпиным происходил году, надо думать, в 30-м, самое позднее — в 31-м. А в мае 33-го, как видно, уже собственными глазами увидав то, про что рассказывал ему Вольпин, он напишет:

Природа своего не узнает лица,
А тени страшные — Украины, Кубани...
Как в туфлях войлочных голодные крестьяне
Калитку стерегут, не трогая кольца.

И — про кремлевского горца, «душегубца и мужикоборца». Но в 30-м и 31-м даже он еще не видел, не понимал, что происходит.

А Бабель уже тогда не только всё видел и понимал, но даже сумел выразить это с присущей ему определенностью:

► — Вороньковский судья, — очнувшись, сказала старуха, — в одни сутки произвел в Воронькове колхоз... Девять господарей он забрал в холодную... Наутро их доля была идти на Сахалин... Перебули тыи господари ночь в холодной, является стража — брать их... Видчи-няет стража дверь от острога, на свете полное утро, девять господарей качаются под балками, на своих опоясках...

В дубовой раме окна двинулась тьма. Рассвет раскрыл в тучах фиолетовую полосу...

Весь день шел снег. У самого села, из льющейся прямой стены, навстречу Гапе вынырнул коротконогий Юшко Трофим в размокшем треухе. Плечи его, накрытые снежным океаном, раздались и осели...

— Ночью вся головка наехала, — сказал Трофим, — бабуся твою законвертовали... Голова рикуну приехал, секретарь райкому... Ивашку замели, на его должность — вороньковский судья...

Усы Трофима поднялись, как у моржа, снег шевелился на них. Гапа тронула лошадь, потом снова потянула вожжи.

— Трофиме, бабуся за што?..

Юшко остановился и протрубил издалека, сквозь веющие, летящие снега:

— Кажуть, агитацию разводила про конец света...

Гапа ушла в сельраду. Там, усевшись на лавках вдоль стен, молчали старики из села Великая Криница. Окно, разбитое во время прошлых споров, заделали листом фанеры, стекло лампы было протерто, к щербатой стене прибили плакат «Прохання не палить». Вороньковский судья, подняв плечи, читал у стола. Он читал книгу протоколов великокриницкой сельрады; воротник драпового его пальтишка был наставлен. Рядом за столом секретарь Харченко писал своему селу обвинительный акт. Он разносил по разграфленным листам все преступления, недоимки и штрафы, все раны, явные и скрытые. Приехав в село, Осмоловский, судья из Воронькова, отказался созвать сборы, общее собрание граждан, как это делали уполномоченные до него, он не произнес речи и только приказал составить список недоимщиков, бывших торговцев, списки их имущества, посевов и усадеб.

Великая Криница молчала, присев на лавки...

Гапа вышла, притворив за собой дверь.

Беснующаяся, режущая ночь набросилась на нее, кустарники туч, горбатые льдины с черным блеском в них. Просветляясь, низко неслись облака. Безмолвие распростерлось над Великой Криницей, над плоской, могильной, обледеневшей пустыней деревенской ночи.

(И. Бабель. Гапа Гужва).

Во всех собраниях сочинений Бабеля этот его рассказ, написанный весной 1930 года, фигурирует именно как рассказ. Но в первой публикации («Новый мир», 1931, № 10) у него был подзаголовок: «Первая глава из книги «Великая Криница». Даже по этим нескольким приведенным здесь коротким отрывкам из этого небольшого рассказа можно понять, почему эта бабелевская книга, если она и было написана, не дошла до нас: погибла вместе с другими рукописями, составившими пятнадцать папок, изъятых при его аресте.

Так или иначе, этот короткий бабелевский рассказ никаких сомнений насчет истинного отношения его автора к создаваемому Сталиным колхозному строю не оставляет.

Так же обстоит дело и с отношением Бабеля к следующему крутому повороту сталинского Большого террора, началом которого стал первый из громких московских судебных процессов — процесс так называемого **Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра**. Оно тоже было совсем не таким, какой была реакция на этот процесс и подготовку к нему далеко не самых наивных собратьев Исаака Эммануиловича по писательскому цеху.

► ИЗ ДНЕВНИКА К.И. ЧУКОВСКОГО

5 января 1935 г.

Очень волнует меня дело Зиновьева, Каменева и других. Вчера читал обвинительный акт. Оказывается, для этих людей литература была дымовая завеса, которой они прикрывали свои убогие политические цели. А я-то верил, что Каменев и вправду волнуется по поводу переводов Шекспира, озабочен юбилеем Пушкина, хлопочет о журнале Пушкинского Дома и что вся его жизнь у нас на ладони. Мне казалось, что он сам убедился, что в политике он ломаный грош, и вот искренне ушел в литературу — выполняя предначертания партии. Все знали, что в феврале он будет выбран в академики, что Горький наметил его директором Всесоюзного Института литературы, и казалось, что его честолюбие вполне удовлетворено этими перспективами. По его словам, Зиновьев до такой степени вошел в литературу, что даже стал детские сказки писать, и он даже показывал мне детскую сказку Зиновьева с картинками... очень неумелую, но трогательную. Мы, литераторы, ценили Каменева: в последнее время, как литератор, он значительно вырос, его книжка о Черны-

шевском, редактора «Былого и дум» стоят на довольно высоком уровне. Приятная его манера обращения с каждым писателем (на равной ноге) сделала то, что он расположил к себе: 1) всех литературоведов, гнездящихся в Пушкинском Доме; 2) всех переводчиков, гнездящихся в «Academia», и проч., и проч., и проч. По-немногу он стал пользоваться в литературной среде некоторым моральным авторитетом — и все это, оказывается, было ширмой для него как для политического авантюриста, который пытался захватить культурные высоты в стране, дабы вернуть себе утраченный политический лик.

(К. Чуковский. Собрание сочинений. Т. 12. Дневник. 1922—1935. М., 2006. Стр. 556).

Что-то все-таки мешает Корнею Ивановичу до конца поверить этому «Обвинительному заключению». Он колеблется, сомневается. Но изо всех сил старается заглушить эти свои сомнения, ищет — и находит — все новые и новые аргументы, подтверждающие истинность, непреложность этой официальной версии:

- ▶ Так ли это? Не знаю. Похоже, что так. Я вспомнил один эпизод на Съезде. Каменев жил на даче под Москвой. Об этом его жена, Татьяна Ив., которую я встретил в Колонном зале, сказала мне шепотом, т. к. считалось, что он где-то на Кавказе. Он скрывался и скрывался так тщательно, что по целым дням не выходил из своей дачи, — не соблазняясь никакой погодой. Скрывался он вот почему: вначале было объявлено, что Каменев сделает на Съезде писателей доклад и что вообще ему будет принадлежать там, на Съезде, ведущая роль. Потом, очевидно, в ЦК было решено не предоставлять ему этой роли, и он должен был притвориться отсутствующим. Я так и не побывал у него на даче — и

забыл весь этот эпизод, но в бытность мою в Кисловодске я получил от Т. Ив. письмо, где она говорит: прости-те мне ту грубость, с которой я разговаривала с вами на Съезде писателей, но я была так огорчена, что Л. Б. не мог выступить там. О его политической карьере я не знаю ничего, но как литератор он был мне кое в чем симпатичен (хотя его разговоры о Мандельштаме, его статьи о Полежаеве, Андрее Белом и проч. свидетельствовали о полном непонимании поэзии).

(Там же).

Реакция Бабеля на те же события была совершенно иной. Насчет самой сути происходящего у него не было и тени сомнений:

► ИЗ СВОДКИ СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ГУТЬ НКВД СССР О НАСТРОЕНИЯХ И.Э. БАБЕЛЯ В СВЯЗИ С ЗАВЕРШЕНИЕМ ПРОЦЕССА «АНТИСОВЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕННОГО ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО ЦЕНТРА»

После опубликования приговора Военной коллегии Верх[овного] суда над участниками троцкистско-зиновьевского блока источник, будучи в Одессе, встретился с писателем Бабелем в присутствии кинорежиссера Эйзенштейна. Беседа проходила в номере гостиницы, где остановились Бабель и Эйзенштейн. Касаясь главным образом итогов процесса, Бабель говорил: «Вы не представляете себе и не даете себе отчета в том, какого масштаба люди погибли и какое это имеет значение для истории.

Это страшное дело. Мы с вами, конечно, ничего не знаем, шла и идет борьба с «хозяином» из-за личных отношений ряда людей к нему.

Кто делал революцию? Кто был в Политбюро первого состава?»

Бабель взял при этом лист бумаги и стал выписывать имена членов ЦК ВКП(б) и Политбюро первых лет революции. Затем стал постепенно вычеркивать имена умерших, выбывших и, наконец, тех, кто прошел по последнему процессу. После этого Бабель разорвал листок со своими записями и сказал:

«Вы понимаете, кто сейчас расстрелян или находится накануне этого: Сокольников очень любил Ленин, ибо это умнейший человек... Для Сокольникова мог существовать только авторитет Ленина и вся борьба его — это борьба против влияния Сталина. Вот почему и сложились такие отношения между Сокольниковым и Сталиным.

А возьмите Троцкого. Нельзя себе представить обаяние и силу влияния его на людей, которые с ним сталкиваются...

Из расстрелянных одна из самых замечательных фигур — это Мрачковский. Он сам рабочий, был организатором партизанского движения в Сибири; исключительной силы воли человек. Мне говорили, что незадолго до ареста он имел 11-тичасовую беседу со Сталиным.

Мне очень жаль расстрелянных потому, что это были настоящие люди. Каменев, например, после Белинского — самый блестящий знаток русского языка и литературы.

*(Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917—1953. М., 2002. Стр. 325—326).*

Но даже считая Сокольникова умнейшим человеком, а Каменева самым блестящим знатоком русского языка и литературы после Белинского и искренне жалея, что их расстреляли, ведь можно же было все-таки предположить, что расстреляны они были за какую-то вполне реальную свою

политическую (контрреволюционную, как это тогда называлось) деятельность?

Нет, и на этот счет у него тоже не было ни малейших сомнений:

- ▶ Я считаю, что это не борьба контрреволюционеров, а борьба со Сталиным на основе личных отношений.

(Там же).

Да, Бабель и тут оказался пронизательнее, во всяком случае, трезвее многих своих современников.

Ни в малой степени не был он обольщен ни идеями Троцкого, ни обаянием и яркостью его личности. Но он понимал — чувствовал — его масштаб.

Так же обстояло дело и с другими советскими государственными и партийными деятелями, которых уничтожал — и уничтожил — Сталин. Разителен был контраст, бросающееся в глаза отличие их от тех, кто шел — и пришел — им на смену.

Вот несколько бабелевских реплик из доноса другого чекистского осведомителя:

- ▶ — Надо, чтобы несколько человек исторического масштаба было бы во главе страны. Впрочем, где их взять, никого уже нет. Нужны люди, имеющие прочный опыт в международной политике. Их нет. Был Раковский, человек большого диапазона...

— Существующее руководство РКП(б) прекрасно понимает, только не выражает открыто, кто такие люди, как Раковский, Сокольников, Радек, Кольцов... Это люди, отмеченные печатью большого таланта, и на много голов возвышаются над окружающей посредственностью нынешнего руководства...

(С. Поварцов. Причина смерти — расстрел. М., 1996. Стр. 85).

Совершенно очевидно, что эта характеристика относится не только к ближайшему окружению Сталина, но и к нему самому.

«Выдающаяся посредственность» — пренебрежительно кинул о Сталине Троцкий. Развитие событий показало, что он Сталина безусловно недооценил. Но каков бы ни был Сталин, не может вызвать сомнений тот очевидный факт, что приход его к власти был торжеством серости и посредственности.

Отношение Бабеля к большевистскому перевороту, который впоследствии стали именовать Великой Октябрьской социалистической революцией, ярче всего выразилось в коротеньком и не самом приметном его рассказе «Линия и цвет». Главный герой этого рассказа — А.Ф. Керенский, с которым автор познакомился в 1916 году в обеденной зале санатория «Оллила». По ходу этого знакомства выяснилось, что Александр Федорович чудовищно близорук, но рассматривает этот дефект своего зрения отнюдь не как недостаток, а скорее даже как достоинство. На предложение автора избавиться от этого своего недостатка, приобретя очки, он отвечает таким высокопарным и высокомерным монологом:

- ▶ — Дитя, — ответил он, — не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами... Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат

на Джульетте, лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник...

Очевидный смысл этого рассказа — во всяком случае, один из его смыслов, — сводится к тому, что близорукость Александра Федоровича Керенского, на преимуществах которой он так решительно настаивал, была не только медицинской, но и, так сказать, исторической близорукостью.

А кончается рассказ так:

► Вечером я уехал в город. В Гельсингфорс, пристанище моей мечты...

А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого года, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб.

В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на Арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.

Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа душала его овчинами своих страстей. Что увидел в оцетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю... Но вслед за ним на трибуну взошел Троицкий, скривил губы и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды:

— Товарищи и братья...

(И. Бабель. Сочинения. Т. 1.
М., 1990. Стр. 105—106).

Эта короткая фраза — даже не фраза, полуфраза — «...и сказал голосом, не оставлявшим никакой надежды» — является собой не что иное, как перифраз знаменитой дантовской: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

О том, как жестоко расправлялся Троцкий с теми своими «товарищами и братьями», которые не хотели двигаться в указанном им направлении, хорошо известно. Достаточно вспомнить возглавленное им кровавое подавление кронштадтского мятежа.

Что говорить! Троцкий, конечно, тоже был палач. И конечно, палачом был и Тухачевский, демон Гражданской войны, как назвал его Троцкий. Он тоже подавлял восстание кронштадтских моряков, расстрелял их парламентариев. Во время крестьянских волнений в Ярославле и на Тамбовщине впервые применил артиллерию и отравляющие газы против мирного населения. Брал в качестве заложников целые семьи, организовал для этих, арестованных по его приказу заложников семь концлагерей.

Но когда я слышу сегодня — а слышать это приходится постоянно, — не все ли, мол, равно, кто бы тогда кого сожрал — Сталин Бухарина или Бухарин Сталина; Ворошилов с Буденным Тухачевского или Тухачевский Ворошилова и Буденного, — я отвечаю: нет, не все равно!

И не только в том тут дело, что если бы не Сталин победил Бухарина, а Бухарин Сталина, не было бы страшной сталинской коллективизации (хотя, конечно, и в этом тоже). И не только в том, что если бы Сталин не убил Тухачевского, совсем другая армия встретила бы танки Гудериана (хотя, конечно, и в этом тоже).

Говорят, что история не терпит сослагательного наклонения.

Да, все случилось так, как случилось, потому что не могло случиться иначе. Но это не могло случиться иначе по той же причине, по которой примитивная раковая клетка побеждает более тонко и сложно организованную.

Каковы бы они ни были — Троцкий, Каменев, Сокольников, Радек, Тухачевский, — то, что с ними случилось, было не поражением одних и победой других в политической борьбе. Это была метастаза до чудовищных размеров раз-

росшейся раковой опухоли, сжиравшей и в конце концов сожравшей более тонко и сложно организованную живую ткань.

* * *

Бабель любил ярких людей. Он в них влюблялся.

Так было с первым секретарем Кабардино-Балкарии Беталом Калмыковым. Познакомившись, а потом и подружившись с ним, он не уставал им восхищаться. Часами мог говорить о нем, все новыми и новыми восторгами расцвечивая эту свою влюбленность:

- ▶ Этот человек во всех отношениях первый в Кабардино-Балкарии... Он первый охотник, нет ему равного. Он – самый лучший сборщик кукурузы, никто с ним не может потягаться в сноровке, и он лучший в стране наездник... Он всегда окружен личной охраной, состоящей из товарищей, бывших партизан, а когда Сталин распорядился, чтобы у Бетала была официальная охрана и чтобы его сопровождали телохранители, он с трудом переносил это и страшно над охранниками издевался. Недавно мы ездили с Беталом на строящуюся электростанцию. Вышли из машины и пошли по тропинке. Тотчас из другой машины, нагнавшей нас, вышли двое красноармейцев и пошли за нами. Вдруг мы увидели перед собой на тропинке свернувшуюся змею. Бетал обернулся и сказал одному из телохранителей: «А ну-ка, убей змею!» Тот остановился и растерялся, не зная, как к ней подойти. Бетал быстро шагнул вперед, наклонился, как-то по-особому схватил змею и швырнул на землю. Она была мертва. Обернувшись, он иронически сказал: «Как же вы будете защищать меня, когда вы змею убить боитесь?» – и пошел дальше»...

Вместе с Беталом Бабель... разъезжал по балкарским селениям, возвращался уставшим, но наполненным разнообразными впечатлениями: «Какой народ! Сколько человеческого достоинства в каждом пастухе! И как они верят Беталу! Все его помыслы — о благе народа»...

Вершиной, высшей точкой всех этих его восторгов стала такая история:

- ▶ Настало Седьмое ноября. С утра недалеко от города состоялись скачки с призами. Были приглашены все московские гости, расположившиеся на сколоченной по этому случаю деревянной трибуне.

Во время скачек на трибуну поднялась и прошла прямо к Беталу какая-то бедно одетая женщина, в шали, с ребенком на руках, и сказала ему несколько слов по-кабардински. Бетал быстро обернулся к председателю облисполкома и по-русски спросил:

- Она колхозница?
- Они — лодыри, — ответил тот.

Бетал что-то сказал женщине, она спустилась с трибуны и ушла. Я видела, как Бетал, до того очень веселый, стал мрачен. Бабель спросил своего соседа:

- Что сказала женщина?
- Тот перевел:

— Бетал, мы колхозники, и мы голодаем. Нам выдали на трудодни десять килограммов семечек. Мой муж болен, у нас нечего есть.

- А что сказал Бетал? — спросил Бабель.
- Он сказал, что завтра к ним приедет...

На другой день утром Бетал выполнил свое обещание, данное женщине с ребенком, и поехал в селение, где она жила. Бабель поехал с ним. Возвратился он очень взволнованный и рассказал:

«По дороге в селение мы заехали сначала за секретарем райкома, а затем за председателем колхоза. И то, как Бетал открывал для них дверцу машины и с глубоким поклоном приглашал их сесть, заставило их побледнеть. По дороге к дому женщины Бетал сказал: «Неужели сердца ваши затопило жиром? Ведь эта женщина обошла всех вас, прежде чем ко мне подняться». И немного погодя: «Какая разница между мной и вами? Вы будете ехать по мосту, будет тонуть ребенок — и вы проедете мимо, а я остановлюсь и спасу его. Неужели сердца ваши затопило жиром?» Но председатель колхоза и секретарь райкома твердили одно и то же: «Эти люди — лодыри, они не хотят работать».

Мы подъехали к маленькой, покосившейся хате, зашли во двор, сплошь заросший бурьяном, затем в дом. На постели лежал муж женщины, укрытый лохмотьями, и агонизировал. (Именно это слово — «агонизировал» — употребил Бабель.)

В комнате было прибрано, но почти пусто. На столе — мешок с семечками. Женщины с ребенком дома не было. Бетал все осмотрел, сказал несколько слов больному колхознику, спросил, давно ли болеет, сколько семья заработала трудодней и что получила на них в виде аванса. Затем, обернувшись к секретарю райкома, сказал: «Послезавтра я назначаю во дворе этого дома заседание обкома. Чтобы к этому времени здесь был построен новый дом, чтобы у этих людей была еда и им было выплачено все, что полагается на трудодни». Затем, выйдя во двор, добавил: «Чтобы был скошен весь бурьян и там, — показав на дальний угол двора, — была построена уборная». Затем сел в машину, и мы уехали», — закончил рассказ Бабель.

Назначенный Беталом день совещания был потом изменен, но все равно срок для постройки нового дома был так невелик, что все мы с волнением его ждали. Но

было слишком много желающих поехать на это совещание, и мне было неудобно просить Бабеля взять меня с собой. Поэтому я с нетерпением ждала его возвращения.

«Перед нами стоял красивый новый дом, — рассказывал мне, возвратясь, Бабель, — он был закончен, только внутри печники еще клали печку. Во дворе был скошен весь бурьян, и в дальнем углу двора виднелась уборная. Не только весь двор был заполнен народом, но и все прилегающие к нему улицы и огороды. Беталу так понравились собственные слова, сказанные ранее, что он, обращаясь к членам обкома по-русски, снова произнес: «Неужели сердца ваши затопило жиром?» Затем заговорил по-кабардински. Я схватил за рукав ближайшего ко мне человека и спросил: «Что он говорит?» Оглянувшись, тот ответил: «Ругает один человек». Голос Бетала звучал резко, глаза его сверкали, и через некоторое время я снова спросил соседа: «Что он говорит?» «Ругает все люди», — ответил тот, повернув ко мне испуганное лицо. И наконец, когда Бетал стал что-то выкрикивать и я подумал, что он закончит речь, как это обычно бывает, словами: «Да здравствует Сталин!» — еще раз толкнул соседа и спросил: «Что говорит он?» — тот повернулся ко мне и сказал: «Он говорит, что надо строить уборные». Именно этими словами закончил Бетал Калмыков свою речь.

И вот как Антонина Николаевна завершает серию всех этих бабелевских историй:

- ▶ О съезде стариков, который созывал Бетал, Бабель написал из Нальчика своей матери: «Завтра, например, открывается второй областной съезд стариков и старух. Они теперь главные двигатели колхозного строительства, за всем надзирают, указывают моло-

дым, ходят с бляхами, на которых написано «Инспектор по качеству», и вообще находятся в чести. Такие съезды созываются теперь по всей России, гремит музыка, а старикам аплодируют. Придумал это Калмыков, секретарь здешнего обкома партии (у которого я гошу), кабардинец по происхождению, а по существу своему великий, невиданный, новый человек. Слава о нем идет уже полтора десятилетия, но все слухи далеко превзойдены действительностью. С железным упорством и дальновидностью он превращает маленькую горную полудикую страну в истинную жемчужину».

Бетал Калмыков был один из тех людей, которые владели воображением Бабеля.

(А. Пирожкова. Семь лет с Исааком Бабелем. Нью-Йорк., 2001. Стр. 22–27).

Да, Бетал Калмыков, конечно же, был человек незаурядный. И нет ничего удивительного в том, что он, как говорит Антонина Николаевна, владел воображением Бабеля. Но неужели умница Бабель не понимал, что этот съезд стариков, которые ходят с бляхами «Инспектор по качеству», — чистейшей воды показуха! И неужели он не знал, что по всей Кабардино-Балкарии, — да что там! По всему Советскому Союзу! — мало кто из колхозников получает на трудодень больше, чем те, которым Бетал приказал за два дня выстроить новый красивый дом. Не мог же он каждой такой голодающей семье вот так вот взять и выстроить по новому дому!

Нет, все это Бабель, наверное, понимал. Во всяком случае, не мог об этом не догадываться. Но он был влюблен в Бетала, и, как всякий влюбленный, искренне восхищался каждым поступком, каждым порывом, каждым жестом предмета своей влюбленности.

- ▶ Вечером нас пригласили на праздничный концерт. Когда один танцор в национальном горском костюме и в мягких, как чулки, сапогах вышел плясать лезгинку и стал как-то виртуозно припадать на колено, Бетал, сидевший в первом ряду, вдруг возмутился, встал и отчитал его за выдумку, нарушающую дедовский танец. Таких движений, какие придумал танцор, оказывается, в народном танце не было. После концерта Бабель шепнул мне: «Вы видите, как по-хозяйски он вмешался даже в лезгинку!

(Там же. Стр. 25).

Из этого, однако, вовсе не следует, что он был слеп.

- ▶ Иногда он в раздумье произносил:
— Хочу понять: Бетал — что он такое?

(Там же. Стр. 27).

Судя по этой запомнившейся Антонине Николаевне реплике, Бабель прекрасно понимал, что этот восхищающий его «невиданный новый человек» — не так прост, как он выглядит в его святочном рассказе о новом красивом доме, выстроенном для двух голодающих колхозников.

Приведу только три крохотных эпизода из записок Антонины Николаевны, которые могли натолкнуть — и наверняка натолкнули — Бабеля на размышления о других гранях характера этого «невиданного нового человека»:

- ▶ Вчера поздно вечером мы гуляли вдвоем с Беталом по парку; дорожки его были засыпаны облетевшей листвой. Вдруг неизвестно кому Бетал сказал: «Надо бы подмести дорожки». И кто-то рядом из темноты ответил: «Будет сделано!..»

После окончания скачек и раздачи призов мы подошли к стоянке машин, и Бетал, открыв дверцу одной из них, предложил мне сесть. Его жена Антонина Александровна села рядом со мной. В другую машину сел Бетал вместе с Бабелем, и они тронулись первыми, мы — за ними. Так как дорога была проселочная, пыльная, я спросила шофера:

— А мы не могли бы их обогнать?

— У нас это не полагается, — ответил он строго.

Я с недоумением посмотрела на Антонину Александровну.

— Я к этому привыкла, — улыбаясь сказала она.

Бабель присутствовал в обкоме на специальном совещании инструкторов, которые отправлялись в Балкарию, чтобы ликвидировать те 15 процентов единоличных хозяйств, которые там еще оставались. Возвратившись, Бабель повторил мне речь, произнесенную Беталом перед инструкторами:

— Побрякушки, погремушки сбросьте, это вам не война. Живите с людьми на пастбищах, спите с ними в кошках, ешьте с ними одну и ту же пищу и помните, что вы едете налаживать не чью-то чужую жизнь, а свою собственную. Я скоро туда приеду. Я знаю, вы выставите людей, которые скажут, что все хорошо, но... выйдет один старик и расскажет мне правду. Если вы все хорошо устроите, то с каким приятным чувством вы будете встречать день Седьмого ноября. Если же вы все провалите... унистожу, унистожу всех до одного! (Хорошо говоря по-русски, Бетал некоторые слова немало искажал.)

— Угроза была нешуточной, инструкторы побледили, — закончил Бабель свой рассказ...

(Там же. Стр. 22–23).

Каждый из этих трех эпизодов может служить информацией к размышлениям о Бетале Калмыкове как «кабардино-балкарском Сталине». Но более всего впечатляет, конечно, последний, третий, эпизод.

«Инструкторы побледнели», — констатирует Бабель. Но он не объясняет, что побледнели они еще и потому, что задача, которую поставил перед ними Бетал, в сущности, была невыполнимой. Ведь он требовал от них, чтобы они загнали в колхозы те пятнадцать процентов балкарских крестьян, которые хотели остаться единоличниками, — то есть чтобы они провели в тех балкарских селах *сплошную коллективизацию*, но сделали это — *по-хорошему, по-доброму*.

Инструкторы знали, что без насилия, а может быть, даже без эксцессов в этом деле не обойтись. Непременно возникнет какой-нибудь старик — и, наверно, даже не один, — который потом скажет Беталу, что в колхоз его загнали насильно. Потому и побледнели. Ну и, конечно, потому, что знали, что зловещее обещание Бетала («унистожу, унистожу всех до одного») отнюдь не было метафорой.

Да, Бетал Калмыков, — такой, каким его рисует Бабель, — при всей своей яркой незаурядности и при всем своем обаянии предстает перед нами руководителем, легко вписывающимся в сталинский стиль управления страной. Что, однако, не помешало Сталину его «унистожить».

В 1937 году Бетал был арестован, подвергнут жестоким пыткам (его пытал известный палач Борис Родос, до полу-смерти избивший Ежова) и расстрелян.

* * *

Бабель любил ярких людей, а Сталин их ненавидел. Во всяком случае, в том слое, который Сталин последовательно и планомерно уничтожал, яркие преобладали. Поэтому неудивительно, что при первой же волне арестов Бабель почувствовал, что снаряды рвутся рядом.

- ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ПЕРВОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА
ГУГБ НКВД СССР О НАСТРОЕНИЯХ И.Э.
БАБЕЛЯ В СВЯЗИ С АРЕСТАМИ БЫВШИХ
ОППОЗИЦИОНЕРОВ.

5 июля 1936 г.

27. VI Эммануэль¹ позвонил на службу А.Н. Пирожковой (инженер Метропроекта, жена И.Э. Бабеля, беспартийная). Она ему по телефону сказала: «Я страшно рада слышать Ваш голос. Я очень беспокоилась за Вас. Хотела позвонить, но просто не рискнула, так как была уверена, что мне ответят, что Вас нет». Эммануэль условился в тот же день зайти за нею после работы. Он зашел и пошел ее провожать домой. Эммануэль спросил, почему она так беспокоилась. Пирожкова сказала: «Как, неужели Вы ничего не знаете? Я прямо поражена, что Вас не тронули. Арестована масса народу. У меня такое впечатление, что арестованы все поголовно, кто имел хоть какое-нибудь отношение к троцкистам». На вопрос, кто же это арестован, Пирожкова ответила: «Из моих приятелей взяты Маруся Солнцева, Ефим и Соня Дрейцеры, последняя жена Охотникова Шура Соломко, Ляля Гаевская, кроме того снова арестован Яша Охотников». У Пирожковой сложилось такое впечатление, что арестовывают поголовно всех, и она даже забеспокоилась за себя и Бабеля...

Об аресте Ефима Дрейцера им рассказала Соня Дрейцер, об аресте Сони Пирожкова убедилась сама, придя к ней в гости и застав комнату опечатанной.

*(Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917—1953. М., 2002. Стр. 316).*

¹ Эммануэль — псевдоним осведомителя. Высказывалось предположение, что под этим именем скрывался литературовед Я.Е. Эльсберг. (Н. Громова. Распад. Судьба советского критика. 40–50-е годы. М., 2009. Стр. 136).

Яков Осипович Охотников был первым, кого Бабель — на допросах — назвал в составленном им по требованию следователя перечне своих ближайших друзей.

Большевик с 1918 года, участник гражданской войны на Украине и боев на Царицынском направлении, в репрессивную сталинскую машину он попал рано. В первый раз он был арестован то ли в 26-м, то ли в 27-м. Но тогда отделался ссылкой на Соловки. В ссылке пробыл недолго. Написал заявление в ЦК, что отказывается от своих троцкистских заблуждений — и был (в 1929-м или 30-м) возвращен в Москву на ответственную работу — сперва заместителем управляющего Гипромедом, а потом управляющим Гипроавиа.

О том, какой яркий это был человек, можно судить по короткой характеристике, которую ему дал А.С. Бубнов: «Это наш советский Борис Савинков».

Своей нелюбви к Сталину Охотников не скрывал.

- ▶ В начале 30-х он открыто примкнул к так называемой контрреволюционной троцкистской группе Смирнова И.Н., Тер-Ваганяна Е.А., Преображенского Е.А. и других.

(Известия ЦК КПСС. 1991, № 6. Стр. 80).

Иван Никитич Смирнов, имя которого стоит в этом перечне первым, был старым, убежденным, последовательным противником Сталина. Он был одним из немногих, кто в свое время открыто потребовал выполнить «завещание» Ленина и сместить Сталина с поста генерального секретаря. И в 1932-м, когда не только троцкисты, но и «правые» были уже разгромлены и капитулировали, он снова потребовал отстранить Сталина от руководства страной:

- ▶ В связи с неспособностью нынешнего руководства выйти из экономического и политического тупика в

партии растет убеждение в необходимости смены руководства.

*(Бюллетень оппозиции, № 31, ноябрь 1932.
Р. Конквест. Большой террор.
Флоренция, 1974. Стр. 56).*

Такого человека Сталин, конечно, не мог не убить. Но в 1932-м сделать это он еще не мог.

- ▶ В рядах «старой гвардии» было немного таких, чьи заслуги перед революцией могли бы сравниться с заслугами Смирнова. Бывший заводской рабочий, активный революционер с семнадцатилетнего возраста, член партии большевиков со дня основания, он до Октября неутомимо создавал новые большевистские подпольные организации, а после революции стал одним из выдающихся руководителей Красной Армии.

В 1905 году Смирнов принимал активное участие в московском вооруженном восстании. Он провел много лет в царских тюрьмах и ссылке и отбыл два срока ссылки за Полярным кругом.

В Гражданскую войну он возглавлял вооруженную борьбу большевиков в Сибири и обеспечил победу Пятой армии красных над силами Колчака. Его телеграмма Ленину 4 декабря 1919 года напоминает об одной из решающих побед в Гражданской войне:

«Колчак лишился своей армии... Темпы преследования врага таковы, что к 20 декабря Барнаул и Новониколаевск будут в наших руках».

После победы над Колчаком Смирнов был назначен председателем Сибирского ревкома. С 1923 по 1927 год он работал наркомом связи. После смерти Ленина Смирнов примкнул к антисталинской оппозиции, за что его исключили из партии. Хотя в 1929

году он был восстановлен в партии, однако вскоре его арестовали и отправили в ссылку, а в первый день 1933 года... по сталинскому распоряжению он был заключен в тюрьму.

(А. Орлов. *Тайная история сталинских преступлений М.*, 1991. Стр. 106–107).

Законопатить И.Н. Смирнова в тюрьму в это время Сталин уже мог. Но сделать с ним то, что ему хотелось, тогда было еще не в его силах.

Казалось бы, почему? Что могло ему помешать? Троцкий давно уже был выслан из страны и свой «Бюллетень оппозиции», в котором И.Н. Смирнов призывал отстранить Сталина, издавал за границей. И в Политбюро в это время уже не оставалось ни одного оппозиционера, там были теперь одни сталинцы.

Но вся штука в том, что сталинцы эти еще не были теми послушными марионетками, в каких они превратились четыре года спустя.

Сталин столкнулся с этим в конце 1932-го, обжегшись на деле *Рютина*.

М.Н. Рютин возглавил группу правых, требовавших в отличие от своих капитулировавших вождей (Бухарина, Рыкова и Томского) решительных антисталинских действий. Знаменитая «Рютинская платформа» предлагала развернутую политическую и экономическую программу, требовала восстановления в партии всех исключенных из нее оппозиционеров, включая Троцкого. Но главное — в самой категорической форме требовала немедленного отстранения Сталина от руководства партией и страной. Из двухсот страниц текста этой «Рютинской платформы» этой теме было уделено пятьдесят, на которых Сталин изображался

- ▶ ... злым гением русской революции, который, движимый интересами личного властолюбия и мстительности, привел революцию на край пропасти.

(Б. Николаевский. *Как готовился московский процесс. Из писем старого большевика. Социалистический вестник. Париж, № 23—24, дек. 1936. Р. Конквест. Большой террор. Стр. 69*).

Поначалу Сталин предполагал, что дело Рютина не выйдет за пределы компетенции ОГПУ и после соответствующего разбирательства Рютин будет расстрелян. (Перед соратниками он изобразил это дело так, будто «Рютинская платформа» была не чем иным, как призывом к его убийству, «дворцовому перевороту» и насильственному свержению советской власти.) Но ОГПУ передало дело в ЦКК (Центральной Контрольной Комиссии). Этот орган тогда тоже уже возглавляли сталинцы — Куйбышев, Орджоникидзе, Андреев. А в то время, когда рассматривалось дело Рютина, — Рудзутак. Именно он и не решился взять решение этого дела на себя и передал его на рассмотрение Политбюро. И вот тут-то и произошло непредвиденное:

- ▶ ... наиболее определенно против казни говорил Киров, которому и удалось увлечь за собою других членов Политбюро.

(Там же).

Против Сталина на том заседании Политбюро выступили также Орджоникидзе, Куйбышев, Косиор, Калинин и Рудзутак. Сталина поддержал один Каганович. Даже Молотов и Андреев колебались.

Неизвестно, знал ли Сталин испанскую пословицу, гласящую, что ненависть — это блюдо, которое надлежит есть холодным. Но действовал он, неизменно руководствуясь именно этим правилом. Он умел ждать.

Чтобы развязать себе руки для окончательной расправы над Рютиным и И.Н. Смирновым, ему пришлось проделать большую и кропотливую работу. Для этого понадобилось убить Кирова, выкинуть из Политбюро — и в конце концов тоже убить — Куйбышева, Косиора и Рудзутака, довести до самоубийства Орджоникидзе...

И вот — настал его час. Час сладостной, долго ожидаемой мести.

И.Н. Смирнова он решил не просто убить, но, протаскивав через мучительные допросы и кровавую комедию суда, заставить его признаться в несуществующих преступлениях.

- Исследуя обвинения, предъявленные подсудимым на первом из московских процессов, мы обнаружим в его стенограммах массу противоречий, подтасовок и явных фальсификаций. Когда же дело доходит до главных обвиняемых — Зиновьева, Каменева и Ивана Никитича Смирнова, — нагромождение нелепостей доходит до такой степени, что, кажется, эта зловещая конструкция должна была рассыпаться сама собой. Такая странность становится до некоторой степени объяснимой, если принять во внимание, что все обвинения, направленные против этих лиц, фабриковал — притом вплоть до мельчайших деталей — не кто иной, как сам Сталин. К тому же он лично проверял и поправлял полученные от них «признания».

...На совещании в Кремле Сталин отобрал семерых обвиняемых, которые, по его мнению, должны были фигурировать на процессе как члены руководящего «троцкистско-зиновьевского центра». Замнаркома Агранов позволил себе усомниться в целесообразности включения Ивана Никитича Смирнова в состав этого «центра».

— Боюсь, — заметил Агранов, — что мы не сможем обвинить Смирнова, — ведь он уже несколько лет сидит в тюрьме.

— А вы не бойтесь, — сказал на это Сталин, зло оглядев Агранова. — Не бойтесь, только и всего.

Благоразумнее было бы посчитаться с мнением Агранова. Действительно, Смирнов неотлучно пребывал в тюрьме с 1 января 1933 года и продолжал находиться в заключении вплоть до августа 1936 года, когда начался процесс. У него просто не было физической возможности участвовать в каком-либо заговоре...

Упрямство Сталина и его желание во что бы то ни стало обвинить Смирнова невзирая на его абсолютное алиби поставило Вышинского на суде в очень трудное положение. Чтобы придать сталинской фальсификации хоть минимальную убедительность, в своей судебной речи Вышинский заявил:

— Смирнов может сказать: я ничего не делал. Я был в тюрьме. Наивная отговорка! Смирнов действительно находился в тюрьме начиная с 1 января 1933 года, но мы знаем, что, находясь в тюрьме, он организовал контакты с троцкистами и был обнаружен шифр, с помощью которого Смирнов, сидя в тюрьме, переписывался со своими друзьями на воле.

Однако Вышинский, разумеется, не смог продемонстрировать суду этот шифр...

Да и какие, собственно, советы мог слать из тюрьмы Смирнов, отрезанный от мира, Мрачковскому или Зиновьеву? Быть может, он должен был писать им: «Цельтесь Сталину не в живот, а в голову»?

(А. Орлов. Тайная история сталинских преступлений. М., 1991. Стр. 104–106).

Ненависть Сталина к И.Н. Смирнову была так велика, что тут, как пишет об этом тот же Орлов,

- ▶ ...ему изменяла даже его обычная осторожность. Переставали существовать границы, диктуемые здравым смыслом, и вообще стиралась грань между реальностью и абсурдом.

(Там же. Стр. 104).

Я рассказал об этом так подробно, потому что к Бабелю все это имеет даже не косвенное, а самое прямое отношение.

Дело Бабеля («Дело № 419») открывается описью подшитых и пронумерованных документов, за которой следует документ № 1 — «Постановление на арест». В этом постановлении Бабель и группа его друзей, связь с которыми ему инкриминируется, названы РУКОВОДЯЩИМ ЯДРОМ СМЕРТНОУБИЙЦЕВ. А подрывная контрреволюционная деятельность, в которой они обвиняются, состояла преимущественно в обдуманной, планомерной, целенаправленной, изобретательной дискредитации Сталина:

- ▶ 1939 года, июня «20» дня. Я, ст. следователь Следчасти НКВД СССР — лейтенант госбезопасности Сериков, рассмотрев материалы на гр-на Бабеля Исаака Эммануиловича,
НАШЕЛ:

Бабель Исаак Эммануилович, 1894 года рождения, урож. г. Одессы, беспартийный, гр-н СССР, член Союза советских писателей.

Является активным участником антисоветской организации среди писателей. В 1934 году следствием по делу троцкиста-террориста Дмитрия Гаевского было установлено, что Бабель является участником правотроцкистской организации. Гаевский в отношении Бабеля показал:

«...Так как душой и организатором пятилетки является Сталин и возглавляемый им ЦК, то последова-

тельность обязывала сосредоточивать огонь именно по этим целям, пуская в ход доступные средства.

Так как прямой атаки вести было нельзя, то подлая тихая сапа прорывала путь для нападения в виде анекдотов, клеветы, слуха, сплетен в соответствии с правилами борьбы...

Руководящее ядро смирновцев специально изобретало это гнусное оружие, и роль его сводилась к тому, чтобы эту продукцию специфически изо дня в день, как по канве, проталкивать на периферию и дальше продвигать в толщу партии.

Для этой цели было несколько мастерских, где это оружие фабриковалось. Этим занимались Охотников, Шмидт, Дрейцер, Бабель, Воронский и др.».

(С. Поварцов. Причина смерти — расстрел. М., 1996. Стр. 82).

Поскольку поименованные в этом списке лица составляли РУКОВОДЯЩЕЕ ЯДРО СМИРНОВЦЕВ, надо полагать, что именно им — во всяком случае, им тоже — и передавал сидевший в то время в тюрьме Иван Никитич Смирнов свои зашифрованные вражеские указания и директивы.

В таких «Постановлениях на арест», «Обвинительных заключениях» и других документах, фабриковавшихся на Лубянке, в одной группе злоумышленников сплошь и рядом могли оказаться люди, никак меж собой не связанные. Даже имена их могли быть друг другу неизвестны.

В данном случае это было не так.

Всех поименованных в этом списке лиц Бабель хорошо знал. С каждым из них если не дружил, то — приятельствовал.

Особенно близок был ему второй — после Охотникова — человек из этого перечня его подельников — Дмитрий Аркадьевич Шмидт.

Он тоже был человек яркий. Может быть, даже самый яркий из всех, входивших в круг друзей и приятелей Бабеля.

- ▶ Биография прославленного комбрига достойна пера историка и кисти художника. Родился он в Прилуках — уездном городке Полтавской губернии в семье конторщика страхового агентства. Мать работала наборщицей папирос на махорочной фабрике. Мальчишкой Шмидт освоил профессию слесаря, потом кинемеханика. В годы Первой мировой войны юноша вступил в партию большевиков и получил партийную кличку Шмидт — в честь знаменитого лейтенанта русского флота, поднявшего восстание на крейсере «Очаков». Далее — первый арест, тюрьма в Николаеве, действующая армия и полицейский надзор вплоть до февраля 1917 года. Прапорщик Шмидт принимает участие в революции сначала как пропагандист большевистской фракции в дивизиях Юго-Западного фронта, а чуть позже борется за установление советской власти на Украине: командует 5-м советским полком. Вместе с Я. Охотниковым Шмидт храбро воюет против Врангеля под Царицыном, получает второй по счету орден боевого Красного Знамени. С 1921 по 1924 год стоит во главе 2-й Червонной дивизии. Бабель посвятил ему в «Конармии» один из лучших рассказов — «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча».

Шмидт гордился дружбой с талантливым писателем. Много часов провели они в шумных застольях или наедине за чаем, причем, как вспоминала жена Шмидта, «Д.А. пил чай почти холодный, а И.Э. кипятком, но недоразумений у них не возникало». Если Бабель приезжал на Украину, Шмидт приглашал его на охоту либо на рыбалку; в случае необходимости помогал Бабелю уединиться для творческой работы.

Рассказчиком Шмидт был необыкновенным. В узком кругу и среди знакомых литераторов его прозвали Митька-анекдотчик. Больше всего Бабель любил серию т. н. врунских рассказов Шмидта, исполняемых от имени некоего Левки-фейерверкера. Вспоминая Шмидта, Алексей Яковлевич Каплер с улыбкой комментировал самый смешной сюжет цикла: как Левка нес дежурство в Зимнем дворце. Все, кто слушал, смеялись до слез, — так это было забавно и остроумно.

Нередко персонажами острых анекдотов комбрига бывали высшие партийные и военные руководители страны, что, кстати, сближало Шмидта с Карлом Радеком. Поскольку либеральные времена всё дальше уходили в прошлое, жанр политического анекдота становился рискованным.

Дух вольности и хмель Гражданской войны не перебродили в бесшабашном командире.

(Там же. Стр. 67—68).

В годы больших сталинских чисток такой человек, конечно, не мог уцелеть. Но у Сталина был к легендарному комдиву еще и свой, особый, личный счет:

- Расправа со Шмидтом была вполне в стиле Сталина: вождь таил против комдива старую обиду. Шмидт не только состоял прежде в оппозиции, но еще и нанес Сталину личное оскорбление...

Рассказывали, что, прибыв в Москву во время съезда 1927 года, на котором было объявлено исключение троцкистов, он встретил Сталина, выходявшего из Кремля. Шмидт, в своей черной черкеске с наборным серебряным поясом и в папахе набекрень, подошел к Сталину и полушутя-полусерьезно стал осыпать его ругательствами самого солдатского образца. Он закончил жестом, имитирующим выхватывание сабли, и погро-

зил Сталину, что в один прекрасный день отрубит ему уши.

Сталин побледнел и сжал губы, но ничего не сказал. Инцидент истолковали как скверную шутку, в крайнем случае как оскорбление, не носившее политического характера и по сему не достойное внимания.

(Р. Конквест. *Большой террор*. Стр. 395—396).

Не надо быть особенно глубоким и тонким психологом, чтобы представить, какую злую радость испытал Сталин, когда ему доложили (а о таких вещах ему наверняка докладывали), что давно нелюбимый им «вертлявый Бабель», оказывается, был связан тесными дружескими узами с некогда нанесшим ему несмываемое оскорбление строптивым комдивом.

Бабель, конечно, понимал, — не мог не понимать, — что его связи с бывшими троцкистами (Охотниковым, Дрейцером, Шмидтом) смертельно опасны. Но были у него и другие друзья-приятели, которые, как ему казалось, в случае, если угроза расправы приблизится к нему вплотную, захотят и сумеют его защитить.

Я имею в виду его друзей-чекистов.

Бросив свою беспечную, легкомысленную реплику насчет того, что тюрьма ему не страшна («При моих-то связях!»), он ведь имел в виду не только то, что вхож в дом Ежовых. Ему вполне могло казаться, что гораздо более надежной гарантией его безопасности может служить его тесная близость с другими влиятельными чекистами.

Например, с полномочным представителем ОГПУ по Северному Кавказу Ефимом Евдокимовым. Знакомы они были давно. Еще в 1926-м он помог Бабелю в его хлопотах о получении заграничного паспорта для матери.

Другим крупным чекистом, с которым он тоже сблизился, был Валерий Михайлович Горожанин.

На этой фигуре стоит несколько задержаться.

В 1999 году вышла в свет книга: «Кто руководил НКВД, 1934—1941». Это был справочник, собрание кратких, можно даже сказать, кратчайших биографий и послужных списков руководящих чекистов эпохи Большого террора. Биографий этих там было около тысячи.

Когда я проглядывал эту книгу, мне сразу бросился в глаза и, признаюсь, более всего меня там поразил образовательный ценз всех этих высокопоставленных вершителей наших судеб.

Вот несколько примеров, взятых, можно сказать, наугад.

► **АГРАНОВ ЯКОВ САУЛОВИЧ**

Образование: четырехклассное городское училище.

АДАМОВИЧ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Образование: 3 класса сельского училища.

АКСЕНОВ ПЕТР ФРОЛОВИЧ

Образование: 2-классное училище.

БАБИЧ ИСАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Образование: 2-классная церковно-приходская школа.

БАК БОРИС АРКАДЬЕВИЧ

Образование: 4-классное начальное училище.

БАСКАКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Образование: 4-классная земская школа.

БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ

Образование: 5 классов школы.

БЕРМАН БОРИС ДАВЫДОВИЧ

Образование: 3-классное училище.

БЛИНОВ АФАНАСИЙ СЕРГЕЕВИЧ**Образование:** 4-классная школа.**ВАЙНШТОК ЯКОВ МАРКОВИЧ****Образование:** 4-классное городское училище.**ВЕРШИНИН СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ****Образование:** 4 класса церковно-приходской школы.

Читатель, верно, уже заметил, что в этом перечне руководящих чекистов строго выдержан алфавитный порядок: так построена вся эта книга.

Не имея возможности пройти по всему алфавиту и ограничившись лишь первыми тремя его буквами, я хочу заверить читателя, что и дальше, на какой букве алфавита эту книгу ни открой — от А до Я, — картина будет та же. В графе «Образование» едва ли не каждого высокопоставленного чекиста обозначен тот же «потолок», тот же образовательный ценз: два, три, четыре класса сельской или церковно-приходской школы, редко — пять классов какого-то городского училища.

На этом фоне Валерий Михайлович Горожанин выглядит белой вороной.

В интересующей нас графе его анкетных данных читаем:

- ▶ **Образование:** 4 класса гимназии 1905 (экстерном); 8 классов гимназии 1907 (экстерном); юридический факультет Новороссийского университета 1909—1912, отчислен за революционную деятельность; учился на 4-м курсе юридического факультета Новороссийского университета 1917.

(Н. Петров, К. Скоркин.
Кто руководил НКВД. 1934—1941.
М., 1999. Стр. 154).

Вряд ли знания, полученные Валерием Михайловичем на юридическом факультете, пригодились ему в его чекистской должности. О том, как и чем отличалась действовавшая там юрисдикция от той, какую ему преподавали в Новороссийском университете, теперь нам уже хорошо известно.

В послужном списке В.М. Горожанина значится и такая его должность: «Следователь по особо важным делам Одесского ГУБЧК». Но по другим пунктам и параграфам этого его послужного списка видно, что на таких должностях он не задержался. И незаурядная — в сравнении с другими крупными чекистами — его образованность тем жутким ведомством, в котором ему привелось служить, все-таки была востребована: завершил он свою деятельность в НКВД на посту замначальника ИНО (то есть — иностранного отдела) ОГПУ СССР, а затем — начальника Особого бюро НКВД СССР.

Чем там в этом Особом бюро ему приходилось заниматься, не знаю. Но видимо, не только в ИНО, но и там тоже пригодилось его знание иностранных языков. (Он свободно владел французским, переводил А. Франса, даже написал книгу о нем, так что Бабелю с ним, как и ему с Бабелем, было о чем беседовать.)

Из сказанного, разумеется, вовсе не следует, что, выбирая себе друзей и знакомых, Бабель придавал большое значение уровню их образованности. Ну а что касается чекистов, то к ним у него был еще и сугубо профессиональный, чисто писательский интерес.

Т.В. Иванова запомнила реплику Бабеля о другом его знакомом чекисте:

— Вот парадокс. Ему приходится расстреливать людей, а ведь это самый сентиментальный человек из всех, кого я знаю.

Этот «самый сентиментальный человек» — Моисей Савельевич Горб — возглавлял один из так называемых «спецотделов НКВД». А. Ваксберг, упомянув в одном из своих литга-

зетских очерков его имя, назвал его «чекистом генеральского уровня» (*Досье ЛГ*, 1993, № 5. Стр. 20).

К размышлениям о том, что в этих людях так привлекало Бабеля, нам придется возвращаться еще не раз.

Но взаимоотношения Бабеля с чекистами — и даже не только с чекистами, но и с самим этим зловещим ведомством, с Чека, — это отдельный сюжет, особая, специальная тема.

* * *

В первой своей автобиографии, написанной в 1924 году, Бабель — после не раз потом повторявшегося им рассказа о том, как А.М. Горький отправил его «в люди», — коротко сообщает:

- ▶ И я на семь лет — с 1917 по 1924 год — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой конной армии, в Одесском губкоме, был репортером в Петербурге и в Тифлисе, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе и проч. И только в 1923 году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять.

*(Писатели. Автобиографии и портреты
современных русских прозаиков.
Под редакцией Вл. Лидина. М., 1928. Стр. 35).*

Это краткое и не слишком вразумительное сообщение («потом служил в Чека»), вскользь брошенное в перечне множества других его служб и занятий, вызывает ряд вопросов. Как он туда попал? Сколько времени там служил? Какая у него там была должность и чем ему приходилось заниматься?

Более или менее внятные ответы на все эти — невольные возникающие — вопросы Бабель дал в рассказе «Дорога». (Первая публикация: журнал «30 дней», 1932, № 3):

► ...вокзал вышвырнул меня на Загородный проспект из воющего своего острога. На стене, через улицу, у заколоченной аптеки, термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Гороховой гремел ветер; над каналом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами.

В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, помещалась Чека. Два пулемета, две железные собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека; он звал меня в письмах.

— Ступай в Аничков, — сказал комендант, — он там теперь...

— Не дойти мне, — и я улыбнулся в ответ.

Невский Млечным Путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы...

В конце анфилады, освещенный точно на сцене, сидел за столом в кружке соломенных мужицких волос — Калугин. Перед ним на столе горою лежали детские игрушки, разноцветные тряпицы, изорванные книги с картинками.

— Вот и ты, — сказал Калугин, поднимая голову, — здорово... Тебя здесь надо...

Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и... проснулся — прошли мгновения или часы — на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде. Срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже.

— Купаться, — сказал стоявший над диваном Калугин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра...

Наутро Калугин повел меня в Чека, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них... Языки знает...

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

(И. Бабель. *Сочинения*. Т. 2.
М., 1990. Стр. 203–206).

Даже мемуарам не всегда и не во всем можно доверять. А тут — рассказ. Художественное произведение. Но фактической стороне дела в том, как она представлена в этом бабелевском рассказе, я думаю, можно верить. Я имею в виду должность «переводчика при Иностранном отделе», на которую определил юного Бабеля председатель Петроградской ЧК М.С. Урицкий.

Вряд ли, основываясь на этом очень коротком эпизоде бабелевской биографии, можно сделать вывод, что Бабель, пусть даже недолго, был *чекистом*. Кличка эта, однако, к нему прилепилась.

- Современные авторы М. Скрыбин и Л. Гаврилов в книге об Урицком используют бабелевский рассказ «Дорога», но придают сцене знакомства дозу белле-

тристического утепления. Получается так: «И юноша вместо страха вдруг ощутил в себе добрую жалость к этому усталому человеку, принявшему на свои плечи непосильный такой груз. Со своей стороны и Урицкий присматривался к будущему сотруднику. Ему показалось, что юноша чем-то напоминает младшего брата Соломона. Пахнуло детством. Днепр. Черкассы». Еще пара страниц, и с легкой руки наших фантазеров летом 1918 года Бабель отбывает на Украину «в числе других питерских чекистов».

*(М. Скрябин, А. Гаврилов.
Светить можно — только сгорая.
М., 1987. Стр. 307, 310).*

Легенда и есть легенда. На самом деле в то лето мнимый чекист отправился на Волгу в составе продовольственной экспедиции под руководством известного «красного купца» С.В. Мальшева.

*(С. Поварцов. Причина смерти — расстрел.
Стр. 6—7).*

Еще до появления бабелевского рассказа «Дорога» одно только беглое упоминание в его автобиографии 1924 года, что он «служил в Чека», стало поводом для скандального эпизода, случившегося во время первой его поездки во Францию.

Сам Бабель говорит об этом скупко, не вдаваясь в подробности:

- ▶ В свое время мои рассказы о прежней работе в Чека подняли за границей страшный скандал, и я был более или менее бойкотируемым человеком.

*(Выступление на заседании
секретариата ФОСП. И. Бабель
Сочинения. Т. 2. М., 1990. Стр. 372).*

А история была такая.

Когда Бабель однажды появился в каком-то парижском кафе, где собирались русские писатели-эмигранты, к нему с криком «чекист!» кинулся поэт Валентин Горянский — бывший «сатириконец», приятель Саши Черного, — и будто бы даже нанес Исааку Эммануиловичу «оскорбление действием», то есть дал ему пощечину.

Вот как излагает этот эпизод Владимир Брониславович Сосинский, в то время бывший парижанином (гражданином СССР он стал позже):

- ▶ Незадолго перед тем появилась краткая автобиография Исаака Эммануиловича, и в «Ротонде» один поэт из эмигрантского «Возрождения» бросился с криком: «Чекист!»... нанес пощечину...

Современный биограф Бабеля, ссылаясь на того же Сосинского, к этому добавляет, что Исаак Эммануилович будто бы

- ▶ ...ответил на пощечину, а скандал получил огласку в эмигрантской прессе.

(С. Поварцов. Причина смерти — расстрел. Стр. 7).

Действительно ли Бабель дал обидчику, как теперь принято выражаться, «симметричный ответ», — то есть ответил на пощечину пощечиной, да и была ли сама пощечина или Горянский ограничился только словесным оскорблением, мне установить не удалось. А вот тому, что скандал «получил огласку», подтверждение нашлось. И огласку эту — весьма громкую — он, как оказалось, получил не только в эмигрантской, но и в советской печати. И не где-нибудь, а в «Известиях».

16 марта 1928 года на страницах этой главной советской газеты появился фельетон:

► СЛУЧАЙ С БАБЕЛЕМ

Ничего особенного не случилось. Не пугайтесь. Речь идет не о «Закате».

А о «Ротонде».

«Ротонда» — не пьеса и даже не рассказ.

Скорее всего — кафе.

И находится это кафе в том самом городе, где временно проживает Бабель. В Париже.

Ходит Бабель по шумным улицам французской столицы, наполняется впечатлениями и скучает по Бене Крику и Госиздату.

Со скуки зашел в «Ротонду». Сел за столик и заказал кофе.

За соседним столиком сидели какие-то люди, разговаривая по-русски. В одном из них узнал Бабель старорого своего знакомого. Подошел к нему.

— Здравствуй, Горянский. — И протянул руку.

Каемся, мы не знаем, кто такой Горянский... Так себе — небольших размеров эмигрант.

Мы даже не знаем (как нам не стыдно!), чем занимается сей молодой человек. Белые газеты уверяют, что он писатель. Может быть.

Толстого мы читали. Горянского нет.

Так вот, писатель Бабель подошел к своему старому знакомому и беззаботно протянул руку.

И маленький эмигрантик гордо поднялся на цыпочки, посмотрел на писателя и отвернулся. По словам постоянных «очевидцев» из белых газет, на лице Горянского в ту минуту «появилось презрение».

Похорошел ли от этого Горянский или нет, нам доподлинно неизвестно. Но в эмигрантской среде в одно мгновение приобрёл большую популярность. Герой! Смельчак!..

Александр Яблоновский в поисках темы наткнулся на Горянского и воспел его в заметке, напечатанной в «Возрождении».

Александр Яблоновский узнал адрес героя, сбегал к нему домой и расспросил о подробностях.

Смельчак показал Яблоновскому автобиографию Бабея, из которой так и прет злодейский дух...

В автобиографии сказано: «Служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 г.»

Ага! Попался! В Чека служил, помогал бороться с контрреволюцией, а еще очки носит, изменник! В Наркомпросе работал, ликвидировал «ять», издевался над «и с точкой», фиту уничтожил, предатель! В продотрядах занимался, помогал снабжать рабочих хлебом, мошенник! Бить его, Бабея, за такие дела!

Захлебываясь от восторга по поводу «разоблачения» вредной личности, ветхий Яблоновский не мог отказать себе в бесплатном удовольствии и попытался лягнуть Горького.

Это он, Горький, виноват в том, что Бабель работал в Чека и Наркомпросе. С ужасом, смешанным с невежеством, Яблоновский восклицает:

— Считал же он (Горький) своим «другом» Дзержинского!

Как страшно! Какой удар по русской литературе!

А нам известны и другие подобные проделки знаменитого русского писателя. Кроме покойного Дзержинского, у него имеется в СССР много друзей, которые к званию «чекист» относятся с большим уважением...

*(Вопросы литературы, 2006, ноябрь—декабрь.
Стр. 370—376. Публикация и комментарий
Э. Шульмана).*

Похоже, что эта — в общих чертах уже известная нам — история в этом фельетоне была изложена с наибольшим приближением к реальности.

Автором его был Григорий Рыклин.

Был он, как выражаются в таких случаях герои Зошенко, «кавалер и у власти», — партийный журналист, «правдист» (позже он даже одно время был главным редактором «Крокодила»), — и ему, что называется, по штату полагалось утверждать, что у нас в СССР «к званию «чекист» относятся с большим уважением». Но в то время примерно так же — и не по штату, а по зову сердца — высказывались и многие беспартийные интеллигенты:

Механики, чекисты, рыбоводы.
Мы с вами братья, мы одной породы,
Побоями нас нянчила страна!

*(Э. Багрицкий. Стихотворения и поэмы.
М. — Л., 1964. Стр. 123).*

Да и сам Бабель как будто тоже искренне готов был считать чекистов своими товарищами и братьями. Вот как заканчивается его рассказ о том, как чекисты приняли его в свое братство:

- ▶ Не прошло и дня, как все у меня было — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет больше нигде в мире, кроме как в нашей стране.

Так началась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.

*(И. Бабель. Сочинения.
Т. 2. Стр. 203—206).*

Связи с этими своими товарищами он сохранял и потом. И даже имел на них кое-какое влияние. Во всяком случае, в некоторых критических ситуациях мог обращаться к ним за помощью.

- ▶ Ленинград. 1926 год. Нежданно-негаданно арестован мой муж. За что — неизвестно. Мечтаю лишь об

одном — о предъявлении ему любого обвинения, чтобы самой разобраться, в чем дело, и предпринять нужные шаги.

В те дни зашел меня навестить Сергей Эрнестович Радлов. Рассказал, к слову, что приехал в Ленинград Бабель и будет завтра у него. Точно не помню, но как будто встречались они для разговоров о постановке пьесы Бабеля «Закат». Сергей Эрнестович пригласил прийти и меня — познакомлюсь с Бабелем, расскажу о моей горе и недоумении, посоветуемся — не сможет ли он хоть чем-нибудь помочь.

Прихожу к Радлову. Бабель уже там.

Я дрожала, заикалась, волновалась в начале разговора, но вскоре, увидав полное доброжелательство в глазах, устремленных в мои глаза, какую-то горькую полуулыбку Бабеля, покоренная неторопливо подобранными расспросами всех обстоятельств, обрела покой. Мне стало легко говорить с ним. Я поверила в его человечность, в то, что он не бежит чужого горя и, вероятно, искренне хочет прийти на помощь. Я не знаю, что он предпринял, но уже на следующий день Исаак Эммануилович сообщил, что «дело» моего мужа будет рассмотрено в ближайшее время и мне надо набраться терпения совсем ненадолго. «Посмотрим! Посмотрим!» — сказал он и очень ласково улыбнулся.

Вскоре Андрей Романович был освобожден без предъявления какого-либо обвинения, так как «дела» вообще не существовало. И тогда мы написали Бабелю письмо, поблагодарив его за вмешательство.

(В. Ходасевич. Портреты словами: очерки. М., 2009. Стр. 294–295).

Тут интересна не столько фактическая основа этой истории — хотя, конечно, и она тоже, — сколько тональность, в какой она рассказана.

И сама рассказчица, и посоветовавший ей обратиться за помощью к Бабелю Сергей Эрнестович Радлов уверены, что обращаются они по адресу. Во всяком случае, они не сомневаются, что в этом непростом деле Бабель в силах им помочь. И — что особенно важно — сам Бабель этого не отрицает. Держится, как «власть имущий», каковым в конце концов оказывается.

Был слух, что Бабель будто бы собирался писать книгу о чекистах, — чуть ли даже не роман. Об этом есть запись в дневнике Дмитрия Фурманова. Познакомился он с Бабелем в декабре 1924 года, и к этому же времени относится его дневниковая запись, в которой он рассказывает о своих впечатлениях об этом своем новом знакомце и об их открывшемся ночном разговоре:

► Книг хранить не умеет, не любит — дома нет почти ничего. Особенно жадно посматривал на сборники из Гражданской войны. Потом говорит, что хочет написать большую вещь о Чека.

— Только не знаю, справлюсь ли — очень уж я однообразно думаю о ЧК. И это оттого, что чекисты, которых знаю, ну... ну просто святые люди.

*(Д. Фурманов. Из дневника писателя.
М., 1934. Стр. 83).*

Эта записанная Фурмановым бабелевская реплика меня поразила. Конечно, и сама по себе тоже, но еще и потому, что эту реплику мне уже пришлось услышать однажды.

* * *

Мы сидели у Лили Юрьевны Брик и пили чай. Неожиданно пришел академик Алиханян с молодой женщиной. Слишком молодой, чтобы быть его дочерью, но все-таки недостаточно молодой, чтобы приходиться ему внучкой. Разумеется, это была его жена.

Он сказал, что торопится, долго засиживаться не может. Заглянул с единственной целью — дать прочесть одну коротенькую самиздатскую рукопись, которую сегодня же должен вернуть владельцу. Это был небольшой рассказ Солженицына — «Правая кисть». Чтобы ускорить дело, решили не передавать друг другу страницы, а прочесть рассказ вслух. Читать выпало мне.

Подробно этот рассказ я сейчас уже не помню: помню только, что главный его персонаж был — старенький, жалконький, смертельно больной, в сущности, уже умирающий человечешко, безнадежно пытающийся пробиться сквозь все бюрократические рогатки, чтобы лечь в больницу. В доказательство своих особых прав он совал ветхую, рассыпающуюся справку, выданную ему каким-то комиссаром в каком-то незапамятном году. Справка удостоверяла, что некогда он действительно состоял «в славном губернском Отряде особого назначения имени Мировой революции и своей рукой много порубал оставшихся гадов». Вглядываясь в эту справку и в протягивавшую ее руку — правую кисть, такую слабенькую, что, казалось, у нее еле хватило сил вытянуть эту справку из бумажника, автор вспоминает, как они — вот эти самые чекисты-чоновцы — лихо рубили с коня наотмашь, наискосок, безоружных пеших, совсем перед ними беспомощных людей.

Я дочитал рассказ до конца.

Слушатели подавленно молчали.

Первой подала голос Лиля Юрьевна. Тяжело вздохнув, она сказала:

— Боже мой! А ведь для нас тогда чекисты были — святые люди!

Вспомнил я это не только потому, что реплика Л.Ю. с той давнишней репликой Бабея, которую записал Фурманов, совпала буквально. На самом деле тут не одно совпадение, а по меньшей мере три.

Вторым, не менее впечатляющим, чем первое, было совпадение довольно узкого круга высокопоставленных чекистов, с которыми приятельствовал — а с иными даже и дружил — Бабель, с кругом тех, кого Лиля Юрьевна с Маяковским тоже числили «святыми людьми».

У приятеля Бабеля Валерия Михайловича Горожанина, который — помните? — переводил Франса и даже написал книгу о нем, — с Маяковским отношения были даже более тесные, чем с Бабелем.

Познакомились они в 1926-м, в Харькове (Горожанин в то время был одним из руководителей ГПУ Украины) и быстро подружились. В следующем году в Ялте (сохранилась ялтинская фотография этого года, где они вдвоем) вместе сочинили сценарий «Инженер д'Арси» — о том, как англичане в начале века брали под свой контроль персидскую нефть. Идея сценария принадлежала Горожанину, но Маяковского она увлекла, и сценарий был ими написан. Возможности у соавторов, как вы понимаете, были большие, — тем не менее фильм по этому их сценарию поставлен не был.

Горожанин подарил Маяковскому «маузер», а Маяковский в ответ посвятил ему написанное им осенью 1927 года стихотворение «Солдаты Дзержинского»:

Железу —
незачем
комплименты лестные.
Тебя
нельзя
ни славить
и ни выместить.
Простыми словами
говорю —
о железной
необходимости.

Несмотря на сугубо официозный характер стихотворения, посвящение было личное, дружеское, — не только «без чинов», но даже и без фамилии — просто: «Вал. М.», то есть — Валерию Михайловичу.

С Маяковским был близок и другой приятель Бабеля — Моисей Савельевич Горб, о котором Бабель говорил, что не встречал более сентиментального человека, чем этот железный чекист, которому по долгу службы приходится выносить расстрельные приговоры.

С Маяковским и Бриками Горб познакомился в 1926 году — в Берлине, где был в то время советским агентом. Позже он исполнял обязанности заместителя начальника иностранного отдела ОГПУ и отвечал за советскую агентуру во Франции. Казалось бы, ему ничего не стоило устроить Маяковскому так и не состоявшуюся, последнюю его поездку в Париж — к Татьяне Яковлевой. Но — не устроил. Наверно, не потому, что не захотел, а потому, что не мог: вопрос решался в других, более высоких инстанциях. Так или иначе, но отношения у них после этого не испортились. На семейном и дружеском, домашнем юбилее Маяковского 30 декабря 1929 года, — том самом, куда Мейерхольд притащил гору маскарадных костюмов и где собравшиеся друзья пели сочиненную Кирсановым кантату: «Владимир Маяковский, Тебя воспеть пора, От всех друзей московских — Ура! Ура! Ура!», в числе самых близких друзей юбиляра — соратников по ЛЕФу, бывших и настоящих возлюбленных (Наташа Брюханенко, Нора Полонская) было четверо друзей-чекистов с женами: Горожанин, Горб, Эльберт и Агранов.

По меньшей мере трое из этой четверки (а может быть, и все четверо) входили и в круг друзей-приятелей Бабеля.

Лев Эльберт (за привычку «цедить слова» друзья прозвали его Снобом), один из самых близких друзей-чекистов Маяковского, был родом из Одессы и в начале своей чекистской карьеры, как и Бабель, работал в иностранном отделе ЧК, — так что не сойтись они не могли. Ну а печально знаменитый

Янечка Агранов, который у Маяковского и Бриков бывал чуть ли не на правах близкого родственника, не мог не сойтись с Бабелем уже по одному тому, что внедрение в писательскую среду и сближение с известными писателями входило в круг его прямых служебных обязанностей.

* * *

Я уже говорил, что сцена у Л.Ю. Брик, вспомнившаяся мне по ассоциации с репликой Бабеля, поразила меня не одним и не двумя, а по меньшей мере тремя совпадениями.

Третьим было совпадение — точнее, тематическая близость, — прочитанного нами в тот вечер самиздатского рассказа Солженицына «Правая кисть» с одним, написанным чуть ли не четырьмя десятилетиями раньше, неизвестным рассказом Бабеля.

К вопросу о том, написал Бабель или так и не написал книгу о чекистах, мы еще вернемся. Но по крайней мере один рассказ, — точнее, одну главу для этой задуманной им книги, как выяснилось, он написал.

- ▶ Все прояснилось благодаря нашему известному кинодраматургу Алексею Яковлевичу Каплеру. Он дал согласие побеседовать со мной и ответить на вопросы. Договорились о встрече в нижнем холле Центрального Дома литераторов.

Серенький февральский денек 1974 года. Прихожу в ЦДЛ за полчаса до срока и устраиваюсь на диване. Посматриваю на вход. Ровно в три с противоположной стороны из коридорчика, ведущего в кафе, появился Каплер и направился прямо ко мне... Мы сели за столиком в углу, и я, не теряя времени, приступил к расспросам. Чувствовалось, что Алексею Яковлевичу приятен разговор о Бабеле, которого он хорошо знал... Сначала мы говорили про участие Бабеля в фильме Сергея

Эйзенштейна «Бежин луг», потом я спросил о романе. Быть может, Бабель мистифицировал современников? «Нет, почему же, — живо отреагировал Каплер, — я хорошо помню, что однажды присутствовал на вечере, где Бабель читал отрывок из романа...» Я тотчас схватился за карандаш, чтобы как можно точнее записать рассказ Каплера. Вот он.

«Как-то мне позвонил Илюша Бачелис и сказал, что сегодня вечером у него на квартире Бабель будет читать новые вещи. «Приходи, если хочешь». Что за вопрос! Не представляю себе человека, который мог бы отказаться от такого удовольствия. Я, конечно, обещал прийти к Бачелису на его квартиру в Оружейном переулке. Илюша в то время ведал искусством в «Комсомолке», его хорошо знали в писательских и журналистских кругах.

Пришел я вовремя. Полон дом гостей, все ждут Бабеля, а он опаздывает. Наконец, раздался звонок, и на пороге появился Бабель в сопровождении незнакомого мне, да, видимо, и всем остальным, человека. «Знакомьтесь, — говорит Исаак Эммануилович и указывает на своего спутника, — знаменитый троцкист Семичев». Да-а... Лица у присутствующих вытянулись, в комнате воцарилась тягостная пауза. Понимаете: тридцать седьмой год! Уже вовсю шли аресты, люди исчезали бесследно. Но вижу, что Бабель доволен всеобщим замешательством, глаз лукавый, и сам вот-вот начнет смеяться. Тут же выяснилось, что привел он с собой старинного приятеля, наездника с московского ипподрома. Вот так любил пошутить...»

— И как же прошла читка? — перебил я Каплера. — Наверное, Бабель читал неизвестные рассказы, а не отрывок из романа?

«Да нет. Он предупредил нас, что это именно глава из нового романа.

Назывался не то «Чека», не то «Чекисты». О чем глава? Насколько помню, это история коменданта губернской «чеки», который приводил приговоры в исполнение... И вот он пришел в негодность, заболел, что ли... Его демобилизовали, дали пенсию, и поехал он к себе в родную деревню. Ну, так вся глава о том, как этот человек не может найти общий язык с крестьянами, которые, кажется, ничего о своем земляке толком не знают. Или, может быть, наоборот, — все знают и потому ненавидят. Бывший комендант-чекист испытывает драму страшного одиночества от невозможности найти контакт с нормальными людьми. Гигантской силы вещь...»

(С. Поварцов. Причина смерти — расстрел. Стр. 20—21).

Общее у этого бабелевского рассказа с солженицынским только одно: и в том, и в другом — жалкий итог жизни чекистского «исполнителя» (попросту говоря — палача). Похоже даже (нельзя все-таки забывать, что рассказ Бабеля до нас дошел только в кратком и очень приблизительном пересказе Каплера), что и там, и тут подразумевается, что этот жалкий итог — не что иное, как расплата, возмездие за содеянное, — «Мне отмщение и аз воздам». Но тут же сразу бросается в глаза и разница: у героя солженицынского рассказа болит, страдает, томится, изнемогает его измученная, истрепанная, измочаленная старческая плоть. А у бабелевского «исполнителя» болит *душа*.

Есть, правда, между этими двумя рассказами и еще одно — конечно, не случайное — сходство: и тот, и другой дошли до читателя в «самиздате». В советское время напечатаны они — ни при какой погоде — быть не могли.

«Погода» на протяжении тех сорока лет, что отделяют бабелевский рассказ от солженицынского, бывала разная: то оттепель, то опять заморозки. Но «климат» оставался неиз-

менным. Что же касается Бабеля, то ему, как мы знаем, и до оттепели дожить было не дано: на его долю выпала самая лютая сталинская зима. И можно только удивляться, как — еще вон когда! — он решился переступить этот «рубеж запретной зоны».

На что, собственно, он рассчитывал?

И тут с неизбежностью возникает тот вопрос, к рассмотрению которого я обещал вернуться.

А был ли «мальчик»?

Была ли она все-таки написана — та книга о чекистах, о замысле которой он рассказывал Фурманову?

Рассказывал, кстати, не однажды. В разговорах с ним к этой теме возвращался постоянно:

- ▶ Давно уже думает он про книгу, про «Чека», об этой книге говорил еще весной, думает все и теперь. «Да, всего пока нельзя, — говорит, — сказать, а комкать неохота, — потому думаю, коплю, терплю... Пишу драму. Написал сценарий. Но это — не главное. Главное — «Чека»: ею охвачен.

*(Д. Фурманов. Из дневника писателя.
М., 1934. Стр. 80—81).*

Так написал все-таки или не написал?

Биограф Бабеля Сергей Поварцов уверен, что написал.

- ▶ Существует мнение, что замысел, о котором Бабель рассказывал Фурманову, не был осуществлен, но отзвук его сохранился в рассказе «Фроим Грач». К счастью, мне удалось убедиться в обратном. Бабель сдержал слово, данное Фурманову...

— Как вы думаете, где же рукопись романа? — спросил я Каплера.

Алексей Яковлевич отхлебнул из чашки, вздохнул:

— Когда меня выпускали на свободу, то вернули все вещи и бумаги. В этом учреждении существовала стро-

гая форма. Я не сомневаюсь, что к Бабелю применили другую форму — «подлежит уничтожению».

Вероятно, выражение горького разочарования появилось на моем лице. И тогда, как бы в утешение, Каплер рассказал, что вскоре после смерти Сталина на каком-то литературном собрании Фадеев вспомнил отзыв «хозяина» о бабелевском романе. Книга, мол, хорошая, однако издать сейчас (то есть в 1936–1938 гг.) нельзя, разве что лет через десять. Для членов Политбюро и верхушки НКВД роман по указанию Сталина отпечатали в количестве пятидесяти экземпляров. Как официальное лицо и руководитель Союза писателей Фадеев пытался найти рукопись Бабеля и даже привлек к поискам Генерального прокурора СССР. Видимо, не получилось...

*(С. Поварцов. Причина смерти —
расстрел. Стр. 21).*

Вообще-то это было в духе Сталина. Как мы помним, такую же реплику он кинул по поводу пьесы Булгакова «Батум»: пьеса, мол, хорошая, но ставить ее нельзя.

Тем не менее, всё это густо пахнет легендой. И даже С. Поварцов, в эту легенду как будто уже поверивший, все-таки счел нужным внести в свой рассказ некую отрезвляющую ноту:

- ▶ В отличие от Каплера Иван Михайлович Гронский, бывший редактор «Известий» и «Нового мира», а позднее узник ГУЛАГа, такой информацией не обладал. Тем не менее его ответ на мой запрос относительно романа Бабеля представляет определенный интерес. В октябре 1977 года Гронский писал мне, что «Бабель собирал материалы о чекистах и с некоторыми из них он даже имел беседы (с Аграновым, Прокофьевым, Р.П. Катаняном и др.). Были и у меня с Бабелем беседы о че-

кистах — о Ф.Э. Дзержинском, В.Р. Менжинском, И.С. Уншлихте и о др. работниках ВЧК, с которыми я был знаком и к которым относился с большой любовью и глубочайшим уважением. <...> Рассказы о чекистах Бабель слушал с жадностью. Что-то заносил в свою записную книжку. Задавал вопросы. Но никогда, ни разу он мне не говорил о том, что у него имеется готовый роман о ЧК».

Про спецтираж романа, изготовленный для партийных вождей, Иван Михайлович написал так: «До июля 1938 года я встречался с членами Политбюро, особенно с М.И. Калининным, который, как известно, живо интересовался художественной литературой и часто встречался с писателями. Но никто из них о романе Бабеля и об его «отпечатании» мне ничего не говорил. Не слышал я о таком «отпечатании» и от писателей. А встреч и разговоров с ними у меня было много. Были разговоры и о Бабеле».

...Я пишу эти страницы осенью 1993 года. По сравнению с недавним прошлым кое-что в нашем архивном деле стало проще, какие-то двери приоткрылись. Как результат — новые публикации, статьи, неизвестные ранее факты. Есть и сенсационные находки. В присутственных местах Министерства безопасности России теперь можно увидеть людей, работающих с документами, на которых десятки лет стоял гриф секретности. Железные челюсти Левиафана слегка разжалась. Но роман Бабеля, посвященный охранникам страшного чудовища, все еще не найден и будет ли найден? Как знать. Возможно, в бункерах Президентского архива или в хранилищах Политбюро на какой-нибудь дальней полке стоит объемистая папка и ждет своего часа...

(Там же. Стр. 21–22).

Вряд ли это случится.

Скорее всего «объемистая папка» с рукописью бабелевского романа о чекистах, если таковая существовала, оказалась в числе тех девяти (или пятнадцати?), которые были изъяты при его аресте и почти наверняка, как предполагал Каплер, попали под гриф: «Подлежит уничтожению».

Одно несомненно.

Если даже Бабель и написал эту свою книгу, никаких попыток опубликовать ее он не предпринимал. Твердо знал, что это невозможно.

Не то что отдать эту рукопись в издательство или какой-нибудь журнал, даже просто хранить ее — и то было смертельно опасно.

* * *

Однажды Бабель уговорил нескольких своих друзей-литераторов поехать с ним на бега. Он был страстным лошадиником, и ему захотелось приобщить к этой своей страсти приятелей. Собрались, поехали. И вдруг — хлынул ливень.

— Ничего не поделаешь. Возвращаемся, — вздохнул Бабель.

Друзья удивились, что он так испугался дождя. Стали уговаривать его не отменять поездку, приводя обычные в таких случаях резоны: не сахарные, мол, не растаем. Да и дождь, судя по всему, зарядил не надолго, скоро кончится.

— Да не в нас дело, — объяснил Бабель. — Дорожка-то уже испорчена. Так что настоящих бегов сегодня уже не будет.

Тут с ним, понятно, спорить никто не стал. Но один из компании бабелевских друзей, особенно настырный, этим объяснением не удовлетворился.

— Я не понимаю, — сказал он. — Если дорожка испорчена, так ведь она испорчена для всех лошадей одинаково. Значит, лучшая лошадь все равно прибежит первой?

— Вы ничего не понимаете в лошадях, — сказал Бабель, — но вы кое-что смыслите в литературе. Итак, представьте!

Объявлен конкурс на лучший рассказ. Участвуют: Лев Толстой, Чехов, Потапенко, Ефим Зозуля... По логике вещей первую премию должен завоевать Толстой. Верно? Ну, может быть, Чехов... А теперь вообразите, что по условиям конкурса пишущего подвешивают за ноги к потолку. Завязывают ему глаза. Рот затыкают кляпом. Правую руку заламывают назад и приматывают веревкой к спине... Ну, и так далее... При таких условиях на первое место вполне может выйти Ефим Зозуля... Теперь, надеюсь, вы поняли, что такое испорченная дорожка?

Еще бы им было этого не понять! Нарисованная Бабелем картина была хорошо им знакома. По собственному грустному опыту...

Этот второй дошедший до нас устный рассказ Бабеля в отличие от уже известного нам первого как будто не о Сталине. Но на самом деле, по самой своей сути — именно о нем.

Ведь именно Сталин создал ситуацию, в которой Бабель, Зощенко, Платонов, Булгаков, Мандельштам, Пастернак, Ахматова были превращены в маргиналов, а то и просто вычеркнуты, выброшены из литературы, а первыми писателями страны почитались Бубеннов с его «Белой березой», Бабевский со своим «Кавалером Золотой Звезды» и все прочие Проскурины, Поповкины, Закруткины, Марковы, Кочетовы и Сартаковы — имя им легион.

Я уже не раз приводил на этих страницах знаменитую реплику Сталина, брошенную им назначенному руководить литературой партийному функционеру Д.А. Поликарпову. Тот жаловался, что писатели капризны, неуправляемы и работать ему с ними поэтому невероятно трудно. Так вот, Сталин на эти его жалобы ответил так:

— В настоящий момент, товарищ Поликарпов, мы не можем подобрать вам других писателей. А вот другого Поликарпова для наших писателей мы найдем.

И нашел.

Поликарпов был снят — притом с волчьим билетом, — с жестким указанием близко не подпускать его к такому тонкому и сложному делу, как руководство художественной литературой.

Я не помню, кто в тот раз был выдвинут на должность этого «другого Поликарпова». Не так уж трудно было бы это вспомнить, узнать, проверить. Но стоит ли этим заниматься? В разное время руководить литературой Сталиным назначались люди разные. Иногда это бывали партийные функционеры вроде А.С. Щербакова. Иногда в руководство выдвигался кто-нибудь из представителей самой писательской братии — А.А. Фадеев, Н.С. Тихонов, В.П. Ставский... Но каков бы ни был каждый из этих «других Поликарповых», результат их деятельности всегда был один и тот же.

Знаменитая реплика, брошенная Сталиным Поликарпову, не была лицемерной. Сказав однажды, что незаменимых людей у нас нет, Сталин прекрасно понимал, что к искусству и к художественной литературе этот его лозунг неприменим. Он искренне хотел, чтобы создаваемая им управляемая литература была представлена не только серыми назначенцами вроде Безыменского или Киршона, но и настоящими писателями. А с настоящим писателем — это он тоже прекрасно понимал, — нельзя обращаться «по-поликарповски».

► И.В. СТАЛИН — В.П. СТАВСКОМУ

10 декабря 1935 г.

Тов. Ставский!

Обратите внимание на т. Соболева. Он, бесспорно, крупный талант (судя по его книге «Капитальный ремонт»). Он, как видно из его письма, капризен и неровен (не признает «оглобли»). Но эти свойства, по-моему, присущи всем крупным литературным талантам (может быть, за немногими исключениями).

Не надо обязывать его написать вторую книгу «Капитального ремонта». Такая обязанность ниоткуда не вытекает. Не надо обязывать его написать о колхозах или Магнитогорске. Нельзя писать о таких вещах по обязанности.

Пусть пишет, что хочет и когда хочет.

Словом, дайте ему перебеситься... И поберегите его.

Привет!

И. Сталин

*(Вождь и культура. Переписка И. Сталина
с деятелями литературы и искусства.
М., 2008. Стр. 139).*

Это напоминает известный анекдот.

На каком-то кремлевском приеме — или концерте — пел Иван Семенович Козловский. И от высокопоставленных гостей — в том числе и членов правительства — сыпались на него самые разные просьбы, пожелания, заказы.

Вмешался Сталин.

— Не надо, — сказал он, — давить на товарища Козловского. Пусть товарищ Козловский поет то, что хочет. А хочет он спеть арию Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин».

Так и тут — слово в слово: «Пусть пишет, что хочет и когда хочет». Что это — как не лицемерие? Не обычное сталинское иезуитство?

Да, это, конечно, было иезуитство. Но иезуитство, так сказать, высшего порядка. Более тонкое и изощренное, чем в анекдоте про Ивана Семеновича Козловского.

Не давите. Умейте ждать. Пусть перебесится. Все равно будет наш, никуда не денется. Раньше или позже, — САМ, не по заказу и не под нажимом, а ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ напишет то, что нам требуется. Это будет та литература, которая нам нужна, но при этом — не суррогат, не эрзац, а — настоящая, высокохудожественная литература.

Таковы были «мудрые», как принято было говорить при жизни вождя, сталинские тактика и стратегия. И, как может показаться, она дала свои плоды.

Соболев действительно «перебесился», послушно впрягся в оглобли и создал те книги, каких от него ждали (одна из них – сборник рассказов «Морская душа» – в 1942 году была даже удостоена Сталинской премии). Со временем он даже выбился в «Поликарповы», – возглавил созданный под его руководством Союз писателей РСФСР.

При всем при том вся эта «мудрая» сталинская стратегия полностью провалилась, потому что писателя Соболева – того, который написал «Капитальный ремонт», что, собственно, и дало Сталину повод назвать его крупным талантом, – больше не было. Вместо него под тем же именем и фамилией теперь фигурировал совсем другой, как выразился в своем разговоре со Сталиным о Ванде Василевской Фадеев, – «средний писатель». Лучше даже сказать не «средний», а – *усредненный*.

Сам Соболев признавал, что тем, прежним Соболевым, который написал «Капитальный ремонт», ему уже не быть. И это мучившее его сознание своего творческого бессилия едва не довело его до самоубийства.

► О. МИХАЛЬЦЕВА (СОБОЛЕВА) – СТАЛИНУ

21 марта 1946 г.

*От Ольги Ивановны Михальцевой-Соболевой,
неизменного друга писателя*

ЛЕОНИДА СОБОЛЕВА

Товарищу Сталин,

в жизни бывает, когда даже независимый и сильный человек нуждается в моральной поддержке. Оглянувшись вокруг на густо населенный наш огромный и такой крошечный мир, я поняла, что говорить мне

сейчас не с кем, слишком значительным представляется вопрос.

И мыслью обратилась к Вам.

Я ни о чем конкретном не прошу Вас, тем все это, быть может, сложнее.

У меня ощущение, что в нашем доме идет четвертый акт пьесы, когда все концы сводятся с концами и впереди лежит лишь неизбежная, закономерная, но все же несколько гадательная развязка пятого акта...

Речь идет о ЛЕОНИДЕ СОБОЛЕВЕ...

Леонид потерял веру в качество того, что он делает, потерял веру в свое творческое «я», следовательно, в свою нужность, потерял интерес к жизни, стал, повторяю, в тягость самому себе...

Если бы не его исключительный, светлый талант, создавший единственную в своем роде, неувядаемую книгу «Капитальный ремонт», первый том новых «Войны и мира», которая может и должна быть дописана им, я никогда не посмела бы обращаться к Вам.

Сталкиваясь с самыми разнообразными людьми в самых близких и отдаленных уголках земли, я всякий раз убеждаюсь в том, какая подлинная ценность этой прекрасной советской книги. Ее до сих пор помнят, цитируют, перечитывают и любят...

Леонид сейчас созрел, как мыслитель и художник, и полон до краев. Нужен маленький и верный толчок, чтобы это богатство вырвалось наружу сквозь мрачную броню недоверия к себе, прорвать которую самому мешает страшная усталость.

Какой должен быть этот толчок... взываю к Вашему великому уму и великому житейскому опыту.

Всем существом знаю, что Леонид может, продолжив «Капит. ремонт», создать изумительную книгу о нашей эпохе, где на принципе его характерных «па-

раллелей» встанут обе войны, империалистическая и отечественная.

Но развязка нашего пятого акта может быть и трагической.

(Там же. Стр. 139).

На что рассчитывала Ольга Ивановна, сочиняя и отправляя Сталину это письмо? Может быть, на новую Сталинскую премию? Или на другое какое-нибудь проявление заботы вождя?

Но никакая новая сталинская забота уже не могла помочь Леониду Соболеву вернуться к себе и продолжить, а тем более завершить «Капитальный ремонт». Тут даже всевластный Сталин был бессилён.

Ну а сам Сталин? О чем думал он, читая это письмо? Понял ли, что Соболев не оправдал и никогда уже не оправдает его надежд?

Вряд ли. Но если даже и понял, мог бы сказать, как всегда говорил в подобных случаях:

— Бывают ошибки, но линия правильная.

Но то-то и дело, что творческая деградация Соболева не была единичным, частным случаем. В том, что случилось с ним, проявилась определенная закономерность.

То, что случилось с Леонидом Соболевым и Юрием Олешей, происходило со всеми классиками и корифеями соцреализма.

Можно ли в повести А.Н. Толстого «Хлеб» и «Рассказах Ивана Сударева» узнать автора «Петра Первого», «Детства Никиты», «Ибикуса»?

Можно ли в романе Эренбурга «Девятый вал» узнать автора «Хулио Хуренито»?

Можно ли в беспомощных, графоманских стихах Николая Тихонова узнать автора «Орды» и «Браги» — первых стихотворных сборников этого поэта?

Владислав Ходасевич заметил однажды:

- ▶ У поэта система образов, выбор эпитетов, ритм, характер рифм, инструментовка стиха – словом, все, что зовется манерой и стилем, – есть выражение духовной его личности. Изменение стиля свидетельствует о глубоких душевных изменениях, причем степень перемены в стиле прямо пропорциональна степени перемены внутренней. Поэтому внезапный переход от классицизма к футуризму означал бы внутреннее потрясение прямо катастрофическое...

Вот оно – настоящее слово: катастрофа!

«Перемены в стиле» А.Н. Толстого и Николая Тихонова, о которых я говорил (перечень имен может быть продолжен), никак не менее, а пожалуй, даже и более разительны, чем перемены, связанные с «переходом от классицизма к футуризму».

Пастернак полагал, что катастрофа произошла уже в конце двадцатых:

- ▶ ...В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература...

(Б. Пастернак. *Люди и положения.*
Автобиографический очерк.)

Вон как рано он увидел, что ДОРОЖКА ИСПОРЧЕНА И НАСТОЯЩИХ БЕГОВ УЖЕ НЕ БУДЕТ.

Но бега продолжались. И все, кто еще хотел участвовать в «забеге», вынуждены были приспособливаться к правилам игры, которые предлагала, навязывала им эта ИСПОРЧЕННАЯ ДОРОЖКА.

Нечто подобное чуть было не произошло и с Бабелем.

* * *

В 1934 году Бабель написал — и тогда же опубликовал — рассказ «Нефть».

По форме он был построен так же, как строились ставшие в то время уже классическими ранние бабелевские рассказы: «Письмо», «Измена»... То есть это было как бы письмо, в котором героиня-рассказчица (ее зовут Клавдия) делится с подругой (ее зовут Даша) сообщениями обо всех волнующих ее последних событиях своей жизни:

- ▶ ...Новостей много, как всегда... Шабсовичу дали премию за крекинг, ходит весь в «заграничном», начальство получило повышение. Узнав о назначении, все прозрели: парень вырос... По сему случаю встречаться с ним я перестала. «Выросши», парень почувствовал, что знает истину, которая от нас, обыкновенных смертных, скрыта, и напустил на себя такую стопроцентность и ортодоксальность (ортобокс, как говорит Харченко), что никуда не сдвинешь... Увиделись мы дня два тому назад, он спросил, почему я не поздравляю. Я ответила: кого поздравлять — его или Советскую власть?.. Он понял, вильнул, сказал: «Звоните...» Об этом немедленно пронюхала супруга. Вчера — звонок: «Клавдюша, мы теперь прикреплены к ГОРТ, если тебе нужно что из белья...» Я ответила, что надеюсь дожить до Мировой революции со своей собственной книжкой...

Теперь — о себе. Да будет тебе известно — я управделами Нефтесиндиката. Намечалось давно, я отказывалась. Мои доводы — неспособность к канцелярской работе и затем желание поступить в Промакадемию... Вопрос четыре раза стоял на бюро, пришлось согласиться, теперь не раскаиваюсь... Отсюда ясная картина предприятия, кое-что удалось сделать, организовала экспедицию на нашу часть Сахалина, усилила развед-

ку, много занимаюсь Нефтяным институтом. Зинаида при мне. Она здорова, скоро родит, перипетий было много...

Главным содержанием рассказа, его, так сказать, сюжетной пружиной становятся именно вот эти перипетии, связанные с беременностью их общей подруги Зинаиды:

- ▶ О беременности Зинаида сказала своему Максиму Александровичу (я зову его Макс и Мориц) поздно, пошел четвертый месяц. Он изобразил восторг, запечатлел на Зинаидином лбу ледяной поцелуй и потом дал понять, что ему предстоит великое научное открытие, мысли его далеки от действительной жизни, нельзя себе вообразить что-нибудь более неприспособленное к семейной жизни, чем он, Макс Александрович Шоломович, но, конечно, он не задумается от всего отказаться и прочее, и прочее, прочее... Зинаида, будучи женщиной XX столетия, заплакала, но характер выдержала... Ночью она не спала, задышалась, вытягивала шею. Чуть свет, непричесанная, страшная, в старой юбке помчалась в Гипромез, наговорила ему, что она просит забыть вчерашнее, ребенка она уничтожит, но никогда этого людям не простит... Все это происходит в коридоре Гипромеза, в толкучке. Макс и Мориц краснеет, бледнеет, бормочет:

– Надо созвониться, встретиться...

Зинаида не дослушала, полетела ко мне и объявила:

– Завтра на работу не выйду!

Меня взорвало, сдерживаться не сочла нужным и левиты прочитала ей по-настоящему... Подумать только – девке четвертый десяток, красотой не блещет, хороший мужик на нее не высморкается, подвернулся этот Макс и Мориц (и то не на нее, а на чужую расу, на предков-аристократов полез), запопала от него

штучку, держи, расти... Метисы от евреев очень хороши получаются, мы знаем — погляди, какой экземпляр у Ани, — да и когда рожать, если не теперь, когда мускулы живота еще действуют, когда можно еще плод этот выкормить?! На все один ответ: «Я не могу, чтобы у моего ребенка не было отца», то есть XIX столетие продолжается, папаша-генерал выйдет из кабинета с иконой и проклянет (или без иконы — не знаю, как там проклинали), девки стащат младенца в воспитательный или на деревню к кормилке...

Вокруг этой коллизии и разворачивается весь сюжет рассказа. Зинаиду уговаривают плюнуть на Макса и Морица, рожать и самостоятельно растить младенца. Она в конце концов соглашается. Клавдия звонит их «придворной» Розе Михайловне (видимо, докторице, с которой Зинаида накануне уже договорилась об аборте) и ломает эту их договоренность. Написано все это скупо, лаконично, можно даже сказать, скороговоркой. Мимоходом блестяще, по-бабелевски, вылеплена фигура пресловутой Розы Михайловны:

- ▶ ... я звоню Розе Михайловне, что вот, мол, душечка Роза Михайловна, Мурашова обещалась прийти завтра, так вот она раздумала. В телефон молодцеватый голос: — Блестяще, что раздумала, совершенно чудно...

Придворная наша все та же; розовая шелковая кофточка, английская юбка, завита, душ, гимнастика, хахали...

В общем, все кончается хорошо: Зинаида будет растить своего младенца без всяких Максов и Морицев, самостоятельно, как и подобает независимой молодой советской женщине.

Это написано уже не совсем по-бабелевски, скорее в духе соцреализма, но более или менее правдиво, во всяком случае, — достоверно.

Ну, ладно. Не лучший получился бабелевский рассказ. В конце концов, не может же писатель — даже такой, как Бабель, — выдавать на-гора одни только шедевры. Могут ведь у него случаться и неудачи, даже провалы.

Да, конечно, хотя такие провалы Бабелю были вообще-то не свойственны.

Но есть в этом бабелевском рассказе еще одна странность, заключающаяся в том, что это основное содержание рассказа, главная его сюжетная пружина дана как бы вторым планом, можно даже сказать — пунктиром. А на первый план в рассказе вышло, — лучше сказать, вылезло, а еще лучше — *выперло* — совсем другое.

► — Вздор, Зинаида, — говорю я ей, — другие времена, другие песни, обойдемся без Макса и Морица...

Не успела я договорить, позвали на собрание. К тому времени остро стал вопрос о Викторе Андреевиче. Тут подоспело решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн. Разработать материалы поручили плановикам, то есть Виктору Андреевичу. Он заперся у себя, потом вызывает меня и показывает письмо. Адресовано президиуму ВСНХ. Содержание: слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в сорок миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предположено взять неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя, не только не убитого, но еще не выслеженного... Далее, с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к ста двадцати в последнем году пятилетки. Это при дефиците металла и при том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено... Кончалось письмо так подобно всем смертным я предпочитаю стоять за высокие темпы, но сознание долга... и прочее и прочее. Прочитала. Он спрашивает:

— Посылать или нет?

Я говорю:

— Виктор Андреевич, доводы ваши и вся установка для меня неприемлемы, но я не считаю себя вправе советовать скрывать свои взгляды...

Письмо он отослал. ВСНХ — на дыбы. Назначили собрание. От ВСНХ приехал Багриновский. На стене укрепили карту Союза с новыми месторождениями, с трубчатками нефте- и продуктопроводами; как сказал Багриновский: — Страна с новым кровообращением... На собрании молодые инженеры из типа «всையдных» требовали поставить Виктора Андреевича на колени. Я выступила, говорила сорок пять минут. «Не сомневаясь в знаниях и доброй воле профессора Клоссовского и даже преклоняясь перед ним, мы отвергаем фетишизм цифр, в плену которых он находится», — вот мысль, которую я защищала...

После меня выступил Мурадян с критикой направления нефтепровода Каспий — Москва. Виктор Андреевич молча делал заметки. На щеках его выступил старческий румянец, румянец венозной крови... Мне было жалко, я не дослушала, ушла к себе. Зинаида все сидит в кабинете, сцепив руки.

— Будешь рожать, — спрашиваю, — или нет?

Я не случайно привел тут этот фрагмент целиком, не вычеркнув из него почти ни одного слова. Задержать на нем наше внимание имеет смысл по нескольким причинам.

Начать с того, что Бабель тут прикоснулся к самой острой проблеме тогдашней внутривосточной жизни страны. Пятилетний план индустриализации поначалу был составлен грамотно и более или менее реалистично, что отмечали даже отнюдь не сочувствующие большевикам и придуманной ими «пятилетке» русские экономисты, оказавшиеся в эмиграции. (Об этом были тогда статьи в «Современных записках» —

лучшем тогдашнем русском эмигрантском журнале.) Но тут же — сразу — по инициативе Сталина был брошен лозунг «Пятилетку — в четыре года» и — мало того — о решительном пересмотре в сторону резкого (практически совершенно не реального, фантастического) увеличения всех запланированных ранее темпов и конечных показателей хозяйственного роста. (Именно из этой кампании, как колос из зерна, выросли все «приписки» и прочие показатели неслыханных темпов развития страны, существующие только на бумаге.) Все маломальски грамотные инженеры — преимущественно старшего поколения, а стало быть, и старой формации, — выступали тогда против этой технической авантюры. Кто — решительно и категорично, кто — осторожно, «страха ради иудейска», то есть опасаясь уже бывших тогда в ходу политических обвинений. Их всех без разбора сразу объявили «предельщиками» (мгновенно возникло тогда такое слово) — хорошо, если не вредителями.

Конфликт между «предельщиками» и молодыми инженерами новой, советской формации, якобы вырвавшимися из плена заскорузлых технических норм, стал главным конфликтом всех тогдашних «производственных романов» («Время — вперед!» Валентина Катаева, «Танкер «Дербент» Юрия Крымова — называю только самые известные).

В центре разбираемого нами рассказа Бабеля — тот же конфликт. И все симпатии автора тут явно не на стороне профессора Клоссовского с его «старческим румянцем». Хорошо еще, что героиня, которой автор безусловно симпатизирует, не клеймит позором старого профессора, а даже делает в его сторону некий вежливый реверанс.

Бабель, наверно, не мог — и мы не вправе требовать от него этого — видеть тогда самое существо проблемы с той ясностью, с какой мы видим ее сегодня. Но он мог, как это всегда ему удавалось, увидеть всю ее сложность, неоднозначность. Эта никогда раньше не изменявшая ему способность была едва ли не самой сильной чертой его художественного

зрения. А тут она ему изменила. Изменила потому, что изображаемую — пусть даже бегло, вскользь, но все-таки изображаемую им жизненную коллизию он увидел не глазами художника, а взяв за основу готовую, заданную извне идеологическую схему.

Нельзя сказать, чтобы это могло служить ему оправданием, но не могу тут не напомнить, что главная коллизия этого бабелевского рассказа все-таки совсем другая. А эта, «производственная», к которой он только мимоходом прикоснулся, — всего лишь **фон** для той, главной. Своего рода бытовой антураж, на фоне которого разыгрывается главная драма, собственно, и составляющая содержание рассказа.

Но то-то и дело, что не только антураж, а еще — и даже не еще, а прежде всего — **камуфляж**.

Этот антураж, этот бытовой фон должен был по замыслу автора создавать впечатление, что рассказ этот — о том, чем сейчас живет страна, то есть — на главную, «производственную» тему тогдашней советской жизни. Этому же впечатлению должно было служить и название рассказа — «Нефть». Хотя в основной (а не в боковой, вставной) сюжетной коллизии рассказа о нефти — ни полслова. То есть — именно что «полслова»:

- ▶ Перевезли Зинаиду домой, я уложила ее потеплее, заварила чаю. Спали мы вместе, — тут и поплакали, вспомнили, что не надо было, все обговорили, так, перемешав слезы, и заснули... Мой «черт» сидел тихонько, работал, переводил с немецкого техническую книгу. Ты бы, Даша, «черта» не узнала — он присмирел, съежился, притих. Меня это мучает... Целый день гнет спину в Госплане, вечером — переводы.

— Зинаида родит, — я ему говорю. — Как назвать мальчика? (О девочке никто не помышляет). — Решили — Иваном, — Юрии и Леониды надоели... Будет он парень, наверное, сволочеватый, с острыми зубами,

зубов — на шестьдесят человек. Горючего мы ему наготовили, будет катать барышень куда-нибудь в Ялту, в Батум, — не то что нас — на Воробьевы горы... До свидания, Даша. «Черт» напишет отдельно. Как твои дела?

Клавдия.

Вот это упоминание о горючем, которого они наготовили еще не родившемуся младенцу, — это и есть те самые «пол-слова».

Но тут, видимо, автору показалось, — вернее, он почувствовал, — что этого все-таки мало. Нужен апофеоз. Какой-то патетический — и хорошо бы тоже «производственный» — финал.

Но производственная коллизия рассказа уже исчерпана до дна. И тут на помощь автору приходит старый, испытанный прием: эпилог. А поскольку рассказ написан в форме письма, эпилог этот тоже принимает эпистолярную форму: не «эпилог», а — «постскриптум»:

- ▶ Р. С. Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Дом наш, оказывается, еще крепок, к прежним четырем этажам мы пристраиваем еще четыре. Москва вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем... Вчера на Варварской площади видела одного парня... Рожка широкая, красная бритая голова блестит, косоворотка без пояса, на босу ногу сандалии. Прыгали мы с ним с кочки на кочку, с горы на гору, вылезали, снова проваливались...

— Вот она, когда сражения пошла, — он мне говорит. — Теперь, барышня, в Москве самый фронт, самая война...

Рожка добрая, улыбается, как ребенок. Так его и вижу перед собой...

Таков последний штрих, призванный убедить читателя — или по крайней мере сделать вид, — что рассказ этот на самом деле не о женщине, уже почти решившейся убить своего будущего ребенка и в конце концов отказавшейся от этого намерения, а о революционных переменах, происходящих в стране, о грандиозной битве за торжество социализма.

Впрочем, принятое в конце концов подругой рассказчицы Зинаидой решение оставить ребенка и самостоятельно растить его тоже вписывается в эту общую картину, исполненную казенного оптимизма. Ведь несмотря на жалкое, трусливое поведение ее возлюбленного, и она, Зинаида, и будущий ее сын, которого назовут Иваном, конечно же будут счастливы, — «потому что у нас каждый молод сейчас в нашей юной прекрасной стране».

Тремя годами ранее (в 1931 году) Бабель написал и опубликовал другой рассказ, в котором рассказчик тоже задумывается о грядущей судьбе только что родившегося младенца:

► Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки.

Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью, — Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дело до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...

Финал вроде тоже оптимистический. Но этот оптимизм — не казенный. В робкой надежде автора на то, что младенец, за которого сейчас идет бой, будет счастливее, чем он, явно ощущается неуверенность, даже тревога.

Основания для этой неуверенности и этой тревоги у автора были серьезные. Мальчикам, родившимся в конце 20-х и начале 30-х, жизнь предстояла несладкая. И человек такого ясного и трезвого ума, как Бабель, не мог об этом не догадываться.

В былые времена будущую судьбу только что родившегося младенца пытались угадать по звездам. У Пушкина есть на эту тему такой исторический анекдот:

- ▶ Когда родился Иван Антонович, то императрица Анна Иоанновна послала Эйлеру приказание составить гороскоп новорожденному. Эйлер сначала отказывался, но принужден был повиниться. Он занялся гороскопом вместе с другим академиком — и, как добросовестные немцы, они составили его по всем правилам астрологии, хоть и не верили ей. Заключение, выведенное ими, ужаснуло обоих математиков — и они послали императрице другой гороскоп, в котором предсказывали новорожденному всякие благополучия. Эйлер сохранил, однако ж, первый и показывал его графу К.Г. Разумовскому, когда судьба несчастного Ивана VI совершилась.

События, ставшие основой сюжета бабелевского рассказа «Карл-Янкель», можно рассматривать как своего рода гороскоп, предсказывавший будущую судьбу только что родившегося героя этого рассказа. И точно так же обстоятельства и события, составившие содержание его рассказа «Нефть», являют собой что-то вроде гороскопа, предсказывающего судьбу еще не родившегося сына Зинаиды, которого нарекут Иваном. Но первый из этих двух «гороскопов» был составлен честно, а второй больше походил на тот фальшивый, в котором ученые немцы предсказывали несчастному Ивану Антоновичу всякие благополучия.

Ощущение фальши возникает не только из-за насквозь пронизавшего его заданного казенного оптимизма, но главным образом и прежде всего потому, что по самой своей ху-

дожественной (как сказал бы Зощенко — «маловысокохудожественной») ткани это — НЕ БАБЕЛЬ.

Впрочем, два этих порока тесно меж собой связаны: один вытекает из другого, и нет нужды выяснять, какой из них — причина, а какой — следствие.

Сам Бабель, надо полагать, тоже не больно был доволен этой своей попыткой приспособиться к безнадежно испорченной беговой дорожке. Во всяком случае, попытка эта была единственной. Больше таких попыток он никогда не предпринимал, избрав для себя другую линию поведения, — другой способ существования в советской литературе.

* * *

Склонность Бабеля к молчанию, к долгим творческим паузам была отмечена критикой очень рано. Отмечена пока еще довольно благожелательно, но все-таки в тоне осуждения и даже, я бы сказал, некоего сурового предупреждения:

- ▶ ... Бабель пишет поразительно мало. «История моей голубятни» раскрывает новые стороны в творчестве художника... Эта история странного и печального заболевания говорит о бабелевском изломе, как писателя, бросает причудливый и печальный отсвет и на «Конармию»... Бабель освободился от своей пышной, пленительной вычурности и стилизации и нашел настоящую чистоту и классичность художественной речи, но его скупость грозит превратиться в порок: молчать нужно тоже умеренно.

(А. Воронский. *Литературные портреты*. Т. 1. М., 1928. Стр. 12–13).

Но Бабель не внял этому предупреждению. Молчание его затянулось на годы. Оно стало притчею в языцех, обыгрывалось в многочисленных шаржах и карикатурах. Об этом его затянувшемся молчании —

- ▶ ...в тридцатые годы писали статьи и фельетоны, проносились речи на писательских пленумах, даже, кажется, пелись куплеты с эстрады...

(Воспоминания о Бабеле. М., 1989. Стр. 87).

Шаржами и карикатурами, а тем более куплетами, которые пелись с эстрады, можно было и пренебречь. Сложнее обстояло дело со статьями и речами на писательских пленумах. Тем более — на Первом съезде советских писателей.

Там тема затянувшегося бабелевского молчания стала чуть ли не одной из главных.

Началось с речи И. Эренбурга, почувствовавшего, что игнорировать становящиеся день ото дня все более грозными нападки на молчальника уже невозможно, и попытавшегося как-то Бабеля защитить:

- ▶ ...писатели — это не ширпотреб: нет такой машины, которая позволила бы изготавливать писателей сериями. Нельзя подходить к работе писателя с меркой строительных темпов.

Я вовсе не о себе хлопочу. Я лично плодовит, как крольчиха (смех), но я отстаиваю право за слонихами быть беременными дольше, нежели крольчихи (смех). Когда я слышу разговоры — почему Бабель пишет так мало, почему Олеша не написал в течение стольких-то лет нового романа, почему нет новой книги Пастернака и т. д., — когда я слышу это, я чувствую, что не все у нас понимают существо художественной работы. Есть писатели, которые видят медленно, есть другие, которые пишут медленно. Это не достоинство и не порок — это свойство, и нелепо трактовать таких писателей как лодырей или как художников, уже опустошенных.

(Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет. М., 1934. Стр. 184).

Не обошел эту тему в своей речи на съезде и сам Бабель:

- ▶ Я заговорил об уважении к читателю. Я, пожалуй, страдаю гипертрофией этого чувства. Я к нему испытываю такое беспредельное уважение, что немею, замолкаю (смех)...

Если заговорили о молчании, то нельзя не сказать обо мне – великом мастере этого жанра (смех).

Надо сказать прямо, что в любой уважающей себя буржуазной стране я бы давно подох с голоду, и никакому издателю не было бы дела до того, как говорит Эренбург, кролик я или слониха. Произвел бы меня этот издатель, скажем, в зайцы и в этом качестве заставил бы меня прыгать, а не стал бы – меня заставили бы продавать галантерею. А вот здесь, в нашей стране, интересуются – а он кролик или слониха, что у него там в утробе, причем и не очень эту утробу толкают, – маленько, но не очень (смех, аплодисменты), и не очень допытываются, какой будет младенец: шатен или брюнет, и что он будет говорить и прочее. Вот, товарищи, я этому не радуюсь, но это, пожалуй, живое доказательство того, как в нашей стране уважаются методы работы, хотя бы необычные и медлительные.

Вслед за Горьким мне хочется сказать, что на нашем знамени должны быть написаны слова Соболева, что всё нам дано партией и правительством и отнято только одно право – плохо писать.

Товарищи, не будем скрывать. Это было очень важное право, и отнимают у нас не мало (смех). Это была привилегия, которой мы широко пользовались.

Так вот, товарищи, давайте на писательском съезде отдадим эту привилегию, и да поможет нам Бог! Впрочем, Бога нет, сами себе поможем (аплодисменты).

(Там же. Стр. 279–280).

Все это говорилось как бы «в тоне юмора». Но юмор был только первой линией обороны, выстроенной Бабелем. За ней ясно просматривается вторая, более серьезная. Повторив в этом контексте поддержанную Горьким и повторявшуюся тогда многими реплику Л. Соболева («Партия дала нам все, отняв у нас только одно: право писать плохо»), Бабель прямо дает понять, что его молчание связано с его стремлением писать хорошо. Хотите, мол, чтобы я следовал этому велению партии, — терпите мое затянувшееся молчание. Другого способа не халтурить, не писать плохо у меня нет.

Судя по стенограмме, съезд встретил это его объяснение добродушным смехом и благожелательными аплодисментами. Но среди выступивших вслед за ним ораторов были и не принявшие этих его объяснений. И ссылались они при этом на все ту же, многократно повторяемую реплику Л. Соболева:

- ▶ Тов. Бабель на этой трибуне довольно горделиво поведствовал о том, что в нашей стране молчащий писатель тоже может неплохо прожить. Тов. Бабель все-таки иногда подает признаки своей литературной жизни, но... у нас есть — и об этом нужно сказать на съезде — люди, которые молчание сделали каким-то прямо-таки золотым ремеслом. Молчат не год и не два, а десяток и более лет. Молчат, один перед другим соревнуются, кто кого перемолчит. Однако партия, предоставившая нам все возможности для нашей работы, мне думается, не только отнимает у нас право плохо писать, но и право хорошо молчать.

Я думаю, что нашим уважаемым критикам, которые привыкли... особенно на поэтическом фронте, любоваться молчащими, следует изредка переходить к тому, чтобы их немножко тормозить. Скажут, что нельзя тормозить, они, мол, отдыхают, они

лежат, а лежачих не бьют. Я думаю, что в этом случае лежачих надо бить, и бить до тех пор, пока они не встанут.

*(Из выступления А. Жарова.
Там же. Стр. 538).*

Со временем Бабелю все это припомнили. Но на том этапе дело обошлось вот такими, еще не очень страшными угрозами: бить молчунов пока предлагалось только метафорически, используя еще не настоящую — полицейскую, — а, как тогда говорили, критическую дубинку.

Но и критическую дубинку в ход пока еще не пускали. Дело ограничивалось сравнительно мягкими увещеваниями:

- ▶ Творческая пауза у Бабеля несколько затянулась. Можно уже справлять десятилетний юбилей плодотворного молчания.

*(И. Лежнев. Вакханалия переизданий.
Правда. М., 1936, 15 декабря).*

По форме это не было грубым начальственным окриком. Но по существу... Как-никак, статья, из которой взята эта реплика, была напечатана в «Правде», а автор ее в то время был заведующим отделом литературы и искусства этой газеты.

Бабель прекрасно понимал, что столь долгое его молчание — опасно. Он понимал, что взаимоотношения писателей с властью теперь уже не будут теми, какими они были в конце 20-х и начале 30-х. Тогда писатель еще мог жить и дышать, если он не был активно против. Теперь от него требовалось, чтобы он был активно «за».

Именно это понимание, видимо, и побудило его сделать попытку не сойти с испорченной беговой дорожки, сочинив рассказ «Нефть». Но, как уже было сказано, этот путь он для себя закрыл. Оставалось одно — молчать.

Пока он еще мог это себе позволить. Литературная его репутация была высока, и в некоторых острых ситуациях без него еще не могли обойтись.

Напомню ситуацию, сложившуюся на парижском антифашистском конгрессе в защиту культуры.

Состав советской делегации был определен специальным постановлением Политбюро 19 апреля 1935 года. В нее должны были войти: Горький, Кольцов, Шолохов, Щербаков, А.Н. Толстой, Эренбург, Н. Тихонов, Луппол, Киршон, Караваева, Лахути.

Но Горький на конгресс не поехал (то ли не смог по состоянию здоровья, как это было объявлено официально, то ли, — что вернее, — Сталин не рискнул выпустить его за границу, опасаясь, что он, чего доброго, там и останется). По каким-то причинам не поехал на конгресс и Шолохов. Из оставшихся на Западе знали только А.Н. Толстого да Эренбурга. Остальные своими выступлениями произвели на западных интеллектуалов впечатление монстров (каковыми, в сущности, они и были). Даже не бывший монстром Всеволод Иванов ужаснул собравшихся, посвятив свою речь рассказу о том, какой кубатуры квартиры у советских писателей, не преминув при этом упомянуть, что в каждой имеется ванная и туалет.

Организаторами конгресса было обещано, что в советскую делегацию войдут Бабель и Пастернак. Но конгресс открылся, а они так и не появились.

- ▶ Наступил третий день конгресса, и отсутствие Бабеля и Пастернака начало смущать президиум. Эренбург терял голову. Жид и Мальро отправились в советское посольство на улицу Гренелль просить, чтобы из России прислали на конгресс «более значительных и ценных» авторов. Эренбург послал в Союз писателей в Москву отчаянную телеграмму. Наконец, Сталин самолучно разрешил Бабелю и Пастернаку выехать. Оба

поспели только к последнему дню... Пастернак вышел на эстраду. Он сказал несколько фраз о том, что надо всем жить в деревне, а не в городах, в деревне можно собирать цветы и не думать о политике... Бабель вышел на эстраду после него (он прекрасно говорил по-французски) и рассказал несколько анекдотов. 29 июня конгресс закрылся.

(Н. Берберова. *Железная женщина*.
Нью-Йорк, 1982. Стр. 266).

Бурная реакция Андре Мальро и Андре Жида на отсутствие Бабеля и Пастернака действительно вызвала в Москве некоторое замешательство. Решение немедленно отправить их в Париж Сталин принял срочно, за два дня до заседания Политбюро проведя его опросом.

► ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(Б)
«О ПОЕЗДКЕ БАБЕЛЯ И ПАСТЕРНАКА
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
В ПАРИЖЕ»

19 июня 1935 г.

27/71 г. О поездке Бабеля и Пастернака на международный конгресс писателей в Париже (ПБ от 19/IV/35 г., пр. № 24, п. 122).

Включить в состав делегации советских писателей на международный конгресс писателей в Париже Пастернака и Бабеля.

(*Счастье литературы*.
Государство и писатели 1925—1938.
Документы. М., 1997. Стр. 194).

В отличие от решения Политбюро о заграничной поездке Бабеля, принятого тремя годами раньше (27 июня 1932 г.),

где Сталин, как мы помним, был РЕШИТЕЛЬНО ПРОТИВ, теперь он был — РЕШИТЕЛЬНО ЗА. И к этому его мнению, само собой, присоединились другие члены Политбюро: Калинин, Андреев, Каганович, Молотов, Жданов, Микоян. (Против проголосовал только один: Ворошилов.)

Если верить Берберовой, приезд Бабеля и Пастернака в ситуации, сложившейся на конгрессе, ничего не изменил: Пастернак нес с трибуны какую-то ерунду, а Бабель рассказал несколько анекдотов, после чего конгресс закрылся.

На самом деле все было не совсем так. Что бы там ни говорил в своей речи Пастернак (текст его выступления не сохранился, и на этот счет существуют разные мнения), сам факт его появления на сцене и овация, которую ему устроили, свою роль там несомненно сыграли.

Некоторого перелома в настроении делегатов съезда советским его организаторам удалось добиться и благодаря блистательному выступлению Бабеля.

- ▶ Удивил всех Бабель: он сел за стол, надел очки и повел изумительно живую и вместе с тем умную беседу по-французски.

(А. Савич).

О своей речи Бабель мне не рассказывал, но впоследствии от И.Г. Эренбурга я узнала, что Бабель произнес ее на чистейшем французском языке, употребляя много остроумных выражений, и что аплодировали ему бешено и кричали, особенно молодежь.

(А. Пирожкова).

(Б. Фрезинский. *Великая иллюзия — Париж, 1935.*

Материалы к истории международного конгресса писателей в защиту культуры.

Минувшее. Исторический альманах. 24.

М., 1998. Стр. 196).

Все это Сталину, конечно, докладывали, и, будучи все-таки прагматиком, он наверняка пришел к выводу, что Бабель, глядишь, на что-нибудь еще сможет ему пригодиться.

Только ли по этой причине или еще по каким-то, нам неизвестным, но на какое-то время от Бабеля отстали, и он мог продолжать свое существование в официальной советской литературе, не делая ежедневных заявлений о своей преданности режиму.

Пока он еще не был отверженным, ему позволено было жить. Но — как? На несуществующие гонорары за ненаписанные — во всяком случае, непечатанные — книги?

Приходилось вертеться. Находить какие-то боковые, иногда даже не самые почтенные пути и способы, помогающие ему держаться на плаву, не утонуть, не провалиться в долговую яму.

► Осенью 1938 года я был студентом второго курса Московского юридического института. На втором курсе у юристов первая практика, ознакомительная. Нас рассовали по районным прокуратурам. На протяжении месяца пришлось поприсутствовать и в суде, и на следствии, и в нотариальной конторе, и у адвоката — все это первый раз в жизни. В самом конце месяца мы — трое или четверо студентов — достались судебному исполнителю, старичку лет пятидесяти. Утром он сказал:

— Сегодня иду описывать имущество жулика. Выдает себя за писателя. Заключение договоры со всеми киностудиями, а сценариев не пишет. Кто хочет пойти со мной?

— Как фамилия жулика? — спросил я.

Исполнитель полез в портфель, покопался в бумажках и сказал:

— Бабель Исаак Эммануилович.

Мы вдвоем пошли описывать жулика.

(Б. Слуцкий. *Как я описывал имущество у Бабеля.*
В кн.: Б. Слуцкий. *О других и о себе.*
М., 2005. Стр. 173).

Жуликом Бабель, конечно, не был. Но некоторые черты вполне реального, хоть и невинного жульничества, проистекающего из избранной им линии поведения, можно углядеть даже в этом, откровенно юмористическом мемуарном рассказе:

► Бабель жил недалеко от прокуратуры и недалеко от Яузы, в захолустном переулке. По дороге старик объяснил мне, что можно и что нельзя описывать у писателя.

— Средства производства запрещено. У певца, скажем, рояль нельзя описывать, даже самый дорогой. А письменный стол и машинку — можно. Он и без них споет.

У писателя нельзя было описывать как раз именно письменный стол и машинку, а также, кажется, книги. Нельзя было описывать кровать, стол обеденный, стулья: это полагалось писателю не как писателю, а как человеку...

В сентябре 1938 года в квартире Бабеля стояли: письменный стол, пишущая машинка, кровать, стол обеденный, стулья и, кажется, книги. Жулик знал действующее законодательство. Примерно в этих словах сформулировал положение судебный исполнитель.

(Там же. Стр. 174).

Более подробно о такой же невинной, но, кажется, уже не вполне вписывающейся в рамки закона «жульнической» проделке Бабеля рассказал другой мемуарист.

► В редакции «Знамени», где я тогда работал, редакции предприимчивой, удачливой и честолюбивой, стало известно, что Бабель написал киносценарий. Он давно уже ничего не печатал, и заполучить для журнала новое его сочинение, пусть даже предназначенное для кино, было очень заманчиво.

Долго спорили, кому поручить переговоры с Исааком Эммануиловичем, и наконец выбор пал на меня.

Причина была в том, что незадолго перед тем я напечатал в «Литературной газете» статью о бабелевских рассказах, и предполагалось, что мне с ним удастся быстрее поладить.

Переговоры наши начались по телефону, и мне пришлось долго объяснять моему собеседнику, откуда и по какому делу ему звонят. Уразумев, наконец, о чем идет речь, Бабель сразу же заявил, что печатать свой сценарий не собирается.

Тогда я принялся исчислять все выгоды и радости, какие сулило бы ему это предприятие, ежели бы он на него решился. Мой собеседник не прерывал меня, и, неведомо почему, я вдруг почувствовал, что он размышляет не о том, что я говорю, а о чем-то другом. Исчерпав свои доводы, я замолчал и стал слушать потрескивание и шорох, хорошо известные всем, кому случалось вести тягостные переговоры по телефону. На мгновение мне показалось даже, что Бабель повесил трубку. Но тут я услышал его мягкий, слегка пришепетывающий голос.

— Приходите, побеседуем, — проговорил он медленно, видимо еще раздумывая, и стал диктовать мне адрес.

*(Г. Мунблит. Из воспоминаний.
Воспоминания о Бабеле.
М., 1989. Стр. 80).*

О чем он раздумывал и какой план созрел в его голове, пока собеседник прислушивался к шорохам и потрескиваниям в телефонной трубке, мы узнаем из дальнейшего развития событий. А развивались они так.

Явившемуся к нему на другой день сотруднику редакции свое решение он изложил коротко и ясно. Да, он готов дать в «Знамя» свой сценарий. Но не для печати, а для ознакомления: печатать его в таком виде, он считает, нельзя. Но если редакция заключит с ним договор и выплатит ему аванс, он готов над ним поработать.

Узнав о таком итоге дипломатических переговоров их посланца с «классиком», сотрудники редакции ликовали. Но, прочитав сценарий, они приуныли.

Он был не то чтобы плох. Нет, как «полуфабрикат» для будущего фильма он вполне годился, и его хоть сейчас можно было отдать режиссеру для следующего этапа работы над ним — создания режиссерского сценария.

Да и в качестве литературного сценария он тоже был сколочен вполне профессионально. Но это был — НЕ БАБЕЛЬ.

Индивидуальность Бабеля, неповторимое обаяние его языка, его стиля не отразились ни в одной реплике этого бабелевского сценария, ни в одной клеточке его художественной ткани.

В общем, все прочитавшие этот сценарий склонялись к тому, что затея их провалилась. Но ответственный секретарь редакции, который, кстати, и был инициатором всей этой затеи, решил иначе. Договор заключим, сказал он. И аванс выплатим. А если Бабель обманет и сценарий до кондиции не доведет, — что, конечно, вполне может случиться, — тиснем его так, в теперешнем его виде. Все-таки — Бабель! Какой бы его текст после столь долгого молчания ни появился на страницах нашего журнала, все равно это будет сенсация!

На том и порешили.

Прошел месяц, другой, третий, — от Бабеля, давно уже получившего свой аванс, не было ни слуху, ни духу. И мемуарист вновь отправился к нему, чтобы поинтересоваться, как у него идут дела, как движется работа над новым вариантом сценария. И тут Бабель его ошарашил, признавшись, что она никак не движется. потому что работу эту он даже не начинал и начинать ее и не собирается. «Зачем же вы нам его дали?» — растерянно спросил посланец редакции. И Бабель честно признался, что сделал это только для того, чтобы получить аванс, благодаря которому он надеется закончить рассказ, над которым бьется уже чуть ли не полгода. «Но ведь

любой журнал с радостью заключил бы с вами договор на этот рассказ. Почему же...»

► — Почему? Потому, что, когда я его кончу, в нем будет самое большое четыре страницы...

— Что же делать?..

— А черт его знает, что делать! Вероятно, не писать рассказы по четыре странички, да еще тратя на них по нескольку месяцев. Романы нужно писать, молодой человек, длинные романы с продолжением, и писать быстро, легко, удачливо.

Он замолчал и, опершись руками о край сундука, на котором сидел, забарабанил пальцами по его крышке.

— Вы меня не поняли, — сказал я, прижав руку к груди, — я говорю не вообще, а о том, как быть сейчас. Как быть со «Знаменем», со сценарием? Ведь если вы не дадите ничего другого, он его напечатает.

(Там же. Стр. 86).

Такой вариант развития событий привел Бабеля в ужас. Печатать этот свой злополучный сценарий в «Знамени» он ни в коем случае не хотел. И после долгой мучительной паузы предложил собеседнику такой, в сущности, «жульнический» выход:

► — Слушайте, а что, если я попрошу вашего секретаря вернуть мне рукопись? Могло же быть так, что у меня не осталось для работы ни одного экземпляра?

Я ответил не сразу. Но через мгновение тишина, воцарившаяся в комнате, показалась мне невыносимой, и я прервал ее с тем чувством, с каким делаешь глоток воздуха, долго пробыв под водой.

— Что вы имеете в виду? — спросил я, отведя глаза.

— Ничего я не имею в виду, — ответил Бабель и встал.

Я продолжал сидеть. И вдруг, решившись и все еще глядя в сторону, предложил:

— Лучше я с ним поговорю. Вам он рукопись не отдаст...

Хоть я и чувствовал, что в моем решении помочь Бабелю получить назад рукопись не было ничего дурного, мне было до смерти стыдно.

Позднее я понял, что стыдиться здесь было совершенно нечего и удивительный, чуть ли не лучший бабелевский рассказ, над которым он тогда работал (это был рассказ об итальянском трагике ди Грассо), может оправдать любые уловки, необходимые для того, чтобы довести его до конца. Но в тот день, когда, простившись с Исааком Эммануиловичем, я брел по мокрым переулкам и скользким бульварам, и на следующее утро, когда повел с секретарем редакции хитроумные переговоры, неожиданно увенчавшиеся успехом, это чувство стыда не покидало меня ни на минуту.

Разумеется, я понимал, что интересы «Знамени» и редакционный патриотизм не должны заслонять от меня целей гораздо более высоких и значительных. Не мог я не понимать и того, что, дождавшись, когда Бабель даст нам рассказ вместо сценария, мы поступим умнее и дальновиднее, но, понимая все это, собственную мою роль во всей этой истории я продолжал считать недостойной, а о вероломстве Бабеля старался не вспоминать.

Теперь я думаю обо всем этом совершенно иначе. Теперь, множество раз перечитав его сочинения, перелистав пожелтевшие странички его писем, записок и заявлений, установив, что рассказ «Любка Казак» был переписан множество раз, вспомнив то, чему сам был свидетелем, я с полной уверенностью могу утверждать, что Бабель, преследуемый кредиторами самых разных профессий и рангов, редакторами толстых и тонких журналов, имевших неосторожность заключить с ним

договоры, юрисконсультантами издательств, пытавшимися поправить последствия легкомысленной торопости своих шефов... — что этот лукавый, неверный, вечно от всех ускользающий, загадочный Бабель был человеком с почти болезненным чувством ответственности и героической добросовестностью, человеком, готовым вытерпеть любые лишения, лишь бы не напечатать вещь, которую он считал не вполне законченной, человеком, для которого служение жестокому богу, выдумавшему муки слова, было делом неизмеримо более важным, чем забота о собственном благополучии и даже о своей писательской репутации.

(Там же. Стр. 86—87).

Автор этих воспоминаний честно отразил в них свое отношение к этой «журнической» бабелевской проделке, — и тогдашнее, и позднейшее, осенившее его много лет спустя, когда Бабеля давно уже не было в живых. Он не сомневается, что единственной причиной многолетнего молчания Бабеля и избранной им, как ему раньше казалось, не слишком почтенной линии поведения была его маниакальная взыскательность, постоянно владевшая им и не отпускавшая его потребность месяцами биться над какой-нибудь одной фразой.

Идея эта, как мы помним, была вброшена в общественное сознание самим Бабелем — в его речи на писательском съезде. Партия, мол, отняла у нас с вами право писать плохо, вот я и стараюсь изо всех сил писать как можно лучше, работать на пределе своих возможностей. И отстаньте от меня!

Сталин, случись ему высказаться по этому поводу, наверняка кинул бы тут свою любимую реплику: «Это уловка!» И нельзя сказать, что в этом случае был бы так-таки уж совсем не прав. Потому что для этой избранной им линии поведения была у Бабеля еще и другая причина, — не менее, а может быть, даже и более важная, чем первая.

► Он не печатает новых вещей более семи лет. Все это время живет на проценты с напечатанного. Искусство его вымогать авансы изумительно. У кого только не брал, кому он не должен — все под написанные, готовые для печати, новые рассказы и повести. В «Звезде» даже был в проспекте года три назад напечатан отрывок из рукописи, «уже имеющейся в портфеле редакции», как объявлялось в проспекте.

Получив в журнале деньги, Бабель забежал в редакцию на минутку, попросил рукопись «вставить слово», повертел ее в руках — и, сказав, что пришлет завтра, унес домой. И вот четвертый год рукописи «Звезда» не видит в глаза. У меня взял аванс по договору около двух с половиною тысяч. Несколько раз я перечеркивал договор, переписывал заново, — он уверял, что рукописи готовы, лежат на столе, завтра пришлет, дайте только деньги. Он в 1927 году, перед отъездом за границу, дал мне даже название рассказа, который пришлет ровно 15 августа. Я рассказ анонсировал — и его нет по сие время. Под эти рассказы он взял деньги — много тысяч у меня, в «Красной нови», в «Октябре», везде и еще в разных местах. Ухитрился забрать под рассказы даже в Центросоюзе. Везде должен, многие имеют исполнительные листы, но адрес его неизвестен, он живет не в Москве, где-то в разъездах, в провинции, под Москвой, имущества у него нет, — он неуловим и неуязвим, как дух. Иногда пришлет письмо, пообещает прислать на днях рукопись, — и исчезнет, не оставив адреса...

Мимоходом заметил в Литгазете, что живет он в деревне, наблюдает рождение колхозов и что писать теперь надо не так, как пишут все, в том числе и не так, как писал он. Надо писать по-особенному — и вот он в ближайшее время напишет, прославит колхозы и социализм и так далее. Письмо сделало свое дело — он везде заключил договора, получил в ГИЗе деньги — и

«смылся». Живет где-то под Москвой, в Жаворонках, на конном заводе, изучая коней. Пишет мне письма, в которых уверяет в своих хороших чувствах, и все просит ему верить: вот на днях пришлет свои вещи...

Звонок Бабеля. Опять тысяча и одна увертка. Советовался-де с Горьким, и Горький не советует печатать рассказы, какие он мне дал. Но он написал «вчерне» два колхозных рассказа (об этом «вчерне» я слышал года три назад) и над ними работает. В течение месяца он их мне доставит. Узнав, что я вернусь в начале сентября: «Как приедете, в Вашем портфеле будут эти рассказы». Четыре года тому назад он так же уверял меня в том, что у меня «15 августа» будет рассказ «Мария Антуанетта», чтобы я анонсировал его в журнале, — рассказа нет и по сие время! Он роздал несколько своих рассказов в «Октябрь», мне и еще кому-то, но не для печати, а как бы вроде «залога», для успокоения «контор», которые требуют с него взятые деньги. Сдал книгу в ГИХЛ, — получив от издательства деньги и обещание книгу не печатать, так как она «непечатна», — то есть столь эротична, индивидуалистична, так полна философии пессимизма и гибели, что опубликовать ее — значит «угробить» Бабеля. По той же причине и я не хочу печатать те вещи, что он дал мне...

Конечно, мы виноваты перед ним. Такого писателя надо было поддерживать деньгами. Дрянь, паразиты — выстроили домишки. Он как-то рассказывал: «Получал я исполнительные листы и один на другой складывал в кучку. Но я крепкий. Другой бы сломался, а я нет, я многих переживу»...

Пришел вечером, маленький, кругленький, в рубашке какой-то сатиновой серо-синеватого цвета, — гимназистик с остреньким носиком, с лукавыми блестящими глазками, в круглых очках.

Улыбающийся, веселый, с виду простоватый. Только изредка, когда он перестает прикидываться весельчаком, его взгляд становится глубоким и темным, меняется и лицо: появляется другой человек с какими-то темными тайнами в душе. Читал свои новые вещи: «В подвале», не вошедший в «Конармию» рассказ про коня: «Аргмак». Несколько дней назад дал три рукописи, — все три насквозь эротичны. Печатать невозможно... Но вещи замечательные. Лаконизм сделался еще сильнее. Язык стал проще, без манерности, пряности, витиеватости. Но сейчас печатать их Б. не хочет. Он дал их мне, сказав, чтобы «заткнуть глотку» бухгалтерии. Он должен «Новому миру» две тысячи рублей. Бухгалтерия грозит взысканием. Он дал рукопись, чтобы успокоить бухгалтерию. Обещает в августе дать еще несколько вещей, которые вместе можно будет пропустить в журнале. Но даст ли? Странный человек: вещи замечательные, но он печатать их сейчас не хочет. Он действительно дрожит над своими рукописями. Волнуется. Испытующе смотрит: «Хорошо? Я ведь пишу очень трудно, — говорит он. — Для меня это мучение. Напишу несколько строк в день и потом хожу, мучаюсь, меняю слово за словом».

Он и в самом деле мучается и пишет вещи запоем, причем пишет не то, что захотел накануне, а то, что само как-то появляется в сознании.

«На днях решил засесть за рассказ для Вас, за отделку, но проснулся и вдруг услышал, как говорят бандиты, и весь день писал про бандитов. Понимаю, как услышал, как они разговаривают, — не мог оторваться»...

(В. Полонский.

Моя борьба на литературном фронте.

Дневник. Май 1920 — январь 1937.

Новый мир. М., 2006. № 3).

Как будто бы — всё то же, уже хорошо нам знакомое. Но — не совсем.

Оказывается, Бабелю БЫЛО ЧТО ПЕЧАТАТЬ. Но он — НЕ ХОТЕЛ. И совсем не потому, что считал эти свои вещи незаконченными.

Истинная причина этого его нежелания публиковать написанное еще не названа, хотя мы о ней уже догадываемся. Но в конце этих дневниковых записей В.П. Полонского о Бабеле об этой причине говорится уже прямо — открытым текстом:

- ▶ Почему он не печатает? Причина ясна: вещи им действительно написаны. Он замечательный писатель, и то, что он не спешит, не заражен славой, говорит о том, что он верит: его вещи не устареют... Я не читал этих вещей. Воронский уверяет, что они сплошь контрреволюционные, то есть они непечатны: ибо материал их таков, что публиковать его сейчас вряд ли возможно. Бабель работал не только в Конной, он работал в Чека. Его жадность к крови, к смерти, к убийствам, ко всему страшному, его почти садическая страсть к страданиям ограничила его материал. Он присутствовал при смертных казнях, он наблюдал расстрелы, он собрал огромный материал о жестокости революции. Слезы и кровь — вот его материал. Он не может работать на обычном материале, ему нужен особенный, острый, пряный, смертельный. Ведь вся «Конармия» такова. А все, что у него есть теперь, — это, вероятно, про Чека... А публиковать сейчас боится... Читал рассказ о деревне. Просто, коротко, сжато — сильно. Деревня его, так же как и конармия, — кровь, слезы, сперма. Его постоянный материал. Мужики, сельсоветчики и кулаки, кретины, уроды, дегенераты. Читал и еще один рассказ о расстреле — страшной силы. С такой простотой, с таким холодным спокойствием, как будто

лушит подсолнухи, — показал, как расстреливают. Реализм потрясающий, при этом лаконичен до крайности и остро образен. Он доводит осязаемость образа до полной иллюзии. И все это простейшими (как будто) средствами...

(Там же).

Говоря, что он пишет очень трудно («...для меня это мучение. Напишу несколько строк в день и потом хожу, мучаюсь, меняю слово за словом»), Бабель не врал. Но отчасти — и темнил, маскировался.

Г. Мунблит, вспоминая о первом своем визите к Бабелю, упоминает — и даже не просто упоминает, а «со значением», — такую деталь:

- ▶ Бабель сам открыл мне, и мы прошли в большую комнату первого этажа, судя по всему — столовую. Здесь хозяин указал мне на стул, а сам устроился на большом, стоявшем в углу сундуке.

Об этом сундуке я уже слышал прежде. Утверждали, что Бабель хранит в нем рукописи, тщательнейшим образом скрывая их от чужих взоров и извлекая на свет только для того, чтобы поправить какую-нибудь строку или слово, после чего снова укладывает назад пожелтевшие от времени листки, обреченные на то, чтобы пролежать без движения еще долгие месяцы, а быть может, даже и годы.

Теперь, увидев сундук своими глазами, я окончательно уверовал в правдивость этой легенды.

*(Воспоминания о Бабеле.
М., 1989. Стр. 80—81).*

Сам Бабель эту легенду не опровергал, но, когда заходила речь об этом его таинственном сундуке, неизменно давал понять, что хранятся там у него в основном вещи незакон-

ченные, над которыми он продолжает упорно и мучительно работать. А о том, что там могут оказаться и законченные, вполне готовые для печати, предпочитал умалчивать. Он прекрасно понимал, что в том царстве-государстве, где ему выпало жить, писание, как мы бы теперь сказали, «в стол», — занятие отнюдь не безобидное.

В этом легко убедиться, прочитав протокол первого его допроса, — даже не весь протокол, а только самые первые, начальные его строки.

► ПРОТОКОЛ ДОПРОСА АРЕСТОВАННОГО
БАБЕЛЯ ИСААКА ЭММАНУИЛОВИЧА

от 29—30—31 мая 1939 года

Бабель И. Э., 1894 года рождения, уроженец
гор. Одессы, б/п, до ареста — член Союза
советских писателей.

В о п р о с : Вы арестованы за изменническую ан-
тисоветскую работу. Признаете ли себя в этом вино-
вным?

О т в е т : Нет, не признаю.

В о п р о с : Как совместить это ваше заявление о
своей невиновности с свершившимся фактом вашего
ареста?

О т в е т : Я считаю свой арест результатом роково-
го для меня стечения обстоятельств и следствием моей
творческой бесплодности за последние годы, в резуль-
тате которой в печати за последние годы не появилось
ни одного достаточно значительного моего произведе-
ния, что могло быть расценено как саботаж и нежела-
ние писать в советских условиях.

В о п р о с : Вы хотите, тем самым, сказать, что аре-
стованы как писатель, не выпустивший за последние
годы сколь-нибудь значительного произведения. Не

кажется ли вам чрезмерно наивным подобное объяснение факта своего ареста?

О т в е т : Вы правы, конечно, за бездеятельность и бесплодность писателя не арестовывают.

(С. Поварцов. *Причина смерти — расстрел*. Стр. 49).

Эта поспешная готовность Исаака Эммануиловича согласиться со следователем, признав, что «за бездеятельность и бесплодность писателя не арестовывают», вскоре была поколеблена. Очень быстро выяснилось, что причиной его ареста было и это тоже.

Среди предъявленных ему обвинений было и обвинение в нарочитой, злокозненной его бездеятельности. Это ясно видно из более поздних его признательных показаний:

- ▶ Множество взоров было обращено на меня; от меня ждали, после длительного молчания, крупных, ярких, жизнеутверждающих вещей, молчание мое становилось козырем для антисоветски настроенных литературных кругов, я же за все последние годы дал несколько небольших рассказов («Ди Грассо», «Поцелуй», «Суд», «Сулак»), незначительных по содержанию, бесконечно удаленных от интересов социалистической стройки, раздражавших и обескураживавших читательские массы. Должен сказать, что в этот период мною подготовлялись и крупные вещи (черновики их найдены в моих бумагах), но работа эта шла со скрипом, я болезненно ощущал лживость ее, противоречие между не изменившейся, отвлеченно «гуманистической» моей точкой зрения и тем, чего жаждала советская читательская масса — произведений о новом человеке, книг, художественно объясняющих настоящее и устремленных в будущее...

Чувство дома, сознание общественного служения никогда не руководило литературной моей работой.

Люди искусства, приходившие в соприкосновение со мной, испытывали на себе губительное влияние выхолощенного бесплодного этого мирозерцания.

Нельзя определить конкретно, количественно вред от этой моей деятельности, но он был велик. Один из солдат литературного фронта, начавший свою работу при поддержке и внимании советского читателя, работавший под руководством величайшего писателя нашей эпохи — Горького, я дезертировал с фронта, открыл фронт советской литературы для настроений упадочнических, пораженческих, в какой-то степени смутил и дезориентировал читателя, стал подтверждением вредительской и провокационной теории об упадке советской литературы.

И этот нанесенный мною вред нельзя подсчитать количественно, исчерпать фразами и догадками, но он был велик. Истинные размеры его я ощущаю теперь с невыносимой ясностью, скорбью и раскаянием.

(Там же. Стр. 105—106).

О степени искренности этих бабелевских показаний и покаяний говорить не стоит. Нет сомнений в том, что они были вырваны у него силой. Но по этому отрывку из его вынужденных признательных показаний ясно видно, КАКИЕ признания следствие у него вымогало, КАКИЕ обвинения были ему предъявлены.

Среди прочих, значит, было и такое.

Но оно было отнюдь не главным.

Главными были совсем другие.

Сюжет третий

«А ХОЗЯИН ВАМИ ИНТЕРЕСУЕТСЯ...»

Это — реплика Фадеева из его телефонного разговора с Бабелем.

О том, что такой разговор был, и о содержании этого разговора стало известно совсем недавно.

Биограф Бабеля Сергей Поварцов занялся разысканием неизвестных ранее подробностей ареста Бабеля. И вот что в ходе этих разысканий он установил.

- Подробности того майского утра 1939 года воссозданы в воспоминаниях жены писателя А.Н. Пирожковой. К моменту опубликования мемуаров (1972 г.) из свидетелей ареста, кроме Антонины Николаевны, была жива киевская писательница и давний друг семьи Татьяна Осиповна Стах (1902–1988). О ней речь впереди, а пока несколько пояснений.

Читая в «Новом мире» (1961, № 9, кн. 3, гл. 15) мемуары И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», она близко к сердцу приняла страницы, посвященные судьбе погибшего Бабеля. Эренбург, в частности, рассказал о сохранившемся конармейском дневнике автора «Конармии», который сберегла «одна киевлянка»... Я обратился к Стах. Очень быстро она откликнулась. В своём первом письме Татьяна Осиповна сообщила, что «написала И. Эренбургу обо всей этой истории...»

(С. Поварцов. Арест Бабеля: расследование не закончено. Вопросы литературы. М., 2010, № 3. Стр. 401).

Это письмо Татьяны Осиповны Эренбург передал вдове Бабеля — Антонине Николаевне Пирожковой, — а она, уезжая в Америку, передала его С. Поварцову. И вот теперь он его опубликовал.

Приведу здесь только самое начало этого ее письма, — для моей темы тут особенно важно именно оно.

► Дня за четыре до этого события мы с мужем моим покойным сидели у Бабеля. Вечером, часов в восемь, ему позвонил Александр Фадеев, и между ними произошел такой разговор.

— Как живете, Исаак Эммануилович? А Хозяин вами интересуется. Просил меня позвонить вам, не нужно ли чего, может быть, вы хотите куда-нибудь поехать, м.б. куда-нибудь вас откомандировать, м.б. за границу съездите? А почему, интересуется Хозяин, книг новых нет? Все ли у вас в порядке? М.б. что-нибудь нужно, так вы скажите.

И.Э. отвечал односложно, коротко, поблагодарил и сказал, что работает и пока ехать никуда не собирается.

— Ну, вы на коне, — сказал А.А.

Эту фразу я хорошо запомнила, т.к. Бабель, положив трубку, сказал: «Не очень мне нравится этот звонок, а на коне ли я, это большой вопрос».

Дважды я слышала нечто подобное от него: первый раз он сказал это свое «не нравится» по поводу назначения Берия.

(Там же. Стр. 402–403).

Это был любимый прием Сталина. Его стиль. Его почерк.

Незадолго до того он точно так же повел себя с Бухариным, судьба которого уже была решена: со дня на день он ждал ареста. Однако номинально он еще оставался редактором «Известий» и по штату ему полагалось присутствовать на всех тогдашних праздничных мероприятиях.

- ▶ 7 ноября они с женой наблюдали за праздничными торжествами со скамей для зрителей, а не с трибуны на Мавзолее, отведенной для высшего начальства. Тут к ним подошел часовой. Как вспоминает жена Бухарина: «Я решила, что он предложит Н.И. уйти с этого места или идет арестовать его, но часовой отдал честь и сказал: «Товарищ Бухарин, товарищ Сталин просил передать Вам, что Вы не на месте стоите, и просит Вас подняться на Мавзолей».

(С. Коэн. Бухарин.

Политическая биография. 1888–1938.

Нью-Йорк, 1974. Стр. 382).

Через месяц в печати стали появляться статьи, пока еще глухо намекающие на связь Бухарина с «врагами народа». А два месяца спустя на процессе Пятакова, Сокольникова и Радека подсудимые дали показания, изобличающие Бухарина в измене родине, диверсиях и убийствах.

Бухарин, хорошо знавший своего друга Кобу, вряд ли обрадовался, когда тот, прежде чем убить, пригласил его по-

стоять рядом с собой на Мавзолее. Наверняка он почувствовал в этом проявлении сталинского внимания смертельную угрозу.

Бабель знал Сталина не так близко, как Бухарин. Но и он тоже сразу понял, что неожиданно проявленный интерес вождя к его персоне, облаченный в форму внимания, заботы и даже готовности помочь («Может быть, что-нибудь нужно, так вы скажите!») — не сулят ему ничего хорошего.

В отличие от Бухарина долго томиться мрачными предчувствиями ему не пришлось. Арестовали его не через месяц или два после того знаменательного телефонного разговора, а, как уже было сказано, через четыре дня.

* * *

В заключительной части документа, обосновывающего необходимость ареста «Бабея Исаака Эммануиловича, 1894 года рождения, урожд. г. Одессы, беспартийного, гр-на СССР, члена Союза советских писателей», говорится, что он будто бы

- ▶ ...признал себя виновным в том, что являлся руководителем антисоветской организации среди писателей, ставившей своей целью свержение существующего строя в стране, а также готовившей террористические акты против руководителей партии и правительства.

Бабель признал себя виновным и в том, что с 1934 г. был французским и австрийским шпионом.

(С. Поварцов. Причина смерти — расстрел. Стр. 87).

На первой странице этого документа 23 июня 1939 года расписался Берия. Но негласную санкцию на арест Бабея, конечно, дал Сталин. И даже не санкцию, а — команду. Берия и Кобулов (подпись которого тоже фигурирует в деле Бабея) в этом случае делали то, что им было приказано.

К этой теме мы будем возвращаться постоянно. А пока посмотрим, кто входил в ту «антисоветскую организацию», которую якобы возглавлял Бабель.

Об этом мы можем судить по протоколам допросов Бабеля, — по тем именам, которые чаще всего всплывали в его показаниях, — особенно тем, которые вызывали у следователей особый, повышенный интерес:

- ▶ Любовь наша к народу была бумажной и теоретической, заинтересованность в его судьбах — эстетической категорией, корней в этом народе не было никаких, отсюда отчаяние и нигилизм, которые мы распространяли. Одним из проповедников этого отчаяния был ОЛЕША, мой земляк, человек, с которым я связан двадцать лет. Он носил себя, как живую декларацию обид, нанесенных «искусству» советской властью: талантливейший человек, он декламировал об этих обидах горячо, увлекая за собой молодых литераторов и актеров — людей с язвинкой, дешевых скептиков, ресторанных неудачников... В ядовитой этой работе ему помогала дружба с такими людьми, как МЕЙЕРХОЛЬД, ЗИНАИДА РАЙХ, кинорежиссеры А. РООМ и МАЧЕРЕТ, руководители вахтанговского театра ГОРЮНОВ и КУЗА, дружба с людьми, разделявшими упаднические его взгляды, воплощавшие их в действие в практической своей работе. Само собой разумеется, что ни я, ни Олеша, ни Эйзенштейн 36–37 годов не действовали в безвоздушном пространстве. Мы чувствовали негласное, но явное для нас сочувствие многих и многих людей искусства — ВАЛЕРИИ ГЕРАСИМОВОЙ, ШКЛОВСКОГО, ПАСТЕРНАКА, БОР. ЛЕВИНА, СОБОЛЕВА и многих других: сочувствие это им дорого обошлось, так как и на их творчество легла печать внутреннего смятения и бессилия.

(Там же. Стр. 95–96).

В следующих допросах всплывают все новые и новые имена:

- ▶ Будучи под постоянным влиянием троцкистов, я в последующие годы, после того как были репрессированы Воронский, Лашевич, Якир и Радек (с последними двумя я также был близок ряд лет), в разговорах неоднократно высказывал свои сомнения в их виновности и тут же клеветал по поводу происходивших в стране судебных процессов над троцкистами, зиновьевцами и над правотроцкистским блоком.

В этой связи я хочу отметить имевшие место на протяжении 1938 года антисоветские разговоры между мной и кинорежиссером ЭЙЗЕНШТЕЙНОМ, писателями ЮРИЕМ ОЛЕШЕЙ и ВАЛЕНТИНОМ КАТАЕВЫМ, артистом МИХОЭЛСОМ и кинорежиссером АЛЕКСАНДРОВЫМ.

Ведя со всеми перечисленными выше писателями и артистами антисоветские разговоры, я заявлял, что в стране происходит якобы не смена лиц, а смена поколений, клеветнически говорил о том, что арестованы лучшие, наиболее талантливые политические и военные деятели, жаловался на бесперспективность и серость советской литературы, что, мол, является продуктом времени, следствием современной обстановки в стране...

Должен заметить, что примерно тех же настроений держались в разговорах со мной ЭЙЗЕНШТЕЙН, ОЛЕША, КАТАЕВ, АЛЕКСАНДРОВ и МИХОЭЛС.

(Там же. Стр. 97–98).

Судя по всему, наиболее перспективной для дальнейшей «разработки» в этом перечне имен следователям показалась фигура С.М. Эйзенштейна. Во всяком случае, именно к нему они проявили самый большой интерес, именно на нем со-

средоточили главное свое внимание, именно о его «антисоветской деятельности» вынудили Бабеля говорить особенно подробно, именно по отношению к нему требовали большей конкретности и более резкого и осудительного тона показаний:

- **Вопрос:** Ваши показания общи. Следствие интересуется персональный состав и практическая работа антисоветской организации из писателей и работников искусства, о которой вы говорили. Но прежде чем ответить на этот вопрос, скажите, кто проявил инициативу в создании такой антисоветской организации из работников искусства и литературы?

Ответ: Я буду показывать об антисоветской группе, которую создал и возглавлял лично я — Бабель. Начну с кинорежиссера Эйзенштейна.

Вопрос: Откуда вы его знаете?

Ответ: На протяжении всего 1937 года я с ним работал над постановкой кинофильма «Бежин луг».

Вопрос: Что дало вам основание привлечь Эйзенштейна к участию в вашей антисоветской группе?

Ответ: Его антисоветские настроения и творческие неудачи на протяжении многих лет, в силу чего Эйзенштейн постоянно находился в подавленном состоянии. Он считал, что организация советского кино, его структура и руководители мешают проявиться в полной мере талантливым творческим работникам. Он вел ожесточенную борьбу с руководством советской кинематографии и стал вожаком формалистов в кино, в числе которых наиболее активными были режиссеры Эсфирь Шуб, Барнет и Мачерет. Творческие неудачи Эйзенштейна позволяли мне повести с ним антисоветские разговоры, в которых я проводил ту мысль, что талантливым людям нет места на советской почве, что политика партии в области искусства

исключает творческие искания, самостоятельность художника, проявление подлинного мастерства. Эйзенштейн с этим соглашался. Тогда я, воспользовавшись массовыми арестами, происходившими в 1937-м и первой половине 1938 года, стал делать клеветнические обобщения по поводу всей политики советской власти, говоря, что истребляются лучшие люди в стране, что советский режим становится невыносимым для нас — мастеров художественного слова и кино. Затем, когда я счел Эйзенштейна достаточно обработанным, то прямо поставил перед ним вопрос о том, что пора переходить к делу, создавать свою группу, которая бы вела самостоятельную политику и готовилась к более активным формам борьбы за свержение советской власти и установление демократического режима в стране, основанного на политических взглядах, которые отстаивали троцкисты. Я предложил Эйзенштейну примкнуть к нашей группе.

В о п р о с : И он согласился?

О т в е т : Да.

(Там же. Стр. 101—102).

Фигура Эйзенштейна, как уже было сказано, была выдвинута следствием на первый план не случайно. Тому было несколько причин, но решающую роль скорее всего тут сыграло обстоятельство, о котором Бабель в этих своих показаниях упомянул, но задерживаться на нем не стал. А нам, я думаю, стоит на нем задержаться.

* * *

— Откуда вы его знаете? — спрашивает следователь Бабеля. И Бабель отвечает:

— На протяжении всего 1937 года я с ним работал над постановкой кинофильма «Бежин луг».

Вряд ли надо объяснять, что этот свой вопрос следователь задал исключительно «для протокола»: ответ Бабеля на него, конечно, был ему известен.

Название этого фильма, над которым Бабелю и Эйзенштейну случилось работать вместе, не дает ни малейшего представления о его содержании. Название — вполне идиллическое, тургеневское. На самом же деле основой фильма — по замыслу сценариста и заказчика — должен был стать один из самых жутких и жестоких сюжетов той кровавой эпохи. Автор сценария будущего фильма — А.С. Ржешевский — написал его по заказу Центрального бюро юных пионеров при ЦК ВЛКСМ.

Заказ поначалу был прост: показать, что нынче делается в тех местах, которые были описаны Тургеневым в его «Записках охотника». Но автор сценария, не предвидя, какие сложности это за собой повлечет, сюжетной основой будущего фильма решил сделать один из главных советских мифов: трагическую судьбу пионера Павлика Морозова. Изменения, которые он внес в этот, ставший в то время уже культовым сюжет, были невелики. Они свелись к тому, что место действия случившейся трагедии он перенес из глухой уральской деревушки в тургеневские места, и убивали Павлика и младшего его братишку не ближайшие его родственники (в отместку за уже арестованного в то время по его доносу отца), а сам отец.

Несмотря на трагическую тему, от которой даже при самом поверхностном прикосновении к этому сюжету никуда было не деться, предполагалось, что фильм будет простой агиткой.

Начал его ставить Б. Барнет, но Центральное бюро пионеров кандидатуру этого режиссера не приняло, и тогда сценарист обратился к Эйзенштейну. Тому сценарий понравился (во всяком случае, он увидел в нем какие-то возможности для того, чтобы снять по нему СВОЙ фильм), и он согласился начать съемки.

► В марте сценарий читается в Государственном управлении кинематографии, в ЦК ВЛКСМ, получает одобрение А. Косарева и в апреле запускается в производство. В течение лета Эйзенштейн и оператор Э. Тиссэ ведут съемки на Украине, в сентябре работают в павильонах, впервые показывают отснятый материал — ночной Бежин луг, деревенские поэтические пейзажи, прочую «натуру». Ржешевский напишет потом: «ошеломляюще снято». Казалось бы, начало многообещающее.

В дальнейшем, однако, между сценаристом и режиссером возникли творческие споры, переросшие в открытый конфликт. Из письма Ржешевского к одному из руководителей Союза писателей В.П. Ставскому (1937 г.) можно узнать о характере авторских претензий: оказывается, Эйзенштейн «сбился с оркестровки моего сценария и творит что-то совсем не то»...

Эйзенштейн понимал, что совсем уйти от еще свежих ассоциаций с убийством пионера-активиста ему не удастся. Но тем сильнее им овладевало желание показать семейную трагедию на фоне меняющейся крестьянской жизни: отец-подкулачник убивает сына-пионера. Виктор Шкловский вспоминал через много лет, что сценарий Ржешевского «был остр, не глубок, очень талантлив и труден для довершения», — поскольку в самом материале «миф оспаривал миф».

Спасительный выход виделся режиссеру в переработке сценария. И по его просьбе дирекция «Мосфильма» обратилась к Бабелю.

(С. Поварцов. Причина смерти — расстрел. Стр. 99–100).

Что там у них в конечном счете получилось, толком никто не знает, поскольку отснятый фильм был смыт, то есть уничтожен, так сказать, физически.

- ▶ Случай физического уничтожения фильма С. Эйзенштейна «Бежин луг» хрестоматиен в истории кино и в специальном представлении не нуждается. Известна и личная вражда Б. Шумяцкого, тогдашнего начальника Главного управления кино, к Эйзенштейну.

(М. Туровская. *Мосфильм — 1937.*

В кн.: Советское богатство. Статьи о культуре, литературе и кино. СПб., 2002. Стр. 279).

То, что причиной разгрома «Бежина луга» была отнюдь не «личная вражда» Б. Шумяцкого с Эйзенштейном, сомнений не вызывает. Тем более, что решение о запрете фильма было принято (5 марта 1937 года) не на уровне главка, а специальным постановлением Политбюро.

Вот первые два пункта этого Постановления.

- ▶ 1. Запретить эту постановку ввиду антихудожественности и явной политической несостоятельности фильма.
- 2. Указать т. Шумяцкому на недопустимость пуска киностудиями в производство фильма, как в данном случае, без предварительного утверждения им точного сценария и диалогов.

Пункт второй прямо и непосредственно метил в Бабеля: ведь не кто иной, как он, создавал последний вариант сценария, а уж диалоги писал точно он, в этом можно не сомневаться.

Постановление это было в духе всех тогдашних партийных решений и само по себе удивления не вызывает. Как и факт вмешательства в столь «мелкий» вопрос высшей партийной инстанции страны — это, как мы знаем, тоже было в обычаях того времени. Но беспрецедентное по своей суровости распоряжение уничтожить, **смыть** фильм наводит на мысль, что распорядился об этом сам Хозяин.

Что же там, в этом фильме, вызвало такой его гнев?

Догадаться не так уж трудно. Но мне разгадать эту, не такую уж и сложную загадку помогла одна тогдашняя жизненная драма, к которой волею случая мне довелось прикоснуться.

В середине 50-х, на заре моей, так сказать, трудовой деятельности я работал заведующим отделом художественной литературы журнала «Пионер». И однажды позвонил мне по моему редакционному телефону Лев Эммануилович Разгон, с которым я тогда был уже довольно близко знаком, и сказал:

— Не сердитесь, пожалуйста! Я послал к вам одну женщину. Она пишет рассказы... Рассказы, между нами говоря, довольно слабые. Но я вас прошу: будьте с нею поласковее. Если не сможете ничего отобрать, так хоть откажите ей как-нибудь помягче: она, бедняга, только-только вернулась. Отсидела двадцать лет...

Двадцать лет! Это произвело на меня впечатление.

Оттуда возвращались тогда многие. Но максимальный — и чаще всего мелькавший в разговорах на эту тему — срок отсидки определялся цифрой семнадцать. Сам Лев Эммануилович, кстати, кажется, тоже отсидел ровно семнадцать лет. А тут — двадцать!

Естественно, я ожидал, что по этой рекомендации Разгона ко мне явится изможденная, быть может, даже дряхлая старуха.

Явилась, однако, весьма привлекательная молодая женщина. Молодая даже по тогдашним моим понятиям.

— Сколько же вам было, когда вас... Когда вы... И как вы ухитрились загреметь на целых двадцать лет? — не удержался я от вопроса.

И она рассказала такую историю.

Дело было в 1934 году (а не в тридцать седьмом, как у всех: отсюда и двадцать лет вместо семнадцати). Ей было девятнадцать лет, она была, как говорили тогда, на пионерской

работе. Попросту говоря, была пионервожатой. Пописывала разные очерки и статейки, печаталась иногда в «Пионерской правде». То есть была уже как бы на виду. И вот в награду за все эти ее комсомольско-пионерские заслуги послали ее на лето пионервожатой в знаменитый пионерский лагерь «Артек».

Работа ее ей нравилась, детей она любила, легко и хорошо с ними ладила, поскольку и сама была не намного старше своих питомцев.

Но однажды произошел такой случай.

Созвал всех вожатых к себе в кабинет начальник лагеря и сделал им такое сообщение.

— Завтра, — сказал он, — к нам прибывает **партия детей, повторивших подвиг Павлика Морозова**. И мы должны устроить им торжественную встречу.

Все приняли это как должное. А если кто и удивился, то виду не подал, понимая, что возражать тут не приходится. Не смолчала только она, — моя рассказчица.

— Понимаю! — прервал я ее рассказ. — Вы не удержались, наговорили им сорок бочек арестантов, сказали, как это чудовищно, когда сын доносит на родного отца, а общество не только поощряет доносительство, но даже объявляет это подвигом...

— Нет, — покачала она головой. — Ничего подобного я им тогда не сказала. Да, по правде говоря, я тогда так и не думала. Я сказала всего лишь, что дети эти, конечно, герои: они действительно совершили подвиг, поступили, как подобает настоящим пионерам, верным ленинцам. Но все-таки, сказала я, донести на родного отца или на родную мать — не просто. Для нормального ребенка это огромная душевная травма. Поэтому, сказала я, мне кажется, что не следует устраивать этим детям торжественную встречу. Да и вообще не стоит им напоминать об этом их подвиге. Надо просто принять их в наш коллектив и сказать всем нашим ребятам, чтобы они были к ним повнимательнее,

чтобы ни в коем случае не заводили никаких разговоров на эту деликатную тему, ни о чем таком их не расспрашивали...

Ей, конечно, дали суровый отпор. Начальник лагеря сказал, что выступление ее по существу является антипартийным, что его даже следовало бы рассматривать как вылазку классового врага. Но зная ее как хорошего работника, настоящую комсомолку, преданную делу партии Ленина—Сталина, он считает возможным на первый раз ограничиться замечанием.

Тем бы, наверно, дело и кончилось. Но упрямая девчонка на этом не успокоилась.

Под впечатлением услышанного она сочинила рассказ о мальчике, который донес на своего отца, а когда отца арестовали, промучившись несколько дней угрызениями совести, не выдержал, кинулся в озеро — и утонул.

Мало того. Сочинив этот рассказ, она прочла его своим питомцам на пионерском костре.

Ну и тут, конечно, уже ничто не могло ее спасти.

Не зная толком, что там в конечном счете получилось у Бабеля и Эйзенштейна, можно с уверенностью сказать, что эти два больших художника, прикоснувшись к истории Павлика Морозова, не могли обойти ту психологическую коллизию, которую на свой лад так наивно попыталась разрешить в сочиненном ею рассказе эта девятнадцатилетняя журналистка.

Как тут не вспомнить о недовольстве Сталина тем, что тот же Эйзенштейн в своем фильме «Иван Грозный» нагрузил царя ненужными психологическими колебаниями и переживаниями. «Царь, — сказал он, — у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета».

И тут же этот его упрек подхватили и развернули соратники:

- ▶ Жданов. Эйзенштейновский Иван Грозный получился неврастеником.

М о л о т о в. Вообще сделан упор на психологизм, на чрезмерное подчеркивание внутренних психологических противоречий и личных переживаний...

(Запись беседы И. Сталина, А. Жданова и В. Молотова с С. Эйзенштейном по поводу фильма «Иван Грозный». Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917–1953. М., 2002. Стр. 613).

По поводу царя Ивана он еще мог ограничиться сравнительно мягкими поучениями. Иное дело — «подвиг Павлика Морозова». Это был СИМВОЛ ВЕРЫ — краеугольный камень новой религии, основу основ которой Сталин заимствовал из той, к которой его приобщали в духовной семинарии, где он некогда учился.

- ▶ Не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее... Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня...

(Мф. 10–35).

Это, наверно, единственная христианская заповедь, над которой Сталин не надругался, которую даже решил сохранить и использовать в своих целях — разумеется, отнеся все эти «Я» и «Меня» евангельского текста не к Христу, а — к себе.

Всем детям, подросткам, юношам и девушкам Страны Советов надлежало принять «подвиг Павлика Морозова» как руководство к действию, и в случае, если придется выбирать между родным отцом и отцом народов, сделать правильный выбор, не задумываясь, без всяких психологических колебаний и переживаний.

Вот почему фильм Эйзенштейна «Бежин луг» вызвал такой гнев Сталина. Вот почему, не ограничившись простым запретом, он приказал его **смыть**, физически уничтожить.

Эта скандальная история не могла не привлечь внимание следователей НКВД, которым было поручено слепить дело о возглавляемой Бабелем «антисоветской организации». И надо ли удивляться, что результат этой совместной работы Бабеля и Эйзенштейна, который «в миру», то есть на воле обозначался в таких деликатных выражениях, как «антихудожественность» и «политическая несостоятельность», тут стал уже именоваться «вражеской вылазкой» и «идеологической диверсией».

Для тех, кто занимался на Лубянке «делом Бабеля», фигура Эйзенштейна не могла не стать главной их козырной картой.

По этому моему пересказу может показаться, что она ею и стала. Но вышло так, что она была отодвинута на второй план, а на первый выдвинулась совсем другая фигура.

* * *

В деле Бабеля сохранились его собственноручные показания, написанные им от руки, — и вроде бы те же его показания, но оформленные в виде протокола допросов. Вторые написаны не от руки, а напечатаны на машинке. Но главное их отличие от первых заключается в том, что в них показаниям Бабеля придана форма вопросов и ответов, то есть диалога последственного со следователем.

Биограф Бабеля Сергей Поварцов, раздобывший и опубликовавший эти документы, сравнивает эти два типа бабелевских показаний, чтобы наглядно продемонстрировать и разоблачить, как он говорит, «технику фальсификации».

Я хочу сделать то же самое, но с несколько иной целью.

Сопоставление собственноручных показаний Бабеля с теми, которые потом приняли форму вопросов и ответов, обнажает не только «технику» фальсификации, но и НА-

ПРАВЛЕНИЕ ее. Становится видно, КУДА толкает следователь подследственного, ЧТО он хочет из него вытащить, КАКОЙ компромат и НА КОГО хочет от него получить. Говоря проще, КОГО ЕЩЕ, кроме уже перечисленных лиц, он хочет втянуть в орбиту возглавляемого Бабелем антисоветского заговора. И не только втянуть, но и навязать этому новому фигуранту будущего процесса вполне определенную роль.

Итак, перед нами:

► СОБСТВЕННОРУЧНЫЕ ПОКАЗАНИЯ
И.Э. БАБЕЛЯ

Ко второй моей поездке (32–33-й год) относится укрепление моей дружбы с ЭРЕНБУРГОМ, связавшим меня с французским писателем МАЛЬРО. Оба мы — и я, и ЭРЕНБУРГ — делились с Мальро информацией, имевшейся у нас об СССР.

В начале знакомства с МАЛЬРО он заявлял, что интересуется этой информацией, п. ч. хочет писать книгу об СССР, потом сказал, что объединение одинаково мыслящих и чувствующих людей полезно для дела мира. С МАЛЬРО я и ЭРЕНБУРГ встречались часто, делились с ним всем, что знали. Я лично несколько раз писал ему через проживавшего в Москве его брата — РОЛЛАНА МАЛЬРО.

Вопросы, которые чаще всего ставил МАЛЬРО, были вопросы о новом семейном быте в СССР, о мощи нашей авиации, о свободе творчества в СССР.

Я знал, что МАЛЬРО является близким лицом многим видным французским государственным деятелям, поэтому не могу не признать связь с ним шпионской.

Все сведения — о жизни в СССР он (Эренбург. — Б.С.) передавал МАЛЬРО и предупреждал меня, что ни с кем, кроме как с МАЛЬРО, разговоров вести нельзя... Связь свою с Мальро он объяснял тем, что МАЛЬРО представляет теперь молодую радикальную Фран-

цию и что влияние его будет все усиливаться. Держать МАЛЬРО в орбите Советского Союза представлялось ему чрезвычайно важным, и он резко протестовал, если МАЛЬРО не оказывались советскими представителями достаточные знаки внимания. Он рассказывал мне, что к голосу МАЛЬРО прислушиваются деятели самых различных французских правящих групп — и Даладье, и Блюм, и Эррио...

(С. Поварцов. *Причина смерти — расстрел*. Стр. 112–113).

А вот во что они превратились после соответствующей обработки, когда им была придана форма протокола, фиксирующего вопросы следователя и ответы на них последственного.

► ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСОВ И.Э. БАБЕЛЯ

Май 1939 г.

В о п р о с : Предупреждаем вас, что при малейшей попытке с вашей стороны скрыть от следствия какой-либо факт своей вражеской работы вы будете немедленно изобличены в этом. А сейчас скажите — где, когда и с какой разведкой вы установили шпионские связи?

О т в е т : В 1933 году во время моей второй поездки в Париж я был завербован для шпионской работы в пользу Франции писателем АНДРЕ МАЛЬРО.

Поскольку с ним меня связал ЭРЕНБУРГ, я прошу разрешения подробно остановиться на своих встречах и отношениях, сложившихся у меня с ЭРЕНБУРГОМ.

В о п р о с : Если это имеет отношение к вашей шпионской работе, то говорите.

О т в е т : Мое первое знакомство с ЭРЕНБУРГОМ, произошедшее в 1927 году в одном из парижских кафе, было весьма мимолетным и перешло в дружбу только в

следующий мой приезд в Париж, в 1933 году. Тогда же ЭРЕНБУРГ познакомил меня с МАЛЬРО, о котором он был чрезвычайно высокого мнения, представив мне его как одного из самых ярких представителей молодой радикальной Франции. При неоднократных встречах со мной, ЭРЕНБУРГ рассказал мне, что к голосу МАЛЬРО прислушиваются деятели самых различных французских правящих групп, причем влияние его с годами будет расти, что дальнейшими обстоятельствами действительно подтвердилось.

В о п р о с : Выражайтесь яснее, о каких обстоятельствах идет речь?

О т в е т : Я имею в виду быстрый рост популярности МАЛЬРО во Франции и за ее пределами.

В о п р о с : Каких же позиций советовал вам ЭРЕНБУРГ держаться в отношении МАЛЬРО?

О т в е т : Мальро высоко ставил меня как литератора, а ЭРЕНБУРГ в свою очередь советовал мне это отношение ко мне МАЛЬРО всячески укреплять.

В о п р о с : В каких целях?

О т в е т : Будучи антисоветски настроенным и одинаково со мной оценивая положение в СССР, ЭРЕНБУРГ неоднократно убеждал меня в необходимости иметь твердую опору на парижской почве и считал МАЛЬРО наилучшей гарантией такой опоры...

В это же время те же признания следователь вымогает у другого подследственного.

► ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА
МИХАИЛА КОЛЬЦОВА

Март 1939 г.

Председательствующий на Конгрессе (имеется в виду парижский конгресс 1935 года «В защиту культуры». — Б.С.) АНДРЕ ЖИД всячески демонстрировал

свои восторги перед СССР и коммунизмом, однако одновременно за кулисами проявлял недоброжелательство и враждебность к советским делегатам и иностранным коммунистам. ЭРЕНБУРГ, являвшийся уполномоченным от АНДРЕ ЖИДА и французов, заявил от их и своего имени недовольство составом советской делегации и, в частности, отсутствием ПАСТЕРНАКА и БАБЕЛЯ. По мнению ЖИДА и ЭРЕНБУРГА, только ПАСТЕРНАК и БАБЕЛЬ суть настоящие писатели и только они по праву могут представлять в Париже русскую литературу... На третий день Конгресса ЖИД передал через ЭРЕНБУРГА ультиматум... или в Париж будут немедленно вызваны Пастернак и Бабель, или А. Жид и его друзья покидают Конгресс. Одновременно он явился в полпредство и предъявил... такое же требование. ПАСТЕРНАК и БАБЕЛЬ были вызваны и приехали в последний день Конгресса. С ПАСТЕРНАКОМ и БАБЕЛЕМ, равно как и с ЭРЕНБУРГОМ, у ЖИДА и других буржуазных писателей ряд лет имеются особые связи. Жид говорил, что только им он доверяет в информации о положении в СССР. «Только они говорят правду, все прочие подкуплены»... Связь ЖИДА с ПАСТЕРНАКОМ и БАБЕЛЕМ не прерывалась до приезда ЖИДА в Москву в 1936 г. Уклоняясь от встреч с советскими деятелями и отказываясь от получения информации и справок о жизни в СССР и советском строительстве, ЖИД в то же время выкраивал специальные дни для встреч с ПАСТЕРНАКОМ на даче, где разговаривал с ним многие часы с глазу на глаз, прося всех удалиться. Зная антисоветские настроения ПАСТЕРНАКА, несомненно, что значительная часть клеветнических писаний ЖИДА, особенно о культурной жизни в СССР, была вдохновлена ПАСТЕРНАКОМ...

(В. Шенталинский. *Донос на Сократа*. М., 2001. Стр. 444–445).

Над Пастернаком тоже тогда нависла угроза ареста. Но к Эренбургу и Олеше на Лубянке подбирались уже вплотную, о чем мы можем судить по такому документу из дела Бабеля:

- ▶ НКВД СССР
ВТОРОЙ ОТДЕЛ ГУГБ

19 июня 1939

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Зам. нач. следствен. части НКВД СССР
капитану госуларствен. безопасности —
тов. Владзимирскому

Прошу дать выписку из показаний арестован. Ба-
беля и Кольцова на ЭРЕНБУРГА и ОЛЕШУ.

Зам. нач. 5-го отд. 2-го отдела ГУГБ
ст. лейтенант Государств. безопасности
(*Райзман*)

(Там же. Стр. 78).

Но каков все-таки был полный список членов этой «анти-советской организации», будто бы возглавляемой Бабелем?

Об этом мы можем судить по документу, обнаруженному в деле М. Кольцова его племянником, получившим доступ к этому делу и внимательно его изучившим:

- ▶ ...Кольцов дает показания, в которых фигурирует масса людей. Возникает вопрос, а почему следствие интересуется именно этими людьми, а не другими? Ведь знакомства Кольцова были весьма обширны. Ключом к разгадке является один из листков «Дела». На нем рукой Кольцова в колонку выписаны фамилии именно тех лиц, которыми интересуется следствие. Абсолютно

ясно, что этот список продиктован Кольцову следователем и именно о них должна идти речь в показаниях Кольцова.

(В. Фрадкин. *Дело Кольцова*.
М., 2002. Стр. 218–219).

Этот список, продиктованный Кольцову следователем, В. Фрадкин в своей книге не приводит, он о нем только упоминает. Но имена основных фигурантов будущего процесса он называет.

- ▶ Первая группа, на которую выбивали показания у Кольцова, — это сотрудники ЖУРГАЗа, но, видимо, они не устроили высокое начальство, поскольку среди них не было подходящих весомых кандидатур. И как видно из «Дела», к ЖУРГАЗу следствие больше не возвращалось. Зато в отношении работников «Правды», большинство из них были члены редакционной коллегии газеты, следствие проявило явный интерес. По поводу их Кольцова заставляли давать показания несколько раз, поскольку они явно, по мнению следствия, годились для скамьи подсудимых на предполагаемом процессе, но... в качестве рядовых его участников. Нужны фигуры более известные. А где их можно найти? Ну, конечно, среди творческой интеллигенции. Поэтому чуть ли не резидентом французской разведки «назначается» ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ становится агентом той же французской разведки, причем со стажем. В качестве членов шпионской организации намечается ряд известных писателей, деятелей культуры, ученых: СЕМЕН КИРСАНОВ, ВАЛЕНТИН КАТАЕВ, ВЛАДИМИР ЛИДИН, ЕФИМ ЗОЗУЛЯ, РОМАН КАРМЕН, БОРИС ПАСТЕРНАК, ИСААК БАБЕЛЬ, ВСЕВОЛОД МЕЙЕРХОЛЬД, ОТТО ШМИДТ.

Особенно перспективен, с точки зрения следствия, ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — он практически живет во Фран-

ции, значит, кругом одни иностранцы, а, как известно, почти все они шпионы. А главное, ЭРЕНБУРГ дружил с Николаем Бухариным — разоблаченным «врагом народа» (они учились в одном классе в гимназии). Вот еще один мостик: Эренбург — Бухарин... Далее из «показаний» Кольцова мы узнаем, что А. ТОЛСТОЙ — шпион, а В. МЕЙЕРХОЛЬД — информатор французского «шпиона» Вожеля.

(Там же. Стр. 221—222).

Вот какое грандиозное затевалось дело. Вот какую организацию должен был по замыслу следователей Лубянки возглавить Бабель.

Можно ли представить себе, чтобы эти капитаны и старшие лейтенанты государственной безопасности действовали самочинно, не получив на этот счет никаких указаний?

Слов нет, Эренбург при его международных связях им тут очень годился. Так же, как А.Н. Толстой с его эмигрантским прошлым и сохраняющимися международными связями. Но может ли быть, чтобы следователи НКВД вплотную занялись этими тогдашними литературными тяжеловесами, не получив на этот счет прямой отмашки с самого верха?

Нет, такого быть, конечно, не могло.

И у нас есть все основания не только предполагать, но и с достаточной долей уверенности утверждать, что такая отмашка — и именно с самого верха — действительно была им дана.

* * *

Тут мне придется привести довольно пространный отрывок из воспоминаний К.Л. Зелинского о Фадееве:

- ▶ «...мы как-то обедали у Фадеева на даче. Был он с матерью Антониной Владимировной, и я с сестрой Тамарой. Во время обеда раздался гудок автомобиля, и в

дом вошел фельдъегерь из ЦК, который вручил Фадееву пакет, запечатанный сургучными печатями. Фадеев попросил подождать его ответа в машине. Распечатав письмо — это была короткая записка на бланке от А.Н. Поскребышева, — он передал ее мне. Я хорошо запомнил эту записку, она гласила: «Товарищу Фадеев! Товарищу Сталин просит вас быть завтра между 5 и 6 часами на его даче на обеде. Машина будет за вами послана. Подпись: А.Н. Поскребышев».

Впервые в жизни я увидел, как Фадеев побледнел, потом вся кровь бросилась ему в лицо, и оно стало малиновым.

— Пойди, передай фельдъегерю... нет, нет, не ты, пусть это сделает мама. Мама, прошу тебя, пойди и скажи фельдъегерю, что я болен, что я не могу присутствовать там, где меня просят. Я потом сам все объясню товарищу Поскребышеву.

Наш мирный обед был расстроен. Кое-как мы закончили свой разговор и молчаливо пошли домой. На следующее утро, как обычно, Фадеев пришел под мое окно и кликнул меня:

— Пойдем, Корнелий, по грибы.

Я вышел, и мы отправились с ним в сторону Одиноца.

— Слушай, Саша, — сказал я, — все-таки я не понимаю тебя. Не каждый день Сталин приглашает к себе на обед. Если это тебе не нужно, то, по крайней мере, ты бы мог что-то сказать о всех нас, о литературе. Это же редкий случай, когда можно встретиться и поговорить в удобной обстановке о самых важных наших делах.

Фадеев рассвирепел.

— Поди ты к черту, — сказал он. — Вообще ты меня не имеешь права спрашивать о том, почему я не поехал к Сталину и что я ему должен говорить. Тебя это не касается, и не лезь в те дела, которых не понимаешь...

Я был обижен таким неожиданным взрывом резкости и неприязни.

— Поди и ты тогда к черту! Не хочу я с тобой «идти по грибы». Не хочешь — не говори. Но я не хочу выслушивать твоих дерзостей.

И я зашагал через поле, с которого была уже убрана картошка, увязая ботинками в комьях мокрой земли. Не успел я дойти до опушки, как меня догнал Фадеев. И снова, как это с ним часто бывало, я почувствовал внезапный переход от дикого гнева к ласке и от холодного официального тона к истинно человеческому, почти братскому обращению. Он обнял меня за талию:

— Не сердись на меня, я виноват перед тобой. Но что ты хочешь от меня знать, когда я сам не знаю, почему я не поехал. Я не могу поехать, потому что я уже седой человек и не хочу, чтобы меня цукали, высмеивали. Мне трудно уже выносить иронию над собой. Я не котенок, чтобы меня тыкали мордой в горшок. Я человек... Я знаю, что меня там ждет. Меня ждет иезуитский допрос...

*(К. Зелинский. В июне 1954 года.
Минувшее. Исторический альманах. № 5.
Париж, 1988. Стр. 86—87).*

И тут он поделился с ним воспоминанием об одной — давней — своей встрече со Сталиным.

► Меня вызвал к себе Сталин... Встав из-за стола, он пошел мне навстречу, но сесть меня не пригласил (я так и остался стоять), начал ходить передо мною.

— Слушайте, товарищ Фадеев, — сказал мне Сталин, — вы должны нам помочь.

— Я коммунист, Иосиф Виссарионович, а каждый коммунист обязан помогать партии и государству.

— Что вы там говорите — коммунист, коммунист. Я серьезно говорю, что вы должны нам помочь, как руководитель Союза писателей.

— Это мой долг, товарищу Сталин, — ответил я.

— Э, — с досадой сказал Сталин, — вы все там в Союзе бормочете «мой долг», «мой долг»... Но вы ничего не делаете, чтобы реально помочь государству в его борьбе с врагами. Вот вы руководитель Союза писателей, а не знаете, среди кого работаете.

— Почему не знаю? Я знаю тех людей, на которых я опираюсь.

— Мы вам присвоили громкое звание «генеральный секретарь», а вы не знаете, что вас окружают крупные международные шпионы. Это вам известно?

— Я готов помочь разоблачать шпионов, если они существуют среди писателей.

— Это все болтовня, — резко сказал Сталин, оставиваясь передо мной и глядя на меня, который стоял почти как военный, держа руки по швам. — Это все болтовня. Какой вы генеральный секретарь, если вы не замечаете, что крупные международные шпионы сидят рядом с вами.

Признаюсь, я похолодел. Я уже перестал понимать самый тон и характер разговора, который вел со мной Сталин.

— Но кто же эти шпионы? — спросил я тогда.

Сталин усмехнулся одной из тех своих улыбок, от которых некоторые люди падали в обморок и которая, как я знал, не предвещала ничего доброго.

— Почему я должен вам сообщать имена этих шпионов, когда вы обязаны были их знать? Но если вы уж такой слабый человек, товарищу Фадеев, то я вам подскажу, в каком направлении надо искать и в чем вы нам должны помочь. Во-первых, крупный шпион ваш ближайший друг Павленко. Во-вторых, вы прекрасно

знаете, что международным шпионом является Илья Эренбург. И, наконец, в-третьих, разве вам не было известно, что Алексей Толстой английский шпион? Почему, я вас спрашиваю, вы об этом молчали? Почему вы нам не дали ни одного сигнала? Идите, — повелительно сказал Сталин и отправился к своему столу. — У меня нет времени больше разговаривать на эту тему, вы сами должны знать, что вам следует делать.

(Там же. Стр. 87–88).

Корнелий Люцианович Зелинский, с легкой руки Виктора Шкловского получивший прозвище *Карьерия Поллюциановича Вазелинского*, — не самый достоверный из мемуаристов советской эпохи. Что-то он тут наверняка приукрасил, а кое-что, может быть, даже и присочинил.

Как-то не верится, что у Фадеева хватило бы духу ответить отказом на приглашение Сталина явиться к такому-то часу к нему на обед. От таких приглашений не отказываются. Не исключено, что мемуарист слегка, — а может быть, даже и не слегка, — преувеличил степень своей близости с героем этих его воспоминаний. Это все возможно. Но то, что Сталин назвал Эренбурга *международным*, а А.Н. Толстого *английским* шпионом, он выдумать не мог.

К тому же, как мы уже видели (и еще увидим), именно эти характеристики Эренбурга и А.Н. Толстого изо всех сил стараются подтвердить следователи НКВД, допрашивающие Бабеля и Кольцова. Не по прямому ли указанию Сталина? Во всяком случае, — уж точно! — с его ведома.

На этот счет у нас имеется еще одно мемуарное свидетельство, достоверность которого совсем уж никаких сомнений не вызывает:

- ▶ В сорок девятом году, когда мы ездили с первой делегацией деятелей советской культуры в Китай, Фадеев руководителем делегации, а я его заместителем,

как-то поздно вечером в Пекине в гостинице Фадеев в минуту откровенности — а надо сказать, что на такие темы, как эта, он редко говорил, очень редко, со мной, пожалуй, только трижды, — он после того, как я, не помню, по какому поводу заговорил о Кольцове и о том, что так до сих пор и не верится, что с ним могло произойти то, что произошло, сказал мне, что он, Фадеев, через неделю или две после ареста Кольцова, написал короткую записку Сталину о том, что многие писатели, коммунисты и беспартийные, не могут поверить в виновность Кольцова, и сам он, Фадеев, тоже не может в это поверить, считает нужным сообщить об этом широко распространенном впечатлении от происшедшего в литературных кругах Сталину и просит принять его.

Через некоторое время Сталин принял Фадеева.

— Значит, вы не верите в то, что Кольцов виноват? — спросил его Сталин.

Фадеев сказал, что ему не верится в это, не хочется в это верить.

— А я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить.

После этих слов Сталин вызвал Поскребышева и приказал дать Фадееву почитать то, что для него отложено.

— Пойдите, почитайте, потом зайдете ко мне, скажете о своем впечатлении, — так сказал ему Сталин, так это у меня осталось в памяти из разговора с Фадеевым.

Фадеев пошел вместе с Поскребышевым в другую комнату, сел за стол, перед ним положили две папки показаний Кольцова.

Показания, по словам Фадеева, были ужасные, с признаниями в связи с троцкистами, с поумовцами.

— И вообще, чего там только не было написано, — горько махнул рукой Фадеев, видимо, как я понял, не

желая касаться каких-то персональных подробностей. — Читал и не верил своим глазам. Когда посмотрел все это, меня еще раз вызвали к Сталину, и он спросил меня:

— Ну как, теперь приходится верить?

— Приходится, — сказал Фадеев.

— Если будут спрашивать люди, которым нужно дать ответ, можете сказать им о том, что вы знаете сами, — заключил Сталин и с этим отпустил Фадеева.

Этот мой разговор с Фадеевым происходил в сорок девятом году, за три с лишним года до смерти Сталина. Разговор свой со Сталиным Фадеев не комментировал, но рассказывал об этом с горечью, которую как хочешь, так и понимай. При одном направлении твоих собственных мыслей это могло ощущаться как горечь от того, что пришлось удостовериться в виновности такого человека, как Кольцов, а при другом — могло восприняться как горечь от безвыходности тогдашнего положения самого Фадеева, в глубине души все-таки, видимо, не верившего в вину Кольцова и не питавшего доверия или, во всяком случае, полного доверия к тем папкам, которые он прочитал. Что-то в его интонации, когда он говорил слова «чего там только не было написано», толкало именно на эту мысль, что он все-таки где-то в глубине души не верит в вину Кольцова, но сказать это даже через одиннадцать лет не может, во всяком случае, впрямую, потому что Кольцов — это ведь уже не «ежовщина». Ежов уже бесследно убран, это уже не Ежов, а сам Сталин.

(К. Симонов. Истории тяжелая вода. М., 2005. Стр. 325—327).

Этот отрывок из воспоминаний К.М. Симонова я уже приводил (в несколько сокращенном виде) в главе «Сталин и А.Н. Толстой». Но теперь вынужден привести его снова, по-

тому что, как выяснилось, историю эту Фадеев рассказывал не однажды.

В мемуарах К.Л. Зелинского рассказ Фадеева приведен почти так же подробно, как в записи Симонова:

- ▶ ...я на Шевченковском диспуте в Киеве сказал несколько слов в защиту Мейерхольда, что-де его критиковали за формализм, но и у него есть положительное и что-то в этом роде. Приезжаю в Москву, и меня вызывают в ЦК, в Кремль.

В Кремле меня проводят прямо к Сталину. Сталин был занят, сказал мне:

— Вы пока посидите и почитайте тут некоторые бумаги.

Это были папки, содержавшие протоколы допроса Миши Кольцова и Белова, бывшего командующего Московским военным округом. Что могло быть общего у Кольцова и у Белова?.. Кольцов, журналист, писатель, и Белов, военный, человек совсем другой среды. И однако в показаниях их было сказано, что они были связаны, работали вместе.

Кольцов говорил там, в своих показаниях, что он потерял веру в возможность победы у нас социализма (его Радек еще в этом уговаривал), и он продался германской разведке. Я понимаю теперь, что он мог быть принят даже самим Гитлером. Но, как человек умный, он усомнился в возможности победы фашизма и для перестраховки связался и с французской разведкой тоже. Решил, что быть шпионом в демократической стране лучше: всегда туда можно будет скрыться.

Так вот, и Кольцов, и Белов в своих показаниях много писали о Мейерхольде как резиденте иностранной разведки тоже, как участнике их шпионской группы.

Потом приходит Сталин и говорит мне:

— Ну как, прочли?

— Лучше бы я, тов. Сталин, этого не читал, лучше бы мне всего этого не знать.

Так мне все это грязно показалось.

— Нам бы этого тоже хотелось бы не знать и не читать, — сказал мне Сталин, — но, что же делать, приходится. Теперь вы, надеюсь, понимаете, кого вы поддерживали своим выступлением. А вот Мейерхольда, с вашего позволения, мы намерены арестовать.

Каково мне было все это слушать? Но каково мне было потом встречаться с Мейерхольдом! Его арестовали только через пять месяцев после этого случая. Он приходил в Союз, здоровался со мной, лез целоваться, а я знал про него такое, что не мог уже и смотреть на него.

*(К. Зелинский. В июне 1954 года.
Вопросы литературы. М., 1989,
№ 6. Стр. 160–161).*

Тут эта исповедь Фадеева изложена и истолкована — да, видимо, и понята мемуаристом, — несколько иначе, чем у Симонова.

Симонов не исключает, что, прочитав показания Кольцова, Фадеев не больно в них поверил. У Зелинского он верит прочитанному безоговорочно, безоглядно. Так же, как в вину Мейерхольда, которого Сталин еще только собирается арестовать.

Но это все — оттенки, детали. В самой же своей основе история эта — та же, которую записал Симонов.

А вот Леониду Осиповичу Утесову Фадеев ту же историю рассказал иначе.

- ▶ Когда началась война, нас, артистов кое-каких и писателей, из тех, что участвовали во фронтовых бригадах, кормили бесплатно в ресторане «Арагви». Ну, идет война, а тут всякие закуски, икра, балыки... Ели мы вот так (Утесов делает характерный жест ребром ладони

поперек горла). Днем у меня была работа, а ночевать я ходил в гостиницу «Москва». Тогда уже бомбежки шли, я дома не спал. Когда случался налет, мы спускались в подвальное помещение гостиницы. Как-то после ужина выпили немного, не пьяные, а так — рюмочки три водки. Вдруг Фадеев повернулся ко мне.

— Утесик, — так он меня называл, вообще хорошо ко мне относился, — идите сюда поближе, поговорим.

Я подсел к нему. То да се. Разговор длинный. Потом набрался духу и спрашиваю:

— Александр Александрович, скажите, что с Бабелем? Ведь я его любил очень, был с ним дружен. Я, говорю, не верю, что он шпион и враг народа.

Фадеев нахмурился, помолчал.

— Я тоже не верю. И с тем же вопросом обращался к Сталину. Поехал в Кремль. Сталин при мне вызвал какого-то человечка, сказал: «Принесите мне дела Бабеля и Мейерхольда». Минут через пять тот приносит. «Вот видите», — говорит тогда Сталин и показывает мне какие-то папки. Раскрыл одну. «Смотрите, — говорит, — они сами во всем признались».

(С. Поварцов. Причина смерти — расстрел. Стр. 77—78).

Перепутать Бабеля и Мейерхольда с Кольцовым Утесов, понятное дело, не мог. И Фадеев, конечно, не мог дважды обращаться к Сталину — один раз по поводу Кольцова, другой по поводу Бабеля и Мейерхольда — и дважды получить от него один и тот же ответ. Значит, не «Дело Кольцова» показывал ему Поскребышев, и не «Дело Бабеля и Мейерхольда», а некое ОБЩЕЕ ДЕЛО, в котором фигурировали и Кольцов, и Бабель, и Мейерхольд, — наверняка и Пастернак, и Олеша, и многие другие, о ком Фадеев в своих рассказах не упоминал, поскольку они по решению Хозяина в конечном счете были из этого «Дела» выведены.

К объяснению, которым Сталин удостоил Фадеева (ему, мол, тоже не хотелось верить в виновность Кольцова, Бабея и Мейерхольда, но результаты следствия его в этом убедили: пришлось поверить), относиться серьезно, разумеется, нельзя. Совершенно очевидно, что всё обстояло ровно наоборот: именно он дал команду состряпать пресловутое дело и сам определил фигурантов будущего процесса.

Да это не очень-то и скрывалось.

Когда решалась судьба Михаила Кольцова, его брат – известный художник-карикатурист Борис Ефимов – предпринял отчаянную попытку если не спасти брата, так хотя бы смягчить суровость приговора:

- ▶ ...В первых числах марта сорокового года, когда я в очередной раз явился в «помещение № 1» с двадцатью рублями, деньги у меня не приняли. Сотрудник в окошечке сообщил, что дело Кольцова следствием закончено и поступило в Военную коллегию Верховного суда. Я понял, что наступил решающий момент и надо что-то предпринимать. Надо хлопотать, думал я, чтобы к судебному разбирательству допустили защитника (слово «адвокат» было тогда не в чести). Как это сделать? И так случилось, что тогда же я встретил на улице известного московского адвоката Илью Брауде, участника всех политических процессов той поры, и поделился с ним своими заботами. Он посоветовал мне немедленно написать председателю Военной коллегии Ульриху просьбу принять меня по делу моего брата такого-то. Я сейчас же написал такое письмо и отнес его в секретариат Военной коллегии, находившийся в угрюмом четырехэтажном здании позади памятника первопечатнику Ивану Федорову...

В подъезде Военной коллегии я увидел дверь с надписью «Справочное бюро» и решил на всякий случай

туда наведаться. Сотрудник бюро повел пальцем по страницам толстой книги:

— Кольцов? Михаил Ефимович? 1898 года рождения? Есть такой. Суд состоялся первого февраля. Приговор: 10 лет дальних лагерей без права переписки.

— Опоздал, — с огорчением пробормотал я, — надо было раньше писать Ульриху. А теперь зачем он будет меня принимать?

Я вернулся домой. Каково же было мое удивление, когда мой одиннадцатилетний сын Миша сказал, что мне звонили из какой-то Военной коллегии, оставили номер телефона и просили позвонить. Я позвонил, и мне было сказано, что товарищ Ульрих примет меня завтра в 10 часов утра...

...В огромном кабинете, устланном ковром, стоял у письменного стола маленький лысый человек с розовым лицом и аккуратно подстриженными усиками. Ульрих был видной фигурой того времени. В течение многих лет он возглавлял Военную коллегию, председательствовал на всех крупных политических процессах двадцатых-тридцатых годов. Принял он меня со снисходительным добродушием, явно рисуясь своей «простотой» и любезностью.

— Ну-с, — улыбочиво заговорил он, садясь в кресло, — садитесь, пожалуйста. Так чего бы вы от меня хотели?

— Откровенно говоря, Василий Васильевич, я и не знаю, чего теперь хотеть. Дело в том, что я собирался просить вас о допущении защитника к слушанию дела Кольцова, но вчера узнал, что суд уже состоялся. Как обидно, что я опоздал!

— О, можете не огорчаться, — ласково сказал Ульрих, — по этим делам участие приглашенных защитников не разрешается. Так что вы ничего не потеряли. Приговор, если не ошибаюсь, десять лет без права переписки?

— Да, Василий Васильевич. Но позвольте быть откровенным, — осторожно сказал я. — Существует, видите ли, мнение, что формула «без права переписки» является, так сказать, символической и прикрывает нечто совсем другое... (Все тогда уже знали, что «десять лет без права переписки» означало расстрел. — Б.С.)

— Нет, зачем же, — невозмутимо ответил Ульрих, — никакой символики тут нет. Мы ведь, если надо, даем и пятнадцать, и двадцать, и двадцать пять. Согласно предъявленным обвинениям.

— А в чем его обвиняли?

Ульрих задумчиво устремил глаза к потолку и пожал плечами.

— Как вам сказать, — промямлил он, — различные пункты пятьдесят восьмой статьи. Тут вам, пожалуй, трудно будет разобраться.

И далее наша беседа приняла характер какой-то странной игры. Ульрих твердо придерживался разговора на темы литературы и искусства, высказывал свои мысли о последних театральных постановках, спрашивал, над чем работают те или иные писатели и художники, интересовался, какого мнения о нем «писательская братия», верно ли, что его улыбку называют «иезуитской», и т.п. Все мои попытки узнать что-нибудь о брате он встречал благодушной иронией.

— Ох, обязательно вы хотите что-нибудь у меня выведать, — приговаривал он, посмеиваясь...

Потом помолчал и, став вдруг серьезным, сказал:

— Послушайте. Ваш брат был человеком известным, популярным. Занимал видное общественное положение. Неужели вы не понимаете, что, если его арестовали, значит, на то была соответствующая санкция?

(В. Фрадкин. Дело Кольцова.
Стр. 329—331).

Не могу сказать, что эта циничная откровенность Ульриха так уж меня поразила. Но все-таки... Ведь он мог — и, казалось бы, должен был, — соблюдая необходимые приличия, сказать: «Если его арестовали, значит, на то были основания». Но он выразился иначе: «ЗНАЧИТ, НА ТО БЫЛА СООТВЕТСТВУЮЩАЯ САНКЦИЯ». И не стал объяснять, ЧЬЯ это была санкция. Это было ясно без всяких объяснений.

Точно так же обстояло дело с Бабелем, Мейерхольдом и прочими фигурантами варившегося на Лубянке их общего дела.

Можно не сомневаться, что ВЕСЬ СОСТАВ «антисоветской организации среди писателей», руководителем которой был назначен Бабель, тоже определил ОН.

И не только состав участников определил, но наверняка САМ, ЛИЧНО сочинил и весь СЦЕНАРИЙ этого задуманного им очередного большого процесса.

* * *

Эти сценарии он всегда сочинял сам. И не схему какую-нибудь, не какой-то там общий план, даже не либретто будущего театрального действия, а именно СЦЕНАРИЙ, со всеми заранее продуманными и тщательно разработанными «художественными» подробностями и деталями.

Первый такой сценарий был им запущен в 1936 году, когда он решил инсценировать большой показательный процесс, на котором к расстрелу будут приговорены Каменев и Зиновьев.

Руководителем группы следователей по этому делу был назначен начальник Секретного Политического отдела НКВД Г.А. Молчанов.

- ▶ Летом 1935 г. Молчанов собрал 40 следователей и объявил, что Политбюро раскрыло огромный заговор, возглавляемый Троцким, заговорщики виновны в

убийстве Кирова и в подготовке покушения на Сталина, Ворошилова, Кагановича, Молотова, а их конечной целью является реставрация капитализма в Советском Союзе. Эти сведения Политбюро, уточнил Молчанов, «абсолютно достоверны». Следователям поручалось добиться от подсудимых признания в участии в заговоре, описания которого с мельчайшими подробностями были получены от Сталина.

(Р. Бракман. *Секретная папка Сталина. Скрытая жизнь*. М., 2004. Стр. 307).

Среди этих подробностей была, например, такая.

По сталинскому сценарию один из фигурантов процесса — Е.С. Гольцман — должен был сообщить, что в 1932 году он встретил в Берлине сына Троцкого Льва Седова, который предложил ему поехать в Копенгаген для встречи с отцом.

— Я согласился, — показывал на суде Гольцман, — но сказал ему, что мы не можем ехать вместе для секретности. Я договорился с Седовым быть в Копенгагене через два-три дня, остановиться в гостинице «Бристоль» и встретить его там.

На этой детали Сталин почему-то очень настаивал.

Один из его биографов объясняет это тем, что в 1906 году у него самого была в этой гостинице конспиративная встреча с офицером царской охранки и у него в связи с этим были какие-то комплексы, которые он хотел таким способом избыть. Может, оно и так. Во всяком случае, название этой копенгагенской гостиницы было ему известно, и «для убедительности» он вставил его в свой сценарий. И вот, в точном соответствии с этим сталинским сценарием Е.С. Гольцман дает на суде свои показания:

- ▶ Я приехал в гостиницу прямо со станции и встретил Седова в вестибюле. Около 10 часов утра мы поехали к Троцкому. Гольцман далее сказал, что Троцкий настаи-

вал на необходимости убить Сталина и рекомендовал выбрать кадры ответственных людей, подходящих для этой цели.

(Там же. Стр. 313).

А затем произошло следующее:

- ▶ Когда показания Гольцмана были опубликованы, газета «Социалдемократен», орган датской социал-демократической партии, заявила, что она сфабрикована, так как «гостиница «Бристоль» в Копенгагене была снесена в 1917 г.», то есть за 15 лет до вымышленной встречи Гольцмана с Седовым. Следственная комиссия под председательством американского философа Джона Дюи заявила:

«То, что в 1932 году в Копенгагене не было гостиницы «Бристоль», стало теперь общеизвестным фактом. Поэтому Гольцман не мог встретить Седова в вестибюле этой гостиницы».

(Там же).

Когда разразился этот скандал, свой гнев Сталин обрушил на следователей. «Какого черта вам понадобилась гостиница?! Вы должны были сказать, что они встретились на железнодорожной станции. Она всегда на месте!» — орал он.

То ли забыв, а скорее, сделав вид, будто забыл, что он сам и был автором этой «художественной» подробности.

* * *

Сочиняя сценарий большого писательского процесса, в такие подробности и детали Сталин уже не входил. Во всяком случае, на этот счет нам ничего не известно. Но на тех пока-

заниях, которые следователи выбивали у Кольцова и Бабеля, ясно виден отпечаток сталинского сценарного замысла.

► ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСОВ И.Э. БАБЕЛЯ

Май 1939 г.

В о п р о с : Изложите подробно содержание ваших встреч и бесед с МАЛЬРО?

О т в е т : Летом 1933 года в одной из встреч, происходивших у Мальро на квартире в Париже, по улице Бак, дом № 33, он сказал мне, что со слов ЭРЕНБУРГА осведомлен о моем желании жить во Франции.

МАЛЬРО при этом заявил, что в любую минуту готов оказать нужную мне помощь, в частности пообещал устроить перевод моих сочинений на французский язык. МАЛЬРО далее заявил, что он располагает широкими связями в правящих кругах Франции, назвав мне в качестве своих ближайших друзей Даладье, Блюма и Эррио.

До этого разговора с Мальро ЭРЕНБУРГ мне говорил, что появление МАЛЬРО в любом французском министерстве означает, что всякая его просьба будет выполнена...

МАЛЬРО обещал часто приезжать в СССР и предложил далее в его отсутствие связываться на предмет передачи информации с «нашим общим другом» — ЭРЕНБУРГОМ.

(Там же. Стр. 112–115).

Из этого протокола ясно видно, что главное внимание следствия теперь сосредоточено на ЭРЕНБУРГЕ.

В каждом новом допросе следователь упорно возвращает Бабеля к этой фигуре, которая для разрабатываемого им криминального сюжета, видимо, представляется наиболее перспективной.

▶ ПРОТОКОЛ ДОПРОСА И.Э. БАБЕЛЯ

15 июня 1939 г.

В о п р о с : А как обстояло дело с ЭРЕНБУРГОМ?

О т в е т : Я уже подробно показывал на первом допросе о своих парижских встречах с ЭРЕНБУРГОМ, который меня познакомил с французским писателем Андре Мальро и привлек к шпионской работе в пользу Франции. ЭРЕНБУРГ, особенно за последние годы, был настроен враждебно, резко критиковал положение в Советском Союзе, издевательски высказывался по поводу серости и якобы бесталанности советской литературы, которой он противопоставлял изоциренную манеру таких западноевропейских авторитетов, как Мальро, Хемингуэй, Дос Пассос. Пользуясь своим влиянием в делах переводной литературы, ЭРЕНБУРГ особенно настаивал на внедрении в советскую читающую публику панических и импрессионистских произведений, как «Бегство на край ночи» Селина. Понятно, что когда ЭРЕНБУРГ нашел в моем лице единомышленника, то он охотно пошел со мной на антисоветские беседы, в которых мы установили общность наших взглядов и пришли к выводу о необходимости организованного объединения для борьбы против существующего строя.

(Там же. Стр. 131).

Виталий Шенталинский, внимательно изучивший дело Бабеля и подробно его описавший, отмечает, что никакое другое имя в его показаниях не упоминается так часто, как имя Эренбург. К этой фигуре, как уже было сказано, следователи проявляли особый, повышенный интерес. Но в данном случае я хочу обратить внимание на ХАРАКТЕР этого интереса. На ту РОЛЬ, какую в этих навязанных Бабелю показаниях следователи определили Эренбургу.

На первых порах ему там была назначена скромная роль связного между Бабелем и Мальро. Но чем дальше, тем яснее высвечивается в этих вынужденных бабелевских показаниях именно та роль Эренбурга, какую ему назначил Сталин: роль МЕЖДУНАРОДНОГО ШПИОНА.

► ИЗ ПОКАЗАНИЙ И.Э. БАБЕЛЯ

Май 1939 г.

Возвращаюсь к Эренбургу. Основное его честолюбие — считаться культурным полпредом советской литературы за границей. Связь с Мальро он поддерживал постоянную — единым фронтом выступал с ним по делам Международной ассоциации писателей. Вместе ездили в Испанию, переводили книги друг друга. Все сведения о жизни в СССР передавал Мальро и предупреждал меня, что ни с кем, кроме как с Мальро, разговоров вести нельзя и доверять никому нельзя. Вообще же был чрезвычайно скуп на слова и туг на знакомства. Держать Мальро в орбите Советского Союза представлялось ему всегда чрезвычайно важным, и он резко протестовал, если Мальро не оказывались советскими представителями достаточные знаки внимания.

Кроме того, Эренбург был тем человеком, кого приезжавшие в Париж советские писатели встречали в первую очередь. Знакомя их с Парижем, он «просвещал» их по-своему. Этой обработке подвергались все писатели, приезжающие в Париж: Ильф и Петров, Катаев, Лидин, Пастернак, Ольга Форш, Николай Тихонов. Не обращался к Эренбургу разве только А. Толстой, у которого был свой круг знакомых. В период конгресса 1935 года Толстой встречался с белыми эмигрантами и был в дружбе с М.И. Будберг (фактически последняя жена Горького, бывшая одновременно лю-

бовницей Герберта Уэллса); она очень хлопотала о том, чтобы свести Толстого с влиятельными английскими кругами...

(В. Шенталинский. *Рабы свободы*. М., 2009. Стр. 42).

И точно так же в интересе следователей к фигуре А.Н. Толстого проглядывает стремление высветить факты, на основании которых можно было бы, руководствуясь указанием Сталина, объявить его не каким-нибудь, а именно АНГЛИЙСКИМ ШПИОНОМ:

► ИЗ ПОКАЗАНИЙ М.Е. КОЛЬЦОВА

31 мая 1939 г.

Я был отдаленно знаком с Толстым и ближе сошелся с ним в 1935 году. На конгресс писателей в Париж он приехал, сделав крюк, через Лондон, где провел некоторое время (сколько — не знаю). Это посещение Лондона он объяснил мне наличием там у него старых друзей, в частности М. Будберг-Бенкендорф и Н.А. Пешковой. Последняя приехала вслед за ним в Париж.

Во время конгресса в здание, где он происходил, приходили русские белые эмигранты, просили вызвать Толстого и беседовали с ним в фойе. Это его крайне смущало, он, видимо, старался уклоняться от этих встреч и говорил мне: «Пристают старые знакомые, у каждого просьба, а откажешься говорить — скандал подымут».

Он поселился отдельно от других советских делегатов...

В 1937 году, приехав на второй конгресс писателей, Толстой в Париже также поселился отдельно. В том же отеле поселилась М. Будберг-Бенкендорф, известная по делу Локкарта, как агент Интеллидженс-Сервис. Усло-

вившись по телефону, я обедал с Толстым, его женой Людмилой и с Будберг. С последней обращение у него было короткое и на «ты»... Толстой и Будберг подчеркивали, что в Англии совершенно ничего не сделано в области связей с интеллигенцией. Толстой собирался снова съездить в Англию и при помощи Будберг расширить эти связи...

В разговоре со мной в 1935 году Мальро сказал, что Толстой, как и другие писатели-эмигранты, был завербован англичанами и французами.

*(В. Фрадкин. Дело Кольцова.
Стр. 237–238).*

Чтобы доказать, что А.Н. Толстой – английский шпион, а Эренбург – международный, этого, конечно, маловато. Но можно не сомневаться, что если бы их арестовали, они во всем бы САМИ признались и собственной фантазией обогатили дело, которое им шили следователи.

Но их не арестовали.

Не арестовали также Пастернака, Олешу, Валентина Катаева, Кирсанова, Лидина, Эйзенштейна, Романа Кармена, Отто Юльевича Шмидта и многих других намечавшихся жертв несостоявшегося большого процесса.

Некоторые из них, благополучно умершие в своих постелях, быть может, так до конца жизни и не узнали, над какой пропастью выпало им повиснуть весной и летом 1939 года.

* * *

Не может быть сомнений, что показания, – во всяком случае, те, в которых он оговорил не себя, а других, того же Эренбурга, – из Бабеля выбили под пытками.

Мы даже знаем, каков был механизм добывания этих оговоров и самооговоров:

- ...меня здесь били — больного 65-летнего старика: клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой силой... В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные, чувствительные места ног лили крутой кипяток, я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной, руками меня били по лицу размахами с высоты... Лежа на полу лицом вниз, я обнаруживал способность извиваться и корчиться, и визжать, как собака, которую плетью бьет ее хозяин. Конвоир, который вел меня однажды с такого допроса, спросил меня: «У тебя малярия?» — такую тело мое обнаружило способность к нервной дрожи. Когда я лег на койку и заснул, с тем чтобы через час опять идти на допрос, который длился перед этим 18 часов, я проснулся, разбуженный своим стоном и тем, что меня подбрасывало на койке так, как это бывает с больными, погибающими от горячки.

*(Из письма В.Э. Мейерхольда председателю
Совета Народных Комиссаров В.М. Молотову.
Там же. Стр. 18).*

Этот душераздирающий документ хорошо известен. Его цитировали и комментировали многократно, и я не стал бы тут вновь к нему обращаться, если бы не одно обстоятельство.

Мейерхольд был арестован в одно время с Бабелем, и у них был один и тот же следователь (Шварцман), прославившийся своими палаческими наклонностями. Так что можно не сомневаться, что и к Бабелю применяли те же изуверские методы «допроса с пристрастием».

Начались эти допросы весной и продолжались все лето — до поздней осени. А осенью он вдруг взбунтовался.

10 октября его вызывают на последний допрос. Ведет его уже другой, новый следователь — лейтенант Акопов. И тут Бабель делает неожиданный шаг: он отказывается от части своих показаний.

► ИЗ ДОПРОСА И.Э. БАБЕЛЯ

10 октября 1939 г.

Вопрос: Обвиняемый Бабель, что вы имеете дополнить к ранее данным показаниям?

Ответ: Дополнить ранее данные показания я ничем не могу, ибо я все изложил о своей контрреволюционной деятельности и шпионской работе, однако я прошу следствие учесть, что при даче мной предварительных показаний я, будучи даже в тюрьме, совершил преступление.

Вопрос: Какое преступление?

Ответ: Я оклеветал некоторых лиц и дал ложные показания...

Вопрос: Вы решили пойти на провокации следствия?

Ответ: Нет, я такой цели не преследовал... Я солгал следствию по своему малодушию.

Вопрос: Расскажите, кого вы оклеветали и где солгали.

Ответ: Мои показания ложны в той части, где я показал о моих контрреволюционных связях с женой Ежова — Гладун-Хаютиной. Также неправда, что я вел террористическую деятельность под руководством Ежова. Мне неизвестно также об антисоветской деятельности окружения Ежовой. Показания мои в отношении Эйзенштейна С.М. и Михоэlsa С.М. мною вымышлены.

(Там же. Стр. 80—81).

Спустя две недели за этим — первым — шагом он делает следующий.

▶ ПРОКУРОРУ СССР

5 ноября 1939

Прокурору СССР
от арестованного И. Бабеля,
бывш. члена Союза советских писателей

Со слов следователя мне стало известно, что дело мое находится на рассмотрении Прокуратуры СССР. Желая сделать заявления, касающиеся существа дела и имеющие чрезвычайно важное значение, прошу меня выслушать.

5/XI/39

(Там же. Стр. 82).

Не получив ответа, спустя полтора месяца он пишет новое заявление:

▶ ПРОКУРОРУ СССР

21 декабря 1939

В дополнение к заявлению моему 5/XI-39 вторично обращаюсь с просьбой вызвать меня для допроса. В показаниях моих содержатся неправильные и вымышленные утверждения, приписывающие антисоветскую деятельность лицам, честно и самоотверженно работающим для блага СССР. Мысль о том, что слова мои не только не помогают следствию, но могут принести моей родине прямой вред, — доставляет мне невыразимые страдания. Я считаю первым своим делом снять со своей совести ужасное это пятно.

21/XI/39 И. Бабель.

(Там же. Стр. 85).

И спустя две недели — еще одно заявление, более развернутое и конкретное:

► ПРОКУРОРУ СССР

2 января 1940

Прокурору СССР
от арестованного И. Бабеля,
бывш. члена Союза советских писателей

Во внутренней тюрьме НКВД мною были написаны в Прокуратуру Союза два заявления — 5/XI и 21/XI/1939 года — о том, что в показаниях моих оговорены невинные люди. Судьба этих заявлений мне неизвестна. Мысль о том, что показания мои не только не служат делу выяснения истины, но вводят следствие в заблуждение, мучает меня неустанно. Помимо изложенного в протоколе от 9/X, мною были приписаны антисоветские действия и антисоветские тенденции писателю И. Эренбургу, Г. Коновалову, М. Фейерович, Л. Тумерману, О. Бродской и группе журналистов — Е. Кригеру, Е. Вермонту, Т. Тэсс. Все это ложь, ни на чем не основанная. Людей этих я знал как честных и преданных советских граждан. Оговор вызван малодушным поведением моим на следствии.

Бут. тюрьма, 2/1/1940.

И. Бабель

(Там же. Стр. 85—66).

В это же время в ходе следствия происходит еще одно, куда более важное событие: подготовка большого процесса отменяется.

Если следовать нормальной человеческой логике, между этими двумя событиями должна была существовать прямая связь.

Напрашивается простое предположение: после того как Бабель отказался от этой части своих показаний — дело рас-

сыпалось, для подготовки большого, громкого, открытого процесса над большой группой известных писателей у следствия уже не было материала.

Но для Сталина, когда дело касалось его фантастических криминальных замыслов, никаких препятствий не существовало.

► ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВДОВЫ И.Э. БАБЕЛЯ

...мне позвонил незнакомый человек, назвался следователем Долженко и пригласил зайти к нему. Отделение прокуратуры, где принимал меня Долженко, помещалось на улице Кирова, недалеко от Кировских ворот.

Это был довольно симпатичный, средних лет человек. Перелистывая какую-то папку, он задавал мне вопросы сначала обо мне, где работаю, какую должность занимаю, какая у меня семья. Узнав, что я работаю главным конструктором в Метрогиптранс, он сказал:

— Это удивительно при ваших биографических данных.

Вопросы, относящиеся к Бабелю, касались его знакомства с Андре Мальро и с Ежовыми. Я спросила Долженко:

— Вы дело Бабеля видели?

Он ответил:

— Вот оно, передо мной.

— И какое у вас впечатление?

— Дело шито белыми нитками...

И тут я чуть не потеряла сознание. В глазах у меня потемнело, и я чудом не упала со стула, схватившись за край стола. Долженко даже испугался, вскочил, подбежал ко мне, дал стакан воды.

(А. Пирожкова. Семь лет с Исааком Бабелем. Стр. 123).

Пятнадцать лет она жила надеждой, что муж, быть может, жив. Ей подсылали разных лжесвидетелей, будто бы вернувшихся ОТТУДА. Они сообщали, что совсем недавно, — в конце 40-х и даже в начале 50-х встречали Бабея — кто на Колыме, кто еще где.

Официальные ответы из кровавого ведомства на многочисленные ее запросы тоже были иногда невнятными и всегда противоречивыми: если сообщалось, что Бабея уже нет в живых, даты его гибели всякий раз назывались разные.

Конечно, она давно уже не верила, что в этой жизни им еще дано будет свидеться, но крохотная искорка надежды все-таки еще теплилась. Но когда она узнала, что никакой надежды нет, что муж ее мертв, сознания она не потеряла. А тут...

Что же, не знала она, что ли, что дело Бабея «шито белыми нитками»? Не может же быть, чтобы она верила в какую-то мифическую его вину!

Нет, конечно, не верила. Но ведь должны же были у ГОСУДАРСТВА быть какие-то свои, пусть ошибочные, ложные, но все-таки ГОСУДАРСТВЕННЫЕ основания для его ареста. Не может же быть, чтобы ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА убили ПРОСТО ТАК, НИ ЗА ЧТО!

Вот какова была сила сталинского гипноза.

И можно не сомневаться, что если бы Сталин этого захотел, большой, громкий, открытый процесс над писателями непременно бы состоялся. Теми же самыми «белыми нитками» были бы сшиты и все другие дела. И на этом открытом процессе и А.Н. Толстой, и Эренбург, и Олеша, и Отто Юльевич Шмидт со своей бородой, — и кто там еще! — дружно признавались бы в самых жутких, самых омерзительных своих преступлениях — как до них это делали Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Пятаков, Радек и все прочие, не столь знаменитые фигуранты больших московских процессов. И какой-нибудь новый Фейхтвангер, допущенный в ложу прессы, написал бы потом статью, а может быть, даже и це-

лую книгу, в которой объяснял бы «городу и миру», почему он верит, что все, что он там услышал своими ушами и увидел своими глазами, — безусловная и несомненная правда.

* * *

Насчет того, что помешало Сталину осуществить этот его замысел, существуют разные предположения.

Вот одно из них:

- ▶ Как полагает М. Валентей (внучка Мейерхольда), в 1939 году Сталин планировал проведение показательного судебного процесса над представителями советской творческой интеллигенции, якобы причастной к шпионской троцкистской организации... К осени 1939 года замысел Сталина в отношении арестованных писателей изменился. М. Валентей связывает это с заключением известного германо-советского пакта: «задуманный весной процесс оказался не ко времени осенью 1939 года, ни к чему было создавать советскую параллель преследованиям интеллигенции в фашистской Германии».

(С. Поварцов. Причина смерти — расстрел. Стр. 76).

Не думаю, чтобы такие опасения могли остановить Сталина, заставили его изменить свои планы. Скорее всего, он просто решил, что А.Н. Толстой, Эренбург да и кое-кто из других намечавшихся жертв этого процесса ему на что-нибудь еще пригодятся. В конце концов, убить их, — если в этом возникнет такая необходимость, — он всегда успеет: никуда не денутся.

Но всерьез гадать о том, что заставило Сталина изменить свои планы, я не берусь. С уверенностью могу сказать только одно: такой поворот дела тоже был в его, сталинском, стиле.

Во всяком случае, осенью 1939 года такое случилось не в первый и не в последний раз.

Я мог бы тут припомнить по меньшей мере три-четыре таких случая. Но ограничусь одним, самым из них выразительным.

* * *

19 марта 1938 года в Ленинграде органами государственной безопасности был арестован Николай Алексеевич Заболоцкий.

- ▶ Какие же преступления ставились в вину поэту и за что он был осужден? Дело Заболоцкого было косвенно связано с разгромом «правой» бухаринской оппозиции и с общей установкой найти конкретные доказательства смычки этой оппозиции с якобы действующими в стране троцкистами-вредителями. Решили имитировать разоблачение такой троцкистско-бухаринской группы и среди ленинградских писателей. По замыслу НКВД эти контрреволюционно настроенные писатели должны были получать указания из парижского троцкистского центра через посредство жены часто выезжавшего за рубеж И.Г. Эренбурга. Именно через нее будто бы поступила директива антисоветски настроенным писателям примкнуть к преступной группе, возглавляемой поэтом Н.С. Тихоновым... Для развития этой версии нужно было любыми путями добиться соответствующих показаний «членов» группы. С этой целью приступили к следственной обработке арестованного в конце 1937 г. писателя Б.К. Лившица с применением пыток... После конвейерных допросов и избиений Лившиц, видимо, уже плохо понимая смысл происходящего, подписал требуемые показания.

В протоколе его допроса, в частности, говорится: «Конкретно Эренбург указала на необходимость блока с существующей среди ленинградских писателей группой правых, возглавляемой председателем ленинградского ССП — Николаем Тихоновым.

(Огонь, мерцающий в сосуде... Н. Заболоцкий. Стихотворения и поэмы. Переводы. Письма и статьи. Жизнеописание. Воспоминания современников. Анализ творчества. М., 1995. Стр. 366—367).

Николай Алексеевич, подвергшийся всем этим допросам, не сомневался, что Н.С. Тихонов, обвинявшийся в том, что он возглавлял преступную группу участников антисоветского заговора, конечно же, тоже арестован и подвергается тем же, — если не еще более страшным, — пыткам и издевательствам, которым подвергали его — рядового члена этой преступной группы.

А год спустя произошло следующее.

- ▶ Вскоре после прибытия в дальневосточный лагерь, в первые дни тяжелых общих работ, ему случайно попался обрывок газеты «Правда» от 1 февраля 1939 г. Сосед по нарам получил посылку, и в ней что-то было завернуто в кусок этой газеты. Бумагу уже пустили на раскурку, когда Николай Алексеевич попросил прочитать сохранившийся текст. Взглянув на листок, он не поверил своим глазам — в газете был опубликован указ о награждении большой группы писателей. Среди получивших орден Ленина значился поэт Н.С. Тихонов... Раз Николай Семенович на свободе и даже награжден высшим орденом, значит, обвинение в принадлежности к контрреволюционной организации, якобы им возглавляемой, просто нелепо. И За-

болоцкий стал писать заявления наркому внутренних дел, в Президиум Верховного Совета, верховному прокурору, затем Сталину. Он протестовал против незаконного заключения и требовал пересмотреть его дело и отменить приговор.

(Там же. Стр. 371).

Да, если исходить из нормальной человеческой логики, все это было «просто нелепо». Но в созданной Сталиным фантомной реальности это было НОРМОЙ. Приговор, согласно которому Н.А. Заболоцкий отбывал свой каторжный срок, разумеется, отменен не был. И в то самое время, когда Николай Алексеевич Заболоцкий вкалывал «на общих работах», Николай Семенович Тихонов, якобы возглавлявший преступную организацию, к которой тот принадлежал, с каждым годом поднимался все выше и выше по иерархической лестнице высоких государственных должностей и высоких правительственных наград.

Вот далеко не полный их перечень:

- ▶ ...председатель Советского комитета защиты мира; член Всемирного Совета мира; депутат Верховного Совета СССР 2—8-го созывов; лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами»... Герой Социалистического Труда... секретарь СП СССР.

*(Краткая литературная энциклопедия. Т. 7.
М., 1972. Стр. 521).*

Заболоцкого арестовали в марте 1938-го. Но разработка дела, к которому его привязали, началась годом раньше. Среди осужденных по этому делу, помимо уже упоминавшегося выше поэта Бенедикта Лившица, были Ю. Юркун, А. Зоргенфрей, В. Стенич... И из каждого вымогали признание, что ан-

тисоветскую организацию, в которой он состоял, возглавлял Н.С. Тихонов.

Помимо уже названных, фигурировали в этом деле и другие имена: Елена Тагер, Георгий Куклин, Борис Корнилов.

Эти уже сидели. Но следователи интересовались и теми, кого они еще только собирались арестовать.

- ▶ Усиленно допытывались сведений о Федине и Маршаке. Неоднократно шла речь о Н. Олейникове, Т. Табидзе, Д. Хармсе, А. Введенском — поэтах, с которыми я был связан старым знакомством и общими литературными интересами.

(Н. Заболоцкий. История моего заключения. М. 1989. Стр. 8).

Как видим, дело заваривалось (и заварилось) нешуточное. Вывести, исключить из этого дела главного его фигуранта мог только один человек: Сталин.

Именно он это и сделал. И тут уже с довольно большой долей уверенности можно предположить, почему он так поступил:

- ▶ 10 февраля 1937 года в Большом театре состоялась торжественное заседание, посвященное столетию со дня смерти Пушкина, на котором присутствовал Сталин. Тихонову было поручено произнести вступительную речь, которую на другой день напечатали «Правда», «Известия» и другие газеты... Тихонов говорил о Пушкине или (чтобы точнее выразиться) и о Пушкине, но каждое его слово было обращено к Сталину. Большой театр был набит до отказа, но только один слушатель интересовал оратора, только для него была энергично и с воодушевлением произнесена речь, в которой говорилось о Пушкине, но превозносился Сталин. Соединить имена Пушкина и Сталина невозможно. Но Николай

Семенович совершил это невозможное и надежно защитил себя, быть может, даже не подозревая об этом. Сталин не только одобрил его речь — это вскоре стало известно. Он полюбил Тихонова, а Тихонов полюбил Сталина — искренне, самозабвенно, — недаром же еще и теперь, когда ему минуло 80 лет, портрет Сталина висит над его столом.

*(В. Каверин. Эпилог.
М., 2006. Стр. 296).*

В молодости Каверин и Тихонов дружили. (Оба были «Серапионами», значит, братьями.) С кем-то из Серапионов (с Зощенко) Вениамин Александрович был близок до конца дней. С кем-то (с Фединым, когда тот превратился в «чучело орла» и «комиссара собственной безопасности») под конец жизни разошелся. И сделал это даже публично, обратив к нему свое прощальное «открытое письмо».

К Тихонову он ни с какими — ни с открытыми, ни с закрытыми письмами не обращался. Тут нечего было обсуждать, не о чем разговаривать.

Тихонов «одеревенел», как выразился на его счет Виктор Шкловский, тремя десятилетиями раньше, чем это случилось с Фединым. И эта внезапно происшедшая с ним метаморфоза всех бывших его друзей поразила до глубины души.

- ▶ Начиная с 1935 года, неназванное, грозящее неопределенной опасностью, бесстыдно определилось. Формула была проста, и никто не смел в ней сомневаться: «Арестован — значит, виноват». Казалось бы, здравый смысл подсказывал обратное. Куда там: в лучшем случае наивные люди спрашивали, разумеется, совершенно непроизвольно: «За что?» Шварц однажды пошутил над моей прямодушной женой, ответив: «А я знаю, да не скажу».

Но был в литературных кругах человек, который без малейшего колебания, с полнейшей убежденностью подтверждал справедливость этих арестов. Это был Тихонов. «Кто бы мог подумать, — говорил он, глядя прямо в глаза собеседнику, — что Тициан Табидзе оказался японским шпионом». Табидзе был его ближайшим другом, можно даже сказать «названным братом». Тихонов не только посвящал ему свои стихи, не только произносил за его столом бесчисленные тосты! Он совершенно искренне восхищался Тицианом как поэтом и человеком. Что же происходило в его душе, когда с видимостью такой же искренности он обвинял своего близкого друга в измене Родине — ни много ни мало! Разговор повторялся после каждого ареста — и это касалось не только писателей, но и политических деятелей, с которыми Тихонов был в дружеских отношениях. Так, он любил рассказывать о Бетале Калмыкове, гордился его дружбой, с восхищением рассказывал о его своеобразном характере и его хладнокровном мужестве, о рыцарской чести, о лавине энергии, с помощью которой он преобразил свою родину — Кабардино-Балкарский край. Но когда этот рыцарь, этот герой многочисленных «историй» был арестован, он, с точки зрения Тихонова, мгновенно превратился в агента американской разведки. Убежденность, с которой Тихонов признавал безусловность этих фантастических превращений, буквально ошеломляла.

(Там же. Стр. 293—294).

В 1944 году беспартийный Тихонов возглавил Союз писателей СССР, сменив на этом посту проверенного партийного функционера (в то время он уже был даже членом ЦК) Фадеева.

- ▶ ...напившись на банкете, устроенном по поводу его назначения, он кричал: «Я – Горький! Я – Горький!» Известно, что Горький был первым председателем Союза писателей СССР.

(Там же. Стр. 297).

Но два года спустя – в августе 1946-го – грянуло знаменитое постановление ЦК о Зощенко и Ахматовой, и Тихонов «заштатался». Непорядок обнаружился в его «хозяйстве», стало быть, ему теперь предстояло за все это отвечать. Поди знай, чем это могло для него обернуться.

- ▶ Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» привело к тому, что Тихонова сняли с главы Союза писателей. На его место был вновь назначен Фадеев... Тихонов не знал, во что еще выльется его отставка, что за ней может последовать. Мария Константиновна (жена Н.С. Тихонова. – Б.С.) хранила олимпийское спокойствие. А Тихонов не скрывал озабоченности своей судьбой, он даже попросил меня погадать на картах, что его ждет. Я иногда удачно гадала. Луговской как-то этим похвастался у Тихоновых и – вот. Стала раскладывать карты. Седовласый пятидесятилетний Тихонов, затаив дыхание, следил за картами и слушал. Меня несло, вдохновение гадалки на этот раз посетило, хотя случилось это далеко не всегда. Карты ложились удачно, никакого удара не выпадало, все неприятности оставались в прошлом, получалось, что все уладится и главную роль в этом сыграет благородный король.

– Сталин... – с радостной надеждой прошептал Тихонов.

– Да, да, конечно Сталин, – поддержала его Мария Константиновна.

*(Из воспоминаний Майи Луговской.
Н. Громова. Распад.
М., 2009. Стр. 97–98).*

Как ни смешно, это карточное предсказание сбылось: Сталин и на этот раз не дал Тихонова в обиду. Вместо поста председателя Союза писателей, который занимал Тихонов, была учреждена новая должность — Генерального секретаря. Им и стал Фадеев. Но Тихонов был оставлен одним из его замов.

Когда умер Ленин и решался вопрос, сохранить ли Сталина в должности Генерального секретаря или убрать его с этого поста, как требовал в своем «Завещании» Ильич, Сталин был бледен, как смерть: решалась его судьба. Решили ее тогда Зиновьев и Каменев, поручившись перед партийным ареопагом, что Коба принял во внимание ленинскую критику и исправился.

Года два спустя, когда Сталин стал оттеснять их от власти, Зиновьев напомнил ему об этом.

— Знает ли товарищ Сталин, — сказал он, — что такое благодарность?

— Да, — ответил Сталин, — знаю. Это такая собачья болезнь.

Что такое благодарность, Сталин действительно не знал. Но собачью преданность тех, кто ему служил, оценить мог.

* * *

11 сентября — к этому времени идея большого открытого процесса, видимо, уже отпала, — дело Бабеля из следственной части НКВД было переправлено в следственную часть Главного управления госбезопасности НКВД и поручено другой бригаде следователей: Серикова, Кулешова и Шварцмана сменяют Акопов, Кочнов и Родос.

Хрен редьки не слаще: в хрущевские времена бывшие работники НКВД Шварцман и Родос были арестованы как «фальсификаторы следственных дел».

- ▶ Нарком внутренних дел Берия называл протоколы допросов, сочиненные его подручными Шварцманом и Родосом, — оба принимали участие в следствии по делу

Бабея, — «истинными произведениями искусства»... Что это были за «мастера искусств», ясно хотя бы из их образования.

Лев Леонидович Шварцман окончил семь классов средней школы, а Борис Вениаминович Родос и того меньше — четыре класса (в своем ходатайстве о помиловании он не постеснялся признаться: «Я — неуч»). Тем не менее уже после войны Родос читал лекции в Высшей школе МВД и был автором учебных пособий «по внутрикамерной разработке арестованных». Когда его судили в 1956 году, то спросили, чем занимался некий Бабель, дело которого он вел.

- Мне сказали, что это писатель.
- Вы прочитали хоть одну его строчку?
- Зачем?

(В. Шенталинский.
Рабы свободы. Стр. 20—21).

Вернемся, однако, в сентябрь 1939-го.

В тот же день, когда дело его было передано в следственную часть Главного управления госбезопасности, Бабель написал заявление на имя народного комиссара внутренних дел Союза ССР, которым в это время уже был Берия. В этом заявлении он бил себя в грудь, истошно каялся во всех смертных грехах, признавал себя виновным во всех преступлениях, которые приписывались ему следствием и от которых он потом отказался.

Виталий Шенталинский, приводя в своей книге текст этого заявления, замечает, что скорее всего оно было написано «по указке следователей». Может, оно и так. Может быть даже, что и тут не обошлось без «методов физического воздействия» — или живой памяти об этих методах. Но для этого самооплевывания и самообгаживания у Бабея была

и другая, личная, очень важная для него причина, о которой криком кричит каждая строка этого его заявления. В особенности — такой его абзац:

- ▶ Гражданин Народный комиссар. На следствии, не щадя себя, охваченный одним только желанием очищения, искупления, — я рассказал о своих преступлениях. Я хочу отдать отчет и в другой стороне моего существования — в литературной работе, которая шла скрыто от внешнего мира, мучительно, со срывами, но непрерывно. Я прошу Вас, гражданин Народный комиссар, разрешить мне привести в порядок отобранные у меня рукописи. Они содержат черновики очерков о коллективизации и колхозах Украины, материалы для книги о Горьком, черновики нескольких десятков рассказов, наполовину готовой пьесы, готового варианта сценария. Рукописи эти — результат восьмилетнего труда, часть из них я рассчитывал в этом году подготовить к печати. Я прошу Вас также разрешить мне набросать хотя бы план книги в беллетристической форме о пути моем, во многих отношениях типичном, о пути, приведшем к падению, к преступлениям против социалистической страны. С мучительной и беспощадной яркостью стоит он передо мною; с болью чувствую я, как возвращаются ко мне вдохновение и силы юности, меня жжет жажда работы, жажда искупить и заклеить неправильно, преступно растраченную жизнь.

(Там же. Стр. 79).

Жутью веет от этой дикой смеси вынужденной лжи и напраслины, которую он готов на себя взвести, с искренним криком души. Это ощущение какого-то жуткого кошмара, перед которым меркнут самые мучительные сны Достоевского, возникает не только из-за противоестественности

такой смеси, но еще и потому, что два эти разные, несоместимые «состава» этой бабелевской «исповеди» слиты в один так плотно, что даже самым тонким скальпелем текстологического анализа их трудно, а иногда и невозможно разделить.

В этой дикой смеси в экстремальной, искаженной и даже уродливой форме выразилось то свойство личности Бабеля, о котором я уже упоминал однажды.

В главе «Сталин и Шолохов», противопоставляя Шолохову Бабеля, я привел то место из его выступления на Первом съезде писателей, где он говорил о Сталине («...посмотрите, как Сталин кует свою речь, как кованы его немногочисленные слова, какой полны мускулатуры...» и т.д.).

Приведа там этот отрывок полностью, во всей его красе, я писал:

- ▶ Как не вспомнить тут знаменитую словесную формулу самого Бабеля, уже в то время ставшую чуть ли не пословицей: «В номерах служить — подол заворотить». Но пошел Бабель на этот «жизненный компромисс» не только страха ради иудейска. Это была осознанная, продуманная тактика, своего рода игра.

Какое бы давление ни приходилось ему испытывать при прохождении его книг в печать, в своих взаимоотношениях с цензорами (равно как и с редакторами, выполнявшими роль цензоров) этот «вертлявый Бабель» неизменно проявлял неслыханную твердость и бескомпромиссность. Более уместно тут, пожалуй, даже другое, библейское слово — **жестокость**.

Источником этой его жестоковыйности было то «чувство достоинства», о котором он писал в письме к матери:

«Я сделан из теста, замешанного на упрямстве и терпении, — и когда эти качества напрягаются до выс-

шей степени, тогда только я чувствую la joie de vivre¹, что имеет место и теперь. А для чего же живем в конечном счете? Для наслаждения, понимаемого в широком смысле, для утверждения чувства собственной гордости и достоинства».

(И. Бабель. *Сочинения*. Т. 1.
М., 1990. Стр. 311).

К письму Бабеля «Народному комиссару внутренних дел» это мое рассуждение вроде никакого отношения не имеет и иметь не может. Какая уж тут гордость! Какое достоинство!

Но и здесь — та же, уже знакомая нам его тактика, та же игра.

Нет, теперь это была уже не игра. Это — крик! Последний, предсмертный вопль: «делайте со мной, что хотите, избивайте, пытайте, унижайте, только — «не троньте моих чертежей!», оставьте мне мои черновики, мои рукописи!»

Он, конечно, понимал, — не мог не понимать, — всю бессмысленность, безнадежность этого своего обращения — знал ведь, с кем имеет дело! Но боль от сознания, что рукописи могут пропасть, страстное желание сохранить над ними свою власть, не отдать их, как говорил Есенин, «в чужие руки» было сильнее логики, сильнее здравого смысла, сильнее инстинкта жизни, сильнее гордости и чувства собственного достоинства.

Вряд ли это могли понять те, к кому он обращался. Но почуять это они могли: ведь палач лучше, чем кто другой, знает, куда надо ударить пытаемого, чтобы он испытал самую острую, самую непереносимую боль.

Сработала ли тут сила инерции бездумного и бездушного бюрократического механизма, или это было проявлением повышенной мстительности и злобности, особо изо-

¹ Радость жизни (фр.)

щренного, целенаправленного палаческого садизма, но этот последний, самый страшный для Бабеля удар они ему нанесли.

► Я попыталась разыскать рукописи. Но на мое заявление в МГБ меня вызвали в какое-то подвальное помещение, и сотрудник органов в чине майора сказал:

— Да, в описи вещей, изъятых у Бабеля, числится пять папок с рукописями, но я сам лично их искал и не нашел.

Тут же майор дал мне какую-то бумагу в финансовый отдел Госбанка для получения денег за конфискованные вещи.

Ни вещи, ни деньги за них не имели для меня никакого значения, но рукописи...

И тогда впервые, год спустя после реабилитации Бабеля, я обратилась в Союз писателей, к А. Суркову. Я просила его хлопотать от имени Союза о розыске рукописей Бабеля.

Председателю Комитета государственной безопасности генералу армии Серову было направлено письмо:

«В 1939 году органами безопасности был арестован, а затем осужден известный советский писатель тов. Бабель Исаак Эммануилович.

В 1954 году И.Э. Бабель посмертно реабилитирован Верховным судом СССР.

При аресте у писателя были изъяты рукописи, личный архив, переписка, фотографии и т. п., представляющие значительную литературную ценность.

Среди изъятых рукописей, в частности, находились в пяти папках: сборник «Новые рассказы», повесть «Коля Топуз», переводы рассказов Шолом-Алейхема, дневники и т. п.

Попытка вдовы писателя — Пирожковой А.Н. получить из архивов упомянутые рукописи оказалась безуспешной.

Прошу вас дать указание о производстве тщательных розысков для обнаружения материалов писателя И.Э. Бабеля. Секретарь правления Союза писателей СССР

(А. Сурков)».

На это письмо очень быстро пришел ответ, что рукописи не найдены. Ответ — того же содержания, что был дан и мне, а быстрота, с которой он был получен, говорит о том, что никаких тщательных розысков и не производилось.

Я стала подозревать, что рукописи Бабеля были сожжены, и органам безопасности это хорошо известно. Однако есть случаи, когда ответ об изъятых бумагах гласит: «Рукописи сожжены. Акт о сожжении № такой-то». Так, например, ответили Борису Ефимову на запрос о рукописях его брата Михаила Кольцова.

Однажды, уже году в 1970-м, ко мне пришла молоденькая сотрудница ЦГАЛИ, куда я решила дать кое-что из рукописей Бабеля. Она мне рассказала, что рукописи арестованных писателей все же находятся, иногда поступают от частных лиц, а иногда из архивов КГБ. Быть может, когда-нибудь найдутся и рукописи Бабеля.

Я сказала:

— Если бы мне разрешили искать их в архивах КГБ, то я потратила бы на это остаток своей жизни.

— И я тоже! — с жаром воскликнула она.

И было так трогательно слышать это от совсем молодой девушки из ЦГАЛИ.

Но надежды на то, что рукописи уцелели, теперь уж нет.

В 1987 году, надеясь на изменившуюся ситуацию в стране, я снова подала заявление с просьбой о поиске рукописей Бабеля в подвалах КГБ.

В ответ на мою просьбу ко мне домой пришли два сотрудника этого учреждения и сказали, что рукописи сожжены.

*(А. Пирожкова.
Семь лет с Исааком Бабелем.
Стр. 129–131).*

С. Поварцов в последней своей статье, на которую я уже ссылался, рассказал о более поздних попытках отыскать рукописи Бабеля:

- ▶ Вопрос этот неоднократно (и в разное время) поднимался перед руководством КГБ, однако безрезультатно. Виталий Шенталинский, проделавший огромную работу по выявлению рукописей и документов советских писателей в фондах ФСК–ФСБ, вынужден был признать: рукописей Бабеля там нет. За исключением вещдоков – паспорта, профбилета и медицинской карточки – всё изъятое при обысках на даче и городской квартире было передано младшему лейтенанту 3-го отделения 2-го отдела ГУГБ Г. Кутыреву. Следователь Акопов, принимая дело Бабеля от следователя Н. Кулешова для дальнейшего «производства», 10 сентября 1939 года уведомил своего начальника капитана ГВ Родоса: «Вещественных доказательств при деле нет, в материалах обыска имеется личная переписка и рукописи трудов».

Итак, осенью 1939 года рукописи, записные книжки, письма, фотографии, деловые бумаги были еще целы и хранились, по-видимому, в 12-м спецотделе. Потом всё исчезло. Спустя шесть десятилетий к поиску подключился Шенталинский, он предпринял

реальные меры к установлению истинных причин исчезновения архива Бабеля. Надежда оставалась: в деле писателя нет справки об уничтожении (сожжении) рукописей... Валентин Скорятин, занимавшийся исследованием самоубийства В.В. Маяковского, упоминает в одном из очерков о тайнике всеильного Я. Агранова, где, по слухам, хранилось немало материалов. Если это не миф, то возможно, что Агранов наверняка упрятал в тайник роман Бабеля о Чека. Спец по творческой интеллигенции был просто обязан изъять роман из обращения как опасный разоблачительный документ.

(С. Поварцов. Арест Бабеля: расследование не закончено. Вопросы литературы, М., 2010, № 3. Стр. 414–415).

Даже если это и так, то когда Агранов был арестован, бывшие его коллеги наверняка добрались и до этого его тайника. Так что надеяться не на что.

Знаменитый роман Булгакова внушил нам, что «рукописи не горят». И так хочется верить, что вдруг случится чудо, и пять изъятых при аресте Бабеля папок с его рукописями когда-нибудь еще отыщутся.

«Ко мне домой, — рассказывает А.Н. Пирожкова, — пришли два сотрудника этого учреждения и сказали, что рукописи сожжены». Но можно ли верить сотрудникам «этого учреждения»? На протяжении многих лет они морочили ей голову, лгали, то подсылая к ней людей, уверявших ее, что Бабель жив, то официально сообщая ей взаимоисключающие, а значит, заведомо лживые сведения о причинах и датах его смерти.

- ...мне позвонил Долженко и сказал, что дело Бабеля окончено и что я могу получить справку о реабилита-

ции в военной коллегии Верховного суда СССР на улице Воровского.

Там мне выдали справку такого содержания:

«Дело по обвинению Бабеля Исаака Эммануиловича пересмотрено Военной Коллегией Верховного суда СССР 18 декабря 1954 года.

Приговор Военной Коллегии от 26 января 1940 года в отношении Бабеля И.Э. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен, и дело о нем за отсутствием состава преступления прекращено».

Я прочла эту справку и спросила о судьбе Бабеля. И человек, который выдал мне справку, взял ручку и на полях лежавшей на столе газеты написал: «Умер 17 марта 1941 года от паралича сердца» — и дал мне это прочесть. А потом оторвал от газеты эту запись и порвал ее, сказав, что в загсе своего района я получу свидетельство о смерти.

Я вышла от него почти спокойной. Я не верила этому! Если бы было написано: «Умер в 1952, в 1953 г. и т. д.», я бы поверила, но в августе 1952 года приходил из заключения Завадский, привез письмо, в котором было написано: «Как будет огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял оказию послать весточку домой». Я верила в то, что до августа 1952 года Бабель был жив и содержался в лагере на Средней Колыме, как говорил Завадский...

Я написала письмо председателю Военной коллегии Верховного суда СССР Чепцову, за чьей подписью была выдана мне справка о реабилитации Бабеля, и одновременно председателю Комитета государственной безопасности Серову.

Я писала:

«23 декабря 1954 года мне вручили в приемной Верховного суда Союза ССР справку за №4н-011441/54 о прекращении производством за отсутствием состава

преступления дела моего мужа писателя Бабеля Исаака Эммануиловича.

Одновременно мне сообщили, что 17 марта 1941 года муж мой – Бабель И.Э. умер от паралича сердца.

Считаю, что это сообщение не соответствует действительности, так как наша семья до 1948 года получала официальные устные ответы на наши заявления в справочном бюро МГБ – Кузнецкий мост, 24, что Бабель «жив и содержится в лагерях». Такая последовательность ответов из года в год, свидетельствующая, что Бабель жив, полностью исключает достоверность сделанного мне 23 декабря с.г. сообщения о смерти Бабеля И.Э. в 1941 году.

Кроме того, летом 1952 года меня разыскал освобожденный из лагеря Средней Колымы человек и сообщил мне, что Бабель жив и здоров.

Таким образом, для меня совершенно несомненно, что до лета 1952 года Бабель был жив и сообщение о его смерти в 1941 году является ошибочным.

Прошу Вас принять все зависящие от Вас меры к розыску Бабеля Исаака Эммануиловича и, указав мне место его пребывания, разрешить мне выехать за ним».

*(А. Пирожкова.
Семь лет с Исааком Бабелем.
Стр.125–126).*

Не получив на этот запрос никакого вразумительного ответа, Антонина Николаевна пошла в районное отделение загса за свидетельством о смерти Бабеля.

- ▶ Более страшный документ трудно себе представить!

«Место смерти – Z, причина смерти – Z».

Документ подтверждал смерть Бабеля 17 марта 1941 года в возрасте 47 лет.

Можно ли было поверить этой дате? Если приговор был подписан 26 января 1940 года и означал расстрел, то приведение приговора в исполнение не могло быть отложено более чем на год.

Я не верила этой дате и оказалась права. В 1984 году Политиздат выпустил отрывной календарь, где на странице 13 июля было написано: «Девяностолетие со дня рождения И.Э. Бабеля (1894–1940)». Когда мы позвонили в Политиздат и спросили, почему они указали год смерти Бабеля 1940, когда справка дает год 1941, нам спокойно ответили: «Мы получили этот год из официальных источников...»

Зачем понадобилось отодвинуть дату смерти Бабеля более чем на год? Кому понадобилось столько лет вводить меня в заблуждение справками о том, что он «жив и содержится в лагерях»? Кто подослал ко мне Завадского, а потом и заставил писателя К. распространять ложные слухи о естественной смерти Бабеля, о более или менее сносном его существовании в лагере или в тюрьме?

(Там же. Стр. 127–128).

Нет, ничему, что исходит из «этого учреждения», верить, конечно, нельзя.

Но похоже, что те «два сотрудника этого учреждения», которые приходили к Антонине Николаевне и сообщили ей, что рукописи Бабеля сожжены, сказали правду.

* * *

Судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, на котором решалась судьба Бабеля, состоялось 26 января 1940 года.

В протоколе этого «судебного заседания» есть такая фраза:

- ▶ Просит дать ему возможность закончить его последнее литературное произведение.

Верил ли он, что есть хоть крошечный шанс, что эта последняя его просьба будет удовлетворена?

Вряд ли.

На этом судилище от всех прежних своих признательных показаний он решительно отказался.

- ▶ Председательствующий спросил подсудимого, признает ли он себя виновным.

Подсудимый ответил, что виновным себя не признает, свои показания отрицает. В прошлом у него имелись встречи с троцкистами Сувариным и др.

Оглашаются выдержки из показаний подсудимого об его высказываниях по поводу процесса Якира, Радека, Тухачевского.

Подсудимый заявил, что эти показания не верны. Воронский был сослан в 1930 г., и он с ним с 1928 г. не встречался. С Якиром он никогда не встречался, за исключением 5-минутного разговора по вопросу написания произведения о 45-й дивизии.

За границей он был в Брюсселе у матери, в Сорренто у Горького. Мать жила у сестры, которая уехала туда с 1926 г. Сестра имела жениха в Брюсселе с 1916 г., а затем уехала туда и вышла замуж в 1925 г. Суварина он встречал в Париже в 1935 г.

Оглашаются выдержки из показаний подсудимого о его встрече с Сувариным и рассказе его ему о судьбе Радека, Раковского и др. Подсудимый заявил, что он раньше дружил с художником Анненковым, которого он навестил в Париже в 1932 г. и там встретил Сува-

рина, которого он раньше не знал. О враждебной позиции к Сов. Союзу он в то время не знал. В Париже в тот раз он пробыл месяц. Затем был в Париже в 1935 г. С Мальро он встретился в 1935 г., но последний его не вербовал в разведку, а имел с ним разговоры о литературе в СССР...

Свои показания в части шпионажа в пользу французской разведки он категорически отрицает. С Бруно Штайнером он жил по соседству в гостинице и затем в квартире. Штайнер — быв. военнопленный и являлся другом Сейфуллиной Л.Н. Штайнер его с Фишером не связывал по шпионской линии.

Террористических разговоров с Ежовой у него никогда не было, а о подготовке теракта Беталом Калмыковым в Нальчике против Сталина он слышал в Союзе советских писателей. О подготовке Косаревым убийства Сталина и Ворошилова — эта версия им придумана просто. Ежова работала в редакции «СССР на стройке», и он был с ней знаком.

Оглашаются выдержки из показаний подсудимого в части подготовки терактов против руководителей партии и правительства со стороны Косарева и подготовке им тергруппы из Коновалова и Файрович.

Подсудимый ответил, что это все он категорически отрицает. На квартире Ежовой он бывал, где встречался с Гликиной, Урицким и некоторыми другими лицами, но никогда а/с разговоров не было.

Больше дополнить судебное следствие ничем не имеет.

Председательствующий объявил судебное следствие законченным и предоставил подсудимому последнее слово.

В своем последнем слове подсудимый Бабель заявил, что... не признает себя виновным, т. к. шпионом

он не был. Никогда ни одного действия он не допускал против Советского Союза и в своих показаниях он возвел на себя поклеп.

(С. Поварцов. *Причина смерти — расстрел*. Стр. 175–176).

Вспомнил ли он при этом совет, который когда-то дал ему Ягода: «Все отрицать. Тогда мы бессильны»?

Если и вспомнил, то прекрасно понимал, что в новых исторических обстоятельствах этот совет уже не стоит ломаного гроша.

Судьба его была решена. И если бы даже — представим себе немыслимое, непредставимое! — эти так называемые судьи посочувствовали ему и попытались если не снять с него ложные обвинения, так хоть смягчить его участь, — при всем своем желании никто из них — ни председательствующий — армвоенюрист В.В. Ульрих, ни члены суда — бригавоенюристы Кандыбин Д.Я. и Дмитриев Л.Д., ни секретарь — военный юрист 2-го ранга Н.В. Козлов, ни даже всесильный нарком внутренних дел А.П. Берия — не могли бы это сделать. Вот тут они действительно были **бессильны**. Потому что до вынесения приговора и до «судебного заседания», на котором этот приговор был оглашен, уже существовал список лиц, подлежащих «высшей мере уголовного наказания — расстрелу»:

- ▶ 1. Бабеля Исаака Эммануиловича, 1894 г. р.
- 2. Введенского Андрея Васильевича, 1907 г. р.
- 3. Евдокимовой Марины Карловны, 1895 г. р.
- 4. Евдокимова Юрия Ефимовича, 1920 г. р.
- 5. Захарченко Федора Демьяновича, 1904 г. р.
- 6. Кабаева Ивана Леонтьевича, 1898 г. р.
- 7. Никанорова Александра Филипповича, 1894 г. р.
- 8. Осинина-Винницкого Григория Марковича, 1899 г. р.

9. Рыжевой Серафимы Александровны, 1898 г. р.
10. Стрелкова Александра Яковлевича, 1913 г. р.
11. Стрелкова Якова Ивановича, 1879 г. р.
12. Стрельцова Ивана Тимофеевича, 1894 г. р.
13. Холодцова Ивана Яковлевича, 1896 г. р.
14. Шаймарданова Шагея Шагеевича, 1890 г. р.
15. Шалавина Федора Ивановича, 1902 г. р.
16. Шашкина Ивана Ивановича, 1903 г. р.

И на этом расстрельном списке, где фамилия Бабея – по алфавиту – стояла первой, крупно, синим карандашом было выведено: «За / И. Ст.».

СТАЛИН
И ФАДЕЕВ

ДОКУМЕНТЫ

1

ИЗ ПИСЬМА Н.И. БУХАРИНА И.В. СТАЛИНУ

Не ранее 1933 г.

Перед отъездом посылаю тебе роман Левина «Юноша», о котором говорил, когда был у тебя. Под именем Владимира там выведен Фадеев, Авербах фигурирует как Борис Фитингоф. Все сии персонажи появляются во второй половине книги.

2

ИЗ ПИСЬМА А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ

2 августа 1934 г.

Состав правления Союза намечается из лиц, указанных в статье Юдина, тоже прилагаемой мною. Серафимович, Бахметьев да и Гладков, — на мой взгляд, — «отработанный

пар», люди интеллектуально дряхлые. Двое последних относятся к Фадееву враждебно, а он, остановясь в своем развитии, видимо, переживает это как драму, что, впрочем, не мешает его стремлению играть роль литературного вождя, хотя для него и литературы было бы лучше, чтобы он учился.

3

ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО В ЦК ВКП(б)

30 августа— 1 сентября 1934 г.

Уважаемые товарищи,

съезд литераторов Союза Советских Социалистических республик обнаружил почти единодушное сознание литераторами необходимости повысить качество их работы, и — тем самым — признал необходимость повышения профессиональной технической квалификации.

Писатели, которые не умеют или не желают учиться, но привыкли играть роли администраторов и стремятся укрепить за собою командующие посты — остались в незначительном меньшинстве. Они — партийцы, но их выступления на съезде были идеологически тусклы и обнаружили их профессиональную малограмотность. Эта малограмотность позволяет им не только не понимать необходимость повышения [качества] их продукции, но настраивает их против признания этой необходимости, — как это видно из речей Панферова, Ермилова, Фадеева, Ставского и двух, трех других.

Однако т. Жданов сообщил мне, что эти люди будут введены в состав Правления Союза как его члены. Таким образом, люди малограмотные будут руководить людьми значительно более грамотными, чем они. Само собою разумеется, что это не создаст в Правлении атмосферы, необходимой для дружной и единодушной работы. Лично я знаю людей этих весьма ловкими и опытными в «творчестве» различных междуусобий, но совершенно не чувствую

в них коммунистов и не верю в искренность их. Поэтому работать с ними я отказываюсь, ибо дорожу моим временем и не считаю себя вправе тратить его на борьбу против пустяковых «склок», которые неизбежно и немедленно возникнут...

Это обстоятельство еще более отягчает и осложняет мое положение и еще более настойчиво понуждает меня просить вас, тт., освободить меня от обязанности председателя Правления Союза литераторов.

4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) О НАКАЗАНИИ А.А. ФАДЕЕВА

23 сентября 1941 г.

Утвердить постановление Бюро КПК при ЦК ВКП(б) от 20.IX.1941 года: «По поручению Секретариата ЦК ВКП(б) Комиссия Партийного Контроля рассмотрела дело о секретаре Союза советских писателей и члене ЦК ВКП(б) т. Фадееве А.А. и установила, что т. Фадеев А.А., приехав из командировки с фронта, получив поручение от Информбюро, не выполнил его и в течение семи дней пьянствовал, не выходя на работу, скрывая свое местонахождение. При выяснении установлено, что попойка происходила на квартире артистки Булгаковой. Как оказалось, это не единственный факт, когда т. Фадеев по несколько дней подряд пьянствовал. Аналогичный факт имел место в конце июля текущего года. Факты о попойках т. Фадеева широко известны писательской среде.

Бюро КПК при ЦК ВКП(б) постановляет: считая поведение т. Фадеева А.А. недостойным члена ВКП(б) и особенно члена ЦК ВКП(б), объявить ему выговор и предупредить, что если он и впредь будет продолжать вести себя недостойным образом, то в отношении его будет поставлен вопрос о более серьезном партийном взыскании».

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЯ ССП СССР
А.А. ФАДЕЕВА СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б)
ОБ ЭВАКУАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ ИЗ МОСКВЫ

13 декабря 1941 г.

В ЦК ВКП(б)
Товарищу И.В. Сталину.
Товарищу А.А. Андрееву.
Товарищу А.С. Щербакову

Среди литераторов, находящихся в настоящее время в Москве, распространяется сплетня, будто Фадеев «самовольно» оставил Москву, чуть ли не бросив писателей на произвол судьбы.

Ввиду того, что эту сплетню находят нужным поддерживать некоторые видные люди, довожу до сведения ЦК следующее:

1. Днем 15 октября я получил из Секретариата тов. Лозовского директиву явиться с вещами в Информбюро для того, чтобы выехать из Москвы вместе с Информбюро.

Эту же директиву от имени тов. Щербакова мне передали работники Информбюро тов. Афиногенов, Бурский и Петров.

Я не мог выехать с Информбюро, так как не все писатели по списку, составленному в Управлении агитации и пропаганды ЦК, были мною погружены в эшелон, и я дал персональное обязательство тов. Микояну и тов. Швернику выехать только после того, как получу указание Комиссии по эвакуации через тов. Косыгина.

Мне от имени тов. Щербакова разрешено было задержаться насколько необходимо.

Я выехал под утро 16 октября после того, как отправил всех писателей, которые мне были поручены, и получил указание выехать от Комиссии по эвакуации через тов. Косыгина.

2. Я имел персональную директиву от ЦК (тов. Александров) и Комиссии по эвакуации (тов. Шверник, тов. Микоян, тов. Косыгин) вывезти писателей, имеющих какую-нибудь литературную ценность, вывезти под личную ответственность.

Список этих писателей был составлен тов. Еголиным (работник ЦК) совместно со мной и утвержден тов. Александровым. Он был достаточно широк — 120 человек, а вместе с членами семей некоторых из них — около 200 человек (учтите, что свыше 200 активных московских писателей находятся на фронтах, не менее 100 самостоятельно уехало в тыл за время войны и 700 с лишним членов писательских семей эвакуированы в начале войны).

Все писатели и их семьи, не только по этому списку, а со значительным превышением (271 человек) были лично мною посажены в поезда и отправлены из Москвы в течение 14 и 15 октября (за исключением Лебедева-Кумача, — он еще 14 октября привез на вокзал два пикапа вещей, не мог их погрузить в течение двух суток и психически помещался, — Бахметьева, Сейфуллиной, Мариэтты Шагинян и Анатолия Виноградова — по их личной вине). Они, кроме А. Виноградова, выехали в ближайшие дни.

Для обеспечения выезда всех членов и кандидатов Союза писателей с их семьями, а также работников аппарата Союза (работников Правления, Литфонда, издательства, журналов, «Литгазеты», Иностранной комиссии, клуба) Комиссия по эвакуации при Совнаркомом СССР по моему предложению обязала НКПС предоставить Союзу писателей вагоны на 1000 человек (в эвакуации какого-либо имущества и архивов Правления Союза было отказано).

За 14 и 15 октября и в ночь с 15 на 16-е организованным и неорганизованным путем выехала, примерно, половина этих людей. Остальная половина (из них по списку 186 членов и кандидатов Союза) была захвачена паникой 16 и 17 октября. Как известно, большинство из них выехали из Москвы в последующие дни.

3. Перед отъездом мною были даны необходимые распоряжения моему заместителю (тов. Кирпотину), секре-

тарю «Литгазеты» (тов. Горелику) и заместителю моему по Иностранной комиссии (тов. Аплетину). Секретарь парт-организации тов. Хвалебнова, уезжавшая с мужем с разрешения Краснопресненского райкома, дала при мне необходимые распоряжения своему заместителю (тов. Хмара) и заведующему секретной частью Союза (тов. Болихову).

Кирпотин моих распоряжений не выполнил и уехал один, не заглянув в Союз. Это, конечно, усугубило паническое настроение оставшихся. Остальные работники свои обязательства выполнили.

4. Перед отъездом Информбюро из Москвы тов. Бурский передал мне от имени тов. Щербакова указание: создать работающие группы писателей в гг. Свердловске, Казани и Куйбышеве.

В Куйбышеве такая группа создана при Информбюро (человек 15). В Казани и Чистополе (120 человек) и Свердловске (30 человек). Остальные писатели с семьями (в большинстве старики, больные и пожилые, но в известной части и перетрусившие «работоспособные») поехали в Ташкент, Алма-Ату и города Сибири.

Организация писательских групп в Казани и Свердловске, очищение их от паникеров, материально-бытовое устройство, преодоление некоторых политически вредных настроений — вся эта работа более или менее завершена, группы эти созданы и работают.

5. Работа среди писателей (в течение 15 лет) создала мне известное число литературных противников. Как это ни мелко в такое время, но именно они пытаются выдать меня сейчас за «паникера».

Это обстоятельство вынуждает меня сказать несколько слов о себе. Я вступил в партию в период колчаковского подполья, был участником Гражданской войны (от рядового бойца и политрука пулеметной команды до комиссара бригады), участвовал в штурме Кронштадта в 1921 г. и дважды был ранен.

Я делал немало ошибок, промахов и проступков. Но на всех самых трудных этапах революции, включая и современный, я не был просто «поддерживающим» и «присое-

диняющимся», а был и остался активным борцом за дело Ленина и Сталина. Изображать меня «паникером» — это глупость и пошлость.

Как и многие большевики, я с большой радостью остался бы в Москве для защиты ее, и как у многих большевиков, все мои помыслы и желания направлены к фронту.

Если бы мне разрешили выехать на фронт в качестве корреспондента или политработника, я смог бы принести пользы не меньше других фронтовых литераторов.

А. Фадеев

6

А.А. ФАДЕЕВ — А.А. АНДРЕЕВУ

Телеграмма

14/12/41

Молния.

Куйбышевская обл. — ЦК ВКП(б) Андрееву.

Прошу разрешения выехать [на] Западный фронт. Фадеев.

7

А.З. МЕХЛИС — А.А. АНДРЕЕВУ

13 декабря 1941 г.

Телеграмма

Из Изумруд Бомба

Бомба, ЦК ВКП(б) — тов. Андрееву А.А.

Писатель Фадеев прислал телеграмму с просьбой посодействовать перед ЦК ВКП(б) о направлении его на фронт в качестве корреспондента, как будто ему кто-то мешает.

Прошу Вас передать Фадеева на несколько месяцев в распоряжение ГЛАВПУРККА, а мы заставим его обслуживать армию художественным словом.

Мехлис

8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОРГБЮРО ЦК ВКП(б) О СМЕНЕ РУКОВОДСТВА ССП СССР

13 сентября 1946 г.

№ 277. п. 7 — Вопросы Союза писателей СССР.

1. Освободить т. Тихонова Н.С. от работы председателя Правления Союза советских писателей СССР.

2. Для руководства текущей работой Союза советских писателей образовать секретариат Союза в составе 13 человек: генерального секретаря, 4 заместителей генерального секретаря и 8 членов Секретариата.

3. Утвердить:

а) генеральным секретарем Союза советских писателей т. Фадеева А.А.,

б) заместителями генерального секретаря Союза советских писателей тт. Симонова К., Тихонова Н., Вишневого В., Корнейчука А.;

в) членами Секретариата Союза советских писателей тт. Горбатова Б.Л., Упитса А.М., Венцлова А.Т., Семпер И., Чиковани С.И., Якуба Коласа, Айбека (Ташмухамедова Мусу), Леонова Л.М.

9

Н.А. ЛОМАКИН — А.А. АНДРЕЕВУ

17 декабря 1941 г., Ташкент

Сов. секретно.

Секретарю ЦК ВКП(б) товарищу Андрееву

За последнее время в г. Ташкент в порядке эвакуации прибыла группа московских писателей (Алексей Тол-

стой, Николай Погодин, Всеволод Иванов, Николай Вирта и др.)...

...среди этих писателей имеют место нездоровые настроения и попытки организованно выступить против руководства Союза Советских писателей. Например, 3 дня тому назад в ЦК КП(б)Уз пришел Алексей Толстой и от имени всех московских писателей, находящихся в Ташкенте, поставил вопрос о необходимости «полной реорганизации и обновления руководства Союза советских писателей СССР», имея в виду получить у нас поддержку в такой постановке вопроса. Алексей Толстой заявил, что Фадеев и его помощники растерялись, потеряли всякую связь с писателями, судьбой их не интересуются и занимаются, главным образом, устройством своих личных дел в г. Чистополе. Он, в частности, высказал свое возмущение тем, что т. Фадеев, под пьяную руку, выдает безответственные мандаты отдельным писателям на право «руководить» различными отраслями писательской работы в Узбекистане. Такие мандаты, по заявлению т. Толстого, были выданы Фадеевым тт. Кирпотину, Скосыгреву, Маршаку и Ниалло.

Дело дошло до того, что группа московских писателей с участием Алексея Толстого (особое рвение проявляет Вирта) постановила на своем собрании объявить выдачу таких мандатов незаконным делом и немедленно отобрать их у всех перечисленных выше товарищей и, в частности у т. Кирпотина, находящегося в Узбекистане. В результате этого т. Кирпотин не только не оказывает никакого влияния на работу московских писателей, но и окружен нескрываемым презрением с их стороны.

В эту групповую возню за последние дни начали вовлекаться и некоторые узбекские писатели.

Явно неправильное поведение московских писателей нашло свое яркое выражение в проекте их письма в ЦК ВКП(б) на имя товарища Андреева и товарища Щербакова. В этом письме, написанном Алексеем Толстым, Николаем Вирта и Иосифом Уткиным, делаются прямые намеки на необходимость отстранения Фадеева от руководства Союза писателей и ставится вопрос о создании нового «полномочного органа Союза советских писателей с тем, чтобы

он находился в одном из крупных центров СССР». В этом письме утверждается, что «организация (Союз писателей) по сути дела распалась и не представляет из себя целостной политической группы»...

Посоветовавшись между собой, мы решили проинформировать Вас об этом и просить предложить т. Фадееву решительно улучшить свое руководство и свою связь с писателями, эвакуированными в различные города Союза и, в частности с писателями, находящимися в Ташкенте.

Секретарь ЦК КП(б) Узбекистана

Н. Ломакин

10

**ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ССП А.А. ФАДЕЕВА
СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б) ОБ УЧАСТНИКАХ
«АНТИПАТРИОТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ КРИТИКОВ»
В.Л. ДАЙРЕДЖИЕВЕ И И.Л. АЛЬТМАНЕ**

1 сентября 1949 г.

ЦК ВКП(б)

Товарищу Сталину И.В.

Товарищу Маленкову Г.М.

Товарищу Суслову М.А.

Товарищу Попову Г.М.

Товарищу Шкирятову М. Ф.

В связи с разоблачением группок антипатриотической критики в Союзе советских писателей и Всероссийском театральном обществе, обращаю внимание ЦК ВКП(б) на двух представителей этой критики, нуждающихся в дополнительной политической проверке, поскольку многие данные позволяют предполагать, что эти люди с двойным лицом. Дайреджиев В.Л., член ВКП(б) с 1919 года. Дайреджиев появился в литературной критике в период суще-

ствования РАППа, как активный «делец» антипартийной группы Литфронт, вожаками которой были враги народа Костров, Беспалов, Зонин. В начале 30-х годов выпустил троцкистскую книгу «На отмели» с предисловием ныне арестованного А. Зонина, книгу, содержащую клеветнические утверждения о перерождении партии. Трудно себе представить, как в те годы Дайреджиев сохранил партийный билет, будучи автором этой вражеской книги.

Теперь при исключении его из партии Дайреджиев пытался оправдаться тем, что к книге нужно подходить исторически и что в свое время она так не оценивалась, в доказательство чего приводил выдержки из статьи того времени, напечатанной в журнале РАППа. После проверки выяснилось, что Дайреджиев приводил цитаты из статьи врага народа А. Селивановского. После выхода в свет книги «На отмели» Дайреджиев на несколько лет исчез со страниц печати и всплыл незадолго перед войной, представив в Союз писателей левацкую зашательскую книгу о Шолохове, не увидевшую света.

В период Великой Отечественной войны Дайреджиев вновь не подавал никаких признаков жизни, а после войны начал довольно активно выступать в печати и на собраниях со статьями, ставящими своей целью дискредитировать темы советского патриотизма в литературе и ниспровергнуть многие лучшие произведения советской литературы.

В 1948 году мною была изъята из сборника критических работ статья Дайреджиева о Белинском, в которой, претендуя обратить Белинского в современность, Дайреджиев сосредоточил весь свой ложный пафос на борьбе Белинского с так называемым квасным патриотизмом, бросая мимоходом упреки современной критике за отсутствие борьбы против «квасного патриотизма». По методам протаскивания вражеских идей эта статья Дайреджиева носит насквозь двурушнический характер.

Как и некоторые другие представители антипатриотической критики, Дайреджиев любил подвизаться где-нибудь вдали от Москвы в литературе какой-либо из брат-

ских республик, рассчитывая на более слабый контроль над его деятельностью. Так, в течение нескольких месяцев Дайреджиев «работал» в Таджикистане, где подвергал осмеянию и ниспровержению спектакли русского театра в Сталинабаде по пьесам советских драматургов и поддерживал внутри театра людей, придерживавшихся такой же линии. Газета «Коммунист Таджикистана» от 10/IV 49 г. вскрыла эту враждебную деятельность Дайреджиева в большой статье «Решительно разоблачить безродных космополитов и их пособников».

Будучи разоблачен во всех этих действиях, Дайреджиев ни в чем не признается и увиливает от критики.

Альтман И.Л. родился в гор. Оргееве (Бессарабия). Свой путь начал с левых эсеров в 1917–1918 гг. В ВКП(б) вступил с 1920 года. Принадлежал к антипартийной группе в литературе Литфронт. Свою литературную деятельность начал с большой работы о Лессинге, в которой проводил взгляд о приоритете Запада перед Россией во всех областях идеологии. Будучи перед войной редактором журнала «Театр», проводил линию на дискредитацию советской драматургии на современные темы, совместно с критиками Гурвичем, Юзовским и т.п., в частности, напечатал зашательскую статью Борщаговского против пьесы Корнейчука «В степях Украины». За извращение линии партии в вопросах театра и драматургии был снят с должности редактора журнала «Театр» постановлением ЦК ВКП(б).

В 1937 году в бытность И.Л. Альтмана заведующим отделом литературы и искусства в газете «Известия» получил строгий выговор за сомнительную «опечатку» в газете «Известия» (в 1944 году выговор был снят).

Секретариату Союза советских писателей не удалось выяснить характер конфликта, по которому в дни Великой Отечественной войны И. Альтман был отстранен от работы в политорганах и армейской печати и отпущен из армии до окончания войны.

В литературной критической и общественной деятельности послевоенных лет Альтман занимал двурушничес-

скую позицию, изображая себя в устных разговорах противником антипатриотической критики, нигде в печати и на собраниях не выступал против них, извиваясь ужом между поддерживаемой им на деле антипатриотической линией и партийной постановкой вопросов. Благодаря этой своей двурушнической линии Альтману удалось создать в литературной среде представление о его якобы большей близости к партийной линии, чем у его друзей-космополитов, хотя на деле он проводил наиболее хитро замаскированную враждебную линию.

Следует дополнительно проверить факты тесного общения Альтмана с буржуазно-еврейскими националистами в еврейском театре и в Московской секции еврейских писателей, поскольку тесная связь Альтмана с этими кругами широко известна в литературной среде. Тов. Корнейчук А.Е. информировал меня о том, что Альтман частным путем, пользуясь своим знакомством и связями в кругу видных деятелей литературы и искусства, распространял абонементы еврейского театра, т.е. активно поддерживал этот искусственный метод помощи театру путем «частной благотворительности», а не путем улучшения его репертуара и качества исполнения спектаклей.

Подобно Дайреджиеву, Альтман, будучи разоблачен в своей враждебной литературно-критической деятельности, не признается в своих действиях и увиливает от критики.

В настоящее время решением партийной организации Союза советских писателей Дайреджиев и Альтман исключены из партии и «борются» в высоких инстанциях за отмену решения партийной организации ССП.

Со своей стороны считаю, что Дайреджиеву и Альтману не место в партии и прошу ЦК ВКП(б) разрешить Секретариату Союза советских писателей поставить вопрос перед Президиумом об исключении Дайреджиева и Альтмана из Союза писателей.

А.А. ФАДЕЕВ — И.В. СТАЛИНУ

Март 1951 г., Москва

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Прошу предоставить мне отпуск сроком на 1 год для написания нового романа.

Со дня выборов меня Генеральным секретарем Союза писателей в 1946 г. я почти лишен возможности работать как писатель.

Впервые в 1948 году мне был дан более или менее длительный отпуск — на три месяца, но он был нарушен. Мне был поручен одновременно большой доклад о Белинском к сотой годовщине со дня его смерти, а через некоторое время я был вызван из отпуска для проведения конгресса в защиту мира в г. Вроцлаве, в Польше.

В 1950 г. мне снова был предоставлен более или менее длительный отпуск — на 4 месяца, который я использовал как писатель на все 100%. За этот относительно короткий срок мною было написано около 10 печ[атных] листов нового текста романа «Молодая гвардия». Срок этот был слишком мал, чтобы до конца начисто отделать все эти 10 печатных листов (240 страниц машинописного текста). Я мог сдать в издательство только часть фактически написанного мною. Мне буквально не хватило одного месяца, чтобы сдать все. Дальнейшая общественная работа уже не дала мне возможности выкроить этот один месяц вплоть до нынешнего дня.

Таким образом даже фактически выполненная работа повисла в воздухе на неопределенный срок.

Но дело не только в окончании «Молодой гвардии». Несмотря на то что по роду своих занятий я искусственно оторван от жизни рабочих и колхозников нашей страны, голова моя преисполнена новых замыслов. Они возникли от реального соприкосновения с нашей жизнью, но чтобы осуществить эти замыслы, я, конечно, должен иметь время,

чтобы глубже и разностороннее ознакомиться с этими областями жизни. Назову некоторые из этих замыслов.

1. Роман о молодежи крупного советского индустриального предприятия в наши дни. Фактически это — роман о нескольких поколениях русского рабочего класса, роман о партии и комсомоле. Фактически это роман о победе индустриализации нашей страны. И я знаю, что смогу лучше, чем многие, показать подлинную поэзию индустриального труда, показать нашего рабочего младших и старших поколений во весь рост.

2. Роман о современной колхозной молодежи. Тема эта опять-таки много шире и глубже, чем простой показ жизни современной колхозной молодежи.

3. Мой старый роман «Последний из удэге» давно уже внутренне преобразован мною. Прежняя тема приобрела третьестепенное значение. Название изменено. В роман должны быть введены исторические деятели, в первую очередь Сергей Лазо, которого я близко знал лично. В романе будет широко показана японская и американская интервенция. Наша дружба с корейским и китайским народами.

Я не говорю уже о том, что мне хотелось бы ближе связаться с одной из гигантских строек коммунизма. Я смог бы написать о них не хуже многих других, — нет, не хуже.

Я не говорю уже о тех многих рассказах и повестях, которые заполняют меня и умирают во мне, не осуществленные. Я могу только рассказывать эти темы и сюжеты своим друзьям, превратившись из писателя в акына или в ашуга.

Обязанности мои необыкновенно расширились за эти годы. Объем работы Союза писателей неизмеримо вырос. Прибавилась огромная сфера деятельности, связанная с борьбой за мир. Работа комитета по Сталинским премиям расширилась во много раз. Надо очень много читать, слушать и смотреть. На мне лежит редакция академического собрания сочинений Л. Толстого и весь архив А.М. Горького. Следует учесть и работу как депутата Верховного Совета СССР; а теперь и РСФСР.

Несмотря на присущие мне иногда срывы, я работаю с подлинным чувством ответственности и добросовестно.

Если учесть, что я неважный организатор и слишком много делаю сам лично, не умея расставить данные мне силы, станет ясно, насколько невозможен для меня при этих обязанностях мой собственный литературный труд.

Работники отделов ЦК, отделов Совета министров, мои товарищи по работе не всегда понимают этого глубокого противоречия и внутренних трудностей при выполнении мною всякой работы в ущерб моему призванию. Они частенько рассматривают меня как обычного руководителя обычного ведомства, привлекают к решению десятистепенных вопросов, которые могли бы быть решены и без меня. У меня есть и просто обязанности перед читателями, от которых я получаю буквально тысячи и тысячи писем.

В итоге я в течение вот уже шести лет ежедневно совершаю над собой недопустимое, противоестественное насилие, заставляя себя делать не то, что является самой лучшей и самой сильной стороной моей натуры, призванием моей жизни. И это в пору наибольшего расцвета моего дарования. Я не имею права здесь скромничать, потому что мой художественный талант — не мое личное дело. Я вижу работу своих талантливых сверстников, работу замечательной литературной молодежи и с высоты своего возраста и опыта не могу не видеть, что многое мог бы сделать не хуже их, а кое-что и получше.

Такое повседневное насилие над своим дарованием систематически выводит меня из душевного равновесия и истощает нервную систему. Дела, которые при нормальном использовании меня как писателя, были бы близки моему сердцу, превращаются в ненавистную обузу. И чем сильнее я натягиваю струну, тем хуже работаю уже и просто как общественный деятель.

В силу этих причин я прошу ЦК ВКП(б): предоставить мне отпуск для написания романа сроком на 1 год с полным освобождением на этот срок от работы в Союзе писателей СССР, а также от исполнения обязанностей председателя редакционной комиссии академического собрания сочинений А.Н. Толстого и председателя комиссии по хранению и изданию архива А.М. Горького.

Если ЦК сочтет это полезным и необходимым, я мог бы в течение этого года выполнять свои обязанности во Всемирном совете мира, в Комитете по Сталинским премиям в области искусства и литературы и, разумеется, — обязанности депутата Верховных Советов СССР, РСФСР и Московского Совета. Прошу Вас, Иосиф Виссарионович, поддержать мою просьбу.

А. Фадеев

12

ИЗ ЗАПИСКИ ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
В ЦК КПСС «О МЕРАХ СЕКРЕТАРИАТА
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
ПИСАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТ БАЛЛАСТА»

Не позднее 24 марта 1953 г.

ЦК КПСС тов. Хрущеву Н.С.

В настоящее время в Московской организации Союза советских писателей СССР состоит 1102 человека (955 членов и 147 кандидатов в члены Союза советских писателей СССР).

Свыше 150 человек из этого числа не выступают с произведениями, имеющими самостоятельную художественную ценность, от пяти до десяти лет.

Эти бездействующие литераторы являются балластом, мешающим работе Союза советских писателей, а в ряде случаев, дискредитирующим высокое звание советского писателя. Согласно Уставу ССП СССР они подлежат исключению из Союза советских писателей вследствие «прекращения литературно-художественной и литературно-критической деятельности в течение целого ряда лет» (раздел 3, параграф 5, п. «Г»).

Большинство из этих лиц и в прошлом не имело достаточных оснований для вступления в Союз писателей; многие из них были приняты в Московскую писательскую организацию в 1934 г. при создании Союза писателей, — в условиях массового приема.

Поблажки, допущенные при массовом приеме, в дальнейшем вошли в практику работы Союза писателей, когда в ряде случаев, при приеме в ССП — снижались требования к вновь вступающим, благодаря плохому изучению вновь принимаемых, а зачастую и из непринципиальных, приятельских отношений.

Много случайных людей, не имеющих самостоятельных литературно-художественных произведений, попало в Союз писателей в годы войны и в первые послевоенные годы — в силу стремления большого числа лиц, имевших косвенное отношение к литературе, проникнуть в Союз для получения материальных преимуществ, связанных с пребыванием в нем. (Снабжение, литерные карточки и т.д.)

Среди этого балласта — немало людей, которые, не имея возможности существовать на свои литературные заработки, иждивенчески относились и относятся к Союзу писателей и добиваются по всяким поводам материальной поддержки из средств Литературного фонда...

...Значительную часть этого балласта составляют лица еврейской национальности и в том числе члены бывшего «Еврейского литературного объединения» (московской секции еврейских писателей), распущенного в 1949 году.

Из 1102 членов московской организации Союза писателей русских — 662 чел. (60%), евреев — 329 чел. (29,8%), украинцев — 23 чел., армян — 21 чел., других национальностей — 67 чел.

При создании Союза советских писателей в 1934 году — в московскую организацию было принято 351 чел., из них — писателей еврейской национальности 124 чел. (35,3%). В 1935—1940 гг. принято 244 человек, из них писателей еврейской национальности — 85 человек (34,8%); в 1941—1945 гг. принято 265 чел., из них писателей еврейской национальности 75 человек (28,4%). В 1947—1952 гг. принят

241 чел., из них писателей еврейской национальности — 49 чел. (20,3%).

Такой искусственно завышенный прием в Союз писателей лиц еврейской национальности объясняется тем, что многие из них принимались не по их литературным заслугам, а в результате сниженных требований, приятельских отношений, а в ряде случаев и в результате замаскированных проявлений националистической семейственности (особенно в период существования в Союзе писателей еврейского литературного объединения, часть представителей которого входила в состав руководящих органов ССП СССР).

Следует особо сказать о членах и кандидатах в члены Союза писателей, состоявших в бывшем еврейском литературном объединении. Все руководство этого объединения и значительная часть его членов были в свое время репрессированы органами МГБ. После ликвидации объединения и прекращения изданий на еврейском языке, только четверо из 22 еврейских писателей, входивших ранее в это объединение, занялись литературной работой и эпизодически выступают в печати на русском языке. Остальные — являются балластом в Московской организации Союза писателей. Среди них есть отдельные лица, вообще изменившие свою профессию (например, О. Дриз, уже несколько лет работающий гранильщиком в одной из строительных организаций).

Приводя изложенные выше факты по Московской писательской организации, руководство ССП СССР располагает сведениями, что близкое к этому положение существует в Ленинградской организации. Не вполне благополучно обстоит дело с состоянием творческих кадров и в Союзе писателей Украины.

Полностью сознавая свою ответственность за такое положение с творческими кадрами, руководство Союза советских писателей СССР считает необходимым путем систематического и пристального изучения членов и кандидатов в члены Союза писателей последовательно и неуклонно освобождать Союз писателей от балласта.

Руководство Союза писателей считает, что было бы политически неправильным проводить это мероприятие

в порядке «чистки» или «перерегистрации». Эта работа должна проводиться постепенно, опираясь на пристальное изучение кадров. Вместе с тем мы считаем необходимым добиться того, чтобы в течение 1953—1954 годов существующее ненормальное положение с составом творческих кадров писателей было бы решительно исправлено.

За последнее время Секретариат и Президиум Союза советских писателей СССР приняли первые меры в этом направлении. За ряд месяцев Президиумом Правления ССП СССР исключено из Союза писателей 11 чел.; Секретариатом ССП внесена в Президиум рекомендация — исключить еще 11 чел. Работа эта будет продолжаться.

Мы считаем необходимым довести до сведения ЦК КПСС об этих мероприятиях, учитывая, в частности, и то обстоятельство, что исключенные будут обращаться с жалобами в руководящие партийные и советские организации.

Генеральный секретарь
Союза советских писателей СССР

А. Фадеев

Заместители Генерального секретаря
Союза советских писателей СССР

А. Сурков
К. Симонов

13

В ЦК КПСС

13 мая 1956 г., Переделкино

Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии, и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физи-

чески истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности умерло, не достигнув 40—50 лет.

Литература — это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, и с самых «высоких» трибун — таких, как Московская конференция или XX партсъезд раздался новый лозунг «Ату ее!». Тот путь, которым собираются «исправить» положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, — и выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой той же «дубинкой».

С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать!

Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это — партийностью. И теперь, когда все можно было бы исправить, сказалась примитивность, невежественность — при возмутительной дозе самоуверенности — тех, кто должен был бы все это исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и — по возрасту своему — скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить...

Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, одаренный богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеями коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных,

могущих быть выполненными любым человеком неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней глубоко коммунистического таланта моего. Литература — этот высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

Жизнь моя, как писателя, теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью, как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушивается подлость, ложь и клевета, ухожу из этой жизни.

Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3 лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.

Прошу похоронить меня рядом с матерью моей.

Ал. Фадеев
13/V. 56.

14

ИЗ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СМЕРТИ А.А. ФАДЕЕВА

А.А. Фадеев в течение многих лет страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом. За последние три года приступы болезни участились и осложнились дистрофией сердечной мышцы и печени. Он неоднократно лечился в больнице и санатории (в 1954 г. — 4 месяца, в 1955 г. — 5 1/2 месяца, в 1956 г. — 2 1/2 месяца).

13 мая в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга, А.А. Фадеев покончил жизнь самоубийством.

Доктор медицинских наук,

профессор

Стрельчук И.В.

Кандидат медицинских наук

Герашенко И.Н.

Доктор

Оксентович К.Л.

Начальник четвертого Управления

Министерства здравоохранения СССР

Марков А.М.

14 мая 1956 г.

Сюжет первый

«СЛАБЫЙ ТЫ ЧЕЛОВЕК, ФАДЕЕВ...»

О том, при каких обстоятельствах Сталин бросил Фадееву эту презрительную реплику, рассказала в своих воспоминаниях Лидия Борисовна Либединская:

- После постановления ЦК о ликвидации РАППа, в апреле 1932 года, в этой ликвидированной организации произошел внутренний раскол. Одни выступили в поддержку постановления, — среди них были Фадеев и Либединский, другие были несогласны с постановлением, и, может быть, главным из них был Леопольд Авербах. До этих пор Фадеева, Либединского и Авербаха связывала тесная дружба. Однако споры и разногласия зашли так далеко, что, желая оставаться до конца принципиальными, Фадеев и Либединский решили порвать с Авербахом личные отношения... И порвали. Весть о разрыве дошла до Горького, последнее время благоволившего к

Авербаху, и вызвала его недовольство, а через Горького и до Ягоды...

В один из выходных дней Фадеев получил приглашение на дачу к Ягоде, находившуюся неподалеку от станции Внуково по Киевской железной дороге. Фадеев поначалу долго отказывался, но за ним была прислана машина, и пришлось ехать. Ему дали понять, что, возможно, на даче будет товарищ Сталин. И, действительно, приехав на дачу, Фадеев увидел Сталина. С Фадеевым он даже не поздоровался. Сталин смотрел молча, чуть усмехаясь в усы. И когда собравшихся уже пригласили к столу, Сталин подошел к Фадееву и вдруг сказал:

— Ну, зачем же ссориться старым друзьям, Фадеев? Надо мириться...

Авербах стоял напротив (дело происходило на садовой дорожке), возле него — Ягода.

— А ну, протяните друг другу руки, — сказал Сталин и стал подталкивать Фадеева к Авербаху. Ягода поддерживал его:

— Помиритесь, друзья! — и легонько подтолкнул Авербаха.

Фадеев стоял молча, опустив руки. Но Авербах шагнул к нему, протянув руку.

— Пожмите руки! — уже твердо проговорил Сталин, и рукопожатие состоялось. — А теперь поцелуйтесь, ну-ну, поцелуйтесь, — настаивал Сталин.

Они поцеловались. И тогда Сталин, махнув рукой, брезгливо проговорил:

— Слабый ты человек, Фадеев...

*(Л. Либединская. «Зеленая лампа»
и многое другое М., 2000,
стр. 326—327.).*

О таких развлечениях вождя существует множество подобных рассказов. Не всем из них можно верить. Но этот — из

самых достоверных: Лидия Борисовна отмечает, что слышала его от Фадеева не однажды и потому хорошо запомнила.

Конечно, разыгрывая этот спектакль, Сталин развлекался. Он играл с Фадеевым, как кошка с мышью. Это была его любимая игра.

Вот так же он «играл» с Пастернаком в знаменитом своем с ним телефонном разговоре. Его, как и Фадеева, он тоже хотел унижить. И не только брезгливой репликой («Мы, старые большевики, не так защищали наших друзей...», «Если бы мой друг, поэт, попал в беду, я бы на стенку лез...»), но и тем, какой выбрал момент, чтобы бросить трубку: прямо дал понять, что для разговоров с Пастернаком на волнующие того темы («...предрассудки вековые, и гроба тайны роковые», и прочие глупости, о которых болтали Онегин с Ленским) у него нет ни времени, ни желания.

Но с Фадеевым это была не только игра. Это был своего рода экзамен. И вопреки выводу, который тут как будто напрашивается, этот экзамен Фадеев выдержал.

Особенно ясно об этом говорит другой вариант — другая версия — того же фадеевского рассказа:

- ▶ ... на очередном собрании писателей в доме Горького Сталин попросил Авербаха и Фадеева пожать друг другу руки. Фадеев кинулся к Авербаху с протянутой рукой, но тот заложил свою за спину. Рука Фадеева повисла в воздухе. После чего Сталин заявил во всеуслышание, что у Фадеева нет характера, а у Авербаха есть, тот может постоять за себя. Считалось, что именно после этого случая Фадеев пошел резко в гору. Что же касается Авербаха, то сталинская похвала его принципиальности стоила ему жизни.

(Н. Громова. Узел.

Из литературного быта конца
20—30-х годов. М., 2006. Стр. 159).

Конечно, такое суждение о Фадееве и Авербахе у Сталина могло сложиться и по личным его впечатлениям. Но есть основание предполагать, что известную роль тут сыграли и некоторые другие обстоятельства.

Напомню приведенную мною в разделе «Документы» записку Бухарина Сталину:

- ▶ ... посылаю тебе роман Левина «Юноша», о котором говорил, когда был у тебя. Под именем Владимира там выведен Фадеев, Авербах фигурирует как Борис Фитингоф. Все сии персонажи появляются во второй половине книги.

*(Большая цензура. Писатели и журналисты
в Стране Советов. 1917–1956.
Документы. М., 2005. Стр. 11).*

Можно не сомневаться, что Сталин не пропустил эту рекомендацию Бухарчика и относящиеся к Фадееву и Авербаху страницы романа Бориса Левина если и не прочел, так проглядел. Интерес к таким вещам у него был неизменный.

Посмотрим же, ЧТО в этих страницах могло привлечь особое его внимание.

* * *

В романе Бориса Левина «Юноша» Фадеев выведен под именем Владимира Владыкина. И он там не писатель, а — художник. К тому же еще и профессор.

Впрочем, должностей у него (как и у реального Фадеева) там много.

Наше знакомство с этим персонажем начинается визитом к нему главного героя романа — молодого (совсем юного, ему 18 лет) художника Миши Колче, надеющегося, что этот знаменитый и влиятельный человек оценит его и поддержит.

► У Миши было письмо от Яхонтова к профессору живописи Владимиру Германовичу Владыкину. Прежде чем пойти к профессору, Миша распечатал письмо, — вдруг там что-нибудь унижительное: «Поддающий надежды... Мой ученик... Способный паренек...» Миша терпеть не мог этого жалостного бормотания. Письмо оказалось коротеньким, вполне достойным и без знаков препинания.

«Дорогой Владимир Германович, познакомьтесь с тов. Колче посмотрите его работы и вы увидите что это очень талантливый художник а самое главное ни на кого не похожий до свидания буду в Москве обязательно увидимся и еще поспорим...»

«С таким письмом не совестно», — и Миша тщательно заклеил конверт.

Профессор Владыкин жил на самой шумной улице — на Мясницкой. На десятом этаже. Лифт не работал. Миша насчитал триста пятьдесят девять ступенек. Он передохнул, поправил галстук и позвонил. Дверь открыла женщина...

— Володя, к тебе! — крикнула она полным, свежим голосом и скрылась.

В высоких американских зашнурованных ботинках кирпичного цвета (трофей интервенции; таким ботинкам сносу нет, — кто воевал на колчаковском фронте, тот помнит эти ботинки, да и на деникинском они попадались, но реже; зато на деникинском хороши были английские кожаные безрукавки: мягкие, теплые — на фланельке, с шоколадными пуговицами) и в длинной рубаше с воротником, подпирающим подбородок, вышел молодой буролицый профессор Владыкин.

— Вы ко мне? Заходите, товарищ, — сказал он озабоченно.

Миша вошел в комнату. Профессор сел в кожаное кресло, заложил ногу на ногу и, издав горлом звук, буд-

то собирался отхаркнуться, разорвал конверт. Прочел письмо, приветливо посмотрел на Мишу.

— Вы будете Колче? Очень приятно...

Владыкин сказал, что с удовольствием посмотрит Мишины картины, но когда это сделает — не знает. Во всяком случае, не сегодня и не завтра.

— Посудите сами... — вздохнул молодой профессор, достал записную книжку, и Мише стало известно, что это чрезвычайно занятой человек.

Он преподает в высшей школе живописи и на рабфаке; кроме того, он член редколлегии теоретического журнала «За революционную живопись», кроме того, он член секретариата Общества пролетарских художников; кроме того — общественная работа на заводе; кроме того, он бригадир очень важной юбилейной комиссии, где еще до сих пор ничего не сделано, и, кроме того — ведь самому-то тоже нужно когда-нибудь писать? У него третий месяц пылится загрунтованный холст.

Миша ему посочувствовал.

— А чтоб прийти к вам, — сказал Владыкин и опять издал харкающий звук и на этот раз подошел к плевательнице. — А чтоб прийти к вам, — продолжал он, садясь на прежнее место, — на это дело надо потратить два-три часа. Ведь вы-то сами не потащите свои полотна ко мне, на десятый этаж?

— Нет, отчего же, я потащу, — охотно согласился Миша.

Он хотел угодить профессору. Ему нравился Владыкин — и то, что он такой занятой, и то, что это здоровенный высокий парень с длинными руками и широкими кистями. «Лицо простое, и весь он такой демократический. Вот именно демократический». Мише нравился Владыкин. Миша хотел походить на него, носить такие же американские ботинки с такими же крепкими подметками, как у Владыкина. «Сильный, волевой

человек. Вот с таким хорошо вместе драться за новое, настоящее искусство».

— Это пустяки, что десятый этаж. Я приташу.

Профессор улыбнулся. Верхняя поросычья губа подвернулась, обнажив розовую десну, остренькие белые зубки. Он улыбнулся, потому что подумал: «От этого мальчика так легко не отделаешься».

— Вот что, — сказал Владыкин решительно. — Я попрошу жену, она художница, я ей вполне доверяю, — и он хозяйским голосом крикнул: — Нино! Нинуся!

(Б. Левин. *Юноша*. М. 1987. Стр. 79—81).

Особой симпатии этот образ, конечно, не вызывает. Но и для острой антипатии к нему пока еще как будто нет оснований. Разве только вот эта «поросычья губа», обнажившая десну и «остренькие зубки». Да еще, пожалуй, откровенное его нежелание смотреть картины молодого талантливого художника, хотя, казалось бы, он просто обязан был заинтересоваться его картинами, если не из естественного человеческого (и художнического) любопытства, так по должности.

Все это, однако, пока еще не повод для того, чтобы записать Владыкина в герои, по-школьному говоря, «отрицательные».

Но чем дальше, чем яснее высвечивается этот образ, тем больше появляется у нас таких оснований.

Вот, например, как видит Владыкина самый близкий, а значит, лучше, чем кто другой, знающий его человек — жена:

- ▶ Владыкину (он одевался по-простецки: длинная шерстяная рубаша, ремень и те самые ботинки, о которых мечтал Миша) нравилось появиться с Ниной в театре, чтоб на нее смотрели и чувствовали, что это его жена. Она ему принадлежит. Любуйтесь. Я хозяин. Мое.

Нина не выносила этой владыкинской черты. И когда на людях он еще это подчеркивал разговором, она просто негодовала:

— Я запрещаю со мной так обращаться. Меня нельзя положить в карман или передвинуть с одного места на другое. Пойми ты это раз и навсегда!

Владыкин обещал держать себя подобающе, но быстро забывал об этом. В гостях или когда у них кто-нибудь сидел, он по-прежнему распорядился хозяйским баском: «Ну, жена, собирайся: пора домой», или «Женка, подойди сюда, я тебя поцелую»... А если бы Нина слышала, как он говорил о ней со своими товарищами где-нибудь в пивной или в ресторане!

— Она у меня умная... С самостоятельными идеями.

Он искренне радовался, что у него красивая и умная «баба». Слегка выпив, рассуждал о ней так, словно Нина покорный, влюбленный в него раб.

Какое право он имеет так разговаривать?.. Кто дал ему право так обращаться?.. Причем, когда они остаются вдвоем, находит же он другие слова и держит себя совсем иначе.

Значит, он сознает. Это еще подлей... Неужели ему непонятно, что подобное поведение унижает не только ее, но и его самого?.. «Мужик. Большой мужик сидит в нем где-то в глубине», — думала Нина в такие минуты с отвращением о Владыкине.

(Там же. Стр. 188—189).

Но какая жена иной раз не смотрит на мужа с раздражением. В семейных отношениях всегда так — ссорятся, потом мирятся...

Зато у других...

- ▶ У других грубоватость Владыкина пользовалась успехом. «Простой, хороший парень». Если бы он был служащим почтового ведомства или вагоновожатым, никто бы этой простоты не замечал, но Владыкин был

талантливый художник. Картины Владыкина, так же как и его внешность, подкупали добротностью. Синее — так это синее. Конь — так это конь. Партизаны дышали ненавистью, в них чувствовались социальные корни. Бунинские Захары Воробьевы, дожившие до революции. Изморозь. Снег. Месть. Кровь. Лес. Отчаяние. Все это было настоящее. Рядом с этим неотесанная фигура Владыкина, его грубоватость принимались за силу, пришедшую из гуши народа.

Владыкин один из первых начал писать картины советского жанра, преимущественно из Гражданской войны. В этом его большая заслуга, и она была по достоинству оценена... В то время еще многие художники писали обнаженных женщин, букеты, фарфоровые вазы, ковер и небо, девушку у окна — все то, что когда-то прельщало капиталистические салоны. Столица и усадьба... Многие художники считали, что самое главное — это фактура, цвет, свет, линия. На выставках преобладали: радужные спирали, круги, параболы, детали машин, математические формулы. Были картины, склеенные из кусочков материи, жести, воблы, обрывка газеты, окурка, подошвы. Эти художники отрицали все: и рисунок, и краску... Они старались доказать, что пролетариату вообще не нужна живопись. Весь этот суррогат выдавался за революционное отображение действительности, за передовое искусство.

Появление полнокровных полотен Владыкина было встречено как долгожданный дождь в засуху. Это было как раз вовремя. Добросовестно написанные картины пользовались большим успехом: их охотно смотрели, о них много писали в печати. Сразу стало ясным, что весь хлам, который до этого процветал на выставках, — это просто продукция малодаровитых людей. И было приятно, что революционные картины написал не бледнолицый молодой человек с коричневыми пятнами под

глазами, а участник Гражданской войны, здоровый парень с бурой шеей. Поэтому грубоватость и простоту Владыкина приняли как должное, как силу, вышедшую из недр страны. Тем более что манера говорить, отхаркиваться, широкий шаг — все это было не напускное, а органичное.

(Там же. Стр. 189—190).

Но тут же выясняется, что с отвращением на Владыкина смотрит не только жена:

- ▶ Между тем Владыкин, сын малосемейного, довольно богатого лесничего, окончил реальное училище и учился год в университете. В Красной Армии он, правда, был с девятнадцатого года, но в боях не участвовал. Он работал в снабженческих органах, глубоко в тылу. Однокашники его не любили. Несмотря на большой рост и видимую силу Володю Владыкина считали трусом. В этом не раз школьники убеждались на деле. Шли ли всем классом в драку — Владыкина не было впереди... Или вот: постановили сумасброду латинисту не отвечать урока, поклялись. Кто нарушил клятву? Владимир Владыкин. Ему за это латинист поставил четыре с минусом, хотя отвечал Владыкин на двойку. Трусость и вероломство во Владыкине мальчишки заметили с первых же лет совместного с ним обучения и прозвали его Чечевичная Похлебка. Выскочка. Желание угодить начальству... Когда однажды Владыкину незаслуженно — потому что учитель спрашивал не то, что было задано, — поставил кол, никто ему не сочувствовал. Огромный верзила плакал, растирая кулаками слезы.

— Господин учитель... Господин учитель, вы этого не задавали... Ей-богу...

Противно смотреть!

Фронтные товарищи, которым приходилось сталкиваться с Владыкиным, прекрасно знали его слабые

звенья и считали его далеко не первосортным коммунистом. Ему не особенно доверяли. Когда он прославился, они были неприятно удивлены. Всячески отрицали ореол боевых заслуг Владыкина, представление о которых вызывали его картины... Слава Владимира Владыкина им казалась непонятной, не совсем заслуженной.

(Там же. Стр. 190).

Да и неприязнь Нины к мужу, как это вскоре выясняется, тоже основана не на женских капризах или неизбежных в каждом браке семейных ссорах, а на день ото дня вызывающем у нее все большее отвращение общественном его поведении:

- ▶ Обо всем, что происходило на фабрике, она информировала Владыкина и просила его вмешаться в это дело. В данном случае авторитет такого художника, как Владыкин, мог сыграть известную роль. Владыкин одобрял линию Нины, во всем с ней соглашался, но пойти на фабрику не пожелал.

— Стану я вмешиваться... Еще скажут — жену защищаю.

— Это общественное дело, — доказывала Нина. — Ты рассуждаешь, как обыватель...

Владыкин делал только то, что касалось его лично. Он был осторожен и не любил рисковать.

(Там же. Стр. 194).

И вот — последний штрих, окончательный приговор, который Нина выносит мужу, от которого уже твердо решила уйти:

- ▶ — С Володей я не буду жить. Я его никогда особенно и не любила... Вначале думала, что он сильный человек, но уж давно увидела, что просто барахло слюнявое... Все не могла решить порвать с ним... Барахло... Труха...

(Там же. Стр. 232).

* * *

Для изображения второго участника спектакля, разыгранного Сталиным на даче у Ягоды, — Леопольда Авербаха, — автор «Юноши» тоже не пожалел черной краски:

- ▶ Рыжеволосый Борис Фитингоф до сих пор сохранил снисходительно-иронический тон со своими родственниками. Про отца он говорил «мой буржуй», мать называл «старосветская помещица».

— Как вам нравятся мои буржуи? Их надо ликвидировать как класс.

Это не мешало Борису обнаруживать чрезвычайную домовитую заботливость и снабжать их всем необходимым, вплоть до билетов в театр. Больше того, нужным знакомым он старался показать, что родители — представители нового времени.

— А ведь мой старикан как-никак Карла Маркса одолел...

Борис старался привить знакомым как бы ироническое, но втайне глубоко уважительное отношение к своим родителям. Родителей и домочадцев он всегда приветствовал бодрыми выкриками: «Здорово, население!.. Народ!..»

В крови Бориса, так же как и у отца, жили микробы интриг, конъюнктуры и политиканства. Его отец — Давид Осипович Фитингоф — пользовался когда-то большим авторитетом среди черниговских помещиков. Продать имение, учинить купчую с мужиками — всегда звали Фитингофа. Он получал некий процент от помещика и некий процент от мужиков, и каждый из них полагал, что Давид Осипович защищает только его интересы. Он ссорил и мирил людей, а люди и не подозревали, что делались смертельными врагами только потому, что это в какой-то мере было выгодно Давиду Осиповичу...

Борис Фитингоф хотел вести в политике совершенно самостоятельную и независимую линию...

Он был несомненно талантливым человеком, Борис Фитингоф, хотя талантливость эта лежала в области, противоположной той, которую он считал своей основной областью, хотя эта талантливость была унаследована от отца, многоопытного и по-своему смелого предпринимателя...

Сама жизнь благоприятствовала ему. Это был период, когда все самое боевое, передовое было оттянуто на самые решающие участки строительства и на некоторых участках была огромная потребность в грамотных и все же в конечном счете невраждебных людях.

Борис Фитингоф неожиданно выплыл к берегам искусства. Это было золотое дно для предприимчивого, защищенного кое-каким опытом политического функционирования молодого человека. И вот Борис начал с большой ноты. Он «сигнализировал», «ликвидировал» и непрестанно «дрался».

— Сегодня у меня будет драчка!.. Предстоит небольшая драчка...

Жизнь продолжалась. Время двигалось вперед. После периода борьбы с враждебным старым необходимо было утверждение, необходимо было так же, как на хозяйственном фронте, создавать алмазный фонд советского искусства. И вот тут-то обнаруживалось самое страшное: Борис Фитингоф никогда не любил его. Ни одна строчка Пушкина не заставила сердце Бориса забиться хоть немного учащеннее, ни одна искра Бетховена не зажигала в металлических глазах освобожденного от деляческого беспокойства света. Искусство было доступно Борису в голых, узко логических очертаниях. Он изучал его с злобным рвением первокурсника-медика, исследующего человека по анатомическому ат-

ласу. Конечно, он не был тупица, этот студент. Острый деловитый рассудок отца Фитингофа теплился под его медноволосым черепом. Книга, прочитанная Борисом, поражала количеством на первый взгляд умно выбранных мест, которые он, как наиболее, по его мнению, «социально окрашенные», энергично подчеркивал и снабжал краткими комментариями. «Ограниченность феодального мышления! Мелкобуржуазные иллюзии индивидуализма. Ущербность мещанской социологии!» и т. д.

Таким образом, гениальнейшие страницы великих писателей оставались затонувшим золотым грузом. Вся же огромная сокровищница их страниц сводилась к инвентарно-скудным каталогическим выжимкам... Прочитав наедине книгу, о которой он ранее ничего не слышал, Борис не знал, куда ее определить. Он совершенно не знал, понравилась она ему или нет, хороша она или плоха, вредна или полезна. По существу, он был даже немного мучеником. Иногда заключенные в картон бумажные глыбы казались ему петардами с динамитом. Они окружают его, таят неведомые опасности и возможность безудержного взрыва. И каждая книга чего-то требует от него. И каждая картина чего-то требует от него.

(Там же. Стр. 218—221).

Портрет убийственный. И таким он остается до конца книги. Ни одной хоть сколько-нибудь привлекательной черты не вносит автор в это изображение. И даже единственная вроде как одобрительная авторская реплика, вскользь брошенная на приведенных выше страницах («Борис Фитингоф хотел вести в политике совершенно самостоятельную и независимую линию...»), не высветляет фигуру этого непривлекательного героя. Напротив, — только еще добавляет черной краски:

► — Третьего дня меня встречает... помнишь того рыжего, что нас на писательском собрании обозвал торгашами?... Подходит ко мне как ни в чем не бывало. Поздравляет. Спрашивает о тебе... Черт! Как его фамилия? С окончанием на «дров». Никогда фамилии не запоминую.

— Фитингоф, — напомнил Праскухин.

— Во-во. Он самый, Фитингоф.

— Большая собака...

— Я его хорошо знаю, — сказала Нина. — «Собака» — это для него нежно.

— Он дурак, — заметил резко Миша.

— О, он далеко не дурак. Он умница.

И Нина постаралась охарактеризовать Бориса Фитингофа. Она говорила медленно, часто останавливалась, подбирая подходящие слова...

— У него всегда имеется какой-нибудь покровитель. Фитингоф всегда ориентируется на одного человека, он умеет втереться в доверие. И он не Молчалин, не Тартюф, нет. Это гораздо сложнее. Я наблюдала, как он разговаривает со своими покровителями. Он спорит. Не соглашается. Почти грубит. Со стороны он даже кажется смелым и самостоятельно мыслящим... О, это очень усовершенствованный механизм приспособленчества, — закончила Нина с кривой усмешкой...

...Праскухин на нее пристально посмотрел и заметил:

— Вы, видать, его терпеть не можете?

— Вы угадали, — ответила, улыбнувшись, Нина. — Но вовсе не из-за каких-нибудь личных соображений... Такие, как Фитингоф, очень вредны. Пока их не раскусят, они приносят много зла общему делу. Их надо везде и всюду разоблачать.

(Там же. Стр. 256—257).

Итак, Фитингоф (Авербах) ничуть не лучше Владыкина (Фадеева). Оба — приспособленцы. Значит, как выразился однажды Сталин, — «оба хуже».

Почему же в таком случае одного из них он приблизил и возвысил, а другого отстранил и уничтожил? И приблизил (и возвысил) именно того, кого «раскусил»?

А вот потому и приблизил, потому и возвысил, что — раскусил.

* * *

9 октября 1940 года Н.Н. Асеев обратился к секретарю ЦК А.А. Жданову с таким письмом:

► Дорогой товарищ Жданов!

Вчера, 8 октября я был поставлен товарищем Фадеевым в тяжелое и глупое положение на Правлении ССП по вопросу о книжке Тихона Чурилина.

Тов. Фадеев, зная мое положительное суждение о талантливости Чурилина вообще и не предупредив меня о том, что книжка резко осуждена Вами, нашел нужным вовлечь меня в длительный спор о ней, спор, имевший очевидной целью противопоставить мою скромную литературную убежденность вашему непререкаемому политическому авторитету. В конце концов, дело здесь не в книжке Тихона Чурилина. Защищать ее в том виде, в каком она была представлена, я не собираюсь. Но судьба старого поэта, не бездарного, но ведущего голодное существование, забытого всеми и поэтому несколько одичалого в своем творчестве, — меня волновала. Тов. Фадеев решительно настаивал на полной бездарности Чурилина и ненужности его. Вот против этого я и возражал. Меня в моем мнении подержали столь разные по вкусам люди, как К.А. Тренев, В.Б. Шкловский, С.Я. Маршак. Тогда тов. Фадеев предъ-

явил нам ваши отметки на страницах книги Чурилина, тем самым ставя меня да и остальных товарищей в необходимость либо спрятать в карман наше мнение, либо оспаривать ваш отзыв о книге...

Растерявшись от неожиданно предъявленных обвинений и чувствуя подмену одного вопроса другим, я в горячке спора не нашел нужных доводов, вспылал, расстроился от этого, в результате чего получил от тов. Фадеева нравоучение о том, что нужно уважать мнение и любить своих вождей. На это я, кажется, ответил, что любовь свою я не привык выставлять наружу. Вообще разговор принял неприятный и постыдный для взрослых людей характер. Я не знаю, для чего нужно его было переводить в такой план, возможно для того, чтобы дискредитировать мои вкусы и литературные убеждения, лишней раз показав мою непригодность к организационной работе.

Но я и не добивался никогда участия в руководстве Союзом советских писателей. И мне очень бы хотелось не из обиды, и не из желания остаться в гордом одиночестве, а просто потому, что мне очень хочется писать стихи, — отстраниться от всякого участия в той игре страстей и тщеславий, которая кипит вокруг руководства Союзом советских писателей и которая для меня глубоко непонятна и антипатична.

В этом я очень прошу Вас помочь мне.

Николай Асеев

(Литературный фронт.

*История политической цензуры.
1932—1946. Сборник документов.
М., 1994. Стр. 55—56).*

За какой помощью поэт обращается к секретарю ЦК, по правде говоря, не очень понятно. Дело-то вроде не стоит и выеденного яйца. Но поэт взволнован. И ему кажется,

что для этого волнения есть у него очень серьезные основания.

Кажется это ему не зря.

Ведь что произошло! Он похвалил книжку поэта, о которой, как оказалось, секретарь ЦК и член Политбюро держится прямо противоположного мнения. Знал бы он раньше о мнении вышестоящего товарища, у него и в мыслях бы не было противопоставить свою «скромную литературную убежденность» его «непререкаемому политическому авторитету». Но коварный Фадеев книжку с пометками Жданова ему не показал, и поэт попал «в тяжелое и глупое положение». И вот он вьется ужом, путано объясняя, что книжку эту он не хвалил, а говорил только лишь о талантливости ее автора «вообще». Но Фадеев чуть ли не насильно втянул его в спор, и в пылу этого спора он, кажется, и впрямь перешел границы дозволенного. Может быть, даже в запальчивости сказанул, что не обязан петь с секретарем ЦК в унисон, вправе иметь по такому частному вопросу свое профессиональное мнение. А когда Генеральный секретарь Союза писателей на этом основании обвинил его в том, что он не любит своих вождей, — наложил в штаны. И вот теперь считает своим долгом доложить, что ничего такого он вовсе в виду не имел: вождей своих он, разумеется, любит и мнение их, конечно же, уважает.

Глядя на эту ситуацию из нашего прекрасного сегодня, — то есть из совершенно иной исторической эпохи, — мы могли бы, конечно, осудить это постыдное поведение старого поэта. Разумеется, если бы были твердо уверены, что описанная выше ситуация в этом нашем прекрасном сегодня так-таки уж совсем невозможна. Но такой твердой уверенности у нас, к сожалению, нет. А кроме того, — не столько в оправдание попавшего «в тяжелое и глупое положение» поэта, сколько для внесения окончательной ясности в описание этой глубокой психологической драмы, — не могу тут не отметить, что обвинение, брошенное ему Фадеевым, предъявлено было бедному Асееву не однажды.

► ...Праздновали столетний юбилей Лермонтова. Председателем юбилейного комитета был К.Е. Ворошилов, заместителями — Асеев и О.Ю. Шмидт. Оба они тогда были в фаворе, в случае: Николай Николаевич даже временно исполнял что-то вроде должности первого поэта земли русской — в промежутке между Маяковским и Твардовским.

Комитет собрался на пленарное заседание, и Климент Ефремович — в прекрасном расположении духа — предложил программу чествования:

— Соберемся в Большом театре, будет доклад, а потом послушаем оперу «Демон» на сюжет Лермонтова.

В Асееве нечто взыграло, и он сказал:

— Лермонтов был известен не тем, что пел и танцевал. Поэтому соберемся лучше в Театре имени Моссовета, послушаем доклад, а потом посмотрим пьесу самого Лермонтова «Маскарад».

Ворошилов огорчился и обиделся, однако план Асеева был куда резоннее, и члены комитета решительно его поддержали.

Прощаясь после заседания, Климент Ефремович сказал Асееву:

— Все-таки не любите вы нас, Николай Николаевич.

— Я? Кого? Вас?

— Вождей.

*(Б. Слуцкий. О других и о себе.
М., 2005. Стр. 196).*

Первая из этих двух историй интересна тем, что в ней выразилось мироощущение и миропонимание Асеева. Ну и, разумеется, — Фадеева.

Вторая представляет интерес уже тем, что в ней проявилось самочувствие и самосознание одного из главных тогдашних советских «вождей».

Суть этого самочувствия и самосознания состояла в том, что с «вождем» полагалось соглашаться. Полагалось ему поддакивать. «Вождю» не следовало перечить ни в чем. Не только по какому-нибудь серьезному политическому вопросу, но даже и по такому ерундовому, как вопрос о том, пойти ли по случаю лермонтовского юбилея в Большой театр на оперу «Демон» или отправиться в театр Моссовета на пьесу Лермонтова «Маскарад».

Так обстояло дело с вождями не только первого, но и второго, и третьего ранга. Ну а о первом, главном вожде — отце народов — и говорить нечего. Хотя в чем-то не согласиться с ним, возразить ему — даже желая таким образом пустить в ход некий особый «усовершенствованный механизм приспособленчества», как это делал левинский Борис Фитиноф (читай — Авербах) — было бы не просто безумием, а прямо-таки святотатством!

Фадеев усвоил это смолоду.

Собственно, ему и не надо было это усваивать. Такова была его природа. Он искренне, всей душой **любил вождей** — не только второго и третьего, но даже и четвертого ранга:

► А.А. ФАДЕЕВ. ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

16 марта 1937 г.

13-го был у Андреева. Рассказал о делах в Союзе пис[ателей]: говорю, дела неважные.

Он насмешливо:

— Ну-у?

Видно, все знает. Обаятельный человек. Умные глаза, очень ясные. На лице следы забот. Лицо очень умного и, должно быть, доброго, но мужественного рабочего человека...

Вначале я очень волновался. Волновался оттого, что боялся, не сумею толково все рассказать. Но увидев, что он все знает и понимает, окреп и все рассказал ему.

Спрашивал, пишут ли писатели о вскрытой двумя процессами деятельности врагов народа. Я назвал романы Колдунова, Максимова, Слонимского и <сказал> об их недостатках: плохо знают нас, коммунистов. Говорит:

— Надо помочь им, авторам, поработать с ними.

Отвечаю: работать будем, но иной раз сами не уверены, насколько такое-то произведение удачно, боимся взять на себя ответственность.

— Тогда советуйтесь с нами.

Потом расспрашивал о писательских настроениях. Говорит — критика у нас плоха. Я назвал несколько человек, из которых могут выработаться хорошие критики. Он выслушал без комментариев.

— Каково ваше мнение о Ставском как руководителе?

Я начал было уклончиво (не хотелось, чтобы он подумал, будто мной руководят личные моменты).

Он:

— Вы в ЦК — правду говорите.

Отвечаю:

— Ставский малокультурен и неумен.

— Ограниченный?

— Да, и губит себя недоверием и подозрительностью к людям.

— Подходит он, по-вашему, в руководители или нет?

— Нет.

— А кого бы вы хотели?

Говорю:

— Нам надо большого человека.

Он с улыбкой:

— Трудно вам подобрать руководителя. Свободного члена Политбюро на вас нет.

Я сказал, что хорошо бы писателям поговорить с руководителями партии и правительства.

Говорит:

— Посоветуемся, решим вопрос.

На этом закончили.

(А. Фадеев. *Письма и документы*.
М., 2001. Стр. 55—56).

Андрей Андреевич Андреев, о встрече и беседе с которым рассказал в этой своей записи Фадеев, был одним из самых страшных людей в тогдашнем сталинском Политбюро. Но Фадеев не сомневается, что перед ним — умный и обаятельный человек с ясными глазами, который «все понимает».

И так же не сомневается он, что если партия пошлет руководить литературой «большого человека», то этот «большой человек» ни в коем случае не окажется «ограниченным и малокультурным», как Ставский. Под «большим человеком» он, само собой, подразумевает одного из «вождей», то есть — членов Политбюро. И Андреев именно так его и понимает. Снисходительно улыбается:

— Свободного члена Политбюро на вас нет.

Мол, не слишком ли жирно это было бы для вас, не слишком ли заноситесь вы, писатели, выражая желание, чтобы вами руководил лично кто-нибудь из «вождей».

- ▶ Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

(Из предсмертного письма Фадеева в ЦК).

Кто они, — эти «нувориши от великого ленинского учения»?

Да те самые «вожди», вчерашние соратники Сталина, каждому слову которых он всю жизнь внимал почтительно-

раболепно, потому что каждое их слово выражало для него волю партии. Ну, а про «сатрапа Сталина» и говорить нечего. Если даже порой он и не понимал смысла его решений, всегда был уверен, что решения эти — бесконечно мудрые, единственно правильные. Ведь Сталину известно то, о чем он, Фадеев, знать не знает и ведать не ведает, о чем даже и не догадывается.

О том, как и почему Фадеев в конце жизни пришел к этим новым, вчера еще показавшимся бы ему кощунственными выводам и формулировкам, — речь впереди.

А пока он еще молод. И безоглядно, не рассуждая, верит не только Сталину, но и каждому из выполняющих его волю «тонкошеих вождей».

* * *

23 апреля 1932 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «О перестройке литературно-художественных организаций».

Формулировка эта была чистейшей воды эвфемизмом. На самом деле речь шла — не больше и не меньше, — как о разгоне («ликвидации», как это было там сформулировано) РАППа.

Известие это грянуло, как гром среди ясного неба. И у лучших тогдашних российских писателей и поэтов (так называемых попутчиков) оно вызвало ликование. О том, что отстранят от руководства литературой РАПП, власть которого еще вчера была непререкаемой, они не смели и мечтать. Не приходилось надеяться даже на то, что эта унижавшая, гнобящая, растаптывающая их своим пролетарским сапогом абсолютная власть хоть немного ослабнет.

И вот — известие, что никакого РАППа вообще больше не будет. И не будет больше ни правых, ни левых попутчиков — все писатели, «стоящие за политику советской власти», отныне будут равны.

► ...мы встретили его, когда он выходил из редакции журнала «Звезда» с карманами, набитыми рукописями, взятыми на рецензию. Тихонов похлопал себя по карманам и сказал: «Как на фронте». Мы знали, что Тихонов полон воспоминаниями о гражданской войне, но не поняли, какое отношение имеет к фронту его оттопыренный карман. Дело объяснилось сразу: «литературная война»... Свой военный пыл Тихонов перенес на скромнейшую литературную работу: зарежешь десяток графоманских романов, которыми всегда полны редакционные портфели, а заодно выявишь что-нибудь идеологически чуждое — вот и ощущение выполненного революционного долга. Чем не война? А воин при этом ничем не рискует — как его в такой войне ранят?..

«Как на фронте» — любимая поговорка Тихонова. Но мы иногда слышали от него и другие варианты победных кличей. Почему-то мне пришлось зайти к нему в Москве. Он остановился в Доме Герцена, где мы тогда жили, но на «барской половине», у Павленко. Это произошло в день падения РАППа, 23 апреля 1932 года — мы узнали об этом событии утром, развернув газеты. Оно было неожиданно для всех. Я застала Тихонова и Павленко за столом, перед бутылкой вина. Они чокались и праздновали победу. «Долой РАППство», — кричал находчивый Тихонов, а Павленко, человек гораздо более умный и страшный, только помалкивал.

«Но ведь вы дружили с Авербахом», — удивилась я. Мне ответил не Тихонов, а Павленко: «Литературная война вступила в новую фазу».

*(Н. Мандельштам. Воспоминания.
М., 1999. Стр. 281—282).*

Павленко был человек не только «гораздо более умный», чем Тихонов, но, видимо, и более осведомленный. А может

быть, он просто более внимательно прочел появившийся в газетах текст постановления. Или лучше, чем Тихонов, умел читать между строк.

▶ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(Б) «О ПЕРЕСТРОЙКЕ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ»

23 апреля 1932 г.

Организационные вопросы в литературе и искусстве.

1. ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и качественный рост литературы и искусства.

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и [других видов] искусства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства [и содействия росту кадров пролетарских писателей и художников].

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАМПЗ и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах [литературного и] художественного творчества...

Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы.

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет:

1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской [стоящих за политику советской] власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем;

3) провести аналогичное изменение по линии других видов искусства [объединение музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т.п. организаций];

4) поручить Оргбюро разработать практические меры по проведению этого решения.

*(Счастье литературы.
Государство и писатели. 1925–1938.
Документы. М., 1987. Стр. 130–131).*

Возликовавшие попутчики, надо полагать, прочли только последние пункты этого постановления, сосредоточив все свое внимание – и восторги – на слове «ликвидировать». А текст, эти пункты предвещающий, сочли – не без некоторых к тому оснований – обязательной в таких случаях, но ничего не значащей идеологической преамбулой. А «гораздо более умный» Павленко не только внимательно прочел эту «преамбулу», но, видимо, еще и знал, что в подготовке проекта этого постановления для вынесения его на Политбюро, кроме Л.М. Кагановича, которому это было поручено, участвовали «вожди» РАППА – Л. Авербах и Ф. Панферов. В протоколе заседания Политбюро, принявшего и утвердившего это постановление, упоминались также и другие влиятельные рапповцы: Киршон, Фадеев, Макарьев.

Все это давало некоторые основания умозаключить, что пресловутое постановление означает лишь ПЕРЕМЕНУ ВЫВЕСКИ. «Литературная война» не отменяется. Просто она вступила «в другую фазу». Изменится только форма, а существо дела останется прежним: руководить литературой будут те же «неистовые ревнители». Только теперь они будут заседать не в РАППе, а в «коммунистической фракции» Союза советских писателей.

Так же, как Павленко, истолковали это постановление и некоторые другие писатели. Они, конечно, обрадовались, но и слегка встревожились. И этой своей тревогой решили поделиться с вождем и ближайшими его соратниками:

- ▶ СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(Б)
ТОВ. СТАЛИНУ, ТОВ. КАГАНОВИЧУ,
ТОВ. ПОСТЫШЕВУ

Ранее 7 мая 1932 г.

Постановление ЦК ВКП(б) от 23 апреля о перестройке литорганизаций произвело на нас огромное впечатление.

Это постановление создает ту необходимую творческую атмосферу, которой за последнее время так не хватало всей советской литературе в целом и нашей поэзии в особенности.

В то время как советская поэзия занимает первое место в мировой поэзии, в то время как советская читательская общественность уделяла и уделяет вопросам поэзии огромное внимание, в практике наших литорганизаций советская поэзия не только не имела соответственных ее значению прав, но нередко явно третировалась этими организациями. Ни в РАПП, ни в ВССП, ни во Всероскомдраме, ни в ВОКП и т.д. поэты никогда не привлекались к активному руководству, в результате чего поэзией фактически руко-

водили люди, некомпетентные в этой области. Отсюда создание дутых величин, дезориентированность, ведущая к творческой подавленности поэтической общественности.

Что касается издательств и журналов, то в состав редколлегии и правлений, как правило, входили исключительно прозаики. Поэты же либо не входили совершенно, либо кооптировались по узко групповому признаку.

Именно этой узко групповой атмосфере мы обязаны примером выдвижения РАППом одного из начинающих поэтов, не имеющего ни идейного, ни художественного авторитета в поэтической среде, фактически на пост заведующего судьбами советской поэзии.

Вот почему мы считаем необходимым привлечь нас, наряду с прозаиками, к реконструированию нового Союза писателей.

Мы считаем своим долгом довести до сведения Центрального Комитета наши соображения по поводу того, что отдельные группы и товарищи, культивировавшие в прежде существовавших литературных организациях групповщину, замкнутость и тенденции к отрыву писателей от политических задач современности, попытаются перенести эти навыки в новый создающийся Союз советских писателей...

Указывая на это, мы просим принять все меры к ликвидации таких тенденций, обещая ЦК самую горячую, самую активную поддержку в направлении борьбы с враждебными течениями и влияниями на советскую литературу, в направлении борьбы с кружковщиной, литературщиной, групповщиной, на основе развернутой большевистской самокритики, на основе борьбы за генеральную линию партии во всех областях работы.

Более подробную информацию по затронутому вопросу мы бы хотели сделать в Центральном Комитете, для чего просим вызвать нас в ближайшее время.

Николай Асеев
Джек Алтаузен
Александр Безыменский
Александр Жаров
Вера Инбер
Семен Кирсанов
Михаил Светлов
Илья Сельвинский
Иосиф Уткин
Эдуард Багрицкий

(Там же. Стр. 131–132).

За вычетом Безыменского и Жарова, испугавшихся, что про них забудут и – «петушком, петушком», как Добчинский и Бобчинский за дрожками, – поспешивших присоединиться к поэтам-попугчикам, имена подписавшихся под этим письмом по тем временам были довольно громкие. Тем не менее, вряд ли под влиянием этого их письма (хотя наверняка до него доходили такие же опасения и других писателей) Сталин решил изменить свои первоначальные планы. Но кое-какое впечатление оно на него, видимо, все-таки произвело. А может быть, в его замысел с самого начала входило намерение вслед за первым сделать второй шаг: более определенно, резко и даже грубо осадить зарвавшихся «неистовых ревнителей», решительнее дать им понять, что отныне уже не они, а партия (то есть лично он, товарищ Сталин) будет руководить литературой и искусством.

Так или иначе, но не прошло и трех недель после появления в печати текста постановления Политбюро, в котором о деятельности бывших рапповцев было сказано сравнительно мягко (на определенном этапе, мол, были полезны, но уже

сыграли свою роль, большое спасибо), тем же Кагановичем был подготовлен другой документ.

Разыскать этот другой документ мне не удалось, но о содержании его — и даже не только о содержании, но и о тональности, в какой он был выдержан, — можно судить по письму, с которым по этому поводу обратился к Кагановичу Фадеев:

► ПИСЬМО А.А. ФАДЕЕВА
СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(Б)
Л.М. КАГАНОВИЧУ

10 мая 1932 г.

Дорогой Лазарь Моисеевич!

Тов. Кирпотин сообщил мне, что текст извещения от литературных организаций о ликвидации РАППа и о создании оргкомитета согласован с Вами. Как ни обидно мне писать Вам такое письмо, но я думаю, что в вопросах политических сугубо необходима правдивость в отношении коммунистов к руководящим товарищам. Поэтому я должен сказать Вам, что текст этого извещения незаслуженно оскорбителен для меня, человека, уже не первый день состоящего в партии и служившего ей верой и правдой в самые трудные моменты революции. Ведь подписанием этого текста я, в ряду других товарищей, должен признать, что по крайней мере 8 лет моей зрелой партийной жизни ушло не на то, чтобы бороться за социализм на литературном участке этой борьбы, ушло не на то, чтобы бороться за партию и ее ЦК с классовым врагом, а на какую-то групповщину и кружковщину, в которой я должен — в ряду других товарищей, боровшихся со мной плечом к плечу, расписаться всенародно на посмешище всем врагам пролетарской литературы.

Поэтому с большой горечью должен просить Вас о постановке этого текста обращения на ЦК, чтобы я мог видеть, что такова воля партии, которая для меня непреложна, в чем можете не сомневаться.

С коммунистическим приветом,

А. Фадеев

(А. Фадеев. *Письма и документы*.
М., 2001. Стр. 35).

Расправляясь с неудобными ему людьми (или организациями, в которых «окопались» эти неудобные ему люди), Сталин неизменно объявлял их впавшими в какую-нибудь политическую ересь. (Правый уклон, левый уклон, троцкизм.) Так было и на этот раз. Слова были другие («групповщина», «кружковщина»), но литературная политика рапповцев была объявлена антипартийной.

Еще до появления нового антирапповского документа, несогласие с которым Фадеев высказал в этом своем письме Кагановичу, сразу после появления в печати постановления о ликвидации РАППа Фадеев — на страницах «Литгазеты» — выразил свое недоумение по этому поводу:

- ▶ Восемь лет РАПП существовала с согласия партии и на глазах всего рабочего класса и «вдруг» выясняется, вся ее деятельность была «роковой ошибкой», не бывает таких чудес в Стране Советов.

(Н. Громова. *Узел*.

Из литературного быта конца 20—30-х годов.

М., 2006. Стр. 158).

Но одно дело — «роковая ошибка» и совсем другое «групповщина» и «кружковщина», объявляемые политическим уклоном, нанесящим серьезный вред политике партии «на литературном фронте».

Подготовленный Кагановичем новый документ представлял собой «Извещение от литературных организаций о ликвидации РАППа», и от имени той литературной организации, которой оно прямо и непосредственно касалось (то есть от имени РАППа), его должен был — как один из руководителей этой организации — подписать и Фадеев. То есть он должен был предстать перед городом и миром в роли той знаменитой гоголевской унтер-офицерши, которая умудрилась сама себя высечь.

Немудрено, что это предложение его оскорбило.

Оскорблены были и другие «вожди» РАППа, которым это извещение предложено было подписать.

Но повели они себя при этом по-разному.

Фадеев, выразив свое возмущенное несогласие с подготовленным Кагановичем текстом «Извещения», заключает свое письмо просьбой поставить этот вопрос «на ЦК», чтобы он мог убедиться, что такова воля партии, которая, разумеется, для него непреложна.

Иными словами, если ЦК подтвердит, что в течение восьми лет РАПП действительно проводил антипартийную линию «групповщины» и «кружковщины», то он, Фадеев, текст этого извещения, конечно же, подпишет.

А вот другой «вождь» РАППа — В. Киршон — пускаться в письменные объяснения с Кагановичем по этому поводу не стал. О своем категорическом отказе подписать «Извещение» он сообщил в ЦК по телефону:

- ▶ Тов. Стецкому. Сегодня 10.V.32 г. около 7 1/2 час. вечера мне позвонил тов. Киршон и просил передать Вам как свое официальное заявление следующее: «До изложения Центральному Комитету своих соображений в развернутой форме документ, в котором партийная деятельность комфракции РАПП оценена как принесшая вред партии, документ подписать не могу. С ком. приветом — В. КИРШОН. 10 мая 1932 г.». За-

писав это заявление, я попросил т. Киршона прислать в ЦК подписанный им официальный документ, что Киршон обещал сделать немедленно. 10 мая 1932 г. ВЕЙДЕМАН».

*(Счастье литературы.
Государство и писатели. 1925–1938.
Документы. М., 1987. Стр. 135).*

О своем несогласии подписать текст «Извещения» в тот же день – в разной форме – сообщили и другие руководители и видные деятели РАППа.

На другой день – 11 мая – состоялось решение Политбюро, согласно которому была учреждена специальная «комиссия» (в нее вошли Сталин, Каганович, Стецкий и Гронский), которой было поручено «рассмотреть вопрос» и принять решение «от имени ПБ». От имени этой комиссии Сталин и Каганович направили членам и кандидатам в члены Политбюро Андрееву, Ворошилову, Калинин, Куйбышеву, Микояну, Молотову, Ораджоникидзе и Рудзутаку следующее сообщение:

- ▶ В связи с поступившими в ЦК заявлениями Белы Иллеша, Фадеева, Авербаха, Шолохова, Киршона и Макарьева комиссией ПБ принято следующее постановление: «Ввиду того, что тт. Фадеев, Киршон, Авербах, Шолохов, Макарьев взяли свои заявления обратно и признали свою ошибку, считать вопрос исчерпанным».

(Там же).

На другой день (12 мая) это решение было оформлено как постановление Политбюро.

Итак, признали свое поведение ошибочным и взяли свои заявления назад все «подписанты». Воля партии, значит, оказалась непреложна не для одного Фадеева. На колени были поставлены все строптивцы, и никто из них не был выделен, объявлен заслуживающим особого, более сурового наказания.

Но Сталин, конечно, запомнил, кто из них как себя в этой ситуации проявил. И кое-кому все это потом отыгрнулось.

Тут надо сказать, что рапповцы не кривили душой, утверждая, что все эти годы они честно и неуклонно следовали партийной линии и партийным установкам.

Вот как спустя много лет высказался на эту тему один из уцелевших «вождей» РАППа — Владимир Андреевич Сутырин:

- ▶ Я был Генеральным секретарем ВАППа — то есть главным руководителем всех Ассоциаций пролетарских писателей. На эту работу был назначен ЦК, как мог быть назначен на любую хозяйственную или политическую работу. Деятельностью ВАППа руководил Отдел печати ЦК. И РАПП выполнял все указания ЦК, был его прямым оружием. Слышать, что РАПП находился в оппозиции к линии ЦК, смешно. Линия РАППа и была линией Отдела печати ЦК, во главе которого стоял Борис Волин — сам видный литератор-рапповец, или же Мехлис, который мог скорее простить отцеубийство, нежели малейшее сопротивление его указаниям.

*(Г. Белая. Донкихоты 20-х годов.
М., 1986. Стр. 286).*

Всё так. Но ведь это Сталин решал, какую линию считать партийной, а какую антипартийной. Этак ведь и Бухарин мог бы сказать, что никакого правого уклона у него вовсе не было, он неуклонно проводил линию партии, что было отмечено в известном ответе Сталина нападавшим на Бухарина «слева» Зиновьеву и Каменеву: «Нашего Бухарчика мы вам в обиду не дадим!»

А во-вторых, дело было не в партийной или антипартийной линии, а в амбициях.

Никакой антипартийной линии в деятельности рапповцев действительно не было. А вот амбиции у них были. И немалые.

Была претензия на роль ЕДИНСТВЕННОЙ организации, через которую, посредством которой партия осуществляет свое руководство литературой.

Так себя ощущали все руководящие рапповцы. Но, как уже было отмечено, характеры у них были разные.

Характер в политике — дело не последнее. Но у таких — особенно амбициозных — рапповских деятелей, как Авербах и Киршон, помимо характеров, были еще и связи. У Авербаха даже и родственные:

- ▶ У четырех братьев Свердловых была сестра. Она вышла замуж за богатого человека Авербаха, жившего где-то на юге России. У Авербахов были сын и дочь. Сын Леопольд, очень бойкий и нахальный юноша, открыл в себе призвание руководить русской литературой и одно время через группу «напостовцев» осуществлял твердый чекистский контроль в литературных кругах. А опирался он при этом главным образом на родственную связь — его сестра Ида вышла замуж за небезызвестного Генриха Ягоду, руководителя ГПУ.

(Б. Бажанов.

Воспоминания бывшего секретаря Сталина.
М., 1990. Стр. 95).

То, что Леопольд был племянником давно умершего Свердлова, в 30-е годы уже большой роли не играло. Иное дело — родственная связь с всеильным Ягодой. А кроме того — по другой семейной линии — у него была еще одна дорожка в Кремль: он был женат на дочери Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Бонч был, конечно, не столь влиятелен, как Ягода, но эта родственная связь тоже давала юному Леопольду ощущение близости к высшим тогдашним партийным и государственным кругам:

- ▶ ...когда руководство РАПП было еще единым, мы не раз бывали у него в Кремле. Там на квартире извест-

ного государственного деятеля Вл. Дм. Бонч-Бруевича, тестя Леопольда Авербаха, собирались, бывало, пролетарские писатели, читали новые произведения, спорили, слушали музыку, танцевали.

Авербах, Киршон и Либединский были в Кремле своими людьми.

(А. Исбах. *На литературных баррикадах.*
М., 1964. Стр. 204).

Тут важна первая фраза этого мемуарного фрагмента: «Когда руководство РАППа было еще единым».

Единым оно оставалось еще некоторое время и после постановления Политбюро о ликвидации РАППа. В мае у них еще были надежды на сохранение в будущем Союзе писателей своей руководящей роли. Но к осени эти надежды, как видно, уже развеялись. И тут эта компания недавних друзей и единомышленников раскололась на два враждующих лагеря.

- ▶ ИЗ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
В.В. ЕРМИЛОВА
В ПАРТКОМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ,
А.С. ЩЕРБАКОВУ

15 апреля 1936 г.

Известно, что рапповцы встретили апрельское постановление ЦК ВКП(б) отрицательно и препятствовали исторической перестройке литературного фронта, вытекавшей из постановления. В течение лета 1932 года, вплоть до 1-го Пленума Оргкомитета Союза писателей, вся рапповская группа в целом играла политически вредную роль, всячески тормозя в сложных условиях реализацию постановления ЦК, дезориентируя и дезорганизуя литературную среду. К осени 1932 года, к моменту 1-го Пленума Оргкомитета, произо-

шел в чрезвычайно резкой форме решительный разрыв между той частью бывших рапповцев, которая встала на партийные позиции (тт. Фадеев, Либединский, Чумандрин, Ермилов), и той частью, которая продолжала оставаться на позициях воинствующей групповщины (тт. Авербах, Макарьев, Киршон, Афиногенов и др.). Для характеристики обстановки необходимо подчеркнуть, что озлобление тт., оставшихся на групповых позициях, против тех, которые порвали с групповщиной, было исключительно велико, носило явно непартийный характер. Тех, которые отошли от групповщины, эти товарищи буквально травили как «предателей», «изменников», в борьбе с которыми все средства хороши. О степени и силе этой озлобленности можно судить по тому, что она не погасла даже до сих пор, хотя литературная обстановка с того времени совершенно изменилась. Товарищи, стоящие тогда на ярко групповых позициях, и до сих пор продолжают считать тех коммунистов, которые осенью 1932 года порвали с групповщиной, чуть ли не главными виновниками всех трудностей в литературе и уж во всяком случае «виновными» в том, что тов. Авербах не работает сейчас в литературной области, о чем они неоднократно высказывались. В то время, о котором идет речь, эти тт. отнюдь не считали нужным прикрывать чем-либо свою озлобленность и открыто говорили о «предательстве друзей» и о прочем.

*(Счастье литературы.
Государство и писатели. 1925—1938.
Документы. М., 1987 г.,
Стр. 218—219).*

Объяснительная записка эта сочинялась в апреле 1936 года. Еще жив покровительствующий Авербаху Горький (он умрет только через два месяца). Авербах уже «не работает в

области литературы», но быстро ориентирующийся в обстановке Ермилов еще называет его (как и других «групповщиков») товарищем.

Пройдет совсем немного времени, и о них заговорят уже совсем другим языком. И не только в закрытых объяснительных записках, но и в открытой печати. «Шпионы», «бандиты», «фашистские прихвостни» — таковы будут самые ласковые, самые нежные словесные характеристики, которыми станут их награждать.

Произойдет это потому, что после падения Ягоды все они будут арестованы и превращены в «лагерную пыль».

Хотя — нет, не все. Один из них (я имею в виду тех, кого упомянул в своем доносе Ермилов) уцелеет. Это был знаменитый в те годы драматург — и тоже один из руководящих деятелей РАППа — Афиногенов.

Его Сталин почему-то решил пощадить.

Но — не сразу, не сразу.

Его тоже (чуть ли не в один день с Авербахом, Киршоном и Макарьевым) исключили из партии. Но в отличие от них, сразу оказавшихся в пасти ГУЛАГа, он не рухнул в пропасть, а повис над ней. Со дня на день он ждал ареста, и пытка эта продолжалась одиннадцать месяцев. А потом стальные челюсти вдруг разжались.

Что же касается тех бывших рапповцев, о которых Ермилов в своем доносе говорит, что они сразу «встали на партийные позиции» (Фадеев, Либединский, Чумандрин, да и сам он, Ермилов), то их чаша сия миновала. Они уцелели все. А Фадеев не только уцелел, но и, как было уже сказано, резко пошел в гору.

* * *

Казалось бы, такой человек, как Авербах, был гораздо лучше приспособлен для роли «литвождя», чем Фадеев. Во всяком случае, по логике вещей ему гораздо легче, чем Фадееву, было

бы «сработаться» со Сталиным. Ведь он (если принять на веру, что Борис Левин в своем романе изобразил его правильно) литературу не любил. Не любил и — не понимал, не чувствовал:

- ▶ Ни одна строчка Пушкина не заставила сердце Бориса забиться хоть немного учащеннее, ни одна искра Бетховена не зажигала в металлических глазах освобожденного от деляческого беспокойства света. Искусство было доступно Борису в голых, узко логических очертаниях. Он изучал его с злобным рвением первокурсника-медика, исследующего человека по анатомическому атласу... Таким образом, гениальнейшие страницы великих писателей оставались затонувшим золотым грузом. Вся же огромная сокровищница их страниц сводилась к инвентарно-скудным каталогическим выжимкам... Прочитав наедине книгу, о которой он ранее ничего не слышал, Борис не знал, куда ее определить. Он совершенно не знал, понравилась она ему или нет, хороша она или плоха, вредна или полезна.

А Фадеев литературу любил. И поэтому у него, — как у всякого нормального человека, — были книги любимые и нелюбимые. И любимые строки любимых поэтов заставляли его сердце биться учащеннее. И любимые страницы любимых книг хватали его за душу, тревожили, волновали, исторгали из его груди то смех, то слезы. А у Сталина, как мы знаем, были свои критерии, свои представления о том, какая литература полезна, нужна народу, а какая — вредна. И по должности «литвождя» Фадеев обязан был исходить не из своих литературных привязанностей и вкусов, любовей и нелюбовей, а из этих, сталинских критериев и представлений. И вот тут-то с ним происходило то, что великий физиолог Иван Петрович Павлов обозначил словом «сшибка».

Слово это я впервые прочел не у Павлова, а в романе Александра Бека «Новое назначение», в котором оно — это

слово — играет весьма важную, можно даже сказать, ключевую роль. (Одно время Бек даже собирался сделать его заглавием своего романа.)

Позже, чтобы лучше понять природу литературной и человеческой драмы (можно даже сказать — трагедии) Фадеева, нам придется глубже вникнуть в сюжет этого романа. Пока же я ограничусь прикосновением лишь к одному его эпизоду. Тому самому, где впервые возникает это загадочное слово — «сшибка».

Произносит его там врач, — вернее, профессор, — приглашенный для консультации к герою романа — Александру Леонтьевичу Онисимову, крупному советскому государственному деятелю, министру, заболевшему какой-то странной, не поддающейся лечению болезнью:

- ▶ ...он долго выспрашивал, осматривал Александра Леонтьевича. И наконец сказал: «У вас сосуды и сердце семидесятилетнего старика». Настоятельно посоветовав Александру Леонтьевичу изменить режим, он добавил: «А самое главное, избегайте сшибок». — «Каких сшибок?» Профессор объяснил, что термин «сшибка» введен Иваном Петровичем Павловым. Великий русский физиолог, как понял Онисимов, разъяснил явление, которое назвал сшибкой двух противоположных импульсов — приказов, идущих из коры головного мозга. Внутреннее побуждение приказывает вам поступить так, вы, однако, заставляете себя делать нечто противоположное. Это в обыденной жизни случается с каждым, но иногда такое столкновение приобретает необычайную силу. И возникает болезнь. Даже ряд болезней. К слову, Николай Николаевич рассказал о некой специального типа кибернетической машине. Получив два противоположных приказа, машина заболела: ее сотрясала дрожь.

(А. Бек. *Новое назначение*.
М., 1987. Стр. 19–20).

Герой романа Бека Александр Леонтьевич Онисимов по роду своей работы не мог избежать таких сшибок. Но ему было куда легче, чем Фадееву.

Его преданность главному делу своей жизни, его понимание своего служебного и профессионального долга все-таки было совместимо с его преданностью Сталину. А у Фадеева его любовь к «вождям» с его любовью к литературе была несовместима.

Н. Заболоцкий — человек, в общем, законопослушный, во всяком случае, в своих суждениях о социальном строе, в котором ему выпало жить, весьма сдержанный, — сказал однажды:

- ▶ Я только поэт и только о поэзии могу судить. Я не знаю, может быть, социализм и в самом деле полезен для техники. Искусству он несет смерть.

*(Н. Роскина. Четыре главы.
Из литературных воспоминаний.
Париж. 1980. Стр. 77).*

Фадеев не то что вслух никогда не мог бы вымолвить такое, — он даже в мыслях, наедине с собой до таких откровений, конечно, не доходил.

Но не чувствовать этого он не мог. Тем более, что ему самому постоянно приходилось выступать в роли человека, несущего смерть самым для него дорогим явлениям этого бесконечно любимого им искусства.

- ▶ Мы случайно встретились на улице Горького, возле дома, где я живу. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: «Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?..» Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прерывал чтение только для того, чтобы спросить: «Хорошо?»

*(И. Эренбург. Люди, годы, жизнь.
Т. 3. М., 1990. Стр. 128).*

Очень может быть — и так, скорее всего, оно и было, — что это желание затащить Эренбурга в кафе и читать ему на память любимые стихи Пастернака возникло на другой день — или через несколько дней — после того, как он подписал и отправил по назначению такой документ:

- ▶ В ЦК ВКП(Б)
ТОВ. ЖДАНОВУ А.А.
ТОВ. СУСЛОВУ М.А.

6 апреля 1948 г. Москва

Довожу до Вашего сведения, что Секретариат ССП не разрешил выпустить в свет уже напечатанный сборник избранных произведений Б. Пастернака, предполагавшийся к выходу в издательстве «Советский писатель» по серии «Избранных произведений советской литературы».

К сожалению, сборник был отпечатан по нашей вине. При формировании серии избранных произведений советской литературы к тридцатилетию Октября секретариат допустил возможность включения в серию и сборника Б. Пастернака. Предполагалось, что в сборник могут войти его социальные вещи: «1905 год», «Лейтенант Шмидт», стихи периода Отечественной войны и некоторые лирические стихи.

Однако секретариат не проследил за формированием сборника, доверился составителям, и в сборнике преобладают формалистические стихи аполитичного характера. К тому же сборник начинается с идеологически вредного «вступления», а кончается пошлым стихом ахматовского толка «Свеча горела». Стихотворение это, помеченное 1946 годом и завершающее сборник, звучит в современной литературной обстановке как издевка.

По этим причинам секретариат решил сборник не выпускать в свет.

Генеральный секретарь
Союза советских писателей СССР

А. Фадеев

Этот документ помечен апрелем 1948 года. А в ноябре того же года Фадеев обращается — на сей раз к Сталину и Маленкову — с еще более красноречивой докладной запиской:

▶ И.В. СТАЛИНУ И Г.М. МАЛЕНКОВУ

17 ноября 1948 г.

Секретно

В СЕКРЕТАРИАТ ЦК ВКП(б)
товарищу И.В. СТАЛИНУ
товарищу Г.М. МАЛЕНКОВУ

Направляю Вам постановление Секретариата Союза советских писателей по поводу переиздания книги И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» по серии «Избранных произведений советской литературы».

Генеральный Секретарь Союза советских писателей СССР

А. Фадеев

А вот — текст этого постановления:

▶ Секретариат считает недопустимым издание этой книги, потому что она является клеветой на советское общество...

Романы Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» свидетельствуют о том, что... авто-

рам в тот период их литературной деятельности при-
сущи были буржуазно-интеллигентский скептицизм и
нигилизм по отношению ко многим сторонам и явле-
ниям советской жизни, дорогим и священным для со-
ветского человека...

По романам Ильфа и Петрова получается, что со-
ветский аппарат сверху донизу заражен бывшими
людьми, нэпманами, проходимцами и жуликами, а
честные работники выглядят простачками, идущими
в поводу за проходимцами. Рядовые советские люди,
честные труженики подвергаются в романах осмея-
нию с позиций буржуазно-интеллигентского высоко-
мерия и «наплевизма»...

Авторы позволяют себе вкладывать в уста всяких
проходимцев и обывателей пошлые замечания в духе
издевки и зубоскальства по отношению к историче-
скому материализму, к учителям марксизма, извест-
ным советским деятелям, советским учреждениям...

Все это вместе взятое не позволяет назвать эту кни-
гу Ильфа и Петрова иначе как книгой пасквилянтской
и клеветнической. Переиздание этой книги в настоя-
щее время может вызвать только возмущение со сто-
роны советских читателей.

(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 118, д. 261, л. 139.

Подлинник. Цит. по кн.: Е. Петров. *Мой друг Ильф.*

Составление и комментарии А. Ильф.

М., 2001. Стр. 308—312).

Текст этого документа дает возможность с большой до-
лей достоверности предположить, ЧТО предшествовало
его появлению на свет. Но на сей раз строить на этот счет
какие-либо предположения нет никакой нужды, поскольку

по счастливой случайности у нас есть свидетельство человека, на глазах которого разыгралась вся эта драма.

Свидетелем этим была Мария Белкина — жена Анатолия Тарасенкова. (Именно на него Фадеев взвалил главную ответственность за эту свою идеологическую промашку.)

Вот как она рассказывает об этом в своих воспоминаниях:

- ▶ Я зашла в Союз писателей за Тарасенковым, он работал тогда главным редактором в издательстве «Советский писатель». По моим подсчетам, собрание должно было закончиться, а оно еще не начиналось. Все нервничали в ожидании Фадеева. Фадеева задерживали на Старой площади в ЦК. И вдруг он появился, неожиданно ворвался в отворенную дверь и прямо к президиуму, рывком выхватывая книгу из портфеля и багровея, что было не к добру, — он заливался краской, когда злился, от шеи до корней серебряных волос, и волосы, казалось, розовели — швырнул книгу на стол. Взлет обеих рук, и ладонями откидывает и без того откинутые волосы назад. Кричит, не говорит, кричит, срываясь на тонких нотах, давая петуха.

— Да это же черт знает что такое! Подумать только, что мы издаем!

Пошел разнос. Разнос устраивать он мог и в гневе был силен. Издательство Совписа, секретариат Союза, — как коршун, налетал, общипывая, как куропаток по перышку, всех поименно и в том числе и самого себя: мы проглядели, нет чутья, потеря бдительности, не случайно, где классовый подход, льем воду на мельницу врага, пародия на жизнь, искажена действительность, а где народ, рабочий класс?! И цетера, и цетера... Набор тех самых привитых Агитпропом, заученных стандартных фраз. Фадеев мог прорабатывать еще умней и злей,

а тут выплескивал, должно быть, то, что было выплеснуто на него на Старой площади в Казенном доме.

Тираж книги пошел под нож. Тарасенкову вклеили выговор. Фадеев после заседания — в запой, «водит медведя», как говорил Твардовский.

Что произошло? И почему все это вдруг? Ведь списки утверждались заранее, и книга была всеми признана, и сколько было уже переизданий! Повел ли кто там — на самом наверху — случайно бровью, или вспомнили, что Ильф — еврей, а началась уже эпоха космополитизма, закручивались гайки... Знаю одно: Фадеев и авторов, и книги любил и, как мальчишка, до слез смеялся, цитируя наизусть куски на дне рождения у Маршака.

(Н. Громова. *Распад.*

Судьба советского критика: 40–50-е годы.

М., 2009. Стр. 220–221).

В самом деле, — так ли уж важно, ЧТО стало непосредственным поводом для этого фадеевского приступа наигранной (а может быть, и ненаигранной?) ярости. Важно, что книги Ильфа и Петрова, которые ему было приказано раздавить, растоптать, облить грязью, он любил. Цитировал наизусть (как и стихи Пастернака) целыми страницами. И цитируя, как мальчишка, смеялся до слез.

В жизни Фадеева было много и еще более страшных, смертельно опасных сшибок (к некоторым из них мы еще обратимся). В сущности, вся его жизнь, — во всяком случае, те тридцать лет его жизни, на протяжении которых он стоял во главе Союза писателей, — являла длинную и непрерывную цепь таких «сшибок».

У героя романа Бека Онисимова от «сшибок» начинают не слушаться, ходить ходуном руки. А потом он заболевает тяжелой, неоперабельной формой рака легкого. Профессор — тот самый, что советовал ему избегать сшибок, — так объясняет причину возникновения этой его смертельной болезни:

- ▶ Происхождение этой болезни науке доселе неизвестно — с этим связана и их, терапевтов, беспомощность в лечении рака, — однако мы все же можем с достаточной долей достоверности предположить, что в организме существуют защитные силы, противоборствующие, противостоящие заболеванию. И если они расшатаны, подорваны различными нервными потрясениями, расстройствами, сшибками, постоянным угнетением, то болезнь врывается сквозь ослабленную защиту.

(А. Бек. *Новое назначение.*
М., 1987. Стр. 128).

О причинах гибели Фадеева мы можем судить с большей определенностью.

После очередной сшибки он уходил в запой — «водить медведя». Понимал ли Сталин природу этих его запоев? Может быть, понимал и именно поэтому склонен был прощать ему эту его слабость?

Но покончил с собой Фадеев не в состоянии запоя, как облыжно было сказано об этом в официальном сообщении о его смерти.

Застрелился он в ясном сознании и твердой памяти. И в предсмертном письме внятно сказал о том, ЧТО толкнуло его на это:

- ▶ Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски спо-

собное создавать истинные ценности, уме^{<р>}ло, не достигнув 41—50 лет.

Литература — это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа...

...одаренный Богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеями коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел...

(А. Фадеев. В ЦК КПСС. 13 мая 1956 г.

Цит. по кн.: Александр Фадеев.

Письма и документы.

М., 2001. Стр. 215).

Все это правда. Но — не вся, а только часть правды.

Герой романа Бека в конце жизни задается вопросом: почему он не попал в кровавую сталинскую мясорубку? Почти никого из его коллег, товарищей по работе не минула эта страшная участь. Почему же он уцелел? Почему Сталин выделил и пощадил его?

- ▶ Оттого ли, что Онисимов не знал колебаний в борьбе со всяческими оппозициями? Или из-за деловых качеств Онисимова, действительно недюжинных?

Нет, на все это легло и еще кое-что. Один миг... Миг, решивший, возможно, участь Онисимова.

Да, это было его последнее свидание с Орджоникидзе. Онисимов в те дни, в феврале тридцать седьмого, только что вернулся из поездки на заводы. По телефону он доложил Серго о возвращении. Серго сказал:

— Приходи ко мне вечером домой. В восемь часов тебе удобно?..

... Зинаида Гавриловна, жена Серго, принесла чай и печенье. Она не вмешивалась в разговор, лишь поздоровалась с гостем, но Онисимов поймал ее заботливый, чуть обеспокоенный взгляд, брошенный на мужа.

Серго действительно выглядел неважно, был бледноват, под широкими глазами наметились отеки, возможно, после сердечного припадка, случившегося недавно ночью в наркомате, — Онисимов об этом уже слышал, — но сами глаза не потеряли блеска, искрились вниманием к тому, о чем рассказывал Онисимов...

Вдруг он вскинул голову. Из большого кабинета приглушенно донесся голос Зинаиды Гавриловны. И еще чей-то... Серго быстро поднялся:

— Извини, пожалуйста.

И покинул комнату. Минуту-другую Онисимов просидел один, не прислушиваясь к голосам за дверью. Но вот Серго заговорил громко, возбужденно. Его собеседник отвечал спокойно, даже, пожалуй, с нарочитой медлительностью. Неужели Сталин? Разговор шел на грузинском языке. Онисимов ни слова не знал по-грузински и, к счастью, не мог оказаться в роли подслушивающего. Но все же надо было немедленно уйти, разговор за стеной становился как будто все более накаленным. Как уйти? Выход отсюда лишь через большой кабинет. Александр Леонтьевич встал, шагнул через порог.

Серго продолжал горячо говорить, почти кричал. Его бледность сменилась багровым, с нездоровой просинью румянцем. Он потрясал обеими руками, в чем-то убеждая и упрекая Сталина. А тот в неизменном костюме солдата стоял, сложив на животе руки.

Онисимов хотел молча пройти, но Сталин его остановил:

— Здравствуйте, товарищ Онисимов. Вам, кажется, довелось слышать, как мы тут беседуем?

— Простите, я не мог знать...

— Что же, бывает... Но с кем вы все же согласны? С товарищем Серго или со мной?

— Товарищ Сталин, я ни слова не понимаю по-грузински.

Сталин пропустил мимо ушей эту фразу, словно она и не была сказана. Тяжело глядя из-под низкого лба на Онисимова, нисколько не повысив голоса, он еще медленнее повторил:

— Так с кем же вы все-таки согласны? С ним? — Сталин выдержал паузу. — Или со мной?

Наступил миг, тот самый миг, который потом лег на весы. Еще раз взглянуть на Серго Александр Леонтьевич не посмел. Какая-то сила, подобная инстинкту, действовавшая быстрее мысли, принудила его... И он, Онисимов, не колеблясь, сказал: «С вами, Иосиф Виссарионович».

*(А. Бек. Новое назначение.
М., 1987. Стр. 35–36).*

В жизни Фадеева тоже был такой «миг, который потом лег на весы». Это был тот миг, когда, подталкиваемый Сталиным, он шагнул навстречу Авербаху, протянул ему руку для рукопожатия, раскрыл объятия для поцелуя и услышал довольную реплику вождя:

— Слабый ты человек, Фадеев!

Сюжет второй

«ПЕРЕРАБАТЫВАЮ МОЛОДУЮ ГВАРДИЮ В СТАРУЮ...»

Реплика эта из письма Фадеева Ю.Н. Либенскому от 25 октября 1948 года.

- ▶ Я все еще перерабатываю молодую гвардию в старую и, учитывая известные слабости моей натуры, избегаю светской жизни.

(А. Фадеев. *Письма. 1916—1956.*
М., 1967. Стр. 247).

Реплика невеселая. Слегка даже ироническая. Чувствуется, что перерабатывать «молодую гвардию в старую» ему не больно хочется. Во всяком случае, делает он это не по внутренней потребности, не повинуюсь властному душевному порыву, а по приказу свыше, — в порядке, так сказать, партийной дисциплины.

Дело в те времена было обычное.

Вот и Катаев тоже — по тем же указаниям — полтора года переписывал свой роман «За власть

Советов». И сам Фадеев выступал тут в роли эксперта, давшего авторитетное заключение, что переписал он его правильно:

- ▶ Я ознакомился с новым вариантом романа В. Катаева «За власть Советов». С моей точки зрения, Катаев правильно воспринял требования критики, и его более чем полуторагодичная работа увенчалась успехом...

Если в первом варианте романа образы руководителей подполья и партизанской борьбы были в известной мере принижены, не показаны в действии, в их связях с массами, мало походили на современных большевиков-организаторов, а повторяли, в известном смысле, некоторые нетипичные, отжившие персонажи революционных деятелей 1919–1920 годов, то в новом варианте романа — образы руководителей подполья и партизанского движения приобрели подлинные черты большевистских деятелей современного типа, их идейный и моральный облик раскрыт более глубоко и полно и внушает читателю любовь и уважение...

Отступление Красной Армии из Одессы, политическое положение в городе в период оккупации, деятельность подпольщиков и партизанская борьба как часть общей борьбы народа против немецко-румынских захватчиков, руководящая и направляющая роль партии, в частности, связь с центром в Москве, и, наконец, освобождение Одессы — все эти моменты и обстоятельства большого общественно-политического значения нашли в новом варианте романа необходимое место.

Все это придало роману больше жизненности и исторической достоверности...

...В целом роман неизмеримо вырос и может служить примером того, как должен относиться современный автор к общественной критике.

(А. Фадеев. *За тридцать лет*. М., 1957. Стр. 764–765).

В том же духе переписывал свой роман и сам Фадеев: его тоже обвиняли в том, что в первом его варианте он не показал «руководящую и направляющую роль партии».

Дело, — повторю еще раз, — в те времена было обычное.

Но в истории с фадеевской «Молодой гвардией» была одна странность.

Роман, созданный Фадеевым по инициативе — в сущности, по заказу — Центрального Комитета комсомола (специальная комиссия ЦК ВЛКСМ, занимавшаяся расследованием подпольной деятельности краснодонцев, предоставила Фадееву свои материалы еще в 1943 году), при своем появлении в свет официальной критикой был встречен восторженно. В том же году книга была удостоена Сталинской премии первой степени. По всей стране театры ставили спектакли по инсценировкам знаменитого романа. Автор получал десятки тысяч восторженных писем читателей. И вдруг...

Как гром среди ясного неба, в газете «Культура и жизнь», а затем и в «Правде» появляются разгромные статьи. Автору «Молодой гвардии» предъявлен ряд серьезных политических обвинений, главное из которых сформулировалось так:

- ▶ Партийная организации по сути дела целиком выпала из романа А. Фадеева. Автор не сумел проникнуть в жизнь и работу партийных подпольных организаций, изучить ее и достойно показать в романе. Но можно ли, не греша против действительности, против правды исторической и, стало быть, художественной, показать полностью комсомольскую организацию в отрыве от партийной? Нет, это невозможно. Такой пробел неизбежно поведет к ошибке. Так случилось с романом Фадеева.

(Правда. 3 декабря 1947 г.).

Известно, что все книги, выдвинутые на соискание Сталинских премий, Сталин читал. И читал внимательно.

Об этом говорил и сам Фадеев:

- ▶ – Любил и хорошо знал художественную литературу. И дореволюционную классическую, и нашу советскую... Следил за литературными новинками. Много читал. Произведения, выдвинутые на соискание Сталинской премии, как правило, читал все. Разумеется, не только их. В таком мнении я утвердился при обсуждении в ЦК партии выдвинутых на Сталинские премии произведений литературы и искусства. И, конечно, из личных бесед со Сталиным по поводу того или иного литературно-художественного полотна. При обсуждении в ЦК наших предложений мне, как председателю Комитета по Сталинским премиям в области литературы и искусства, надо было ко всему быть готовым. Очень обстоятельно подкованным, имея в виду возможность серьезного полемического диалога. Сталин не только глубоко знал то или иное заметное произведение. Он был взыскательным критиком... С ним нередко трудно было дискутировать. Обладал большими знаниями, сила аргументации и логика мышления его были всегда основательны. Диву даешься, когда только этот человек успевал столько читать.

(Цит. по кн.: Д. Бузин. Александр Фадеев. Тайны жизни и смерти. М., 2008. Стр. 234–235).

Если даже вынести за скобки неизбежную преувеличенность этих восторгов, в сухом остатке окажется немало.

Как же могло случиться, что при первом чтении фадеевского романа такой придирчивый читатель не разглядел столь серьезного его идейного порока?

Эренбург в посвященной Фадееву главе своих мемуаров объясняет это просто:

- ...С.А. Герасимов сделал по роману фильм. Тут-то и разразилась гроза. Сталин читал много, но, конечно, далеко не все и «Молодой гвардии» не прочитал; а фильмы он все просматривал. Он возмутился: в картине показывались подростки, оставшиеся на произвол судьбы в городе, захваченном гитлеровцами. Где же организация комсомола? Где партийное руководство? Сталину объяснили, что режиссер следовал тексту романа. В газетах появились суровые статьи о «Молодой гвардии». За ними последовало письмо Фадеева, напечатанное в «Правде»: он признавал справедливость критики и обещал переделать роман.

*(И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Т. 3.
М., 1990. Стр. 125).*

В таком предположении есть немалый резон. Даже если Сталин и прочел роман, перед тем как наградить его премией своего имени, просмотр фильма мог изменить его мнение о нем. То, что в романе не так бросалось в глаза, в фильме вышло — можно даже сказать, выперло — на первый план. Как говорится, лучше один раз увидеть... Вот вождь и увидел то, чего раньше не углядел.

Но вот загадка: фильм Герасимова, который явился на свет в 1948 году, в следующем — 1949-м — тоже получил Сталинскую премию.

Как-то все это не сходится.

В только что цитированной мною книге Д. Бузина автор, за три месяца до гибели Фадеева лежавший с ним в одной больнице (так называемой Кремлевке на улице Грановского) и, оправляясь от болезни, совершавший с ним ежедневные прогулки, приводит такой свой разговор с писателем на эту тему.

- — Александр Александрович! — обратился я к нему. — В свое время многие были удивлены появле-

нием критических статей по поводу романа «Молодая гвардия» после того, как он был удостоен Сталинской премии первой степени. Как такое могло случиться! Может быть, поведаете?

— В истории этой нет ничего примечательного. Роман вышел в 1946 году в журнале «Молодая гвардия». Тогда критика встретила роман положительно. Вы правы — в 1946 году он был удостоен Сталинской премии первой степени. Никто в то время не говорил о «фундаментальных недостатках» романа. Но в конце одной из бесед со Сталиным он совершенно неожиданно для меня сказал:

— А на вас жалуются. Говорят, что вы в романе «Молодая гвардия» не показали руководство со стороны партийной ячейки комсомольской борьбой и воспитанием молодежи в условиях подполья. Так ли это?

Я ответил примерно так же, как вы сказали мне об этом...

Сталин молча ходил, а потом как-то неопределенно, безадресно сказал:

— Кто его знает? Вот жалуются!

У меня сложилось впечатление от этой беседы со Сталиным: либо он не читал романа, что маловероятно; либо не хотел высказать свое мнение по поводу тех недостатков в романе, на которые ему «жаловались».

Так или иначе, спустя короткое время после этой беседы появились критические статьи на роман «Молодая гвардия». Вначале в газете «Культура и Жизнь», а затем и в «Правде». Мне было рекомендовано дополнить и переработать роман с учетом критических замечаний, что я охотно и сделал, — улыбаясь, сказал А.А. Фадеев.

(Д. Бузин. А. Фадеев. *Тайны жизни и смерти*. М., 2008. Стр. 255–256).

С Эренбургом он был откровеннее:

- Когда мы встретились, Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы — о старых большевиках, о роли партийного руководства. Помолчав, он добавил: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот... Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной... Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами...»

*(И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Т. 3.
М., 1990. Стр. 125).*

О том, как Фадеев отнесся к критике своего романа и какой его вариант на самом деле считал лучшим, можно было бы поговорить подробнее, и, наверно, к такому — более подробному — разговору на эту тему нам еще придется вернуться. Но в рассказе Фадеева, записанном Д. Бузиным, главное — не это. Тут важна — и особенно для нас интересна — дважды повторенная реплика Сталина:

— А на вас жалуются...

И еще раз:

— Кто его знает? Вот жалуются...

На этот раз вождь говорил правду: на Фадеева ему действительно жаловались. И не только на то, что в его романе принижена роль партии.

С достаточной долей уверенности можно предположить, что в доходивших до него «сигналах» преобладали жалобы совсем другого рода.

О характере этих других жалоб мы можем судить по письму Фадеева А.А. Жданову от 6 марта 1948 года. Письмо это явно было ответом писателя на предъявленные ему обвинения, которые он решительно — и даже слегка раздраженно — отвергал:

- Письмо X. в части освещения деятельности «Молодой гвардии» отражает ту обывательскую возню, которую подняли над памятью погибших юношей и девушек некоторые из родителей и кое-кто из оставшихся в живых членов этой молодежной организации.

Цель этой возни: задним числом возвысить себя, сына или дочь из своей семьи, а заодно и всю семью, для чего — принизить и опорочить тех из героев «Молодой гвардии» и их семьи, которые получили более высокую награду правительства или более высоко были оценены нашей печатью.

Как известно, постановление правительства о героях «Молодой гвардии» и освещение их деятельности в печати основывались на материале, собранном ЦК ВЛКСМ на месте, по свежим следам событий. Материал этот представляет из себя почти стенографическую запись рассказов всех оставшихся в живых молодогвардейцев, их родителей, учителей, товарищей по школе, свидетелей, а также дневники самих участников, фактические документы, многочисленные фото и т.п. Я лично был в Краснодоне в сентябре 1943 года и также лично опросил, по меньшей мере, около ста человек, в том числе и X. В то время решительно никто не давал мне никаких сведений и показаний, которые противоречили бы официальному материалу ЦК ВЛКСМ.

Этот материал и лег в основание моего романа. Как известно, я не писал истории «Молодой гвардии», а писал художественное произведение, в котором, наряду с действительными героями и событиями, наличествуют и вымышленные герои и события. Об этом мной неоднократно заявлялось и в печати, и в выступлениях по радио, и на многочисленных собраниях читателей, и в письмах к краснодонцам.

Само собой понятно, что иначе и не может быть создано художественное произведение.

Ал. Фадеев.

(А. Фадеев. Письма. 1916—1956.

М., 1967. Стр. 230—231).

Какая-то «обывательская возня», выраставшая из сложного клубка обид, уязвленных самолюбий и даже спекуляций, наверняка там и впрямь имела место. Но на самом деле для недовольства Фадеевым и многочисленных жалоб на него были и другие, гораздо более серьезные основания.

* * *

Уже в самом этом его письме Жданову содержится некоторое противоречие.

С одной стороны, он разъясняет секретарю ЦК азбучную истину: никакое художественное произведение не может быть создано без авторского вымысла. Но при этом тут же спешит заверить его, что написанный им роман основан на документальном материале, собранном ЦК ВЛКСМ на месте, по свежим следам событий.

«Я лично, — подчеркивает он, — был в Краснодаре в сентябре 1943 года и также лично опросил, по меньшей мере, около ста человек».

Противоречие это слегка смягчено тем, что вымышленные герои и события в его романе «наличествуют» НАРЯДУ с действительными героями и событиями.

То есть — вымышленные герои и события сами по себе, а реальные, действительные — сами по себе.

Но и в этом своем письме Жданову, и в других письмах на эту тему он не скрывает, что вымышленных героев и событий в его романе не так уж много. В основе романа — действительные события и реальные люди:

► ИЗ ПИСЬМА А.А. ФАДЕЕВА
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ
«СТАЛИНСКАЯ ГВАРДИЯ»

Февраль 1947 года

Герои моего романа в подавляющем большинстве — живые люди и выведены под своими именами.

Исключение представляют некоторые эпизодические фигуры, вроде бойца Каюткина, генерала армии, прозванного Колобком, а также подпольщика Матвея Шульги: это фигура действительная, но выведенная под другой фамилией; вообще весь эпизод с Шульгой взят мной не из краснодонских материалов.

(Там же. Стр. 217—218).

Но если герои его романа «в подавляющем большинстве — живые люди и выведены под своим именами», то и претензии к нему насчет несоответствия — или даже неполного соответствия, а тем более грубого искажения нарисованной им картины того, что было в реальности, могут быть и обоснованными, и правомерными.

Так оно на самом деле и было.

Но это была бы беда, как выражался дедушка Крылов, еще не так большой руки, если бы некоторые искажения реальности, допущенные Фадеевым в его романе, для многих реальных участников описанных в нем событий не оказались чреваты последствиями весьма болезненными, а в иных случаях даже и трагическими.

* * *

Чуть ли не сразу после выхода в свет фадеевской «Молодой гвардии» поползли слухи, что у Фадеева в его романе все не так, как было в жизни. И даже не просто «не так», а изобра-

жено автором романа, как говорится, «с точностью до наоборот».

Говорили, например, что настоящим руководителем организации на самом деле был не Олег Кошевой, а тот, кого Фадеев в своем романе изобразил предателем, выдавшим героев-краснодонцев полиции.

Как выяснилось много лет спустя, слухи эти возникли тогда не на пустом месте.

В 1993 году в Луганске прошла пресс-конференция, в которой были подведены итоги двухлетней работы специальной комиссии, созданной для расследования подлинных обстоятельств деятельности и провала «Молодой гвардии». Комиссия эта, как писали тогда об этом в газетах, «дала свою оценку версиям, почти полвека будоражившим общественность». (*«Известия»*. 5 мая 1993 г.)

Выводы исследователей сводились к нескольким принципиальным моментам. В июле—августе 1942 года после захвата фашистами Луганщины в шахтерском Краснодоне и окружающих его поселках стихийно возникли многие подпольные молодежные группы. Они, по воспоминаниям современников, назывались «Звезда», «Серп», «Молот» и т. п. Однако ни о каком партийном руководстве ими говорить не приходится. В октябре 1942 года **Виктор Третьякевич** объединил их в «Молодую гвардию». Именно он, а не **Олег Кошевой**, согласно выводам комиссии, стал комиссаром подпольной организации.

Откуда же взялась версия, которой доверился Фадеев и которую он подробно разработал в своем романе?

На этот вопрос отвечает запись, сделанная одним из членов специальной комиссии ЦК ВЛКСМ, собиравшей и собравшей те материалы о подпольной комсомольской организации в Краснодоне, которые в 1943 году были переданы Фадееву. Выводы этой комиссии, как мы сейчас увидим, радикально отличались от тех, которые полвека спустя — в 1993-м — были сделаны другой комиссией того же ЦК ВЛКСМ:

► Провал организации пошел по двум каналам. Первый канал — это предательство Почепцова. Почепцов жил с отчимом, фамилия которого Громов. До войны Громов работал в шахтоуправлении, был коммунистом. Однажды в беседе Почепцов сказал Громову: «Вот ты коммунист, почему ничего не делаешь, почему не борешься с немцами?» Тот его спросил: «А как же бороться?» Тогда Почепцов рассказал ему, что вот у них есть организация, что они пишут листовки, распространяют их, показал отцу такую листовку. Тогда Громов сказал ему, что он немедленно должен об этом написать в полицию. Почепцов отказался, тогда отец начал его бить. Почепцов был вынужден написать...

Почепцов писал, что он состоял в группе Попова, других он знал только по именам, некоторых не знал даже фамилии.

Под Новый год члены «Молодой гвардии» ограбили немецкую машину с подарками и совершили глупость. Решили пополнить свой денежный фонд и послали на рынок парнишку продавать сигареты, а он засыпался. На допросе он сказал, что сигареты он получил от директора клуба Мошкова и Третьякевича. Немцы обратили внимание, что в клубе ребята курили сигареты и ели шоколад. Мошкова арестовали.

Кроме того, немцам попалась фамилия Лядская, они решили ее арестовать, по пути они с ней договорились, что она будет работать на немцев и тем сохранит себе жизнь. Она жила в Ново-Светловском районе, на хуторе. Она не была членом организации, но, учась в школе, знала многих ребят как активных и решила, что они должны быть в организации. Затем предательство Выриковой. Она также не была членом «Молодой гвардии», но она рассказала, что знает, что ребята писали листовки и распространяли. Она предала организацию в количестве 14 человек...

Лодкина — в поселке Краснодон, — девушка легкомысленная, случайно попала в организацию, когда ее арестовали, она все рассказала. Лядская была два раза на посадке в тюрьме. Она работала в полиции, сидела в кабинете Захарова — зам. нач. полиции.

Сейчас эти предатели — Кулешов — заместитель нач. полиции, Полянская, Вырикова, Почепцов, Громов — арестованы.

(А. Фадеев. *Молодая гвардия. Роман.* М., 1990. Стр. 502–503).

Приехав в Краснодон и занимаясь сбором материалов для работы над будущим романом, Фадеев исходил из этих — и других таких же — сведений. Предатели разоблачены и арестованы. Чего же больше?

В его архиве сохранились сделанные им отдельные наброски, заметки — заготовки для будущей работы над романом. Приведу только одну из этих заметок:

► **Провал.**

Почепцов и Громов.

Лядская.

Группу Ник. Сумского выдала сестра Полянского. Виктор Третьякевич не выдержал пыток и давал подробные показания. Вырикова выдала первомайцев.

Виктор Третьякевич.

Первый командир. Он уже побывал в Ворошиловградском партизанском отряде, который в августе месяце был сильно потрепан немцами. Третьякевич казался человеком, понюхавшим пороха.

На заседаниях проявлял зазнайство, гордость, излишнюю самоуверенность. Любовь Шевцова, связавшись с Ворошиловградским подпольем, выяснила, что

он в отряде ничем себя не проявил и в первом же бою сбежал.

Его устранили (надо отметить эту исключительную для молодежи принципиальность) и для проверки поручили руководить одной из комсомольских групп г. Краснодона.

Оля Ивашова говорит о нем как о человеке слабохарактерном.

(Там же. Стр. 503).

В комментарии к публикации этих фадеевских заметок сказано, что писатель сделал их «после бесед с некоторыми краснодонцами и ознакомления с материалами советских следственных органов».

А о том, откуда взялись, — вернее, как были получены «советскими следственными органами» все эти сведения, — стало известно лишь сорок лет спустя:

- ▶ После опубликования новых документов и новых книг о «Молодой гвардии» большинство читателей знают, что ни Виктор Третьякевич, ни Зинаида Вырикова, ни Сима Полянская, ни Лодкина не были повинны в провале краснодонского подполья и в аресте его участников. Все они реабилитированы, а Виктор Третьякевич — один из организаторов «Молодой гвардии» — посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.

И все-таки трудно удержаться от того, чтобы лишний раз не рассказать читателям историю того тяжелого недоразумения, в итоге которого один из самых бесстрашных и самых деятельных молодогвардейцев в течение многих лет считался предателем.

С приходом советских войск Почепцов, Громов и Кулешов были арестованы. По неопытности началь-

ника милиции (на должность эту был временно назначен один из краснодонских шахтеров, принявших участие в освобождении города) все три предателя содержались в одной камере. Им удалось согласовать план самозащиты, и на следствии, стремясь обелить себя, они единодушно показали, что и Виктор Третьякевич, и другие молодогвардейцы сами выдавали своих товарищей. Из жителей Краснодона мало кто поверил этому навету. Но для следственных органов того времени этих показаний предателей оказалось достаточно.

Вина Третьякевича без всякой проверки фактов была признана доказанной. Под давлением «органов» и некоторые молодогвардейцы ее признали. Версию о его малодушном поведении на допросах в полиции Фадееву преподнесли уже в качестве абсолютной истины.

(Там же. Стр. 504).

Последний из восьмерых молодогвардейцев, переживших войну, Василий Иванович Левашов незадолго до смерти (он скончался в 2001 году) дал интервью газете «Комсомольская правда» (30.06.1999), в котором заявил, что на самом деле вообще никаких предателей не было, а организация — «погорела из-за глупости».

- ▶ — На самом деле никаких предателей не было, организация погорела из-за глупости, — рассказал Василий Иванович. — В Краснодон пришел грузовик с посылками для немцев к Рождеству, и мы решили их захватить. Перетаскали ночью все в сарай к одному из наших ребят, а наутро в рваных мешках переправили в клуб. По дороге выпала коробка папирос. Рядом крутился мальчишка лет двенадцати-

ти, схватил ее. Третьякевич отдал ему сигареты за молчание. А через день мальчика схватили немцы на базаре.

(СМИ.ru., 2010).

Левашов никогда не сомневался в том, что Третьякевича оклеветали в полиции за стойкость на допросах. А знал он об этом от отца: тот сидел с комиссаром «Молодой гвардии» в одной камере и видел, как его уводили на допрос, а обратно приволакивали за ноги избитого, чуть живого...

Виктора Третьякевича реабилитировали лишь в 1959 году. До этого его родственникам приходилось жить с клеймом родственников предателя. По словам Василия Левашова, реабилитации Виктора добился его брат Владимир.

Как уже было сказано, Виктора Третьякевича посмертно наградили орденом Отечественной войны 1-й степени. Звания Героя Советского Союза, которое получили Олег Кошевой и другие краснодонцы, он не удостоился. И в звании комиссара «Молодой гвардии» его тоже так и не восстановили.

* * *

Но при чем тут Фадеев? В его романе ведь никакого Третьякевича нет. Предатель, выдавший героев-краснодонцев, носит у него фамилию Стахович. И на всех встречах с читателями, отвечая на их вопросы, он неизменно утверждал, что предатель Стахович – образ собирательный.

Его ли вина, что и участники тех событий, которым удалось выжить, и их родные и близкие были уверены, что прототипом Стаховича был именно Третьякевич?

Тут, правда, надо сказать, что, отводя подозрения, будто под именем Стаховича в его романе выведено реальное лицо, Фадеев слегка лукавил. Однажды он и сам в этом признался.

На обсуждении романа в Союзе писателей в 1947 году на вопрос, реальна ли фигура Стаховича, перед собратьями валять ваньку не стал. Ответил прямо и определенно:

- ▶ Это реальная фигура, но выведенная под чужой фамилией, потому что я не хотел позорить фамилию родителей.

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*.
М., 1990. Стр. 504).

Благородно. Но в других случаях он такого благородства почему-то не проявил. Двух девушек, якобы выдавших героев-краснодонцев полиции, — Зинаиду Вырикову и Ольгу Лядскую, — он вывел в романе под их собственными, настоящими именами и фамилиями.

Автор одной из статей, посвященных истории создания фадеевского романа, по этому поводу меланхолически замечает, что данное обстоятельство впоследствии «сильно усложнило их жизнь».

- ▶ И Вырикова, и Лядская были осуждены за предательство и надолго отправлены в лагеря. Как отмечает «Московский комсомолец» (18.06.2003), клеймо предательниц с женщин сняли только в 1990 году, после их многочисленных жалоб и жестких проверок прокуратуры.

«МК» цитирует «справку», которую получила **Ольга Александровна Лядская** спустя 47 лет позора (примерно такой же документ, по информации издания, получила и Зинаида Вырикова): «Уголовное дело по обвинению Лядской О.А., 1926 г. р., пересмотрено военным трибуналом Московского военного округа 16 марта 1990 года. Постановление Особого совещания при МГБ СССР от 29 октября 1949 года в отношении Лядской О.А. отменено и уголовное дело прекращено

производством за отсутствием в ее действиях состава преступления. Лядская Ольга Александровна по данному делу реабилитирована».

(СМИ.ru., 2010).

Об издевательствах, которым в лагере, где она отбывала свой срок, подвергали одну из этих мнимых предательниц (надо полагать, и другую тоже), рассказывает Н. Коржавин:

- ▶ ...я помягчел к Фадееву, хотя за ним числятся серьезные преступления. Нельзя было писать «Молодую гвардию» по материалам МГБ. И представлять ни в чем не виноватую Люду Вырикову предательницей. Ее потом в Карлаге вертухаи выволакивали после демонстрации фильма к экрану и объявляли: «Вот, это она их всех предала!». Она в юном возрасте стала седой.

(Н. Коржавин. *Узлы нашей судьбы*.
В кн.: *Наталья Громова. Узел*.
М., 2006. Стр. 625).

Считать именно Фадеева виновным в том, что этим двум девушкам выпала такая страшная участь, конечно, нельзя. Ольга Лядская и Зинаида Вырикова (Зинаида, а не «Люда», как ошибочно ее называет Коржавин) были осуждены и отправлены в лагерь ДО ТОГО, как Фадеев начал писать свой роман. И вывел он их в своем романе предательницами именно потому, что вина их была будто бы доказана. У «наших славных органов», как известно, ошибок не бывает.

Обвинять Фадеева тут можно, пожалуй, только в том, что в этом случае, — в отличие от того, как он поступил с Третьякевичем, — он не остановился перед тем, чтобы опозорить не только самих девушек, но и всех их родных, носящих те же фамилии.

Но и в самом изображении этих своих персонажей он, если уж говорить правду, тоже перешел границы (стараюсь

сформулировать это помягче) не только этически, но и эстетически дозволенного.

Вот как Зина Вырикова впервые появляется на страницах его романа:

- ▶ — Ворошиловград уже, поди, сдали, а нам не говорят! — резким голосом сказала маленькая широколицая девушка с остреньким носом, блестящими гладкими, точно приклеенными волосами и двумя короткими и бойкими торчащими вперед косицами...

...говорила Вырикова, посверкивая близко сведенными глазами и, как жучок — рожки, воинственно топыря свои торчащие вперед острые косицы...

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*. М., 1990. Стр. 33).

Этой непривлекательной, я бы даже сказал отталкивающей внешностью впервые выведенного им на сцену действующего лица автор загодя, забегая вперед, сразу дает нам понять, какую гнусную роль этому действующему лицу предстоит сыграть в дальнейшем развитии событий его романа.

Конечно, не Фадеев изобрел этот выразительный художественный прием, и изобретен он был задолго до появления на свет эстетики и поэтики социалистического реализма. Но именно эта эстетика и поэтика стала той благодарной почвой, на которой этому, как сказал бы Зощенко, «маловысокохудожественному» приему суждено было расцвести особенно пышным цветом.

10 марта 1930 года в «Правде» была напечатана статья Горького «О безответственных людях и о детской книге наших дней», в которой великий пролетарский писатель, вождь и наставник молодой советской литературы, втолковывал своим молодым собратьям:

- ▶ ...нужно вызвать органическое презрение и отвращение к преступлению... Классовая ненависть должна

воспитываться именно на органическом отвращении к врагу, как существу низшего типа...

Я совершенно убежден, что враг действительно существо низшего типа, что это — дегенерат, вырожденец физически и морально...

(М. Горький.

Собрание сочинений в тридцати томах.

Т. 25. М., 1953. Стр. 174).

Этому указанию классика вняли не только послушливые графоманы. Нашлись и по-настоящему талантливые ученики, которые приняли эту горьковскую заповедь как руководство к действию:

► Подошел и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. Лицо его было какое-то серое, точно вымазанное серым мылом, а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк.

Он наскреб табаку, поднял с земли кусок бумаги и, хитро подмигнув Владика, свернул и закурил.

Из-за угла выскочил Иоська. Наткнувшись на Владика, он было остановился, но, заметив мяч, подошел, поднял и укоризненно сказал:

— Что же! Если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты? Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть? Какой же ты товарищ?

Иоська убежал.

— Видал? — поворачиваясь к парню, презрительно сказал оскорбленный Владик. — Они будут мяч кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака-подавальщика.

— Известно, — сплевывая на траву, охотно согласился парень. — Им только этого и надо! Ишь ты какой рябой выискался!

В сущности, озлобленный Владик и сам знал, что говорит он сейчас ерунду и ему гораздо легче было бы,

если бы этот парень заспорил с ним и не согласился. Но парень согласился, и поэтому раздражение Владика еще более усилилось, и он продолжал совсем уже глупо и фальшиво:

— Он думает, что раз он звеньевой, то я ему и штаны поддерживай. Нет, брат, врешь, нынче лакеев нету.

— Конечно, — все так же охотно поддакнул парень. — Это такой народ... Такая уж ихняя порода.

— Какая порода? — удивился и не понял Владик.

— Как какая? Мальчишка-то прибегал — жид? Значит, и порода такая!

Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой.

«Вот оно что! Вот кто за тебя! — пронеслось в его голове. — Иоська все-таки свой... пионер... товарищ. А теперь вон что!»

Сам не помня как, Владик вскочил и что было силы ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся. Но он был крупнее и сильнее. Он с ругательством кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросался вперед, что парень вдруг струсил...

(Аркадий Гайдар. Военная тайна).

Впоследствии выяснится, что Гайдара — и именно эту его повесть — я тут вспомнил не зря. Пока же отмечу не только сходство, но и некоторое отличие в разработке им и Фадеевым одного и того же художественного приема.

У Гайдара его «положительный» герой — Владик — в необычном состоянии. Он раздражен и озлоблен стычкой с Иоськой. Поэтому он не заметил «заветных примет», не понял, к чьему сочувствию апеллирует. Но поскольку «внешних примет» (лицо, точно вымазанное серым мылом, дегенеративно приоткрытый рот) оказалось недостаточно, враг тут же, не помедлив, разоблачается морально.

Примерно то же происходит и у Фадеева. Но у него Вырикова разоблачает себя не так грубо:

► Фамилия этой девушки была Вырикова, а звали ее Зиной, но с самого детства никто в школе не звал ее по имени, а только по фамилии: Вырикова да Вырикова.

— Как ты можешь так рассуждать, Вырикова? Не говорят, значит, еще не сдали, — сказала Майя Пегливанова, природно-смуглая, как цыганка, красивая черноокая девушка, и самолюбиво поджала нижнюю полную своевольную губку.

В школе, до выпуска этой весной, Майя была секретарем комсомольской организации, привыкла всех поправлять и всех воспитывать, и ей вообще хотелось, чтобы всегда все было правильно.

— Мы давно знаем все, что ты можешь сказать: «Девушки, вы не знаете диалектики!» — сказала Вырикова так похоже на Майю, что все девушки засмеялись. — Скажут нам правду, держи карман пошире. Верили, верили — и веру потеряли! — говорила Вырикова, посверкивая близко сведенными глазами и, как жучок — рожки, воинственно топыря свои торчащие вперед острые косицы. — Наверно, опять Ростов сдали, — нам и тикать некуда. А сами драпают! — сказала Вырикова, видимо повторяя слово, которое она часто слышала.

— Странно ты рассуждаешь, Вырикова, — стараясь не повышать голоса, говорила Майя. — Как можешь ты так говорить? Ведь ты же комсомолка, ты ведь была пионервожатой!..

— Все лето гоняли окопы рыть, сколько на это сил убили, я так месяц болела, а кто теперь в этих окопах сидит? — не слушая Майю, говорила маленькая Вырикова. — В окопах трава растет! Разве не правда?

Тоненькая Саша с деланным удивлением приподняла острые плечи и, посмотрев на Вырикову округлившимися глазами, протяжно свистнула.

Но, видно, не столько то, что говорила Вырикова, сколько общее состояние неопределенности заставляло девушек с болезненным вниманием прислушиваться к ее словам.

— Нет, в самом деле, ведь положение ужасное? — робко взглядывая то на Вырикову, то на Майю, сказала Тоня Иванихина, самая младшая из девушек, крупная, длинноногая, почти девочка, с крупным носом и толстыми, запроваженными за крупные уши прядями темно-каштановых волос. В глазах у нее заблестели слезы.

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*.
М., 1990. Стр. 33).

Вырикова говорит правду. И все девушки знают, что это — правда. Но не случайно эту правду выпаливает им именно она. И не с болью, не со слезами, как почти готовая с ней согласиться Тоня Иванихина, а раздраженно, с ожесточением, с каким-то даже злорадством.

Не только антипатичный внешний облик Выриковой, — каждый ее жест, каждая ее реплика в романе напоминает нам, что перед нами не героиня, а — *антигероиня*.

Она сразу, при первом же нашем знакомстве с ней разочлачивает себя как потенциальная предательница. Ужасающая подруга перспектива остаться в занятом врагами городе ее ничуть не смущает. Признаваясь в этом, она не скрывает даже, что вовсе не собирается конфликтовать с оккупантами, будет «жить, как жила»:

- ▶ — Эх, дура я, дура, и зачем я не пошла в спецшколу, когда мне предлагали? — говорила тоненькая Саша. — Мне предлагали в спецшколу энкавэдэ, — наивно разъяснила она, поглядывая на всех с мальчишеской бес-

печностью, — осталась бы я здесь в тылу у немцев, вы даже ничего бы не знали. Вы бы тут все как раз зажурились, а я себе и в ус не дую. «С чего бы это Сашка такая спокойная?» А я, оказывается, здесь остаюсь от энкавэдэ! Я бы этими немцами-дурачками, — вдруг фыркнула она, с лукавой издевкой взглянув на Вырикову, — я бы этими немцами-дурачками вертела, как хотела!

Уля подняла голову и серьезно и внимательно посмотрела на Сашу, и что-то чуть дрогнуло у нее в лице, то ли губы, то ли тонкие, с прихлынувшей кровью, причудливого выреза ноздри.

— Я без всякого энкавэдэ останусь. А что? — сердито выставляя свои рожки-косицы, сказала Вырикова. — Раз никому нет дела до меня, останусь и буду жить, как жила. А что? Я учащаяся, по немецким понятиям, вроде гимназистки, все ж таки они культурные люди, — что они мне сделают?

(Там же. Стр. 34–35).

* * *

А про повесть Гайдара «Военная тайна» я вспомнил и предупредил, что в связи с Фадеевым вспомнил ее не зря, вот почему.

Был в этой гайдаровской повести один, так сказать, автономный сюжет, сразу, едва только повесть увидела свет, ставший очень знаменитым.

Это была сказка, которую главная героиня повести пионервожатая Натка рассказала однажды своим питомцам.

Если не знать, когда эта гайдаровская сказка была написана, о ней можно было бы сказать, что она с прямо-таки поразительной точностью воспроизводит (повторяет) сюжет фадеевской «Молодой гвардии». Но поскольку мы точно знаем, что сочинил Гайдар эту свою сказку за десять лет до появления на свет фадеевского романа, говорить надо не о том,

что Гайдар воспроизвел или повторил фадеевский сюжет, а о том, что он его *предвосхитил*.

Собственно, предвосхитил он не столько даже сюжет фадеевского романа, сколько ту жизненную коллизию, которая легла в основу этого сюжета.

Сказка оказалась воистину пророческой.

► В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш-Кибальчиш.

В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил Мальчиш, по прозванию Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша... Отец работает — сено косит. Брат работает — сено возит. Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да балуется. Гоп!.. Гоп!.. Хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться... Живи да работай — хорошая жизнь!

Вот однажды — дело к вечеру — вышел Мальчиш-Кибальчиш на крыльцо. Смотрит он — небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за Черные Горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов.

(А. Гайдар.

Собрание сочинений в четырех томах.
Т. 2. М., 1955. Стр. 180—181).

Именно так — кто помнит — все было в тот день 22 июня 1941 года. И небо было ясно, и ветер теплый... Именно так началась для нас та страшная, большая наша война. Во всяком случае, для тех, кто жил тогда не за Уралом, а ближе к западным границам страны.

А дальше сходство с тем, что с нами случилось в том июне, становится все более разительным:

► Сказал он отцу, а отец усталый пришел.

— Что ты? — говорит он Мальчишу. — Это дальние грозы гремят за Черными Горами. Это пастухи дымят кострами за Синею Рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, Мальчиш, и спи спокойно.

Ушел Мальчиш. Лег спать. Но не спится ему — ну, никак не засыпается.

Вдруг слышит он на улице топот, у окон — стук. Глянул Мальчиш-Кибальчиш и видит он: стоит у окна всадник. Конь — вороной, сабля — светлая, папаха — серая, а звезда — красная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за Черных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию.

Так сказал эти тревожные слова красноезвездный всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронташ.

— Что же, — говорит старшему сыну, — я рожь густо сеял — видно, убирать тебе много придется. Что же, — говорит он Мальчишу, — я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, Мальчиш, придется.

Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому

что теперь уже всем и видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров...

(Там же. Стр. 181–182).

Кто он — этот всадник в серой папахе с красной звездой? Видать, партизан. А где же Красная Армия? Почему оказалась она далеко и не идет на помощь, и мирным людям, взяв в руки винтовку и патронташ, приходится самим идти защищать свою мирную жизнь?

Нет, не так в 30-е годы, когда Гайдар сочинял свою сказку про Мальчиша-Кибальчиша, представляли мы себе начало неизбежной будущей большой войны с ненавистными «буржуинами»:

Полетит самолет,
Застрочит пулемет,
Загрохочут могучие танки.
И пехота пойдет
В свой победный поход,
И промчатся лихие тачанки...

А у Гайдара — ни танков, ни самолетов, ни пулеметов, ни лихих тачанок, ни Красной Армии — только все тот же всадник:

- ▶ Выглянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, темная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Было победы, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших... Эй, вставайте, давайте подмогу!

Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу:

— Прощай, Мальчиш... Остаешься ты один... Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах... Живи, как сумеешь, а меня не дожидайся.

И опять, как полагается в сказке, в третий раз является Мальчишу все тот же, совсем уже изнемогающий всадник. Только теперь он уже не всадник:

► Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот: и коня нет — пропал конь, и сабли нет — сломалась сабля, и папахи нет — слетела папаха, да и сам-то стоит — шатается.

— Эй, вставайте! — закричал он в последний раз. — И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота — некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось...

Больно тогда Мальчишу стало. Вискочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:

— Эй же, вы, мальчищи, мальчиши-мальши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?

И дальше у Гайдара события разворачиваются точь-в-точь, как у Фадеева в его романе. (Разумеется, в первом, еще не испорченном его варианте.)

Есть у него даже и предатель, выдавший «буржуинам» храброго Мальчиша и его отважных товарищей:

- ▶ Все хотят идти на подмогу. Лишь один Мальчиш-Плохиш захотел идти в буржуинство. Но такой был хитрый этот Плохиш, что никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу.

Бьются мальчиши от темной ночи до светлой зари. Лишь один Плохиш не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь...

Обрадовались буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрет и радуется.

У Фадеева в его романе (как оно было и в жизни) наличествует и этот мотив. С той только разницей, что у него это происходит не в сказочном, как у Гайдара, а в сугубо реалистическом варианте, так что «плохиши», готовые ладить с оккупантами, вместо бочек варенья и корзин печенья получают от «буржуинов» другие — более скромные дары:

- ▶ Они сидели на табуретках друг против друга, и немецкий денщик с улыбкой самодовольной и вежливой, с некоторым даже кокетством во взоре, что-то вынимал из рюкзака, который он держал на коленях, и передавал это что-то в руки матери Лены. А она... с улыбкой льстивой и угоднической, дрожащими руками принимала что-то и клала себе в колени. Они были так заняты этим несложным, но глубоко захватившим обоих делом, что не расслышали, как Олег вошел. И он смог рассмотреть то, что лежало в коленях у матери Лены: плоская жестяная коробка сардин, плитка шоколада и узкая четырехугольная поллитровая, с вывинчивающейся пробкой, жестяная банка в яркой, желтой с синим, этикетке, — такие

банки Олег видел у немцев в своем доме, — это было прованское масло.

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*.
М., 1990. Стр. 199).

И так же, как герои-краснодонцы, о подвиге которых рассказал в своем романе Фадеев, попадает гайдаровский Мальчиш-Кибальчиш в руки врагов. И все, что с ним там происходит, — тоже, конечно, в сказочном варианте, — но с удивительной точностью повторяет (предвосхищает) то, о чем десять лет спустя рассказал в своем романе Фадеев:

► Заковали Мальчиша в тяжелые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же с пленным Мальчишем прикажет теперь Главный Буржуин делать?

Долго думал Главный Буржуин, а потом придумал и сказал:

— Мы погубим этого Мальчиша. Но пусть он сначала расскажет нам всю их Военную Тайну...

Ушли буржуины, да скоро назад вернулись:

— Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Мальчиш-Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам в лицо...

— Есть, — говорит он, — и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда б вы ни напали, не будет вам победы.

— Есть, — говорит, — и неисчислимая помощь, и сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь.

— Есть, — говорит, — и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете. А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете.

А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу, а самим вам, проклятым, и ввек не догадаться.

Нахмурился тогда Главный Буржуин и говорит:

— Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны.

Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро. Идут и головами покачивают.

— Нет, — говорят они, — начальник наш Главный Буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твердое слово...

Что же это за тайна, которую так и не выдал буржуинам Мальчиш-Кибальчиш?

Тайна эта — он сам. И такие, как он, мальчиши. В них самих — секрет непобедимости этой загадочной страны, — главная ее военная тайна.

Вот что хотел сказать этой своей сказкой Аркадий Гайдар.

И именно это должен был сказать Сталину Фадеев, когда тот заговорил с ним о том, что в его романе не отражена руководящая роль партии.

— Иосиф Виссарионович! — должен был он сказать в ответ на этот упрек. — А кто воспитал этих молодых людей, готовых умереть за нашу родную советскую власть? Ведь их воспитали мы с вами! То есть — партия. И в том, что они оказались способны сами, без всякой указки сверху действовать так, как они действовали, и состоит главная заслуга вырастившей и воспитавшей их Коммунистической партии!

Почему же он ему этого не сказал?

Не пришло в голову? Не догадался? Или не посмел спорить с Хозяином?

Оказывается, и догадался, и посмел, и примерно так ему и ответил:

► Иногда, правда редко, будучи в хорошем настроении, Александр Александрович озорничал:

— Вы, поди, не читали мой роман «Молодая гвардия»? Вам, дай бог, управляться с чтением различного рода постановлений и инструкций, вроде той, что в свое время презентовали мне, — о взимании налогов с писателей?! Да и для изучения руководящих указаний в многочисленных выступлениях товарища Хрущева нужно немалое время. Когда вам добраться до художественной литературы! — явно с шутливой издевкой усмеялся он.

— Представьте себе, прочел ваш роман. И остался им крайне недоволен, — старался отвечать я в том же ключе.

— А чем же все-таки вам не по душе моя «Молодая гвардия»? — спросил уже более серьезно А. А. Фадеев.

Я повторил, по памяти, основные критические замечания на роман, опубликованные в свое время в газетах.

— А вы крепко запомнили критику романа. Декламируете, можно сказать, дословно газетные статьи. Как с листа. — И уже вполне серьезно ко мне: — А без шуток! Читали? Каково ваше мнение?

Ответил так:

— Не считаю справедливыми упреки в якобы полном отсутствии показа в романе партийного руководства героическими комсомольскими делами в Краснодаре. Не знаю, как было на самом деле, но вполне допускаю, что в жизни могло быть именно так, как это изображено в романе. Сам факт беззаветной борьбы молодогвардейцев есть результат воспитания и умелого руководства комсомолом со стороны партии.

Комсомольцы Краснодона 40-х годов были однолетками с такими коммунистами, как Александр Фадеев и Аркадий Гайдар (Голиков), в 18–19-м годах. Они осуществляли партийное влияние в партизанских отрядах и регулярных частях Красной Армии. Почему же вожаки молодогвардейцев-комсомольцев не могли осуществлять партийного влияния на ход событий?

(Д. Бузин. Фадеев. Тайны жизни и смерти. М., 2008. Стр. 254–255).

И тут, после долгой паузы, Фадеев признался собеседнику, что нечто в этом роде он тогда Сталину и сказал:

- ▶ Я ответил примерно так же, как вы сказали мне об этом. Только, разумеется, без примеров Фадеева и Гайдара.

Сталин молча ходил, а потом как-то неопределенно, безадресно сказал:

— Кто его знает? Вот жалуются!

(Там же. Стр. 256).

Вряд ли Фадеев при этом сказал Сталину (а это он тоже, конечно, мог бы сказать), что оттого, что решение вести борьбу с оккупантами у юных краснодонцев возникло не по чьей-то подсказке, а органично, самопроизвольно, что для них это было естественно, как дыхание, сюжет его романа только выиграл, — стал героичнее, сильнее, художественно выразительнее. Он, надо полагать, говорил со Сталиным на более понятном тому языке, подчеркивая не художественное, а, так сказать, идейное воздействие этого героического сюжета. И Сталин тут вполне мог его понять и поддержать, потому что мысль эта была ему не только доступна, но в некотором смысле даже и близка. Он сам однажды высказал нечто похожее.

Это было 26 октября 1932 года на встрече (у Горького) «руководителей партии и правительства», как это тогда назы-

валось, с писателями. Именно там, на этой встрече он назвал писателей *инженерами человеческих душ*, обозначив таким образом свое понимание назначения и роли художественной литературы в народном хозяйстве. Формулу эту, ставшую впоследствии, как и многие другие сталинские изречения, не только знаменитой, но и основополагающей, он высказал уже не на деловой части той встречи, а на последовавшем за ней банкете. Именно тут, чуть ли даже не с бокалом в руке, он сказал:

- — Есть разные производства: артиллерии, автомобилей, машин. Вы тоже производите товар. Очень нужный нам товар, интересный товар — души людей.

Помню, меня тогда поразило это слово — «товар».

— Да, тоже важное производство, очень важное производство души людей... Все производства страны связаны с вашим производством... Человек перерабатывается в самой жизни. Но и вы помогите переделке его души. Это важное производство — души людей. И вы — инженеры человеческих душ. Вот почему выпьем за писателей...

(К. Зелинский. Вечер у Горького.
Минувшее. Исторический альманах. 10.
М. — СПб., 1992. Стр. 111).

Автор этой мемуарной записи, как уже не раз было говорено, не слишком надежный источник. Но в данном случае ему можно доверять. Сохранилось письмо Фадеева Поскребышеву, в котором он просил передать эти записки Зелинского Сталину, прося разрешения их напечатать и ручаясь за их достоверность и точность.

Коль скоро Фадеев перед самим Сталиным не побоялся утверждать, что в этих мемуарных записках Зелинского все записано точно, то и мы тоже можем быть уверены, что смысл той речи Сталина мемуарист передал с достаточной степенью точности. И, надо полагать, с той же степенью точности отразил он и такой, случившийся во время этой ста-

линской речи, казалось бы, не слишком значительный, но весьма характерный инцидент:

► ...когда Сталин говорил о важности производства душ в сравнении с остальным производством — машин, авиации, танков, — Ворошилов подал реплику: «Как когда». Все зааплодировали — реплика показалась удачной. В ней прозвучало напоминание о войне...

— Нет, товарищ Ворошилов, — сказал Сталин, стоя поворачиваясь к нему. — Ничего ваши танки не будут стоять, если души у них будут гнилыми. Нет, производство душ важнее вашего производства танков.

(К. Зелинский. Вечер у Горького. Минувшее. Исторический альманах. 10. М.—СПб., 1992. Стр. 102).

Фадеев, видевший все это своими глазами и слышавший своими ушами, вполне мог рассчитывать на то, что Сталин оценит если не художественные достоинства, так во всяком случае воспитательное значение «Молодой гвардии», и в споре с теми, кто нападает на этот его роман, станет на его сторону.

Но Сталин, поразмышляв, — а может быть, только имитируя раздумье, — решил согласиться с критиками романа.

Почему же он так поступил?

Неужели только потому, что по каким-то своим соображениям счел нужным кинуть эту кость своим верным псам и только поэтому скомандовал им: «Фас!»?

Такое с ним тоже бывало. Вспомним, как он сказал по поводу запрещения булгаковского «Бега», что запретил эту пьесу, сделав уступку комсомолу. Вот и сейчас, может быть, тоже — по каким-то своим соображениям — решил сделать уступку кому-нибудь из своей идеологической обслуги (скорее всего — Жданову).

Могло, конечно, быть и так.

Но для того, чтобы согласиться с критиками фадеевского романа, у него были — помимо возможных тактических — и другие, гораздо более серьезные основания.

Ведь это он, Сталин, нес личную, персональную ответственность за то, что не оказалось в тот момент в Краснодоне (как и во множестве других городов и всей страны) ни Красной Армии с ее самолетами и танками, ни заранее подготовленного большевистского подполья, а настоящее сопротивление гигантской военной машине врага смогли оказать лишь никем не организованные семнадцатилетние юноши и девушки, подростки. В сущности — дети.

Нет, Сталин не мог принять такую версию развития событий.

24 мая 1945 года на приеме в Кремле командующих войсками Красной Армии, в знаменитом своем тосте «За русский народ», пребывая в состоянии победной эйфории, он сказал:

- ▶ У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941–1942 гг., когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода.

*(В. Невежин. Застольные речи Сталина.
М.—СПб., 2003. Стр. 470–471).*

В такой вот мягкой, как теперь принято говорить, политкорректной форме он высказался о чудовищной катастрофе, до которой довел страну.

Все это было тогда еще слишком свежо, и совсем не упомянуть о том, что «у нашего правительства» были не только выдающиеся достижения и победы, но и ошибки, он все-таки не мог. Но это был, кажется, единственный случай, когда он высказался на эту тему в такой, хоть и смягченной, но все-таки критической тональности. Ни о каких своих ошиб-

ках он никогда больше не упоминал, и даже первый — самый ужасный — этап войны отныне полагалось изображать не только в героическом, но и в победном тоне: так, словно война не только завершилась, но чуть ли даже и не началась Парадом Победы на Красной площади.

Все — даже самые трагические — обстоятельства той страшной войны должны были изображаться так, словно совершались они в соответствии с планами и высшими соображениями Верховного Командования. И Красная Армия отступала в полном боевом порядке. И в тылу врага героически сражались руководимые партией партизаны. И «подпольный обком» всю дорогу действовал четко, продуманно, взвешенно и, разумеется, успешно.

В духе этой политической и исторической концепции Фадеев и должен был переработать свой роман.

* * *

Сделал он это без колебаний и, если верить некоторым его высказываниям, был даже уверен, что от этой переработки роман не только не пострадал, но даже выиграл.

► — А вам, Александр Александрович, как автору, какой из двух вариантов романа больше по душе? — созорничал и я.

— Разумеется, второй, — добродушно смеясь, ответил он.

— А Сталинскую премию первой степени вам, дорогой товарищ, пожаловали все же за первый вариант! Не правда ли?!

— А я жду такую же премию и за второй вариант. Вот увидите, пожалуют... — И он залился своим неповторимым смехом.

(Д. Бузин. Александр Фадеев.
Тайны жизни и смерти. М., 2008. Стр. 257).

Конечно, он делал тут, как говорят французы, «хорошую мину при плохой игре», даже слегка этим бравировал. Но и не шибко при этом лукавил. И не только потому, что каждому писателю лучшей всегда кажется его последняя книга.

И уверяя собеседника, что сел за переделку романа *охотно*, — он тоже не врал. И дело тут было не только в том, что он давно уже привык без колебаний следовать велениям партийной дисциплины.

Готовность переписать наново только что законченный роман не стала для него духовной драмой совсем по другой, более глубокой, сугубо внутренней причине.

* * *

В своем предсмертном письме в ЦК КПСС, на которое я уже ссылался (и к которому буду возвращаться еще не раз), Фадеев писал:

► С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать!

Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это — «партийностью»...

... сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней глубоко коммунистического таланта моего. Литература — этот высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к

полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

(А. Фадеев. В ЦК КПСС. 13 мая 1956 г.

Цит. по кн.: Александр Фадеев.

Письма и документы.

М., 2001. Стр. 215).

Вспоминая об этом невероятном количестве «окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков», которые, «называя это партийностью», обрушивали на него на протяжении всей его творческой жизни, имел ли он при этом в виду и ту «идеологическую порку», которой его подверг «сатрап» Сталин за первый вариант его романа «Молодая гвардия»?

Но привел я тут эту длинную выписку из его предсмертного письма не для того, чтобы задать этот ехидный — и, в сущности, риторический — вопрос.

Более всего меня в этом процитированном отрывке из его предсмертного письма поразило другое.

«С каким чувством свободы... входило мое поколение в литературу при Ленине!» — искренне, но в полном соответствии с итогами только что отгремевшего партийного съезда восклицает он.

И тоже в полном соответствии с идеологическими решениями этого съезда тут же снова подчеркивает, что именно «после смерти Ленина» писателей низвели до положения «мальчиков для битья».

Получается, что сломал, согнул в бараний рог тех его братьев по цеху, кому удалось уцелеть, — а в том числе и его самого, — «сатрап» Сталин.

Именно он, и только он, повинен в том, что эти уцелевшие научились искажать, калечить, уродовать свой дар, подчинять свои художественные замыслы готовым идеологическим схемам.

Велик соблазн принять эту версию как непреложную истину, сразу и безоговорочно с ней согласиться. Но тут сразу вспоминается старинная притча.

Когда был изобретен топор, деревья задрожали. Но некий мудрец — а может быть, даже и сам изобретатель топора, — сказал им:

— Не бойтесь! Ничего страшного с вами не случится, если никто из вас не согласится отдать свое тело на топоричуе.

Так же было и с писателями.

Не со всеми, конечно, а только с теми из них, кто САМ, по собственной воле стал подчинять свои художественные замыслы готовым схемам.

Александр Александрович Фадеев был... чуть было не написал — «одним из них».

Нет, он был не одним из них. Он был первым.

* * *

В то время российские интеллигенты еще не знали, что вождь революции считает их **говном**. (Письмо Ленина, содержащее это замечательное высказывание, было опубликовано только недавно.) Но они, конечно, об этом догадывались. Не могли не догадываться. Эта формула, пусть даже не произнесенная вслух, носилась в воздухе. И интеллигенты (не все, конечно, но многие, очень многие) дружно ползали на брюхе перед классом-гегемоном, бия себя в грудь и клятвенно обещая, что хотя они и хуже «чистых пролетариев», но будут очень стараться и постепенно, по капле, выдавят из себя всю мерзость, оставшуюся в их душе от старого мира: абстрактный гуманизм, привычку думать и сомневаться, чрезмерную сложность чувств, а если класс-гегемон прикажет, то и честь, и совесть, и простую порядочность.

Обгаживанию интеллигента, не умеющего преодолеть свою интеллигентскую сущность и потому обреченного на гибель, были посвящены самые разные книги: «Разгром»

Фадеева, «Города и годы» Федина, «День второй» Эренбурга, «Юноша» Бориса Левина, «Зависть» Олеша.

С Олешей, правда, получилась маленькая неувязка.

Из конфликта, изображенного им в «Зависти», вся советская общественность единодушно сделала вывод, что человек «без души» — лучше, совершеннее, чище и уж во всяком случае **полезнее** для пролетарского государства, нежели человек «с душой». Даром, что ли, обладающий душой Николай Кавалеров так отчаянно **завидует** людям-роботам, поступками которых движет голая целесообразность.

Но сам Олеша не мог примириться с тем, что так настойчиво внушали ему критики-коммунисты. Он не мог поверить, не мог согласиться с тем, что «душа» — это атавизм, рудимент, от которого новый человек твердо решил избавиться. Из последних сил пытался он доказать, что это не так, что поэзия, душа — это некая ценность, которая сможет новым людям еще пригодиться:

► ...я понял, что главная моя мечта — защитить мою свежесть от утверждения, что свежесть есть пошлость, ничтожество...

Я понял, что... во мне есть сила красок и что будет нелепостью, если эти краски не будут использованы. Самое страшное — это унижать себя, говорить, что я ничто по сравнению с рабочим или комсомольцем... Нет, во мне хватит гордости сказать, что, несмотря на то что я родился в старом мире, во мне, в моей душе, в моем воображении, в моей жизни, в моих мечтах есть много такого, что ставит меня на один уровень и с рабочими и с комсомольцами.

(Ю. Олеша. Из выступления на I съезде писателей).

Бедный Олеша! Не так уж и много осталось у него гордости. Ровно столько, чтобы, не ползая на брюхе, но всё же в до-

статочно почтительной форме попытаться доказать, что он, со всем грузом своего интеллигентского, мелкобуржуазного прошлого, **не хуже** рабочего или комсомольца.

Робкий голос Олеси затерялся в дружном хоре других голосов, в унисон твердящих своему читателю, что интеллигент по самой сути своей **хуже** «простого человека». Но почти все авторы названных мною книг делали это как-то неуверенно, словно бы нехотя. В их гневных инвективах легко можно было различить тайное сочувствие интеллигенту. (Олеса отличался от них лишь тем, что не утаил этого своего сочувствия, откровенно и прямо его высказал.) И только один голос в этом дружном хоре звучал убежденно, а потому в какой-то мере даже и убедительно.

Это был голос Александра Фадеева.

Автор «Разгрома», похоже, был искренен в своем отвращении к интеллигентам. Он, судя по всему, действительно верил, что интеллигент по самой сути своей неизмеримо **хуже и гаже** «чистого пролетария»:

- ▶ Морозка с детства привык к тому, что люди, подобные Мечуку, подлинные свои чувства — такие же простые и маленькие, как у Морозки, — прикрывают большими и красивыми словами и этим отделяют себя от тех, кто, как Морозка, не умеет выразить свои чувства достаточно красиво. Он не сознавал, что дело обстоит именно таким образом, и не мог бы выразить это **своими** словами, но он всегда чувствовал между собой и этими людьми непродолимую стену из натащенных ими неизвестно откуда фальшивых крашенных слов и поступков.

Интеллигент у Фадеева неизмеримо гаже и хуже простого человека тем, что он, как выразился однажды по сходному поводу Михаил Зощенко, «накрутил на себя много лишнего». И чем больше он на себя «накрутил» и чем крепче это «лишнее» к нему приросло, тем очевиднее его человеческая неполноценность.

Эта неполноценность интеллигента, эта его ущербность не просто отвратительна. Она таит в себе угрозу для дела пролетариата, и потому нет на свете ничего более мерзкого и более опасного, чем она.

Поначалу может показаться, что это убеждение характеризует не столько автора «Разгрома», сколько его героя — Морозку. На самом деле, однако, устами Морозки здесь говорит сам автор, поскольку исходный тезис, высказанный в этом его внутреннем монологе, в романе Фадеева **развернут в сюжет**.

«Неслыханное гнусное предательство» Мечика, которым завершается роман, — неизбежное следствие его (Мечика) интеллигентской неполноценности.

Но этот финальный эпизод — лишь последний штрих, последняя точка над «і».

На протяжении всего романа интеллигентская неполноценность Мечика исследована обстоятельно и всесторонне.

В чем же конкретно она проявляется?

Прежде всего в том, что он недостаточно грязен физически:

- ▶ Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда.

Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить.

Этим неприязненным мыслям Морозки можно было бы не придавать особого значения, если бы не финал романа. Если бы в конце не выяснилось неопровержимо, что классовое чутье и на этот раз Морозку не подвело.

Второй, уже более важный признак человеческой неполноценности Мечика состоит в том, что он слишком чист не только физически, но и морально. Он, например, хранит под подушкой выцветшую фотографию любимой девушки. И даже почувствовав едкую горечь стыда за эту свою интел-

лигентскую слабость и в решительную минуту разорвав карточку в клочки, он так и не может до конца преодолеть своего отвращения к той простоте нравов, которая свойственна его новым товарищам:

- ▶ — Эй ты, помощник смерти! — закричал первый, увидев на завалинке Харченко и Варю. — Ты что ж это баб наших лапаешь?.. А ну, а ну, дай-ка и мне подержаться...
Фельдшер хохотал неестественно громко, незаметно залезая Варе под кофточку. Она смотрела на них покорно и устало, даже не пытаясь выгнать Харченкину руку...
— Какого ты чёрта сидишь, как тюлень? — быстро зашептал Чиж на ухо Мечика. — Тут всё уже сговорено — девка такая — она обоим даст...

Третий признак неполноценности Мечика еще более опасен для дела пролетариата. Он состоит в том, что Мечик сочувствует чужому горю и не умеет примириться с жестокостью. Жалость разрывает его сердце:

- ▶ Трясущийся седоватый кореец, в продавленной проволочной шляпе, с первых же слов взмолился, чтобы не трогали его свинью. Левинсон, чувствуя за собой полтораста голодных ртов и жалея корейца, пытался доказать ему, что иначе поступить не может. Кореец, не понимая, продолжал умоляюще складывать руки и повторял:
— Не надо куши-куши... Не надо...
— Стреляйте, всё равно, — махнул Левинсон и сморщился, словно стрелять должны были в него.
Кореец тоже сморщился и заплакал. Вдруг он упал на колени и, ерзая по траве бородой, стал целовать Левинсону ноги, но тот даже не поднял его — он боялся, что, сделав это, не выдержит и отменит своё приказание.
Мечик видел все это, и сердце его сжималось. Он убежал за фанзу и уткнулся лицом в солому, но даже

здесь стояло перед ним заплаканное старческое лицо, маленькая фигурка в белом, скорчившаяся у ног Левинсона. «Неужели без этого нельзя?» — лихорадочно думал Мечик, и перед ним длинной вереницей проплывали покорные и словно падающие лица мужиков, у которых тоже отбирали последнее. «Нет, нет, это жестоко, это слишком жестоко», — снова думал он и глубже зарывался в солому.

Мечик знал, что сам никогда не поступил бы так с корейцем, но свинью он ел вместе со всеми, потому что был голоден.

Презрительное отношение автора к интеллигентской слабости Мечика с наибольшей определенностью выразилось в последней фразе. Но не только в ней. Оно оттенено поведением Левинсона. Тому ведь тоже не совсем чужда эта интеллигентская слабость. Ему тоже невыносимо жаль старика-корейца. Он даже боится, что еще минута, и он не выдержит, отменит свое жестокое приказание. Но он умеет задушить в себе эту жалость, обуздать ее. В отличие от Мечика он знает, что такое революционная необходимость.

Эпизод с корейцем и его свиньей далеко не последнее испытание на прочность, которое так и не сумел выдержать Мечик. Этот эпизод — ступень к следующему, еще более драматическому эпизоду.

Революционная необходимость вынуждает Левинсона принять совсем уже страшное решение. На сей раз речь идет не о свинье — о человеке. Чтобы спасти отряд, необходимо умертвить раненого товарища. Раненый безнадежен, он все равно умрет.

Есть, правда, другой выход:

- ▶ — Конечно, я могу остаться с ним... — глухо сказал Сташинский после некоторой паузы. — В сущности, это моя обязанность..

— Ерунда! — Левинсон махнул рукой. — Не позже как завтра к обеду сюда придут японцы по свежим следам... Или твоя обязанность быть убитым?..

Последний довод обоим собеседникам (и, разумеется, автору) кажется неопровержимым. Какой смысл врачу оставаться с заведомо безнадежным пациентом: так погибнет только один, а так — двое. Чистая арифметика.

Волею случая (а вернее сказать, волею автора) Мечик слышит тот разговор, который ведут между собою Левинсон и Сташинский:

► — Придется сделать это сегодня же... только смотри, чтобы никто не догадался, а главное, он сам... можно так?

— Он-то не догадается... скоро ему бром давать, вот вместо брома... А может, мы до завтра отложим?

— Чего ж тянуть... всё равно... — Левинсон спрятал карту и встал. — Надо ведь, ничего не поделаешь...

«Неужели они сделают это?..» — Мечик навзначь упал на землю и уткнулся лицом в ладони... Потом поднялся и, цепляясь за кусты, пошатываясь, как раненый, побрел вслед за Сташинским и Левинсоном...

Он поспел вовремя. Сташинский, стоя спиной к Фролову, протянув на свет дрожащие руки, наливал что-то в мензурку.

— Обождите!.. Что вы делаете?.. — крикнул Мечик, бросаясь к нему с расширенными глазами. — Обождите! Я всё слышал!..

Сташинский, вздрогнув, повернул голову, руки его задрожали еще сильнее... Вдруг он шагнул к Мечику, и страшная багровая жила вздулась у него на лбу.

— Вон!.. — сказал он зловецким придушенным шепотом. — Убью!..

Мечик взвизгнул и, не помня себя, выскочил из барака...

Страшная багровая жила вздулась на лбу у Сташинского вовсе не потому, что Мечик случайно застал его «на месте преступления», стал невольным свидетелем чего-то такого, чего ему (да и вообще никому) не полагалось видеть. Эту незапную ярость, ненависть и презрение к Мечику Сташинский испытал совсем по другой причине. Острое желание немедленно убить — нет, даже не убить, а **раздавить** Мечика, как какую-нибудь последнюю нечисть, погань, паука или таракана, — Сташинский почувствовал потому, что в инстинктивном ужасе Мечика перед тем, что он, Сташинский, обязан был совершить, он усмотрел стремление **остаться чистеньким**. Сташинский знает, что в данных обстоятельствах остаться чистеньким — это значит переложить **свою** ответственность на чьи-то чужие плечи. Он этого делать не собирается. Он готов до конца нести свое страшное бремя. Но это вовсе не значит, что ему легко.

Мечик даже не способен понять все величие души Сташинского — таков подтекст этой сцены. Рядом со Сташинским он — не человек. Крыса какая-то, вызывающая невольную гадливость.

Последняя фраза этой сцены («Мечик **взвизгнул** и, не помня себя, выскочил из барака») недвусмысленно и ясно свидетельствует, что у автора романа поведение Мечика вызывает те же чувства, что и у Сташинского.

На самом деле, однако, это не совсем так.

С автором романа дело обстоит чуть сложнее.

* * *

► — Это бром, выпей... — настойчиво, строго сказал Сташинский.

Взгляды их встретились и, поняв друг друга, застыли, скованные единой мыслью... «Конец», — подумал Фролов и почему-то не удивился, не ощутил ни страха, ни волнения, ни горечи. Все оказалось простым и лёг-

ким, и даже странно было, зачем он так много мучился, так упорно цеплялся за жизнь и боялся смерти, если жизнь сулила ему новые страдания, а смерть только избавляла от них. Он в нерешительности повёл глазами вокруг, словно отыскивал что-то... Впервые за время болезни в глазах Фролова появилось человеческое выражение — жалость к себе, а может быть, к Сташинскому. Он опустил веки, и когда открыл их снова, лицо его было спокойным и кротким.

— Случится, будешь на Сучане, — сказал он медленно, — передай, чтоб не больно уж там... убивались... Все к этому месту придут... да?... Все придут, — повторил он с таким выражением, точно мысль о неизбежности смерти людей еще не была ему совсем ясна и доказана, но она была именно той мыслью, которая лишала личную — **его, Фролова**, — смерть её особенного, отдельного, страшного смысла и делала её — эту смерть — чем-то обыкновенным, свойственным всем людям.

Ремарка Фадеева насчет того, что мысль о неизбежности смерти всех вообще людей как бы еще не была Фролову «совсем ясна и доказана», прямо восходит к повести Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Толстовский Иван Ильич, размышляя о неизбежности собственной смерти, вспоминает силлогизм, который его заставляли учить в детстве: «Люди смертны. Кай человек. Следовательно, Кай смертен». Вспоминая этот силлогизм, Иван Ильич думает, что этот неведомый ему Кай — действительно смертен. Этому безликому, абстрактному Каю, как он, Иван Ильич, это формулирует, — **правильно умирать**. Но при чем тут он, Иван Ильич, который был когда-то мальчиком Ваней, у которого был полосатый мяч, который любил папеньку и маменьку... Какое он имеет отношение к этому древнему силлогизму? Почему он, со своей неповторимой личностью, со своей душой, которую он полагал бессмертной, должен исчезнуть, превратиться в ничто? Нет! Что бы там ни

утверждал этот глупый силлогизм, ему, Ивану Ильичу, – **неправильно умирать!**

Но о Толстом нам напоминает не одна только эта фраза умирающего Фролова. Ритм, синтаксис, все интонации фадеевского «Разгрома» – типично толстовские. Да Фадеев и не скрывал никогда, что считает себя учеником Толстого. Однако он при этом наивно полагал, что воспримет литературные, так сказать, чисто художественные достижения Толстого, отринув неприемлемое для него толстовское мировоззрение.

Искусственность этого противоестественного сочетания современникам бросалась в глаза. Над ней подтрунивали и даже потешались пародисты:

- ▶ С тем смешанным чувством грусти и любопытства, которое бывает у людей, покидающих знакомое прошлое и едущих в неизвестное будущее, я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались пересеченные холмами и оврагами, покрытые снегом поля, от которых веяло той нескрываемой печалью, которая свойственна пространствам, на которых трудится громадное большинство людей для того, чтобы ничтожная кучка так называемого избранного общества, а в сущности, кучка пресыщенных паразитов и тунеядцев, пользовалась плодами чужих рук, наслаждаясь всеми благами той жизни, порядок которой построен на пороках, разврате, лжи, обмане и эксплуатации, считая, что такой порядок не только не безобразен и возмутителен, но правилен и неизменен, потому что он, этот порядок, основанный на пороках, разврате, лжи, обмане и эксплуатации, приятен и выгоден развратной и лживой кучке паразитов и тунеядцев, которой приятней и выгодней, чтобы на нее работало громадное большинство людей, чем если бы она сама работала на кого-нибудь другого.

(А. Архангельский. *Избранное*.
М., 1946. Стр. 111).

У Фадеева и в мыслях не было учиться у Толстого думать, чувствовать, постигать и осознавать мир «по-толстовски». Он хотел только одного: учиться у Толстого писать.

Но оказалось, что учиться у Толстого писать — это и значит учиться у него главному: отношению к жизни.

Это, кстати сказать, понял Сталин.

Понял не понял, но что-то такое почувствовал:

- ▶ — Ты понимаешь, Корнелий, — говорил мне Фадеев, — беда в том, что Сталин сам когда-то писал стихи. У него плохой художественный вкус, и по этому поводу с ним спорить невозможно. Например, Сталин сделал мне такое замечание о «Молодой гвардии»: «У вас, товарищ Фадеев, слишком длинные фразы. Народ вас не поймет. Вы учитесь писать, как мы пишем указы. Мы десять раз думаем над тем, как составить короткую фразу. А у вас по десять придаточных предложений в одной фразе». Я попытался сослаться, что у Толстого тоже были фразы с придаточными предложениями. Но на это Сталин мне сказал, что мы еще для вас пантеон не построили, товарищ Фадеев, подождите, пока народ построит вам пантеон, тогда и собирайте туда все ваши придаточные предложения.

(К. Зелинский. *Минувшее*. 5. Париж, 1988. Стр. 91).

Художественный вкус у Сталина и в самом деле был неважный: любил романы Ванды Василевской, распорядился — пренебрегая мнением всех членов Комитета по Сталинским премиям — дать премию Панферову. Но раздражение, которое вызвали у него фадеевские длинные фразы с придаточными предложениями, объясняется не этим. И не заботой о том, чтобы роман Фадеева был понятен народу. Он почувствовал — лучше сказать *почуял* — в этих длинных «толстовских» фразах какой-то чужой дух. Толстой, конечно, «мате-

рый человечище», и все такое. Но у советской литературы другие задачи, другие цели, другое назначение.

Фадеев это прекрасно понимал, и его «Молодая гвардия» написана совсем не в том интонационном и стилистическом ключе, в каком был написан «Разгром». Длинных фраз с придаточными предложениями у него там совсем немного.

Изредка вдруг мелькнет что-то прежнее, «толстовское»:

- ▶ Было такое чувство, что вот у него был дом, и его изгнали из этого дома, и он тайком прокрался в родной дом и видит, что новые хозяева расхищают его имущество, захватили грязными руками все, что ему дорого, унижают его родных, а он может только видеть это и бессилён что-либо сделать против этого.

Фомин был мертв потому, что во всех его деяниях и поступках им руководила теперь даже не жажда наживы и не чувство мести, а скрытое под маской чинности и благообразия чувство беспредметной и всеобъемлющей злобы — на свою жизнь, на всех людей, даже на немцев.

Эта злоба исподволь опустошала душу Фомина, но никогда она не была столь страшной и безнадежной, как теперь, потому что рухнула последняя, хотя и подлая, но все же духовная опора его существования. Как ни велики были преступления, какие он совершил, он надеялся на то, что придет к положению власти, когда все люди будут его бояться, а из боязни будут уважать его и преклоняться перед ним, и, окруженный уважением людей, как это бывало в старину в жизни богатых людей, он придет к пристанищу довольства и самостоятельности.

Тесно прижавшись один к другому и склонившись головами, они по очереди читали вслух доклад, и лица их невольно выражали то, что одни испытали сегодня,

сидя у радио, а другие в этом ночном походе по грязи, и выражали то любовное чувство, которое связывало некоторых из них и словно током передавалось другим, и то необыкновенно счастливое чувство общности, которое возникает в юных сердцах при соприкосновении с большой общечеловеческой мыслью, и особенно той, которая выражает самое важное в их жизни сейчас.

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*.
М., 1990. Стр. 306, 333, 383).

Это — рудименты, остаточные проявления его прежнего стиля. И их, — повторяю, — в «Молодой гвардии» совсем немного. Но даже эти редкие, не вытравленные до конца, следы интеллигентской рефлексии Сталина раздражают.

* * *

За тридцать лет своей жизни в литературе Фадеев создал только два законченных романа — «Разгром» и «Молодую гвардию».

Это очень разные книги.

Стилистика «Молодой гвардии», резко отличающаяся от литературной манеры, в какой был написан «Разгром», отражает более глубокое различие между ними. События второго фадеевского романа происходят в другую историческую эпоху, в иных, неизмеримо более трагических обстоятельствах, в другой местности, с другими людьми, совсем непохожими на тех, которые были героями его первой книги.

Но есть между этими двумя его романами и нечто общее. Общее это — один и тот же способ «решения задачи».

Я заключил эти два слова в кавычки, чтобы высветить их непрямой, если угодно, даже метафорический смысл.

Не знаю, как это происходит сейчас, у нынешних школьников, а в мои школьные годы в нашем задачнике — на по-

следних его страницах — к каждой задаче, которую нам надлежало решить, сообщался правильный ее ответ.

Сделано это было для того, чтобы, решив задачу и сверившись с этим ответом, ты убедился в том, что решил ее правильно. Если же оказывалось, что твой ответ не сходится с тем, что в задачнике, это означало, что где-то ты допустил ошибку и все твоё решение пошло наперекосяк. Стало быть, решать задачу теперь надо заново, обнаружить свою ошибку, исправить ее и найти правильное решение.

Законопослушные ученики именно так и делали. А не очень законопослушные сразу заглядывали в ответ и только после этого приступали к решению задачи, заранее зная, к какому результату в ходе решения им надлежит прийти. Совсем же нерадивые, узнав этот правильный ответ, не задумывались о том, как им теперь эту задачу предстоит решать, а сразу, с первых же шагов начинали *подгонять* свое решение к этому, заранее им известному, правильному ответу.

Художественная литература — не математика. Тут оптимальным решением, как правило, оказывается как раз то, которое не сошлось с ответом. (Татьяна, опрокидывая замысел Пушкина, выходит замуж за генерала. Вронский неожиданно для Толстого совершает попытку самоубийства.)

В случае с фадеевской «Молодой гвардией» такого произойти не могло. Правильный «ответ» был известен автору заранее, и нарушить тот ход событий, который был predetermined имеющимися в его распоряжении документами, он не мог. Но из этого еще не следует, что он непременно должен был *подгонять* свое решение к заранее известному ему правильному ответу. А он именно это и делал.

Даже безоглядно поверив врученными ему документам и твердо зная, кто из краснодонцев был героем, а кто предателем, в жестких границах этого знания он был свободен. Но он не воспользовался этой свободой.

Ну а что касается первого его романа, то в работе над ним он был уж совсем свободен.

Но даже и там он этой свободой не воспользовался.

Мечик, которому он заранее определил роль предателя, на протяжении всего романа не совершает ни одного поступка, который вышел бы за рамки этой назначенной ему роли. Образ этого своего героя (антигероя) он выстраивает по той же колодке, по которой в «Молодой гвардии» выстроен образ Выриковой.

Ну а уж о том, чтобы этот его антигерой вдруг, как пушкинская Татьяна, «удрал штуку» и хоть на мгновение вышел из авторской воли, не может быть даже и речи. И герои, и антигерои у Фадеева ходят по струнке. Идут не своими, ими самими пролагаемыми тропками, а послушно катят по рельсам, которые проложил для них автор.

Тем же способом «подгонки» под заранее известный ответ, каким в «Разгроме» был вылеплен Мечик, в «Молодой гвардии» вылеплена, — а лучше сказать сконструирована — фигура главного антигероя этого фадеевского романа Евгения Стаховича.

При всем сходстве — и даже тождестве — построения образа Выриковой в «Молодой гвардии» с построением образа Мечика в «Разгроме», между этими двумя персонажами нет ни внешней (портретной), ни внутренней (психологической) близости. Иное дело Стахович.

Портретно Стахович тоже не похож на Мечика. Да и не только портретно. Слишком удалены они друг от друга во времени. И обстоятельства, в которых с такой определенностью проявился характер Стаховича, — совсем не те, в каких очутился и проявил себя Мечик. Но генетическая близость этих двух, как будто столь разных персонажей не в том, что оба оказались предателями, а в том, что и *мотивация* предательства, и способ ее выражения в обоих этих случаях — одни и те же.

* * *

Вот как Стахович впервые появляется на страницах романа:

- ▶ Среди партизан, оборонявших вершину балки, находился один краснодонский парень, комсомолец Евгений Стахович.

До прихода немцев он учился в Ворошиловграде на курсах командиров ПВХО. Он выделялся среди партизан своим развитием, сдержанными манерами и очень рано сказывающимися навыками общественного работника... И вот слева от себя Иван Федорович увидел его бледное лицо и мокрые растрепавшиеся светлые волосы, которые в другое время небрежными пышными волнами покоились на его горделиво вскинутой голове. Парень сильно нервничал, но из самолюбия не отползал в глубь балки...

(Там же. Стр. 239).

Стахович еще не успел ничего совершить — ни плохого, ни хорошего, — но легкая тень подозрения на него уже брошена. Сразу возникает некоторое сомнение в бойцовой полноценности этого самолюбивого и сильно нервничающего парня.

И сомнение это тут же подтверждается:

- ▶ ...начальник штаба отправил большую часть партизан на сборный пункт, в ложбину, а сам во главе двенадцати человек остался прикрывать отход. Стаховичу было страшно здесь и очень хотелось уйти вместе с другими, но уйти неловко было, и он, пользуясь тем, что никто не следит за ним, залег в кусты, уткнувшись лицом в землю и подняв воротник пиджака, чтобы хоть немного закрыть уши.

(Там же).

И с тою же, сразу возникшей неприязнью, с какой Морозка глядит на Мечика, смотрят на Стаховича и так же настороженно, недоверчиво о нем говорят только что познакомившиеся с ним будущие молодогвардейцы. И так же сразу выясняется, что Стахович им — *чужой*. Точь-в-точь, как Мечик партизанам, в отряде которых он оказался:

► Стахович очень изменился с той поры, как Уля видела его, — возмужал, его бледное тонкое лицо самолюбивого, даже надменного выражения стало как-то значительнее. Он говорил, легко обращаясь с такими книжными словами, как «логика», «объективно», «проанализируем», говорил спокойно, без жестов, прямо держа голову с свободно закинутыми назад светлыми волосами, выложив на стол длинные худые руки...

— У первомайцев найдутся смелые, преданные ребята? — вдруг спросил Стахович Улю, прямо взглянув ей в глаза с покровительственным выражением...

Туркенич и Сережка молчали. Уля чувствовала, что Стахович подавляет всех своей значительностью, самоуверенностью и этими книжными словами, с которыми он так легко обращается...

Любка под села к Уле...

— Тебе Стахович нравится? — на ухо спросила ее Любка. Уля пожала плечами.

— Знаешь, уж очень себя показывает...

Олег в это время сказал:

— За ребятами дело не станет, смелые ребята всегда найдутся, а все дело в организации... Ведь мы же не организация... Вот собрались и разговариваем!.. Нет, поезжай-ка, Люба, дружочек, мы будем ждать. Не просто ждать, а выберем командира, подучимся!..

— Несерьезно все это, — не повышая голоса, сказал Стахович, и самолюбивая складка его тонких губ яв-

ственно обозначилась. — Нет, мы в партизанском отряде не так действовали. Прошу прощения, а я буду действовать по-своему!

(Там же. Стр. 274—275).

Слабый, растерянный, жалкий Мечик не то что не похож на высокомерного, уверенного в себе Стаховича, но даже как будто являет полную ему противоположность. Но наедине с собой оба они думают, чувствуют, а главное, поступают — одинаково.

- ▶ Мечик попал в караул в третью смену, в полночь. Прошло не более получаса, как отшуршали в траве неспешные шаги разводящего, но Мечику казалось, что он стоит уже очень долго. Он был наедине со своими мыслями в большом враждебном мире, где все шевелилось, медленно жило чужой, сторожкой и хищной жизнью.

В сущности, все это время его занимала только одна мысль, которая неизвестно когда и откуда родилась в нем, но теперь он неизменно возвращался к ней, о чем бы ни думал. Он знал, что никому не скажет об этой мысли, знал, что мысль эта чем-то плоха, очень постыдна, но он также знал, что теперь уже не расстанется с ней — всеми силами постарается выполнить ее, потому что это было последнее и единственное, что ему оставалось.

Мысль эта сводилась к тому, чтобы тем или иным путем, но как можно скорее уйти из отряда.

(А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия. М., 1979. Стр. 114).

То, о чем Мечик только думает, Стахович осуществляет:

- ▶ ... пользуясь тем, что никто не следит за ним, залез в кусты, уткнувшись лицом в землю и подняв воротник пиджака, чтобы хоть немного закрыть уши.

В какие-то мгновения не столь оглушающего сосредоточения огня можно было слышать резкие выкрики немецкой команды. Отдельные группы немцев уже вклинились в лес, где-то со стороны Макарова Яра.

— Пора, хлопцы, — вдруг сказал начальник штаба. — Айда, бегом!..

Партизаны разом прекратили огонь и бросились за командиром. Несмотря на то, что неприятель не только не убавил огня, а все усиливал его, партизанам, бежавшим по лесу, казалось, что наступила абсолютная тишина. Они бежали что было силы и слышали дыхание друг друга. Но вот в ложбине они увидели скрытно залегшие одна возле другой темные фигуры своих товарищей. И, пав на землю, уже ползком примкнули к ним.

— А, дай вам боже! — одобрительно сказал Иван Федорович, стоявший у старого граба. — Стахович тут?

— Тут, — не подумав, отвечал начальник штаба. Партизаны переглянулись и не обнаружили Стаховича.

— Стахович! — тихо позвал начальник штаба, вглядываясь в лица партизан в ложбине. Но Стаховича не было.

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*.
Стр. 239—240).

И объясняют они оба мотивы — Мечик своих тайных дезертирских мыслей и намерений, Стахович своего дезертирского поведения — одинаково. Не трусостью, а соображениями если и не высокими, то, во всяком случае, понятными и простительными.

Мечик:

- ▶ — Нет, вы знаете, почему я еще заговорил об этом?.. — начал Мечик с внезапной нервной решимостью, и голос его задрожал. — Вы только не подумай-

те обо мне плохо и вообще не думайте, что я скрываю что-нибудь, — я буду с вами совсем откровенным...

«Сейчас я скажу ему все», — подумал он, чувствуя, что действительно сейчас все скажет, не зная, хорошо ли это или плохо.

— Я заговорил об этом еще потому, что мне кажется, что я никуда не годный и никому не нужный партизан, и будет лучше, если вы меня отправите... Нет, вы не подумайте, что я боюсь или прячу от вас что-нибудь, но ведь я же на самом деле ничего не умею и ничего не понимаю.

(А. Фадеев. *Разгром. Молодая гвардия. Стр. 114*).

Стахович:

► — Я, когда лежал в кустах, я подумал: они идут на прорыв, чтобы спастись, и большая часть, если не все, погибнут, и я, может, погибну вместе с ними, а я могу спастись и быть еще полезен... Это я тогда так подумал... Я теперь, конечно, понимаю, что это была лазейка. Огонь был такой... очень страшно было, — наивно сказал Стахович. — Но все-таки я не считаю, что совершил такое уж большое преступление... Уже стемнело, и я подумал: плаваю я хорошо, одного меня немцы могут и не заметить... Когда все убежали, я еще полежал немного, огонь здесь прекратился, потом начался в другом месте, очень сильный. Я подумал: пора, и поплыл на спине, один нос наружу, — плаваю я хорошо, — сначала до середины, а потом по течению. Вот как я спасся!.. Я подумал: раз я плаваю хорошо, я это использую. И поплыл себе на спине. Вот как я спасся!.. В конце концов, я ж не просто шкуру спасал, я же хотел и хочу бороться с немцами...

(А. Фадеев. *Молодая гвардия. Стр. 323*).

Уверяя Левинсона, что хотел бы уйти из отряда не потому, что боится погибнуть, а только лишь потому, что всем — и

ему в том числе — ясно, что толку от него тут немного, — Мечик не лжет. Он и сам верит в это.

И Стахович тоже как будто не лжет, не выворачивается, уверяя, что сбежал из отряда не потому, что «шкуру спасал», а потому, что хотел бороться с немцами.

Но истинную мотивацию поведения этих своих героев знает — и сообщает нам — автор.

- ▶ Стахович, как все молодые люди его складки, у которых основная двигательная пружина в жизни — самолюбие, мог быть более или менее стоек, мог даже совершить истерически геройский поступок на глазах у людей, особенно людей, ему близких или обладающих моральным весом. Но при встрече с опасностью или с трудностью один на один он был трус.

Он потерял себя уже в тот момент, как его арестовали. Но он был умен тем изворотливым умом, который мгновенно находит десятки и сотни моральных оправданий, чтобы облегчить свое положение...

Жалкий, он не знал, что, выдав Тюленина, он вверг себя в пучину еще более страшных мучений, потому что люди, в руках которых он находился, знали, что они должны сломить его до конца именно теперь, когда он проявил слабость.

Его мучили и отливали водой, и опять мучили. И уже перед утром, потеряв облик человека, он взмолился: он не заслужил такой муки, он был только исполнителем, были люди, которые приказывали ему, пусть они и отвечают! И он выдал штаб «Молодой гвардии» вместе с связными.

(Там же. Стр. 418).

Такова же в основе своей и психологическая подоплека предательства Мечика. После того как случилось то, что случилось, он уже не тешит себя самообманом. Вернее, автор уже окончательно отбрасывает все мнимо сложные мотивы

его поведения, оставляя только один — самый простой, к которому, как он старается это изобразить, в конечном счете все и сводится:

- ...Мечик быстро сел, схватившись за голову, и громко застонал... Он крепко вцепился в волосы исступленными пальцами и с жалобным воем покатился по земле... «Что я наделал... о-о-о... что я наделал, — повторял он, перекатываясь на локтях и животе и с каждым мгновением все ясней, убийственней и жалобней представляя себе истинное значение своего бегства... — Что я наделал, как мог я это сделать, — я, такой хороший и честный и никому не желавший зла, — о-о-о... как мог я это сделать!»

Чем отвратительней и подлее выглядел его поступок, тем лучше, чище, благородней казался он сам себе до совершения этого поступка. И мучился он не столько потому, что из-за этого его поступка погибли десятки доверившихся ему людей, сколько потому, что несмываемо-грязное, отвратительное пятно этого поступка противоречило всему тому хорошему и чистому, что он находил в себе.

Он машинально вытаскивал револьвер и долго с недоумением и ужасом глядел на него. Но он почувствовал, что никогда не убьет, не сможет убить себя, потому что больше всего на свете он любил все-таки самого себя — свою белую и грязную немощную руку, свой стонущий голос, свои страдания, свои поступки — даже самые отвратительные из них. И он с вороватым тихоньким паскудством, млея от одного ощущения ружейного масла, стараясь делать вид, будто ничего не знает, поспешно спрятал револьвер в карман...

«Я не хочу больше переносить это», — подумал Мечик с неожиданной прямоотой и трезвостью, и ему стало очень жалко самого себя. «Я не в состоянии больше вынести это, я не могу больше жить такой низкой, не-

человеческой, ужасной жизнью», — подумал он снова, чтобы еще сильнее разжалобиться и в свете этих жалких мыслей схоронить собственную наготу и подлость.

Он все еще осуждал себя и каялся, но уже не мог подавить в себе личных надежд и радостей, которые сразу зашевелились в нем, когда он подумал о том, что теперь он совершенно свободен и может идти туда, где нет этой ужасной жизни и где никто не знает о его поступке... Мечик вынул револьвер и далеко забросил его в кусты. Потом он отыскал родничок, умылся и сел возле него...

«А, не все ли равно?» — вдруг подумал Мечик с той прямоотой и трезвостью, которую он теперь сам умел находить под ворохом всяких добрых и жалостливых мыслей и чувствований.

(А. Фадеев. *Разгром. Молодая гвардия.* М., 1979. Стр. 156—157).

Как и Мечик, Стахович — человек «с гнильцой». И как у Мечика, эта его «гнильца» имеет социальные корни.

Мечик сразу, с первого своего появления на страницах романа обозначен там как инородное тело среди партизан. Он изначально им **чужой**. Чужой социально (гнилой интеллигент) и политически (не большевик, а эсер-максималист).

О Стаховиче ничего такого вроде не скажешь. Социально он отнюдь «не чужой» в среде комсомольцев-подпольщиков. Фадеев даже специально это оговаривает:

- ▶ Стахович и в самом деле не был чужим человеком. Он не был и карьеристом, ищущим личной выгоды. А он был из породы молодых людей, с детских лет приближенных к большим людям и испорченных некоторыми внешними проявлениями их власти в такое время своей жизни, когда он еще не мог понимать истинного содержания и назначения народной власти и

того, что право на эту власть заработано этими людьми упорным трудом и воспитанием характера.

Способный мальчик, которому все давалось легко, он был еще на школьной скамье замечен большими людьми в городе, замечен потому, что его братья, коммунисты, тоже были большие люди. С детства вращаясь среди этих людей, привыкнув в среде своих сверстников говорить об этих людях, как о равных себе, поверхностно начитанный, умеющий легко выражать устно и письменно — не свои мысли, которых он еще не сумел выработать, а чужие, которые он часто слышал, он, еще ничего не сделав в жизни, считался среди работников районного комитета комсомола «активистом». А рядовые комсомольцы, лично не знавшие его, но видевшие его на всех собраниях только в президиуме или на ораторской трибуне, привыкли считать его не то районным, не то областным работником.

Не понимая истинного содержания деятельности тех людей, среди которых он вращался, он прекрасно разбирался в их личных и служебных отношениях, кто с кем соперничает и кто кого поддерживает, и привык считать, что искусство власти состоит не в служении народу, а в искусном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей.

Он перенимал у этих людей их манеру насмешливо-покровительственного обращения друг с другом, их грубоватую прямоту и независимость суждений, не понимая, какая большая и трудная жизнь стоит за этой манерой. И вместо живого, непосредственного выражения чувств, так свойственного юности, он сам был всегда сдержан, говорил ровным, тихим голосом, особенно если приходилось говорить по телефону с незнакомым человеком, и вообще умел в отношениях с товарищами подчеркнуть свое превосходство.

Так с детских лет он привык считать себя незаурядным человеком, для которого не обязательны обычные правила человеческого общежития.

Почему, в самом деле, он должен был погибнуть, как другие, а не спастись, как Иван Федорович?..

(Там же. Стр. 323–324).

Вот он — *социальный генезис* предательства Стаховича. Имя этой социальной среды, которая его сформировала, — номенклатура.

Слово это Фадееву наверняка было знакомо. Но он, конечно, не вкладывал в него тот смысл, какой вкладываем в него сегодня мы, давно уже прочитавшие книгу **Михаила Восленского** — «**Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза**» (*Overseas Publications Interchange Ltd/ London. 1990*), а еще раньше — книгу Милована Джиласа «Новый класс». Но кое-что про этот «новый класс» Фадеев уже понимал (тем более что и сам к нему принадлежал). И следы этого понимания довольно ясно проглядывают в только что прочитанном нами тексте:

- ▶ ...он прекрасно разбирался в их личных и служебных отношениях, кто с кем соперничает и кто кого поддерживает, и привык считать, что искусство власти состоит не в служении народу, а в искусном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей.

При этом, конечно, предполагается, что все это — только внешняя сторона явления, за которой юный Стахович — отчасти по недомыслию, отчасти в силу своей испорченности — не видит

- ▶ ...истинного содержания деятельности тех людей, среди которых он вращался... Истинного содержания и назначения народной власти и того, что право на эту

власть заработано этими людьми упорным трудом и воспитанием характера...

Но все эти извилистые оговорки не меняют сути дела. Суть же эта состоит в том, что Стахович так же *классово чужд* Олегу Кошевому, Уле Громовой, Любке Шевцовой и Сережке Тюленину, как Мечик — Морозке, Метелице и другим партизанам, среди которых волею обстоятельств он оказался.

К такому «ответу» Фадеев пришел самостоятельно. Он искренне считал его правильным, а потому не видел ничего зазорного в том, чтобы подгонять под этот, заранее известный ему ответ всё «решение задачи».

Так же обстояло дело и с другим, главным «ответом».

Из документов, которые были ему вручены комиссией ЦК ВЛКСМ, с несомненностью следовало, что никто юными подпольщиками не руководил. Коммунисты, оставленные в Краснодаре для подпольной работы, сразу же провалились. Что поделаешь! Так случилось. Против правды не попрешь.

Этот ответ он искренне считал правильным. Но оказалось, что правильным надлежит считать совсем другой ответ.

Конечно, он был этим слегка обескуражен. Но и сомневаться в правильности этого нового ответа, к которому ему теперь предстояло подгонять свой роман, он не мог. Известно ведь, КЕМ этот новый ответ был ему подсказан.

- ▶ Александр Александрович сказал, что не меняет текста, а пишет новые главы — о старых большевиках, о роли партийного руководства. Помолчав, он добавил: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот... Впрочем, может быть, во мне засело преклонение перед партизанщиной... Время трудное, а Сталин знает больше нас с вами...»

(И. Эренбург. *Люди, годы, жизнь*.
Т. 3. М., 1990. Стр. 125).

Механизм подгонки решения к заранее известному ответу, как мы теперь уже знаем, был усвоен и разработан им давно. Так не все ли, в конце концов, равно — тот или этот ответ считать правильным? Сталину виднее, он лучше знает.

Именно это имел я в виду, говоря, что Фадеев не врал, уверяя Д. Бузина, что за переделку романа он взялся *охотно*.

Не следует, однако, думать, что эта переделка далась ему легко и что роману при этом не был нанесен весьма существенный урон.

* * *

Первый вариант «Молодой гвардии» своим появлением на свет тоже был обязан Сталину. На этот раз, правда, не прямо, а косвенно. В отличие от второго варианта он не был Фадееву Сталиным заказан, но именно Сталин создал ситуацию, в которой этот фадеевский роман только и мог быть написан.

ЦК ВЛКСМ предложил Фадееву написать книгу о краснодонском комсомольском подполье в августе 1943 года. Фадеев принял это предложение, поехал в Краснодар, к материалам, собранным специальной комиссией ЦК ВЛКСМ, добавил и свои собственные и вернулся в Москву, пребывая в полной уверенности, что в сравнительно короткий срок, без отрыва от своих главных обязанностей выполнит этот «социальный заказ комсомолии».

Но он никогда не выполнил бы его — во всяком случае, в той романной форме и том объеме, в каком он это осуществил, — если бы не то, что в ноябре того же года Сталин, гневно отреагировав на какой-то очередной донос, вдруг не отправил его в отставку. Это были те самые два года, на которые Фадеев был отстранен от руководства Союзом писателей и заменен Н. Тихоновым. Именно за эти два года он и создал свой роман.

Десять лет спустя он вспоминал об этой своей отставке как о милостиво дарованном ему благоденствии.

- Если бы в 1943 году я не был освобожден от всего, не было бы на свете романа «Молодая гвардия». Он смог появиться на свет, этот роман, только потому, что мне дали возможность отдать роману всю мою творческую душу.

(А. Фадеев. *Письма*. М., 1973. Стр. 426).

Но осенью 43-го он воспринял эту свою отставку как тяжелейший удар и поначалу пребывал в глубочайшей депрессии, от которой его спасла, из которой вытащила вошедшая к тому времени уже в новую фазу работа над романом.

► ИЗ ПИСЬМА А.А. ФАДЕЕВА М.И. АЛИГЕР

21 ноября 1944 г.

Роман, который и вообще-то в последний месяц, в силу обострившегося душевного противоречия и полной невозможности для меня — в силу характера моего — жить в душевном противоречии, почти не двигался, — роман теперь и вовсе отодвинулся куда-то...

И я поступил так, как только и мог поступить в этих обстоятельствах: я сел писать. Дело в том, что, как бы ни складывалась моя жизнь, каким бы я сам ни выглядел перед Богом и людьми, это самое настоящее, большое, правдивое, сильное, глубоко сердечное, что я могу делать для людей. И я должен был преступить через все и прежде всего делать это, чтобы это не погибло в душе моей и для меня, и для людей. Я знал и знаю это теперь, что, может быть, я вообще должен был жить иначе, чем складывалась моя жизнь до сих пор, что, очевидно, в конкретной ситуации я тогда мог и должен был еще что-то сделать и сказать... но я лично только запутаюсь душой и погибну в том противоречии, в каком я живу, если я не преступлю через него и не начну писать. И я стал писать. И что бы там ни думали обо

мне люди и что бы я, действительно, ни сделал в своей жизни дурного, я счастлив, что я нашел в себе силы поступить именно так...

Моя работа, общественное и моральное значение которой я теперь сам не имею права недооценивать, эта моя работа по многу часов в день (в известной откровенности от семейных проблем и обстоятельств), наедине с природой и Господом Богом, прежде всего сказала мне, что в моей жизни я всегда и главным образом был виноват перед ней, перед работой. Всю жизнь, в силу некоторых особенностей характера, решительно всегда, когда надо было выбирать между работой и эфемерным общественным долгом, вроде многолетнего бесплодного «руководства» Союзом писателей, между работой и той или иной семейной или дружеской обязанностью, между работой и душевным увлечением, между работой и суетой жизни, — всегда, всю жизнь получалось так, что работа отступала у меня на второй план. Я прожил более чем сорок лет в предельной, непростительной, преступной небрежности к своему таланту, в том неуважении к нему, которое так осудил Чехов в известном письме к своему брату.

Как ни странно это, но от сознания своих слабостей, недостатков, дурных поступков я часто чувствовал и чувствую себя виноватым перед Богом и людьми, но я никогда не чувствовал самой главной и самой большой не только в личном, но в общественном, даже государственном смысле своей вины — вины перед своим талантом, который не мне принадлежит.

(А. Фадеев. *Письма*.
М., 1967. Стр. 192—193).

Из этого искреннего признания очень в то время близкому ему человеку ясно видно, что работа над «Молодой гвардией» была для него не просто очередным государ-

ственным заданием, не «социальным заказом комсомолии», а делом глубоко личным; попыткой вернуться к себе, обрести себя истинного, утерянного и вот — вновь обретаемого.

Это вдруг проснувшееся в нем сознание, что он «не на той улице живет», не тем занимается, для чего был «создан Богом», губит — быть может, даже уже загубил — свое дарование, помимо всего прочего, возникло у него еще и потому, что сюжет романа, в работу над которым он в то время уже втянулся, был ему внутренне близок.

Это был ЕГО сюжет. Вернее, ЕГО ТЕМА.

Сюжет писателю может быть подсказан, подарен. Но ТЕМУ ни подсказать, ни подарить нельзя. У каждого писателя она — своя. Иначе он не писатель.

Гоголь умолял Пушкина:

- ▶ Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русской чисто анекдот. Рука дрожит написать тем временем комедию... Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее чорта.

(Н. Гоголь. *Полное собрание сочинений*.
Т. 10. *Письма*. 1820—1835.
М., 1940. Стр. 375).

Подарив ему сюжет «Мертвых душ» (не в ответ на это письмо, а раньше), Пушкин не сомневался, что из этого подаренного ему анекдота у Гоголя выйдет что-нибудь «смешнее чорта». Похоже, что не сомневался в этом и сам Гоголь:

- ▶ Начал писать Мертвых душ. Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон.

(Из того же письма).

Но вышло иначе.

Первые главы поэмы Гоголь еще успел прочитать Пушкину, и тот, совсем было уже настроившись на юмористический лад и приготовившись смеяться до упаду,

- ▶ ...начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, и наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!»

(Н. Гоголь. Полное собрание сочинений.

Т. 6. Мертвые души.

М., 1951. Стр. 900).

Сюжет Гоголю подарил он. Но ТЕМА «Мертвых душ» была ГОГОЛЕВСКАЯ, а не пушкинская. И если бы тот же пушкинский анекдот использовал какой-нибудь другой писатель — положим, Достоевский, — книга вышла бы совсем другая.

Фадеев, конечно, не Гоголь, а Комиссия ЦК ВЛКСМ, подарившая ему сюжет «Молодой гвардии», — не Пушкин. Но и тут тоже, если бы над этим сюжетом стал работать какой-нибудь другой писатель — Василий Гроссман, или Платонов, или хотя бы даже Казакевич, — книга вышла бы совсем другая.

Сюжет «Молодой гвардии» Фадееву был подсказан. Можно даже сказать — заказан. Но тема этого романа была — ЕГО, ФАДЕЕВСКАЯ.

Она была Фадееву не просто внутренне близка. В каком-то смысле она была для него даже автобиографична. Недаром в разговоре с Эренбургом он сослался на свое «преклонение перед партизанщиной». Она была ему близка именно тем, что вызвало осуждение Сталина. Тем, что краснодонские комсомольцы действовали САМИ, САМОСТОЯТЕЛЬНО, по велению души, а не по приказу какого-нибудь подпольного обкома или райкома.

Именно так, наверно, это было и с ним самим в юности, когда он партизанил на Дальнем Востоке. И лет тогда ему было столько же, сколько его героям-краснодонцам.

Милован Джилас, рассказывая об одной из первых своих встреч со Сталиным (это было, когда он еще оставался верующим ортодоксальным коммунистом), вспоминает, что с особым интересом он отнесся тогда к многочисленным высказываниям вождя на литературные темы: о Горьком, о Шолохове, о Симонове. По поводу некоторых его замечаний и соображений он даже осмелился вступить с ним в острый спор. Упомянул он в этих своих воспоминаниях и Фадеева. Но только затем, чтобы подчеркнуть, что на эту тему высказываться ему не захотелось:

- ▶ Дискуссии по поводу «Молодой гвардии» Фадеева, которого тогда уже критиковали из-за недостаточной партийности ее героев, я избегал. Мои упреки в ее адрес были как раз противоположного свойства – схематизм, отсутствие глубины, банальность.

(В. Невежин. *Застольные речи Сталина*. М.—СПб., 2003. Стр. 496).

С этой нелюбезной – но и непредвзятой – оценкой фадеевского романа нельзя не согласиться.

Художественная его уязвимость особенно бросается в глаза в прямой речи его персонажей, в любом из их диалогов и монологов. В них нет ни единой черты какой бы то ни было речевой характеристики или индивидуальности. Это речь не живых людей, а манекенов, изъясняющихся безликими, готовыми, штампованными, газетными словесными оборотами:

- ▶ Олег стоял перед фельдкомендантом Клером, стоял с перебитыми руками, с запавшими щеками, отчего резче обозначились его скулы. Виски у него были совершенно седые. Но большие глаза его из-под золоти-

стых ресниц смотрели с ясным, с еще более ясным, чем всегда, выражением.

Перед Клером, закосневшим в убийствах, потому что он ничего другого не умел делать в жизни, стоял не шестнадцатилетний мальчик, а молодой народный вождь, который не только ясно видел свой путь в жизни, а видел путь своего народа среди других и путь всего человечества. И он говорил:

— Страшны не вы, — вы уже разбиты и обречены, — страшно то, что вас породило и порождает после того, как люди так давно существуют на земле и достигли таких ясных вершин в области мысли и труда... Язва людоедства разъедает души уже не только отдельных людей, а целых народов, она угрожает существованию человечества... Эта язва людоедства, более страшная, чем чума, будет разъедать мир до тех пор, пока благами мира будут пользоваться не те люди, которые их создают, пока неограниченной властью над людьми будут пользоваться выродки человечества, сосредоточившие в своих руках все богатства мира... Напрасно эти господа в белоснежном белье надеются уйти от суда истории. Забрызганные кровью, они уже стоят перед его грозными очами... Я жалею только о том, что не смогу больше бороться в рядах своего народа и всего человечества за справедливый, честный строй жизни на земле. Я шлю мой последний привет всем, кто борется за него!..

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*.
Стр. 464—465).

Фадеев не мог не понимать, не чувствовать, как искусственна, бесконечно далека от правдоподобия эта выпренимая предсмертная речь измученного пытками шестнадцатилетнего подростка с перебитыми руками и седыми висками. Но тут не просто очевидная литературная беспомощность маститого автора. Скорее — сознательная установка на пате-

тику, на театральность, принципиально исключающую всякую реалистическую, бытовую достоверность.

Писателя, как мы знаем, надо судить судом, им самим над собою признанным. Но тут, каким судом ни суди, результат очевиден. Сознательная установка на театральную патетику обернулась установкой на антихудожественность.

И тем не менее...

Есть все-таки в этом первом варианте фадеевского романа и нечто другое. Все-таки бьется в нем какой-то живой нерв. И подкупает — не может не подкупить! — еще одна, начисто исчезнувшая во втором варианте, его особенность: *установка на правду*.

* * *

Эта установка на правду — на то, *как было в жизни*, — особенно бросается в глаза в сохранившихся черновых набросках Фадеева к его роману:

- ▶ В то время, когда Матвей Шульга, руководясь своими бумажками, не смог накануне найти пристанище у Ивана Гнатенко, а попросту Кондратовича... и теперь сидел на квартире Игната Фомина, другого из указанных ему по этой бумажке хозяина конспиративной квартиры, человека, которого он не знал и который внушал ему тайное подозрение, — Сережка Тюленин, и Витька, и старая сиделка Луша, и другие такие же маленькие и незаметные простые люди в течение нескольких часов нашли семьдесят квартир для раненых и не встретили ни одного отказа, потому что они обращались к таким же маленьким простым людям, как они сами, которых они знали так же, как самих себя.

(ЦГАЛИ, ф. 1628, оп. 1, д. 75.

Цит. по кн.: А. Фадеев. *Молодая гвардия*. М., 1990. Стр. 11).

Тут не только подчеркнуто, что юные подпольщики действуют самостоятельно, не нуждаясь ни в каком партийном руководстве. Их деятельность **прямо противопоставлена** поведению партийца, руководствовавшегося «своими бумажками» и потому сразу провалившегося.

Этот абзац Фадеевым был вычеркнут, в печатный текст романа он не вошел. Но, как заметил однажды кто-то из классиков, — **вычеркнутое остается**.

В печатном тексте романа исчезли резкие формулировки. Но коллизия, намеченная в этом абзаце, не только сохранилась, но даже была развернута в одну из главных сюжетных линий романа.

Приведу еще один небольшой отрывок из черновых фадеевских набросков к роману. Он сохранился и в печатном его тексте, но в несколько смягченном виде. А в черновиках этот горький монолог Елизаветы Алексеевны Осьмухиной, обращенный к тому же Шульге, выглядел так:

- ▶ ...Ведь вы же считались власть наша, для простых людей, а оказалось, что вам дороже машины, вещи, всякие бумаги да чиновники, — как подумаю, извините меня, как вы и брат мой тогда боролись за правду, а на что вышло? Всякая сволочь выезжала отсюда, мебель с собой везла, грузовики барахла, а кому какое дело было до нас, простых людей, обывателей, как вы говорите?.. А потом удивляются, что есть такие люди, что идут к немцу служить, а я так не удивляюсь, человек <неразборч> разуверился во всем, вот и идет, думает, лучше будет.

(Там же. Стр. 9).

Еще один отрывок из черновых вариантов романа:

- ▶ Ночью секретарь областного комитета партии был вызван по телефону, и ему было сообщено, что наши войска отходят от города и немцы уже занимают город

и что надо взрывать шахты, взорвать все, что можно, и выступить самим...

Бюро областного комитета, собравшись тут же ночью, быстро избрало пункт, за Донцом, где должен будет теперь обосноваться областной комитет и краснодонские районные и городские организации, исходя из предположения, что новый рубеж обороны будет создан на Донце...

Все это дошло до низовых организаций, где были выделены люди, чтобы осуществить это...

...В город уже проник слух о том, что дела плохи и власти уезжают, началось стихийное бегство из города, и, как это часто бывает в трудные минуты, многие из тех людей, которым поручено было организовать остальных, первыми были охвачены этой стихией бегства, но в городе все еще был порядок, поскольку власть еще оставалась на месте. Но уже в 10 часов утра было сообщено по телефону в областной комитет, что и его руководящие работники и <неразб> работники всех городских и районных организаций должны немедленно садиться в машины и мчаться на восток, ибо дело решают уже буквально часы, а может быть минуты, в противном случае вся руководящая головка может очутиться в немецком плену...

Наступил момент, когда власть в городе прекратилась. Люди, осуществлявшие власть, не только сами сели на машины и уехали, но перед этим они дали приказ сверху донизу, всем учреждениям, уже не заботиться ни о чем, кроме себя. И теперь все люди вольны были действовать по собственному разуму, совести или инстинкту. И тогда началась паника. Но еще в течение десяти часов десятки и сотни людей заботились не о том, чтобы спасти себя, а чтобы спасти и вывезти порученных им людей и имущество, проявляя при этом деле недюжинную отвагу и волю, недюжинную сметку, умение орга-

низовать людей и повести их за собой... И еще больше поднялось таких людей и среди самых рядовых людей, которым никто ничего не поручал, но в сердце которых всегда живет забота о народном добре и о самом народе, и в них раскрывается скопленный годами или природный гений организации, которого раньше никто не замечал, и он пропадал втуне. В тяжелую годину жизни родины этим безымянным людям, коих в нашем народе множество и которые и представляют лицо нашего народа, именно им обязаны народ и страна спасением огромного народного имущества и народных жизней.

И очень много было таких, кто только считался руководителем, а в душе не болел за народ и народное добро, а болел только о своем благополучии, — такие, побросав все, бежали первыми, и если в чем они и проявили себя как руководители, так только в том, что привычка народа видеть их во главе только усилила панику в народе, когда они увидели, что эти люди являются самым видным олицетворением паники.

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*.
Стр. 487—488).

Опять перед нами то же противопоставление. Народное добро и охваченных паникой людей спасают те, кому это никто не поручал, но в чьих сердцах жило сознание своего человеческого долга и в ком вдруг обнаружился «природный гений организации», которого раньше никто не замечал. А те, кому это было поручено, бросили людей, вверенных их попечению, и бежали первыми, став «самым видным олицетворением паники».

Этот отрывок Фадеев не осмелился сохранить в беловом тексте романа. Но, как уже было сказано, вычеркнутое остается. И сцены паники, охватившей обывателей Краснодона, и в печатном варианте первой редакции «Молодой гвардии» достаточно выразительны:

► По всем кварталам города, примыкавшим к шахте № 1-бис и отделенным от центра города глубокой балкой с протекающим по дну ее грязным, заросшим осокой ручьем и сплошь застроенной глинобитными, лепящимися друг к другу мазанками, — по всем этим кварталам, как вихрь, гуляла паника...

Люди бежали к шахте, но там, видно, стояла цепь милиционеров и не пускала, и навстречу катился другой поток людей, бежавших от шахты, в который вливались с улиц со стороны рынка разбегавшиеся с базара женщины-колхозницы, старики, подростки с корзинами и тачками с зеленью и снедью, повозки, запряженные лошадьми, и возы, запряженные волами, с хлебом и овощами, женщины-покупательницы со своими корзинками и сетками, прозванными досужими людьми «авоськами».

Все население высыпало из своих домиков в палисадники, на улицы, — одни из любопытства, другие выбрались вовсе целыми семьями с узлами и мешками, с тачками, груженными семейным добром, где среди узлов сидели малые дети, — иные женщины несли на руках младенцев. И эти уходившие на восток семьи образовали третий поток, стремившийся выбиться на дороги на Каменск и на Лихую.

Все это кричало, ругалось, плакало, тархтело, звенело. Тут же, продираясь сквозь месиво людей и возов, ползли грузовики с военным или гражданским имуществом, рыча моторами, издавая истошные гудки. Люди пытались забраться на грузовики — их сталкивали. Все это вместе и производило тот странный слитный протяжный звук, издали показавшийся девушкам стоном.

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*. Стр. 38).

А вот как выглядит тот же эпизод в новом, исправленном, переработанном варианте фадеевского романа:

► Кварталы города, примыкавшие к шахте № 1-бис, были отделены от центра города глубокой балкой с протекающим по дну ее грязным, заросшим осокой ручьем. Весь этот район, если не считать балки с лепящимися по ее склонам вдоль ручья глинобитными мазанками, был, как и центр города, застроен одноэтажными каменными домиками, рассчитанными на две-три семьи. Домики крыты были черепицей или этернитом, перед каждым был разбит палисадник — частью под огородом, частью в клумбах с цветами. Иные хозяева вырастили уже вишни, или сирень, или жасмин, иные высадили рядом, внутри, перед аккуратным крашеным заборчиком, молодые акации, кленочки. И вот среди этих аккуратных домиков и палисадников теперь медленно текли колонны рабочих, служащих, мужчин и женщин, перемежаемые грузовиками с имуществом предприятий и учреждений Краснодона...

Все так называемые неорганизованные жители высыпали из своих домиков. С выражением страдания, а то и любопытства одни смотрели из своих палисадников на уходящих...

Люди в колоннах шли молча с сумрачными лицами, сосредоточенными на одной думе, настолько поглотившей их, что казалось, люди в колоннах даже не замечают того, что творится вокруг. И только шагавшие обок руководители колонн то останавливались, то забегали вперед, чтобы помочь пешим и конным милиционерам навести порядок среди беженцев, запрудивших улицы и мешавших движению колонн.

(А. Фадеев. *Разгром. Молодая гвардия*. М., 1979. Стр. 175—176).

Вместо жуткой, трагической картины охваченного паникой человеческого месива появились стройные колонны рабочих, покидающих город организовано, под присмотром

блудущих строгую организованность и порядок бдительных «колонновожатых».

В первой редакции «Молодой гвардии» в сцены охватившей жителей Краснодона паники естественно вписывался эпизод первого появления на страницах романа одной из главных его героинь — Любки Шевцовой:

- — Балда! Ты что ж людей давишь?.. Видать, сильно у тебя ослабла гайка, коли ты людей не можешь переждать, детишек давишь! Куда? Куда?.. Ах ты, балда — новый год! — задрал носик и посверкивая голубыми в пушистых ресницах глазами, кричала она водителю грузовика, — водитель, как раз для того, чтобы люди схлынули, застопорил машину напротив калитки.

Грузовик был полон имущества милиции и — милиционеров в количестве значительно большем, чем требовалось бы для охраны имущества.

— Вон вас сколько поналазило, блюстители! — словно обрадовавшись этому новому поводу, закричала Любка. — Нет того, чтобы народ успокоить, сами — фью-ить!.. — И она сделала неповторимое движение своей маленькой ручкой и свистнула, как мальчишка. — Ряшки вон какие наели!..

— И чего звонит, дура! — отгрызнулся с грузовика какой-то милицкий начальник, сержант.

Но, видно, он сделал это на беду себе.

— А, товарищ Драпкин! — издевательски приветствовала его Любка. — Откуда это ты выискался, красный витязь? Тебя небось советская власть поставила порядок наводить, а ты залез в машину и кричишь на всю улицу, как попка-дурак...

— Молчи, пока глотку не заткнули! — вспыхнул вдруг «красный витязь», сделав движение, будто хочет выпрыгнуть.

— Да ты не выпрыгнешь, побоишься отстать! — не повышая голоса и нисколько не сердясь, издевалась Любка. — Ты небось ждешь не дождешься, пока за город выедешь, тогда, небось, все свои значки да кантики пообрываешь, чтобы никто в тебе не признал советского милиционера... Счастливого пути, товарищ Драпкин! — так напутствовала она побавровевшего от ярости, но, действительно, так и не выпрыгнувшего из тронувшейся машины милицмейского начальника.

(А. Фадеев.
Молодая гвардия. Стр. 40).

Во втором, исправленном варианте романа Фадеев этот эпизод сохранил. Но теперь он уже не только не вписывался в общую картину, но даже с ней контрастировал. И поэтому пришлось автору его «слегка» подредактировать.

Исчезла авторская реплика:

- ▶ Грузовик был полон имущества милиции и — милиционеров в количестве значительно большем, чем требовалось бы для охраны имущества.

Вместо нее появилась другая:

- ▶ Грузовик был полон имущества милиции под охраной нескольких милиционеров.

И еще одну реплику Фадееву тут пришлось подправить. Вот эту:

- ▶ — И чего звонит, дура! — огрызнулся с грузовика какой-то милицмейский начальник, сержант.

В новом, исправленном варианте она выглядела уже так:

- — И чего звонит, дура! — обиженный этой явной несправедливостью, огрызнулся с грузовика милицкий начальник, сержант.

(А. Фадеев. *Разгром. Молодая гвардия. Стр. 177*).

Совсем исчезла в новом варианте романа самая злая Любкина реплика:

- — Ты небось ждешь не дождешься, пока за город выедешь, тогда, небось, все свои значки да кантики по-обрываешь, чтобы никто в тебе не признал советского милиционера...

В результате этой авторской переработки вся сцена обрела совершенно иной смысл.

В первом варианте романа она не оставляла сомнений, что все издевательские Любкины реплики бьют точно в цель: милиция драпает вместе со всем городским начальством. И поэтому даже ядовитое предположение Любки, что, выехав за город, этот «красный витязь» и впрямь по-обрывает все свои значки и кантики, чтобы никто не признал в нем советского милиционера, кажется не таким уж неправдоподобным. В новом же варианте для таких предположений нет решительно никаких оснований. Сержант действует так, как ему положено действовать, и для всей этой Любкиной словесной атаки нет решительно никаких реальных оснований. Разве только ее острый язычок и задиристый характер.

* * *

Рассказывая Эренбургу о том, как он перерабатывает свой роман, Фадеев — помните? — сказал ему, что «не меняет текста, а пишет новые главы».

Поначалу он, наверно, так и хотел. Но — не вышло. Пришлось и старый текст менять, редактировать, вносить в него исправления. И, как видим, весьма существенные.

В процессе работы над вторым вариантом он увидал, что не менять старый текст он не сможет. Но даже если бы ему удалось совсем его не тронуть, результат был бы тот же.

Он сам прекрасно это понимал. И так и сказал в том же разговоре тому же Эренбургу: «Конечно, даже если мне удастся, роман будет уже не тот».

Десять листов нового, по сталинскому заказу (в сущности, приказу) написанного текста сами по себе, какими бы они ни были, не могли не изменить соотношение частей романа, то есть перекосить, искалечить, сделать неузнаваемым первоначальный его замысел. Даже если Фадеев поверил (заставил себя поверить) Сталину, что так будет правильнее («Время трудное, а Сталин знает лучше нас с вами»), новый, исправленный вариант романа был обречен стать непохожим на первый. Даже и в этом случае это был бы уже НЕ ЕГО роман. Но надежда на то, что ему удастся при этом не тронуть старый текст, была иллюзорна. Не трогать, не менять его он не мог по той простой причине, что смысл — весь пафос — нового текста был не просто далек от смысла старого: он был ему **противоположен**.

В первом варианте романа город остался без власти. Начальство бежало, не забыв при этом о своем барахле и даже о мебели. О судьбе остающихся в городе «обывателей» никто не думал, — они были предоставлены самим себе.

В новом варианте все это выглядит совершенно иначе:

- ▶ В то время, когда на окраинах города все было охвачено этим волнением отступления и спешной эвакуации, ближе к центру города все уже несколько утихло, все выглядело более обыденно. Колонны служащих, беженцы с семьями уже схлынули с улиц. У подъездов учреждений или во дворах стояли в очередь подводы,

грузовые машины. И люди, которых было не больше, чем требовалось для дела, грузили на подводы и на машины ящики с инвентарем и мешки, набитые связками документов. Слышен был говор, негромкий и как бы нарочито относящийся только к тому, чем люди занимались. Из распахнутых дверей и окон доносился стук молотков, иногда — стрекот машинок: наиболее педантичные управляющие делами составляли последнюю опись вывозимого и брошенного имущества. Если бы не дальние раскаты артиллерийской стрельбы и сотрясающие землю глубокие толчки взрывов, могло бы показаться, что учреждения просто переезжают из старых помещений в новые.

В самом центре города, на возвышенности, стояло новое одноэтажное здание с раскинутыми крыльями, обсаженное по фасаду молодыми деревьями. Оно видно было людям, покидавшим город, с любого пункта. Это было здание райкома и районного исполкома, а с прошлой осени в нем помещался и Ворошиловградский областной комитет партии большевиков.

Представители учреждений, предприятий беспрерывно входили в здание через главный вход и почти выбегали из здания. Неумолчные звонки телефонов, ответные распоряжения в трубку, то нарочито сдержанные, то излишне громкие, доносились из раскрытых окон. Несколько легковых машин, гражданских и военных, выстроившись полукругом, поджидалоazole главного подъезда. Последним в ряду машин стояла сильно пропыленный военный вездеходик. С заднего сиденья его выглядывало двое военных в выцветших гимнастерках — небритый майор и громадного роста молодой сержант. В лицах и позах шоферов и этих военных было одно неуловимо общее выражение: они ждали...

В это время в большой комнате, в правом крыле здания, разыгрывалась сцена, которая по внутренней своей силе могла бы затмить великие трагедии древних, если бы по внешнему своему выражению не была так проста. Руководители области и района, кто должен был сейчас уехать, прощались с руководителями, кто оставался завершить эвакуацию и с приходом немцев бесследно исчезнуть, раствориться в массе, перейти в подполье.

Ничто так не сближает людей, как пережитые вместе трудности.

Все время войны, от первого ее дня до нынешнего, было слито для этих людей в один непрерывный день труда такого нечеловеческого напряжения, какое под силу только закаленным, богатырским натурам.

Все, что было наиболее здорового, сильного и молодого среди людей, они отдали фронту. Они перевели на восток наиболее крупные предприятия, которые могли бы попасть под угрозу захвата или разрушения: тысячи станков, десятки тысяч рабочих, сотни тысяч семейств. Но, как по волшебству, они тут же изыскали новые станки и новых рабочих и снова вдохнули жизнь в опустевшие шахты и корпуса.

Они держали производство и всех людей в том состоянии готовности, когда по первой же необходимости все снова можно было поднять и двинуть на восток. И в то же самое время они безотказно выполняли такие обязанности, без которых немислима была бы жизнь людей в советском государстве: кормили людей, одевали их, учили детей, лечили больных, выпускали новых инженеров, учителей, агрономов, держали столовые, магазины, театры, клубы, стадионы, бани, прачечные, парикмахерские, милицию, пожарную охрану.

Они трудились на протяжении всех дней войны, как если бы это был один день. Они забыли, что у них

может быть своя жизнь: семьи их были на востоке. Они жили, ели, спали не на квартирах, а в учреждениях и предприятиях, — в любой час дня и ночи их можно было застать на своих местах... С предельным напряжением они трудились на последней части Донбасса, потому что она была последняя. Но до самого конца они поддерживали в людях это титаническое напряжение сил, чтобы вынести все, что война возложила на плечи народа. И если уже ничего нельзя было выжать из энергии других людей, они вновь и вновь выжимали ее из собственных душевных и физических сил, и никто не мог бы сказать, где же предел этим силам, потому что им не было предела.

Наконец пришел момент, когда нужно было покинуть и эту часть Донбасса. Тогда в течение нескольких дней они подняли на колеса еще тысячи станков, еще десятки тысяч людей, еще сотни тысяч тонн ценностей. И вот наступила та последняя минута, когда им самим уже нельзя было оставаться.

Они стояли тесной группой в большой комнате секретаря Краснодонского районного комитета партии, где уже было снято с длинного стола заседаний красное сукно... Они стояли друг против друга, шутили, поталкивали друг друга в плечо и все не решались произнести слова прощания. И у тех, кто уезжал, было так тяжело, и смутно, и больно на душе, будто ворон когтил им душу.

Естественным центром этой группы был работник обкома Иван Федорович Проценко, выдвинутый на подпольную работу еще осенью прошлого года, когда перед областью впервые встала угроза оккупации.

(А. Фадеев. *Разгром. Молодая гвардия*. Стр. 181—183).

Ни о какой панике уже нет и речи. Да, было некоторое волнение, порожденное «спешной эвакуацией». Но ситуация — под контролем. И работник обкома Иван Федорович Проценко, которому предстоит уйти в подполье, до последнего момента остается на своем посту и держит руку на «пульте управления», дает последние указания подчиненным. И указания эти свидетельствуют о том, что все мысли его — о простых людях, вверенных его попечению, которых он — пока может — не оставит в беде, по мере сил будет заботиться об их нуждах:

► Решительное мгновение наступило...

Все снова стали прощаться с Иваном Федоровичем, с его помощником, с остающимися работниками и один за другим выходили из кабинета с выражением некоторой виноватости... Иван Федорович не пошел их провожать, он только слышал, как на улице взревели машины.

Все это время в кабинете неумолчно работали телефоны и помощник Ивана Федоровича попеременно хватал то одну, то другую трубку и просил позвонить через несколько минут. Только Иван Федорович простился с последним из отъезжавших, как помощник мгновенно протянул ему одну из трубок.

— С хлебозавода... раз десять уже звонили...

Иван Федорович маленькой рукой взял трубку, сел на угол стола и сразу стал не тем человеком, то добродушным и растроганным, то хитроватым и веселым, который только что прощался со своими товарищами. В жесте, которым он взял трубку, в выражении его лица и в голосе, которым он заговорил, появились черты спокойной властности.

— Ты не тарыхти, ты меня послухай, — сказал он, сразу заставив замолчать голос в трубке. — Я тебе сказал, что транспорт будет, значит, он будет. Горторг

заберет у тебя хлеб и будет народ в дороге кормить. А уничтожать столько хлеба — преступление. Зачем же ты его всю ночь пек? Я вижу, ты сам торопишься, так ты не торопись, пока я тебе не разрешил торопиться. Понятно? — И Иван Федорович, повесив трубку, снял другую, разливавшуюся пронзительной трелью.

(Там же. Стр. 185—186).

Иван Федорович Проценко действует и в первом варианте романа. И действует в том же качестве — партийного руководителя, загодя выдвинутого обкомом для работы в подполье. Но там сразу же выясняется, что задание это было спланировано так бездарно, что подполье с первых же своих шагов было обречено на провал.

Те, кто планировал и организовывал будущую подпольную работу, уехали. А оставаться в подполье предстояло совсем другим людям, и узнали они об этом только накануне, в самый последний момент. И все оставленные им явки и адреса, как тут же оказалось, были ненадежные, а то и липовые:

► Виной всему была беспечность.

Партизанский штаб, выделенный еще осенью 1941 года, когда впервые возникла угроза оккупации, той же осенью приступил к организации подпольных и партизанских групп.

Но враг был еще далеко от Ворошиловграда, а люди, из которых состоял штаб, перегружены были своей обычной работой по должности. И они поручили подготовку этих групп другим людям, своим подчиненным, людям проверенным и исполнительным, которые нашли других, подчиненных им, тоже проверенных и исполнительных людей, и так была разработана и подготовлена сеть явок, и подпольных квартир,

и партизанских баз, подпольных групп и партизанских отрядов.

Но угроза оккупации все отодвигалась, а успехи зимней кампании Красной Армии породили надежду на то, что и вообще не будет никакой оккупации. И все оставалось в том положении, как оно было. За год многие люди из тех, что предполагались на подпольную работу, и даже из самого штаба были мобилизованы в армию, другие переброшены на новую работу, третьи эвакуировались, четвертые сами забыли, что когда-то были намечены для этой деятельности.

И вспомнили об этом только теперь, когда вновь возникла угроза оккупации. На этот раз она возникла так внезапно, что уже не оставалось времени для того, чтобы наново организовать дело...

И в спешке партизанский штаб выдвинул новых людей взамен ушедших или отпавших по соображениям, подсказанным новым опытом...

Вот как получилось, что организаторами подполья и партизанской борьбы в области были одни люди, а оставались для фактического ведения борьбы другие люди.

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*.
Стр. 80–81).

В новой редакции романа та же ситуация получает другое объяснение:

- ▶ Проценко обернулся к Шульге... — Скажи ж мени, Костиевич: на тех квартирах укрытия, шо тебе дали, знаешь ли ты лично хоч едину людину? Короче говоря, самому-то тебе эти люди известны, что у них за семьи, что у них за окружение?

— Сказать так, що воны мне известны, так они мне досконально не известны, — медлительно сказал Шульга, поглядывая на Ивана Федоровича своими

спокойными воловьими очами. — Один адресок, — по старинке у нас тот край назывался Голубятники, — то Кондратович, или, як его, Иван Гнатенко, у осьмнадцатом році добрый був партизан. А второй адресок, на Шанхае, — то Фомин Игнат. Лично я его не знаю, бо вин у Краснодони человек новый, но и вы, наверно, слышали — то один наш стахановец с шахты номер четыре, говорят, человек свой и дал согласие. Удобство то, що вин беспартийный, и хоть и знатный, а, говорят, никакой общественной работы не вел, на собраниях не выступал, такой себе человек незаметный...

— А на квартирах у них ты побывал? — допытывался Проценко.

— У Кондратовича, чи то — Гнатенка Ивана, я був последний раз рокив тому двенадцать, а у Фомина я николи не був. Да и когда ж я мог быть, Иван Федорович, когда вам самому известно, что я только вчера прибыл и мне только вчера разрешили остаться и дали эти адреса. Но люди ж подбирали, я думаю, люди ж знали? — не то отвечая, не то спрашивая, говорил Матвей Костиевич.

— Вот! — Иван Федорович поднял палец... — Бумажкам не верьте, на слово не верьте, чужой указке не верьте! Все и всех проверяйте наново, своим опытом. Кто ваше подполье организовал, тех — вы сами знаете — уже здесь нет. По правилу конспирации — то золотое правило! — они уехали. Они уже далеко. Мабуть, уже у Новочеркаска, — сказал Иван Федорович с тонкой улыбкой, и резвая искорка на одной ножке быстро и весело скакнула из одного его синего глаза в другой. — Это я к чему сказал? — продолжал он. — Я сказал это к тому, что создавали подполье, когда еще была наша власть, а немцы придут, и будет еще одна проверка людям, проверка жизнью и смертью...

(А. Фадеев. Разгром.
Молодая гвардия. Стр. 225—226).

Вот оно, оказывается, как!

Не беспечность, не разгильдяйство, не тупая бюрократическая машина, когда правая рука не знает, что делает левая, повинны в том, что заранее заготовленные явки оказались ненадежными и провалились (у Кондратовича за двенадцать лет изменились обстоятельства, и довериться ему Шульга не рискнул, а Гнат Фомин — так тот и вовсе оказался мерзавцем: как только немцы заняли город, сразу выдал Шульгу и пошел в полицаи), а — **золотое правило конспирации**.

Все было правильно. Партия всегда права. А если что вышло не так, — сами виноваты. Партия (устаами Ивана Федоровича Проценко) предупреждала:

- ▶ Бумажкам не верьте, на слово не верьте, чужой указке не верьте! Все и всех проверяйте наново, своим опытом.

Но не только этим новым объяснением отличается эта сцена от той, какой она была в первой редакции романа. Другое, гораздо более важное ее отличие состоит в том, что в первой редакции «Молодой гвардии» Проценко с Шульгой беседуют с глазу на глаз — вдвоем. А тут их уже стало трое.

Третий их собеседник — Филипп Петрович Лютиков — главная, ключевая фигура новой редакции фадеевского романа. Именно он олицетворяет то партийное руководство, роль которого Фадееву в этой новой редакции предстояло отобразить.

Посмотрим же, из каких характеристик он складывается, лепит, конструирует образ этого выдающегося партийного руководителя:

- ▶ В разных областях деятельности можно встретить много самых различных характеров партийного руководителя с той или иной особенно заметной, бросающейся в глаза чертой. Среди них едва ли не самым распространенным является тип партийного

работника-воспитателя. Здесь речь идет не только и даже не столько о работниках, основной деятельностью которых является собственно партийное воспитание, политическое просвещение, а именно о типе партийного работника-воспитателя, в какой бы области он ни работал, — в области хозяйственной, военной, административной или культурной. Именно к такому типу работника-воспитателя принадлежал Филипп Петрович Лютиков.

Он не только любил и считал нужным воспитывать людей, это было для него естественной потребностью и необходимостью, это было его второй натурой — учить и воспитывать, передавать свои знания, свой опыт.

Правда, это придавало многим его высказываниям характер как бы поучения. Но поучения Лютикова не были назойливо-дидактическими, навязчивыми, они были плодом его труда и размышлений и именно так и воспринимались людьми.

Особенностью Лютикова, как и вообще этого типа руководителей, было неразрывное сочетание слова и дела. Умение претворять всякое слово в дело, сплотить совсем разных людей именно вокруг данного дела и вдохновить их смыслом этого дела... Он был хорошим воспитателем именно потому, что был человеком-организатором, человеком — хозяином жизни.

Его поучения не оставляли равнодушным, а тем более не отталкивали, они привлекали сердца...

Иногда ему достаточно было только слово сказать или даже просто посмотреть. От природы он был немногословен, скорее даже молчалив. На первый взгляд как будто медлительный, — иным даже казалось, тяжелый на подъем, — он на самом деле находился всегда в состоянии спокойной, разумной, ясной организованной деятельности...

В общении с людьми Филипп Петрович был ровен, не выходил из себя, в беседе умел помолчать, послушать человека — качество, очень редкое в людях...

При всем том он вовсе не был то, что называется добрым человеком, а тем более мягким человеком. Он был неподкупен, строг и, если нужно, беспощаден.

Одни люди уважали, другие любили его, а были и такие, что боялись. Вернее сказать, всем людям, общавшимся с ним... были свойственны, в зависимости от характера человека, все эти чувства к нему, только в одних преобладало одно, в других — другое, а в третьих — третье. Если делить людей по возрасту, то можно сказать, что взрослые люди и уважали, и любили, и боялись его...

(Там же. Стр. 353—354).

Этот портрет вам никого не напоминает?
Особенно вот это:

- ▶ ... ему достаточно было только слово сказать или даже просто посмотреть... в общении с людьми был ровен, не выходил из себя... При всем том он вовсе не был то, что называется добрым человеком, а тем более мягким человеком... был строг и, если нужно, беспощаден... люди и уважали, и любили, и боялись его...

Ну да, конечно! Даже слово «хозяин» мелькнуло в этом словесном портрете.

Сомнений нет. Именно Сталин стал для Фадеева если не прототипом, то **прообразом** того идеального партийного руководителя, какого он во что бы то ни стало должен был изобразить в этом своем романе. Точнее, — не Сталин, а его, Фадеева, **представление о Сталине**. Он ведь и сам тоже принадлежал к той категории людей, которые Сталина «и уважали, и любили, и боялись».

Тут надо сказать, что такое положение вещей Сталина вполне устраивало.

Рассказывают, что на заре советской власти, когда он еще только возглавлял наркомнац, появлялся в своем наркомате всегда как-то незаметно, замыкался в своем кабинете и редко общался даже с ближайшими своими сотрудниками. Когда кто-то из тех, с кем он был откровенен, спросил о причинах такого своеобразного его поведения, ответил:

— Меньше будут видеть, больше будут бояться.

В другой раз он высказался на эту тему еще определеннее, кинув такую реплику:

— Лучше пусть не любят, а боятся.

Видимо, исходил из того, что страх — чувство более надежное, чем такое зыбкое и непрочное, как любовь. А может быть, понимал, что всеобщая, — так называемая всенародная — к нему любовь — не что иное, как **сублимация страха**.

* * *

Когда-то К.Г. Паустовский рассказал нам, студентам (на семинаре в Литературном институте), о замечательном эксперименте, который он проделал однажды с портретами Чехова. Он разложил на столе все более или менее известные фотографии Антона Павловича в хронологической последовательности. И сразу стало видно, как менялся Чехов с годами. Вернее, как **менял он себя**.

На ранних, юношеских фотографиях — красавчик, этакий купеческий сынок, с некоторым даже налетом пошловатости. Но с годами все явственнее проступают в его лице другие черты. На взгляд обывателя зрелый Чехов, быть может, не так красив, как тот юный «ухарь-купец». Но он покоряет благородством своего душевного облика, с которым нераз-

рывно, навсегда связалось в нашем сознании представление о подлинном интеллигенте.

Проделав такой же эксперимент с фотографиями Александра Фадеева, мы стали бы свидетелями обратного превращения. Положив их в хронологической последовательности, мы увидим сперва интеллигентного мальчика, потом юношу — из тех, что ведут дневник и тайно пишут стихи. Потом в этом лице проступят черты некоторой «пролетарской» жесткости. Сперва в этой жесткости нам увидится нечто нарочитое, искусственное, словно человек пытается играть какую-то не очень свойственную ему роль. Но вот еще одна фотография, другая, третья... Черты интеллигента растворяются, уходят, окончательно уступая «пролетарскому» началу. Нет уже и следа былой мягкости, задумчивости — стальной, «комиссарский» взгляд. И вот, наконец, последние фотографии, на которых перед нами — вельможный партийный функционер.

Этот внешний его облик, ставший уже привычным для всех, кто его знал, — или даже для тех, кому случалось видеть его издали, — не был маской. А такое, надо сказать, с тогдашними функционерами тоже случалось. Сергей Наровчатов, в прошлом талантливый и даже яркий поэт, рафинированный интеллигент, книголюб и библиоман, бросив пить и начав делать карьеру, научился даже слова, оканчивающиеся на «изм», произносить так, как произносило их тогдашнее высокое начальство: «социализм», «коммунизм». Фадееву не было нужды притворяться, внешними приметам подчеркивать, что он с «ними» — одной крови. Психология партийного функционера давно уже стала коренным свойством его психики — на уровне не только сознания, но и подсознания.

Чтобы показать, что сказанное не пустые слова, приведу один — очень характерный в этом смысле, — как принято говорить в таких случаях, человеческий документ.

► А.А. ФАДЕЕВ – Е.Д. СУРКОВУ

9 декабря 1955 года

Уважаемый Евгений Данилович!

Нужно ли Вам говорить, насколько я благодарен товарищам и друзьям из Художественного театра, которые вспомнили о «Разгроме» в связи с возможными инсценировками. Но именно потому, что я очень люблю Художественный театр, я после многих раздумий пришел к выводу, что надо всемерно отсоветовать Вам инсценировку «Разрома».

С точки зрения непосредственно политической, вещь эта несвоевременна. Ведь, кроме социально-психологических конфликтов, главным движущим конфликтом в «Разгроме» выступает борьба против японских интервентов и против белого казачества. Будет непонятным, почему воскрешается на лучшей советской сцене давняя борьба с Японией в период, когда идут всесторонние переговоры с ней и когда в самой Японии такой большой подъем рабочего движения и движения за мир. В равной степени нецелесообразно переносить огонь на белое казачество, поскольку его давно уже не существует и поскольку среди белой эмиграции в разных странах так сильны сейчас патриотические настроения в пользу СССР.

Но дело не только в этом. В «Разгроме» только одна женская роль Варвары, которая дана в романе хорошей доброй женщиной, другом партизан, но на которой лежит печать проклятого наследия прошлого, как раз в той сфере отношений, то есть в сфере любовной, семейной, которую в нашем социалистическом обществе мы хотим нормализовать и облагородить. Если сохранить ее образ в том виде, как он дан в романе и как при чтении романа он воспринимается читателем, легко переносящимся в далекое время, — если сохранить

ее образ таким на сцене, будет непонятно, с какой целью он прославляется.

И надо учесть еще одно обстоятельство: отношения таких персонажей в романе, как Морозка и Варя, при всех душевных нюансах этих отношений, даны, однако, с сохранением той внешней грубости поведения и особенно высказываний, которые были характерны для определенного времени и которые нет никакой надобности пропагандировать сейчас...

И последнее: «Разгром» — это все-таки вещь камерная. Не на этих путях, мне кажется, Художественный театр должен искать возрождения. Если брать прошлое, то, конечно, Художественному театру по плечу были бы инсценировки таких монументальных и в то же время социально-психологических произведений, как «Хождение по мукам» или «Тихий Дон», если их инсценировать и поставить с таким мастерством и тщанием, как это было сделано с «Воскресением». А лучше было бы поискать что-нибудь хорошее в прозе наших дней, глубоко современное.

Очень сожалею, если огорчил Вас и других работников любимого мной театра своим отказом. Но в таком серьезном деле приходится поступать «по совести».

Желаю Вам всего доброго и крепко жму Вашу руку.

Ал. Фадеев.

(А. Фадеев. *Письма. 1916—1956.*
М., 1967. Стр. 639—640).

Письмо это, помимо всего прочего, хорошо еще тем, что тут ничего не надо объяснять — разве только пояснить, что Е.Д. Сурков, к которому оно обращено, в то время был заведующим литературной частью МХАТа.

Ситуация для того времени — вполне тривиальная. И роль запрещающей инстанции, которую тут взял на себя

Фадеев, была ему не в новинку. Выступать в этой роли ему приходилось часто, можно даже сказать, — постоянно. Но тут пикантность ситуации состоит в том, что цензорский, запретительный пафос и вся цензорская, запретительная аргументация этого письма нацелена автором не в чужое, а в свое собственное — притом самое любимое — детище. И можно с уверенностью сказать, что никто другой не выполнил бы эту запретительную, цензорскую роль по отношению к фадеевскому «Разгрому» с таким тщанием, как это сделал он сам.

Я позволил себе привести здесь это — не такое уж короткое — его письмо целиком, потому что на этом примере особенно ясно видно, как партийный функционер в Фадееве победил писателя.

К истории создания двух редакций «Молодой гвардии» все это имеет самое прямое отношение.

Первый вариант этого романа написал — уже искаженный, искалеченный своей ролью партийного функционера, — но все-таки писатель. Второй вариант дописывал — и переписывал — уже не писатель, а партийный функционер. Основой первого варианта тоже был определенный социальный заказ. Но стимулом для создания второго варианта был уже не социальный заказ, а — **социальный приказ**.

Готовность, с которой Фадеев взялся за «переработку молодой гвардии в старую», и та старательность, с какой он выполнил эту работу, имела для него самые роковые последствия.

За этим его шагом вскоре последовал другой, приведший его к одной из тех жизненных катастроф, которые толкнули его на самоубийство.

Сюжет третий

«ЖИЗНЬ МОЯ, КАК ПИСАТЕЛЯ, ТЕРЯЕТ СМЫСЛ...»

О катастрофе, которой завершилась многолетняя работа Фадеева над романом «Черная металлургия», я впервые услышал от Эренбурга. К его устному рассказу об этом я еще вернусь. А пока приведу этот его рассказ в том сдержанном, скупом изложении, в каком он записал его в своих мемуарах:

- ▶ Я вспоминаю одну из наших бесед – в самолете. Александр Александрович говорил о том, что он «кончен», и рассказал трагическую историю недописанного романа «Черная металлургия». «В пятьдесят первом меня вызвал Маленков. «Изобретение в металлургии, которое перевернет все. Грандиозное открытие! Вы окажете большую помощь партии, если опишете это»... Одновременно он рассказал мне, как разоблачили группу геологов-вредителей. Я начал работать, изучал проблему, подолгу сидел на Урале. Писал медленно. Напи-

сано свыше двадцати листов. В моем представлении это должен был быть настоящий роман, единственное, за что я смогу ответить... И вот оказалось, что «изобретение» было шарлатанством, обошлось государству в сотни миллионов рублей, геологи были оклеветаны, их реабилитировали. Одним словом, роман пропал...»

*(И. Эренбург. Люди, годы, жизнь.
Воспоминания в трех томах.
Т. 3. М., 1990. Стр. 125).*

Разумеется, Маленков тут был только передаточной инстанцией: заказ, конечно же, исходил от Сталина.

Об этом прямо свидетельствует рассказ другого мемуариста:

- ▶ Фадеев писал роман «Черная металлургия» по прямому заказу Сталина, по сюжету, данному Сталиным, узловым моментом которого должны были стать вредительство, разоблачение вредителей и победная ликвидация их козней. Сталин желал, чтобы его образ был выведен в романе, притом крупным планом. Роман не шел, несмотря на громадные усилия, которые затрачивал на него Фадеев. А в 1954 году выяснилось, что вредительства на Магнитке вообще не было, арестованные и осужденные прототипы «вредителей» были реабилитированы. Потрясение, испытанное Фадеевым, было огромным. Невозможность осуществления в искусстве навязанного Сталиным романа, как прожектором, осветила ложь всего того, что получило наименование «культ личности».

*(В. Кирпотин. Ровесник железного века.
Мемуарная книга. М., 2006. Стр. 650–651).*

В марте 1951 года Фадеев обратился к Сталину с просьбой предоставить ему на год творческий отпуск, освободив

его на это время хотя бы от основных его государственных и общественных обязанностей.

Начиналось это его обращение так:

▶ Дорогой Иосиф Виссарионович!

Прошу предоставить мне отпуск сроком на 1 год для написания нового романа.

(А. Фадеев. *Письма и документы*. М., 2001. Стр. 139).

К этой начальной фразе документа публикаторы сделали такое примечание:

▶ Фадеев приступал к работе над романом «Черная металлургия».

(Там же. Стр. 141).

Вряд ли это было так.

На самом деле нет никаких оснований предполагать, что речь тут шла именно об этом романе.

Во всяком случае, в перечне замыслов, для осуществления которых ему понадобился отпуск, этот роман не упоминался:

▶ В 1950 г. мне... был предоставлен более или менее длительный отпуск — на 4 месяца, который я использовал как писатель на все 100%. За этот относительно короткий срок мною было написано около 10 печ<атных> листов нового текста романа «Молодая гвардия». Срок этот был слишком мал, чтобы до конца начисто отделать все эти 10 печатных листов (240 страниц машинописного текста). Я мог сдать в издательство только часть фактически написанного мною. Мне буквально не хватило одного месяца, чтобы сдать все. Дальнейшая общественная работа уже

не дала мне возможности выкроить этот один месяц вплоть до нынешнего дня.

Таким образом даже фактически выполненная работа повисла в воздухе на неопределенный срок.

Но дело не только в окончании «Молодой гвардии». Несмотря на то что по роду своих занятий я искусственно оторван от жизни рабочих и колхозников нашей страны, голова моя преисполнена новых замыслов. Они возникли от реального соприкосновения с нашей жизнью, но, чтобы осуществить эти замыслы, я, конечно, должен иметь время, чтобы глубже и разностороннее ознакомиться с этими областями жизни. Назову некоторые из этих замыслов.

1. Роман о молодежи крупного советского индустриального предприятия в наши дни. Фактически это — роман о нескольких поколениях русского рабочего класса, роман о партии и комсомоле. Фактически это роман о победе индустриализации нашей страны. И я знаю, что смогу лучше, чем многие, показать подлинную поэзию индустриального труда, показать нашего рабочего младших и старших поколений во весь рост.

2. Роман о современной колхозной молодежи. Тема эта опять-таки много шире и глубже, чем простой показ жизни современной колхозной молодежи.

3. Мой старый роман «Последний из удэге» давно уже внутренне преобразован мною. Прежняя тема приобрела третьестепенное значение. Название изменено. В роман должны быть введены исторические деятели, в первую очередь Сергей Лазо, которого я близко знал лично. В романе будет широко показана японская и американская интервенция. Наша дружба с корейским и китайским народами.

Я не говорю уже о том, что мне хотелось бы ближе связаться с одной из гигантских строек коммунизма.

Я смог бы написать о них не хуже многих других, нет, не хуже.

Я не говорю уже о тех многих рассказах и повестях, которые заполняют меня и умирают во мне, не осуществленные. Я могу только рассказывать эти темы и сюжеты своим друзьям, превратившись из писателя в акына или в ашуга.

(Там же. Стр. 139–140).

За вычетом «Молодой гвардии» и «Последнего из удэге» все эти замыслы весьма расплывчаты и туманны. И если бы даже они были более отчетливыми, трудно себе представить, что, получив от Сталина вполне определенное и конкретное задание, он стал бы сообщать ему, что мечтает написать романы о колхозной молодежи и одной из гигантских строек коммунизма, — не говоря уже о многих неосуществленных рассказах и повестях, сюжеты которых он вынужден излагать устно, превращаясь из писателя в акына или ашуга.

Спустя месяц после этого своего обращения к Сталину — 19 апреля 1951 года — Фадеев пишет А.Ф. Колесниковой (подруге юности, с которой постоянно делится всеми своими творческими планами и замыслами):

- ▶ Мечты мои о поездке на Дальний Восток рассыпались прахом... Ввиду того, что я очень переутомлен, нет у меня уверенности, что в течение этого месяца в Барвихе я успею доделать «Молодую гвардию». Следовательно, если мне после поездки дадут еще 2 месяца или хотя бы один — для литературной работы, я не смогу никуда выехать, а должен буду немедленно сесть за роман. Я не могу больше тянуть с ним: читатель ждет. Да мне и самому стыдно встречать свое 50-летие (24 декабря с. г!), если роман не будет окончательно исправлен, дописан и выпущен в свет...

(А. Фадеев. Письма. 1916–1956. М., 1967. Стр. 365).

О новом романе («Черной металлургии») – ни звука.

И только три месяца спустя (в письме той же Колесниковой от 17 июля 1951 года) появляется первое упоминание о нем.

- ▶ ... я просто уверен, что попаду теперь на Дальний Восток! Хотя это и не связано непосредственно с новой моей работой, но мне нужно будет ознакомиться с металлургией Комсомольска-на-Амуре, т.к. я буду писать роман индустриальный, о новой советской металлургии...

(Там же. Стр. 371–372).

Стало быть, не для того обращался Фадеев к Сталину с просьбой о годовичном творческом отпуске, чтобы получить возможность приступить к работе над заказанным ему новым романом. Скорее – наоборот: именно просьба Фадеева об этом годовичном отпуске, наверно, и натолкнула Сталина на мысль дать ему такое важное государственное задание.

Принял он это задание с воодушевлением.

- ▶ ИЗ ПИСЬМА А.А. ФАДЕЕВА
А.Ф. КОЛЕСНИКОВОЙ

август 1951 года

Милая моя Асенька!

Итак, я сижу в гостинице Магнитогорска, огромного, современного нового города на нашей планете, славного своей индустрией, полного противоречий, как всякое новое и быстро растущее образование, пыльно-го, застланного дымом, энергичного, веселого, открытого самым невероятным перспективам...

Вылетел я из Москвы 6-го в Челябинск – областной центр, летел ночью с остановками в Казани, Горьком, Уфе. В Челябинске провел двое суток, ушедших целиком на всевозможные знакомства, встречи, заседания: мне нужно было многое получить от областных властей,

получить в смысле знаний и обеспечения будущей своей деятельности на новом месте. И вот с 10-го числа я уже здесь. С утра раннего — на предприятиях, потом — обедать в гостиницу и снова — бродить по городу, заводить знакомства, участвовать во всяких заседаниях и совещаниях, опрашивать будущих своих героев (а кто из них станет героем, еще неизвестно!), в местный музей, в горнометаллургический институт, в поликлинику, в кино, в клубы, в парк, магазины — все это такое еще молодое, порой неустроенное, и все это мне нужно знать. В голове, как говорится, сумбур вместо музыки, а когда из всего этого начнет кристаллизоваться «нечто» — сказать не могу. Но — верю в талантливые силы природы человеческой, — да осенят они меня крыльями своими еще хоть разочек! В гостинице живу временно, — скоро меня должны поселить в рабочей семье, это в моих интересах: скорее влезть в быт людей, и влезть путем естественным, исподволь, не нарочито. Душа моя открыта навстречу новому материалу...

(Там же. Стр. 373).

Природа этого воодушевления ясна. Он был счастлив, что его желание совпало с желанием вождя. А главное его желание в тот момент заключалось в том, чтобы доказать «городу и миру», что он не партийный назначенец, а действующий, активно работающий писатель. И вот появилась возможность доказать это делом. Он имел все основания надеяться — даже не надеяться, а твердо рассчитывать, — что этот его новый роман, когда он увидит свет, станет событием в литературе, может быть даже будет объявлен высшим достижением советской литературы на нынешнем этапе ее развития.

Писать на заданную тему ему было не привыкать. Так что, казалось бы, не было и не могло у него быть ни малейших сомнений в том, что работать над новым романом он будет «не по службе, а по душе».

► ИЗ ПИСЬМА А.А. ФАДЕЕВА
А.Ф. КОЛЕСНИКОВОЙ

17 июня 1953 года

Роман мой снова движется вперед, а для того, чтобы успешно завершить его таким, каким он сложился, мне по-прежнему необходимо побывать на металлургических заводах Красноярска, Забайкалья и Амура. Да и тянет меня, неудержимо тянет побывать в родных местах, тем более тянет, чем старше я становлюсь! А личная ситуация моя так складывается, что, наверно, опять дадут мне творческий отпуск на год или даже на полтора: начальство видит, что я все болею, и все больше склоняется к выводу, что надо дать мне «свободу» для окончания романа.

(Там же. Стр. 443).

По этим письмам может создаться впечатление, что работа над романом идет если и не очень легко, так только потому, что писателю мешает чудовищная его занятость чиновными и общественными делами, а также — многочисленные болезни.

- Мне действительно не повезло в истекшем году. Трудно мне было, подняв такой большой (по физическому весу!) роман на совершенно новом материале, осваивать который в короткие сроки можно только при максимальном напряжении всех физических и духовных сил, — трудно мне было вдруг снова принять на себя «бремя» всех моих общественных «нагрузок». Однако мне пришлось это сделать с июля прошлого года. И Вы сами убедились, что в отношении здоровья я был, как принято теперь выражаться, «не в форме».

(Там же. Стр. 420).

Это из письма от 5 февраля 1953 года. А вот — из следующего, написанного несколько месяцев спустя (11 июня того же года):

- ▶ Я все еще в больнице, но не потому, что дела мои нехороши, — наоборот, — они хороши и их в таком положении хотят закрепить...

Пишется мне сейчас хорошо.

(Там же. Стр. 436).

Спустя девять месяцев (30 марта 1954 года):

- ▶ Я... по-прежнему в больнице, надеюсь выйти в районе 15–20 апреля. В болезни моей нет ничего заслуживающего описания, — все то же, все не опасно, все требует долгого времени, чтобы начать нормально жить и работать. Единственно, на что меня хватило в это трудное время, — это писать свой роман. Этот корабль мой распустил паруса и плывет, — хотя не так быстро, как мне хотелось бы, — к положенному пределу.

(Там же. Стр. 528).

Еще девять месяцев спустя (12 января 1955 года):

- ▶ Я вернулся из своей дачной местности под Челябинском в Москву 3 октября или немножко позже и сразу же попал в водоворот подготовки к съезду писателей. В моей березовой роще на берегу соленого озера под Челябинском мне хорошо работалось, образовалась инерция работы за столом — состояние, которого все пишущие люди так ждут, — и в течение двух-трех недель я, несмотря на «водоворот», продолжал писать и в Москве. Потом дело пошло медленней, приключились международные дела — в ноябре я ездил в Стокгольм на сессию Всемирного Совета Мира, — и уже до самого

съезда, а потом до окончания съезда, а потом в течение двух недель после него (в связи с разными новыми организационными делами) не было, собственно, и часа, чтобы дух перевести...

Всего лишь несколько дней, как я вновь взялся за роман. Окончить первую книгу под Челябинском мне не удалось, наверно, придется работать над ней еще месяца четыре. Собственно, написано очень много, но обработано мало. Мне сказали товарищи по работе в Союзе писателей, что нужно перед съездом показать читателю хотя бы отрывки. И я очень жалею, что дал несколько глав в «Огонек»: во-первых, это не лучшие из глав, а скорее средние (невыгодно было печатать лучшие, как невыгодно выковыривать изюм из кулича: от этого пострададут и изюм и кулич), а во-вторых, у меня не было времени хорошенько эти главы обработать, — в них есть длинноты. Да и читатель, в общем, не любит отрывков, он любит влезть в роман, как в обжитый большой дом, населенный множеством жильцов, одни из которых ему милы, другие так себе, третьи враждебны.

Через несколько дней я снова поеду за границу и, очевидно, в середине февраля опять поеду.

(Там же. Стр. 571—572).

Помех и препятствий, не дающих ему завершить работу над романом, как видим, немало. Но это всё — не внутренние, а сугубо внешние помехи. Суета сует: подготовка к писательскому съезду, заграничные поездки — одна, другая, третья... Постоянное верчение в этом беличьем колесе. Даже решение напечатать отрывки из романа в «Огоньке» продиктовано не собственным желанием, а настояниями «товарищей по работе в Союзе писателей», считающих, что перед съездом он должен предстать перед читателем не только в общественной, но и в писательской, творческой своей ипостаси.

Тем не менее, роман пишется. Написано уже двадцать авторских листов. Друзья и коллеги, даже самые взыскатель-

ные (Всеволод Иванов), которым он иногда читает отрывки из написанного, кажется, хвалят.

В общем, как будто есть все основания быть довольным собой и этой своей работой.

И вот — катастрофа!

► ИЗ ПИСЬМА А.А. ФАДЕЕВА
А. Ф. КОЛЕСНИКОВОЙ

23 октября 1955 г.

Дорогая моя Ася!..

...я, находясь в Барвихе, не дотянув положенного мне срока, сильно заболел. Я отлучился на майские праздники на дачу, там заболел и уже не вернулся в санаторий. Я категорически отказался ехать в больницу, из которой только совсем недавно выбыл, и остался лежать на даче. И болезнь моя длилась два с половиной месяца. В сущности, я даже еще не поправился, как мне нужно было ехать на Всемирную ассамблею в Хельсинки, и я поехал. И как это всегда бывает после длительного заболевания, когда все общественные, служебные, семейные, личные дела неслыханно запущены, я сразу попал в такой немислимый конвейер, который уже совсем не оставлял мне свободного времени...

Все эти дела и делишки развивались на фоне очень плохого моего морального состояния, вызванного «кризисом» с моим романом. Дело в том, что я задумывал, сочинял и начинал писать его в 51—52 гг., когда многие вопросы стояли, вернее, выглядели по-иному, чем сегодня. В центре моего сюжета находилось одно «великое» техническое открытие и борьба вокруг его осуществления. Но это «великое» открытие оказалось чистой «липой», взращенной высокопоставленными карьеристами, которые ввели тогда в заблуждение и правительство. Кроме того, большую сюжетную роль играла в моем романе борьба с группой так называе-

мых врагов народа, что тоже было мной не выдуманно, а взято из реальных материалов.

К счастью для этих людей и к неудаче романиста, дело этих «врагов» тоже оказалось «липой». Но ведь я на основании двух этих сюжетных линий построил всю основу своего романа и целую серию характеров. Теперь все это приходится менять, переделывать, и это, конечно, ужасно нелегко, потому что человек за несколько лет работы привыкает и к своей теме, и к своим героям, и изменить это «на ходу» невозможно. Фактически роман мой остановился, и мне пришлось изучать материал наново, искать новых людей, новые сюжетные линии и прочее. Теперь как будто бы я уже выхожу из кризиса, имею новый план и новых героев, но фактически мне приходится большую часть работы делать заново, теперь уже вряд ли я закончу первую книгу раньше конца 1956 года...

Разумеется, все, что я тебе пишу, я пишу подружески, ибо внешне я человек, владеющий собой, человек к тому же жизнелюбивый и жизнерадостный, и, конечно, о моих бедах и трудностях люди, в общем, не знали и не знают...

Необходимость форсировать роман приковала меня к даче, все мои планы поездок и вообще планы всякого рода развлечений, удовольствий самого элементарного порядка, которых не лишены люди всех профессий и социальных положений, — вроде какой-нибудь экскурсии, или охоты, или просто похода по грибы — по ягоды, или посещения театров, или встречи с добрыми веселыми друзьями, — все это мне пришлось отложить на будущее, и жизнь моя протекает довольно одиноко и тускло. Но роман все-таки будет, а это — главное.

(Там же. Стр. 620—621).

Верил ли он, что уже «выходит из кризиса» и «роман все-таки будет»? Или это была дань его всегдашней привычке

держаться так, чтобы люди «не знали о его бедах и трудностях»?

Трудно сказать.

В разговоре с Эренбургом, который вы, надеюсь, помните (я приводил его в начале этого сюжета), он был куда более мрачен.

Или — более откровенен?

Сказал, что роман его пропал, да и сам он уже человек конченный.

О том, как закончился этот их разговор, Эренбург в своих мемуарах рассказывает так:

- ▶ Я изумился: «Да что вы, Александр Александрович! Я читал отрывки в «Огоньке», это очень хорошо... Измените немного. Пусть они изобретают что-нибудь другое. Ведь вы пишете о людях, а не о металлургии...» До этого я дважды видел Фадеева в состоянии гнева: обычно сдержанный, холодный, вспыхнув, он краснел и кричал очень тонким голосом. Он закричал и в самолете: «Вы судите по себе! Вы описываете влюбленного инженера, и вам все равно, что он делает на заводе. А мой роман построен на фактах...» Успокоившись, он тихо сказал: «Мне остается одно — выбросить рукопись. Да и себя — новой книги я уже не начну...»

(И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Воспоминания в трех томах. Т. 3. М., 1990. Стр. 125–126).

В устном рассказе Эренбурга, который мне случилось однажды услышать, все это звучало несколько иначе.

Это естественно. Любой устный рассказ всегда отличается от перенесенного на бумагу, а тем более напечатанного типографским способом. Но тут для «ножниц», образовавшихся между устным и печатным текстом, были еще и свои, особые причины.

Мемуары Эренбурга уже при их первой, журнальной публикации с трудом проходили через рогатки цензуры. А глава о Фадееве, да и не только глава, а практически любое упоминание этого имени вызывало еще и резкое сопротивление Твардовского, печатавшего тогда «Люди, годы, жизнь» в своем «Новом мире».

В архиве Эренбурга сохранилось большое письмо Александра Трифоновича, в котором он подробно перечислил все неприемлемые для него абзацы и фразы, относящиеся к проходившей тогда в печать пятой части эренбургских мемуаров. (Впоследствии нумерация частей была изменена, и абзац, о котором пойдет речь, оказался не в пятой, а в четвертой части второго тома.)

Каждое свое замечание (их было около пятнадцати) Твардовский хоть и не всегда убедительно, но подробно обосновывал. А про короткий эренбургский абзац, относящийся к Фадееву, высказался так:

- ▶ То, что вы говорите о Фадееве здесь, как и в другом случае — ниже, для меня настолько несовместимо с моим представлением о Фадееве, что я попросту не могу этого допустить на страницах нашего журнала. Повод, конечно, чисто личный, но редактор — тоже человек.

*(Почта Ильи Эренбурга. 1916—1967.
М., 2006. Стр. 492).*

Ничего такого уж страшного в абзаце, вызвавшем эту бурную реакцию в общем-то довольно благожелательного редактора, не было.

Речь в нем шла о том, как повел себя Фадеев в ситуации, когда Эренбург пытался напечатать новые главы из своего романа «Падение Парижа», а ему это не удавалось: роман был антигитлеровский, а у нас тогда с Гитлером был «пакт о ненападении».

Даже устно читать эти главы перед не слишком многочисленной аудиторией Эренбургу запретили.

Он попытался обратиться за помощью к Фадееву, но тот его не принял.

И тут Эренбургу позвонил Сталин. Похвалил уже прочитанные им первые главы. А в ответ на жалобу Эренбурга, что с публикацией третьей части романа, над которой он сейчас работает, предвидит еще большие трудности, мило пошутил:

- ▶ — А вы пишете, мы с вами постараемся протолкнуть и третью часть...

Ну, тут, конечно, все мгновенно переменялось.

- ▶ Различные редакции звонили, просили отрывки из романа.

Фадеев передал, что хочет со мною поговорить. Александр Александрович был человеком крупным и сложным; я узнал его в послевоенные годы. А в 1941 году он был для меня начальством, и разговаривал он со мною не как писатель, а как секретарь Союза писателей, объяснил, что не знал, как может измениться международная обстановка (привожу записанную тогда его фразу: «С моей стороны это было политической перестраховкой в хорошем смысле этого слова»).

Вскоре после этого разговора в Клубе писателей был вечер армянской поэзии. Председательствовал Фадеев. Увидев меня, он сказал: «Просим Эренбурга в президиум».

(И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Т. 2. М., 1990. Стр. 159).

Это и был тот злополучный абзац, который так больно задел Твардовского.

Не помогла и следовавшая за ним смягчающая оговорка (из книжной публикации мемуаров Эренбург ее потом вычеркнул):

- ▶ Я не хочу, чтобы меня дурно поняли. Фадеев был умным, интересным человеком, талантливым писателем, но он занимал ответственный пост и на этом посту не мог не делать того, что делали другие; если я вспомнил об этих мелочах, то, конечно, не для того, чтобы умалить Александра Александровича, а только для того, чтобы молодые читатели поняли, в каких условиях жили и работали писатели, в том числе сам Фадеев.

(Там же. Стр. 424).

Такую же смягчающую оговорку он сделал и заключая рассказ о своем разговоре с Фадеевым о «Черной металлургии»:

- ▶ Я рассказал об этой зависимости от действительности, конечно, не для того, чтобы поспорить с покойным Фадеевым. Он был настоящим писателем, очень взыскательным к себе. Однако длительная работа и над «Последним из удэге», и над «Черной металлургией» связана не только с писательской взыскательностью, но и со всей биографией Фадеева, с его противоречиями, с борьбой между писателем и государственным деятелем, между бывшим партизаном и дисциплинированным солдатом. Однажды Александр Александрович сказал мне: «На меня многие писатели в обиде. Я их могу понять. Но объяснить трудно...» Я ответил: «Скажите им, что больше всех вы обижали писателя Фадеева...»

(И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Т. 3. М., 1990. Стр. 126).

Это, наверно, было самое мягкое из всего, что он, — да и не только он, — мог бы сказать о Фадееве. Но Твардовского не устроило даже и это. Не только возмущивший его абзац из 5-й книги «Люди, годы, жизнь», но и всю — предельно деликатную — главу о Фадееве из шестой книги эренбургских мемуаров он так же категорично отказался печатать.

Мудрено ли, что слышанный мною устный рассказ Эренбурга о том его разговоре с Фадеевым довольно сильно отличался от его печатного варианта.

Этот его устный рассказ был резче, отчетливее. И не было в нем никакой дипломатии, никаких смягчающих оговорок.

Конечно, я не смогу сейчас воспроизвести его дословно. Но одну подробность этого их разговора помню хорошо.

Когда Фадеев рассказал Эренбургу, что «грандиозное изобретение», которое ему поручили воспеть, оказалось авантюрой, а не поверившие в эту авантюру инженеры, которых объявили врагами народа, на самом деле были честными и мужественными людьми, он (Эренбург) непроизвольно воскликнул:

— Так вот об этом и напишите!

На что Фадеев только безнадежно махнул рукой. Написать роман «об этом» он не мог. Это было за пределами его возможностей.

Однако такой роман все-таки был написан.

Не Фадеевым, конечно, другим писателем. Но именно *об этом*.

* * *

Этим другим писателем был Александр Бек. О его романе «Новое назначение» (от первоначального его названия «Сшибка» автор решил отказаться) речь уже шла на этих страницах. И там я предупреждал, что со временем, чтобы лучше понять природу литературной и человеческой драмы (можно даже сказать — трагедии) Фадеева, нам придется

глубже вникнуть в сюжет этого романа. Вот это время и пришло.

Александр Альфредович Бек говорил о себе:

— Недостаток таланта я возмещаю доскональным знанием предмета, о котором пишу.

Говорилось это не без лукавства: таланта Александру Альфредовичу тоже было не занимать. Но что правда, то правда: жизненный материал, на основе которого создавалась та или иная его книга, он всегда знал досконально. И всякий раз стремился к тому, чтобы художественное изображение этого жизненного материала было предельно приближено к реальности. Так было с его романом «Волоколамское шоссе», принесшим ему славу. Так было и с «Новым назначением». (Не зря вдова министра черной металлургии И.Т. Тевосяна делала все возможное — а возможности у нее были большие, — чтобы этот роман Бека не увидел света.)

Документальную основу этого своего романа Бек не только не скрывает — он нарочито ее подчеркивает:

- ▶ ...открывалась международная промышленная выставка. В Москве для поездки на выставку была сформирована группа инженеров и ученых. В составе этой своего рода делегации три места из шестнадцати принадлежали металлургам. Среди них находился и академик Василий Данилович Челышев, доменщик по специальности, который мельком уже фигурировал в нашей хронике.

Однако, прежде чем характеризовать далее Челышева, позволю себе небольшое отступление. Мне довелось близко его знать, я пользовался его устными рассказами, советами, когда еще в тридцатых годах писал повесть о дерзновенном Курако, учителе Василия Даниловича. И недавно вновь имел случай убедиться, что сохранил его доверие. Он познакомил меня со своими дневниками, порой на удивление подробными. Они

стали, с его разрешения, одним из главных источников или даже истоков этой летописи.

Накануне отъезда на международную выставку Чельшев — назовем, кстати, его тогдашнюю должность: директор научно-исследовательского Центра черной металлургии и член президиума Академии наук — понаведался, как это можно установить по его дневниковой записи, в Министерство стали.

(А. Бек. *Новое назначение*.
М., 1987. Стр. 71).

Из всего этого, конечно, не следует, что «Новое назначение» Александра Бека мы вправе рассматривать как документ (роман все-таки). Но, обратившись к нему, всю фактическую сторону интересующего нас дела мы можем восстановить с достаточно высокой степенью достоверности.

Итак, вот как оно началось — заварилось — это дело, сыгравшее столь роковую роль в судьбе писателя Александра Фадеева:

- ▶ Только тут Чельшев, наконец, вполне уяснил, о чем и о ком спрашивает Сталин. Вначале как-то не укладывалось, что речь идет о том самом одутловатом, страдавшем одышкой человеке, который... Ну, Лесных, преподаватель из Сибири. Предложил способ выплавки стали прямо из руды, минуя доменный процесс. Объявил, что кокс более не нужен, что взамен минерального горючего будет служить электроток. С невероятным упорством, с маниакальной убежденностью отстаивал, продвигал свое предложение. Пробился и к Чельшеву... Чельшев написал, что способ Лесных технически осуществим, но экономически нецелесообразен, так как чрезвычайно дорог. Это дело не нынешнего десятилетия. Пусть изобретатель, увлеченный своей выдумкой, возится, экспериментирует, некоторую по-

мощь в разумных пределах ему надо оказать, эта работа, возможно, прояснит некоторые теоретические вопросы металлургии, но не следует — по крайней мере в обозримой перспективе — рассчитывать на какой-либо практический эффект, на практическое применение способа Лесных в промышленности.

Настырный изобретатель не остановился и перед жалобой в Центральный Комитет партии. Оттуда жалобу и все материалы переслали министру Онисимову... Его выводы были еще более категоричны, чем заключение Чельшева...

И вот два года спустя вдруг Сталин спросил по телефону об инженере Лесных. Как могло это случиться? Каким образом предложение Лесных проникло к Сталину сквозь нескончаемые заграждения?..

Разговор по телефону продолжался. Безмерное уважение к собеседнику по-прежнему читалось в крайне внимательном лице, в неподвижности выпрямленного корпуса. Стоя как бы по команде «смирно», при этом, однако, не вскинув голову, — она казалась втиснутой в плечи еще глубже, чем обычно, — Онисимов не пытался уклоняться от прямых ответов. Не следует думать, что ему было чуждо умение ускользать. Однако эта способность будто бесследно испарялась, когда к нему обращался Сталин. Сугубая точность, пунктуальность бывала тут не только делом чести, святым долгом, но и щитом, спасением для Онисимова.

— Как инженер не могу поддержать, Иосиф Виссарионович, этот способ.

Опять он осекся, стал слушать. Неожиданно вновь изменился в лице, побледнел.

— Нет, не был информирован. Впервые сейчас об этом слышу.

И тотчас справился со своим смятением, вернул хладнокровие:

— Была проведена солидная экспертиза, Иосиф Виссарионович. Я, разумеется, несу полную ответственность. Кроме того, как я вам уже докладывал, этим занимался и товарищ Чельшев. Он, кстати, сейчас здесь у меня сидит.

Василий Данилович понимал, что Онисимов стремится получить передышку хотя бы на несколько минут, чтобы опамятоваться, оправиться от какой-то страшной неожиданности, затем достойно ее встретить. Этот ход удался. Александр Леонтьевич протянул трубку Чельшеву: — Иосиф Виссарионович вас просит.

(Там же. Стр. 75—77).

Онисимов тоже — инженер, металлург. К обсуждаемому изобретению он относится даже более непримиримо, чем Чельшев. Он в свое время даже упрекнул Чельшева за то, что тот проявил по отношению к этому авантюристу излишнюю мягкотелость. Но он — чиновник, министр. И потому слушает Сталина стоя, как солдат, по стойке «смирно», — не смея ему возражать.

Чельшев — ученый, академик. И потому может держаться со Сталиным чуть независимее. Но эта его независимость тоже весьма относительна:

► Мембрана донесла медлительные интонации Сталина:

— Товарищ Чельшев? Здравствуйте. — Телефон будто усиливал его всегдашний резкий грузинский акцент. — Вам известно предложение инженера Лесных о бездомном получении стали?

— Да.

— Что вы об этом скажете?

— Поскольку я с его замыслом знакомился, могу вам...

— Сами знакомились?

— Да.

— Так. Слушаю.

— На мой взгляд, Иосиф Виссарионович, предложение практической ценности не имеет. В промышленности применить его нельзя.

— То есть дело, не имеющее перспективы? Я правильно вас понял?

Что-то угрожающее чувствовалось в тоне, еще как бы спокойном. Василий Данилович ответил:

— В далекой перспективе мы, может быть, действительно будем выплавлять сталь только электричеством. Пока же...

— И изобретателю, следовательно, не помогли?

Пришлось промолчать. Челышев не хотел заслоняться строчками своего заключения — изобретателю-де надо оказать небольшую разумную помощь, — не хотел подводить этим Онисимова... Сталин, однако, не позволил ему избежать ответа.

— Так что же, не помогли?

Челышев буркнул:

— Не знаю.

— А я знаю. Вы с товарищем Онисимовым не помогли. Вместо вас это сделали другие. И хотя вы придерживаетесь взгляда, что изобретение практической ценности не имеет... — Сталин выдержал паузу, словно ожидая от Челышева подтверждения. — Я правильно вас понял?

— Да.

— Тем не менее у меня на столе, товарищ Челышев, — голос Сталина зазвучал жестче, — лежит металл, лежат образцы стали, выплавленные этим способом. Я вам их пришлю. Вам и товарищу Онисимову.

Челышев понял — вот к какому известию относилось восклицание Онисимова: «Впервые сейчас об этом слышу». Василий Данилович тоже лишь теперь услышал эту новость.

— Выплавить-то можно, — сказал он. — Но сколько это стоило?

— Почти ничего не стоило. Плавку провели в лаборатории Сибирского политехнического института. Помощниками товарища Лесных были несколько студентов...

— А посчитать все-таки бы надобно, — сказал Челышев. — К тому же и печь пришла в негодность, кладка сгорела.

— Кто вам сообщил?

Василий Данилович позволил себе усмехнуться.

— Не маленький. Могу сообразить. Но это, Иосиф Виссарионович, было бы не страшно, если бы...

Сталин нетерпеливо перебил:

— Зачем, товарищ Челышев, подменять мелочами главное? Разве что-либо значительное рождается без мук? — Удовлетворенный своей формулой, он помолчал. Затем опять обрел медлительность. — Главное в том, что новым способом выплавлена сталь. А остальное приложится, если мы, товарищ Челышев, будем в этом настойчивы. Не так ли?

Уловив прорвавшиеся в какое-то мгновение раздраженные или, пожалуй, капризные интонации Сталина, Василий Данилович не дерзнул возражать...

— Таким образом, вы совершили ошибку, товарищ Челышев. — Сталин помедлил, дав время Челышеву воспринять тяжесть этих слов. — Но поправимую. Давайте будем ее поправлять. Этот металл нам нужен.

(Там же. Стр. 77–80).

В том, что в споре никому не ведомого инженера, якобы совершившего переворот в черной металлургии, с министрами и академиками Сталин так решительно стал на сторону неизвестного изобретателя, проявилась некоторая закономерность. Это был некий общий стиль поведения

вождя в его взаимоотношениях с учеными. Во всех спорах такого рода он неизменно поддерживал не адептов — и даже не корифеев серьезной академической науки, а шарлатанов, авантюристов и «чайников», которых развелось в то время великое множество. Благодаря особой симпатии к ним Сталина эти «самородки» (не все они были шарлатанами, некоторые из них искренне верили в ценность своих изобретений и в собственную гениальность) заняли в то время доминирующее положение в самых разных областях научных знаний.

Был, например, такой — очень знаменитый в то время — микробиолог: Г.М. Бошьян. Он совершил «переворот» в микробиологии, а вследствие этого — и в медицине. Совершенное Бошьяном «открытие», суть которого, кажется, состояла в том, что вирусы и микробы могут самозарождаться из неживой материи, видимо, привлекло Сталина, помимо всего прочего, еще и тем, что подтверждало верность материалистической концепции происхождения жизни.

Николай Погодин (конечно, по заказу Сталина, — может быть, не прямому, а косвенному) восславил этого Бошьяна, посвятив ему и его борьбе за свое открытие пьесу — «Когда ломаются копья».

Другое такое же фундаментальное открытие в биологии и медицине совершила О.Б. Лепешинская. Она была «старой большевичкой» — членом РСДРП с 1898 года, участвовала в революции 1905 года. По специальности и образованию была, кажется, фельдшерницей. Что не помешало ей стать действительным членом Академии медицинских наук СССР. Знаменита она стала благодаря выдвинутой ею теории о «новообразовании клеток из бесструктурного живого вещества». Теория эта, разумеется, была поддержана академиком Т.Д. Лысенко и тут же была объявлена одним из краеугольных камней марксистской, то есть единственно правильной биологической науки. Профессорам медицинских вузов было вменено в обязанность в каждой лекции ссылаться на

«учение» О.Б. Лепешинской о «превращении в живое из неживого».

Об Ольге Борисовне Лепешинской тоже была написана пьеса. (Ее сочинили популярные в то время драматурги братья Тур. Лепешинская была там выведена под фамилией «Снежинская».)

Хорошо запомнился мне один из этих, поддержанных Сталиным, гениев и самородков. Он изобрел особый тип танковой брони, для изготовления которой не нужна была высококачественная сталь, до того считавшаяся в этом деле необходимой. Он признавал, что созданная им броня хуже той, которая изготовлялась из высококачественной стали. Артиллерийский снаряд, попавший в танк, оснащенный этой броней, безусловно ее разрушит. Но она ослабит силу его удара, так что свою защитную роль все-таки выполнит.

Когда этот проект обсуждался на заседании Политбюро, изобретатель, доказывая целесообразность использования в танковой промышленности этой своей брони, произнес такую фразу:

— Разрушаясь, она защищает.

Сталину эта фраза необычайно понравилась. Прохаживаясь по обыкновению вдоль стола заседаний, он в этот момент остановился, поднял вверх указательный палец и произнес:

— Разрушаясь, защищает... Диалектика!..

В каждом из этих случаев у Сталина была своя, конкретная причина, побуждающая его взять под свою защиту очередное такое псевдоизобретение.

О.Б. Лепешинская, например, считалась геронтологом. Для продления жизни предлагала принимать какие-то содовые ванны. А Сталин старел, умирать ему не хотелось, вот и поддержал это ее начинание (авось, поможет!).

В других случаях сыграла роль некомпетентность Сталина. Вернее, — его уверенность, что знание «науки наук», в которой он, как известно, был корифеем, всегда поможет ему найти единственно правильное решение и в обсуждении

проблем, требующих специальных знаний, которых ему не доставало.

Да, было и такое.

Но во всех этих случаях особого его благоволения к «народным самородкам» было и нечто общее.

Прежде всего, конечно, то, что они были ему — «социально близкие». (Он ведь и сам тоже был таким же «самородком».)

Но главным тут все-таки было не это.

Давным-давно, но уже не в сталинские, а в хрущевские времена я попросил одного крупного ученого-биолога, с которым мне случилось познакомиться, чтобы он объяснил мне причину непотопляемости «народного академика» Трофима Денисовича Лысенко. С грехом пополам я еще могу понять, говорил я, почему Сталин его поддерживал. И, соответственно, понимаю, почему при Сталине с него, как говорится, пылинки сдували. Но Сталина уже нет, он даже отчасти разоблачен. Во всяком случае, все его вторжения в сферу различных наук (в языкознание, даже в политическую экономию) признаны ошибочными. А Лысенко по-прежнему на плаву. Он, как был при Сталине, так и остался неприкасаемым. Чем вы можете это объяснить?

— Объясняется это просто, — ответил мой собеседник. — Положение нашего сельского хозяйства до такой степени катастрофическое, что спасти его может только чудо. А Лысенко — **поставщик чудес!** Представьте, вызывают на самый верх самых выдающихся биологов, агрономов и говорят: «Нам необходимо увеличить производство зерновых. Какие меры вы можете предложить для достижения этой цели?» Честные биологи и агрономы чешут в затылках и, взвесив все возможности, отвечают, что надо делать то-то и то-то, и через двадцать лет урожайность зерновых вырастет на три-четыре процента. А когда тот же вопрос задают Трофиму Денисовичу Лысенко, он тут же предлагает очередное чудо. Надо, скажем, говорит, сажать квадратно-гнездовым спосо-

бом. И урожайность возрастет не на три процента, а — вдвое, втрое. И не через двадцать лет, а — завтра. А когда назавтра выясняется, что чудо не помогло, он, как ни в чем не бывало, предлагает новое, другое чудо...

Вот такими же **поставщиками чудес** были все эти любимцы Сталина, — все поддерживаемые им «народные самоходки». И Бошьян, и Лепешинская, и тот инженер, который предлагал изготавливать некачественную танковую броню, которая «разрушаясь, защищает». Диалектика диалектикой, но главная причина симпатии Сталина к этому «чайнику» все-таки заключалась в том, что высококачественной стали тогда было мало, а танковой брони было нужно много. И помочь выйти из этого тупика могло только **чудо**,

По той же причине Сталин считал нужным поддержать и инженера, предложившего новый, бездоменный способ выплавки стали.

Но к этому изобретению у него был еще и другой, особый, дополнительный интерес:

► ..Сталин произнес:

— Сколько электроэнергии возьмут ваши обогатительные фабрики?

Онисимов, не затрудняясь, назвал интересующую Сталина величину.

— Эти показатели, товарищ Сталин, выведены на основе опыта наших лучших обогатительных и агломерационных установок.

— На основе опыта... — не то вопросительно, не то недовольно сказал Сталин. — Опять, значит, будете жечь уголь, чтобы выпекать агломерат?

— Однако других способов, — ответил Онисимов, — в распоряжении металлургов пока нет. Товарищ Чельшев, надеюсь, подтвердит.

Чельшев ограничился кивком.

— Таким образом, показатели, — продолжал Онисимов, — принятые нами...

Сталин, однако, не дослушал.

— Что же выходит? — перебил он. — Получим огромное количество энергии от Енисейской гидростанции, от Ангарского каскада. А кто ее будет забирать? Metallургия?

Он говорил, не повышая голоса, но в тоне сквозило раздражение. Упрекнул Онисимова в том, что тот предпочитает тратить дорогой уголь, в то время как следовало бы шире использовать в металлургических процессах электричество. По-прежнему недовольно протянул:

— На основе опыта...

Прошелся, отчеканил:

— Опыт — хорошая штука, но таких условий, которые металлурги получают в Восточной Сибири; такого избытка электричества еще нигде не существовало. А новые условия требуют и новой технологии, нового опыта. Не так ли?

Удовлетворенный своей речью, ее ясностью, логичностью, он последние слова произнес уже без раздражения. Потом подошел к столику, на котором рядом с папкой Онисимова стояла початая бутылка боржомом, налил четверть стакана, отхлебнул.

— Так вот, товарищи, — ваша задача: всюду, где возможно, повышать энергоемкость. Почему бы, например, нагревательные печи и колодцы не перевести на электричество?

Как и в других случаях, он опять выказывал знание деталей производства. Онисимов лишь кратко ответил:

— Есть!

— Надо и в доменном деле искать способы применения электричества. Как ваше мнение, товарищ Чельшев, можем ли мы в какой-то мере заменить кокс электричеством?

Чельшев сказал:

— У нас, товарищ Сталин, существует поговорка: начальник доменного цеха — это хороший кокс.

— Эту вашу поговорку я слышал уже много лет назад... По-вашему, значит, нельзя использовать для доменной плавки электричество?

— В малых печах возможно.

— А в больших нельзя?

Капризные нотки явно слышались в этом вопросе. Сталин, привыкший, что все и вся склоняется перед ним, сейчас сердился, что технология не хочет ему повиноваться. Чельшев, однако, под этой нависшей грозой сохранил спокойствие. И даже ироничность.

— Можно, — сказал он. — Все можно, товарищ Сталин, если прикажут. Но будем сидеть без чугуна.

Берия приподнял белесые брови. Глаза сквозь круглые стекла смерили Чельшева, перебежали на Сталина.

Однако гроза не разразилась. Сталин прошелся, опять обратился к Онисимову, велел показать энергетический баланс.

Конечно, поведение Сталина, его вопросы с несомненностью свидетельствовали, что применение электричества в металлургии вскоре станет или, пожалуй, уже стало новым увлечением, новым коньком Хозяина.

*(А. Бек. Новое назначение.
М., 1987. Стр.43–45).*

Но это было не просто «новое увлечение Хозяина», не просто новый его «конек». Эта новая сталинская маниакальная идея призвана была разрешить тупиковую ситуацию, порожденную другой, предыдущей его маниакальной идеей.

Таких маниакальных идей у него было много. И едва ли не каждая оказывалась чревата новым судорожным напряжением всего гигантского государственного механизма. Не то что одно слово Сталина, даже один какой-нибудь его безмолвный жест — и тотчас же планировалась волна новых аре-

стов, и где-нибудь на Востоке Сибири строились новые бараки для размещения новых людских резервов, призванных воплотить в жизнь очередной гениальный замысел вождя.

«Безмолвный жест» — это не метафора.

Был, например, такой случай.

Проектировали строительство какого-то гигантского химкомбината. Когда проект был готов, его показали Сталину: он должен был его утвердить.

Проект был утвержден. Оставалось только окончательно определить место, где комбинат должны были строить.

Предложений было несколько, но все они сводились к тому, что разворачивать строительство надо на Волге.

Сталин сидел на стуле, а у ног его расстелили географическую карту.

Выслушав доклад, Сталин выбросил вперед левую ногу и сказал:

— Туда.

Обсуждение на этом закончилось: больше вождь не произнес ни единого слова.

Общий смысл его указания был ясен: строительство комбината следовало перенести дальше — на восток. Но куда именно? На какое расстояние от первоначально намечавшегося места?

Задать этот вопрос Сталину никто не осмелился: он не любил лишних вопросов. И тогда, посоветовавшись, руководители проекта приняли такое решение: осторожно, каким-нибудь окольным путем выяснить (у Поскребышева, Власика или еще кого-нибудь из приближенных вождя), **какая длина шага у товарища Сталина.**

Получив искомый ответ, они определили новое местоположение проектируемого объекта. И только после этого осмелились представить свои уточненные предложения Хозяину...

В начале 50-х все эти маниакальные идеи Сталина получили официальный государственный статус и соответствующий

щее пропагандистское оформление. Они стали именоваться **ВЕЛИКИМИ СТРОЙКАМИ КОММУНИЗМА**, — и вот как отныне надлежало о них говорить и писать:

- ▶ Пройдут годы, пройдут десятилетия, и человечество, пришедшее к коммунизму во всех странах мира, с благодарностью вспомнит советских людей, которые впервые, не боясь трудностей, смотря далеко вперед, вступили в великую мирную битву с природой, чтобы стать ее господами, чтобы показать человечеству путь к овладению ее силами, к ее преобразованию.

И прежде всего благодарное человечество назовет имя великого учителя трудящихся всего мира, создателя невиданных ранее, величественных и смелых, широких и ясных планов преобразования природы на огромных территориях целого ряда природных зон, руководителя мирных строек коммунизма — Иосифа Виссарионовича Сталина!

(Ю. Саушкин, Великое преобразование природы Советского Союза, Географгиз, М., 1952. Стр. 123).

В 1950 г. по инициативе И. В. Сталина были приняты исторические постановления о строительстве величайших гидроэлектростанций на Волге, Днестре, Дону, Аму-Дарье, а также о сооружении крупных оросительных систем и судоходных каналов. Эти стройки являются событием всемирно-исторического значения, новым большим шагом на пути к коммунизму. Советский народ назвал их великими стройками коммунизма.

Все эти мероприятия означают крупный поворот в истории нашей Родины в направлении преобразования природы и создания материально-производственной основы коммунизма...

Великие стройки коммунизма преобразят гидрографию нашей страны. Вместо прежней Волги, с ее

высокими весенними половодьями и низкой летней меженью, на огромном протяжении — от Калинина до Сталинграда — будет создана цепь больших озера-водохранилищ, что коренным образом изменит режим великой русской реки и подчинит его воле человека. По своим размерам новые водоемы будут больше величайшего в мире Рыбинского водохранилища. Площадь их достигнет 5–6 тыс. км, ширина — 30–40 км, а длина — до 500 км. Между рр. Волгой и Уралом в засушливой полупустыне протянется магистральный канал, а на месте мелководных Камыш-Самарских озер возникнет новый огромный водоем.

(А. Соколов. *Великие стройки коммунизма — новый этап в деле освоения и изучения водных ресурсов СССР. Источник в интернете: <http://www.astronet.ru/db/msg/1192178/p1ch1e.html>*).

Это «громатье» сталинских планов вызвало встречный — идущий, так сказать, снизу, — поток совсем уже фантастических идей и предложений, исходящих иногда не только от шарлатанов и авантюристов, но и от серьезных ученых, а также разного рода энтузиастов и непризнанных гениев.

Приведу лишь некоторые из них.

- ▶ ...в конце 40-х годов гидротехник Митрофан Давыдов выдвинул проект — перебросить сибирские реки в Среднюю Азию. На время эту идею удалось «засушить». Но годы спустя (21 декабря 1978 года) государственное постановление № 1048 «О проведении научно-исследовательских и проектных работ по проблемам переброски части стока северных и сибирских рек в южные районы страны» было подписано...

Инженер Григорович предложил пробуровать на пять километров исток Ангары.

Инженер Герасенко — закачивать сточные воды в грунтовые горизонты Донбасса...

Инженер Манасерьян придумал проект спуска Севана и частично реализовал его, погубив озеро.

Лауреат Государственной премии ученый М. Крылов предложил опреснить Балтийское море, перекрыв датские проливы плотинами, вбухав 20 млн. «кубиков» бетона и 1,5 тыс. тонн металлоконструкций. Другой его проект — превращение северных морей в сушу, покрыв лед илом, дабы защитить от весеннего таяния, «наверху» был принят благосклонно.

Инженер П. Борисов предложил снять с Северного полюса земли ледяную шапку, для чего рекомендовал построить в Беринговом проливе плотину и откачивать воду из Северного Ледовитого океана в Тихий с адской скоростью 500 кубических километров воды в сутки. Борисов обещал, что в наши прибрежные воды хлынет теплый Гольфстрим, растают льды арктических морей, потеплеет север Евразии.

С ним вступил в дискуссию другой советский ученый — А. Шумилин. Он предлагал наоборот: перекачивать гигантскими насосами воду из Тихого в Ледовитый океан. И в этом случае моря должны прогреться, а климат Сибири и Дальнего Востока сравниться с Крымом.

В 1950-х годах в военных ведомствах СССР разработали еще один «суперпроект». Предлагалось поставить мощные водометы на берегу Берингова пролива и гнать холодные воды на США. Штормы и холод должны были нанести урон сельскому хозяйству «проклятых американцев».

(<http://www.ecoethics.ru/old/b61/53.html>).

На фоне всего этого безумия сталинская идея построить гигантские гидроэлектростанции на Енисее и Ангаре выглядит не только реалистичной, но даже как будто бы и

вполне разумной. (Уже после смерти Сталина она была не только реализована, но и воспета самыми знаменитыми нашими поэтами — Александром Твардовским в его поэме «За далью — даль», Евгением Евтушенко в его поэме «Братская ГЭС».) Но, как и другие маниакальные сталинские идеи, и эта тоже имела свою ахиллесову пятю.

Непонятно было, куда девать полученное в результате этих гигантских строек непомерное количество электроэнергии. На что ее, эту энергию, употребить?

В Сибири она не могла найти применения. А строить линии высоковольтных передач аж до Европейской части Союза, где эта энергия нужна, было бы уж полным безумием.

И тут, как нельзя более кстати, лег Сталину на стол этот проект неизвестного инженера, предлагающего выплавлять сталь бездоменным способом, на что как раз и понадобятся будущие потоки «лишней», избыточной электроэнергии.

Но каким образом этот проект неизвестного инженера (если автором его и впрямь был неизвестный инженер) смог прийти до Сталина?

* * *

У автора «Нового назначения» есть на этот счет своя версия.

Еще раз повторю: роман — не документ, и эту свою версию автор вполне мог — для пушей эффектности романного сюжета — даже и выдумать.

Но Бек, как уже было сказано, все относящееся к реальной подоснове его романа знал досконально. А во-вторых, эту его версию нам стоит рассмотреть хотя бы уже потому, что и в этой точке судьба героя его романа сошлась (переплелась) с судьбой Александра Фадеева.

- ▶ ...Сталин сказал: «Вы совершили ошибку». Черт знает, может быть, и впрямь он схватил своим гением, чутьем нечто такое, чего не узрел и не понял Чельшев?

Схватил и повелел: «Такой металл нам нужен. Такой способ будет жизненным»...

Сжав маленькой рукой черную пластмассу телефонной трубки, Александр Леонтьевич снова стал на вытяжку.

— Слушаю вас, товарищ Сталин.

В этом возобновившемся диалоге между генералиссимусом и министром Чельшев опять мог внимать лишь одной стороне.

— Разрешите, товарищ Сталин, доложить...

Сталин, видимо, оборвал Александра Леонтьевича, срезал его каким-то безапелляционным замечанием. Некоторое время Онисимов сосредоточенно слушал, повторяя:

— Понятно. Понятно.

Затем произнес еще раз:

— Понятно. — И добавил: — Будет исполнено. Да, под мою личную ответственность...

Сталин из своего кабинета продиктовал сроки, предоставил восемнадцать месяцев для возведения нового завода в Восточной Сибири для выдачи первой промышленной плавки по технологии Лесных... Затем, как понял Чельшев, вернул Онисимова к списку, которого ранее, несколько минут назад, не захотел слушать.

— Сейчас вам прочитаю.

Мгновенно отыскав в подшивке нужный лист, Онисимов огласил одну за другой фамилии членов комиссии, единодушно утвердивших отрицательное заключение по поводу предложения Лесных.

— Всех снова включить? Слушаюсь. Кого? Записываю. И представителя «Енисейэлектро»? Будет назначен товарищем Берия? Слушаюсь. Понятно.

Так завершился разговор. Зловещее имя Берия вплелось в самую завязь будущего огромного, как командовал Хозяин, предприятия.

Трубка положена. Онисимов опустил в кресло, взглянул на Серебрянникова, все еще стоявшего за его спиной, сказал:

— А ведь и он там сейчас сидел.

Благообразный начальник секретариата на миг прикрыл ресницами в знак понимания выпуклые голубые глаза. Понял и Чельшев, кого следовало разуместь под этим «он».

*(А. Бек. Новое назначение.
М., 1987. Стр. 82–83).*

Для романа — более чем достаточно. Но Александр Альфредович и тут подчеркивает, что пишет не роман, а — хронику. И как подобает честному летописцу-хронисту, открывает все скобки, ставит все точки над «i».

- ▶ Руководствуясь дневником Василия Даниловича, а также и некоторыми другими материалами, мы можем с достаточной долей достоверности представить, как в данном случае произошло вмешательство Сталина. Да, пластинки металла, выплавленные упорным Лесных в лабораторной печи, принес Сталину Берия. Конечно, Берия ранее и не ведал, что где-то в далекой Сибири работники проектируемой грандиозной гидростанции «Енисейэлектро», которую тоже предстояло воздвигать Управлению лагерей, подбросили некоему фанатичному изобретателю малую толику средств, как говорится, наудачу. Подобные мелкие затраты были вне его, Берия, масштаба. Но об опытной плавке ему доложили. С блестящими тонкими пластинками металла — изобретатель дал ему название первородной стали, — полученного прямо из руды путем электроплавки, особой технологии, отменившей применение кокса, да и весь доменный процесс, Берия пошел к Сталину. И не только с пластинками, но и с исчерпывающим подбором доказательств, уличающих Онисимова в том, что он ду-

шил изобретение. Наконец-то настал час, которого Берия выжидал годами и десятилетиями: Онисимов поставил себя под удар, немилосердный удар Сталина...

Итог разговора читателю известен. Сталин вопреки чаяниям Берия не расправился с Александром Леонтьевичем...

(Там же. Стр. 83–84).

Тут все дело в том, что с Александром Леонтьевичем Онисимовым у Берия были свои, давние счеты:

- ▶ Сталин был в зале не один. Там находился еще человек. Вальяжный, что называется, мужчина, он сиял круглыми, без оправы, стеклами очков, плавной выпуклостью лба, зачесанными на косой пробор светлыми волосами, маскировавшими раннюю, еще небольшую лысину. Это был Берия. Стоя у длинного стола, одетый в штатское, он посматривал на Онисимова с улыбкой, затаившейся в уголках рта. Александр Леонтьевич похолодел от такой улыбки.

Много лет назад этот человек, тогда скромный служащий в Баку, прошел, как говорилось, проверку у Онисимова, который, еще оставаясь политработником 11-й армии, был в то же время и председателем одной из комиссий, занимавшихся перерегистрацией членов партии в Баку. Предваряя вопросы Онисимова, Берия выразил желание перейти на более трудную, более опасную работу — в Особый отдел армии или в Азербайджанскую Чека. Пойманный на одном-другом противоречии, на вранье, он изворачивался, выскальзывал. Товарищ Саша — так в те времена называли Онисимова — пришел к убеждению: «Подозрительный тип. Чувствую, авантюрист». И не выдал ему партбилета. В следующей инстанции тому удалось восстановиться.

И пока что этот блистающий бывший бакинец лишь преуспевал. Встреча со Сталиным в начале трид-

цатых годов стала решающим рубежом в его фантастической карьере. Сталин, несомненно, был знатоком людей. Вынашивая замыслы, о которых знал только он один, Сталин своим тонким чутьем — слово «про-никновенность» тут вряд ли подойдет, — по-видимому, быстро, с первых же встреч, определил: вот человек, который ему нужен.

Теперь грузин-бакинец ведал огромной машиной арестов, допросов, расстрелов, тюрем, лагерей. С улыбкой он острыми зрачками сквозь очки поглядывал на Онисимова.

(Там же. Стр. 29—30).

Такой же свой, давний и личный счет был у Лаврентия Павловича Берии и к Александру Александровичу Фадееву.

Однажды, в минуту откровенности, Фадеев рассказал об этом подробно:

- ▶ ...у меня с Берией особый счет. Еще в мае 1937 года Сталин предложил мне поехать на съезд партии Грузии. «Напишите, товарищ Фадеев, ваши впечатления об этом съезде для меня. Личные впечатления. Немного, страницы на полторы». Я, как член ЦК, поехал туда в качестве полномочного делегата и взял с собой Петю Павленко, который присутствовал на съезде в Тифлисе в качестве гостя. Мы написали Сталину письмо вдвоем, рассказали, что понравилось. Написали, что нас смутило. А смутило нас то, что уже тогда бюст Берия стоял где-то на площади, а съезд каждый раз вставал, когда входил Лаврентий Павлович. Мы написали, что такое почитание секретаря ЦК Грузии расходится с историей и традициями большевистской партии...

Написав такое лихое письмо, мы его отправили Иосифу Виссарионовичу. Прошел какой-нибудь месяц, как Берия был вызван в Москву и назначен сначала за-

местителем Ежова. Ко мне пришел Павленко и сказал: «Саша, мы пропали». Я ответил ему, хохотнув: «Бог нас не выдаст...» — но вторую половину поговорки: «свинья не съест» — я Петьке сказать не осмелился...

Короче говоря, был после этого обед у Сталина на даче. Мне о нем рассказывал Чиаурели. И было на обеде этом три человека: Сталин, Берия и Чиаурели. Разговор шел на грузинском языке. Вот Сталин и говорит Берии:

— Что-то ты, Лаврентий, говорят, культ себе устраиваешь, статуи воздвигаешь?

Берия, человек хитрый и неглупый, спросил Сталина, откуда такая версия, кто меня топит. А Иосиф Виссарионович, как известно, был большим артистом и по-разному мог разговаривать: и с подковыркой, а, когда нужно, мог и так человека увлечь, так приласкать, такой натурой показаться, что, кажется, ты ему должен всю душу доверить...

— Да вот слухом земля полнится, — ответил Сталин. — Среди писателей такой разговор был.

Берия, конечно, сразу смекнул, о чем идет речь, и начал меня расхваливать до небес, что такой-де Фадеев замечательный парень, но только увлекающийся. Сталин слушал, в усы улыбался, да помалкивал. В конце концов он ему это письмо отдал: прочти, говорит, сам.

Берия, конечно, эту штуку мне навек запомнил.

*(К. Зелинский. В июне 1954 года.
Вопросы литературы, 1989,
№ 6. Стр. 167—168).*

История эта имела продолжение, и в свой срок я к ней вернусь.

Пока же отметим только еще и эту точку пересечения судьбы Фадеева с судьбой героя романа Бека Александра Леонтьевича Онисимова. И перейдем к следующей.

* * *

Итак, пронесло:

- ▶ Сталин вопреки чаяниям Берия не расправился с Александром Леонтьевичем, который, отшвырнув свои прежние соображения инженера, занял единственно спасительную для него позицию: «Будет исполнено!»...

Неодобрительно мотнув головой, Челышев договорил то, чего не отважился выпалить Сталину:

— Если такие заводы начнем строить, без штанов будем ходить.

Онисимов ничего не ответил. Привычно потянулся к неизменной пачке «Друг», взял в рот сигарету, чиркнул спичкой и... Что такое? Огонек заходил, заплясал в дрожавших его пальцах. Удивленный, он, не прикурив, загасил спичку. Приказал пальцам не дрожать. Но и следующая спичка тоже вибрировала в его руке. Глаза были ясными, небоязливыми, губы твердо сомкнуты, а вот руку била дрожь.

Таким было первое проявление странной болезни Онисимова, этого, словно бы беспричинного, неотвязного сотрясения пальцев, с которым не совладала медицина.

*(А. Бек. Новое назначение.
М., 1987. Стр. 84–85).*

Естественно предположить, что этот первый симптом странной онисимовской болезни, с которой не могла справиться медицина, возник как результат только что перенесенного им смертельного страха. Но автор объясняет это иначе:

- ▶ В пепельнице еще дымился его непогасший окуроч, а он уже потянулся к следующей сигарете. Опять он зажигает спичку. И — черт побери! — маленькое пламя мелко сотрясается, выдает начавшуюся вновь дрожь

руки. Вот этак, исподволь, то как бы исчезая, то опять оживая, к нему подбиралась эта странная болезнь.

Он не понимал ее истока. Но скажем мы. Еще никогда не переживал он такой сильной сшибки — сшибки приказа с внутренним убеждением. Доныне он всегда разделял мыслью, убеждением то, что исполнял. А теперь, пожалуй, впервые не верил — не верил, но все же приступил к исполнению.

(Там же. Стр. 89).

И вряд ли можно счесть случайностью то, что сразу же за этим авторским объяснением следует сцена, в которой впервые на страницах романа появляется некий, как потом окажется, зачем-то очень нужный автору, *новый персонаж*.

- ▶ Эпизод, который нам далее предстоит воспроизвести, тоже отмечен сравнительно подробной, занявшей почти три тетрадных страницы записью в дневнике Чельшева.

Местом действия был опять вот этот кабинет, где, как всегда в прежние времена, безукоризненно лоснился простор светлого паркета, а затем и пустынный, привыкший к строгой тишине коридор.

Василий Данилович, уже месяца три назад ставший директором Научно-исследовательского центра металлургии, приехал в тот стылый ноябрьский денек в министерство, чтобы согласовать тут план работ, а заодно вырешить некоторые другие вопросы...

Отворив полированную дверь, Чельшев увидел, что попал на заседание. В первую минуту он не понял, какой предмет тут обсуждается. И что за публику собрал у себя Онисимов, вежливо улыбнувшийся Чельшеву со своего кресла...

Василий Данилович сразу же заметил и чью-то незнакомую, красиво посаженную голову, почему-то

притянувшую взгляд. Однако незнакомую ли? Где-то Челышев встречал это, вопреки седине вовсе не старое, красноватое, будто только что с ветра, с мороза, лицо. Слегка прищуренные, в сети морщинок, глаза с интересом вглядывались в Главного доменщика Советской страны. Э, так это же писатель! Депутаты Верховного Совета, в состав которого входил и Василий Данилович, называли попросту писателем своего сотоварища депутата Пыжова, автора нескольких снискавших широкое признание и, несомненно, незаурядных романов. Никак не ожидая встретить писателя, далекого от так называемых производственных тем, на заседании у министра стального проката и литья, Челышев не вдруг его узнал. Что же тут надо писателю? Впрочем, кажется, где-то промелькнула заметка, что писатель, задумав новое произведение, провел несколько недель в семье сталевара на Урале. Да, да, это припомнилось Челышеву.

(Там же. Стр. 89—90).

Надо ли объяснять, что этот Пыжов — не кто иной, как Фадеев.

Не то что близости, а прямо-таки тождества этого своего персонажа с легко узнаваемым прототипом автор не только не скрывает — он его подчеркивает. Подчеркивает даже портретно: седая голова, красное, словно обветренное лицо.

То, что Фадеев мог — и даже должен был — появиться в каком-нибудь эпизоде этого романа, легко можно было предвидеть. Ничего удивительного нет даже и в том, что появляется он у Бека не в одном, а в нескольких эпизодах его романа. Интересно и знаменательно то, что появляется он тут как персонаж отнюдь не эпизодический. И хотя для сюжета романа как будто вовсе не обязательный, но зачем-то — повторю еще раз — необходимый автору, очень для него важный.

Повышенного своего интереса к этой фигуре он тоже не скрывает. И тоже его даже подчеркивает:

- ▶ ...знал ли, уяснил ли сам писатель глубокую правду о себе? Предугадывал ли недалекую уже – рукой подать, – последнюю трагическую страницу своей жизни? Но не будем и тут забегать вперед.

Возможно, в следующей повести, если мне ее доведется написать, мы еще встретимся с Пыжовым, одним из интереснейших людей канувшего времени. Пока же законы композиции, соразмерности главных кусков произведения позволяют уделить ему лишь немного места.

(Там же. Стр. 93).

Но тут же он эти самые законы композиции и соразмерности и нарушает, отдавая этому своему персонажу не так уж мало места. Во всяком случае, гораздо больше, чем того требует сюжет его романа, основная линия его повествования:

- ▶ Перед самим собой, да подчас и перед товарищами по профессии, писатель не скрывал: он замыслил новую вещь (уже было известно ее звучащее вызовом заглавие «Сталелитейное дело») также и для того, чтобы дать пример и образец всей пишущей братии, проложить новый путь литературе.

И не только литературе. Беспокойное честолюбие Пыжова, – он сам в какие-то минуты прозрения или, быть может, отчаяния проклинал эту свою роковую слабость, – охватывало, употребляя опять терминологию эпохи, весь фронт искусств. Писателю не терпелось первенствовать, вести за собой все художественные таланты Советской страны. Вести за собой... Это для Пыжова означало: с блеском, с воинствующей

убежденностью отстаивать, разъяснять точку зрения партии, или, что считалось этому тождественным, требования, оценки Сталина. Еще в двадцатых годах, во времена странных партийных дискуссий, однажды и навсегда уверовав в Сталина, а позже затаив и страх, иногда с мучительным стыдом это осознавая, он, коммунист Пыжов, даже запивая, или, как он сам красно говаривал, бражничая, — с ним это случалось все чаще, — бражничая и отводя душу в бесконечно грустных давних народных, а то и блатных песнях, никогда ни в большом, ни в малом Сталину не изменял. Ради этого приходилось порой идти на сделки с совестью, ибо грозный Хозяин не отличался, как известно, тонким художественным вкусом и, признавая порой истинно сильные творения, тем не менее поощрял и мещанскую помпезность, и грубо-льстивую услужливость. А совесть-то у писателя была жива... Думается, мы тут притронулись к его трагедии.

(Там же. Стр. 94–95).

Законы романного сюжетосложения совсем не требуют от автора, — и даже, как он сам только что об этом сказал, — не позволяют ему притрагиваться к этой трагедии отнюдь не главного, бокового его персонажа. А он не то что притрагивается, но — чем дальше, тем глубже — в эту его трагедию влезает:

- ▶ О новом своем замысле Пыжов объявил на большом литературном вечере, устроенном в честь его пятидесятилетия. Медленно проводя обеими руками по красивым седым волосам, как бы их зачесывая, — таков был характерный жест Пыжова-оратора, — сосредоточенно глядя куда-то в пространство, как бы выискивая самые чистые, проникновенные, точные слова, он произнес свою клятву, присягнув на верность Сталину. Его

незвонкий в повседневности голос вдруг обрел необычную звучность: «Клянусь, буду до последнего дыхания верен его делу, его знамени, его имени». Чувствовалось, эта клятва — не пустые слова, примелькавшиеся в те времена. Волнение Пыжова, внутренняя дрожь, не оставшаяся скрытой, сообщили им силу. Видевший виды зал притих.

Некоторое время спустя писателя пригласил один из секретарей Центрального Комитета партии...

— Пишешь о металлургии?

— Пока только примериваюсь. Еще весь в поисках.

— А жизнь позаботилась тем временем дать тебе свою подсказку. Вот, Иосиф Виссарионович поручил ознакомить тебя с этим документом.

С таким предисловием — кратким, но в достаточной мере выразительным — писателю было передано подписанное Сталиным решение Совета Министров о новом электрометаллургическом процессе, об изобретении инженера Лесных.

— Обдумай, не спеши, — добавил секретарь. — А потом позвони, дай знать, сгодилось ли тебе это для романа. А то Иосиф Виссарионович вдруг невзначай спросит.

Писатель, по собственному позднему признанию, сразу оценил документ, оказавшийся волею Сталина в его руках, мгновенно зажегся. У него к этому дню уже накопились впечатления нескольких поездок на заводы, образы заводских людей — сталеплавильщиков, наместились некоторые драматические столкновения, но все это еще оставалось зыбким, нестройным, неясным, было как бы лишено некоего главного узла или главной истории, куда стягивались бы все нити романа.

И вот, наконец, он ее заполучил — да еще как и от кого! — эту центральную историю, ему столь необходимую. И он тотчас, — возможно, с быстротой мысли, — увидел заново сложившуюся или, как говорится,

выстроившуюся вещь, ее драматургию, ее философию. В тот же день он занес в записную книжку: «Ядро романа — переворот в металлургии. Небывалый революционный способ получения стали. Академик Ч., ученик знаменитого Курако, герой первых пятилеток, не понял. Министр О., член ЦК, инженер-металлург, не разобрался, не понял. Дошло до Ст. Он понял. И открыл дорогу этой революции в технике».

(Там же. Стр. 94–95).

Пока что никакой трагедией тут и не пахнет. Все сложилось не просто хорошо, а прямо-таки замечательно. Безграничная вера писателя в Сталина и Сталину счастливо совпала с собственным, уже забрезжившим его замыслом. И не просто совпала, а придала этому его замыслу окончательный смысл и даже подсказала ему готовое художественное решение — и драматургию, и философию будущей его вещи.

Все как будто складывается на редкость удачно. И нет никаких оснований подозревать, что кончится это не то что трагедией, а даже драмой.

Однако тут же на эту коллизию, по видимости такую безоблачную, сулящую писателю лишь безусловную творческую удачу и новые лавры, ложится тень какого-то неблагополучия:

- ▶ Увлечшись подсказанным ему не в счастливый час сюжетом, в самом деле поразительно эффективным, заключающим редкие возможности обширной художественной панорамы, исполненной страсти, действия, борьбы, писатель уже с заранее вынесенным приговором подошел в министерском коридоре к академику. Но совесть-то, как мы сказали, была в Пыжове жива. Наверное, ее голос был невнятен, и все же она выказалась в неловкой, как бы спрашивающей извинения улыбке...

(Там же. Стр. 95).

К чему тут эта авторская реплика про совесть, которая у писателя, мол, была еще жива. Ведь ничего похожего на ту сшибку между внутренним убеждением и приказом, какая была у Онисимова, у него быть не могло. Положим, автор — а с ним и мы, читатели, уже знаем, что вся эта сталинская затея обречена на провал. Но ведь Пыжов-то об этом еще даже и не догадывается. Откуда же тут это предчувствие беды, этот предупреждающий сигнал еще живой, не вовсе умершей в нем совести? И откуда эта его неловкая, виноватая улыбка?

► Спрятав глаза под лохматыми бровями, как бы нахохлившись, Чельшев слушал писателя без малейшего предубеждения. Наоборот, ощущал к нему расположение. Но буркнул хмуро:

— Что же вам от меня надо? Ежели вы насчет вот этих дел... — Он взглянул в сторону кабинета, где Онисимов вел заседание.

— Да, да, да, — не скрывая интереса, зачастил писатель...

Чельшев хмыкнул...

— Хм... Если вы надумали писать про это дело...

— Да, да, да.

— То тут я вам не помощник. Считаю эту, — Василий Данилович запнулся, но все же позволил себе выразиться грубовато, — эту заваруху несерьезной. И разговаривать об этом, извините, не буду.

С беспощадностью, свойственной политике, писатель тотчас определил (и позднее внес в записную книжку): Чельшев достиг своего предела, отстал на каком-то перегоне от мчащейся революционной эпохи. Но проговорил писатель так:

— Зачем же об этом? Я хочу порасспросить вас о Курако. И о временах, когда строилась «Новоуралсталь». И о Серго...

Пыжов снова хохочет на весь коридор, а синие — некогда яркие, а теперь как бы с примесью неживой белесоватости — глаза невеселы.

(Там же. Стр. 95—96).

Если он так истово, так безоглядно верит в правду подсказанного ему Сталиным сюжета, если не сомневается, что не верящий в эту сталинскую авантюру старик академик просто-напросто «достиг своего предела, отстал на каком-то перегоне от мчащейся революционной эпохи», — почему же в таком случае, когда он громко хохочет на весь коридор, глаза его **невеселы**?

Похоже все-таки, что и у него, как у Онисимова, тут тоже имеет место какой-то душевный разлад. Сшибка не сшибка, но какое-то, уже томящее его противоречие, — какой-то зазор между внутренним убеждением и полученным сверху социальным заказом (приказом).

Не будем, однако, забывать, что Пыжов все-таки — не Фадеев. Вернее, это тот Фадеев, каким он видится автору романа. А у настоящего, реального Фадеева, — если судить по известным нам его письмам А.Ф. Колесниковой, — никакого такого зазора, никакого противоречия между внутренним убеждением и приказом как будто не было?

То-то и дело, что было.

Было и противоречие, и вызванный этим противоречием душевный разлад.

* * *

При первом, поверхностном чтении писем Фадеева к А.Ф. Колесниковой создается впечатление, что все помехи, все препятствия, мешающие ему целиком отдаться любимому делу (писанию романа) — не внутренние, а внешние. Но довольно быстро начинаешь понимать, что на самом деле это не так.

У раннего Чехова есть коротенький рассказ, героиня которого признается собеседнику, что отказалась выйти замуж за человека, которого любила, потому что ей сделал предложение богатый старик. И вот теперь этот богатый старик умер, она свободна и могла бы наконец соединиться с тем, кого любила и продолжает любить. И они могли бы наконец быть счастливы...

— Что же вам мешает сделать это? — удивляется ее собеседник.

И горестно вздохнув, она отвечает:

— Другой богатый старик.

Сама она, надо полагать, уверена, что этот другой богатый старик — лишь внешняя помеха, из-за которой она опять не может быть счастлива. Но чеховская ирония не оставляет сомнений, что причина эта — сугубо внутренняя, она заключена в ней самой.

Вот так же обстояло дело и у Фадеева с теми — якобы внешними — помехами и препятствиями, которые мешали его творческим усилиям. Только-только входит он в ритм и возникает «инерция работы за столом — состояние, которого все пишущие люди так ждут», — как является какой-нибудь очередной «богатый старик»: суэта, связанная с предсъездовской борьбой за власть в Союзе писателей, или «международные дела» — очередная поездка в какой-нибудь там Стокгольм на сессию Всемирного совета мира...

Но в действительности дело обстоит еще хуже.

При внимательном чтении этой его переписки выясняется, что роман «Черная металлургия», работе над которым ему мешают отдалиться все эти «богатые старики», — тоже не что иное, как такой же — очередной — «богатый старик», мешающий ему, как говорилось в старину, «составить свое счастье». По-настоящему счастлив он мог бы быть, если бы отказался и от этого «богатого старика» и целиком отдался совсем другому своему замыслу.

С А.Ф. Колесниковой — «девушкой его мечты», в которую он в юности был без памяти влюблен — Фадеев откровеннее, чем с кем бы то ни было.

Всей правды ей он тоже, конечно, не говорит. Но иногда — **проговаривается**:

► ИЗ ПИСЬМА А.А. ФАДЕЕВА
А.Ф. КОЛЕСНИКОВОЙ

26 сентября 1951 года

Когда я писал тебе о своих намерениях творческих, новая тема бродила во мне еще не вполне ясно, а кроме того, я еще надеялся, что мне удастся в условиях такого длительного отпуска меньше уделять внимания делам международным. Потом окончательно выяснилось, что я буду писать роман о нашей металлургии (которую знаю все-таки поверхностно), что тема эта может и должна быть решена на материале самом показательном в наших советских условиях (Магнитогорск, Челябинск, Запорожье, Кузнецк), а главное, что мне по-прежнему так часто надо выезжать в «далекие страны», что — дай бог хотя бы успешно изучить и хотя бы только начать задуманную вчерне вещь! И нужно ли скрывать от тебя, что всю эту поездку в Комсомольск, о которой я писал, я больше надумал для того, чтобы иметь повод попасть на родину, повидать тебя!..

Реально это будет так: если мне удастся в ноябре попасть в Кузнецк, то из Кузнецка я махну самолетом на Дальний Восток. Если не удастся попасть в Кузнецк в ноябре, поеду зимой — в декабре или январе — и опять-таки из Кузнецка — на Дальний Восток. Но не могу скрыть от тебя, что эта поездка, о которой я мечтаю и которую обязательно осуществляю — доставляет мне много душевных тревог. Я всегда мечусь между чувством долга и душевными порывами... Чувствую

себя «неловко» оттого, что часть отпуска, предоставленного мне для творчества, отдам просто своей душе... чувствую известный «грех» перед собой как писателем, что пускаюсь в «плавание», которое не только не может прибавить ничего для темы моей о металлургах, а, наоборот, отвлечет меня — в плане уже чисто профессиональном — к темам моей юности и к темам освоения Дальневосточного края в наше время — темам тоже прекрасным, но не стоящим теперь у меня на очереди. В то же время потребность побродить по родным местам, чтобы удовлетворить душу свою (это так естественно в 50 лет!), потребность эта так велика, что я все-таки поеду, обязательно поеду!

(Там же. Стр. 377–378).

Он пытается уверить ее — а заодно и себя, — что этот душевный разлад не слишком его томит. Но все-таки признает, что он существует. Есть, есть, оказывается, в его душе противоречие «между чувством долга и душевными порывами». И есть даже некое чувство вины, что он не в силах заглушить эти свои душевные порывы, принести их в жертву своему профессиональному долгу.

А.Ф. Колесникова — «милая Асенька», как он ее называет, — была его первой — в пору их юности, кажется, неразделенной, — любовью, «девушкой его мечты». И вот сейчас, тридцать лет спустя, эта юношеская любовь вдруг вспыхнула в нем с неожиданной силой. Каждое его письмо к ней — бурный взрыв ностальгии по временам — и местам — их юности. В каждом он мысленно возвращается туда, погружается в воспоминания, от которых не хочет возвращаться в реальность. И чуть ли не в каждом он делится с ней самой сокровенной своей мечтой: вернуться туда не только памятью, но и физически, объясняет, почему это невозможно сделать сейчас, и клянется, что непременно осуществит эту свою мечту в самое ближайшее время:

► Я получил большой отпуск для лечения и для творчества, на 4 месяца, но на таких условиях, что я никуда не могу уехать из Москвы. Если бы не это условие, я немедленно умчался бы к Вам. Как бы нам было хорошо у нас на родине! Я уже не был там 15 лет, как мне все было бы интересно! И все напоминало бы нам прошлое, все связывало бы нас духовно с самым светлым периодом нашей жизни... Мы могли бы ходить по родным для нас местам, поехать вместе куда-нибудь... Но я не имею права уехать из Москвы, потому что по характеру своей (не внутрисоюзной, а международной) деятельности я и во время отпуска время от времени нужен здесь. Не дает мне возможности поехать и то обстоятельство, что поездка не позволит мне закончить работу над новыми главами «Молодой гвардии»...

В 1948 году мне дали для этого 4 месяца отпуска, но отпуск был на две трети сорван: дали отпуск, а через несколько дней поручили подготовку доклада к годовщине смерти Белинского. Мне пришлось все бросить и сесть за Белинского — на подготовку доклада у меня ушло полтора месяца. Потом я все-таки начал писать новые главы «Молодой гвардии» и сделал примерно половину работы — тоже месяца полтора ушло на это. У меня оставался еще месяц, и я успел бы еще кое-что сделать (по роману), но тут меня сняли с отпуска и направили на подготовку конгресса деятелей культуры в защиту мира, прогресса и демократии в Польшу, в г. Вроцлав, — это был первый после войны международный конгресс подобного рода. С той поры — эта сторона моей многообразной деятельности забрала у меня большую часть времени из истекших полутора лет, а роман так и остался недописанным. Сейчас — единственная возможность дописать его.

И конечно (не говоря уже о времени, которое отняла бы дорога), мне трудно было бы дописать «Моло-

дую гвардию» на Дальнем Востоке. Соприкосновение с родиной, встреча с Вами — все это и перевернуло бы меня и вызвало бы целый поток дальневосточных тем, в том числе и таких, которые уже давно сидят в моей голове, но не могут быть осуществлены по недостатку времени: возьмите хотя бы «Последний из удэге», незаконченный роман, который я из всех своих произведений больше всего люблю. Но в конце концов я мог бы сделать «сверхгероическое» усилие и заставить себя закончить «Молодую гвардию» на Дальнем Востоке, — главное все-таки в том, что я привязан к Москве своими международными обязанностями, — мне сейчас просто не разрешат уехать... Обещаю Вам в течение 1951 года приехать к Вам и пробыть с Вами месяц...

Причем я рассчитываю, — если сложится в начале 1951 года зимой такая ситуация, что мне не надо будет ехать за границу, а будет лежать на мне только работа по Союзу писателей, — я рассчитываю совершить свой дальневосточный рейс зимой, в крайнем случае — весной.

(Там же. Стр. 307–308).

Это — из письма от 28 апреля 1950 года.

А вот — две недели спустя (16 мая):

- ▶ Как бы мне хотелось приехать к Вам! И я обязательно сделаю это в 1951 году. Одна из моих самых больших радостей сейчас, это — гулять по лесу и мечтать, как я приезжаю...

(Там же. Стр. 331).

Но и в 1951 году этой его мечте не дано было осуществиться:

- ▶ Родная Асенька!..

Конечно, все планы моей жизни сломала жестокая действительность. Из-за своей чудовишной перегрузки,

начавшейся с Варшавского конгресса, я не смог доделать до конца свою «Молодую гвардию». Наивно было бы просить отпуска в течение зимы: одно дело напирало на другое; и — поездки, поездки, превратившиеся для меня из счастливой возможности *познавать* — в тяжелый крест...

В первых числах марта вернулся из Берлина. Мне предстоял дней через десять большой доклад на совещании молодых писателей, но я свалился: сдало сердце. Ничего опасного, но — страшное переутомление. При наличии невроза — этого спутника времени нашего — я стал неработоспособен. Пролежал в больнице, потом дома. Вышел на работу 2 апреля только для того, чтобы в течение дней десяти привести в порядок дела...

Мечты мои о поездке на Дальний Восток рассыпались прахом. Пока что мне не дали даже обычного творческого отпуска: я буду в Барвихе до 10 мая, ибо числа 12—13-го (мая) опять вынужден буду выехать по мирным делам. Ввиду того, что я очень переутомлен, нет у меня уверенности, что в течение этого месяца в Барвихе я успею доделать «Молодую гвардию». Следовательно, если мне после поездки дадут еще 2 месяца или хотя бы один — для литературной работы, я не смогу никуда выехать, а должен буду немедленно сесть за роман. Я не могу больше тянуть с ним: читатель ждет.

(Из письма от 19 апреля 1951 года.
Там же. Стр. 364—365).

В августе того же года:

- ▶ Мне так безумно хочется в Приморье! Чем старше я становлюсь, тем чаще мысль моя бродит по детству, по юности. Не для того, чтобы уйти от настоящего, не для того, чтобы отдохнуть от бурь жизни, а просто для

того, чтобы еще лучше осознать свой путь жизни и почерпнуть из прошлого — молодости, веры, бодрых сил и чистоты душевной.

(Там же. Стр. 374).

И год спустя (10 мая 1952 года):

- ▶ Милая моя Асенька!.. Как бы я хотел повидать тебя и такие родные, родные для меня места! Я буду делать решительно все, чтобы это стало возможным. Я боюсь того, что если я не сумею этого сделать теперь, то мне уже никогда не удастся этого сделать. Я стал много и часто болеть. Этот год был у меня самым свободным, а на самом деле я был перегружен, если учесть, какую новую и трудную тему, с ее мало знакомым мне раньше материалом, я поднял новым своим «металлургическим» романом... Что же будет дальше, когда Союз писателей снова ляжет на меня, а ведь роман-то во что бы то ни стало буду продолжать.

(Там же. Стр. 298).

Еще через год — 11 июня 1953 года:

- ▶ Если дадут мне полный творческий отпуск (на что есть перспективы вполне реальные) эдак на годик, не сомневаюсь, что поездка моя на родину осуществится непременно. Если я не попаду в родные края в течение предстоящего учебного года, трудно будет сказать, попаду ли я в них уже когда бы то ни было!

(Там же. 436).

И еще три года спустя — в марте 1956-го:

- ▶ ...меня и вправду очень потянуло на «родину». Я ведь всегда вспоминаю и мечтаю о ней. На сессиях Верховного Совета, Пленумах ЦК, разных всесоюзных

совещаниях я встречаюсь с дальневосточниками — старыми и новыми, и все они зовут меня — поехать, посмотреть... Иной раз я испытываю просто тоску по Дальнему Востоку.

И все-таки мне невозможно сейчас поехать. Я уже тебе объяснял, что я по обстоятельствам жизни пропустил момент «подготовки» романа своего, когда Дальний Восток мог служить в известной части материалом и для этого моего романа. Теперь, когда я уже давно «в ходу», когда мой первый замысел и все, что удалось совершить по этому замыслу, потерпело в значительной части фиаско (об этом я тоже писал) и когда я уже давно в сердце нового замысла и систематически работаю, — такая поездка на родину выбила бы меня из седла, впечатления и переживания, соединенные с воспоминаниями детства и юности (в их силе, можно сказать, первозданной), вытеснили бы из меня все и вся.

Порой и грустно сознавать, — но возраст уже заставляет трезво оценивать положение, — я все больше убеждаюсь, что смогу поехать на «родину» не скоро: не раньше чем года через три-четыре, когда роман (в новом варианте его) будет совсем закончен. Судя по всему, это будет уже последний мой роман на «современном» материале (первую книгу я стремлюсь закончить к началу 57 г.). Потом я буду кончать «Удэге». И вот тогда-то поеду! Поеду надолго, сознавая, что мне как писателю, приближающемуся к 60-ти, «в самый раз» заняться темами, связанными с моим прошлым.

(Там же. Стр. 661—662).

По видимости, эти его душевные порывы связаны только лишь с тоской по «малой родине», по местам их общей юности, которые ему страстно хотелось бы посетить, да вот все не удается, — то одно мешает, то другое.

Но все это только отголоски главного его душевного стремления, осуществив которое он только и мог бы быть счастлив. Это главное, постоянно томящее его душевное стремление, в котором он, может быть, даже и сам до конца себе не признается, состоит в том, чтобы послать к чертовой матери не только все свои общественные дела и обязанности, но и эту осточертевшую ему «Черную металлургию» и целиком погрузиться в единственное занятие, которому он готов отдать «не по службе, а по душе», — в работу над продолжением давно начатого, но заброшенного и бесконечно далекого от завершения своего романа «Последний из удэге».

Он пытается уговорить себя, что эта его мечта еще сбудется, — не в этом году, так в следующем, не в следующем, так года через три-четыре. Но в глубине души уже и сам знает, что этому не бывать. Нет уже у него никаких душевных ресурсов для того, чтобы реализовать эту свою душевную потребность.

* * *

Узнав, что сюжет подсказанного (заказанного) ему романа был основан на липе, Фадеев был близок к самоубийству.

- ▶ Потрясение, испытанное Фадеевым, было огромным. Невозможность осуществления в искусстве навязанного Сталиным романа, как прожектором, осветила ложь всего того, что получило наименование «культ личности».

Зелинский уверял меня, что потрясенный Фадеев хотел застрелиться. Жена отняла у него револьвер, застав его в той самой позе в постели, в которой он потом действительно застрелился. После этого Фадеев неделю прожил один, вне дома, в лесу.

(В. Кирпотин. Ровесник железного века. Мемуарная книга. М., 2006. Стр. 651).

Но тот же Зелинский в своих воспоминаниях о Фадееве рассказывает, что эта (а может быть, другая такая же?) попытка суицида имела место в июне 1954 года, то есть ДО ТОГО, как обрушился замысел «Черной металлургии»:

- ▶ ...приехала Мария Владимировна (мать жены). Он с ней поругался... Это дура стоеросовая. Она взялась упрекать А.А., зачем он пьет. А Александр Александрович в таком состоянии не терпел никаких замечаний и выговоров...

А.А. Фадеев ушел из дома в крайне возбужденном состоянии. В такие периоды он почти не мог спать. В Кремлевке его лечили усиленными дозами снотворного — нембутала и амитала-натрия. Но когда алкоголь вливается в жилы, то иногда не помогают пятикратные и десятикратные дозы.

А.А. Фадеев ушел из дома, не столько повздорив с Марией Владимировной, сколько поругавшись со своей сестрой Татьяной Александровной... Она у него нашла и вынула из-под подушки «наган», который Фадеев приготовил себе. «Нашла коса на камень», схлестнулась фадеевская порода друг с другом.

*(К. Зелинский. В июне 1954 года.
«Вопросы литературы», 1989, № 6. Стр. 153–154).*

О том же (скорее — другом таком же) случае подробную запись оставила сестра жены Фадеева и многолетний его личный секретарь Валерия Иосифовна Степанова-Зарахани:

- ▶ В тот день, когда погиб Александр Александрович, приехали из прокуратуры, они допрашивали Евгению Федоровну (Е.Ф. Книпович, она тогда гостила у Фадеевых. — Б.С.) и домработницу. Ко мне через несколько дней приезжал домой следователь, я до сих пор помню, как его звали, — А.А. Козырев. Он со мной долго разговаривал, вот тут я и отдала еще одну записку.

Дело было так. Домашняя работница, Августа Владимировна, мне как-то позвонила рано утром — это было году в 53-м или 54-м. Позвонила и говорит, что Александр Александрович ходит расстроенный и, видимо, не спал всю ночь, не могу ли я приехать.

Я вызвала машину, собрала документы в папочку — надо было найти предлог. Приехала на дачу, поднялась наверх — Фадеев лежал на диване. Он меня увидел, очень удивился:

— Валя, ты чего приехала?

Мы с ним поговорили, я подошла к письменному столу и увидела записку, написанную красным и синим карандашами. Видно, красный сломался, и он стал писать другим. Что-то там было «жить больше не могу», и рядом на столе лежал его чешский пистолет (или револьвер, я в этом не разбираюсь). Я воскликнула:

— Саша, что с тобой?

Он вскочил, разорвал записку, а клочки бросил в корзину для бумаг под стол.

— Ерунда все это, пойдем вниз.

Повернулся и пошел. Я вынула незаметно эти маленькие листочки, спрятала в карман. Да и еще сказала ему:

— А пушку я твою заберу.

Я ее в чулан убрала.

Так эта записка и осталась у меня. Я была в таком тяжелом состоянии, вернее, даже в растерянности от того, что происходит, что и сама не знаю, зачем это сделала.

Когда ко мне приехал Козырев, я вспомнила об этой записке и отдала ее. Может быть, и не надо было. Записка была из таких зеленых квадратиков, двух-трех не хватало, но разобрать было можно. Судьба этой записки мне неизвестна.

(Гласность, 4 октября 1990 г.).

Все это с несомненностью свидетельствует о том, что на самом деле крах замысла «Черной металлургии» не был при-

чиной его самоубийства. Он только вскрыл, обнажил (вывел из подсознания в сознание) корни того душевного неблагополучия, которое привело Фадеева к его трагическому концу.

Причиной же этого душевного неблагополучия было то самое, как оказалось, неразрешимое противоречие между тем, что приходилось ему делать «по службе», — и тем, что ему хотелось делать «по душе».

Начальный эпизод своих воспоминаний о Фадееве Зелинский датирует точно: 14 июня 1954 года. В этот день пришла к нему Е.Ф. Книпович и сообщила, что Александр Александрович ушел из дома в прошлый вторник и вот уже неделя, как никто не знает, где он и что с ним. Попросила его помочь разыскать беглеца.

Такие «убеги» из дома у него случались и раньше. Но этот что-то уж больно надолго затянулся.

Когда беглец наконец отыскался, о том, где и как он провел эти дни, рассказывал так:

- ▶ Все эти дни я провел в лесу. Из Переделкина я пошел пешком через лес во Внуково, где меня не так знают. Я рассчитал свои деньги. Я мог выпивать только 200 граммов в сутки, что стоит девять рублей. Еще я мог купить немного хлеба. Первую ночь я бродил по лесу, иногда ложась на траву под деревьями. Было очень тепло и тихо. Выпала небольшая роса. И я слушал окружающие меня звуки: движение поездов, лай собак в далеком жилье, неведомый шум леса. Я наслаждался. Я наслаждался дыханием самого леса, которое меня возвращало к моим скитаниям по тайге в годы моей партизанской юности на Дальнем Востоке. Я дышал полной грудью, и чувство безвестности, чувство того, что сейчас никто не знает, где и кто я, вылилось в счастлирое чувство свободы, независимости.

*(К. Зелинский. В июне 1954 года.
Вопросы литературы. 1989, № 6. Стр. 155).*

Эта попытка убежать в юность, — вернуться в то счастливое состояние, когда он чувствовал себя свободным и независимым, была, надо полагать, не единственной. И все они кончались одним и тем же — возвращением в ад своих повседневных обязанностей, к своей тачке каторжника, к которой он был прикован невидимой цепью. И даже не одной, а многими цепями.

Вырваться из плена мнимостей, в который превратилась его жизнь, он уже не мог. Разве только вот так — на несколько дней.

Была, правда, и другая возможность разорвать этот порочный круг. Но на это он тоже был уже неспособен:

- ▶ Сейчас, когда так резко изменилась обстановка, когда можно об этом писать, да и просто жить и дышать, все ясно! До боли ясно!..

У Льва Толстого есть замечательное, глубокое место, где Маслова после суда, обдумывая свою жизнь, вспоминает многое, кроме своих отношений с Нехлюдовым, — ей это было слишком больно. Вот и Саша никогда прямо не высказывал этой самой мучительной своей мысли. Во время одного из последних наших разговоров по телефону (примерно года за полтора до гибели) я довольно робко спросила, почему бы ему не продолжить «Удэге»? Саша вдруг с запальчивой раздражительностью, как всегда, если речь заходила о самом сокровенном и больном для него, воскликнул: «Ты что же, думаешь, что я умру скоро?! Вот кончу свою «Металлургию», а потом «Удэге».

(О судьбе Александра Фадеева. В. Герасимова. Беглые записи. Вопросы литературы. 1989, № 6. Стр. 120).

Верил ли он в это?

В какие-то минуты, быть может, и верил. И даже когда писал А.Ф. Колесниковой, что работает над «Черной метал-

лургией» с увлечением и пишется ему сейчас хорошо, — наверно, был искренен. Но то, что роман этот пишется им «по службе», а не «по душе», для близких ему людей не было секретом:

- ▶ «Металлургия», мне кажется, — плод того «долженствования», которому Саша, да и многие хорошие коммунисты моего поколения, были подвержены... Поэтому затянула его административная возня — сначала в руководстве РАППа, затем в Союзе писателей. Это же влияло и на выбор литературной тематики. «Молодая гвардия» при этом была более органична, чем «Черная металлургия». Заповедные образы своей юности он переделал в одежды комсомольцев сороковых годов. Впрочем, лжи тут не было — ведь в основном молодогвардейцы несли в себе тот же свет...

(Там же. Стр. 120—121).

А кое-кто из близких так даже и сомневался порой, что работа над романом продвигается, как он всем об этом говорит, а не топчется на месте:

- ▶ Во вторник, 15-го, утром я, направляясь в Москву, заехал на дачу Фадеева и говорил с его секретаршей Валерией Иосифовной. Она выбежала ко мне в сад...
— Спасибо вам, Корнелий Люцианович, но Фадеев уже отыскался... Мы ума не приложили, что с ним делать. Признаюсь вам по секрету, что я в его отсутствие обшарила его письменный стол, чтобы проверить, что им написано. Мне кажется, что им написаны только те два с половиной листа, которые он всем читает. Все остальное — черновики.

*(К. Зелинский. В июне 1954 года.
Вопросы литературы. 1989, № 6. Стр. 179).*

Вряд ли это было так. И вообще, не ее это было дело — рыться в ящиках его письменного стола и выяснять, сколько чего там было им написано. Но эти сомнения и опасения возникли не на пустом месте.

Если бы все так хорошо было с этим его романом, вряд ли возникала бы у него потребность убежать в лес, чтобы хоть ненадолго вернуть себе то ощущение свободы и независимости, которое владело им в годы его партизанской юности.

* * *

В главе «Сталин и Платонов» я прикоснулся к этому сюжету — к трагедии Фадеева, вызванной крушением замысла его романа «Черная металлургия», — и высказал там по этому поводу одно соображение, к которому сейчас не могу не вернуться.

Трагедия эта будто бы состояла в том, что ему подсунули лживые сведения, на основе которых он возводил здание своего нового большого романа. Этот роман мог бы — и должен был — стать вершиной его творчества, высшим его художественным достижением. И вот — величественное здание это рухнуло, развалилось, превратилось в беспорядочную груду строительного мусора.

Но представим себе, что этого несчастья бы не произошло. Что сведения, полученные им, были бы верными. Что те, кого ему представили как вредителей, действительно были вредителями, а те, кого он считал новаторами и передовиками производства, на самом деле ими и были.

Что бы изменилось?

Он был уверен, что в этом случае изменилось бы все.

Оказалось бы, что весь этот его творческий кризис, этот постыдный творческий тупик, из которого он не видел выхода, что все это — только страшный сон. И радость, которую он испытал бы в этом случае, была бы подобна той, что испытал герой знаменитой баллады Алексея Константиновича Толстого «Сон Попова»:

«То был лишь сон! О, счастье! О, радость!
Моя душа, как этот день, ясна!
Не сделал я Бодай-Корове гадость!
Не выдал я агентам Ильина!
Не наклепал на Савича! О, сладость!
Мадам Гриневич мной не предана!
Стриженко цел, и братья Шулавковы
Постыдно мной не ввержены в оковы!»

У выдуманного А.К. Толстым советника Попова основной для этой бурной радости было больше, чем у Фадеева. Ведь те, кто, в случае если бы все это ему не приснилось, был бы им «предан», кому он «сделал гадость», кого бы «выдал агентам» и «вверг в оковы», — ведь все они, надо полагать, были реальными людьми. А у Фадеева те, кого он невольно оклеветал, изобразив вредителями, — всего лишь вымышленные герои вымышленного повествования.

В «Молодой гвардии», как мы теперь уже знаем, это было не так. Но это — другой сюжет и другая тема. А свой вопрос (что изменилось бы, если бы Фадееву не всучили фальшивку, и те, кого он изобразил вредителями, на самом деле таковыми и были?) я задал, желая получить на него ответ не с точки зрения политики, юриспруденции или даже морали, а только лишь применительно к трагедии Фадеева — в той мере, в какой она была связана с судьбой этого его романа.

Так вот, с этой в данный момент только меня и интересующей точки зрения в этом случае **не изменилось бы ничего.**

Сюжет романа остался бы тот же — вечный советский производственный сюжет, борьба новаторов с консерваторами, передовиков производства с вредителями. А кто передовики, кто вредители, — не все ли равно? От перемены мест слагаемых сумма не меняется.

И в том, и в другом случае этот его роман, если бы он был закончен, оказался бы в ряду тех во множестве расплодив-

шихся тогда сочинений, о которых М.М. Зощенко пренебрежительно говорил:

— Ну, это диктант.

Сочинять роман «под диктовку» Фадееву, как мы знаем, случилось и раньше. Достаточно вспомнить, с какой готовностью взялся он переделывать «Молодую гвардию». Но там все-таки речь шла о том, чтобы выручить, не дать перечеркнуть книгу, в которую он — худо-бедно — вложил немало личного, своего. А тут был уже чистый, беспримесный, самый что ни на есть настоящий «диктант».

Этим своим романом Фадеев низвел себя до уровня таких титулованных графоманов, как Бубеннов («Белая береза»), Бабаевский («Кавалер золотой звезды»), Павленко («Счастье») и других — не столь знаменитых, но весьма многочисленных — производителей той псевдолитературы, — можно даже сказать антилитературы, — которая уже почти совсем вытеснила тогда в нашей «самой читающей стране» литературу настоящую.

Тут, к слову, не лишним будет отметить, что, совершив в том июне 1954 года свой «убег» из дома, неделю или две недели спустя Фадеев отыскался не где-нибудь, а на даче вот этого самого М. Бубеннова, который был тогда одним из главных погромщиков-черносотенцев в Союзе писателей (а может быть, даже и во всем СССР). В наспех сооруженном застолье, разумеется, с выпивкой, приняли участие гостившие в то время у Бубеннова ближайшие его дружки-единомышленники:

- ▶ Под утро в воскресенье, 18 июня, Фадеев немного забылся сном на раскладушке, которую ему вынесли в сад. Под крышу он по-прежнему не захотел идти. Утром после завтрака к Бубеннову приехали два поэта — С.А. Васильев и С.В. Смирнов. А. Фадеев пил меньше всех. Он по-прежнему сидел на узенькой маленькой скамеечке за зеленым столом, босой, небритый. Он был полон радушия к людям, от него веяло теплом и

дружелюбием. Каждому он хотел сказать что-нибудь приятное... Он говорил Васильеву, хватаясь руками за голову:

— Сережка, как я перед тобой виноват! Боже мой, как я перед тобой виноват! Я же люблю твои стихи. — При этом Фадеев читал некоторые стихи Васильева наизусть. — Я еще во время войны должен был провести тебя на Сталинскую премию.

— Что делать, Саша. Ведь я не мог от тебя забеременеть.

— Ах, вот как ты бьешь. Ну что ж, бей. Я это заслужил. Ты это про Z. говоришь, я знаю. Было это у Антокольского на квартире. Было в гостинице «Москва». Была такая полоса, когда я не выходил из штопора. Но, как сказано у Пушкина, «но строк печальных не смываю».

(К. Зелинский. В июне 1954 года.

Вопросы литературы. 1989, № 6. Стр. 176—177).

Z., о которой тут идет речь, — это Маргарита Алигер, с которой у него во время войны был роман (родилась дочь). Сохранилась их переписка, из которой видно, что это была отнюдь не случайная связь «по пьянке», а — пусть короткая, но — любовь.

А «Сережка» (С.А. Васильев), перед которым он каялся, что не «провел» его на Сталинскую премию, — это автор скандально знаменитой в эпоху борьбы с «безродными космополитами» поэмы «Без кого на Руси жить хорошо»:

Спешат во тьме с рогатками,
с дубинками, с закладками,
с трезубцами, с трегубцами,
в науку, в философию,
на радио, и в живопись,
и в технику, и в спорт.
Гуревич за Сутыриным,

Бернштейн за Финкельштейном,
Черняк за Гоффеншефером,
Б. Кедров за Селектором,
М. Гельфанд за Б. Руниным,
За Хольцманом Мунблит.
Такой бедлам устроили,
так нагло распоясались,
вольготно этак зажили,
что зарвались вконец.

Поэма была такая пахучая, что даже в те оголтело антисемитские времена опубликовать ее автору не удалось: ходила в списках.

А другой поэт, участвовавший в том дружеском застолье, — С.В. Смирнов, — был тогда героем известной эпиграммы:

Поэт — горбат.
Стихи его — горбаты.
Кто в этом виноват?
Евреи виноваты.

Вот в какой теплой компании он оказался. Вот к кому был полон радушия, дружелюбия и тепла, кому старался сказать что-нибудь приятное.

Но о нравственном, человеческом падении Фадеева, о капитуляции его перед торжествующим свинством речь пойдет в следующем сюжете. А в этом я все-таки стараюсь не выходить за пределы размышлений о его творческом кризисе.

Сознавал ли Фадеев всю его глубину?

Думаю, что признавал. А иначе не написал бы в своем предсмертном письме, что жизнь его как писателя теряет всякий смысл.

Сюжет четвертый

«ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ЦК ВКП(Б)...»

Никаким антисемитом Фадеев, конечно, не был. Во всяком случае, антисемитов, которых в Союзе писателей расплодилось тогда уже немало, он не жаловал, что даже нашло отражение в тогдашнем интеллигентском (писательском) фольклоре:

Суровый Суров не любил евреев,
Он к ним священной злобою пылал,
Его не раз одергивал Фадеев,
Который тоже их не обожал.
Когда же Суров, мрак души развевя,
На них кидаться чуть пореже стал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
Его старинной мебелью долбал.
Певец березы в жопу драматурга,
Как будто это сердце Эренбурга,
Столовое вонзает серебро.
Но, следуя традициям привычным,
Лишь как конфликт хорошего с отличным
Расценивает это партбюро.

Этот иронический сонет сочинил Э. Казакевич. А поводом для его создания стала драка автора «Зеленой улицы» Анатолия Сурова с автором «Белой березы» Михаилом Бубенновым. О том, что они там не поделили, история умалчивает. Может быть, это был даже какой-нибудь принципиальный, идейный спор. Один, скажем, доказывал, что всех евреев надо отправить в газовые камеры, а другой предлагал более мягкий вариант: выслать их на Колыму. Или, еще того либеральнее, — в Израиль.

Как бы то ни было, они подрались. И драка была серьезная. В ход была пущена даже мебель — стулья, табуретки. Оружием одного из сражающихся, как рассказывали очевидцы, стала вилка, которую он вонзил своему оппоненту в зад, что дало повод Твардовскому, который принял участие в сочинении этого сонета, — во всяком случае в доведении его до совершенства, — подарить Казакевичу замечательную (едва ли не лучшую во всем стихотворении) строчку: «Столовое вонзает серебро».

Конфликт хорошего с отличным, упоминаемый в заключительных строчках сонета, — не остроумная выдумка сатирика (вроде «Проекта о введении единомыслия в России» Козьмы Пруткова). Был — на самом деле — в критическом и литературоведческом обиходе того времени такой термин.

История эта, сама по себе, конечно, интересная, вряд ли заслуживала бы столь подробного упоминания на этих страницах, если бы сочиненный по ее поводу сонет не мог служить надежным подтверждением того несомненного факта, что А.А. Фадеев во вверенном ему ведомстве антисемитизма не поощрял, а наиболее злобных антисемитов даже одергивал.

Так оно на самом деле и было. Что, однако, не помешало ему в возникновении, становлении и развитии государственного советского антисемитизма сыграть весьма заметную, можно даже сказать, выдающуюся роль.

Начать с того, что он был автором (точнее — одним из авторов) печально знаменитой статьи «Об одной антипатрио-

тической группе театральных критиков», появление которой 28 января 1949 года на страницах «Правды» ознаменовало начало первой в нашей стране крупномасштабной антисемитской кампании.

Для людей сведущих эта кампания не стала неожиданностью. Первые симптомы государственного антисемитизма на ниве «изящной словесности» обозначились раньше. Вспомню тут лишь два-три эпизода, отмеченные участием в них моего героя.

В мае 1947 г. явные признаки космополитизма были вдруг обнаружены в книге профессора-литературоведа И.М. Нусинова «Пушкин и мировая литература», изданной в 1941 г. Грубому разному ее подверг Н. Тихонов. Он объявил, что Пушкин и вместе с ним вся русская литература представлены в этой книге «всего лишь придатком западной литературы», лишенным «самостоятельного значения». По Нусинову, мол, получается, что все у Пушкина «заимствовано, все повторено, все является вариацией сюжетов западной литературы», что «русский народ ничем не обогащал мировую культуру». Такая позиция современного «беспачпортного бродяги в человечестве» объявлялась следствием «преклонения» перед Западом и забвения того, что только наша литература «имеет право на то, чтобы учить других новой общечеловеческой морали». Тут же эта тема была вынесена на пленум правления Союза писателей СССР, где критика этой «очень вредной» книги была подхвачена и развита А. Фадеевым. Именно с этого его выступления «дискуссия» стала перерастать в кампанию по обличению низкопоклонства, отождествленного с космополитизмом.

Все это уже тогда несло в себе отчетливый привкус юдофобии. Но в еще сравнительно умеренных дозах. А главное — имело пока хождение в сравнительно узких — литературных, научных — кругах. «Низкопоклонниками» и «космополитами» представляли приверженцев определенных направлений в науке (школы академика А.Н. Веселовского в литера-

туроведении, М.Н. Покровского в истории) без различия их национальности. Но уже все чаще в перечислениях разоблачаемых «безродных космополитов» и «беспачпортных бродяг в человечестве» стали мелькать еврейские фамилии.

Непосредственным поводом для начала более широкой, массовой антикосмополитической кампании стал доклад Г.М. Попова, первого секретаря МК и МГК ВКП(б). В первой половине января 1949 г., будучи на приеме у Сталина, он обратил его внимание на то, что на пленуме Союза советских писателей при попустительстве Агитпропа ЦК «космополиты» сделали попытку сместить А. Фадеева, он же из-за своей скромности не смеет обратиться к товарищу Сталину за помощью. Фадеев рекомендовал заняться Всероссийским театральным обществом — «гнездом формалистов, чуждых советскому искусству». Но Агитпроп упорно игнорировал эти его рекомендации.

Когда Д.Т. Шепилов, тоже в свою очередь принятый Сталиным, начал говорить о жалобах театральных критиков на гонения со стороны руководства ССП и в доказательство положил на стол соответствующее письмо, Сталин, не взглянув на него, раздраженно произнес: «Типичная антипатриотическая атака на члена ЦК товарища Фадеева». После этого «оказавшемуся не на высоте» Агитпропу не оставалось ничего иного, как незамедлительно дать отпор этой «антипатриотической атаке».

24 января 1949 г. решением Оргбюро ЦК главному редактору «Правды» П.Н. Поспелову было предписано подготовить по этому вопросу статью.

И через четыре дня (28 января) эта статья появилась. Написать ее было поручено А. Фадееву и Д. Заславскому. Они — вдвоем — ее и сочинили. Но напечатана она была без их подписей, как редакционная.

Приведу — пока — лишь несколько фрагментов из этой статьи, характеризующих в основном ее стилистику:

- В театральной критике сложилась антипатриотическая группа последышей буржуазного эстетства, которая проникает в нашу печать и наиболее развязно орудует на страницах журнала «Театр» и газеты «Советское искусство». Эти критики утратили свою ответственность перед народом; являются носителями глубоко отвратительного для советского человека, враждебного ему безродного космополитизма; они мешают развитию советской литературы, тормозят ее движение вперед. Им чуждо чувство национальной советской гордости.

...какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека, если он пишет, что в «благодушном юморе и наивно доверчивом оптимизме» пьес Погодина, в которых якобы выразился «национальный характер мироощущения драматурга», зритель видел свое отражение и «испытывал радость узнавания», ибо, дескать, «русским людям не чуждо и благодушие». Поклеп это на русского советского человека. Гнусный поклеп. И именно потому, что нам глубоко чуждо благодушие, мы не можем не заклеить этой попытки оболгать национальный советский характер.

Перед нами не случайные отдельные ошибки, а система антипатриотических взглядов, наносящих ущерб развитию нашей литературы и искусства, система, которая должна быть разгромлена. Не случайно безродные космополиты подвергают атакам искусство Художественного театра и Малого театра — нашей национальной гордости...

Первоочередная задача партийной критики — идейный разгром этой антипатриотической группы театральных критиков...

Надо решительно и раз навсегда покончить с либеральным попустительством всем этим эстетствующим

ничтожествам, лишенным здорового чувства любви к Родине и к народу, не имеющим за душой ничего, кроме злопахательства и раздутого самомнения. Надо очистить атмосферу искусства от антипатриотических обывателей...

Партийная советская критика разгромит носителей чуждых народу взглядов, она расчистит поле для плодотворной деятельности советского театра и выполнит те задачи, которые поставлены перед нею партией, народом.

*(Об одной антипатриотической
группе театральных критиков.*

*Правда, 1949, 28 января. Цит. по книге:
Сталин и космополитизм.
1945—1953. М., 2005. Стр. 232—240).*

Современные историки, опираясь на ставшие доступными им документы и свидетельства современников, отмечают личное участие Сталина не только в создании этой статьи, но и в ее редакции:

- ▶ Имеется несколько свидетельств, в том числе документальных, о роли И.В. Сталина в появлении публикуемой редакционной статьи «Правды», придавшей кампании против космополитизма на этой ее стадии антисемитскую направленность.

Два таких свидетельских воспоминания опираются на высказывания члена ЦК, генерального секретаря ССП СССР А.А. Фадеева, одного из главных участников кампании против «группы антипатриотических критиков», принимавшего непосредственное участие в заседании Оргбюро ЦК 24 января 1949 г., на котором и было принято решение о выступлении «Правды» с редакционной статьей.

Ссылаясь на Фадеева, известный писатель и публицист И.Г. Эренбург писал, что кампания против театральных критиков, преимущественно евреев, «была начата по указанию Сталина» (*И. Эренбург. Собр. соч.: В 9 т. Т. 9. М., 1967. Стр. 574*). Так же с ссылкой на Фадеева другой писатель, К.М. Симонов, в то время заместитель Фадеева в ССП и главный редактор журнала «Новый мир», писал, что инициатива появления комментируемой редакционной статьи «принадлежала непосредственно Сталину» (*К. Симонов. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине. М., 1990. Стр. 187*).

Имеется суждение и о том, что статья появилась после «редактуры Сталина» (*Г. Костырченко. В плену у красного фараона. Политические преследования евреев в СССР в последнее сталинское десятилетие: Документальное исследование. М., 1994. Стр. 191*).

В пользу такого суждения говорит тот факт, что, как стало теперь известно, еще в 1941 г. Сталин использовал введенный статьей в пропагандистский оборот термин «безродный космополит», который, по его словам, «готовил почву для вербовки шпионов, агентов врага» (*Г. Чернявский. Дневники Г.М. Димитрова // Новая и новейшая история. 2001. № 5. Стр. 54*)...

Определенным документальным подтверждением роли Сталина в этом деле может служить рукописная запись (карандашом), которую сделал главный редактор «Правды» П.Н. Поспелов на приеме у Г.М. Маленкова накануне появления редакционной статьи. Причем в аппарате ЦК было хорошо известно, что в этот период Маленков был всего лишь простым исполнителем идеологических установок Сталина. Вот эта запись часовой беседы и ее главный результат:

«С тов. Маленковым. 27 января 1949 г. 2 ч. 3 ч. 55 м. Поправки к статье «Об одной антипатриотической группе театральных критиков».

Для разнообразия дать три формулировки: в первом случае, где употребляется слово «космополитизм» — ура-космополитизм; во втором — оголтелый космополитизм; в третьем — безродный космополитизм. После внесения этих поправок — можно печатать в завтрашнем номере «Правды» (РГАСПИ. ф. 629. оп. 1. д. 98. л. 1).

О роли И.В. Сталина в начатой этой статьей антисемитской стадии кампании говорит и то обстоятельство, что вскоре глава Агитпропа ЦК Д.Т. Шепилов отчитывался перед советским вождем о первых откликах на статью «Правды»...

Заслуживает упоминания и еще одно свидетельство. Достаточно информированный современник событий А.М. Борщаговский писал, что двумя основными авторами редакционной статьи в «Правде» были А.А. Фадеев и Д.И. Заславский, которым на заседании Оргбюро ЦК 24 января было поручено «выступить с принципиальной установочной статьей»... (А. Борщаговский. Записки баловня судьбы. М., 1991, Стр. 4, 74, 221).

(Сталин и космополитизм. 1945—1953. М., 2005. Стр. 241).

Это были уже не те патриархальные времена, что в 1932 году, когда Сталин лично вызвал на ковер Фадеева и Сутырина, ткнул им в нос январский номер «Красной нови» с рассказом Платонова «Впрок» со своими пометками на полях этого рассказа и скомандовал, руководствуясь этими его пометками, срочно написать на эту тему статью. На сей раз никаких его собственноручных пометок на тексте, написанном

Фадеевым и Заславским, не сохранилось. Разве только вот эти три его совета, сохранившиеся в карандашной записи Шепилова:

- ▶ ...дать три формулировки: в первом случае, где употребляется слово «космополитизм» — уракосмополитизм; во втором — оголтелый космополитизм; в третьем — безродный космополитизм.

Но, зная «почерк» Сталина, можно предположить, что это был лишь, так сказать, последний штрих, сделанный рукой мастера, а до того наверняка были у него и другие рекомендации. Вспомнив знаменитую реплику Ленина («Повар сей любит острые блюда»), с достаточной долей уверенности можно даже предположить, что все они были направлены на максимальное обострение и огрубление первоначального текста. «Гнилое отношение...», «гнусный поклеп...» — все эти пахучие эпитеты были в обычном сталинском стиле. Не исключено, впрочем, что такие опытные ребята, как Фадеев и Заславский, могли и сами подладиться под этот любимый сталинский стиль.

Так или иначе, генезис стиля этой правдинской статьи сомнений не вызывает. Но откуда взялось ее МЯСО? Вся ее, так сказать, конкретная часть? Кто определил имена главных космополитов? (Пофамильно в статье были названы: Ю. Юзовский, А. Гурвич, И. Альтман, А. Борщаговский, Е. Холодов (Меерович), Г. Бояджиев, Л. Малюгин, Я. Варшавский). Кто решил, что «лучшим, талантливейшим» драматургом страны должен быть объявлен Анатолий Софронов? Когда речь в ней зашла о других корифеях тогдашней советской драматургии, которых бесстыдно шельмовали «безродные космополиты», упоминались и другие имена: А. Суров, Н. Корнейчук, Б. Ромашов, Н. Вирта. Но комплименты, которые авторы статьи расточали Софронову, были совсем уж неумеренными:

- ▶ Приведем горячие, искренние слова из выступления К.А. Зубова...

«То, что заложено в пьесе Софронова, столь велико, столь радостно, столь дышит верой в нашу жизнь, столь оптимистично, что об этом нельзя умолчать. Этому надо помогать... Мне кажется, что поэтическая комедия, чистая комедия, оптимистическая комедия, которая заражает верой в нашу жизнь, в нашу действительность, в наше будущее, в те идеи, которыми мы живем, которыми мы дышим, — это уже столь важно, что нельзя отказать себе в удовольствии работать над этим... Вы проникаетесь вместе с ним верой в нашу прекрасную действительность...»

Эти слова могут быть отнесены ко всем лучшим пьесам, проникнутым гордостью за нашу великую советскую Родину, сыновней любовью к ней.

(Там же. Стр. 237–238).

Могут быть отнесены ко всем лучшим, но на роль главного положительного примера авторами почему-то назначен именно Софронов. Им самим принадлежал этот выбор? Или он был подсказан (указан) теми (или ТЕМ), кто «поручил» им сочинить эту статью?

В сталинском (ныне — президентском) архиве сохранился документ, который дает нам возможность с достаточной долей убедительности ответить на этот вопрос:

- ИЗ ПИСЬМА РАБОТНИКА ГАЗЕТЫ
«ИЗВЕСТИЯ» А. БЕГИЧЕВОЙ И.В.
СТАЛИНУ О ЗАСИЛЬЕ
«ВРАГОВ-КОСМОПОЛИТОВ» В ИСКУССТВЕ

8 декабря 1948 г.

Товарищ Сталин!

В искусстве действуют враги. Жизнь отвечаю за эти слова.

На творческой конференции московских драматургов, критиков и деятелей театра (29 и 30 ноября)

были враждебные вылазки против партийных советских пьес и спектаклей. В «умном» докладе А. Борщаговского был дан старт для нового организованного нападения на народное искусство.

Докладчик и некоторые выступавшие замаскированные формалисты, эстеты и западники довольно неприкрыто пытались сделать вывод, что:

1. Советская драматургия, идейно и художественно беспомощная, не принята народом и не нужна ему.

2. Театры переживают очередной кризис.

3. Русские драматурги Ромашов, Леонов, Погодин, Первенцев, Суров, Вирта, Софронов, Нилин, Слепян и др. производят идейно убогие, художественно примитивные пьесы без «нужной интеллигентности в фактуре и ткани пьес и без психофизического комплекса в психологическом раскрытии героя» (Борщаговский). Он же заявил, что Софронов в своих пьесах не готов к обличению действительности (!), амнистирует советских дураков...

Грубой ревизии подверглось награждение Сталинскими премиями пьес: «Великая сила», «Хлеб наш насущный», «В одном городе». Их пытались расценить как идейно-художественный брак, который народ не желает смотреть.

Малюгин открыто взял под защиту пустые развлекательные пьесы, в которых до предела оглулены наши советские люди, особенно партийные руководители. «Таймыр», «О друзьях-товарищах», «Не от мира сего»...

Враждебно настроенные к советскому новому искусству люди утверждали, что МХАТ и Малый театр в тупике и что их «катастрофа» происходит от того, что они работают над низкопробным материалом вроде пьес Софронова, Сурова, Вирта и т.д. Но о театрах Красной Армии, Камерном, Вахтангова, где идут ненужные

народу пьесы, пошлые и процветают низкопоклонничающие перед западными образцами методы игры, — не говорилось...

Многие из выступавших (Каверин, Попов, Малюгин, Борщаговский, Берсенев) скорбели о падении театров, об утере ими перспективы, об отсутствии жанров, стилей и новых форм. С горечью вспоминали хорошие старые времена свобод в искусстве, когда кипели творческие силы и создавались шедевры (это, очевидно, имелись в виду времена расцвета деятельности Мейерхольда и тайного исповедания жрецами искусств откровений Троицкого в искусстве и литературе)...

Виновники дезориентации театров, растерянности и молчания крупных драматургов, молчания прессы — группа «ведущих» критиков, замаскированных космополитов, формалистов, занимающих основные позиции в критике, направляющих мнение недалеких руководителей даже таких газет, как «Советское искусство» и «Известия». Их главари: Юзовский, Мацкин, Гурвич, Альтман, Бояджиев, Варшавский, Борщаговский, Гозенпуд, Малюгин. Эти критики поднимают низкопробные пьесы, пристраивают в театры таких пасквильантов на нашу действительность, таких ловкачей и дельцов, как Масс, Червинский, бр[атья] Тур, Прут, Фин, Ласкин и проч.

Космополиты пробрались в искусстве всюду. Они заведуют литературными частями театров, преподают в ВУЗах, возглавляют критические объединения: ВТО, Союз писателей, проникли в «Правду» — Борщаговский, в «Культуру и жизнь» — Юзовский, в «Известия» — Бояджиев, Борщаговский и т.д.

Эта группа крепко сплочена. Скептицизмом, неверием, презрительным отношением к новому они растлевают театральную молодежь и людей недалеких, приживая им эстетские вкусы (чему, кстати, очень помогают

пошлые заграничные фильмы, заливающие экраны, низкопоклонничество перед Западом, отрицательное отношение к явлениям нового в нашей жизни)...

Украина хорошо помнит Борщаговского – повивальную бабушку искусства, удушившую при рождении не один народный талант (Корнейчук знает это хорошо), его они пытались ликвидировать как бездарность.

Обращаюсь к Вам, товарищ Сталин, потому что мои многочисленные сигналы на летучках расценивают как результат плохого, неуживчивого характера, личной заинтересованности, некультурности. С моими предложениями о своевременных оценках новых и интересных явлений искусства не считаются, хотя формально мне отведен участок театра. Дважды уже пытались уволить из газеты за отсутствие квалификации и «политиканство». Для рецензии на пьесу Сулова «Обида» потребовали найти квалифицированного автора, хотя мою рецензию признали правильной...

Товарищ Сталин!

Личных интересов я уже не имею. Мне 50 лет. Жизнь прожита. Даже мое богатырское здоровье больше не выдерживает той борьбы, которую честно веду с врагами в искусстве всю свою сознательную жизнь. Лично я ничего не достигла, потому что меня хоть и считали везде талантливой, но отовсюду изгоняли за нетерпимый характер.

Пьесе Ромашова «Великая сила», Сулова – «Обида», Софронова – «Московский характер», Леонова – «Ленушка» считаю достижением в драматургии, созданием новых путей в советском народном искусстве. За них боролась открыто, зная, что за мною стоит человек, в чистое ленинское учение которого я верую и исповедую всем сердцем и умом. Это и давало мне убеждение в моей правоте и силу в борьбе. Как я радуюсь, что не ошиблась.

Я — та женщина, которая по Вашему распоряжению записывала на пленку украинские народные песни на Украине.

8 декабря 1948 г.

Безичева Анна
(Там же. Стр. 195—200).

В томе «Сталин и космополитизм», из которого я извлек текст этого письма, в подстрочных примечаниях к каждой его странице отмечены строки и абзацы, отчеркнутые синим карандашом. Иные из них подчеркнуты, другие отчеркнуты сбоку на полях вертикальной чертой.

Зная, КОМУ адресовано это письмо, а также, что Сталин имел обыкновение пользоваться в таких случаях именно СИНИМ КАРАНДАШОМ, легко можно было догадаться, КОМУ принадлежат эти подчеркивания и пометки. Но авторам статьи «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» вряд ли надо было строить на этот счет какие-то предположения и догадки. Скорее всего тот, кому было приказано вручить им это письмо, от них этого и не скрывал. А в том, что это письмо было им показано, не возникает сомнений. Особенно, когда сопоставляешь абзацы, отчеркнутые синим карандашом, с основными положениями и тезисами сочиненной ими статьи.

Вертикальной чертой на полях текста отчеркнут, например, такой его абзац:

- ▶ Заключительное слово докладчик посвятил разносу выступления художественного руководителя Малого театра — Зубова, взявшего под горячую защиту советскую драматургию, которая дышит солнечной верой и любовью в нашу жизнь.

Вряд ли можно счесть случайностью то, что авторы статьи «Об одной антипартийной группе...» не преминули процити-

ровать именно эти, дышащие «солнечной верой и любовью в нашу жизнь» слова художественного руководителя Малого театра:

- ▶ Приведем горячие, искренние слова из выступления К.А. Зубова...

И т. д.

Особого внимания СИНЕГО КАРАНДАША удостоился такой абзац:

- ▶ Виновники... — группа «ведущих» критиков, замаскированных космополитов, формалистов... Их главарь: Юзовский, Мацкин, Гурвич, Альтман, Бояджиев, Варшавский, Борщаговский, Гозенпуд, Малюгин.

Подстрочное примечание к этому фрагменту текста А. Бегичевой гласит:

- ▶ Часть абзаца, включающая перечисленные фамилии, на полях отчеркнута синим карандашом ТРЕМЯ (выделено мною. — Б.С.) вертикальными чертами.

Вот, стало быть, откуда взялся список главарей «антипатриотической группы», выделенных в статье «Правды». (Упомянувшиеся в письме Бегичевой, но почему-то не попавшие в этот список Альтман и Гозенпуд потом тоже не были забыты.)

Примерно так же обстоит дело и с ЖЕРТВАМИ вредительской деятельности критиков-антипатриотов. Вот имена тех, кто, как доносит Сталину А. Бегичева, подвергался особенно злобным их нападениям:

- ▶ Русские драматурги Ромашов, Леонов, Погодин, Первенцев, Суров, Вирта, Софронов...

А вот как разработана и аранжирована эта тема в статье «Об одной антипатриотической группе...»:

► ...театральный критик А. Борщаговский, умалчивая о произведениях, извращающих советскую действительность и образы советских людей, весь пыл своей антипатриотической критики направил на пьесу А. Софронова «Московский характер» и на Малый театр, поставивший эту пьесу... Тот же А. Борщаговский... вознамерился... ошельмовать такие произведения, как «Хлеб наш насущный» Н. Вирты, «Большая судьба» А. Сурова и др.

...критик А. Малюгин ополчился против таких глубоко патриотических произведений, заслуживших широкое признание народа, как «Великая сила» Б. Ромашова, «Хлеб наш насущный» Н. Вирты, «В одном городе» А. Софронова.

На совещании в ВТО критик Е. Холодов вел атаки против пьес «В одном городе» и «Хлеб наш насущный».

*(Сталин и космополитизм. 1945—1953.
М., 2005. Стр. 237).*

Тут невольно возникает — не может не возникнуть! — такой вопрос. Сочинила ли А. Бегичева свое письмо Сталину по собственному порыву души или оно было кем-то инспирировано?

Если верно последнее предположение (а оно напрашивается), то, скорее всего, инспирировали его именно они, постоянно обижаемые и шельмуемые этими снобами, эстетами и формалистами писатели-патриоты. А если даже и не инспирировали, то уж наверняка сделали все от них зависящее, чтобы это письмо легло на стол Сталину.

Письма «товарищу Сталину» шли в Кремль со всех концов страны нескончаемым мощным потоком, и, как вы понимаете, лишь очень малая, можно даже сказать микроскопически малая их часть имела шанс попасть на глаза вождя. Похоже, что кто-то был очень заинтересован в том, чтобы это письмо до Сталина дошло и — мало того! — привлекло к себе

его внимание. А кто мог быть в этом заинтересован больше, чем вся эта, как некогда по такому же поводу выразился Н.И. Бухарин, «фракция обиженных»?

Но это — лишь одна сторона интересующей нас проблемы. А была еще и другая, неизмеримо более важная.

* * *

Написанная А. Фадеевым и Д. Заславским статья «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», — точнее, появление этой статьи на страницах «Правды», — стала первым шагом в осуществлении сталинского плана **ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА**.

Сравнением Сталина с Гитлером и даже сталинского режима с режимом гитлеровского Третьего рейха сегодня уже никого не удивишь. Но применение к Сталину гитлеровской формулы об «окончательном решении еврейского вопроса» наверняка многих шокирует, а кое-кому так даже покажется клеветой на нашего бывшего вождя и учителя. Как-никак, а загонять евреев в газовые камеры Сталин не собирался. Он собирался просто выслать их куда-нибудь на Колыму, посадив в телячьи вагоны и даже гуманно распорядившись, чтобы в пути погибло не больше половины депортируемых еврейских семей. Для тех, кто при этом выжил бы, разница, конечно, существенная. Но в принципе нацистское «окончательное решение еврейского вопроса» от сталинского отличалось только тем, что было, выражаясь сталинским языком, **НАЦИОНАЛЬНЫМ ПО ФОРМЕ**. То есть рассчитанным на педантичных немцев с их приверженностью дисциплине и преданностью порядку — «орднунгу». Сталинский же вариант был рассчитан на нашу, российскую традицию погромов и депортаций (вспомним рассказ Герцена о том, как по дороге в ссылку ему встретился этап из еврейских детей-кантонистов, которых гнали в Сибирь, а они, по словам до-

бросердечного солдата, их туда везущего, в пути мерли, как мухи).

Итак, нельзя не признать, что некоторые основания прийти к выводу, что сталинский вариант «окончательного решения еврейского вопроса» не слишком отличался от гитлеровского, у нас все-таки имеются.

Окончательно решить еврейский вопрос Сталину, как и Гитлеру, не удалось. Но он, как и Гитлер, собирался его решить. Пусть не по-гитлеровски, а по-своему, по-сталински, но — окончательно.

С этим теперь все как будто более или менее ясно.

Но почему именно статью «Правды» «Об одной антипартийной группе театральных критиков» я назвал первым шагом в осуществлении этого задуманного им плана? Ведь в то же самое время — и даже несколько раньше — уже делались в этом направлении и другие, как будто бы даже более серьезные шаги. Уже был убит Михоэлс. Закрылся Еврейский театр. Закрылись еврейские газеты. Ликвидирован Еврейский антифашистский комитет, объявленный «шпионской организацией еврейских националистов». Исключен из партии и вот-вот будет арестован возглавлявший этот комитет С.А. Лозовский. Наверное, можно припомнить и другие, быть может, даже более зловещие события и факты того же свойства.

Но это все происходило не на сцене, а за кулисами. Обо всех этих событиях и фактах если и сообщалось, то в тайных, закрытых партийных документах о каком-нибудь только что состоявшемся решении Секретариата или Политбюро ЦК ВКП(б).

Статья «Правды» «Об одной антипартийной группе театральных критиков» была первой акцией, которой советский государственный антисемитизм заявил о себе **публично**.

Слово «евреи» там, конечно, не упоминалось. Но прозрачный эвфемизм — «безродные космополиты» — не оставлял сомнений, что имеются в виду именно они. А если кто еще сомневался или чего-то не понял, то им, этим сомневающим-

ся и непонятливым, поясняли, что происходит, подбором еврейских фамилий («все эти Юзовские и Гурвичи»). Если же фамилия была недостаточно выразительной, ее расшифровывали упоминанием в скобках другой, настоящей, которую разоблачаемый «безродный космополит», видать, не зря утаивал от народа.

Помимо этой своей особенности, статья «Правды» отличалась еще тем, что ясно давала понять, что на самом деле речь идет не об ОДНОЙ «антипатриотической группе». Что таких гнезд «безродного космополитизма» по стране рассеяно множество, и статья «Правды» была СИГНАЛОМ, призывающим повсюду эти гнезда находить, разоблачать и выжигать.

Все предыдущие советские идеологические кампании тоже были сигналами. Но даже самая громкая из них, начавшаяся постановлением ЦК о Зощенко и Ахматовой, все-таки в «мировой пожар» не превратилась. Взрывной волной задело, конечно, и кое-кого из тех, кто в этом постановлении упомянут не был. Но та кампания все-таки была локализована. А эта сразу, как лесной пожар, распространилась не только на смежные, но и на бесконечно далекие от театральной критики жизненные сферы. А на следующем ее витке «безродных космополитов» стали разоблачать уже повсюду. Не только в учреждениях, имеющих хоть косвенное отношение к идеологии, но и в тех, что к идеологии совсем уже никакого отношения не имели, — вплоть до таких, как известная нам по Ильфу и Петрову «Одесская бубличная артель «Московские баранки» или знакомая нам по тому же источнику контора «Рога и копыта».

В каждой такой конторе находились свои космополиты, о чем ежедневно очередным антисемитским фельетоном народу сообщали свежие утренние газеты. Заглавия у них были весьма пахучие. Но было их так много (сотни, если не тысячи), что теперь припомнить хоть одно из них как будто уже не представляется возможным. Но один такой фельетон все-

таки запомнился. История даже сохранила имя его автора (кажется, только этим фельетоном и прославившегося). Звали его Василий Ардаматский, а фельетон его (появился он в «Крокодиле») назывался «Пиня из Жмеринки».

Чем промышлял этот несчастный Пиня, на каком поприще снискивал себе пропитание, я сейчас уже не помню. Но никаким театральным критиком он, конечно, не был. И предполагалось, что вот такой Пиня — или Моня, или Беня, — не из Жмеринки, так из Шполы или Брод, Шклова или Могилева, Бердичева или из не столь знаменитого, как Бердичев, города Сарны, — отыщется в любом населенном пункте необъятной нашей Родины. Куда ни глянешь, — всюду он творит свое черное космополитское дело.

Статья «Правды» о критиках-антипатриотах, помимо того, что она стала сигналом к этому всесоюзному погрому, была еще моделью, колодкой, по образу и подобию которой лепились дела в больших и малых учреждениях, в которых понятливые партчиновники немедленно занялись «охотой на ведьм» — отыскиванием и разоблачением «безродных космополитов».

Колодка была такая.

Подготавливался список обвиняемых во вредоносной — идеологической, а то и шпионской — работе. Каждый такой список состоял преимущественно из еврейских фамилий. Преимущественно, но не сплошь. В каждом таком списке (это входило в сразу обозначившиеся правила игры) — непременно должны были мелькнуть одна-две русские фамилии.

Этим как бы подчеркивалось, что кампания носит не национальный (антисемитский), а сугубо идеологический характер. Что борьба идет не с евреями, а космополитами. А космополитом может оказаться человек любой национальности.

В статье «Правды» эта роль досталась Малюгину и Бояджиеву. И в каждом учреждении, в котором составлялись

такие списки, непременно находился (а если сразу не находился, его находили) — вот такой, свой «Бояджиев» и свой «Малюгин».

- ИЗ ЗАПИСКИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО»
В.Г. ВДОВИЧЕНКО Г.М. МАЛЕНКОВУ
О ПОЛОЖЕНИИ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

17 марта 1949 г.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. МАЛЕНКОВУ Г.М.

Уважаемый Георгий Максимилианович!

Среди музыковедов и критиков существует группа, видимо, организационно связанная между собой, которая последовательно в течение ряда лет проводит вредительскую работу на идеологическом фронте. К этой группе относятся:

Либединский Л.Н. — бывший активный вождь РАПМ, троцкист;

Белый В.А. (он же Давид Аронович Вейс) — бывший активный вождь РАПМ, троцкист;

Штейнпресс Б.С. — бывший оргсекретарь РАПМ, троцкист;

Шлифштейн С.И. — бывший секретарь троцкиста Д. Авербаха, воинствующий формалист и безродный космополит;

Келдыш Ю.В. (он же Калдыньш) — бывший активный вождь РАПМ, формалист и космополит, имеет родственников в Америке и брата, осужденного за вредительство;

Нестьев И.В. — бывший рапмовец, воинствующий формалист;

Житомирский Д.В. — бывший «теоретик» РАПМ, воинствующий формалист и космополит, враг русской и советской культуры;

Шавердян А.И. — бывший активный «деятель» РАПМ, сделавший сомнительную карьеру, пользуясь связями с рапмовским и троцкистским охвостьем.

Пекелис М.С., Мазель Л.А., Шнеерсон Г.М., Коган Г.М., Гринберг М.А., Брук М.С., Шерман Н.С., Цуккерман В.А., Бернанд Г.Б. и ряд других «деятели», пока не разоблаченных до конца.

Следует особо отметить Клару Ароновну Вакс, жену Тихона Хренникова, через которую вся эта группа космополитов в той или иной степени оказывает свое влияние на руководство Союза композиторов.

*(Сталин и космополитизм.
1945—1953. Документы.
М., 2005. Стр. 315—316).*

В этом списке в роли Малюгина и Бояджиева оказались затесавшиеся среди всех этих Шнеерсонов, Коганов, Гринбергов, Шерманов и Цуккерманов (не случайно затесавшиеся, а явно нарочно, для соблюдения предписанных свыше правил игры туда вставленные) — «бывшие рапповцы» Нестьев и Шавердян.

Точно такое же положение, что «в области музыкального искусства», сложилось и в кино, о чем в специальной статье сообщил министр кинематографии СССР И.Г. Большаков. В списке разоблаченных космополитов в одном ряду с Траубергом, Блейманом, Коварским и Габриловичем оказались два «арийца» — В. Волькенштейн и Н. Тарабукин. *(Там же. Стр. 307—308.)*

Та же картина — в философии.

На ролях основных космополитов — Быховская, Каменский, Селектор, Рубинштейн, Розенталь, Библиер, Гольдентрихт, Лифшиц... Но и тут тоже в этом ряду две «арийские»

фамилии — Кедров и Крывелев. (Из «Письма руководителей института философии АН СССР и журнала «Вопросы философии» Г.М. Маленкову по вопросу борьбы с космополитизмом», 11 марта 1949 года. Там же. Стр. 325— 327.)

► ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ КОМИССИИ
ЦК ВКП(Б) Г.М. МАЛЕНКОВУ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

5 апреля 1949 года
Сов. секретно

Всего в издательстве имелось до 30 человек штатных работников, не внушавших политического доверия. Многие из них, занимавшие ответственные должности в издательстве, по своему усмотрению привлекали внештатных работников. В результате этого на секретную работу по переводу и редактированию иностранной литературы допускались политически сомнительные лица. Так, внештатным редактором литературы по вопросам права являлся АЛЬТШУЛЕР, ведущий активную переписку со своими родственниками в США. Органами МГБ Альтшулер не допущен к секретной работе. В этой же редакции редактором книг являлся троцкист ЛЕВИН, исключенный из рядов ВКП(б). В физической редакции работали троцкисты ГИНЗБУРГ и ЛИЗАРЕВИЧ, отбывавшие десятилетнюю ссылку, а также племянник троцкиста ЯГЛОМА — ЯГЛОМ. В исторической редакции работали троцкист-политссылный ВОЛКОВ и немка ГАРСМАН. Активную работу по переводам и редактированию книг вели МАНЕВИЧ, РЕБИНДЕР и другие, проживавшие длительное время за границей.

Этим элементам, не внушающим политического доверия, покровительствовал начальник спецотдела

издательства т. НОВИКОВ. Новиков не ставил перед директором издательства т. Морозовым вопроса об освобождении ряда работников, имеющих серьезные компрометирующие данные, в том числе о начальнике отдела импорта БЕНДИКЕ, зав. спецхраном ЛОКОТКИНЕ, главном библиографе АРОНШТАМЕ и других.. При проверке оказалось, что Аронштам являлся членом «Бунда» с 1901 по 1912 год, а затем с 1913 по 1919 год — членом Американской социалистической партии. В последние годы АРОНШТАМ работал в еврейском антифашистском комитете, откуда в декабре 1948 года перешел на работу в Иноиздат. После его увольнения в феврале этого года из Иноиздата Новиков настаивал перед директором издательства о восстановлении Аронштама на работе и даже звонил по этому поводу в сектор издательств Отдела пропаганды и агитации.

У некоторых работников издательства, близко связанных с Новиковым, имеются буржуазно-националистические взгляды на Советскую родину и палестинскую проблему. Эти взгляды, выраженные бывшим научным редактором издательства ШУСТЕРМАНОМ в реферате «Палестинская проблема», не были разоблачены перед другими работниками издательства. Ни партбюро, ни начальник спецотдела издательства (Новиков) не видели ошибочно-вредного содержания реферата, и только по требованию Отдела пропаганды и агитации директор издательства т. Морозов представил его в ЦК ВКП(б)..

(Там же. Стр. 362—363).

Та же, уже хорошо нам знакомая картина: шесть—семь ярко выраженных еврейских фамилий и две (Волков и Новиков) — славянские.

Но в этом документе — и этим он отличается от всех приведенных ранее, — впервые обошлось без эвфемизма. Вместо

общеобязательного «космополиты» появилось уже более прямое и откровенное: «лица еврейской национальности» и даже просто – «евреи»:

- ▶ Во многих редакциях работники неправильно подбирались по национальному признаку. Из 730 внешних работников 480 человек являются лицами еврейской национальности, в том числе в редакции математической литературы евреев – 27 человек, русских – 10; в редакции литературы права евреев – 14 человек, русских – 7; в редакции литературы по физическим наукам евреев – 42 человека, русских – 33 человека.

(Там же. Стр. 363).

Может быть, эта откровенность объясняется тем, что на документе стоит гриф «Сов. секретно»: в своем кругу можно было и не стесняться.

На этом обращение к документам, демонстрирующим размах и стиль «антикосмополитической» кампании 1949 года, можно было бы и закончить. Но я все-таки хочу процитировать тут еще один. Среди тьмы других, собранных в этом томе, он далеко не самый яркий. Но у меня есть особая, можно даже сказать личная причина, побуждающая меня привести его здесь, и даже не в сокращенном виде, а полностью:

- ▶ ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ ЦК ВЛКСМ
Н.А. МИХАЙЛОВА Г.М. МАЛЕНКОВУ

23 февраля 1949 г.

Считаем необходимым доложить Вам о том, что Литературный институт им. А.М. Горького Союза советских писателей СССР за последнее время стал рассадником космополитических тенденций в среде

литературной молодежи, сборищем космополитов и эстетов.

На протяжении ряда лет кафедре советской литературы и творчества в этом институте возглавляет критик Г. Бровман, известный своими эстетско-клеветническими выступлениями против книг «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем человеке», «Борьба за мир». Им насаждается богема, снобизм в студенческой среде, воспитывается высокомерие и наплевизм по отношению к советской литературе.

Г. Бровман привлек к работе со студентами Л. Субоцкого. Вместе с Субоцким орудовал космополит Ф. Левин, который пропагандировал враждебные, клеветнические статьи космополита Юзовского.

Вредное влияние оказывает на литературную молодежь поэт-формалист П. Антокольский.

Созданная космополитами в институте атмосфера дала возможность группе студентов — К. Левину, А. Злобину, В. Львову систематически писать стихи и рассказы, чуждые духу нашей советской действительности. Решительной борьбы с враждебными писаниями этой группы не вели ни партийная, ни комсомольская организации.

Партийную организацию в институте возглавляет заместитель директора по административно-хозяйственной части И. Львов-Иванов, политически малограмотный и не способный направлять политическую работу вуза.

Союз советских писателей СССР, Министерство высшего образования не уделяют Литературному институту должного внимания. Свыше полутора лет в институте нет директора. Его обязанности исполняет беспартийный доцент В. Сидорин. Кафедра основ марксизма-ленинизма укомплектована недостаточно квалифицированными кадрами. Зав[едующий] кафе-

дрой М. Леонтьев работает по совместительству, считая своей основной работой обязанности директора Исторической библиотеки.

По нашему мнению, возникает вопрос о целесообразности дальнейшего существования Литературного института им. А.М. Горького Союза советских писателей СССР.

(Там же).

Всех действующих лиц этой драмы я хорошо знал (с Толей Злобиным и Володей Львовым, которые «систематически писали стихи и рассказы, чуждые духу нашей советской действительности», даже приятельствовал).

Добрейший Василий Семенович Сидорин действительно был беспартийным. Давным-давно (в 1921 году) он, совсем юный тогда член РКП, «не принял» нэпа и сам, добровольно, вышел из партийных рядов. После этого он много раз пытался в эти ряды вернуться, писал заявления, что признал свою ошибку, которую совершил по юношескому недомыслию, но партия была непреклонна и в свои ряды его так и не вернула.

Отставной полковник Львов-Иванов до того, как стать заместителем директора по хозяйственной части, был начальником военной кафедры и прославился вывешенным однажды на доске объявлений таким уведомлением:

► **СТУДЕНТКИ, НЕ УДОВЛЕТВОРИВШИЕ НАЧАЛЬНИКА КАФЕДРЫ ВОЕННОГО ДЕЛА, К ЭКЗАМЕНАМ ДОПУЩЕНЫ НЕ БУДУТ**

Другое — устное — его высказывание повторялось студентами нескольких поколений. Выступая на собрании с речью об отсутствии у студентов должной дисциплины, он сказал:

— Дан звонок на занятия. Захожу в мужское общежитие. Сидит Мандель. Без штанов. Пишет стихи. Захожу в женское общежитие. Та же картина.

Даже этих двух его высказываний (а таких было много) достаточно, чтобы согласиться, что человек он и впрямь был не шибко грамотный. Но возглавить на должном уровне антикосмополитическую кампанию в институте не смог отнюдь не по этой причине (другие отставные полковники, ничуть не более грамотные, справлялись с этим отлично), а потому, что, как и Василий Семенович Сидорин, был он добряк и на роль громилы и палача, исполнение которой от него тут требовалось, решительно не годился.

Федор Маркович Левин руководил семинаром, занятия которого я регулярно посещал, и о том, как он попал в эту мясорубку, я знаю не понаслышке: все это я видел своими глазами и слышал своими ушами. Да и о заведующем кафедрой основ марксизма-ленинизма М. Леонтьеве мне тоже есть что вспомнить в этой связи.

Именно это я сейчас и сделаю.

* * *

В то время, о котором я рассказываю, помимо поэтических семинаров Сельвинского и Луговского и семинаров прозаиков, которыми руководили Федин и Паустовский, образовался у нас уже и семинар критиков. Вел его Федор Маркович Левин.

Человек он был опытный, знающий, о многом мог нам порассказать, и наверняка всем нам было чему у него поучиться. Но мы роптали. Нам на его семинарах было смертельно скучно. Мы завидовали прозаикам и поэтам: у них там происходили какие-то баталии, ломались копья, от незадачливых дебютантов летели пух и перья. У нас же все было тихо, мирно и — скучно. О чем мы, не смущаясь, прямо говорили добрейшему Федору Марковичу. И он — соглашался. Но поделаться ничего не мог, поскольку, как сказал бессмертный Шота Руставели, из кувшина вылить можно только то, что было в нем.

И вот однажды, придя на очередной семинар, Федор Маркович сказал:

— Я все думаю, как бы нам с вами оживить наши занятия. А тут — на ловца и зверь бежит. Сегодня по дороге в институт встретил — кого бы вы думали? — Иосифа Ильича Юзовского. Слово за слово — разговорились. И он сказал, что только что закончил одну весьма злую и острую статью. А я возьми да и скажи: не согласились бы вы прийти к нам на семинар и прочесть ее моим башибузукам? И он, представьте, согласился...

Мы, конечно, обрадовались: какое-никакое, а развлечение. А я, признаться, даже с нетерпением стал ждать следующего семинара: как-то в букинистическом я купил книгу старых (еще 30-х годов) театральных фельетонов Юзовского и с наслаждением прочел ее, от души завидуя остроте и легкости его пера.

Но на следующий семинар Юзовский к нам прийти почему-то не смог. А потом...

Потом разразилась катастрофа.

В «Правде» появилась та самая, знаменитая статья — «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». «Группа» состояла из семи человек. Были названы имена: И. Юзовский, Г. Бояджиев, А. Борщаговский, Л. Малюгин, Е. Холодов, А. Гурвич, Я. Варшавский. Открывала этот список главных злодеев фамилия Юзовского. И на все время кампании он так и остался космополитом номер один.

Имя Юзовского в те дни стало как бы даже нарицательным: почему-то (впрочем, довольно легко догадаться, почему) чуть ли не каждая статья, посвященная критикам-антипатриотам, начиналась неизменной фразой: «Эти презренные Юзовские и Гурвичи».

Список «безродных космополитов», открытый статьей «Правды», между тем всё разрастался, что ни день пополнялся новыми именами. И вот уже в какой-то газете мелькнуло в этом списке имя нашего Федора Марковича Левина.

И вот он стоит — бледный, растерянный — перед толпой жаждающих его крови преподавателей и студентов. И каждый спешит крикнуть из зала свое «Распни его!», лично, собственными руками подтолкнуть несчастную жертву еще на шаг ближе к разверзшейся перед ней пропасти.

— Этот затаившийся до поры до времени враг, этот волк в овечьей шкуре, — упиваясь своим красноречием, гремит с трибуны один из самых тихих и незаметных наших «семинаристов», — решил наконец сбросить маску! Наглость его дошла до того, что он посмел пригласить к нам на семинар безродного космополита Юзовского! Чтобы мы, видите ли, поучились у него мастерству критика...

— Позор! — ревет зал.

Федор Маркович порывается что-то сказать. Ему не дают. Из зала несутся злобные выкрики:

— Не надо!.. Чего там!.. Всё ясно!

Но председательствующий, играя в демократию, все-таки предоставляет ему слово.

— Позвольте... Я сейчас вам всё объясню, — начинает он. — Студенты, участники моего семинара, жаловались, что наши занятия проходят скучно, неинтересно... Я думал: как бы нам их оживить. И вот недавно, по дороге в институт, я случайно встретил Юзовского...

— Ха-ха!.. Случайно! — злорадно хохочет зал.

— Клянусь вам, совершенно случайно, — прижимает руку к сердцу Федор Маркович.

И даже я, точно знающий, что бедный старик говорит чистую правду, с ужасом чувствую, что это его искреннее объяснение звучит сейчас жалко и совсем не убедительно.

А из зала несется:

— Гы-гы!.. Го-го-го!..

В голове у меня почему-то вертится: «С Божией стихией царям не совладать...» Каким царям? При чем тут царь? Ну да... Стихия... Не Божья, конечно, но — стихия...

Да, это была стихия. Страшная, неуправляемая стихия темных чувств и низменных побуждений, вдруг выплеснувшихся из глубин подсознания, с самого дна уязвленных, изувеченных человеческих душ...

Не успел я это подумать, как следующий эпизод той же эпопеи ясно показал мне, что разбушевавшаяся стихия эта была не такой уж неуправляемой.

Председательствовал на том собрании заведующий кафедрой основ марксизма-ленинизма профессор Леонтьев.

Он важно восседал на председательском месте за столом президиума, а вокруг бушевал самый что ни на есть доподлинный суд Линча.

— В президиум поступила записка, — вдруг возгласил профессор, — в которой утверждается, будто под видом борьбы с космополитизмом наша партия ведет борьбу с евреями.

Зал притих. В том, что дело обстоит именно так, никто не сомневался. Отрицать это было трудно. Однако и признать справедливым такое клеветническое утверждение было невозможно. Все с интересом ждали, как профессор вывернется из этой, им же самим созданной тупиковой ситуации. (Если даже такая записка и в самом деле была послана в президиум собрания, отвечать на нее было совсем не обязательно: никто не тянул профессора за язык, не заставлял зачитывать ее вслух.)

Убедившись, что аудитория готова внимать его объяснениям, профессор начал той самой классической фразой, к которой прибегал обычно в таких случаях во время своих лекций:

— Товарищ Сталин нас учит...

И раскрыв специально принесенный из дому сталинский том, он торжественно прочел заранее заготовленную цитату:

— «Советский народ ненавидит немецко-фашистских захватчиков не за то, что они немцы, а за то, что они принесли на нашу землю неисчислимые бедствия и страдания».

И назидательно подняв вверх указательный палец, заключил:

— Вот так же, товарищи, обстоит дело и с евреями.

* * *

До того про суды Линча я только читал в книжках. И никогда не думал, что мне доведется самому побывать на таком суде. Однако вот — пришлось...

Ныне забытый, а тогда знаменитый драматург Анатолий Софронов начинал как поэт. И в одном из своих стихотворений замечательно выразил самое свое задушевное, воспев казачий «ремянный батожок»:

Принимай-ка, мой дружок,
Сей ремянный батожок...
Если надо — он задушит,
Если надо — засечет...

...Бей, ремянный батожок,
По сусалам, по глазам,
По зубам и по усам...

...Мой товарищ, мой дружок,
Бей, ремянный батожок!

Этим «ремянным батожком» тогда, в 1949-м, он нещадно лупил «безродных космополитов» и «по сусалам, и по глазам», и по прочим чувствительным местам.

Среди многих других «судов Линча», где всюду гулял этот софроновский «батожок», особенно запомнился мне один. Много раз я пытался изобразить его на бумаге, но у меня ничего не получалось. И вдруг — наткнулся на рассказ о нем в книге Леонида Зорина «Авансцена». Переписываю его оттуда дословно.

- Помню, как партия изгоняла из неподкупных своих рядов несчастного Иоганна Альтмана. Председательствовал, как обычно, Софронов. Он возвышался над залом как памятник, дородный, могучий, несокрушимый, помесь бульдога и слона.

— Мы будем сегодня разбирать персональное дело Иоганна Альтмана, двурушника и лицемера, буржуазного националиста... Цинизм этого человека дошел до того, что он развел семейственность даже на фронте. На фронте! И жена его, и сын устроились во фронтовой редакции под теплым крылышком мужа и папы. Впрочем, сейчас вам подробно расскажут.

На трибуне появляется тощий, с лицом гомункулу-са, человек:

— Все так и есть, мы вместе служили, я наблюдал эту идиллию. Пригрел и свою жену, и сына.

Зал: Позор! Ни стыда, ни совести! Гнать из партии! Таким в ней не место! Альтман пытается объяснить:

— Я прошу слова. Я дам вам справку.

Общий гул: Нечего давать ему слово! Не о чем тут говорить! Позор!

Альтман едва стоит. Он бел. Капли пота стекают с лысого черепа. Вдруг вспоминаешь его биографию: большевик, участник Гражданской войны. Статьи, которые он писал, были не только ортодоксальными, но и фанатически истовыми. Я вижу растерянные глаза, готовые вылезти из орбит, — он ничего не понимает.

Голос:

— Была жена в редакции?

Альтман:

— Была.

Голос:

— Был сын?

Альтман:

— Был и сын.

Рев: Все понятно. Вон с трибуны!

Альтман: Две минуты! Я прошу две минуты...

Наконец зал недовольно стихает. Альтман с усилием глотает воздух, глаза в красных прожилках мечутся,

перекатываются в глазницах. Голос срывается, слова не приходят, он точно выталкивает их в бреду:

— Жена должна была ехать в Чистополь... С другими женами писателей... Но ведь она — старый член партии... Она стала проситься на фронт... Настаивала... Ну что с ней делать? Сорок шесть лет, кандидат наук... Все-таки пожилая женщина. Поэтому я ее взял в редакцию... Она работала там неплохо... даже получила награды... Возможно, ей надо было поехать вместе с другими... женами... в Чистополь. Возможно... Она не захотела... Я взял ее в редакцию. Верно.

Он снова вбирает воздух в пылающее пересохшее горло.

— Теперь — мой сын... Когда война началась, ему было только пятнадцать лет. Конечно, он тут же сбежал на фронт. Его вернули. Он снова сбежал. Опять вернули. Опять он пытался. Он сказал: папа, я все равно убегу. И я понял — он убежит. Что делать — так уж он был воспитан. Тогда я и взял его в редакцию. Просто другого выхода не было. И вот в возрасте пятнадцати лет четырех месяцев, исполняя задание, мой сын был убит. Мой сослуживец, который сейчас говорил о семейственности, вместе со мной стоял на могиле моего мальчика... вместе со мной...

Альтман смолкает. Его глаза горят нездоровым горячечным пламенем. И кажется, что он сходит с ума...

Поднимается великолепный Софронов.

— Вы видите, товарищи, этот человек органически не способен быть искренним. Он изворачивается и виляет. Он продолжает обманывать партию. Петляет, замечает следы. Бормочет о заслугах и жертвах, как будто другие собой не жертвовали и не теряли своих родных. Если бы в нем еще осталась хотя бы только капля партийности, он должен был бы как коммунист дать политическую оценку своему по-

зорному поведению. Рассказать, например, как он бежал с листом собирать деньги еврейскому театру, который дал течь от отсутствия зрителей. Но уж какой он коммунист...

Альтмана исключили из партии. Позднее его арестовали. Из лагеря он пришел инвалидом, вернул себе свой партбилет и умер. Насколько я знаю — одновременно.

(Л. Зорин. Авансцена. Мемуарный роман. М., 1997. Стр. 35–36).

Прочитав этот рассказ в книге Зорина, я подумал, что это, может быть, единственный случай, когда история, давно живущая в моей памяти и настойчиво требующая, чтобы я ее записал, изложена так, что мне совсем не хочется переписать ее по-своему. Лучше и точнее, чем это сделал автор «Авансцены», мне не написать. Но кое-что к тому, что вы только что прочли, я все-таки хочу добавить.

— Этот человек... Он вместе со мной стоял на могиле моего мальчика... вместе со мной... — сказал Альтман. И замолчал.

Зал, битком набитый озверевшими, жаждущими свежей крови линчевателями, тоже молчал. И в этой наступившей вдруг на мгновение растерянной тишине как-то особенно жутко прозвучало одно короткое слово — не выкрикнутое даже, а просто произнесенное вслух. Не слишком громко, но отчетливо, словно бы даже по слогам:

— Не-у-бе-ди-тельно...

Слово это скрипучим своим голосом выговорил Лазарь Лагин, автор любимой мною в детстве книги «Старик Хоттабыч». И оно, как говорится, разбило лед молчания. Суд Линча продолжился.

И продолжался он по всей стране...

* * *

И вдруг — словно по мановению волшебного жезла — все прекратилось. Как отрезало.

► ИЗ СТЕНОГРАММЫ СОВЕЩАНИЯ
РЕДАКТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГАЗЕТ
И ЖУРНАЛОВ
В АГИТПРОПЕ ЦК

29 марта 1949 г.

КУЛИКОВ Н.А. («Труд»). Я хотел сказать о том, что меня лично удивляет, если взять такие газеты, как «Советское искусство» и «Литературная газета». Прежде всего, «Советское искусство». Одно время эта газета печатала статьи, заполняя всю газету крикливыми заголовками, и вдруг в последнем номере ни одной статьи о космополитах не встретишь, и даже слово «космополитизм» исчезло со страниц газеты.

СУСЛОВ М.А. Видимо, редактор газеты хочет немножко осмыслить.

КУЛИКОВ Н.А. Я думаю, что это неправильно, потому что задача борьбы с космополитизмом в области искусства, где антипатриотическая группа нанесла особенно большой ущерб, стоит перед данной газетой. Но только нужно это делать серьезно, глубоко, доказательно... Мне кажется, что газеты должны и впредь не оставлять борьбы с космополитизмом, но делать это так, как требует Центральный Комитет, глубоко, серьезно, аргументированно, без перехлестывания и без того, что, когда потребовали прекратить перехлестывание, сразу оказалось, что газете нечего сказать. То заполняли все страницы, а то, оказывается, нечего сказать о борьбе с космополитизмом, как будто они исчезли, как будто с буржуазным космополитизмом, с проявлениями буржуазной идеологии все покончено, их носители сразу

исчезли и никаких проявлений космополитизма больше нет. Думаю, что это неправильно.

СУСЛОВ М.А. Это не исключает того, что товарищи, может быть, действительно хотят осмыслить это, несколько дней не печатать.

КУЛИКОВ Н.А. Это все так, но мне кажется, что здесь есть известная неправильность...

ВДОВИЧЕНКО В.Г. («Советское искусство»). Товарищи, критика нашей работы, проделанной за последние три месяца, дана тов. Ильичевым абсолютно правильно. Жаль, конечно, что это мы выслушиваем сейчас, спустя три месяца, и что мы сами не смогли своевременно обнаружить недостатки в ходе своей в целом плодотворной работы и внести соответствующие поправки.

Газета «Советское искусство», которая раньше печатала многих космополитов, в последнее время обрушилась на них же, как никакая другая газета, разоблачая их самым беспощадным образом.

Дело в том, что на газету «Советское искусство» в последний период была возложена очень большая ответственность. Надо было разоблачить не только космополитов в области театральной критики, но также в области музыкальной критики, изобразительного искусства, архитектуры, кино, эстрады, цирка и т.д., то есть во всех областях искусства. Вот почему мы выделили для разоблачительных целей много места и стремились как можно шире отразить то, что происходило на многочисленных собраниях работников искусств.

Я считаю, что такое обилие задач несколько осложняло работу газеты и создавало такое впечатление, что газета слишком много уделяет внимания критике космополитов.

Правильно указывал тов. Ильичев, что у нас было много крикливости, особенно в заголовках статей, по-

священных той восьмерке антипатриотов, которая была названа в редакционных статьях «Правды» и «Культура и жизнь». Это верно. Заголовки можно было давать гораздо спокойнее и скромнее.

Относительно последнего номера [газеты] «Советское искусство» тов. Куликов говорит, что вдруг все затихло.

СУСЛОВ М.А. Не пугайтесь заявления тов. Куликова.

ВДОВИЧЕНКО В.Г. Я хочу сказать, что газета закончила свою работу по разоблачению космополитов и формалистов критикой недостатков и ошибок в области эстрады и цирка. Но газета не остановилась на этом. Вы говорите, т. Куликов, что теперь в газете нет ни одного слова о космополитах. Это неверно... эта критика есть, но она сейчас ведется без тех крикливых заголовков и сенсационных титров, которые были до сих пор.

*(Сталин и космополитизм.
1945—1953. Документы.
М., 2005. Стр. 339—344).*

Стенограмма речи Л.Ф. Ильичева, на которую ссылаются все участники этого совещания, не сохранилась. Но смысл этой его речи предельно ясен. И так же ясно, что речь эта была **установочная**.

Нет нужды объяснять, КТО скомандовал дать отбой. Сделать это мог только один человек. И сделал он это в том же стиле, в каком двадцать лет тому назад выступил с знаменитой своей статьей «Головокружение от успехов».

Как та давняя его статья не означала, что он отказывается от политики сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса, так и это внезапное прекращение разнузданной антикосмополитической кампании отнюдь не означало, что он отказывается от своего плана окончательного решения еврейского вопроса.

Это была тактика. И тактика — вынужденная.

Развязанная им антисемитская кампания в тот момент достигла уже такого градуса, что следующим ее этапом могла стать только поднятая на борьбу с «еврейским засильем» ярость масс. А этого Сталин в отличие от Гитлера на том этапе еще не мог себе позволить.

Но, судя по всему, вопрос этот если и не обсуждался, то, во всяком случае, рассматривался.

Помимо письма А. Бегичевой, ставшего катализатором антисемитской кампании 49-го года, в партийных архивах сохранился еще один, пожалуй, даже более яркий «человеческий документ»:

► ПИСЬМО Л. КРАСКОВОЙ А.А. ЖДАНОВУ
«ПРОТИВ ЗАСИЛЬЯ ЕВРЕЕВ В ПЕЧАТИ»

Конец июля — начало августа 1948 г.

В ЦК ВКП(б) тов. ЖДАНОВУ
ПРОТИВ ЗАСИЛЬЯ ЕВРЕЕВ В ПЕЧАТИ

Начну с конкретного факта.

Из семи членов редколлегии русского журнала «Новый мир» пять евреев во главе с редактором Симоновым.

Неужели русские писатели и журналисты все такие остолопы, что среди них нельзя найти руководителей журнала?

Почему хозяйничают евреи? А хозяйничают они так, что в каждом номере журнала большинство авторов — евреи. В последнем номере (8-м) из 17 авторов — 11 евреев.

Но этим их наглость не ограничивается. В том же восьмом номере начался печатанием роман Ажаева «Далеко от Москвы». Почему этот школярский роман принят редакцией? В числе ведущих героев произведения изображен секретарь горкома партии, он же парторг стройки Залкинд, а «снабженцем» Либерман.

Евреи-критики (а вся критика у нас в руках евреев) уже поднимают роман на щит, анонсируют в «Литературной газете», уже ведутся разговоры, что Залкинд — это Левинсон («Разгром») сегодня.

Черт знает что! Народ знает, как в тылу и на фронте вели себя Залкинды и Либерманы, и можно себе представить, какое это производит впечатление.

Но критикам-евреям нет дела до мнения народа. Они хозяева положения. Они считают, что без евреев нельзя построить коммунизм. Во всех издательствах если не на первых [местах], то фактически на первых ролях сидят евреи. В Союзе писателей заправляют они, в «Лит[ературной] газ[ете]» — они, в издательстве «Советский писатель» — главный редактор еврей, в «Московском рабочем» — еврей, в «Молодой гвардии» — еврей. Нет от них спасения!

Разверните комплект «Литературной газеты» — фамилий еврейских больше половины, а сколько их скрывается под русскими фамилиями!.

Народ наш терпелив. Он терпит евреев из уважения к партийным принципам большевистской партии. Но терпение может лопнуть, особенно если, не дай бог, разразится новая война. А когда лопается терпение у нашего народа, он страшен в гневе своем.

Нельзя ли все-таки укоротить аппетиты евреев, хотя бы на идеологическом фронте? Ведь гадят они нам, все извращения корнями своими уходят в их проделки, в их психологию, если разобраться поглубже. А с ними продолжают носиться, как будто они-то и есть соль советской земли.

Говорить вслух об этом нельзя, да и не с кем и толку мало, поэтому и пишу в ЦК ВКП(б).

Л. Краскова

(Сталин и космополитизм. 1945—1953. Документы. М., 2005. Стр. 185—186).

Интересно тут даже не столько само это письмо, сколько тот факт, что этот шизофренический бред привлек внимание каких-то влиятельных партийных чиновников. Письмо, как видно, попало, что называется, «в жилу».

Если оно дошло до Жданова (а судя по тому, что не было выброшено в мусорную корзину, наверно, дошло), то, скорее всего, было показано и Сталину.

Однако и сам текст письма интерес представляет немалый.

Особого внимания в нем заслуживают два как будто несовместимых мотива. Не только несовместимых, но даже взаимоисключающих — и, тем не менее, составляющих некое диалектическое единство.

Мотив первый:

- ▶ Всюду они... Нет от них спасения... Гадят они нам... Все извращения корнями своими уходят в их проделки...

Есть даже прямой намек на то, что если этот проклятый «еврейский вопрос» в самое ближайшее время не будет решен «сверху», народ может взять это решение на себя и разрешить его по-своему:

- ▶ Народ наш терпелив... Но терпение может лопнуть... А когда лопается терпение у нашего народа, он страшен в гневе своем.

И тут же, буквально в той же фразе другой, противоположный мотив:

- ▶ Народ... терпит евреев из уважения к партийным принципам большевистской партии.

Как разрешить это антагонистическое противоречие? Как совместить прямой призыв к погрому с уважением к «партийным принципам большевистской партии»?

Автор письма об этом особенно не задумывается. Но Сталин не думать об этом не мог.

Использовать антисемитскую стихию, лежащую в глубине народного сознания — даже подсознания, для задуманного им плана «окончательного решения еврейского вопроса» было, конечно, соблазнительно. Но и — опасно.

А главное — руки его этими «партийными принципами большевистской партии» были связаны намертво. Как бы ему этого ни хотелось, он не мог отказаться от своего, как мы теперь говорим, «имиджа» марксиста и пролетарского интернационалиста. Как бы, подчиняясь своей логике развития, ни разворачивались события, этот свой образ он вынужден был сохранять и даже поддерживать.

► ОБ АНТИСЕМИТИЗМЕ

*Ответ на запрос Еврейского
телеграфного агентства из Америки*

Отвечаю на Ваш запрос.

Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, свойственных периоду каннибализма. Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком каннибализма.

Антисемитизм выгоден эксплуататорам, как громоздкий вывод, выводящий капитализм из-под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма.

В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм как явление, глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью.

И. Сталин. 12 января 1931 г.

(И. Сталин. Сочинения. Т. 13. М., 1951. Стр. 28.)

Под этим документом должны стоять не одна, а ТРИ даты. Первая — 12 января 1931 года, которая под ним и стоит. Это — тот день, которым помечен его ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства.

Однако впервые опубликован он был не сразу, а почти шесть лет спустя — в «Правде», 30 ноября 1936 года.

Не могу сказать, какими соображениями руководствовался Сталин, решив опубликовать его именно в этот момент. Но гораздо интереснее тут ТРЕТЬЯ дата — 1951 год, когда вышел 13-й том сталинских сочинений, куда вождь распорядился этот документ включить.

Выход каждого очередного тома собрания сочинений Сталина сразу становился фактом текущей, актуальной политики. Немедленно в «Правде» появлялась установочная статья, напоминающая, что марксизм — не догма, а руководство к действию, и объясняющая, какие именно давние указания вождя особенно актуальны сегодня.

Но особой нужды в таких специальных указаниях не было. Опытные партийные функционеры и сами соображали, как в этих случаях надо поступать. Вспомним, как после появления двенадцатого тома сталинского собрания сочинений, где было опубликовано письмо Сталина Феликсу Кону, в котором говорилось об ошибках, допущенных автором «Тихого Дона», руководство «Худлита» немедленно приостановило выход в свет очередных томов собрания сочинений Шолохова.

Но понять смысл внезапного появления давнего сталинского высказывания об антисемитизме было не просто. Еще труднее было совместить его с исходящей с самого верха политикой государственного антисемитизма, с каждым днем набиравшей тогда все новые и новые обороты. Вообще-то говоря, совместить это было не то чтобы трудно, а попросту невозможно. Это была задача нерешаемая, и было совершенно непонятно, как вождь собирается ее решать.

Но, как известно, нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять. И гениальный криминальный мозг Сталина эту нерешаемую задачу решил.

* * *

В 1951 – 1952 годах реализация сталинского плана окончательного решения еврейского вопроса вошла уже в свою окончательную фазу.

13 марта 1952 года было принято секретное постановление начать следствие по делу всех лиц еврейского происхождения, имена которых всплыли на допросах по делу ЕАК (Еврейского антифашистского комитета).

8 мая того же года началось закрытое судебное заседание Военной коллегии Верховного суда СССР по делу ЕАК.

18 июля всем подсудимым по делу ЕАК (кроме академика Лиины Штерн, занимавшейся проблемами долголетия, особенно интересовавшими стареющего Сталина) был вынесен смертный приговор.

12 августа этот приговор был приведен в исполнение.

С 20 по 27 ноября того же года в Праге проходит процесс Рудольфа Сланского. Из тринадцати подсудимых одиннадцать – евреи. Советская печать комментирует ход этого процесса в самом разнузданном антисемитском духе.

В это же время в Москве проводятся аресты крупнейших профессоров-медиков, в основном евреев. Начинается подготовка процесса «врачей-отравителей».

13 января 1953 года появляется официальное сообщение о разоблачении и аресте банды «убийц в белых халатах». С этого момента растущий день ото дня «гнев народа» подогревается появлением в печати все новых и новых истерических разоблачений.

9 февраля в здании советского консульства в Тель-Авиве взорвана бомба. (Наверняка это была провокация, организо-

ванная советскими спецслужбами.) МИД СССР объявляет о разрыве дипломатических отношений СССР с Израилем.

Дело явно идет к депортации еврейского населения «в места отдаленные». В Москве, Ленинграде и других городах Союза об этом уже говорят открыто, как о деле решенном, выполнение которого намечено на самые ближайшие дни.

Некоторые современные историки существование таких планов отрицают. Нет, дескать, никаких документов, подтверждающих, что такие намерения у Сталина были.

Может быть, со временем такие документы еще отыщутся, как отыскивались в конце концов секретные протоколы пакта «Риббентроп—Молотов». Но кроме документов существуют ведь и свидетельства современников. И вот одно из них, мимо которого не должен пройти ни один серьезный историк:

- ▶ ...Сталин ко мне обратился, я секретарь Московского комитета. Он говорит, надо, говорит, организовать, говорит, подобрать рабочих здоровых таких, говорит, и пусть они возьмут дубинки, кончится рабочий день, выходят, и пусть они этих евреев бьют там...

Когда я послушал его, что он говорит, думаю, что такое, как это можно?.. Это погром, собственно. Я сам наблюдал это... Я помню... Это было позором, позором, и поэтому, когда Сталин сказал, вот чтобы палками вооружить и бить, я потом, когда мы вышли, значит, Берия, ну, говорит, что, получил указания? Так иронически. Ты, значит, получил? Да, говорю. Говорю, получил указания, да, говорю, мой отец неграмотный, не участвовал в этих погромах никогда, считалось это позором, говорю. А теперь вот мне, секретарю Центрального Комитета, дается такая директива...

*(Н. Хрущев. Воспоминания.
Нью-Йорк, 1982, стр. 193—194).*

Выслушав сталинскую «директиву», соратники молча удалились, сделав вид, что то ли не услышали ее, то ли не поняли. И не стовариваясь, твердо решили забыть об этом эпизоде, во всяком случае, ни в коем случае не предавать его огласке. Все они хорошо знали своего Хозяина и прекрасно понимали провокационный смысл этой его реплики. Не сомневались, что, посмей они эту его директиву исполнить, начавшиеся эксцессы сразу обернулись бы против них как главных виновников случившегося. И тогда — никому из них не сносить головы. Но ничуть не меньшую опасность, чем исполнение «директивы» (об этом, конечно, никто из них и не помыслил: не такие они были простаки, чтобы клянуть на эту удочку), представляла для них и «утечка информации» об этой сталинской директиве.

И тем не менее, «утечка» все-таки произошла.

Спустя какое-то время к Хрущеву явился срочно примчавшийся из Киева в Москву какой-то крупный украинский партийный функционер (из самых первых лиц руководства Компартии Украины) и сказал, что им стало известно об указании товарища Сталина насчет того, чтобы «поучить» как следует евреев, возвращающихся домой с работы.

Реакция Хрущева была мгновенной. Показав на стоявший перед ним телефон прямой связи со Сталиным, он сказал, что сейчас же позвонит Иосифу Виссарионовичу и расскажет ему, что такой-то обвиняет его в призыве к еврейским погромам.

Как ни туп был этот украинский функционер, но тут и до него дошло, какого он дал маху. Он прямо сомлел от страха. Чуть не на колени кинулся перед Хрущевым, умоляя его забыть, с чем он к нему пришел.

Рассказывая эту историю (он рассказал ее Эренбургу), Хрущев сказал, что не сомневается, что Сталин действительно тут же приказал бы расстрелять этого болвана. Ему ведь нужен был погром, который начался бы стихийно, снизу. Чтобы он, вождь, тотчас же его пресек, сурово наказав виновных. А погром, который начался бы «по личному указанию товарища Сталина», был ему совсем ни к чему.

Подвергнув этот рассказ Никиты Сергеевича небольшому «домашнему анализу», я снова — в который уже раз! — подумал, что Сталин вовсе не был ни патологическим антисемитом, ни тяжелым параноиком. А был он всего лишь политиком. (Политиком, правда, совершенно особого склада.)

Во всей этой истории, рассказанной Хрущевым Эренбургу, я вижу отчетливый след все того же плана, того же гениального сталинского сценария.

А сценарий, как рассказывают, был такой.

После вынесения приговора врачам-убийцам их вешают, — чуть ли даже не на Красной площади. Под воздействием все нарастающей антисемитской пропаганды в стране повсеместно начинаются эксцессы, самые что ни на есть настоящие еврейские погромы, и тогда вождь, сохраняя верность принципам пролетарского интернационализма, дает указание выслатъ уцелевших лиц еврейской национальности в места отдаленные, спасая их от справедливого народного гнева.

И после этого — новая волна посадок. (Печь ГУЛАГа требует все новых и новых дров.) Теперь жертвами репрессий становятся уже не евреи, а погромщики.

Вот для чего, стало быть, понадобилось ему в 1951 году напомнить, что «активные антисемиты по законам СССР караются смертной казнью».

* * *

Только сегодня, зная все это, мы можем по-настоящему оценить смысл и значение положившей начало такому развороту событий статьи «Об одной антипартийной группе театральных критиков», которую в соавторстве с Д. Заславским написал Фадеев.

Но Фадеев-то всех этих дальних замыслов Сталина не знал!

Вряд ли даже знал и о ближайших его замыслах. Не исключено, что истерический размах антисемитской кампа-

нии, развязанной этой его статьей, для него самого тоже стал полной неожиданностью.

Остановить — или даже хоть чуть смикшировать — бешеный разворот этой кампании он, разумеется, не мог. Это было не в его власти. Но бежать «вперед прогресса», быть большим католиком, чем сам папа, даже в его непростом положении было совсем не обязательно.

А он делал именно это.

- ▶ ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ССП А.А. ФАДЕЕВА
СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(Б)
ОБ УЧАСТНИКАХ
«АНТИПАТРИОТИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ КРИТИКОВ»
В.Л. ДАЙРЕДЖИЕВЕ И И.Л. АЛЬТМАНЕ

21 сентября 1949 г.

ЦК ВКП(Б)

Товарищу Сталину И.В.

Товарищу Маленкову Г.М.

Товарищу Сулову М.А.

Товарищу Попову Г.М.

Товарищу Шкирятову М. Ф.

В связи с разоблачением группок антипатриотической критики в Союзе советских писателей и Всероссийском театральном обществе, обращаю внимание ЦК ВКП(Б) на двух представителей этой критики, нуждающихся в дополнительной политической проверке, поскольку многие данные позволяют предполагать, что эти люди с двойным лицом...

Альтман И.Л. родился в гор. Оргееве (Бессарабия). Свой путь начал с левых эсеров в 1917–1918 гг. В ВКП(Б) вступил с 1920 года. Принадлежал к анти-

партийной группе в литературе Литфронт. Свою литературную деятельность начал с большой работы о Лессинге, в которой проводил взгляд о приоритете Запада перед Россией во всех областях идеологии. Будучи перед войной редактором журнала «Театр», проводил линию на дискредитацию советской драматургии на современные темы, совместно с критиками Гурвичем, Юзовским и т.п., в частности, напечатал заушательскую статью Борщаговского против пьесы Корнейчука «В степях Украины». За извращение линии партии в вопросах театра и драматургии был снят с должности редактора журнала «Театр» постановлением ЦК ВКП(б).

В 1937 году в бытность И.Л. Альтмана заведующим отделом литературы и искусства в газете «Известия» получил строгий выговор за сомнительную «опечатку» в газете «Известия» (в 1944 году выговор был снят).

Секретариату Союза советских писателей не удалось выяснить характер конфликта, по которому в дни Великой Отечественной войны И. Альтман был отстранен от работы в политорганах и армейской печати и отпущен из армии до окончания войны.

В литературной критической и общественной деятельности послевоенных лет Альтман занимал двурушническую позицию, изображая себя в устных разговорах противником антипатриотической критики, нигде в печати и на собраниях не выступал против них, извиваясь ужом между поддерживаемой им на деле антипатриотической линией и партийной постановкой вопросов. Благодаря этой своей двурушнической линии, Альтману удалось создать в литературной среде представление о его якобы большей близости к партийной линии, чем у его друзей-космополитов, хотя на деле он

проводил наиболее хитро замаскированную враждебную линию.

Следует дополнительно проверить факты тесного общения Альтмана с буржуазно-еврейскими националистами в еврейском театре и в Московской секции еврейских писателей, поскольку тесная связь Альтмана с этими кругами широко известна в литературной среде. Тов. Корнейчук А.Е. информировал меня о том, что Альтман частным путем, пользуясь своим знакомством и связями в кругу видных деятелей литературы и искусства, распространял абонементы еврейского театра, т.е. активно поддерживал этот искусственный метод помощи театру путем «частной благотворительности», а не путем улучшения его репертуара и качества исполнения спектаклей.

Подобно Дайреджиеву, Альтман, будучи разоблачен в своей враждебной литературно-критической деятельности, не признается в своих действиях и увиливает от критики.

В настоящее время решением партийной организации Союза советских писателей Дайреджиев и Альтман исключены из партии и «борются» в высоких инстанциях за отмену решения партийной организации ССП.

Со своей стороны считаю, что Дайреджиеву и Альтману не место в партии и прошу ЦК ВКП(б) разрешить Секретариату Союза советских писателей поставить вопрос перед Президиумом об исключении Дайреджиева и Альтмана из Союза писателей.

А. Фадеев

*(Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917—1953 М., 2002. Стр. 657—659).*

Рассмотреть это «Заявление» Фадеева было поручено Агитпропу ЦК, где оно и было рассмотрено. Месяцу спустя последовало решение:

- ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
АГИТПРОПА ЦК Г.М. МАЛЕНКОВУ
И М.А. СУСЛОВУ В СВЯЗИ
С ПИСЬМОМ А.А. ФАДЕЕВА В ЦК ВКП(Б)

4 октября 1949 г.

Партийной организацией Союза советских писателей Дайреджиев и Альтман исключены из рядов ВКП(Б).

Согласно Уставу Союза советских писателей (раздел III, пункт 5), исключение из членов Союза производится в случае «противоречия деятельности члена Союза интересам социалистического строительства и задачам Союза советских писателей», а также «совершения поступков антисоветского и антиобщественного порядка».

Союз советских писателей может решить вопрос о Дайреджиеве и Альтмане в соответствии с Уставом Союза.

Выносить постановление ЦК ВКП(Б) по вопросу об исключении Дайреджиева и Альтмана из членов Союза писателей нецелесообразно.

В. Кружков
4/X/49 г.

(Сталин и космополитизм. 1945–1953. Документы.
М., 2005. Стр. 505).

Выделенная в этом тексте фраза была подчеркнута М.А. Сусловым. В конце документа на полях слева от последних двух абзацев – резолюция: «За. М. Суслов».

Итак, высшая партийная инстанция не пожелала взять решение этого вопроса на себя, оставив его на усмотрение руководства писательского Союза. Чем упомянутое руководство – в лице того же Фадеева – не преминуло воспользоваться.

Обращаясь в высшую партийную инстанцию, Фадеев добивался исключения – не только из партии, но и из Союза

писателей — обоих фигурантов этого дела. Но я, цитируя его «заявление» (лучше сказать — **ДОНОС**), выбрал из него только то, что относилось к одному из них — к И. Альтману.

Сделал я это отчасти потому, что, — как читатель уже знает — мне выпало быть свидетелем той душераздирающей сцены, которую так выразительно описал в своих воспоминаниях Леонид Зорин.

Но была еще одна, не менее, а, пожалуй, даже более важная причина, побудившая меня сделать акцент на той части этого документа, которая относилась именно к Альтману.

- ▶ В книге Борщаговского «Записки баловня судьбы» подробно описано, как был сломан и фактически погублен Иоганн Альтман... Особый отблеск его трагедии придавало то, что все вокруг знали, что он с незапамятных времен близкий друг Александра Фадеева.

Как друга в 1947 году Фадеев настойчиво просил Иоганна Альтмана стать завлитом театра Госет, руководимого Михоэлсом. Фадеев просил долго, а Альтман отказывался по простой причине — он не знал идиша и плохо представлял, как ему выполнять свои обязанности, не понимая языка, на котором играют актеры. Однако и Михоэлсу очень нужна была поддержка со стороны известного члена партии, времена наступали хмурые.

«И тогда, — писал Борщаговский, — Михоэлс обратился за помощью к своему другу Саше Фадееву. Альтман упорно держался и против уговоров Фадеева, пока тот не прибегнул к средству, перед которым Иоганн бывал бессилён: «Пойди к ним на год! На один год! Надо помочь Михоэлсу, ему нужен советчик и комиссар: прими это, наконец, как партийное поручение!»

И Альтман согласился, испытывая неловкость перед нами, коллегами: завлит, не знающий языка...

Когда Софронов кидался на Альтмана на собрании и задавал вездливые вопросы, Альтман был уверен, что

сейчас встанет его старый друг Саша Фадеев и скажет, что это он настоял, чтобы тот пошел в Госет.

Но Фадеев не встал и не сказал, почему Иоганн Альтман, не зная языка, оказался завлитом театра...

Альтман находился на свободе до 5 марта 1953 года, он был арестован, единственный из театральных критиков, в день смерти Сталина. Освободили его через несколько месяцев. Очень скоро он умер от разрыва аорты. Говорят, что перед смертью прохрипел: «Убили».

*(Н. Громова. Распад.
Судьба советского критика: 40–50-е годы.
М., 2009. Стр. 256–260).*

Зачем понадобилось Фадееву добивать этого, уже сломленного, раздавленного человека, бывшего к тому же его близким другом? Ведь злодеем, а тем более садистом он не был...

Может быть, боялся, что и его тоже притянут к ответу, если вскроется, что это он направил «безродного космополита» Альтмана завлитом в Еврейский театр?

Да, может быть, и это тоже.

Но главным, я думаю, тут было другое.

* * *

В начале 60-х в Малеевке — писательском Доме творчества — я познакомился с Иосифом Ильичем Юзовским и довольно близко с ним сошелся.

Тогда ходила по рукам еще неопубликованная повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича», и мы оба — одновременно — ее прочли. На мой вопрос, какое впечатление произвела на него эта вещь, Юзовский сказал, что очень сильное. И вдруг добавил:

— Но ведь это нельзя!

— Что нельзя? — удивился я.

— Она против социализма, — объяснил он. — А это нельзя.

Сперва я даже не понял: как — нельзя? Почему нельзя? Нельзя, потому что — не пропустят, не напечатают?

Оказалось, однако, что Юзовский имел в виду совсем другое. Он искренне полагал, что писать вещи, направленные против социализма, нельзя по более важным, отнюдь не внешним причинам. Что тут должен действовать гораздо более мощный, сугубо внутренний запрет.

Поясняя эту свою мысль, он рассказал мне такую историю.

В 1927 году, когда Маяковский опубликовал свою поэму «Хорошо!», он, Юзовский, жил в Ростове. Был он тогда молодой (очень молодой) критик, но местная газета его статьи охотно печатала. Никакого культа Маяковского тогда еще не было и в помине, и без особых сложностей он опубликовал в той же ростовской газете очень резкую статью о только что появившейся поэме Маяковского «Хорошо!». Статья была просто разгромная, даже издевательская. Достаточно сказать, что называлась она — «Картонная поэма». (Во время антикосмополитической кампании эту давнюю его — двадцатилетней давности — статейку Юзовскому, конечно, припомнили. Она стала едва ли не главным пунктом вменявшихся ему в вину преступлений: пигмей поднял руку на гиганта!)

Маяковский, приехав в Ростов, разыскал автора этой глумливой статьи, зазвал его в какой-то шалман, что-то там такое заказал и сурово потребовал объяснений.

Юзовский хоть и был тогда очень молод и, естественно, глядел на Маяковского снизу вверх, отречься от своей статьи не стал.

Сбивчиво, но очень взволнованно, убежденно он заговорил о том, какая страшная жизнь вокруг и как она непохожа на ту, какую изобразил Маяковский в своей поэме. Вчера, говорил он, стреляли в секретаря крайкома. В округе по лесам бродят вооруженные банды. На улицах города валяются тру-

пы. Люди пухнут от голодухи. А у вас? «Сыры не засижены... Цены снижены...» Какие сыры? Где вы их видели, эти сыры? «Землю попашет, попишет стихи...» Где это, интересно знать, вы увидели этих ваших опереточных крестьян?!

Маяковский слушал, не перебивая. Долго и мрачно молчал. А потом сказал:

— Значит, так. Через десять лет в этой стране будет социализм. И тогда это будет хорошая поэма... Ну, а если нет... Если нет, чего стоит тогда весь этот наш спор, и эта поэма, и я, и вы, и вся наша жизнь...

Рассказав мне эту историю, Иосиф Ильич тут же вспомнил другую, похожую.

Однажды — в самом разгаре антикосмополитической кампании 49-го года — он шел по Якиманке. Вдруг видит — навстречу Фадеев. Увидев его, он перешел на другую сторону улицы. Фадеев тоже перешел. Остановился перед ним, загородив ему дорогу. Грозно спросил:

— Что это значит?

— Это значит, — ответил Юз, — что я не хотел ставить тебя в неловкое положение.

Они знали друг друга давно, еще с Ростова.

— Ладно, — сказал Фадеев. — Пошли.

Как некогда Маяковский, он заташил Юза в какой-то шалман. Сели за столик в углу. Фадеев заказал выпивку, какую-то нехитрую снедь.

Выпили.

— Ну? — сказал Фадеев. — Давай. Выкладывай, что у тебя накипело?

И Юз стал выкладывать. А выложить ему было что.

Он сказал, что все обвинения, выдвинутые против него, — полный вздор. Что так же обстоит дело и с другими «космополитами». Что вся эта кампания дурно пахнет. Что явный антисемитский ее характер несовместим с коммунистической идеологией.

Фадеев молча слушал. Багровел. И вдруг грохнул кулаком по столу. И заорал:

— Это ОН сказал!!!

— Слово Сталина, — сказал Юз, заключая этот свой рассказ, — было для Фадеева не просто приказом, который он, как верный солдат партии, обязан был беспрекословно выполнять. Это был **категорический императив!** Тот самый кантовский высший нравственный закон, которому нельзя не подчиняться.

Власть Сталина над его душой была безгранична. Даже смерть вождя не убила эту безграничную власть и не сразу ее ослабила.

Сюжет пятый

«Я ДУМАЛ, ЧТО НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ СТРАШНОЕ...»

В 1952 году в «Новом мире» увидел свет роман Василия Гроссмана «За правое дело». (№№ 7–10).

Время для публикации этого романа было тогда самое неподходящее, и напечатать его было непросто. Хотя А.Т. Твардовский — тогдашний редактор «Нового мира» — очень этого хотел.

Когда Гроссман предложил этот свой роман «Новому миру», главным редактором этого журнала был К.М. Симонов. Больше года Гроссман ждал ответа редакции, и наконец ответ был получен. Симонов и его первый зам Кривицкий роман (тогда еще он назывался «Сталинград») отвергли, написав автору, что напечатать его нельзя.

Но тут вдруг все переменялось. Главным редактором «Нового мира» стал Твардовский, а его первым замом А.К. Тарасенков. Все это случилось так быстро, что редакция даже не успела вернуть Гроссману рукопись.

Первым этот гроссмановский роман прочел Тарасенков. Прочел — и пришел в восторг. Дал Твардовскому. Тот тоже оценил роман высоко и твердо решил сделать все от него зависящее, чтобы он был напечатан.

Один из членов редколлегии «Нового мира» был тогда М. Бубеннов, и он сразу резко и определенно выступил против публикации романа. Его поддержал другой член редколлегии — Б. Агапов. Два других влиятельных члена редколлегии — К. Федин и В. Катаев — против не высказались, но потребовали серьезной доработки романа и больших сокращений.

Твардовский попытался найти поддержку у Шолохова. Но вместо поддержки получил еще один отрицательный отзыв. «Вы с ума сошли! — ответил Шолохов. — Кому вы поручили писать о Сталинграде?» (Впоследствии, когда роман все-таки вышел в свет, Шолохов сказал о нем, что это «удар ножом в спину русского народа».)

Можно с уверенностью сказать, что вопреки желанию и твердому решению главного редактора журнала и его первого зама роман Гроссмана так и не был бы напечатан, если бы в дело не вмешался еще один человек.

Этим человеком был Александр Фадеев.

- ▶ Когда я много лет назад старалась понять, почему Фадеев так безоговорочно и рьяно ринулся пробивать (в буквальном смысле этого слова) роман Гроссмана, я не сразу смогла разобраться в этом. Я даже перечитала «Разгром» и много других книг, связанных с ним, написала статью (для себя) и небольшие воспоминания. Ведь сама я знала его, встречала, много раз видела и слышала.

И сначала пришла к выводу простому: Фадеев любил литературу, и ему пришелся по душе роман Гроссмана «За правое дело». Это — важнее всего. А кроме того, он презирал антисемитизм и страдал от наступления эры Первенцева—Сурова. И ему обманчиво казалось, что он

сумеет их перехитрить, опираясь на обнадеживающие, на его взгляд, реплики и цитаты из Сталина, которые объявлял гуманными и чрезвычайно демократичными. И стала думать: почему же этот человек, который умел ускользнуть, спрятаться и извернуться во многих тяжелых ситуациях сталинского террора, почему же он так открыто двинулся на то, чтобы принять прямое участие в судьбе романа и даже непосредственно в редактировании его?

Может быть, Фадеев, в отличие от Твардовского умеющий каяться и просить прощения, Гроссманом «хотел спастись», как Нехлюдов у Толстого «хотел спастись» Катюшей Масловой. Все, конечно, могло быть...

Но, думая обо всем этом, я все-таки пришла к выводу, что у Фадеева, как и у Твардовского, этот 1950 год, связанный с романом Гроссмана, отмечен личными победами...

В чем же были эти победы? Почему отважился он роман Гроссмана пустить на фоне «почты Лидии Тимашук»? А для этого, конечно, нужна была отвага.

По моим представлениям, именно в этот, 1950 год он закончил второй вариант «Молодой гвардии», завершив свой подвиг дикой, античеловеческой любви к Сталину...

Не написав задуманный давно роман «Провинция», не закончив «Последний из Удэге», бросился на «Молодую гвардию», совершив адское насилие над собой, окончившееся полной победой. Появился новый, изуродованный, на мой взгляд, вариант романа, который, как мне представляется, потешил душу Сталина даже самым фактом своего появления. И был его торжеством над писателем и литературой. Блистательной победой!

И полетели по литературной Москве вести: Сталин чрезвычайно доволен. Тут же восторженные статьи:

«Новое издание романа А. Фадеева «Молодая гвардия». Мне кажется, что он кончил этот адский труд именно в 1950 году и, вероятно, отправил сразу же Сталину, потому что книга — новый вариант — вышла в 1951 году.

Судя по всему, Сталин был не просто доволен, но убажен.

(А. Берзер. *Прощание.*

В кн.: С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. М., 1990. Стр. 143–145).

Всё так. Но главным из этой череды объяснений и выводов я бы все-таки счел тот, который Анна Самойловна называет тут самым простым:

- ▶ Фадеев любил литературу, и ему пришлось по душе роман Гроссмана «За правое дело».

Я бы только к этому еще добавил, что роман Гроссмана «За правое дело» пришлось ему по душе не случайно.

На первых порах, сразу после выхода в свет журнального варианта этот роман Гроссмана был принят на ура. Он готовился к выходу отдельной книгой сразу в двух издательствах — Воениздате и «Советском писателе». И вот как раз в это время явился к Василию Семеновичу художник, которому какое-то из этих двух издательств заказало художественное оформление этой, уже заранее объявленной выдающимся литературным событием, книги.

Художник, выслушав разные пожелания автора, между прочим, задал ему такой вопрос.

— Насколько мне известно, — сказал он, — этот ваш роман лишь первая книга задуманной вами эпопеи. Я от души надеюсь, что буду оформлять и следующую вашу книгу. И, разумеется, хотел бы, чтобы все ее тома были выдержаны в одном стиле. Поэтому мне хотелось бы знать: как вы пред-

ставяете себе всю вашу эпопею, когда она будет завершена? Как она будет выглядеть?

— Как будет выглядеть? — задумчиво спросил Гроссман.

Он подошел к книжной полке, снял с нее четыре тома «Войны и мира», положил на стол.

— Вот так, — сказал он. — Когда я ее закончу, она будет выглядеть примерно вот так.

Фадееву была необыкновенно близка эта ориентация Гроссмана на Л.Н. Толстого, который смолоду был и его кумиром. Я даже готов предположить, что роман Гроссмана «За правое дело» был для него той книгой, которую он сам мечтал бы написать, — если бы мог.

Так или иначе, его желание напечатать роман Гроссмана было так велико, что он готов был чуть ли даже не сам стать его редактором.

► Раньше относившийся к Гроссману холодно, подозрительно, быть может, враждебно, Фадеев несколько раз встречался с ним у него на квартире, он понимал значение романа для русской литературы. При мне зашел разговор о заглавии. «Сталинград», как я уже упоминал, не годился. В то время официальная критика высоко отзывалась о произведении Поповкина «Семья Рубанюк». Это словосочетание почему-то сместило Гроссмана, и он с досадой предложил: «Назову роман «Семья Рубанюк». Фадеев звонко, с детской веселостью расхохотался: «Да, да, «Семья Рубанюк», что-нибудь в таком роде». Было решено во время этой беседы назвать роман «За правое дело» (выражение из речи Молотова, произнесенной в первый день войны), не помню, чье это предложение — Фадеева или самого Гроссмана.

Неожиданное хорошее отношение Фадеева к роману, как и потом его предательство, нетрудно объяснить. Фадеев любил русскую литературу всем сердцем

(а оно у него было), терпеть не мог хлынувшую на нас пакость, но вынужден был, чтобы оставаться у власти, публично хвалить то, что считал бездарным.

(С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. Там же. Стр. 24).

Редактировать Гроссмана Фадеев, конечно, не собирался. Он только выдвинул ряд пожеланий, точнее — требований, с которыми Гроссман после долгих и мучительных для него переговоров вынужден был согласиться.

Требования были те же, которые сразу же предъявил ему Твардовский.

► Первым прочел роман Тарасенков — и пришел в восторг, поздно ночью позвонил Гроссману. Потом прочел Твардовский... Оба приехали к Гроссману на Беговую. Твардовский душевно и торжественно поздравлял Гроссмана, были поцелуи и хмельные слезы. Роман было решено печатать. Опомнившись, Твардовский выставил три серьезных возражения.

1. Слишком реально, мрачно показаны трудности жизни населения в условиях войны — да и сама война.

2. Мало о Сталине.

3. Еврейская тема: один из главных героев, физик Штрум — еврей, врач Софья Левинтон, описанная с теплотой, — еврейка. «Ну сделай своего Штрума начальником военторга», — советовал Твардовский. «А какую должность ты бы предназначил Эйнштейну?» — сердито спросил Гроссман.

(Там же. Стр. 22).

Штруму в романе Гроссмана была отведена примерно та же роль, какая у Толстого в «Войне и мире» Пьеру Безухову.

В то время, когда в редакции «Нового мира» обсуждался и редактировался гроссмановский роман, антисемитский

шабаш на страницах советских газет с каждым днем набирал всё новые обороты. Немудрено, что в этих обстоятельствах роль, которую Гроссман назначил в романе своему Штруму, Твардовского смутила. Но предложение сделать его начальником военторга было для Гроссмана не просто неприемлемым. Оно его оскорбило.

Фадеев, предъявивший Гроссману те же требования, что и Твардовский, нашел тут более деликатное решение, которое Гроссмана, в общем, устроило. И в конце концов между двумя «высокими договаривающимися сторонами» был достигнут, как теперь у нас принято говорить, консенсус.

- ▶ Машинопись размножили, дали прочесть членам секретариата Союза писателей. Заседание вел Фадеев. Гроссман был приглашен. Все высказывались положительно, за исключением, кажется, одного из секретарей, кого, точно не помню. Решили:

1. Рекомендовать «Новому миру» роман печатать.

2. Название романа «Сталинград» изменить, чтобы не получилось, что право писать о величайшей битве берет на себя писатель единолично (в эпоху борьбы с космополитизмом подтекст был ясен).

3. Штрум несколько отодвигается на задний план, у Штрума должен быть учитель, гораздо более крупный физик, русский по национальности.

4. Гроссман пишет главу о Сталине.

Все эти предложения — и другие, менее значительные — Гроссман принял, иного выхода у него не было.

(Там же. Стр. 23).

Из всех этих предложений, которые он вынужден был принять, самым тягостным для него было согласие написать главу о Сталине.

- Когда он меня спросил, что я об этом думаю, я сказал, что надо согласиться, но мне было бы противно писать о Сталине. Гроссман рассердился: «А сколько ты напереводил стихов о вожде?» Я привел поговорку моего отца: «Можно ходить в бардак, но не надо смешивать синагогу с бардаком». Гроссман ответил мне словами из армянского анекдота: «Учи сэбе».

(Там же. Стр. 23–24).

Что же касается идеи ввести в роман новую фигуру — учителя Штрума, более крупного физика, чем он, и «русского по национальности», то это предложение он принял с готовностью. Может быть, даже этот компромисс был найден и предложен им самим. Как бы то ни было, образ учителя Штрума — академика Чепыжина — ему удался. Но по иронии судьбы, когда начался погром романа, именно этот образ стал объектом самой яростной и злобной критики. И резче, грубее и яростнее всех других ораторов, громивших роман, высказался тогда об этом гроссмановском персонаже именно Фадеев.

В свое время об этом будет рассказано подробнее. А пока как будто ничто не предвещает такого поворота событий. Роман принят, будет печататься. Напечатан. И тут же — по прямому указанию все того же Фадеева — выдвигается на Сталинскую премию.

Обстоятельства для такой фадеевской инициативы были самые неблагоприятные, и дело тут было не только в уже поднимающейся новой волне государственного антисемитизма. Известно было, что Сталин Гроссмана не любит. Дважды он вычеркивал его имя из списка кандидатов на Сталинскую премию. Фадеев был председателем Комитета по Сталинским премиям, и ему ли было этого не знать.

Но даже это его не остановило. Видимо, он рассчитывал, что при утверждении представленного им списка кандидатов ему удастся, как это порой случалось, Сталина переубедить.

Решение выдвинуть роман Гроссмана на высшую литературную премию страны было принято с необычной быстротой.

Фадеев провернул это дело стремительно, едва дождавшись выхода в свет 10-го (октябрьского) номера журнала с окончанием романа.

- ▶ ...В октябре мы кончили читать роман. Номер вышел скорее всего в начале месяца.

А 13 октября 1952 года собирается секция прозы Союза писателей. Тема — «Обсуждение романа В. Гроссмана «За правое дело». По прямому указанию Фадеева — для выдвижения на Сталинскую премию. Оперативно и быстро, не теряя ни одного дня...

Выступали разные люди, некоторые... старались, чтобы угодить Фадееву... Но их — меньшинство.

Вообще-то это — единственное в жизни Гроссмана собрание писателей, на котором его горячо и увлеченно хвалят. Такого не было в его жизни — ни раньше, ни потом. «Безудержно» хвалили — так это квалифицировано будет потом.

Среди выступающих критики и писатели тех времен...

Перечитывая их речи, я думаю... о том, какие слова может найти критик тогда, когда он говорит то, что думает. Даже в те времена.

А. Берзер. Прощание.

В кн.: С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. М., 1990. Стр. 147).

Но, как говорят в народе, недолго музыка играла.

Ровно через три месяца — день в день — 13 января 1953 года в «Правде» появилось сообщение о разоблачении и аресте врачей-отравителей, «убийц в белых халатах». Исполне-

ние сталинского плана «окончательного решения еврейского вопроса» вошло в последнюю свою фазу.

И ровно месяц спустя — тоже день в день — 13 февраля 1953 года «Правда» публикует двухподвальную статью Михаила Бубеннова «О романе В. Гроссмана «За правое дело».

По видимости, эта статья была вроде как литературная. То есть речь в ней шла как будто о литературной, художественной неудаче писателя. В начале, как это было принято в статьях такого рода, автор статьи — сквозь зубы — перечислил даже отдельные эпизоды, показавшиеся ему более или менее удачными. Но — тут же он брал быка за рога.

- ▶ Эти отдельные удачи не могут заслонить одной большой неудачи, постигшей В. Гроссмана. Ему не удалось создать ни одного крупного, яркого, типичного образа героя Сталинградской битвы, героя в серой шинели, с оружием в руках... Образы советских людей в романе «За правое дело» обеднены, принижены, обесцвечены. Автор стремится доказать, что бессмертные подвиги совершают обыкновенные люди... Но под видом обыкновенных он на первый план вытащил в своем романе галерею мелких, незначительных людей... В. Гроссман вообще не показывает партию как организатора победы — ни в тылу, ни в армии. Огромной теме организующей и вдохновляющей роли коммунистической партии он посвятил только декларации... Они не подкреплены художественными образами...

Заняв огромную площадь романа серыми, бездействующими персонажами, В. Гроссман, естественно, не смог уделить серьезного внимания таким героям, которых должен был показать на первом плане в романе «За правое дело»... Неверно идейно осмыслен героический подвиг советских воинов. В ряде эпизодов автор упорно подчеркивает мотивы обреченности и жертвенности... В печати появились статьи, захваливающие ро-

ман... Проявилась идейная слепота, беспринципность и связанность некоторых литераторов приятельскими отношениями. Нетрудно видеть, какой ущерб наносит все это развитию советской литературы.

(М. Бубеннов. О романе В. Гроссмана
«За правое дело». Правда.
13 февраля 1953 года).

Все это написано в жанре доноса. И доноса, конечно, политического. Но таков был принятый тогда стиль литературно-критических статей такого рода.

Однако пока все это еще в жанровых пределах сугубо литературной критики (хотя и весьма специфической) и с главной политической темой, выплеснувшейся на страницы всех тогдашних советских газет, как будто никак не связано.

Но кто же они — эти «серые, бездействующие персонажи», которыми Гроссман занял огромную площадь своего романа?

Это — семья Шапошниковых, связавшая себя родственными узами с евреем Штрумом. Дело потихоньку проясняется. Но и это еще не все.

► В качестве близкого человека к этой семье живет еще врач Софья Осиповна Левинтон...

Семья эта ничем не примечательна и вообще мало интересна как советская семья... А В. Гроссман выдает эту семью за типичную советскую семью, достойную быть в центре эпопеи о Сталинграде.

(Там же).

В самом деле! Как может претендовать на роль типичной советской семьи это семейство вырожденков, связавших себя родственными узами с евреем и пригревших у себя еврейку Софью Осиповну Левинтон, которая к тому же врач. А советский народ теперь, когда на страницах всех советских га-

зет бушует пламя с каждым днем все более разгорающегося «дела врачей», уже хорошо знает, что они представляют собой, эти еврейские врачи!

Чтобы каждому читателю было понятно, что эта статья Бубеннова — не литературная, а политическая, к ней было сделано такое редакционное примечание:

- ▶ «Редакция «Правды» присоединяется к мнению, высказанному в публикуемой сегодня нашей газетой статье М. Бубеннова «О романе В. Гроссмана «За правое дело».

Никогда — ни раньше, ни потом — таких примечаний к статьям, публикуемым на ее страницах, «Правда» не делала.

Все это не оставляло сомнений, что статья Бубеннова была одобрена, а может быть, даже и инспирирована самим Сталиным, что это — сигнал к раскручиванию нового витка бушующей идеологической кампании.

- ▶ Бубеннов, автор «Белой березы», в эти дни обратился прямо к Сталину по поводу романа Гроссмана. Он послал ему свой огромный донос. И по указанию Сталина этот донос в форме статьи Бубеннова «О романе В. Гроссмана «За правое дело» был напечатан в «Правде» 13 февраля 1953 г.

После этого «дело Гроссмана» стало расти, как «дело врачей». За роман снимали с работы, подлецы провоцировали разговоры о нем, ловили каждое неосторожное слово, чтобы передать и растоптать. По всем газетам и журналам прокатилась волна испепеленных ненавистью статей, по всем редакциям и издательствам — серия собраний с поношениями и проработками.

Роман был назван диверсией, от него отказались почти все, кто его хвалил, печатал, рекомендовал, называл, принимал...

«Дело Гроссмана» было, наверно, последним злодейством Сталина. По неписаному ритуалу все должны были каяться, бить себя и бить других.

(А. Берзер. *Прощание*.
В кн.: С. Липкин. *Жизнь и судьба*
Василия Гроссмана.
М., 1990. Стр. 185–186).

К исполнению этого неписаного ритуала Фадееву было не привыкать. Не раз он участвовал в нем — и не только в роли палача, но и в роли жертвы. Достаточно вспомнить тут только самое последнее, совсем недавнее его истерическое покаяние, вызванное внезапно обрушившейся на него кристикой «Молодой гвардии».

► Все знали (а он, конечно, лучше всех), что эта оценка лично, прямо и непосредственно вылетела из уст Сталина.

Что должен был делать именно он при таком повороте?

Он начал громогласно каяться и объявил, что принимает все, что написано о нем в газете «Правда».

Я сидела в Дубовом зале Союза на главном таком покаянии. Смотреть на него и слушать было больно. Как он отдирает от себя драгоценные для него куски, образы и эпизоды (будто не он их написал), подставлял благоговейно под сталинские жернова, возмущался ими, негодовал, сдирая с себя кожу. У него вообще лицо всегда было красноватым, с седыми волосами, а сейчас оно казалось совсем багровым. Он не притворялся, не фальшивил, он любил Сталина и мощно, громко, как всегда косноязычно, долго объявлял о своей любви. Он мучился, страдал и обещал, обещал... Обещал, что переписет собственный роман.

(Там же. Стр. 145).

Теперь, чтобы если не спасти положение, так хоть самогнать, смикшировать полученный удар, он должен был добиться такого же покаяния от Гроссмана.

Но тут — нашла коса на камень.

- ▶ Мы с Гроссманом решили это смутное время пережить, вернее, укрыться на моей даче в Ильинском по Казанской железной дороге. Жили мы так. Я закупал в закрытом городке Жуковском провизию (тогда это было просто), мыл посуду, а Гроссман готовил обед, каждый день один и тот же наваристый суп.

Однажды к нам приехала Ольга Михайловна (жена В.С. Гроссмана. — Б.С.), очень взволнованная: звонил Фадеев, зовет Гроссмана к себе домой, срочно. Гроссман выехал ранним утренним поездом. К сожалению, я не помню всего разговора между ними — Гроссман мне его пересказал, — я помню только суть: Фадеев настойчиво советовал Гроссману покаяться, публично отречься от романа, «ради жизни на земле» — процитировал он Твардовского. Гроссман отказался.

(С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. Стр. 32).

Эренбург называл Гроссмана максималистом.

Может быть, это и не самое точное слово, но некую важную черту его характера оно выражает. Он был упрямым, негибким, выражаясь библейским слогом, — жестоковыйным. И этого же ждал и требовал от тех, кого считал друзьями и единомышленниками.

- ▶ Перед нашим отъездом на дачу у Гроссмана произошло событие, о котором он часто и мучительно вспоминал. Гроссмана пригласили в «Правду»: позвонил ему профессор-историк Исаак Израйлевич Минц, сказал, что он должен прийти, в помещении

редакции пойдет речь о судьбе еврейского народа. По пути в «Правду» Гроссман зашел в «Новый мир». Он хотел выяснить свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа «За правое дело». Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо. Твардовский, между прочим, сказал: «Ты что, хочешь, чтобы я партийный билет на стол выложил?» «Хочу», — сказал Гроссман. Твардовский вспыхнул, рассердился: «Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там тебе объяснят».

В «Правде» собрались видные писатели, ученые, художники, артисты еврейского происхождения. Минц прочитал проект письма Сталину, которое собравшимся предлагалось подписать.

(Там же).

Это было то самое, так в конце концов и не появившееся в «Правде» письмо, о котором я подробно рассказываю в главе «Сталин и Эренбург».

Ситуация была грозная.

Говоря Гроссману, что покаяться и отречься от романа он должен «ради жизни на земле», то есть не ради благополучия или каких-то там жизненных благ, а попросту говоря, чтобы уцелеть, выжить, Фадеев не преувеличивал опасности, не сгущал краски. Дело действительно шло о жизни и смерти.

Но «жестоковыйный» Гроссман отречься от своего романа не захотел. Вернее, не смог. И это, конечно, не способствовало смягчению силы и болезненности удара, который — по условиям все того же неписаного ритуала — вынужден был ему нанести Фадеев.

Удивляться тому, что он без колебаний нанес ему этот удар, не приходится. Совершая это очередное свое предательство (не по отношению к Гроссману даже, а к самому себе), Фадеев был уверен, что он вынужден на это пойти не

для того, чтобы удержаться у власти, а тоже — «ради жизни на земле». То есть чтобы уцелеть, выжить.

Кое-какие основания для этого страха (об этом в свое время мы еще поговорим) у него были. И все-таки в этой действительно грозной ситуации он сильно, гораздо сильнее, чем это диктовалось реальными обстоятельствами, превысил «пределы необходимой обороны».

* * *

24 марта 1953 года состоялось заседание Президиума Правления Союза советских писателей, как сказано в стенограмме, — «вместе с активом писателей».

Стенограмму эту сохранила А.С. Берзер. Публикуя ее в своем мемуарном очерке, она не преминула по этому поводу заметить:

- ▶ На папке написано — «хранить постоянно». Я выполнила это предписание.

(А. Берзер. *Прощание*. М., 1990. Стр. 186.)

Открыл заседание один из секретарей Правления Союза писателей (скоро он станет первым) — А.А. Сурков.

Объявив повестку дня, главный пункт которой гласил: «О романе В. Гроссмана «За правое дело» и о работе редакции журнала «Новый мир», слово для доклада по этому вопросу он предоставил генеральному секретарю Правления СП СССР А.А. Фадееву. А тот сразу начал с того, что, опубликовав роман, который он только что выдвигал на Сталинскую премию, —

- ▶ ...большинство редакционной коллегии «Нового мира», а также большинство нашего Секретариата и Президиума сделало ошибку идейного характера. Разумеется, наибольшая ответственность за ошибку ложится на меня как на генерального секретаря Союза

писателей и на Твардовского как на главного редактора журнала «Новый мир».

В чем суть этой ошибки? Как мы можем в общих чертах определить для себя тему романа Гроссмана?

Я могу в общих чертах определить ее так: советские люди в обороне Сталинграда. Потому что речь идет о первой книге, которая затрагивает пока оборону Сталинграда.

Именно этот характер темы наглядно показывает, в чем главный порок, идейный порок этого романа. Он состоит в том, что для решения такой темы в центре романа поставлены люди, которые никак не могут выражать героизма советских людей в обороне Сталинграда. Там не показан героизм нашего рабочего класса, нашего колхозного крестьянства. Там не дана наша трудовая интеллигенция, потому что поставленная в центре событий семья Шапошниковых является такой частью нашей интеллигенции, которая не характерна для большинства советской интеллигенции. Я бы сказал, что в обрисовке этой семьи автором положен принцип будничности, и эта печать будничности, незначительности дела, интересов, которыми занята эта семья и все, кто с ней связан, кладет печать на весь роман».

(В кн.: С. Литкин. *Жизнь и судьба Василия Гроссмана*. А. Берзер. *Прощание*. Стр. 187—188).

Все это — в тех же самых выражениях и фразеологических оборотах — мы уже читали в появившейся в «Правде» статье Бубеннова. Генеральный секретарь и председатель Правления Союза писателей СССР, член ЦК правящей партии А.А. Фадеев просто повторил тут главный тезис той громкой статьи. И сделал это в самой раболепной форме, с тем попугайским послушанием, с каким первый ученик повторяет то, что услышал от строгого учителя.

Но в следующем тезисе этого фадеевского доклада прозвучало уже нечто новое — по видимости, как будто даже оригинальное, свое:

- ▶ Дело в том, что в основе этого романа лежит очень реакционная, идеалистическая, антиленинская философия, которая выражена устами одного из действующих лиц романа, профессора Чепыжина, и затем находит свое проявление в целом ряде высказываний и, главным образом, в характере показа событий и людей на страницах романа...

Товарищи! Надо понимать реакционный смысл этой философии... Речь идет о философии, очень удобной для буржуазии... Она в корне противоречит нашей марксистско-ленинской философии...

(Там же).

Далее докладчик поясняет, что все это было бы бедой еще не так большой руки, если бы в духе этой чуждой советскому народу антиленинской философии высказывался какой-нибудь отрицательный персонаж романа, которого автор таким способом намеревается разоблачить. Но вся беда в том, что эти антимарксистские, антиленинские высказывания Гроссман вложил в уста «симпатичного профессора Чепыжина» и — «таким образом дал понять читателю, что это есть философия автора».

Тут надо сказать, что это последнее утверждение до некоторой степени соответствует действительности.

Как мы помним, задумав свой роман, Гроссман собирался назвать его коротко и просто — «Сталинград». Под этим названием он и принес рукопись в редакцию «Нового мира». Но там это название отклонили: оно показалось слишком громогласным, чересчур весомым, к слишком многому обязывающим. Сталинград — это ведь кульминация, высший, переломный момент всей той великой войны. Фадеев пред-

ложил ему назвать книгу как-нибудь поскромнее. Например, — «За правое дело».

Гроссман не возражал. Дело, за которое воевал с гитлеровской Германией советский народ, он вполне искренне считал правым. На этот счет никаких разногласий с официальной советской идеологией у него тогда не было. Диссидентом, то есть **инакомыслящим**, он не был. Но он был — **мыслящим**. А всякий, кто пытается **мыслить**, а не повторять чужие мысли, уже самым этим своим поползновением обречен на то, чтобы мыслить **инако**, то есть — самостоятельно, по-своему, не в унисон со всеми.

Именно так мыслит в гроссмановском романе один из центральных его персонажей — Виктор Павлович Штрум. Образ этот, — хоть Штрум у Гроссмана не литератор, да и вообще не гуманный, а физик, — вобрал в себя многие черты автора книги.

На протяжении всего романа Штрум ищет истину, пытается понять суть происходящего. В частности, его мучает (как и всех думающих людей в то время) загадка германского фашизма: как случилось, что умный, работающий, цивилизованный народ, давший миру Канта и Гегеля, Шиллера и Гете, Баха и Бетховена, за несколько лет превратился в банду убийц, загнавшую всю Европу в гигантский концлагерь?

Задумываться об этом, конечно, разрешалось. Но все ответы на этот роковой вопрос были уже даны. В соответствующих партийных документах, в основополагающих высказываниях товарища Сталина.

Но Штрум почему-то не хочет довольствоваться этими ответами. Он размышляет. И делится этими размышлениями со своим учителем — академиком Чепыжиным. А у того есть свои, тоже не совсем банальные ответы на все сомнения и недоумения Штрума. И он тоже охотно делится ими со своим любимым учеником.

► Они медленно шли и молчали...

Чепыжин вдруг посмотрел на Штрума и сказал:

— Фашизм! А? Что с немцами стало?.. Кажется, всё хорошее исчезло. Кажется, нет там ни честных, ни благородных, ни добрых. А? Возможно ли это? Ведь мы знаем их. И их удивительную науку, и литературу, и музыку, и философию!.. Откуда столько набралось злодеев? Вот, говорят, переродились, вернее, выродились. Говорят, Гитлер, гитлеризм сделал их такими.

Штрум сказал:

— Да, приходит такая мысль...

Чепыжин отмахнулся рукой:

— Фашизм силен, но есть предел его власти. Это надо понять... В основном, в общем Гитлер изменил не соотношение, а лишь положение частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, мусор, дрянь всякая, всё, что таилось и скрывалось, всё это фашизм поднял на поверхность, всё это полезло вверх, в глаза, а доброе, разумное, народное — хлеб жизни — стало уходить вглубь, сделалось невидимым, но продолжает жить, продолжает существовать...

Он оживлённо поглядел на Штрума, взял его за руку и продолжал говорить:

— Вот представьте себе, в каком-нибудь городке имеются люди, известные своей честностью, человечностью, ученостью, добротой. И уж они были известны каждому старику и ребёнку. Они окрашивали жизнь города, наполняли ее — они учили в школах, в университетах, они писали книги, писали в научных журналах... Ясно, их видели с утра до позднего вечера. Они являлись всюду: в лекционных залах, их видели на улицах, в школах... Но когда приходила ночь, на улицы выходили другие люди, о них мало кто знал в городе, их жизнь и дела были грязны и тайны, они боялись света, ходили крадучись, во тьме, в тени построек. Но пришло вре-

мя — и грубая, тёмная сила Гитлера ворвалась в жизнь. Людей, освещавших жизнь, стали бросать в лагерь, в тюрьмы. Иные погибали в борьбе, иные затаились. Их уже не видели днем на улицах, на заводах, в школах, на рабочих митингах. Запылали написанные ими книги. Конечно, были и такие, которые изменили, пошли за Гитлером, перекрасившись в коричневый цвет. А те, что таились ночью, вышли на свет, зашумели, заполнили собой и своими ужасными делами мир. И показалось: разум, наука, человечность, честь умерли, исчезли, уничтожились, показалось — народ переродился, стал народом бесчестия и злодейства...

И, не дожидаясь ответа, он продолжал:

— И так же отдельные люди... Часто человек, живущий в нормальных общественных условиях, сам не знает погребов и подвалов своего духа. Но случилась социальная катастрофа, и полезла из подвала всякая нечисть, зашуршала, забегала по чистым комнатам!

Вот она — философия, которую Фадеев назвал реакционной, антиленинской и «очень удобной для буржуазии».

Перечитав сейчас этот монолог академика Чепыжина, я убедился, что помню его почти дословно. Помню с тех самых пор, как впервые — еще в журнале — прочел роман Гроссмана «За правое дело». А было это — ни мало ни много — полвека тому назад.

Это, конечно, не случайная прихоть моей памяти. Рассуждения этого гроссмановского персонажа так меня тогда поразили и потому-то и врезались так крепко в мою память, что я тоже видел, как плавает на поверхности жизни, упиваясь своим торжеством, «мусор, дрянь всякая».

Всё, о чем говорил в откровенном своем разговоре с Штрумом академик Чепыжин, крепко рифмовалось с тем, что все мы видели вокруг — не в Германии, а в родной своей стране, в любезном нашем Отечестве.

Крестьяне, любившие землю и умевшие работать на этой земле, — этот истинный «хлеб жизни» — были уничтожены. Те же из них, кто уцелел, «ушли на дно», сделались невидимыми. Наверх же полезла всякая муть и дрянь. Болтуны, крикуны, умевшие только «руководить», а не работать. Тусклые партийные функционеры, не способные связать двух слов, важно поучали седовласых академиков. Вся страна — от дворника до президента Академии наук — должна была изучать историю по лживому и примитивному «Краткому курсу истории ВКП(б)». В литературе торжествовали Бубенновы и Бабаевские со своими «Кавалерами Золотой Звезды» и «Белыми березами», в театре — Софроновы и Суровы со своими «Стряпухами» и «Зелеными улицами». Мейерхольд и Бабель были расстреляны, Мандельштам погиб в лагере, Цветаева повесилась, Платонов выкашливал последние легкие, подметая литинститутский дворик, «ушли на дно» Ахматова, Зощенко, Пастернак, Заболоцкий, Булгаков...

Таково было тогда «соотношение частей» в нашей «жизненной квашне». И не замечать всего этого мог только слепец. Или человек, притворяющийся слепым.

Гроссман слепцом не был. Притворяться — не хотел. И «соотношение частей» в его романе более или менее соответствовало тому, что было в жизни. Истинные патриоты у него (капитан Берёзкин) воюют, не щадя живота. Болтуны, приспособленцы, трусы, умеющие только блюсти свою выгоду (карьеру), заискивая перед начальством, — отираются в штабах.

Но это всё — сегодняшние мои мысли. Во всяком случае, не тогдашние, а более поздние.

Хотел ли Гроссман вложить в эту философию своего академика Чепыжина и такой смысл?

Вряд ли. Отчетливая мысль о близости — и даже тождестве — сталинского и гитлеровского режимов тогда, судя по всему, у него еще не возникла.

Почуял ли Фадеев в этих гроссмановских мыслях намек на то, что их можно отнести не только к Германии, но и к нам тоже?

Фадеев не скрывает, что сам по себе гроссмановский академик Чепыжин ему симпатичен. Еще бы! Ведь это он сам настоял, чтобы Гроссман ввел в роман такую фигуру — «учителя Штрума, более крупного физика, чем он» и «русского по национальности».

Из этого, конечно, еще не следует, что и мысли этого «симпатичного профессора» тоже были ему симпатичны.

Но вся штука в том, что эти его мысли, вот эта самая «реакционная, антиленинская» его философия была Фадееву не просто симпатична и даже близка. То-то и дело, что это была его собственная философия. Его собственные, его самого в ходе таких же размышлений осенившие и даже примерно так же им сформулированные мысли:

- ▶ Чтобы построить новое общество, справедливое и счастливое, нужны миллионы хороших людей, и именно эти миллионы определяют собой лицо и жизнь этого общества. А единицы подлецов, которых находят враги этого общества среди миллионов хороших людей и которые стремятся новое общество развалить, разрушить, подорвать, — эти единицы подлецов действуют тайно, невидно для общества, эти люди — невидимки. Достаточно, однако, чтобы пришли к власти враги этого общества, как они подавят, оттеснят, заставят уйти в тень, спрятаться, замкнуться в себе миллионы хороших людей, а на поверхность выплывут, будут шуметь, заявлять о себе единицы подлецов, и именно они будут определять лицо того общества, как оно сложилось при такой перемене власти.

Так случилось и с приходом немцев на советскую территорию. Миллионы честных, хороших людей, и тех, кто сопротивлялся пассивно, как мог, и тех, кто

по условиям жизни или по характеру своему старался спрятаться, пережить это время незаметно, в тиши, лишь бы не служить, не помогать проклятому ненавистному немцу, миллионы этих советских людей как бы ушли в тень, замкнулись, а на поверхность всплыли те единицы людей, которые когда-то жили среди миллионов, которых все знали, но которые оказались не теми, за кого их принимали, потому что они тайно творили свое черное дело. Эти единицы подлецов всплыли на поверхность, стали шуметь и заявлять о себе...

(А. Фадеев. *Молодая гвардия*. Стр. 494).

Это авторское рассуждение — из черновых вариантов первой редакции «Молодой гвардии». В белой, окончательный текст романа Фадеев его не включил.

Не потому ли, что уже тогда почуял в нем какой-то чужой, «не наш», антиленинский, реакционный, «буржуазный» дух?

Нет, конечно!

Да и сейчас он тоже не сам до этого додумался. Также повторил обвинение, уже не раз предъявлявшееся тогда Гроссману с других высоких государственных и партийных трибун:

- ▶ Доморощенная философия В. Гроссмана и его главного героя Чепыжина состоит из обрывков идеалистической философии энергизма, «подсознательно» фрейдизма, мистико-дуалистической философии извечной борьбы двух неизменных и вечных начал в мире: добра и зла, света и тьмы.

(А. Лекторский. *Роман, искажающий образы советских людей*. Коммунист. 1953, № 3).

Все это — полная чепуха. Никакого «энергизма», «подсознательного» фрейдизма, никакой мистико-дуалистической философии в рассуждениях академика Чепыжина нету и в

помине. Да и сам Чепыжин, как мы знаем, далеко не главный герой гроссмановского романа. Похоже, что автор цитируемой статьи роман Гроссмана даже и не читал.

В отличие от него Фадеев роман читал. Но чепухи на эту тему наговорил не меньше. Не только повторил главное обвинение автора «Коммуниста», но еще и добавил к нему кое-какую отсебятину:

- ▶ Сущность этой философии не нова: о том, что развитие в мире совершается по кругу, что все возвращается «на круги своя». Таким образом, объяснение фашизма в германском народе сведено к тому, что в народах существуют извечные начала жизни — начало добра и начало зла...

Сущность фашизма в том, что начало зла выплыло наружу в германском народе. Это же антимарксистская, антиленинская концепция и философия истории! Дело в том, что она не новая и для самого Гроссмана... Но она не новая и в литературе с точки зрения той борьбы, которую нам пришлось вести с нашими идейными противниками. В частности, хочу вам напомнить дискуссию, которая велась на страницах «Литературной газеты» с группой существовавшего ранее журнала «Литературный критик», возглавлявшегося такими горе-теоретиками, как Лифшиц, Лукач и Гриб. И эти люди утверждали, что развитие совершается по кругу. И это было философией этих теоретиков в кавычках. В работах Лифшица говорилось также о извечных началах «добра» и «зла», о теории круговорота...

И эта философия извечного круговорота лежит в основе романа Гроссмана.

Товарищи! Надо понимать реакционный смысл этой философии. Ведь это значит, что все то, что мы творим для построения коммунизма, — все это нам только

воображается, так как все идет по пройденному кругу, все сводится к прежним положениям.

(С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. А. Берзер. Прощание. Стр. 212–213).

Совершенно очевидно, что Лукач, Лифшиц и Гриб — все эти дела давно минувших дней — тут совсем уже ни при чем. Что все эти вытщенные из нафталина, давно забытые жупелы понадобились Фадееву исключительно «для понта». Так же, как исключительно «для понта» автору статьи в «Коммунисте» понадобилось обвинить Гроссмана в приверженности «энергизму» и «подсознательному фрейдизму». Суть всех этих по видимости таких разных ярлыков одна. Ее, эту суть, лучше всех сформулировал тот мусульманский завоеватель, который приказал своим башибузукам сжечь Александрийскую библиотеку. «Если в этих книгах, — будто бы сказал он, — написано то, что в Коране, — они не нужны. А если в них то, чего нет в Коране, — они вредны».

Вина гроссмановского академика Чепыжина, а следовательно, и самого Гроссмана заключалась в том, что в его рассуждениях обнаружилось то, ЧЕГО НЕТ «В КОРАНЕ», то есть «в трудах товарища Сталина».

Вместо того чтобы выдумывать все эти свои, доморощенные объяснения, Чепыжин должен был бы сказать Гроссману: «Товарищ Сталин нас учит!» И повторить — хоть бы даже своими словами — то, что сказал о фашизме товарищ Сталин. И все было бы в порядке.

Но и этими своими обвинениями «пределы необходимой обороны» Фадеев не нарушил.

Допущенное им «нарушение пределов необходимой обороны», о котором я говорил, заключалось совсем в другом. В том, что все, сказанное им в том его докладе, было произнесено ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОГО МАРТА. То есть — ТРИ НЕДЕЛИ СПУСТЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ С Т А Л И Н А .

* * *

Говоря о Гроссмане, Фадеев в отличие от Бубеннова еврейскую тему не затронул. Но, завершая свой доклад, опять пробубнил все то же:

- ▶ За последние годы мы разгромили ряд антиленинских, антипартийных течений, которые... проникали в наши органы, в редакционные аппараты и так далее, причиняя серьезный вред нашему развитию и отравляя известную часть наших кадров своей вредной идеологией. Мы разгромили такие течения и группировки. Это были «безродные космополиты», «низкопоклонники»... Центральный Комитет партии указал нам на это явление как на антипатриотическую критику людей, зараженных космополитизмом, показал их связи с идеологией космополитов на Западе, показал, что это является империалистической агентурой. Мы с честью провели борьбу с космополитизмом и будем проводить эту борьбу и дальше...

...Было бы наивно думать, что мы не имеем представителей этой идеологии в нашей литературной среде. И они вновь могут осуществлять свое влияние. Поэтому нам нужна бдительность...

(Там же. Стр. 203—204).

И — совсем уже под занавес, под привычные «бурные аплодисменты» — тем же и закончил:

- ▶ Не давать спуска буржуазным космополитам, буржуазному национализму... Твердо проводить линию нашей партии. Так мы будем работать в будущем.

(Там же. Стр. 206).

Тогда, 24 марта, все это уже можно было и не говорить. (Чуть позже объясню, почему.) Но Фадеев на этом не остановился. В те же дни он сделал еще один, совсем уже не обязательный шаг в том же направлении.

- ИЗ ЗАПИСКИ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В ЦК КПСС
«О МЕРАХ СЕКРЕТАРИАТА
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
ПИСАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТ БАЛЛАСТА»

Не позднее 24 марта 1953 г.

ЦК КПСС. Тов. Хрущеву Н.С.

В настоящее время в Московской организации Союза советских писателей СССР состоит 1102 человека (955 членов и 147 кандидатов в члены Союза советских писателей СССР).

Свыше 150 человек из этого числа не выступают с произведениями, имеющими самостоятельную художественную ценность, от пяти до десяти лет.

Эти бездействующие литераторы являются балластом, мешающим работе Союза советских писателей, а в ряде случаев дискредитирующим высокое звание советского писателя...

Большинство из этих лиц и в прошлом не имело достаточных оснований для вступления в Союз писателей...

...В ряде случаев при приеме в ССП снижались требования к вновь вступающим, благодаря плохому изучению вновь принимаемых, а зачастую и из непринципиальных, приятельских отношений.

Много случайных людей, не имеющих самостоятельных литературно-художественных произведений, попало в Союз писателей в годы войны и в первые послевоенные годы — в силу стремления большого числа лиц, имевших косвенное отношение к литературе, проникнуть в Союз для получения материальных преимуществ, связанных с пребыванием в нем. (Снабжение, литерные карточки и т.д.)

Значительную часть этого балласта составляют лица еврейской национальности, и в том числе члены бывшего «Еврейского литературного объединения» (московской секции еврейских писателей), распущенного в 1949 году.

Из 1102 членов московской организации Союза писателей русских – 662 чел. (60%), евреев – 329 чел. (29,8%), украинцев – 23 чел., армян – 21 чел., других национальностей – 67 чел.

При создании Союза советских писателей в 1934 году – в московскую организацию было принято 351 чел., из них – писателей еврейской национальности 124 чел. (35,3%). В 1935–1940 гг. принято 244 человека, из них писателей еврейской национальности – 85 человек (34,8%); в 1941–1945 гг. принято 265 чел., из них писателей еврейской национальности 75 человек (28,4%). В 1947–1952 гг. принят 241 чел., из них писателей еврейской национальности – 49 чел. (20,3%).

Такой искусственно завышенный прием в Союз писателей лиц еврейской национальности объясняется тем, что многие из них принимались не по их литературным заслугам, а в результате сниженных требований, приятельских отношений, а в ряде случаев и в результате замаскированных проявлений националистической семейственности...

Следует особо сказать о членах и кандидатах в члены Союза писателей, состоявших в бывшем еврейском литературном объединении. Все руководство этого объединения и значительная часть его членов были в свое время репрессированы органами МГБ. После ликвидации объединения и прекращения изданий на еврейском языке только четверо из 22 еврейских писателей, входивших ранее в это объединение, занялись литературной работой и эпизодически выступают в печати на русском языке. Остальные – являются балластом в Московской организации Союза писателей. Среди них есть

отдельные лица, вообще изменившие свою профессию (например, О. Дриз, уже несколько лет работающий гранильщиком в одной из строительных организаций)...

Полностью сознавая свою ответственность за такое положение с творческими кадрами, руководство Союза советских писателей СССР считает необходимым путем систематического и пристального изучения членов и кандидатов в члены Союза писателей последовательно и неуклонно освобождать Союз писателей от балласта...

...Мы считаем необходимым добиться того, чтобы в течение 1953—1954 годов существующее ненормальное положение с составом творческих кадров писателей было бы решительно исправлено.

За последнее время Секретариат и Президиум Союза советских писателей СССР приняли первые меры в этом направлении. За ряд месяцев Президиумом Правления ССП СССР исключено из Союза писателей 11 чел.; Секретариатом ССП внесена в Президиум рекомендация — исключить еще 11 чел. Работа эта будет продолжаться.

Генеральный секретарь
Союза советских писателей СССР
А. Фадеев
Заместители Генерального секретаря
Союза советских писателей СССР
А. Сурков
К. Симонов

*(Государственный антисемитизм в СССР.
1938—1953. Документы. М., 2005.
Стр. 254—258).*

В этом документе приводились имена тех, кого предлагалось выкинуть из Союза писателей в самую первую очередь. Некоторые из них (например, имя РЖЕШЕВСКОГО, автора сценария снимавшегося Эйзенштейном и уничтоженного фильма «Бе-

жин луг») были мне знакомы. Но знал я только одного из них — Овсея Овсеевича ДРИЗА. В конце 50-х, когда я был заведующим отделом литературы детского журнала «Пионер», он приносил мне свои стихи. В это время его уже переводили самые знаменитые поэты России, у него выходили книги. А в начале 50-х кто бы осмелился его переводить? Да если бы кто-нибудь и посмел перевести какой-нибудь стишок этого чудом уцелевшего еврейского поэта, кто бы осмелился его напечатать?

Между тем надо было как-то жить, кормить семью. Вот он и стал работать гранильщиком в одной из строительных организаций.

Случись такое с Ивановым, Петровым, Сидоровым, его бы за это только похвалили. Чего доброго, даже объявили бы инициатором какого-нибудь такого писательского почина, призывали бы и других следовать его примеру, чтобы быть ближе к рабочему классу. А бедного Дриза, напротив, предложили из Союза писателей исключить, поскольку он, видите ли, сам, добровольно, сменил профессию. Которую на самом деле он и не думал менять: продолжал писать стихи, и стихи эти были талантливы. Только вот печатать их ему было негде.

В этой цинично лицемерной реплике про Дриза с особенной наглядностью выразилась вся подлая сущность этой фадеевской «Записки».

Первая мысль, которая приходит в голову, когда читаешь этот документ: «Эх! Подождать бы Александру Александровичу с этой его инициативой всего-то каких-нибудь десять дней, — и он бы так не опозорился!». Ведь ровно через десять дней — 4 апреля — в газетах появилось сообщение, из которого мы узнали, что «врачи-убийцы» — не убийцы, что все это дело было сфальсифицировано органами «бывшего», как было сказано в этом сообщении, Министерства государственной безопасности, с применением строжайше запрещенных в нашей стране методов ведения следствия.

Но на самом деле, чтобы не вляпаться в эту постыдную акцию, Фадееву вовсе не надо было дожидаться 4 апреля. Потому что в действительности с «делом врачей» было покончено не в

апреле, а уже в самом начале марта. И даже не 5 марта, когда якобы умер Сталин, а несколькими днями ранее, когда — во всяком случае, так считалось — он был еще жив.

- ▶ Каждый день в центральной прессе публиковались те или иные материалы о подрывной деятельности в СССР американской, британской, израильской и других секретных служб... Однако воскресенье 1 марта 1953 года было последним днем этой антисемитской и антизападной кампании. В «Правде» в этот день можно было прочесть о «засылке в СССР шпионов, диверсантов, вредителей и убийц», о том, что «сионистские организации используются для шпионско-диверсионной деятельности», о шпионско-диверсионной деятельности еврейской организации «Джойнт». Но в понедельник, 2 марта 1953 года, ни «Правда», ни другие центральные газеты уже не публиковали никаких антиамериканских и антиссионистских материалов. Не было таких публикаций и в последующие дни. Антисемитская кампания прекратилась.

Центральные газеты СССР готовились в набор вечером предшествующего дня. Редактор подписывал макет после просмотра всего текста цензором, и ночью матрицы набора рассылались специальными самолетами в другие столицы республик и в крупные города, где такие газеты, как «Правда» и «Известия», выходили и доставлялись подписчикам лишь на несколько часов позже, чем в Москве. В Москве тиражи газет были готовы к 6 часам утра и разносились почтальонами подписчикам с утренней почтой. В этих условиях директива о прекращении антисемитской и антиамериканской кампаний, привязанных к ожидавшемуся вскоре процессу, должна была поступить и в редакции газет, и в универсальную цензуру, Главлит, днем 1 марта. Аналогичная директива должна была поступить государ-

ственным радиостанциям и телевидению. По существу, не только редакции «Правды» и «Известий», но и редакции всех средств массовой информации, лекторы и пропагандисты всех уровней должны были получить необходимые инструкции. Такая внезапная остановка уже набравшей силу обширной пропагандистской кампании могла быть осуществлена лишь одной службой – Управлением (отделом) агитации и пропаганды ЦК КПСС, тем самым агитпропом, который до этого управлял и координировал всю эту кампанию...

Кто именно остановил антисемитскую кампанию по «делу врачей» в прессе 1 марта 1953 года, остается пока неизвестным... Можно, однако, не сомневаться в том, что прекращение пропагандистской кампании неизбежно было связано и с прекращением подготовки самого судебного процесса по «делу врачей».

*(Р. Медведев, Ж. Медведев.
Неизвестный Сталин. М.,
2007. Стр. 36–38).*

О том, что с «делом врачей» практически уже покончено, Фадеев мог и не догадываться. Но не заметить, что уже в начале марта антисемитская кампания в прессе вдруг прекратилась, он, конечно, не мог.

Что же в таком случае толкнуло его на это, теперь уже не нужное «превышение пределов необходимой обороны»?

- ▶ Появилось сообщение о реабилитации врачей... Фадеев без звонка пришел ко мне, сел на мою кровать и сказал: «Вы в меня не бросите камень... Я попросту испугался». Я спросил: «Но почему после его смерти?..» Он ответил: «Я думал, что начинается самое страшное...» Он это повторил потом много раз...

*(И. Эренбург. Люди, годы, жизнь.
Воспоминания в трех томах. Т. 3.
М., 1990. Стр. 129).*

* * *

Чего же — и почему — он испугался?

Однажды был дан такой, как будто бы вполне убедительный ответ на этот вопрос:

- ▶ Разгадка этой фразы проста. Фадеева ненавидел Берия (у них было столкновение еще в 1937 году, когда Берия работал в Тбилиси); была попытка ликвидировать Фадеева «случайным» наездом машины. Когда после смерти Сталина к власти пришел триумвират Маленков — Берия — Хрущев, Фадеев, опасаясь немедленной расправы, решил кинуть своему врагу очередную кость, надеясь, что это предательство его спасет.

(Б. Фрезинский. Все это было в XX веке. Заметки на полях истории. Винница. 2006. Стр. 132).

О том, что за столкновение было у Берии с Фадеевым в 1937 году, когда тот работал еще в Тбилиси, мы уже знаем: подробный рассказ Фадеева об этом, записанный К.Л. Зелинским, я уже приводил на этих страницах. Тому же Зелинскому Фадеев рассказал и о предпринятой Берией «попытке ликвидировать его «случайным» наездом машиной»:

- ▶ В мае того же года, когда закончилась война, Берия пригласил Фадеева к себе в гости на дачу.

«Сначала мы ужинали с ним вдвоем. Низко пущенная люстра над белой скатертью, тонкие вина, лосолина, черная икра. Бесшумно входящие горничные. Только иногда в дверях показывались люди, несшие охрану. Дважды Берию вызвали к телефону в его кабинет, и его помощник, молодой грузинский полковник, подходил и шептал что-то по-грузински на ухо Берии.

Берия был со мной весьма любезен. Мы говорили о литературе. Потом Берия осторожно подошел к вопро-

су, который передо мною поставил еще зимой Сталин, что в Союзе писателей существует гнездо крупных иностранных шпионов. Я понял, о чем идет речь, и сказал:

— Лаврентий Павлович, почему вы выдвигаете такие предположения, внушая их Иосифу Виссарионовичу, в которые я, работая бок о бок с людьми и хорошо зная их, просто не могу поверить.

— Ладно, — отрывисто прервал нашу беседу Берия. — Лучше сыграем в бильярд.

Но в бильярдной комнате, где мы остались совсем вдвоем, я окончательно поругался с Берией. Тут меня прорвало. Я начал говорить, что вообще нельзя так обращаться с писателями, как с ними обращаются в НКВД, что эти вызовы, эти перетряски, эти науськивания друг на друга, эти требования доносов — все это нравственно ломает людей. В таких условиях не может существовать литература, не могут расти писатели. Берия отвечал мне сначала вежливо, а потом тоже резко. В конце концов мы оба повысили голос и поругались.

— Я вижу, товарищ Фадеев, — сказал мне Берия, — что вы просто хотите помешать нашей работе.

— Довольно я видел этих дел. Вы мне их присылаете. Таким образом всех писателей превратите во врагов народа.

Берия разозлился, бросил кий и пошел в столовую за пиджаком, который он там оставил. Я воспользовался этим случаем и через другую дверь вышел на террасу, затем в сад. Часовые видели меня в воротах, поэтому выпустили меня. Я быстрым шагом отправился на Минское шоссе. Прошло минут пятнадцать, как я скорее догадался, а потом услышал и увидел, как меня процупывают длинные усы пущенного вдогонку автомобиля. Я понял, что эта машина сейчас собьет меня, а потом Сталину скажут, что я был пьян, тем более что Берия усиленно подливал мне коньяку. Я улучил мо-

мент, когда дрожащий свет фар оставил меня в тени, бросился направо в кусты, а затем побежал обратно, в сторону дачи Берии и лег на холодную землю за кустами. Через минуту я увидел, как виллис, в котором сидело четверо военных, остановился возле того места, где я был впервые замечен. Они что-то переговаривали между собой — что, я уже не слышал, — и машина, взвывая, поехала дальше. Я понял, что если я отправлюсь в Москву по Барвихинскому, а потом Минскому шоссе, то меня, конечно, заметят и собьют. Поэтому, пройдя вперед еще около километра за кустами, я перебежал дорогу и пошел лесом наугад по направлению к Волоколамскому шоссе. Я вышел на него примерно в том месте, где проходит мост через Москву-реку у Петрова-Дальнего. Пройдя еще полкилометра, я сел в автобус, приехал к себе на московскую квартиру, где официально, так сказать, я был уже в безопасности. Не знаю, сообщили ли Берия Сталину о нашей встрече или нет. Однако в отношении ко мне Сталина усилились те язвительные ноты, которые, впрочем, были у него всегда».

*(К. Зелинский. В июне 1954 года.
Вопросы литературы. 1989,
№ 6. Стр. 173—175).*

С какой мерой точности записал Зелинский этот фадеевский рассказ, решать не берусь. Да и о самом этом его рассказе тоже трудно сказать, в какой мере он отражал реальность, а в какой был окрашен фантазией, продиктованной неизжитым чувством пережитого им страха. Но сама ситуация, конечно, не выдумана.

Что говорить, у Фадеева были все основания опасаться, что теперь, став одним из главных — а может быть, и самым главным — членом правящего триумвирата, Берия захочет, — а если уж захочет, то безусловно сможет, — наконец-то с ним расправиться.

И тем не менее я не могу согласиться с утверждением Бориса Фрезинского, что разгадка той фадеевской фразы («Я думал, что начинается самое страшное») так уж проста.

Да, конечно, он испугался. Но не мести Берии, а совсем другого.

* * *

Тут я должен сделать небольшое лирическое отступление.

Именно лирическое, потому что попытаться выразить, что чувствовали в те дни многие, я могу только одним способом: вспомнив, о чем думал, что чувствовал тогда сам.

Все мои тогдашние чувства, весь мой страх перед надвигающейся на нас неизвестностью выразились в тогда мне еще неизвестных стихах Н. Коржавина:

Его хоронят громко и поспешно
Соратники, на гроб кося глаза,
Как будто может он из тьмы кромешной
Вернуться, вся забрать и наказать.
Холодный траур, стиль речей — высокий.
Он всех давил и не имел друзей...
Я сам не знаю, злым иль добрым роком
Так много лет он был для наших дней.
И лишь народ к нему не посторонний,
Что вместе с ним всё время трудно жил.
Народ в нем революцию хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.
Моя страна! Неужто бестолково
Ушла, пропала вся твоя борьба?
В тяжелом, мутном взгляде Маленкова
Неужто нынче вся твоя судьба?

Особенно точно выражало то, что я тогда чувствовал, последнее четверостишие.

Отвратная бабья морда Маленкова (соратники звали его «Маланья») внушала мне какой-то гадливый ужас. А ведь

именно он был «дофином», который сядет в освободившееся сталинское кресло: в этом ни у кого не было ни малейших сомнений.

7 марта в «Правде» появилась фотография: «Руководители партии и правительства у гроба И.В. Сталина». Ближе всех к гробу — Маленков. За ним — Берия, потом — Ворошилов, Булганин, Каганович, Молотов. А Хрущев и Микоян где-то там, на задворках, во втором ряду. В перечне «соратников», стоящих у гроба, порядок, правда, был другой: Хрущев шел перед Булганиным, Кагановичем и Микояном. Но на первом месте — всё равно Маленков.

А 10 марта в «Правде» появилась фотография, на которой красовались трое: Сталин, Мао Цзэдун и Маленков. Подпись под ней гласила: «Снимок сделан 14 февраля 1950 года во время подписания Советско-Китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи».

Сталин — не в мундире генералиссимуса, а в традиционном своем френче 30-х годов, «сталинке» — слева. Мао Цзэдун — в центре. А справа — Маленков, вполоборота, заложив руку за борт кителя.

Тут уж было ясно, что эта фотография вскорости станет чем-то вроде знаменитой фотки «Ленин и Сталин в Горках», а Маленков, уже занявший к тому времени оба сталинских поста, вскорости будет объявлен еще и любимым учеником Сталина, самым верным продолжателем его дела и — чем черт не шутит, — может быть, даже и новым корифеем науки наук, классиком марксизма-ленинизма.

Мне показалось, что на этой фотографии Маленков выглядит даже как-то внушительнее Сталина. Примерно так же, как в последние годы изображали у нас Сталина с Лениным: Сталин что-то такое там важно вещал, а суетливый Ленин («петушком, петушком») бегал вокруг него и почти-точно, слегка даже заискивая, выслушивал его мудрые со-веты.

Маленков — сам не знаю, почему — внушал мне какое-то физическое отвращение. Но истоки моего страха гнездились глубже.

Природу этого страха я не смогу объяснить лучше, чем это сделал Коржавин в том же своем стихотворении.

Стихи — не бог весть какие, далеко не из лучших из тогдашних стихов этого поэта, — поразили меня совпадением выраженных в нем смутных мыслей и противоречивых чувств с тем, что думал и чувствовал в те траурные дни и я.

Совпадало всё, кроме, пожалуй, одной строки: «Его хоронят громко и поспешно...»

«Я сам не знаю, злым иль добрым роком...»

Эта строка коржавинского стихотворения, казалось бы, должна была вызвать у меня еще большее несогласие, еще более резкий протест. Ведь я же знал, ни на секунду не сомневался, что злым, — конечно же, злым роком ОН был и для страны, и для нас всех, ее жителей.

Но сейчас, когда он умирал (а может быть, уже и умер) и пришла пора подводить итоги всей его жизни, я с чистым сердцем мог бы сказать, что тоже «сам не знаю», злым иль добрым роком был он для нас, для моей страны, для ее истории.

«Народ в нем революцию хоронит...»

Вот это Коржавин точно не выдумал. Во всяком случае, этой своей строкой он выразил то, что тогда чувствовали многие.

Быть может, это чувство, это настроение, эта мысль, несформулированная, но безусловно владевшая тогда многими, была связана с одной странной приметой тех траурных дней. Из всех репродукторов тогда почему-то гремел «Интернационал». Не официальное, отталкивавшее казенной фальшью и стихотворной убогостью «нас вырастил Сталин на верность народу» (что, казалось бы, более соответствовало моменту), а полузабытое, все еще волновавшее: «Вставай, проклятьем заклейменный...»

Эту странность отметил и зафиксировал другой мой сверстник :

Торжественно всплывали к небесам
Над городом огромные портреты.
Всемирный гимн, с тридцатых лет не петый,
Восторгом скорби души сотрясал.

Герман Плисецкий

Быть может, именно под воздействием этих звуков, гремевших в те мартовские дни из всех репродукторов, и родились у Коржавина поразившие меня совпадением с моими собственными чувствами строки:

Народ в нем революцию хоронит,
Хоть, может, он того не заслужил.

В том, что не заслужил, у меня как раз не было, не могло быть ни малейших сомнений. Это ведь не кто иной, как он, прикончил революцию, придушил ее, вытравил даже самую память обо всем, что принесла она с собой: снес обелиск Свободы на Советской площади напротив Моссовета и поставил вместо него Юрия Долгорукого, надел на армию погоны, а советских мальчишек и девчонок нарядил в гимназическую форму, вернув раздельное обучение...

Да, конечно, если бы ОН оказался у власти еще при жизни Ленина, Ленин сидел бы в тюрьме и даже, наверное, был бы расстрелян вместе с Каменевым, Зиновьевым, Бухариным и Рыковым.

Все эти мысли еще при его жизни приходили мне в голову.

Но сейчас, когда он лежал в гробу, а у гроба стояли «сратники», вся эта нечисть — Маленков со своей бабьей харей погромщика, Берия в этом своем жутком, холодно поблескивающем пенсне, — меня одолевали совсем другие мысли, совсем иные — кошмарные — предчувствия.

Что ни говори, а Сталин — как-никак — был революционер, марксист.

Да, конечно, думал я, Сталин сам давным-давно предал марксизм и задушил революцию. Но он все-таки ПОВЯЗАН своим революционным, марксистским прошлым.

А Маланью, Никиту, Лаврентия, — всех этих, стоящих сейчас у его гроба, — их ведь уже ничто не связывает ни с революцией, ни с марксизмом. Что помешает им ступить на тропу уже самого откровенного фашизма?

Если даже у меня, никогда не любившего Сталина, возникали тогда такие мысли, то что же должен был думать и чувствовать в те дни Фадеев, безгранично веривший в Сталина, суеверно и преданно его боготворивший?

Он, я думаю, не сомневался, что ТОЛЬКО СТАЛИН сдерживал ту темную стихию, которую сам же и развязал. ТОЛЬКО ОН мог остановить этот неотвратимо надвигающийся на страну ужас.

С погромным своим докладом о романе Гроссмана и секретной «Запиской» в ЦК КПСС о «проведении антиеврейской чистки в Союзе писателей» Фадеев выступил не потому, что хотел «кинуть кость» ненавидевшему его Берии, а потому, что именно «в холодном, мутном взгляде Маленкова» виделось ему теперь будущее страны, и этот холодный мутный взгляд не сулил ей ничего хорошего.

Говорили, что не кто иной, как именно он, Маленков, приказал вслед за «делом врачей» начать раскрутку «дела Гроссмана»:

- После статьи Бубеннова, чьи положения были автору явно продиктованы, появились другие, еще более сердитые — и страшные. Распространялся достаточно точный слух, что роман вызвал гнев Маленкова, самого приближенного из слуг Сталина.

(С. Липкин. *Жизнь и судьба Василия Гроссмана*.
А. Берзер. *Прощание*. Стр. 31).

По этой ли причине или просто потому, что таковы были давно уже ставшие для него привычными правила игры, но в своем докладе о Гроссмане Фадеев поспешил присягнуть на верность новому вождю, новому руководству партии и государства:

- ▶ XIX съезд партии дал нам развернутую программу работы. XIX съезд партии дал нам много руководящих и замечательных указаний...

В докладе товарища Маленкова эти гигантские перспективы раскрыты полностью. Нам указаны пути, каким образом мы можем осуществлять это...

Товарищу Маленков разработал проблему типичности, сказав, что типичность есть основная сфера приложения партийности в реалистическом искусстве, он показал, как нужно понимать типичное. Остро поставлен вопрос о развитии таких жанров нашей литературы, как сатира, чтобы бичевать все негодное в прошлом.

Очень многие выводы из всей работы XIX съезда наша писательская организация и все литературные силы должны сделать. Мы, конечно, их и делаем повседневно... Эта программа нашей деятельности подтверждена... в речах руководителей нашей партии и правительства, в тех трех речах, которые мы слышали с трибуны на Красной площади, сказанных товарищами Маленковым, Берией, Молотовым.

У нас есть хорошая позитивная программа, которую дал XIX съезд партии. Она подтверждена в речах лучших людей, она подтверждена в речах товарищей Маленкова, Берии, Молотова...

(Там же. Стр. 201—202, 209).

Но не страх, что кто-то из этих «новых вождей» — Берия ли, Маленков ли — захочет теперь с ним расправиться, двигал им, когда он сочинял этот свой доклад и докладную записку в

ЦК о еврейском балласте в Союзе писателей. Не угроза себе, своей карьере и даже своей жизни виделась ему «в холодном, мутном взгляде Маленкова». Другой страх леденил его душу: что будет теперь — не с ним одним, а со страной, со всеми нами — БЕЗ СТАЛИНА.

* * *

Но все как будто обошлось.

Пал Берия. А вслед за ним и Маленков: в 55-м он был уже не Председателем Совета министров, а всего лишь министром электростанций. И Фадеев приободрился. У него даже возникло такое чувство, что вызванные смертью Сталина перемены, глядишь, окажутся даже и к лучшему.

- ▶ «Дышать стало легче», — сказал он мне тихо, но очень выразительно при одной из наших последних встреч. Это же подтвердила и его сестра Таня Фадеева, и почти в тех же словах: «Саша говорил, что теперь всем стало легче дышать».

*(О судьбе Александра Фадеева.
В. Герасимова. Беглые записи. Вопросы
литературы. 1989. № 6. Стр. 129).*

У него даже появились некоторые радикальные, — по тем временам, можно сказать, революционные — идеи.

- ▶ Саша с горечью понимал, что Союз писателей в тогдашнем его виде — удобный плацдарм для литературного карьеризма, что это своего рода бюрократическое учреждение. В период «оттепели», когда стало возможно заявить открыто о том, что надо искать **новые** формы объединения писателей (после смерти И.В. Сталина), он на закрытом партийном собрании Московского отделения Союза писателей (заседание проходило в конференц-зале старого «ростовского

здания») выступил с предложением распустить Союз писателей в его настоящем виде, заменив чем-то вроде творческого клуба. Тем самым аннулировал бы он и свой пост главы Союза (он тогда еще был генсеком!). Боже, какую ярость вызвало это предложение! Бездарные люди, которые уже пристроились к административному пирогу Союза, в первую очередь накинулись на него. Кое-кто просто не понял столь смелого предложения и сопротивлялся по инерции; кое-кто — по врожденному чиновничеству: как же, мол, нарушить узаконенное; кое-кто... просто испугался уйти в «небытие». Саша был буквально оплеван: сидел, краснея шеей и лицом, изредка нервически мигая острым своим и сердитым голубым глазом (у него было это в минуты волнения, в сущности, он был очень нервен, хотя и силен). Кое-кто втайне был с ним согласен — вроде меня, — но не решался выступить открыто. Таких было, конечно, очень мало...

Саша вдруг, не в силах победить «негодование» присяжных ораторов, свойственным ему движением руки молча махнул, как бы безнадежно, досадливо. Это был очень широкий, очень искренний, русско-мужицкий жест. В раздевалке я с грустью и сочувствием исподтишка смотрела, как надевал он свою богатую «боярскую» соболью шапку, «ответственную» шубу, тоже богато-московского боярского типа. На нем и это министерское облачение выглядело, в общем, неплохо. Но какая-то иная одежда — более «романтическая» — шла бы к его удивительной, гордой стройности, ко всему его такому свободному облику.

(Там же. Стр. 122–123).

Готов ли он был на самом деле отказаться от этого своего «министерского облачения»? Не в «облачении», конечно, тут было дело. Готов ли был, подобно королю Лиру, снять с себя

не только знаки своей королевской, царской власти, но и самую власть?

Скорее это был такой тактический ход, цель которого состояла как раз не в том, чтобы отдать, а в том, чтобы сохранить власть.

О том, что Союз писателей надо реформировать, тогда уже говорили не только на закрытых собраниях. Вспыхнувшая по этому поводу дискуссия выплеснулась даже на страницы «Литературной газеты».

23 декабря 1954 года там была напечатана «Реплика товарищу Ажаеву», подписанная В. Кавериним, Э. Казакевичем и С. Щипачевым. Это был ответ на выступления В. Ажаева: «О перестройке и структуре Союза писателей» (ЛГ, 26 октября 1954 г.), «Уважать свой литературный цех» (там же, 11 ноября).

Были и другие — в той же «Литгазете» — выступления на эту тему.

Статьи Ажаева выражали охранительные тенденции. А движение реформаторов (в печати их сразу стали называть «ликвидаторами») шло снизу.

Великий тактик и «мастер власти» В.И. Ленин учил своих соратников, что лучший — в сущности, единственный — способ овладеть движением, идущим снизу, и использовать его в своих целях состоит в том, чтобы его **возглавить**.

Фадеев действовал в точном соответствии с этим главным принципом тактики большевиков.

Но время этой тактики уже ушло. На смену ей давно уже пришла другая, **аппаратная** тактика.

Этой аппаратной тактикой Фадеев в свое время тоже неплохо умел пользоваться. Но и это «его время» тоже уже ушло.

«Схватка бульдогов под ковром», как назвал Черчилль то, что происходило тогда в советском руководстве, шла не только в «высших эшелонах власти». Развернулась она и в

Союзе писателей, «генсеком» которого пока еще оставался Фадеев.

В один прекрасный день А. Сурков, не зря получивший в литературных кругах прозвище Гиена В Сиропе, собрал негласное, словно бы даже неофициальное заседание президиума Правления Союза писателей.

— Я собрал вас, — сказал он, — чтобы потолковать... Заседание без повестки, без плана, потолкуем по душам...

- ▶ ...первым выступил не он, а ближайший в те годы его подручный К. Симонов, затем деревянно тупой, но ловкий в сфере «продвижений» В. Кожевников, затем неглупый, довольно образованный карьерист А. Чаковский и еще нечто подобное... По сути своей Фадеев был им чужд, порой даже опасен. А они были все «свои». В скорбно негодующем тоне говорили, что положение в Союзе невыносимо, что с Фадеевым нельзя работать, что его порок недопустим и губит дело и т.д. и т.п. Сурков с трудом удерживал готовое прорваться удовольствие. За многие, многие годы я так изучила это на первый взгляд простое и якобы «солдатское» лицо...

... при Сталине враги Фадеева опасались идти в прямой поход против него, зная, кем он утвержден на должность генсека...

Свора под водительством Суркова набросилась, когда это стало безопасно...

(Там же. Стр. 118, 129).

Я далек от того, чтобы объявить, что именно это подтолкнуло Фадеева к принятию его страшного решения. Но и это тоже (к этой теме мы еще вернемся) сыграло тут свою далеко не последнюю роль.

* * *

Сразу после его гибели стало известно — хоть и вполголоса, но это тогда достаточно широко обсуждалось, — что он оставил письмо, в котором объяснил, что толкнуло его на самоубийство. Адресовано, правда, это его письмо было не «Всем!», как предсмертное письмо Маяковского: у него был гораздо более узкий и вполне конкретный адрес.

► На столе, тщательно заклеенное, лежало письмо, адресованное в ЦК КПСС.

— Я первый приехал на происшествие, — рассказывал мне потом начальник Одинцовской милиции, — и хотел взять письмо, но полковник из Комитета госбезопасности резким жестом взял его из моих рук. «Это не для вас», — добавил он.

*(К. Зелинский. В июне 1954 года.
Вопросы литературы. 1989, № 6. Стр. 185).*

Те, кому это письмо было адресовано, пришли в ярость от того, что они в нем прочли. Это было видно уже тогда, когда письмо это еще хранилось за семью печатями и текст его был нам недоступен. Видно — по реакции, какая на это его письмо последовала.

В сообщении о его смерти говорилось, что «в течение многих лет он страдал тяжелым прогрессирующим недугом — алкоголизмом» и покончил с собой «в состоянии депрессии, вызванной очередным приступом недуга». То есть в состоянии запоя. Между тем все близкие его, да и не только близкие, знали, что в дни, предшествовавшие его гибели, Фадеев не пил и пустил себе пулю в сердце, находясь в здравом уме и трезвой памяти.

Цель этой государственной лжи прежде всего состояла, конечно, в том, чтобы замазать, замаскировать общественный смысл трагедии, снять вину за случившееся с себя, целиком взвалить ее на алкоголика, который наложил на себя

руки, будто бы сам не ведая, что творил. Но выплеснулись в нем и раздражение, злоба, откровенная месть за то, ЧТО он там высказал им в этом своем предсмертном письме.

Особенно наглядно это проявилось в таком казусе. В одной из газет проскочила более откровенная формулировка: там прямо, уже без всяких околичностей и эвфемизмов говорилось, что Фадеев покончил с собой в состоянии запоя. Текст сообщения, видимо, редактировался и менялся до последней минуты и в конце концов был выбран все-таки вариант, который начальство сочло более приличным. Но за всем ведь не углядишь, и вот — в печать проник и более откровенный, совсем уже непристойный вариант этого тассовского сообщения.

Рассказывали, что возмущенный этим Шолохов будто бы сказал Ворошилову:

— Что же это вы про Сашку такую гадость напечатали? Так небось, когда я отдам концы, и про меня напишете?

И Ворошилов будто бы ответил:

— Знал бы ты, что он нам там понаписал!

Я написал: «будто бы», потому что все это — ходившие тогда слухи, мифы и легенды тогдашнего интеллигентского фольклора.

Поди знай, был ли на самом деле у Шолохова с Ворошиловым такой разговор, или все это плод чьей-то фантазии?

Но реплика, которую молва приписала Ворошилову, не выдумана. Что-то такое, как выяснилось, он действительно произнес.

- ▶ Официально было объявлено: Фадеев застрелился с перепоя.

Могу добавить рассказанное мне лично А. Сурковым.

Клим Ворошилов приехал в Колонный зал Дома союзов, чтобы отдать последний долг покойному. Поставив в почетном карауле, он сказал:

— Мы бы его похоронили на Красной площади, но он оставил такое письмо...

(В. Кирпотин.
Ровесник железного века.
Мемуарная книга. М., 2006. Стр. 653).

Клим, стало быть, не скрыл, что злобное, лживое сообщение ТАСС было прямым их ответом на то, что он там, в этом своем предсмертном письме «им» — или «про них» — понаписал.

Все эти — и другие такие же — слухи еще больше подогревали и без того острый интерес к этому фадеевскому письму. Так хотелось узнать, ЧТО ЖЕ все-таки он ИМ там понаписал?

И вот — уже в другую историческую эпоху — письмо это было опубликовано. И мы, наконец, его прочли.

► В ЦК КПСС

13 мая 1956 г. Переделкино

Не вижу возможности дальше жить, т.к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным руководством партии и теперь уже не может быть поправлено. Лучшие кадры литературы — в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погибли благодаря преступному попустительству власть имущих; лучшие люди литературы умерли в преждевременном возрасте; все остальное, мало-мальски способное создавать истинные ценности, умело, не достигнув 40–50 лет.

Литература — это святая святых — отдана на растерзание бюрократам и самым отсталым элементам народа, и с самых «высоких» трибун — таких, как Московская конференция или XX партсъезд, раздался новый лозунг «Ату ее!». Тот путь, которым собираются «испра-

вить» положение, вызывает возмущение: собрана группа невежд, за исключением немногих честных людей, находящихся в состоянии такой же затравленности и потому не могущих сказать правду, — и выводы, глубоко антиленинские, ибо исходят из бюрократических привычек, сопровождаются угрозой той же «дубинкой».

С каким чувством свободы и открытости мира входило мое поколение в литературу при Ленине, какие силы необъятные были в душе и какие прекрасные произведения мы создавали и еще могли бы создать!

Нас после смерти Ленина низвели до положения мальчишек, уничтожали, идеологически пугали и называли это — «партийностью». И теперь, когда все можно было бы исправить, сказала примитивность, невежественность — при возмутительной дозе самоуверенности — тех, кто должен был бы все это исправить. Литература отдана во власть людей неталантливых, мелких, злопамятных. Единицы тех, кто сохранил в душе священный огонь, находятся в положении париев и — по возрасту своему — скоро умрут. И нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить...

Литература — этот высший плод нового строя — унижена, затравлена, загублена. Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

Жизнь моя как писателя теряет всякий смысл, и я с превеликой радостью как избавление от этого гнусного существования, где на тебя обрушиваются подлость, ложь и клевета, уйду из этой жизни.

(А. Фадеев. *Письма и документы*.
М., 2001. Стр. 215—216.)

Слов нет, «ИМ» было тут на что обидеться и разозлиться. И если бы мы прочли это письмо сразу после его трагической гибели, оно, наверно, произвело бы на нас неизмеримо более сильное впечатление. Но сейчас (впервые оно было опубликовано в газете «Гласность» 20 сентября 1990) оно вызвало скорее разочарование.

Прежде всего оно поражало тем, что это было письмо не крупного человека. А Фадеев, как к нему ни относишься, был — так, во всяком случае, мы привыкли о нем думать, — человек крупный. Да и сама его трагическая гибель была жестом большого, крупного человека.

«Твой выстрел был подобен Этне в предгорье трусов и трусих», — написал Пастернак о самоубийстве Маяковского. О выстреле Фадеева он же высказался иначе:

Культ личности забрызган грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.

И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.

И культ здоровья и мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются из пьянства,
Не в силах этого снести.

На самом деле, как мы теперь уже знаем, Фадеев застрелился не «из пьянства», и выстрел его хоть и не был «подобен Этне», но в том новом «предгорье трусов и трусих», в каком он раздался, прозвучал достаточно громко.

А вот это, ставшее нам наконец известным, собственное его объяснение причин, заставивших его произвести этот вы-

стрел, было каким-то жалким, по правде сказать, даже мелким.

- ▶ Созданный для большого творчества во имя коммунизма, с шестнадцати лет связанный с партией, с рабочими и крестьянами, одаренный Богом талантом незаурядным, я был полон самых высоких мыслей и чувств, какие только может породить жизнь народа, соединенная с прекрасными идеями коммунизма.

Но меня превратили в лошадь ломового извоза, всю жизнь я плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел. И даже сейчас, когда подводишь итог жизни своей, невыносимо вспоминать все то количество окриков, внушений, поучений и просто идеологических пороков, которые обрушились на меня, — кем наш чудесный народ вправе был бы гордиться в силу подлинности и скромности внутренней глубоко коммунистического таланта моего...

Последняя надежда была хоть сказать это людям, которые правят государством, но в течение уже 3 лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять.

(Там же).

Подобно тому, как «они» всю вину за случившееся взвалили на него, так он взваливает ее — на них.

«Меня превратили...»

Но на самом-то деле ОН САМ превратил себя в эту «лошадь ломового извоза». А главное даже не это, а то, что играть роль такой «лошади», изнемогающей «под кладью бездарных, неисчислимых бюрократических дел», ЕМУ НРАВИЛОСЬ. Ни за что на свете не согласился бы он добровольно сбросить с себя эту кладь, отказаться от этой якобы тяготившей его и ненавистной ему роли.

* * *

К портрету Фадеева, который Александр Бек нарисовал в своем романе «Новое назначение», писатель счел нужным — и даже, наверное, важным — добавить такой выразительный штрих:

- ▶ ...писателя пригласил один из секретарей Центрального Комитета партии. Пыжов (напоминаю, что именно под этой фамилией выведен в романе Бека Фадеев. — Б.С.) нередко навещался в ЦК. Месяца три назад он вот так же был вызван к секретарю. Тогда проектировалось некое объединение или своего рода Федерация мастеров литературы и других искусств. Секретарь, между прочим, спросил: «Не откажешься стать там председателем?» Пыжов согласился без жеманства. И даже с воодушевлением. Собеседник усмехнулся: «Любишь властишку-то?» «Грешен, батюшка», — ответил Пыжов. И по своей манере захохотал на высоких, до фистулы, нотах. В дальнейшем Федерация литературы и искусства не состоялась. Вероятно, Сталин охладел к этой идее.

(А. Бек. *Новое назначение*.
М., 1987. Стр. 94).

Этот эпизод можно, конечно, счесть художественным вымыслом. (Хотя Бек, напоминаю, любил повторять, что недостаток воображения он восполняет доскональным знанием материала.) Но есть на этот счет у меня в запасе другая история. Уж точно не вымышленная, подлинная.

Актриса Б. Захарова была подругой А.О. Степановой — жены Фадеева и нередко у них бывала. Однажды она оказалась там, когда Фадеев был болен каким-то тяжелым, изнурительным гриппом. Он метался в жару, градусник показывал больше тридцати девяти. А завтра ему предстояло лететь в Варшаву на какую-то очередную обедню сторонников мира.

— И вы поедете? — с ужасом спросила его Захарова.

— Конечно, поеду, — сказал Фадеев.

И у нее вырвалось:

— Александр Александрович! Ну зачем вам это все надо?

На этот наивный женский вопрос он мог бы, конечно, не отвечать. Но он ответил. Сказал, твердо отчеканивая каждое слово:

— Я люблю власть!

У Николая Асеева есть такие стихи:

Еще за деньги люди держатся,
Как за кресты держались люди
Во времена глухого Керженца.
Но скоро этого не будет.

Еще ко власти люди тянутся,
Не зная меры и цены ей.
Но долго это не останется,
Настанут времена иные.

Когда они настанут — и настанут ли — эти блаженные времена?

Тяга людей к власти неистребима.

В августе—сентябре 1917 года, перебравшись из своего шалаша в Финляндию, где он тоже был на полуполюгальном положении, будущий создатель первого в мире государства рабочих и крестьян сочинял свою знаменитую книгу «Государство и революция», ставшую, как нас учили, выдающимся вкладом в марксистскую теорию. Но автору эта его книга представлялась не абстрактной теорией, а прямым руководством к действию. Еще когда он жил в Разливе, в знаменитом своем шалаше, посетил его там Серго Орджоникидзе. С изумлением и восторгом Серго вспоминал потом, что во время этого краткого визита Ильич уверенно сказал ему, что через несколько месяцев в России будет новое правительство, во главе которого будет стоять он, Владимир Ильич Ульянов. Был, правда, и другой вариант: в записке, адресованной бо-

лее близким своим соратникам, Ленин писал, что если его, как он там выразился, «укокошат», им во что бы то ни стало надлежит сохранить эти его заметки «О государстве» и при первой возможности опубликовать их.

Исходя из всего этого, мы можем с полной уверенностью утверждать, что ленинская книга «Государство и революция» писалась не ради каких-либо пропагандистских или тактических целей. В ней отразились истинные представления Ленина о том, каким будет (во всяком случае, должно быть) государство, которое он собирался создавать. И наиважнейшим, может быть, даже самым важным в этой системе его представлений был пункт, согласно которому **заработная плата самого высокого государственного чиновника не должна превышать среднюю заработную плату рядового рабочего или служащего.**

Когда большевики взяли власть, так вроде оно — на первых порах — и было. И даже не только на первых порах принцип «партмаксимума» (максимального месячного оклада для членов коммунистической партии, занимавших руководящие посты) сохранялся до 1934 года. И «максимум» этот был невысок.

Но ни партмаксимум, ни всякие другие попытки умерить аппетиты людей, тянущихся к власти, как мы знаем, не помогли.

Жизнь показала, что Ленин, при всем своем незаурядном уме, оказался глупее булгаковского Шарикова. Потому что проблема заключалась не в том, какую зарплату будет получать высший, или средний, или даже самый маленький государственный чиновник, а в том, **будет ли он жить со своей секретаршей.**

Булгаковский Шариков (которого я тут вспомнил не для красного словца, а, как говорится, **по делу**), едва только сделали его «заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе М.К.Х.», тотчас же привел в роскошную квартиру Филиппа Филипповича «худенькую, с подрисованными глазами барышню в кремowych чулочках» и объявил:

— Эта наша машинистка, жить со мной будет.

На этом своем посту «заведующего подотделом» Шариков зарплату получал, наверно, никак не больше партмаксимума. И может быть, даже не больше, чем эта вот самая машинисточка. Возникает вопрос: почему же в таком случае эта худенькая барышня с подрисованными глазами так быстро и легко уступила домогательствам Полиграфа Полиграфовича?

Как выразился по несколько иному поводу другой персонаж того же Булгакова, — подумаете, бином Ньютона!

Да потому, что Полиграф Полиграфович был **ее начальник**. А начальник — это начальник. И совершенно неважно, какой у него «оклад жалованья», и носит ли он мундир коллежского регистратора или толстовку «заведующего подотделом очистки». Во все времена, при всех режимах секретарша всегда жила и будет жить со своим начальником, и никакой партмаксимум ее от этого не защитит.

Владимир Ильич был, конечно, человек гениальный. А вот до такой простой вещи не додумался. Шариков же смекнул это мгновенно, из чего следует, что в самих основах жизни он разбирался гораздо лучше Ленина.

Справедливости ради тут надо отметить, что Ленин, конечно, возможность такого поворота событий тоже не исключал. На их языке это называлось опасностью **перерождения**. (Для того, чтобы этой опасности избежать, как раз и вводился партмаксимум.) Но суть дела заключается в том, что никакое это не перерождение, а неизбежное проявление **извечных** свойств человеческой природы: сколько ни старайся установить всеобщее равенство, как его ни провозглашай, какими законами ни защищай, все равно среди равных обнаружатся желающие стать (по слову Оруэлла) **более равные**. И непременно станут.

Среди рукописей Мертвого моря был найден папирус (или пергамент, точно не помню), на котором был записан устав одной из первых общин древних христиан — ессеев. Устав этот гласил: «Общее имущество, общая трапеза и нет рабов». Но там же был найден и другой устав той же общи-

ны, записанный 50 лет спустя. Он гласил: «Общее имущество, общая трапеза, но есть рабы».

Так было, так будет.

Тут можно было бы порассуждать о том, что к власти, как правило, тянутся не лучшие представители рода человеческого. Хотя — случалось по-всякому. Потому что сладка эта отравка!

К этой вечной теме я уже не раз возвращался на этих страницах. Но сейчас я вновь затеял этот разговор, чтобы сказать о другом.

Об органической несовместимости власти и искусства.

Человек власти не может быть художником. Так же как художник не может быть человеком власти. Если же художник — волею обстоятельств или силой собственного влечения — становится человеком власти, он **перестает быть художником**.

Происходит это потому, что художник с неполноценной, искаленной, изуродованной, растленной душой не может оставаться художником. А власть — всякая власть! — искажает, уродует, калечит, растлеивает душу человека.

Борис Слуцкий откликнулся на смерть Фадеева таким стихотворением:

Отвоевался, отшутился,
отпраздновал, отговорил.
В короткий некролог вместился
весь список дел, что он творил.

Любил рубашки голубые,
застольный треп и славы дым,
и женщины почти любые
напропалую шли за ним.

Напропалую, наудачу,
навылет жил, орлом и львом,
но ставил равные задачи
себе — с Толстым, при этом — с Львом.

Был солнцем маленькой планеты,
где все не пашут и не жнут,
где все — прозаики, поэты
и критики — бумагу мнут.

Хитро, толково, мудро правил,
судил, рядил, карал, марал
и в чем-то Сталину был равен,
хмельного флота адмирал...

Тут я споткнулся.

Не только в нашем Отечестве, но, наверно, на всей планете не было человека, который объемом и безграничностью обладаемой им власти мог бы сравниться со Сталиным...

Но — дочитаем стихотворение до конца:

Хмельного войска полководец,
в колхозе пьяном — бригадир.
И клял и чтил его народец,
которым он руководил.

Но право живота и смерти
выходит боком нам порой...

Вот, стало быть, в чем он «Сталину был равен». Не в «праве живота и смерти», которым они — в разной, конечно, мере — оба обладали, а в том, что это право им обоим «вышло боком».

Хрущев рассказывает в своих мемуарах, как шли они однажды со Сталиным вдвоем, и он увидел, что у Хозяина завязался шнурок на ботинке. Он наклонился, чтобы завязать его. Сталин в страхе отшатнулся. А очнувшись, придя в себя, пробормотал:

— Конченный я человек, никому не верю.

Не верил врачам, которые его лечили, — приказал их арестовать, а против фамилии главного своего лечащего врача Виноградова начертал: «В кандалы!» — потому что тот посоветовал ему на какое-то время не перегружать себя государ-

ственными делами, а он решил, что профессор в заговоре с теми, кто хочет отстранить его от власти.

Лечился сам, собственными, домашними, им самим придуманными средствами: капал раствор йода на кусочек сахара. А за йодом посылал в местную аптеку: Кремлевской он не доверял, боялся, что его отравят.

И подох, как собака. Обмочившись, чуть ли не сутки лежал на полу без врачебной помощи, которую соратники не спешили ему оказать.

Все это было платой за ту необъятную, безграничную власть, какой он обладал.

Не зная всех этих подробностей (они выплыли на свет позже), Коржавин в своем стихотворении, написанном на его смерть, кое-что все-таки угадал, выразив это «кое-что» одной строчкой: «Он всех давил и не имел друзей...»

Эту — не слишком выразительную, но пронизательную сентенцию с не меньшим основанием можно отнести и к Фадееву.

В начале 30-х он близко сошелся и подружился с Владимиром Луговским. Это была настоящая мужская, можно даже сказать мальчишеская дружба, пылкая и нежная, о чем мы можем судить по недавно опубликованным отрывкам из их писем друг другу. Да и не только по письмам. В записной книжке Фадеева сохранилась, например, такая запись о Луговском, относящаяся уже к чуть более поздним временам, к середине 30-х:

- ▶ Сильный красивый мужчина с седыми висками и могучими дикими бровями... Подходя к дому... он насвистывал какую-то солдатскую песенку в переулке... Он был полон счастья... Мы пили кофе и бежали на Москву-реку. Она еще — Москва-река — не была в границе. Мы плавали, как тюлени, ныряли, топили друг друга, смеялись до головной боли...

(РГАЛИ. Ф. 1626. Оп. 2. Ед. хр. 908.

Цит. по кн.: Н. Громова. Узел.

Поэты: дружбы и разрывы. М., 2006. Стр. 162).

А вот отрывок из его письма Луговскому, написанного несколькими годами ранее, то есть в то самое время, когда они «плавали, как тюлени, ныряли, топили друг друга, смеялись...», и их дружба еще не была омрачена ни одной, даже самой пустяковой размолвкой.

- ▶ Милый старик! Я очнулся сегодня от вчерашней пьянки, очнулся в залитой солнцем комнате и долго лежал, глядя в потолок — одинокий и грустный, но с большой ясностью в мыслях. И с каким-то особым хорошим чувством подумал о тебе, — о том, что ты существуешь на свете и что ты — мой друг. Мне было приятно и радостно подумать, что за все время, в течение которого мы идем, плечо к плечу... я ни разу не сказал за глаза нехорошего слова о тебе (то, что я написал в письме Маре, было не личной, а политической оценкой в определенной ситуации и не было там ничего морально порочащего тебя)... Ты стал очень необходим мне, милый старый медвежатник, и я рад наедине со своей совестью сказать тебе эти наивные, но правдивые и большие слова. Крепко жму твою руку. Саша.

(Семейный архив Луговского. Стр. 161).

Из этого, пока еще даже почти не осознаваемого им противоречия между изливанием дружеских чувств и «политической оценкой», как колос из зерна, выросли все будущие фадеевские «сшибки», все многочисленные его предательства тех, кого еще недавно он числил своими друзьями. Тут уж и ему самому стало до боли ясно, что у «человека власти», каким он теперь был (или «человека политики», что, в сущности, одно и то же), **друзей быть не может.**

Абрам Гурвич, который в печально знаменитой статье «Об одной антипатриотической группе театральных критиков» был назван «злоствующим ничтожеством», тоже принадлежал к числу его друзей. После появления в «Правде» этой статьи он, естественно, был выброшен из жизни, и

Фадеев, испытывая по этому поводу если и не муки совести, то, во всяком случае, некоторый моральный дискомфорт, позвонил их общему другу Александру Мацкину:

- ...после нескольких общих фраз спросил:
- Как живет Абраша?
 - Плохо живет, – ответил Мацкин. – У него описали и вывезли мебель, оставили только книги, письменный стол и супружескую кровать.
 - Как вывезли?
 - По суду. Издательство подало в суд, и вывезли.
 - Он, наверное, без денег?..
- Мацкин промолчал. Станный вопрос, странная забота о «злобствующем ничтожестве».
- Я хотел бы дать ему денег. Скажи Абраше.
 - Позвони ему сам, это деликатное дело, – уклонился Мацкин. Они с войны перешли на «ты», с Гурвичем Фадеев тоже давно был близок.
 - Я тебя прошу: сделай это для меня.
- Мацкин уступил и позвонил на Красную Пресню. Трубку взяла Ляля Левыкина, жена.
- Даже не передам Абраше, – оборвала она разговор. – А Александру Александровичу скажи, что, если появится, я его спущу с лестницы.

*(А. Борицаговский.
Записки баловня судьбы.
М., 1991. Стр. 84).*

Но Фадеев не оставлял попыток помочь бывшему другу вылезть из той ямы, в которую он сам же его и столкнул.

Два года спустя Гурвич написал большую статью «Сила положительного примера». (О романе В. Ажаева «Далеко от Москвы».) И Фадеев сделал все, что от него зависело (а зависело от него много), чтобы эту статью (вполне ортодоксальную, конечно, и даже сервильную) напечатать. Она была напеча-

на в «Новом мире» (1951, № 9). Какие-то «доброжелатели» подсунули номер журнала с этой статьей Сталину. И тотчас же (28 октября 1951 г.) появилась большая редакционная статья — «Против рецидивов антипатриотических взглядов в литературной критике».

Как полагалось тогда в подобных случаях, мгновенно начался процесс бурных истерических покаяний:

- ▶ Обсудив редакционную статью газеты «Правда» от 28 октября 1951 года «Против рецидивов антипатриотических взглядов в литературной критике», редколлегия журнала «Новый мир» полностью признает справедливость той критики, которой «Правда» подвергла статью А. Гурвича «Сила положительного примера». Опубликование статьи А. Гурвича в «Новом мире» редколлегия считает своей серьезной идейной ошибкой, свидетельствующей о том, что в журнале еще не изжито либеральное отношение к попыткам протащить в литературную критику идейно чуждые, порочные взгляды. Работники журнала «Новый мир» не сумели разглядеть антипатриотический смысл статьи А. Гурвича, его порочную оценку истории русской классической и советской литературы и проповедь чуждых марксизму-ленинизму эстетических воззрений.

Опубликование статьи А. Гурвича на страницах журнала «Новый мир» оказалось возможным вследствие притупления бдительности редколлегии...

Редколлегия считает совершенно ненормальным такое положение, когда ряд ее членов (М.С. Бубеннов, К.А. Федин и М.А. Шолохов) фактически самоустранился от участия в работе журнала, тем самым сведя на нет значение редколлегии как органа коллективного руководства журналом.

Редколлегия журнала «Новый мир» просит секретариат ССП принять меры к устранению этого ненормального положения.

(Цит. по кн.: Н. Громова. Распад. Судьба советского критика: 40–50-е годы. М., 2009, Стр. 335–336).

Прошло еще два года, и дело это потихоньку стало забываться, можно даже сказать, совсем забылось, заслоненное другими, гораздо более громкими делами и событиями.

Но Фадеев – в том же докладе, в котором он громил Гроссмана, счел нужным вспомнить и про своего бывшего друга Гурвича:

- ▶ Как известно, в журнале «Новый мир» была напечатана порочная статья Гурвича. В напечатании этой статьи, разумеется, огромную часть ответственности несут и я, и отчасти Сурков вместе с редакцией журнала. Но это не снижает того, что редакция отвечает за эту ошибку.

(А. Берзер. Прощание. В кн.: С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. М., 1990. Стр. 197–198).

Напоминаю: доклад этот был им произнесен 24 марта 1953 года. То есть – через три недели после смерти Сталина. Уже и тема Гроссмана была тогда неактуальна, а про Гурвича и говорить нечего.

Что же это было? Страх? Сила инерции? Партийная дисциплина?

Да, и это все, конечно, тоже. Но главной побудительной причиной этого очередного (а сколько их уже было!) его предательства был ИНСТИНКТ ВЛАСТИ. Не только сознание бессовестности этого его поступка убил в нем этот инстинкт (подумаешь, какие нежности!), но даже простую мысль, что

этот новый — уже ненужный! — удар может обрушить на голову его бывшего друга лавину новых бед и страданий.

Мысль, что у ЧЕЛОВЕКА ВЛАСТИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДРУЗЕЙ, самому Фадееву тоже в голову приходила. Мало того!. Однажды он даже попытался подвести под нее некую философскую базу, объявив, что это отнюдь не признак какой-то там человеческой ущербности, а, совсем напротив, своего рода привилегия, дарованная особо избранным, возвышенным натурам.

- ▶ Фадеев читал мне «Молодую гвардию» главу за главой. Прочел он однажды и то место в сороковой главе, где рассказывается об Уле Громовой так: «Только теперь стало видно, какой огромный моральный авторитет среди подруг и товарищей был накоплен этой девушкой еще с той поры, когда, равная среди равных, она училась со всеми и ходила в степь... Уля не имела теперь подруг, особенно приближенных к ней, она была равно внимательна и добра и требовательна ко всем, но достаточно было девушкам видеть ее и обменяться с ней двумя-тремя словами, чтобы почувствовать, что это в Уле не от скупости душевной, а за этим стоит огромный мир чувств и размышлений, разных оценок людей, разных отношений к ним, и этот мир может проявить себя с неожиданной силой, особенно если заслужишь ее моральное осуждение. Со стороны таких натур даже ровное отношение воспринимается как награда, — что же сказать, если они хоть на мгновение приоткроют свое сердце!»

— Ты что же, о себе так написал? — сказал я, прослушав эту страницу, чуть насмешливо. Но Фадеев не обиделся.

— Я теперь не начальник. Теперь в Союзе начальники Тихонов и Поликарпов. Но был человек, к которому я приглядывался много лет, у которого даже ровное

отношение воспринималось как награда, а осуждение или ирония казались обвалом снега в горах.

— Ты о ком?

— О ком? О ком? Ты сам знаешь, о ком.

Да, я понимал, какие наблюдения и смысл вложил Фадеев в подтекст этой фразы, адресованной девушке, которая вдруг перестала иметь подруг, особенно «приближенных к ней». В отношении героини «Молодой гвардии» это показалось мне не очень-то реальным и близким к действительности, и я сказал об этом Фадееву.

— Ну что же, — ответил Фадеев, — пусть поймут те, кому надо понять...

*(К. Зелинский. В июне 1954 года.
Вопросы литературы. 1989, № 6. Стр. 158).*

Насчет того, О КОМ это, не может быть сомнений. Конечно, о Сталине.

Но и о себе тоже.

► Панферов передавал слова Сталина, сказанные ему, редактору журнала, в качестве совета:

— Не привязывайтесь душой к человеку.

Нет сомнения, что нечто подобное Сталин говорил и Фадееву.

*(В. Кирпотин. Ровесник железного века.
Мемуарная книга. 2006. Стр. 642).*

Говорил, надо полагать, не однажды. И Фадеев этот сталинский урок хорошо усвоил.

* * *

ЧЕЛОВЕКОМ ВЛАСТИ Фадеев стал очень рано. Руководить привык смолоду и дело это любил.

Когда в 1934-м создавался Союз писателей СССР, он

претендовал на роль одного из главных его руководителей. И очень старался, чтобы его от этой роли не оттеснили.

А такие попытки делались.

► ИЗ ПИСЬМА А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ

2 августа 1934 г.

Состав правления Союза намечается из лиц, указанных в статье Юдина, тоже прилагаемой мною. Се-
рафимович, Бахметьев да и Гладков — на мой взгляд — «отработанный пар», люди интеллектуально дряхлые. Двое последних относятся к Фадееву враждебно, а он, остановясь в своем развитии, видимо, переживает это как драму, что, впрочем, не мешает его стремлению играть роль литературного вождя, хотя для него и литературы было бы лучше, чтобы он учился.

Но Сталин с этим суждением Буревестника не посчитался, и тот пришел по этому поводу в такую ярость, что даже брякнул на стол заявление об отставке.

► ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО В ЦК ВКП(Б)

30 августа — 1 сентября 1934 г.

Уважаемые товарищи,

съезд литераторов Союза Советских Социалистических республик обнаружил почти единодушное сознание литераторами необходимости повысить качество их работы и — тем самым — признал необходимость повышения профессиональной технической квалификации.

Писатели, которые не умеют или не желают учиться, но привыкли играть роли администраторов и стремятся укрепить за собою командующие посты — остались в незначительном меньшинстве. Они — партийцы, но их выступления на съезде были идеологически тусклы и обнаружили их профессиональную малограмотность. Эта малограмотность позволяет им не только

не понимать необходимость повышения [качества] их продукции, но настраивает их против признания этой необходимости, — как это видно из речей Панферова, Ермилова, Фадеева, Ставского и двух, трех других.

Однако т. Жданов сообщил мне, что эти люди будут введены в состав Правления Союза как его члены. Таким образом, люди малограмотные будут руководить людьми значительно более грамотными, чем они... Поэтому работать с ними я отказываюсь, ибо дорожку моим временем и не считаю себя вправе тратить его на борьбу против пустяковых «склок», которые неизбежно и немедленно возникнут...

Это обстоятельство еще более отягчает и осложняет мое положение и еще более настойчиво понуждает меня просить вас, тт., освободить меня от обязанности председателя Правления Союза литераторов.

Горький в то время Сталину был еще нужен, и с мнением его он вынужден был считаться. Чтобы угодить ему, даже ввел в руководящие органы будущего Союза писателей одного из главных своих врагов — Каменева. По его настоянию оставил там Авербаха.

Но Фадеева он и тут ему не отдал. Чем-то, видать, этот молодой «литературный вождь» ему полюбился.

- ▶ Проявил Сталин свой ум и в выборе на пост главы Союза писателей такого человека, как Фадеев. Где-то увидав, услышав его, Иосиф Виссарионович сказал: «Зачем вы прятали от меня Фадеева?» Нужна была фигура человека признанного, одаренного, умного, рожденно-го в боях революции, коммуниста вполне бескорыстного, готового не за страх, а за совесть выполнять то, что ему казалось высшим велением партии.

*(О судьбе Александра Фадеева.
В. Герасимова. Беглые записи. Вопросы
литературы. 1989. № 6. Стр. 144).*

Сталин, конечно, «положил глаз» на Фадеева и приблизил его к себе не по этим мотивам. У него были на этот счет совсем другие соображения

Так или иначе, но на протяжении тридцати лет — при всех поворотах истории, коих тогда было немало, — Фадеев неизменно оставался — сперва одним из главных, а потом и самым главным советским «литвождем».

Когда Фадеев был уже не «одним из», а главным руководителем Союза писателей СССР, на него время от времени поступали разного рода доносы. И основания для недовольства Фадеевым и самого сурового его наказания у Сталина в таких случаях были весьма серьезные.

- ▶ По поручению Секретариата ЦК ВКП(б) Комиссия Партийного Контроля рассмотрела дело о секретаре Союза советских писателей и члене ЦК ВКП(б) т. Фадееве А.А. и установила, что т. Фадеев А.А., приехав из командировки с фронта, получив поручение от Информбюро, не выполнил его и в течение семи дней пьянствовал, не выходя на работу, скрывая свое местонахождение. При выяснении установлено, что попойка происходила на квартире артистки Булгаковой. Как оказалось, это не единственный факт, когда т. Фадеев по несколько дней подряд пьянствовал. Аналогичный факт имел место в конце июля текущего года. Факты о попойках т. Фадеева широко известны писательской среде.

Но Сталин и тут не давал его в обиду, ограничиваясь все той же мягкой журьбой с примесью вообще-то не очень ему свойственного доброжелательного юмора.

Однажды Фадеев вдруг срочно зачем-то ему понадобился. Вождю с трепетом доложили, нигде не могут его найти.

Когда он наконец отыскался, Сталин спросил:

— А где это вы пропадали, товарищ Фадеев?

Понимая, что правду все равно не утаить, Фадеев признался:

— Был в запое, товарищ Сталин.

— И сколько дней длится у вас обычно такой запой? — любопытствовал вождь.

— Дней десять-двенадцать, — честно ответил Фадеев.

— А вы не могли бы, — сказал Сталин, — как коммунист проводить это мероприятие в более сжатые сроки? Стараясь уложиться, скажем, дня в три-четыре?

Да, Фадеев безоглядно верил Сталину, был по-собачьи ему предан.

Но разве в этой своей собачьей преданности вождю он был одинок? Мало, что ли, в окружении Сталина было людей, которые так же безоглядно верили ему, так же благоговейно принимали как руководство к действию каждое его слово? Но всех их он время от времени смецал, перемещал, отстранял, а кое-кого даже и расстреливал.

Фадеева за тридцать лет он отстранил только однажды, заменив его на посту руководителя Союза писателей Тихоновым. Но пауза эта длилась недолго. Спустя всего два года Фадеев был возвращен на прежнюю свою должность. И даже как будто с повышением: он назывался теперь не просто секретарем, но — **Генеральным**, — то есть назначен был в Союзе писателей на ту же должность, какую в партии занимал сам Сталин. (Тихонов, когда случилось ему возглавить писательский Союз, именовался председателем правления.)

Да, похоже, что к Фадееву Сталин относился как-то по-особенному. И похоже, что было это не только прихотью, не просто одной из причуд его деспотического характера.

По-особенному относился и Фадеев к Сталину.

Но в последнем, предсмертном своем письме ни словом этого своего особого отношения не выразил. Сталина в нем упомянул только мимоходом, вскользь:

- ▶ Самодовольство нуворищей от великого ленинского учения... привело к полному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, а эти — невежды.

Неужели, сводя последние свои счета с жизнью, ему больше нечего было сказать о человеке, сыгравшем такую гигантскую и зловещую роль в его судьбе?

* * *

В этом своем предсмертном письме он, как мы помним, жаловался на то, что его превратили в чиновника, который «всю жизнь плелся под кладью бездарных, неоправданных, могущих быть выполненными любым человеком, неисчислимых бюрократических дел».

Но — ни слова о том, что его превратили **в палача**.

- ▶ Во время юбилея Низами я оказался в одной машине с Фадеевым и Тихоновым. В колхозе зарезали барана. По восточному обычаю барана резали у ног Фадеева, главного гостя. У барана выкатились печальные глаза. Фадеев наклонился и внимательно следил за происходящим.

Я сказал:

— Гляди, он смотрит!

— Подумаешь, если надо, я кого угодно зарезу, — сказал Фадеев.

Шутка прозвучала мрачно. На самом деле резал, конечно, Сталин, а Фадеев должен был держать «баранов» за горло. Вождь был коварен. Он требовал, чтобы каждый ордер на арест был подкреплён визой или даже характеристикой руководителя учреждения.

Медлить или задумываться было нельзя. Надо было отдавать чужую голову или класть свою. При-

ходилось отрекаться и выдавать на заклание давних друзей и закадычных приятелей... И все это стало пахнуть кровью.

(В. Кирпотин. Ровесник железного века. Мемуарная книга. М., 2006. Стр. 638).

Предполагалось, что эти люди, которых он «отдавал на заклание», канули в бездну навсегда. Но после смерти Сталина некоторые из них — те, что уцелели, — стали возвращаться. И встречаться с ними ему было непросто.

- ▶ Анна Берзинь, в 1937 году попавшая в концлагерь, по возвращении в 1953 году прямо и открыто всюду заявляла: «Всех нас посадил Сашка!» Мне передавали, что, когда Саша увидел ее в клубе Союза писателей и дружески, как к пострадавшей, подошел к ней, Берзинь демонстративно не подала ему руки.

(О судьбе Александра Фадеева. В. Герасимова. Беглые записи. Вопросы литературы. 1989, № 6. Стр. 126).

Таких встреч тогда у него было много. И не все они кончались так мирно. Некоторые из вернувшихся с того света бывших его друзей и приятелей при встрече с ним вели себя агрессивнее.

Что он при этом думал? Что чувствовал? Мучился угрызениями совести? Или продолжал верить, что, как говорил Сталин (передавали такое его высказывание), «история нас оправдает»?

Никаких прямых его высказываний на эту тему — ни покаяний, ни попыток оправдаться, — я не нашел. Но сохранился один довольно-таки красноречивый документ, по которому мы можем судить о том, что творилось тогда у него на душе.

* * *

13 декабря 1941 года Фадеев направил секретарям ЦК ВКП(б) Сталину, Андрееву и Щербакову «Докладную записку об эвакуации писателей из Москвы».

Поводом для сочинения этой «Докладной записки» стали, как он там пишет, распространившиеся среди литераторов сплетни, будто он, Фадеев, «самовольно оставил Москву, чуть ли не бросив писателей на произвол судьбы».

► Ввиду того, что эту сплетню находят нужным поддерживать некоторые видные люди, довожу до сведения ЦК следующее:

1. Днем 15 октября я получил из Секретариата тов. Лозовского директиву явиться с вещами в Информбюро для того, чтобы выехать из Москвы вместе с Информбюро...

Я не мог выехать с Информбюро, так как не все писатели по списку, составленному в Управлении агитации и пропаганды ЦК, были мною погружены в эшелон, и я дал персональное обязательство тов. Микояну и тов. Швернику выехать только после того, как получу указание Комиссии по эвакуации через тов. Косыгина.

Мне от имени тов. Щербакова разрешено было задержаться насколько необходимо.

Я выехал под утро 16 октября после того, как отправил всех писателей, которые мне были поручены, и получил указание выехать от Комиссии по эвакуации через тов. Косыгина...

2. Я имел персональную директиву от ЦК (тов. Александров) и Комиссии по эвакуации (тов. Шверник, тов. Микоян, тов. Косыгин) вывезти писателей, имеющих какую-нибудь литературную ценность, вывезти под личную ответственность.

Список этих писателей был составлен тов. Еголиным (работник ЦК) совместно со мной и утвержден

тов. Александровым. Он был достаточно широк — 120 человек, а вместе с членами семей некоторых из них — около 200 человек...

Все писатели и их семьи не только по этому списку, а со значительным превышением (271 человек) были лично мною посажены в поезда и отправлены из Москвы в течение 14 и 15 октября...

За 14 и 15 октября и в ночь с 15 на 16 организованным и неорганизованным путем выехала примерно половина этих людей. Остальная половина (из них по списку 186 членов и кандидатов Союза) была захвачена паникой 16 и 17 октября. Как известно, большинство из них выехали из Москвы в последующие дни.

3. Перед отъездом мною были даны необходимые распоряжения моему заместителю (тов. Кирпотину), секретарю «Литгазеты» (тов. Горелику) и заместителю моему по Иностранной комиссии (тов. Аплетину)...

Кирпотин моих распоряжений не выполнил и уехал один, не заглянув в Союз. Это, конечно, усугубило паническое настроение оставшихся. Остальные работники свои обязательства выполнили.

Сказанное тут о Кирпотине было злой неправдой.

► Фадеев сидел дома напряженный, как струна, ждал, когда за ним приедут. Сам позвонить Щербакову не решался. Мне он сказал по телефону:

— Позвони Щербакову, назовись моим именем, и он возьмет трубку.

Я позвонил секретарю ЦК, члену Политбюро. Мне сказали:

— Его нет...

Я сказал Фадееву:

— Щербакова нет.

Он воскликнул:

— Значит, он уехал!

Из этих слов я понял: он узнал, что хотел узнать.

— Не ехать — это измена, — добавил Фадеев. — Восстанови вагоны, которые были выделены писателям для эвакуации.

И я, не имея власти, связи, пробивался на фантастически перегруженном Казанском вокзале через груды тел к каким-то дежурным. Звонил по автомату Кагановичу, толкался, лез, наивно и самоотверженно выполняя невыполнимое поручение, которое должен был выполнить сам Фадеев со своей вертушкой, со своим положением члена ЦК. Моя бессильная и, скажу, самоотверженная энергия, вся моя вокзальная деятельность были бы похожи на водевиль, если бы ночь не была так трагична. По недоразумению я был у всех на виду, был видимостью начальника. Ссылаться на Фадеева, задевать Фадеева было рискованно. А он со своим собственным ему в иные минуты цинизмом сделал меня потом козлом отпущения...

В такой день, вернее, в такую ночь все, что я делал, воспринималось как бред. Но чья-то приказующая рука действовала помимо меня. Уже на рассвете радио вдруг оповестило — посадка писателей в вагон там-то и там-то. Совершенно обессиленный, притащился я на указанное место, полагая, что продолжаю выполнять данное мне поручение об эвакуации писателей. Пришли человек десять... Подали вагон дачной электрички. Не к платформе, а просто на внестанционный путь. Вагон стоял на рельсах, приподнятых насыпью. Первая ступенька очень высоко...

Комовская вспомнила, как я во время эвакуации писателей последним садился на последнюю электричку...

Я висел порядочно на ступеньках движущегося вагона. Москва все быстрее уносилась назад, таяла в

утренних сумерках. А внутри вагона было относительно свободно и холодно...

Фадеев уехал нормально, со всеми удобствами. Он знал, что я могу биться на вокзале головой об стену и ничего не добьюсь. Впоследствии он сказал Зелинскому, своему биографу:

— Я сделал Кирпотина козлом отпущения.

(В. Кирпотин.

Ровесник железного века.

Мемуарная книга.

М., 2006. Стр. 457–459).

О том, что заставило Фадеева сделать его «козлом отпущения», Кирпотин узнал пятнадцать лет спустя вот из этого документа:

► А. ФАДЕЕВ – Д. ШЕПИЛОВУ

24 апреля 1956 г.

В ЦК КПСС
СЕКРЕТНО

Уважаемый Дмитрий Трофимович!

В связи с исправлением некоторых последствий культа личности хочу обратить Ваше внимание на то, что в области художественной литературы наличествуют кадры, давно уже нигде не используемые, являющиеся между тем хорошими партийными кадрами, по отношению к которым долгое время существовало предвзятое отношение...

В этом письме я хочу, в частности, исправить долготлетнюю несправедливость в отношении к талантливому и образованному критику-литературоведу, старому члену партии т. В.Я. Кирпотину...

Считаю своим долгом исправить, в частности, вопиющую несправедливость, допущенную по отношению к Кирпотину после эвакуации Союза писателей из Москвы в октябре 1941 года, когда меня фактически вынудили «проработать» Кирпотина как якобы самовольно уехавшего из Москвы в то время, как он уехал не только с моего разрешения, по моему указанию, но что мне в то время дано было полное право.

В первые же дни пребывания Союза писателей в Казани работники НКВД Татарской АССР в беседах со мной, по непонятным для меня причинам, стали характеризовать Кирпотина, как «самовольно уехавшего» из Москвы. На мои решительные возражения мне ответили, что он «не имел права уехать» и что мне будто бы не все известно, хотя именно мне было дано определять очередность выездов работников ССП из Москвы.

В те же дни работники Совинформбюро, находившиеся в Куйбышеве, передали мне по телефону мнение т. Щербакова о том, что мне следовало бы написать записку в ЦК о ходе эвакуации Союза писателей и «проработать» Кирпотина «за самовольный выезд» из Москвы. Я с этим не согласился и связался по телефону с т. Щербаковым, который был в это время в Москве, и т. Щербаков, — в чем я не могу его винить, ибо он, очевидно, доверился ложной информации, — обвинил меня в «попустительстве» к Кирпотину, в «либерализме», выдвигая по существу тот же довод.

Надо сказать, что это внесло тогда сомнения в мои представления о Кирпотине, я подумал, что, может быть, я действительно «чего-то не знаю».

Когда в декабре 1941 года я вернулся в Москву, я вновь изложил т. Щербакову существо дела, но вызвал этим сильный гнев с его стороны. Тезисы моего высту-

пления на расширенном Президиуме Союза писателей т. Щербаков просматривал лично и лица, проявившие якобы «паникерские» настроения, несколько раз взвешивались им лично, — однако Кирпотин сразу же был, так сказать, «без сомнений». Так был, по существу, дискредитирован хороший, дисциплинированный партийный работник и литератор, абсолютно не повинный в том, что ему приписывалось.

Я так долго занял Ваше время вопросом о т. Кирпотине потому, что хочу снять все несправедливые обвинения, когда-либо нагромождавшиеся на него. И мне хотелось бы, чтобы это письмо было известно ЦК и сохранилось в архивах ЦК.

(Там же. Стр. 622—625).

Не знаю, сохранилось ли это письмо в архивах ЦК КПСС, но в архиве В.Я. Кирпотина оно сохранилось.

А попало оно туда так.

Написав и отправив секретарю ЦК это письмо и поставив на нем, в соответствии с принятыми у них тогда правилами, гриф «СЕКРЕТНО», Фадеев считал нужным, пренебрегая этой секретностью, копию его переслать Кирпотину. Что он и сделал, сопроводив ее такой запиской:

► А. ФАДЕЕВ — В. КИРПОТИНУ

24 апреля 1956 г.

Уважаемый Валерий Яковлевич!

Посылаю тебе копию письма, направленного мной в ЦК КПСС т. Шепилову, а в копиях — тт. Поликарпову, Рюрикову, Суркову.

По излагаемым обстоятельствам и упоминаемым лицам письмо это носит секретный характер. Однако при любом первом публичном выступлении я считаю

своим долгом тоже сказать об этом — без некоторых фамилий и подробностей.

Если в тех или иных партийных инстанциях тебе понадобится бы сослаться на это письмо и показать его, я, разумеется, не имею никаких возражений.

С приветом — А. Фадеев.

(Там же. Стр. 621—622).

Кирпотин ответил на это растроганным многостраничным письмом. Не имея возможности привести его тут целиком (да в этом и нет особой нужды), ограничусь тем, что процитирую лишь начальный и заключительный его абзацы:

► В. КИРПОТИН — А. ФАДЕЕВУ

29 апреля 1956 г.

Уважаемый Александр Александрович!

Твое письмо к секретарю ЦК КПСС Д. Шепилову (копию которого ты мне прислал) явилось для меня совершенной неожиданностью, вроде летнего дождя в морозный день, уже по одному тому, что я, должен признаться, считал тебя инициатором некоторых из непонятных и бесполезных для дела шагов против меня.

Не скрою, письмо взволновало меня. Я в самом деле чувствовал себя плохо, окруженный высказанными и еще больше не высказанными в лицо подозрениями и обвинениями, причем за спиной говорилось, вероятно, уже все что угодно, без контроля со стороны смысла и разума, а как же можно было реагировать на заспинные разговоры?

Я очень ценю твое письмо. Практических последствий оно, думаю, не вызовет. Я остановился на том, что касается меня лично. Но я понимаю и общее, общественное, партийное значение письма. Оно продикто-

вано духом XX съезда. Оно — тоже мера оздоровления в нашей среде...

Желаю тебе здоровья!

Привет. В. Кирпотин.

(Там же. Стр. 625—634).

Сам Фадеев тоже, конечно, понимал, что никаких практических последствий это его письмо иметь не будет. Да и не рассчитывал он тут ни на какие практические последствия. Просто хотел, сводя последние счета с жизнью, снять с души хоть этот свой грех.

Понял ли это Кирпотин?

В момент получения письма, может быть, и не понял. Но три недели спустя, когда пришла весть о самоубийстве Фадеева, это уже нельзя было не понять.

Ну, а сейчас, сопоставляя даты (письмо Шепилову и записка Кирпотину помечены 24 апреля, а застрелился он 13 мая), совсем по-иному понимаешь его разрешение Кирпотину, если тому понадобится, показывать это его СЕКРЕТНОЕ письмо в любых партийных инстанциях. В этом пренебрежении к «партийной этике» уже чувствуется дыхание смерти. Как видно, в момент сочинения письма роковое решение было им уже принято.

Мучила, значит, его совесть. И наверняка не только воспоминанием о его вине перед Кирпотиным, но и другими мучительными воспоминаниями об иных, куда более страшных его винах.

Так почему же тогда в последнем, предсмертном его письме обо всем этом — ни слова?

Объясняется это, я думаю, тем, что это предсмертное свое письмо он адресовал **НОВЫМ ХОЗЯЕВАМ СТРАНЫ**. С НИМИ сводил он там свои мелкие счета («...в течение уже 3 лет, несмотря на мои просьбы, меня даже не могут принять»). А большой, главный, самый страшный свой счет он

должен был предъявить не ИМ, а ЕМУ, главному виновнику всех совершавшихся им подлостей и преступлений.

Он и собирался сделать это. Но не письмом (куда? на тот свет?), а — иначе.

* * *

Вот что увидели те, кто первым вошел в комнату, в которой лежал только что пустивший себе пулю в сердце Фадеев:

- ▶ Мне рассказывал К. Федин, который вместе с Вс. Ивановым первым вошел в комнату после самоубийства, что А. Фадеев лежал на кровати сбоку, полусидя, был в одних трусиках. Лицо его было искажено невыразимой мукой. Правая рука, в которой он держал револьвер, была откинута направо на постель. Пуля была пущена в верхнюю аорту сердца с автоматической точностью. Она прошла навывлет, и вся кровь главным образом стекала по его спине на кровать, смочив весь матрац. Рядом, на столике, возле широкой кровати, Фадеев поставил портрет Сталина. Не знаю, что он этим хотел сказать, — с него ли спросите, или — мы оба в ответе, — но это первое, что бросилось в глаза Федину.

*(К. Зелинский. В июне 1954 года.
Вопросы литературы, 1989,
№ 6. Стр. 184—185).*

Истолковать этот предсмертный фадеевский жест и в самом деле можно по-разному.

Хотел ли он этим сказать, что решил пустить себе пулю в сердце, потому что сохраняет верность своему поверженному и оклеветанному кумиру? Или, напротив, потому что разочаровался в нем и именно его хочет теперь обвинить в этой своей насильственной смерти?

Михаил Александрович Лифшиц, тот самый, «антиленинские» взгляды которого Фадеев разоблачал в 1939 году, а в 1953-м приписал их В. Гроссману, именовал себя последним марксистом. Злые языки в этом словосочетании заменили эпитет «последний» на «ископаемый». И вот однажды, объясняя, почему несмотря ни на что он сохраняет верность учению Маркса, этот «ископаемый марксист» рассказал такую историю.

- ▶ Критический разбор этой статьи (имеется в виду наделавшая много шума статья М. Лифшица «Почему я не модернист?» — Б.С.) в одной иностранной газете был озаглавлен так: «Гвардия умирает, но не сдается». В битве при Ватерлоо один из наполеоновских усачей в медвежьих шапках сражался до последней капли крови и пал на своем посту. Ему приписывают эти красивые слова. Вы сами понимаете, товарищ читатель, как лестно для меня такое сравнение (хотя оно предполагает, что мое дело потеряно) и сколько пользы я мог бы извлечь из подобных статей...

Но дело обстоит не так просто. Конечно, ругают меня по заслугам — всю жизнь я держался определенной идеологии, как принято говорить в таких случаях, и не собираюсь ее менять, ибо не вижу для этого убедительных оснований. И все же не знаю, достаточно ли этого для зачисления в старую гвардию...

Что же касается фразы «Гвардия умирает, но не сдается», то ее историческая достоверность вызывает большие сомнения. Где-то мне приходилось читать, что старый наполеоновский солдат вовсе не обладал красноречием, которое ему приписывают. Из его хриплой глотки, вместе с запахом спирта, вылетали только самые короткие афоризмы. Окруженный со всех сторон врагами, он сказал: «Merde!» — слово на

русский язык неудобопереводимое, а им показалось «meurt», умирает. Так и возникла красивая легенда о старой гвардии.

(М. Лифшиц. *Почему я не модернист?* М., 2009. Стр. 277–279).

Французское словечко «merde», которое Михаил Александрович, воспитанный в старых правилах литературных приличий, называет неудобопереводимым, означает всего-навсего — «говно». Сегодня, когда обращение к так называемой ненормативной лексике уже прочно вошло в наш литературный обиход, мы вполне уже можем позволить себе «назвать кошку кошкой».

Так что же все-таки хотел сказать Фадеев, поставив на свой прикроватный столик — перед тем как выстрелить себе в сердце — портрет Сталина? Что старая гвардия умирает, но не сдаётся? Или что все, во что он верил, чему всю жизнь верно служил, оказалось *говном*?

Похоже, что ближе к истине именно этот, последний вариант.

- ▶ Бывший Сашин партизанский комбриг Н. Ильюхов, отсидев или отработав в свирепом Заполярье лет 18, после XX съезда партии пришел к Саше, в его почти «министерскую» квартиру, Саша обнял его со слезами. Зашел разговор о Сталине.

— Знаешь, у меня такое чувство, что ты благоговел перед прекрасной девушкой, а в руках у тебя оказалась старая блядь! — сказал Саша.

Мне это передал в санатории для старых большевиков один из честнейших и тоже чудом уцелевший старый член партии (с 1917 года), бывший подпольщик во времена денкинщины. Передал со слов Ильюхова, после всего пережитого отдохавшего в этом санатории (ст. Кратово, санаторий им. Ленина). А Юрий Либ-

динский передал мне, что Саша сказал: такое чувство, точно мы стояли на карауле по всей форме, с сознанием долга, а оказалось, что выстаивали перед нужником.

*(О судьбе Александра Фадеева.
В. Герасимова. Беглые записи.
Вопросы литературы. 1989.
№ 6. Стр. 144—145).*

Но в сущности, не так даже и важно, какой смысл сам Фадеев хотел вложить в этот свой предсмертный жест. Ведь важно не то, что он ХОТЕЛ сказать, а — ЧТО СКАЗАЛОСЬ. Сказалось же, что разорвать свою связь со Сталиным он так и не смог.

Хотел, может быть, сказать: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко...»

Но этот владыка — не то, что Тот. Как в жизни не отпускал, так и в смерти. Держит. Не отпускает.

СТАЛИН
И ЭРДМАН

ДОКУМЕНТЫ

1

СТЕЦКИЙ – СТАЛИНУ О ПЬЕСЕ ЭРДМАНА

5 сентября 1931 г.

Тов. Сталин,

пьеса «Самоубийца» Эрдмана сделана талантливо и остро. Но она — искусственна и двусмысленна.

Любой режиссер может ее целиком повернуть против нас. Поэтому эту пьесу, ее постановку можно разрешить в каждом отдельном случае в зависимости от того, какой театр и какой режиссер ее ставит.

С коммунистическим прив[етом]

А. Стецкий

Имеется пометка: «Пьеса послана т. Гандурину (Главрепертком) по распоряжению т. Поскребышева».

ПИСЬМО К.С. СТАНИСЛАВСКОГО
И.В. СТАЛИНУ

29 октября 1931 г.

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Зная Ваше всегдашнее внимание к Художественному театру, обращаюсь к Вам со следующей просьбой.

От Алексея Максимовича Горького Вы уже знаете, что Художественный театр глубоко заинтересован пьесой Эрдмана «Самоубийца», в которой театр видит одно из значительнейших произведений нашей эпохи. На наш взгляд, Николаю Эрдману удалось вскрыть разнообразные проявления и внутренние корни мещанства, которое противится строительству страны.

Прием, которым автор показал живых людей мещанства и их уродство, представляет подлинную новизну, которая, однако, вполне соответствует русскому реализму в его лучших представителях, как Гоголь, Щедрин, и близок традициям нашего театра.

Поэтому, после того как пьеса была закончена автором, Художественному театру показалось важным применить свое мастерство для раскрытия общественного смысла и художественной правдивости комедии. Однако в настоящее время эта пьеса находится под цензурным запретом.

И мне хочется попросить у Вас разрешения приступить к работе над комедией «Самоубийца» в той надежде, что Вы не откажете нам посмотреть ее до выпуска в исполнении наших актеров.

После такого показа могла бы быть решена судьба этой комедии. Конечно, никаких затрат на постановку до ее показа Вам Художественный театр не произведет.

Станиславский

ОТЗЫВ ГАНДУРИНА (ГЛАВРЕПЕРТКОМ)
О ПЬЕСЕ ЭРДМАНА «САМОУБИЙЦА»,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ СТАЛИНУ

5 ноября 1931 г.

ОТЗЫВ О ПЬЕСЕ Н. ЭРДМАНА «САМОУБИЙЦА»

Главное действующее лицо пьесы Эрдмана «Самоубийца» — Федя Петунин.

О нем говорят в течение всей пьесы, но он ни разу на сцену не появляется.

Петунин, единственный положительный персонаж пьесы (писатель, прозрачный намек на Маяковского), кончает самоубийством и оставляет записку: «Подсекальников прав, жить не стоит».

В развитие и доказательство смысла этого финала, по сути дела, и построена вся пьеса в весьма остроумной форме (повторяя «Мандат» того же автора), излагающая анекдотический случай с обывателем мещанином Подсекальниковым, в силу целого ряда житейских обстоятельств симулирующего самоубийство.

Пьеса полна двусмысленных ситуаций. Она как будто стремится дать сатиру на обывателей, мещан, внутри эмигрантствующих интеллигентов, но построена таким образом, что антисоветские сентенции и реплики, вложенные в уста отрицательных персонажей (а отрицательные персонажи все действующие лица), звучат развернутым идеологическим и политическим протестом субъективно-индивидуализма и идеализма против коллектива, массы, пролетарской идеологии, «35 тыс. курьеров», — невежественных Егорушек, желающих навязать интеллигенции свои вкусы.

Подсекальников выведен в смешном виде, но изрекает с точки зрения классового врага вовсе не смешные вещи. Он ходячий сборник (точно как и другие действующие

лица) антисоветских анекдотов, словечек и афоризмов. Эти крылатые фразы пронизывают всю пьесу, и убрать их купюрами нельзя, не разрушая органической ткани всей пьесы.

Мораль пьесы: в столь жалких условиях, когда приходится приглушать все свои чувства и мысли, когда необходимо в течение многих лет «играть туш гостям», «туш хозяевам», когда «искусство — красная рабыня в гареме пролетариата», — жить не стоит.

С другой стороны, пьеса, возможно, помимо субъективной воли автора, требуя для интеллигенции «права на шепот», этим самым наносит ей типичный эмигрантский удар как интеллигенции в советских условиях, способной только на шепот. С третьей стороны, пьеса представляет собой гуманистический призыв оставить в покое, не трогать всех этих Аристархов и им подобных, никому не мешающих и «безобидных» людей, а на деле — классовых врагов.

Пьесу в ее нынешнем виде можно без единой помарки ставить на эмигрантских сценах. Ибо вместо осмеяний внутренней эмигрантщины и обывательщины она выражает, хотя и в завуалированной форме, эмигрантский протест против советской действительности. В таком виде отрицательный эффект постановки пьесы Эрдмана был бы во много раз больше, чем от постановки «Натальи Тарповой», «Партбилета», «Багрового острова» и др. им подобных пьес, которые пришлось снимать с величайшими скандалами после первых же спектаклей.

Пьеса была запрещена ГРК в начале сентября 1930 г. Она была также отклонена театром им. Вахтангова. После читки ее на худсовете в Театре им. Мейерхольда она получила резко отрицательную оценку в ряде московских газет. Своевременно она была направлена в прошлом году в Культпроп тов. Рабичеву по его просьбе.

4

ПИСЬМО И.В. СТАЛИНА
К.С. СТАНИСЛАВСКОМУ

9 ноября 1931 г.

Многоуважаемый Константин Сергеевич!

Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство». Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна. Мнение и мотивы Реперткома можете узнать из приложенного документа. Мне кажется, что отзыв Реперткома недалек от истины. Тем не менее я не возражаю против того, чтобы дать театру сделать опыт и показать свое мастерство. Не исключено, что театру удастся добиться цели. Культпроп ЦК нашей партии (т. Стецкий) поможет Вам в этом деле. Суперами будут товарищи, знающие художественное дело. Я в этом деле дилетант.

Привет

И. Сталин

5

ИЗ ПИСЬМА ЗАВЕДУЮЩЕГО
ЛИТЕРАТУРНОЙ ЧАСТЬЮ МХАТа
П.А. МАРКОВА А.М. ГОРЬКОМУ

7 сентября 1932 г.

Дорогой и глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Как Вы знаете, мы при Вашем содействии получили разрешение работать пьесу Эрдмана «Самоубийца». Эти работы мы начали вести из-за задержки «Мертвых душ» довольно медленным темпом, и потому пьеса оказалась у нас не готовой к предполагаемому сроку: в настоящее время она у нас только вчерне разобрана.

Между тем параллельно с нашим театром такую же работу начал вести и Театр Мейерхольда несмотря на запрещение, полученное им от Наркомпроса. 15-го августа состоял-

ся просмотр «Самоубийцы» в этом театре, на который были приглашены Каганович, Постышев, Стецкий и ряд других ответственных партийных товарищей. Спектакль был показан в черновом виде и притом начиная только с 3-го акта. Результат этого просмотра вылился в резко отрицательную оценку самой пьесы смотревшими товарищами и в запрещение Мейерхольду дальнейшей работы над пьесой.

Совершенно естественно, слух об этом показе и о его печальных результатах донесся и до МХАТа. По дошедшим до нас сведениям, результат нашего показа, в свою очередь, предрешен в отрицательном смысле. < ... > Мы решились увидеться со Стецким для того, чтобы обсудить с ним создавшееся положение, но до этого мы обращаемся с просьбой к Вам помочь нам разобраться в создавшемся положении и в свою очередь переговорить или со Стецким, или организовать совместное совещание, в котором приняли бы участие Вы, он и представители театра.

С нашей точки зрения, вопрос судьбы «САМОУБИЙЦЫ» очень важен, и потому мы очень надеемся на Вашу обычную к нашему театру отзывчивость...

С любовью и уважением

П. Марков

6

ПИСЬМО А.М. ГОРЬКОГО И.В. СТАЛИНУ

7 сентября 1932 г.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

Простите: забыл вчера показать Вам копию письма т. Хинчука — М. Владимирскому, а в передаче содержания этого письма мною были допущены две ошибки: количество экземпляров приложения 200 т[ысяч], а не 500, стоимость 38 т[ысяч], а не 36; 500 и 36 относятся к первому опыту.

Очень прошу Вас позвонить Владимирскому, чтоб он ускорил это дело елико можно.

Прилагаю письмо Маркова, одного из режиссеров 1-го

МХАТа, и на основании этого письма прошу: разрешите МХАТу продолжать репетиции «Самоубийцы», ибо из письма явствует, что Мейерхольд пьесу скомкал.

И, наконец, посылаю книжку со статьей Святополка-Мирского о Маяковском. В связи с организацией Литвуза мне очень важно — и даже необходимо — знать Ваше мнение о правильности оценки Мирским Маяковского.

Желаю Вам доброго здоровья, крепко жму руку.

А. Пешков

7

ИЗ ПИСЬМА П.А. МАРКОВА
Вл. И. НЕМИРОВИЧУ-ДАНЧЕНКО

16 сентября 1932 г.

... он (Горький — Б.С.) сказал, что будет добиваться ее постановки на сцене Художественного театра, а отнюдь не театра Мейерхольда, который превратит ее в грубый и ненужный фарс.

8

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ЗАВЕДУЮЩЕГО
ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ЦК ВКП(б) А.И. СТЕЦКОГО
СЕКРЕТАРЯМ ЦК ВКП(б) О ПУБЛИКАЦИИ
АНТИСОВЕТСКИХ БАСЕН В.З. МАССА
И Н.Р. ЭРДМАНА И ХОДЕ ПОДГОТОВКИ
К СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ

22 мая 1933 г.

ТОВ. СТАЛИНУ и ТОВ. КАГАНОВИЧУ

Вышел альманах «Год шестнадцатый» под редакцией Горького, Авербаха и др. Редактировал его здесь Авербах.

Этот альманах следовало задержать. Не сделал я этого только потому, что он вышел как раз в день приезда Горького сюда, и это было бы для него весьма неприятным сюрпризом.

В альманахе помещено «Заседание о смехе» Масса и Эрдмана, представляющее злобную издевку над нами. Надо добавить, что основой произведения Масса и Эрдмана является некий контрреволюционный анекдот.

Такой же издевательский характер имеет и басня тех же авторов «Закон тяготения»...

Зав Культпросветом ЦК ВКП(б)

А. Стецкий

9

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО

28 мая 1933 г.

а) Признать помещенные в альманахе «Год шестнадцатый» сатирическую сцену Масса и Эрдмана «Заседание о смехе» и басню «Закон тяготения» антисоветскими и изъять их из альманаха.

б) Объявить выговор гг. Авербаху и Ермилову за помещение этих вещей в альманахе и уполномоченному Главлита т. Романовскому за разрешение к печати этих вещей.

10

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОГПУ
Г.Г. ЯГОДЫ И.В. СТАЛИНУ О САТИРИЧЕСКИХ
БАСНЯХ Н.Р. ЭРДМАНА, В.З. МАССА
И М.Д. ВОЛЬПИНА

9 июля 1933 г.

ЦК ВКП(б) тов. Сталину

Направляю Вам некоторые из неопубликованных сатирических басен, на наш взгляд, контрреволюционного

содержания, являющихся коллективным творчеством московских драматургов Эрдмана, Массы и Вольпина.

Басни эти довольно широко известны среди литературных и околосредственных кругов, где упомянутые авторы лично читают их.

Эрдман Н.Р. — 1900 г. рождения, беспартийный, автор шедшей у Мейерхольда комедии «Мандат», автор снятой с постановки пьесы «Самоубийца».

Масс В.З. — 1896 г. рождения, беспартийный, известен как соавтор Эрдмана по некоторым обозрениям и киносценариям. Масс — Эрдман являются авторами «Заседания о смехе».

Вольпин М.Д. — 1902 г. рождения, поэт-сатирик, соавтор Эрдмана, сотрудник «Крокодила».

Полагаю, что указанных литераторов следовало бы или арестовать, или выслать за пределы Москвы в разные пункты.

Заместитель председателя ОГПУ

Г. Ягода

11

ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОГПУ Я.С. АГРАНОВА
И.В. СТАЛИНУ ОБ АРЕСТЕ Н.Р. ЭРДМАНА,
В.З. МАССА И Э. ГЕРМАНА

25 октября 1933 г.

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину

11 октября с[его] г[ода] были арестованы Н. Эрдман, Вл. Масс и Э. Герман — он же Эмиль Кроткий за распространение к[онтр]р[еволюционных] литературных произведений.

При обыске у Массы, Эрдмана и Германа обнаружены к[онтр]р[еволюционные] басни-сатиры.

Арестованные Эрдман, Масс и Герман подтвердили, что они являются авторами и распространителями обнаруженных у них к[онтр]р[еволюционных] произведений.

По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 14 октября Э. Герман выслан на 3 года в г. Камень Западно-Сибирского края. По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 16 октября Н. Эрдман выслан на 3 года в г. Енисейск Восточно-Сибирского края, а В. Масс — в г. Тобольск на Урале.

Приложение:

1) копия протокола допроса Н. Эрдмана от 15 октября [19]33 г.

2) копия протокола допроса В. Массы от 16 октября [19]33 г.

3) заявление В. Массы в коллегию ОГПУ от 16 октября [19]33 г.

Зам[еститель] пред[седателя] ОГПУ

Я. Агранов

12

ПИСЬМО М.А. БУЛГАКОВА И.В. СТАЛИНУ

4 февраля 1938 г., Москва

*Иосифу Виссарионовичу Сталину
от драматурга
Михаила Афанасьевича Булгакова*

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Разрешите мне обратиться к Вам с просьбой, касающейся драматурга Николая Робертовича Эрдмана, отбывшего полностью трехлетний срок своей ссылки в городах Енисейске и Томске и в настоящее время проживающего в г. Калининe.

Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценны в нашем Отечестве, и зная в то же время, что литератор Н. Эрдман теперь лишен возможности применить свои способности вследствие создавшегося к нему отрицательного отношения, получившего такое выражение в прессе, я позволю себе просить Вас обратить внимание на его судьбу.

Находясь в надежде, что участь литератора Н. Эрдмана будет смягчена, если Вы найдете нужным рассмотреть эту просьбу, я горячо прошу о том, чтобы Н. Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения.

М. Булгаков

Сюжет первый

«СУПЕРАМИ БУДУТ ТОВАРИЩИ, ЗНАЮЩИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДЕЛО...»

Эта реплика Сталина из его письма Станиславскому об эрдмановском «Самоубийце» вызывает недоумение. И не только из-за малопонятного слова «суперы».

Решение вроде принято:

- ▶ ...я не возражаю против того, чтобы дать театру сделать опыт и показать свое мастерство. Не исключено, что театру удастся добиться цели.

И вдруг оказывается, что это его решение — не окончательное, а только предварительное. Окончательно же дело решат какие-то суперы.

Как прикажете это понимать? И что, все-таки, означает это непонятное даже нам (а уж адресату его письма тем более) загадочное слово — «суперы»?

Словечко это, я думаю, из старого, еще дореволюционного их партийного жаргона. Суперы — это, видимо, **суперарбитры**, которым предоставлялось решающее слово в каких-то особенно сложных — или особенно деликатных — ихних партийных разборках.

Так что это понять как раз можно.

Непонятно другое: зачем в этом случае нужны еще какие-то «суперарбитры», если пьесу Эрдмана уже признали и одобрили такие «товарищи, знающие художественное дело», как Горький, Станиславский и Мейерхольд?

Станиславский (а кто «знает художественное дело» лучше, чем он?) высоко оценил уже первую эрдмановскую пьесу — «Мандат» — и даже собирался сам ее поставить. А от «Самоубийцы» он был уже в полном восторге.

- ▶ Посмотрев «Мандат» в Театре Мейерхольда, Константин Сергеевич на следующий день сказал мне: «Мейерхольд в третьем акте сделал то, чего я не мог добиться; первый акт не такой, а в третьем акте Мейерхольд добился того, чего я не мог добиться. Давайте думать о «Мандате». Но после Мейерхольда нечего было ставить «Мандат», и, узнав, что Н.Р. Эрдман пишет следующую пьесу, «Самоубийца», Константин Сергеевич сказал: «Как только эта пьеса будет готова, непременно ее послушаем». Николай Робертович ничего не имел против того, чтобы «Самоубийца» пошел в Художественном театре. Его связывали обязательства перед Мейерхольдом, но в конце концов он решился прочесть пьесу Станиславскому. Читал он свои комедии блистательно, невозмутимо, с абсолютно равнодушным лицом, что действовало на слушателя безотказно. «Самоубийца» начинается какими-то непонятными возгласами, кто-то кого-то будит, кто-то вопит в полусне, кто-то требует бутерброд с ливерной колбасой. И стоило Эрдману прочесть первые реплики, Константин Сергеевич начал неудержимо смеяться, попросил

Николая Робертовича остановиться, удобно устроился, улегшись на диване, и так дослушал пьесу, продолжая хохотать до слез. Эрдман должен был все время прерывать чтение, настолько благодарного слушателя получил он в Станиславском. Когда Эрдман кончил читать, Станиславский заявил: «Гоголь! Гоголь!» А Мария Петровна Лилина сказала Эрдману: «Вы знаете, кому бы это очень понравилось? Антону Павловичу». И с очаровательной любезностью спросила: «Вы его хорошо знали?»

«Самоубийца» был немедленно принят к постановке, за что я вскоре был подвергнут Всеволодом Эмильевичем публичному избиению...

(П. Марков. Из «Книги воспоминаний».

Цит. по кн.: Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии.

Письма. Документы. Воспоминания современников.
М., 1990. Стр. 311—312).

«Право первой ночи» даже и юридически принадлежало Мейерхольду. Но тут в дело вмешался Горький:

- ▶ ...он сказал, что будет добиваться ее постановки на сцене Художественного театра, а отнюдь не театра Мейерхольда, который превратит ее в грубый и ненужный фарс.

*(Из письма П.А. Маркова
Вл. И. Немировичу-Данченко
16 сентября 1932 г.)*

Горький написал Сталину:

- ▶ Прилагаю письмо Маркова, одного из режиссеров 1-го МХАТа, и на основании этого письма прошу: разрешите МХАТу продолжать репетиции «Самоубийцы», ибо из письма явствует, что Мейерхольд пьесу скомкал.

*(Из письма А.М. Горького И.В. Сталину
7 сентября 1932 г.)*

Тут же Станиславский и сам написал Сталину, и Сталин благосклонно ему ответил, после чего Мейерхольду бороться за свое «право первой ночи» было уже невозможно. И он сдался.

► ИЗ СПРАВКИ, СОСТАВЛЕННОЙ ГОСТИМОМ
О ПЬЕСЕ Н.Р. ЭРДМАНА «САМОУБИЙЦА»,
О РАБОТЕ НАД НЕЙ ТЕАТРА

1931—1932 гг.

Не подлежит оглашению

20 апреля 1925 года в Гостеатре имени Вс. Мейерхольда состоялось первое представление комедии Н.Р. Эрдмана «Мандат».

Сейчас же после премьеры «Мандата» театром им. Вс. Мейерхольда было предложено Н.Р. Эрдману написать для ГосТИМа новую пьесу (впоследствии получившую заглавие «Самоубийца»).

Заказ на пьесу был юридически оформлен 18 октября 1928 г. договором, согласно которому:

§ 1. Н.Р. Эрдман предоставляет ГосТИМу для монопольной постановки заказанный ему ГосТИМом манускрипт комедии «Самоубийца», принадлежащей его перу.

§ 2. Упомянутая в § 1 комедия не может быть Н.Р. Эрдманом вторично продана или передана для сценического исполнения в Москве в течение двух лет со дня первого ее представления.

В процессе работы над комедией «Самоубийца» Н.Р. Эрдман неизменно ставил в известность о ходе своей работы постановщика пьесы т. Вс. Мейерхольда, читая ему готовые куски пьесы и держа его в курсе изменений от намеченного плана. Отъезд ГосТИМа весной 1930 года на заграничные гастроли вызвал в

Москве настойчивые слухи о том, что ГосТИМ на год уезжает в Америку. Этим воспользовались некоторые московские театры и принялись энергично охотиться за пьесой Эрдмана. Н.Р. Эрдман, которого стали убеждать некоторые в том, что длительное пребывание ГосТИМа за границей законсервирует пьесу, принял приглашение прочесть пьесу МХАТу. Пьеса получила одобрение мхатовцев. Однако Н.Р. Эрдман предупредил МХАТ, что его комедия уже передана им театру им. Вс. Мейерхольда, и, не вступая в переговоры о передаче МХАТу для постановки своей пьесы, взял рукопись комедии обратно, как только стало известно, что ГосТИМ и Вс. Мейерхольд возвращаются в Москву...

Летом 1931 года во время отсутствия из Москвы ГосТИМа и Н.Р. Эрдмана комедия «Самоубийца» была передана для прочтения тов. Максиму Горькому. Последний очень высоко оценил пьесу и, не зная, очевидно, о договоре между ГосТИМом и Н. Эрдманом, получил разрешение правительства на представление комедии «Самоубийца» на сцене, но уже Московского Художественного театра.

ГосТИМ не намерен на основе этого формального момента мешать МХАТу. И наоборот, как уже было сказано выше, будет рассматривать работу двух театров на одном драматургическом материале, как полезное соцсоревнование.

(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 291–292).

Итак, за право ставить эрдмановского «Самоубийцу» боролись не только два знаменитых театра и два великих режиссера. За ней, оказывается, «энергично охотились» и другие московские театры, которыми, надо полагать, руководили товарищи, тоже неплохо знающие «художественное дело».

Почему бы не доверить судьбу пьесы хоть самым авторитетным из них?

Если есть опасения насчет каких-либо идейных перекосов или даже идейной ущербности пьесы, так не беспартийному и далекому от политики Станиславскому, а коммунисту и вождю «Театрального Октября» Мейерхольду?

Но у Сталина были на этот счет свои соображения и свои виды, о которых мы можем судить по дальнейшему развитию событий.

В театре Мейерхольда, где пьеса Эрдмана, как мы уже знаем, была принята к постановке раньше, дело завершилось так.

- ▶ На генеральную репетицию, еще без костюмов и оформления (денег на спектакль не отпускали, он в плане не был), должен был приехать Сталин. Назначена была эта репетиция ночью. Даже своих актеров, не занятых в пьесе, и никого из работников театра не пропускали, все было оцеплено. В театре были только те, кто нужен на сцене. Но Сталин не приехал, были Каганович, Поскребышев и с ними довольно много народу из правительства. Принимали они каждый акт замечательно, хохотали в голос — нам же все слышно. Но потом встали и ушли потихоньку, ничего никому не высказав. Когда стало ясно, что спектакль запрещен, Мейерхольд забрал Эрдмана к себе на дачу в Горенки, и дня три Эрдман оставался там у них. Эрдман запрещение «Самоубийцы» воспринимал трагически.

(Е. Тяткина. Как я репетировала и играла в пьесах Н.Р. Эрдмана В кн.: Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 328).

Итак, на роль суперарбитров, «знающих художественное дело», были назначены Поскребышев и Каганович. Но похоже, что окончательное решение приняли все-таки не они, а тот, кто сам по каким-то причинам на эту генеральную репе-

тицию не приехал. Может быть, не смог — помешали другие, более важные дела. А может быть, потому что хотел создать впечатление, что спектакль запретил не он. Он вообще-то не против. Но пусть решают другие товарищи, лучше знающие «художественное дело». Он ведь в этом деле дилетант.

Когда в роли товарищей, знающих художественное дело, выступают такие знатоки, как Поскребышев и Каганович, это, конечно, смешно. Но в распоряжении Сталина были и другие цепные псы, на которых он в этом случае вполне мог положиться. И не только из ближайшего его окружения или послушных его воле партийных функционеров помельче, но и из числа, так сказать, свободных художников, вольных служителей муз, действующих как бы не по его указке, а по велению собственного художественного вкуса, своих профессиональных критериев и установок.

Одним из таких — едва ли не самых ярых — гонителей пьесы Эрдмана был знаменитый в ту пору драматург Всеволод Вишневский. Его упорное и яростное стремление во что бы то ни стало добиться запрета эрдмановского «Самоубийцы» вызвало гневную и презрительную реакцию жены Мейерхольда Зинаиды Николаевны Райх. Зинаида Николаевна была не только женой Мастера. Она была его alter ego не в метафорическом, а самом что ни на есть буквальном значении этого понятия, так что к ее письму Всеволоду Вишневскому, отрывок из которого вы сейчас прочтете, мы с полным основанием можем отнестись так, как если бы оно было написано самим Всеволодом Эмильевичем. Она так прямо это и формулирует в своем письме. И ей тут можно верить.

► ИЗ ПИСЬМА З.Н. РАЙХ В.В. ВИШНЕВСКОМУ

10 января 1932 г., Москва

Я Вам дала исчерпывающие ответы на все Ваши вопросительные знаки. И это все так верно изложено мною, что Вс. Эм. может подписаться под всем этим — это его установка и рассуждения...

Вы и Россровский — оба зачинщики выступлений против Эрдмана. Вас поддерживает, возможно, весь РАПП и даже ряд партийных товарищей. Вы в своем письме к Вс. Эм. дали оценку разрешения Сталиным репетировать пьесу «Самоубийца» в МХАТе. Странная оценка, вызванная эгоистическим стремлением видеть именно это в разрешении т. Сталина. А вы не можете на этот раз доверить Горькому и Мейерхольду — их оценке придать серьезное значение! Когда это касается лично Вас или других пролетарских драматургов, тогда эта оценка верная и авторитетная, когда же это коснулось Эрдмана, тогда это «ошибка». А не хочет ли т. Сталин проверить, что «ошибкой» является запрещение пьесы и, может быть, Горький прав, так горячо ратуя за «Самоубийцу». Неужели вы — ряд заинтересованных всячески драматургов — более правы, чем Ленин и Сталин, доверяющие художественному чутью Горького?! А? «Экспериментально» — это значит: если в случае чего выйдет политически нехорошо — т. Сталин снимает пьесу безоговорочно. Не делаете ли Вы себя и рапповцы недостойно похожими на Фаддея Булгарина — так яро лаявшего в своих журналах «верноподданнически», что пришлось запретить писать ему на пару лет. Перестарался Фаддей Булгарин — не перестарайтесь Вы — в полемике беру это ужасное сравнение, потому что искренно в данном случае презираю вас, желающих в политической осторожности переплюнуть т. Сталина. В Вас говорит все отвратительное в человеке и ревность к славе! Берегитесь, не верный путь — Вы своей борьбой — увеличите гром славы Эрдмана...

Зинаида Райх.

(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 285—286).

Отрывок этот не оставляет сомнений, что если и не самый текст, то смысл сталинского письма Станиславскому ей знаком. Так же — это тоже не вызывает сомнений, — как и ее корреспонденту.

Но трактуют они это сталинское письмо по-разному. Она — как выражение полного доверия Сталина вкусу и мнению Горького и основанное на этом доверии разрешение ставить пьесу. Он — как не выраженное прямо, но легко прочитываемое указание ее запретить.

► ИЗ ПИСЬМА
В.В. ВИШНЕВСКОГО З.Н. РАЙХ

11/1—32 г., Ленинград

...За делами спектакля надо видеть более высокие требования политики партии... «Самоубийца» при всех формальных достоинствах пьесы — ни черта не дает. Безнаказанный памфлет против Сов. власти. И будет полезно разгромить его, как и «Дни Турбиных»...

Насквозь порочный текст этот — разрозненный на реплики контррев. монолог. Монолог — будет давить. Вы придаете разрешению т. Сталина свое толкование. Я и мои товарищи против «Самоубийцы». Мы будем спорить, совершенно устраняя разговор о Булгарине, ибо аналогия никчемушная, — и разговор о зависти к славе... Я так увлекаюсь настоящим, талантливым, что буду первый аплодировать, прыгать и плакать, если это наше, свежее, хорошее. И без пощады буду «шлепать» вредное. Я перечитал статьи Вс. Эм. в «Вестнике театра» за 1920—1921 гг. (изучаю его путь сейчас) — и подписываюсь под его словами о сильной, бодрой, свежей драматургии. Но с каких пор Эрдман, автор грязных басен и «Самоубийцы», стал свежим, бодрым нашим

писателем? А то, что он талантлив, делает его вдвойне неприемлемым. Высокомерный молодой человек из стаи сходящих на нет, упрямо держащийся потной, вонючей тематики. «Мы разоблачаем же...» Лукавая отписка Эрдманов...

Я болен поисками, мне надо писать, кричать, давить пьесы Эрдмана и Булгакова, бить в ярость. Неужели гуманная любовь к этим «ближним» может дать больше? Что вы, чур-чур!

У меня слишком много есть что сказать, чтобы я тихо смотрел на жизнь. Вы пишете: «Вас подбивает, возможно, весь РАПП»... Хо-хо! Я — Я — Я подбиваю всех подбить тех, кто политически, потенциально и как угодно стоит поперек пути: «Вы не можете доверить Горькому и Мейерхольду?» Горький защищал и Бабеля — нас нельзя обязать брать под козырек... Препарируйте же тех большевиков, кто бьет врага в лоб, без снисхождений...

(Там же. Стр. 287–290).

Вишневский — из тех «католиков», которые более католики, чем папа: «Нас нельзя обязать брать под козырек...»

Но это — о Горьком. К Сталину это не относится. Тут он, наступив на горло своей большевистской ярости, готов «взять под козырек», делая вид, что спорит не со Сталиным (ведь тот, что ни говори, все-таки разрешил ставить пьесу), а с неправильными выводами, которые Мейерхольды сделали из этого его разрешения:

- ▶ Вы придаете разрешению т. Сталина свое толкование. Я и мои товарищи против «Самоубийцы».

Но это и в самом деле не очень расходится с позицией Сталина, прямо высказанной им в том же его письме Станиславскому:

- ▶ Я не очень высокого мнения о пьесе... Ближайшие мои товарищи считают, что она пустовата и даже вредна.

Тем не менее, он все-таки — на этом этапе — ее не запретил. Согласился «дать театру сделать опыт и показать свое мастерство».

Тут сразу возникает самое простое объяснение этого, обычно совсем не свойственного ему добродушия: не хотелось обижать Станиславского. Зная Сталина, можно увидеть тут и известную долю лицемерия: пусть, мол, артисты потешатся, а запретить всегда успеем.

Оба эти мотива тут, наверное, тоже присутствовали.

Но есть одно свидетельство, позволяющее не без некоторых оснований предположить, что в этом случае Сталин был искренен.

Напомню уже приводившийся мною однажды (в главе «Сталин и Булгаков») рассказ Александра Николаевича Тихонова, записанный Еленой Сергеевной Булгаковой:

- ▶ Он раз поехал с Горьким (он при нем состоял) к Сталину хлопотать за эрдмановского «Самоубийцу». Сталин сказал Горькому:

— Да что! Я ничего против не имею. Вот — Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пожалуйста, пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков! Тот здорово берет! Против шерсти берет! (Он рукой показал — и интонационно.) Это мне нравится!

Тихонов мне это рассказывал в Ташкенте в 1942 году, и в Москве после эвакуации...

*(Дневник Е. Булгаковой.
М., 1990. Стр. 301).*

На чем основывалось это снисходительное (даже пренебрежительное) отношение Сталина к эрдмановскому «Самоубийце», понять нетрудно.

К героям пьесы Булгакова («Дни Турбиных») он испытывал что-то вроде уважения. Во всяком случае, признавал, что они — люди сильные:

- ▶ ...Основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь».

*(Из письма Сталина
В.Н. Билль-Белоцерковскому).*

...Взять, например, этого самого всем известно-го Булгакова. Если взять его «Дни Турбиных», чужой он человек, безусловно. Едва ли он советского образа мысли. Однако... я с точки зрения зрителя сужу. Возьмите «Дни Турбиных», — общий осадок впечатления у зрителя остается какой?.. Общий осадок впечатления остается такой, когда зритель уходит из театра, — это впечатление несокрушимой силы большевиков. Даже такие люди крепкие, стойкие, по-своему честные в кавычках, как Турбин и его окружающие, даже такие люди должны были признать в конце концов, что ничего с этими большевиками не поделаешь.

*(Из выступления на встрече
с украинскими литераторами).*

Слабые и даже жалкие персонажи эрдмановского «Самоубийцы» сравнения с Алексеем Турбиным, конечно, не выдерживали. И поэтому истинный, глубинный смысл эр-

дмановской пьесы до Сталина не дошел. Так же, кстати, как не дошел до него истинный, глубинный смысл до поры не вызывавших у него особого гнева рассказов Зоценко. Этот художественный язык был ему непонятен.

* * *

Этот художественный язык оказался непонятен и близким Сталину «товарищам, знающим художественное дело», которым пьеса Эрдмана посылалась на отзыв. И не только глухим к искусству партийным функционерам, которые вообще-то и не обязаны были разбираться в столь тонкой материи, но и кое-кому из «свободных художников», на понимание которых, казалось, мы могли бы рассчитывать:

► ОТЗЫВ В.В. ИВАНОВА В РЕДАКЦИЮ
«ГОДА ШЕСТНАДЦАТОГО»
НА ПЬЕСУ «САМОУБИЙЦА»

1932 г.

Пьеса Н. Эрдмана «Самоубийца» очень хлесткий, хотя и устаревший фельетон.

Так как сценическая часть одной пьесы нас мало интересует, а больше литературная, то в пьесе несомненно, с одной стороны, огромное влияние стиля Сухово-Кобылина, с другой же — жаргонной прозы, к которой примыкает Зоценко.

Пьеса, по-моему, среднего качества, но т.к. вокруг нее создавалась легенда и очень много людей искусства считает, что непоявление ее на сцене или в печати есть факт затирания гения, то я полагаю, оную пьесу стоит напечатать с тем, чтобы разоблачить мифическую гениальность.

Выпады вроде реплик писателя и т.п. стоит вычистить, ибо они представляют малую художественную

ценность и вряд ли ее улучшат, хотя именно эти-то выпады и придают известный «перцу» пьесе, без них она вряд ли представляла бы какой-либо интерес.

Вс. Иванов

(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Воспоминания современников. Стр. 290—291).

Автор этого отзыва, писатель крупного и яркого дарования, любимец Горького, по праву считается не только одним из основоположников советской литературы, но и зачинателем советской драматургии. Его драма «Бронепоезд 14-69», созданная им на основе собственной повести того же названия, была поставлена Станиславским к десятилетию Октябрьской революции и стала первой советской пьесой, идущей на сцене МХАТа. Не исключаю, что на его отношение к эрдмановскому «Самоубийце» наложила свою печать и некоторая профессиональная ревность к новой звезде, появившейся на тогдашнем театральном небосклоне. Но главным тут было все-таки не это, а влияние отзыва Сталина, который наверняка был ему известен: уж больно крепко «рифмуется» этот его отзыв со сталинским. «Рифмуется» не так даже смыслом и общей оценкой, как пренебрежительно снисходительным тоном этого его отзыва.

Альманах «Год шестнадцатый» был затеян Горьким. «Шестнадцатый», потому что первый выпуск этого альманаха был приурочен к шестнадцатой годовщине Октября. (На следующий год вышел «Год семнадцатый», потом «Год восемнадцатый» — и так далее.)

Горький, как видно, хотел, чтобы в этот первый выпуск затевавшегося им альманаха вошел и эрдмановский «Самоубийца». Но настоять на этом ему не удалось, и вместо «Самоубийцы» в альманахе оказались другие, не столь значительные эрдмановские сочинения. О том, что из этого вышло, — речь впереди. А сейчас вернемся к «Самоубийце».

Вс. Иванов, отзыв которого об этой пьесе мы сейчас прочли, полагал, что вся ее «вредность» заключается в ядовитых «антисоветских» (тогда чаще говорили — «контрреволюционных») выпадах. То есть — в отдельных репликах, репризах, которые ничего не стоит «вычистить», тем более что никакой художественной ценности они не представляют.

Он даже прямо говорит, что «вычистить», то есть вычеркнуть, изъять следует, по его мнению, реплики п и с а т е л я . А поскольку не проходных, значащих реплик у этого персонажа эрдмановской пьесы (его зовут Виктор Викторович) не так уж много (собственно — всего две), угадать, что конкретно он имеет в виду, не так уж трудно.

Первая значащая реплика Виктора Викторовича в пьесе — такая:

- ▶ — У нас, у писателей, музыкантская жизнь. Мы сидим в государстве за отдельным столом и все время играем туш. Туш гостям, туш хозяевам. Я хочу быть Толстым, а не барабанщиком.

*(Н. Эрдман. Самоубийца.
Екатеринбург, 2000. Стр. 153).*

Следует признать, что роль, отведенная в советском обществе искусству, обозначена этой короткой репликой довольно метко. Можно даже сказать — исчерпывающе.

Но вторая в пьесе значащая реплика того же Виктора Викторовича будет, пожалуй, посерьезнее. Собственно, это даже не реплика, а целый монолог:

- ▶ Виктор Викторович. Я не мыслю себя без советской республики. Я почти что согласен со всем, что в ней делается. Я хочу только маленькую добавочку. Я хочу, чтоб в дохе, да в степи, да на розвальнях, да под звон колокольный у светлой заутрени, заломив на затылок седого бобра, весь в цыганах, обнявшись с любимой

собакой, мерить версты своей обездоленной родины. Я хочу, чтобы лопались струны гитар, чтобы плакал ямщик в домотканую варежку, чтобы выбросить шапку, упасть на сугроб и молиться и клясть, сквернословить и каяться, а потом опрокинуть холодную стопочку да присвистнуть, да ухнуть на всю вселенную и лететь... да по-нашему, да по-русскому, чтоб душа вырывалась к чертовой матери, чтоб вертелась земля, как волчок, под полозьями, чтобы лошади птицей над полем распластывались. Эх вы, лошади, лошади, — что за лошади! И вот тройка не тройка уже, а Русь, и несется она, вдохновенная Богом. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ.

(Там же. Стр. 164–165).

Можно, конечно, вычеркнуть и этот монолог, являющийся удивительный сплав иронии и лирики, пародии и трагического пафоса. Можно. Но — жалко. Сразу вспоминается реплика, которую молва в свое время приписывала Эренбургу. Когда он выразил свое возмущение по поводу редакторского вмешательства в некий чуть ли даже не классический текст (говорили, что Хемингуэя), смущенный редактор, оправдываясь, будто бы сказал: «Илья Григорьевич! Но ведь мы тут только в одном месте вырезали совсем немножечко». На что Эренбург будто бы ответил: «А вы разве не знаете, что если у мужчины только в одном месте вырезать совсем немножечко, он перестает быть мужчиной».

Тоже, конечно, жалко, но, пожалуй, без особого ущерба для пьесы можно было бы «вычистить» из нее и такую — явно издевательскую — репризу:

► **Егор ушка.** Я на нее, Серафима Ильинична, с марксистской точки зрения смотрел...

Серафима Ильинична. Что ж, по-вашему, с этой точки по-другому видать, что ли?

Е г о р у ш к а . Не только что по-другому, а вовсе наоборот. Я на себе сколько раз проверял. Идешь это, знаете, по бульвару, и идет вам навстречу дамочка. Ну, конечно, у дамочки всякие формы и всякие линии. И такая исходит от нее нестерпимая для глаз красота, что только зажмуришься и задышишь. Но сейчас же себя оборвешь и подумаешь: а взгляну-ка я на нее, Серафима Ильинична, с марксистской точки зрения — и... взглянешь. И что же вы думаете, Серафима Ильинична? Все с нее как рукой снимает, такая из женщины получается гадость, я вам передать не могу. Я на свете теперь ничему не завидую. Я на все с этой точки могу посмотреть.

(Там же. Стр. 148).

Или еще вот такой и в самом деле довольно-таки бесцеремонный авторский выпад:

- ▶ А р и с т а р х Д о м и н и к о в и ч . Любимый Семен Семенович! Вы избрали прекрасный и правильный путь... Много буйных, горячих и юных голов повернутся в открытую вами сторону, и тогда зарыдают над ними отцы, и тогда закричат над могилами матери, и тогда содрогнется великая родина, и раскроются настежь ворота Кремля, и к ним выйдет наше правительство. И правитель протянет свою руку купцу, и купец свою руку протянет рабочему, и протянет рабочий свою руку заводчику, и заводчик протянет свою руку крестьянину, и крестьянин протянет свою руку помещику, и помещик протянет свою руку к своему поместью...

П у г а ч е в . Я почти что не критик, Аристарх Доминикович, я мясник. Но я должен отметить, Аристарх Доминикович, что вы чудно изволили говорить. Я считаю, что будет прекрасно, Аристарх Доминикович, если наше правительство протянет руки.

Аристарх Доминикович. Я считаю, что будет еще прекраснее, если наше правительство протянет ноги.

(Там же. Стр. 162–163).

Все это — и многое другое такое же — из этой эрдмановской пьесы действительно можно было бы «вычистить». И кое-что так даже и без особого для нее ущерба.

Но невозможно было вычеркнуть, «вычистить» из нее — ее гениальность.

* * *

Замечательна была сама ее драматургическая основа, ее, так сказать, сюжетный «скелет».

Человек по каким-то там своим, сугубо личным, можно даже сказать пустяковым причинам объявляет, что готов застрелиться. Слух об этом разносится по городу, и к нему являются представители самых разных социальных групп и слоев общества, ущемленных советской властью. Один из них уговаривает его оставить записку, что стреляется он в знак протеста против преследования религии. Другой, — что к мысли о самоубийстве его привели горести и беды, выпавшие на долю русской интеллигенции. Третий, — что он кончает с собой из-за того бедственного состояния, в котором ныне пребывает искусство. Четвертый, — что он решил умереть, защищая свободу торговли. Являются и женщины, и каждая требует, чтобы он объявил, что кончает с собой из-за нее. Возникает ряд острых комедийных — и не только комедийных — положений.

Но все это — только предпосылка, только возможность для создания на этой основе гениальной пьесы. А гениально тут дуновение истинной трагедии, которым Эрдман пронизал этот свой фарсовый, чуть ли даже не водевильный сюжет.

- Кто отдавал себе отчет в том, что добровольный отказ от гуманизма — ради какой бы то ни было цели — к добру не приведет?.. Об этом помнила только кучка интеллигентов, но их никто не слушал... В двадцатые годы над ними потешался каждый, кому не лень... Их называли «хилыми интеллигентишками» и рисовали на них карикатуры. К ним применялся еще и другой эпитет: «мягкотелье»... Первоочередная задача состояла в том, чтобы подвергнуть их осмеянию в литературе. За эту задачу взялись Ильф с Петровым и поселили «мягкотелье» в «Вороньей слободке». Время стерло специфику этих литературных персонажей, и никому сейчас не придет в голову, что унылый идиот, который пристаёт к бросившей его жене, должен был типизировать основные черты интеллигента. Читатель шестидесятых годов, читая бессмертное произведение двух молодых дикарей, совершенно не сознает, куда направлена их сатира и над кем они издеваются. Нечто вроде этого случилось и с гораздо более глубокой вещью — эрдмановским «Самоубийцей», которым восхищался Горький и пытался поставить Мейерхольд...

(Н. Мандельштам. *Воспоминания*.
М., 1999. Стр. 387).

Надежда Яковлевна Мандельштам — дама суровая.

Ильф и Петров у нее — «два молодых дикаря».

В том же духе она высказывается обо всех литературных современниках своего гениального мужа, даже тех, кого сама относит к числу самых ярких и значительных из них:

- Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский, цвет литературоведенья двадцатых годов, — о чем с ними можно было говорить? Они пересказывали то, о чем написали в книгах, и на живую речь не реагировали.

(Н. Мандельштам. *Вторая книга*.
М., 1999. Стр. 237).

О Тынянове позже — чуть более доброжелательно. Но все в том же снисходительно пренебрежительном тоне:

- ▶ Тынянов, заявивший об окончании эпохи поэзии и о приближении торжествующей прозы, совершенно забыл, что проза — это мысль.

(Там же. Стр. 420).

...Тынянов приспособился хуже других и подвергался непрерывным погромам, пока не стал писать романов, которые пришлось ко двору...

(Там же. Стр. 335).

Тот же снисходительно-высокомерный тон сохраняет она, заговорив даже о том, для кого О.Э. Мандельштам требовал памятника в каждом московском дворе:

- ▶ Многие не увидели перехода от народной революции, жестокой и дикой, к плановой работе машины. Склонные оправдывать первую фазу перенесли свое отношение на вторую. Таков был и Зощенко, один из прапорщиков революции (по чинам он оказался к 1917 году повыше, но психологически он принадлежал именно к этой категории)... Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить их не мог, потому что свято верил в прогресс и все его красивые следствия. На войне его отравили газами, после войны — псевдофилософским варевом, материалистической настойкой для слабых душ. Где-то мерещилась гимназия с либерализмом и вольничаньем, а на нее наслоилось все остальное. Кризис мысли и кризис образования.

(Там же. 366—367).

Но для Эрдмана и его «Самоубийцы» она нашла другие слова и другую тональность. Совсем было уже изготовившись подверстать его к «двум дикарям», глумившимся над заму-

ченными, раздавленными интеллигентами, она вдруг — невольно — сменила не только тон, но и смысла того, о чем собиралась сказать:

- По первоначальному замыслу пьесы, жалкая толпа интеллигентшек, одетых в отвратительные маски, насаждает на человека, задумавшего самоубийство. Они пытаются использовать его смерть в своих целях — в виде протеста против трудности их существования, в сущности, безысходности, коренящейся в их неспособности найти свое место в новой жизни. Здоровый инстинкт жизни побеждает, и намеченный в самоубийцы, несмотря на то, что уже устроен в его честь прощальный банкет и произнесены либеральные речи, остается жить, начав на хор масок, толкающих его на смерть.

Эрдман, настоящий художник, невольно в полифонические сцены с масками обывателей — так любили называть интеллигентов, и «обывательские разговоры» означало слова, выражающие недовольство существующими порядками, — внес настоящие поразительные и трагические ноты. Сейчас, когда всякий знает и не стесняется открыто говорить о том, что жить невозможно, жалобы масок звучат, как хоры замученных теней. Отказ героя от самоубийства тоже переосмыслился: жизнь отвратительна и непереносима, но надо жить, потому что жизнь есть жизнь... Сознательно ли Эрдман дал такое звучание или его цель была попроще? Не знаю. Думаю, что в первоначальный — антиинтеллигентский или антиобывательский — замысел прорвалась тема человечности. Это пьеса о том, почему мы остались жить, хотя все толкало нас на самоубийство.

*(Н. Мандельштам.
Воспоминания. Стр. 387—388).*

По отношению к Ильфу и Петрову Надежда Яковлевна тожехватила через край. Ее утверждение, что Васисуалий Лоханкин должен был типизировать основные черты интеллигента, предвидящего трагические последствия добровольного отказа от гуманизма, может вызвать только улыбку.

Лучшим ответом на это ее предположение может служить сцена знакомства главного героя романа с этим их комическим персонажем:

► — Ах, — сказал Лоханкин проникновенно, — ведь в конце концов кто знает? Может быть, так надо. Может быть, именно в этом великая сермяжная правда.

— Сермяжная? — задумчиво повторил Бендер. — Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?

— Из пятого, — ответил Лоханкин.

— Золотой класс. Значит, до физики Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни?

*(И. Ильф, Е. Петров.
Собрание сочинений. Т. 2.
М. 1961. Стр. 156).*

Реплика Лоханкина о великой сермяжной правде, вызвавшая эту ироническую реакцию Остапа (ирония эта, конечно, и авторская тоже), была брошена им по поводу коллективной порки, которую ему учинили соседи по коммунальной квартире за то, что он регулярно забывал гасить в уборной свет:

► «А может быть, так и надо, — думал он, дергаясь от ударов и разглядывая темные, панцырные ногти на ноге Никиты. — Может, именно в этом искупление, очищение. Великая жертва...» И, покуда его пороли, покуда Дуня конфузливо смеялась, а бабушка покри-

кивала с антресолей: «Так его, болезного, так его, родименького!» – Васисуалий Андреевич сосредоточенно думал о значении русской интеллигенции и о том, что Галилей тоже потерпел за правду.

(Там же. Стр. 155).

Сцена эта – пародийное отражение знаменитой фразы Н.К. Михайловского, который заявил однажды, что не стал бы особенно негодовать, ежели бы его высекли. «Мужиков же секут...» – сказал он.

Так что же? Не так уж, значит, была далека от истины Надежда Яковлевна Мандельштам, утверждая, что Васисуалий Лоханкин, который до физики Краевича не дошел, – злая пародия на российского интеллигента?

Да, пожалуй, с некоторой натяжкой это можно признать. Но даже если это и так, то это была пародия совсем не на того интеллигента, который предвидел и предупреждал, что отказ от гуманизма до добра не доведет, и упрямо противостоял человеконенавистническому режиму. **Этому** интеллигенту даже его традиционное народолюбие не помешало сохранить внутреннюю свободу, остаться независимым, не рассматривать случившееся как некую историческую неизбежность.

В Лоханкине персонифицированы черты интеллигента совсем другого, противоположного толка. Того, кто готов был принять и оправдать любое свинство, совершающееся в стране, в том числе и над ним самим.

Вот, стало быть, как на самом деле рассматривается в романе Ильфа и Петрова тема – «Васисуалий Лоханкин и его роль в русской революции».

В пьесе Николая Эрдмана «Самоубийца» роль интеллигенции в русской революции, – вернее, той интеллигенции, которую олицетворяют ее персонажи, – изображается и трактуется иначе:

► Аристарх Доминикович. А позвольте спросить вас, Егор Тимофеевич: кто же сделал, по-вашему, революцию?

Егор ушка. Революцию? Я. То есть мы.

Аристарх Доминикович. Вы сужаете тему, Егор Тимофеевич. Разрешите, я вам поясню свою мысль аллегорией... Так сказать, аллегорией звериного быта домашних животных.

Все. Просим!.. Просим!..

Аристарх Доминикович. Под одну сердобольную курицу подложили утиные яйца. Много лет она их высиживала. Много лет согревала своим теплом, наконец высидела. Утки вылупились из яиц, с ликованием вылезли из-под курицы, ухватили ее за шиворот и потащили к реке. «Я ваша мама, — вскричала курица, — я сидела на вас. Что вы делаете?» «Плыви», — заревели утки. Понимаете аллегорию?

Голоса. Чтой-то нет. Не совсем.

Аристарх Доминикович. Кто, по-вашему, эта курица? Это наша интеллигенция. Кто, по-вашему, эти яйца? Яйца эти — пролетариат. Много лет просидела интеллигенция на пролетариате, много лет просидела она на нем. Все высиживала, все высиживала, наконец высидела. Пролетарии вылупились из яиц. Ухватили интеллигенцию и потащили к реке. «Я ваша мама, — вскричала интеллигенция. — Я сидела на вас. Что вы делаете?» «Плыви», — заревели утки. «Я не плаваю». «Ну, лети». «Разве курица птица?» — сказала интеллигенция. «Ну, сиди». И действительно посадили. Вот мой шурин сидит уже пятый год. Понимаете аллегорию?

Зинка Падеспань. Что же здесь не понять? Он казенные деньги растратил, наверное.

Аристарх Доминикович. Деньги — это дедаль... Вы скажите, за что же мы их высиживали? Знать

бы раньше, так мы бы из этих яиц... Что бы вы, гражданин Подсекальников, сделали?

Семен Семенович. Гоголь-моголь.

Аристарх Доминикович. Вы гений, Семен Семенович. Золотые слова.

(Н. Эрдман. *Самоубийца*.
Екатеринбург. 2000. Стр. 168–170).

Реплика Зинки Падеспань насчет того, что шурин Аристарха Доминиковича сидит, наверное, за то, что растратил казенные деньги, несколько снижает пафос этого его монолога. А уклончивый ответ Аристарха Доминиковича на это предположение даже наводит на мысль, что и сам Аристарх Доминикович, быть может, такой же липовый интеллигент, как не дошедший до физики Краевича Васисуалий Лоханкин.

Может, оно и так. Но одно несомненно. В отличие от Васисуалия Лоханкина, который несет всякую чепуху, эрдмановский Аристарх Доминикович **сказал правду**.

Многие интеллигенты в то время уже сидели, и совсем не за то, что растратили казенные деньги. Кто — на Соловках, а кто — в каком-нибудь Енисейске, где вскоре окажется и сам автор «Самоубийцы».

Но дело даже не в том, где и за что уже сидели тогда многие российские интеллигенты, а в горькой правде самой этой аллегории Аристарха Доминиковича.

Кстати, горькую эту правду в то время — и даже несколько раньше — высказывал интеллигент куда более высокого разбора, чем этот эрдмановский персонаж. И тоже в форме «аллегии звериного быта домашних животных»:

- Кажется, принято шутить и слегка вольничать словом.

Итак.

Когда случают лошадей, — это очень неприлично, но без этого лошадей бы не было, — то часто кобыла

нервничает, она переживает защитный рефлекс (вероятно, путаю) и не дается.

Она даже может лягнуть жеребца.

Заводский жеребец (Анатолий Куракин) не предназначен для любовных неудач.

Его путь усеян розами, и только переутомление может прекратить его романы.

Тогда берут малорослого жеребца, — душа у него может быть самая красивая, — и подпускают к кобыле. Они флиртуют друг с другом, но как только начинают сговариваться (не в прямом значении этого слова), бедного жеребца тащат за шиворот прочь, а к самке подпускают производителя.

Первого жеребца зовут пробником.

В русской литературе он обязан еще после этого сказать несколько благородных слов.

Ремесло пробника тяжелое, и говорят, что иногда оно кончается сумасшествием и самоубийством.

Оно — судьба русской интеллигенции...

В революции мы сыграли роль пробников.

*(В/ Шкловский. ЗОО
или Письма не о любви. Л., 1924.).*

К главному герою эрдмановского «Самоубийцы» Семену Семеновичу Подсекальнику это не относится. На мысль о самоубийстве его толкнули обстоятельства, ничего общего с этой драмой русской интеллигенции не имеющие. Но и он, как это довольно скоро выяснилось, совсем не так прост, как это могло нам показаться по тем картинам пьесы, в которых он является перед нами впервые.

О том, что он решил покончить с собой, Семен Семенович объявляет сдуру. На самом деле кончать с собой он как будто даже и не собирается. Все это — не более чем пустая болтовня. Но обстоятельства складываются так, что эта бол-

товня может обернуться для него реальностью. И вот — перед нами уже совсем другой человек.

- Семен Семенович. Как вы думаете, молодой человек? Ради бога, не перебивайте меня, вы сначала подумайте. Вот представьте, что завтра в двенадцать часов вы берете своей рукой револьвер. Ради бога, не перебивайте меня. Хорошо. Предположим, что вы берете... и вставляете дуло в рот. Нет, вставляете. Хорошо. Предположим, что вы вставляете. Вот вставляете. Вставили. И как только вы вставили, возникает секунда. Подойдемте к секунде по-философски. Что такое секунда? Тик-так. Да, тик-так. И стоит между тиком и таким стена. Да, стена, то есть дуло револьвера. Понимаете? Так вот дуло. Здесь тик. Здесь так. И вот тик, молодой человек, это еще все, а вот так, молодой человек, это уже ничего. Ни-че-го. Понимаете? Почему? Потому что тут есть собачка. Подойдите к собачке по-философски. Вот подходите. Подошли. Нажимаете. И тогда раздается пиф-паф. И вот пиф — это еще тик, а вот паф — это уже так. И вот все, что касается тика и пифа, я понимаю, а вот все, что касается така и пафа, — совершенно не понимаю. Тик — и вот я еще и с собой, и с женою, и с тещею, с солнцем, с воздухом и водой, это я понимаю. Так — и вот я уже без жены... хотя я без жены — это я понимаю тоже, я без тещи... ну, это я даже совсем хорошо понимаю, но вот я без себя — это я совершенно не понимаю. Как же я без себя? Понимаете, я? Лично я. Подсекальников. Че-ло-век. Подойдем к человеку по-философски. Дарвин нам доказал на языке сухих цифр, что человек есть клетка. Ради бога, не перебивайте меня. Человек есть клетка. И томится в этой клетке душа. Это я понимаю. Вы стреляете, разбиваете выстрелом клетку, и тогда из нее вылетает душа. Вылетает. Летит. Ну, конечно, летит и кричит: «Осанна! Осанна!» Ну, конечно, ее подзывает Бог. Спрашивает:

«Ты чья»? — «Подсекальникова». — «Ты страдала?» — «Я страдала». — «Ну, пойдй же попляши». И душа начинает плясать и петь. (Поет.) «Слава в вышних Богу и на земле мир и в человецех благоволение». Это я понимаю. Ну а если клетка пустая? Если души нет? Что тогда? Как тогда? Как, по-вашему? Есть загробная жизнь или нет? Я вас спрашиваю? (Трясет его.) Я вас спрашиваю — есть или нет? Есть или нет? Отвечайте мне. Отвечайте.

(Н. Эрдман. *Самоубийца*.
Екатеринбург. 2000. Стр. 158—159).

Этот монолог Семена Семеновича разрешается сценой отчасти комической: выясняется, что молодой человек, к которому он обращается с этим своим монологом и которого трясет, требуя от него ответа, — **глухонемой**. Но это комедийное разрешение сцены не отменяет и даже не снижает ее трагического пафоса. Ведь дело тут совсем не в том, насколько глубоки и серьезны эти мысли Семена Семеновича. Заражает, завораживает нас тут, конечно, и форма выражения этих его мыслей, убийственная их конкретность. Но главное тут даже и не это, а то, что эти мысли — **его собственные**. И что осенили они его, пришли ему в голову, наверно, **впервые в жизни**.

Л.Н. Толстой сказал однажды:

- ▶ — Если человек научился думать, — про что бы он ни думал, — он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А — какие же истины, если будет смерть?

(М. Горький. *Лев Толстой*.
В кн.: М. Горький. *Полное собрание сочинений*.
Т. 16. М., 1973. Стр. 291).

Задумавшись о своей смерти, Семен Семенович Подсекальников **начал учиться думать**. А начав, уже не смог остановиться. И тут появились у него и другие мысли, кото-

рые раньше тоже не приходили — не могли прийти — ему в голову. Например, мысль о его, Семена Семеновича Подсекальникова, роли в русской революции.

Васисуалий Лоханкин, как мы помним, тоже любил поразмышлять на эту тему. Это была его любимая игра. Но вот именно что — игра. Имитация мыслительного процесса.

А Подсекальников действительно размышляет, думает. Думает вслух. И мысли, которые у него в процессе этого думанья возникают, это не чьи-нибудь, а — **его собственные мысли:**

► Аристарх Доминикович... Нужно помнить, что общее выше личного, — в этом суть всей общественности.

Семен Семенович. Что такое общественность — фабрика лозунгов. Я же вам не о фабрике здесь говорю, я же вам о живом человеке рассказываю... Что же вы мне толкуете: «общее», «личное». Вы думаете, когда человеку говорят: «Война. Война объявлена», вы думаете, о чем спрашивает человек, вы думаете, человек спрашивает — с кем война, почему война, за какие идеалы война? Нет, человек спрашивает: «Какой год призывают?» И он прав, этот человек.

Аристарх Доминикович. Вы хотите сказать, что на свете не бывает героев.

Семен Семенович. Чего не бывает на свете, товарищи. На свете бывает даже женщина с бородой. Но я говорю не о том, что бывает на свете, а только о том, что есть. А есть на свете всего лишь один человек, который живет и боится смерти больше всего на свете.

Александр Петрович. Но ведь вы же хотели покончить с собой.

Аристарх Доминикович. Разве вы нам об этом не говорили?

Семен Семенович. Говорил. Потому что мысль о самоубийстве скрашивала мою жизнь. Мою скверную жизнь, Аристарх Доминикович, нечеловеческую жизнь. Нет, вы сами подумайте только, товарищи: жил человек, был человек и вдруг человека разжаловали. А за что? Разве я уклонился от общей участи? Разве я убежал от Октябрьской революции? Весь Октябрь я из дому не выходил. У меня есть свидетели. Вот я стою перед вами, в массу разжалованный человек, и хочу говорить со своей революцией: что ты хочешь? Чего я не отдал тебе? Даже руку я отдал тебе, революция, правую руку свою, и она голосует теперь против меня. Что же ты мне за это дала, революция? Ничего... Даже тогда, когда наше правительство расклеивает воззвания «Всем! Всем! Всем!», даже тогда не читаю я этого, потому что я знаю — всем, но не мне. А прошу я немногого. Все строительство наше, все достижения, мировые пожары, завоевания — все оставьте себе. Мне же дайте, товарищи, только тихую жизнь и приличное жалованье...

Александр Петрович. Не давайте ему говорить, товарищи.

Аристарх Доминикович. То, что он говорит, это контрреволюция.

Семен Семенович. Боже вас упаси. Разве мы делаем что-нибудь против революции? С первого дня революции мы ничего не делаем. Мы только ходим друг к другу в гости и говорим, что нам трудно жить. Потому что нам легче жить, если мы говорим, что нам трудно жить. Ради бога, не отнимайте у нас последнего средства к существованию, разрешите нам говорить, что нам трудно жить. Ну хотя бы вот так, шепотом: «Нам трудно жить». Товарищи, я прошу вас от имени миллиона людей: дайте нам право на шепот. Вы за стройкою даже его не услышите. Уверяю вас. Мы всю жизнь свою шепотом проживем... Ну, так в чем же тог-

да вы меня обвиняете? В чем мое преступление? Только в том, что живу. Я живу и другим не мешаю, товарищи. Никому я на свете вреда не принес. Я козявки за всю свою жизнь не обидел.

(Там же. Стр. 213–216)

Тут Эрдман действительно смыкается с Зоценко. Но не приметями «жаргонной прозы», о которой с таким пренебрежением говорит Всеволод Иванов, а необычайно близким к зоценковскому отношением к тем людям, которых он изображает, которых как будто бы сатирически разоблачает, над которыми, казалось бы, даже глумится.

Уникальный зоценковский стиль, этот пресловутый его «жаргон» был понят и трактовался современниками, как инструмент сатиры, — едва ли не самый действенный инструмент, с помощью которого Зоценко так талантливо, так убийственно разоблачает, дискредитирует объект своей сатиры — так называемое мурло мещанина.

- ▶ Цель его сатиры — добытчики личного счастья, люди однобоких качеств, умеющие только брать, принимающие за должное все, что они получают, не желающие давать ни крошки того, что от них требуют. Приобретатели личных благ, иногда лирические, иногда грубые, изредка хитроумные, всегда алчно-практичные. По этой вбетонированной в обывательщину цели Зоценко бьет всем разнообразием своего оружия.

(К. Федин).

На самом же деле — теперь это не так уж трудно увидеть — Зоценко не бьет, не уничтожает и даже не унижает своего героя-обывателя (тот и без того, самим своим положением в мире достаточно унижен). Он **входит в его положение**. И искренне ему сочувствует:

- В 1921 году, в декабре месяце приехал из армии в родной свой городок Иван Федорович Головкин.

А тут как раз нэп начался. Оживление. Булки стали выпекать. Торговлишка завязалась. Жизнь, одним словом, ключом забила.

А наш приятель Головкин, несмотря на это, ходит по городу безуспешно. Помещения не имеет. И спит по субботам у знакомых. На собачьей подстилке. В передней комнате.

Ну и, конечно, через это настроен скептически.

— Нэп, — говорит, — это форменная утопия. Полгода, — говорит, — не могу помещения отыскать.

В 1923 году Головкин все-таки словчился и нашел помещение. Или он въездные заплатил, или вообще фортуна к нему обернулась, но только нашел.

Комната миленькая. Два окна. Пол, конечно. Потолок. Это все есть. Ничего против не скажешь.

А очень любовно устроился там Головкин. На шпалеры разорился — оклеил. Гвозди куда надо приколотил, чтоб уютней выглядело. И живет, как падишах.

*(М. Зощенко. Нервные люди.
Рассказы и фельетоны. 1925—1930.
М., 2008. Стр. 327—328).*

Недолго, однако, пришлось Ивану Федоровичу Головкину наслаждаться этой своей жизнью падишаха:

- Только вдруг в квартире ропот происходит. Дамы мечутся. Кастрюльки чистят. Углы подметают...

Комиссия приходит из пяти человек. Помещение осматривает.

Увидела комиссия разную домашнюю требуху в квартире — кастрюли и пиджаки — и горько так вздохнула.

— Тут, — говорит, — когда-то Александр Сергеевич Пушкин жил. А тут наряду с этим форменное безобразие наблюдается. Вон метла стоит. Вон брюки висят — подтяжки по стене развеваются. Ведь это же прямо оскорбительно для памяти гения!

Ну, одним словом, через три недели выселили всех жильцов из этого помещения.

Головкин, это верно, очень ругался. Крыл. Выражал свое особое мнение открыто, не боясь никаких последствий.

— Что ж, говорит, это такое? Ну пушай он гений. Ну пушай стишки сочинил: «Птичка прыгает на ветке». Но зачем же средних людей выселять? Это же утопия, если всех жильцов выселять.

(Там же. Стр. 328—329).

Может показаться, что слово «утопия» тут возникло как некая краска знаменитого зощенковского «жаргона». Что оно, как это обычно бывает у Зощенко, явилось тут как следствие непонимания Иваном Федоровичем Головкиным смысла некоторых произносимых им слов. Но на самом деле слово это тут как нельзя более уместно. Недаром одно серьезное социологическое исследование о природе советского режима так прямо и называлось: «Утопия у власти».

Так ли, сляк ли, но суть дела в том, что таких безобидных, ни в чем не провинившихся Иванов Федоровичей Головкиных повсеместно выселяли и в конце концов выселили. Не только из квартиры — **из жизни**. Об этом и вопил своими рассказами и повестями Михаил Зощенко. Да, дескать, я понимаю, совершается великое историческое действие. Но зачем «средних людей выселять»? Всем сердцем, всей душой был он на стороне этих «средних людей».

Об этом же вопит и Эрдман устами своего Подсекальникова.

Более чем внятно, яснее ясного сказал он своим «Самоубийцей», что так называемая революция (надо бы сказать — власть, прикрывающаяся этим словом) угнетает, давит, мордует не только торговлю, интеллигенцию, религию, но и вот этого самого «среднего человека», который вовсе даже и не думает с этой властью враждовать, а хочет только одного: чтобы ему позволили жить. Но — нет! Не дают! Не позволяют!

Подсекальников, в начале пьесы заявленный как фигура комическая, к финалу ее достигает высот подлинной трагедии, не то что близкой, а по сути даже тождественной той, которую век назад обнажили Гоголь своей «Шинелью» и Пушкин своим «Медным всадником».

Этим душераздирающим монологом Подсекальникова пьеса, в сущности, завершается. Но это — не самый ее финал.

Начавшаяся как фарс, заключается она выплеском уже не мнимой, только лишь называемой, а реальной, на деле совершившейся трагедии:

► ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Вбегает Виктор Викторович.

Виктор Викторович. Федя Петунин застрелился. (Пауза.) И оставил записку.

Аристарх Доминикович. Какую записку?

Виктор Викторович. «Подсекальников прав. Действительно жить не стоит».

Траурный марш.

Занавес.

(Н. Эрдман. Самоубийца.
Екатеринбург. 2000. Стр. 216).

Сталин, конечно, ничего этого в эрдмановском «Самоубийце» не прочел. (Если бы прочел, не сказал бы, что Эрдман

«мелко берет, поверхностно берет».) Но при всем при этом у него к этой эрдмановской пьесе был дополнительный, свой, личный, особый счет.

* * *

Письмо Сталина Станиславскому начиналось так:

- ▶ Я не очень высокого мнения о пьесе «Самоубийство».

На самом деле, как мы знаем, пьеса, о которой шла речь, называлась не «Самоубийство», а — «Самоубийца».

Что же это? Небрежность? Ошибка памяти? Результат невнимательного прочтения пьесы? Может быть, лучший друг писателей ее даже и не прочел, а так, проглядел, потому и названия ее толком не запомнил?

Нет, я думаю, что в этой ошибке Сталина выразилось **его понимание** пьесы Эрдмана, его **трактовка** ее. И нельзя сказать, чтобы эта трактовка была совсем далека от того смысла, который хотел вложить в эту свою пьесу (или так уж у него получилось) сам автор.

Особый интерес тут представляет отзыв Реперткома, на который в своем письме Станиславскому ссылается Сталин

- ▶ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОГО СТАЛИНУ
ОТЗЫВА ГЛАВРЕПЕРТКОМА
ГАНДУРИНА О ПЬЕСЕ
ЭРДМАНА «САМОУБИЙЦА».

5 ноября 1931 г.

Главное действующее лицо пьесы Эрдмана «Самоубийца» — Федя Петунин.

О нем говорят в течение всей пьесы, но он ни разу на сцену не появляется.

Петунин, единственный положительный персонаж пьесы (писатель, прозрачный намек на Маяковского), кончает самоубийством и оставляет записку: «Подсекать прав, жить не стоит».

В развитие и доказательство смысла этого финала, по сути дела, и построена вся пьеса.

*(Большая цензура.
Писатели и журналисты
в Стране Советов.
1917–1954. М., 2005, стр. 208.)*

С Маяковским у председателя Главреперткома Гандурина были свои счеты. Незадолго до смерти Владимир Владимирович обидел его такой эпитаграммой:

Подмяв моих комедий глыбы,
сидит Главрепертком Гандурин.
— А вы ноктюрн сыграть могли бы
на этой треснувшей бандуре?

Но, объясняя, в чем состоит вредность пьесы Н. Эрмана «Самоубийца», председатель Главреперткома упомянул в своем отзыве о ней Маяковского не для того, чтобы отплатить уже мертвому Маяковскому за эту прошлогоднюю свою обиду. Для ссылки на самоубийство Маяковского у него тут были другие, более серьезные основания, хотя, — если говорить о фактической стороне дела, — самоубийство Феди Петунина у Эрмана отнюдь не являло собой «прозрачный намек» на самоубийство Маяковского и ни в коем случае не могло быть таким намеком:

- ▶ Летом я встретил его (Маяковского. — Б.С.) в Ялте, он выступал на курортном побережье с чтением стихов. Было не особенно жарко, мы гуляли по набережной, он был в каком-то приподнятом ритме, тут же предложил играть в рулетку (игрушечную крохотную

рулетку он носил с собой)... <...> Обедали мы на поплавке... <...> Он то и дело поглядывал на часы, предупредив, что в четыре часа ему нужно звонить в Хосту — там тем летом отдыхала Полонская, быстро поднялся, обещав приехать ко мне в Гурзуф, где отдыхал я и где был назначен очередной вечер его стихов.

Он приехал на другой день вместе с Н. Эрдманом. Редко видел я его таким беззаботным и шаловливым. Они с Эрдманом (которого Маяковский очень уважал и любил) изощрялись в остроумии, дурачились, сгая с камня на камень и состязаясь в длине прыжка (можно ли было здесь превзойти Маяковского?), запускали плоские камешки в море...

Вечер собрал разношерстную публику, которую Маяковский оглядел ироническим взглядом (накануне он рассказывал, какое удовольствие получил от выступления в крестьянском санатории «Ливадия»), добавил, что стихи будет читать по заказу Эрдмана и Маркова, дразня нас и привлекая к нам внимание, как к каким-то невиданно почетным гостям...

На другой день мы встретились у Эрдмана в Ялте в номере гостиницы — Маяковский уезжал... Я почему-то запомнил его у Эрдмана — не то накануне, не то в день отъезда: просторный номер был ярко освещен, Маяковский сидел на фоне широко распахнутой двери — безоблачного неба и сверкающего моря, опираясь на палку и положив голову на руки. Когда он ушел, Эрдман вздохнул: «Вот и уехал Маяковский!»...

...Труппа МХАТа гастролировала в Ленинграде. Приблизительно через месяц после премьеры «Бани» мы собрались в номере гостиницы слушать новую комедию Н. Эрдмана. «Знаешь, в этом номере последний раз останавливался Маяковский», — сказал Николай Робертович. Потом прочел название своей комедии: «Самоубийца».

На другой день, уже в Москве, на вокзале мы услышали огорошивающее известие: «Только что покончила с собой Маяковский».

(П. Марков. Из «Книги воспоминаний».
Цит. по кн.: Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии.
Письма. Документы. Воспоминания
современников. Стр. 310—311).

Итак, пьеса Эрдмана «Самубийца» была завершена, когда Маяковский был еще жив. Стало быть, самоубийство Феди Петунина никак не могло быть намеком на этот, ошарашивший и потрясший современников, его выстрел. Но год спустя, когда Гандурин сочинял и отправлял Сталину свой отзыв на эту пьесу, вполне можно было предположить, что самоубийство Петунина и его предсмертная записка («Подсекальников прав. Действительно жить не стоит»), чего доброго, и в самом деле натолкнет кого-нибудь из зрителей на мысль, что и Маяковский, решив в 1930 году покончить все счета с жизнью, тоже **был прав**.

Такие мысли, кстати, время от времени уже высказывались. И чем дальше, тем чаще, а главное, — тем яснее и определеннее:

► ИЗ СПЕЦСПРАВКИ
СЕКРЕТНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА ГУГБ НКВД СССР
О НАСТРОЕНИЯХ СРЕДИ ПИСАТЕЛЕЙ

С. Буданцев: «Сейчас перед многими из нас стоит вопрос об уходе из жизни. Только сейчас становится особенно ясной трагедия Маяковского: он, по-видимому, видел дальше нас.

(*Власть и художественная интеллигенция*. Стр. 340).

Донесения такого рода Сталину, надо полагать, докладывались.

Особый интерес в этом смысле представляет «Протокол беседы М.М. Зощенко с сотрудником Ленинградского управления НКГБ СССР 20 июня 1944 года».

Таково официальное название этого документа. Но правильнее его было бы назвать «Протоколом беседы сотрудника Ленинградского управления НКГБ СССР с М.М. Зощенко»: вряд ли ведь Михаил Михайлович сам, по доброй воле вдруг заглянул в Ленинградское управление НКГБ СССР и обратился к одному из его сотрудников: давайте, мол, побеседуем. Еще правильнее было бы назвать этот документ **протоколом допроса**, поскольку «беседа» состоит из вопросов, которые задавал Михаилу Михайловичу сотрудник пресловутого управления, и ответов писателя на эти вопросы.

Один из этих вопросов и ответов был такой:

► — Считаете ли вы ясной теперь причину смерти Маяковского?

— Она и дальше остается загадочной. Любопытно, что револьвер, из которого застрелился Маяковский, был ему подарен известным чекистом Аграновым.

— Позволяет ли это предполагать, что провокационно было подготовлено самоубийство Маяковского?

— Возможно. Во всяком случае, дело не в женщинах. Вероника Полонская, о которой было столько разных догадок, говорила мне, что с Маяковским интимно близка не была.

(Власть и художественная интеллигенция. Стр. 515).

Тут не так интересен ответ Михаила Михайловича на вопрос сотрудника управления НКГБ, как **сам вопрос**.

Продиктован он был, разумеется, не надеждой, что М.М. Зощенко приподнимет наконец завесу над тайной гибели Маяковского. Интерес для сотрудника НКГБ тут состоял в

том, чтобы узнать, ЧТО ГОВОРЯТ в писательских кругах об этой загадочной смерти, как ее оценивают. И уж не потому ли этот вопрос был Михаилу Михайловичу задан, что этим интересовалась вышестоящая, а быть может, и самая высокая «инстанция» (так в секретных чекистских донесениях именовался Сталин).

Отношение Сталина к самоубийству — не самоубийству Маяковского, а самоубийству вообще, самоубийству как таковому (поэтому я и думаю, что не случайно он оговорился и пьесу Н. Эрдмана «Самоубийца» в своем письме Станиславскому назвал «Самоубийство»), — так вот, отношение его к самому факту самоубийства (о чем бы самоубийстве ни шла речь) было весьма своеобразным.

Ни тени жалости к человеку, решившему покончить все свои счета с жизнью, ни тени сочувствия, ни малейшего стремления вникнуть в его драму и понять ее не испытывал он, даже когда дело касалось самых близких ему людей.

Только одно чувство в этих случаях терзало его душу: «Как мог он (она) нанести такой удар МНЕ!»

Попытку самоубийства предпринял однажды старший сын Сталина Яков.

О реакции отца на этот поступок брата рассказывает дочь Сталина Светлана:

- ▶ ...Отец был недоволен его переездом в Москву (на этом настаивал дядя Алеша Сванидзе), недоволен его первой женитьбой, его учебой, его характером — словом, всем... Доведенный до отчаяния отношением отца, совсем не помогавшего ему, Яша выстрелил в себя у нас в кухне, на квартире в Кремле. Он, к счастью, только ранил себя, — пуля прошла навылет. Но отец нашел в этом повод для насмешек. «Ха, не попал!» — любил он поиздеваться.

(С. Аллилуева. *Двадцать писем к другу*. М., 1990. Стр. 97).

8 ноября 1932 года выстрелом из револьвера покончила с собой жена Сталина Надежда Сергеевна Аллилуева. Вот что говорит о реакции отца на эту драму та же Светлана:

- ▶ ...Смерть мамы, которую он воспринял как личное предательство, унесла из его души последние остатки человеческого тепла.

(С. Аллилуева. *Только один год.*
М., 1990. Стр. 323).

Личное предательство! Это было главным в той буре чувств, которую вызвало в его душе самоубийство самого близкого ему человека.

Из воспоминаний той же Светланы:

- ▶ Отец был потрясен случившимся. Он был потрясен, потому что он не понимал: за что? Почему ему нанесли такой ужасный удар в спину? Он был слишком умен, чтобы не понять, что самоубийца всегда думает «наказать» кого-то — «вот, мол, на, вот тебе, ты будешь знать!» Это он понял, но он не мог осознать — почему? За что его так наказали?..

И он спрашивал окружающих: разве он был невнимателен? Разве он не любил и не уважал ее как жену, как человека? Неужели так важно, что он не мог пойти с ней лишний раз в театр? Неужели это важно?

Первые дни он был потрясен... Отца боялись оставить одного, в таком он был состоянии. Временами на него находила какая-то злоба, ярость. Это объяснялось тем, что мама оставила ему письмо.

Очевидно, она написала его ночью. Я никогда, разумеется, его не видела. Его, наверное, тут же уничтожили, но оно было, об этом мне говорили те, кто его видел. Оно было ужасным. Оно было полно обвинений и упреков. Это было не просто личное письмо: это было письмо от-

части политическое. И, прочитав его, отец мог подумать, что мама только для видимости была рядом с ним, а на самом деле шла где-то рядом с оппозицией тех лет.

Он был потрясен этим и разгневан и когда пришел прощаться на гражданскую панихиду, то, подойдя на минуту к гробу, вдруг оттолкнул его от себя руками и, повернувшись, ушел прочь. И на похороны он не пошел...

Он ни разу не посетил ее могилу на Новодевичьем.

(С. Аллилуева. Двадцать писем к другу. Стр. 107–108).

Я думаю, что Сталину было не так уж важно, какого рода обвинения и упреки содержались в предсмертном письме его жены. Носили они политический или сугубо личный характер. Неважно, застрелилась она потому, что разошлась с ним по причинам политического свойства или потому, что он не мог (или не хотел) пойти с ней лишний раз в театр. Важно для него было только одно: своим самоубийством она нанесла ему **удар в спину**. И гнев, злоба и ярость, которые охватили его, были рождены тем, что, — в чем бы ни состояло существо их споров и разногласий, — самовольно уйдя из жизни, она сделала так, что последнее слово в этих их спорах осталось за ней.

А он всегда стремился к тому, чтобы при любых обстоятельствах, во всех его спорах и разногласиях с кем бы то ни было, **последнее слово всегда оставалось за ним**.

Ему мало был убить Зиновьева и Каменева, Бухарина и Рыкова. Ему надо было, чтобы они публично признались, что в их борьбе со Сталиным **прав был он. Всегда и во всем**. И когда Томский и Гамарник застрелились, уйдя от публичного судилища и публичных признаний (известно, какой ценой достигаемых) **его правоты**, он наверняка испытал тот же гнев, ту же бессильную злобу и ярость, какие испытал, когда его Надя покончила с собой, избежав последнего объ-

яснения, в котором он, конечно же, сумел бы ей доказать, что всегда и во всем был прав.

Продолжая размышлять о реакции отца на самоубийство матери, Светлана Аллилуева мимоходом замечает:

- ▶ В те времена часто стрелялись. Покончили с троцкизмом, начиналась коллективизация, партию раздирала борьба группировок, оппозиция. Один за другим кончали с собой многие крупные деятели партии. Со всем недавно застрелился Маяковский...

*(С. Аллилуева.
Двадцать писем к другу. Стр. 109).*

Упоминание Маяковского в этом ряду невольно наводит на мысль: уж не считал ли Сталин, что и Маяковский, как покончившая с собой его жена, как покончившие с собой «крупные деятели партии», выстрелив себе в сердце, **тоже совершил по отношению к нему личное предательство?**

Предположение это отнюдь не бессмысленно.

Если вдуматься, для такого отношения к самоубийству Маяковского у Сталина причин было не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем во многих других случаях. Ведь выстрел Маяковского был личным «проколом», личным поражением Сталина. Хотел того Маяковский или нет, но, выстрелив себе в сердце, он громогласно, во весь голос сказал стране и миру, что **не верит в сталинский социализм.**

Об этом я подробно — более подробно, чем здесь, — говорил в главе «Сталин и Маяковский». Но тут счел не лишним обо всем этом напомнить, чтобы пояснить, почему **тема самоубийства**, независимо даже от того, как была бы она решена, уже сама по себе, неизбежно должна была вызвать у Сталина отрицательную и даже раздраженную реакцию. Что же касается Эрдмана, то он не просто прикоснулся к этой болезненной для Сталина теме, но и решал ее в совершенно неприемлемом для Сталина духе. Ведь весь смысл этой его пьесы, — так,

во всяком случае, трактовал это дело председатель Главреперткома, — сводился к ОПРАВДАНИЮ САМОУБИЙСТВА.

Да, конечно, главным героем пьесы и двигателем ее сюжета был не настоящий, а мнимый самоубийца, самозванец. И все это — до поры до времени — выглядело фарсом. Но финал пьесы, ее последняя реплика, сообщающая о реальном самоубийце, оставившем перед смертью записку: «Подсекальников прав, жить не стоит» — действительно бросала на этот фарс тень трагедии.

В общем, что говорить! Причин для запрета пьесы у Сталина было предостаточно.

Тем не менее, он все-таки — на этом этапе — ее не запретил. Согласился «дать театру сделать опыт и показать свое мастерство». И даже как будто благосклонно позволил двум самым знаменитым московским театрам соревноваться: у кого лучше получится. (Так, во всяком случае, интерпретировал разрешение Сталина ставить пьесу Станиславскому Мейерхольд.)

Как и можно было предположить, ничего хорошего из этого не вышло.

* * *

Постановка «Самоубийцы» в Театре имени Мейерхольда была запрещена в октябре 1932 года после закрытого просмотра спектакля комиссией во главе с Л.М. Кагановичем.

А Станиславский прекратил репетиции еще в мае. Начал он репетировать пьесу 16 декабря 1931 года (то есть через месяц после получения сталинского письма). А прекратил 20 мая 1932-го. В отличие от Мейерхольда, который довел спектакль до генеральной репетиции и закрытого просмотра, Станиславским пьеса показана так и не была.

Значит ли это, что он отказался от постановки «Самоубийцы» сам, добровольно, без всякого давления извне?

Трудно сказать.

► Впервые я увидела его, когда в Художественном театре он читал своего «Самоубийцу» труппе.

Первый, даже не смех, а хохот всей нашей тогда такой благовоспитанной труппы раздался на первых же репликах.

Сам автор ждал тишины с каким-то даже отрешенным лицом.

Читал Николай Робертович невозмутимо, ровным голосом, а слушатели давились от смеха: так ясно вставала вся картина «драмы» семьи Подсекальниковых.

Кто-то из наших стариков, кажется, Иван Михайлович Москвин, простонал что-то вроде: «Ох, погоди, дай отдышаться!»

Василий Григорьевич Сахновский рассказывал, что когда Константин Сергеевич и Мария Петровна Лилина слушали «Самоубийцу» у себя в Леонтьевском, «Ка-эС» с 1-го акта смеялся до слез, а через некоторое время попросил сделать маленький перерыв — «сердце заходится».

Из протокола заседания художественного совещания при дирекции МХАТа 1 июня 30-го года:

«Слушали: О пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца».

Постановили: Ввиду того что пьеса Н. Эрдмана представляет собой прекрасный художественный материал и может быть поставлена театром как сатирическое произведение... Раскрывая сатирически проблему быта, такая пьеса дает возможность театру отозваться со всей силой на поставленные нам советской действительностью вопросы, волнующие зрителя»...

Были распределены роли: Подсекальников — Топорков, в остальных ролях — Фаина Васильевна Шевченко, Анастасия Платоновна Зуева, Вера Дмитриевна Бендина... На все другие роли и даже эпизоды — много великолепных артистов. В те времена большие акте-

ры любили играть эпизоды, даже как бы состязались в остроте создаваемого характера.

За постановку этой комедии очень ратовал Абель Софронович Енукидзе — тогдашний секретарь ВЦИК-Ка. Он очень любил Художественный театр, заботился о стариках, об их отдыхе, помогал в сложных ситуациях того времени; но и ему не удалось отстоять этот спектакль. В самом начале работы — запрет...

*(С. Пилявская. Эрдман в Саратове.
Цит. по кн.: Н. Эрдман. Пьесы.
Интермедии. Письма. Документы.
Воспоминания современников. Стр. 331).*

Давление извне, стало быть, все-таки было. И давление, наверно, сильное, если даже Абель Софронович не смог тут ничем помочь.

- ▶ Этот человек был самым близким другом Сталина еще со времен их юности. В середине 30-х годов Енукидзе занимал высокий пост председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК)...

Я никогда не мог понять, на чем зиждется столь тесная дружба Сталина и Енукидзе, людей разительно непохожих друг на друга. Это касалось даже их внешности. Енукидзе был крупным светловолосым мужчиной с приятными и учтивыми манерами. В отличие от прочих сталинских приспешников он мало интересовался своей карьерой. Мне, в частности, известно, что когда в 1926 году Сталин собирался ввести его в Политбюро, ленивый Абель сказал: «Сосо, я так или иначе буду тянуть свою ляжку; ты лучше отдай это место Лазарю (Кагановичу), он так давно стремится его получить!»

Сталин с ним согласился. Он знал, что Авеля не придется подкупать разного рода подачками, что на него можно положиться, не прибегая к специальным по-

щрениям. И, насколько мне известно, в дальнейшем никогда не пытался продвигать его на освобождающиеся посты, а использовал открывавшиеся в Политбюро вакансии в качестве соблазнительной приманки для других.

Теперь, когда я знаю о Енукидзе больше, я склонен думать, что он отказался от членства в Политбюро не потому, что был лишен амбиций, а потому что понимал: нужно быть слишком жестоким и беспринципным человеком, чтобы держаться за место в этом сталинском Политбюро.

Человек по натуре добродушный, Енукидзе любил приходить людям на помощь, и счастливы были те, кому в минуту житейской неудачи приходила спасительная мысль обратиться к нему. ЦИК удовлетворял почти каждую просьбу о смягчении наказания, если только она попадала в руки Енукидзе. Жены арестованных знали, что Енукидзе — единственный, к кому они могут обратиться за помощью. Действительно, многим из них он помогал продуктами питания, направлял к ним врача, когда они или их дети были больны. Сталин обо всем этом знал, но, когда дело касалось Енукидзе, смотрел на такие вещи сквозь пальцы.

Сам я однажды тоже был свидетелем эпизода, который как нельзя лучше характеризует этого человека. В 1933 году, будучи с семьей в Австрии, я узнал, что туда прибыл Енукидзе в сопровождении свиты личных врачей и секретарей. Пробыв некоторое время в медицинской клинике профессора фон Нордена, он отправился отдыхать в Земмеринг, где занял ряд номеров в лучшей гостинице. Как-то, приехав в Вену, мы с женой встретили его возле советского полпредства. Он пригласил нас провести выходной день вместе. По дороге в Земмеринг мы проезжали небольшой городок, где как раз шумела сельская ярмарка со своей

традиционной каруселью и прочими нехитрыми развлечениями. Мы остановили машину и стали свидетелями живописной сцены. Невдалеке от дороги плясала группа терских казаков в национальной кавказской одежде. Завидев наш лимузин, казаки подошли поближе и, явно надеясь на щедрое вознаграждение, исполнили кавказский танец, ловко жонглируя при этом острыми кинжалами. Казаки не подозревали, что они развлекают члена советского правительства, вдобавок настоящего кавказца. Когда танец кончился, один из них приблизился к нашей машине и, с трудом переводя дыхание, протянул свою кавказскую папаху. Енукидзе вынул бумажник и положил в нее стошиллингую купюру. Потом он жестом пригласил всех танцоров подойти поближе и каждого оделил такой же суммой, составлявшей по тем временам пятнадцать долларов — очень немалые деньги. Когда мы двинулись дальше, телохранитель Енукидзе, ехавший с нами, обратился к нему:

— Это же были белоказаки, Авель Софронович!..

— Ну и что же? — откликнулся Енукидзе, заметно покраснев. — Они тоже люди...

Помню, на меня слова Енукидзе произвели большое впечатление... Любой другой за такое поведение лишился бы партбилета, но Авелю все сходило с рук...

Енукидзе не был женат и не имел детей, хотя, казалось, самой природой он был предназначен на роль образцового семьянина. Всю душевную нежность он расточал на окружающих, на детей своих приятелей и знакомых, засыпая их дорогими подарками. В глазах детей самого Сталина наиболее привлекательным человеком был, разумеется, не их вечно угрюмый отец, а «дядя Авель», который умел плавать, катался на коньках и знал массу сказок про горных духов Сванетии и другие кавказские чудеса.

Авель Енукидзе был не только кумиром сталинских детей, но и близким другом его жены, Надежды Аллилуевой. Он дружил еще с ее отцом и знал ее буквально с пеленок. Во многих случаях, когда Аллилуева ссорилась со Сталиным, ему приходилось играть роль миротворца.

(А. Орлов. Тайная история сталинских преступлений. М., 199. Стр. 290—292).

В продолжение этой темы я тут слегка забегу вперед, на короткое время перескочив из этого сюжета в следующий. Можно было бы, конечно, этого не делать, строго придерживаясь хронологической последовательности изложения событий и сохраняя таким образом стройность повествования. Но я не уверен, представится ли мне более удобный повод для обращения к короткому эпизоду, который я собираюсь сейчас изложить.

Год спустя после описываемых событий Николай Робертович Эрдман был арестован и сослан в город Енисейск. (Причины и обстоятельства его ареста и ссылки как раз и составят содержание следующего, второго сюжета моего повествования, в который я сейчас ненароком заскочил.)

А в это время у него был бурный роман с юной красавицей Ангелиной Иосифовной Степановой.

Вообще-то, слово «роман» тут не очень годится. Это была любовь. Быть может, самая большая любовь его жизни. А в жизни Ангелины Иосифовны, пожалуй, можно сказать — единственная.

Времена были совсем не те, что столетие назад, когда жены декабристов отправлялись в Сибирь вслед за ссыльными мужьями. Но отчаянная Ангелина Иосифовна вбила себе в голову, что непременно должна съездить к Николаю Робертовичу в Енисейск, хоть ненадолго скрасить ему его тоскливое ссыльное существование.

Она добилаь невозможного. Сперва свидания с любимым на Лубянке, а потом и разрешения на поездку в Енисейск. Разрешение и на свидание, и на поездку ей выхлопотал не кто иной, как еще всесильный в ту пору Авель Софронович Енукидзе.

Когда дело было уже решено, он спросил у нее, что заставляет ее, восходящую юную звезду самого знаменитого в стране (а может быть, и в мире) театра поступать так опрометчиво, ставя под удар не только все свое театральное будущее, но, может быть, и самую жизнь.

Она ответила:

— Любовь.

Авеля Софроновича этот ее простой и откровенный ответ так поразил, что он не нашел ничего лучшего, чем пригрозить, как бы ей самой при таких старомодных взглядах на жизнь не оказаться в ссылке.

Сказано это было как бы в шутку, но по обстоятельствам того времени шутка была зловещая и при ином раскладе (если бы дело происходило не в 1934-м, а два-три года спустя) вполне могла бы обернуться реальностью.

К этому — слегка затянувшемуся — наброску портрета Авеля Софроновича Енукидзе необходимо добавить, что он был завзятым театралом и уже по одной только этой причине, казалось бы, больше, чем кто другой из сталинских «товарищей, знающих художественное дело», годился на роль «суперарбитра», которому Сталин мог бы вручить судьбу эрммановской пьесы. Но именно поэтому он на эту роль как раз и не годился.

Сталину в этом случае нужен был не склонный к сопереживанию, то есть мягкосердечный, а **бессердечный** (на его языке — «принципиальный») человек. И чем меньше «понимающий художественное дело», — тем лучше.

Такой человек, надо полагать, нашелся (окружение Сталина, как мы знаем, именно из таких и состояло: Авель Енукидзе был там белой вороной), и судьба спектакля была решена.

Кто именно в этом случае был назначен на роль «суперарбитра» и в какой форме был вынесен запрет на продолжение репетиций, мне установить не удалось. Может быть, никакого прямого запрета даже и не было. Но давление безусловно было.

Это видно по контексту, в котором эрдмановский «Самоубийца» постоянно упоминается в письмах Станиславского:

- ▶ ...За «Самоубийцу» боюсь в том смысле, что актеры не поверят в возможность его осуществления, а потому работать будут без энергии, а между тем она наиболее важна с художественной стороны!

*(Из письма К.С. Станиславского Л.М. Леонову
26 сентября 1932 г. К.С. Станиславский.
Собр. соч., т. 8. Стр. 312).*

...Несколько слов о «Самоубийце». Спросите прямо Авеля Софроновича [Енукидзе], ставить нам пьесу или же отказаться? Я стоял за нее ради спасения гениального произведения, ради поддержания большого таланта писателя. Если на пьесу начальство не сможет взглянуть нашими глазами, то выйдет ерунда и затяжка.

*(Из письма К. Станиславского В. Сахновскому.
2 сентября 1934 г. Цит. по кн.: И. Виноградская.
Жизнь и творчество К. С. Станиславского.
Летопись, т. 4, с. 374).*

Да и в самом театре отношение к этой эрдмановской пьесе было далеко не однозначное:

- ▶ ...Однажды осенью 1936 года меня вызвал к себе Константин Сергеевич и целый вечер мы беседовали вдвоем. Он убеждал меня принять к постановке пьесу Эрмана «Самоубийца». Мне с большим трудом уда-

лось убедить его, что это пьеса лживая... Мы спорили четыре часа. Я не сдался. Константин Сергеевич был сильно недоволен мною.

(И. Судаков. *Моя жизнь в труде и борьбе. Воспоминания. Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников.* Стр. 310–311).

Судя по датам, стоящим под этими документами, Станиславский долго еще не оставлял надежду все-таки увидеть «Самоубийцу» на сцене МХАТа.

Но о том, почему в мае 1932 года работа театра над этой эрдмановской пьесой была вдруг прекращена, можно только гадать. И кое-какие догадки на этот счет у меня имеются.

* * *

Между пьесой и поставленным по этой пьесе спектаклем — дистанция огромного размера. Дело это известное. Не случайно с давних времен — в разных странах — существовали две цензуры для произведений драматургического жанра. Одна — литературная, разрешающая (или запрещающая) пьесу, — и другая — театральная, разрешающая (или запрещающая) спектакль.

Причин для такого разделения было множество.

Начать с того, что в спектакле всегда были возможны, можно даже сказать, неизбежны разного рода режиссерские или актерские импровизации.

История мирового театра насчитывает тьму-тьмущую самых знаменитых из них, нередко придававших играемой пьесе совершенно иное звучание, порой имеющее весьма мало общего с тем, какое хотел в нее вложить — и вложил — автор.

При желании я мог бы припомнить и привести здесь немало таких выразительных актерских или режиссерских «отсебятин», но ограничусь только двумя, напрямую связанными с театральной судьбой двух пьес Николая Эрдмана.

В первой его пьесе – «Мандат», принесшей ему славу одного из лучших драматургов страны, был такой, можно сказать, кульминационный эпизод:

▶ Олимп Валерианович. Вы насчет контрреволюции потише, товарищ, у нее сын коммунист.

Иван Иванович. Коммунист?! Пусть же он в милиции на кресте присягнет, что он коммунист.

Олимп Валерианович. Что это значит, Надежда Петровна?

Надежда Петровна. Он, кажется, еще не записался, но он запишется.

Павел Сергеевич. Силянс! Я человек партийный!

Иван Иванович. Теперь я этого, Павел Сергеевич, не испугаюсь.

Павел Сергеевич. Не испугаешься? А если я с самим Луначарским на брудершафт пил, что тогда?

Иван Иванович. Какой же вы, Павел Сергеевич, коммунист, если у вас даже бумаг нету. Без бумаг коммунисты не бывают.

Павел Сергеевич. Тебе бумажка нужна? Бумажка?

Иван Иванович. Нету ее у вас, Павел Сергеевич, нету!

Павел Сергеевич. Нету?

Иван Иванович. Нету!

Павел Сергеевич. А мандата не хочешь?

Иван Иванович. Нету у вас мандата.

Павел Сергеевич. Нету? А это что?

Иван Иванович (*читает*). «Мандат».

Все разбегаются, кроме семьи Гулячкиных.

Павел Сергеевич. Мамаша, держите меня, или всю Россию я с этой бумажкой переарестую...

Надежда Петровна. Неужто у тебя, Павел, и взаправду мандат?

Павел Сергеевич. Прочтите, мамаша, тогда узнаете.

Надежда Петровна. «Мандат»...

Павел Сергеевич. Читайте, мамаша, читайте.

Надежда Петровна (*читает*). «Дано сие Павлу Сергеевичу Гулячкину в том, что он действительно проживает в Кировном тупике, дом № 13, кв. 6, что подписью и печатью удостоверяется».

Павел Сергеевич. Читайте, мамаша, дальше.

Надежда Петровна. «Председатель домового комитета Павел Сергеевич Гулячкин».

Павел Сергеевич. Копия сего послана товарищу Сталину.

Занавес.

(Н. Эрдман. *Самоубийца*.

Екатеринбург. 2000. Стр. 71–72).

В тексте эрдмановской пьесы последняя, заключающая эту сцену реплика была иной. Под занавес совсем уже обалдевший от обладания своим липовым мандатом Гулячкин выкрикивал:

— Копия сего послана товарищу Чичерину!

В то время (дело было в 1925 году) Чичерин был наркомом иностранных дел, и в сложной международной обстановке тех лет имя Чичерина было у всех на слуху. Ничего удивительного поэтому в том, что Гулячкин в транс выкри-

кивал именно его имя, не было. Это даже как-то само собой напрашивалось.

Но на одной из репетиций эта реплика Гулячкина Мейерхольда вдруг смутила:

- ▶ ...когда в 1925 году репетировали «Мандат», то был случай, который теперь покажется совсем неправдоподобным. У Эрдмана Гулячкин, когда выживают жильца, кричит, что копия его мандата послана товарищу Чичерину. Эраст на репетиции это выкрикнул, а Мейерхольд говорит: «Товарищи, все-таки Чичерин такое лицо... Неудобно! Надо кого-нибудь помельче». И предложил заменить Чичерина Сталиным. Так и орал потом Эраст на спектаклях.

(Е. Тяпкина. Как я репетировала и играла в пьесах Н.Р. Эрдмана. В кн.: Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы Воспоминания современников. Стр. 329).

Так эта мейерхольдовская «отсебятина» и вошла в текст пьесы и по сей день именно в таком виде и печатается во всех ее изданиях.

История, конечно, комическая. Но Мейерхольду, когда он потом вспоминал об этой замене, она такой, наверное, не казалась.

Видимо, Э. Гарин, игравший Гулячкина, с таким надрывом выкрикнул эту реплику, что она могла быть воспринята как издевательская по отношению к наркомуну.

На судьбе эрдмановского «Мандата» все это никак не отразилось. Сталин об этом, надо полагать, даже не узнал, а если бы и узнал, не исключено, что эта мейерхольдовская «отсебятина» ему бы даже понравилась.

А вот другая режиссерская импровизация на судьбе игравшегося спектакля сказала самым роковым образом.

На сей раз дело касалось не «Мандата», а «Самоубийцы».

Финальная сцена этой пьесы, в которой Подсекальников объявлял, что отказывается от самоубийства, у Эрдмана завершилась так:

► Пугачев. То есть как проживем? Это что же такое, друзья, разворачивается? Я молчал, я все время молчал, любезные, но теперь я скажу. Ах ты, жулик ты эдакий, ах ты, чертов прохвост! Ты своими руками могилу нам выкопал, а сам жить собираешься. Ну, держись. Я себя погублю, а тебя под расстрел подведу, грабителя. Обязательно подведу.

Раиса Филипповна. Расстрелять его!

Голоса. Правильно.

Семен Семенович. Маша, Машенька! Сефафима Ильинична! Что они говорят? Как же можно... Простите. За что же? Помилуйте! В чем же я виноват? Все, что вы на меня и на них потратили, я верну, все верну, до последней копейки верну, вот увидите. Я комод свой продам, если нужно, товарищи, от еды откажусь. Я Марию заставлю на вас работать, тещу в шахты пошлю. Ну, хотите, я буду для вас христарадничать, только дайте мне жить. *(Встает на колени.)*

Аристарх Доминикович. Какая гадость! Фу!

Семен Семенович *(вскакивая)*. Пусть же тот, кто сказал это «фу», товарищи, пусть он выйдет сюда. *(Вытаскивает револьвер.)* Вот револьвер, пожалуйста, одолжайтесь. Одолжайтесь! Пожалуйста!

Аристарх Доминикович. Что за глупые шутки, Семен Семенович, опустите револьвер. Опустите револьвер, я вам говорю.

Семен Семенович. Испугались, голубчики. Ну, так в чем же тогда вы меня обвиняете? В чем мое преступление? Только в том, что живу.

(Н. Эрдман. Самоубийца. Екатеринбург. 2000. Стр. 215).

Короткая реплика Подсекальникова: «Вот револьвер, пожалуйста, одолжайтесь!» в режиссерской экспликации Мейерхольда разрослась в длинную и весьма выразительную мизансцену, — можно даже сказать, в целую маленькую драму. А на том закрытом спектакле, который приехали смотреть «суперы» во главе с Кагановичем, сцена эта обрела совсем уже скандальный характер.

Вот как рассказывает об этом Игорь Ильинский, игравший в том спектакле роль Подсекальникова:

- ▶ А знаете, почему Мейерхольду запретили «Самоубийцу»? Из-за одной мизансцены, на которой настаивал Всеволод Эмильевич. Ведь спектакль был уже готов полностью. И, как это было заранее оговорено, его должна была принимать комиссия ЦК. Вот приходит комиссия, которую возглавлял, кажется, Каганович. Рассаживаются в первом ряду. А мы репетировали в клубе, где не было подмостков. Актеры и зрители располагались на одном уровне... И вот...

Играем мы спектакль. Некоторые из членов комиссии даже изволят улыбаться в отдельных местах...

Доходит дело до финала. А там у меня (я играл Подсекальникова) есть приблизительно такие слова: «В чем же вы меня обвиняете? В чем мое преступление? Только в том, что я живу. Я живу и другим не мешаю, товарищи! Никому на свете вреда не принес. И если, мол, кто желает вместо меня с собой покончить — вот револьвер, пожалуйста...»

И я протягивал оружие членам комиссии. Они инстинктивно отшатывались.

— «Одолжайтесь. Одолжайтесь, пожалуйста...» — говорил я и клал револьвер таким осторожным манером на пол. Да еще и носком сапога им пододвигал, чтобы удобнее было «одолжаться»...

Тут я заметил, как перекошились лица членов комиссии и они стали переглядываться между собой. И уви-

дел боковым зрением лицо Мейерхольда, на котором можно было прочесть смешанное выражение удовлетворения и ужаса: он, должно быть, понимал, не мог не понять в эту секунду, что спектакль будет закрыт, а с ним вместе — закрыт театр... Закрыли его, правда, несколько позже, но обречен он был с этой самой минутой... Очень я убедительно предлагал им застрелиться из этого самого револьвера...

(А. Хржановский.

Из заметок и воспоминаний о Н.Р. Эрдмане.
В кн.: Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма.
Документы. Воспоминания современников.
Стр. 384—385).

Спектакль «суперы» запретили, и театр Мейерхольда потом был закрыт, разумеется, не поэтому. Все это, надо думать, произошло бы и без этого инцидента. Но режиссерские и актерские импровизации такого рода с точки зрения начальства были, разумеется, недопустимы.

Но театральная цензура, более строгая и бдительная, чем литературная, вводилась, конечно, не из-за них. У нее были более сложные и более важные задачи.

- ▶ Цензура театральная, как правило, строже, чем цензура в области литературы: пьесы, разрешенные к печати, нередко запрещаются для постановки в театре. Цензура распространяется на актерское исполнение, театральный костюм и т.д.

(Цензура театральная.

В кн.: Театральная энциклопедия.
Т. 5. М., 1967. Стр. 675).

Вон оно как! Даже театральный костюм цензура, оказывается, могла запретить. И жизнь показала, что мера эта было совсем не лишней.

Чтобы далеко не ходить за примером, напомним наделавший в свое время много шума спектакль «Доходное место», поставленный молодым Марком Захаровым на сцене театра Сатиры.

Актеры, исполнявшие там главные роли, были одеты в костюмы, мало отличающиеся, — а порой и вовсе ничем не отличающиеся — от современных. И это, конечно, сильно помогло Георгию Павловичу Менглету, игравшему Аристарха Владимировича Вышневецкого, вылепить этот образ так, что этот высокопоставленный чиновник императорской России сильно смахивал на добившегося такого же высокого положения советского или партийного функционера.

Ну, а уж о необходимости цензурного контроля над сценической интерпретацией пьес и говорить нечего. Еще в досоветские времена, в 1901 году в России

- ▶ ...утверждается цензурный надзор за сценическим истолкованием пьес в столичных театрах.

(Там же. Стр. 677).

В 1901 году, когда был учрежден этот специальный цензурный надзор, особенно далеко дело еще не заходило. Но в более поздние времена разгул режиссерской фантазии достиг таких высот, что любой пьесе даже и классического репертуара постановщик мог придать смысл не то что сильно отличающийся, но даже прямо противоположный тому, какой вложил в нее автор.

Из собственных моих зрительских впечатлений такого рода сразу приходит на ум «Горе от ума» на сцене того же театра Сатиры. Чацкого там играл Андрей Миронов, и был этот мионовский Чацкий — страдающий недержанием слов резонер и неврастеник. А Молчалина играл красавец Ширвиндт. И был он так вальяжен и так обаятелен в своем веселом цинизме, что ни у одного из зрителей не могло воз-

никнуть и тени сомнений насчет того, КОГО из этих двоих могла, даже должна была предпочесть Софья.

Мог бы я припомнить и другие, даже более яркие примеры таких, мягко говоря, нетрадиционных интерпретаций пьес классического репертуара. Но останавлиюсь на одном — самом скандальном. Можно даже сказать — самом одиозном.

Я имею в виду знаменитого акимовского «Гамлета».

Этот спектакль Николай Павлович Акимов поставил на сцене московского театра имени Вахтангова. (Премьера состоялась 19 мая 1932 г.)

Более выразительный пример, которым я мог бы проиллюстрировать эту свою мысль, найти было бы трудно. Пожалуй, даже невозможно. Но я решил подробно остановиться именно на этом спектакле еще и потому, что к работе над ним Акимов привлек Николая Робертовича Эрдмана. Так что у меня тут был, так сказать, двойной интерес.

Спектакль, как уже было сказано, назывался «Гамлет». Но правильнее было бы его назвать — «Антигамлет». Потому что главная цель постановщика состояла в том, чтобы опрокинуть, перевернуть, вывернуть наизнанку традиционное, на протяжении столетий сложившееся и утвердившееся прочтение этой великой трагедии Шекспира.

Ничего трагического в этом акимовском «Гамлете» не было и в помине. (Кроме, разумеется, финала, от которого все-таки никуда было не деться.) Сюжетом драмы или, как сказал бы Станиславский, ее сквозным действием стала борьба за престол. А Гамлет являл собой полную противоположность всему тому, что мы привыкли ассоциировать с этим именем.

Не было в этом акимовском Гамлете ни тени колебаний, сомнений, неуверенности, рефлексии. Коротко говоря — ни тени «гамлетизма». Законный наследник датского престола, борющийся за свои наследственные права, предстал перед

зрителями бодрым, веселым и уверенным в себе парнишкой.

Достаточно сказать, что на роль этого своего нетрадиционного Гамлета Акимов взял Анатолия Горюнова — актера отнюдь не трагического, скорее комического плана. В том же сезоне на сцене того же театра он сыграл весельчака и балагура французского солдата Селестена в «Интервенции» Льва Славина. Другие знаменитые его театральные роли — Бенедикт в «Много шуму из ничего», Городничий в «Ревизоре», Санчо Панса в «Дон Кихоте».

И вдруг — Гамлет...

Нечего и говорить, что в этом акимовском Гамлете не было места никакой мистике. Призрак (тень) отца, явившийся Гамлету с того света, чтобы сообщить сыну о совершенном над ним злодействе, трактовался Акимовым как розыгрыш, озорная мистификация, устроенная Гамлетом и его друзьями для того, чтобы закрутить всю интригу возвращения Гамлету подлеишим образом отнятого у него престола.

В соответствующем духе трактовались и все остальные ключевые эпизоды трагедии. А те, что не вмещались в такую трактовку, без долгих размышлений, легко и безжалостно были из нее выброшены.

Сам я этот акимовский спектакль по понятным причинам видеть не мог (в 1933 году мне было шесть лет), поэтому сошлюсь на впечатления, а отчасти даже и оценку одного из первых и, пожалуй, самых талантливых его рецензентов:

► Горацио, какое по себе
 Запятнанное имя я оставляю,
 Когда все так останется неизвестным.

В предсмертной тоске, обращаясь к грядущим поколениям, восклицает эти слова умирающий Гамлет. С тех пор триста лет его имя волновало всех от олимпийски-спокойного Гете до неистового Виссариона Белинского. Но кто снял пятно с Гамлета? Кто рас-

сказал истину о трагической истории принца датского? Кто сделал «все известным»? Каждая эпоха пыталась обелить Гамлета, дать ему защиту и объяснение. Можем ли мы по-своему прочесть Гамлета? Можем ли мы считать, что нам адресованы его предсмертные слова?

Советский режиссер Акимов в вахтанговском театре взялся за такую задачу. Он обратился непосредственно к Шекспиру, минуя тысячеголосый хор комментаторов, которые, по его мнению, запятнали Гамлета до неузнаваемости. О чем твердят комментаторы, даже выдающиеся, даже Гете? Гамлет — это слабость, безволие, бесхарактерность. Гамлет — это тоска, скорбь, суета сует.

— Неправда! — объявляет Акимов. — «Пусть все станет известным». Гамлет — сила, характер, воля. Гамлет — радость, бодрость, жизнь.

«Распалась связь времен. Зачем же я связать ее рожден?» Вильгельм Мейстер Гете в этих словах видит ключ для раскрытия Гамлета. «Дело, возложенное на человека, который не в силах совершить его» — в этом трагедия датского принца.

— Неправда! — утверждает Акимов. — У Гамлета достаточно крепкие и сильные руки, чтобы связать время. Никаких нет у него слабостей, никаких колебаний, никаких интеллигентских «почему» да «зачем». «Распалась связь времен. Я связать ее рожден», — вот как должен произносить эти слова Гамлет. Он не байронический юноша. Он весельчак и храбрец, крепкий боевой парнишка. Вот в чем вопрос.

Акимов хочет «Гамлетом» воспитывать в советском зрителе силу и жизнерадостность, а не слабование и тоску. Благородная задача. Прекрасная мысль.

*(Ю. Юзовский. Перечеркнутый Гамлет.
В кн.: Ю. Юзовский. Спектакли и пьесы.
М. 1935. Стр. 333—334).*

Все это было в духе того времени. Молодой класс-гегемон, законный наследник всех ценностей мировой культуры, все поставит на свое место, все прочтет, КАК НАДО, все тайны и загадки прошлого решит в своем, пролетарском, марксистско-ленинском, а значит, единственно правильном духе.

Но Юзовский был не так примитивен.

Эти фанфары в начале его рецензии были только заправкой, отчасти даже обманкой. Выражаясь языком гегелевской триады, это был ТЕЗИС. За которым должен был последовать АНТИТЕЗИС, а потом, в заключение, как водится — СИНТЕЗ.

Но не только до синтеза, а даже и до антитезиса пока еще далеко. Пока рецензент лишь осторожно добавляет в эту свою бочку меда пару-другую ложек дегтя.

Но чем дальше, тем меньше становится в этой «бочке» меда и тем больше дегтя:

- ▶ Борьба за престол — такая интрига требует препятствий, которые герой преодолевает на пути. Нет таких препятствий в трагедии... Гамлет десять раз мог убить короля и десять раз бичует себя за слабость. Какая уж тут борьба за престол! Гете глубоко заметил, что у Гамлета нет плана, но есть план у Шекспира. Притворное сумасшествие вовсе не нужно для захвата престола, наоборот, оно вызывает подозрительность у короля. Бен-Джонсон и Мелон считали, что притворное сумасшествие — бесцельный план. Верно, поскольку нет плана у Гамлета. Но есть план у Шекспира — притворное безумие, как маска, под которой Гамлет может смело издеваться и ненавидеть... Представление актеров тоже бесцельный план, поскольку Гамлету известно имя убийцы его отца. Но есть план у Шекспира: пойманный в «мышеловку» король дает повод Гамлету разразиться негодованием на пошлость и подлость

людскую. Гамлет выдумывает мнимые препятствия, чтобы отсрочить месть. Но истинных препятствий, на которых была бы испытана активность Гамлета, — нет, нет, значит, и этой драматической линии.

Так рухнет драматический фундамент, и Гамлет, естественно, становится самым слабым звеном спектакля...

(Там же. Стр. 338—339).

Это уже похоже на АНТИТЕЗИС.

А вот и СИНТЕЗ. Точнее — ПОПЫТКА СИНТЕЗА:

- ▶ Центростремительная пьеса превратилась в центробежный спектакль. Постановка — перспектива разрозненных картин, многие из которых сделаны театром и Акимовым с увлекательной смелостью и яркой зрелищностью. Заслуга Акимова, что он хоть и погубил Гамлета, но вывел на свет божий бывшие в загоне образы от Клавдия, в котором Симонов с тонким искусством показал не настоящего, а «примазавшегося» короля, и Полония (Щукин) до Лаэрта (Шихматов) и Гильденштерна и Розенкранца, которые обычно только обслуживали Гамлета, сами оставаясь в тени...

Кроме идеи пьесы, есть идея спектакля, навеянная «Принцессой Турандот». Идея — разоблачение высокого штиля трагедии, издевка над вековой коленопреклоненной почитательностью перед «Гамлетом». Поэтому: невинная Офелия — великосветская потаскушка. Стремительный Лаэрт — галльский петушок. Лукавый Полоний — гороховый шут. Мрачный Гамлет — в ночной сорочке с кастрюлей и огромной морковью. Он же в самом патетическом месте наступает на шлейф королеве. Умиравший Полоний деловито заявляет: «зарезали». Король датский бежит в кальсонах. Пышный Эльсинор показан с заднего двора. Сумасшествие

Гамлета — забава, простой «розыгрыш». И как символ этой пародии — трагическое представление актеров, превращенное в фарс.

(Там же. Стр. 339—340).

Для каждого из персонажей трагедии, на свой лад трактуемых и изображаемых режиссером, рецензент нашел какие-то добрые слова. Даже для невинной Офелии, превращенной в великосветскую потаскушку. Даже в этом гротескном превращении он сумел разглядеть какой-то смысл. И только для одного — главного персонажа трагедии — для Гамлета не нашлось у него ни единого доброго слова.

Впрочем, нет. Одно доброе слово даже для этого «перечеркнутого», вывернутого наизнанку и потому провалившегося Гамлета у него все-таки нашлось:

- ▶ Превосходна сцена выхода Гамлета под проникновенную траурную музыку Шостаковича, который, пожалуй, единственный в этом спектакле не ссорился с Шекспиром.

(Там же. Стр. 339).

Так оно, наверное, и было. Не стану же я, — не видевший этого спектакля, — спорить с тем, кто был в числе его зрителей.

Но одну поправку в эту тактичную реплику (тактичную, скорее, по отношению к Шостаковичу, чем к Акимову или Горюнову) я все-таки осмелюсь внести.

Был, был в этом спектакле еще один человек, не пожелавший ссориться с Шекспиром.

Этим вторым (кроме Шостаковича) участником спектакля, умудрившимся не поссориться с Шекспиром, был Николай Робертович Эрдман.

Ему Акимов заказал для этого спектакля две интермедии. И Эрдман этот заказ реализовал с присущим ему мастерством. Я бы даже сказал — с блеском.

Первая интермедия являла собой диалог Гамлета с Розенкранцем о труппе бродячих актеров, которых Гамлет собирается пригласить, чтобы они разыграли перед королем Клавдием и его свитой сцену так называемой «Мышеловки».

Действие второй происходит на кладбище. Это — сценарно-диалог двух могильщиков, которых Эрдман изобразил шутами. В отличие от первой она являет собой чистый дивертисмент, набор остроумных реприз, и в сюжет пьесы практически не включена.

Она тоже представляет для нашей темы некоторый интерес, но я остановлюсь только на первой. Главным образом потому, что в ней действует Гамлет, и тут нам особенно интересно будет проследить, КАКОГО Гамлета изобразил в этой своей интермедии Эрдман — искаженного до неузнаваемости акимовского или — настоящего, шекспировского:

► **Розенкранц** ... и они едут сюда предложить вам услуги!

Гамлет. Актеры? Я люблю актеров. Герой, который изображает из себя короля, мне гораздо приятнее, чем король, изображающий из себя героя. Умный шут, играющий маленькую роль на сцене, не лучше ли глупого шута, играющего большую роль при дворе? Первый любовник в театре остается первым любовником до конца представления, даже если между одним актом и другим проходит десять лет... А что это за актеры?

Розенкранц. Те самые, которые вам так нравились. Здешняя городская труппа.

Гамлет. Как это случилось, что они странствуют? Ведь давать представления в одном месте выгоднее и для славы, и для кармана.

Розенкранц. Мне кажется, что это происходит от последних новшеств: раньше зритель приезжал в театр, теперь театр приезжает к зрителю.

Гамлет. Что же, они так же популярны, как в то время, когда я был в городе? Их представления посещаются так же охотно?

Розенкранц. О нет, принц, — много хуже.

Гамлет. Почему? Разве у них изменился репертуар?

Розенкранц. Нет, у них изменилась публика.

Гамлет. Что же, разве новая публика перестала понимать старых авторов?

Розенкранц. Нет, старые авторы перестали понимать новую публику.

Гамлет. Но разве в театре нет новых авторов?

Розенкранц. Есть.

Гамлет. Почему же они не пишут новых пьес?

Розенкранц. Потому что они предпочитают переделывать старые.

Гамлет. Чем вы это объясняете?

Розенкранц. Многие из них, вероятно, смущены проблемой творческого метода, споры о которой не прекращаются в Дании.

Гамлет. Споры о чем?

Розенкранц. О том, что является столбовой дорогой нашей датской литературы. Живой или неживой человек.

Гамлет. К какому же выводу пришли авторы?

Розенкранц. Они решили, что в настоящее время писать о живом человеке — это мертвое дело. Следовательно, нужно писать о неживом человеке, то есть о мертвом. О мертвом же принято либо хорошо говорить, либо не говорить ничего. А так как о том мертвом человеке, о котором они хотели говорить, ничего хорошего сказать нельзя, они и решили пока не говорить ничего.

Г а м л е т. Но есть все-таки новые пьесы, которые нравятся зрителям?

Р о з е н к р а н ц. Есть.

Г а м л е т. Почему же их не играют?

Р о з е н к р а н ц. Потому что они не нравятся критикам.

Г а м л е т. О каких критиках вы говорите?

Р о з е н к р а н ц. О тех, которые играют главную роль во время антракта.

Г а м л е т. И что же, они играют ее хорошо?

Р о з е н к р а н ц. Нет. Они играют свою роль под суфлера, в то время как вся публика уже знает эту роль наизусть.

Г а м л е т. Что же говорят критики?

Р о з е н к р а н ц. Они говорят всегда одно и то же.

Г а м л е т. Что же именно?

Р о з е н к р а н ц. Когда они видят героическую пьесу, они говорят, что этого еще недостаточно, а когда они видят сатирическую пьесу, они говорят, что это уже чересчур.

Г а м л е т. Но ведь в таком случае у авторов есть простой выход из положения.

Р о з е н к р а н ц. Какой?

Г а м л е т. Они должны делать наоборот: в сатирической пьесе говорить недостаточно, а в героической — чересчур.

Р о з е н к р а н ц. Вы совершенно правы, многие этим и занимаются.

Г а м л е т. Что же говорит критика?

Р о з е н к р а н ц. Она говорит, что этого еще чересчур недостаточно. А вот и актеры!

(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 186—187).

Каждая реплика этого диалога отражает жгучую злобу дня. Вот, например, Гамлет спрашивает Розенкранца, так же ли охотно люди теперь посещают театры, как раньше.

— О нет, принц, — отвечает Розенкранц. — Много хуже.

► Г а м л е т. Почему? Разве у них изменился репертуар?

Р о з е н к р а н ц. Нет, у них изменилась публика.

Г а м л е т. Что же, разве новая публика перестала понимать старых авторов?

Р о з е н к р а н ц. Нет, старые авторы перестали понимать новую публику.

О том, как изменилась публика и почему старые авторы перестали ее понимать, Эрдман знал не как человек публики, а как человек театра. У него не было никаких иллюзий насчет того, какой публике должен будет он угодить своей новой пьесой. Более чем ясно мог он это себе представить по тому письму, которое получил от Вс.Э. Мейерхольда 19 марта 1928 года:

► В.Э. МЕЙЕРХОЛЬД Н.Р. ЭРДМАНУ
РСФСР
НКП

Государственный театр
имени Вс. Мейерхольда

19 марта.1928

№ 968 Москва, Б. Садовая, 20.

Уважаемый Николай Робертович,
мы получили от Коллегии Наркомпроса письмо с просьбой не позднее 1 апреля 1928 г. представить репертуарный план на сезон 1928—1929 г. в Главный Репертуарный Комитет, предварительно поставив этот план на утверждение Художественного совета нашего театра.

Просим Вас сообщить нам:

1) можем ли мы рассчитывать на предоставление нам Вашей пьесы, над которой Вы, как нам известно, работаете в настоящее время;

2) когда приблизительно может быть эта пьеса зачитана Вами в нашем театре: сначала составу входящих в Художественный совет артистических сил театра, а потом всем членам Художественного совета (состав Художественного совета прилагается).

Директор театра

Народный артист республики (Вс. Мейерхольд).

Художественный совет Государственного театра имени Вс. Мейерхольда

Представители организаций

1. ВЦСПС – Евреинов
2. ЦК Metallстов – Лепсе
3. ЦК Рабис – Алексеев
4. МГСПС – Дулин
5. Московск. Губотдел металлстов
6. Московск. Губотдел совторгслужащих
7. ЦК ВЛКСМ – Ханин
8. МК ВЛКСМ – Гурвич
9. Коммунистическая Академия
10. Институт красной профессуры
11. Гос. Институт журналистики
12. КУТВ
13. КУНМЗ
14. М.Б. Пролетстуденчества
15. Прохоровская Трехгорная Мануфактура
16. Завод им. Авиахим № 1 (б. Дукс)
17. ПУР
18. ПУОКР
19. Политотдел ОСНАЗ ОГПУ
20. Отдельный стрелковый полк
21. МОДПИК

22. Союз драм. и муз. писателей (Ленинград)
 23. Союз революционных драматургов
 24. Ячейка ВКП(б) ГОСТИМ
 25. Ячейка ВЛКСМ ГОСТИМ
 26. Местком ГОСТИМ – Козиков
- Персонально
1. Бухарин Н.И.
 2. Ворошилов К.Е.
 3. Луначарский А.В.
 4. Яковлева В.Н.
 5. Ходоровский И.И.
 6. Угланов Н.А.
 7. Микоян А.И.
 8. Криницкий А.И.
 9. Милютин В.П.
 10. Свердлов В.М.
 11. Сверчков Д.Ф.
 12. Подвойский Н.И.
 13. Керженцев П.М.
 14. Сарабьянов В.П.
 15. Попов-Дубовской В.С.
 16. Гусман Б.Е.
 17. Раскольников Ф.Ф.
 18. Агранов
 19. Гончарова
 20. Гнесин М.Ф.
 21. Беспалов

*(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии.
Письма. Документы. Воспоминания
современников. Стр. 270—271).*

Виктор Борисович Шкловский однажды сказал, что увидеть на советском экране полноценную кинокомедию никогда не удастся, потому что невозможно представить себе

кинодраматурга, которому удалось бы рассмешить восемнадцать утверждающих сценарий инстанций.

Тут инстанция вроде одна, общая. Но от этого ничуть не легче. Пожалуй, даже труднее.

С грехом пополам еще можно представить себе драматурга, которому удалось создать пьесу, понравившуюся таким разным людям, как Бухарин и Ворошилов, Угланов и Луначарский, Микоян и Агранов, Керженцев и Беспалов. Но мыслимое ли это дело — представить себе пьесу, которая пришлась бы по душе представителям ВЦСПС и ЦК металлистов, ЦК Рабис и МГСПС (Московского городского совета профессиональных союзов), Московского Губотдела металлистов, Московского Губотдела совторгслужащих, ЦК и МК ВЛКСМ, Комакадемии, Института красной профессуры, Государственного Института журналистики, КУТВ (Коммунистического университета трудящихся Востока), КУНМЗ (установить смысл этой аббревиатуры мне не удалось). Представители организаций Пролетстуденчества, Прохоровской Трехгорной мануфактуры, Завода имени Авиахима, ПУРа (Политического управления Реввоенсовета), ПУОКРа (Политического управления округа), Политотдела ОСНАЗа ГПУ, Отдельного стрелкового полка, МОДПИКа, Союза драматических и музыкальных писателей (Ленинград), Союза революционных драматургов, ячейки ВКП(б) ГОСТИМа, ячейки ВЛКСМ ГОСТИМа, Месткома ГОСТИМА...

Мудрено ли, что «старые авторы» перестали понимать эту «новую публику».

И тут у Гамлета возникает такой резонный вопрос:

- ▶ Г а м л е т . Но разве в театре нет новых авторов?
Р о з е н к р а н ц . Есть.
- Г а м л е т . Почему же они не пишут новых пьес?
Р о з е н к р а н ц . Потому что они предпочитают переделывать старые.

Последняя реплика этого короткого диалога — сугубо автобиографическая. Отчасти даже пророческая: писанию новых пьес Эрдман окончательно предпочтет переписывание старых несколько позже. Но эта суровая необходимость в то время перед ним, как видно, уже маячила. Как и перед каждым талантливым современным драматургом.

► — Тетушка моя, Настасья Ивановна, — сказал Иван Васильевич. Приятная старушка посмотрела на меня ласково...

— Зачем изволили пожаловать к Ивану Васильевичу?

— Леонтий Сергеевич, — отозвался Иван Васильевич, — пьесу мне принес.

— Чью пьесу? — спросила старушка, глядя на меня печальными глазами.

— Леонтий Сергеевич сам сочинил пьесу!

— А зачем? — тревожно спросила Настасья Ивановна.

— Как зачем?.. Гм... гм...

— Разве уж и пьес не стало? — ласково-укоризненно спросила Настасья Ивановна. — Какие хорошие пьесы есть. И сколько их! Начнешь играть — в двадцать лет всех не переиграешь. Зачем же вам тревожиться сочинять?

Она была так убедительна, что я не нашелся, что сказать. Но Иван Васильевич побарабанил и сказал:

— Леонтий Леонтьевич современную пьесу сочинил!

Тут старушка встревожилась.

— Мы против властей не бунтуем, — сказала она.

(М. Булгаков. *Записки покойника. (Театральный роман).*

М. Булгаков. *Собрание сочинений в пяти томах.*

Т. 4. М., 1990. Стр. 486—487).

Но и это — характеристика, так сказать, общего положения вещей, каких в эрдмановской интермедии тоже было немало.

Например, о критиках, которые «играют свою роль под суфлера, в то время как вся публика уже знает эту роль наизусть».

И вот это — о них же:

- ▶ Розенкранц. Они говорят всегда одно и то же. Гамлет. Что же именно?

Розенкранц. Когда они видят героическую пьесу, они говорят, что этого еще недостаточно, а когда они видят сатирическую пьесу, они говорят, что это уже чересчур.

Но помимо этих общих убийственных сентенций, есть в этих гамлетовских и Розенкранцевых репризах и другие, более конкретные, нацеленные в определенную и хорошо известную тогдашнему зрителю мишень.

Например, вот эта:

- ▶ Розенкранц. Многие из них, вероятно, смущены проблемой творческого метода, споры о которой не прекращаются в Дании.

Гамлет. Споры о чем?

Розенкранц. О том, что является столбовой дорогой нашей датской литературы. Живой или неживой человек.

Споры о проблеме творческого метода шли в то время, разумеется, не в Дании. И вопрос о том, что является столбовой дорогой, относился не к датской, а к советской, точнее — пролетарской литературе.

Доклад Фадеева, который подразумевала эта реплика, так прямо и назывался: «СТОЛБОВАЯ ДОРОГА ПРОЛЕТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». (Л., Издательство «Прибой», 1929).

И главная проблема, обсуждавшаяся в том основополагающем фадеевском докладе, — «ЦЕНТР НАШИХ СПОРОВ», как обозначил ее докладчик в первом разделе своего доклада, — именовалась именно так: «ПРОБЛЕМА ЖИВОГО ЧЕЛОВЕКА»:

- Мой доклад ставит своей целью наметить в свете современных литературных споров те главнейшие, но пока что самые общие вехи, по которым, на наш взгляд, пройдет столбовая дорога пролетарской литературы...

Мне кажется не случайным, что центр споров, которые велись за истекший год, сосредоточился на той проблеме, которую принято называть проблемой «живого человека» в литературе...

Термин этот — «живой человек» — так часто употреблялся и кстати и некстати, и так сильно его заштамповали, что уже не верится, что действительно за этим самым термином может скрываться что-либо живое. Однако мы не будем сейчас заниматься изобретением нового термина, а посмотрим, что же, собственно, говорилось вокруг пресловутого «живого человека»... Говорилось чрезвычайно и излишне много... Очень много говорилось о «психоложестве». Появился на сцену даже «пассеизм»... И вот, когда пришлось разворошить всю эту шелуху, то оказалось, что наша постановка вопроса о показе живого человека в литературе была все-таки самой простой и самой понятной... Ибо наша постановка вопроса сводилась к тому, что мы находимся еще на такой низкой художественной ступени, что не научились показывать людей во плоти и крови, а показываем их схематически. А нужно показывать их так, чтобы читатель верил в то, что такие люди действительно существуют. Ю. Либединский в свое время совершенно правильно определял этот схематизм, который господствовал и еще далеко не изжит в нашей пролетарской литературе: «У нас люди давались так: вот комиссар такой-то. Ему надлежит обладать такими-то опреде-

ленными чертами. Мы и давали ему такие-то черты и пускали в действие. Дальше — буржуа: ему надлежит обладать вот такими-то чертами. Интеллигент — то же самое: определенный трафарет — и идет в действие...»

Теоретики «Кузницы» на своем совещании говорили так: мол, вапповцы за показ живого человека вообще, а мы, мол, за классового человека. Но недалеко же ушли теоретики «Кузницы», если, имея уже лет по сорок от роду каждый и лет по пятнадцати работая в литературе, восемьдесят лет спустя после открытия Маркса, они продолжают твердить только эту истину.

Да, товарищи, наша постановка вопроса отнюдь не отрицает той элементарной истины, что мы должны показывать классовых, а не выдуманных людей.

Нигде у Маркса не говорится, что классовые люди — не живые люди, а манекены. Именно живые люди — классовые люди. Из этого вы, товарищи, видите, что наша постановка вопроса была все-таки самая простая, самая понятная, и она глубже всяких других проникла в сознание пролетарских писателей.

(А. Фадеев. За тридцать лет.

Избранные статьи, речи и письма о литературе и искусстве. М., 1957. Стр. 13—14).

Вот об этой, с позволения сказать, дискуссии и перебарывались в эрдмановской интермедии своими сардоническими репликами Розенкранц и Гамлет:

► **Г а м л е т.** Споры о чем?

Р о з е н к р а н ц. О том, что является столбовой дорогой нашей датской литературы. Живой или неживой человек.

Г а м л е т. К какому же выводу пришли авторы?

Р о з е н к р а н ц. Они решили, что в настоящее время писать о живом человеке — это мертвое дело. Следовательно, нужно писать о неживом человеке, то

есть о мертвом. О мертвом же принято либо хорошо говорить, либо не говорить ничего. А так как о том мертвом человеке, о котором они хотели говорить, ничего хорошего сказать нельзя, они и решили пока не говорить ничего.

Все это было чистейшей воды издевательством. По терминологии того времени — «контрреволюцией». (Так вскоре и будут официально квалифицированы шуточки Эрдмана, ничуть не более острые, чем эти.) Но своеобразие той эрдмановской интермедии состоит в том, что все эти жгуче злободневные остроты и репризы, всю эту, выражаясь тогдашним языком, «контрреволюцию» вполне мог нести и Гамлет. И не акимовский, вывернутый наизнанку, превращенный в шута горохового, а самый что ни на есть доподлинный, настоящий, шекспировский.

Именно это я и имел в виду, говоря, что Эрдман был единственным — если не считать Шостаковича — соавтором акимовского «Гамлета», который, выполнив назначенную ему в этом спектакле роль, умудрился при этом **не поссориться с Шекспиром**.

Но в таком случае получается странная вещь.

Получается, что текст, произносящийся настоящим, шекспировским Гамлетом, может восприниматься и даже квалифицироваться как «контрреволюционный». (В терминологии, утвердившейся несколько позже, — *антисоветский*.)

Возможно ли такое?

Еще как возможно!

Я даже могу подтвердить это одной невыдуманной историей.

Перед самой войной (мне было четырнадцать лет) я читал роман Фейхтвангера «Изгнание». Эпиграфом ко второй части этого романа был 66-й сонет Шекспира.

Так я прочел этот сонет впервые.

Позже я читал и перечитывал его много раз, в самых разных переводах — Маршака, Пастернака, Бенедиктова и раз-

ных других поэтов, старых и новых. Но самое сильное впечатление он произвел на меня именно тогда. Может быть, поэтому тот перевод (О. Румера) и сейчас мне кажется едва ли не лучшим:

Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе;
Как топчется доверье чистых душ,
Как целомудрию грозят позором,
Как почести мерзавцам воздают,
Как сила никнет перед наглым взором,
Как всюду в жизни торжествует плут,
Как над искусством произвол глумится,
Как правит недомыслие умом,
Как в лапах Зла мучительно томится
Все то, что называем мы Добром.

Поразил меня тогда этот перевод не поэтическими своими достоинствами, а прямо-таки потрясающим совпадением всего того, о чем в нем говорилось, с окружающей меня реальностью. Вряд ли я так уж хорошо осознавал тогда всю полноту этого совпадения. Ведь то, что «над искусством произвол глумится», тогда меня еще мало волновало. И о целомудрии, которому «грозят позором», я тоже не задумывался. Но о том, «как топчется доверье чистых душ», кое-что уже знал. И строка о почестях, которые «мерзавцам воздают», не была для меня абстракцией: она сразу наполнилась живым и вполне конкретным смыслом.

Может быть, я сейчас и преувеличиваю степень моего тогдашнего понимания всех этих, как потом стали у нас говорить, аллюзий. Но как бы то ни было, стихи эти меня тогда поразили до глубины души. Поразили настолько, что я даже переписал их в какую-то свою тетрадку.

Сорок лет спустя я узнал, что точно так же они тогда поразили еще одного московского мальчика, моего сверстни-

ка — Гену Файбусовича. (Теперь он известный писатель — Борис Хазанов.) Гена прочел этот шекспировский сонет в той же книге Фейхтвангера. И тоже был потрясен совпадением нарисованной в нем картины с окружающей его реальностью. И тоже переписал его в какую-то свою тетрадку. Но у меня дело на том и кончилось. А в судьбе Гены этот его поступок сыграл впоследствии весьма важную роль.

Когда несколько лет спустя Гену арестовали, в его бумагах — при обыске — нашли и этот сонет. И в числе прочих изъятых документов инкриминировали его арестованному как «создание и хранение документов антисоветского содержания».

Рассказывая мне об этом, Гена даже припомнил такую выразительную подробность.

Во время одного из допросов в кабинет допрашивающего его следователя заглянул какой-то более высокий чин. Небрежно проглядел Генино дело. Взгляд его задержался на переписанном в Гениной тетрадке шекспировском сонете. Прочитав его, он грозно взглянул на подследственного и произнес:

— Хорош!

Следователь, ведущий дело, угодливо поддакнул. Да, мол, что говорить! Хорош голубчик! Из молодых, да ранний.

И Гена получил свою «десятку».

Когда спустя много лет он рассказал мне об этом, я, естественно, посмеялся над тупостью и невежеством советских следователей, принявших стихи, написанные великим англичанином четыреста лет тому назад, за сочинение московского школьника.

Но Гена пожал плечами и сказал:

— В сущности, они были правы.

Да, они безусловно были правы. И Эрдману не надо было совершать над шекспировским Гамлетом никакого насилия, чтобы вложить в его уста все эти его «контрреволюционные» реплики. Ведь все факты и обстоятельства, о которых там шла речь, служили лишним, дополнительным подтверждением

старой истины, давно уже открывшейся Гамлету и сформулированной им: «Распалась связь времен». Или в другом, пожалуй, более удачном переводе: «Век вывихнул сустав». С тем разве что добавлением, что на этот раз век вывихнул сустав в еще более уродливой и болезненной форме, чем это случилось во времена Шекспира, — о чем с присущей ей исчерпывающей ясностью и внятностью сказала Ахматова:

Двадцать четвертую драму Шекспира
Пишет время бесстрастной рукой.
Сами участники грозного пира,
Лучше мы Гамлета, Цезаря, Лиры
Будем читать над свинцовой рекой;
Лучше сегодня голубку Джульетту
С пеньем и факелом в гроб провожать,
Лучше заглядывать в окна к Макбету,
Вместе с наемным убийцей дрожать,
Только не эту, не эту, не эту,
Эту уже мы не в силах читать!

Я так подробно остановился на этой маленькой — к тому же и явно заказной — интермедии Эрдмана к акимовскому Гамлету, потому что в ней особенно ярко проявилась едва ли не главная особенность его дарования.

Художественный образ по самой природе своей многозначен. Один и тот же персонаж может предстать перед нами на сцене не то что в разном, но даже в полярно противоположном качестве. Тому в истории мы тьму примеров сыщем. Достаточно вспомнить горьковского Луку, которого два великих артиста (к тому же родные братья) Москвин и Тарханов играли не просто по-разному, но с разным, полярно противоположным знаком.

Все это трюизмы и общие места.

Но эта многозначность имеет некий предел. И провал акимовского «Гамлета» продемонстрировал это как нельзя более ясно.

Режиссерскому насилию Акимова поддались все персонажи трагедии. И некоторые из них (лукавый царедворец Полоний, «галльский петушок» Лазерт и даже ставшая «светской потаскушкой» Офелия), по мнению рецензента, от этого даже выиграли, обретя новые, живые краски. Проиграл (собственно, провалился) только Гамлет.

Случилось это потому, что Гамлета нельзя сыграть плоско.

И именно это — при всей несопоставимости художественной основы пьесы — случилось и с эрдмановским «Самоубийцей».

Выяснилось, что и его невозможно поставить и сыграть плоско, как это обещал Сталину Станиславский.

* * *

Вот как он объяснял вождю свое желание во что бы то ни стало поставить эту пьесу на сцене руководимого им театра:

- ▶ ...Художественный театр глубоко заинтересован пьесой Эрдмана «Самоубийца», в которой театр видит одно из значительнейших произведений нашей эпохи. На наш взгляд, Николаю Эрдману удалось вскрыть разнообразные проявления и внутренние корни мещанства, которое противится строительству страны.

Прием, которым автор показал живых людей мещанства и их уродство, представляет подлинную новизну, которая, однако, вполне соответствует русскому реализму в ее лучших представителях, как Гоголь, Щедрин, и близок традициям нашего театра.

(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 283).

Объясняя свое желание поставить эту пьесу Эрдмана стремлением «вскрыть разнообразные корни мещанства,

которое противится строительству страны», Константин Сергеевич слегка лукавил. На самом деле пьеса пленила его совсем другими своими качествами.

28 марта 1931 года П.А. Марков писал Вл.И. Немировичу-Данченко:

- ▶ Насчет «Самоубийцы» открылись новые возможности, т. к. Алексей Максимович имеет предварительную договоренность о разрешении МХАТу (и только МХАТу) репетировать пьесу. Нужно только ждать ответа на письмо К. С., которому пьеса очень понравилась и который считает, что она близка к гениальности.

*(И. Виноградская.
Жизнь и творчество К.С. Станиславского.
Летопись, т. 4. Стр. 255).*

Вряд ли Станиславский считал, что пьеса Эрдмана «близка к гениальности», потому что она дает возможность «вскрыть разнообразные корни мещанства, которое противится строительству страны».

Надо полагать, он видел в ней и какие-то другие достоинства.

В другой раз, уже не в чьей-то передаче, а собственными своими словами он высказался о ней с еще большей определенностью:

- ▶ Я стоял за нее ради спасения гениального произведения, ради поддержания большого писателя.

*(Из письма К. Станиславского В. Сахновскому.
2 сентября 1934 г. Цит. по: И. Виноградская.
Жизнь и творчество К.С. Станиславского.
Летопись, т. 4. Стр. 471).*

Убедить Сталина, что постановка «Самоубийцы» на сцене МХАТа поможет «вскрыть корни мещанства, которое противится строительству страны», видимо, казалось Ста-

ниславскому единственной возможностью СПАСТИ гениальное произведение, поддержать большого писателя.

Но ничего хорошего выйти из этого, разумеется, не могло.

Прежде всего, потому что ему самому это было не под силу.

Из числа «товарищей, знающих художественное дело», кто первым ознакомился с пьесой Эрдмана «Самоубийца» и дал Сталину о ней свое заключение, был Александр Иванович Стецкий — в то время заведующий Агитпропом ЦК ВКП(б). (Впоследствии — в 1938-м — конечно, расстрелянный.)

Заключение это по тем временам было довольно либеральным:

► Тов. Сталин,
пьеса «Самоубийца» Эрдмана сделана талантливо и остро. Но она — искусственна и двусмысленна.

Любой режиссер может ее целиком повернуть против нас. Поэтому эту пьесу, ее постановку можно разрешить в каждом отдельном случае в зависимости от того, какой театр и какой режиссер ее ставит.

С коммунистическим прив[етом],

А. Стецкий

(Большая цензура. Писатели и журналисты в Стране Советов. 1917–1956. Документы. М., 2005. Стр. 207).

Заключение это было не только либеральным, но и довольно-таки пронизательным. Тут ведь и в самом деле много зависело от того, какой режиссер возьмется ставить спектакль. Вполне можно представить себе постановщика, который увидел бы в персонажах пьесы жалких, пустых, никчемных людей, — как говорилось в старину, «небокопителей», — и искренно и даже талантливо разоблачил их.

Но Станиславский на эту роль решительно не годился.

По главному свойству своего художественного дарования он всегда стремился знать о роли гораздо больше, чем она в себе вмещает. И этому неизменно учил своих актеров.

Актер, исполняющий у него даже самую крохотную, эпизодическую роль, должен был знать о своем персонаже ВСЁ. Во всяком случае, гораздо больше, чем ему о нем сообщил автор.

Вот один из великого множества примеров.

Репетируя «Броненосец 14-69» Всеволода Иванова, Станиславский втолковывал актерам, игравшим злостных врагов революции, что у каждого из них должна быть своя, очень личная и чрезвычайно важная для него причина, чтобы возненавидеть новую власть и стать злейшим ее врагом.

- ▶ — На первом прогоне пьесы в этом же фойе три недели назад, — сказал К. С., — я обратил внимание на то, что вы, актеры, ведете эту картину как-то в полтона, не отдаваясь до конца сюжету, тексту автора, не вникая глубоко в характеры ваших персонажей...

Я надеялся, что... вы укрепитесь в своих образах, осмелеете и создадите нам яркую, действенную картину «докатившихся» до Тихого океана в своем бегстве от революции белогвардейцев-«крестоносцев», как они сами себя величают. Между тем вчера я увидел, что ваша картина не только не окрепла, а, пожалуй, наоборот, понизилась по тону и по ритму против того, как она шла три недели назад. Чем это объясняется?..

М. И. П р у д к и н. Но как враждебная революции сила эта компания тоже не очень значительна.

К. С. Вы себя недооцениваете. Воинствующий эсер Незеласов, командир бронепоезда, охотно принимающий помощь японцев и американцев, чтобы расстреливать свой народ, — фигура достаточно мрачная. А кулак Обаб? Пулемет в его руках — это сотни погибших крестьян. А гимназистик Сережа? Ведь если ему дадут

револьвер в руки, он обязательно пальнет из него в рабочую демонстрацию. А ваша Варя будет в это время заряжать пулеметные ленты для Незеласова, Обаба и им подобных.

А. Л. Вишневецкий. Я ни в кого стрелять не буду...

К. С. Нет, будете. Только трусливо, из окна большой комнаты в том учреждении, где вы собираетесь служить. Там вместе с сейсмографами лежат в ящике бомбы-лимонки и ручные гранаты. Сначала вы столкнете этот ящик с подоконника на головы тех рабочих, которые будут ломать парадные входные двери вашего учреждения, а затем со всех ног кинетесь к черному ходу... И на вас будет залатанный костюм, да вы еще фартук дворника нацепите. И удерете через толпу, которая будет на улице окружать убитых и раненых.

А. Л. Вишневецкий. Я не думаю, я не уверен, что это сделаю...

К. С. Еще два-три обеда у генерала Спасского, и делаете.

О. Л. Книппер-Чехова. Что ж, и мне кого-нибудь надо убить, чтобы хорошо сыграть эту картину?

К. С. Я нарочно сгустил краски до предела...

А. Л. Вишневецкий. Я понимаю, Константин Сергеевич, вы хотите, чтобы мы играли наших врагов — врагов советского народа...

К. С. А что такое «враг» в переводе на наш сценический язык?

Н. Н. Литовцева. Это такое действующее лицо в пьесе, которое ведет свою собственную линию, свое действие против идеи пьесы и тех, кто эту идею стремится осуществить по сюжету пьесы.

К. С. Почему же ваши актеры не хотят противодействовать идее пьесы Вс. Иванова — освобождению России от всяких «крестоносцев»?

О. Н. Андровская. Мы хотим, Константин Сергеевич, но вы говорите, что мы не ярко, в полтона, в полноги, как говорят в балете, ведем свои роли.

К. С. Вот именно. Почему вы не хотите гибели своих политических врагов? Почему Ольга Леонардовна с таким испугом спросила меня, кого ей надо убить, чтобы хорошо сыграть свою роль. Я вам отвечу: всех, кто отобрал у вас имение под Самарой, деньги в банке, кто заставил вас пересечь всю Сибирь, чтобы поселиться в этом полусарае.

О. Л. Книппер-Чехова. Ну, на это я не способна! Возьмите у меня что хотите, но убивать я никого не стану!

К. С. Можно не своими руками. Обманутые генералом Спасским солдаты будут убивать ваших врагов.

О. Л. Книппер-Чехова. Ничьими руками, никого не хочу убивать!

К. С. Значит, вы — актриса Художественного театра, а не помещица, дворянка, беженка, разорившаяся зловредная барынька.

О. Л. Книппер-Чехова. Пожалуйста, я согласна со всем, что вы перечислили: помещица, дворянка, беженка. Но почему же «зловредная»? И чуть что не убийца?

К. С. Вы хотите вернуть свое добро и свои права?

О. Л. Книппер-Чехова (*подумав*). Хочу, конечно... как Надежда Львовна.

К. С. А кто еще хочет вернуть все, чем он владел в России?

М. И. Прудкин. Разумеется, хотим! Все хотим. Я хочу вернуть себе власть, положение в обществе.

Выясняется, что каждый из них готов на все, только бы вернуть себе то, что он утратил в прежней своей жизни. И только А.М. Комиссаров, играющий гимназиста Сережу,

не знает, чем он владел в Самаре. Он спрашивает об этом Станиславского, и тот быстро импровизирует:

- ▶ К. С. (*мгновенно*). Потрясающей коллекцией почтовых марок... Вы были гордостью всей гимназии из-за этой коллекции; она вам досталась в наследство от деда еще. Когда вы показывали марки вашим знакомым девушкам, они млели перед вами. Коллекция эта стоила 100 000!

(Н. Горчаков. *Режиссерские уроки Станиславского*. М., 1952. Стр.489–490).

Вот такими мгновенными импровизациями Станиславский раздвигал границы роли, написанной автором. Делал роль даже заведомого злодея многозначной, многосмысленной, сложной, не плоской.

Можно представить, сколько нафантазировал он таких биографических подробностей, работая с актерами над ролями эрдмановского «Самоубийцы», которые и сами по себе отнюдь не были ни плоскими, ни однозначными. А тут еще надо вспомнить основополагающий режиссерский принцип Станиславского, сформулированный им однажды и потом многократно повторяемый: **«Когда играешь злого, ищи, где он добрый»**.

А ведь персонажи «Самоубийцы» вовсе не были «злыми». И работая с актерами над этой пьесой, Станиславский даже и не думал о том, чтобы их разоблачать, а тем более изничтожать.

При таком – привычном для Станиславского – способе работы с актерами нечего было даже и думать о том, чтобы в результате явился спектакль, цель и назначение которого состояли бы в том, чтобы, как обещал Станиславский Сталину, «вскрыть разнообразные проявления и внутренние корни мещанства, которое противится строительству страны».

Не в этом видел он гениальность пьесы Эрдмана, которую хотел спасти от забвения, а может быть, даже и от расправы. Но убедившись, что ни при каких обстоятельствах ему все равно ее не спасти, как видно, сам, без всякого давления сверху решил работу над спектаклем прекратить.

Так закончилась вторая попытка поставить на сцене эту гениальную, как назвал ее Станиславский, эрдмановскую пьесу.

* * *

В архиве Николая Робертовича сохранился любопытный документ.

На первый взгляд в нем нет как будто ничего особо примечательного. Но по некоторым соображениям я счел нужным привести его тут полностью.

► ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА

24 декабря 1959 г.

На основании исполнительного листа нарсуда 2-го участка от 23 октября 1959 г. № 22-605 о взыскании с гр. ЭРДМАНА Н.Р. 7950 р. в пользу Главного управления по делам искусств г. Москва.

При описи присутствовали: домработница Анфилова Н.И. и понятая лифтерша Прохорова А.В.

Название и описание арестованных предметов	Счет, мера, вес	Оценка
1. Холодильник «Зил» Москва		2000 р.
2. Сервант полированный двухстворчатый со стеклом коричневого цвета, с двумя полками		1500 р.

3. Буфет, 2 м ширин. на 1 м выс., полированный, с деревянной резной отделкой		1500 р.
4. Письменный стол полированный, коричневого цвета, с двумя тумбами и тремя ящиками, с двумя полочками		500 р.
5. Кресло мягкое с деревянными стенками красного цвета — ткань		200 р.
6. Столик туалетный круглый со стеклом (поверхность — стекло)		1300 р.
7. Тахта красн. цвета, мягкая	разм. 2 метра длина на 80 см	1500 р.
8. Стол-буфет корич. цвета полиров.	1 x 80 см	1500 р.
9. Кресло, обитое кр. материей мягкое	длина на 80 см	1200 р.
10. Лампа комнатная	2 м 25 см	1250 р.
11. Шкаф полиров., внизу три ящика и вверху две створки, корич., без зеркала	1 м 65 см	
12. Радиоприемник «Рига-10»		

Все описанное имущество сдано на хранение домработнице Анфимовой Н.И., которая по ст. 168 УК РСФСР предупреждена.

Явиться с квитанцией об уплате истре 7950 р. к судебному исполнителю 25 / X с 17–19, 26 / X.

(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 370).

Жизнь у Николая Робертовича была пестрая.

Бывало, что жил он безбедно, а по тем временам (разумеется, не тем, что нынешние) даже богато. А случалось — и бедствовал. И в этой описи не бог весть какого роскошного имущества и угрозе предстать перед судебным исполнителем ничего исключительного вроде нет. Такое случалось тогда со многими литераторами. Вспомним опись имущества И. Бабеля, о которой рассказал принимавший в ней участие во время своей студенческой юридической практики Борис Слуцкий.

Но эта опись представляет для нас особый интерес. Потому что она напрямую связана с еще одной, к сожалению, тоже несостоявшейся попыткой поставить на сцене эрдмановского «Самоубийцу».

Исковое заявление, на основании которого была произведена эта опись, кое-что тут проясняет. Но — далеко не все.

Однако оно так красноречиво, что я считаю нелишним и его тоже привести тут полностью:

► ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В Народный суд Советского района г. Москвы.

Главное управление по делам искусств
(г. Москва, Китайский проезд, 7)
от 17 августа 1957 г., исх. № 08-Б

По договору № 42 от 17. XII. 1956 г. с Главным управлением по делам искусств Министерства культуры РСФСР, гр-н Эрдман Николай Робертович принял на себя обязательства написать пьесу под названием «Самоубийца» сроком выполнения обязательства к 26 декабря 1957 г., на основании которого он получил от Главка аванс в размере 25% — 7500 рублей.

Автор Эрдман Н.Р. своих обязательств не выполнил: пьесу не написал и к указанному сроку ее не представил...

На основании изложенного просим Суд вынести решение о взыскании с гр-на Эрдмана Н.Р. в пользу Главного управления по делам искусств следуемые ему 7500 рублей и судебные издержки по делу.

Заместитель начальника главка

Ф. Евсеев.

(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 371).

Нелепость и юридическая несостоятельность этого искового заявления очевидны. Николай Робертович Эрдман никак не мог «принять на себя обязательства написать пьесу под названием «Самоубийца» сроком выполнения обязательства к 26 декабря 1957 г. по той простой причине, что пьеса эта была им уже написана без малого тридцать лет тому назад. Речь, стало быть, могла идти лишь о редакции этой давным-давно написанной пьесы, в крайнем случае о каких-то мелких доделках и переделках.

Но тут сразу возникает вопрос: если таковые обязательства автор на себя действительно взял, почему же в таком случае он их не выполнил? А если и выполнил, то почему этот отредактированный, доделанный или слегка переделанный вариант в соответствующий срок в соответствующие инстанции не представил?

А дело было так.

Сталин уже давно гнил в своей могиле, и хотя хрущевская оттепель была уже на исходе, времена все-таки были еще вполне вегетарианские. И Николай Павлович Охлопков, бывший в то время режиссером театра Революции (впоследствии и ныне — Театра имени Маяковского), вспомнил про эрдмановского «Самоубийцу» и решил его поставить.

Тут надо сказать, что в свое время Николай Павлович был актером театра Мейерхольда, о блистательном успехе эрдмановского «Мандата» помнил хорошо, да и страстное желание Мейерхольда поставить «Самоубийцу» тоже не забыл. Возможно, даже лелеял какие-то надежды воспользоваться в этой новой постановке давними режиссерскими находками Мастера.

К тому же как раз в этот момент Охлопков вдруг пошел в гору: его назначили заместителем министра культуры. (Кажется, не СССР, а всего лишь РСФСР), но должность эта была тоже высокая и довольно влиятельная.

Когда Охлопкова спросили, справится ли он с этой своей новой должностью, он пренебрежительно ответил:

— Эко дело! Я царей играл!

Но оказалось, что играть (к тому же на сцене) царей куда как легче, чем исполнять — в жизни — должность заместителя министра.

В общем, опять что-то застопорилось, и Охлопков сообщил Эрдману, что по случаю сырой погоды фейерверк отменяется: «Самоубийцу» в этих новых, опять изменившихся обстоятельствах он поставить не сможет. Из чего Николай Робертович естественно заключил, что ни редактировать, ни дорабатывать пьесу, ни, тем более, представлять ее в соответствующие инстанции в прежнем виде никакого смысла не имеет.

О чем он внятно, четким юридическим языком и сообщил в Народный суд, предъявивший ему соответствующие претензии:

► ЗАЯВЛЕНИЕ

Народный суд Советского р-на г. Москвы
ЭРДМАНА Н.Р., прож. Москва,
ул. Горького, 25/9, кв. 9.

Не имея возможности по состоянию здоровья явиться лично, прошу нарсад Советского района города Москвы рассмотреть дело в моем отсутствии, при этом считаю необходимым заявить следующее.

Содержащееся в исковом заявлении утверждение о том, что предусмотренную договором пьесу «Самоубийца» я не написал и, не представив ее к предусмотренному договором сроку, условий договора не выполнил, далеко не соответствует фактическому положению вещей. Дело в том, что пьеса «Самоубийца» была написана мной почти 30 лет тому назад и тогда же была принята к постановке двумя московскими театрами — МХАТом СССР и Театром им. Мейерхольда. Оба театра вели репетиционную работу над пьесой, но поставлена она не была, т. к. Главрепертком наложил на нее запрет.

Спустя 25 лет, а именно в 1956 году, главный режиссер Театра им. Маяковского нар. арт. СССР Н.П. Охлопков обратился ко мне с предложением передать ему названную пьесу для постановки в руководимом им театре. Он считал, что в этот период появление такой пьесы на сцене было бы вполне своевременным. От меня, как от автора, требовались лишь незначительные, чисто формальные изменения в пьесе.

В результате Главное управление по делам искусств заключило со мной соответствующий договор, предусматривавший постановку моей пьесы «Самоубийца» в Театре им. Маяковского. Из последующих бесед с Н.П. Охлопковым я выяснил, что мнение свое он изменил и что пьеса моя в руководимом им театре поставлена не будет.

Истцу, так же как и руководству Т-ра им. Маяковского, прекрасно известно, что пьеса «Самоубийца»

давно уже написана, и если я не вручил истцу экземпляр пьесы, то только потому, что объявленный мне главным режиссером театра отказ ставить пьесу, даже не прочитав новый вариант ее, делал бы представление пьесы истцу бессмысленным.

(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 371).

Судя по датам, стоящим под этими документами (договор был заключен 17 декабря 1956 года, а опись имущества помечена 24 декабря 1959-го), дело тянулось довольно долго (аж целых три года). Но кончилось, надо полагать, ничем. И холодильник «Зил», сервант полированный двухстворчатый, письменный стол полированный, коричневого цвета, с двумя тумбами и тремя ящиками, кресло мягкое с деревянными стенками, равно как и другие предметы, значащиеся в той описи, как стояли, так и остались стоять на прежних своих местах.

Но пьеса, как и тридцать лет назад, и в этот раз поставлена не была. Подобно другому русскому гению — А.С. Грибоедову — Эрдману так и не привелось увидеть этот свой шедевр на сцене.

* * *

Когда победители входят в город, вслед за ними на его освобожденных улицах появляются мародеры.

Этот сюжет в форме, быть может, более деликатной, чем он того заслуживает, коротко изложил Ю.П. Любимов:

- ▶ Недавно «Советская культура» напечатала статью С. Михалкова, где сказано, что он редактирует неоконченную пьесу Эрдмана в связи с предстоящей постановкой «Самоубийцы» в Театре Сатиры.

Но пьеса Эрдмана была завершена вплоть до запятой, до восклицательного знака, до тире...

(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии.
Письма. Документы. Воспоминания
современников. Стр. 414).

Времена были уже другие, начиналась горбачевская перестройка, «эпоха гласности», как тогда говорили, и В.Н. Плучек решил попробовать поставить на сцене театра, которым руководил, эрдмановского «Самоубийцу». Но «эпоха гласности» только начиналась, и реализовать этот отчаянно смелый проект было нелегко.

Выражаясь современным языком, Плучеку для осуществления его замысла нужна была «крыша». И лучшей «крыши», чем Михалков, тут было не найти. Вот они (вероятно, вдвоем) и решили прикрыться могущественным в то время именем Михалкова.

Плучека я тут не смею осуждать: уж очень хотелось ему поставить «Самоубийцу». Что ж касается Михалкова, то я, пожалуй, и в него тут бы не кинул камень, если бы не одно обстоятельство.

► М. ВОЛЬПИН, Ю. ЛЮБИМОВ.
«ВСПОМИНАЯ Н. ЭРДМАНА»

Ю. Любимов. Николай Робертович умирал в больнице Академии наук. Странно, не правда ли, но это факт — коллеги отказались помочь пристроить его по ведомству искусства. А вот ученые... Капица, Петр Леонидович, по моему звонку сразу устроил Николая Робертовича. Позвонил президенту академии Келдышу, и тут же мы с Михаилом Давидовичем отвезли Николая Робертовича в больницу.

М. Вольпин. Тут я хочу вставочку сделать — дальнейшие обвинения работников искусств. Когда Николай Робертович уже лежал в этой больнице, ад-

министрация просила, на всякий случай, доставить ходатайство от Союза писателей. Мы понимали, что это просто место, где ему положено умереть, притом в скором будущем. Оно оказалось не таким скорым, но достаточно скорым... И вот я позвонил Михалкову, с трудом его нашел...

А нужно сказать, что Михалкова мы знали мальчиком, и он очень почтительно относился к Николаю Робертовичу, даже восторженно. Когда я наконец до него дозвонился и говорю: «Вот, Сережа, Николай Робертович лежит...» — «Я-я н-ничего н-не могу для н-него сделать. Я н-не диспетчер, ты понимаешь, я даже Веру Инбер с трудом устроил, — даже не сказал... куда-то там... — А Эрдмана я не могу...» А нужно было только бумажку от Союза, которым он руководил, что просят принять уже фактически устроенного там человека...

(Там же. Стр. 414).

Какими соображениями руководствовался С.В. Михалков, отказываясь дать Вольпину соответствующую бумажку, сказать трудно. Одно только тут можно сказать с полной определенностью: Сергей Владимирович, руководивший в описываемое время так называемым «патриотическим», а по существу фашистским Союзом писателей РСФСР, не имел ничего общего с тем Сережей, которого они знали мальчиком и который к Николаю Робертовичу относился весьма почтительно. Кто знает, будь у Николая Робертовича более «арийская» фамилия, может быть, этих проблем и не возникло бы. А в том, что для банды секретарей, которой в то время руководил Михалков, любая фамилия, звучащая не по-русски, воспринималась, как «сионистская», не может быть ни малейших сомнений.

Неведомой нам поддержкой, которую Сергей Владимирович незадолго до того оказал Вере Михайловне Инбер,

его лимит на помощь лицам сомнительного происхождения был, наверно, уже исчерпан.

А впрочем — что гадать! По тем ли, по этим ли причинам нужную бумажку от Михалкова Михаил Давыдович так и не получил.

Но даже если бы и не это обстоятельство, имя Михалкова на афише премьеры эрдмановского «Самоубийцы» все равно выглядело бы довольно-таки странно. Примерно так же, как если бы на афише, возвещавшей о премьере «Горя от ума», было обозначено, что текст этой комедии, не вполне завершенной автором и имеющей существенные недостатки как драматургического, так и идейного толка, отредактирован, доделан, отчасти даже переделан и доведен до совершенства Нестором Васильевичем Кукольниковом.

Сюжет второй

«ОДНАЖДЫ ГПУ ПРИШЛО К ЭЗОПУ...»

Это — первая строка одной из тех басен, которые — иногда вдвоем, иногда втроем, а иногда и порознь сочиняли Николай Эрдман, Владимир Масс и Михаил Вольпин.

А вот — полный ее «текст слов»:

Однажды ГПУ пришло к Эзопу
И взяло старика за жопу.
А вывод ясен:
Не надо басен!

Справедливость этой их басенной морали всем троиц авторам пришлось испытать на собственной шкуре.

Непосредственным поводом для ареста всех трех соавторов и отправки их в «места отдаленные» послужило следующее

► ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОГПУ Г.Г. ЯГОДЫ И.В. СТАЛИНУ

9 июля 1933 г.

ЦК ВКП(б) тов. Сталину

Направляю Вам некоторые из неопубликованных сатирических басен, на наш взгляд, контрреволюционного содержания, являющихся коллективным творчеством московских драматургов Эрдмана, Масс и Вольпина.

Басни эти довольно широко известны среди литературных и околосатирических кругов, где упомянутые авторы лично читают их.

Эрдман Н.Р. — 1900 г. рождения, беспартийный, автор шедшей у Мейерхольта комедии «Мандат», автор снятой с постановки пьесы «Самоубийца».

Масс В.З. — 1896 г. рождения, беспартийный, известен как соавтор Эрдмана по некоторым обзорам и киносценариям. Масс — Эрдман являются авторами «Заседания о смехе».

Вольпин М.Д. — 1902 г. рождения, поэт-сатирик, соавтор Эрдмана, сотрудник «Крокодила».

Полагаю, что указанных литераторов следовало бы или арестовать, или выслать за пределы Москвы в разные пункты.

Зам[еститель] пред[седателя] ОГПУ
Г. Ягода

*(Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917—1953.
М., 2002. Стр. 202—203).*

Эта рекомендация вождем была одобрена, о чем свидетельствует следующий документ:

► ПИСЬМО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОГПУ Я.С. АГРАНОВА
И.В. СТАЛИНУ ОБ АРЕСТЕ Н.Р. ЭРДМАНА, В.З.
МАССА И Э. ГЕРМАНА

25 октября 1933 г.

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину

11 октября [сего] г[ода] были арестованы Н. Эрдман, Вл. Масс и Э. Герман — он же Эмиль Кроткий за распространение к[онтр]р[еволюционных] литературных произведений.

При обыске у Масса, Эрдмана и Германа обнаружены к[онтр]р[еволюционные] басни-сатиры.

Арестованные Эрдман, Масс и Герман подтвердили, что они являются авторами и распространителями обнаруженных у них к[онтр]р[еволюционных] произведений.

По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 14 октября Э. Герман выслан на 3 года в г. Камень Западно-Сибирского края. По постановлению особого совещания при коллегии ОГПУ от 16 октября Н. Эрдман выслан на 3 года в г. Енисейск Восточно-Сибирского края, а В. Масс — в г. Тобольск на Урале.

Приложение:

1) копия протокола допроса Н. Эрдмана от 15 октября [19]33 г.

2) копия протокола допроса В. Масса от 16 октября [19]33 г.

3) заявление В. Масса в коллегию ОГПУ от 16 октября [19]33 г.

Зам[еститель] пред[седателя] ОГПУ

Я. Агранов
(Там же. Стр. 207).

Аресту и ссылке трех соавторов предшествовал скандал, разразившийся вокруг альманаха «Год шестнадцатый», задуманного Горьким и готовящегося к его приезду. (Готовил его под непосредственным наблюдением Горького и прямым его указаниям Л. Авербах.)

Горькому, судя по всему, очень хотелось, чтобы этот первый советский альманах (за ним должны были последовать — и последовали — другие ежегодники: «Год семнадцатый», «Год восемнадцатый», «Год девятнадцатый» и др.) выглядел достойно и представлял молодую советскую литературу самыми авторитетными ее именами.

В состав будущего альманаха вошли К. Паустовский (повесть «Судьба Шарля Лансевиля»), либретто оперы Э. Багрицкого «Дума про Опанаса», написанное по мотивам знаменитой поэмы, запрещенной в 1932 году, Всеволод Иванов, пародии Александра Архангельского с иллюстрациями Кукрыниксов, впервые появившаяся на русском языке статья Д. Святополк-Мирского о творчестве Джеймса Джойса, «Маски» Андрея Белого, «Пространство Эвклида» К. Петрова-Водкина, «О'кей» Пильняка.

Дал Горький в этот альманах и только что переработанный им первый вариант своего «Егора Булычева».

Горькому, как видно, очень хотелось напечатать в альманахе и эрдмановского «Самоубийцу». Но это было нереально.

С публикацией в горьковском альманахе «Самоубийцы» дело не выгорело. Но представить себе свой первый советский альманах без Эрдмана Алексей Максимович не мог. В результате на его страницах появилось сатирическое обозрение Эрдмана и Масса «Заседание о смехе», вызвавшее грандиозный скандал, специальное решение Политбюро, изъятие той части тиража альманаха, которая не успело попасть в продажу, и появление нового, «очищенного» от этой крамолы его издания.

Поскольку изъятое из обращения издание первого варианта альманаха ныне представляет величайшую библиографическую редкость и пресловутое «Заседание о смехе» В. Масса и Н. Эрдмана современному читателю практически недоступно, для наглядности приведу его здесь полностью.

Итак:

► ВЛ. МАСС, Н. ЭРДМАН
ЗАСЕДАНИЕ О СМЕХЕ

Д о к л а д ч и к . Товарищи! Вы все, наверно, читали на страницах нашей печати, что нам нужно веселое, жизнерадостное искусство, нужно, чтобы зритель в театре смеялся. Да, товарищи, пролетариат хочет смеяться! Вот я и обращаюсь к вам для того, чтобы вы сообща обсудили этот вопрос и, так сказать, поставили его на практические рельсы. (*Курьер подходит к докладчику и что-то говорит ему на ухо.*) Да, да, сейчас, сейчас! Товарищи, начинайте без меня, я сейчас приду. (*Уходит.*)

П р е с е д а т е л ь . Кто хочет высказаться?

П е р в ы й . Я.

П р е с е д а т е л ь . Пожалуйста.

П е р в ы й . Товарищи! Товарищ Косупко с присущей ему прозорливостью обронил здесь довольно крылатую фразу о том, что пролетариат хочет смеяться. Но мы знаем, товарищи, что если пролетариат чего-нибудь хочет, даже если он хочет смеяться, тут уж, товарищи, не до смеха. Действительно, было бы очень смешно, если бы отдельные товарищи захотели шутить в тот момент, когда пролетариат хочет смеяться. Я думаю, что буду неизмеримо прав, если скажу, что смех на шестнадцатом году революции — это не шутка. Поэтому я прошу отнестись к смеху с максимальной серьезностью. Чего же нам нужно, товарищи? Нам нужно, чтобы широкие массы как можно больше сме-

ялись. Нам, товарищи, до слез нужен смех. Я вижу, что кое-кто из присутствующих улыбается. Это, товарищи, позор! Когда я говорю о таком важном участке, как смех, то тут улыбаться нечего! Я тут ничего смешного не вижу. Я еще раз со всей категоричностью повторяю, что нам нужен смех. Вдумчивый, серьезный смех, без малейшей улыбки. Я кончил.

Председатель. Кто еще желает высказаться по смеху?

Второй. Разрешите!

Председатель. Прошу вас.

Второй. Товарищи! Предыдущий оратор, говоря о смехе, призывал нас к серьезности. Но, товарищи, сам предыдущий оратор отнесся к смеху далеко не серьезно. Предыдущий оратор сказал, что нам нужен смех. Я считаю, что такой вывод очень печален. Я считаю, товарищи, что каждый человек, прежде чем засмеяться, должен отдать себе полный и ясный отчет, над чем, почему и каким смехом он будет смеяться. Это самое главное. Какие же смехи мы имеем на сегодняшнее число? На сегодняшнее число мы имеем следующие смехи: их смех и наш смех.

Какая же разница между их смехом и нашим смехом? Первая отличительная черта нашего смеха — это та, что наш смех должен быть организованным. Что это значит? Что мы должны смеяться только над тем, о чем есть постановление общего собрания, что это действительно смешно. Провинция, например, должна согласовывать свой смех с центром. Авторы, например, должны согласовывать свой смех с реперткомом. Комсомол, например, должен согласовывать свой смех с Обществом старых большевиков. Что касается театров, то в театре зрители должны смеяться только в антрактах, после того, как они сообща обсудят все те места, которые вызывают у них гомерический хохот.

Третьй. Разрешите мне.

Второй. Я еще не кончил.

Председатель. Одну минуту. Краткое слово по гомерическому хохоту имеет товарищ Гвоздилин.

Третьй. Товарищи! Кроме нашего смеха и ихнего смеха, имеются еще несколько смехов, оставшихся нам от прошлых веков. Огромное место среди упомянутых смехов занимает так называемый гомерический хохот. Попробуем разобраться, как же будет относиться наш смех к данному хохоту. Что такое гомерический хохот? Гомерическим хохотом смеялся великий слепец Гомер. Следовательно, он смеялся над тем, чего он не видел. Нужен ли нам такой хохот?

Голоса. Нужен.

— Не нужен.

Третьй. Я, товарищи, считаю, что нужен. Потому что смеяться над тем, что мы видим, это, я бы сказал, как-то... несколько неудобно!

Голоса. Правильно!

Третьй. Разрешите поэтому считать гомерический хохот нашим смехом?

Голоса. Не нашим!

— Не целиком не нашим!

— Нашим!

— Не совсем нашим!

Третьй. В таком случае будем считать его полунашим!

Голос. Если полунашим, значит, и полунихним!

Третьй. Нет, полунашим и полунейним!

Голос. Тогда уж лучше полуничейным!

Четвертый. Вношу предложение.

Председатель. Пожалуйста.

Четвертый. Предлагаю за невыясненностью гомерического хохота временно заменить его шекспировским смехом.

Г о л о с а . Правильно!

Т р е т и й . Я, товарищи, категорически возражаю. Мы еще не знаем, каким смехом смеялся Шекспир. Если он был сыном лорда, то он смеялся утробным смехом загнивающей верхушки, а если он был сыном торговца солодом, то, следовательно, он смеялся бодрым и здоровым смехом полуголодного разночинца. Пока еще на этот вопрос никто ответить не может, потому что происхождение Шекспира никому не известно. Может, товарищи, получится конфуз: мы начнем смеяться шекспировским смехом, а Вильям Шекспир вдруг окажется лордом Ретлендом. Предлагаю поэтому от шекспировского смеха всячески воздержаться.

П р е с е д а т е л ь . Слово по текущему смеху возвращается товарищу Ваганькову.

В т о р о й . Товарищи, я продолжаю. Вторая отличительная черта нашего смеха в том, что он должен быть массовым. Я считаю, что смех двух или трех человек или еще более возмутительный смех в одиночку — совершенно недопустим. Мы должны объявить решительную борьбу смехачам-одиночкам, ибо такой смех совершенно не поддается никакой квалификации. Скажем, сидит человек в трамвае и смеется, а над чем он смеется — черт его знает! Я считаю, что смеяться нужно начиная с 15 человек и под наблюдением опытного руководителя, причем каждый смех, перед тем как вырваться из груди, должен быть теоретически подкованным! Вот!..

П р е с е д а т е л ь . Поступила, товарищи, резолюция. Разрешите огласить?

Г о л о с а . Просим, просим!

П р е с е д а т е л ь . Внимание, товарищи. Оглашаю резолюцию:

«Общее собрание ученого общества друзей советского смеха, заслушав доклад товарища Косупко на

тему о смехе, постановляет: горячо приветствовать всякий смех, за исключением смехов:

- а) животного;
- б) утробного;
- в) щекочущего;
- г) пережевывающего;
- д) смакующего;
- е) кликушеского;
- ж) дяляческого;
- з) межеумочного;
- и) сумеречного;
- к) лжездорового;
- л) пяточного;
- м) преждевременного;
- н) преждевременного смеха с некоторым опозданием;
- о) половинчатого;
- п) полуполовинчатого;
- р) целиком половинчатого;
- с) непонятного;
- т) понятного, но немногим;
- у) пустого;
- ф) несерьезного;
- х) поверхностного;
- ц) гормонального;
- ч) размагничивающего;
- ш) обобщающего;
- щ) мышино-жеребческого;
- э) самодовольного;
- ю) сытого;
- я) общечеловеческого».

Товарищи, смехи еще остались, а алфавит уже кончился. Поэтому такие смехи, как, например:

- ехидный,
- недоговаривающий,

подмышечный,
видимый смех сквозь невидимые слезы,
невидимый смех сквозь видимые слезы,
а также: смех над кем-нибудь, смех как таковой и
смех вообще — временно, до расширения алфавита,
остаются вне букв. Безусловно рекомендуются следующие смехи:

- а) смех над татарским игом,
- б) смех над крепостным правом,
- в) смех над господом нашим Иисусом Христом и
- г) смех над Народным комиссариатом почт и телеграфов.

Второй. Почему над Народным комиссариатом?

Председатель. Товарищи, я подразумевал телеграммы. Они опаздывают.

Второй. Так бы и говорил, что над телеграммами.

Третий. Я предлагаю этот пункт уточнить: не вообще над телеграммами, а над частными телеграммами.

Председатель. Кто возражает? Никто? Значит, так: над господом нашим Иисусом Христом и над частными телеграммами со следующими оговорками смех не должен:

- а) поражать себя в голову;
- б) пробуждать инстинкты.

Занавес вовремя опускается.

*(Вопросы литературы.
М., 2002. № 1. Стр. 260–266).*

Тут я сразу же должен признаться, что отдал такое большое пространство книжного текста этому, не такому уж яркому, сочинению не только потому, что оно являет собой уникальную библиографическую редкость. (Тем более что

уже не являет: ничто тайное не становится явным, и сравнительно недавно текст этот был опубликован в журнале «Вопросы литературы».)

Сделал же это я главным образом для того, чтобы читатель, так сказать, лично уверился в беззубости этой «политической сатиры» и подивился тому, что это, в общем-то, довольно невинное сочинение вызвало такой грандиозный скандал. (Специальное заседание и решение Политбюро, вмешательство всесильного ГПУ, обращения ведущих работников этого ведомства (Ягоды и Агранова) к Сталину и, наконец, высочайшее решение: арест и ссылка соавторов в разные «отдаленные места» Сибири.)

Все это вызовет у нас еще большее удивление, если мы вспомним, что в это самое время без всяких ограничений и тем более эксцессов печатались (и не где-нибудь, а в самой «Правде») куда более злые и острые сатирические фельетоны. И на эти самые темы.

Вспомним хотя бы знаменитый фельетон И. Ильфа и Е. Петрова «Как создавался «Робинзон» и другие их фельетоны, печатавшиеся в то время в самой «Правде».

Выходит, сатирические фельетоны одних литераторов можно из номера в номер печатать в «Правде», а других, сочинивших нечто похожее и на ту же тему, за ту же «провинность» арестовать и загнать — одного в город Камень Западно-Сибирского края, другого в Тобольск, а третьего — в Енисейск.

Могло ли быть такое?

То есть вообще-то могло быть всякое. И даже страховой полис, о котором Остап Бендер говорил, что только он один может дать человеку полную гарантию безопасности от любых невзгод, — даже он, если бы вдруг возникла такая необходимость, не мог бы не только постоянных авторов «Правды» Ильфа и Петрова, но и самого тогдашнего главного редактора этой газеты Н.И. Бухарина защитить от этой и даже более страшной участи.

И все-таки тут что-то не так.

Наверняка для ареста и ссылки в места отдаленные В. Масса и Н. Эрдмана была еще и какая-то другая, более основательная причина, чем сочиненное и напечатанное ими в альманахе «Год шестнадцатый» «Заседание о смехе». (Не говоря уже о М. Вольпине, который к созданию означенного сочинения вообще никакого отношения не имел.)

Да, такая причина действительно была. И в тогдашних литературных — да и не только литературных — кругах о ней было довольно широко известно.

* * *

На каком-то важном кремлевском приеме, куда были приглашены и где выступали лучшие артисты страны, к Василию Ивановичу Качалову, уже прочитавшему кое-что из своего обычного репертуара, обратился кто-то «из публики» с просьбой прочесть что-нибудь веселое, смешное. И Василий Иванович, бывший в тот момент, как видно, уже слегка подшофе и не вполне сообразив, перед кем выступает, прочел кое-что из своего, так сказать, домашнего репертуара.

Жена Николая Робертовича Эрдмана (точнее — одна из его жен) Наталья Васильевна Чидсон рассказывает об этом так:

- ▶ Поводом для ссылки послужили, как говорили, басни и стихи Николая Робертовича, которые прочел Качалов на одном из приемов. Стихотворение называлось «Колыбельная». Вот его текст:

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Видишь, слон заснул у стула,
Танк забился под кровать,
Мама штепсель повернула,
Ты спокойно можешь спать.

За тебя не спят другие,
Дяди взрослые, большие.
За тебя сейчас не спит
Бородатый дядя Шмидт.
Он сидит за самоваром —
Двадцать восемь чашек в ряд, —
И за чашками герои
О геройстве говорят.
Льется мерная беседа
Лучших сталинских сынов,
И сияют в самоваре
Двадцать восемь орденов.
«Тайн, товарищи, в природе
Не должно, конечно, быть.
Если тайны есть в природе,
Значит, нужно их открыть».
Это Шмидт, напившись чаю,
Говорит героям.
И герои отвечают:
«Хорошо, откроем».
Перед тем как открывать,
Чтоб набраться силы,
Все ложатся на кровать,
Как вот ты, мой милый.
Спят герои, с ними Шмидт
На медвежьей шкуре спит.
В миллионах разных спален
Спят все люди на земле...
Лишь один товарищ Сталин
Никогда не спит в Кремле.

*(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии.
Письма. Документы. Воспоминания
современников. Стр. 336—337).*

Аудиторией, к которой оно было неосторожно обращено, стихотворение это вполне могло быть воспринято как из-

девательское. А последние его строки так и вовсе смахивали на «оскорбление величества».

Но я не случайно обратил внимание читателя на то, что Наталья Васильевна была **одной из жен** Николая Робертовича. Точнее — она была **второй** его женой, и познакомились они незадолго до войны, в 1940 году. Так что историю, о которой вся театральная Москва говорила семью-восемью годами раньше, она вполне могла знать лишь приблизительно и рассказать о ней не совсем достоверно.

На мысль о недостоверности этого ее рассказа наводит то, что герои-полярники, о которых говорится в стихотворении, героями стали позже — после эпопеи по спасению челюскинцев. Да и сам Шмидт, хоть полярным исследователем стал гораздо раньше, звания «Героя Советского Союза» удостоился только в 1937-м.

Гораздо достовернее та же история выглядит в изложении Анны Владимировны Масс — дочери Владимира Захаровича Массы, бывшего, как она уверяет, главным героем и чуть ли даже не единственной жертвой разразившегося скандала:

- ▶ Летом 1933 года Владимир Захарович <Масс> работал в составе киносъемочной группы в Сочи. Снимались «Веселые ребята»...

Как рассказывал мой отец, в Сочи случилось следующее. Он жил в одном гостиничном номере с Леонидом Утесовым. Июньской ночью в гостиницу явились двое военных и приказали следовать за ними.

— Утесов крикнул мне из окна: «Владимир Захарович, как же вы без плаща?» — и кинул свой плащ. Так меня и увезли в утесовском плаще.

Что же произошло?

Знаменитый в те годы артист МХАТа Василий Иванович Качалов был приглашен на правительственный прием в честь японского посла. Он прочитал несколько своих классических монологов, после

этого устроители приема попросили его почитать что-нибудь легкое, эстрадного характера. И Качалов, не осознав, где и перед кем он выступает, прочитал три <басни> <Масса> («Фуга Баха», «Об очковтиральстве», «Случай с пастухом»). <Басни> этого цикла были известны узкому кругу писателей и актеров, в них отразилась литературная полемика, главным образом с рапповцами и рапповской критикой. Качалов закончил чтение <басен>.

В воздухе повис роковой вопрос:

– Кто автор этих хулиганских стихов?

И участь моего отца была предрешена...

Одновременно с Владимиром Массом был арестован и выслан в Енисейск Николай Эрдман — только что был опубликован в альманахе «Год шестнадцатый» их фельетон «Заседание о смехе».

А «Веселые ребята» вышли в срок и начали свое триумфальное шествие в пространстве и времени, только имен сценаристов в титрах не было. (Ныне имена авторов сценария восстановлены.)

В. <Масс> был выслан в Тобольск.

(А. Масс. Озорные басни и др.

Вопросы литературы,

1988, № 1. Стр. 255–260).

Получается, что Н. Эрдман влип в эту историю чуть ли не случайно: как соавтор Массы по злополучному «Заседанию о смехе».

На самом деле это было, конечно, не так. Но сообщению Анны Владимировны, что читал Качалов на том правительственном приеме в честь японского посла только басни В. Массы и какие именно, верить, я думаю, можно.

Итак, сойдемся на том, что в тот вечер Качаловым были прочитаны только эти три басни:

▶ ФУГА БАХА

Однажды Бах спросил свою подругу:
«Скажите мне, вы любите ли фугу?»
Смутясь и покраснев, как мак,
Подруга отвечала так:
«Не ожидала я увидеть в вас нахала.
Прошу вас, не теряйте головы.
Я — девушка и в жизни не видала
Того, что здесь назвали вы».
Мораль: у девушек, почти без исключения,
Богатое воображение.

▶ СЛУЧАЙ С ПАСТУХОМ

Один пастух, большой затейник,
Сел без штанов на муравейник.
Но муравьи бывают люты,
Когда им причиняют зло,
И через две иль три минуты
Он поднял крик на все село.
Он был искусан ими в знак протеста.

Мораль: не занимай ответственного места.

И, наконец, — третья, последняя:

▶ ОБ ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВЕ

В одном термометре вдруг захотела ртуть
Достигнуть сорока во что бы то ни стало.
И, в сей возможности не усомнясь нимало,
Пустилась в путь.

— Энтузиазм большая сила!
Вскричала ртуть и стала лезть.
Но ничего не выходило:
Все тридцать шесть и тридцать шесть.

— Ура! Вперед! На карте честь! —
Она кричит и лезет вон из шкуры.
Все тридцать шесть.

А что ж, друзья, и в жизни есть
Такого рода Реомюры:

Кричат: «Ура!»
Кричат: «Пора!»
А не выходит ни хера.

Если первая из этих трех басен могла возмутить только нравственное чувство целомудренной большевистской верхушки, то о двух других этого уже не скажешь.

Мораль одной из них («не занимай ответственного места») кое-кто из присутствующих вполне мог принять и на свой собственный счет. Ну, а что касается басни про ртуть, то в ее антисоветском характере и вовсе трудно было сомневаться. Уж очень и сюжет ее, и мораль («Кричат: «Ура!» Кричат: «Пора!» А не выходит ни хера!») напоминали главный тогдашний партийный, государственный лозунг: «Догнать и перегнать ведущие капиталистические страны!» Страна напрягалась из последних сил, но, в точном соответствии с моралью этой басни, «не выходило ни хера».

Все это было вполне достаточным основанием для того, чтобы кто-то из присутствующих (по слухам, это был Ворошилов) гневно спросил:

— Кто автор этих хулиганских стихов?

По тем временам этого было еще маловато для того, чтобы закатать их в Сибирь.

За этим, однако, дело не стало.

Тотчас было дано распоряжение произвести у «хулиганов» обыск. И обыск этот, разумеется, дал свои результаты, открыв перед обыскивающими целую кладовую «контрреволюции», как это тогда называлось.

► ИЗ ПИСЬМА ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОГПУ Я.С. АГРАНОВА
И.В. СТАЛИНУ

25 октября 1933 г.

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину

При обыске у Масса, Эрдмана и Германа обнаружены к[онтр]р[еволюционные] басни-сатиры.

Арестованные Эрдман, Масс и Герман подтвердили, что они являются авторами и распространителями обнаруженных у них к[онтр]р[еволюционных] произведений.

*(Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917–1953.
М., 2002. Стр. 207).*

Сейчас все эти «контрреволюционные» произведения хорошо известны. Но установить, какие из них принадлежат Н. Эрдману, какие В. Массу, а какие они сочиняли вдвоем, практически уже невозможно.

- Известно, что Н.Р. Эрдманом написано множество басен. Некоторые из них – в соавторстве с В.З. Массом. Видимо, сегодня, когда обоих соавторов нет среди нас, установить с категорической достоверностью единоличное авторство или меру участия партнеров представляется, увы, невозможным.

Так, некоторые из басен, известных мне как эрдмановские – в чтении самого Николая Робертовича, а также Х.А. Локшиной, отличавшейся до последних дней феноменальной памятью, были опубликованы в журнале «Вопросы литературы» № 1 за 1988 год как басни В.З. Массы. Разгадка этого недоразумения кроется в том, что машинописные тексты басен хранились в архиве В.З. Массы без авторской подписи, что не исклю-

чало возможности публикации басен под двумя именами либо под любым из двух на выбор издателя. Видимо, следует признать двойное авторство этих басен. К этому склоняется и опубликовавшая их А.В. Масс.

(А. Хржановский. Из заметок и воспоминаний о Н.Р. Эрдмане. Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 385—386).

Помимо этой, тоже, конечно, очень важной причины, есть и другая не менее важная, из-за которой почти невозможно установить, какая басня кем из них была написана, а какие они сочиняли вдвоем.

Кроме общего направления мысли все (почти все) эти басни отличает некий эстетический канон, выработавшийся у соавторов в процессе их совместной работы. (Как у Ильфа и Петрова, в книге которых «Одноэтажная Америка» никакой текстолог уже не различит, какие ее главы авторы писали порознь, а какие вдвоем.)

Басня — старый, можно даже сказать, древний жанр. (Не зря соавторы в одной из самых знаменитых своих басен, явно имея в виду себя, поминают Эзопа.)

Но Эрдман и Масс не просто внесли в этот старый жанр нечто новое, свое. Они его **перевернули**. Можно даже сказать — **вывернули наизнанку**.

Строго говоря, эти их басни не столько продолжают и развивают этот старый (древний) жанр, сколько его **пародируют**.

Классическая басня, как известно, завершается (а иногда предваряется) «моралью», и эта ее мораль является непосредственным и логичным выводом из ее сюжета. Как, скажем, у Крылова в басне «Лебедь, рак и щука»:

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет
И выйдет из него не дело — только мука.

Или в басне «Квартет»:

А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь.

У Эрдмана и Масса мораль их басни, как правило, не то что не вытекает из ее сюжета. Она ему даже не противоречит. Она просто НИКАК С НИМ НЕ СВЯЗАНА.

Взять хоть тот же «Случай с пастухом».

Мораль — «не занимай ответственного места» с дурацким поступком затейника-пастуха, который сел на муравейник, решительно никак не связана. Разве только, если предположить, что этим своим поступком он нанес муравейнику и обитавшим в нем муравьям серьезный вред. (На что, кстати, намекает фраза, что муравьи искусили его не просто так, а — «в знак протеста».) Но даже при таком — весьма приблизительном — истолковании смысла этой басни следует признать, что с классической басенной традицией она имеет весьма мало общего.

Особенно отчетливо этот эстетический принцип выявлен в басне

► ВЕРБЛЮД И ИГОЛЬНОЕ УШКО

Один верблюд пролез в угольное ушко.
А это очень нелегко.
И чтоб отметить это чудо,
Все стали чествовать верблюда.
Он — сверхверблюд!
Громадный труд!
Какая нужная работа!
Вдруг замечает где-то кто-то:
За этот труд ему хвала и честь,
Но вот что он туда пролез — понятно,
А вот пускай попробует пролезть обратно.
Верблюд рассвирепел, как бес,
Полез обратно — и пролез!

И вот его все знают города,
Его снимают все, о нем уж пишут книжки.
А наш верблюд — туда-сюда,
Туда-сюда без передышки.
Натер себе бока и холку
И наконец сломал иголку.
Мораль: у нас неповторимая эпоха.
Но вот иголки делаем мы плохо.

Что ни говори, но уж ЭТА мораль из рассказанного нам басенного сюжета ну никак не вытекает. Хотя сама по себе, никак с этим сюжетом и не связанная, наверно, содержит в себе некую несомненную истину, о которой авторам и хотелось поведать читателям.

Раскрыть смысл и природу этого художественного приема мне поможет слышанный мною однажды анекдот про Байрона. Скорее всего даже не анекдот, а — апокриф, легенда.

Некий современник Байрона, тоже довольно известный в те времена поэт, сочинил обращенную к нему эпиграмму, смысл которой, если перевести ее на язык родных осин, звучал так:

Я, такой-то (имярек),
Живу с твоей сестрой.

О том, действительно ли этот самый имярек жил с сестрой Байрона, история умалчивает. Быть может, это была чистейшей воды клевета.

Но с точки зрения поэтической формы эпиграмма была совершенна. Все в ней там было на месте: и безупречный стихотворный размер, и безукоризненная рифма.

Но, возражая противнику ответной эпиграммой, в суть дела Байрон вдаваться не стал.

Убийственный его ответ на нее был таков:

А я, Джордж Байрон,
Живу с твоей женой.

— Позволь! — возмущенно вскричал байроновский оппонент. — Да ведь у тебя тут нет рифмы?

— Зато правда, — ответил Байрон.

Из этой истории — скорее всего выдуманной — следуют по крайней мере два вывода.

Первый состоит в том, что байроновский оппонент в литературе был человек не случайный, поскольку эпиграммой собрата он был задет и оскорблен не как муж-рогоносец, а как профессионал-стихотворец. Что же касается второго вывода, то он тоже важен. Смысл его в том, что правда в искусстве — дело тоже не последнее.

Тут столкнулись две разные эстетики.

А рассказал я этот анекдот к тому, что Эрдман и Масс в своих баснях безусловно придерживались эстетики второго рода.

На каждый упрек, что вот, мол, ваша мораль никак не вытекает ни из логики, ни из смысла, ни из содержания рассказанного вами сюжета, они могли бы, подобно Байрону, ответить:

— Зато это правда.

Без большого риска ошибиться я мог бы сказать, что ответить таким образом они могли бы даже с большим основанием, чем британский классик, поскольку тот вполне мог ради красного словца и пренебречь истиной. А у них, как стрелка компаса на север, мораль каждой их басни неизменно и неуклонно нацелена НА ПРАВДУ. И правда эта далеко не всегда так примитивно проста и даже мелочна, как в случае с верблюдом и плохими иголками. Сплошь и рядом — это весьма серьезная и даже глубокая правда.

Взять хотя бы вот такую их басню:

► ФРЕЙДИСТ

Один фрейдист, придя из института
К себе домой, узрел ученика, который почему-то
Сидел на канapé с его женой.

Причем сидел в такой нелепой позе,
Что ни в стихах не выразить, ни в прозе.

Ученый головой поник:
Моя жена и мой же ученик!
Что может означать подобное явление!
Должно же быть ему у Фрейда объяснение!
Допустим, что он в ней свою увидел мать.
Но все же этот факт какого будет типа?
«Нарцизм» ли это?
Комплекс ли Эдипа?
Как мне точней всего его назвать?
А ларчик просто открывался,
И очень просто назывался.

Вот так и мы порой, как комики,
Ответа ищем в экономике.
А он один и там и тут:
Ее ебут
И нас ебут.

При всей своей, казалось бы, предельной удаленности от классической басенной традиции, эта басня Масса и Эрдмана как раз наиболее к ней близка. Недаром в нее даже органично вплелась прямая цитата из дедушки Крылова: «А ларчик просто открывался».

Ход размышлений и колебаний ученого-фрейдиста из этой басни и впрямь того же свойства, что направление мыслей у крыловского умельца-механика:

Взглянув на Ларчик, он сказал: «Ларец с секретом.
Так: он и без замка;
А я берусь открыть; да, да, уверен в этом,
Не смейтесь так исподтишка!
Я отыщу секрет, и Ларчик вам открою.
В механике и я чего-нибудь да стою».
Вот за Ларец принялся он:
Вертит его со всех сторон

И голову свою ломает,
То гвоздик, то другой, то скобку пожимает.
Тут, глядя на него, иной
Качает головой,
Те шепчутся, а те смеются меж собой...

Вот так же, наверно, качали головами, шептались и смеялись меж собой и друзья-приятели ученого-фрейдиста, который, увидав жену в объятиях ученика, в соответствии с законами своей науки стал ломать голову: что бы это могло значить:

«Нарцизм» ли это?
Комплекс ли Эдипа?

А дело, между тем, было такое же ясное, как с крыловским Ларчиком.

Одно только непонятно: при чем тут экономика?

А экономика, как это сразу же и выясняется, тут при том, что у нас с нею делают именно то, что ученик высокоумного фрейдиста делал с его женой. Но чтобы понять это, надо было обратиться не к Фрейдю, а к Марксу, который открыл закон стоимости. Ну и, конечно, к Сталину, который объявил, что при социализме этот закон действует «в преобразованном виде».

Говоря попросту, это означало, что экономику у нас насилюют. А уж вслед за ней — и нас, пользующихся плодами этой самой изнасилованной экономики.

Строго говоря, если пресловутый, якобы открытый Марксом закон стоимости — это действительно ЗАКОН, то действовать в «преобразованном виде» он не может. (С равным успехом можно было бы объявить, что и ЗАКОН НЬЮТОНА при социализме тоже действует «в преобразованном виде».)

Честнее было бы сказать, что пресловутый ЗАКОН СТОИМОСТИ при социализме вообще не действует. Что он — ОТМЕНЕН, как оно, в сущности, и было. И вот поэтому-то

авторы басни употребили в этом случае слово не из ряда нормативной лексики, сказав, скажем, что экономику у нас насилуют, а выразились грубо, по-матерному. Это грубое матерное слово с гораздо большей точностью выражало суть описываемого явления, чем любой интеллигентный эвфемизм. Так что обращение к ненормативной лексике в этом случае было продиктовано отнюдь не хулиганством, а стремлением как можно точнее выразить самую суть дела. То есть стремлением к предельной художественной ПРАВДЕ.

Точно так же обстоит дело и в уже известной нам басне «Очковтирательство»:

Кричат: «Ура!»

Кричат: «Пора!»

А не выходит ни хера.

Напиши авторы вместо последней строки, скажем: «А не выходит ничего», — не только художественный эффект, но и уровень ПРАВДЫ был бы тут уже совсем другой.

Такова самая суть эстетики, лучше даже сказать ПОЭТИКИ этих басен.

Принцип всюду один. Тот самый — байроновский. Нет рифмы, говорите вы? Мораль не вытекает из басенного сюжета и самого содержания басни? Что ж: ЗАТО ПРАВДА.

► СМЕТАНА

Мы любим подмечать у недругов изъяны,
И направлять на них насмешек острие.

Однажды молоко спросило у сметаны:

— Скажите, вы еда или питье?

Сметана молвила:

— Оставьте ваши шутки!

Действительно, я где-то в промежутке.

Но ведь важна не эта сторона,

Всего важнее то, что я вкусна

И все, как правило, бывают мною сыты.

Вот так же точно и гермафродиты:
Тот, кто на свет их произвел,
Конечно, допустил ужасную небрежность.
Но ведь в конце концов
Существенен не пол,
А классовая принадлежность.

Спор молока со сметаной с темой гермафродитов еще как-то более или менее сообразуется. Ведь они тоже — неведомо что. То ли еда, то ли питье...

Но при чем тут классовая принадлежность?

А при том, что так оно и было тогда на самом деле. Классовая принадлежность была важнее, чем образованность, ум, талант, честь, благородство и все прочие человеческие качества. Такова была официальная установка.

Вспомним знаменитый диалог Сталина с Гербертом Уэллсом.

Уэллс сказал, что не согласен с «упрощенной классификацией человечества на богатых и бедных»:

- ▶ Разве на Западе мало людей, для которых нажива не цель, которые обладают известными средствами, хотят их инвестировать, получают от этого прибыль, но совсем не в этом видят цель своей деятельности?.. Разве мало талантливых и преданных инженеров, организаторов хозяйства, деятельность которых движется стимулами совсем иными, чем нажива?

Сталин отвечает:

- ▶ Вы возражаете против упрощенной классификации людей на богатых и бедных. Конечно, есть средние слои, есть и та техническая интеллигенция, о которой вы говорите и в среде которой есть очень хорошие, очень честные люди. Есть в этой среде и нечестные, злые люди. Всякие есть. Но прежде всего человеческое общество делится на богатых и бедных, на имущих и

эксплуатируемых, и отвлекься от этого основного деления и от противоречия между бедными и богатыми — значит отвлекься от основного факта.

(И. Сталин. *Сочинения*. Т. 14. М., 2007. Стр. 17–18).

Конечно, авторы басни издевались и над этой теоретической сталинской установкой, но в особенности над тем, как развернулась она на практике тогдашнего советского государства. «Классовая принадлежность» была категорией не просто важной, а во многих (почти во всех) случаях решающей. Достаточно сказать, что существовали официально утвержденные льготы для приема в вузы детей рабочих и крестьян. Константин Симонов, например, чтобы получить доступ к высшему образованию, должен был сперва поработать на заводе, а потом пройти через рабфак, чтобы замолить таким образом свое «непролетарское происхождение». Больше того! Существовали такие же установки и для профессоров: вполне официально им предлагалось студентам пролетарского происхождения завышать оценки, а непролетарского — занижать...

Конечно, неоднократное обращение авторов крамольных басен к ненормативной лексике уже само по себе давало основания обвинить их в хулиганстве и сшить им какое-нибудь дело. Тем более что скандал на приеме в честь японского посла, когда Качалов прочел злополучные басни, проявился, как рассказывали, в гневной реплике Ворошилова:

— Кто автор этих хулиганских стихов?

Но ГПУ, коль оно уже занялось этим вопросом (а не заняться им теперь оно уже не могло), гораздо больше заинтересовало, куда, как выражался в таких случаях М.М. Зощенко, «направлено жало этой художественной сатиры».

У классиков (Лафонтена, Крылова, того же Эзопа) эти их сатирические жала были направлены в разные стороны. Классики своими баснями бичевали самые разнообразные

пороки, изъяны и слабости человеческой природы. А тут дело явно выглядело иначе. При всей жанровой и содержательной пестроте этих басен Эрдмана и Масса мишень для их сатирических стрел всегда была одна.

Взять хоть вот эту, самую коротенькую (говорили, что в тот злополучный вечер она тоже была прочитана Качаловым):

▶ **ВОРОНА И СЫР**

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру.
Читатель скажет: Бога нет!
Читатель, милый, ты придира!
Да, Бога нет. Но нет и сыра.

Или — вот эту, тоже короткую:

▶ **ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ОСЕЛ**

Мы пишем не для похвалы,
А для внушения морали.
В лесу однажды все ослы
Вдруг диалектиками стали.

Но так как страшный произвол
Царит сейчас во всей вселенной,
Диалектический осел
Глуп так же, как обыкновенный.

Мириться с тем, что к власти пришли «диалектические ослы», от которых теперь все зависит, было, конечно, нелегко. Но даже и с этим можно было смириться, пока оставалась возможность выкричаться. Хоть в баснях:

▶ **НЕПРЕЛОЖНЫЙ ЗАКОН**

Мы обновляем быт
И все его детали.

«Рояль был весь раскрыт,
И струны в нем дрожали...»

— Чего дрожите вы? — спросили у страдальцев
Игравшие сонату десять пальцев.

— Нам нестерпим такой режим,
Вы бьете нас — и мы дрожим!..

Но им ответствовали руки,
Ударивши по клавишам опять:
— Когда вас бьют, вы издаете звуки,
А если вас не бить, вы будете молчать.

Смысл этой краткой басни ясен:
Когда б не били нас,
Мы б не писали басен.

Обратившись к презренной прозе, можно выразиться еще яснее. Да, «нам нестерпим такой режим», но мы готовы мириться с ним, пока у нас еще остается возможность сказать об этом вслух.

Но то-то и дело, что при этом режиме сложилась принципиально иная ситуация. Режим властно сказал: «Не надо басен!» И об этом — еще одна их басня, помимо той, которую мы уже знаем:

► СЛУЧАЙ В ГАРЕМЕ

Однажды наклонилась близко
К младому евноху младая одалиска.
А деспотичный шах меж тем
Уже успел войти в гарем.
— Ага! В гареме?
Ночью?.. Вместе? —
Воскликнул шах. — Я жажду мести!
Какой позор! Какой скандал!
Тут визирь шаху так сказал:
— Зачем же звать его к ответу?

Почто ему готовишь месть?
О, шах! У внуха ведь нету!
— Но у нее, мерзавки, есть!
— Пойми, лишен он этой штуки!
— А руки?
Срубить!
Палач взмахнул мечом,
И руки стали ни при чем.
Но оказался в дураках,
Представьте, все же старый шах.
Над шахом внух долго издевался:
Язык-то у него остался!

Сколь наша участь более горька:
У нас есть то и сё,
Но нету языка.

В ту же мишень (в советскую власть) било и такое их короткое ироническое стихотворение:

► ПОЭТ

Один поэт, свой путь осмыслить силясь,
Хоть он и не был Пушкину сродни,
Спросил: «Куда вы удалились,
Весны моей златые дни?»
Златые дни ответствовали так:
— Мы не могли не удалиться,
Раз здесь у вас такой бардак
И вообще, черт знает что творится!
Златые дни в отсталости своей
Не понимали наших дней.

В общем, что говорить! ГПУ было чем поживиться, когда оно нанесло свой визит «Эзопу».

Остается тут лишь одна маленькая неясность.

Что послужило причиной визита? Скандал, разразившийся вокруг альманаха «Год шестнадцатый», в котором

было напечатано возмущившее начальство «Заседание о смехе»? Или скандал, связанный с теми несколькими, по сравнению с другими их баснями, в общем, довольно безобидными, которые Качалов прочел на приеме в честь японского посла?

* * *

На этот счет есть и другая точка зрения, суть которой сводится к тому, что истинным поводом для скандала явились еще более ранние события.

- ▶ С 1923 года Николай Эрдман и Владимир Масс начали работать в соавторстве: писали музыкальные спектакли для мюзик-холлов, песенки, пародии, басни. С их (в соавторстве с В. Типотом) спектакля «Москва с точки зрения» начался Московский театр Сатиры. Молодой Леонид Утесов со своим джаз-оркестром приобрел шумный успех благодаря эстраднему обзору «Музыкальный магазин», а кинорежиссер Григорий Александров, оценив успех этого представления у публики, предложил авторам написать на его основе сценарий кинокомедии. Так началась работа над фильмом «Веселые ребята». В конце августа 1933 года киногруппа вместе с авторами уехала на съемки в Гагры. Работа почти заканчивалась, как вдруг, жаркой ночью, оба автора были арестованы и увезены в Москву на Лубянку. Считается, что причиной ареста были басни, которые прочитал на концерте в Кремле артист МХАТа Василий Иванович Качалов и которые вызвали гнев Ворошилова. Во всяком случае, Качалов до конца своих дней переживал эту историю, хотя ни мой отец, ни мать никогда его не винули. Откуда он мог знать, что так получится? Он в те годы много читал всякого озорного, даже хулиганского — Баркова,

например. Его попросили прочитать смешное — он и прочитал. Тут не было никакого умысла. Однако не исключено, что история с Качаловым была лишь поводом для ареста, а причина была в другом. Существует версия музыкального журналиста Анатолия Агамирова (он излагал ее моему другу, американскому исследователю жизни и творчества Эрдмана Джону Фридману). В двадцатые годы Эрдман прятельствовал с семьей наркома просвещения Луначарского, бывал у него дома в Денежном переулке. Человек энциклопедически образованный, сам писавший пьесы, Луначарский высоко оценивал талант Эрдмана. И когда в 1929 году Эрдман принес ему рукопись второй своей пьесы — «Самоубийца», — Луначарский предложил устроить общественную читку у себя дома. В назначенный день Эрдман пришел домой к Луначарскому читать пьесу. Он ожидал, что будут театральные и литературные деятели. Однако Луначарский пригласил слушать пьесу не их, а тех, от кого гораздо больше зависела судьба пьесы и самого автора — членов правительства: Пятакова, Радека, Ворошилова — людей, которые, в числе прочего, занимались и проблемами культуры. И вот Эрдман читает пьесу «Самоубийца», полную остроумнейших реприз и ситуаций. Читает при полном и угрюмом молчании. Ни на одну репризу аудитория, собравшаяся за дубовым резным столом, не реагирует (все это рассказывала Агамирову его мать, родственница жены Луначарского, присутствовавшая при читке). Читка закончилась. Начался ужин. О пьесе — ни слова. После ужина гости встали и, сославшись на то, что их внизу ждут машины, ушли. Эрдман, подавленный, огорченный, попрощался с хозяевами и пошел в переднюю одеваться. Луначарский подал ему пальто и сказал: «Коля! Вы написали гениальную пьесу. Но пока я нарком просвещения, она не

будет идти на советской сцене. Поверьте, так будет для вас лучше». Напрасно Эрдман пытался пристроить пьесу во МХАТ, в театр Революции. Все попытки оканчивались неудачей. Пьесу так и не разрешили. Возможно, Ворошилов еще с того вечера затаил недоверие к Эрдману. Он понял опасность его пера. Но поскольку Луначарский, из желания оградить Эрдмана от неприятностей, постановку пьесы не разрешил и она нигде не шла, то придраться было вроде бы не к чему. Тогда придрались к басням.

Дальше — допросы, которые вел следователь Шиваров, потом — ссыльный этап. Масс был отправлен в Тобольск, Эрдман — в Енисейск. Оба отделались сравнительно легко: всего лишь по три года ссылки и «минус десять», то есть без права проживания по отбытии ссылки в Москве и в других крупных городах.

*(А. Масс. Вахтанговские дети.
М., 2005. Стр. 5—8).*

Такая «общественная читка» «Самоубийцы» у Луначарского, быть может, и была. И Пятаков, Радек и Ворошилов, быть может, на ней действительно присутствовали. И реакция их вполне могла быть такой, какая здесь описана. И Луначарский, провожая Эрдмана и подавая ему пальто, вполне мог сказать ему нечто похожее на то, что, по этой версии, он ему сказал.

Но истинной причиной ареста Эрдмана и Массы все это быть, конечно, не могло.

Начать с того, что Луначарский никак не мог «из желания оградить Эрдмана от неприятностей» запретить его «Самоубийцу». Судьба пьесы, как мы знаем, решалась совсем в иных, более высоких инстанциях. И не «пытался Эрдман пристроить свою пьесу во МХАТ», а принята она была к постановке двумя театрами вполне официально и «с высочайшего соиз-

воления». Да и времени от описанного Анной Владимировной эпизода до ареста ее отца и его соавтора прошло слишком много. Если причиной ареста была эта «общественная читка», почему Эрдмана не арестовали сразу? И при чем тут тогда ни в чем не повинный Масс?

Нет, повод для ареста соавторов был, конечно, совсем другой: либо «Заседание о смехе», либо — басни. Остается только установить, какой из этих двух скандалов повлек за собой вмешательство ГПУ. То есть — что чему предшествовало.

Установить это нетрудно, благодаря уже известному нам письму Всеволода Вишневского Зинаиде Райх. Там, если помните, была у него такая фраза:

- ▶ ...с каких пор Эрдман, автор грязных басен и «Самоубийцы», стал свежим, бодрым нашим писателем?

*(Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии.
Письма. Документы. Воспоминания
современников. Стр. 288).*

Письмо, содержащее эту реплику, было написано 11 января 1932 года.

Стало быть, о кремлевском скандале, разразившемся вокруг «грязных басен», в это время ему было уже известно.

А скандал вокруг альманаха «Год шестнадцатый» разразился в мае 1933-го. И А. Стецкий тоже наверняка знал о том, что случилось на приеме японского посла. Но альманах почему-то не задержал: видимо, какой это дело примет оборот, было тогда еще неизвестно, и, зная о письме Сталина Станиславскому, он занял осторожную, выжидательную позицию. А узнав, что судьба соавторов решена, стал оправдываться, объяснять свою «потерю бдительности» высокими дипломатическими соображениями.

- Этот альманах следовало задержать. Не сделал я этого только потому, что он вышел как раз в день приезда Горького сюда и это было бы для него весьма неприятным сюрпризом.

*(Из докладной записки заведующего
отделом культурно-просветительной
работы ЦК ВКП(б) А.И. Стецкого
секретарям ЦК ВКП(б) тов. Сталину и Кагановичу.
Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917—1953. Стр. 200).*

Итак, сомнений нет: причиной ареста Николая Эрдмана и Владимира Масса стали их басни.

И хотя, получив за них по три года ссылки, они отделались сравнительно дешево, последствия этого — по тем временам весьма мягкого приговора — по крайней мере для одного из них оказались ужасны. В известном смысле можно даже сказать — смертельны.

Сюжет третий

ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Вскоре после доклада Хрущева на XX съезде партии известный советский поэт Павел Антокольский написал (не помню, успел ли он его напечатать до того, как тема эта опять стала закрытой) такое стихотворение:

Мы все — лауреаты премий,
Врученных в честь него,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво.

Мы все — его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда...

Стихотворение по смыслу покаянное, по видимости даже благородное, а по сути — весьма мутное (чтобы не сказать хуже).

Ведь по сути эта риторическая готовность взять на себя некую **общую** вину маскирует желание снять с себя свою, **личную**.

Ответственность за преступления не может быть общей, у каждого она своя, и ее нельзя разложить на всех, — как он говорит, «на равных».

И потом — что это значит: «Мы все...»?

Все — да не все!

Выбирая героев для этой своей книги, я менее всего думал о том, кто из них был лауреатом, а кто нет. Но арифметика получилась весьма выразительная.

Из двадцати выбранных мною персонажей лауреатами оказались лишь четверо: А.Н. Толстой, Эренбург, Фадеев и Симонов.

Все они безусловно заслужили эти свои награды. (К сожалению, не только высокими художественными достоинствами увенчанных премиями произведений. Чаще — даже наоборот.) Но остальные шестнадцать тоже не случайно были обойдены этими высокими званиями.

Ни Пастернак, ни Мандельштам, ни Замятин, ни Булгаков, ни Ахматова, ни Зощенко, ни Платонов ни при какой погоде стать лауреатами Сталинской премии, конечно, не могли.

Хотя...

Выбор Сталина был непредсказуем.

Был, например, однажды такой случай.

Утром, открыв газету, Виктор Платонович Некрасов узнал, что стал лауреатом Сталинской премии. Это явилось для него полной неожиданностью. Но, как тут же выяснилось, не только для него.

Спустя несколько минут ему позвонил Всеволод Вишневский. (Он был одним из членов Комитета по премиям.)

— Газеты читал? — спросил он.

Некрасов ответил, что да, читал, уже все знает.

— Так вот, — сказал Вишневский. — К твоему сведению. Вчера вечером в списке твоей фамилии не было.

— Ну и что? — не понял Некрасов.

— Ты что же, не понимаешь? Ведь ночью вписать ее туда мог только один человек!

Такие причуды у Сталина бывали редко. Обычно, награждая кого-либо из писателей премией своего имени, он руководствовался политическими соображениями. Именно они играли тут решающую роль. Но случалось, что политические критерии совпадали с художественными. Разумеется, не чьими-нибудь, а его, Сталина, художественными критериями и вкусами. Ну, и конечно, с представлениями самих лауреатов о художественной ценности их созданий, удостоенных высокой награды.

А.Н. Толстой, получив премию первой степени за своего «Петра», мог не сомневаться, что на этот раз и художественный вкус Сталину не изменил: у него были все основания считать этот роман одной из самых больших своих художественных удач.

Эренбург, получив Сталинскую премию за «Бурю», так, вероятно, не думал. Высшим своим художественным достижением он полагал «Хулио Хуренито». (Не раз сам об этом говорил.) Наверняка считал бы более справедливым, если бы премии удостоился его роман «День второй». Но и лауреатских своих книг — «Падения Парижа» и «Бури» — тоже не стыдился.

Фадеев, получивший премию за первый вариант «Молодой гвардии», наверно, тоже считал эту награду заслуженной.

Что же касается Симонова, то с известным основанием можно сказать, что каждое из его произведений, удостоенных премии (кроме пьесы «Чужая тень», которую он и сам считал неудачной и жалел, что написал ее), действительно было очередной его художественной вершиной. (Каков у писателя потолок, таковы и его вершины.)

Ну, а что касается Пастернака или Ахматовой, то они о том, чтобы стать лауреатами, разумеется, не могли даже и мечтать. Да и вряд ли этого и хотели.

Хотя...

Пастернак не только хотел, но и довольно прямо намекал на это (в письме А.С. Щербакову 16 июля 1943 года):

- Мне кажется, я сделал не настолько меньше нынешних лауреатов и орденосцев, чтобы меня ставили в положение низшее по отношению к ним.

Мне казалось мелким и немыслимым обращаться к Иосифу Виссарионовичу с этими страшными пустяками.

Любящий Вас
Б. Пастернак.

(Б. Пастернак.
Полное собрание сочинений.
Т. 9. Стр. 349).

Сегодня такой вариант событий, при котором Пастернак мог бы стать лауреатом, представляется совершенно немыслимым. Но бывали времена, когда он был вполне возможен и даже вероятен. Получил же Сталинскую премию (да еще первой степени) Михаил Лозинский за перевод «Божественной комедии» Данте. Так почему бы и Пастернаку не удостоиться того же за свои переводы Шекспира или «Фауста».

Ну, а что касается Ахматовой, то ее кандидатура, как мы помним, однажды даже выдвигалась на лауреатство. И не кем-нибудь, а Шолоховым, Фадеевым и А.Н. Толстым. Повернись события по-другому, глядишь, — чем черт не шутит! — могла бы и получить.

При своей готовности к любым услугам вполне мог бы стать лауреатом и Пильняк.

Да мало ли кто еще из «обойденных»...

О тех, кто — по тем или иным причинам (иногда и случайно) — попал в сталинскую мясорубку, говорить, разумеется, не приходится. Но из уцелевших при ином раскладе этой чести мог удостоиться едва ли не каждый. За исключением, пожалуй, только одного — Николая Робертовича Эрдмана.

Чтобы автор «Самоубийцы» и «грязных» антисоветских басен стал лауреатом Сталинской премии? Такого, казалось, не могло бы случиться и при самом причудливом развитии событий.

Но именно это как раз и произошло.

И это при том, что ни сервилистом и «ловчилой» вроде Пильняка Николай Робертович не был. И взглядов своих и настроений не менял. И с намеками вроде тех, которые делал Щербакову Пастернак, ни к каким влиятельным лицам никогда не обращался.

Этот сюжет развивался и сложился совсем по другим законам, не имеющим в истории нашей литературы, пожалуй, никаких аналогий.

Кроме, разве, одной, к которой мы, быть может, еще обратимся.

* * *

Сосланный в Сибирь (в Енисейск) Николай Робертович свои письма к матери неизменно подписывал — «Мамин сибиряк». И шутку эту со смехом повторяла вся Москва.

Доходили до московских друзей и другие его шуточки, далеко не всегда безопасные.

С электричеством в Енисейске дело обстояло не больно хорошо. Попросту говоря, его там не было. Во всяком случае, в той халупе, которую Эрдману удалось снять, о «лампочке Ильича» можно было только мечтать. А Эрдман любил читать. Особенно вечерами, иногда даже по ночам. И постоянно думающая о нем его возлюбленная, засыпавшая его посылками, заказала какому-то театральному умельцу особый электрический фонарь, работающий на батарейках. Отправляя его в Енисейск, Ангелина Иосифовна очень волновалась: дойдет? И если дойдет, будет ли работать?

Затея удалась, о чем от Николая Робертовича в тот же день полетели в Москву телеграммы:

- ▶ Енисейск. 26.12 часов. (Молния от ваш. корр.) Закончена прокладка линии электропередачи Стол—Кровать протяжением 3 метра.

Енисейск. 26. 24 часа. (Молния от ваш. корр.) Пуск первой мощной электростанции в условиях Севера прошел образцово. Все обслуживающие механизмы работают отлично. За первые два часа прочитано четыре главы «Исповеди» Жан-Жака Руссо. Начальнику строительства А.О. Степановой. Постройка енисейской электростанции — новый вклад в дело дальнейшего подъема нашей страны и Вашего в моих глазах. ЦК.

*(Письма. Николай Эрдман, Ангелина Степанова.
Предисловие и комментарии Виталия Вульфа.
М., 2007. Стр. 126).*

Попадись эти телеграммы на глаза тем, КОМУ НАДО, они вполне могли быть истолкованы (и вряд ли были истолкованы иначе) как издевательская пародия на знаменитый ленинский план ГОЭЛРО. А учитывая подпись (ЦК), так даже и как злобный пасквиль на сталинский план индустриализации страны. Хотя подпись эта (в той же телеграмме) расшифровывалась самым невинным образом: «Целую Коля».

Не умеряя постоянных своих забот о возлюбленном, Ангелина Иосифовна добивалась — и нечеловеческими усилиями добилась — его перевода из Енисейска в Томск. Томск как-никак был университетский город, для Сибири — большой культурный центр, и она полагала, что ему там — во всех смыслах — будет лучше, чем в заштатном, захудалом Енисейске.

План удался. Но удача эта обернулась для Эрдмана разными, мягко говоря, неудобствами и даже унижениями.

Начать с того, что в Томск он был отправлен «по этапу», с конвойными, что уже само по себе было довольно-таки неприятно. А оказавшись наконец в этом вожделенном Томске, долго не мог сыскать для себя мало-мальски сносное пристанище.

Об этих своих мытарствах он любимой сообщал так:

- ▶ ...Плачусь у парикмахеров, останавливаю на улицах прохожих, изучаю бумажки на столбах — всё тщетно. Вчера дал объявление в газету, боялся, пропустит ли цензура. Опасения оказались напрасными — поместили целиком. Как видишь, всё идет к лучшему, меня уже стали печатать.

А просьбу прислать каких-нибудь книг сопровождал такой сентенцией:

- ▶ В здешних магазинах, кроме портретов вождей, ничем не торгуют. А томская библиотека похожа на томскую столовую — меню большое, а получить можно одни пельмени или Шолохова.

(Там же. Стр. 247).

За все эти милые шуточки — и над цензурой, и над пельменями, и над Шолоховым — не говоря уже о портретах вождей — ему вполне могли намотать новый срок.

Но неисправимый шутник продолжал шутить. И жало этих его маленьких сатирических импровизаций неизменно было направлено все в ту же, хорошо нам известную сторону.

Вот, например, еще одна его шуточка — правда, уже других, более поздних времен.

* * *

28 сентября 1940 года в «Известиях» появилась такая заметка, подписанная Михаилом Долгополовым:

- ▶ По инициативе Л.П. Берия создан Ансамбль песни и пляски НКВД Союза ССР. Состоялось первое выступление ансамбля. Большая программа скомпонована в обозрение «По родной земле». Тема его — жизнь счастливой Родины, неусыпно охраняемой чекистами и пограничниками. Коллектив ансамбля под руководством композитора З. Дунаевского создал веселое, жизнерадостное представление».

Через несколько дней (2 октября) такой же заметкой, подписанной О. Кургановым, на эту инициативу Лаврентия Павловича откликнулась «Правда»:

- ▶ Режиссером этой программы является С. Юткевич, а художником — П. Вильямс. Они придали ей подлинную красочность, внесли в нее много выдумки, остроумия и веселья.

Лаврентию Павловичу, видимо, не давали покоя лавры знаменитого в то время ансамбля песни и пляски Красной Армии, которым руководил А.В. Александров, будущий создатель музыки советского Гимна. Вот он и решил создать ансамбль своего ведомства. И такой, чтобы он не уступал, а может быть, даже и превосходил знаменитый Краснознаменный.

Возможности для этого у него, как вы понимаете, были большие. Можно сказать — неограниченные.

Главным режиссером Ансамбля песни и пляски при центральном клубе НКВД (таково было официальное название ансамбля) стал Сергей Юткевич.

Вот как он вспоминает о возникновении и формировании этого ансамбля:

- ▶ Формирование группы произошло без затруднений и в сжатые сроки. Были подобраны сильный танцевальный коллектив, хороший хор, квалифицированный оркестр. Художественным руководителем назначили, как верно сказано в заметке Долгополова, Зиновия Дунаевского. Балетмейстерами были Асаф Мессерер и Касьян Голейзовский, хормейстером — Александр Свешников, художником — Петр Вильямс. Я заявил начальству, что теперь нужны первоклассные драматурги и хотелось бы работать с Михаилом Вольпиным и Николаем Эрдманом. Их в то время — по обстоятельствам, от них не зависевшим, — не было в Москве.

Через несколько дней оба литератора уже примеряли форму (ансамбль, естественно, был военизированным)...

Добавлю, что драматическим коллективом позднее руководил один из корифеев Художественного театра — Михаил Тарханов. Двумя главными действующими лицами первой программы, основанной, естественно, на либретто М. Вольпина и Н. Эрдмана, были молодые пограничники... Их играли Леонид Князев и Юрий Любимов. Все было решено в мажоре, а декорации и костюмы поражали великолепием. Премьера второй программы — «Отчизна» — состоялась в очень трудное для страны время — в ноябре 1942 года, когда шли бои в Сталинграде. Еще перед этим я сделал фронтовой вариант обзора «По родной земле» (опять-таки с Вольпиным и Эрдманом), и с ним коллектив ездил по армейским частям и три месяца пробыл в блокадном Ленинграде. Понятно, что содержание «Отчизны» было целиком военно-патриотическим....

В «Отчизне» впервые прозвучала написанная по заказу ансамбля песенка «Фонарики», мгновенно подхваченная в тылу и на фронте. Ее автор — композитор Дмитрий Шостакович — вообще постоянно сотрудничал с ансамблем. (...) Третью программу — «Русская река» — делал Рубен Симонов...

*(Н. Эрдман в воспоминаниях С. Юткевича.
Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы.
Воспоминания современников. Стр. 360—361).*

Публикатор этих воспоминаний (М. Долинский) реплику С. Юткевича о том, что Эрдмана и Вольпина «в то время — по обстоятельствам, от них не зависевшим, — не было в Москве», комментирует так:

- Мемуары писались Юткевичем в те годы, когда о репрессиях сталинского времени приходилось говорить глухо. Да и то это проходило цензуру с трудом, а иногда и не проходило. На самом деле Вольпин и Эрдман были арестованы и сосланы.

(Там же).

Но на самом деле и Эрдман, и Вольпин (в 1933-м он тоже был сослан в Сибирь — как было сказано в приговоре: «За антисоветские настроения») в то время, о котором рассказывает Юткевич, ссыльными уже не были.

19 октября 1936 года Николай Робертович получил справку Томского горотдела НКВД об отбытии срока ссылки с правом выбора места жительства «минус шесть» городов и переехал в Калинин. В последующие годы — до войны — жил в Высшем Волочке, Торжке, Рязани. С ансамблем НКВД он начал сотрудничать в 1939-м. (По приглашению А.М. Мессерера работал над сценарием театрализованного представления «По родной земле».)

В первые месяцы войны он был административно выслан из Рязани, где тогда жил, как бывший ссыльный с еще не снятой судимостью. Написал заявление с просьбой зачислить его добровольцем в РККА. Получил отказ. Но уже в августе — в Ставрополе — был призван по мобилизации и зачислен в саперную часть. С отступающими частями Красной Армии прошел пешком 600 километров и оказался в Саратове. И уже только тут — в декабре 1942-го, — находясь на излечении в госпитале, получил вызов в Москву для зачисления в ансамбль песни и пляски НКВД. Это уже, наверно, стараниями С. Юткевича.

Его же стараниями был вызван и зачислен в ансамбль и М.Д. Вольпин.

Вот тут-то Николай Робертович и произнес ту знаменитую свою шуточку, о которой я упомянул в начале этого своего рассказа.

В ансамбле их приодели, приобули, подкормили. Вот только Эрдману никак не могли подобрать приличную шинель. Наконец подобрали — и не просто приличную, а по тем временам просто великолепную, только что не генеральскую. А они с Вольпиным жили тогда в какой-то мансарде, и у них там было большое зеркало. И вот подходит Николай Робертович в этой новой своей — офицерской, энкавэдэшной — шинели к зеркалу, смотрит на себя и говорит:

— Миша, мне кажется, за мною опять пришли.

Шутка была невеселая.

Страх, что за ним в любой момент могут «опять прийти», преследовал его долгие годы.

- ▶ Вскоре после войны, в 1946 году, Большой театр стал строить дом для артистов. К моему великому счастью, я попала в это строительство, правда, с большими трудностями. Дом построили в 1950 году, и мы въехали в трехкомнатную квартиру на улице Горького. Счастью нашему не было предела... Надо было идти прописываться. Николай Робертович сказал: «Как хочешь, но я в милицию не пойду». Я взяла паспорта и пошла на трясущихся ногах прописываться. Паспорта взяли и прописали. У Николая Робертовича с 1951 года уже был «чистый» паспорт. Но вечный страх остался.

Помню, когда мы наконец переехали в новую квартиру, ночью в три часа раздался звонок в дверь. «Пришли!» — подумали мы оба. Я подошла к двери и замирающим голосом спросила: «Кто там?» И в ответ услышала два голоса: Бориса Ливанова и Алексея Дикого, которые, где-то не допив, решили прийти к Колечке. Услышав их голоса, мы так обрадовались, что тут же усадили, накормили, напоили и были счастливы, что это они, а не КГБ.

Прошла неделя, и опять ночью звонок, я уже посмелее подошла к двери и услышала то же самое: «Это

мы, к Колечке». Уже менее приветливо мы их опять напоили и накормили.

Им, видно, это понравилось, и через неделю опять то же самое. Тогда я не выдержала и сказала им: «Чтобы больше вашей ноги здесь не было. Вы что, не понимаете, что такое ночные звонки в наше время? Днем — пожалуйте, а ночью — не смей!» Ночные визиты прекратились.

(Н. Чидсон. *Радость горьких лет.*

Н. Эрдман. *Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников.* Стр. 350—351).

Только смерть Сталина, быть может, освободила его от этого постоянного страха. Да и то — вряд ли. Что, кстати, не мешало ему вести себя независимо и смело — до дерзости.

► Идет художественный совет. Обсуждается сценарий Вольпина и Эрдмана. И им говорят всякие гадости. Товарищу Ильичев тогда был во главе этого совета. И вот, когда была сказана очередная гадость... А Николай Робертович — он же редко что-либо без крайней необходимости говорил... Между тем все знали, что Николай Робертович — один из самых остроумнейших людей Москвы... А он был необыкновенно молчалив. Вступал он в беседу редко. Если он мог сказать фразу, которая прервет глупость беседы и перевернет ее парадоксально... Только тогда он вступал с фразой.

И вот, значит, Ильичев говорит: «Вы что, не знаете, кто, так сказать, этот художественный совет создал? — имея в виду Сталина. — Вы доостритесь...»

На это Эрдман говорит: «Ну, я и острил, потому что я думал, что это художественный совет, но теперь я понял, что это нечто другое, и я умолкаю...»

И когда тот стал хамить дальше, Николай Робертович попросил Михаила Давыдовича об очень деликатной вещи: «Михаил Давыдович, не будете ли вы

так любезны — а то я, вы знаете, заикаюсь... Так вот, не будете ли вы так любезны — послать этого господина н-на...» — и вышел.

(М. Вольгин, Н. Любимов. *Вспоминая Н. Эрדмана. Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 422).*

Не думаю, чтобы Михаил Давыдович осмелился выполнить эту его деликатную просьбу. Да Николай Робертович на это, конечно, и не рассчитывал.

* * *

Сказав в начале этого сюжета, что творческая судьба Николая Эрдмана не имеет в истории нашей литературы никаких аналогий, а потом все-таки добавив: «кроме, разве, одной», я имел в виду Грибоедова, от всего созданного которым осталась только одна гениальная пьеса. Гениальная, но — **одна**.

Объяснить эту загадку пытались по-разному.

Вот — самое распространенное из них и, пожалуй, самое аргументированное:

- ▶ ...после великой удачи «Горя от ума» Грибоедова постигли жестокие неудачи. В чём же искать объяснение этой трагедии гениального поэта? В опустошённости ли его творческого сознания, как полагали иные? Конечно, нет! Дошедшие до нас наброски и планы последних произведений Грибоедова исключают подобное толкование его писательской судьбы. Они свидетельствуют о настойчивых поисках новых драматических форм, способных вместить то громадное идейное содержание, которое вкладывал Грибоедов в свои замыслы. Но, разумеется, не только и не столько это обстоятельство определило безрезультатность его, по-видимому, очень напряженной творческой работы во вторую половину двадцатых годов. Он, безусловно, раньше или позже, нашёл бы искомые формы. Соз-

дать новый шедевр не позволяла Грибоедову бесперспективность его творческого пути в общественно-политических условиях николаевского режима... «Что у меня с избытком найдётся, что сказать — за это ругаюсь, отчего же я нем? нем, как гроб!» — спрашивал Грибоедов в 1825 г., то есть в ту пору, когда уже было создано «Горе от ума», обесмертившее его имя. И в другом месте он сам ответил на свой вопрос: «Мученье быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов». Мироззрение пламенного мечтателя вступало в резкие противоречия со всем укладом того мира, в котором ему суждено было жить и творить. «Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан» (Пушкин).

Тяжела была судьба Грибоедова. Но тот же Пушкин сказал: «Грибоедов сделал свое: он уже написал «Горе от ума». В этих словах — признание великой исторической заслуги Грибоедова.

(Вл. Орлов.

Художественная проблематика Грибоедова.

Литературное наследство. 47—48/

А.С. Грибоедов. М., 1946. Стр. 73).

Автор этого объяснения, конечно, слегка юлит. Дипломатничает. Ему мешает то, что он старается не столько объяснить творческое бессилие великого писателя, сколько оправдать его. (В чем тот, разумеется, совершенно не нуждается.)

Можно предположить, что парализовал и даже убил творческую потенцию Грибоедова шок, вызванный его арестом.

Об этом аресте чаще пишут в легких тонах: ничего, мол, страшного не произошло, Грибоедов сразу же был освобожден, поскольку ни в чем не был замешан.

В действительности дело обстояло куда серьезнее.

Об обстоятельствах этого ареста сохранились подробные воспоминания свидетеля, видевшего все своими глазами и рассказавшего о виденном с предельной честностью и точностью.

- Все, что мне удалось читать печатного об аресте Грибоедова, все совершенно не так. Видно, что это пересказанные речи. Я буду говорить как очевидный свидетель и ручаюсь за сказанное.

Рано утром мы выступили из Червленной и часу в одиннадцатом подошли к Горячеводскому укреплению, где назначен был привал... День был солнечный и довольно теплый. Исправлявший должность дежурного штаб-офицера гвардии капитан Талызин первый увидал на перевале от Терека тройку в санях, окруженную 20 или 30 казаками, и первый сказал: «Господа, ведь это должен быть фельдъегерь». Так и вышло...

Талызин, Сергей Ермолов и я, пригласивши с собой фельдъегеря, пустились на рысях и прямо к дому коменданта крепости Грозной. Алексей Петрович сидел за большим столом и, как теперь помню, раскладывал пасьянс. Сбоку возле него сидел с трубкой Грибоедов. Когда мы доложили, что прибыли и привезли фельдъегеря, генерал немедленно приказал позвать его к себе. Уклонский вынул из сумки один тонкий конверт от начальника главного штаба Дибича. Генерал разорвал конверт; бумага заключала в себе несколько строк, но, когда он читал, Талызин прошел сзади кресел и поймал на глаз фамилию Грибоедова. Алексей Петрович, пробежавши быстро бумагу, положил в боковой карман сюртука и застегнулся. Потом он начал расспрашивать Уклонского о событиях в Петербурге... Я не обратил внимания на Грибоедова; но Талызин мне после сказал, что он сделался бледен, как полотно.

(Н. Шимановский.

Арест Грибоедова.

Там же. Стр. 72—73).

У Грибоедова были все основания к тому, чтобы сделаться бледным, как полотно. Он ведь в этот момент еще не знал,

что Алексей Петрович Ермолов даст тайную команду уничтожить все его бумаги невзирая на то, что в распоряжении военного министра, которое он только что прочел, было сказано ясно и определенно:

- ▶ По воле государя императора покорнейше прошу ваше высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству.

(П. Щеголев.

А.С. Грибоедов и декабристы.

М., 1905. Стр. 24).

О том, как было выполнено это распоряжение А.П. Ермолова, с присущей ему обстоятельностью рассказывает тот же Шимановский:

- ▶ В сених встретил я Талызина, который отдавал приказание одному из ординарцев генерала, уряднику Кавказского казачьего полка Рассветаеву, чтобы он скакал в обоз, отыскал арбу Грибоедова и Шимановского и чтобы гнал в крепость. Я спросил его по-французски: на что это? Талызин отвечал: «После скажу!»...

Урядник Рассветаев ловко исполнил возложенное на него поручение. Он отыскал арбу, вывел ее из колонны и заставил быков скакать, так что очень скоро прибыли наши люди к назначенному нам флигелю. Тут встретило наших людей приказание елико возможно скорее сжечь все бумаги Грибоедова, оставив лишь толстую тетрадь — «Горе от ума». Камердинер его Алексаша хорошо знал бумаги своего господина; он этим и

руководствовал и не более как в полчаса времени все сожгли на кухне Козловского, а чемоданы поставили на прежнее место в арбу.

(Н. Шимановский.
Арест Грибоедова. А.С. Грибоедов.
Его жизнь и гибель в мемуарах современников.
Л., 1929. Стр. 74–76).

Как знать? Может быть, в этих сожженных грибоедовских бумагах было и нечто гениальное, что Александр Сергеевич потом не смог (или не захотел) восстановить?

Было еще одно — третье — объяснение угасания грибоедовского художественного дара.

С наибольшей резкостью и примитивной определенностью его высказал Н. Огарев:

- ▶ Грибоедов... примкнул к правительству и на дипломатическом поприще наткнулся на случайную гибель. Но талант его и без того уже был погибшим: он высказал в «Горе от ума» все, что у него было на сердце, а дальше он ничего не мог развить в себе самом, именно потому, что он примкнул к правительству, этому гробу русских талантов и русской доблести.

(А.С. Грибоедов
в русской критике. Стр. 213).

Грибоедов действительно состоял на «царской службе», под конец жизни в довольно высоких чинах (статского советника и «полномочного министра» в Персии). Но можно ли сделать из этого вывод, что он «примкнул к правительству»?

Салтыков-Щедрин, как известно, был вице-губернатором. Но никто, однако, не смел обвинить его в том, что он «примкнул к правительству».

Впрочем, не только это — пожалуй, самое далекое от истины, — но и все другие объяснения, которые я тут припом-

нил (были и другие), при том, что некоторые из них содержат крупицу истины, не в силах объяснить тайну падения грибоедовского таланта, загадку сковавшей его немоты.

Природа художественного дара, внезапная вспышка гения и столь же внезапное его угасание вряд ли могут быть объяснены рационально. Слишком темна и загадочна сама по себе эта область человеческой психики. Так что в эту грибоедовскую тайну мы вряд ли когда-нибудь проникнем.

Случай Эрдмана легче поддается разгадке.

* * *

Невеселую шутку Николая Робертовича («Миша, мне кажется, что за мною опять пришли») публикатор мемуаров С. Юткевича М. Долинский приводит в несколько иной редакции.

По его версии, увидав себя в зеркале в офицерской энкавдэшной шинели, Эрдман сказал:

— У меня, Миша, такое впечатление, будто я привел под конвоем самого себя.

Предоставляю читателю возможность самому выбрать из этих двух вариантов эрдмановской шутки тот, который кажется ему наиболее остроумным. Но я хочу подробно остановиться именно на этом, втором ее варианте, потому что в нем (вспышкой внезапного художественного прозрения) выразилась самая суть творческой судьбы Эрдмана, трагический финал которой он в тот момент, конечно, еще не прозревал.

С легкой руки Твардовского в наш литературный обиход давно уже прочно вошло выражение «внутренний редактор».

Открыв (в себе) этого «внутреннего редактора», который не позволяет ему быть самим собой, и создав весьма убедительный и выразительный его облик, Твардовский так завершает главу своей поэмы «За далью — даль», в которой у него возник этот, едва ли не мистический его персонаж:

Но тут его прервал я разом:
— Поговорил — слезай долой.

В каком ни есть ты важном чине,
Но я тебе не подчинен
По той одной простой причине,
Что ты не явь, а только сон

Дурной. Бездарность и безделье
Тебя, как пугало земли,
Зачав с угрюмого похмелья,
На белый свет произвели.

В труде, в страде моей бессонной
Тебя и знать не знаю я.
Ты есть за этой только зоной,
Ты — только тень.
Ты — лень моя.

Встряхнусь — и нет тебя в помине,
И не слышна пустая речь.
Ты только в слабости, в унынье
Меня способен подстеречь,

Когда, утратив пыл работы,
И я порой клоню к тому,
Что где-то кто-то или что-то
Перу помеха моему...

И о тебе все эти строчки,
Чтоб кто другой, смеясь, прочел, —
Ведь я их выдумал до точки,
Я сам. А ты-то здесь при чем?

Тут оказывается, что полка, на которой будто бы расположился этот его попутчик, и впрямь пуста. В купе как было их поначалу только трое, так трое и осталось:

И пустовала полка справа
В купе мы ехали втроем,

И только — будь я суевером —
Я б утверждать, пожалуй, мог,
Что с этой полки запах серы
В отдушник медленно протек.

Но автор, как мы знаем, не суевер. Марксист и материалист, он чужд всякой мистики и потому остается при убеждении, что «внутренний редактор», с которым он только что так горячо и страстно беседовал, и в самом деле — всего лишь его собственная выдумка, его тень, его лень. В действительности же нет вокруг никого — и ничего — такого, что могло бы помешать его перу. Помешать свободе его творческих замыслов.

Но вся штука в том, что этот мажорный финал как раз и есть не что иное, как результат вмешательства того самого «внутреннего редактора», которого на самом деле будто бы не существует, которого он будто бы сам выдумал.

Внимательный (да и не очень внимательный) читатель этой поэмы Твардовского легко обнаружит в ней следы последовательного, упорного и весьма продуктивного вмешательства этого самого «внутреннего редактора». И если и есть тут какая-то мистика, на которую намекает нам автор упоминанием о запахе серы, который «в отдушник медленно протек», то природа этой мистики (лучше сказать — чертовщины) нам хорошо известна.

Этот «внутренний редактор» — отнюдь не Волянд, конечно. В лучшем случае это — один из тех мелких бесов, что подвизаются в булгаковской «Дьяволиаде». Но он — не дурной сон автора, а самая что ни на есть доподлинная реальность. Едва ли не первым прикоснувшись к этой реальности (во всяком случае, первым дав ей название), Твардовский почувствовал всю опасность этого своего открытия и тут же «дал задний ход»:

В труде, в страде моей бессонной
Тебя и знать не знаю я.
Ты есть за этой только зоной,
Ты — только тень.
Ты — лень моя.

Открытие тем не менее остается открытием. И будем благодарны Твардовскому за то, что он на это явление нам указал и даже дал ему имя.

Но Эрдман пошел дальше. Гораздо дальше. И созданный им образ подконвойного, который сам же себя и конвоирует, куда страшнее созданного Твардовским образа автора, который сам себя редактирует. Ведь за этим зловецим сюрреалистским образом скрывается такая же наиреальнейшая реальность.

* * *

Вмешательство внутреннего редактора в творческие замыслы поэта как будто не так уж и велико:

Я только мелочи убавляю
Там, сям — и ты как будто цел.
И все нетронутым оставляю,
Что сам ты вычеркнуть хотел.

Результат, однако, ужасен:

Там карандаш, а тут резинка,
И все из чести, все любя.
И в свет ты выйдешь, как картинка,
Какой задумал я тебя.

На то, чтобы запира́ть губы поэта замком, как об этом однажды сказал Маяковский, «внутренний редактор» Твардовского не посягает. Смысла и цель его деятельности всего лишь в том, чтобы не позволить автору быть самим собой. Только и всего.

Цель, в сущности, палаческая. И возможности для осуществления этой цели у него велики. Можно даже сказать, что они безграничны.

Но все это не идет ни в какое сравнение с возможностями и полномочиями конвойного, которому вменено в обязанность **конвоировать самого себя**

Н.А. Заболоцкий, рассказывая Наталии Роскиной, бывшей недолгое время его женой, о своих тюремных и лагерных злоключениях, неизменно возвращался к одному эпизоду:

- ▶ Он редко и мало рассказывал мне о годах своего заключения, но один эпизод рассказывал даже несколько раз и с большим волнением. Он говорил мне, что начальник лагеря спрашивал его непосредственного начальника: «Ну, как там Заболоцкий — стихи пишет?» «Нет, — отвечал начальник. — Какое там. Не пишет: больше, говорит, никогда в жизни писать не будет». — «Ну, то-то».

И когда он в лицах изображал мне разговор этих двух начальников, в глазах его было что-то злое.

*(Н. Роскина. Четыре главы.
Париж, 1980. Стр. 77).*

Дело в России не новое.

Достаточно вспомнить Чаадаева, которому в том же предписании, в котором он был объявлен сумасшедшим, официально было запрещено печататься. Или Тараса Шевченко, царская резолюция по «делу» которого особо указывала на необходимость строжайшего надзора за ним «с запрещением писать и рисовать».

Но тут ситуация совершенно другая.

Никаких официальных предписаний, запрещающих Заболоцкому писать стихи, не было. И никто не предписывал ни первому, ни второму начальнику проверять, пишет

он стихи или не пишет. Да и не было надобности в таких предписаниях и таких проверках, потому что оба начальника могли быть уверены, что все будет в порядке, поскольку подконвойный конвоирует сам себя, и этому личному его, «внутреннему» конвоиру можно доверять больше, чем любому внешнему.

Этот рассказ Заболоцкого, к которому он постоянно возвращался, Наталия Роскина комментирует так:

► **Страх.**

Даже не страх, а ужас...

В облике Николая Алексеевича меня больше всего поражала не готовность его с чем-то смириться, от чего-то отстраниться, написать, если придется, «Горийскую симфонию». Но меня поражал тот — не страх, а именно ужас, ужас всемирно-исторического масштаба, ужас, который сокрушил целое поколение....

Однажды, в минуту душевного растворения он все-таки сказал мне одну фразу на эту тему. «Я только поэт, и только о поэзии могу судить. Я не знаю, может быть, социализм и в самом деле полезен для техники. Искусству он несет смерть».

(Там же. Стр. 76–77).

Николай Робертович Эрдман был человеком совсем иного склада, чем Николай Алексеевич Заболоцкий. И судьба ему выпала другая, неизмеримо более легкая.

И никаких официальных — или неофициальных — предписаний, запрещающих ему писать пьесы, не существовало.

Но ни одной СВОЕЙ пьесы после «Самоубийцы» он не написал.

Он не только сам себя конвоировал, но и сам вынес себе смертный приговор.

И сам привел этот приговор в исполнение.

* * *

О том, как одаренный и даже крупный художник в специфических условиях советской власти переставал быть собой, убивая не только свой дар и художественную индивидуальность, но даже теряя свои профессиональные качества, на страницах этой книги говорилось уже не раз. А.Н. Толстой, написавший безликую и бездарную повесть «Хлеб». Юрий Олеша, о падении которого Аркадий Белинков рассказал с обстоятельностью, быть может, даже излишней. Николай Тихонов, утративший даже профессиональное умение «ставить слово после слова». Константин Федин, последний роман которого даже в редакции публиковавшего его журнала смогли прочесть только корректоры. Леонид Соболев... Да мало ли кто еще, о ком я уже упоминал, а также о ком не упоминал, но мог бы упомянуть.

С Эрдманом как будто случилось то же самое. Но на самом деле — совсем другое. И случай его в известном смысле уникален.

Начать с того, что не только профессиональных качеств и яркости дарования, но и присущего всему, что он писал, художественного блеска он не утратил.

Все сочинявшиеся им на протяжении последующей его творческой жизни сцены, куплеты, интермедии и сценарии отмечены неизменно свойственным ему изяществом, остроумием, ни в малой мере не утраченным им профессиональным совершенством.

Он, как был, так и остался профессионалом высочайшего класса.

Но попыток сочинить что-то «свое» больше не предпринимал.

Впрочем, — нет. Одну такую попытку он не только предпринял, но даже довольно долго еще этот свой замысел лелеял, не теряя надежды, что рано или поздно ему удастся его осуществить.

► Однажды вечером мы сидели вдвоем в комнате Тамары у топившейся печки (центрального отопле-

ния не было), и Николай Робертович рассказал мне начало своей пьесы «Гипнотизер», что с ним бывало крайне редко, он не любил говорить о своем творчестве вот так запросто. А здесь вдруг он обратился ко мне и сказал: «Хочешь, я расскажу тебе пьесу, которую задумал?» Это было только начало, но смысл был ясен. В провинциальный город приезжает гипнотизер и во время сеанса гипноза всех заставляет говорить правду, и тут-то все самое интересное и начинается, так как говорят правду руководящие работники...

Написан им был, кажется, только первый акт.

К большому сожалению, он пьесу так и не закончил, понимая, что все равно ее не пропустят. Да и Миша Вольпин, тоже очень напуганный человек, ему не советовал.

Во время войны, в Саратове, Николай Робертович рассказал мхатовцам сюжет этой пьесы и имел у них большой успех, после чего Москвин заключил с ним договор и выдал аванс. Николай Робертович был без копейки, деньги пришлись очень кстати.

(Н. Чидсон. Радость горьких лет.

Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 340—341).

Из этой записи можно заключить, что не только Эрдман, но и Москвин не шибко верил в реальность этого замысла и договор заключил только для того, чтобы финансово поддерживать любимого автора.

Но сохранилось письмо Николая Робертовича, свидетельствующее, что в то время он еще не терял надежды не только закончить, но и поставить эту задуманную им пьесу.

- ▶ Вчера днем читал и рассказывал мхатовскому художественному совету свою пьесу, ту самую, которую я однажды вечером рассказывал тебе у Тамары. Художественный совет принял ее настолько лучше тебя, насколько тот вечер был лучше вчерашнего дня. Сегодня

театр подписал со мной договор. Пожалуйста, не скажи об этом кому-нибудь — не дай бог, узнают вахтанговцы — тогда мне хана.

(Декабрь 1941. Там же. Стр. 347).

Последняя фраза дает основания предполагать, что какие-то — может быть, неофициальные — переговоры об этой пьесе он в то время вел и с вахтанговцами.

Так что какие-то надежды были.

Окончательно рухнули они только шесть лет спустя.

- ▶ Все завершилось в безоблачном августе, когда мы однажды раскрыли газеты, прочли знаменитое постановление о двух провинившихся журналах, прочли об Ахматовой и о Зощенко...

Швейцер рассказал мне, что в августе жил в Kisловодске, там был и Эрдман, снимал в гостинице на «Пятачке» маленький неудобный номер. «Когда же вы напишете пьесу?» — спросил его Швейцер. «Как раз пишу». — «Комедию?» — «Н-да-с, милстисдарь, комедию».

В то историческое утро Швейцер, гуляя, зашел к нему в номер. Эрдман примостился за столиком, на нем завлекательно возвышалась стопка исписанных листов. Швейцер протянул ему «Правду». Эрдман прочел постановление, молча вытащил из-под кровати свой чемодан и так же молча сунул на самое дно его рукопись. При этом ни хозяин, ни гость не обмолвились и полусловом. Немая сцена.

(Л. Зорин. Авансцена.

Мемуарный роман.

М., 1997. Стр. 17–18).

Нет сомнений, что эта рукопись, молча сунутая им на самое дно чемодана, была рукописью «Гипнотизера», — последней его надежды вернуться к прежней своей профессии.

Эта немая сцена, о которой рассказал Зорину Швейцер, и была тем последним, смертным приговором, который Николай Робертович Эрдман вынес себе как драматургу.

* * *

Когда Сергей Сергеевич Прокофьев вернулся из эмиграции в СССР, один из его поклонников сказал ему:

— Мне больно и стыдно, что Вас у нас знают только в узком кругу ценителей, знатоков-меломанов, а всенародной любовью и славой пользуются все эти Дунаевские, Блантеры, Покрассы...

— Ну что вы, — усмехнулся Прокофьев. — Это совершенно нормально. Во всем мире так. Ведь это просто другая профессия.

Николай Робертович после того как вынес себе и даже привел в исполнение свой «смертный приговор», профессию не переменил. Как был, так и остался драматургом. Но это была уже **другая профессия**.

В этой своей другой профессии он преуспел не меньше, чем в прежней.

Фильмы, поставленные по его сценариям, имели феерический успех. И не только зрительский, но и официальный.

Достаточно вспомнить самый знаменитый из них — «Волга-Волга».

Куплеты из него («Удивительный вопрос, почему я водовоз...»), отдельные реплики, репризы — стали народными половицами и поговорками.

К слову сказать, это был любимый фильм Сталина. Он приказывал крутить его чуть ли не после каждого их партийного собрания. Смотрел. Наслаждался. В моменты, доставлявшие ему самое большое удовольствие, бил соседа кулаком по колену и повторял:

— Сейчас он упадет в воду!

Фильм вышел на экраны в 1938 году, в 1941 был удостоен Сталинской премии. Эрдман, хоть именно он был автором сценария этого полюбившегося Сталину фильма, премию тогда не получил: фамилия его в титрах не значилась.

Реальный шанс получить ее у него появился пять лет спустя — в 1946-м.

- ...В то время, в конце войны и сразу после нее, во главе трудрезервов находился Зеленко, человек энергичный и, видимо, честолюбивый. В пропагандистских или, проще говоря, рекламных целях он организовал эффектный концерт самодеятельности, в котором выступили способные ребята, подготовленные опытными кружководцами. Трудрезервы были тогда вообще в центре общественного внимания...

Подходила какая-то юбилейная дата со дня основания организации трудрезервов, и предусмотрительный Зеленко начал к ней готовиться загодя. Прослышав, что я работаю по совместительству главным режиссером Ансамбля песни и пляски НКВД, он затащил меня на тот самый концерт, который мне понравился свежестью номеров, и стал уговаривать снять его на пленку.

Я ответил, что так ничего интересного не получится, а вот если он соблазнит крупным вознаграждением моих друзей Николая Эрдмана и Михаила Вольпина (а я знал, что они сильно нуждались, будучи военными при ансамбле, и их пайка не хватало для содержания семей) и они сочинят сценарную канву для объединения концертных номеров, то я попробую за это взяться.

Зеленко внял моему совету. Вскоре я получил записочку: «Дорогой Сережа, мы в восторге, что еще раз доводится поработать с Вами. Боимся только, что Вы не будете в таком же восторге, когда познакомитесь с тем, что мы придумали. Очень трудно. До скорого свидания.

Н. Эрдман. Мих. Вольпин». Они явно скромничали, ибо сработали занятно придуманную драматургическую оправу.

*(Из воспоминаний Сергея Юткевича.
Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии. Письма.
Документы. Воспоминания современников.
Стр. 361—362).*

О том, что представляла собой эта «занятно придуманная драматургическая оправка», мы можем судить по воспоминаниям того же Юткевича и рецензии Льва Кассиля, появившейся на страницах «Известий», когда фильм (он назывался «Здравствуй, Москва!») вышел на экраны.

- ▶ В фильме параллельно развиваются две истории, которые к финалу сливаются. Первая из них — история о том, как воспитанники ремесленного училища хотели послать на смотр в Москву художественную самодеятельность, что им при этом мешало и как они наконец добились своего и выступили на сцене Большого театра. Конечно, здесь легко усматриваются параллели с «Веселыми ребятами» и особенно с «Волгой-Волгой», но все дело в том, что фабульные ходы были совершенно иными, а один из них имел явственную детективную окраску. Это как раз и есть вторая история. Лев Кассиль в «Известиях» (6. III. 1946) излагал ее так:

«На сцену Большого театра выходит крохотный паренек в аккуратной форме воспитанника ремесленного училища, с обаятельной курносой физиономией, с огромным баяном в руках... Баян достался старому мастеру Никанору Ивановичу от его воспитателя, погибшего в 1905 году во время разгона рабочей демонстрации царской полицией. Старый мастер стал воспитателем трудовых резервов. Сам он не играл на баяне, но бережно хранил его всю жизнь. Во время его болезни маленькая внучка, чтобы до-

быть лишние деньги «на поправку дедушки», одолжила инструмент клубному баянисту, а тот похитил драгоценный баян, наложив тяжелых кирпичей в футляр, чтобы не обнаружилась пропажа. Выздоровевшего мастера переводят работать в ремесленное училище, находящееся в том городе, куда бежал похититель. Девочка скрывает от мастера пропажу. Но исчезновение баяна случайно обнаруживается, и подзрение мастера падает на одного из лучших воспитанников училища. Улики сходятся, так как ученик этот, Коля Леонов, мечтающий со своими друзьями поехать на смотр художественной самодеятельности в Москву, несмотря на суровый запрет сердитого мастера, временно наложенный им во имя укрепления дисциплины, продолжает украдкой готовиться к концерту, для чего раздобывает инструмент у баяниста в пивной».

В конце выясняется, что он и есть похититель, а баян, взятый напрокат, тот самый, заветный. Все становится на свои места, и вот — концерт в Большом театре.

(Там же. Стр. 362–363).

Тогдашнему кинематографическому начальству вся эта чепуха очень понравилась. Картину выдвинули на очередную Сталинскую премию и отобрали для показа на первом послевоенном фестивале в Каннах.

Дело было верное, и Эрдман с Вольпиным, вместе с другими создателями этого шедевра, казалось, могли уже просверливать в лацканах своих пиджаков дырочки для лауреатских медалей.

Но неожиданно все сорвалось.

- ...Вся хитроумная постройка Зеленко внезапно обрушилась — и вот по какой неожиданной причине: Сталину доложили, что в одном из фабрично-заводских училищ учитель избил подростка. Мы

узнали об этом из рассказа Большакова (тогдашнего председателя Комитета по делам кинематографии, а затем министра. — Б. С.), который, как обычно, отправился в Кремль со списком новых фильмов, в котором на первом месте значилась «Здравствуй, Москва!». Хозяин спросил: «Про что это?» Большаков вымолвил: «Про трудовые резервы». Сталин зло сказал: «Не буду смотреть». Так погорели и юбилей, и награждения, и наша премия. Но Калатозову, занимавшему тогда пост начальника главка, удалось все же настоять на посылке картины в Канн.

(Там же. Стр. 363).

Сталинскую премию они (и Эрдман, и Вольпин) получили в 1951 году — за фильм «Смелые люди».

Фильм этот делался по прямому заказу Сталина.

- ▶ Мы догадывались, что «Смелых людей» пишем по заказу Сталина. Он вроде бы выразил пожелание, чтобы была снята настоящая ковбойская лента, но про Отечественную войну. В результате переговоров с разными редакторами мы начали сочинять настоящую приключенческую картину. Нашим консультантом был Буденный. По нашей просьбе редактор, который ходил вместе с нами на консультацию, нас ругал за столь несерьезный сценарий. Мы хотели предвосхитить «удар» Буденного, потому что были уверены: ему не понравится. Буденный выслушал «негативный» монолог редактора и ответил неожиданно: «Вы что же, думаете, что это последняя война? Зачем же мы молодежь пугать будем?» И много интересного рассказал о лошадях...

*(Из воспоминаний М.Д. Вольпина.
Н. Эрдман. Пьесы. Интермедии.*

Письма. Документы. Воспоминания современников. Стр. 455).

Итак, на первом этапе — пронесло.

Вообще-то, казалось бы, никаких оснований для беспокойства у них быть не могло. Если фильм делается по заказу Сталина, значит будет ему — на всех этапах прохождения по инстанциям — «зеленая улица».

Но соавторы хорошо знали, в какой стране живут. И угадали, что все будет ровно наоборот. Если желание сделать такой фильм выразил сам Сталин, значит, должно быть к нему особое внимание. Повышенная бдительность. А вдруг вождь скажет, что он хотел совсем другого? Что создатели фильма испортили, извратили его гениальный замысел?

И они — как в воду глядели.

- ▶ Обсуждение фильма было скандальным. Редактор «Правды» кричал на нас — мол, кто сделал, да по чьему такому велению, да кто консультант, да кто дал право такие фильмы о войне снимать. Всем было не по себе. Эрдман молчал. Я встал и сказал только одно: «Создать настоящую приключенческую картину нам не удалось, но вы, надеюсь, поймете, как важен приключенческий жанр, и другие напишут лучше, чем мы...» Он кричал и размахивал пальцем у меня перед носом, буквально задевая нос: «Забыли с Эрдманом, откуда недавно вернулись? Опять захотелось?» Пришлось его оттолкнуть. А следующий худсовет был как нельзя более мирный. Нам говорили, что картина замечательная, и всякие лестные слова, хвалили консультанта, хвалили замечательную идею «снять приключенческую картину о войне»... Потом новая «встряска». Картину опять запретили, она признана халтурой. Велят переделывать. Мы ходили ко всем большим людям — режиссерам, композиторам, операторам, — просили за нас картину не переделывать, не соглашаться... В общем, фильм доделали сами, безрадно. Он вышел — и получил Сталинскую премию...

(Там же).

Так они все-таки ухватили за хвост свою жар-птицу.

В конце обсуждения всех представленных в тот раз на премию фильмов Сталин будто бы сказал:

— «Смелым лошадям» тоже надо дать.

То ли так запомнилось ему название фильма, то ли это было проявление добродушного сталинского юмора: главными героями этого их фильма и в самом деле были скорее не люди, а лошади.

Помнил ли Сталин, что сценаристы, которых он соизволил сделать лауреатами, — те самые авторы «грязных антисоветских басен», за которые в свое время он приказал их арестовать и выслать в места отдаленные? И что один из них некогда сочинил пьесу, за которую хлопотал Станиславский, и он сквозь зубы разрешил ему «сделать опыт и показать свое мастерство», попытавшись ее поставить?

Конечно, помнил.

Он таких вещей не забывал. А если случалось что-нибудь подзабыть, всегда поблизости находился кто-нибудь, считавший своим долгом ему об этом напомнить.

Поэтому я легко могу вообразить такой диалог.

— Этот Эрдман, значит, все еще что-то пишет? — спрашивает Сталин у кого-то из своих «товарищей, знающих художественное дело».

— Пишет, товарищ Сталин. Много пишет. Сценарии разные, оперетки.

— Да нет, — морщится вождь. — Я не про это. Другое что-нибудь пишет? Может быть, басни?

— Что вы, товарищ Сталин! Какие басни!

— Ну, не басни, так пьесы. Вроде этого своего «Самоубийства».

— Нет, — отвечает товарищ, знающий художественное дело. — Какое там! Больше, говорит, никогда в жизни такого писать не будет.

И Сталин довольно разглаживает усы:

— Ну, то-то.

СТАЛИН
И СИМОНОВ

ДОКУМЕНТЫ

1

ИЗ МЕМУАРОВ МИЛОВАНА ДЖИЛАСА

Меня уже давно занимали два вопроса — почти частные, и я хотел узнать мнение Сталина.

Один был из области теории...

Второй вопрос относился к Достоевскому. Я с ранней молодости считал Достоевского во многом самым большим писателем нашего времени и никак не мог согласиться с тем, что его атакуют марксисты.

Сталин на это ответил просто:

— Великий писатель — и великий реакционер. Мы его не печатаем, потому что он плохо влияет на молодежь. Но писатель великий!

Мы перешли к Горькому. Я сказал, что считаю самым значительным его произведением — как по методу, так и по глубине изображения русской революции — «Жизнь Клима Самгина». Но Сталин не согласился, обойдя тему о методе:

— Нет, лучшие его вещи те, которые он написал раньше: «Городок Окуров», рассказы и

«Фома Гордеев». Что касается изображения русской революции в «Климе Самгине», там очень мало революции и всего один большевик — как бишь его звали: Лютиков, Лютов?

Я поправил:

— Кутузов, Лютов совсем другое лицо.

Сталин продолжал:

— Да, Кутузов! Революция там показана односторонне и недостаточно...

Мне было ясно, что Сталин и я не понимаем друг друга...

Дискуссии по поводу «Молодой гвардии» Фадеева, которую тогда уже критиковали из-за недостаточной партийности ее героев, я избегал. Мои упреки в ее адрес были как раз противоположного свойства — схематизм, отсутствие глубины, банальность...

Жданов рассказал о замечании Сталина по поводу любовных стихов К. Симонова: «Надо было напечатать всего два экземпляра: один для нее, второй для него!» — на что Сталин хрипло рассмеялся, сопровождаемый хохотом остальных.

2

КОНСТАНТИН СИМОНОВ — ПОСКРЕБЫШЕВУ О СВОЕЙ ПЬЕСЕ «ЧУЖАЯ ТЕНЬ»

9 февраля 1949 г.

Многоуважаемый Александр Николаевич!

Посылаю Вам последний вариант моей пьесы «Чужая тень», над которой я работал, стремясь выполнить указания, которые сделал товарищ Сталин.

Вот указания товарища Сталина, которые я записал:

— В пьесе есть один вопрос, который решен неверно и в котором надо найти правильное решение. Трубников считает, что его лаборатория — это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория — их соб-

ственность. Это тоже неверная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. В пьесе же правительство не принимает участия там, где идет речь о секрете большой государственной важности. После того, как Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубийством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно в пьесе не вмешивается. Это неправильно. Надо в конце сделать так: когда Макеев приезжает из Москвы в институт и разговаривает в присутствии всех с Трубниковым, он должен сказать, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории и обязало передать Трубникову, что, несмотря на все совершенное им, правительство не сомневается в его честности и в его способности довести до конца начатое им дело.

Выполняя эти указания, я внес в текст пьесы ряд исправлений и переработал конец пьесы, которая передана мною для напечатания в журнал «Знамя».

Глубоко уважающий Вас
Константин Симонов

*(Большая цензура. Писатели и журналисты
в Стране Советов. 1917—1956.
Документы. Стр. 594).*

3

**ЗАПИСКА К.М. СИМОНОВА Г.М. МАЛЕНКОВУ
О ГОТОВНОСТИ НАПИСАТЬ ПЬЕСУ
«ГОРЬКИЙ В АМЕРИКЕ»**

19 марта 1949 г.

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. МАЛЕНКОВУ Г.М.

Тщательно обдумав и взвесив все варианты пьесы, которую можно было бы написать по мотивам американских

памфлетов М. Горького, и, по-писательски, представив себе, как мне нужно будет работать, если бы это дело было поручено мне, я пришел к выводу, что наиболее полно и хорошо можно решить эту задачу, написав пьесу «Горький в Америке».

1. Работая над пьесой по мотивам Горького, очень хочется использовать как можно больше блестящего горьковского текста — его собственные, во многом пророческие, высказывания об Америке. Памфлеты представляют для этого большой материал, особенно памфлеты «Один из королей республики» и «Жрец морали». Но еще больший дополнительный материал могут дать многочисленные письма Горького из Америки и ряд, по моим сведениям, имеющихся в архивах воспоминаний о пребывании Горького в Америке. В пьесе «Горький в Америке» открывается возможность все обличительные слова его памфлетов вложить в уста самого Горького.

2. Сама история пребывания Горького в Соединенных Штатах, если ее широко дать в пьесе, резко вскрывает целый ряд темных сторон жизни капиталистической Америки: и беспредельную продажность прессы, и ханжеские мотивы той травли, которой подвергался Горький якобы за нарушение американских представлений о нравственности, а на самом деле за посылку им телеграммы протеста против предполагавшейся казни двух американских социалистов; и прислужничество перед хозяевами либеральных американских интеллигентов, в трудную минуту отшатнувшихся от Горького.

3. Пьеса о Горьком в Америке в то же время даст представление о передовой левой интеллигенции, поддерживавшей Горького, позволит показать американский народ, участвовавший во многих митингах, на которых выступал Горький.

4. Пьеса «Горький в Америке» будет звучать очень современно. Высказывания Горького, касающиеся таких современных и злободневных вопросов, как срастание монополистического капитала с правительством и полное

подчинение правительства его интересам, как беспощадная борьба американского капитализма с рабочим движением, как расистская колонизаторская политика американского империализма, как беспредельная лживость американской «демократии» и легенда о так называемом высоком стандарте американской жизни, — все эти высказывания будут целиком адресованы в сегодняшний день империалистической Америки.

5. Тема пьесы «Горький в Америке», кроме всего прочего, дает возможность ударить по космополитам, вскрыть некоторые корни космополитизма, явным выражением которого были многочисленные выступления российской либеральной прессы, ползавшей на коленях перед Америкой и оплевывавшей Горького за его «Город желтого дьявола».

6. Показ на сцене самой фигуры Горького, столь глубоко любимого советским читателем и зрителем, в обстановке той травли, которой он подвергался со стороны американского капиталистического общества, вызовет у зрителя резчайшее чувство протеста против правящих кругов Америки и против всех продажных порядков и нравов американского общества.

7. В пьесу может быть введен пролог, действие которого будет происходить в современной Америке и который дополнительно уже непосредственно свяжет все происходящее в пьесе с нашими днями.

По всем этим причинам, я, как писатель, тщательно взвесив вопрос о возможности создания пьесы по мотивам Горького, убежден, что, именно показав Горького в Америке, можно наиболее полно и сильно использовать этот материал, взяв временем действия 1906 год, но целиком, по всему духу материала, по всему духу того, что говорил и писал Горький, устремив его беспощадную критику на Америку сегодняшнего дня.

Глубоко уважающий Вас

Константин Симонов

К.М. СИМОНОВ, А.В. СОФРОНОВ — В ЦК ВКП(б)
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР «КРИТИКОВ-АНТИПАТРИОТОВ»

26 марта 1949 г.

Секретно

Товарищу СТАЛИНУ И.В.

Товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М.

В связи с разоблачением одной антипатриотической группы театральных критиков Секретариат Союза советских писателей ставит вопрос об исключении из рядов Союза писателей критиков-антипатриотов: Юзовского И.И., Гурвича А.С., Борщаговского А.М., Альтмана И.Л., Малюгина Л.А., Бояджиева Г.Н., Субоцкого Л.М., Левина Ф.М., Бровмана Г.А. как не соответствующих п. 2 Устава Союза советских писателей, в котором говорится: «Членами Союза советских писателей могут быть писатели (беллетристы, поэты, драматурги, критики), стоящие на платформе советской власти и участвующие в социалистическом строительстве, занимающиеся литературным трудом, имеющие художественные или критические произведения, напечатанные отдельными изданиями или в литературно-художественных и критических журналах (а также ставящиеся на профессиональных и клубных сценах) и имеющие самостоятельное художественное или научное (критические работы) значение» (п. 2).

Заместитель Генерального Секретаря
Союза Советских писателей СССР

К. Симонов

Секретарь Правления
Союза Советских писателей СССР

А. Софронов

(Государственный антисемитизм
в СССР. Стр. 307).

ИЗ СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ССП О ПРИЕМЕ В СОЮЗ

23 июня 1953 г.

т. СОФРОНОВ

Прежде чем перейти к персональным делам, у нас имеется поступившее в Президиум и Секретариат ССП заявление М.М. Зоценко следующего содержания (зачитывается заявление) — о восстановлении его в Союзе писателей. Это заявление было получено Секретариатом, Секретариат слушал его и поручил товарищам Симонову, Грибачеву и Соболеву ознакомиться с новыми произведениями Зоценко и свои соображения представить Президиуму.

т. ШАГИНЯН

Я видела Зоценко каждый год после постановления ЦК, и я должна сказать, что это по-настоящему человек. Он хорошо реагировал на постановление, понял свои ошибки. Он работающий и по-настоящему талантливый советский писатель. И нам стыдно, если мы сейчас не протянем ему руку помощи. Он находится в очень тяжелом моральном и материальном положении. Вопрос о восстановлении Зоценко может быть решен нами единогласно.

т. СИМОНОВ

Я был бы против того, чтобы восстанавливать Зоценко. Мы в свое время исключили его из Союза правильно, исключили за серьезные ошибки.

Я согласен с Мариэттой Сергеевной, что он правильно отнесся к критике, что он много и честно работал, что он создал после этого ряд вещей, которые позволяют его принять в Союз — не восстановить, а принять в Союз.

Я бы Зоценко принял в Союз на основании произведений, написанных им за эти годы, с 1946-го по 1953-й, среди них и партизанские рассказы (это первое, что он опубликовал). Это не очень сильно художественно, но это очень честная попытка стать на правильные позиции. Там есть и хорошие вещи — в этих рассказах. Его переводческая дея-

тельность во многом просто блестяща. Это тот случай, когда я принял бы в члены Союза как переводчика за один перевод. Это блестящее художественное произведение.

Я предложил бы принять Зоценко в члены Союза писателей как прозаика и переводчика.

Какие еще есть предложения?

Т. ТВАРДОВСКИЙ

Если употребить выражение «восстановить», это значит отменить решение об исключении из Союза. Восстанавливают тогда, когда признают неправильным исключение, тогда восстанавливают.

Возьмем даже более серьезное дело: исключение из партии. Восстанавливают только в случае признания высшим органом неправильности исключения.

Т. ШАГИНЯН

Это, мне кажется, неверно.

Т. СИМОНОВ

Или когда человек был исключен на срок.

Т. ШАГИНЯН

ЦК не вычеркивал всего литературного пути Зоценко, он дал постановление об определенных его вещах, он не опорочил все то, что Зоценко сделал до этих вещей. Дело идет не о простой формальности. Восстановить — это значит признать его стаж, это значит дать ему право на пенсию. Человек находится в страшно тяжелом психическом состоянии. Принять его в Союз как новичка — это значит делать его начинающим писателем. Кажется, это простая форма, а есть в ней глубокий смысл.

Давайте обратимся с нашим решением в ЦК, может быть, он санкционирует наше решение. Но ставить вопрос, что будто бы восстановление отменяет исключение, это неверно.

Был прецедент: Ахматову мы восстановили. Слабый, чуждый нам поэт.

Т. СИМОНОВ

Мы ее приняли или восстановили?

Т. ШАГИНЯН

А Зоценко, который сформировался при Советской власти, который ближе нам по существу, по внутренней позиции, которую он не менял всё время, — его мы будем

принимать, а не восстанавливать. Почему вы так отнеслись к Ахматовой?

т. СИМОНОВ

Для объяснения своих позиций я хочу сказать, что я не присутствовал при восстановлении Ахматовой, а если бы присутствовал, несомненно, голосовал бы не за восстановление, а за прием. Считаю, что и Ахматову надо было бы принимать в Союз заново, а не восстанавливать. А если есть формулировка о восстановлении, то это — неверная формулировка.

т. ТВАРДОВСКИЙ

Я не понимаю, почему так хлопочет Мариэтта Сергеевна Шагинян, — на пенсию писателя это не влияет.

т. ГРИБАЧЕВ

Пенсия — вещь персональная, а дается отнюдь не за выслугу лет.

т. ШАГИНЯН

Всё же партия не вычеркивает всей прежней его работы.

т. СОБОЛЕВ

Мы его исключили из Союза. Прошел какой-то срок, он поработал, показал себя как человек не бесполезный, и мы считаем возможным, чтобы он был в нашей организации, не восстанавливая его, а вновь принимая на общих основаниях, как старого литератора.

т. СИМОНОВ

Есть два предложения: предложение Мариэтты Сергеевны Шагинян восстановить Зоценко в ССП, и моё предложение — принять его в члены ССП. Я хотел бы, чтобы члены комиссии, назначенной Секретариатом, высказались по этому вопросу.

т. ГРИБАЧЕВ

Была приведена серьезная мотивировка. Ведь если мы восстановим его, мы делаем вид, что Зоценко ничего не совершил, что всё было ошибкой и Зоценко возвращается в Союз. Этого, по-моему, делать нельзя.

т. СОБОЛЕВ

Я также не понимаю, почему вы упираетесь в эту формулировку? Вы говорите, что для него это тяжело. Но если после известного случая и постановления ЦК мы приняли решение о том, чтобы расстаться с писателем, исключить

его из наших рядов, то если мы сейчас будем говорить о восстановлении, то по логике русского языка это означает, что мы признаем свою ошибку по поводу исключения из Союза Зоценко и считаем это исключение ошибочным.

т. ШАГИНЯН

А как же быть с Ахматовой?

т. СОБОЛЕВ

Была допущена ошибка, если она была «восстановлена», а не «принята». Если бы я присутствовал на этом заседании, я сказал бы так же.

Если вы говорите, что это на него подействует, то тогда он просто не понял, что тогда произошло.

т. СИМОНОВ

Для него было бы гораздо тяжелее, если бы мы не приняли его в Союз. Я прошу голосовать. Первое предложение Маризтты Сергеевны Шагинян о том, чтобы восстановить Зоценко в ССП. Кто за это предложение? (Один.) Кто за мое предложение — принять в члены Союза? (Единогласно.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять М.М. Зоценко в члены ССП.

6

ПИСЬМО К.М. СИМОНОВА В.М. МОЛОТОВУ О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ В ДИСКУССИИ О ТВОРЧЕСТВЕ В.В. МАЯКОВСКОГО

17 июля 1953 г.

Президиум ЦК КПСС тов. Молотову В.М.

Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович!

16 июля с.г. на заседании Президиума Вы указали на то, что в «Литературной газете» во время дискуссии по вопросам изучения творчества Маяковского в отчете не только не была подвергнута критике, но даже была подержана неверная точка зрения, что Маяковскому в его юные годы партийная работа якобы мешала заниматься творчеством.

Вопрос был поставлен неожиданно для меня, и, очевидно, я не сумел сразу достаточно убедительно объяснить, как все обстояло на деле. Но как писатель-коммунист, которому никогда в жизни не приходило в голову и не могло прийти какое бы то ни было противопоставление творчества партийной работе, — я не могу не поставить Вас в известность, что в данном случае произошло недоразумение.

В отчете «Литературной газеты» о дискуссии и, в частности, в изложении упомянутого Вами доклада, не только не содержалось поддержки подобной неверной позиции, но, напротив, содержалось ее осуждение.

Вот текст изложения соответствующего места доклада В. Друзина («Литературная газета» № 10 от 22 января 1953 г.):

«В редакционной статье «Комсомольской правды» при ее общей правильной установке есть высказывания, которые вызывают решительное возражение. Так, например, там сказано: «В. Новиков допускает прямое искажение исторических фактов. На стр. 12 он пишет: «Мелкобуржуазная анархическая группа футуристов, с которой сотрудничал Маяковский, оказала на молодого поэта отрицательное влияние. Прекратив партийную работу, Маяковский отошел от революционной среды, сделал неверный шаг». Так ли это? Нет. Известно, что это произошло в 1910 году, т.е. еще тогда, когда Маяковский не только не был связан ни с какой футуристической группой, но и ни одного футуриста в глаза не видел. Что же касается причин этого поступка, то лучше всего об этом сказал сам Маяковский в своей автобиографии».

Как известно, юноша Маяковский активно участвовал в партийной подпольной работе. Затем он вышел из партии. Это нужно объяснить, не обходя молчанием фактов. Сам Маяковский писал впоследствии, что уже в те годы он считал нужным создавать социалистическое, революционное искусство.

Действительно, с самого начала своей деятельности Маяковский стремился создавать революционное искусство. Но можно ли считать, что это субъективное желание Маяковского исчерпывающе объясняет и оправдывает факт его

выхода из партии? Нет, ибо и в то время были литераторы, которые создавали революционную поэзию, работая в легальной и нелегальной большевистской печати, оставаясь в рядах партии.

Вступление Маяковского в группу футуристов осложнило его работу по созданию революционного искусства. Не следует замалчивать заблуждения юного Маяковского, не следует замалчивать те осложнения, которые возникли вследствие его вступления в группу футуристов».

Я подчеркнул синим карандашом текст цитаты из «Комсомольской правды» и красным — текст «Литературной газеты», где неверная позиция «Комсомольской правды», бравшей под защиту отход юного Маяковского от партийной работы, была осуждена. В том же номере «Литературной газеты» была еще раз подчеркнута неправильность позиции «Комсомольской правды». Вот это место:

«В. Архипов, по существу правильно полемизируя с ошибочным местом в редакционной статье «Комсомольской правды», где оправдывался отход юноши Маяковского от революционной деятельности, сделал, однако, странное заявление, что не читал критикуемой статьи в целом, а затем высказал ряд сумбурных и сбивчивых положений».

Такова была на самом деле позиция «Литературной газеты» по этому вопросу.

Мне стыдно за свою непростительную ошибку с опубликованием националистического стихотворения И. Бехера. Я знаю, что и помимо этого я как редактор газеты допускал ошибки и промахи в своей работе, и это для меня серьезный урок.

Но я не хочу в Ваших глазах, в глазах Президиума ЦК КПСС быть виноватым в том, в чем я не виноват. Никогда ни как писатель, ни как критик, ни как редактор я не стоял на гнилых и глубоко чуждых мне позициях противопоставления партийной работы творчеству.

Я решился отнять у Вас несколько минут времени своим письмом потому, что мне очень важно, чтобы Вы знали об этом правду.

Глубоко уважающий Вас

Константин Симонов

ПИСЬМО В.М. МОЛОТОВА К.М. СИМОНОВУ
ОБ ОШИБОЧНОСТИ ЕГО ПОЗИЦИИ
В ДИСКУССИИ О ТВОРЧЕСТВЕ
В.В. МАЯКОВСКОГО

3 августа 1953 г.

Тов. К. Симонову
Дорогой товарищ!

Получил Ваше письмо от 17 июля и никак не могу согласиться с Вами.

Не берусь судить относительно всей состоявшейся дискуссии о творчестве Маяковского и не имел возможности подробно ознакомиться с нею. Не приходится сомневаться, что хорошие дискуссии о творчестве нашего талантливейшего поэта Маяковского нам нужны и полезны. Однако Ваше письмо, на мой взгляд, лишь подтверждает критическое замечание, сделанное мною на заседании Президиума 16 июля, хотя мне приходится сразу же отметить, что в письме неправильно изложено сказанное мною.

Вы цитируете, между прочим, следующий отрывок из отчета о дискуссии, напечатанного в «Литературной газете» 22 января при изложении доклада В. Друзина:

«Действительно, с самого начала своей деятельности Маяковский стремился создавать революционное искусство. Но можно ли считать, что это субъективное желание Маяковского исчерпывающе объясняет и оправдывает факт его выхода из партии? Нет, ибо и в то время были литераторы, которые создавали революционную поэзию, работая в легальной и нелегальной большевистской печати, оставаясь в рядах партии».

Неужели Вы не заметили антиреволюционной фальши в этой странной тираде? В таком случае позвольте обратить Ваше внимание на следующее.

Ведь у автора этой цитаты получается так: «Маяковский стремился создавать революционное искусство», но этим нельзя «исчерпывающе» (!) объяснить и оправдать факт его выхода из коммунистической партии. Таким образом, получается, что выход Маяковского из партии нельзя, видите ли, полностью (то есть «исчерпывающе») объяснить стремлением создавать революционное искусство, но в какой-то мере (не «исчерпывающе») этот шаг Маяковского можно объяснить и этим обстоятельством. Разве такие половинчатые рассуждения достойны коммуниста или даже просто революционного демократа!

В. Друзин пошел еще дальше по этой скользкой дорожке. Он заявляет: «И в то время были литераторы, которые создавали революционную поэзию, работая в легальной и нелегальной большевистской печати, оставаясь в рядах партии».

По Друзину получается, что будто кому-то еще надо доказывать самую возможность «создавать революционную поэзию» для человека, оставшегося в дореволюционное время в рядах большевистской партии. Друзин, видите ли, только допускает эту возможность и, как бы извиняясь за нашу партию, говорит, что «и в то время были литераторы», которые создавали революционную поэзию, оставаясь в рядах партии. Трудно даже понять, чему больше сочувствует В. Друзин: партии или ренегатам партии?

Откровенно говоря, я не мог и не могу без негодования читать всю эту антиреволюционную болтовню Друзина о нашей большевистской партии. Я слишком мало знаю о В. Друзине, чтобы судить о нем, но что Друзин не способен по-настоящему защищать знамя и честь партии, это достаточно ясно.

Удивляет меня то, что Вы, тов. Симонов, не заметили этого и даже взяли за столь неуместную защиту этих чуждых нашей партии рассуждений В. Друзина.

ПИСЬМО К.М. СИМОНОВА В.М. МОЛОТОВУ
С ПРИЗНАНИЕМ СВОИХ ОШИБОК
В ДИСКУССИИ О ТВОРЧЕСТВЕ
В.В. МАЯКОВСКОГО

4 августа 1953 г.

Дорогой Вячеслав Михайлович!

Благодарю Вас за Ваше письмо. Оно помогло мне понять, в чем состояла моя ошибка и с публикацией изложения доклада В. Друзина и с последующей неверной оценкой с моей стороны содержащихся там половинчатых, беспринципных суждений.

Но дело не только в этом — Ваше письмо для меня — сравнительно еще молодого коммуниста — послужит большой наукой на будущее. Что это так — надеюсь доказать делом.

Глубоко уважающий Вас

К. Симонов

СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ
(Из написанной К.М. Симоновым передовой
статьи «Литературной газеты»)

19 марта 1953 г.

Самая важная, самая высокая задача, со всею настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина.

ИЗ ЗАПИСКИ ОТДЕЛА НАУКИ,
ШКОЛ И КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС ПО РСФСР
С СОГЛАСИЕМ СЕКРЕТАРЕЙ ЦК КПСС
ОБ ОШИБОЧНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ
К.М. СИМОНОВА НА ВСЕСОЮЗНОМ
СОВЕЩАНИИ РАБОТНИКОВ КАФЕДР
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

25 мая 1957 г.

ЦК КПСС

В начале текущего учебного года 30 октября 1956 г. Министерство высшего образования СССР совместно с Московским Государственным университетом проводило всесоюзное совещание работников кафедр советской литературы, на котором обсуждали проект программы по истории советской литературы. На этом совещании выступил писатель тов. Симонов.

Тов. Симонов подверг критике доклад А.А. Жданова и постановления ЦК партии 1946 г. по идеологическим вопросам. В своей речи тов. Симонов обосновывал причины появления романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», который он охарактеризовал как смелое произведение, резко бичующее недостатки в жизни нашего общества. Далее т. Симонов настаивал на включении в программу изучения творчества К. Паустовского. В то же время тов. Симонов обрушился на таких писателей, как товарищи Грибачев, Бабаревский, которые как лакировщики, по его мнению, нанесли ущерб развитию советской литературы.

Выступление тов. Симонова было воспринято участниками совещания как установочное и нанесло большой вред, неправильно ориентируя вузовских работников в освещении принципиальных вопросов развития литературы. Критика постановления ЦК внесла путаницу в сознание преподавателей и молодежи, подрывая в их глазах автори-

тет партийного руководства. Об этом рассказали руководители кафедр литературы московских вузов, приглашенные для беседы в отдел.

*(Аппарат ЦК КПСС и культура.
1953—1957. Документы. М., Стр. 670).*

11

ИЗ ЗАПИСКИ ОТДЕЛА НАУКИ,
ШКОЛ И КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС ПО РСФСР
О ВЫСТУПЛЕНИЯХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ
ЗАСЕДАНИИ ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

9 марта 1957 г.

ЦК КПСС

8 марта с. г. на заключительном заседании Пленума Правления Московского отделения Союза писателей СССР в связи с политически вредной речью Дудинцева выступил писатель К. Симонов.

К. Симонов начал свое выступление с заявления, что он не выступил бы на данном Пленуме, если бы не было речи писателя Дудинцева. Редколлегия журнала «Новый мир» обменялась мнениями, и в своем настоящем выступлении он выражает общее мнение редколлегии.

Симонов охарактеризовал выступление Дудинцева одинаково тяжелым и вредным, как в свое время было выступление Паустовского, назвал выступления Дудинцева и Паустовского далекими от понимания подлинных задач советского писателя и ответственности перед обществом.

Симонов призвал аудиторию задуматься над смыслом аплодисментов, сопровождающих выступления Дудинцева и Паустовского. Симонов оговорился, что не стремится наклеивать ярлыки. Дудинцев писал с добрыми намерени-

ями, но в той позиции, которую занял писатель, он не усматривает добрых намерений. Дудинцеву следовало бы задуматься над поцелуйным обрядом за рубежом, задуматься, за что хвалит враг. Дудинцев не занял правильной позиции и пытается представить из себя жертву, ищет поддержки. Ему следовало бы отдать отчет в том, за что его хором хвалят, что есть плохого и хорошего в оценке его романа.

Симонов подверг критике Дудинцева за то, что он продолжает необоснованно жаловаться на свою судьбу как литератора, не дает отчета в своих действиях и проявляет себя бессильным даже во взаимоотношениях с дочерью, не умея и не желая ей разъяснить отношение читателей к роману «Не хлебом единым».

Симонов разоблачил перед присутствующими вредность заявления Дудинцева о якобы тяжелой судьбе писателя в нашей стране, и в частности Дудинцева. Здесь неуместным оказывается и обращение к будущему, которое якобы оценит это произведение...

Симонов признал, что редакция журнала «Новый мир» не проявила твердости в подходе к напечатанию этой книги, не увидела односторонности в изображении советского общества. Симонов отметил, что Дудинцев пытается встать в позу дирижера нашей критики и пытается управлять критикой вместо того, чтобы подумать о похвале и порицании его произведения. Писатель не признает критики. Дудинцев встал над романом и пытается сделать из этого произведения «программный документ эпохи», призывает сравнивать жизнь и его роман, хотя в литературе имеются лучшие произведения, как, например, Николая Островского, действительно отражавшие характер эпохи.

Симонов подверг резкой критике сообщение Дудинцева о тех обстоятельствах, в которых сложился роман. Симонов заявил, что он также много видел горечи на войне, но это не отравило его души. Многие советские самолеты пограничных аэродромов были уничтожены в первые дни войны. И для первых дней войны было характерно, когда в воздухе находилось 10 немецких истребителей, с которыми героически сражались 2—3 советских, а не так, как это пыта-

ется изобразить Дудинцев. Эти слова были встречены аплодисментами.

Симонов подчеркнул, что Дудинцев видит в войне только одни поражения, он мог бы увидеть и победы. Верно, что в 1941 году было под Псковом 8 снарядов на одну пушку, но еще более верно то, что 40 тыс. стволов наших орудий обрушились на Берлин в 1945 году. Можно наколлекционировать очень много недостатков, поражений в войне, но тогда станет непонятным, почему же все-таки победили мы в этой войне.

Выступление Дудинцева на пленуме, вопреки его намерениям, помогло нам отчетливо и ясно увидеть причины односторонности изображения советской действительности в его романе. Дудинцев хотел доказать, почему он прав, а показал, почему он не прав. Дудинцев все время говорит о правах писателя и умалчивает о его обязанностях.

Симонов подверг критике Дудинцева и за неправильное освещение послевоенной жизни советской страны в романе и в выступлении на пленуме. Симонов указал, что Дудинцев избегает отвечать на критику, мимоходом говорит об этом. Симонов указал, что особенно вредным является утверждение Дудинцева, что можно создать полнокровное произведение без какого бы то ни было положительного героя.

Самое тяжелое впечатление на Симонова, по его словам, произвело утверждение Дудинцева о «ремешке», на котором мамыши в Англии водят детей, требование пустить его поплавать самостоятельно, поскольку якобы он овладевал «марксизмом-ленинизмом во всех инстанциях». Симонов прямо заявил, что в словах о «ремешке» нетрудно рассмотреть попытку отказаться от партийного руководства и от диктатуры пролетариата. Последние слова Симонова вызвали шум в зале и многочисленные возгласы: «Неправильно!», «Неверно!», «Дудинцев так не говорил!» Но Симонов сумел овладеть аудиторией и продолжал свое выступление. Он разъяснил ошибочность и вредность подобного выступления в сложных современных международных условиях.

Симонов отметил, что Дудинцев много обращается к будущему, в котором писатель будет свободен, где не будет «человека с клюкой», неправильно противопоставляя настоящему будущее, подтасовывая факты. Дудинцев по-маниловски тоскует о коммунизме, а надо бороться. Путь к коммунизму ведет через диктатуру пролетариата. Надо гордиться, что мы идем под руководством партии, отвергать все случайное и наносное.

Симонов отметил, что за рубежом восхваляют Дудинцева как борца против советской действительности, и Дудинцев обязан был бы дать этим людям, которые его восхваляют, публичную пощечину. Симонов заметил, что в советской литературе не впервые появляются такие произведения, как роман Дудинцева и как его выступление на пленуме. Это, как недавно заметил журнал «Коммунист», всегда бывало на крутых поворотах, в сложных условиях. Писатели умели постоять за себя и за литературу. Я уверен, что Дудинцев не струсит и поймет, что главное и что второстепенное в его романе. Надо ясно видеть, чего хочет враг.

Присутствующие выслушали речь Симонова в отличие от всех других выступающих с большим вниманием и проводили Симонова аплодисментами.

Необходимо отметить, что т. Симонов в своем выступлении признал по существу ошибки, которые он допустил как редактор журнала «Новый мир», поместив роман Дудинцева «Не хлебом единым» и защищая его в предыдущих выступлениях.

*(Аппарат ЦК КПСС и культура.
1953—1957. Документы. Стр. 631).*

Сюжет первый

«ОДИН – ЕМУ, ДРУГОЙ – ЕЙ...»

Как рассказывали, реплика эта родилась при следующих обстоятельствах.

Когда Сталину показали только что вышедшую маленькую книжечку лирических стихов Симонова «С тобой и без тебя», он сперва вроде отнесся к ней одобрительно, а потом вдруг сказал:

– Только вот тираж...

Симонов был сталинским любимцем, и ловившим каждое слово вождя холуям показалось, что он недоволен тем, что тираж книги слишком мал. И тут же стали интересоваться, какой, по его мнению, у этой книги должен быть тираж. Пятьдесят тысяч экземпляров? Может быть, даже сто?

Вот тут-то будто бы и родилась эта знаменитая сталинская острова.

– Нет, – сказал вождь. – Зачем же так много. В этом случае, я думаю, достаточно было бы двух экземпляров. Один – ему, другой – ей.

Была ли на самом деле произнесена эта, тут же ставшая знаменитой, сталинская реплика?

Сын Константина Михайловича Алексей Кириллович это категорически отрицает.

В книге своих мемуаров он откровенно глумится над этой «апокрифической», как он ее называет, фразой Сталина.

- ▶ ...которую приводят в хвост и в гриву во всех гламурных и якобы глубоко сочувственных публикациях, посвященных этим отношениям, которые у меня навязли в зубах и повторяются с унылой настойчивостью.

Я не большой поклонник Иосифа Виссарионовича, но сочинить подобную пошлость можно было бы, и не вкладывая ее в уста вождя. А ведь без этой, с позволения сказать, «цитаты» не обошелся ни один из публикаторов ни в газетах, ни в журналах, ни в фильмах и телесериалах.

(А. Симонов. Парень с Сивцева Вражка. М., 2009. Стр. 265).

Есть, однако, серьезные основания считать, что фраза эта отнюдь не «апокрифическая», что она действительно была Сталиным сказана.

Главное — и уже само по себе достаточно серьезное основание — свидетельство Милована Джиласа (Документ № 1):

- ▶ Жданов рассказал о замечании Сталина по поводу любовных стихов К. Симонова: «Надо было напечатать всего два экземпляра: один для нее, второй для него!» — на что Сталин хрипло рассмеялся, сопровождаемый хохотом остальных.

(М. Джилас. Разговоры со Сталиным. Цит. по кн.: В. Невежин. Застольные речи Сталина. Стр. 496).

Сталин, стало быть, не отрицал, что эту реплику он действительно произнес. И судя по приведенной сцене (которую Джилас вряд ли мог выдумать), сам был ею очень доволен.

Эта шутка Сталина, — уже по одному тому, что это была шутка, — оказалась едва ли не самым мягким из тогдашних официальных откликов на лирические стихи Симонова.

Приведу один из них — самый резкий, но и самый типичный.

В августе 1941 года начальник отдела пропаганды и агитации политуправления Калининского фронта направил на рассмотрение Г.Ф. Александрову стихотворение К. Симонова, опубликованное в дивизионной газете «За нашу победу», а также критическую статью на это стихотворение, написанную писателями фронтовой газеты «Вперед на врага».

Статья называлась «Циническое «лирическое».

Вот оно, это стихотворение:

На час запомнив имена, —
Здесь память долгой не бывает, —
Мужчины говорят: «Война...» —
И наспех женщин обнимают.

Спасибо той, что так легко,
Не требуя, чтоб звали милой,
Другую, ту, что далеко,
Им торопливо заменила.

Она возлюбленных чужих
Здесь пожалела, как умела,
В недобрый час согрела их
Теплом неласкового тела.

А им, которым в бой пора
И до любви дожить едва ли,
Всё легче помнить, что вчера
Хоть чьи-то руки обнимали.

Я не сужу их, так и знай.
На час, позволенный войною,
Необходим нехитрый рай
Для тех, кто послабей душою.

Пусть будет всё не так, не то,
Но вспомнить в час последней муки
Пускай чужие, но зато
Вчерашние глаза и руки.

В другое время, может быть,
И я бы прожил час с чужою,
Но в эти дни не изменить
Тебе ни телом, ни душою.

Как раз от горя, оттого,
Что вряд ли вновь тебя увижу,
В разлуке сердца своего
Я слабодушьем не унижу.

Случайной лаской не согрет,
До смерти не простясь с тобою,
Я милых губ печальный след
Навек оставляю за собою.

Авторов фронтовой газеты это обнаженно правдивое, пронзительно искреннее и по-настоящему целомудренное стихотворение не просто возмутило. Оно вызвало у них такой яростный взрыв ханжеского негодования, какой даже самая бурная фантазия сегодняшнего читателя вообразить себе не сможет:

- ▶ О ком идет речь? Какие мужчины, какого народа, какой войны? У кого короткая память на имена? Может быть, автор имеет в виду врагов нашей страны, врагов нашей морали?..

Оскорбив мужчин, объяснив их неверность похабненьким — «Война-с», Симонов глубоко оскорбил и женщин — сотни и тысячи советских женщин и девушек.

(РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 125, д. 120, л. 93.

Цит. по кн.: Е. Громов. Сталин.
Власть и искусство. М., 1998.
Стр. 333—334).

Далее говорилось, что Симонов «вообще не в ладу с советской моралью».

Но самым замечательным в статье «Циническое» лирическое» был ее итог, конечный вывод: «...Симонов бежал с поля боя».

Это Симонов-то!

Авторами этой статьи были И.Л. Андроников, С. Кирсанов и критик Г. Иолтуховский.

В Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), куда их статья была направлена, реагировать на нее не стали, дав тем самым понять, что авторы ее слегка перестарались.

В Союзе писателей, однако, критическому разному подвергся весь симоновский лирический цикл «С тобой и без тебя». (Впервые он был опубликован в журнале «Новый мир», 1941, № 11–12.)

Нападкам подверглось даже вошедшее в этот цикл стихотворение «Жди меня», хотя оно до того было напечатано в «Правде». Критикующие его литераторы усмотрели в нем «неуважение к женщине-матери» (к этой теме мы еще вернемся).

Хор целомудренных ревнителей советской морали, с разной степенью гражданского негодования нападавших на лирические стихи Симонова, долго еще продолжал тянуть эту свою песню.

1 декабря 1945 года критик О.С. Резник направил секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову развернутую докладную записку (в сущности, донос), разоблачающую многочисленные изъяны и пороки литературной критики военных лет.

В ряду других изъянов там фигурировал и такой:

- ▶ Не получили должной оценки заблуждения и неверные мотивы в лирике Симонова.

(«Литературный фронт».

История политической цензуры. 1932—1946 гг.

Сборник документов.

М., 1994. Стр. 178).

Дошла ли до всех этих хулителей лирики Симонова шутка Сталина? Или в основе их бдительности лежала их собственная творческая инициатива?

В сущности, это не так уж и важно. Потому что в той сталинской шутке с исчерпывающей полнотой выразилось и прочно, на долгие годы — на всем советском идеологическом пространстве — утвердилось это сталинское представление о том, что такое поэзия, зачем и кому она нужна.

Недаром, когда один советский писатель (уже после смерти Сталина) заикнулся о том, что в литературе нужна искренность, на него обрушились все государственные громы и молнии. И недаром, стоило кому-нибудь произнести слово «самовыражение», у официозных советских поэтов начинались прямо-таки корчи. И тут же раздавалось истошное, на грани истерики: «Не дадим! Не позволим!»

Одного только этого было бы довольно, чтобы уделить так много места этой незатейливой сталинской шутке. Отчасти поэтому я и начал с нее эту главу. Но главным образом потому, что этой своей шутливой репликой Сталин перечеркнул лучшее из всех симоновских творений. В своем роде даже единственное. Радикально отличающееся от всех других, вошедших в двенадцатитомное собрание его сочинений.

* * *

В XX веке в России было два поэтических бума. Первый — в начале 20-х, связанный в нашем сознании с именами Маяковского, Есенина, Северянина, многолюдными поэтическими вечерами в Политехническом, спорами и диспутами, выборами «Короля поэтов» и прочими многочисленными приметами, указывающими на взрыв острого интереса к поэзии огромного количества людей, никогда прежде стихами не интересовавшихся.

Второй поэтический бум относится к середине 50-х, и связан он с именами Евтушенко, Вознесенского, Окуджавы,

выступления которых собирали уже не сотни, а тысячи и даже десятки тысяч поклонников. Эти толпы не мог бы вместить не то что сравнительно небольшой зал Политехнического музея, но и ни один из самых обширных театральных залов Москвы. И поэзию вынесло на спортивные стадионы, в Лужники, где рвущуюся туда толпу поэтических «фанатов» сдерживала конная милиция.

Природа этого второго поэтического бума была не та, что природа первого. И что от всего этого осталось (или останется) в высокой литературе, — вопрос особый, и мы здесь его касаться не будем. Но все это было, и было на нашей памяти.

Но был — и тоже на нашей памяти (во всяком случае, на памяти моего поколения) — еще один, **третий** поэтический бум.

Если исходить из хронологии, его следовало бы назвать вторым, поскольку случился он в начале 40-х, то есть между теми двумя, о которых сказано выше. Но на самом деле был он не вторым и не третьим, а в своем роде единственным. Можно даже сказать уникальным. Уникальным хотя бы только потому, что обозначен был именем только одного поэта.

Этим поэтом был Константин Симонов.

Число его поклонников на несколько порядков превышало количество тех, что могли вместить Лужники. Оно измерялось не тысячами и не десятками, даже не сотнями тысяч, а миллионами.

Говоря о миллионах, я прежде всего, конечно, имею в виду его стихотворение «Жди меня», которое — сверх того, что оно миллионным тиражом было распечатано «Правдой», — от руки переписывали в какие-то свои тетрадки миллионы мужчин и женщин.

«Бум», однако, был вызван не одним этим стихотворением, а всем поэтическим циклом, в который оно вошло. Тем самым, который был высмеян Сталиным.

Природа этого бума складывалась из нескольких компонентов.

Прежде всего, конечно, из того, что российский читатель в то время давно уже забыл, что, помимо любви к революции, партии и народу, существует еще любовь мужчины к женщине и женщины к мужчине. И не какая-то там сюсюкающая, узаконенная справкой из загса и стихами Щипачева («Любовью дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне, любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне...»).

Известная реплика советского ортодокса: «У нас в СССР секса нет» — не была анекдотом. Не только потому, что она действительно была произнесена в ответ на провокационный, как это тогда называлось, вопрос какого-то иностранного корреспондента, а потому, что, — какой неправдоподобной дикостью ни покажется это сегодняшнему читателю, — в немалой степени отражала реальное положение вещей.

► В книжном магазине, неподалеку от нашей гостиницы, я приобрел несколько книг, в том числе роскошное иллюстрированное издание «Декамерона». Как-то вечером, когда я просматривал накопившиеся за неделю газеты, ко мне зашла переводчица нашей группы Зина.

— Извини, что побеспокоила, — сказала она. — Нет ли у тебя чего-либо почитать?

Я указал на стопку книг на краю стола. Она принялась их просматривать, и я заметил, что ее внимание привлек «Декамерон».

— Можешь взять с собой эту книгу.

— Но она, кажется, неприличная.

— Что за чепуха! — возмутился я. — Это же классика, каждый образованный человек должен ее знать!

Она колебалась — ей и хотелось взять, и было как-то неловко.

— Ну, тащи ее сюда, садись рядом. Я прочту тебе одну из новелл.

Зина передала мне томик, села поодаль на диван. Книга, естественно, была на немецком, но для нас это не составляло проблемы. Не помню уж, какую новеллу я выбрал, во всяком случае она шокировала Зину, которая стала корить меня за нескромность. Впрочем, уходить она не собиралась. По тем временам, да еще учитывая наше пуританское воспитание, то был чуть ли не верх эротики. Я подсел к Зине поближе, и мы вместе стали разглядывать картинки, многие из которых были весьма фривольны. Потом уже Зина захотела прочесть одну из новелл.

До сих пор мы относились друг к другу совершенно индифферентно, но тут ощутили, что совместное чтение «Декамерона» как-то сближает. Нас забавляли двусмысленные, а порой и вовсе недвусмысленные эпизоды. Наши руки сплелись, и как-то незаметно мы оказались в объятиях друг друга. Внезапно она напряглась, острые локти впились мне в грудь и оттолкнули.

— В чем дело, что случилось? — прошептал я.

— Профсоюз научил меня быть стойкой, — неестественно резко выкрикнула Зина.

— При чем тут профсоюз, какое ему до нас дело?

— Глупый, как ты не понимаешь, — ответила она.

Уже более спокойно отодвинулась подалее и, понизив голос, пояснила:

— Профсоюз — это партия, ВКП(б). За границей запрещено признавать причастность к партии, а чтобы мы знали друг о друге, говорим, что члены профсоюза. И должны быть морально устойчивы.

(В. Бережков.

Как я стал переводчиком Сталина.

М., 1993. Стр. 90—91).

А теперь представьте себе, что такой вот морально устойчивой Зине попадает на глаза не «Декамерон», а книжная

новинка, — только что вышедший сборник лирических стихов современного советского поэта, и она там читает, к примеру, такие стихи:

Ты говорила мне «люблю»,
Но это по ночам, сквозь зубы,
А утром горькое «терплю»
Едва удерживали губы.

Я верил по ночам губам,
Рукам лукавым и горячим,
Но я не верил по ночам
Твоим ночным словам незрячим.

Я знал тебя, ты не лгала,
Ты полюбить меня хотела,
Ты только ночью лгать могла,
Когда душою правит тело.

Или — такое, еще более откровенное:

О белом полотне постели,
О верхней вздернутой губе,
О гнущемся и тонком теле,
На пытку отданном тебе,

О нежной и прохладной коже
И о лице с горящим ртом,
О яростной последней дрожи
И об усталости потом.

Но может быть, в ее реакции, которую не так уж трудно угадать, был и какой-то резон?

В самом деле, какое дело читателю до всех этих откровенностей. В конце концов, это ведь действительно касается только их двоих — «его» и «ее»...

А какое дело читателю, мог бы спросить автор этих «постельных», как многие их тогда называли, стихов до таких, еще более интимных откровенностей:

Нет, я не дорожу мятежным наслаждением,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, вясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняясь на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом всё боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!

Но ведь это — Пушкин! Классика! Как «Декамерон», — могла бы ответить на это морально устойчивая Зина. А тут — наш, советский поэт. Быть может, даже (и наверняка!) тоже «член профсоюза»!

О том, что у нас, в СССР, «есть секс», советские поэты предпочитали не заикаться.

В моей памяти (а стихов я тогда читал тьму) сохранилась только одна робкая попытка нарушить эту границу, которая, как и Государственная, была у нас «на замке».

Нарушителем границы был один мой товарищ, молодой поэт. Он сочинил (и даже осмелился прочесть на нашем поэтическом семинаре) стихи, обращенные к любимой девушке, в которых была такая строка:

Разве, когда ты голая,
Ты перестаешь быть комсомолкой?!

Боже! Какой тут поднялся шум! Как дружно все клеймили юного нахала, обзывая эти его строчки — кто пошлостью, а кто и кощунством. А он всего лишь хотел сказать, что сохраняет верность своим коммунистическим (комсомольским) идеалам не только днем, но и ночью.

Герои повестей и романов Симонова об этой своей верности коммунистическим идеалам напоминают нам постоянно. Чуть ли не каждой своей репликой. И не как-нибудь там иносказательно, а грубо и прямо, со всей, как тогда говорили, большевистской откровенностью:

- ▶ Взявшись рукой за борт грузовика, он задумчиво оглядел город. Странное оцепенение охватило его. Только сейчас он почувствовал до конца всю необыкновенность случившегося с ним: он вернулся на родину. Он страстно любил ее оттуда, издалека. Любил ее как коммунист, стоявший у власти в этой стране и бывший в ответе за ее судьбы, и как русский, гордый тем, что именно его Россия стала колыбелью революции. Это была сильная и зрелая любовь взрослого, много испытавшего и много думавшего человека.

*(К. Симонов. Собрание сочинений.
Т. 3. М., 1980. Стр. 139).*

Так чувствует и так думает герой повести Симонова «Дым отечества», только что вернувшийся из долгой зарубежной командировки в свой родной Смоленск.

Эта тема у Симонова постоянная — не только в прозе, но и в стихах («Мир неделим на черных, смуглых, желтых, а лишь на красных — нас, и белых — их...») и очень для него важная. Но в любовной его лирике она отсутствует начисто.

Тут он и его возлюбленная живут в совсем ином мире. Не только в другом пространстве, но как будто даже и в другом времени:

Я помню зал для репетиций
И свет, зажженный как на грех.
И шепот твой, что не годится
Так делать на виду у всех.

Твой звездный плащ из старой драмы
И хлыст наездницы в руках,
И твой побег со сцены прямо
Ко мне на легких каблуках.

Где все это происходит? И когда?
Или — вот это:

Я помню двух девочек, город ночной...
В ту зиму вы поздно спектакли кончали.
Две девочки ждали в подъезде со мной,
Чтоб вы, проходя, им два слова сказали.
Да, я провожал вас. И все-таки к ним,
Пожалуй, щедрей, чем ко мне, вы бывали.
Двух слов они ждали. А я б и одним
Был счастлив, когда б мне его вы сказали.
Я помню двух девочек: странно сейчас
Вдруг вспомнить две снежных фигурки у входа.
Подъезд театральный надолго погас.
Вам там не играть в зиму этого года.
Я очень далеко. Но, может, они
Вас в дальнем пути без меня провожают
И с кем-то другим в эти зимние дни,
Совсем как со мной, у подъезда скучают.
Я помню двух девочек. Может, живым
Я снова пройду вдоль заснеженных улиц
И, девочек встретив, поверю по ним,
Что в старый наш город вы тоже вернулись,
Боюсь, что мне незачем станет вас ждать,
Но будет всё снежная, та же погода,
И девочки будут стоять и стоять,
Как вечные спутницы ваши, у входа...

Такие стихи могли быть написаны и в 1909-м, и в 1911-м, и в 1913 году...

Конечно, они и этим тоже привлекали к себе толпы поклонников, стосковавшихся по «чистой лирике». Но прежде всего все-таки силой, яркостью и давно — со времен Маяковского и Есенина — забытой откровенностью любовных признаний автора. Именно автора, а не «лирического героя», что вызывало, конечно, особый интерес.

Но еще больший интерес вызывал встававший со страниц этих любовных признаний облик той, к кому эти признания были обращены. «Злая, ветренная, колючая», ненадежная, неверная, грешная. Но именно такая, только такая она ему и нужна:

Я девочкой тебя не звал,
Не рвал с тобой цветы,
В твоих глазах я не искал
Девичьей чистоты.

Я не жалел, что ты во сне
Годами не ждала,
Что ты не девочкой ко мне,
А женщиной пришла.

Я знал, честней бесстыдных снов,
Лукавых слов честней
Нас приютивший на ночь кров,
Прямой язык страстей.

И если будет суждено
Тебя мне удержать,
Не потому, что не дано
Тебе других узнать...

Нет, если будет суждено
Тебя мне удержать,
Тебя не буду все равно
Я девочкою звать.

И встречу я в твоих глазах
Не с голубой, пустой,
А с женской, в горе и страстях
Рожденной чистотой.

Не с чистотой закрытых глаз,
Неведеньем детей,
А с чистотою женских ласк,
Бессонницей ночей...

Она тоже была не «лирическая героиня», а живая, конкретная женщина, которую знала в лицо вся страна и в которую была влюблена вся мужская часть ее населения.

Поражала воображение и открытость, публичность этих отношений. Открытыми и публичными они стали, конечно, благодаря этим его стихам, самим фактом своего существования вынесшим все их интимности из-за театральных кулис даже не на сцену, а на **авансцену**.

- В 44-м году, рассказывает сын поэта в книге своих воспоминаний, вся Москва ринулась в Колонный зал, где их кумир, Константин Симонов, весь вечер читал «С тобой и без тебя» в присутствии дамы сердца — Валентины Васильевны Серовой.

(А. Симонов.

Парень с Сивцева Вражка. Стр. 264).

Этот вечер, надо полагать, был не единственным. Но Алексей Кириллович вспомнил именно о нем, потому что в зале сидела Александра Леонидовна — мать поэта, всем происходящим сильно задетая и написавшая по этому поводу сыну большое, предельно откровенное письмо, которое ее внук целиком вставил в свою книгу.

Письмо длинное, но я тоже приведу его здесь целиком. Оно того стоит.

19 января 44-го года

- Кирюня! <...> Ты так устроил свою жизнь, что рассчитывать поговорить по душе я не могу, а урывками при шофере не скажется то, что вынашивается в сердце или скажется не так, между тем хочется, чтобы знала ты, что я чувствую и думаю, все еще не умерла во мне эта потребность.

Так вот, мой друг, как ни горько, а должна сказать тебе, что то же ощущение боли и неловкости за тебя, какое я испытываю по отношению к твоей личной жизни, я пережила и на твоём вечере, и долго спустя, и очень, очень остро. Все мои смутные ощущения, неясные опасения и предчувствия как-то разом подытожились, и многое я поняла и в этот вечер, и в ближайшие после него часы и дни. Во-первых, не старайся сразу принимать в штыки то, что я вижу и понимаю очень ясно, и, во-вторых, не пытайся применять к сказанному твое обычное примитивное объяснение: ревность. Нет, милый, здесь большая любовь к тебе и огромное желание видеть тебя возможно лучше и чище во всех областях твоей жизни. Как я понимаю, К. Симонов сделал огромное важное дело, разбудив в молодежи большие требования к любви, заговорив о ней во весь голос, что не полагалось в обычных канонизированных формах литературы и поэзии, где герои любили и строили жизнь по определенному, казалось, твердо заведенному порядку. Симонов нарушил этот порядок, он показал такие внутренние богатства души, такие переходы и взлеты чувств, такое море возможностей, что дух захватывало. Молодежь поняла и почувствовала, что любить — это вовсе не так просто и легко, как казалось, что можно и должно стремиться и добиваться, становиться лучше, что есть ради чего. А сколько хорошего ты можешь сделать этой молодежи, как можешь поднять ее. Это одна сторона, положительная, затем молодежь сделала и не могла не сделать этого вывода, что Симонов, предъявляя к любви огромные требования, в

своим чувстве не счастлив. Первое время это служило к его украшению: он хочет такого ответного чувства, предъявляет такие требования, что его трудно удовлетворить. Потом появился портрет женщины, которую он любит, он рос, постепенно составляясь из штрихов, рассеянных по стихам, приобретая плоть и кровь, и те черты, которые от него отталкивали и объясняли читателям, почему же Симонов несчастлив. И вот читатели, вернее читательницы (их, видимо, большинство), стали все больше и больше не любить женщину, которая делала их требовательного поэта несчастным, а он все дальше и дальше рассказывал о своем чувстве, делаясь все более откровенным, вынося на их суд то самое интимное, что обычно люди сохраняют для себя самого и для той, которую любят. И тут началось то, что породило эту нездоровую атмосферу среди молодежи в ее отношениях к тебе. Героиня отталкивала своим портретом да и слухами, которые о ней доходили, а их Симонов, чистый и фанатичный в своем чувстве, не оставлял ее. И вот во всей своей силе и наготе встал вопрос: что же его держит? И тут услужливо побежали на помощь интимные подробности грехов и всюду циркулирующие слухи, а дальше на помощь пришло разбуженное и нездоровое любопытство. И в зал пришла не мыслящая в своем большинстве, не оценивающая, заставляющая поэта расти аудитория, а та толпа, которая не постеснялась вставать, напирать друг на друга, толкаться, чтобы видеть ту женщину, которую одни осуждают, другие завидуют и все очень не любят, женщину, которую ты все равно что раздеваешь перед всеми. Не думаю, чтобы ей это могло быть приятно. И не понимаю, как ты не учел этих возможностей. Мне было исключительно гадко, неприятно за нее и очень нехорошо за тебя. Такими театральными эффектами дурного тона не исправляют своих ошибок и не покупают прощения. А как мне больно, что все эти годы все дальше и дальше

разматывается вокруг тебя этот грязный клубок сплетен и ты не находишь в себе сил и понимания жизни, чтобы все расставить по местам.

И вот К. Симонов, которому действительно есть чем гордиться, вклад которого за войну огромен и заслуживает всяческого уважения и высокой оценки, на своем первом за время войны выступлении в Колонном зале перед широкой аудиторией все свои достижения сводит к одной лирике, а в лирике к своим отношениям все с одним и тем же человеком. Насколько богаче был твой вечер в Доме учителя, когда ты по этапам раскрывал свое творчество, свой внутренний рост. А где здесь были люди, которые хотели этого роста в дальнейшем, которые интересовались твоими планами, наметками?! Нет, они не спрашивали тебя ни о чем, они только писали записки, и ты в этот раз даже не потрудился их взять и прочесть. Это был какой-то жест полубога, а на деле тебе и нельзя было их читать, потому что там, кроме нездоровых и неудобных для тебя и женщины, которой все посвящается, вопросов и быть ничего не могло. Ты и она, она и ты, это душно на протяжении нескольких лет подряд. Мыслящие люди относятся к этому критически. А разве не лирикой прозвучали бы некоторые строки из Суворова, и разве может быть что лучше «Ты помнишь, Алеша?».

Из новых мне оч. понравились «На аэродроме» и «Летаргия».

Прости, родной, если не по душе, но зато это от души.

Мама.

(А. Симонов. *Парень*
с Сивцева Вражка. Стр. 266—269).

Конечно, многое тут продиктовано материнской ревностью. Невестка и свекровь — дело известное. Но Александра Леонидовна была не ординарная свекровь. Да и женщина она

была не ordinaria. Не потому, что в девичестве была княжной Оболенской, а потому, что была — личность. И в этом — воистину замечательном ее письме выплеснулись не только материнские, но и гражданские ее чувства. И то самое понимание роли, места и назначения поэта, которое выразилось в шутке Сталина, с которой я начал эту главу. («Ты и она, она и ты, это душно на протяжении нескольких лет подряд».)

Тут, правда, нельзя не отметить, что в отличие от Сталина (и это делает ей честь) она увидела и положительную роль этой интимной лирики сына, ее, выражаясь тогдашним литературно-критическим языком, воспитательное значение.

Но все-таки перевешивает в этом ее письме разоблачительный пафос, в сущности, тот же, который выражали в своих статьях и отзывах тогдашние официозные критики. Из чего следует, что бывшая княжна по своему мировосприятию, — во всяком случае, по своему восприятию поэзии, — была (или стала) по-настоящему советским человеком.

Ее материнское желание, чтобы любовь сына к женщине, с которой он хочет связать свою жизнь, была счастливой, чтобы полюбил он, выражаясь примитивно, хорошую женщину, а не ту, которую сам поминутно проклинаят, — эти ее материнские чувства понять можно. И можно от души им посочувствовать. Но любовь поэта редко бывает счастливой. И любовные стихи настоящих поэтов редко обходятся без проклятий, которые поэты обрушивают на своих избранниц.

Вспомним Маяковского:

Версты улиц взмахами шагов мну.
Куда я денусь, этот ад тая?
Какому небесному Гофману
Выдумалась ты, проклятая!

Или Есенина:

Излюбили тебя, измызгали...
Невтерпеж!
Что ты смотришь так синими брызгами!
Или в морду хошь?

Отношение Симонова (не лирического героя его стихов, а его самого) к женщине, которую он имел несчастье полюбить, из того же ряда. Он проклинает свою возлюбленную не так исступленно, как его великие предшественники, но тоже проклинает, во всяком случае, готов проклясть:

Пусть проклянута впоследствии
Твои черты лица.
Любовь к тебе, как бедствие,
И нет ему конца!

Но есть в этом письме Александры Леонидовны один упрек сыну, с которым трудно, да и не хочется спорить:

► Героиня отталкивала своим портретом да и слухами, которые о ней доходили, а их Симонов, чистый и фанатичный в своем чувстве, не оставлял ее. И вот во всей своей силе и наготе встал вопрос: что же его держит? И тут услужливо побежали на помощь интимные подробности грехов и всюду циркулирующие слухи, а дальше на помощь пришло разбуженное и нездоровое любопытство...

...Как мне больно, что все эти годы все дальше и дальше разматывается вокруг тебя этот грязный клубок сплетен и ты не находишь в себе сил и понимания жизни, чтобы все расставить по местам.

Сплетен вокруг и в самом деле клубилась тьма.

Говорили, что Серова будто бы изменяет Симонову с маршалом Рокоссовским. Уехала в штаб фронта, которым он командует, и открыто там с ним живет. И Симонов, страдая, будто бы пожаловался Сталину. И Сталин будто бы позвонил Рокоссовскому и спросил:

— Товарищу Рокоссовский. Чья жена артистка Валентина Серова?

— Поэта Константина Симонова, — ответил маршал.

— Вот и я так думаю, — сказал будто бы Сталин, и на том роман знаменитой на всю страну актрисы с знаменитым на всю страну маршалом кончился.

Были и другие, совсем уже грязные сплетни.

Но как было с ними бороться?

Сплетню нельзя победить. Сплетня неистребима.

Маяковский написал в своем предсмертном письме: «Пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил». Но о нем и его возлюбленных сплетничают по сей день. И даже в печати.

О романах и адюльтерах знаменитого человека всегда сплетничают. Это неизбежно. Ну а уж если знамениты оба партнера, — нечего и говорить. Какой густой аромат сплетни клубился вокруг брака Есенина с Айседорой Дункан!

Только что вышла в свет объемистая книга «Антиахматова», сплошь состоящая из самых гнусных сплетен.

А какой хвост сплетен вот уже скоро двести лет тянется за Пушкиным и Натальей Николаевной. В жанре сплетни — иногда с претензией на научность, а иногда и без всяких претензий написаны и изданы тома.

Нет, с этим ничего не поделаешь. И как бы Симонов сам этого ни хотел, выполнить просьбу матери и «все расставить по своим местам» он был не в силах.

Но была у Александры Леонидовны Симоновой еще одна обида на сына. Обида, для которой у нее были как будто куда более серьезные основания.

Она смертельно обиделась на две строки из самого знаменитого, на всю страну прогремевшего его стихотворения «Жди меня»:

Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня...

Ответила на эти оскорбившие ее строки сперва письмом, а потом, не получив на него ответа (неизвестно, дошло ли оно до него), еще и стихами:

Конечно, можно клеветать
На сына и на мать,
Учить других, как надо ждать
И как тебя спасать...
Чтоб я ждала, ты не просил
И не учил, как ждать,
Но я ждала всей силой сил,
Как может только мать!
И в глубине своей души
Ты должен сознавать:
Они, мой друг, не хороши,
Твои слова про мать.

*(А. Симонов. Парень
с Сивцевга Вражка. Стр. 258).*

Приведя в своей книге эти ее стихи, Алексей Кириллович замечает:

- ▶ Мне было два года, и обижаться на «пусть забудут» мне было еще рано. Наверное, мать имела такое право, если читать стихи как письма или записку, но что-то выпреннее есть в такой «поэтической» реакции, тем более что два месяца спустя в открытке от 21 марта, после описания успеха на правительственном концерте романса на «Жди меня» композитора-орденоносца (так в открытке) Берлинского, мать не может сдержаться и добавляет: «А как мой ответ на «Жди» — ведь не плохо, а?»

(Там же).

Эта нотка тщеславного удовлетворения (сумела облечь свою обиду в стихотворную форму и как будто неплохо с этим справилась) и в самом деле слегка затемняет искренность и накал ее материнского чувства. Но не отменяет ее правоты.

Да, у нее были все основания почувствовать себя оскорбленной. И не только формально, но и по существу она как будто права.

Но у поэзии свои законы.

Не будь это симоновское стихотворение, — как и все стихи этого его лирического цикла, — таким обнаженно искренним, вмешайся — хоть на миг — в процесс их создания «внутренний редактор», он не смог бы остаться таким свободным и раскованным. Мелькнула бы мысль: «Нет, так нельзя, мама обидится». Или: «Нет, так нельзя, редактор этого не пропустит». Или даже: «Нет, так нельзя, Сталину это не понравится».

В том-то и сила этих его стихов, что в процессе их создания не существовало для него никаких «нельзя!». Этим они и отличаются от всего, когда-либо им написанного.

Писал он много. Романы, повести, рассказы, пьесы, киносценарии, публицистические и литературно-критические статьи. Ну и, конечно, стихи.

Стихи он писал не только в молодости, как это часто бывает с поэтами («Лета к суровой прозе клонят», — сказал Пушкин). Он даже старался по мере сил усложнять и совершенствовать свою поэтическую технику. И немало в этом преуспел.

Но таких стихов, как те, что составили его цикл «С тобой и без тебя», он никогда уже больше не писал.

* * *

Последнюю свою книгу («Глазами человека моего поколения»), которую он писал (точнее — диктовал) незадолго до смерти, Симонов начал таким предуведомлением:

- ▶ Прежде всего следует сказать, что рукопись, к работе над которой я сегодня приступаю, в ее полном виде не предназначается мною для печати, во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем.

(К. Симонов. *Истории тяжелая вода*. М., 2005. Стр. 287).

Это означало, что в этой своей книге-исповеди он намерен объясняться с читателем (даже не с читателем, скорее, с самим собой), что называется, начистоту. Собирается честно, с предельной откровенностью рассказать не только о том, что было на его веку, но и о том, ЧТО он при этом думал и чувствовал.

В свете этого его предуведомления многое в этой его книге меня удивило и даже поразило. (К этой теме мне еще не раз придется возвращаться.)

Но едва ли не самым поразительным показалось мне там такое его признание:

- ▶ Я очень любил свои стихи «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне». На мой взгляд, это были одни из лучших моих стихов, написанных за всю жизнь, но, зная уже о Сталине все, что я узнал после пятьдесят шестого года, я не мог читать вслух конца этого стихотворения, где Сталин вставал как символ и образцу интернационализма. Этот конец противоречил сложившимся у меня к этому времени представлениям о Сталине, а поправлять стихотворение, точнее, отсекать его конец считал безнравственным и больше никогда его не печатал.

(Там же. Стр. 350).

Тому, что после пятьдесят шестого года он изменил свое отношение к Сталину, удивляться не приходится. (Разве только тому, что случилось с ним это так поздно.) Нет ничего поразительного и в том, что поправлять стихотворение он счел безнравственным и решил никогда его больше не печатать.

Поразило меня тут совсем другое. То, что стихотворение «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне» он, по-видимому, искренне, считал одним из лучших стихов, написанных им за всю его жизнь.

Поскольку стихотворение это много лет — даже десятилетий — не перепечатывалось (не вошло ни в собрание сочинений

ний К. Симонова, ни в однотомику его стихотворений и поэм в Большой серии «Библиотеки поэта»), приведу его здесь целиком. С тем, чтобы потом слегка порассуждать о нем и о некоторых важных предметах, непосредственно с ним связанных.

Итак, стихотворение Константина Симонова:

► РЕЧЬ МОЕГО ДРУГА САМЕДА ВУРГУНА
НА ОБЕДЕ В ЛОНДОНЕ

Мой друг Самед Вургун, Баку
Покинув, прибыл в Лондон.
Бывает так — большевику
Вдруг надо съездить к лордам,
Увидеть двухпалатную
Британскую систему
И выслушать бесплатно там
Сто пять речей на тему
О том, как в тысяча... бог память дай, в каком
Здесь голову у короля срубили.
О том, как триста лет потом
Всё о свободе принимали билли
И стали до того свободными,
Какими видим их сегодня мы,
Свободными до умиления
И их самих, и населения.
Мы это ровно месяц слушали,
Три раза в день в антрактах кушали!
И терпеливо — делать нечего —
Вновь слушали с утра до вечера...
Когда же не хватило нам
Терпения двужильного,
Самеду на обеде там
Взять слово предложили мы:
— Скажи им пару слов, Самед,
Испорти им, чертям, обед!
И вот поднялся сын Баку
Над хрусталем и фраками,

Над синими во всю щеку
Подагр фамильных знаками,
Над лордами, над гордыми
И Киплингом воспетыми,
В воротнички продетыми
Стареющими мордами.
Над старыми бутылками,
Над красными затылками,
Над белыми загривками
Полковников из Индии.
Не слыша слов обрывки их,
Самих почти не видя их,
Поднялся он и напролом
Сказал над замершим столом:
— Я представляю, сэры, здесь
Советскую державу.
Моя страна имеет честь
Входить в нее по праву
Союза истинных друзей,
Пожатья рук рабочих.
(Переведите поточней
Им, мистер переводчик.)
И хоть лежит моя страна
Над нефтью благодатною,
Из всех таких на мир одна
Она не подмандатная,
Вам под ноги не брошенная,
В ваш Сити не заложенная,
Из Дувра пароходами
Дотла не разворованная,
Индийскими свободами
В насмешку не дарованная,
Страна, действительно, моя
Давно вам бесполезная,
По долгу вежливости я
В чем вам и соболезнаю.
Так говорил Самед, мой друг,
А я смотрел на лица их:

Сначала был на них испуг,
Безмолвный вопль: «В полицию!»
Потом они пошли густым
Румянцем, вздувшим жилы,
Как будто этой речью к ним
Горчичник приложило.
Им бы не слушать этот спич,
Им палец бы к курку!
Им свой индийский взвить бы бич
Над этим — из Баку!
Плясать бы на его спине,
Хрустеть его костями,
А не сидеть здесь наравне
Со мной и с ним, с гостями,
Сидеть и слушать его речь
В бессилье идиотском,
Сидеть и знать: уже не сжечь,
В петле не сжать, живьем не съесть,
Не расстрелять, как Двадцать шесть
В песках за Красноводском...
Стоит мой друг над стаей волчьей,
Союзом братских рук храним,
Не слыша, как сам Сталин молча
Во время речи встал за ним.
Встал, и стоит, и улыбается —
Речь, очевидно, ему нравится.

Не только заглавием этого стихотворения, но и всем его образным строем Симонов дает нам понять, что рассказанная им здесь история основана на реальном факте. То есть что все это, — исключая, конечно, чисто символическое и метафорическое появление Сталина в финале, — действительно было.

На самом же деле ничего этого, конечно, не было и быть не могло.

Этого не могло быть уже по одному тому, что реальный Самед Вургун просто не способен был произнести — не то что такую, — а вообще сколько-нибудь связную и осмыслен-

ную речь. Разве только если бы Симонов заранее ему ее написал, а он, запинаясь на каждом третьем слове, прочел бы ее по бумажке.

Я говорю об этом с такой уверенностью на основании личного знакомства с Самедом Вургуном, которое произошло как раз в связи с очень важной речью (даже не речью, а докладом), который он должен был произнести с трибуны Второго съезда советских писателей.

Первый — учредительный — съезд был, как известно, в 1934 году. И на нем, как полагается, был принят устав, согласно которому — «высшим руководящим органом Союза советских писателей СССР является Всесоюзный съезд советских писателей, созываемый один раз в три года». Но — устав уставом, а жизнь, как говорил Остап Бендер, диктует свои суровые законы. И вышло так, что следующий, Второй съезд собрался не через три, а через двадцать лет после первого. Отцу народов все эти годы, видно, было не до писательских съездов, он был занят более важными делами. Но в 1953-м отец народов умер, или, как говорили об этом старые лагерники, «ус откинул хвост», и писатели решили наконец (лучше поздно, чем никогда) собраться на свой второй съезд.

Я тогда членом Союза писателей еще не был, но в дом на улице Воровского время от времени заглядывал. Была там тогда такая «Комиссия по теории и литературной критике», которая пестовала молодых критиков. Как там она нас пестовала, я, честно сказать, уже не помню. Помню только, что подкидывали нам иногда какую-нибудь халтуру. Какую-нибудь графоманскую рукопись, которую надо было срочно отрецензировать. Платили за это не щедро, но, как говорится, всякое даяние — благо, а поскольку на штатную работу я тогда, как ни старался, устроиться не мог, каждая такая халтура становилась для меня неожиданным и исключительно ценным подарком судьбы.

И вот однажды позвонил мне из этой Комиссии нещедрый мой работодатель и сказал:

— Хочешь заработать кучу денег?

Я сказал, что, конечно, хочу. Цифра, которую он мне назвал, меня ошеломила: две тысячи рублей. Конечно, дореформенных — тех, что шесть лет спустя превратились в двести. Но для меня эта сумма тогда была весьма и весьма значительной.

Чтобы заработать эти деньги, мне предстояло войти в бригаду, готовящую для съезда доклад о поэзии. Делать этот доклад, как вы уже, конечно, догадались, поручено было Самеду Вургуну. Бригада же должна была помочь классику, — как бы подготовить ему материалы для доклада. На самом деле, конечно, мы (а было нас, не помню, трое или четверо) этот доклад написали целиком — от начала и до конца.

На первой же встрече с нами Самед прямо и честно сказал, что сам сочинить свой будущий доклад он не в состоянии. Никаких указаний или советов он нам не дал, а только повторял:

— В тяжелое положение я попал, ребята. Никогда в жизни не был в таком тяжелом положении. Честью прошу, помогите! Вся жизнь моя теперь от вас зависит. А когда все это кончится, приезжайте в Баку, самыми дорогими гостями у меня будете...

Не знаю, как обстояло дело с текстами моих коллег, но в раздел доклада, написанный мною, никто не внес никаких изменений. Моему тексту разве только придали чуть более казенный вид, переписав некоторые особенно вольные фразы и выражения суконным канцелярским языком. Это, разумеется, тоже проделал не сам докладчик. Его роль свелась к тому, что он этот «свой» доклад, как теперь говорят, **озвучил**, то есть поминутно спотыкаясь и делая разные причудливые ударения, прочел с трибуны.

Мой раздел был посвящен недостаткам современной поэзии. Тема эта была близка моему сердцу, и я не пощадил никого из тогдашних корифеев, выбрав для демонстрации самые жалкие и убогие их строфы. Все эти примеры, как ни странно, в докладе остались. Но при этом мне было указано, что, перечисляя грехи современной поэзии, я начисто забыл о самом страшном грехе: формализме.

Примеров серости, шаблонности поэтической формы и бедности мысли там у меня было хоть отбавляй. С этим никаких трудностей не возникало. С формализмом же дело обстояло не так просто. Со времен знаменитой правдинской статьи «Сумбур вместо музыки» никто из поэтов в ту сторону даже и не глядел.

Но я не растерялся. Взял первую попавшуюся книгу стихов Семена Кирсанова и тут же нашел там ярчайший пример самого что ни на есть матерого формализма:

У реки Кубань,
Где коней купань,
Где дудел чабан
в дуау,
Где в хлеву кабан, —
У реки Кубань
Я по злакам комбайн
веду.

С легким сердцем я вставил в свой раздел доклада этот стишок и припечатал его соответствующими фразами о бессмысленной звуковой игре, подменяющей... и т. д., и т. п. Совесть моя при этом была чиста: кто скажет, что «коней купань» и «в хлеву кабан» — не формализм, пусть первый бросит в меня камень.

Камень, однако, бросили. Не в меня, конечно, а в невинного, как новорожденный младенец, Самеда Вургуна. И бросил этот — весьма, надо сказать, увесистый камешек — не кто иной, как сам Кирсанов.

Выступая в прениях, он ехидно поблагодарил докладчика за внимание к его работе. Но заметил при этом, что раскритикованные Самедом формалистические стихи были написаны им — Кирсановым — в 1933 году. И тогда же были и опубликованы. И что критиковать их вообще-то следовало бы не на втором, а на первом съезде писателей, который, как известно, происходил ровно двадцать лет тому назад. Целых двадцать лет ждали мы этого съезда. Целых двадцать лет не

встречались друг с другом и не обсуждали нашу работу с такой высокой трибуны. И вот, наконец, дождались...

Кирсанов был мастером эстрадного жанра. (Как-никак, ученик Маяковского.) Несколько минут (мне показалось, что минут десять, не меньше) он полоскал несчастного Самеда и веселил зал. Зал радостно отвечал ему смехом и аплодисментами.

Самед сидел в президиуме — красный, как рак.

А истинный виновник этого скандального происшествия сидел на галерке и смеялся вместе со всеми. И хотя смеялся скорее над собою, над собственной своей промашкой, никаких угрызений совести при этом не испытывал.

Без этой вставной новеллы я тут, конечно, легко мог бы обойтись и вставил ее отчасти для того, чтобы развлечь и позабавить читателя. Но все-таки и для того, чтобы подкрепить свое утверждение, что речь, которую вложил в его уста Симонов, на том обеде в Лондоне Самед произнести, конечно, не мог.

Так же трудно поверить и в достоверность описанной Симоновым обстановки того обеда:

Над лордами, над гордыми
И Киплингом воспетыми,
В воротнички продетыми
Стареющими мордами.

Чисто технически описание это сделано ловко и даже не без блеска. Но трудно поверить, что на обеде, который парламентарии Великобритании давали в честь прибытия в их страну парламентской делегации союзной державы, оказались только «морды» — и ни одного человеческого лица.

Тут надо, конечно, сделать одну важную оговорку.

Писатель, поэт, художник имеет право деформировать, исказить изображаемую им реальность, даже доводить ее до абсурда. Но только в случае, если все это является средством для постижения и выражения некоей художественной (а в

конечном счете, значит, и жизненной) **правды**. А тут все это понадобилось автору для выражения и утверждения откровенной и недвусмысленной **лжи**.

Взять хотя бы вот эти строки:

...триста лет потом
Всё о свободе принимали билли
И стали до того свободными,
Какими видим их сегодня мы,
Свободными до умиления
И их самих, и населения.

Эта ирония над якобы мнимыми британскими свободами в то время была особенно неуместной, поскольку только что британцы путем свободных и демократических выборов отправили в отставку Уинстона Черчилля, который героически вел британский государственный корабль в годы войны, исход которой был совсем не ясен и угрожал самому существованию Великобритании как государства.

И, конечно, особенно фальшиво звучала она в устах человека, которому не мешало бы помнить, **ОТКУДА ОН ПРИЕХАЛ** в эту «несвободную» Британию.

Но может быть, Симонов тогда еще не понимал, **ОТКУДА ОН ПРИЕХАЛ?** Искренно верил в миф, что наша, советская демократия являет собой более высокий тип демократии, чем все эти буржуазные «так называемые» свободы?

Нет, кое-что он и тогда уже понимал. Не мог не понимать.

Особенно красноречиво об этом свидетельствует его рассказ о том, как ему и Эренбургу приходилось выворачиваться, отвечая на вопросы журналистов во время их поездки по Америке в 1946 году:

- ▶ Во время поездки на бесконечно сменявшихся друг друга митингах, обедах, собраниях различных обществ, на пресс-конференциях нам задавали самые разные вопросы. Не слишком часто откровенно злые, иногда

трудные для нас, иронические, забавные — в том числе и такие, смысл которых был не в том, чтобы что-то действительно узнать, а чтобы посмотреть, как мы выкрутимся из того сложного положения, в которое, как считалось и как оно иногда и действительно бывало, нас поставили.

Началось это с того, что, встретив наше появление аплодисментами на уже начавшемся к нашему приезду заседании издателей и редакторов в Вашингтоне, буквально через несколько минут у русских коллег попросили разрешения задать им несколько интересовавших аудиторию вопросов. Первым из этих вопросов был такой: «Скажите, а возможно ли у вас, в Советском Союзе, чтобы после очередных выборов господина Сталина сменил на посту главы правительства кто-нибудь другой, например господин Молотов?» Я бы, тем более в ту минуту, наверное, не нашелся, что ответить. Эренбург нашелся. Чуть заметно кивнул мне, что отвечать будет он, усмехнулся и сказал: «Очевидно, у нас с вами разные политические взгляды на семейную жизнь: вы, как это свойственно ветреной молодости, каждые четыре года выбираете себе новую невесту, а мы, как люди зрелые и в годах, женаты всерьез и надолго». Ответ вызвал хохот и аплодисменты — американцы ценят находчивость, собственно, их и интересовало не то, что Эренбург ответит, а то, как он вывернется. Он сделал это с блеском...

У меня, когда я был на западе Америки уже один, без Эренбурга, как-то спросили на пресс-конференции, читал ли я книгу Троцкого, в которой он излагает биографию Сталина. Я ответил, что нет, не читал. Тогда спросили, хотел бы я ее прочесть, эту книгу. Я сказал, что нет, не испытываю такого желания, потому что книги подобного сорта меня не интересуют. Тогда меня спросили, что я подразумеваю под «книгами подобного сорта». Я ответил, что это те неспортивные книги, в которых человек, получивший нокаут и проигравший

матч на первенство, начинает подробно описывать, как именно он его проиграл, и жалуется на происшедшее с ним. Ответ удовлетворил аудиторию...

Американцы резвились, задавая нам подобные вопросы. Резвились, имея в виду нас, людей, которые связаны иными нормами политического поведения, чем они сами, и не могут себе позволить каких-нибудь вольностей в разговорах о своем политическом строе и своих политических лидерах. Все эти подковырки относились и к нам, персонифицированному в нас троих следствию политических порядков, установленных Сталиным у нас на родине.

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода. Стр. 348).

Признавая, что он и Эрэнбург были «связаны иными нормами политического поведения», чем американцы, и в отличие от них «не могли себе позволить каких-нибудь вольностей в разговорах о своем политическом строе», Симонов, в сущности, признался, что понимал, какую постыдную роль приходилось им там играть.

Более опытный Эрэнбург из трудного положения, в какое поставил их вопрос американских журналистов, вывернулся изящнее. Он по крайней мере не лгал, — не стал уверять, что да, мол, мы такие же свободные люди, как вы, кого захотим, того и поставим на высшую государственную должность. Без обиняков признал: нет, ни при какой погоде не может у нас случиться так, что на месте Сталина окажется Молотов.

Уловка Симонова была более неуклюжей и, по правде говоря, непристойной. Поведение Троцкого, видите ли, было «неспортивным». Получалось, что «спортивным» было поведение Сталина, подославшего к Троцкому убийцу, который ударом ледоруба раскроил ему череп.

Нет, не мог Симонов не знать, ОТКУДА приезжал он с Эренбургом в Америку, а с Самедом Вургуном в Великобританию.

Что же касается самого Самеда, то можно не сомневаться, что он не то что не хуже, а даже лучше Симонова знал, из какого царства-государства прибыл к «несвободным» англичанам.

Для подтверждения этой моей уверенности — еще одна небольшая вставная новелла.

В Баку на какое-то местное литературное мероприятие приехала делегация писателей из Москвы. Был банкет. И во время этого банкета Мир-Джафар Багиров (тогдашний азербайджанский сатрап, человек страшный, говорили даже, что он страшнее, чем его выкормыш Лаврентий Берия) вдруг — ни с того, ни с сего, — обратил свой неблагосклонный взор на Самеда Вургуна.

Он погрозил ему пальцем и прорычал:

— Смотри, Самед!..

И долго еще нес в адрес растерявшегося Самеда что-то угрожающее.

За этим его рычанием слышилась такая лютая злоба и такая неприкрытая угроза, что все присутствующие, особенно москвичи, почувствовали себя неловко. А Павел Григорьевич Антокольский даже не выдержал и вмешался.

— Товарищу Багиров, — сказал он. — Почему вы так разговариваете с Самедом? Мы все высоко ценим этого замечательного поэта, и мы...

Багиров обратил на Антокольского свой мутный взор и, склонившись к кому-то из своих топтунов-шаркунов, спросил, кто это такой. Ему объяснили. Тогда, повернувшись к Павлу Григорьевичу, он негромко скомандовал:

— Антокольский. Встать.

Антокольский встал.

Багиров сказал:

— Сесть.

Антокольский сел.

Вопрос был исчерпан. Банкет продолжался.

А потом, когда у Павла Григорьевича спросили, почему он так себя повел — послушно, как провинившийся школьник, встал и так же — по приказу — послушно сел, старый поэт ответил:

— Но ведь я же член партии.

Не знаю, как повел бы себя в этой ситуации Константин Михайлович Симонов. Надеюсь, не так, как растерявшийся и потерявший последние остатки человеческого достоинства Антокольский.

Но ведь он тоже был «член партии». И тоже был искажен обществом, к которому принадлежал.

Жить в обществе и быть свободным от общества, как мы знаем, нельзя. Но не только степень этой несвободы, но и качество ее бывает разное. Сопротивление звериной сущности общества, в котором члену этого общества выпало жить, тоже искажает душу. Но совсем не так, как послушание («...тяжкий млат, дробя стекло, кует булат»).

Душа Симонова была искажена послушанием. Он не сопротивлялся «веку-волкодаву», а честно ему служил. И, в конце концов, не так уж и важно, что тут преобладало — партийная дисциплина, страх или слепая вера в справедливость тех «идейных установок», которым он подчинил свою жизнь.

Печать этой искаженности лежит на всех его книгах. Но ни в чем не проявилась она так ярко, как в том, что одним из лучших стихотворений, написанных им за всю жизнь, даже сейчас, сводя последние свои счета с прожитой жизнью, он назвал не «Жди меня», не «Тринадцать лет. Кино в Рязани...», не «Ты говорила мне «люблю»...», даже не «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..», а вот это — плоское, выдуманное, фальшивое, от первой до последней строки лживое: «Речь моего друга Самеда Вургунга на обеде в Лондоне».

Сюжет второй

«ЕСЛИ БЫ ЭТО ДЕЛО БЫЛО ПОРУЧЕНО МНЕ...»

Эта фраза — из докладной записки К.М. Симонова секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову.

По смыслу и самому ее строю можно предположить, что речь идет о каком-то государственном поручении, то ли дипломатическом, то ли еще каком, к литературной, писательской деятельности Симонова отношения не имеющем. Но на самом деле в этой записке обсуждается как раз именно писательская, сугубо творческая, художественная задача:

► ИЗ ЗАПИСКИ К. М. СИМОНОВА
Г. М. МАЛЕНКОВУ

19 марта 1949 г.

Тщательно обдумав и взвесив все варианты пьесы, которую можно было бы написать по мотивам американских памфлетов М. Горького, и, по-писательски, представив себе, как мне нужно будет ра-

ботать, если бы это дело было поручено мне, я пришел к выводу, что наиболее полно и хорошо можно решить эту задачу, написав пьесу «Горький в Америке».

(Сталин и космополитизм. 1945–1953. Документы. М., 2005. Стр. 319–320).

В главе «Сталин и Шолохов» я приводил ответ Шолохова Твардовскому на просьбу Александра Трифоновича поддержать роман Василия Гроссмана «Сталинград».

► Ответ Шолохова был краток. Несколько машинописных строк. Я их видел. Главная мысль, помнится, такая:

«Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против».

Гроссмана и меня особенно поразила фраза: «Кому вы поручили?» Дикое, департаментское отношение к литературе.

(С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. В кн.: С. Липкин. Квадрига. С. 1997. Стр. 534).

То, что Гроссману и Липкину показалось дикостью, для Симонова было нормальным, естественным, обычным делом.

Каждую свою вещь — поэму, пьесу, повесть, роман — он рассматривал, как очередное партийное поручение. Более того! Как задание, исходящее непосредственно от Сталина.

Так оно, в сущности, и было.

Некоторые из этих сталинских поручений он воспринимал «верхним чутьем», как некий, обращенный к нему радиосигнал.

Конечно, не он один ловил эти «радиосигналы», и не только к нему были они обращены.

Но бывало и так, что очередное сталинское поручение давалось — прямо и непосредственно — именно ему.

► Как-то, дело было уже после заседания Коминформа и полного разрыва отношений с Тито, меня вызвали и, познaкомив с рядом материалов ТАСС, связанных с выступлениями Тито и с выступлениями председателя Союзной Скупщины Моше Пиаде, предложили мне откликнуться на эти выступления политическим памфлетом и добавили, что я должен рассматривать это как прямое поручение товарища Сталина.

Что теперь сказать об этом вышедшем из-под моего пера так называемом политическом памфлете. Мне стоило немалого труда заставить себя перечесть это сочинение, написанное с постыдной грубостью и, самое главное, ложное по своим предпосылкам и по своему материалу. Тогда меня вызвал по поводу этой статьи Молотов. Усадив меня у себя в кабинете за стол для заседаний и сев рядом со мной, он показал мне мою статью, лист за листом, не передавая ее мне в руки. Оказывается, статью правил Сталин и поручил Молотову прежде, чем передать статью в печать, познакомить меня, автора, с этой правкой. Не буду повторяться, я уже сказал то, что думаю сейчас об этой статье, она была хороша и без правки, но правка, и довольно значительная, еще больше усугубляла грубость статьи. Финальный абзац, целиком написанный Сталиным, и название, им же придуманное, доводили эту грубость до геркулесовых столбов. Спросив для проформы, согласен ли я с той правкой, которая сделана в статье, Молотов, так и не дав мне в руки ни одной страницы, оставил ее у себя, простился со мной, а на следующий день я имел возможность прочесть ее именно в этом виде.

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода. Стр. 413).

Эту симоновскую статью я хорошо помню. Она называлась «Кровавые дураки». Замечательное это заглавие, которое,

помню, сильно тогда меня поразило, оказывается, придумал сам Сталин. И не только название сочинил, но и вносил в статью какие-то свои редакторские поправки, и — мало того — сам, лично, собственной рукой вписал в нее последний, финальный абзац. То есть некоторым образом взял на себя роль симоновского **соавтора**.

Тут надо сказать, что Сталин эту работу любил.

Самолично редактировал даже стихотворные тексты, плюя на рифмы и пренебрегая ямбами, хорейми и прочими амфибрахиями.

Особенно большую редакторскую и соавторскую, можно даже сказать, авторскую активность Сталин проявил в процессе создания текста заказанного им нового советского Гимна.

Когда я однажды заговорил на эту тему с С.В. Михалковым, тот категорически это отрицал.

- ▶ ...ровно в 2 часа утра позвонил А.Н. Поскребышев и сообщил, что будет говорить Сталин. Иосиф Виссарионович сказал Сергею, что вот прослушивание его убедило, что текст коротковат («куцый»), нужно добавить один куплет с припевом. В этом куплете, который по духу и смыслу должен быть воинственным, надо сказать:

1) о Красной Армии, ее мощи, силе;

2) о том, что мы бьем фашистов и будем их бить («фашистские полчища» — так он выразился). На то, чтобы это сделать, Сталин дал несколько дней...

(Из записок Г. Эль-Регистана.

РЦХИДНИ, ф. 558, оп 1, д. 3329, л. 21.

Цит. по кн.: Е. Громов. Сталин. Власть и искусство.

М., 1998. Стр. 341).

Через несколько дней состоялась личная встреча всех трех соавторов:

- ▶ Тов. Сталин дает текст: «Посмотрите, как получилось...» Он весь в его пометках. Поставлены единица,

двойка, тройка. Варьируются слова: «дружба», «счастье», «слава». Слова «священный оплот» заменены на «надежный оплот»... «Нас от победы к победе ведет!» — хвастовство. Надо: «Пусть от победы к победе!..»

(Там же).

Так же тщательно редактировал Сталин пьесу Корнейчука «Фронт». Говорили, что он не только вымарывал одни реплики и заменял их другими, но даже вписывал в текст Корнейчука целые монологи.

В связи с этим один мой приятель пересказал мне свой разговор с Ильей Львовичем Сельвинским, одним из любимых учеников которого он был.

— Настоящий художник никогда не согласился бы на это, — сказал Сельвинский. — Я бы, во всяком случае, не смог.

— А что бы вы сделали, если бы оказались в положении Корнейчука? — спросил ученик.

— Если бы я оказался в положении Корнейчука, — ответил Сельвинский, — я бы сказал: «Товарищ Сталин! Вы сформулируйте вашу мысль, а я выражу ее своими словами».

Симонов был не так наивен.

Когда Молотов показал ему текст его памфлета с правкой Сталина, ему и в голову не пришло, что он вправе изменить в нем хоть запятую.

Справедливости ради тут надо сказать, что и этот симоновский памфлет, и пьеса Корнейчука, и — тем более — слова будущего Государственного гимна, — все это были не художественные, а политические тексты. Так что во всех этих случаях слово «поручение» было вполне уместно.

Но Сталин с той же легкостью и с той же уверенностью в своем праве, с какой он поручил Симонову сочинить этот антититовский памфлет, мог **поручить** тому же Симонову (или кому-нибудь другому из «своих писателей») написать на нужную ему в данный момент тему роман или пьесу.

► — А вот есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, — которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, — сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчетливо запомнил, что, помоему, мог бы буквально ее воспроизвести, — у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Все чувствуют себя еще несовершеннолетними, несто процентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами, — сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: — Засранцами, — усмехнулся и снова стал серьезным. — Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия. У военных тоже было такое преклонение. Сейчас стало меньше. Теперь нет, теперь они и хвосты задрали.

Сталин остановился, усмехнулся и каким-то неуловимым жестом показал, как задрали хвосты военные. Потом спросил:

— Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает. — И он снова заговорил о профессоре, о котором уже упоминал. — Вот взять такого человека, не последний человек, — еще раз подчеркнуто повторил

Сталин, — а перед каким-то подлецом-иностранцем, перед ученым, который на три головы ниже его, преклоняется, теряет свое достоинство. Так мне кажется. Надо бороться с духом самоуничужения у многих наших интеллигентов.

Сталин повернулся к Жданову.

— Дайте документ.

Жданов вынул из папки несколько скрепленных между собой листков с печатным текстом. Сталин перелистал их, в документе было четыре или пять страниц. Перелистав его, Сталин поднялся из-за стола и, передав документ Фадееву, сказал:

— Вот, возьмите и прочитайте сейчас вслух.

Фадеев прочитал вслух. Это был документ, связанный как раз со всем тем, о чем только что говорил Сталин. Пока не могу изложить здесь его содержание...

*(К. Симонов. Истории
тяжелая вода. Стр. 373—374).*

Эту запись Симонов сделал 14 мая 1947 года. Документ, содержание которого тогда он счел невозможным изложить, вскоре был опубликован в печати письмом о так называемом деле Ключевой и Роскина.

Суть дела сводилась к следующему.

В предвоенные годы профессора Н.Г. Ключева и Г.И. Роскин создали противораковый препарат «КР» («круцин»), вопрос о действенности которого до сих пор вызывает споры специалистов. По просьбе авторов рукопись их вышедшей в Советском Союзе монографии «Биотерапия злокачественных опухолей» (М., Изд-во АМН СССР, 1946) академик-секретарь АМН СССР В.В. Парин во время своего визита в США в 1946 году в порядке научной информации передал американским издателям. Сталин, уверовавший в величайшую ценность «КР», счел это выдачей важнейшей государственной тайны. В.В. Парин по обвинению в шпионаже был приговорен к 25

годам заключения. Н.Г. Клюева и Г.И. Роскин, а также снятый со своей должности министр здравоохранения Г.А. Митерев предстали перед «судом чести», по всей стране была проведена широкая кампания осуждения всех участников этой истории как космополитов.

Сегодняшнему читателю будет непросто понять, почему Симонов не посмел хотя бы вкратце изложить это в тогдашней своей записи. Но удивляться тут надо скорее тому, что у него хватило смелости хотя и с пропусками, но все-таки вести эти свои записки.

О том, как непросто было ему тогда на это решиться, он дал понять в самом их начале, приведя запись о самой первой своей встрече с вождем:

- ▶ Точно такие же записи, в тот же день или на следующий, я делал впоследствии и в остальных случаях, когда нас вызывали к Сталину. Все, что было записано мною тогда непосредственно, я приведу полностью, так, как оно было записано. Но записывал я по ряду обстоятельств не всё. Пропускал ряд вопросов, проблем, имен, которые считал невозможным записывать тогда... Для того чтобы понять эту систему записи, надо мысленно окунуться в то время и представить себе, что не только, само собой разумеется, делать какие бы то ни было записи во время встреч со Сталиным было не принято, и невозможно, и не приходило в голову, но и вряд ли считалось возможным делать записи такого рода и задним числом.

(Там же. Стр. 368).

Все, что он не счел для себя возможным тогда записать, Симонов потом восстановил по памяти. Но и этим его свидетельствам, записанным не сразу, вполне можно доверять: память у него была замечательная. Но в том случае, о котором сейчас пойдет речь, эта его памятьливость проявилась с особенной силой.

Итак, запись свою Симонов оборвал на том, что Сталин приказал Фадееву прочесть вслух некий документ.

О том, что за этим последовало, он рассказывает уже по памяти. Но рассказывает с такими подробностями — не только внешними, но и психологическими, — что чувствуется: сцена эта не зря врезалась ему в память так крепко:

- ▶ Фадеев начал читать письмо, которое передал ему Сталин. Сталин до этого, в начале беседы, больше стоял, чем сидел, или делал несколько шагов взад и вперед позади его же стула или кресла. Когда Фадеев стал читать письмо, Сталин продолжал ходить, но уже не там, а делая несколько шагов взад и вперед вдоль стола с нашей стороны и поглядывая на нас. Прошло много лет, но я очень точно помню свое не записанное тогда ощущение. Чтобы не сидеть спиной к ходившему Сталину, Фадеев инстинктивно полуобернулся к нему, продолжая читать письмо, и мы с Горбатовым тоже повернулись. Сталин ходил, слушал, как читает Фадеев, слушал очень внимательно, с серьезным и даже напряженным выражением лица. Он слушал, с какими интонациями Фадеев читает, он хотел знать, что чувствует Фадеев, читая это письмо, и что испытываем мы, слушая это чтение. Продолжая ходить, бросал на нас взгляды, следя за впечатлением, производимым на нас чтением.

До этого с самого начала встречи я чувствовал себя по-другому, довольно свободно в той атмосфере, которая зависела от Сталина и которую он создал. А тут почувствовал себя напряженно и неудобно. Он так смотрел на нас и так слушал фадеевское чтение, что за этим была какая-то нота опасности — и не вообще, а в частности для нас, сидевших там. Делал пробу, проверял на нас — очевидно, на первых людях из этой категории, на одном знаменитом и двух известных писателях, — какое впечатление производит на нас, интеллигентов, —

коммунистов, но при этом интеллигентов, — то, что он продиктовал в этом письме о Клюевой и Роскине, тоже о двух интеллигентах. Продиктовал, может быть, или сам написал, вполне возможно. Во всяком случае, это письмо было продиктовано его волей — ничьей другой.

Когда Фадеев дочитал письмо до конца, Сталин, убедившись в том, что прочитанное произвело на нас впечатление, — а действительно так и было, — видимо, счел лишним или ненужным спрашивать наше мнение о прочитанном..

Как свидетельствует моя запись, сделанная 14 мая сорок седьмого года, когда письмо было прочитано, Сталин только повторил то, с чего начал:

— Надо уничтожить дух самоуничижения. — И добавил: — Надо на эту тему написать произведение. Роман.

Я сказал, что это скорее тема для пьесы.

(Там же. Стр. 375—376).

Бросив эту реплику, Симонов вовсе не имел в виду, что эту пьесу он готов написать сам. Он хотел сказать только, что сюжет, о котором шла речь, больше подходит для пьесы, чем для романа. Это была непроизвольная, чисто профессиональная, писательская реакция.

Но Сталин понял его иначе.

- ▶ Через несколько дней после нашей встречи со Сталиным мне позвонил помощник Жданова Кузнецов и сказал, что я могу заехать к нему и познакомиться с теми материалами, которые мне могут пригодиться для работы.

Когда я приехал к Кузнецову, он дал мне папку с разными бумагами и сказал, что знакомит меня с ними по поручению Андрея Александровича. Еще едучи туда, я смутно предполагал, о чем может идти речь; там я убе-

дился, что догадка моя была правильной. Это были материалы, связанные все с тем же так называемым делом Ключевой и Роскина. Материалов было не очень много, я прочел их все за тридцать или сорок минут, пока сидел в кабинете у Кузнецова, и, поблагодарив, вернул ему их. Кажется, Кузнецов был чуть-чуть удивлен, как я быстро это прочел, и, когда я поднялся, спросил меня:

— Значит, могу я сказать Андрею Александровичу, что вы познакомились с материалами?

Я ответил утвердительно и, поблагодарив, поехал домой.

Материалы не произвели на меня особого впечатления просто-напросто потому, что они мало добавляли к тому ощущению не столько важности самой этой истории с Ключевой и Роскиным, сколько важности проблемы уничтожения духа самоуничтожения, как выразился Сталин. Я был не настолько наивен, чтобы не понимать, какой смысл имело ознакомление с этими дополнительными документами, — очевидно, вырвавшееся у меня замечание, что это скорее тема для пьесы, чем для романа, внушило мысль, что я готов взяться за пьесу на эту тему. Но на самом деле я был несколько не готов к этому, и такое понимание моего чисто профессионального замечания меня встревожило. Пьесу на эту тему, в принципе, как мне казалось, я мог бы написать, но не сейчас, когда я сидел над повестью «Дым отечества», которой я решал, как умел, проблемы противопоставления подлинного советского патриотизма патриотизму поверхностному, квасному, связанному с самохвальством и неприятием всего чужого только потому, что оно чужое...

Увлеченный этой работой, которую я делал вдобавок на лично пережитом, выстраданном материале, я меньше всего хотел прерывать ее посередине и браться за пьесу на в чем-то близкую мне тему — о вреде и

духовной нищете низкопоклонства, но на очень далеком и пока совершенно чужом для меня материале.

Я понимал, что попал в двусмысленное положение, проклинал себя за свою неосторожную реплику, но успокаивал себя тем, что после повести могу взяться и за пьесу, — и в конце концов убедил себя, что все как-нибудь да обойдется. Прямого поручения я не получал, прямых обязательств на себя не брал, и надо, зажмурив на все это глаза, писать повесть, пока не допишешь до конца, а там будет видно.

(Там же. Стр. 384—385).

Повесть он дописал. И был ею очень доволен. И не ждал, не предвидел никаких неприятностей. Наверно, ожидал даже, как это обычно у него бывало, похвальных и даже восторженных отзывов: ведь она была как раз о том, чего ждал, чего требовал от писателей в данный момент Сталин, — «о вреде и духовной нищете низкопоклонства».

Но вместо ожидаемых похвал на него обрушился неожиданный, совершенно им не предвидимый, а потому особенно болезненный удар.

Уже сам заголовок статьи, посвященной его новой повести, не предвещал ничего хорошего. Она называлась скромно: «Вопреки правде жизни». Но по сути ее и по тону это была самый настоящий разгром. Тем более что появилась она, эта статья, не где-нибудь, а в газете «Культура и жизнь».

Тут, наверно, надо сказать несколько слов о том, что это была за газета.

После войны, когда Сталин решил, что пришла пора уже до упора закрутить ослабленные войной идеологические гайки, появилась у нас в стране новая газета: «Культура и жизнь». (Первый ее номер вышел в 1946 году — том самом, который был озаглавлен постановлениями ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград», «Об опере Мурадели «Великая дружба»,

«О кинофильме «Большая жизнь» и многими другими, не столь знаменитыми, но такими же зловещими.)

Казалось бы, особой нужды в такой газете не было: ведь на каждый такой случай у нас была «Правда». Но Хозяин, как видно, решил, что у «Правды» много и всяких других забот, а нужна газета, которая постоянно отслеживала бы крамолу только в области культуры. Вот такая газета и была создана.

В отличие от «Правды», которая, как известно, с незапамятных, еще ленинских времен была органом ЦК партии (что и определяло ее руководящую роль), новая газета была обозначена как «Орган Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)». То есть на партийной иерархической лестнице она стояла как бы на ступеньку ниже «Правды».

Так поначалу оно и было.

Но довольно скоро новая газета набрала силу, усвоила прежде принадлежавший только «Правде» тон грубых жандармских окриков, а со временем стала вступать и в пререкания с «Правдой» и даже — были и такие случаи — довольно грубо ее одергивать.

«Культура и жизнь», как уже было сказано, была органом Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), которое тогда возглавлял Г.Ф. Александров, и в литературных — писательских — кругах ее сразу же стали называть «Александровским централом».

Ко всему этому стоит добавить, что статья, громившая «Дым отечества» Симонова, была напечатана в том же номере этого «Александровского централа», в каком появилась знаменитая погромная статья о «Молодой гвардии» Фадеева. Так что удар по Симонову был нанесен сокрушительный. И не могло быть ни малейших сомнений в том, что нанес ему этот удар Сталин.

Но почему? Что именно в этой повести вызвало его гнев?

Этого Симонов тогда — да и потом — так и не понял. До конца жизни терялся в догадках, но вразумительного ответа на этот вопрос так и не нашел.

► Историю этой статьи, очень злой и очень невразумительной, а местами просто не до конца понятной в самом элементарном смысле этого слова, впоследствии рассказал мне работавший в то время в ЦК, затем мой соратник по «Литературной газете», ныне покойный Борис Сергеевич Рюриков. Моя повесть ему нравилась, и когда Жданов, которому повесть тоже нравилась, спросил, кто готов быть автором статьи о «Дыме отечества» в органе агитпропа — директивной по своему духу и предназначению газете «Культура и жизнь», — Рюриков вызвался написать статью, положительно оценивавшую мою повесть. И вызвался, и написал, и она уже стояла в полосе газеты, когда вдруг все перевернулось. Жданов вернулся от Сталина, статью Рюрикова сняли из номера, к Жданову был вызван другой автор, которому предстояло вместо этой написать другую статью, и он в пожарном порядке, выслушав соответствующие указания, написал в задержанный номер то самое, что я на следующий день, не веря своим глазам, прочел. Почему не веря своим глазам? Потому что я понял, что так же, как удар по «Молодой гвардии» Фадеева, который наносился в том же номере газеты, на том же листе, разгромная статья о «Дыме отечества» появилась только потому, что повесть резко не понравилась Сталину. Других объяснений я не искал и правильно делал...

Я несколько раз читал и перечитывал статью, некоторые, так и оставшиеся для меня непонятными, ее пассажи напоминали испорченный телефон. Мне вдруг пришло в голову, что рассерженный Сталин мог что-то недоброжелательное и злое говорить об этой повести, — а говорил он, особенно когда прохаживался, не очень заботясь о том, хорошо ли слышат его, это мы после беседы со Сталиным почувствовали по собственной усталости от напряжения тех трех часов, в кото-

рые мы старались не пропустить ни одного сказанного им слова. Говорил, то приближаясь, то удаляясь, то громче, то тише, иногда оказываясь почти спиной к слушателям, начинал и заканчивал фразу, не успев повернуться. Так вот я и представил себе, что он выражал свое неудовольствие в формулировках, часть которых расслышали, а часть нет. Он был очень недоволен, но чем именно, расслышали не все и не до конца, а переспрашивать его, очевидно, было не принято.

Жданов, приехав от Сталина и передавая автору статьи то, что говорил Сталин, видимо, сказал то, что он услышал, а услышал он, очевидно, не все. Ну, а дальнейший испорченный телефон был уже на совести автора статьи...

Через неделю я попросил, чтоб меня принял Жданов, и, придя к нему, прямо сказал, что, не раз перечитав статью, в которой, очевидно, меня правильно критикуют, я все-таки не могу понять многих ее мест и не могу понять, почему повесть считается написанной вопреки правде жизни...

Жданов терпеливо около часа пробовал объяснить мне, что не так в моей повести... Но чем больше он мне объяснял, тем явственнее у меня возникало чувство, что он сам не знает, как мне объяснить то, что написано в статье; что он, как и я, не понимает, ни почему моя повесть так плоха, как об этом написано, ни того, что с ней дальше делать.

(Там же. Стр. 387–388).

Может быть, так оно и было. Может быть, Сталин и в самом деле пробурчал нечто неопределенно недовольное, а попросить его более внятно высказать свои претензии к повести никто, разумеется, не посмел.

Симонов говорит, что, задумывая эту повесть, он хотел написать «о людях, гордых своей бедной, израненной, ис-

страдавшейся страной перед лицом всей послевоенной американской мощи и благополучия».

Может быть, именно этот контраст между американской мощью и благополучием и нашей бедностью и нищетой и раздражил Сталина?

А может быть, дело обстояло еще проще?

Может быть, Сталина рассердило, что Симонов вместо того, чтобы, отложив все свои замыслы, сразу же сесть за пьесу, которую вызвался и даже пообещал написать, как ни в чем не бывало продолжал писать какую-то свою повесть?

Похоже, что эта, последняя догадка не так обосновательна.

- ▶ Через некоторое время после беседы со Ждановым меня пригласил к себе его помощник Кузнецов и спросил меня, как у меня обстоят дела с тою пьесой, с материалами для которой он меня ознакомил весной после нашей встречи с товарищем Сталиным. Нуждаюсь ли я еще в какой-нибудь помощи, кроме той, которая мне была уже предоставлена, когда меня познакомили с материалами.

До этого я был так оглушен всем происшедшим с «Дымом отечества» и фадеевской «Молодой гвардией» — это тоже было тогда немалое потрясение, — что мне не приходило в голову ставить в связь напечатанный мною «Дым отечества» с не написанной мною пьесой. Только тут, сидя у Кузнецова, я понял, что, наверное, такая связь существует, что, помимо всего прочего, от меня вовсе не ждали этой повести, а ждали той пьесы, написание которой числилось как бы за мною с того самого дня, когда мы были у Сталина. Настроение после «Дыма отечества» у меня было отвратительное, тяжелое — хуже не бывает, а в таких случаях — я это уже знал за собой — меня привести в равновесие и поставить на ноги могло только одно — работа, чем

немедленное, тем лучше. И я вдруг, ни минуты не размышляя, сказал Кузнецову, что пьесу я писать буду, что сажусь за нее в ближайшие дни...

(Там же. Стр. 389).

Это объяснение (согласился «вдруг», то есть как бы неожиданно для самого себя, и только потому, что хотел, уйдя с головой в новую работу, привести себя «в равновесие» после полученного удара) выглядит довольно-таки неуклюжим и малоправдоподобным, а главное, совершенно не нужным самооправданием. Попробовал бы он не согласиться!

Разрабатывая сюжет будущей пьесы, Симонов не мудрствовал лукаво. Собственно, тут и разрабатывать было нечего: заранее предполагалось, что ее сюжетом станет история Ключевой и Роскина, которые предоставили созданный ими противораковый препарат американцам.

Но он сразу для себя решил, что его героем будет человек субъективно честный, не понимающий, чем чревато предательство, которое он совершил. А чревато оно, как ему это представилось, было тем, что созданная им вакцина — не противораковая, а, скажем, противочумная, — могла быть использована как оружие в будущей бактериологической войне.

Придумав этот сюжетный ход, он, разумеется, консультировался с учеными, и ученые подтвердили, что да, в принципе такое возможно.

Идея, как говорит об этом сам Симонов, была «чисто умозрительная», и ничего хорошего из этого, конечно, выйти не могло.

Он и сам уже тогда это как будто понимал.

- ▶ Писал я ее без дурных намерений, писал мучительно, насильственно, заставляя себя верить в необходимость того, что я делаю. А особенно мучился потому, что зерно правды, которое воистину присутствовало в словах Сталина о необходимости уничтожить в себе дух

самоуничужения, уже в полной мере присутствовало в написанной вольно, от души, может быть, в чем-то неумело, но с абсолютной искренностью и раскованностью повести «Дым отечества». В «Чужую тень» это зерно правды было притащено мною искусственно, окружено искусственно созданными обстоятельствами и в итоге забито такими сорняками, что я сейчас только с большим насилием над собою заставил себя перечесть эту стыдную для меня как для писателя конъюнктурную пьесу, которую я не должен был тогда, несмотря ни на что, писать, что бы ни было, не должен был.

(Там же. Стр. 392–392).

Так ли, сяк ли, пьеса была написана, и ее наверняка ожидал безусловный, если не зрительский, то, во всяком случае, официальный успех.

В конце концов, так оно и случилось. Но поначалу тут все пошло совсем не так, как это происходило с другими его пьесами. («Русский вопрос», например, шел в Москве ОДНОВРЕМЕННО В ПЯТИ ТЕАТРАХ.)

«Чужая тень» — так называлась эта его пьеса — не только не была сразу принята к постановке, — с ней вообще произошло нечто странное, можно даже сказать — загадочное.

- ▶ Написав эту пьесу весной сорок восьмого года, я сделал то, что не делал никогда ни до, ни после этого. Не отдавая ее ни в печать, ни в театры, послал экземпляр пьесы Жданову и написал короткую записку помощнику Сталина Поскребышеву, что я закончил пьесу, о возможности написания которой шла речь в мае прошлого года во время встречи писателей с товарищем Сталиным, и экземпляр ее направил Жданову...

Пьеса была послана Жданову не то в апреле, не то в мае сорок восьмого года. Месяцев восемь о ней не было ни слуху ни духу.

Я не напоминал о ней, не хотел, да и не считал возможным. Жданов заболел, потом умер. Я бросил думать о пьесе, обрубил все связанное с нею в памяти еще раньше, еще летом. Все время, остававшееся у меня свободным от работы в Союзе писателей и в «Новом мире», занимался новой книгой стихов «Друзья и враги», которую писал с таким же или почти с таким же увлечением, как «Дым отечества». Чем дальше, тем сильнее было ощущение, что я как бы перешагнул через эту пьесу. Шагнул прямо из «Дыма отечества» в книгу стихов, и бог с ней, с этой «Чужой тенью».

(Там же. Стр. 392—393).

Такого в его жизни не случилось — ни раньше, ни потом.

Что все это могло значить? Может быть, что-то изменилось в настроениях Сталина, и сюжет этот перестал быть актуальным? Может быть даже, изменились политические планы вождя, и теперь этот сюжет становился не просто неактуальным, а даже идущим вразрез с его новым политическим курсом?

Нет, все указывало на то, что это не так.

Другой драматург — Александр Штейн — написал тем временем на этот сюжет свою пьесу: она называлась «Закон чести», была поставлена Н. Охлопковым и с успехом шла в возглавляемом им Театре имени Маяковского.

Это был первый, кажется, даже единственный в жизни Симонова случай, когда его ОПЕРЕДИЛИ. Прежде — да и потом тоже — он всегда раньше других умел не только откликнуться на очередную перемену политического курса, но даже угадать еще почти не высказанные вслух намерения и планы вождя.

И вот — осечка!

Ну что ж, ничего не поделаешь. Бог с ней, с этой «Чужой тенью». Была без радости любовь, разлука будет без печали.

И вдруг:

► ...в один из январских дней сорок девятого года, когда я вечером сидел и работал в «Новом мире», неожиданно вошел помощник редактора «Известий» — «Новый мир» тогда помещался во флигеле, примыкавшем к редакции «Известий», — и сказал, что к ним в редакцию звонил Поскребышев и передал, чтоб я сейчас же позвонил товарищу Сталину. Вот номер, по которому я должен позвонить. Я было взялся за телефон, но, сообразив, что это номер «вертушки», которой у меня в «Новом мире» не было, пошел в «Известия». Редактора «Известий» то ли не было в кабинете, то ли из деликатности он вышел — я оказался один на один с «вертушкой». Я снял трубку и набрал номер — не помню уже сейчас, что сказал Сталин: «Сталин слушает» или «Слушаю», что-то одно из двух. Я поздоровался и сказал, что это звонит Симонов.

Дальнейший разговор с одним пропуском, который я дополню, я записал, вернувшись в редакцию «Нового мира». Записал, думаю, абсолютно точно. Вернее, это был не разговор, а просто то, что считал нужным сообщить мне Сталин, прочитавший «Чужую тень». Вот она, эта запись:

«Я прочел вашу пьесу «Чужая тень». По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. Трубников считает, что лаборатория — это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория является их собственностью. Это тоже неверная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. А у вас правительство не принимает в пьесе никакого участия, действуют только научные работники. А ведь вопрос идет о секрете большой государственной важности. Я думаю, что после того, как Макеев едет в Москву, после того, как карьерист Окунев кончает самоубий-

ством, правительство не может не вмешаться в этот вопрос, а оно у вас не вмешивается. Это неправильно. По-моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев, приехав из Москвы в лабораторию и разговаривая в присутствии всех с Трубниковым, сказал, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории и обязало передать Трубникову, что правительство, несмотря на все совершенное им, не сомневается в его порядочности и не сомневается в способности его довести до конца начатое им дело. Так, я думаю, вам нужно это исправить. Как это практически сделать, вы знаете сами. Когда исправите, то пьесу надо будет пустить».

После этого, помнится, было не записанное мною «До свидания», и разговор на этом кончился.

(Там же. Стр. 393—394).

А вот восстановленный Симоновым по памяти пропуск в этой записи, — сталинская реплика, которую он тогда не записал, как он говорит, «из соображений такта»:

- ▶ С записью разговора все могло случиться, вдруг мне придется ее кому-то показать, хотя в принципе я этого не собирался делать, но все-таки могло случиться. А Сталин в начале разговора, сказав, что он прочел мою пьесу, довольно раздраженно добавил:

— Только вчера получил и прочел, полгода не общали, что она там у них лежит, и вообще... — тут он остановился, видимо, решив не продолжать эту тему...

О том, почему Жданов не передал симоновскую пьесу Сталину, можно было только гадать.

Может быть, у него были на этот счет какие-то свои расчеты и соображения. А может быть, ему просто было не до того.

Положение его в то время было уже шаткое, да и умер он, деликатно выражаясь, при невыясненных обстоятельствах.

Но теперь, после звонка Сталина, не только одобрившего пьесу, но и выступившего в привычной своей роли «соавтора», все это не имело уже никакого значения.

Переписать финал в духе сталинских указаний Симонову было нетрудно. Он сделал это за один день.

И тут события приняли новый, на этот раз уже не драматический, а комический оборот.

Пьеса была выдвинута на Сталинскую премию.

Все произведения, выдвинутые на соискание премии, обсуждались на специальном заседании Комитета по Сталинским премиям. Но перед заседанием комитета предстояло еще одно обсуждение — на Секретариате Союза писателей.

Трудно было предположить, что на этом обсуждении у новой симоновской пьесы найдутся противники. Однако — таковые нашлись.

Некоторые из участников обсуждения резко и определенно высказались против выдвижения ее на премию. Они подвергли ее сокрушительной критике.

Комизм этой ситуации состоял в том, что совершенно неприемлемым в пьесе этим ораторам представлялся ее финал. Тот самый финал, который был навязан Симонову Сталиным.

Вообще-то слово «навязан» тут не совсем годится, потому что Симонову это предложение Сталина как раз пришлось по душе. Он и сам не хотел, чтобы пьеса завершалась наказанием или — еще того хуже — казнью (хотя бы даже всего лишь гражданской казнью) его героя.

Но выступавшие на обсуждении члены секретариата хотели как раз этого.

Финальную, заключительную сцену пьесы, которую Симонов переписал по указанию Сталина, они называли проявлением гнилого либерализма. Прозвучало даже слово «капитулянтство».

Ораторы неистовствовали, а Симонов сидел и молчал.

► Я сидел и молчал, чувствуя всю глупость и собственного, и чужого положения. О своем разговоре по телефону со Сталиным по поводу пьесы я никому до тех пор не говорил, считал для себя неловким ссылаться на это и даже не видел за собой такого права. В журнале и в театре, куда я передал пьесу для постановки, я сказал только, что если возникнут какие-либо препятствия, то пусть обратятся по этому вопросу в ЦК и поступят соответственно тому, что там будет сказано. Но препятствий не возникло, и в ЦК никому обращаться не пришлось. Затруднительное положение возникло лишь в этот момент на секретариате. Затруднительное и даже, называя вещи своими именами, довольно глупое. Я сидел и молча слушал, как мои коллеги бичевали либерализм Сталина, проявившийся в финале моей пьесы. Очевидно, ждали моих возражений, но их не последовало. Удивленный моим молчанием, Фадеев даже спросил меня: «Ну, а что ты скажешь?» Я сказал, что, поскольку речь идет о моей пьесе, мне, наверное, ничего говорить не следует и я ничего говорить не буду.

Тем дело и закончилось. На том этапе, который представлял собой Секретариат Союза писателей, пьеса была отведена с обсуждения.

(Там же. Стр. 396).

Объявить ораторам, бичующим его «гнилой либерализм», что на самом деле они бичуют либерализм Сталина, он не мог. Но одному человеку он не мог этого не сказать. Этим человеком был Фадеев, который был не только Генеральным секретарем Союза писателей, но и председателем Комитета по Сталинским премиям. Не сказав ему о звонке Сталина, Симонов поставил бы его в совсем уже глупое положение.

► Было бы неправильным и некрасивым с моей стороны не рассказать доверительно хотя бы ему одному, с глазу на глаз, о парадоксальности сложившейся ситуации.

В тот же день, через несколько часов, поймав его одного, я это и сделал. Первой реакцией Фадеева был безудержный хохот, он долго и заливисто хохотал и сразу после этого, без малейшей паузы, стал совершенно серьезен.

— Почему ты заранее не сказал, почему поставил нас всех в такое глупое положение?

Я довольно резонно ответил на это, что, во-первых, Сталин не поручал мне рассказывать об этом телефонном разговоре и о том, что финал пьесы переделан именно так, как он предложил, в нескольких репликах даже текстуально точно; во-вторых, распространяться об этом и даже намекать на это мне казалось некрасивым с моей стороны и даже не очень приличным; а в-третьих, откуда я мог заранее знать, что на секретариате в несколько голосов сразу так кинутся на этот финал. Я никак не ожидал этого, наоборот, он нравился мне самому, и мне казалось, что он понравится и другим.

— Да, посадил ты нас в лужу, — снова заливисто расхохотался Фадеев и снова, сразу став серьезным, сказал: — Другой раз ты должен хотя бы мне сразу говорить о таких вещах. А я, в свою очередь, — тебе.

На этом и кончился наш тогдашний разговор с то хохотавшим, то злившимся на меня Фадеевым.

(Там же. Стр. 396—397).

Злился Фадеев на Симонова не зря. Дело-то было не шуточное. Несогласие со своими художественными оценками Сталин иногда еще мог стерпеть. Но спор о том, каким должен быть финал симоновской «Чужой тени», был не эстетическим, а сугубо политическим спором.

* * *

Литературное произведение, тем более написанное по его прямому поручению, Сталин рассматривал как политический документ, посредством которого в данный момент

ему было удобно выразить свою волю, объявить о своих намерениях и планах. Жанр такого произведения мог быть любым. Это мог быть памфлет, мог быть роман, могла быть пьеса. Пьеса в некоторых отношениях была даже предпочтительнее.

Особенно ясно это проявилось в его отношении к пьесе А. Корнейчука «Фронт», о которой я мельком уже упоминал на этих страницах.

В первые же месяцы войны обнаружилась полная профессиональная несостоятельность всех советских маршалов. «Первый красный офицер» Клим Ворошилов и создатель Первой конной Семен Михайлович Буденный не могли воевать с танками Гудериана. Необходимо было не только заменить стариков новыми, молодыми командармами, но и как-то объяснить народу, почему легендарные полководцы Гражданской войны, о воинских доблестях которых слагались оды, гремели песни и марши, оказались вдруг профнепригодными.

Можно было, конечно, объявить об этом в каком-нибудь специальном постановлении ЦК или приказом Верховного главнокомандующего. Но Сталин по каким-то своим соображениям (нетрудно угадать, по каким) решил сделать это в форме пьесы. (Видимо, не хотел публично, в открытую, срамить старых соратников, которых сам же сделал маршалами и наркомами.)

В конце концов, не так уж было важно, в какой форме Сталин выражал свою политическую волю. Важно было, чтобы все понимали, что это ЕГО воля.

В данном случае это поняли не все. Во всяком случае, не сразу.

Не понял, например, недавний нарком обороны маршал Тимошенко.

Прочитав в «Правде» пьесу Корнейчука, он послал Сталину телеграмму:

- ▶ Тов. Сталину. Опубликованная в печати пьеса тов. Корнейчука «Фронт» заслуживает особого внимания. Эта пьеса вредит нам целыми веками, ее нужно изъять, автора привлечь к ответственности. Виновных в связи с этим следует разобрать. Тимошенко.

*(Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917—1953.
М., 2002. Стр. 781).*

Сталин на эту гневную телеграмму маршала отреагировал незамедлительно:

- ▶ ТЕЛЕГРАММА
И.В. СТАЛИНА КОМАНДУЮЩЕМУ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ФРОНТОМ
С.К. ТИМОШЕНКО О ПЬЕСЕ
А.Е. КОРНЕЙЧУКА «ФРОНТ»

*28 августа 1942 г.
Северо-Западный фронт
маршалу Тимошенко*

Вашу телеграмму о пьесе Корнейчука «Фронт» получил. В оценке пьесы Вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и ее комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было бы неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно иметь мужество признать недостатки и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной Армии.

И. Сталин

И не отказал себе в удовольствии ознакомить — и с телеграммой маршала, и со своим ответом на эту телеграмму — «соавтора»:

▶ ЗАПISКА И.В. СТАЛИНА А.Е. КОРНЕЙЧУКУ
О ТЕЛЕГРАММЕ С.К. ТИМОШЕНКО
И СВОЕМ ОТВЕТЕ

1 сентября 1942 г.

Т[овари]щу Корнейчуку. Посылаю Вам для сведения телеграмму т. Тимошенко и мой ответ. Стил ь телеграммы т. Тимошенко сохранен полностью.

Привет!

И. Сталин

(*Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917—1953. Стр. 478*).

Издательское упоминание о стиле, который «сохранен полностью», тут особенно красноречиво. Ведь в этом стиле отразилась не только малограмотность маршала, но и то бешенство, в какое его привела только что прочитанная им пьеса. «Горчичник», стало быть, подействовал. Сталин мог быть доволен.

Пьеса Симонова «Чужая тень» маршалов и наркомов (теперь уже — министров) не задевала. Но роль, которая по замыслу Сталина ей предназначалась, в своем роде была не менее важна, чем та, какую в начале войны призвана была сыграть пьеса Корнейчука «Фронт».

Так, во всяком случае, имели основание полагать обсуждавшие ее на своем заседании секретари Союза писателей. В первую очередь, разумеется, Фадеев и Горбатов, которым Сталин, в сущности, и дал это свое поручение.

- ▶ ...Сталин повернулся к Жданову.
— Дайте документ.

Жданов вынул из папки несколько скрепленных между собой листков с печатным текстом. Сталин перелистал их, в документе было четыре или пять страниц. Перелистав его, Сталин поднялся из-за стола и, передав документ Фадееву, сказал:

— Вот, возьмите и прочитайте сейчас вслух.

Этому документу, который он велел Фадееву прочесть вслух (и который лег потом в основание симоновской пьесы), Сталин, судя по всему, придавал исключительно важное значение. Симонов даже подумал — не просто подумал, а ни на секунду в этом не усомнился, — что он сам и был его автором:

- ▶ Продиктовал, может быть, или сам написал, вполне возможно. Во всяком случае, это письмо было продиктовано его волей — ничьей другой.

Фадеев и Горбатов, надо полагать, тоже в этом не сомневались. И именно так и информировали об этом тех своих товарищей, которым сочли нужным эту информацию сообщить. Сочли нужным не по своей инициативе, а потому, что сделать это им тоже поручил он, Сталин:

- ▶ ..есть такая тема, которая очень важна, — сказал Сталин, — которой нужно, чтобы заинтересовались писатели...

Писатели (секретари) заинтересовались. Они не сомневались, что это будет начало большой идеологической кампании. Полетят головы.

И вдруг Симонов, которому было поручено эту кампанию начать, вместо того, чтобы разоблачить и осудить своего героя-предателя, защищает, амнистирует, чуть ли даже не реабилитирует его.

Им и в голову не могло прийти, что этот либеральный финал Симонову подсказал, — даже не подсказал, а **продиктовал** — сам Сталин.

Ну, а на самом деле? Означало ли это, что Сталин отказался от своего первоначального намерения? Изменил свои планы?

Нет, планов своих он не менял. Разве только слегка их корректировал.

Обозначив тему, которой надо было заинтересовать писателей, и сказав, что на эту тему надо написать роман (или

пьесу), он, видимо, рассматривал это поручение не как сигнал к началу идеологической кампании, а как своего рода артиллерийскую подготовку. Что же касается кампании, то она, как мы знаем, была развязана год спустя, когда борьба с «низкопоклонством» перед иностранщиной из науки (лысенковщина) перекинулась на театральных критиков, а потом, как лесной пожар, охватила всю страну уже и на бытовом уровне: «французская» булка стала называться «городской», кафе «Норд» в Ленинграде на Невском было переименовано в «Север», а Россия, согласно ходившему тогда анекдоту, была объявлена **родиной слонов**.

* * *

В 1969 году, отвечая на просьбу читателя рассказать историю создания стихотворения «Жди меня», Симонов написал:

- ▶ У стихотворения «Жди меня» нет никакой особой истории. Просто я уехал на войну, а женщина, которую я любил, была на Урале, в тылу. И я написал ей письмо в стихах. Потом это письмо было напечатано в газете и стало стихотворением...

*(Личный архив К. Симонова, хранящийся в семье поэта.
Цит. по кн.: К. Симонов. Стихи и поэмы.
Л., 1982. Стр. 572).*

А на другой вопрос: что из написанного во время войны и о войне сам он считает наиболее существенным, ответил так:

- ▶ Из стихов наибольшую пользу, по-моему, принесли «Жди меня». Они, наверно, не могли быть не написаны. Если б не написал я, написал бы кто-то другой.

*(К. Симонов. Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания.
Литературные заметки. О собственной работе. М., 1980).*

Это, конечно, не так.

Никто, кроме него, написать это стихотворение не мог.

Да и сам он мог написать его только ЭТОЙ ЖЕНЩИНЕ.
Никакой другой.

Но что правда, то правда: никакое другое стихотворение, написанное им или еще кем-нибудь в годы войны, не оказалось таким нужным людям, таким востребованным.

Получилось точь-в-точь так, как сказалоь в одном шути-ливом (а по существу очень серьезном) стихотворении Николая Глазкова:

Рассчитывая на успех,
Желая отразить эпоху,
Поэт сложил стихи для всех.
Жена прочла, сказала: — Плохо!

Тогда одной своей жене
Поэт сложил стихи другие.
И оказалось: всей стране
Потребны именно такие.

По логике вещей оба поэта должны были из этого «казуса» сделать один и тот же вывод. Но вывод, который сделал для себя из этой коллизии Симонов, не только не схож с тем, который вытекает из стихотворения Глазкова: он прямо ему противоположен.

Для Симонова то, что случилось с его стихотворением «Жди меня», — это именно казус. Так уж получилось. Бывает, оказывается, и так. А вообще-то долг поэта состоит в том, чтобы писать стихи, приносящие «наибольшую пользу». Что же касается Глазкова, то он этим своим стихотворением прямо и недвусмысленно дает понять, что описанная им парадоксальная коллизия отражает некую закономерность, — некий общий закон художественного — во всяком случае, поэтического — творчества.

По-иному, не в ироническом, а лирическом ключе то же убеждение высказал еще один наш современник:

У поэта соперников нету
Ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
Это он не о вас — о себе.

Руки тонкие к небу возносит,
Жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит:
Это он не за вас — за себя.

Но когда достигает предела
И душа отлетает во тьму...
Поле пройдено. Сделано дело.
Вам решать: для чего и кому.

То ли мёд, то ли горькая чаша,
То ли адский огонь, то ли храм...
Всё, что было его, — нынче ваше.
Всё для вас. Посвящается вам.

Булат Окуджава

И на свой, иной лад, но о том же — еще один:

Словно бы в переключке
Банджо и контрабас —
За полночь в электричке
За город мчался джаз.

Скопом на барабане,
Струнах и на трубе
Что-то свое лабали
Лабухи о себе.

Видно, нет счастья слаще,
Чувства растеребля,
Мчат по равнине спящей
С музыкой для себя!

Музыка в электричке,
Смысла в тебе — ничуть,
И потому-то трижды
Благословенна будь!

Кто ты ни есть — искусство,
Почва или судьба —
Нету в тебе паскудства,
Музыка для себя!

Только восторг свободы
Да разворот души —
И никакой заботы,
Проповеди и лжи!

Владимир Корнилов

Вот такой «музыкой для себя» были лучшие лирические стихи Симонова. Не было в них ни «паскудства», ни «проповеди и лжи». И потому они оказались нужны — необходимы! — многим. Не несмотря на то, что сочинял он их «о себе и для себя», а именно поэтому.

Но такой «разворот души» он позволил себе только однажды: когда создавал свой цикл «С тобой и без тебя» и лучшие свои лирические стихи, в этот цикл не входящие. Только их он сочинял «о себе и для себя». А все другие свои книги — **по поручению.**

* * *

Поручение не всегда бывало прямым. А таким прямым, как в случае с его памфлетом «Кровавые дураки» и пьесой «Чужая тень», — и вовсе не часто. Но в той или иной, прямой или косвенной форме, создание каждого будущего его произведения неизменно бывало ему **поручено.**

Даже в тех — очень редких — случаях, когда законченная и опубликованная им вещь вызывала недовольство Того, кто, как он думал, написать ее ему — не прямо, но мысленно — поручил.

- ...Несколько слов о моем отношении к «Дыму отечества»...

Сталин был для меня тем, кем он был и для меня, и для многих других в 1947 году, через два года после победы в Великой Отечественной войне, то есть я хочу сказать, что его авторитет был для меня наиболее высоким, пожалуй, именно в то время. И неприятие им поведи было для меня тяжелым нравственным ударом. Я пытался понять, в чем дело, в чем я неправ. Думал над дальнейшей работой над повестью, колебался, даже пробовал сформулировать для себя, в чем я неправ в этой повести, что надобно мне сделать. Но в итоге к решению переделывать или дописывать повесть — так и не пришел. Стало быть, где-то в глубине так и не ощутил неприятие моей повести справедливым или, во всяком случае, до конца справедливым.

*(Из письма Л.А. Финку, 6 декабря 1977 г.
К. Симонов. Собрание сочинений. Т. 12.
М., 1987. Стр. 472–473).*

Неприятие его повести Сталиным справедливым не считал, но — «самокритиковался». И не в порядке партийной дисциплины, не «страха ради иудейска», а потому что искренне считал, что Сталин не может быть неправ.

Резкое неприятие Сталиным этой его повести стало для него «тяжелым нравственным ударом», помимо всего прочего, еще и потому, что он искренне полагал, что пишет ее если и не по прямому поручению Сталина, то, во всяком случае, в духе самых последних его указаний:

- ...я сидел над повестью «Дым отечества», которой я решал, как умел, проблемы противопоставления подлинного советского патриотизма патриотизму поверхностному, квасному, связанному с самохвальством и неприятием всего чужого только потому, что оно чу-

жое. Слова Сталина об уничтожении духа самоуничтожения с особенной силой запали мне в душу именно потому, что о чем-то близком я писал в своей повести...

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода. Стр. 385).

То, что он писал в своей повести о чем-то близком тому, на что в данный момент нацеливал писателей Сталин, не было случайностью. Симонов, как никто другой, умел угадывать волю Сталина, ловить его «сигналы». Ловил, как я однажды уже заметил, «верхним чутьем». Но помимо этого чутья, которое редко ему изменяло, ему — в большей мере, чем другим ученикам «Сталинской школы», — было свойственно желание **понять** Сталина, понять ход и направление Сталинской мысли.

Почему один сигнал вдруг сменяется другим? Что лежит в основе кажущегося причудливым, а иногда и необъяснимым выбора очередного Сталинского литературного фаворита?

В то, что этот выбор может быть просто капризом не очень совершенного Сталинского художественного вкуса, он поверить не мог. Ведь Сталин всегда прав! Значит, в основе каждого его литературного предпочтения лежит какая-то определенная, не вдруг и не каждому понятная, но безошибочная логика.

Вот эту логику он и старался понять.

- ▶ В первом списке Сталинских премий, опубликованном уже в войну, в самый разгар ее, в сорок втором году, фигурировали рядом два исторических романа: «Чингисхан» Яна и «Дмитрий Донской» Бородин. Повествование о событиях, отдаленных от сорок второго года семью с лишним и без малого шестью веками, видимо, по соображениям Сталина, имело сугубо современное значение. Роман «Чингисхан» предупреждал о том, что происходит с народами, не сумевшими

сопротивляться нашествию, покоренными победителем. Роман «Дмитрий Донской» рассказывал о начале конца татарского ига, о том, как можно побеждать тех, кто считал себя до этого непобедимыми. Эти романы были для Сталина современными, потому что история в них и предупреждала о том, что горе побежденным, и учила побеждать, да притом вдобавок на материале одного из самых всенародно известных событий русской истории.

Эти исторические романы, вышедшие перед войной, были премированы сразу же, в сорок втором. Но в сороковом или в сорок первом году вышел еще один исторический роман, который по его выходе был читан Сталиным, но премирован через несколько лет.. Я говорю о романе Степанова «Порт-Артур», который был премирован ни раньше, ни позже, а в 1946 году, после того как Япония была разбита, поставленная Сталиным задача — рассчитаться за 1905 год и, в частности, вернуть себе Порт-Артур — была выполнена. В сорок втором или в сорок третьем году Сталин мог вполне сказать об этой нравившейся ему книге: нужна ли она нам сейчас? Нужно ли было, особенно до начала сорок третьего года, до капитуляции Паулюса в Сталинграде, напоминание о падении Порт-Артура? А в сорок шестом Сталин счел, что эта книга нужна как нечто крайне современное, напоминавшее о том, как царь, царская Россия потеряли сорок лет назад то, что Сталин и возглавляемая им страна вернули себе сейчас; напоминавшее о том, что и тогда были офицеры и солдаты, воевавшие столь же мужественно, как советские офицеры и солдаты в эту войну, но находившиеся под другим командованием, под другим руководством, неспособным добиться победы...

Из довольно большого потока исторических сочинений Сталин выделял то, что, по его мнению, служи-

ло интересам современности. История падения ныне возвращенного Порт-Артура служила современности, а история русской деревни — примерно в те же самые годы начала века, — по его представлениям, интересам современности не служила, и на вопрос: «Нужна ли эта книга нам сейчас?» — Сталин отвечал отрицательно.

(К. Симонов.
Истории тяжелая вода. Стр. 420—421).

Упомянутая здесь книга об истории русской деревни — это роман Василия Смирнова «Сыновья», тоже выдвинутый на премию, но так ее и не получивший.

- ▶ Сталин сказал задумчиво:
— Да, он хорошо пишет, способный человек. — Потом помолчал и добавил полувопросительно-полуутвердительно. — Но нужна ли эта книга нам сейчас?

(Там же. Стр. 405).

Это противопоставление романа В. Смирнова, книги талантливой, но в данный момент ненужной и потому премии не получившей, «Порт-Артуру» Степанова — книге художественно убогой, но нужной, помимо всего прочего, понадобилось Симонову для того, что подчеркнуть, что какой-никакой художественный вкус у Сталина все-таки был. Книгу, написанную хорошо, от книги, написанной плохо, он отличить мог. Но это для него не имело значения. Имел значение только один критерий — нужность. И не просто нужность, а нужность именно вот сейчас, в данный момент.

- ▶ ...он ничего так не программировал — последовательно и планомерно, — как будущие кинофильмы... Он не фантазировал на темы о том, как и каким надо изображать современного человека. Он брал готовую фигуру в истории, которая могла быть утилитарно полезна

с точки зрения современной политической ситуации и современной идейной борьбы. Это можно проследить по выдвинутым им для кино фигурам: Александр Невский, Суворов, Кутузов, Ушаков, Нахимов. При чем показательно, что в разгар войны при учреждении орденов Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова как орденов полководческих на первое место были поставлены не те, кто больше остался в народной памяти — Кутузов и Нахимов, а те, кто вел войну и одерживал блистательные победы на рубежах и за рубежами России. И если Суворов и Кутузов были в смысле популярности фигурами примерно равновеликими, то в другом случае, с Нахимовым или Ушаковым, всенародно известной фигурой был, конечно, Нахимов, а не Ушаков. Но с Ушаковым была связана мысль о выходе в Средиземное море, о победах там, о наступательных действиях флота, и полагаю, что именно по этой причине ему при решении вопроса о том, какой из морских флотоводческих орденов будет высшим, была отдана пальма первенства перед Нахимовым, всего-навсего защищавшим Севастополь.

Разумеется, все это могло быть и так, и иначе, но, мне кажется, все же не случайно, что у Сталина получилось именно так: полководческие ордена, введенные после победы под Сталинградом, были именно в такой последовательности: Суворов, Кутузов, Ушаков и Нахимов.

О Глинке — не без связи с восстановлением на сцене «Ивана Сусанина» — было поставлено один за другим два фильма. Программа борьбы с низкопоклонством предопределила создание целого ряда фильмов, утверждавших наш приоритет в той или иной сфере: полевая хирургия — Пирогов, радио — Попов, Мичурин — биология, Павлов — физиология. Я далек от мысли, что работа над этими фильмами была для их создателей вынужденной, — по большей части эти фильмы делались с увлече-

нием. Но во всем этом, вместе взятом, в последовательности, с которой эти фильмы делались, и в требованиях, которые к ним предъявлялись, несомненно, присутствовало исходившее непосредственно от Сталина волевое начало, связанное с его утилитарным отношением к истории, в том числе и к истории культуры и искусства, с поддержкой того и только того в истории, что могло послужить прямым интересам современности.

(Там же. Стр. 424–425).

Это грубо утилитарное отношение Сталина к искусству Симонова не шокирует и не отталкивает. Видимо, он считает его нормальным для политика. А хороша или дурна была эта сталинская политика, этот вопрос тут не обсуждается. Но получается, что она была во всяком случае разумна.

Рассуждение о том, почему Нахимову Сталин предпочел Ушакова, не кажется мне убедительным. Но и особых возражений не вызывает. Вызывает возражения тут другое: явное стремление Симонова представить движение мысли Сталина более сложным, чем это было на самом деле. Сталин, как мы знаем, был груб. Груб не только в своем отношении к людям («товарищам»), в чем упрекал его Ленин. Груба и примитивна была его мысль. У Симонова же мысль Сталина предстает перед нами не только ничуть не примитивной, но по-своему довольно изощренной, а в иных случаях даже утонченной.

Особенно ясно это видно на примере его объяснения причин, по которым Сталин отверг и разгромил вторую серию фильма Эйзенштейна об Иване Грозном.

► ...Эйзенштейна постигла катастрофа. Сталин не принял этого фильма. Почему?..

Мне же кажется весьма существенным то, что сама история царствования Грозного сопротивлялась продолжению этой картины. После первых, еще до oprичнины, внешнеполитических успехов, прежде всего взя-

тия Казани, Грозный терпит в военных походах неудачу за неудачей. Если какую-то фигуру в русской истории можно связывать с борьбой России за выход к морю, то не Грозного, а Петра, не того, кто неудачно пытался, а того, кто достиг своей цели. Грозный закончил свои дни в обстановке военных поражений и резкого ослабления военной мощи России... Фильм кончался в тот момент, когда его можно было кончить чем-то наподобие апофеоза. Дальнейшее царствование Грозного, ставшее прологом к последующим бедствиям России, включая Смутное время, в фильм не влезало, отбрасывалось и оставалось за бортом. Так это проектировалось перед войной. Думаю, что в первой серии, в сущности, уже было исчерпано то, что по аналогии укрепляло позиции Сталина, подтверждало его правоту в борьбе с тем, условно говоря, боярством, которое он искоренял.

Первая серия вышла на экран в конце войны, а вторая делалась уже после нее, и военные успехи, которые венчали в конце второй серии обрубленную на этом месте биографию Грозного, после Великой Отечественной войны могли показаться очень уж мизерными, а тема борьбы с боярством исчерпанной в первой серии. По-моему, вторая серия попала к Сталину в такое время, когда интерес его к аналогиям с Грозным ослабел, это стало не очень актуальным для него — может быть, временно. Но фильм попал к нему именно в такой момент, и какие-то раздражившие Сталина частности или эпизоды фильма, которые в других случаях не обрубали судьбу картин, а только вели к обязательным переделкам, в данном случае при утрате прежнего острого интереса к самой теме обернулись для судьбы фильма трагическим образом.

Думаю, что, рассуждая так, я в принципе не слишком далек от политической сути происшедшего.

(Там же. Стр. 422—423).

На самом деле «политическая суть происшедшего» была от этих симоновских предположений бесконечно далека.

Раздражили в этом фильме Сталина отнюдь не частности и отдельные эпизоды, изъятием которых при другом раскладе политической конъюнктуры можно было бы ограничиться. Неприемлемой для него была сама основа фильма, его концепция.

О том, что на самом деле думал об этом фильме Сталин, у нас есть возможность узнать от самого Сталина.

- ▶ ИЗ ЗАПИСИ БЕСЕДЫ И.В. СТАЛИНА,
А.А. ЖДАНОВА И В.М. МОЛОТОВА
С С.М. ЭЙЗЕНШТЕЙНОМ И Н.К. ЧЕРКАСОВЫМ
ПО ПОВОДУ ФИЛЬМА «ИВАН ГРОЗНЫЙ»

26 февраля 1947 г.

СТАЛИН. У вас неправильно показана опричнина. Опричнина — это королевское войско. В отличие от феодальной армии, которая могла в любой момент сворачивать свои знамена и уходить с войны, — образовалась регулярная армия, прогрессивная армия. У вас опричники показаны, как ку-клукс-клан.

Царь у вас получился нерешительный, похожий на Гамлета. Все ему подсказывают, что надо делать, а не он сам принимает решения... Царь Иван был великий и мудрый правитель, и если его сравнить с Людовиком XI (вы читали о Людовике XI, который готовил абсолютизм для Людовика XIV?), то Иван Грозный по отношению к Людовику на десятом небе. Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния...

Замечательным мероприятием Ивана Грозного было то, что он первый ввел государственную монопо-

лию внешней торговли. Иван Грозный был первый, кто ее ввел, Ленин второй...

Иван Грозный был очень жестоким. Показывать, что он был жестоким, можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким.

Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени. А Иван Грозный кого-нибудь казнил и потом долго каялся и молился. Бог ему в этом деле мешал... Нужно было быть еще решительнее.

*(Власть и художественная интеллигенция.
Документы. 1917—1953. Стр. 612—613).*

Как видим, чтобы запретить и разгромить вторую серию «Ивана Грозного», у Сталина были СВОИ резоны. Совсем не те, какие приписывает ему Симонов.

Своим объяснением неприятия Сталиным эйзенштейновского фильма Симонов не то чтобы обеляет Сталина, но все-таки — вольно или невольно — его оправдывает. Хотел он этого или не хотел, но у него получается, что причиной этого сталинского неприятия были вполне разумные, отнюдь не зверские («...не дорезал пять крупных феодальных семейств»), а вполне понятные, в основе своей даже правильные государственные соображения.

Правильные соображения, оказывается, лежали и в основе развязанной Сталиным гнусной кампании по борьбе с «безродными космополитами»:

- ▶ Борьба эта очень быстро стала просто и коротко формулироваться как борьба с низкопоклонством перед границей и так же быстро приняла разнообразные уродливые формы, которыми почти всегда отличается идейная борьба, превращаемая в шумную

политическую кампанию, с одной стороны, подхлестываемую, а с другой, приобретающую опасные элементы саморазвития. Многое из написанного и напечатанного тогда стыдно читать сейчас, в том числе и появившееся из-под твоего пера или за твоей редакторской подписью. Однако при всем том, что впоследствии столь уродливо развернулось в кампанию, отмеченную в некоторых своих проявлениях печатью варварства, а порой и прямой подлости, в самой идее о необходимости борьбы с самоуничижением, с самоощущением несто-процентности, с неоправданным преклонением перед чужим в сочетании с забвением собственного, здоровое зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, было. Элементы всего этого реально существовали и проявлялись в обществе, возникшая духовная опасность не была выдумкой, и вопрос, очевидно, сводился не к тому, чтобы отказаться от духовной борьбы с подобными явлениями, в том числе и средствами литературы, а в том, как вести эту борьбу — пригодными для нее и соответствующими ее, по сути говоря, высоким общественным целям методами или методами грубыми и постыдными, запугивавшими, но не убеждавшими людей, то есть теми, которыми она чаще всего впоследствии и велась.

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода. Стр. 375).

Как говорил один персонаж Зоценко: «Бывают ошибки, но линия правильная».

Так рассуждать Симонова побуждала не только еще не изжитая до конца его вера в Сталина — в то, что «Сталин всегда прав». К тому времени, когда он писал (диктовал) свои предсмертные записки, эта его былая вера давно уже развеялась. Но трезво и беспощадно оценить все зигзаги и повороты сталинской «генеральной линии» он не мог. Ведь для этого

ему понадобилось бы так же беспощадно оценить — переоценить! — все крутые повороты и зигзаги своего собственного пути — в жизни и в литературе.

* * *

Самая ранняя — и, наверно, лучшая — пьеса Симонова «Парень из нашего города» была пронизана предощущением надвигающейся на страну большой войны.

В этом Симонов был не одинок. О близкой будущей войне на всю страну гремели песни:

Полетит самолет,
Застрочит пулемет,
Загрохочут железные танки.
И пехота пойдет
В свой последний поход,
И промчатся лихие тачанки.

Неизбежная будущая война авторам этих песен рисовалась, конечно, победоносной, а главное — быстрой:

И на вражьей земле
Мы врагов разгромим
Малой кровью,
Могучим ударом.

В полный голос, но по-иному звучала эта тема в предвоенных стихах молодых поэтов, сверстников Симонова. Не так легкомысленно-беспечно, но тоже романтически приподнято:

В те годы в праздники возили
Нас по Москве грузовики,
Где рядом с узником Бразилии
Художники изобразили
Керзона (нам тогда грозили,
Как нынче, разные враги).

На перечищенных, охрипших
Врезались в строгие века
Империализм, Антанга, рикши,
Мальчишки в старых пиджаках,
Мальчишки в довоенных валенках,
Оглохшие от грома труб,
Восторженные, злые, маленькие,
Простуженные на ветру.
Когда-нибудь в пятидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее...

Павел Коган

О том, как долог и тяжел будет их путь до «речки Шпрее», они тогда не догадывались. Только в 42-м, уже кое-что повидав на этой большой войне, друг и сверстник Павла Когана Михаил Кульчицкий напишет:

Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!
Что? Пули в каску безопасней капель?
И всадники проносятся со свистом
вертящихся пропеллерами сабель...

Война ж совсем не фейерверк,
а просто — трудная работа,
когда —
черна от пота —
вверх
скользит по пахоте пехота.

Симонову уже в той, довоенной его пьесе будущая война видится как предстоящая его героям **долгая и трудная работа**:

- Мотоциклист (*входя*). Товарищу майор! Пакет из штаба бригады. (*Передает пакет, вынимает из кармана кожанки газету.*) А это — из политотдела.

Приказали лично вам передать. Срочный выпуск фронтовой газеты. Разрешите ехать?

Сергей. Можете ехать. *(Разрывает пакет.)* К двадцати одному — на исходные позиции. Значит, правильно. Штурм. Севастьянов! Начинайте выводить вашу роту. Пойдете головным.

Севастьянов. Есть. *(Уходит.)* Сергей *(к Гулиашвили)*. Вы начнете через пять минут следом за ним.

Гулиашвили. Дорогой! В этой газете указ, непременно указ о героях. Из нашей бригады — ты. Я точно знаю. Посмотри.

Сергей *(складывает газету вдвое, потом вчетверо, решительно засовывает ее под кожанку, застегивает пуговицу)*. После боя прочту.

Гулиашвили. Ну, как же ты, дорогой? Идти в бой, не зная: вдруг — да, а вдруг — нет.

Сергей. Ничего, злей буду.

Гулиашвили. А если...

Сергей. Что — если? Если убьют? Да? Так эти «если» в нашей с тобой жизни уже десять раз были и еще сто раз будут. О них думать — воевать разучишься. *(Дотрагивается рукой до кожанки там, где под ней спрятана газета.)* Здесь не только те, что дожили: здесь ведь и те, что не дожили. Победу одни живые не делают. Ее пополам делают: живые и мертвые. А война еще только начинается.

Гулиашвили. Начинается? Последний штурм, дорогой.

Сергей. Последний штурм? Чего? Зеленой сопки на реке Халхин-Гол? Ты сегодня плохо слушал радио, Ваню.

Гулиашвили. Почему плохо?

Сергей. Плохо. Ты сейчас о последней сопке думаешь, а я — о последнем фашисте.

(К. Симонов. Стихи. Пьесы. Рассказы. М. 1949. Стр. 407—408).

В этом проявилось изначально, с молодых лет, с самых ранних его стихов свойственное Симонову политическое чутье. Его сверстники самовыражались, а он уже знал, чувствовал, понимал, чего ждет, чего требует от него время.

Но, опередив их в предвидении тягот и сроков будущей войны, в своем представлении о ее конечной цели он был с ними заодно.

Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях.
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

Так представлял себе свое будущее не дошедший до «речки Шпрее» Павел Коган.

А вот о чем мечтает герой пьесы Симонова «Парень из нашего города» Сергей Луконин:

- ▶ Сергей. Знаешь, Аркаша, когда на параде знамена проносят, красные, обожженные, пулями простреленные, у меня слезы к горлу подступают. Мне тогда кажется, что за этими знаменами можно всю землю пройти и нигде не остановиться. (Пауза.) Говорят, многие мечтают на родине умереть, а я нет. Я, если придется, хотел бы на чужой земле, чтобы люди на своем языке — на китайском, на французском, испанском, на каком там будет — сказали: «Вот русский парень, он умер за нашу свободу». И спели бы не похоронный марш, а «Интернационал». Он на всех языках одинаково поется.

(Там же. Стр. 351).

Вот говорит погибший на финской войне сверстник Симонова Николай Майоров:

Мир яблоком, созревшим на оконце,
Казался нам... На выпуклых боках
— Где Родина — там красный цвет от солнца,
А остальное — зелено пока...

А вот — герой пьесы Симонова «Парень из нашего города»:

► Полина Францевна. Меня очень растрогало, когда вы захотели брать уроки французского. Все занимаются английским, говорят: нужнее.

Сергей. И правильно говорят, я тоже занимаюсь английским.

Полина Францевна. Да, но вы и французским.

Сергей. А мне все нужно, Полина Францевна. Иностранные языки — все еще может случиться, они еще могут перестать быть иностранными. Вы знаете, когда я смотрю на карту, мне почему-то нравится только та часть ее, которая покрыта красным цветом.

(Там же. Стр. 358).

И вот, наконец, — апофеоз. Заключительная сцена пьесы, ее финал:

► Сергей. Ты сейчас о последней сопке думаешь, а я — о последнем фашисте. И думаю о нем давно, еще с Мадрида. Пройдет, может быть, много лет, и за много тысяч километров отсюда, в городе... в общем, в последнем фашистском городе поднимет этот последний фашист руки перед танком, на котором будет красное, именно красное знамя.

(Там же. Стр. 408).

Непоколебимую веру в неизбежность Мировой революции, в торжество идеи всемирного пролетарского братства

Симонов в этой своей пьесе утверждает не только декларативно, — монологами и репликами главного ее героя. Эта авторская идея формирует сюжет пьесы, самую основу ее драматургии. С почти плакатной наглядностью это выражено в одной из самых драматических ее сцен. Его герой, воюющий с фашистами в Испании, попадает в плен. На допросе выдает себя за француза. Допрашивает его — соотечественник, русский эмигрант, белогвардеец. Тщетно пытается он «расколоть» допрашиваемого, заставить его признаться, что на самом деле никакой он не француз, а русский. Но тот упорно стоит на своем: на все вопросы и провокации отвечает несколькими короткими французскими фразами, делая вид, что по-русски не понимает ни слова. В конце концов, ведущий допрос бывший белогвардеец в бешенстве приказывает его расстрелять.

Ни тени симпатии к соотечественнику не возникает ни у того, ни у другого. Они — смертельные враги. И никакого значения для обоих не имеет то, что «русская мать их на свет родила». Не национальные симпатии и отталкивания (пока) движут героями Симонова, а идейные, классовые.

Конечно, не случайно все это происходит в Испании. Вообще-то такая встреча соотечественников, стоящих по разные стороны баррикад, только там, в Испании, и могла произойти. Где же еще?

Но испанская тема Симонову была особенно близка.

Первым стихотворением, которым он привлек к себе внимание, было написанное им в июле 1937 года стихотворение «Генерал», посвященное, как было обозначено под его заглавием, памяти Матэ Залки:

В горах этой ночью прохладно.
В разведке намаявшись днем,
Он греет холодные руки
Над желтым походным огнем,

В кофейнике кофе клокочет,
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

Давно уж он в Венгрии не был —
С тех пор, как попал на войну,
С тех пор, как он стал коммунистом
В далеком сибирском плену.

Он знал уже грохот тачанок
И дважды был ранен, когда
На запад, к горящей отчизне,
Мадьяр повезли поезда.

Зачем в Будапешт он вернулся?
Чтоб драться за каждую пядь,
Чтоб плакать, чтоб, стиснувши зубы,
Бежать за границу опять?..

С тех пор он повсюду воюет:
Он в Гамбурге был под огнем,
В Чапее о нем говорили,
В Хараме слышали о нем...

Недавно в Москве говорили,
Я слышал от многих, что он
Осколком немецкой гранаты
В бою под Уэской сражен.

Но я никому не поверю:
Он должен еще воевать,
Он должен в своем Будапеште
До смерти еще побывать.

Пока еще в небе испанском
Германские птицы видны,
Не верьте: ни письма, ни слухи
О смерти его неверны.

Он жив. Он сейчас под Уэской.
Солдаты усталые спят.
Над ним арагонские лавры
Тяжелой листвой шелестят.

И кажется вдруг генералу,
Что это зеленой листвой
Родные венгерские липы
Шумят над его головой.

Я слышал, что за одно это стихотворение, которое он прочел публично, Симонова приняли в Союз писателей — вопреки всем пунктам и параграфам устава (по уставу полагалось, чтобы принимаемый представил хоть одну опубликованную книгу.)

Как видно, оно пришлось ко времени.

Вообще-то у Симонова всё, что он писал, всегда приходилось ко времени. Но это его стихотворение не было конъюнктурным. Доказательством тому может служить другое, написанное им шесть лет спустя:

Кружится испанская пластинка.
Изогнувшись в тонкую дугу,
Женщина под черною косынкой
Пляшет на вертящемся кругу.

Одержима яростною верой
В то, что он когда-нибудь придет,
Вечные слова «Yo te quiero»¹
Пляшущая женщина поет.

¹ Я тебя люблю! (исп.)

В дымной, промерзающей землянке,
Под накатом бревен и земли,
Человек в тулупе и ушанке
Говорит, чтоб снова завели.

У огня, где жарятся консервы,
Греет свои раны он сейчас,
Под Мадридом продырявлен в первый
И под Сталинградом — в пятый раз.

Он глаза устало закрывает,
Он да песня — больше никого..
Он тоскует? Может быть. Кто знает?
Кто спросить посмеет у него?

Проволоку молча прогрызая,
По снегу ползут его полки.
Южная пластинка, замерзая,
Делает последние круги.

Светит догорающая лампа,
Выстрелы да снега синева..
На одной из улочек Дель-Кампо
Если ты сейчас еще жива,

Если бы неведомою силой
Вдруг тебя в землянку залучить,
Где он, тот голубоглазый, милый,
Тот, кого любила ты, спросить?

Ты, подняв опущенные веки,
Не узнала б прежнего, того,
В грузном поседевшем человеке,
В новом, грозном имени его.

Что ж, пора. Поправив автоматы,
Встанут все. Но, подойдя к дверям,
Вдруг он вспомнит и мигнет солдату:
«Ну-ка, заведи вдогонку нам».

Тонкий луч за ним блеснет из двери,
И метель их сразу обовьет.
Но, как прежде, радуясь и веря,
Женщина вослед им запоеет.

Потеряв в снегах его из виду,
Пусть она поет еще и ждет.
Генерал упрямя, он до Мадрида
Все равно когда-нибудь дойдет.

Это стихотворение было написано в 43-м.

Сталин давно уже пересажал всех «испанцев» (не настоящих испанцев, а наших, воевавших в Испании). Уцелели немногие. И не то что для Симонова, для людей, куда менее осведомленных, чем он, это не было секретом:

- Был у нас в училище комиссар, подполковник Видеман. И вдруг узнаем: воевал в Испании. И какая же мысль самая первая, чему удивились? В Испании воевал и не арестован... А ведь мы, школьниками, рвались туда воевать с фашистами. И мы же удивляемся: не арестован.

(Г. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды. М., 1999. Стр. 112).

Вернулись они из сталинских лагерей (не все, разумеется, а те, кто уцелел) через семнадцать лет. Так что сейчас такое стихотворение было совсем не ко времени. Тем не менее, Симонов его написал.

А тогда, в 37-м, когда родилось у него то, первое, — когда Сталин еще не вывел из Испании интербригады и Мадрид еще не пал, — в том же самом году Симонов вдруг почувял перемену курса.

Стихотворение «Генерал», посвященное памяти Матэ Залки, как уже было сказано, он написал в июле. А через месяц — в августе — начал писать поэму «Ледовое побоище».

* * *

Поворот «всем вдруг» от интернациональной идеологии к национальной, державной, осторожно начатый Сталиным в начале 30-х, с годами обозначался все явственнее. Одним из самых первых отчетливых знаков этого поворота стал фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». На смену героям Гражданской войны (Чапаев, Щорс, Пархоменко) пришел новый герой — князь, причисленный Русской православной церковью к лику святых.

Сразу отменить революционную идеологию и заменить ее державной, царистской, было невозможно. На первых порах эти две идеологии надо было как-то совместить.

Задача была непростая, но Эйзенштейн с ней успешно справился.

- ▶ Можно было бы до мельчайших подробностей, до ничтожных деталей пейзажа, жестов второстепенных лиц и складок одежды, до последнего такта великолепной музыки Прокофьева проследить, каким образом слово и буква идеологии нашли свое воплощение в этом фильме. Перед нами нечто в своем роде совершенное, шедевр политической низости; как во всяком шедевре, в нем нет ничего лишнего и случайного, фильм, получивший всенародное признание, напоминает произведения немецкой кинематографии и литературы времен национал-социализма, но в русском варианте. Князь выглядит славянским арийцем. Он снят так, что всегда кажется выше всех остальных и выше зрителя. Его язык представляет собой смесь архаически-народного словаря с языком газеты. Он враг богачей, друг, учитель и вождь беззаветно преданного ему народа и, судя по всему, атеист. В Новгороде тринадцатого века вообще нет никаких следов христианства, если не считать колокольного звона, который, однако, созывает людей не в храмы, а на городскую площадь,

где князь выступает с речью, в которой клеймит врагов народа и изменников родины (процессы 1937–1938 гг.). Изменниками оказываются эксплуататоры народа — богатые купцы. Совмещение двух систем координат совершается легко и просто: классовый враг есть не кто иной, как враг национальный. В отличие от обаятельных, душевно щедрых и свободомыслящих новгородцев, немцы преувеличенно богомольны. Они высокомерны, жестоки, коварны, трусливы и ненавидят русский народ. В фильме с изумительным искусством обыгрываются простейшие символы и элементарные семиотические приемы... Контрасты белого и черного, теплых грудных голосов русских женщин, поющих величественно-задушевную песню о родном крае, и мрачной дисгармонической мелодии рыцарского рога, лик Солнца на княжеском стяге и страшный, могильный латинский крест, вознесенный над коленопреклоненными немцами, над снежной пустыней, движение орденового войска, мертвого механического Запада, который замыслил поработить Русь и сломает себе на этом шею, — все сходится на одном, соединяется в единый вектор.

(Б. Хазанов. *Миф Россия. Опыт романтической политологии.* New York, 1986. Стр. 47–48).

Фильм «Александр Невский» вышел на экран в 1938-м.

Симонов над своей поэмой «Ледовое побоище», как уже было сказано, начал работать в августе 1937-го и в декабре того же года он ее закончил. Я бы не стал на этом основании утверждать, что он был **первым**, а Эйзенштейн **вторым**. (Фильм тоже не в один день делается.) Но, во всяком случае, тут с полным основанием может быть применена утвердившаяся у нас несколько позже формула о Ломоносове и Лавуазье: «Одновременно, или даже несколько раньше».

И язык князя не являет «смесь архаически-народного словаря с языком газеты». Это несколько осовремененный, но — живой язык. И уж, конечно, никакой он не атеист, этот симоновский князь:

«Пусть с немцами нас Бог рассудит
Без проволочек тут, на льду,
При нас мечи, и, будь что будет,
Поможем Божьему суду!»

Да и картина взаимоотношений князя с народом не отдает такой грубой фальсификацией, как у Эйзенштейна, где князь «враг богачей, друг, учитель и вождь беззаветно преданного ему народа и, судя по всему, атеист».

Разве вот только к боярам князь у него относится неприязненно:

В подушках прыгая седельных,
Вцепясь с отвычки в повода,
Бояре ехали отдельно,
За каждым челядь в два ряда.

Всех, даже самых старых, жирных,
Давно ушедших на покой,
Сам князь из вотчин их обширных
Железной выудил рукой.

Из них любой когда-то бился,
Ходил за Новгород в поход,
Да конь издох, поход забылся,
И меч ржавел который год.

Но князь их всех лишил покоя —
Чем на печи околевать,
Не лучше ль под стеной псковскою
Во чистом поле воевать?

Уже давно бояре стали
Нелюбы князю. Их мечам,

Доспехам их из грузной стали,
Их несговорчивым речам

Предпочитал людишек ратных
В простой кольчуге с топором —
Он испытал их многократно
И поминал всегда добром!

Во всю дорогу он, со злости
Со всеми наравне гоня,
Не дал погреть боярам кости,
Ни снять броню, ни слезть с коня.

Но это не противоречит исторической правде. У реального князя с боярами были даже более крупные счеты.

Не противоречит исторической правде и изображенная Симоновым картина взятия Пскова и Ледового побоища.

Но эту — более или менее реалистическую — картину он **ВСТАВИЛ В СВОЮ РАМУ.**

Названиями глав поэмы служат даты, обозначающие время действия.

Первая глава называется: «1918 год». И это не опечатка. Не в 1240-м и не в 1242 годах происходят события, с описания которых, как можно было бы ожидать, открыв сочинение, которое называется «Ледовое побоище», начинает Симонов свою поэму, а именно в 1918-м:

Всю ночь гремела канонада.
Был Псков обложен с трех сторон.
Красногвардейские отряды
С трудом пробились на перрон.

И следом во мгновение ока
Со свистом ворвались сюда
Германцами до самых окон
Напичканные поезда.

Без всякой видимой причины
Один состав взлетел к чертям.
Сто три немецких нижних чина,
Три офицера были там.

На рельсах стыли лужи крови,
Остатки мяса и костей.
Так неприветливо во Пскове
Незванных встретили гостей!

В домах скрывались, свет гасили,
Был город темен и колюч.
У нас врагу не подносили
На золоченом блюде ключ.

Продолжая свое описание событий, развернувшихся в захваченном немцами в 1918 году Пскове, Симонов не пренебрег теми же «простейшими символами и элементарными семиотическими приемами», которыми пользовался в своем фильме Эйзенштейн. Но время действия позволяет ему оставаться (пока) на твердых классовых позициях, не смешивая их с национальными:

Для устрашенья населенья
Был собран на Сенной парад.
Держа свирепое равненье,
Солдаты шли за рядом ряд.

Безмолвны и длинны, как рыбы,
Поставленные на хвосты;
Сам Леопольд Баварский прибыл
Раздать Железные кресты...

А население молчало,
Смотрел в молчанье каждый дом,
Так на врагов глядят сначала,
Чтоб взять за глотку их потом.

Нашлась на целый город только
Пятерка сукиных детей,
С подобострашьем, с чувством, с толком
Встречавших «дорогих» гостей.

Пять городских землевладельцев,
Решив урвать себе кусок,
Сочли за выгодное дельце
Состряпать немцам адресок.

Они покорнейше просили:
Чтоб им именья возвратить,
Должны германцы пол-России
В ближайший месяц отхватить...

На старой, выцветшей открытке
Запечатлелся тот момент:
Дворянчик, сухонький и жидкий,
Читает немцам документ.

Его козлиная бородка
(Но он теперь бородку сбрил!),
Его повадка и походка
(Но он походку изменил!),

Его шикарная визитка
(Но он давно визитку снял!) —
Его б теперь по той открытке
И сам фотограф не узнал.

Но если он не сдох и бродит
Вблизи границы по лесам,
Таких, как он, везде находят
По волчьим выцветшим глазам...

А немец, с ним заснятый рядом,
В гестапо где-нибудь сидит
И двадцать лет всё тем же взглядом
На землю русскую глядит.

Так кончается эта первая глава. А в завершающей поэму последней (точнее – предпоследней) он вновь переносит нас из 1242 года в 1918-й:

Не затихала канонада.
Был город полуокружен,
Красноармейские отряды
В него ломились с трех сторон.

Германцы, бросив оборону,
Покрытые промозглой тьмой,
Поспешно метили вагоны:
«Нах Дейтчлянд» – стало быть, домой!

Что ж, добрый путь! Пускай расскажут,
Как прелести чужой земли
Столь приглянулись им, что даже
Иные спать в нее легли!

На кладбище псковском осталась
Большая серая скала,
Она широко распласталась
Под сенью прусского орла.

И по ранжиру, с чувством меры,
Вокруг нее погребены
Отдельно унтер-офицеры,
Отдельно нижние чины.

Мне жаль солдат. Они служили,
Дрались, не зная за кого,
Бесславно головы сложили
Вдали от Рейна своего.

Мне жаль солдат. Но раз ты прибыл
Чужой порядок насаждать –
Ты стал врагом. И кто бы ни был –
Пощады ты не вправе ждать.

Так он «закольцевал», в такую вот раму вставил свой рассказ о победе новгородского князя Александра Невского над немецкими псами-рыцарями на Чудском озере в 1242 году.

Но и это еще не все.

За этой, как будто бы уже последней, завершающей главой, следует еще одна: «ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 1937 год»:

Сейчас, когда за школьной партией
«Майн кампф» зубрят ученики
И наци пальцами по картам
Россию делят на куски,

Мы им напомним по порядку —
Сначала грозный день, когда
Семь верст ливонцы без оглядки
Бежали прочь с Чудского льда.

Потом напомним день паденья
Последних орденских знамен,
Когда, отдавший все владенья,
Был Русью орден упразднен.

Напомним памятную дату,
Когда Берлин дрожмя дрожал,
Когда от русского солдата
Великий Фридрих вспять бежал.

Напомним им по старым картам
Места, где смерть свою нашли
Пруссаки, вместе с Бонапартом
Искавшие чужой земли.

Напомним, чтоб не забывали,
Как на ноябрьском холоду
Мы прочь штыками выбивали
Их в восемнадцатом году...

Как мы уже тогда их били,
Пусть вспомнят эти господа,
А мы сейчас сильнее, чем были,
И будет грозен час, когда,

Не забывая, не прощая,
Одним движением вперед,
Свою отчизну защищая,
Пойдет разгневанный народ.

В общем, как пелось в одной из самых популярных тогдашних наших песен, — «Били, бьем и будем бить!»

Но тут, словно бы спохватившись, он вспоминает, что в Германии живут не только помещики и капиталисты, но и наши кровные братья — пролетарии.

Как с этим быть?

А очень просто:

Настанет день, когда свободу
Завоевавшему в бою,
Фашизм стряхнувшему народу
Мы руку подадим свою.

В тот день под радостные клики
Мы будем славить всей страной
Освобожденный и великий
Народ Германии родной.

Мы верим в это, так и будет,
Не нынче-завтра грохнет бой,
Не нынче-завтра нас разбудит
Горнист военною трубой.

«И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас всё так же солнце станет
Сиять огнем своих лучей».

Тем, кто не вспомнит, откуда это, взятое автором в кавычки, заключительное четверостишие (а не вспомнят, я подозреваю, многие), напоминаю: из «Интернационала», тогдашнего советского государственного, а потом партийного гимна.

Так просто Симонов решил проблему совмещения двух взаимоисключающих идеологических «парадигм». Решение, конечно, искусственное. По правде говоря, даже довольно-таки топорное. Но худо ли, хорошо ли, концы были сведены с концами. Выход из непростого, казалось бы, даже неразрешимого противоречия был найден.

А год спустя явилась на свет другая историческая поэма Симонова: «Суворов». (Фрагмент из нее появился в «Литературной газете» 15 октября 1938 года, полностью поэма была напечатана в 1939-м, в 5–6 номере «Знамени».) И тут уж он обошелся без «Интернационала».

* * *

В речи на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года, произнесенной с трибуны Мавзолея перед войсками, которые, выслушав напутствия вождя, прямо с этого парада двинутся на фронт, Сталин вспомнил 1918 год:

- ▶ Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тяжелом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали первую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно потеряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Армии, — мы ее только начали создавать, — не хватало хлеба, не хватало вооружения, не хватало обмундирования. 14 государств наседали тогда на нашу страну. Но мы не унывали, не падали духом. В огне войны организовали тогда мы Красную Ар-

мию и превратили нашу страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда на войну против интервентов. И что же? Мы разбили интервентов, вернули все потерянные территории и добились победы...

Дух великого Ленина и его победоносное знамя вдохновляют нас теперь на Отечественную войну так же, как 23 года назад.

(И. Сталин. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1950).

А закончил он эту, наверно, самую знаменитую свою речь так:

- ▶ Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!

Мало кто из тех, кто слушал тогда эту его речь (а слушала ее, затаив дыхание, вся страна), обратил внимание на то, что между этими «Пусть вдохновляет...» и «Пусть осенит...» было некоторое — и немалое — противоречие. И не только потому, что любая несообразность, вылетавшая из уст Сталина, давно уже воспринималась всеми как откровение. Противоречие это не было замечено, потому что к восприятию этой очевидной несообразности страна к тому времени уже была готова.

В докладе «24-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции», который Сталин прочитал днем раньше той речи, в которой объединил победоносное знамя Ленина со знаменами, под которыми сражались русские генералы и князья, содержалось одно весьма любопытное признание, которое — и тогда, да и потом — тоже мало кем было замечено. Объясняя, что гитлеровцы, именующие свою партию национал-социалистической, не имеют на это права, так как никакими социалистами на самом деле они, конечно, не

являются, он в том же тоне и в тех выражениях подчеркнул, что не только социалистами, но и националистами в собственном смысле этого слова они тоже называться не могут:

- Можно ли считать гитлеровцев националистами? Нет, нельзя. На самом деле гитлеровцы являются теперь не националистами, а империалистами. Пока гитлеровцы занимались собиранием немецких земель и воссоединением Рейнской области, Австрии и т.п., их можно было с известным основанием считать националистами. Но после того, как они захватили чужие территории и поработили европейские нации — чехов, словаков, поляков, норвежцев, датчан, голландцев, бельгийцев, французов, сербов, греков, украинцев, белорусов, прибалтов и т. д. и стали добиваться мирового господства, гитлеровская партия перестала быть националистической, ибо она с этого момента стала партией империалистической, захватнической, угнетательской.

(Там же).

По тону и точному смыслу этого высказывания получается, что быть империалистом, конечно, очень нехорошо, а националистом, в сущности, не так уж и плохо.

Сталин, конечно, так прямо сказать это не мог, да и не хотел. Но — проговорился.

Советский идеологический иконостас являл собою тогда весьма странное зрелище: рядом с Суворовым и Кутузовым на нем по-прежнему красовались изображения предводителей крестьянских бунтов и восстаний — Степана Разина, Ивана Болотникова, Емельяна Пугачева. И мало кому при этом приходило в голову, что плененного Пугачева привез в Москву в железной клетке не кто иной, как вот этот самый Суворов.

Поворот от революционной идеологии к национальной — можно даже сказать националистической, — как мы знаем, был начат давно. Но не только сам этот поворот, но и

перечень имен «наших великих предков», которые призваны были вдохновлять советских воинов в войне с немецко-фашистскими захватчиками, тоже был определен Сталиным еще в предвоенные годы.

Вслед за Александром Невским, фильм о котором, конечно же, был заказан Эйзенштейну самим Сталиным, тоже по личному указанию вождя были возведены на пьедестал убранные ранее с центра Красной площади на ее обочину Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.

Произошло это в весьма торжественной обстановке 2 апреля 1939 года на премьере поставленной в Большом театре — тоже по его личному указанию — оперы «Иван Сусанин».

- ▶ Миша был в Большом, где в первый раз ставили «Сусанина» с новым эпилогом.

Пришел после спектакля и рассказал нам, что перед эпилогом Правительство перешло из обычной правительственной ложи в среднюю большую (бывшую царскую) и оттуда уже досматривало оперу.

Публика, как только увидела, начала аплодировать, и аплодисмент продолжался во все время музыкального антракта перед эпилогом. Потом с поднятием занавеса, а главное, к концу, к моменту появления Минина, Пожарского — верхами. Это все усиливалось и, наконец, превратилось в грандиозные овации, причем Правительство аплодировало сцене, сцена — по адресу Правительства, а публика — и туда, и сюда.

Сегодня я была днем в дирекции Большого, а потом в одной из мастерских и мне рассказывали, что было что-то необыкновенное в смысле подъема, что какая-то старушка, увидев Сталина, стала креститься и приговаривать: вот увидела все-таки! что люди вставали ногами на кресла!

Говорят, что после спектакля Леонтьев и Самосуд были вызваны в ложу, и Сталин просил передать всему коллективу театра, работавшему над спектаклем, его благодарность, сказал, что этот спектакль войдет в историю театра.

Сегодня в Большом был митинг по этому поводу.

*(Дневник Елены Булгаковой.
М., 1990. Стр.250).*

Тогда же — не так торжественно, но тоже достаточно внушительно — были подняты и другие исторические фигуры, имена которых потом прозвучали в сталинской речи 7 ноября 1941 года.

- ▶ Официальная идеология нынешнего Кремля апеллирует к подвигам князя Александра Невского, героизму армии Суворова-Рымникского или Кутузова-Смоленского, закрывая глаза на то, что этот «героизм» опирался на рабство и тьму народных масс и что именно по этой причине старая русская армия оказывалась победоносной только в борьбе против еще более отсталых азиатских народов или слабых и разлагающихся пограничных государств на Западе. При столкновении же с передовыми странами Европы доблестное царское воинство всегда оказывалось несостоятельным. Что до всего этого термидорианцам и бонапартистам? Им необходимы национальные фетиши.

*(Л. Троцкий. Бюллетень оппозиции.
1939, № 70. Стр. 4).*

Те же имена назвал Ф. Раскольников в своем «Открытом письме Сталину», где среди других обвинений, предъявленных им «отцу народов», прозвучало обвинение —

- ... в насаждении культа исторических русских героев Александра Невского и Дмитрия Донского, Суворова и Кутузова, надеясь, что в будущей войне они помогут вам больше, чем казенные маршалы и генералы.

(Ф. Раскольников.
О времени и о себе. Стр. 546).

Все это я к тому, что Симонов, выбирая героя для новой своей исторической поэмы, руководствовался личными (пусть не прямо к нему обращенными) указаниями и предписаниями вождя.

Некоторые рудименты революционной идеологии отразились и в этой его поэме.

Прежде всего в том, что в центре ее размолвка — даже не размолвка, а конфликт — фельдмаршала с царем.

Но в основе этого конфликта — резкая неприязнь Суворова не к тирании и самодурству Павла, а к его ориентации не на исконно русские военные традиции, а на чужие, западные:

Здесь все по-прусски, не по нем.
Царь вышел вместе с ним на площадь,
Там рядом с Павловым конем
Ему была готова лошадь.
И, вылетев во весь карьер,
Поехали вдоль фронта рядом —
Курносый прусский офицер
С холодным оловянным взглядом
И с ним бок о бок старичок,
Седой, нахохленный, сердитый,
Одетый в легкий сюртучок
И в старый плащ, в боях пробитый.
Нет, он не может отрицать —
Войска отличный вид имели,
Могли оружием бряцать
И ноги поднимать умели.
Не просто поднимать, а так,
Что сбоку видишь ты — ей-богу! —

Один шнурок, один башмак,
Одну протянутую ногу.
А косы, косы, а мундир,
Крючки, шнурки, подтяжки, пряжки,
А брюки, пригнанные к ляжкам
Так, что нельзя попасть в сортир!
Но это ничего. Солдат
Обязан претерпеть лишенья.
Мундирчик тоже тесноват —
Неловко в нем ходить в сраженья...
Но дальше было не до шуток.
Полк за полком и снова полк —
И все, как дерево, и жуток
Вид плоских шляп, кургузых пол,
Нелепых кос. Да где ж Россия?
Где настоящие полки,
Подчас раздетые, босые,
Полмира бравшие в штыки?
Фанагорийцы, гренадеры,
Суворовцы? Да вот они —
Им дали прусские манеры
И непотребные штаны;
Им гатчинцы даны в капралы,
Их отучили воевать,
Им старого их генерала
Приказано не узнавать...
Он рысью тронул вдоль квадрата
Молчавших войск. Но за спиной
Уже кричал ему штабной:
«Велит вернуться император!»
— «Скажи царю, что я не волен
Исполнить то, что он велит.
Скажи царю: Суворов болен,
Мол, брюхо у него болит...»

В этой своей исторической поэме Симонов не так скован идеологией, как в «Ледовом побоище». Но — скован.

Для наглядности, — чтобы было совсем уже ясно, что я имею в виду, — сравню (все познается в сравнении) приведенный текст с ранним стихотворением Багрицкого, озаглавленным так же, как поэма Симонова, — «Суворов»:

В серой треуголке, юркий и маленький,
В синей шинели с продранными локтями, —
Он надевал зимой теплые валенки
И укутывал горло шарфами и платками.

В те времена по дорогам скрипели еще дилижансы,
И кучера сидели на козлах в камзолах и фетровых шляпах;
По вечерам, в гостиницах, веселые девушки пели романсы,
И в низких залах струился мятный запах...

По вечерам он сидел у погаснувшего камина,
На котором стояли саксонские часы и уродцы из фарфора,
Читал французский роман, открыв его с середины, —
«О мученьях бедной Жюльетты, полюбившей знатного синьора».

Утром, когда пастушьи рожки поют напевней
И толстая служанка стучит по коридору башмаками,
Он собирался в свои холодные деревни,
Натягивая сапоги со сбитыми каблуками.

В сморщенных ушах желтели грязные ватки;
Старчески кряхтя, он ходил во двор, держась за перила;
Кучер в синем кафтане стегал рыжую лошадку, —
И мчались гостиница, роуца так, что в глазах рябило...

Но иногда по первому выпавшему снегу,
Стоя в пролетке и держась за плечо возницы,
К нему в деревню приезжал фельдъегерь
И привозил письмо от матушки-императрицы.

«Государь мой, — читал он, — Александр Васильич!
Сколь прискорбно мне Ваш мирный покой тревожить,
Вы, как древний Цинциннат, в деревню свою удалились,
Чтоб мудрым трудом и науками свои владения множить...»

Он долго смотрел на надушенную бумагу, —
Казалось, слова на тонкую нитку нижат;
Затем подходил к шкапу, вынимал ордена и шпагу —
И становился Суворовым учебников и книжек.

Мне захотелось сравнить это стихотворение молодого Багрицкого с поэмой молодого Симонова совсем не для того, чтобы решать — или дать возможность решить это читателю, — кто из двух авторов лучше, «художественнее» живописал портрет великого полководца. Смысла и цель этого моего сопоставления (если угодно, даже противопоставления) — в другом.

Багрицкий — это первое, что бросается в глаза, когда погружаешься в это его стихотворение, — **свободен**. Свободен и в выборе темы, и в ее трактовке.

Симонов по рукам и ногам **связан идеологией**. И, в сущности, не так уж и важно, какая это идеология, — революционная или национально-патриотическая.

В своего героя он искренне влюблен. Портрет его рисует увлеченно, и портрет этот получается у него живой, исторически и художественно достоверный. Но на протяжении всей поэмы, от первой до последней ее строки, поэта не оставляет забота об идеологической сверхзадаче этого его исторического повествования:

Вдоль долгих улиц гроб несли.
На бархате ряды регалий,
Оркестры медным шагом шли,
Полки армейские шагали.
Чтоб этим оскорбить хоть прах,
В эскорт почетный, против правил,
В тот день заняв их на смотрах,
Полков гвардейских не дал Павел.
Ну, что ж! Суворов, будь он жив,
Не счел бы это за обиду;
Он, полстолетья прослужив,
Привык к походному их виду,

Он с ними не один редут
Взял на веку. И, слава богу,
За ним в последнюю дорогу
Армейские полки идут.

Кому «полстолетья» служил старый фельдмаршал?
Конечно же, не батюшке-царю, который его не терпел.
Но и не благоволившей к нему «матушке-императрице».
Служил Родине. России.

А на кой ляд нужны были России те редуты, которые на протяжении полувека он брал со своими чудо-богатырями, — этот невольнo возникающий вопрос не обсуждается и даже не ставится. Приказано было брать — и брал. Стало быть, были нужны.

* * *

Как уже было сказано, обращение Сталина к теням «наших великих предков», призванным вдохновлять красноармейцев и краснофлотцев в войне с немецко-фашистскими захватчиками, было логическим завершением начатого в 30-е годы поворота от революционной идеологии к державной.

Но это было только начало. Впереди был новый, еще более крутой поворот.

Вряд ли есть надобность перечислять главные вехи, главные опознавательные знаки этого нового сталинского курса: они у всех на памяти. Но я все-таки сделаю это. Одно дело — знать и даже держать в памяти каждое из этих исторических событий, и совсем другое — выстроить их в ряд, образующий то, что на тогдашнем партийном языке называлось генеральной линией.

Итак — вот они, эти опознавательные знаки.

Роспуск Коминтерна.

Смена государственного гимна (вместо: «С «Интернационалом» воспрянет род людской...» — «Сплотила навеки великая Русь...»).

Легализация загнанной в подполье Русской православной церкви.

Армия надела погоны.

Были возвращены старые (царские) воинские звания, реабилитировано слово «офицер» (до этого у него было только одно значение: враг, «золотопогонник»).

Был пересмотрен взгляд на позорную русско-японскую войну. (Поздравляя соотечественников с победой над Японией, Сталин сказал: «Мы, русские люди старшего поколения, сорок лет ждали этого дня».)

Пересмотрен был официальный взгляд и на «германскую» войну, которую недавно еще именовали «империалистической», а теперь только что не называли священной.

Вся эта новая «генеральная линия» была увенчана знаменитым тостом Сталина «За русский народ»:

► Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. (*Бурные, продолжительные аплодисменты, крики «ура».*)

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

(*Правда, 25 мая 1945 г.*).

Это заявление, немислимое не то что в устах создателя советского государства, но и — лет пять тому назад — в устах самого Сталина, было не просто тостом, произнесенным на банкете, может быть, даже в состоянии легкого подпития. Это была серьезная, хорошо продуманная политическая акция. Перед тем как дать этот текст в печать, Сталин тщательно его выправил. (Стенографическая запись этого тоста с

этой собственноручной сталинской правкой опубликована в книге В.А. Неvejeина «Застольные речи Сталина», М.—СПб., 2003, стр. 470.)

Не могу тут удержаться от личного воспоминания.

Моим соседом по коммуналке был старый большевик Иван Иванович Рошин. Кажется, он даже участвовал в штурме Зимнего дворца. Я любил с ним разговаривать. А он любил рассказывать о том, при каких обстоятельствах случилось ему близко видеть всех вождей Октября. И Ленина, и Троцкого (не боялся произнести вслух это страшное имя). О Сталине при этом он выразился так:

— А этого, нынешнего Хозяина, сколько раз видел.

Сказано это было довольно пренебрежительно.

Но в тот день, когда в «Правде» появился тост Сталина «За русский народ», он ликовал.

А на мое замечание, что воевали не только русские, что в нашей стране все нации равны, и не надо бы Сталину особо выделять какую-то одну нацию, ответил, почему-то перейдя на шепот:

— Что ты! Да ведь я двадцать лет боялся сказать, что я русский!

В двадцатые и даже в тридцатые годы так оно, наверно, и было. Сказать: «Я русский» тогда было все равно, что сказать: «Я белогвардеец». Но во время войны — еще до сталинского тоста, до него еще надо было дожить! — ситуация резко переменилась. Теперь о своей принадлежности к русской нации можно — даже не можно, а нужно было! — говорить с гордостью. И первым возвестил нам об этом Константин Симонов своей пьесой «Русские люди».

* * *

Новая сталинская идеологическая доктрина обозначается в пьесе сразу, в одной из первых ее сцен.

Обозначается резко и определенно.

Командир Красной Армии Сафонов беседует с бывшим царским офицером Васиным. Дело происходит осенью 1941 года. Обороняющий город автобат, которым командует Сафонов, несет большие потери, людей не хватает, и комбат хочет назначить Васина своим начальником штаба.

► Штаб Сафонова. Рассвет. Прокуренная комната железнодорожного помещения...

Открывается дверь. Входит В а с и н , очень высокий, сутуловатый, с бородой. В штатском пальто, подпоясан ремнем. На плече винтовка, которую он носит неожиданно ловко, привычно.

В а с и н . По вашему приказанию явился.

С а ф о н о в . Здравствуйте, садитесь.

В а с и н . Здравия желаю.

С а ф о н о в . Вы в техникуме военное дело преподаете?

В а с и н . Преподавал. Сейчас, как вам известно, у нас отряд.

С а ф о н о в . Известно. Сколько потеряли студентов своих?

В а с и н . Шесть.

С а ф о н о в . Да... Садитесь, пожалуйста. Курить хотите?

В а с и н (*берет папироску*). Благодарю.

Зажигает спичку, закуривает, дает прикурить Сафонову. Прикуривать тянется Ильин. Васин неожиданно тушит спичку. Ильин удивленно смотрит на него. Васин чиркает другую спичку.

Простите. Старая привычка: третий не прикуривает.

С а ф о н о в . Блажь. Примета.

В а с и н . Не совсем. Это, видите ли, с бурской кампании повелось. Буры — стрелки весьма меткие. Пер-

вый прикуривает — бур ружье взял, второй прикуривает — прицелился, а третий прикуривает — выстрелил. Так что вот откуда примета. Почву имеет.

Сафонов. Вы, я слышал, в Русско-японской участвовали?

Васин. Так точно.

Сафонов. И в германской?

Васин. Так точно.

Сафонов. А в Гражданской?

Васин. В запасных полках, по причине инвалидности.

Сафонов. А в германскую войну, я слышал, вы награды имели?

Васин. Так точно. Георгия и Владимира с мечами и бантом.

Сафонов. А чем доказать можете?

Васин. В данное время не могу, так как с собой не ношу, а доказать могу тем, что храню.

Сафонов. Храните?..

Васин. Так точно, храню.

Сафонов. Георгия — это ведь за храбрость давали?

Васин. Так точно.

Сафонов (*после паузы*). Вас Александр Васильевич зовут?

Васин. Так точно.

Сафонов. Так вот, Александр Васильевич. Хочу я вас к себе в начальники штаба взять. Как вы считаете, а?

Васин. Как прикажете.

Сафонов. Да что ж прикажу... Как здоровье-то ваше? Можете?

Васин. Полагаю, что могу.

Сафонов. Город хорошо знаете?

Васин. Здешний уроженец. Родился здесь в тысяча восемьсот семьдесят девятом году.

Сафонов (*мысленно считая*). Однако старый вы уже человек.

Васин. Совершенно верно.

Сафонов. А вот опять воевать приходится.

Васин (*пожимая плечами*). Разрешите приступить к исполнению обязанностей. Вы приказом отдали?

Сафонов. Отдам. (*К Шуре.*) Печатай: «Приказ номер четыре по гарнизону. Начальником штаба обороны города назначаю...» (*К Васину.*) Ваше как звание-то?..

(*Прислушивается. Прерывает.*)

Слышатся далекие пулеметные очереди.

Это на лимане, по-моему, а? (*Прислушивается.*)

Васин (*прислушиваясь*). Так точно, на лимане у левого брода...

Сафонов. Да. (*В задумчивости ходит. Васин ждет.*)

Васин. Вы спросили...

Сафонов (*спохватившись*). Я говорю, вы какое звание в старой армии имели?

Васин. Штабс-капитан.

Сафонов. Ну, штабс — этого теперь нету. Значит, капитан. А из Красной Армии с каким званием в запас уволены?

Васин. В тысяча девятьсот двадцать девятом году, по инвалидности, в должности комбата.

Сафонов. Ну, комбата теперь тоже нет. Значит, майор. (*К Шуре.*) Значит, пиши: «...назначаю майора Васина А.В.» (*Пауза.*) У меня шинели для вас нет. У меня тут только шинель комиссара моего осталась, так вы ее возьмите и носите.

Васин. Разрешите заметить, все это будет незаконно.

Сафоно в. Знаю, что незаконно. А что же мне прикажете, чтобы у меня начальник штаба вот так, в лапсердаке, ходил? Я вам должен звание присвоить, хотя и права не имею. Коли до наших додержимся, — так и быть, простят они это нам с вами. Что, еще возражать будете?

Васин. Нет. Разрешите приступить к исполнению обязанностей.

Сафоно в. Приступайте. Пойдем в ту комнату. Я тебе, Александр Васильевич, карту покажу. Только погоди. На дворе-то с утра холодно? Я еще не выходил.

Васин. Так точно, холодно.

Сафоно в. Шура! У тебя там где-то бутылка стояла, а? *(Наливает в жестяные кружки.)* Водку пьете?

Васин молча выпивает.

Как вижу, лишних слов не любишь?

Васин. Точно так, не люблю.

(К. Симонов. Стихи. Пьесы. Рассказы. М. 1949. Стр. 417—420).

В этом примечательном диалоге я хочу выделить и особо подчеркнуть две важные детали.

Первая — это реплика бывшего штабс-капитана о старых своих орденах, которые он хранит.

Для сегодняшнего читателя в ней нет ничего удивительного. Но в 42-м году, когда была написана эта симоновская пьеса, подтекст ее был предельно внятн. Все знали, что хранить все эти годы царские ордена было небезопасно. И вот — всё переменилось: то, что еще вчера было криминалом, сейчас стало знаком мужества, верности, офицерской доблести и чести. (Сафоно в не зря, не без удивления, переспрашивает: «Храните?» — и Васин твердо отвечает: «Храню».)

Вторая деталь, тоже красноречивая, можно даже сказать, символическая, — шинель убитого комиссара, которую отныне будет носить бывший царский офицер Васин.

В Гражданскую войну бывшие офицеры тоже воевали в Красной Армии (на том, чтобы использовать их военный опыт, особенно настаивал тогдашний наркомвоенмор Троцкий). Но они все-таки там были — **чужие**. (Сталин потом их всех расстрелял, уцелели единицы.)

Теперь — совсем другое дело.

Шинель убитого комиссара, отданная Сафоновым бывшему штабс-капитану, означает, что все счета кончены. Нет уже больше ни своих, ни чужих. Отныне мы все — СВОИ. Все воюем против общего врага.

Образ бывшего штабс-капитана вылеплен Симоновым выразительно. Достоверно и убедительно тут все, начиная с погашенной им спички и объяснения, почему троим от одной спички прикуривать не полагалось, и кончая последней репликой, подтверждающей, что да, действительно, лишних слов он не любит.

Чувствуется, что этот человеческий тип был Симонову хорошо знаком. На самом же деле он был не просто ему знаком: среди таких людей он вырос.

Офицером был родной отец Константина Михайловича (полковником, а потом и генералом). Но отца он не знал и не помнил — когда его мать, Александра Леонидовна Оболенская, рассталась со своим первым мужем, он был совсем мал. Усыновил, вырастил и воспитал его отчим — тоже бывший полковник. До последнего своего дня он оставался для Симонова самым близким, самым родным ему человеком.

- ▶ Вообще-то он был Александр Григорьевич Ива-
нишев, но в семейном обиходе именовался дедом Са-
шей...

Ему посвящена поэма «Отец», его черты да и облик обнаруживаются у персонажа пьесы «Русские люди» Васина. Вообще у всех отцовских героев — последова-

тельно военных, то есть с юности избравших этот род занятий и имевших или выстроивших в соответствии с ним характер и мировоззрение, вплоть до Серпилина в «Живых и мертвых», есть какие-то черточки дедова кремневого характера. Личность деда оказала большое и четко направленное влияние на характер и мировоззрение отца: любовь к армейскому «что сказано – отрезано», «да – это да, нет – это нет. И спорить бесполезно». Преклонение перед понятием «солдат», жесткое и недвусмысленное представление о солдатском долге как главном долге мужчины. Всю Великую Отечественную, пройденную отцом «от и до», с ним неотступно была память об отчине и его несгибаемых, не подлежащих сомнению нравственных понятиях солдата.

...Вот он передо мной – послужной список Иванишева, подполковника 20-го пехотного Галицкого полка, составленный 28 мая 1917 года, написанный четким и витиеватым писарским почерком. Командир батальона. Кавалер орденов Св. Георгия IV степени с мечами и бантом, Св. Станислава II степени с мечами, Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. Станислава III степени с мечами и бантом. Имеет медали: темно-бронзовую на Александрo-Георгиевской ленте, светло-бронзовую на Владимирской ленте и светло-бронзовую на Национальной ленте... Из потомственных почетных граждан Московской губернии, вероисповедания православного, родился 9 августа 1883 года... Казанское реальное и Московское военное училища окончил по первому разряду...

В армии с 1903 года.

Унтер-офицер – 1904.

Подпоручик – 1905.

Поручик – 1908.

Штабс-капитан – 1912.

Капитан (за боевые заслуги) – 1914.

Подполковник с мая 1916.

Участвовал в походах и делах против Японии, Австрии, Германии. Трижды ранен. Отдельная запись свидетельствует о безупречном исполнении воинского долга:

«20 июня 1916 года, у деревни Горный Скробов, командуя 3-м батальоном 20-го пехотного Галицкого полка, при исключительно трудных обстоятельствах, в минуту замешательства и остановки батальона, вызванной выпущенными противником душливыми газами, он, несмотря на ураганный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника, личным примером ободрил своих солдат, привел их в порядок и во главе батальона вновь двинулся в атаку, преодолев очень широкую полосу искусственных препятствий противника, овладев весьма сильно укрепленным пунктом его позиций, занятие которого имело решающее значение на исход боя, захватив одно орудие...»

И в конце послужного списка, состоящего из семи пронумерованных листов, подпись командира 20-го Галицкого пехотного полка подполковника Островского.

Приложено и свидетельство о последнем ранении: 20 июня 1916 года тридцатидвухлетнему подполковнику пулей раздробило кость третьего пальца правой ноги, и был он перевязан и эвакуирован с поля боя...

Очень точная строчка, кажется, Слуцкого, «есть кони для войны и для парада» — так вот, деда Саша, безусловно, относился ко второй, непарадной, категории офицеров, был невысокого роста с головой в форме огурца, с высоким, еще увеличенным ранними залысинами лбом и жесткими усами, по мере удаления от военных занятий сокращавшимися в объеме и терявшими франтоватость. По причине отравления газами носил очки — маленькие, в круглой роговой оправе, а читал в годы, что я уже помню, присоединяя

к очкам большую лупу. Но выправку имел до самой смерти бравую, спину держал прямо, был гибок, но не гнулся. Всегда ходил в сапогах, лучше старых, сшитых на заказ, чем новых, но массового производства, в полувоенных френчах, галифе и пальто типа шинели или шинели типа пальто, и все попытки купить ему туфли или шубу обычно кончались его жестким «нет».

(А. Симонов.

Парень с Сивцева Вражка. Стр. 149–153).

Именно вот в таком штатском «пальто типа шинели», подпоясанном ремнем, впервые является перед нами персонаж пьесы Симонова «Русские люди», бывший штабс-капитан Васин.

Смысл моего обращения к симоновскому отчиму как прототипу бывшего штабс-капитана Васина состоит в том, чтобы показать, что пьеса Симонова «Русские люди», — во всяком случае, этот ее сюжетный мотив, — была для Симонова не просто данью политической конъюнктуре. Это была ЕГО — личная, задушевная, в какой-то степени даже домашняя тема, кровными узами связанная с традициями семьи, в которой он вырос, с самыми ранними воспоминаниями детства, с самыми основами его личности. Это была самая надежная предпосылка, — пожалуй, даже гарантия того, что пьеса, — если не вся пьеса, то, по крайней мере, тот ее сюжетный мотив, который связан с судьбой бывшего штабс-капитана, будет написана правдиво, достоверно, так же художественно убедительно, как процитированная выше сцена первого появления этого ее персонажа.

Но так не вышло.

Бывший штабс-капитан, а ныне майор Красной Армии Александр Васильевич Васин в финале пьесы погибает.

Вот как это изображено:

► ...Берег лимана. Тревожная музыка близкого боя. Два красноармейца, поддерживая, вводят на сцену Васина. Сажают его.

Первый красноармеец. Ну, как, товарищ майор?

Васин. Ничего.

Второй красноармеец (*отодрав рукав рубашки, перевязывает Васину грудь*). Ишь, как бежит. Сейчас я стяну, товарищ майор, потуже: легче будет.

Васин. Кого-нибудь из командиров ко мне.

Первый красноармеец. Сейчас, товарищ майор. (*Уходит.*)

Васин. Седьмая и, кажется, последняя.

Входит Панин.

Панин. Александр Васильевич, куда вы ранены?

Васин. Кто это?

Панин. Панин.

Васин. Седьмая и, кажется, последняя. Как там, товарищ Панин?

Панин. Немцы, видимо, ждали. Их много. Были готовы и встречают.

Васин. Это хорошо. Хорошо, что встречают. Очень хорошо, что встречают... (*Пауза.*) А от капитана никого нет?

Панин. Пока нет. Что прикажете делать, товарищ майор?

Васин. По-моему, нам приказ не меняли: наступать. Сейчас третий взвод подойдет, поведете его.

Панин. Есть.

Васин. Вместо меня примите команду.

Панин. Есть...

Васин. Я уже плохо слышу. Сильно стреляют, а? Красноармеец. Сильно, товарищ майор.

Васин. Это хорошо.

Вбегает лейтенант.

Лейтенант. Где майор?

Васин. Я здесь. Откуда?

Лейтенант. Капитан просил передать, что наши уже у самого моста. Уже идет бой. Вы можете отходить.

Васин. Хорошо! (*Вдруг громким голосом.*) Последний раз в жизни хочу сказать: слава русскому оружию! Вы слышите: слава русскому оружию!.. А капитану передайте, капитану передайте, что... (*опускается на руки красноармейца.*)

Панин наклоняется над ним, потом выпрямляется, снимает фуражку.

Панин. А капитану передайте, что майор Васин пал смертью храбрых, сделав все, что мог, и даже больше, чем мог.

(К. Симонов. Стихи. Пьесы. Рассказы.
М., 1949. Стр. 473—475).

Трудно представить, чтобы тот Васин, каким мы увидели и узнали его в первой сцене, не любящий лишних, а тем более громких слов, — чтобы он умирал так декоративно, так помпезно. Все это «не в образе», и вообще, как, бывало, говаривал в таких случаях Михаил Михайлович Зощенко, «маловысокохудожественно», — плоско, плакатно.

Так же плакатно завершается другая сцена пьесы, в центре которой другой ее персонаж, которому предстоит погибнуть:

► Сафонов. Иди сюда, Глоба!

Глоба встает перед ним.

Вот какое дело. Пойдешь на ту сторону, найдешь Василия, передашь ему, что взрыв моста отставить. Ясно?

Г л о б а . Ясно.

С а ф о н о в . Сделаешь это...

Г л о б а . И обратно?

С а ф о н о в . Нет, сделаешь это и... потом пойдешь в немецкую комендатуру.

Г л о б а . Так.

С а ф о н о в . Явившись к немецкому коменданту, или кто там есть из начальства, скажешь, что ты есть бывший кулак, лишенец репрессированный, — в общем, найдешь, что сказать. Понятно?

Г л о б а . Понятно.

С а ф о н о в . Что угодно скажи, но чтобы поверили, что мы у тебя в печенках сидим. Понятно?

Г л о б а . Понятно.

С а ф о н о в . Так. И скажешь им, что бежал ты сюда от этих большевиков, будь они прокляты, и что есть у тебя сведения, что ввиду близкого подхода частей хотим мы из города ночью вдоль лимана прорваться у Северной балки. Ясно? И в котором часу скажешь. Завтра в восемь.

Г л о б а . Ясно.

С а ф о н о в . Ну, они тебя, конечно, в оборот возьмут, но ты стой на своем. Они тебя под замок посадят, но ты стой на своем. Тогда они поверят. И тебя они держать как заложника будут: чтобы ежели не так, то расстрелять.

Г л о б а . Ну, а как же выйдет: так или не так?

С а ф о н о в . Не так. Не так, Иван Иванович, выйдет не так, дорогой ты мой. Но другого выхода у меня нету. Вот приказ у меня. Читать тебе его лишнее, но имей в виду: большая судьба от тебя зависит, многих людей.

Г л о б а . Ну, что ж. (Пауза.) А помирать буду, песни петь можно?

С а ф о н о в . Можно, дорогой, можно.

Г л о б а . Ну, коли можно, так и ладно... Говорят, старая привычка есть: посидеть перед дорогой, на счастье. Давай-ка сядем.

Все садятся.

Г л о б а . Шура!

Ш у р а . Да?

Г л о б а . Ну-ка, мне полстаканчика на дорогу.

Шура наливает ему водки.

Г л о б а (*выпив залпом, обращается к Шуре*). Что смотришь? Это ведь я не для храбрости, это я для теплоты пью. Для храбрости это не помогает. Для храбрости мне песня помогает. (*Пожимает всем руки. Дойдя до двери, поворачивается и вдруг запекает: «Соловей, соловей, пташечка».* С песней скрывается в дверях.)

Молчание.

С а ф о н о в . Ты слышал или нет, писатель? Ты слышал или нет, как русские люди на смерть уходят?

(*Там же. Стр. 465—466*).

Песня «Соловей, соловей, пташечка...» — старая русская солдатская песня. Запевали ее солдаты в строю, на марше. Получается, что, попрощавшись с товарищами и уходя от них на верную смерть, Глоба не идет, а **шагает** строевым шагом, марширует.

Выглядит это довольно искусственно. Я бы даже сказал — фальшиво.

Тут уместно вспомнить «теорию жеста» А.Н. Толстого, к которой я уже обращался однажды на страницах этой книги.

Размышляя о том, как добиться, чтобы реплика персонажа была живой, яркой, индивидуальной, чтобы произнесший ее человек вставал за ней во всей своей пластической реальности, — зримости и осязаемости своего физического бытия, Алексей Николаевич писал:

- ▶ Речь человеческая есть завершение сложного духовного и физического процесса. В мозгу и в теле человека движется непрерывный поток эмоций, чувств, идей и следуемых за ними физических движений. Человек непрерывно жестикулирует. Не берите этого в грубом смысле слова. Иногда жест — это только неосуществленное или сдержанное желание жеста. Но жест всегда должен быть предугадан (художником) как результат душевного движения. За жестом следует слово. Жест определяет фразу. И если вы, писатель, почувствовали, предугадали жест персонажа, которого вы описываете (при одном непреложном условии, что вы должны ясно видеть этот персонаж), вслед за угаданным вами жестом последует та единственная фраза, с той именно расстановкой слов, с тем именно выбором слов, с той именно ритмикой, которые соответствуют жесту вашего персонажа, то есть его душевному состоянию в данный момент.

(А.Н. Толстой.

Полное собрание сочинений.

Т. 13. Стр. 413).

«Жест» Глобы, уходящего на смерть, фальшив, потому что он порожден не художественным зрением (пользуясь словом А.Н. Толстого, «галлюцинацией») создавшего этот образ писателя, а сугубо внешней, навязанной автором персонажу «сверхзадачей». Ну, а уж о последней патетической реплике Сафонова («Ты слышал или нет, как русские люди на смерть уходят?») нечего и говорить. Станиславский, случись

ему ставить эту симоновскую пьесу, тут просто бы взревел: «Не верю!!!»

В сущности, вся эта пьеса Симонова — о том, «как русские люди на смерть уходят». Об этом — каждая ее сцена, каждая разворачивающаяся перед зрителем драматическая коллизия. И в этой жирной точке над «i» нет никакой внутренней, художественной необходимости. Она — **антихудожественна**.

Так бывает всегда, когда над сознанием и замыслами художника властвует идеология. Она — как раковая опухоль, съедающая здоровую ткань. Идеология несовместима с художественной правдой, она ее убивает. Идеология убивает (разрушает) даже неподдельный, подлинный художественный дар.

* * *

В пьесе иногда удается выдать ложь за правду. Талантливый актер может и фальшивую реплику наполнить живым чувством, сделать правдивой. Нередко, впрочем, ему приходится для этого изменять, исправлять ее.

В пьесе Корнейчука «Платон Кречет» заглавный ее герой (он — хирург), сделав сложную операцию, выходит из операционной и торжественно возглашает:

— Жизнь народного комиссара спасена!

Так это написано у Корнейчука, и так произносил эту реплику игравший Платона Кречета Болдуман.

А Добронравов — актер совсем другого класса — произнести ее не смог. На свой страх и риск заменил своей: выходя из операционной, произносил устало, раздумчиво:

— Есть основания надеяться, что операция прошла благополучно...

Что-то в этом роде.

Спасена таким образом была не только жизнь народного комиссара, но и «маловысокохудожественная», фальшивая сцена.

На театральных подмостках такие чудеса возможны. Не знаю, возможны ли они в художественной прозе. Полагаю, что нет. Но одно знаю твердо: в поэзии это дело совершенно невозможное.

В стихах выдать неподлинное чувство за подлинное не удавалось еще никому.

Ориентация на русскую национальную идею не была для Симонова чистой конъюнктурой. Этот новый сталинский политический курс нашел в его душе живой отклик. В немалой степени этому способствовали и реалии первых месяцев войны, нашедшие отражение в одном из самых знаменитых и самых пронзительных тогдашних его стихотворений:

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкой,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждую русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих...

Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.

В искренности этого стихотворения, подлинности выплеснувшегося в нем чувства сомневаться не приходится. Но есть в нем некоторый — не то чтобы нарочитый, искусственный, но все-таки и не совсем естественный нажим на слова «Русь», «Россия», «русский», «русская», «по-русски»...

В **восьми** процитированных четверостишиях эти слова возникают и повторяются **девять** раз.

Что-то в этом все-таки есть ненормальное.

Тут уместно еще раз вспомнить то, о чем говорил мой сосед Иван Иванович Роцин. «Двадцать лет, — пожаловался он мне, — я боялся сказать, что я русский!»

И вот — запрет снят. Можно, наконец, выговориться. Выкричаться.

Но главное тут, конечно, не это.

Главное — то, что национальное чувство, сознание своей «русскости» было тогда до предела обострено ненавистью к вторгшемуся на родную землю иноземному захватчику, немцу. Не «фашисту», а именно — немцу.

Это сознание, это чувство, которое владело миллионами русских людей, тоже выразил Симонов. Выразил с такой яростью и силой, с какой не сделал это никто, кроме него. (Разве только Эренбург.)

Если дорог тебе твой дом,
Где ты русским выкормлен был,
Под бревенчатым потолком
Где ты, в люльке качаясь, плаыл;

Если дороги в доме том
Тебе стены, печь и углы,
Дедом, прадедом и отцом
В нем исхоженные полы...

Если ты не хочешь, чтоб пол
В твоём доме немец топтал,
Чтоб он сел за дедовский стол
И деревья в саду сломал...

Если мать тебе дорога —
Тебя выкормившая грудь,
Где давно уже нет молока,
Только можно щекой прильнуть,

Если вынести нету сил,
Чтобы немец, ее застав,
По щекам морщинистым бил,
Косы на руку намотав;

Чтобы те же руки ее,
Что несли тебя в колыбель,
Мыли немцу его белье
И стелили ему постель...

Если ты не хочешь отдать
Ту, с которой вдвоем ходил,
Ту, что долго поцеловать
Ты не смел — так ее любил, —

Чтобы немцы ее живьем
Взяли силой, зажав в углу,
И распяли ее втроем,
Обнаженную, на полу;

Чтоб досталось трем этим псам
В столах, в ненависти, в крови
Всё, что свято берег ты сам
Всею силой мужской любви...

Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь...

Если немца убил твой брат,
Если немца убил сосед, —
Это брат и сосед твой мстят,
А тебе оправдания нет.

За чужой спиной не сидят,
Из чужой винтовки не мстят,
Если немца убил твой брат, —
Это он, а не ты, солдат.

Так убей же немца, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоём доме чтобы стон,
А в его по мертвым стоял...

Пусть заплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.

Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

(К. Симонов. Стихи.
Пьесы. Рассказы. М. 1949.
Стр. 137—139).

В однотомнике Большой серии «Библиотеки поэта», собравшем главные его стихи, стихотворение это называется: «Если дорог тебе твой дом...» Но тогда, в тот год, когда явилось на свет, оно называлось иначе: «Убей его!»

И звучало иначе. Совсем не так, как в этом, вышедшем полвека спустя, его однотомнике. (И не только в нем: в однотомнике «Библиотеки поэта» стихотворение было перепечатано из издания 1948 года, стало быть, изменения, которые внес в его текст автор, были сделаны еще вон когда!)

Редакторская правка, которой после войны подверг это стихотворение автор, была как будто не так уж велика. Она свелась к замене только одного слова. Всюду, где в тексте 42-го года упоминалось слово «немец», теперь стояло — «фашист». В 1942 году, где бы ни печаталось это стихотворение (а печаталось оно в разных изданиях), никаких «фашистов» не было и быть не могло. И не только потому, что так тогда не говорили, а потому, что именно слово «немец» отвечало самой сути, самому духу этого стихотворения. Гадливое чувство, брезгливость, которую испытывает лирический герой при мысли, что руки его матери будут мыть немцу его белье и стелить ему постель, вызывает у него не «фашист», а именно н е м е ц .

Это чувство было реальным, подлинным. И владело оно тогда многими.

Вот как «зафиксировал» его Борис Слуцкий в одном из своих военных стихотворений.

Называется оно — «Госпиталь»:

Здесь
ставший клубом
бывший сельский храм —
лежим
под диаграммами труда,
но прелым богом пахнет по углам...

На глиняном истоптанном полу
томится пленный,

раненный в живот.
Под фресками в нетопленном углу
лежит подбитый унтер на полу.

Напротив,
на приземистом топчане,
Кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит! (Шепотом – как мертвые кричат.)

Он требует, как офицер, как русский,
как человек, чтоб в этот крайний час
зеленый,
рыжий,
ржавый
унтер прусский
не помирал меж нас!

Он гладит, гладит, гладит ордена,
оглаживает,
гладит гимнастерку
и плачет,
плачет,
плачет
горько,
что эта просьба не соблюдена.

Лежит подбитый унтер на полу...
и санитар его, покорного,
уносит прочь, в какой-то дальний зал,
чтоб он
своею смертью черной
комбата светлой смерти
не смущал.

И снова ниспадает тишина,
И новобранца наставляють воины:
– Так вот оно,

какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
попробуй
перевоевать
по-своему!

Симонов однажды сказал (не сказал, а написал, даже напечатал), что выше всех стихов о войне, в том числе и своих собственных, ценит военные стихи Слуцкого. Они ему особенно близки, и он хотел бы, если бы смог, быть их автором. Думаю, что не в последнюю очередь он имел при этом в виду вот это его стихотворение.

Но военные стихи Слуцкого были написаны **потом**. А военные стихи Симонова — **тогда**. Когда полстраны было под немцами. И мало что из написанного в то время — и в стихах, и в прозе, — не только популярностью, но и силой воздействия на умы и души миллионов людей могло сравниться с стихотворением Симонова «Убей его».

Это была честное, искреннее, правдивое стихотворение. Но все-таки промелькнула в нем одна фальшивинка:

Если ты отца не забыл,
Что качал тебя на руках,
Что хорошим солдатом был
И пропал в карпатских снегах,

Что погиб за Волгу, за Дон,
За отчизны твоей судьбу;
Если ты не хочешь, чтоб он
Перевертывался в гробу,

Чтоб солдатский портрет в крестах
Взял фашист и на пол сорвал
И у матери на глазах
На лицо ему наступал...

Пропал «в карпатских снегах». Речь, стало быть, о войне 14-го года. Ни Волге, ни Дону немцы тогда не угрожали, и судьба отчизны, — как в эту, Отечественную, — тогда на волоске не висела. И «солдатский портрет в крестах» вряд ли мог красоваться на стене — хоть городской квартиры, хоть крестьянской избы. Хранить — да еще открыто вешать на стену — такие портреты, как уже было говорено, тогда было смертельно опасно.

Это была — та же, что в «Русских людях», — уже привычная для Симонова дань новому сталинскому политическому курсу, новой сталинской идеологии.

А пронизывающая стихотворение ненависть и гадливость к немцу (именно к немцу, а не «фашисту») была не идеологией, а **чувством**. И не будь это чувство искренним, не было бы и стихотворения.

Вот почему не надо было бы ему в послевоенных изданиях этого стихотворения менять «немцев» на «фашистов».

Конечно, сделал он это не по своей воле, а под давлением изменившихся обстоятельств.

Скорее всего, это было даже не давление, а жесткий ультиматум: не вычеркнешь «немцев», не заменишь их «фашистами», — печататься (перепечатываться) это стихотворение не будет.

И все-таки не надо было бы ему на это соглашаться.

* * *

Представим себе на минуту, что под давлением тех же изменившихся обстоятельств Симонову предложили бы переменить название написанной в том же 42-м году знаменитой его пьесы. Назвать ее не «Русские люди», а — «Советские люди». Ну, и, разумеется, внести в ее текст некоторые, совсем небольшие изменения. Чтобы Глоба уходил на смерть, запева не «Соловей, соловей, пташечка», а, скажем, «Широка страна моя родная...», а Сафонов при этом бы восклицал: «Ты

слыхал или нет, писатель? Ты слыхал или нет, как советские люди на смерть уходят?»

Все это, конечно, отдавало бы фальшью, но НЕ БЫЛО БЫ НЕПРАВДОЙ.

Потому что герои этой симоновской пьесы по самой своей сути действительно СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ:

► Сафонов (входя). А, писатель! Здорово.

Панин. Привет.

Сафонов. Шура! Выдь-ка на минутку.

Шура выходит.

Тут у нас есть теперь, писатель, дело такое. Сил нету больше. Мало сил. Ты себя к этой мысли приучил, что помирать, может, тут придется, вот в этом городе, а не дома? И вот сегодня-завтра, а не через двадцать лет. Приучил?

Панин. Приучил.

Сафонов. Это хорошо. Жена у тебя где?

Панин. Не знаю. Наверно, где-нибудь в Сибири.

Сафонов. Да. Она в Сибири, а ты вот тут. «В полдневный жар в долине Дагестана... и снилось ей... В общем, ей и не снилось, какой у нас тут с тобой переплет выйдет. Положение такое, что мне теперь писателей тут не надо, так что твоя старая профессия отпадает. (Пауза.) Член партии?

Панин. Кандидат.

Сафонов. Ну, все равно. Петров ночью умер сегодня. Будешь начальником особого отдела у меня.

Панин. Да... но...

Сафонов. Да — это правильно, а но — это уже лишнее. Мне, кроме тебя, некого. А ты — человек с образованием, тебе легче незнакомым делом заниматься. Но чтоб никакой этой мягкости. Ты забудь, что ты писатель.

П а н и н . Я не писатель. Я журналист.
 С а ф о н о в . Ну, журналист, — все равно, забудь.
 П а н и н . Я уже забыл.

(К. Симонов. *Стихи. Пьесы. Рассказы.*
 М., 1949. Стр. 421—422).

Тут сразу возникает вопрос: а полномочен ли Сафонов сделать журналиста начальником особого отдела? Такие назначения вроде не по его ведомству.

Ну, ладно. В конце концов, присвоить бывшему штабс-капитану звание майора он тоже не имеет права.

Гораздо интереснее тут совсем другой вопрос: а на кой ляд нужен ему в этих чрезвычайных, гибельных обстоятельствах начальник особого отдела?

Без начальника штаба действительно нельзя. Нельзя и без комиссара. Но зачем ему нужен — на свою голову! — еще и начальник особого отдела? Уж без него-то обойтись, наверно, было бы можно?

Оказывается, нет, нельзя. Никак нельзя.

И вот почему:

Оказалось, что особист Обносков,
 Капитан двухсаженного роста с широким лицом,

.....
 Оказалось, что страшный особист Обносков
 Обладает бабьим, рыхлым телосложением
 И чуть ли не по-бабьи плачет над сейфом,
 В котором хранится величайшая ценность державы:
 Доносы агентов на дивизионные кадры,
 Ибо кадры, как учит нас вождь, решают все.

.....
 — Есть информация, товарищи командиры, —
 Сказал Обносков тебе и Заднепруку,
 А дело было в шалашике, и перед вами
 Уже не донская текла, а моздокская степь.
 — Есть информация, товарищи командиры:

Помазан вчера сжег свой партийный билет.
Это видел собственными глазами
Сержант Ларичев из 313-го,
Наблюдавший за ним по моему указанию:
Был сигнал.
Предлагаю: ночью созвать отряд,
Вам, товарищ майор, осветить обстановку,
И расстрелять Помазана перед строем.
— Слушай, Обносов, — лениво сказал Заднепрук,
С присвистом воздвигая в три яруса брань, —
Потом разберемся. Дай, выйдем к своим.
Надоел, ты, Обносов. Надоел.
Ей-богу, надоел.
А нужен ты армии, чего скрывать,
Как седлу переменный ток.
— Что вы такое говорите, — вскричал Обносов
И онемел, и лишь губы дрожали
И оживали бледно-голубые глаза —
Кукольные стекляшки базарной выделки,
И его широкое, белое, как тесто, лицо
Впервые, — или тебе так показалось? —
Исказилось разумной, человеческой болью.
— Седлу — переменный ток... Что вы без меня?
Труссы, изменники Родины, дезертиры,
.....
Окружение? Не случайно!
А в моем-то сейфе — знамя дивизии,
Круглая печать, товарищ майор.
Со мной вы кто? Военная часть.
А кто без меня? Горько слушать,
Не заслужил, товарищ майор.
Говорю вам не как командиру отряда,
А как коммунист коммунисту.

(С. Липкин. *Техник-интендант.*
В кн.: С. Липкин. *Воля.*
Анн-Арбор. Мичиган, 1981.
Стр. 140—141).

В романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» военного комиссара Крымова посылают в «дом Грекова». (Это легендарный «дом Павлова», о котором написаны десятки военных очерков, статей, стихов.) Посылают, чтобы он «партийному» разобрался с этой анархической вольницей, о которой говорят, что это — «не воинское подразделение, а какая-то Парижская коммуна».

И Крымов начинает разбираться:

► Сапер с головой, перевязанной окровавленным, грязным бинтом, спросил:

— А вот насчет колхозов, товарищ комиссар? Как бы их ликвидировать после войны?

— Оно бы неплохо докладик на этот счет, — сказал Греков.

— Я не лекция пришел к вам читать, — сказал Крымов. — Я военный комиссар, я пришел, чтобы преодолеть вашу недопустимую партизанщину.

— Преодолевайте, — сказал Греков. — А вот кто будет немцев преодолевать?

— Найдутся, не беспокойтесь. Не за супом я пришел, как вы выражаетесь, а большевистскую кашу сварить.

— Что ж, преодолевайте, — сказал Греков. — Варите кашу.

Крымов, посмеиваясь и в то же время серьезно, перебил:

— А понадобится, и вас, Греков, с большевистской кашей съедят.

В устах Крымова — это не пустая угроза. И Греков это понимает.

Когда стемнело и они остались одни, Крымов завел с «управдомом» (так все звали Грекова) откровенный разговор:

► — Давайте, Греков, поговорим всерьез и начистоту. Чего вы хотите?

Греков быстро, снизу вверх, — он сидел, а Крымов стоял, — посмотрел на него и весело сказал:

— Свободы хочу, за нее и воюю.

— Мы все ее хотим.

— Бросьте, — махнул рукой Греков. — На кой она вам? Вам бы только с немцами справиться.

— Не шутите, товарищ Греков, — сказал Крымов. — Почему вы не пресекаете неверные политические высказывания некоторых бойцов? А? При вашем авторитете вы это можете не хуже всякого комиссара сделать. А у меня впечатление, что люди ляпают и на вас оглядываются, как бы ждут вашего одобрения. Вот этот, что высказался насчет колхозов. Зачем вы его поддержали? Я вам говорю прямо: давайте вместе это дело выправим. А не хотите — я вам так же прямо говорю: шутить не буду.

— Насчет колхозов, что ж тут такого? Действительно, не любят их, вы это не хуже меня знаете.

— Вы что ж, Греков, задумали менять ход истории?

— А уж вы-то все на старые рельсы хотите вернуть?

— Что это «все»?

— Все. Всеобщую принудиловку..

«Управдом» Греков и этот сапер с головой, перевязанной окровавленным грязным бинтом, — вот они, настоящие-то русские люди. А герои пьесы Симонова — Панин, Ильин, Сафонов, — с какой стороны на них ни посмотри, — люди советские.

Конечно, изменив название своей пьесы, назвав ее, если бы на него надавили, «Советские люди», Симонов нанес бы ей некоторый урон.

Но поменяв в 1948 году в стихотворении, написанном в апреле 42-го, «немцев» на «фашистов», он не просто урон нанес этому своему стихотворению. Он его убил.

* * *

В том же 1948 году, когда в своем стихотворении «Убей его» он поменял «немцев» на «фашистов», Симонов написал стихотворение «Немец»:

В Берлине, на холодной сцене,
Пел немец, раненный в Испании,
По обвинению в измене
Казненный за глаза заранее,

.....

Воскресший, бледный, как видение,
Стоял он, шрамом изуродованный,
Как документ Сопротивления,
Вдруг в этом зале обнародованный.
Он пел в разрушенном Берлине
Всё, что когда-то пел в Испании,
Всё, что внутри, как в карантине,
Сидело в нем семь лет молчания.

Менялись оболочки тела,
Походки, паспорта и платья.
Но, молча душу сжав в объятья,
В нем песня еле слышно пела,
Она охрипла и болела,
Она в жару на досках билась,
Она в застенках огрубела
И в одиночках простудилась.

Она явилась в этом зале,
Где так давно ее не пели.
Одни, узнав ее, рыдали,
Другие глаз поднять не смели

.....

Все видели, она одета
Из-под Мадрида, прямо с фронта:
В плащ и кожанку с пистолетом

И тельманку с значком Рот-Фронта.
А тот, кто пел ее, казалось,
Не пел ее, а шел в сраженье,
И пересохших губ движенье,
Как ветер боя, лиц касалось.

Мы шли с концерта с ним, усталым,
Обнявшись, как солдат с солдатом,
По тем разрушенным кварталам,
Где я шел в мае в сорок пятом.

Я с этим немцем шел, как с братом,
Шел длинным каменным кладбищем,
Недавно — взятым и проклятым,
Сегодня — просто пепелищем.

И я скорбел с ним, с немцем этим,
Что, в тюрьмы загнан и поборот,
Давно когда-то, в тридцать третьем,
Он не сумел спасти свой город.

Опять поворот на сто восемьдесят градусов. Революционная, интернационалистская идеология реанимирована, национальная забыта, отброшена (или отложена до иных времен).

Конечно, это стихотворение было искренним. Испания, сопротивляющийся, не сдающийся Мадрид, интербригады, интернациональное пролетарское братство, — для Симонова все это не было конъюнктурой. Это была для него — своя, родная, глубоко и кровно задевающая его тема.

Но обращаясь к ней вновь, он выполнял очередное сталинское «поручение».

За две недели до штурма Берлина, накануне долгожданной нашей победы в «Правде» появилась статья тогдашнего начальника Управления и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александра «Товарищ Эренбург упрощает». Ни для кого не было тайной (это было очевидно, да и не скрывалось), что написана и напечатана она по личному указанию Сталина.

Давая это указание, Сталин, как всегда, одновременно решал несколько задач.

Во-первых, надо было показать непомерно возвысившемуся в годы войны Эренбургу — не только ему, конечно, но и всем его читателям и почитателям (а их у него тогда были миллионы), — «кто хозяин в доме». (В главе «Сталин и Эренбург» об этом написано подробно.) Но эта задача была не единственная. Пожалуй, даже не главная. Главная же состояла в том, что это был сигнал, поданный всей тогдашней гигантской советской пропагандистской машине:

- ▶ Тов. Эренбург пишет в своих статьях, что Германии нет, есть лишь «колоссальная шайка». Если признать точку зрения т. Эренбурга правильной, то следует считать, что все население Германии должно разделить судьбу гитлеровской клики.

Незачем говорить, что т. Эренбург не отражает в данном случае советского общественного мнения. Красная Армия, выполняя свою великую освободительную миссию, ведет бои за ликвидацию гитлеровской армии, гитлеровского государства, гитлеровского правительства, но никогда не ставила и не ставит своей целью истребить немецкий народ. Это было бы глупо и бессмысленно. Когда гитлеровцы фальсифицируют позицию наших войск, нашего государства и вопят, будто бы Красная Армия истребляет всех немцев поголовно, — это понятно. Правящая фашистская клика пытается использовать этот лживый довод для поднятия всего немецкого населения на борьбу против союзных войск, против Красной Армии и тем самым продлить существование преступного и прогнившего фашистского строя. Когда же с подобными взглядами выступают настоящие антифашисты, активные участники борьбы против гитлеровской Германии, это является странным и непонятным. Советский народ никогда

не отождествлял население Германии и правящую в Германии преступную фашистскую клику. Товарищ Сталин говорил: *«Было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается»...*

В полном соответствии с этой советской точкой зрения находятся и решения Крымской конференции, в которых говорится: *«В наши цели не входит уничтожение германского народа»*. Только тогда, когда нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на достойное существование для германского народа и место для него в сообществе наций.

Отсюда ясно, что жизни немцев, которые ведут борьбу с Гитлером или будут лояльно относиться к союзным войскам, не угрожает опасность. Конечно, тем из них, которые ведут и будут вести борьбу против Красной Армии и войск союзников за сохранение фашистских порядков, не будет никакой пощады.

В своей статье «Хватит?» т. Эренбург правдиво и сильно описал кровавые злодеяния немцев на нашей священной земле. Но, к сожалению, из бесспорных фактов т. Эренбург вывел ошибочные заключения.

(Г. Александров. Товарищ Эренбург упрощает. Правда. 14 апреля 1945 г.).

Все это напрямую задевало не одного Эренбурга. Но первым в ряду тех, кто, вслед за Эренбургом, «из бесспорных фактов вывел ошибочные выводы», был, конечно, Симонов с его призывом убивать немцев всех подряд, не разбираясь, кто там из них фашист, а кто антифашист:

Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!

Ясно и определенно было дано понять, что убивать немцев, конечно, нужно. Но — не всех, а только тех, «которые ведут и будут вести борьбу за сохранение фашистских порядков».

Так обстояло дело в апреле 1945 года. А в 1948-м, когда дело уже шло к возникновению нового Германского государства (о его создании будет объявлено год спустя и возглавит его один из основателей Германской коммунистической партии Вильгельм Пик), — тут уж самое время было вспомнить о том, что и при Гитлере в Германии были не только поддерживающие нацистов, и даже не только малодушные обыватели, покорно подчинившиеся нацистским порядкам, но и несдавшиеся антифашисты, пламенные борцы с ненавистным им гитлеровским режимом.

В это время (в конце сороковых, начале пятидесятых) картина мира была уже не такой, какой она была во время войны и даже перед войной, когда СССР обрастал новыми территориями (Западная Украина, Западная Белоруссия, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония). Советский Союз стал супердержавой. Эта гигантская сталинская империя вобрала в себя страны Восточной Европы, а позже обосновалась и за океаном, под самым носом у Америки (Куба). На официальном советском политическом языке того времени это называлось: «Лагерь мира и демократии».

Эта новая политическая карта Европы (не только Европы, мира) нуждалась в идеологическом обеспечении. И ничего лучшего, ничего более удобного, чем реанимация идеологии мировой революции и пролетарского интернационализма, выдумать было нельзя. (Да Сталину это было и не нужно: слегка перелицованная, подновленная, старая эта идеология тут вполне ему годилась.)

Через несколько лет после смерти Сталина, когда слова михалковского гимна («Нас вырастил Сталин на верность народу...») были отменены и страна оказалась без гимна (осталась только музыка, без текста, в народе это называлось:

«Песня без слов»), начальство решило заказать поэтам новый текст. Для выполнения этого партийного задания были мобилизованы все главные советские стихотворцы — от Твардовского до Грибачева.

В варианте Твардовского сочиненный им, повторяющийся после каждого нового куплета припев звучал так:

Взвивайся, ленинское знамя,
Всегда зовущее вперед,
Уже идет полмира с нами,
Настанет день — весь мир пойдет.

Надежда на то, что раньше или позже («настанет день») весь мир, все человечество встанет под ленинское знамя, и тогда, в 1961 году, когда сочинялись эти строки, не оставляла поэта, хотя, по правде говоря, оснований для таких надежд давно уже не было. Но это была и дань официальной тогдашней советской идеологии.

В Москве чуть ли не через каждый квартал стали мелькать новые названия улиц: «Улица Георгиу-Деж», «Улица Хулиана Гримау», «Улица Куусинена». Целый город на Волге получил имя «Тольятти».

Площадь, на которую выходит дом, в котором я живу, стала называться «площадью Тельмана», и в центре ее был воздвигнут аляповатый памятник этому «вождю немецкого пролетариата». Безвкусная уродливая статуя эта до сих пор маячит перед моими окнами.

Симонов эту новую очередную смену декораций (точнее — возврат к старой) угадал и выразил раньше других. Как и во многих других ситуациях — и раньше, и потом, — он и тут оказался первым.

Ты помнишь, как наш город бушевал,
Как мы собрались в школе на рассвете,
Когда их суд в Бостоне убивал —
Антифашистов Сакко и Ванцетти;

Как всем фашистам отомстить за них
Мы мертвым слово пионеров дали
И в городе своем и в ста других
Их именами улицы назвали.

Давным-давно в приволжском городке
Табличку стерло, буквы откололо,
Стоит всё так же там, на уголке,
На Сакко и Ванцетти наша школа.

Но бывшие ее ученики
В Берлине, на разбитом в пыль вокзале,
Недолго адрес школы вспоминали,
Углом сложили дымные листки
И «Сакко и Ванцетти» надписали,

Имперской канцелярии огнем
Недаром мы тот адрес освещали;
Два итальянских слова... Русский дом...
Нет, судьи из Америки едва ли
Дождутся, чтоб мы в городке своем
Ту улицу переименовали!..

С того дня, как той улице — и сотням других — дали имя Сакко и Ванцетти, — минула целая эпоха. И «табличку стерло, буквы откололо». Но сейчас настало время обновить ту старую табличку, восстановить отколовшиеся буквы. Может быть, даже повесить другую, новую, более прочную и красивую, — но с теми же именами.

И снова я вспомнил про это,
Узнав в полумертвом Берлине,
Что ночью в Италии где-то
Народом казнен Муссолини,

Когда б они жили на свете,
Всегда впереди, где опасней,
Наверно бы, Сакко с Ванцетти
Его изловили для казни!

Я вспомнил об этом сегодня,
Когда в итальянской палате
Христьянский убийца и сводник
Стрелял в коммуниста Тольятти,

Нет, черному делу б не сбыться,
Будь там он в мгновения эти, —
Наверно, под локоть убийцу
Толкнул бы товарищ Ванцетти!..

У нас, коммунистов, хорошая память
На всё, что творится на свете;
Напрасно убийца надеяться станет
За давностью быть не в ответе...

И сами еще мы здоровья стойкого,
И в школу идут по утрам наши дети
По улице Кирова,
Улице Войкова,
По улице Сакко-Ванцетти.

1948

В 20-е и 30-е годы Москва (Кремль, Красная площадь) воспринималась поэтами (самыми разными, — от Маяковского до загнанного в угол Мандельштама) как **центр мироздания**:

Начинается Земля
Как известно, от Кремля.

В. Маяковский

Да, я лежу в земле, губами шевеля,
Но то, что я скажу, заучит каждый школьник:
На Красной площади всего круглей земля
И скат ее твердеет добровольный!..

О. Мандельштам

Во время войны она стала символом Родины, сердцем России («Велика Россия, а отступать некуда...»).

И вот настала пора вернуть ей ее прежний статус.

Как всегда, первым понял, угадал, почувствовал это Симонов. И не только понял и угадал, но и сумел выразить:

Полночь бьет над Спасскими воротами,
Хорошо, уставши кочевать,
И обветрясь всякими широтами,
Снова в центре мира постоять...

Чтобы не видениями прошлыми
Шла она в зажмуренных глазах,
А вот просто — камни под подошвами,
Просто — видеть стрелки на часах,

Просто знать, что в этом самом здании,
Где над круглым куполом игла,
Сталин вот сейчас, на заседании,
По привычке ходит вдоль стола...

Словно цоканье далекой лошади,
Бьет по крышам теплый летний дождь
И лениво хлопает по площади
Тысячами маленьких ладош.

Но сквозь этот легкий шум не слышится
Звук шагов незримых за спиной, —
Это все, кому здесь легче дышится,
Собрались, пройдя весь шар земной.

Нам-то просто — сесть в метро у Курского
Или прилететь из Кушки даже.
Им оттуда ехать, где и русского
Слова «Ленин» без тюрьмы не скажешь.

Им оттуда ехать, где — в полицию
Просто за рисунок мавзолея,
Где на камни кровь должна пролиться их,
Чтобы вскинуть флаг, что здесь алеет.

Им оттуда ехать, где в Батавии
Их живыми в землю зарывают,
Им оттуда ехать, где в Италии
В них в дверях парламента стреляют.

Им оттуда ехать всем немыслимо,
Даже если храбрым путь не страшен, —
Там дела у них, и только мыслями
Сходятся они у этих башен.

Там, вдали, их руки за работою,
И не видно издали лица их,
Но в двенадцать Спасскими воротами
На свиданье входят в Кремль сердца их.

«Там дела у них...»

Какие же там у них дела?

По смыслу стихотворения предполагается, что главное их дело — борьба за Мировую революцию, за победу коммунизма во всем мире. Это — в перспективе. А на данном этапе, пока Мировая революция запаздывает, — борьба с капиталистическими, империалистическими правительствами своих стран. Умелое, как нас учил когда-то Ленин, сочетание легальных и нелегальных способов такой борьбы.

В реальности, однако, дело обстояло иначе.

Ни о какой Мировой революции никто давно уже не помышлял. И не было уже никакого мирового коммунистического движения. А было — противостояние двух супердержав, гонка вооружений. Американцы в этой гонке опередили Советский Союз, первыми создав атомную бомбу. Советским ядерщикам надо было спешить. У них дело тоже уже двигалось к завершающему финалу. Но кое-каких важных деталей не хватало. Их предстояло добыть на Западе. Попросту говоря — украсть. Чем и занялся Лаврентий Павлович Берия, по этой, главной своей специальности возглавивший советский атомный проект.

Коммунисты, бывшие коминтерновцы в этом деле были главным его кадровым резервом. И волею сложившихся обстоятельств из деятелей мирового рабочего движения они превратились в шпионов, агентов враждебной их Родине супердержавы.

К таким формулировкам Симонов тогда, понятное дело, был еще не готов.

Но кое-что он все-таки понимал. Не мог не понимать.

Недаром почти все его стихи, в которых он реанимировал интернационалистскую, революционную идеологию и фразеологию, по главной направленности своей были **анти-американские**.

Даже то, в котором эта полузабытая и вдруг воскресшая фразеология была выражена в формулах 20-х годов, с упоминанием Перекопа, штурмом которого закончилась у нас война красных и белых, — даже оно было навеяно его американскими впечатлениями:

Мы жили в той большой гостинице
(И это важно для рассказа),
Куда не каждый сразу кинется
И каждого не примут сразу...

И в этот самый дом-святилище,
Что нас в себя, скривясь, пустил еще,
Чтобы в Гарлем везти меня,
За мною среди бела дня
Должна
заехать
негритянка.

Я предложил: не будет лучше ли
Спуститься — ей и нам короче,
Но мой бывалый переводчик
Отрезал — что ни в коем случае,
Что это может вызвать вздорную,
А впрочем — здесь вполне обычную,

Мысль, что считаю неприличным я,
Чтоб в номер мой входила черная..
И я послушно час сидел еще,
Когда явилась провожатая,
Немолодая, чуть седеющая,
Спокойная, с губами сжатыми....

Обычно шумен, но не весел,
Был вестибюль окутан дымом
И ждал кого-то в сотнях кресел,
Не замечая шедших мимо.
Обычно.
Но на этот раз
Весь вестибюль глазел на нас.

Глазел на нас, вывертывая головы,
Глазел, сигар до рта не дотащив,
Глазел, как вдруг на улице на голого,
Как на возникший перед носом взрыв.

Мы двое были белы цветом кожи,
А женщина была черна,
И всё же с нами цветом схожа
Среди всех них
была одна она.
Мы шли втроем навстречу глаз свинцу,
Шли, взявшись под руки, через расстрел их,
Шли трое красных
через сотни белых,
Шли, как пощечина по их лицу.

Я шкурой знал, когда сквозь строй прошел там,
Знал кожей сжатых кулаков своих:
Мир неделим на черных, смуглых, желтых,
А лишь на красных — нас,
и белых — их.
На белых — тех, что, если приглядеться,
Их вид на всех материках знаком.

На белых — тех, как мы их помним с детства,
В том самом смысле, больше ни в каком.

На белых — тех, что в Африке ль, в Европе
Мы, красные, в пороховом дыму
В последний раз прорвем на Перекопе
И сбросим в море с берега в Крыму!

1948

Все стихи Симонова из этого его антиамериканского цикла в один голос твердили, что в Америке уже установилась или вот-вот установится фашистская диктатура, а некоторые так даже прямо утверждали, что в самом ближайшем будущем ей предстоит пройти весь тот политический цикл, который только что позорно завершила ее историческая предшественница — гитлеровская, нацистская Германия:

Я вдруг сегодня вспомнил Сан-Франциско,
Банкет на двадцать первом этаже
И сунутую в руки мне записку,
Чтоб я с соседом был настороже.

Сосед — владелец здешних трех газет —
Был тигр, залезший телом в полосатый
Костюм из грубой шерсти рыжеватой,
Но то и дело из него на свет
Вдруг вылезавший вычищенной пастой
Тигриною улыбкою зубастой
И толстой лапой в золотой шерсти,
Подпиленной на всех когтях пяти.

Наш разговор с ним, очень длинный, трезвый,
Со стороны, наверно, был похож
На запечатанную пачку лезвий,
Где до поры завернут каждый нож.

В том, как весь вечер выдержал он стойко
Со мной на этих вежливых ножах,
Была не столько трезвость, сколько стойка
Перед прыжком в газетных камышах...

И сколькими б кошачьими кругами
Беседа всех углов ни обошла,
Мы молча встали с ним из-за стола
Тем, кем и сели за него, — врагами.

И все-таки я вспомнил через год
Ничем не любопытный этот вечер, —
Не потому ли, что до нашей встречи
Я видел лишь последний поворот

Тигриных судеб на людских судах,
Где, полиняв и проиграв все игры,
Шли за решетку пойманные тигры,
Раздавливая ампулы в зубах!..

Горит, горит в Америке рейхстаг,
И мой сосед в нем факельщик с другими,
И чем пожар сильней, тем на устах
Всё чаще, чаще слышно его имя.

Когда, не пощадив ни одного,
Народов суд их позовет к ответу,
Я там, узнав его при встрече этой,
Скажу: я помню молодость его!

1948

Этого «тигра», этого «владельца трех газет» Симонов уже изобразил однажды. Более подробно и, пожалуй, даже более достоверно, чем в стихотворении. И тема этого посвященного ему стихотворения была для Симонова не нова. За два года до этого — в 1946-м — он не только уже коснулся этой темы, но развернул ее в острый драматический сюжет. В пьесу.

Пьеса называлась «Русский вопрос».

* * *

С равным и даже, может быть, с большим основанием эта знаменитая его пьеса могла бы называться не «Русский», а — «Американский вопрос». Не только потому, что действие ее происходит в Америке, а прежде всего потому, что именно об Америке, о ее настоящем и будущем только и идет в ней речь.

С предельной, может быть, даже излишней четкостью это выразилось в финальном, завершающем пьесу монологе главного ее героя, который я сейчас тут приведу. Но прежде — для ясности — несколько предшествующих ему реплик из этой, завершающей пьесу, финальной ее сцены:

► Смит стоит, закрыв лицо руками, потом медленно опускает их.

В комнату тихо входит Харди в пальто и шляпе. Увидев Смита, снимает шляпу. Молча стоит, потом кашляет.

Смит (*оборачивается, без всякого удивления*).
Здравствуйте, Харди.

Харди. Здравствуйте.

Смит. Как здоровье вашей жены и детей?

Харди. Спасибо. Хорошо.

Смит (*равнодушно*). Очень рад. Вы пришли работать на мне свои сегодняшние десять долларов?

Харди. Может быть, даже двадцать. Все-таки с вами вышел не совсем заурядный скандал.

Смит. Не совсем заурядный? Да, пожалуй, вы правы.

Харди. Слушайте, только не злитесь на меня. Не я, так другой, все равно это будет в газетах. И я подумал — почему не я? Мы все-таки с вами старые товарищи. Вы можете это сделать для меня?

Смит. Конечно.

Харди. Ответьте мне на несколько вопросов.

С м и т . Хорошо. Только вы скверно пишете. У вас дурной стиль. Я хочу, чтобы ваша заметка была хоть раз в жизни написана в хорошем стиле. Вынимайте блокнот, я вам сам ее продиктую.

Х а р д и . Но...

С м и т . Она будет хорошо написана, и, может быть, вам за это заплатят даже больше на пять долларов.

Х а р д и (*вынув блокнот и держа в руке вечное перо*). Я готов.

С м и т . Пишите. (*Диктует, расхаживая по комнате.*) «Сегодня я побывал у пресловутого Гарри Смита, бывшего сотрудника Макферсона. Он пытался бороться с Макферсоном и был выгнан из газеты. Он хотел издать свою книгу в издательстве Кесслера, но Кесслер отказал ему. Он хотел напечатать свои фельетоны в газете Вильямса, но Вильямс не захотел их печатать. Он лишился покоя, уюта, дома, машины, денег. У него погиб друг, и от него ушла жена. Когда я пришел к нему, я был вынужден писать стоя — он не мог даже предложить мне стул, потому что у него уже вывезли всю мебель. Ходят слухи, что на днях он снова нанимается на работу в газету Макферсона на должность полицейского репортера. Но эти слухи... Эти слухи не соответствуют действительности. Вышеупомянутый Смит не пойдет на попятный, он дьявольски зол, как сказал бы один его покойный друг. Вышеупомянутый Смит не пойдет работать полицейским репортером к мистеру Макферсону, а также не повесится, не перережет себе горла и не выбросится с двенадцатого этажа. Вышеупомянутый Смит, наоборот, попробует начать свою жизнь сначала». Что вы остановились, Харди, пишите дальше, я еще не кончил. «Вышеупомянутый Смит попробует все-таки выяснить в конце концов, может ли человек, рожденный честной американкой, честно прожить в той стране, где он родился». Да, да. Пишите, Харди, пишите! А впрочем, черт

с вами, если этого не напишете вы, это напишу я сам и в конце концов найду в Америке место, где мне это напечатают. Вышеупомянутый Смит долго и наивно думал, что есть одна Америка. Сейчас он знает: Америки две. И если вышеупомянутому Смицу, к его счастью, да, да, к счастью, нет места в Америке Херста, то он, черт возьми, найдет себе место в другой Америке — в Америке Линкольна, в Америке Рузвельта.

(К. Симонов. *Стихи. Пьесы. Рассказы.*
М., 1949. Стр. 252–254).

Прочитав эту пьесу или увидев ее на сцене или в кино, читателю или зрителю непросто будет поверить в то, что Гарри Смицу удастся найти эту «другую Америку». Откуда ей взяться там, в нарисованном автором несправедном, мрачном мире чистогана?

Трудно поверить даже в то, что Смицу удастся напечатать не то что книгу, которую он написал и из-за которой обрушилась вся его жизнь, но даже и эту маленькую заметку.

Но вся штука тут в том, что этот монолог Смита выдержан в духе социалистического реализма. А метод социалистического реализма, как мы знаем, предполагает, что писатель должен изображать жизнь в ее революционном развитии, то есть — не слишком считаться с реальностью.

Но эта маленькая неправда не идет ни в какое сравнение с той главной, большой неправдой, которая лежит в самой основе пьесы, составляет суть главного ее конфликта.

* * *

Завязка этого главного конфликта, как полагается в хорошей пьесе, обозначена сразу, в первой же ее сцене:

- ▶ Г у л ь д . Шеф собрался отправить его в Россию.
Д ж е с с и . Да, я знаю. Я вчера печатала шефу проект издательского договора на будущую книгу

Гарри. Кажется, тут не обошлось без твоего участия.

Гульд. Да, это была моя идея. И мой проект.

Джесси. Ну что ж, это, наверное, займет у Гарри три месяца.

Гульд. Примерно. Если только он поедет.

Джесси. Он поедет.

Гульд. Это верно. Последний год он начал выходить в тираж. Если он не возобновит сейчас свою репутацию самым шумным образом, я не поручусь для него в дальнейшем и за пятьсот долларов в месяц. Боюсь, что ваш брак не будет тогда счастливым.

Джесси. Он поедет.

Гульд. Не уверен. У него раньше были свои идеи о русских.

Джесси. Мне нет никакого дела ни до его идей, ни до русских, ни до того, что он напишет о русских. Я хочу иметь свой дом, своих детей и немного своего счастья. Мне надоело быть кукушкой. Он поедет.

(К. Симонов. *Стихи — Пьесы — Рассказы*. М., 1949. Стр. 483).

Джесси не ошиблась. Гарри Смит, о котором идет речь в этом коротком, но выразительном диалоге, действительно принимает предложение шефа: соглашается поехать в Россию и написать заказанную ему книгу. Он тоже хочет иметь свой дом, своих детей и немного своего счастья. И он любит Джесси. Но прав и Гульд. Написать ту книгу, которую собирается заказать ему шеф, Гарри не может. Не потому, что у него какие-то свои идеи о русских, а просто потому, что он честный человек и не может написать то, во что не верит.

- Макферсон. Мне пора уходить. Советую вам, Гарри, внимательно выслушать все, что вам скажет Джек. Он скажет вам наше общее мнение. А сейчас несколько слов. Лететь через неделю. Срок — три ме-

сяца. Книга — через месяц после приезда. Часть пойдет статьями в газете. Гарантирую издание. Гарантирую успех. Гарантирую тридцать тысяч долларов. Ответ завтра, здесь, в двенадцать ночи. Ваше — да и мой первый чек на семь тысяч пятисот. Подумайте. До свиданья. *(Выходит.)*

С м и т. Семь с половиной тысяч. Недурно для начала. Такие большие деньги наводят меня на мысль, что я должен написать для вас порядочную гадость.

(Там же. Стр. 490).

Предполагалось, что книга, которую должен написать Смит, будет называться: «Хотят ли русские войны?»

Вернее, это Смит, в конце концов согласившийся поехать в Россию, а вернувшись, написать эту книгу, предложил такое название. Заказчики предпочитали, чтобы заголовок будущей книги выражал ее идею более определенно, с недвусмысленной и грубой прямоотой. Скажем, так: «Десять причин, по которым русские хотят войны». Или еще проще: «Почему русские хотят войны». Не в вопросительной, а в утвердительной форме.

Но, в конце концов, с небольшими поправками был принят вариант Смита.

► **Макферсон.** Да, кстати, Гарри, Гульд предлагает назвать вашу книгу «Почему русские хотят войны». Как вам?

С м и т. Не очень... Может быть, отрезать первое слово. Просто — «Русские хотят войны?» И большой вопросительный знак.

Макферсон. «Русские хотят войны». И маленький вопросительный знак, втрое меньше букв, почти незаметный. Незаметный, но объективный, так, чтобы, если взглядеться, его все-таки можно было заметить. Ну что ж, это неплохая идея. Идет.

(Там же. Стр. 512).

У Смита, предложившего такой вариант, были на этот счет свои соображения. Можно даже сказать, планы. Но это всё — нюансы. Сути дела они не меняют.

Суть же состоит в том, что Макферсон и Гульд уверены, что Смит пишет — и напишет — ту книгу, какая им нужна. То есть, какой бы ни стоял в заголовке вопросительный знак, маленький или большой, ответит он на этот вопрос положительно: да, безусловно, русские хотят войны. А Смит пишет совсем другую книгу, в которой отвечает на этот вопрос отрицательно: «Нет, я только что побывал в России и убедился, что все это вздор. На самом деле воевать русские не хотят».

Тридцать лет спустя, в не раз уже цитировавшейся мною книге «Глазами человека моего поколения» Симонов так рассказал о возникновении замысла этой своей пьесы:

- ▶ ...в двенадцатом номере ленинградского журнала «Звезда» я напечатал свою очень быстро написанную пьесу «Русский вопрос». Мысли мои были заняты главным образом повестью, которая потом появилась под названием «Дым отечества». К ней я готовился, писал первые заметки, но поездка в Америку требовала и публицистической отдачи. Эренбург напечатал ряд статей, а у меня, кроме двух статей об американском театре, с публицистикой что-то не клеилось. Мне показалось, что рассказать о том, что я знал больше и лучше, ближе наблюдал — не столько даже в самой Америке, сколько перед этим в Японии, — о политических и нравственных проблемах, связанных с жизнью и деятельностью американской прессы, я смогу лучше в драматургической форме. Так я написал «Русский вопрос» — пьесу, действие которой было сосредоточено, в общем, вокруг проблемы, с которой была связана наша поездка в Соединенные Штаты, — хотят ли русские войны? Мы им там доказывали, как умели, доказывали и рассказывали, и это была истинная правда, — не хо-

тят русские войны, не хотят, не могут хотеть. Говорить и доказывать это была главная наша цель — и душевная, и пропагандистская, и какая угодно, полностью соответствовавшая истине.

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода. Стр. 365—366).

Не знаю, чего тут больше, — наивности или лукавства.

Пятнадцать лет спустя после появления на свет симоновского «Русского вопроса» (в 1961 году) Евгений Евтушенко сочинил знаменитое свое стихотворение «Хотят ли русские войны?», сразу же ставшее песней, которая облетела весь мир:

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
Над ширью пашен и полей
И у берёз и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны!

Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал, —
Мы этой памяти верны, —
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны!

Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою

На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны —
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны!

Поймет и докер, и рыбак,
Поймёт рабочий и батрак,
Поймёт народ любой страны,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские,
Хотят ли русские войны!

Я привел этот текст не в стихотворном, а в песенном варианте, потому что этот бравурный вариант с троекратным повторением одних и тех же слов в рефрене резче высвечивает — обнажает — всю фальшь не столько даже вопроса, сколько авторского ответа на него.

Ответ этот фальшив, потому что, желая получить честный ответ на вопрос, хотят ли русские войны, спрашивать надо было не у берез и не у жены поэта, а в 1940-м — у финнов, в 1956-м — у венгров, в 80-х — у афганцев, в 90-х — у чеченцев, а в 2008-м у грузин. Или — на худой конец — у тех, кто в 40-м принял решение начать постыдную финскую войну, в 56-м ввести войска в Венгрию, в 80-м — в Афганистан, в 90-м и в 2000-м в Чечню, а в 2009-м в Грузию.

Я вспомнил тут все это потому, что герой пьесы Симонова «Русский вопрос», стремясь получить правдивый ответ на вопрос, хотят ли русские войны, точно так же, как спустя пятнадцать лет Евгений Евтушенко, задает его совсем не тем, кому его следовало бы задать.

- Новый загородный дом Смита. Большой кабинет. Письменный стол, несколько застекленных книжных шкафов, еще почти пустых. Несколько кресел, два низких столика,

диван; на диване, среди подушек, кустарная русская баба — покрывало для чайника. Часть стены стеклянная, за ней — веранда.

За столом Мег Стенли. Смит, расхаживая по кабинету, диктует ей.

Смит (*диктуя*). «...Глупцы те, кто думает, что русские не хотят сейчас войны только из-за своих потерь или из-за своих разрушений. Я был в Средней Азии, в цветущем маленьком городке, недалеко от Ташкента. Война не коснулась его. И среди людей, с которыми я говорил, я нарочно выбрал нескольких, которые ни по ком не носили траура. И именно из разговоров с ними я окончательно понял, что дело не в усталости или слабости, — дело в психологии людей, которые, как и вся сегодняшняя Россия, не хотели и не хотят войны с нами вне зависимости от своей слабости или силы.

— Что вы думаете о возможности войны с нами? — спросил я у одного из них. — Я думаю об этом только тогда, когда читаю то, что вы пишете в ваших газетах, — ответил он. И мне нечего было ему возразить».

(К. Симонов. *Стихи. Пьесы. Рассказы*. М., 1949. 502—503).

Будь этот симоновский герой чуть сообразительнее, у него нашлось бы, что возразить этому своему собеседнику. Для начала он мог бы, например, спросить у него, каким образом получил он доступ к американским газетам. И даже не спросив, мог бы и самостоятельно додуматься до того, что, говоря о том, что пишут американцы в своих газетах, он, этот его ташкентский собеседник, имел в виду информацию, полученную им об этом из советских газет.

Но это, в конце концов — частность, хотя и многозначительная.

Суть же дела состоит в том, что вопрос: «Хотят ли русские войны?», если перевести его с языка политической риторики

на язык реальности, тогда, а 1946 году, мог означать только одно: ХОЧЕТ ЛИ ВОЙНЫ СТАЛИН?

А на этот вопрос не только выдуманый Симоновым Гарри Смит, но и сам Симонов вряд ли мог бы дать однозначно отрицательный ответ.

Конечно, залезть Сталину в его черепную коробку и таким образом узнать о его желаниях, намерениях и планах он не мог. Но он мог судить об этом хотя бы по тем установкам, которые Сталин давал сонму своей идеологической обслуги, к которому и он, Симонов, тоже принадлежал. Я уже не говорю о векторе сталинской внешней политики, который вскоре, когда Сталин спровоцировал Берлинский кризис и развязал войну в Корее, обозначился уже с полной ясностью.

Берлинский кризис не просто создал угрозу серьезного военного конфликта. Он в полном смысле этого слова поставил мир на грань новой большой войны. Ну, а уж о войне в Корее и говорить нечего.

В том, что эта война не могла начаться без санкции и даже прямого распоряжения Сталина, уже тогда ни у кого не могло быть ни малейших сомнений. Теперь же мы точно знаем, как все это происходило:

- ▶ 5 и 14 марта 1949 г. состоялись встречи советского руководства во главе со Сталиным и руководства Северной Кореи во главе с Ким Ир Сенем. На этих встречах Ким Ир Сен запросил военной помощи у СССР. По его словам, на территории Южной Кореи находилось 15–20 тыс. американских военнослужащих и около 60 тыс. южнокорейских солдат и офицеров...

Сталин, по словам Ким Ир Сена, записанным позже Т.Ф. Штыковым, советским послом в Северной Корее, не советовал своим корейским собеседникам первыми нападать на Южную Корею, а рекомендовал использовать нападение южнокорейских войск как повод для ответного вторжения на юг страны.

Были достигнуты договоренности о советской военной помощи, о подготовке корейских офицеров в Советском Союзе. После этого северокорейское руководство неоднократно проводило «активные мероприятия», а фактически — крупномасштабные военные провокации против Южной Кореи.

19 января 1950 г. в Москву поступила телеграмма от советского посла в Пхеньяне Т.Ф. Штыкова... По словам Штыкова, Ким Ир Сен сетовал на то, что правительство Южной Кореи не нападает на север страны, а поэтому ему, Ким Ир Сэну, нужно побывать у Сталина и спросить разрешения для наступления на юг. «Ким Ир Сен говорит о том, что сам он начать наступление не может, потому что он коммунист, человек дисциплинированный, и указания товарища Сталина для него являются законом».

10 апреля 1950 г. эта встреча состоялась.

25 июня войска Северной Кореи вторглись на юг...

...На стороне Северной Кореи выступили войска коммунистического Китая и советские военные — прежде всего летчики и войска противовоздушной обороны.

В небе над Кореей завязались жестокие бои между американскими и советскими летчиками... Американские летчики и их союзники, воевавшие над территорией Северной Кореи, несли большие потери...

Однако боевые действия на земле шли для Северной Кореи неудачно. Наступление на юг провалилось...

Война перешла в затяжную фазу, тяжелую и кровопролитную. Опасность ее состояла в угрозе перерастания военного конфликта в мировую войну. Мировую войну ждали, к ней готовились.

(Р. Пихоя. Советский Союз: история власти. 1945—1991. Новосибирск, 2000 г. Стр. 30—31).

В 1946 году, когда он сочинял свою пьесу «Русский вопрос», всего этого Симонов знать, конечно, не мог. Но он не мог не понимать, что Сталин «играет на обострение», то есть прямо ведет дело к Третьей мировой войне. Не делая из этого тайны, готовит к ней страну и именно в этом духе формирует (велит формировать) сознание народа.

Не зная этого, он не написал бы в том же 1946 году такое:

► ...Григорий Фаддеич откинулся на спинку стула и спросил тревожно и глухо:

— Неужто снова будет война?

— Будет, если...

— Что если?

— Если они попробуют сделать так, чтобы в мире снова были не две системы, а только одна — капитализм. Если они ради этого начнут воевать против нас. А мы не уступим и не сдадимся, мы тоже будем воевать. Вот и все. Очень просто.

— Пятьдесят три года мне, — сказал Григорий Фаддеич. — Многовато.

— Что?

— Три войны на одну судьбу. Многовато. Жирно. Я не жадный, с меня и двух бы хватило.

— Тебя не спросят.

— А жаль. Меня бы спросили, я бы сказал: одна система, две системы, войны больше быть не должно — вот что! Не имеет права быть. Любой ценой! Потому что скажу: хороша система, да мертвому мне она ни к чему... Ну, что смотришь? — вызывающе крикнул он Басаргину. — Думаешь, только тебе смею это сказать? Хоть все Политбюро против меня здесь посади — и им бы сказал, прямо в глаза глядя!

— Не сказал бы.

— Сказал бы!

— Нет! Мне говоришь и то глаза отводишь... Говоришь: любой ценой! Это что же, значит — руки поднять? Или на колени стать? Или все разом? Или как?

— Не знаю, — обмякнув и опустив голову на руки, сказал Григорий Фаддеич. — Не знаю. Я ведь не сволочь какая-нибудь. Год на передовой был. Толька у меня погиб.

Он поднял голову, и слеза медленно прокатилась по его щеке.

(К. Симонов.

Собрание сочинений. Т. 3.

М., 1980. Стр. 143—144).

Этот жесткий разговор герой повести Симонова «Дым отечества» Басаргин ведет с зятем, мужем своей старшей сестры, который встретил его на вокзале и теперь породственному принимает у себя как самого дорогого гостя.

Ничего такого уж особо ужасного Григорий Фаддеич вроде не сказал. И в самом деле — не сволочь же он, не трус, не дезертир. Честно воевал на двух войнах, сына потерял...

Но с этой минуты для Басаргина он — враг, предатель. И иначе как негодяем в своих мыслях о нем он его не называет.

Не могу не вспомнить в этой связи диалог симоновского Гарри Смита с Гульдом, начало которого я цитировал выше.

Продолжу цитату с той реплики, на которой я ее оборвал:

► С м и т. Семь с половиной тысяч... Такие большие деньги наводят меня на мысль, что я должен написать для вас порядочную гадость.

Г у л ь д. Нет. Ты просто должен учесть требования времени. И наши сегодняшние взгляды на Россию, изложенные вкратце вот хотя бы здесь (*вынув из кармана газету, передает ее Смит*), в моей статье. Она не блещет красотами стиля. Ты знаешь, я не стилист. Но

некоторые ее мысли и даже, пожалуй, название могли бы тебе пригодиться.

С м и т. «Десять причин, по которым русские хотят войны». Это неправда. Русские не хотят войны. Этого не может быть.

Г у л ь д. Когда ты уехал из России?

С м и т. В декабре сорок второго.

Г у л ь д. А сейчас — февраль сорок шестого.

С м и т. И все-таки не может быть, чтобы они сейчас хотели войны.

Г у л ь д. Коммунисты — фанатики, а русские — вдвойне фанатики: как русские и как коммунисты.

(К. Симонов. Стихи. Пьесы. Рассказы.
М., 1949. Стр. 490).

По мысли автора, Гульд в этой сцене несет полную чушь. Хочется даже выразиться грубее, по-блатному — «лепит чернуху». Но именно вот таким коммунистическим фанатиком предстает перед нами герой повести Симонова «Дым отечества» Басаргин. А он — не просто положительный, он, как тогда говорили, — **идеальный** его герой.

Вот и решайте теперь, насколько искренен был Симонов, когда и тридцать лет спустя после появления на свет «Русского вопроса» продолжал утверждать, что цель, которую он ставил перед собой, создавая эту свою пьесу, — «и душевная, и пропагандистская, и какая угодно», — **полностью соответствовала истине**.

Насквозь фальшивой была не только «сверхзадача» (по-школьному говоря, идея) этой симоновской пьесы. Таким же фальшивым был и ее сюжет.

Я бы никогда не взял на себя смелость судить о том, могло ли в реальной, а не выдуманной Симоновым Америке происходить то, что произошло с его героем — честным американским журналистом Гарри Смитом. По-настоящему судить об этом могли бы только американские читатели (или зрители)

«Русского вопроса». Но я даже не знаю, были или не были у этой симоновской пьесы в Америке читатели или зрители. Не исключено, что там пьеса эта не вызвала никакого интереса и даже не была поставлена.

Но одному американцу увидеть ее на сцене все-таки довелось. И его неллицеприятное суждение о ней хорошо известно.

* * *

В 1947 году в Москву прилетел Джон Стейнбек. Его сопровождал фотокорреспондент Роберт Капа. Они представляли газету «Нью-Йорк Геральд Трибюн» и прибыли в Советский Союз с определенным журналистским заданием. Как предполагали принимавшие их советские чиновники, задание это было того же свойства, с каким был послан в Москву герой пьесы Симонова «Русский вопрос».

Но в отличие от симоновского Гарри Смита Стейнбек не был рядовым журналистом. Он уже тогда почитался живым классиком, и имя его постоянно упоминалось в ряду с именами двух других классиков американской литературы XX века — Фолкнера и Хемингуэя. (Позже все трое — один за другим — стали лауреатами Нобелевской премии.)

В 47-м Стейнбек нобелиатом еще не был, но имя его российскому читателю было тогда уже хорошо известно. И не только имя: его романом «Гроздь гнева» у нас зачитывались еще в предвоенные годы.

Все это требовало от опекавших Стейнбека в его поездках по стране советских функционеров особой бдительности.

Полвека спустя (в 1997-м) журналист Владимир Тольц (радио «Свобода») отыскивал секретные отчеты тех, кто возил Стейнбека и Капу по стране, показывал им разные потемкинские деревни, пудрил им мозги и вешал на уши разнообразную лапшу, а также тех, кто тайно следил за знатными американскими гостями в этих их поездках. Подробности этого сюжета представляют особый интерес. Но я сосредоточусь только на том, что имеет прямое отношение к моей теме.

Тем, кому было поручено сопровождать Стейнбека и Капу и показывать им то, что предполагалось им показать, начальством была дана такая, как это у них называлось, ОРИЕНТИРОВКА:

- ▶ Тов. Хмарский дал мне и т. Дмитерко следующую ориентировку о Стейнбеке и Капа... Газета «Нью-Йорк Геральд Трибюн», от которой он и Капа едут, помещает об СССР сравнительно лояльную информацию, но «к бочке меда примешивает ложку дегтя». Неясно, едет ли Стейнбек с намерением писать об СССР честную книгу или его наняли написать ответ на «Русский вопрос» Симонова, во всяком случае, необходимо быть бдительным. О пьесе Симонова он отзывался как о глупой пьесе.

*(В. Тольц. Предметы советской жизни.
Джон Стейнбек и Роберт Капа в СССР в 1947 году).*

Этот нелюбезный отзыв Стейнбека о симоновском «Русском вопросе», надо полагать, был высказан им устно, в каком-то разговоре, в котором он не смог удержаться в рамках «политкорректности».

Но разговоры на эту тему с ним заводили постоянно, и все другие, более развернутые и более дипломатичные его ответы на этот, чуть ли не всех его собеседников волнующий вопрос, недалеко ушли от этого, столь краткого и убийственного:

- ▶ Существовал один литературный вопрос, который задавали нам неизменно. Мы даже знали, когда ждать его, потому что в это время глаза нашего собеседника сужались, он немного подавался вперед и пристально нас изучал. Мы знали, что нас спросят, как нам понравилась пьеса Симонова «Русский вопрос»...

Обычно мы отвечали так: 1) это не самая хорошая пьеса, на каком бы языке она ни шла; 2) герои не говорят как американцы и, насколько мы знаем, не ведут себя

как американцы; 3) пусть в Америке и есть некоторые плохие издатели, но у них и в помине нет той огромной власти, как это представлено в пьесе; 4) ни один книгоиздатель в Америке не подчиняется чьим бы то ни было приказам, доказательством чего является тот факт, что книги самого г-на Симонова печатаются в Америке; и последнее, нам бы очень хотелось, чтобы об американских журналистах была написана хорошая пьеса, а эта, к сожалению, таковой не является...

*(Дж. Стейнбек. Русский дневник.
Перевод с англ. Е. Рождественской.
М., 1989. Стр. 76).*

«Русский вопрос» в Москве в то время шел одновременно в пяти театрах: в том числе и во МХАТе.

Стейнбеку показали именно мхатовский спектакль, вероятно, рассчитывая на то, что более строгий и академичный, чем, скажем, у вахтанговцев, стиль мхатовской постановки, быть может, произведет на американца более благоприятное впечатление.

Но эти расчеты не оправдались:

- ▶ Спектакль, как и сама пьеса, им не понравился. Стейнбек сказал, что в Америке так пестро одеваются только гангстеры, да и то в низкопробных фильмах и ревью, что герои страшно ходульны и как будто сделаны из папье-маше.

(ГАРФ, ф. 5283, оп. 22 с., д. 21, л. 117).

Так докладывала «по начальству» приставленная к американским гостям переводчица Светлана Литвинова. (Стейнбек и Капа называли ее «Сунит Лана».)

А вот что написал о своих впечатлениях от этого спектакля сам Стейнбек:

- ▶ Может, мы допустили ошибку, посмотрев эту пьесу, может, это был не лучший спектакль. На наш взгляд,

она была переиграна, слишком многозначительна, нереальна и стилизована, одним словом, — дешевка.

То, как был изображен американский издатель, могло бы у американской публики вызвать лишь истерический хохот... Но пьеса имела невероятный успех. И представление, которое она давала об американском журнализме, воспринималось почти всей публикой как абсолютная правда. Жаль, что из-за того, что у нас не было времени, мы не смогли посмотреть другие пьесы в других театрах, чтобы понять, существует ли такое искажение везде.

(Дж. Стейнбек. *Русский дневник*.
Перевод с англ. Е. Рождественской. Стр. 136).

Светлана Георгиевна Литвинова (Суит Лана), которую Владимир Тольц разыскал полвека спустя, рассказывая ему обо всех этих делах полувековой давности, призналась, что начальство результатами ее работы и работы ее коллег было полностью удовлетворено:

- ▶ ...Все считали, что я хорошо поработала, и Хмарский, и все остальные, всё показали, что надо, и в Киеве, и в Сталинграде...

(В. Тольц. «Русский дневник» Джона Стейнбека.
Возвращение к недосказанному).

Поначалу на случай, если Стейнбек все-таки напишет что-нибудь антисоветское, был заранее подготовлен проект открытого письма, обвиняющего американского писателя в клевете на Советский Союз и советский народ. Но публиковать это письмо не пришлось. Вместо него руководители ВОКСа (учреждения, которому было поручено «вести» Стейнбека») направили в ЦК такую победную реляцию:

- ▶ В результате пребывания в СССР Стейнбек, убедившийся на многочисленных фактах в лживости

антисоветской пропаганды в США, сделал следующие заявления:

1. Колхозная система очень эффективна.
2. Советское государство оказывает колхозам большую помощь.
3. Вопреки антисоветской пропаганде колхозники не являются духовно опустошенными и унифицированными, а, напротив, отличаются яркими индивидуальными характерами.
4. Жизненный уровень колхозников является вполне удовлетворительным, а урожай в тех местах, где он побывал, — выше среднего.
5. Восстановление разрушенных войной районов идет в СССР гораздо быстрее, чем в западной Европе, и, в частности, в Англии. Во многом успех быстрого восстановления сельского хозяйства обязан колхозной системе.
6. Во всех местах, где он побывал, советские люди выражали дружественное отношение американскому народу и высказывались против войны.
7. Вопреки антисоветской пропаганде в СССР существует полная свобода религии и функционируют церкви.

(Там же).

Как видим, начальство по достоинству оценило усилия и Суит Ланы, и Хмарского, и других сотрудников ВОКСа, которым было поручено «обработать» Стейнбека. Поработали они на совесть и добились многого. Крепко задурили голову американскому классику. В одном только они не сумели его убедить: в том, что пьеса Симонова «Русский вопрос» — хорошая, правдивая пьеса.

Сам Симонов, кстати сказать, Стейнбеку понравился.

- ▶ Симонов очень милый человек. Он пригласил нас к себе в загородный дом — простой удобный малень-

кий домик посреди большого сада. Здесь он спокойно живет со своей женой. В доме нет никакой роскоши, все очень просто. Нас угостили отличным обедом. Ему нравятся хорошие машины, у него есть «кадиллак» и джип. Овощи, фрукты и птица поступают на стол из его собственного хозяйства. По всей видимости, он ведет хорошую, простую и удобную ему жизнь.

(Дж. Стейнбек. Русский дневник).

Понравился ему Симонов не только «простым и скромным» (по американским понятиям) своим бытом, но и тем, как он держался в постоянно вспыхивавших на разных официальных и полуофициальных встречах идеологических стычках. Особенно запомнился ему такой случай.

8 сентября ВОКС устроил для них прощальный ужин в «Арагви». Отвечая на бесконечные тосты за их здоровье, Стейнбек и Капа выразили надежду, что сумеют правдиво рассказать об увиденной ими жизни простых русских людей. И тут —

- ▶ ...Человек, который сидел с краю стола, заявил, что существуют несколько видов правды, и что мы должны предложить такую правду, которая способствовала бы развитию добрых отношений между русским и американским народами. Тут и началась битва. Вскочил Эренбург и произнес яростную речь. Он заявил, что указывать писателю, что писать, — оскорбление. Он сказал, что если у писателя репутация правдивого человека, то он не нуждается ни в каких советах. Он пригрозил своему коллеге и обратил внимание на его плохие манеры. Эренбурга мгновенно поддержал Симонов..

(Там же).

Итак, автор «Русского вопроса» произвел на американского классика самое благоприятное впечатление. Но своего мнения о его пьесе он так и не изменил:

- ...Нам так часто задавали вопросы об этой пьесе, что мы решили набросать сюжет своей пьесы, которую назвали «Американский вопрос», и стали рассказывать его тем, кто задавал нам такие вопросы. В нашей пьесе господин Симонов едет от газеты «Правда» в Америку, чтобы написать ряд статей, показывающих, что Америка представляет собой пример загнивающей западной демократии. Господин Симонов приезжает в Америку и видит, что американская демократия не только не вырождается, но и не является западной, если только не смотреть на нее из Москвы. Симонов возвращается в Россию и тайно пишет о том, что Америка – не загнивающая демократия. Он передает свою рукопись в «Правду». Его моментально выводят из Союза писателей. Он теряет свой загородный дом. Его жена, честная коммунистка, бросает его, а он умирает от голода... Один или два раза наша пьеса разжигала бурные споры, но в большинстве случаев вызывала лишь смех, и тема разговора менялась.

(Там же).

Сохранились и другие рассказы о реакции на эту пародию тех, кому Стейнбек и Капа ее читали. В том числе и о реакции самого Симонова:

- Когда слушатели этой пародии начинали сдержанно хихикать (все-таки заместитель генерального секретаря Союза советских писателей, которому благоволил лично товарищ Сталин, был очень большой шишкой!), американцы говорили, что это не более смешно, чем пьеса «Русский вопрос».

Сказали они это и Симонову. И он не обиделся, а угостил их вином. А потом танцевали и пели, и бросали дротики. И снова выпивали. И оценка симоновского сочинения стала постепенно меняться. В своем секрет-

ном отчете Светлана записала: «Стейнбек и Капа согласились, что основная идея пьесы правдива, но сказали, что преподнесена она плохо, неумело, без знания Америки».

*(В. Тольц. Предметы советской жизни.
Джон Стейнбек и Роберт Капа в СССР в 1947 году).*

Правда ли это, что резкая оценка Стейнбеком симоновской пьесы постепенно стала смягчаться и что Стейнбек и Капа в конце концов даже согласились, что основная ее идея правдива? Или Суит Лана все это сочинила и написала так в своем секретном отчете, чтобы продемонстрировать начальству успешные результаты проделанной ею работы?

Сути дела это, в общем-то, не меняет, и поэтому я не стану задаваться этим вопросом. А вот о реакции слушателей, в том числе и самого Симонова, на эту пародию, сочиненную Стейнбеком и Капой, стоит поразмышлять.

Как бы ни хихикали над ней гости, собравшиеся в тот день на даче Симонова, как бы беспечно ни веселились потом, — танцевали и пели, и бросали дротики, — нет и не может быть никаких сомнений в том, что для них эта пародия несла в себе совсем не тот смысл, какой вложили в нее американцы.

Что же касается самого героя пародии, то ему развернутый в ней ход развития событий (его исключают из Союза писателей, он теряет свой загородный дом и т.д.) и вовсе должен был представляться отнюдь не комическим, а зловещим. И главное — в достаточной степени реальным. Только что, пережив обрушившийся на него удар Сталина, он считал, что его **жизнь кончена**.

Но главное тут даже не это, а то, что пародия Стейнбека, как это иногда случается даже с самыми легкомысленными художественными произведениями, в самой своей основе оказалась гораздо пронизательнее, чем это мог предположить создавший ее автор.

* * *

В главе «Сталин и Фадеев» я привел рассуждение одного из персонажей романа Василия Гроссмана «За правое дело», по-своему объяснявшего природу той страшной метаморфозы, которая произошла с народом Германии при Гитлере:

- ▶ — В основном, в общем Гитлер изменил не соотношение, а лишь положение частей в германской жизненной квашне. Весь осадок в народной жизни, мусор, дрянь всякая, всё, что таилось и скрывалось, всё это фашизм поднял на поверхность, всё это полезло вверх, в глаза, а доброе, разумное, народное — хлеб жизни — стало уходить вглубь, сделалось невидимым, но продолжает жить, продолжает существовать...

Приведаю это объяснение, я тогда писал:

- ▶ Всё, о чем говорил в откровенном своем разговоре с Штрумом академик Чепыжин, **крепко рифмовалось** с тем, что все мы видели вокруг — не в Германии, а в родной своей стране, в любезном нашем отечестве.

Крестьяне, любившие землю и умевшие работать на этой земле, — этот истинный «хлеб жизни» — были уничтожены. Те же из них, кто уцелел, «ушли на дно», сделались невидимыми. Наверх же полезла всякая муть и дрянь. Болтуны, крикуны, умевшие только «руководить», а не работать. Тусклые партийные функционеры, не способные связать двух слов, важно поучали седовласых академиков. Вся страна — от дворника до президента Академии наук — должна была изучать историю по лживому и примитивному «Краткому курсу истории ВКП(б)». В литературе торжествовали Бубенновы и Бабаевские со своими «Кавалерами золотой звезды» и «Белыми березами», в театре — Софроновы и Суровы со своими «Стряпухами» и «Зелеными улицами». Мей-

ерхольд и Бабель были расстреляны, Мандельштам погиб в лагере, Цветаева повесилась, Платонов выкашливал последние легкие, подметая литинститутский дворик, «ушли на дно» Ахматова, Зощенко, Пастернак, Заболоцкий, Булгаков...

Таково было тогда «соотношение частей» в нашей «жизненной квашне». И не замечать всего этого мог только слепец. Или человек, притворяющийся слепым.

Я вспомнил все это здесь и сейчас и решился повторить, напомнить об этом читателю, потому что нечто похожее случилось со мною и в 1946-м, когда я впервые читал пьесу Симонова «Русский вопрос». Вот эту ее сцену:

► Г у л ь д (холодно). Во-первых, с завтрашнего дня ты будешь нищим.

С м и т. Возможно.

Г у л ь д. Во-вторых, рано или поздно от тебя уйдет Джесси.

С м и т. Возможно. Но не стоит говорить об этом сейчас...

Г у л ь д. Я тебе говорю как друг — твой и ее.

С м и т. Замолчи. И больше ни слова о дружбе. Я знаю все о том, что у вас было в Австралии. И довольно об этом.

Г у л ь д. Она тебе сказала?

С м и т. Нет, я просто знаю сам.

Г у л ь д. А она — она знает, что ты...

С м и т. Конечно, нет. Когда у женщины бывает черное пятно в жизни (*кивнув на Гульда с откровенной насмешкой*), а особенно такое, — порядочный человек никогда не напоминает ей об этом. (*Пауза.*) Не подходи ко мне. Дело не ограничится мелкой дракой. Я просто убью тебя. Лучше сядь. Вот так. И я сяду.

Оба садятся.

Сказать по правде, я очень давно не люблю тебя, Джек Гульд. Еще со школы, где мы учились вместе. Я не люблю тебя за то, что таким, как ты, удобнее, чем мне, жить в моей стране, которую я все-таки люблю, люблю, несмотря на ваше присутствие в ней. Я не люблю тебя за то, что ты смеешься над честностью, за то, что я в десять раз талантливей и в сто раз бедней тебя. Я не люблю тебя за то, что моя жена была когда-то твоей любовницей, не потому, что она любила тебя, а потому, что ты всегда поспеваешь вовремя дешево купить дом, когда умер хозяин, и дешево приласкать женщину, когда она одинока. Я не люблю тебя за то, что ты считаешь, что быть подлецом — это естественное состояние человека. И еще больше за то, что ты чуть не заставил и меня поверить в это.

(К. Симонов. *Стихи. Пьесы. Рассказы.*
М., 1949. Стр. 528).

Мысли, которые пришли мне в голову, когда я читал этот отрывок, были не такими ясными и определенными, как те, что осенили меня, когда я вникал в рассуждения гроссмановского академика Чепыжина. Но это были те же самые мысли.

► — Я не люблю тебя за то, что таким, как ты, удобнее, чем мне, жить в моей стране...

Сколько было вокруг меня людей, которым и я мог бы кинуть в лицо эти слова! Мысленно их повторяя, я всей кожей чувствовал, что сказано это не про Америку, а про ту страну, в которой я родился и жил.

Монолог гроссмановского академика Чепыжина прямо наводит на мысль о близости — и даже тождестве — сталинского и гитлеровского режимов. Хотел ли Гроссман, когда сочинял его, внушить эту мысль читателю?

Вряд ли. С полной, непререкаемой ясностью эта мысль открылась ему много позже. Но в каком царстве-государстве ему выпало жить, он знал хорошо.

Симонов — не Гроссман. И он скорее всего даже не предполагал, что нарисованная им картина американской жизни может быть отражением и нашего, советского мироустройства, которое наверняка представлялось ему безусловно справедливым.

Неприязнь к подлецам, которым в его стране живется удобнее, чем честным людям, была его собственной, личной неприязнью. Но подарил он ее своему герою не для того, чтобы у читателя возникали по этому поводу какие-то, как потом мы стали говорить, *аллюзии*, а с тою лишь единственной целью, чтобы сделать образ своего Гарри Смита более живым и достоверным. Чтобы он не совсем уж походил на муляж, казался живым человеком.

С тою же целью, — хотя, быть может, и не осознанно, а подчиняясь некоему художественному инстинкту, который все же был ему присущ, — женщину, которую любит и на которой женится этот его герой, он сделал в чем-то похожей на свою любимую — ту, что была героиней его лирического цикла «С тобой и без тебя»:

Я девочкой тебя не звал,
Не рвал с тобой цветы,
В твоих глазах я не искал
Девичьей чистоты.

Я не жалел, что ты во сне
Годами не ждала,
Что ты не девочкой ко мне,
А женщиной пришла...

И если будет суждено
Тебя мне удержать,
Не потому, что не дано
Тебе других узнать...

Нет, если будет суждено
Тебя мне удержать,
Тебя не буду всё равно
Я девочкою звать.

И встречу я в твоих глазах
Не с голубой, пустой,
А с женской, в горе и страстях
Рожденной чистотой.

Именно вот такой предстала перед зрителями Джесси — жена Гарри Смита, которую ему так и не удалось удержать. Особенно это бросалось в глаза в спектакле «Ленкома», где ее играла героиня симоновского лирического дневника Валентина Серова.

Все это, конечно, немало способствовало успеху «Русского вопроса». Но и не отменяло правоты Стейнбека, сказавшего, что герои ее «ходульны, сделаны из папье-маше».

Ну а что касается природы грандиозного успеха этой симоновской пьесы, то она, эта ее природа, ни у кого сомнений не вызывала. В том числе и у самого Симонова:

- ▶ Итак, вместо публицистики об Америке, которой от меня ждали в разных редакциях, я за три недели написал пьесу «Русский вопрос» и, как уже упомянул, напечатал ее в «Звезде». Она была предназначена к постановке в одном театре — Ленинского комсомола, а пошла в пяти московских театрах — в Художественном, Малом, Вахтангова, Моссовета, Ленинского комсомола, и в трех ленинградских — в Александринке, в Большом драматическом и в Театре комедии. Как выяснилось, Сталин, особенно внимательно следивший за журналом «Звезда» после постановления ЦК — в этом журнале редактором стал по совместительству московский работник агитпропа ЦК профессор Еголин, — прочел пьесу, она ему показалась то ли хорошей, то ли полез-

ной, — последнее для него как для политика, в чем я потом не раз убеждался, играло, разумеется, первостепенную роль, а вкусовые впечатления только вторую, — и распорядился широко поставить «Русский вопрос». Пьеса, наверное, и так пошла бы по стране широко, но, разумеется, в пяти московских театрах сразу ее бы никто не ставил.

Уже не помню сейчас, что предшествовало чему — Сталинская премия за эту пьесу распоряжению о постановке ее в пяти театрах Москвы или постановка — премии. Но не в этом суть дела, а в том, насколько категоричным было указание. Когда я пришел в Комитет по делам искусств и попросил тогдашнего его председателя, чтобы — да простится мне это задним числом — пьесу не ставили хотя бы в пятом московском театре, в Вахтанговском, о чем я узнал в последнюю очередь, он в ответ только развел руками, сказал, что это вопрос решенный, решенный не им, и не в его возможностях что-либо тут менять.

(К. Симонов. Истории тяжелая вода. Стр. 366—367).

Симонов, как мы помним, так объяснял, почему вместо серии ожидавшихся от него публицистических статей он решил написать пьесу:

- ▶ Мне показалось, что рассказать о том, что я знал больше и лучше, ближе наблюдал... я смогу лучше в драматургической форме.

(Там же. Стр. 366).

Такой, стало быть, был у него художнический, чисто творческий посыл. Так сказать, «чувство формы».

Может быть, так оно и было. Но можно не сомневаться, что при этом он руководствовался и прямым указанием вождя, наверняка ему известным:

- Пьесы — сейчас тот вид искусства, который нам нужнее всего. Пьесу рабочий легко просмотрит. Через пьесы легко сделать наши идеи народными. Пьесы — самый массовый вид искусства в литературе. Вот почему пишете пьесы.

(РГАСПИ, ф. 17, оп. 132, д. 230, л. 74).

Так что, не слишком рискуя ошибиться, можно утверждать, что не только содержание, но и форма «Русского вопроса» была подсказана (заказана) Симонову «лично товарищем Сталиным».

* * *

Своей пародией на «Русский вопрос» Стейнбек и Капа хотели обнажить, наглядно продемонстрировать нереальность, нелепость, абсурдность основной коллизии этой симоновской пьесы. Но то, что в приложении к Америке им представлялось абсурдом, в приложении к российской, советской действительности обернулось наиреальнейшей реальностью. Мыслимое ли это дело — хотели они сказать этой своей пародией, — чтобы журналист или писатель, написавший не ту книгу, какая была ему заказана, был подвергнут остракизму, фактическому запрету на профессию и даже обречен на нищенское, голодное существование? Смешно! Но в Советском Союзе такое было не то что возможно, а ТОЛЬКО ТАК И БЫВАЛО.

Совсем недавно это случилось с Зощенко и Ахматовой, несколько раньше — с Авдеенко, еще раньше — с Платоновым. Да что говорить! Писателей, осмелившихся писать не то, что им было заказано (поручено), у нас просто убивали. Так что гостям Симонова, которым Стейнбек и Капа читали эту свою веселую пародию, вряд ли было до смеха.

Слушая ее, они хихикали, и Стейнбек с Капой вполне могли решить, что своей сатирой достигли цели, которую перед собой поставили. На самом же деле хихикали они не потому,

что сюжет этой пародии представился им полным абсурдом, не потому, что ничего подобного в нашей стране не могло произойти, а потому, что ТАКОГО НЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ С СИМОНОВЫМ.

Вообще-то, конечно, могло. От внезапного и не всегда объяснимого сталинского гнева не был застрахован никто, и совсем недавно это чуть было не произошло и с Симоновым. Но — не произошло. И не потому, что Сталин — опять же, по каким-то своим, никому не ведомым соображениям — вдруг сменил гнев на милость.

Григорий Бакланов в своей мемуарной книге «Жизнь, подаренная дважды», вспоминая об одной своей заграничной командировке, где он оказался вдвоем с Эренбургом и соскучившийся по собеседнику Эренбург вдруг с ним разоткровенничался, припомнил такой из его рассказов:

- ▶ Илья Эренбург в дни 20-летия Словацкого восстания рассказывал мне в Праге, как после разгрома в печати повести «Дым отечества» поехал он к Симонову на дачу в Переделкино подбодрить его. Было лето. В шортах, загорелый, лежал Симонов в гамаке. «Жизнь кончена», — сказал он. После этого он написал «Русский вопрос». Мне запомнились эти, одна за другой без всякого выражения сказанные Эренбургом фразы: «Жизнь кончена, после этого он написал «Русский вопрос».

(Г. Бакланов.
Жизнь, подаренная дважды.
М., 1999. Стр. 119).

Эренбург в ту пору был с Симоновым в ссоре (о причинах этой их ссоры я еще расскажу) и потому был не совсем к нему справедлив. Желание оправдаться, выслужиться перед Сталиным в числе стимулов, толкнувших его к созданию этой

пьесы, конечно, тоже присутствовало. Но двигали им тут и другие, более мощные стимулы.

Умение Симонова почти всегда чуть ли не первым угадывать, что нужно Сталину в данный момент, и потому всякий раз оказываться не то что на плаву, а на самой вершине успеха, не было вульгарным лакейством, вошедшей в привычку ловкостью опытного царедворца. Основой этого его поразительного умения была сама природа его дарования, некие сущностные свойства его личности, не только приобретенные, но и врожденные.

Сюжет третий

«НЕ ЗА УСПЕХИ, А ЗА ПОВЕДЕНИЕ...»

Это обрывок знаменитой реплики В.Б. Шкловского.

– Оценки, – сказал Виктор Борисович, – нам ставят не за успехи, а за поведение.

Конечно, лучше бы ценили за успехи. Но Б.Л. Пастернак полагал, что художнику и это ни к чему. Жажда успеха может даже помешать ему исполнить истинное свое предназначение:

Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Последние две строки этого четверостишия вряд ли метили в Симонова. Да и вообще в кого-либо из знаменитых тогдашних писателей и поэтов. Это была не стрела, пущенная в какую-то определенную мишень, а общее рассуждение, скорее философского, чем сатирического порядка. Но когда вспоминаешь тех, чьи громкие име-

на были в то время «притчей на устах у всех», первым приходит на ум имя именно Симонова. (Как позже — Евтушенко.)

Борис Леонидович, однако, и сам был не чужд стремления к успеху. И даже официальному, о чем прямо свидетельствуют два его письма, обращенные к секретарю ЦК А.С. Щербакову (я их однажды уже цитировал).

► ИЗ ПЕРВОГО ПИСЬМА
Б.Л. ПАСТЕРНАКА А.С. ЩЕРБАКОВУ

16 июля 1943 г.

Мне кажется, я сделал не настолько меньше нынешних лауреатов и орденосцев, чтобы меня ставили в положение низшее по отношению к ним.

Мне казалось мелким и немыслимым обращаться к Иосифу Виссарионовичу с этими страшными пустяками.

Любящий Вас
Б. Пастернак.

(Б. Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 9. Стр. 349).

► ИЗ ВТОРОГО ПИСЬМА
Б.Л. ПАСТЕРНАКА А.С. ЩЕРБАКОВУ

5 мая 1944 г.

Я ничего не прошу. Но пусть не затрудняют мне работы в такой решающий момент, ведь я буду жить не до бесконечности, надо торопиться... Надо напомнить, что я не дармоед даже и до премии и без нее...

Простите, что занял у Вас так много времени и говорю с Вами без обиняков. Вы единственный, обращение к кому не унижает меня.

Неизменно верный Вам и любящий Вас
Б. Пастернак.

(Там же, стр. 374).

В его стремлении получить Сталинскую премию не было не только ничего противоестественного, но и ничего несбыточного. Ему казалось, что он вполне мог стать лауреатом, — не за собственные свои произведения (он, конечно, понимал, что это невозможно), так за переводы Шекспира. Получил же тогда (в 1943–1944 гг.) Сталинскую премию (ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ!) Михаил Лозинский!

Как было — несколько неуклюже — сказано в «наградном листе»:

- ...за образцовый перевод в стихах произведения Данте «Божественная комедия».

(Сталинские премии: две стороны одной медали. Сборник документов и художественно-публицистических материалов. Новосибирск, 2007. Стр. 758).

Борису Леонидовичу казалось — и как будто не без некоторых к тому оснований, — что он тоже мог бы удостоиться такой же премии. Ну, не первой, — так хоть второй степени, — с такой, скажем, формулировкой: «... за образцовый перевод в стихах произведения Шекспира «Гамлет».

На самом деле такое случиться, конечно, не могло.

При всем своем незаурядном уме природу официального советского успеха Б.Л. не понимал. Не понимал того, что понял и с присущим ему блеском выразил Виктор Борисович Шкловский.

Оценки-то давали не за успехи, а за поведение. А поведение у Бориса Леонидовича, как мы знаем, было неважное.

Константин Михайлович Симонов получил не одну, а ШЕСТЬ Сталинских премий.

В 1941 году — за пьесу «Парень из нашего города».

В 1942-м — за пьесу «Русские люди».

В 1943–1944-м — за повесть «Дни и ночи».

В 1946-м — за сборник стихов «Друзья и враги».

В 1949-м — за пьесу «Чужая тень».

Из всех этих наград Симонов только одну считал не вполне заслуженной:

- ▶ В Москве «Чужую тень» поставил МХАТ, в Ленинграде — Большой драматический. Несмотря на все отрицательные стороны пьесы — ее грубую прямолинейность, ложную патетику, фальшивые ноты в рассуждениях о науке и низкопоклонстве в одних местах, ряд психологических натяжек в других, Ливанов и Болдуман силой своих незаурядных актерских дарований как-то вытащили свои роли, сыграли их, совершив почти невозможное. То же самое можно сказать и о Полидеймако в Большом драматическом театре.

Пьесу и спектакли густо хвалили в печати, ей была присуждена Сталинская премия, но все это... было уже для меня как-то безрадостно или почти безрадостно.

(К. Симонов. *Истории тяжелая вода*. Стр. 397).

Что же касается остальных ПЯТИ полученных им Сталинских премий, то их, как это ему представлялось, он получил по заслугам. То есть — за подлинные, а не мнимые свои успехи.

Так оно на самом деле и было. Во всяком случае, с точки зрения того, кто ему эти премии давал.

Но не последнюю роль тут играло и *поведение*.

А *поведение* у него — опять же с точки зрения того, кто эти его успехи оценивал, — всегда было самое образцовое.

* * *

В сентябре 1946 года специальным постановлением Оргбюро ЦК ВКП(б) была изменена структура управления Союзом писателей СССР. При этом были произведены существенные персональные замены и перемены в персональном составе руководства этого гигантского литературного департа-

мента. После двухгодичной отставки на должность главы Союза за вновь вернулся на время отстраненный Фадеев, сменив два года тому назад назначенного на эту должность Н. Тихонова. Изменилось при этом и наименование этой должности: Тихонов назывался председателем Правления Союза советских писателей, а назначенный на эту должность Фадеев стал именоваться (как Сталин) **генеральным секретарем**.

В том же постановлении был объявлен уже утвержденный список заместителей генерального секретаря.

► ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОРГБЮРО ЦК ВКП(Б)
О СМЕНЕ РУКОВОДСТВА ССП СССР

13 сентября 1946 г.

№ 277. п. 7 — Вопросы Союза писателей СССР.

1. Освободить т. Тихонова Н.С. от работы председателя Правления Союза советских писателей СССР.

2. Для руководства текущей работой Союза советских писателей образовать секретариат Союза в составе 13 человек: генерального секретаря, 4 заместителей генерального секретаря и 8 членов Секретариата.

3. Утвердить:

а) генеральным секретарем Союза советских писателей т. Фадеева А.А.,

б) заместителями генерального секретаря Союза советских писателей тт. Симонова К., Тихонова Н., Вишневого В., Корнейчука А.

в) членами Секретариата Союза советских писателей тт. Горбатов Б.Л., Упитса А.М., Венцлова А.Т., Семпер И., Чиковани С.И., Якуба Коласа, Айбека (Ташмухамедова Мусу), Леонова Л.М.

Всем, кто знал, как надо читать тексты таких партийных постановлений, сразу бросилось в глаза, что заместители генерального секретаря и члены секретариата были поименова-

ны в нем НЕ ПО АЛФАВИТУ. Это означало, что тот, кто шел в этом списке первым, назначался ПЕРВЫМ ПО ДОЛЖНОСТИ. Первым же в нем шел Симонов. Стало быть, этот хотя и очень известный, но никаких официальных должностей никогда не занимавший молодой (ему было тогда немногим более тридцати) писатель станет ПЕРВЫМ ЗАМОМ ФАДЕЕВА, то есть ВТОРЫМ ЧЕЛОВЕКОМ в Союзе писателей!

Это неожиданное решение Сталина (а решить это мог только он) стало полной неожиданностью и для самого Симонова:

- ▶ ...К концу лета сорок шестого года, когда после постановлений ЦК были предreshены перемены руководства в Союзе писателей и предполагалось изменение самой структуры этого руководства, я... к деятельности Союза писателей практически не имел никакого отношения и оставался в этом смысле совершенно зеленым и неопытным человеком... Кажется, один раз, может быть, два — между поездками на фронт — присутствовал на не запомнившихся мне заседаниях Президиума. Вот и всё... И когда в конце августа или в сентябре сорок шестого года, после моего возвращения в Москву, нас всех, членов Президиума Союза писателей, собрали у Жданова для обсуждения вопроса о том, как дальше работать Союзу, я был, повторяю, человеком совершенно зеленым в этом смысле.

Первое из двух обсуждений было длительным, продолжалось несколько часов. Разные люди называли разные кандидатуры в состав секретариата, который, как предполагалось, практически будет руководить работой Союза. И когда Борис Горбатов вдруг как одну из возможных кандидатур в руководители Союза предложил мою, в неумеренных выражениях расхвалив перед этим меня как организатора и главу нашей писательской бригады в Японии, то все только улыбались этому

предложению как весьма дружелюбному по отношению ко мне, но в то же время несерьезному. А я, когда кончилось заседание и мы двинулись домой, ругательно ругал Бориса, который после общей реакции на его предложение, кажется, чувствовал себя немножко смущенным...

А через два или три дня нас собрали там же, у Жданова, и Жданов сказал, что о предыдущем обсуждении дел Союза писателей, которое происходило здесь, было рассказано товарищу Сталину, что состоялось решение поручить партийной группе правления Союза писателей рекомендовать организацию секретариата Союза писателей в следующем составе: генеральный секретарь правления Союза писателей Фадеев, заместители генерального секретаря Симонов, Вишневский, Тихонов, секретари Леонов и Горбатов...

...Фадеев как глава Союза не был ни для кого из нас неожиданностью, сама формулировка «генеральный секретарь», несомненно, не могла прийти в голову никому, кроме Сталина. Автором этой формулировки был он. Очевидно, он же, по каким-то своим соображениям, расставил не по алфавиту, а по порядку замещения трех заместителей генерального секретаря...

В общем, все было решено за нас, и мы были расставлены по своим местам Сталиным, и расставлены, насколько я могу судить по первым годам работы Союза, довольно разумно. Так, всего еще неделю назад не думая ни о чем близко похожем, я оказался одним из руководителей Союза писателей, и это на многие годы определило и характер моей жизни, и некоторые особенности моей работы как литератора.

*(К. Симонов.
Истории тяжелая вода.
Стр. 359–361).*

А неделю спустя последовало еще одно назначение: он стал (разумеется, тоже по личному распоряжению Сталина) редактором «Нового мира».

Это новое назначение, в отличие от первого, не было для него неожиданностью. Разговоры на эту тему с ним уже велись, и он даже излагал в ЦК разные свои соображения насчет того, каким он себе представляет журнал. Соображения эти были доложены Сталину и были им одобрены. Доволен он был и тем, как Симонов проявил себя в роли редактора. И некоторое время спустя он подобрал ему новую должность, которую — о причинах этого речь впереди — считал более важной: сделал его редактором «Литературной газеты».

Так Симонов стал «порученцем» уже не в метафорическом, а самом прямом, буквальном смысле этого слова. Эти новые его назначения даже еще в большей степени, чем должность первого зама Фадеева, определили, как он сам это сформулировал, «характер его жизни и особенности его работы как литератора».

О многих поручениях, которые ему приходилось исполнять на всех этих разных его должностях, он потом вспоминал со стыдом. (К этой неприятной теме мне еще придется вернуться.) Но Симонов был не ординарным порученцем. В сложной системе сталинских порученцев ему (как Эренбургу) была назначена особая роль.

* * *

В предыдущем сюжете я привел отрывок из «Русского дневника» Стейнбека, в котором рассказывалось о маленьком скандале, разыгравшемся во время прощального ужина, который ВОКС устроил ему и Роберту Капе в ресторане «Арагви».

Кто-то из присутствовавших на этом ужине чиновников, — а может быть, даже и литераторов, — сказал, что существуют разные правды, и они, Стейнбек и Капа, вернувшись

домой, должны рассказать американцам такую правду, которая способствовала бы развитию добрых отношений между русским и американским народами. И тут вскочил Эренбург и обрушил на этого чиновника (а может быть, и литератора) яростную речь, смысл которой был в том, что никто не смеет указывать писателю, ЧТО И КАК он должен писать.

Эренбурга поддержал Симонов.

Этот свой рассказ Стейнбек заключил так:

- ▶ Нам всегда внушали, что партийная линия настолько непоколебима, что среди писателей не может быть никаких расхождений. Атмосфера этого ужина показала нам, что это совсем не так...

(Дж. Стейнбек. Русский дневник).

Вряд ли надо объяснять, что именно такой итог инцидента был выгоден Сталину. Именно такое представление о положении писателя в Советском Союзе хотел он внушить — не только Стейнбеку, но и всему мировому общественному мнению.

Я вовсе не хочу этим сказать, что яростная реакция Эренбурга на тупую реплику дурака-чиновника была задумана им как некий пропагандистский ход. Нет, конечно! Это был искренний душевный порыв. Но этот его искренний, живой, непосредственный душевный порыв великолепно вписывался в систему сталинской пропаганды. Не только не «подрывал», но даже укреплял ее.

Для этого и нужен был Сталину Эренбург.

Для тех же целей мог пригодиться ему и Симонов. Но роль Симонова все-таки была другая.

Эренбург говорил о себе:

— Мне многое позволено, потому что я Эренбург.

Так оно на самом деле и было.

Соглашаясь выполнить то или иное поручение Сталина, он даже позволял себе выдвигать некоторые встречные условия.

Для наглядности напомним эпизод, к которому я уже обращался однажды.

21 сентября 1948 года в «Правде» появилась большая статья Эренбурга. Называлась она — «По поводу одного письма».

Она была как бы ответом на письмо некоего Александра Р., студента-еврея из Мюнхена, который обратился к нему, Эренбургу, с жалобами на антисемитизм в Западной Германии и доказывал, что единственное спасение для всех евреев от этой их общей беды — эмиграция в Израиль.

Если не всем, то многим читателям этой статьи уже тогда было ясно, что никакого Александра Р. в действительности не существует, что фальшивое это письмо было состряпано в недрах советского агитпропа, а так называемый ответ Эренбурга этому несуществующему германскому студенту был Илье Григорьевичу **заказан**. И не кем-нибудь, а самим Сталиным.

Сейчас эта нехитрая догадка подтверждена обнаруженными (сравнительно недавно) документами.

В архивах отыскалась записка Маленкова Сталину, отправленная ему 18 сентября вместе с оттиском эренбургской статьи:

- ▶ Перед отпуском Вы дали указание подготовить статью об Израиле. Дело несколько задержалось из-за отсутствия в Москве Эренбурга. На днях Эренбург прибыл. Мы с Кагановичем, Поспеловым и Ильичевым имели с ним разговор. Эренбург согласился написать статью.

*(Советско-израильские отношения.
Сборник документов. 1941—1953.
т. 1, кн. 1, стр. 375—383).*

На оттиске посланной Сталину статьи Эренбурга – сделанная рукой Поскребышева пометка: «Товарищ Сталин согласен».

Итак, сомнений нет: статья Эренбурга «По поводу одного письма» – чистойшей воды **заказуха**.

Однако самое интересное в этой записке Маленкова не это. Самое интересное и даже поразительное в ней вот эти два слова: «Эренбург согласился». Попробовал бы он не согласиться!!!

Но и «товарищ Сталин» тоже выразил свое согласие.

С чем же он согласился? По-видимому, с каким-то встречным предложением Эренбурга, не так ли?

Да, именно так.

В начале сентября, уезжая в отпуск, Сталин распорядился подготовить статью о том, как советские евреи должны отнестись к государству Израиль. Статья эта по его замыслу должна была быть подписана несколькими громкими именами. Первым в этом списке им был назван Эренбург. Естественно, к нему первому и обратились. Но Эренбург, как доложили Сталину, «высказался против того, чтобы статья вышла за несколькими подписями». Он готов был нести личную ответственность за все, что будет написано в этой статье, но при условии, что напишет это сам и (в рамках сталинского заказа, конечно) напишет **то, что захочет и так, как захочет**. (Антисионистская направленность статьи не противоречила его собственным взглядам на будущее мирового еврейства.)

Вот в этом и была разница между Эренбургом и Симоновым.

Чтобы создать иллюзию некоторого свободомыслия в монолите советской пропаганды, Эренбурга Сталин **использовал**.

Симонову он такое задание просто **поручил**.

- ▶ – Мы здесь думаем, – сказал он, – что Союз писателей мог бы начать выпускать совсем другую «Литературную газету», чем он сейчас выпускает. Союз

писателей мог бы выпускать своими силами такую «Литературную газету», которая одновременно была бы не только литературной, а политической, большой, массовой газетой. Союз писателей мог бы выпускать такую газету, которая остро, более остро, чем другие газеты, ставила бы вопросы международной жизни, а если понадобится, то и внутренней жизни. Все наши газеты так или иначе официальные газеты, а «Литературная газета» — газета Союза писателей, она может ставить вопросы неофициально, в том числе и такие, которые мы не можем или не хотим поставить официально. «Литературная газета» как неофициальная газета может быть в некоторых вопросах острее, левее нас, может расходиться в остроте постановки вопроса с официально выраженной точкой зрения. Вполне возможно, что мы иногда будем критиковать за это «Литературную газету», но она не должна бояться этого, она, несмотря на критику, должна продолжать делать свое дело.

Я очень хорошо помню, как Сталин ухмыльнулся при этих словах.

(К. Симонов.
Истории тяжелая вода.
Стр. 377—378).

На этой встрече со Сталиным их было трое: Фадеев, Симонов и Горбатов. И обращался Сталин ко всем трем, — как руководителям Союза писателей. Но я не оговорился и не погрешил против истины, написав, что это поручение Сталина было дано Симонову. Потому что именно Симонов был назначен главным редактором этой новой «Литературной газеты». И именно он сделал ее такой, какой ему поручил сделать ее Сталин.

Это сталинское поручение, предполагающее некоторую свободу действий, определило не только направление изменившей свой облик «Литературной газеты», но и выходящий за рамки тогдашних стандартов стиль общественного поведения ее главного редактора.

* * *

27 февраля 1951 года в «Комсомольской правде» появилась статья Михаила Бубеннова — «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?»

Автор «Белой березы» Михаил Бубеннов был самым злостным антисемитом в Союзе писателей. А может быть, даже и во всем СССР. И эта его статейка, конечно, отражала и личные его чувства. Но — не только.

Идеологическая кампания 49-го года, дойдя до верхней точки, постепенно сошла на нет и в конце концов окончательно угасла. И вот теперь, спустя два года кто-то (кто? Не один же Бубеннов) решил ее, так сказать, реанимировать. Во всяком случае — кинуть пробный камень:

- ▶ Белорусская поэтесса Ю. Каган выбрала псевдоним Эди Огнецвет. А какая необходимость заставила ее сделать это?.. Молодой московский поэт Лидес стал Л. Лиходеевым, С. Файнберг — С. Северцевым, Н. Рамбах — Н. Гребневым.

Выбор «мальчиков для битья» о намерениях автора говорит достаточно ясно. Но для полной ясности он решил все-таки «под занавес» поставить все точки над «і»:

- ▶ Нередко за псевдонимами прячутся люди, которые антиобщественно смотрят на литературное дело и не хотят, чтобы народ знал их подлинные имена. Не секрет, что псевдонимами охотно пользовались космополиты в литературе.

(М. Бубеннов.

*Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?
Комсомольская правда, 27 февраля 1951 года).*

Слово «космополиты» не оставляло уже никаких сомнений насчет того, куда метит автор и ради чего написана эта

его статейка. И зловещий смысл ее всеми был понят однозначно: как сигнал к новому погрому.

Не вполне ясно было только, стоят ли за этой акцией отдельные, хоть и влиятельные, но все же никем не уполномоченные энтузиасты, или — как и в тот раз — все наше великое и могущественное государство, то есть — сам Хозяин.

Волнующая пауза эта длилась ровно неделю. Шестого марта в «Литературной газете» появился ответ. Он был краток. И назывался скромно: «Об одной заметке».

И малый размер реплики, и скромное ее название призваны были подчеркнуть, что выстрелу «Комсомольской правды» не стоит придавать особого значения. Автор реплики, в сущности, даже не полемизировал с Бубенновым. Он просто высек его. Как мальчишку:

► ОБ ОДНОЙ ЗАМЕТКЕ

В советском авторском праве узаконено, что «только автор вправе решить, будет ли произведение опубликовано под действительным именем автора, под псевдонимом или анонимно» (БСЭ, изд. 2-е, т. 1, с. 281). Однако ныне решение этого вопроса, ранее решавшегося каждым литератором самостоятельно, взял на себя единолично писатель Михаил Бубеннов и, решив его один за всех, положил считать отныне литературные псевдонимы «своеобразным хамелеонством», с которым «настало время навсегда покончить».

В своей заметке «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?» («Комсомольская правда», № 47) Михаил Бубеннов привел список ряда молодых литераторов, литературные псевдонимы которых пришлось ему, Бубеннову, не по вкусу...

«Любители псевдонимов, — пишет Бубеннов, — всегда пытаются подыскать оправдание своей странной склонности». Непонятно, о каких оправданиях го-

ворит здесь Бубеннов, ибо никто и ни в чем вовсе и не собирается перед ним оправдываться.

А если уж кому и надо теперь подыскивать оправдания, то разве только самому Михаилу Бубеннову, напечатавшему неверную по существу и крикливую по форме заметку, в которой есть оттенок зазнайского стремления поучать всех и вся, не дав себе труда разобраться самому в существе вопроса. Жаль, когда такой оттенок появляется у молодого, талантливого писателя.

Константин Симонов

(Кирилл Михайлович Симонов)

(Литературная газета, 6 марта 1951 года).

Самым обидным для Бубеннова тут было то, что его называли *молодым писателем*. Трудно было найти формулу более уничижительную, чем эта. Ведь эпитет «молодой» определялся тогда отнюдь не возрастом писателя и даже не его литературным стажем, а прежде всего — и даже исключительно — **местом**, которое этот писатель занимал в негласной, но хорошо всем известной табели о рангах.

Зачислив Бубеннова в ряды «молодых талантливых писателей», ему как бы указали его место. Прямо дали понять, что он слишком много — не по чину! — на себя берет. И сделал это не кто-нибудь, а второй (после Фадеева) человек в ареопаге литературного начальства — секретарь СП и главный редактор «Литературной газеты», любимец Сталина — К.М. Симонов.

Но те, кто стоял за Бубенновым, тоже были не лыком шиты. И сдаваться они не собирались. К полю боя быстро была подтянута тяжелая артиллерия, и ответный выстрел последовал почти мгновенно. Через два дня, восьмого марта, в той же «Комсомольской правде» появился ответ Симонову, подписанный Михаилом Шолоховым. Я говорю «подписанный», поскольку не уверен, что ответ самого Шолохова, жи-

вущего, как известно, в Вешенской, можно было организовать так быстро.

Не исключаю, что Шолохов в это время действительно был в Москве и, в отличие от «Тихого Дона», это свое произведение сочинил сам. Но тем, кто подвинул его на эту акцию, нужно было, конечно, не «золотое перо» Шолохова, не божественный его художественный дар. Им нужно было его имя. Именем этим они хотели сказать Симонову:

– Наш козырь старше!

Старшинство, подтвержденное той же негласной табелью о рангах, давало Шолохову право разговаривать с Симоновым свысока, с той же мерой снисходительности, с какой тот обращался к Бубеннову. Но он эту меру даже слегка превысил:

- ▶ Кого защищает Симонов? Что он защищает? Сразу и не поймешь... Спорить надо, честно и прямо глядя противнику в глаза. Но Симонов косит глазами...

Кто же ответит Шолохову?

Сомнительно было, чтобы кто-нибудь посмел ему ответить. Ведь другого такого козыря во всей той карточной колоде больше не было.

Статейка Шолохова, как я уже говорил, появилась на страницах «Комсомольской правды» 8 марта. А ответ на нее был обнародован даже быстрее, чем на статью Бубеннова, — 10 марта, то есть через два дня. Под ним стояла подпись того же Симонова.

Ответ был написан в очень решительном тоне. Он, в сущности, завершал дискуссию, о чем автор объявлял с некоторой даже надменностью.

- ▶ Я убежден, что вся поднятая Бубенновым мнимая проблема литературных псевдонимов высосана из пальца в поисках дешевой сенсационности и не представляет серьезного интереса для широкого читателя.

Именно поэтому я стремился быть кратким в обеих своих заметках и не намерен больше ни слова писать на эту тему, даже если «Комсомольская правда» вновь пожелает предоставить свои страницы для недостойных нападок по моему адресу.

*К. Симонов.
(Литературная газета,
10 марта 1951 года).*

Прочитав тогда этот его ответ, я был уверен, что на этом дело не кончится. Что Симонову непременно кто-нибудь возразит. Быть может, даже тот же Шолохов.

Но ответа не последовало. Последнее слово так и осталось за Симоновым.

Этот симоновский поступок казался тогда отчаянно смелым. И не только казался, но и был.

Но эта его смелость все-таки была разрешенной смелостью. И не только потому, что, назначая его редактором «Литературной газеты», Сталин выдал ему некий карт-бланш.

Совершая этот свой смелый поступок, Симонов исходил из предположения, что второй раз кампанию, подобную той, какую он развязал в 49-м году, Сталин больше не развяжет.

Это было даже не предположение, а уверенность. И надо сказать, что кое-какие основания для такой уверенности у него имелись.

* * *

На одном из заседаний Политбюро, где в очередной раз решался вопрос о присуждении Сталинских премий, Симонов стал свидетелем неожиданного спектакля, который перед ними разыграл Сталин.

Обсуждали роман Ореста Мальцева «Югославская трагедия». И тут Сталин вдруг (а может быть, и не вдруг) увидал, что вслед за фамилией автора этого романа «Мальцев» в скоб-

ках стоит другая — «Ровинский». Он, естественно, решил, что в скобках обозначена еврейская фамилия автора «Югославской трагедии». И, к изумлению всех присутствующих, разрился по этому поводу таким монологом:

- — Почему Мальцев, а в скобках стоит Ровинский? В чем дело? До каких пор это будет продолжаться? В прошлом году уже говорили на эту тему, запретили представлять на премию, указывая двойные фамилии. Зачем это делается? Зачем пишется двойная фамилия? Если человек избрал себе литературный псевдоним — это его право, не будем уже говорить ни о чем другом, просто об элементарном приличии. Человек имеет право писать под тем псевдонимом, который он себе избрал. Но, видимо, кому-то приятно подчеркнуть, что у этого человека двойная фамилия, подчеркнуть, что это еврей. Зачем это подчеркивать? Кому это надо? Человека надо писать под той фамилией, под которой он себя пишет сам. Человек хочет иметь псевдоним. Он себя ощущает так, как это для него естественно. Зачем же его тянуть, тащить назад?

Вот и вся моя запись по этому поводу. Добавлю, что Сталин говорил очень сердито, раздраженно, даже, я бы сказал, с оттенком непримиримости к происшедшему..

(К. Симонов. Истории тяжелая вода. Стр. 445).

Это заседание Политбюро происходило в марте 1952 года. Но реплика Сталина — «В прошлом году уже говорили на эту тему», — показывает, что отрицательное отношение Сталина к «раскрытию скобок» и в марте 51-го, когда Симонов отвечал Бубеннову и Шолохову, было ему уже известно.

В свете происходивших в стране событий многое, конечно, тут было ему неясно. При всей своей слепой вере в Сталина не мог же он не видеть, не замечать того, что происходит вокруг:

► Внезапная гибель Михоэлса, которая сразу же тогда вызвала чувство недоверия к ее официальной версии; исчезновение московского еврейского театра; послевоенные аресты среди писавших на еврейском языке писателей; появление вслед за псевдонимами скобок, в которых сообщались фамилии; подбор людей, попавших в статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков», по тому же признаку; различного рода поощрения действующим в этом направлении доброхотам, иногда делавшим или пытавшимся делать на антисемитизме собственную карьеру, — все это, однако, не складывалось в нечто планомерное и идущее от Сталина. Мне, например, в его антисемитизм верить не хотелось: это не совпадало с моими представлениями о нем, со всем тем, что я читал у него, и вообще казалось чем-то нелепым, несовместимым с личностью человека, оказавшегося во главе мирового коммунистического движения.

А все-таки чувствовалось, что происходит нечто ненормальное...

...При том отношении к Сталину, которое у подобных мне людей продолжало в те годы оставаться почти некритическим, мы в разговорах между собою не раз возвращались к тому, кто же закоперщик этих все новых и новых проявлений антисемитизма. Кто тут играет первую скрипку, от кого это идет, распространяется? Кто, используя те или иные неблагоприятные для евреев настроения и высказывания Сталина, существование которых мы допускали, стремитесь все это гиперболизировать и утилизировать? Разные люди строили разные предположения, подразумевая при этом то одного, то другого, то третьего, то сразу нескольких членов тогдашнего Политбюро...

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода.

Стр. 457—458).

И вот, наконец, все разъяснилось:

- ▶ ...Сам Сталин, может быть, к чьему-то неудовольствию, но к радости большинства из нас, недвусмысленно заявил, что если есть люди, которые уже второй год не желают принимать к исполнению, казалось бы, ясно выраженное им, Сталиным, отрицательное отношение к этим двойным фамилиям, к этому насаждению антисемитизма, то сам он, Сталин, не только далек от того, чтоб поддерживать нечто похожее, но счел нужным при нас с полной ясностью высказаться на этот счет и поставить все точки над «и», объяснив, что это идет не от него, что он этим недоволен, что он это намерен пресечь.

(Там же. Стр. 458–459).

Но дальнейшее развитие событий заставило его отказаться от этого объяснения и найти другое, более правдоподобное:

- ▶ Просто Сталин сыграл в тот вечер перед нами, интеллигентами, о чьих разговорах, сомнениях и недоумениях он, очевидно, был по своим каналам достаточно осведомлен, спектакль на тему «держи вора», дав нам понять, что то, что нам не нравится, исходит от кого угодно, но только не от него самого. Этот маленький спектакль был сыгран мимоходом. Сколько-нибудь долго объясняться с нами на эту тему он не считал нужным и был прав, потому что мы привыкли верить ему с первого слова.

(Там же. Стр. 459).

Итак, спектакль. Но для чего? С какой все-таки целью этот спектакль был разыгран?

Поначалу Симонов предполагал, что Сталин хотел таким образом отмазаться от гнусной кампании 49-го года, дав

понять, что ничего подобного больше не повторится. Но не прошло и года, и все повторилось в еще более разнузданном, совсем уже жутком варианте. И тут уже совсем нельзя было ничего понять:

- ▶ В голове была полная сумятица. С одной стороны, я хорошо помнил, как совсем недавно в моем присутствии Сталин выступал против антисемитизма, я слышал это своими ушами. И вдруг эти врачи-убийцы, этот список с преимущественно еврейскими фамилиями, эти обличения в связи с «Джойнтом», вся та муть, которая поднялась со дна вокруг этого.

Врачи-убийцы — страшнее, кажется, придумать было невозможно. Все, начиная от самой формулировки, было намеренно рассчитано на огромный резонанс, на то, что люди, хоть немного поддавшиеся на это, хоть в какой-то степени этому поверившие, станут людьми со сдвинутыми мозгами, людьми, боящимися повседневно за собственную жизнь, за собственное здоровье и, что еще страшнее, за здоровье своих детей. В общем, было ощущение, что последствия всего этого могут оказаться поистине невообразимыми. Я мысленно спрашивал себя: что же произошло? Что Сталин? Что, он сознательно обманывал нас тогда, когда говорил совершенно обратное тому, что делалось (тут не приходилось сомневаться) по его прямому указанию и разрешению теперь, или он был искренен и тогда, и теперь? И верны те страшные, робко просачивавшиеся слухи о каких-то смещениях в его психике?

(Там же. Стр. 474—475).

Версия о каких-то смещениях в психике вождя в последние годы (или месяцы?) его жизни бытует по сей день. И не только на уровне слухов. Ее всерьез высказывают порой даже солидные ученые, историки:

► Думается, что масштабы антисемитизма, которые имели место в СССР в начале 1953 года, были предельно допустимыми в рамках существовавшей тогда политико-идеологической системы. Дальнейшее следование тем же курсом, не говоря уже о проведении еврейской депортации, поставило бы страну перед неизбежностью радикальных политических и идеологических преобразований (легализация антисемитизма, а значит, и введение расовой политики, отказ от коммунистической идеологии, освящавшей государственное единство советских народов, и т.д.), чреватых самыми непредсказуемыми последствиями. Ибо зверь стихийного антисемитизма мог вырваться на свободу, и тогда страна погрузилась бы в хаос национальных и социальных катаклизмов. Подобная перспектива, разумеется, Сталина не устраивала. Да и по складу своего характера он не решился бы открыто выступить против евреев, хотя в душе, особенно в последние годы жизни, мог быть, что называется, патологическим антисемитом. Поэтому вождь, ревностно оберегавший свой революционный имидж большевика-ленинца, был обречен переживать муки психологической амбивалентности, которая, возможно, и ускорила его конец.

(Г. Костырченко.
Тайная политика Сталина.
М., 2001. Стр. 678).

В подтверждение верности и даже неоспоримости этой своей «научной» гипотезы историк приводит такой факт:

► Показателен в этой связи эпизод, описанный композитором Т.Н. Хренниковым. В конце 1952 года Сталин, в последний раз присутствовавший на заседании комитета по премиям своего имени, совершенно не-

ожиданно заявил: «У нас в ЦК антисемиты завелись. Это безобразие!»

(Там же).

Какие-то смещения в психике у Сталина, может быть, и были. Но что касается мук «психологической амбивалентности», которые он якобы был «обречен переживать» и которые ускорили его конец, то ничего подобного уж точно не было. И на это, между прочим, указывает как раз тот самый эпизод, о котором рассказал Т.Н. Хренников и на который ссылается наш ученый историк:

- ▶ ...Последняя встреча была в декабре 1952 года, за 2—3 месяца до смерти Сталина, мы сидим, обсуждаем (а вел всегда Политбюро Маленков, а Сталин сидел в сторонке, не имел вроде бы к этому отношения), — и вдруг Сталин говорит: «Товарищ Маленков, у нас что, в ЦК антисемиты завелись?! Это же безобразие, это же позорит нашу партию!» И такой произнес монолог, а в это время было «дело врачей», шла такая антисемитская атмосфера. Мы переглянулись с Фадеевым: оказывается, Сталин ничего не знает, что происходит. А здесь уже дело доходило почти до того, что собирались евреев вывозить из Москвы. Маленков говорит: «Мы из слов товарища Сталина должны сделать далеко идущие выводы». Я пришел домой, у меня жена еврейка, и я говорю: «Клара, Сталин ничего, оказывается, не знал об этом. Только что он говорил о том, что это позор для партии. Все изменится, все!»... Мы думали, что со следующего дня все изменится, а ничего не изменилось, а стало все ухудшаться и ухудшаться. И только смерть Сталина помешала тому позорному явлению, которое могло бы быть, для нашей страны, для нашей партии. Если бы Сталин остался жив — и депортацию бы со-

вершили евреев, и так далее, и я бы поехал с Кларой в Биробиджан или куда-то еще.

Он был великий артист... Он делал все, потому что без его слова ничего в нашей стране не делалось. Но он все сваливал, все плохое и негативное, на своих помощников. Потом он их убирал, расстреливал к черту и всё, а он такой Бог, нетронутый. И я понял это актерство Сталина, потому что до его смерти все ухудшалось и ухудшалось.

(Радио «Свобода».

Наши гости: лицом к лицу. Тихон Хренников.

Ведущая Марина Тимашева. 27 февраля 2005 г.

Цит. по: Сталинские премии: две стороны одной медали. Новосибирск, 2007. Стр. 539–540).

Читая это, я вспомнил рассказ Симонова о сталинских указаниях ему как одному из руководителей Союза писателей СССР и будущему редактору «Литературной газеты»:

- ▶ — «Литературная газета» как неофициальная газета может быть в некоторых вопросах острее, левее нас, может расходиться в остроте постановки вопроса с официально выраженной точкой зрения. Вполне возможно, что мы иногда будем критиковать за это «Литературную газету», но она не должна бояться этого, она, несмотря на критику, должна продолжать делать свое дело.

Я очень хорошо помню, как Сталин ухмыльнулся при этих словах.

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода. Стр. 377).

Вот так же, наверно, он (мысленно) ухмылялся, когда произносил свои гневные монологи о том, что в ЦК завелись антисемиты и это позорит нашу партию.

В литературе — теперь уже очень обширной — о последней сталинской антисемитской кампании, начатой сообще-

нием ТАСС о «деле врачей», среди множества версий предполагаемого развития событий есть такая.

Осужденных врачей повесят на Красной площади, после чего по доведенной до истерии стране прокатится волна еврейских погромов. И тогда, спасая уцелевших евреев от справедливого гнева народного, их сошлют в места отдаленные, где уже загодя выстроены для них бараки. И даже точно просчитан процент тех, кто доедет до этих бараков, а кому суждено будет погибнуть в пути.

Ну, а потом — откат. В дело вмешивается Вождь. И начинается волна новых посадок — теперь уже сажают погромщиков: ведь в гигантскую печь ГУЛАГа надо постоянно подбрасывать все новые и новые дрова.

Вот для чего он считал нужным время от времени напоминать, что всегда был и остается твердым и последовательным борцом с таким позорным явлением, как антисемитизм.

Таков ли на самом деле был сталинский сценарий развития событий, теперь нам уже не узнать. Быть может, у Сталина имелись в запасе и какие-то другие планы и варианты. Но одно несомненно. Отказываться от наращивания и ужесточения своей политики государственного антисемитизма он не собирался. И Константин Михайлович Симонов по долгу службы вынужден принимать в этом самое активное и деятельное участие.

* * *

В числе других своих поступков, о которых он потом вспоминал со стыдом, Симонов в своих записках упоминает и эти. Но — как-то глухо:

- ▶ За некоторые вещи, из происходивших тогда, на мне лежит горькая доля моей личной ответственности, о которой я и говорил, и писал потом в печати... Но антисемитом я, разумеется, не был и, когда я выступал

и писал в те мрачные времена, скобок вслед за псевдонимами не ставил. Хорошо помню, как больно, прямо по сердцу, меня хлестнуло возмущенное письмо, присланное мне писательницей Фридой Абрамовной Вигдоровой, человеком чистым и строгим, которого я уважал. В этом письме она возмущалась: как же я мог, как я позволил себе в одном из своих выступлений поставить эти проклятые скобки вслед за псевдонимами. На самом деле я был тут ни при чем, просто, излагая мое без того достаточно дурное выступление на каком-то обсуждении, составитель отчета сам понаставлял скобки всюду, где ему это вздумалось.

(К. Симонов.
Истории тяжелая вода. Стр. 446).

Скобки в том газетном отчете, наверно, и в самом деле «понаставлял» не он, а кто-то другой. Но выступление его, о котором идет речь, и без того, как он сам говорит, было «достаточно дурное». Да и не только о выступлениях не мешало бы ему тут вспомнить, но и о некоторых тогдашних его служебных записках.

Например, вот об этой:

- ▶ К.М. СИМОНОВ,
А.В. СОФРОНОВ – В ЦК ВКП(Б)
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ИСКЛЮЧИТЬ
ИЗ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
«КРИТИКОВ-АНТИПАТРИОТОВ»

26 марта 1949 г.

Секретно

Товарищу СТАЛИНУ И.В.
Товарищу МАЛЕНКОВУ Г.М.

В связи с разоблачением одной антипатриотической группы театральных критиков, Секретариат Со-

юза советских писателей ставит вопрос об исключении из рядов Союза писателей критиков-антипатриотов: Юзовского И.И., Гурвича А.С., Борщаговского А.М., Альтмана И.Л., Малюгина Л.А., Бояджиева Г.Н., Субоцкого Л.М., Левина Ф.М., Бровмана Г.А. как не соответствующих п. 2 Устава Союза советских писателей, в котором говорится: «Членами Союза советских писателей могут быть писатели (беллетристы, поэты, драматурги, критики), стоящие на платформе советской власти и участвующие в социалистическом строительстве, занимающиеся литературным трудом, имеющие художественные или критические произведения, напечатанные отдельными изданиями или в литературно-художественных и критических журналах (а также ставящиеся на профессиональных и клубных сценах) и имеющие самостоятельное художественное или научное (критические работы) значение» (п. 2).

Заместитель Генерального секретаря

Союза советских писателей СССР

К. СИМОНОВ

Секретарь Правления

Союза советских писателей СССР

А. СОФРОНОВ

(Государственный антисемитизм в СССР.

1938—1953. Документы.

М., 2005. Стр. 307).

Для Софронова это был майский день, именины сердца. Симонову же сочинять и подписывать такие документы, надо полагать, удовольствия не доставляло. Но, как сказано у Бабеля, в номерах служить — подол заворотить. При его должности первого зама генерального секретаря Союза писателей отказаться от связанных с этой должностью малопривлекательных обязанностей было, разумеется, невозможно.

Во всяком случае, пока был жив Сталин.

Но вот документ, сочиненный и отправленный «в инстанцию» уже после смерти отца народов. Я уже приводил его в главе «Сталин и Фадеев», но тут приведу (в сокращенном виде) снова, поскольку, хоть стояли под ним, кроме симоновской, еще две подписи (Фадеева и Суркова), есть все основания полагать, что автором его был именно Симонов.

► ИЗ ЗАПИСКИ ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
В ЦК КПСС «О МЕРАХ СЕКРЕТАРИАТА
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ
ПИСАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ОТ БАЛЛАСТА»

Не позднее 24 марта 1953 г.

ЦК КПСС. Тов. Хрущеву Н.С.

В настоящее время в Московской организации Союза советских писателей СССР состоит 1102 человека (955 членов и 147 кандидатов в члены Союза советских писателей СССР).

Свыше 150 человек из этого числа не выступают с произведениями, имеющими самостоятельную художественную ценность, от пяти до десяти лет.

Эти бездействующие литераторы являются балластом, мешающим работе Союза советских писателей, а в ряде случаев дискредитирующим высокое звание советского писателя...

Значительную часть этого балласта составляют лица еврейской национальности, и в том числе члены бывшего «Еврейского литературного объединения» (московской секции еврейских писателей), распущенного в 1949 году.

Из 1102 членов московской организации Союза писателей русских — 662 чел. (60%), евреев — 329 чел.

(29,8%), украинцев — 23 чел., армян — 21 чел., других национальностей — 67 чел.

При создании Союза советских писателей в 1934 году в московскую организацию было принято 351 чел., из них — писателей еврейской национальности 124 чел. (35,3%). В 1935 — 1940 гг. принято 244 человек, из них писателей еврейской национальности — 85 человек (34,8%); в 1941 — 1945 гг. принято 265 чел., из них писателей еврейской национальности 75 человек (28,4%). В 1947 — 1952 гг. принят 241 чел., из них писателей еврейской национальности — 49 чел. (20,3%).

Такой искусственно завышенный прием в Союз писателей лиц еврейской национальности объясняется тем, что многие из них принимались не по их литературным заслугам, а в результате сниженных требований, приятельских отношений, а в ряде случаев и в результате замаскированных проявлений националистической семейственности...

Полностью сознавая свою ответственность за такое положение с творческими кадрами, руководство Союза советских писателей СССР считает необходимым путем систематического и пристального изучения членов и кандидатов в члены Союза писателей последовательно и неуклонно освобождать Союз писателей от балласта...

За последнее время Секретариат и Президиум Союза советских писателей СССР приняли первые меры в этом направлении. За ряд месяцев Президиумом Правления ССП СССР исключено из Союза писателей 11 чел.; Секретариатом ССП внесена в Президиум рекомендация — исключить еще 11 чел. Работа эта будет продолжаться.

Генеральный секретарь
Союза советских писателей СССР
А. Фадеев

Заместители Генерального секретаря
Союза советских писателей СССР
А. Сурков
К. Симонов

*(Государственный антисемитизм
в СССР. 1938—1953.
Документы. М., 2005.
Стр. 254—258).*

Об особой роли Симонова в создании этого постыдного документа свидетельствует такое примечание к его публикации, сделанное составителями тома:

- ▶ Автором записки, по всей видимости, был К.М. Симонов, что следует из приложенного к ней следующего сопроводительного письма:

К.М. Симонов — А.А. Фадееву

19 марта 1953 г.

Дорогой Александр Александрович!
Посылаю тебе сделанную по твоему поручению работу.

В понедельник в 10.30 утра буду у тебя.

Твой К. Симонов

(Там же. Стр. 254).

У Фадеева были свои, особые причины, толкнувшие его на этот постыдный шаг. Сталин был мертв, но еще был жив — и не только жив, но и более чем когда-либо всесилен — Берия, который Фадеева ненавидел и давно уже «копал под него».

Но у Симонова-то таких особых обстоятельств ведь не было?

Да, таких не было. Но страх был. И были свои, тоже немалые основания для этого страха.

* * *

Записка о засилье евреев в Союзе писателей Фадеевым, Сурковым и Симоновым была отправлена Н.С. Хрущеву в последних числах марта. А несколько месяцев спустя, в июле того же (1953-го) года Симонов вновь — на сей раз уже единолично — обратился в высшую партийную инстанцию. Повод для этого обращения был не такой животрепещущий, на первый взгляд даже как будто совсем пустяковый. На очередном заседании Политбюро (которое тогда называлось Президиумом) В.М. Молотов критически отозвался о напечатанном в возглавляемой Симоновым «Литературной газете» отчете о только что завершившейся дискуссии о Маяковском. Симонов счел нужным защитить «честь мундира». Не то чтобы вступить в полемику (о полемике с вторым, — а в некотором смысле даже и первым — человеком в тогдашней партийной иерархии, разумеется, не могло быть и речи), но — объясниться.

► ИЗ ПИСЬМА
К.М. СИМОНОВА В.М. МОЛОТОВУ
О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ
В ДИСКУССИИ О ТВОРЧЕСТВЕ
В.В. МАЯКОВСКОГО

17 июля 1953 г.

Президиум ЦК КПСС тов. Молотову В.М.
Глубокоуважаемый Вячеслав Михайлович!

16 июля с.г. на заседании Президиума Вы указали на то, что в «Литературной газете» во время дискуссии по вопросам изучения творчества Маяковского в отчете не только не была подвергнута критике, но даже была поддержана неверная точка зрения, что Маяковскому в его юные годы партийная работа якобы мешала заниматься творчеством.

Вопрос был поставлен неожиданно для меня, и, очевидно, я не сумел сразу достаточно убедительно

объяснить, как все обстояло на деле. Но как писатель-коммунист, которому никогда в жизни не приходило в голову и не могло прийти какое бы то ни было противопоставление творчества партийной работе, — я не могу не поставить Вас в известность, что в данном случае произошло недоразумение.

В отчете «Литературной газеты» о дискуссии, и в частности в изложении упомянутого Вами доклада, не только не содержалось поддержки подобной неверной позиции, но, напротив, содержалось ее осуждение.

Вот текст изложения соответствующего места доклада В. Друзина («Литературная газета» № 10 от 22 января 1953 г.):

«В редакционной статье «Комсомольской правды» при ее общей правильной установке есть высказывания, которые вызывают решительное возражение. Так, например, там сказано: «В. Новиков допускает прямое искажение исторических фактов. На стр. 12 он пишет: «Мелкобуржуазная анархическая группа футуристов, с которой сотрудничал Маяковский, оказала на молодого поэта отрицательное влияние. Прекратив партийную работу, Маяковский отошел от революционной среды, сделал неверный шаг». Так ли это? Нет. Известно, что это произошло в 1910 году, т.е. еще тогда, когда Маяковский не только не был связан ни с какой футуристической группой, но и ни одного футуриста в глаза не видел. Что же касается причин этого поступка, то лучше всего об этом сказал сам Маяковский в своей автобиографии...»

Я подчеркнул синим карандашом текст цитаты из «Комсомольской правды» и красным — текст «Литературной газеты», где неверная позиция «Комсомольской правды», бравшей под защиту отход юного Маяковского от партийной работы, была осуждена...

Такова была на самом деле позиция «Литературной газеты» по этому вопросу...

Я знаю, что... я как редактор газеты допускал ошибки и промахи в своей работе...

Но я не хочу в Ваших глазах, в глазах Президиума ЦК КПСС быть виноватым в том, в чем я не виноват. Никогда ни как писатель, ни как критик, ни как редактор я не стоял на гнилых и глубоко чуждых мне позициях противопоставления партийной работы творчеству.

Я решился отнять у Вас несколько минут времени своим письмом потому, что мне очень важно, чтобы Вы знали об этом правду.

Глубоко уважающий Вас

Константин Симонов

(Культура и власть. От Сталина до Горбачева.

Аппарат ЦК КПСС и культура.

1953—1957. Документы.

Стр. 120—121).

Молотов на это его письмо ответил с неожиданной резкостью. Я бы даже сказал, — с яростью:

- ▶ ПИСЬМО В.М. МОЛОТОВА
К.М. СИМОНОВУ
ОБ ОШИБОЧНОСТИ ЕГО ПОЗИЦИИ
В ДИСКУССИИ О ТВОРЧЕСТВЕ
В.В. МАЯКОВСКОГО

3 августа 1953 г.

Тов. К. Симонову

Дорогой товарищ!

Получил Ваше письмо от 17 июля и никак не могу согласиться с Вами.

Не берусь судить относительно всей состоявшейся дискуссии о творчестве Маяковского и не имел воз-

возможности подробно ознакомиться с нею. Не приходится сомневаться, что хорошие дискуссии о творчестве нашего талантливейшего поэта Маяковского нам нужны и полезны. Однако Ваше письмо, на мой взгляд, лишь подтверждает критическое замечание, сделанное мною на заседании Президиума 16 июля, хотя мне приходится сразу же отметить, что в письме неправильно изложено сказанное мною.

Вы цитируете, между прочим, следующий отрывок из отчета о дискуссии, напечатанного в «Литературной газете» 22 января, при изложении доклада В. Друзина:

«Действительно, с самого начала своей деятельности Маяковский стремился создавать революционное искусство. Но можно ли считать, что это субъективное желание Маяковского исчерпывающе объясняет и оправдывает факт его выхода из партии? Нет, ибо и в то время были литераторы, которые создавали революционную поэзию, работая в легальной и нелегальной большевистской печати, оставаясь в рядах партии».

Неужели Вы не заметили антиреволюционной фальши в этой странной тираде?.. Разве такие половинчатые рассуждения достойны коммуниста или даже просто революционного демократа!

В. Друзин пошел еще дальше по этой скользкой дорожке. Он заявляет: «И в то время были литераторы, которые создавали революционную поэзию, работая в легальной и нелегальной большевистской печати, оставаясь в рядах партии».

По Друзину получается, что будто кому-то еще надо доказывать самую возможность «создавать революционную поэзию» для человека, остававшегося в до-революционное время в рядах большевистской партии. Друзин, видите ли, только допускает эту возможность

и, как бы извиняясь за нашу партию, говорит, что «и в то время были литераторы», которые создавали революционную поэзию, оставаясь в рядах партии. Трудно даже понять, чему больше сочувствует В. Друзин: партии или ренегатам партии?

Откровенно говоря, я не мог и не могу без негодования читать всю эту антиреволюционную болтовню Друзина о нашей большевистской партии. Я слишком мало знаю о В. Друзине, чтобы судить о нем, но что Друзин не способен по-настоящему защищать знамя и честь партии, это достаточно ясно.

Удивляет меня то, что Вы, тов. Симонов, не заметили этого и даже взялись за столь неуместную защиту этих чуждых нашей партии рассуждений В. Друзина.

В. Молотов

(Там же. Стр. 129—130).

Реакция не только неожиданная, но даже неадекватная. Ни сам повод, вызвавший эту маленькую дискуссию, ни позиция Симонова по этому вопросу, ни даже вызвавший гнев Молотова доклад Друзина такого бурного взрыва эмоций и таких жестких формулировок («В. Друзин пошел еще дальше по этой скользкой дорожке...», «Я не мог и не могу без негодования читать всю эту антиреволюционную болтовню...», «Друзин не способен по-настоящему защищать знамя и честь партии...») явно не заслуживали. Внимательно перечитав это молотовское письмо, я, по правде говоря, так и не понял, в чем, собственно состоит страшная вина, чуть ли даже не преступление этого несчастного Друзина перед партией. (Кому охота в этом разбираться, может обратиться к полному тексту этой переписки в разделе «Документы».)

Но еще более странной, совсем уж неадекватной выглядит ответная реакция Симонова:

- ПИСЬМО К.М. СИМОНОВА В.М. МОЛОТОВУ
С ПРИЗНАНИЕМ СВОИХ ОШИБОК
В ДИСКУССИИ О ТВОРЧЕСТВЕ
В.В. МАЯКОВСКОГО

4 августа 1953 г.

Дорогой Вячеслав Михайлович!

Благодарю Вас за Ваше письмо. Оно помогло мне понять, в чем состояла моя ошибка и с публикацией изложения доклада В. Друзина, и с последующей неверной оценкой с моей стороны содержащихся там половинчатых, беспринципных суждений.

Но дело не только в этом, Ваше письмо для меня — сравнительно еще молодого коммуниста — послужит большой наукой на будущее. Что это так, надеюсь доказать делом.

Глубоко уважающий Вас

К. Симонов

(Там же. Стр. 131).

Даже с самим Сталиным Симонов не держался так подобострастно. В куда более страшных, смертельно опасных объяснениях с ним ему удавалось сохранить свое человеческое достоинство:

- После того как Сталин отнесся положительно ко всем моим предложениям как редактора «Нового мира»... я вдруг решился на то, на что не решался до этого, хотя и держал в памяти, и сказал про Зоценко — про его «Партизанские рассказы»... — что я отобрал часть этих рассказов, хотел бы напечатать их в «Новом мире» и прошу на это разрешения.

— А вы читали эти рассказы Зоценко? — повернулся Сталин к Жданову.

— Нет, — сказал Жданов, — не читал.

— А вы читали? — повернулся Сталин ко мне.

— Я читал, — сказал я и объяснил, что всего рассказов у Зошченко около двадцати, но я отобрал из них только десять, которые считаю лучшими.

— Значит, вы как редактор считаете, что это хорошие рассказы?

Я ответил, что да.

— Ну, раз вы как редактор считаете, что их надо печатать — печатайте. А мы, когда напечатаете, почитаем.

Думаю сейчас, спустя много лет, что в последней фразе Сталина был какой-то оттенок присущего ему полускрытого, небезопасного для собеседника юмора, но, конечно, поручиться за это не могу. Это мои нынешние догадки, тогда я этого не подумал, слишком я был взволнован — сначала тем, что решился сам заговорить о Зошченко, потом тем, что неожиданно для меня Жданов, который, по моему представлению, читал рассказы, сказал, что он их не читал...

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода.

Стр. 382—383).

Нелегко было ему на прямой вопрос Сталина («Значит, вы как редактор считаете, что это хорошие рассказы?») ответить «да». Во-первых, потому что, как выяснилось, он вовсе не считал их такими уж хорошими. Но пускаться по этому поводу в длинные объяснения («Это не очень сильно художественно, но это очень честная попытка стать на правильные позиции») в той ситуации он счел для себя невозможным. Надо было отвечать прямо, определенно и недвусмысленно. Так он и ответил.

Ответная реплика Сталина, в которой Симонову послышался, как он пишет, оттенок «небезопасного для собеседника» сталинского юмора, на самом деле была довольно-таки зловещей: что ж, мол, печатайте. А мы, когда напечатаете, почитаем. Это была прямая угроза. Почитаем, поглядим, не

пропитаны ли и эти новые рассказы Зоценко духом пошлости и безыдейности.

А тут еще — предательское поведение Жданова, которому Симонов эти рассказы давал и который их, конечно, читал, но не рискнул в этом признаться.

В общем, что говорить, — в той ситуации Симонов держался молодцом.

А тут, перед Молотовым, в ситуации куда менее опасной, — как будто бы даже совсем не опасной, — вдруг спасовал. Вытянулся по струнке, как нашкодивший пригостишка перед грозным учителем.

Что же в этом случае заставило его «потерять лицо»? Утратить всегда присущее ему чувство собственного достоинства?

Ответить — или хоть попытаться ответить — на этот вопрос мне помогут кое-какие мои личные воспоминания.

* * *

В январе 1953 года в Союзе писателей началась долгожданная дискуссия о Маяковском. Впрочем, как для других — не знаю: уж больно время было тогда неподходящее для таких дискуссий, но для меня она была именно долгожданная.

В Маяковского я в те годы был совершенно пошумасшедшему влюблен, считал его обойденным, несправедливо забытым, оттесненным на обочину литературного процесса. В какой-то мере это было действительно так: футуризм разоблачали как мелкобуржуазное, упадочническое направление в искусстве XX века, особенности поэтики Маяковского, еще недавно считавшиеся выдающимися его новаторскими достижениями, почти открыто объявляли формалистическим трюкачеством, и вообще главными поэтами века тогда считались Алексей Сурков, Твардовский и Исаковский.

Всё это приводило меня в ярость. Я даже написал однажды (и отправил!) письмо самому Сталину, в котором предлагал ему (вот дурак-то!) поставить Маяковского в один ряд с

Горьким, как равноправного с ним основоположника социалистического реализма, а прах Маяковского похоронить — рядом с Горьким, в Кремлевской стене.

На мое счастье, это мое письмо до Сталина не дошло. Но я не унимался. Писал и пытался печатать разные статьи на эту тему. Но ничего из этих моих попыток не получалось: торжествовали враги Маяковского — явные и тайные.

И вот наконец — открытая дискуссия. Поняли наконец, что тут что-то не так.

Я не сомневался, что уж теперь-то правда восторжествует. Я жаждал реванша, и если даже и не вполне рассчитывал на успех, то, во всяком случае, радовался открывшейся вдруг возможности высказать вслух, публично, с трибуны всё, что у меня накопело.

Короче говоря, я не пропустил из этой дискуссии ни одного дня, и на первом же ее заседании послал в президиум записку с просьбой предоставить мне слово.

При этом, надо сказать, у меня состоялся довольно-таки странный на мой тогдашний взгляд разговор с моим школьным учителем литературы — Николаем Ивановичем Калитиным. (Он был в то время довольно известным литературным критиком, хотя больше писал о театре.)

— Вы собираетесь выступить? — удивленно спросил он меня.

— Да, — сказал я. — А вы?

— Что вы! — испуганно ответил он. — Это же очень опасно! Извратят, перетолкуют, потом во всю жизнь не отмоешься!

Я подумал, что старик, судя по всему, совсем спятил. Во всяком случае, испуг, отразившийся на его лице, показался мне ни на чем не основанным: свободная же дискуссия!

И вот тут — с тем же вопросом — подошла ко мне моя литинститутская профессорша Вера Васильевна Смирнова:

— Вы хотите выступить?

Я сказал, что да, хочу.

— У меня к вам просьба, — сказала она. — Я вас очень про-

щу. — Она сильно надавила на слово «очень». — Не делайте этого.

— Но ведь я уже послал в президиум записку, — растерянно сказал я.

— Все равно, откажитесь.

— Не могу, — сказал я.

Она изменилась в лице. Мне даже показалось, что побледнела.

— Ладно, — сказал я. — Если меня не выкликнут, я настаивать не стану. Ну, а уж если объявят, тут ничего не поделаешь.

Она хотела еще что-то добавить, но почему-то раздумала. Сказала только:

— Хорошо. Бог даст, пронесет. Но если выйдет так, что вы уже не сможете отказаться и вам все-таки придется выступить, ни в коем случае, — вы слышите? — ни в коем случае не солидаризируйтесь с Трегубом.

Я кивнул. Хорошо, мол, не буду.

Вообще-то я ни с каким Трегубом солидаризироваться и не собирался. Но предупреждение Веры Васильевны, чтобы я с ним не солидаризировался, было и не совсем беспочвенно.

Главная драка, главный бой на той дискуссии шел между двумя группами: группой Перцова и группой Трегуба.

Перцов был автором недавно вышедшей толстенной монографии о Маяковском, выдвинутой на Сталинскую премию. Человек он был знающий, в былые времена даже близкий к ЛЕФу. Но основная идея его книги была мне, мягко говоря, не близка: он доказывал, что Маяковский постоянно боролся с футуризмом и формализмом, преодолевал его и наконец-то преодолел.

Но и Трегуб тоже не был героем моего романа.

Все идеи его были такие же примитивные, вульгарные и такие же официозно-советские, как у Перцова. Да и сам облик его не внушал особых симпатий. (Злые языки про него говорили, что он — «двулик, двуязычен и трегуб».)

Но в нем меня привлекала задиристость, «боевитость», живой и даже яростный темперамент.

Главное, однако, было даже не это.

Согласно официальной тогдашней точке зрения, которую выражал Перцов, главным у Маяковского был его советский патриотизм, его революционный пафос, его верность идеям социализма и пролетарского интернационализма. И с этой точки зрения учениками и последователями Маяковского, верными продолжателями его дела должны были считаться все советские поэты. В том числе и те, кому Маяковский был бесконечно чужд и даже враждебен.

Трегуб же доказывал, что учениками Маяковского и продолжателями его дела имеют право называться лишь те, кому близка поэтика Маяковского, его революционный переворот в системе русского стихосложения, его новые ритмы, его невиданные рифмы, его новаторское образное мышление.

Мне тогда была близка именно эта точка зрения, и поэтому всё, что я мог пробормотать с той трибуны, вполне могло быть истолковано как свидетельство моей принадлежности к «группе Трегуба».

Но за самого Трегуба я не держался и обещание ни при какой погоде с ним не консолидироваться дал Вере Васильевне легко. С чистым, как говорится, сердцем.

Но Вера Васильевна, увидав, что я так и не понял всю важность ее просьбы, повторила еще раз:

— Вы поняли меня? Ни в коем случае! Обещайте мне.

Я пообещал.

Из президиума меня на трибуну так и не позвали, и весь мой запал пропал даром, что меня, с одной стороны, конечно, огорчило, а с другой — не то чтобы обрадовало, но, во всяком случае, сняло с моей души какой-то камень. Хотя я так и не понял, почему Вера Васильевна так настойчиво просила меня отказаться от выступления. Непонятна мне была не столько даже сама ее странная просьба, сколько вот это, мгновенно вдруг изменившееся выражение ее лица.

Разъяснилось всё это потом, когда «ус откинул хвост», и слухи о разных закулисных подробностях так и не реализо-

вавшегося из-за внезапной смерти вождя сталинского сценария дошли наконец и до меня тоже.

Как я уже говорил, время для дискуссии о Маяковском было выбрано не самое удачное. Но выбор этот, как выяснилось потом, был не случаен.

Дискуссия началась 19 января. То есть еще и недели не прошло после потрясшего страну сообщения о разоблачении чудовищного заговора врачей-убийц. В перечне имен названных в этом сообщении злодеев доминировали еврейские фамилии: Фельдман, Этингер, Вовси, Коган... Коганов было даже двое. И хотя упоминался в этом перечне и знаменитый русский врач — профессор Виноградов, — сообщение не оставляло ни малейших сомнений насчет того, КТО был душой и главной действующей силой этого вселенского заговора.

Все это я, конечно, прекрасно понимал. И не только понимал, но чувствовал собственной шкурой. Но с дискуссией о Маяковском, начавшейся шесть дней спустя, все эти события в моей башке никак не связывались. А связь, между тем, тут была. И довольно-таки прямая.

Оказывается, уже тогда кое-кому было известно, что параллельно с делом врачей готовился еще и другой процесс — о еврейском вредительстве в литературоведении.

Как раз в это самое время — или чуть раньше — три кагэбэшных чина в потрепанном номере гостиницы «Октябрьской» (дело было в Ленинграде) выколачивали из Лидии Яковлевны Гинзбург компромат на Бориса Михайловича Эйхенбаума, которому, как она поняла (об этом я прочел в сравнительно недавно опубликованных ее «Записных книжках»), в готовящемся процессе была уготована едва ли не главная роль.

Возможно, и Веру Васильевну тогда куда-то приглашали (в такой же потрепанный номер «Метрополя» или «Националя»). А может быть, у нее были какие-то другие источники информации.

Но что-то она знала.

Во всяком случае, не без некоторых к тому оснований полагала, что вся эта — вроде бы совсем не ко времени затеянная

дискуссия о Маяковском — на самом деле была задумана как гигантская провокация для выявления будущих фигурантов готовящегося процесса. И, по-видимому, еще больше было у нее оснований предполагать, что критику Семену Трегубу, с которым она умоляла меня ни в коем случае не солидаризироваться, уготована на том будущем процессе особая роль. А именно — роль козла, который ведет за собою на бойню всё стадо баранов.

От участи одного из таких вот баранов она и хотела меня уберечь.

Всего этого я знать, конечно, не мог. (Да и Вера Васильевна вряд ли знала всё это так уж точно.) Но кое-что если не понять, так почуять — это ведь носилось в воздухе! — я бы всё-таки мог. Мог бы, например, сообразить, что с Трегубом мне лучше не солидаризироваться уже по одному тому, что он был (как и я) евреем...

Но с какого боку ко всему этому мог быть причастен Симонов? Он-то тут при чем? Кого другого, но его все это вроде уж никак не могло коснуться?

Оказывается, могло.

* * *

Среди драматических, трагических и трагикомических сюжетов, о которых я рассказывал на страницах этой книги в связи с антикосмополитической кампанией 49-го года, была такой:

- ▶ Украинского литературоведа, человека аристократического немецко-русского происхождения Евгения Георгиевича Адельгейма исключали в 1949 году из партии. Ветерана войны и редактора журнала «Вітчизна» обвиняли в космополитизме, антипатриотизме и прочих «измах», пришили ему все те ярлыки, которые в ту пору навешивались литераторам с «подозрительными» пахнущими иностранщиной фамилиями...

Окончательное решение об исключении из партии

должно было вынести Бюро ЦК Компартии Украины. Решение, естественно, было predeterminedено... В ходе краткого и предельно ясного «обсуждения» кто-то не удержался и сказал: «Адельгейм скрыл, что он — еврей!»

— Что я должен был ответить, — вспоминал спустя четверть века Евгений Георгиевич, — неужели опровергать приписываемое мне еврейство? Очень уж это противно было... Я молчал.

В это время попросил слово для справки человек, представлявший на заседании МГБ.

— Хочу уточнить, товарищи, — сказал он, — последнее обвинение неверно. Предки Адельгейма покоятся на лютеранской территории Байкова кладбища. Мы проверяли, они нееврейского происхождения.

(А. Жовтис. Непридуманнные анекдоты. М., 1995. Стр. 84—85).

В январе 1953-го, вскоре после появления в «Правде» сообщения ТАСС о врачах-убийцах, такой же сюжет склудился вокруг Симонова.

▶ На протяжении этих первых месяцев пятьдесят третьего года Алексей Александрович Сурков, который сидел в Союзе писателей, как в былые времена я, заменяя длительное или довольно длительное время отсутствовавшего Фадеева, дважды рассказывал мне о разговорах с работниками аппарата ЦК в связи с имевшими ко мне касательство письмами...

В первом случае он в ярости рассказывал мне о содержании письма, которое ему как исполняющему обязанности руководителя Союза писателей показали в аппарате ЦК. Это письмо, адресованное в ЦК, было не анонимным, его подписал один из тех бывалых людей, которые, имея немалые заслуги в годы войны, воспользовались сделанной чужими руками литературной записью своих подвигов для того, чтобы пробиться в

Союз писателей. Не буду называть здесь фамилию этого человека, которую я узнал от Суркова, не посчитавшего нужным скрывать ее от меня...

В своем письме он хотел обратить внимание отдела агитации и пропаганды ЦК, что то потворство евреям и то засилье евреев, с которым связана деятельность руководимой мною «Литературной газеты», объясняются моим собственным еврейским происхождением. Как он выяснил, я был на самом деле не Симоновым, а Симановичем, родился в еврейской семье и являлся сыном шинкаря в имении графини Оболенской, впоследствии взявшей меня на воспитание и усыновившей. Эти сведения он, видимо, считал достаточно серьезными для того, чтобы, подписавшись собственной фамилией, направить их в ЦК. Сурков, как я уже упомянул, говорил об этом с яростью, а я, услышав это, в первую минуту расхохотался. Расхохотался потому, что моей первой реакцией была мысль о том, как я расскажу про это своей маме, которая не имела имени с шинкарем по фамилии Симанович, и вообще имени не имела, и не была графиней Оболенской, потому что графов Оболенских не было, были только князья Оболенские. Но что правда, то правда, была урожденной княжной Оболенской, вышедшей перед Первой мировой войной замуж за полковника Симонова и именно от него имевшей ею рожденного сына Кирилла, к ее большому, кстати, неудовольствию подписывавшего свои сочинения как Константин Симонов. И мама потом действительно ужасно смеялась над всем этим. Но Сурков первой моей реакции тогда не разделил.

— Напрасно смеешься, — сказал он мне...

И он был, конечно, прав — несмотря на смехотворную форму как знак времени это письмо имело и свою серьезную сторону.

(К. Симонов.
Истории тяжелая вода. Стр. 475—476).

История эта, как потом выяснилось, имела продолжение. И месяц-другой спустя, когда обстановка уже слегка разрядилась и Сурков счел возможным ее досказать, Симонову, услышавшему продолжение этого его рассказа, стало уже не до смеха:

- ▶ В самом конце января, когда в «Литературной газете» печатался не то последний, не то предпоследний материал о происходившей среди писателей дискуссии «Об основных вопросах изучения творчества В.В. Маяковского», Суркова снова вызвали туда же, куда и в первый раз, в связи с тем, что что-то кому-то в этих отчетах не понравилось. И в связи с этими, обращенными ко мне как к редактору газеты да и практическому руководителю этой дискуссии недовольствами работавший тогда в отделе агитации и пропаганды Владимир Семенович Кружков... сказал Суркову, что у них имеются серьезные, хотя еще и не до конца проверенные сигналы о том, что в Москве существует в писательских кругах, непосредственно связанных с «Джойнтом», группа лиц, возглавляет которую не кто иной, как Константин Симонов.

(Там же. Стр. 476–477).

Для тех, кто не помнит или по молодости лет просто не знает, как звучало тогда и что означало забытое ныне слово «Джойнт», приведу короткую цитату из «Сообщения ТАСС» о врачах-убийцах:

- ▶ Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и осквернившие честь деятелей науки, — состояли в наемных агентах у иностранной разведки. Большинство участников террористической группы (Вовси, Коган, Фельдман, Гринштейн, Этингер и др.) были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», соз-

данной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом деле эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе в Советском Союзе.

Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву «об истреблении руководящих кадров СССР» из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шемилиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэlsa.

(Правда, 13 января 1953 г.).

Вот с какой страшной организацией был, значит, «связан» Симонов.

Случись все по-другому, — не так, как оно повернулось после смерти Сталина, — и на том, замышлявшемся «органами» процессе сионистов, окопавшихся в советском литературоведении, главным фигурантом, возглавлявшим и направлявшим их вредительскую деятельность, вполне мог оказаться совсем не Трегуб и не Эйхенбаум (слишком мелкие были фигуры для такого громкого дела), а первый заместитель генерального секретаря Союза писателей СССР и главный редактор «Литературной газеты» К.М. Симонов.

При жизни Сталина такой поворот событий вряд ли был возможен. Скорее всего, вождь не отдал бы на заклятие своего любимца. (Хотя, кто знает? Мало разве было у него любимцев, которых он уничтожил?)

Но Сталин был уже мертв. А куда повернет дело новая команда властителей страны, было еще не совсем ясно.

Вспомним замечание Симонова о разговорах, которые они тогда вели о возможных источниках раздувавшегося государственного антисемитизма:

- ▶ ... в разговорах между собою не раз возвращались к тому, кто же закоперщик этих все новых и новых про-

явлений антисемитизма. Кто тут играет первую скрипку, от кого это идет, распространяется? Кто, используя те или иные неблагоприятные для евреев настроения и высказывания Сталина, существование которых мы допускали, стремится все это гиперболизировать и утилизировать? Разные люди строили разные предположения, подразумевая при этом то одного, то другого, то третьего, то сразу нескольких членов тогдашнего Политбюро...

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода. Стр. 457–458).

Один из этих «тогдашних членов Политбюро», имя которого в тех разговорах упоминалось чаще других (Г.М. Маленков), после смерти Сталина унаследовал обе сталинские должности и тем самым, как тогда казалось, всю необъятную сталинскую власть. Куда он поведет страну?

- ▶ Вторую половину января, февраль и первую половину марта, включая недели полторы после смерти Сталина, — вокруг дела врачей-убийц создавалась гнетущая атмосфера. Казалось, что нависает что-то страшное, повторение тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. Даже смерть Сталина не сразу разрядила эту атмосферу, могу это сказать, опираясь на собственные ощущения.

(Там же, стр. 474).

Не могу тут не вспомнить услышанный мною лет двадцать спустя рассказ моего соседа по дому (мы с ним тогда приятельствовали) Рудольфа Юльевича Бершадского.

В конце 52-го и начале 53-го он был заведующим отделом фельетонов возглавлявшейся тогда Симоновым «Литературной газеты». В фельетонах, появлявшихся на ее страницах, — это тогда всем бросалось в глаза, — еврейские фамилии — в скобках или без скобок — никогда не упоминались. В тех обстоятельствах это казалось — да и было — истинным чудом. И чудо это, конечно, объяснялось не только позицией заве-

дующего отделом фельетонов (хотя и этим, конечно, тоже), но и твердой установкой на этот счет главного редактора.

Р.Ю. Бершадского, разумеется, арестовали.

Рано или поздно это, конечно, должно было случиться. Но случилось на удивление поздно. Советские газеты вышли без упоминания о врачах-убийцах и без антисемитских фельетонов 1 марта. А Бершадский был арестован в ночь с 5-го на 6-е.

Через несколько дней — сейчас уже не вспомню, то ли в редакции «Литературной газеты», то ли в Союзе писателей, — состоялось открытое партийное собрание, на котором с большой покаянной речью выступил К.М. Симонов.

Нет, он не бил себя в грудь и не рвал на себе тельняшку, а в свойственном ему спокойном, раздумчивом тоне объяснял товарищам по партии, как случилось, что он не разглядел в своем коллективе затаившегося врага.

Я доверял Бершадскому, сказал он, потому что знал, что он храбро воевал. Но только сейчас у меня открылись глаза, и я понял, что воевал он не как русский и советский патриот, а как еврей. Не за Россию, не за нашу Советскую родину, не за коммунизм, а только лишь потому, что Гитлер, с которым у нас шла война, уничтожает евреев.

Силен, видать, был страх, охвативший его в те дни, — иначе никогда бы он не унизился до таких объяснений.

Бершадский, выйдя на свободу (сидел он недолго), то ли прочитав стенограмму того собрания, то ли узнав про ту его речь от товарищей, на первом же партсобрании потребовал, чтобы Симонов перед ним извинился.

И Симонов извинился.

Все это, конечно, многое объясняет. Но когда Симонов сочинял свое раболепное, испуганное письмо Молотову, со смерти Сталина прошло почти ПОЛГОДА. Теперь-то ему как будто уже ничто не грозило?

Переписка его с Молотовым началась в середине июля, завершилась в первых числах августа. А только что (26 июня) был арестован Берия. 2 июля начался пленум ЦК КПСС, на

котором решалась — и решилась — судьба этого разоблаченного заговорщика и английского шпиона.

Казалось бы, это последнее событие должно было еще больше укрепить уверенность Симонова в том, что «темные дни миновали», и стрелка политического барометра теперь уже прочно стоит на отметке «Ясно».

Но был тут один тревожный нюанс.

Известие об аресте разоблаченных «убийц в белых халатах» было объявлено в специальном «Сообщении ТАСС». А потрясшее мир сообщение о том, что дело это было сфальсифицировано, появилось под заголовком: «СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР». Министром же этого, только что созданного в результате слияния двух бывших министерств (МГБ и МВД) нового министерства был Берия.

Получалось, что реабилитация врачей — чуть ли не личная заслуга этого разоблаченного заговорщика и шпиона.

Отчасти так оно на самом деле и было:

► ПРИКАЗАНИЕ МИНИСТРА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР Л.П. БЕРИИ
О СОЗДАНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ГРУПП
ПО ПЕРЕСМОТРУ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ

13 марта 1953 г.

Совершенно секретно

В целях ускорения рассмотрения следственных дел, находящихся в производстве отделов и управлений МВД СССР, создать следственные группы в следующем составе:

I По делу арестованных врачей —

Соколова К.А. — заместителя начальника Следственной части по особо важным делам;

Левшина А.В. — помощника начальника Следственной части по особо важным делам;

Иванова В.В. — начальника отдела 4-го Управления.

II По делу арестованных бывших сотрудников МГБ СССР – Грибанова О.М. – заместителя начальника 1-го Главного управления; Федотова П.В. – заместителя начальника Следственной части по особо важным делам; Цветаева Е.А. – помощника начальника Следственной части по особо важным делам...

Руководство работой групп и рассмотрение заключений по делам поручить тт. Круглову С.Н., Кобулову Б.З. и Гоглидзе С.А. Установить срок окончания работ двухнедельный.

Результаты рассмотрения следственных дел доложить мне.

Министр внутренних дел Союза ССР
Л. Берия

(Лаврентий Берия. 1953. Документы. М., 1999. Стр. 17–18).

Приказание это было выполнено точно в назначенный срок, и ровно через две недели Берия уже докладывал высшему органу только что сформированного «коллективного руководства» свои предложения по результатам проведенного по его инициативе «тщательного расследования»:

- ▶ ЗАПИСКА А.П. БЕРИИ В ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС О РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ПО ТАК НАЗЫВАЕМОМУ ДЕЛУ О ВРАЧАХ-ВРЕДИТЕЛЯХ №17/Б

1 апреля 1953 г.
Совершенно секретно

т. МАЛЕНКОВУ Г.М.

В 1952 году в Министерстве государственной безопасности СССР возникло дело о так называемой шпионско-террористической группе врачей, якобы

ставившей своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям советского государства. Делу этому, как известно, было придано сенсационное значение, и еще до окончания следствия было опубликовано специальное сообщение ТАСС, сопровождаемое редакционными статьями «Правды», «Известий» и других центральных газет.

Ввиду особой важности этого дела Министерство внутренних дел СССР решило провести тщательную проверку всех следственных материалов. В результате проверки выяснилось, что все это дело от начала и до конца является провокационным вымыслом...

Постановление специальной следственной комиссии с подробным изложением результатов проверки материалов следствия по этому делу прилагается. Министерство внутренних дел СССР считает необходимым:

1) всех привлеченных по этому делу к ответственности и незаконно арестованных врачей и членов их семей полностью реабилитировать и немедленно из-под стражи освободить;

2) привлечь к уголовной ответственности бывших работников МГБ СССР, особо изощрившихся в фабрикации этого провокационного дела и в грубейших извращениях советских законов;

3) опубликовать в печати специальное сообщение;

4) рассмотреть вопрос об ответственности бывшего министра государственной безопасности СССР т. ИГНАТЬЕВА С.Д.

Министерством внутренних дел СССР приняты меры, исключающие впредь возможность повторения подобных извращений советских законов в работе органов МВД.

Л. Берия
(Там же. Стр. 21–23).

Все это не могло не всплыть на июльском пленуме ЦК КПСС в ходе обсуждения, как сообщалось об этом в печати, доклада Президиума ЦК «о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Л.П. Берия, направленных на подрыв Советского государства в интересах иностранного капитала и выразившихся в вероломных попытках поставить Министерство внутренних дел СССР над правительством и Коммунистической партией Советского Союза». Роль Берии в реабилитации арестованных врачей легко могла быть объявлена одной из таких «вероломных попыток». И, хоть и в осторожной форме, тема эта в речах некоторых ораторов действительно была затронута.

Секретарь ЦК Н.Н. Шаталин в своем выступлении прямо сказал, что «это было сделано в ущерб интересам нашего государства». Конечно, он при этом оговорил, что имеет в виду не сам факт реабилитации врачей, а то, что о ней так громко, открыто было объявлено:

- ▶ ...взять дело о врачах. Это, я думаю, даже общее мнение, что произошло правильное в конечном итоге решение, но зачем понадобилось коммюнике Министерства внутренних дел, зачем понадобилось склонение этого вопроса в нашей печати и т. д. То, что врачей неправильно арестовали, как теперь выяснилось, заранее знали, что это было сделано неправильно. Надо было поправить, но надо было поправить, чтобы это было не в ущерб нашему государству, не в ущерб интересам нашего государства. Зачем это нужно было публиковать?

(Там же. Стр. 175).

В том же духе высказался Л.М. Каганович:

- ▶ ...Его линия, которую он проводил, будучи министром внутренних дел, была направлена на натравливание одной нации на другую... Даже такое дело, которое вы-

глядит благородным, либеральным, как выпуск врачей... даже это как будто бы либеральное дело... нужное дело, как говорили товарищи, но оно было преподнесено сенсационно, бурно, искусственно... Все вы знаете, что это было преподнесено сенсационно, что у некоторых вызвало реакцию противопоставления и натравливания.

(Там же. Стр. 131).

Вот ведь как повернул! Не сообщение об аресте врачей, значит, а сообщение об их реабилитации было направлено на «натравливание одной нации на другую».

Симонов на этом пленуме, разумеется, был и все эти речи слышал.

Он, конечно, понимал, что отправлять только что реабилитированных врачей опять за решетку никто уже не станет. В тех обстоятельствах, как бы кому этого ни хотелось, это было уже невозможно. Но как еще дело повернется с другими агентами «Джойнта», к которым он был недавно причислен (и именно в связи с его позицией в дискуссии о Маяковском), ему могло быть не вполне ясно.

Как мы теперь знаем, тогдашняя реальность не давала для этих тревог никаких оснований. Но это ясно и очевидно ТЕПЕРЬ. А тогда...

Важна ведь не реальность, в которой живешь. Важно то, КАК ТЫ СЕБЯ В ЭТОЙ РЕАЛЬНОСТИ ОЩУЩАЕШЬ.

Бывает и так, что в минуту смертельной опасности о ней не думаешь, ее не замечаешь. А потом, как вспомнишь, чего удалось избежать (да еще и удалось ли?), и обольешься холодным потом.

* * *

М.М. Зощенко сказал однажды:

— Так называемые хорошие люди хороши в хорошее время. В плохие времена они — плохие. В ужасные времена они ужасны.

Описанная выше ситуация была экстремальной. Поэтому вспомним лучше, как Симонов вел себя не в ужасные, а просто в плохие — и даже не самые плохие — времена.

В июне 1954 года на общем собрании писателей Ленинграда в очередной раз «прорабатывали» Зоценко.

Замордованный, затравленный, доведенный до отчаяния, он кинул в зал:

— Я заканчиваю... Я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены... Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын! Как я могу работать?.. У меня нет ничего в дальнейшем! Я не стану ни о чем просить! Не надо мне вашего снисхождения, ни вашей брани и криков! Я больше, чем устал! Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею!

Произнеся эти слова, он сошел с трибуны и медленно спустился в зал.

Раздались одинокие аплодисменты.

Д. Гранин пишет в своих записках, что аплодировали два человека: одного из них он узнал, это был писатель Меттер.

Другие очевидцы свидетельствуют, что аплодирующих было по крайней мере четверо: И. Меттер, Е. Шварц, В. Глинка и И. Кичанова-Лифшиц (жена художника В.В. Лебедева, впоследствии — жена поэта Вл. Лифшица).

Говорят, что Шварц даже аплодировал стоя.

Речь Зоценко произвела на всех такое сильное впечатление, что его надо было как-то сбить. Надо было немедленно исправлять положение.

В президиуме забеспокоились, зашептались.

И тут, по свидетельству другого очевидца, встал К.М. Симонов. Грассируя, он сказал:

— Това' ищ Зоценко бьет на жа' ость...

Дело свое это реплика Симонова сделала, напряжение было сбито. Объявили перерыв. А после перерыва, как во-

дится, начались прения. И в прениях К.М. Симонов выступил уже не с короткой репликой, а с большой речью.

Начал он с каких то других сюжетов, делая вид, что новая гражданская казнь Зоценко — это частность, что у ленинградских писателей есть и более важные дела и заботы. Но и про Зоценко и про его взволнованную речь тоже кое-что все-таки еще сказал:

► ИЗ СТЕНОГРАММЫ ЗАСЕДАНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ССП СССР 15 ИЮНЯ 1954 Г.

К.М. Симонов. Теперь мне хотелось бы несколько слов сказать о выступлении Зоценко.

Видите ли, в чем дело — не так ведь он изображал многое неправильно и необъективно. Зачем же говорить об участии в мировой и Гражданской войнах, о том, что было тридцать лет назад? Когда его критиковали по вопросу об участии в этой войне, мы прекрасно знали, что не все люди были на фронте, что были прекрасные люди, которые работали и выполняли свой долг и в Алма-Ата, и в Ташкенте, Зоценко тогда был не тридцатилетним человеком, а сорокапятилетним, следовательно, мог и не быть на фронте. Но когда человек сидит в Алма-Ата и выходит его повесть «Перед восходом солнца», когда в разгар войны, в которой погибают миллионы жизней, и во время блокады Ленинграда — в «Октябре» печатается гробокопательская вещь, где чувствуется, что народ живет войной, борьбой с фашизмом, а человек живет черт знает чем, — вот это вызвало критику, и это было вполне закономерно. Нужно было понять это и почувствовать, а не писать такую вещь в 1943 году, во время Курской дуги, когда миллионы людей пали. Что же тут оправдываться своим обозрением. Это нехорошо, и это доказывает, что человек не понял. Никто не

призывает человека выходить на трибуну, бить себя в грудь, кричать: «я — подонок», но ты пойми глубину своей вины, и что, может быть, самые резкие слова, адресованные к тебе, когда ты так вел себя во время войны, — эти слова по отношению к тебе несправедливы. Так докажи это своей работой, докажи, что ты не таков, что при всех своих ошибках ты являешься советским писателем...

Такие слова снимают работой, что ты не советский писатель или «литературный подонок», или что ты вел себя недостойно во время войны (это в связи с опубликованием этой повести «Перед восходом солнца»), это снимают работой.

Если бы за эти годы были написаны настоящие произведения, а мы очень горячо чувствуем, когда человек по-настоящему хочет исправить ошибку, по-настоящему потрудиться на пользу народу, и всегда это очень поддерживаем.

И что же — появляется делегация из разной публики, в основном буржуазной, и вот советский писатель, принятый заново в Союз писателей, говоривший о том, что понял ошибки, напечатавший ряд произведений, член Союза, — апеллирует к буржуазным ценкам, срывает у них аплодисменты.

Я не знаю! Тут пара товарищей присоединилась к аплодисментам. Их дело, если хотят присоединяться к этим аплодисментам, пусть присоединяются!

Помимо всего прочего — противно, стыдно, незачем делать из этого историю, но противно и стыдно!..

В связи с этим хотел сказать об одной вещи: помимо всего, что сказано, тут есть еще одна сторона дела — мне кажется, что в каких-то писательских, литераторских головах бродило неправильное представление по поводу отношения к решению партии по идеологическим вопросам, принятому в 1946 году. Это не в оправдание

Зощенко — человек должен сам за себя отвечать, но не было ли тут «добрых советчиков»?

С мест: Правильно, правильно!

Советчиков, которые говорили, что — да, теперь другое отношение, тогда было слишком резко и жестко поставлено. У некоторых нетвердых в марксизме и в идейности людей такие настроения проявились. И в Ленинграде, и в Москве мы встречались с такими фактами. Люди не поняли того, что говорилось в 1946 году...

*(Культура и власть от Сталина до Горбачева.
Аппарат ЦК КПСС и культура. 1953— 1957.
Документы. Стр. 241— 243).*

Этот эпизод — один из самых постыдных в общественной биографии Симонова. Сам он, конечно, так это не формулировал и вряд ли даже так осознавал. Но что-то все-таки его тут мучило. Не зря же, спустя почти четверть века, в одном частном письме он вдруг предпринял попытку объяснить тогдашнее свое поведение.

► ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
СЕКРЕТАРЯ К.М. СИМОНОВА
Н.П. ГОРДОН

13 ноября 1976

Только что мне позвонил Виталий Яковлевич Виленкин, совершенно потрясенный письмом моего шефа к нему. Потрясен и самим фактом его написания, и прямотой и честностью написанного, и самой темой.

— Только что получил его. Два раза перечитал и сейчас буду читать в третий раз. Знаете, я весь красный, взволнованный... — говорил он. — Удивительное письмо.

Письмо я это читала, и тоже дважды, прежде чем отправила его. Виленкин попросил К.М. прочитать его

рукопись об Анне Ахматовой. Я ее читала в Малеевке, где был и В.Я., — и он тоже дал мне почитать.

К.М. написал ему 13 страниц через один интервал. Очень интересно и об Ахматовой, и о Зощенко, о стихах Ахматовой и о ней самой. Это одно из тех редких человеческих писем, писем-документов эпохи, написанных сильно, а главное — правдиво и честно.

Это из тех случаев, когда я бываю особенно горда за своего шефа.

*(Константин Симонов
в воспоминаниях современников.
М., 1984. Стр. 331).*

Письмо, о котором идет тут речь, опубликовано. (Не наследники Симонова, а он сам — еще при жизни — счел нужным опубликовать его.) Так что у нас есть возможность внимательно его прочитать и попытаться понять, что именно в нем привело Нину Павловну в состояние такого неумемного восторга.

Прочитывать это огромное письмо целиком я тут, конечно, не смогу, — да в этом и нет особой необходимости. Но довольно обширную выдержку из него привести мне все-таки придется.

► ИЗ ПИСЬМА К.М. СИМОНОВА
В.Я. ВИЛЕНКИНУ

9 ноября 1976 г.

Моя разница в отношении к Зощенко и к Ахматовой объяснялась в то время различием моего восприятия их человеческого и писательского поведения в годы войны. Зощенко был для меня мужчиной, в прошлом боевым офицером, уехавшим на всю войну в эвакуацию и написавшим там напечатанную в «Октябре» повесть, которая по моим тогдашним чувствам и настроениям

была мне поперек души. Вообще надо сказать, что мои тогдашние притяжения или отталкивания были связаны в литературе, и не только в литературе, с моими представлениями о том, как люди вели себя во время войны, остались ли они на всю блокаду в Ленинграде, как Тихонов, или уехали в Ташкент, как Зоценко.

Короче говоря, в тот момент, о котором я говорю, я был взволнован случившимся с Ахматовой и был довольно равнодушен к происшедшему с Зоценко. Правда, потом, через какое-то время, я сообразил задним умом, что одно дело я — человек молодой и здоровый, а другое дело — человек совсем другого возраста, под пятьдесят лет, и, как я узнал о нем, далеко не здоровый. Почувствовав всю тяжесть положения, в которое попал Зоценко, я, став редактором «Нового мира», при первой представившейся мне возможности постарался помочь ему. Узнал, что у него есть партизанские рассказы, которые, по словам моих ленинградских друзей, можно было бы, наверное, судя по их содержанию, напечатать, я пригласил его приехать в Москву, отобрал большую часть этих рассказов и предложил опубликовать их в журнале. Это было в начале лета сорок седьмого года, и так вышло, что на вопросы, что из себя представляют эти рассказы и почему я предлагаю их напечатать, мне пришлось отвечать непосредственно Сталину. Он принял мои объяснения, и тем же летом рассказы эти были напечатаны в «Новом мире». Эта история немного уводит нас в сторону, но мне показалось необходимым написать Вам о ней, потому что одно без другого, наверное, было бы не до конца понятным.

(К. Симонов.

Сегодня и вчера. М. 1978).

Тема письма (отзыв на рукопись о творчестве Ахматовой) не требовала обращения к Зоценко. Но у Симонова, видимо,

была потребность объясниться. (Не так даже объясниться, как оправдаться.)

Отнестись к этому его самооправданию можно по-разному. Но есть в нем одна несообразность.

В предисловии к книге, которая в 1943 году пришлась Симонову «поперек души» (речь идет о повести «Перед восходом солнца»), сказано:

- ▶ Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. Известкой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились.

Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда.

Таким образом, К.М. Симонов не мог не знать, что Зоценко не просто «уехал на всю войну в эвакуацию», — что его вывезли из осажденного Ленинграда, когда кольцо блокады уже замкнулось.

В том, что Зоценко бежал из Ленинграда, его обвинял в своем докладе Жданов.

- ▶ ... наш народ обливался кровью в неслыханно тяжелой войне, когда жизнь советского государства висела на волоске, когда советский народ нес неисчислимые жертвы во имя победы над немцами. А Зоценко, опавшись в Алма-Ате, в глубоком тылу, ничем не помог в то время советскому народу в его борьбе с немецкими захватчиками.

(А. Жданов. Доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград». Сокращенная и обобщенная стенограмма докладов А.А. Жданова на собрании партийного актива и на собрании писателей в Ленинграде).

И вот Симонов, тридцать лет спустя, — хоть и в несколько иной тональности, — в сущности, повторяет это обвинение Жданова.

Как видим, у Нины Павловны Гордон не было оснований так уж гордиться своим шефом. В особенности, если вспомнить еще один эпизод общественной биографии Симонова, как и этот, тоже связанный с его отношением к Зощенко.

* * *

В том же июне того же 1954 года на заседании Президиума Союза писателей СССР обсуждался вопрос о восстановлении М.М. Зощенко в Союзе писателей.

Вообще-то обсуждать тут было нечего. Исход дела ни у кого из членов Президиума сомнений не вызывал и решить его можно было в две минуты. Но надо было соблюсти все формальности, и обсуждение началось в точном соответствии с предписанной заранее процедурой:

► т. СОФРОНОВ.

Прежде чем перейти к персональным делам, у нас имеется поступившее в Президиум и Секретариат ССП заявление М.М. Зощенко следующего содержания (зачитывается заявление) — о восстановлении его в Союзе писателей. Это заявление было получено Секретариатом, Секретариат слушал его и поручил товарищам Симонову, Грибачеву и Соболеву ознакомиться с новыми произведениями Зощенко и свои соображения представить Президиуму.

(Из стенограммы заседания Президиума ССП. 23/VI 1953 г.).

После этого краткого вступления слово взяла Мариэтта Сергеевна Шагинян:

► т. ШАГИНЯН.

Я видела Зоценко каждый год после постановления ЦК, и я должна сказать, что это по-настоящему человек. Он хорошо реагировал на постановление, понял свои ошибки. Он работающий и по-настоящему талантливый советский писатель. И нам стыдно, если мы сейчас не протянем ему руку помощи. Он находится в очень тяжелом моральном и материальном положении. Вопрос о восстановлении Зоценко может быть решен нами единогласно.

Все формальности соблюдены, можно переходить к голосованию. И по тому, как гладко все началось (на таких собраниях тон задает обычно первый оратор), можно предположить, что результат голосования не сулит никаких неожиданностей: все, конечно, как и предложено, проголосуют единогласно.

И тут заговорил К.М. Симонов.

Заговорил в обычном своем, мягком, раздумчивом тоне:

► т. СИМОНОВ.

Я был бы против того, чтобы восстанавливать Зоценко. Мы в свое время исключили его из Союза правильно, исключили за серьезные ошибки.

Я согласен с Маризэтой Сергеевной, что он правильно отнесся к критике, что он много и честно работал, что он создал после этого ряд вещей, которые позволяют его принять в Союз — не восстановить, а принять в Союз.

Я бы Зоценко принял в Союз на основании произведений, написанных им за эти годы, с 1946-го по 1953-й, среди них и партизанские рассказы (это первое, что он опубликовал). Это не очень сильно художественно, но это очень честная попытка стать на правильные позиции. Там есть и хорошие вещи — в этих

рассказах. Его переводческая деятельность во многом просто блестяща. Это тот случай, когда я принял бы в члены Союза как переводчика за один перевод. Это блестящее художественное произведение.

Я предложил бы принять Зоценко в члены Союза писателей как прозаика и переводчика.

Какие еще есть предложения?

(Там же).

Несмотря на мягкий, раздумчивый тон этого предложения, подчеркнутый сослагательным наклонением («Я был бы против...», «Я бы предложил...»), по самой сути своей оно было чудовищным. Одного из самых крупных русских писателей XX века, живого классика предлагалось принять в Союз писателей, как новичка и — что еще оскорбительнее — КАК ПЕРЕВОДЧИКА.

Сослагательным наклонением Симонов словно бы давал понять собравшимся, что он ничего им не предписывает, не навязывает, — просто предлагает. Но никто из них (кроме Мариэтты Сергеевны) не посмел ему возразить. Все, как один, дружно залопотали:

► т. ТВАРДОВСКИЙ.

Если употребить выражение «восстановить», это значит отменить решение об исключении из Союза. Восстанавливают тогда, когда признают неправильным исключение, тогда восстанавливают. Возьмем даже более серьезное дело: исключение из партии. Восстанавливают только в случае признания высшим органом неправильности исключения...

т. ГРИБАЧЕВ.

Была приведена серьезная мотивировка. Ведь если мы восстановим его, мы делаем вид, что Зоценко ничего не совершил, что всё было ошибкой и Зоценко возвращается в Союз. Этого, по-моему, делать нельзя.

т. СОБОЛЕВ.

Если после известного случая и постановления ЦК мы приняли решение о том, чтобы расстаться с писателем, исключить его из наших рядов, то если мы сейчас будем говорить о восстановлении, то по логике русского языка это означает, что мы признаем свою ошибку по поводу исключения из Союза Зоценко и считаем это исключение ошибочным.

Мариэтта Сергеевна сражалась, как лев. Но осталась в одиночестве.

► т. ШАГИНЯН.

ЦК не вычеркивал всего литературного пути Зоценко, он дал постановление об определенных его вещах, он не опорочил всё то, что Зоценко сделал до этих вещей. Дело идет не о простой формальности. Восстановить — это значит признать его стаж, это значит дать ему право на пенсию. Человек находится в страшно тяжелом психическом состоянии. Принять его в Союз как новичка — это значит делать его начинающим писателем. Кажется, это простая форма, а есть в ней глубокий смысл.

Давайте обратимся с нашим решением в ЦК, может быть, он санкционирует наше решение. Но ставить вопрос, что будто бы восстановление отменяет исключение, это неверно.

Был прецедент: Ахматову мы восстановили. Слабый, чуждый нам поэт.

т. СИМОНОВ.

Мы ее приняли или восстановили?

т. ШАГИНЯН.

А Зоценко, который сформировался при Советской власти, который ближе нам по существу, по внутренней позиции, которую он не менял всё время, —

его мы будем принимать, а не восстанавливать. Почему вы так отнеслись к Ахматовой?

т. СИМОНОВ.

Для объяснения своих позиций я хочу сказать, что я не присутствовал при восстановлении Ахматовой, а если бы присутствовал, несомненно, голосовал бы не за восстановление, а за прием. Считаю, что и Ахматову надо было бы принимать в Союз заново, а не восстанавливать. А если есть формулировка о восстановлении, то это — неверная формулировка.

т. ШАГИНЯН.

Всё же партия не вычеркивает всей прежней его работы.

т. СОБОЛЕВ.

Мы его исключили из Союза. Прошел какой-то срок, он поработал, показал себя как человек не бесполезный, и мы считаем возможным, чтобы он был в нашей организации, не восстанавливая его, а вновь принимая на общих основаниях, как старого литератора.

т. СИМОНОВ.

Есть два предложения: предложение Мариэтты Сергеевны Шагинян восстановить Зощенко в ССП, и моё предложение — принять его в члены ССП. Я хотел бы, чтобы члены комиссии, назначенной Секретариатом, высказались по этому вопросу.

т. ШАГИНЯН.

А как же быть с Ахматовой?

т. СОБОЛЕВ.

Была допущена ошибка, если она была «восстановлена», а не «принята». Если бы я присутствовал на этом заседании, я сказал бы так же. Если вы говорите, что это на него подействует, — то тогда он просто не понял, что тогда произошло.

т. СИМОНОВ.

Для него было бы гораздо тяжелее, если бы мы не приняли его в Союз. Я прошу голосовать. Первое предложение Мариэтты Сергеевны Шагинян о том, чтобы восстановить Зоценко в ССП. Кто за это предложение? (Один.) Кто за моё предложение — принять в члены Союза? (Единогласно.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять М.М. Зоценко в члены ССП.

Мариэтта Сергеевна Шагинян в те годы вольномыслием не отличалась. Скорее, наоборот. Не только шагала в ногу, но иногда даже забегала вперед, демонстрируя свою преданность власти, верность генеральной линии. В 1946-м выступила с доносительской речью, в которой обвинила литературоведа Г. Гуковского в том, что в своей работе о русском баснописце Крылове он проявил низкопоклонство перед Западом. Гуковский вскоре был арестован и погиб в сталинских лагерях. В 52-м она активно участвовала в травле В. Гроссмана. И даже после смерти Сталина, когда он уже был разоблачен и труп его был выброшен из Мавзолея, не стеснялась повторять (публично и даже печатно): «Я счастлива и горда тем, что жила в одну эпоху с этим великим человеком!»

Вот и сейчас тоже, защищая Зоценко, она делала это, не выходя за рамки партийной ортодоксии: «ЦК не вычеркивал всего литературного пути Зоценко...», «Всё же партия не вычеркивает всей прежней его работы...»

В этом своем партийном раже она даже слегка перестаралась: вдруг укусила Ахматову, которую в молодости боготворила. (Анна Андреевна вспоминала, что тогда при каждой их встрече Мариэтта неизменно целовала ей руку, что было довольно противно. И вот, пожалуйста: «Слабый, чуждый нам поэт...».)

Все это я к тому, что, защищая Зоценко, границы дозволенного Мариэтта Сергеевна не переступила. И Симонову с этим его предложением не восстанавливать Зоценко, а принять его в Союз заново, тоже выступать было совсем не

обязательно. Не сделай он этого, все присутствующие даже не обратили бы внимания на «не ту» формулировку, дружно проголосовали бы: «Восстановить!», и никто бы их за эту «не ту» формулировку не осудил и даже не пожурил. Тем более что и прецедент такой уже был: Ахматова.

Ради чего же так старался Симонов?

Во всех других случаях, как уже рассмотренных, так и еще не рассмотренных нами, поступая таким образом, он делал это, потому что не смел — да и не мог осмелиться — поступить иначе. Не только при жизни Сталина, но даже и после его смерти. Взять хоть вот это собрание ленинградских писателей, на котором он кинул в зал свою ужасную фразу: «Това' ищ Зоценко бьет на жа' ость...». Ведь он не сам, не по собственной инициативе приехал тогда в Ленинград, а был послан туда с определенной миссией. Провести то собрание на должном уровне ЕМУ БЫЛО ПОРУЧЕНО. И он выполнил это партийное поручение так, как, по его представлениям, ему надлежало его выполнять.

Но тут — совсем другой случай.

Конечно, вопрос о возвращении М.М. Зощенко в Союз писателей до того, как он был вынесен на заседание Президиума ССП, решался — и был решен — в другой, более высокой инстанции. Но вряд ли руководителям писательского Союза при этом было строго предписано, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ФОРМА этого, утверждаемого ими, постановления. И никто Симонову таких указаний не давал: гляди, мол, не промахнись, проследи, чтобы формулировка была наша, правильная, партийная. Наверняка это была собственная, личная его инициатива.

Зачем же понадобилось ему эту инициативу проявлять? Да еще так упрямо на ней настаивать?

Ответить на этот вопрос несложно.

Он хотел быть в ладу с самим собой. Хотел уговорить себя — и других, конечно, тоже, но прежде всего себя, — что в 46-м, когда вместе со всеми одобрял исключение Ахмато-

вой и Зощенко из Союза писателей, делал это не по указанию свыше, а по глубокому внутреннему убеждению, что это ПРАВИЛЬНО, что ТАК НАДО.

Но если ему приходится себя в этом уговаривать, значит, теперь он уже не так в этом уверен? А может быть, даже и тогда, в 46-м, в монолите его партийной убежденности уже была какая-то трещинка?

Да, конечно. Теперь мы точно знаем, что была. И даже знаем, в чем именно она состояла:

- ▶ То, что говорилось об Ахматовой в ту пору... задело меня... Я пытался понять, объяснить, даже уговорить себя, что, быть может, я неправ, но уговорить себя не смог. И когда ко мне обратились с предложением написать на эти темы в одну из газет, ответил, что о своем отношении к тому, что вышло из-под пера Зощенко в годы войны, написать могу. А об Ахматовой писать не буду. После этого к предложению написать статью больше не возвращались.

(Из письма В.Я. Виленкину).

Тогда, в 46-м, повел себя так.

А теперь:

- ▶ ...Я не присутствовал при восстановлении Ахматовой, а если бы присутствовал, несомненно, голосовал бы не за восстановление, а за прием. Считаю, что и Ахматову надо было бы принимать в Союз заново, а не восстанавливать. А если есть формулировка о восстановлении, то это — неверная формулировка.

(Из стенограммы заседания Президиума ССП. 23/VI 1953 г.)

Вряд ли этим — и другими подобными — проявлением этой своей негибкой «принципиальности» он был так уж доволен.

Позже он и сам в этом признался.

Это было на вечере в ЦДЛ, посвященном его 50-летию. Небольшая речь, которую он там произнес, была ответом на обращенные к нему комплименты и славословия. Вот что он там тогда сказал:

- ▶ — Ну что же, когда вот такой вечер — пятьдесят лет человеку, — конечно, больше вспоминают хорошее. Я просто хочу, чтобы присутствующие здесь, собравшиеся здесь мои товарищи знали, что не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо, — я это понимаю, — не всегда был на высоте. На высоте гражданственности, на высоте человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества. И я это помню. А говорю это не в порядке, так сказать, каких-то покаяний, это личное дело каждого, а просто потому, что, помня это, хочется не повторять ошибок. И я постараюсь их не повторить, как бы трудно ни приходилось...

*(Константин Симонов
в воспоминаниях современников. Стр. 291).*

Текст этого тогдашнего симоновского монолога я извлек из воспоминаний Л.И. Лазарева, где он приведен в кавычках, а значит, документально точен. (Лазарь Ильич был человек аккуратный и не стал бы закавычивать текст, цитируемый по памяти.) Но, приведя его, мемуарист этим не ограничился, а в продолжение и развитие той же темы вспомнил еще один связанный с Симоновым «юбилейный» эпизод, пожалуй, даже более выразительный:

- ▶ Дома у Константина Михайловича празднуется его 55-летие. В середине вечера, когда все были уже несколько разгорячены, один из его бывших приятелей с особой многозначительностью преподнес виновнику

торжества репродукцию его портрета сорок шестого года и произнес небольшую речь в стихах, общий смысл которой можно довольно точно передать словами некогда популярной песни — «каким ты был, таким ты и остался». Идея эта не понравилась мне — я не считал то время лучшим и в жизни Симонова, и в его творчестве, а так как следующий тост пришлось провозглашать мне, я предложил выпить за мужество хозяина дома, который не боится меняться, уходить от старого, порывать с ним. Мой оппонент, хотя я его не назвал, был, однако, задет и бросил мне не совсем вежливую реплику, кто-то ему ядовито ответил, кто-то его поддержал. Возникла короткая, но напряженная и, самое главное, не очень подходящая для праздничного застолья перепалка. На следующий день, считая себя возмутителем спокойствия, я позвонил Константину Михайловичу, чтобы извиниться. Оказалось, он вовсе не был раздосадован этим маленьким происшествием, — напротив, возникшая дискуссия, сказал он, посмеиваясь, весьма полезна, потому что помогает определиться; разумеется, лучше, когда человек меняется, если, конечно, он меняется в хорошую сторону...

(Там же. Стр. 291–292).

Автор этого мемуарного отрывка не счел нужным назвать имя «давнего приятеля», который с особой многозначительностью преподнес Симонову в тот вечер его портрет 46-го года. Но угадать, о ком тут идет речь, не так уж трудно. Это был Александр Юрьевич Кривицкий — не просто приятель, а на протяжении многих лет очень близкий Симонову человек. И в «Новом мире», и в «Литературной газете» он был его первым замом (по должности), а по существу — комиссаром. Именно на эту роль Симонов всегда брал его себе в замы. Он и сам, как мы знаем, всегда знал, куда дует политический ветер. Но Кривицкий был в этом деле еще большим виртуозом,

и Симонов безгранично ему доверял, неизменно прислушиваясь к его советам и послушно следуя его рекомендациям. Подробно об этой его роли «злого демона» в «Новом мире» рассказала в своих записях Л.К. Чуковская. (Я неоднократно ссылаюсь на них в главе «Сталин и Платонов».)

Это я к тому, что «неприсоединение» Симонова на том юбилейном застолье к тосту Кривицкого было в своем роде не менее многозначительно, чем демонстративно подаренный ему Кривицким его портрет 46-го года.

И обещая на своем пятидесятилетии, что будет стараться не повторять прошлых «ошибок», и пять лет спустя, отвечая на телефонные извинения Л.И. Лазарева, он не лукавил.

Он искренне хотел «меняться в хорошую сторону» и даже немало в этом преуспел. Но трудно это ему давалось. И совсем очиститься от сталинской скверны он так и не смог.

Сюжет четвертый

«НАС ВЫРАСТИЛ СТАЛИН...»

В тексте Государственного гимна (первом из трех), сочиненном Сергеем Михалковым, эта строка была не более чем риторической фигурой. Но стоит отнести ее к творческой и человеческой судьбе Константина Симонова, как она сразу же наполняется плотью и кровью, обретает смысл не только конкретный, но чуть ли даже не буквальный.

Лучше всего сказал об этом он сам, вспоминая о той душевной сумятице, какую вызвал у него секретный доклад Хрущева на XX съезде партии.

- Сложность моего душевного состояния в те годы заключалась в том, что, в общем-то, я вырос и воспитался при Сталине. При нем кончил школу, при нем пошел в ФЗУ, при нем был рабочим, при нем стал студентом Литературного института, при нем начал писать, при нем стал профессиональным писателем, при нем перед войной вступил в кандидаты партии, а потом в члены, при нем был военным корреспондентом.

том, при нем получил шесть Сталинских премий, одну из которых считал незаслуженной, а остальные — заслуженными, при нем стал редактором «Нового мира» и «Литературной газеты», заместителем Генерального секретаря Союза писателей, кандидатом в члены ЦК, несколько раз мог убедиться в том, что пользовался его доверием. При нем посадили, а потом выпустили моего отчима, при нем отправились в ссылку моя тетка и мои двоюродные сестра и брат, при нем где-то в ссылке погибли две другие тетки мои, любимая и нелюбимая, при нем посадили и, несмотря на мои письма, не выпустили и не послали на фронт моего первого руководителя творческого семинара, человека, которого я очень любил, при нем по моему ходатайству вернули в Москву одну мою оставшуюся в живых тетку. При нем были процессы, в которых мне было далеко не все понятно. При нем была Испания, куда я готов был ехать, Халхин-Гол, куда я поехал, при нем была Великая Отечественная война, на которой я видел много страшного, много неправильного, много возмущавшего меня, но которую мы все-таки выиграли. При нем я слушал его казавшиеся мне умными и правильными разговоры о литературе, при нем была расходившаяся с этими правильными разговорами кампания по искоренению космополитизма. При нем мы не согнули головы перед обожравшейся во время войны Америкой в те годы, когда у нас над головой висела их атомная бомба, а мы еще не имели своей. При нем были новые, напоминавшие тридцать седьмой и тридцать восьмой годы, аресты в послевоенные годы, при нем в эти же послевоенные годы было движение борьбы за мир, в котором я участвовал. Все это было при нем, я перечисляю в том беспорядке, в каком это вспоминается. Все было при нем.

(К. Симонов.
Истории тяжелая вода. Стр. 501—502).

При всей несомненной честности этой его попытки разобратся в своих взаимоотношениях с почившим вождем странное производит она впечатление.

Да, со Сталиным в его сознании связано и то плохое, что было «при нем» в нашей жизни. (Аресты ни в чем не повинных людей, судебные процессы, в которых «далеко не все» было ему понятно, много «неправильного» и даже возмущавшего его из того, что пришлось ему увидеть и пережить на войне.) Но ведь было и хорошее!

Была сражавшаяся с фашистами Испания. (Которую Сталин отдал на растерзание режиму Франко, приказав вывести интербригады, а потом посадив и расстреляв всех, кто сражался на стороне республиканцев.)

Была война, которую несмотря ни на что мы все-таки выиграли. (Несмотря прежде всего на Сталина, на его «гениальное» руководство, на обезглавленную им перед войной Красную Армию.)

Были «умные разговоры о литературе». (О том, чего стоили эти «умные» и казавшиеся ему правильными сталинские разговоры, мы еще поговорим.)

Была (и осталась!) гордость от сознания, что «мы не согнули головы перед обожравшейся во время войны Америкой». (Можно ли винить американцев за то, что они были сыты и благополучны в то время, когда мы голодали в разоренной Сталиным стране, с уничтоженным Сталиным крестьянством, замордованной, раздавленной интеллигенцией, миллионами людей, без вины отправленных в лагеря. Не мешало бы тут вспомнить и о том, сколько «студебекеров» и всего другого, без чего мы вряд ли смогли бы выиграть ту войну, отправила нам тогда эта «обожравшаяся» Америка.)

Было, наконец, «движение борьбы за мир», в котором он, Симонов, участвовал и которое он тоже, без колебаний, относит ко всему хорошему, что было у нас при Сталине.

В общем, судя по этой его попытке «разобраться со Сталиным», Симонов не сомневается, что хорошего «при нем» было больше, гораздо больше, чем плохого.

И это — уже после доклада Хрущева, приоткрывшего завесу над кровавой бездной сталинских преступлений. А в первые недели после смерти Сталина его уверенность в непогрешимости и величии почившего вождя была так тверда и непоколебима, что даже никогда прежде его не подводившее, безошибочное его политическое чутье на этот раз ему изменило.

* * *

В то время часто спорили о том, когда начался тот процесс «десталинизации», который завершился решением XXII съезда партии о выносе тела Сталина из Мавзолея.

Ни у кого не было сомнений, что начался он раньше, гораздо раньше, чем бывшие соратники вождя решились сказать об этом вслух.

Но — когда? Полгода или даже год спустя после смерти вождя, когда в печати впервые стало мелькать словосочетание «культ личности»? Или уже через месяц, когда выпустили и реабилитировали врачей?

Лишь годы спустя мы узнали, что начало этому процессу было положено еще раньше, — в день сталинских похорон.

Всех, как тогда говорили, ведущих писателей в тот день собрали в Колонном зале, за сценой. Обязанности Генерального секретаря правления Союза писателей тогда исполнял Алексей Сурков. Он — то появлялся в этой комнате, то исчезал — уезжал в ЦК за руководящими указаниями. И вот, вернувшись в очередной раз, объявил:

— Внимание, товарищи! Я только что **оттуда!** — он показал пальцем в потолок.

Все, разумеется, сразу поняли, откуда — оттуда. И поняли, что на сей раз он наконец имеет сообщить нечто важное.

Так оно и было.

В мгновенно наступившей тишине Сурков объявил:

— Сказали: плакать, но не слишком.

Историю эту я услышал от В. Лакшина, которому ее рассказал Твардовский.

Был ли там, среди сидевших в той комнате «ведущих» и Симонов?

Надо думать, что был. Не мог не быть. А даже если по каким-то причинам и не был, он не мог совсем ничего не знать об этом, полученном «сверху» сигнале.

Но по всему выходит, что он этого сигнала не услышал.

Во всяком случае, он его проигнорировал.

Спустя две недели после смерти Сталина в «Литературной газете», которую редактировал Симонов, появилась передовая статья: «Священный долг писателя». Написана она была самим главным редактором. И вот что в ней говорилось:

- ▶ Самая важная, самая высокая задача, со всей настоятельностью поставленная перед советской литературой, заключается в том, чтобы во всем величии и во всей полноте запечатлеть для своих современников и для грядущих поколений образ величайшего гения всех времен и народов — бессмертного Сталина.

*(Литературная газета.
19 марта 1953 г.)*

По смыслу и по тональности это не расходилось с тем, что писали в то время другие газеты. Да и с тем, что он сам написал и напечатал ровно неделю назад:

Нет слов таких, чтоб ими передать
Всю нестерпимость боли и печали,
Нет слов таких, чтоб ими рассказать,
Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин.

В том же духе высказались тогда и другие, самые известные в то время советские поэты:

Обливается сердце кровью...
Наш родимый, наш дорогой!
Обхватив твоё изголовье,
Плачет Родина над тобой.
В этот час величайшей печали
Я тех слов не найду,
Чтоб они до конца выражали
Всенародную нашу беду.

Это восьмистишие легко принять за отрывок из одного стихотворения, сочиненного одним поэтом. Между тем первые его четыре строки принадлежат Ольге Берггольц, а вторые — Твардовскому.

Процитировав их рядом со своими (разумеется, не так, как это сделал я, а порознь) и добавив к ним еще одно, мало от них отличающееся четверостишие М. Исаковского, Симонов сразу отмечает естественно возникающее предположение, что схожесть, да и не шибко высокий поэтический уровень этих стишков объясняется тем, что дирижировала хором этих «хороших и разных» поэтов одна и та же дирижерская палочка.

- ▶ ...Схожесть стихов была рождена не обязанностью их написать — их можно было не писать, а глубоким внутренним чувством огромности потери, огромности случившегося. У нас были впереди потом еще долгие годы для того, чтобы попробовать разобраться в том, что это была за потеря, и лучше или хуже было бы — я не боюсь задавать себе этот достаточно жестокий вопрос — для всех нас и для страны, если бы эта потеря произошла не тогда, а еще позже. Во всем этом предстояло разбираться, особенно после XX съезда, но и до него тоже.

Однако сама огромность происшедшего не подлежала сомнению, и сила влияния личности Сталина и всего порядка вещей, связанного с этой личностью, для

того круга людей, к которому я принадлежал, тоже не подлежала сомнению. И слово «потеря» уживалось со словом «печаль» без насилия авторов над собою в тех стихах, которые мы тогда написали.

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода. Стр. 485).

Точно так же, в тех же выражениях, теми же словами объясняет Симонов, ЧТО побудило его сочинить и напечатать тот злополучный абзац в появившейся 19 марта передовой статье «Литературной газеты»:

- ▶ ...Первым, главным чувством было то, что мы лишились великого человека. Только потом возникло чувство, что лучше бы лишиться его пораньше, тогда, может быть, не было бы многих страшных вещей, связанных с последними годами его жизни. Но что было, то было... Первое чувство грандиозности потери меня не покидало долго, в первые месяцы оно было особенно сильным. Очевидно, под влиянием этого чувства я вместе с еще одним литератором, любившим демонстрировать всю жизнь решимость своего характера, но в данном случае при возникновении опасности немедленно скрывшимся в кустах, сочинил передовую статью, опубликованную в «Литературной газете» девятнадцатого марта пятьдесят третьего года... Передовая называлась «Священный долг писателя», и... первое, что вменялось писателям как их священный долг, было создание в литературе образа Сталина. Никто ровным счетом не заставлял меня это писать, я мог написать все это и по-другому, но написал именно так, и пассаж этот принадлежал не чьему-либо иному, а именно моему перу. Мною же был задан и общий тон этой передовой...

На мой тогдашний взгляд, передовая была как передовая, я не ждал от нее ни добра, ни худа, в основу ее

легло мое выступление на происходившем перед этим митинге писателей, смысл которого в основном совпадал со смыслом передовой. Однако реакция на эту передовую оказалась очень бурной.

(Там же. Стр. 502–503).

«Очень бурной» — это слишком слабо сказано. Скандал разразился невероятный. И слух об этом, где-то там, на самом верху разразившемся скандале (это я уже могу сказать, основываясь на собственной памяти) стал тогда одним из самых громких сигналов, возвещающих о близости грядущих перемен.

- ▶ Номер с передовой «Священный долг писателя» вышел в четверг. Четверг после его выхода я провел в редакции, готовя следующий номер, и глядя на ночь в пятницу уехал за город, на дачу, чтобы пятницу, субботу и воскресенье писать там, а утром в понедельник приехать в редакцию и с самого утра делать вторничный номер. Телефона на даче не было, и я вернулся в понедельник утром в Москву, ничего ровным счетом не ведая.

— Тут такое было, — встретил меня мой заместитель Косолапов, едва я успел взять в руки субботний номер, которого еще не читал. — А лучше вам расскажет об этом Сурков, вы ему позвоните, он просил позвонить, как только вы появитесь.

Я позвонил Суркову, мы встретились, и выяснилось следующее: Никита Сергеевич Хрущев, руководивший в это время работой Секретариата ЦК, прочитавши не то в четверг вечером, не то в пятницу утром номер с моей передовой «Священный долг писателя», позвонил в редакцию, где меня не было, потом в Союз писателей и заявил, что считает необходимым отстранить меня от руководства «Литературной газетой», не счи-

тает возможным, чтобы я выпускал следующий номер. Впредь, до окончательного решения вопроса — надо полагать, в Политбюро, это уж я додумал сам, — пусть следующий номер, а может быть, и следующие номера читает и подписывает Сурков как исполняющий обязанности Генерального секретаря Союза писателей.

Из дальнейшего разговора Сурков выяснил, что все дело в передовой «Священный долг писателя», в которой я призывал писателей не идти вперед, не заниматься делом и думать о будущем, а смотреть только назад, только и делать, что воспевать Сталина, — при такой позиции не может быть и речи, чтобы я редактировал газету. По словам Суркова — не помню, прямо говорившего с Хрущевым или через вторых лиц, — Хрущев был крайне разгорячен и зол.

— Я лично, — сказал Сурков, — ничего такого в этой передовой не увидел и не вижу. Ну, неудачная, ну действительно там слишком много отведено места тому, чтобы создавать произведения о Сталине, что это самое главное. В конце концов, что тут такого. Можно в других передовых статьях снять этот ненужный акцент на прошлом. Сначала хотел послать к тебе гонца, вызвать тебя, а потом решил не расстраивать, может, за это время все обойдется. Номер, как мне сказал Косолапов, был готов, я приехал, посмотрел его и подписал. Фамилию твою не требовали снимать, требовали только, чтоб я прочитал и подписал номер. Вот и подумал, стоит ли выбивать тебя из колеи, ты сидишь там, пишешь. Вернешься в понедельник, может, к этому времени все утрясется.

Так оно в результате и вышло. На каком-то этапе, не знаю где, в Секретариате или в Политбюро, все, в общем, утряслось. Когда Сурков при мне позвонил в агитпроп, ему сказали, чтобы я ехал к себе в редакцию и выпускал очередной номер. Тем дело на сей раз и кон-

чилось. Видимо, это был личный взрыв чувств Хрущева, которому тогда, в пятьдесят третьем году, наверное, была уже не чужда мысль через какое-то время попробовать поставить точки над «і» и рассказать о Сталине то, что он счел нужным рассказать на XX съезде. Естественно, что при таком настроении передовая под названием «Священный долг писателя» с призывом создать эпохальный образ Сталина попала ему, как говорится, поперек души. И хотя, видимо, его склонили к тому, чтобы мер, в горячке предложенных им, не принимать, невзлюбил он меня надолго, на годы, вплоть до появления в печати «Живых и мертвых», считая меня одним из наиболее заядлых сталинистов в литературе.

(Там же. Стр. 504–505).

Последняя реплика предполагает, что на самом деле никаким сталинистом он, конечно, не был. Но это — как посмотреть, от чего отталкиваться, с кем сравнивать.

* * *

В мае 1954 года (в 5-м номере журнала «Знамя») вышла в свет маленькая повесть Ильи Эренбурга «Оттепель».

Как явлению литературному цена ей была невелика. Вялый сюжет, неживой, невыразительный диалог, бледные, схематичные образы персонажей... Чувствуется, что писалась она торопливо, в спешке. В общем, шансов стать не то что выдающимся, но даже просто сколько-нибудь заметным явлением художественной прозы у нее не было никаких. И не было бы ничего удивительного, если бы о ней просто промолчали. Разве только громкое имя Эренбурга могло заставить критиков отметить ее какой-нибудь короткой, кисло-сладкой рецензией.

Но вышло так, что эта, как сказал бы Зоценко, «маловысокохудожественная» повесть вызвала взрыв живого чита-

тельского интереса и бурю критических откликов. Самым громким из них стала статья Константина Симонова «Новая повесть Ильи Эренбурга».

Поражала она уже своими размерами: была не просто непомерно велика, по газетным меркам — прямо-таки огромна: еле уместилась в двух номерах «Литературной газеты», по четыре газетных подвала в каждом номере. Перепечатанная потом в книге (К. Симонов. На литературные темы. Статьи 1937–1955), она заняла там двадцать шесть страниц убористого книжного текста.

Появление такой внушительной статьи, наверно, вызвало бы удивление, даже если бы она была откликом на роман такого размаха, каким была эренбургская «Буря». А тут — маленькая, невзрачная повесть, и — такой резонанс!

Непонятливого читателя тут могло сбить с толку то, что и тоном, и содержанием этой своей статьи (во всяком случае, первой ее половины) Симонов упирал на то, что речь в ней идет о чисто художественных слабостях (как тогда говорили, — просчетах) эренбургской повести. Но таких непонятливых читателей у этой симоновской статьи было немного. А для понимающих не было и не могло быть ни малейших сомнений, что дело это не литературное, а политическое. Фактом политики, некой политической акцией была и сама эренбургская повесть. И такой же политической акцией была развенчивавшая эту повесть статья Симонова.

Уже само название повести, давшее потом имя целому периоду нашей истории, в момент ее появления воспринималось как некий политический вызов. Недаром редакторы (члены редколлегии «Знамени»), решая вопрос о ее публикации, настойчиво требовали, чтобы это свое «вызывающее» название Эренбург заменил другим:

- ▶ На заседании редакционной коллегии журнала «Знамя» 24 февраля 1954 г., в котором «Оттепель» в апреле намечалось опубликовать, раздавались... возра-

жения. «Это оттепель или весна после суровой зимы? Или очередная ступень в нашей жизни? — спрашивал один из редакторов. — Создается впечатление, что все предшествующее было ошибкой. Пусть будет название «Новь» или «Новая ступень».

(РГАЛИ. Ф. 618, оп. 16, ед. хр. 143.

Цит. по кн.: Джошуа Рубинштейн.

Жизнь и время Ильи Эренбурга.

СПб., 2002. Стр. 308).

Таких глупых и безвкусных предложений Симонов Эренбургу не делал. Но смысл его статьи был именно таков. «Что, собственно, Вы хотите сказать? — в сущности, спрашивал он у Эренбурга. — Что тридцать лет у нас лютовала зима, и только вот сейчас, со смертью Сталина, наконец как будто повелю весной?»

Да, Эренбург хотел сказать именно это. И вскоре, уже с большей открытостью и прямоотой, хоть и прибегая к той же системе образов, выразил это в одном коротком своем стихотворении:

Да разве могут дети юга,
Где розы плещут в декабре,
Где не разыщешь слова «вьюга»
Ни в памяти, ни в словаре,
Да разве там, где небо сине
И не слиняет ни на час,
Где испокон веков поныне
Всё то же лето тешит глаз,
Да разве им хоть так, хоть вкратце,
Хоть на минуту, хоть во сне,
Хоть ненароком догадаться,
Что значит думать о весне,
Что значит в мартовские стужи,
Когда отчаянье берет,
Всё ждать и ждать, как неуклюже
Зашевелится грузный лед.

А мы такие зимы знали,
Вжились в такие холода,
Что даже не было печали,
Но только гордость и беда.
И в крепкой, ледяной обиде,
Сухой пургой ослеплены,
Мы видели, уже не видя,
Глаза зеленые весны.

Стихотворение это было написано в 1958-м, а напечатано год спустя – в «Литературной газете», под названием «Северная весна». Даже пять лет спустя после «Оттепели» редакция «ЛГ» стыдливо отводила взгляд от ясного и очевидного смысла стихотворения, делая вид, что речь в нем идет всего лишь о климате, о суровой северной природе и плохой погоде. Но сам Эренбург и пять лет назад, в «Оттепели» не скрыл истинного смысла своей аллегории. И Симонов, начиная свою статью об этой эренбургской повести, тоже не скрыл от читателя, что понимает этот тайный ее смысл. И даже начал ее разбор, как это было принято в критических статьях и рецензиях того времени, с одобрительного и дружеского, хоть и несколько снисходительного похлопывания автора по плечу.

- ▶ Начнем с того хорошего, что есть в повести. Прежде всего – это искреннее волнение, которое в ней чувствуется там, где речь идет о таких ее героях, как... (следует перечень имен. — Б.С.)...

Судьбы этих людей объединены не одной только сюжетной, но и более важной связью. На примере их личных судеб писатель хочет изобразить то хорошее и радостное, чего с каждым днем все больше в нашей жизни, что в общегосударственном масштабе выражено во многих решениях и практических мерах, принятых партией и правительством.

Ощущение, что людям становится лучше жить, что у нас на глазах исчезают многие теневые стороны жизни, присутствует в повести Эренбурга. Рассказывая об этом, писатель в то же время касается ряда проблем, которые не может обойти литература, если она не желает обойти острые углы в жизни.

(Цит. по кн.: К. Симонов. На литературные темы. Статьи. 1937—1955. М., 1958. Стр. 248—249).

Острые углы в жизни обходить, стало быть, не следует, то, что Эренбург в своей повести их не обходит, это даже хорошо. Весь вопрос в том, КАК он это делает.

Перечислив некоторые реалии тогдашней советской жизни, на которых автор «Оттепели» сосредоточивает свое внимание, Симонов замечает:

- ▶ Нет нужды спорить против каждой детали, но против всего, вместе взятого, не спорить нельзя. Эти детали в своей сумме создают в повести какой-то унылый фон... И когда в одной и той же повести привычность и обыкновенность всего дурного подчеркиваются так же настойчиво, как «необыкновенность»... положительных героев, то становится непонятно, откуда же, по мнению автора, берется все то хорошее, что происходит в нашей жизни, кем это делается — людьми, громадным большинством народа или возникает само собой, без участия людей сваливается с неба?

(Там же. Стр. 254—255).

Но это только присказка. Сказка, как водится, впереди.

Настоящий бой Симонов дает Эренбургу там, где дело доходит до отношения автора «Оттепели» к советскому искусству.

На эту тему Эренбург в своей повести высказался с наибольшей прямоотой и откровенностью, что позволило Си-

монову от сравнительно деликатных упреков в торопливом, поверхностном, а потому искаженном изображении тогдашней советской реальности перейти к прямым политическим обвинениям.

- ▶ В повести дана окарикатуренная картина жизни нашего искусства, причем и выводы, к которым приходит Эренбург, и положительные идеалы, которые он выдвигает, не вызывают никакого желания с ними соглашаться...

Обращаясь к видному деятелю советской культуры, как-то странно быть вынужденным говорить самые общеизвестные вещи, но все же хочется напомнить автору «Оттепели», что и до ее появления наше искусство отнюдь не являлось промерзшей насквозь ледяной куклой. Были и есть в нем такие актеры, как Хмелев и Шукин, Черкасов и Бабочкин, Пашенная и Ливанов, и многие другие славные мастера театра, кстати, выросшие в мастеров, играя главным образом в тех самых советских пьесах, от которых в таком унынии эренбурговская Танечка. Были и есть у нас песни, музыка и слова которых облетели весь мир. Были и есть у нас даровитые советские архитекторы, и лучшие здания, построенные по их проектам, радуют глаз и в Москве, и в Киеве, и в Сталинграде. Были у нас скульпторы, чьи работы являются гордостью искусства, — можно вспомнить памятник советским воинам Вучетича в Трептов-парке в Берлине; можно вспомнить статую Мухиной, венчавшую советский павильон на парижской выставке; можно вспомнить и другие прекрасные работы. Есть у нас выдающаяся по своему мастерству графика Пророкова и Кукрыниксов, Шмаринова и Верейского. Есть у нас хорошие картины, монументальные и жанровые, портреты и пейзажи — работы Дейнеки, Иогансона, Сарьяна и Пластова, Кончаловского

и Непринцева, Григорьева и Решетникова — мастеров разных поколений и разных художественных манер, по праву занимающих свое законное и заметное место в наших картинных галереях.

(Там же. Стр. 267—268).

Тут сразу бросается в глаза, что перечисленные в этом списке имена отбирались автором, что называется, с умом. Чувствуется: он очень старался, чтобы список получился представительным. Чтобы художественные достижения тех, кто в нем оказался, ни у кого не вызывали сомнений.

Но, несмотря на все старания, этот его список являет собой классический образец традиционной советской демагогии. И даже не без жульничества.

Вот, например, перечисляя имена замечательных (действительно замечательных!) советских актеров — Хмелева, Щукина, Черкасова, Пашенной, Ливанова, — он роняет:

- ▶ ...кстати, выросших в мастеров, играя главным образом в тех самых советских пьесах, от которых в таком унынии эренбургская Танечка.

Но не надо быть ни театральным критиком, ни историком советского театра, ни даже театральным «фанатом», чтобы знать, что Николай Павлович Хмелев «вырос в мастера», сыграв князя Василия Шуйского в «Царе Федоре Иоанновиче» А.К. Толстого, Алексея Турбина в «Днях Турбиных» Булгакова, князя К. в «Дядюшкином сне» Достоевского, Фирса в «Вишневом саде» Чехова, Каренина в «Анне Карениной» Л.Н. Толстого.

И Борис Васильевич Щукин оттачивал свое мастерство не в «Зеленой улице» Сурова, а играя Тарталью в «Принцессе Турандот», Полония в «Гамлете», Егора Булычова у Горького.

И Николай Константинович Черкасов начинал свою жизнь на сцене, сыграв сперва Дон Кихота, потом Валаама в пушкинском «Борисе Годунове» и Осипа в «Ревизоре».

И Вера Николаевна Пашенная прославилась тем, что играла Ирину в «Царе Федоре», Василису в «На дне», Ольгу в «Трех сестрах», Мурзавецкую в «Волках и овцах», Кукушкинну в «Доходном месте», Анну Андреевну в «Ревизоре», Вассу Железнову у Горького.

Конечно, все они играли — и нередко блестяще — и в советских пьесах (достаточно вспомнить Щукина в роли Ленина или Пашенную в «Любови Яровой»). Но — не в тех, от которых «была в таком унынии эренбургская Танечка»:

- ▶ На 84-й странице о Танечке сообщается, что у нее «в театре одни неудачи». Она «играла в советской пьесе лаборантку, которая разоблачает профессора, повинного в низкопоклонстве. Роль ужасная, ни одного живого слова; когда она произносила монолог, бичующий профессора, в зале смеялись».

(Там же. Стр. 266).

Мог ли Симонов, приводя, — разумеется, в ироническом контексте, — эту цитату из эренбургской «Оттепели», не подумать, что это и про его «Чужую тень»? И не этим ли тоже вызвана та смена тональности, те новые, более раздраженные ноты, которые зазвучали в его голосе, стоило ему от жизненных коллизий, затронутых в эренбургской повести, перейти к теме искусства.

- ▶ Я понимаю, что повесть не статья, да и ни в какой статье не перечислишь все лучшее, что за десятилетия создано в нашем искусстве. Но я хотел задать один простой вопрос: почему повесть, почти треть которой отведена разговорам об искусстве, изображению людей, так или иначе к нему причастных, не содержит в себе

даже намек на существование у нас в искусстве всего того «хорошего и разного», о чем я только что упомянул самым кратким образом?..

...Перечитывая повесть, страницу за страницей, во всей книге мы ни из чьих уст не услышим скольконибудь объективной оценки того, что делается в нашем искусстве, — и его сильных сторон и его слабостей. Такое впечатление, словно для персонажей повести искусство вымерло. Как будто нет пьес, которые им нравятся, актеров, которых они любят, картин и скульптур, которые им дороги.

(Там же. Стр. 267—268).

Это уже не критика, пусть даже довольно жесткая. Это — суровый начальственный окрик.

Кое-кто, правда, полагал, что недостаточно суровый. Что Симонов своей статьей, по существу, защитил Эренбурга, спас его от настоящего критического разгрома, которого тот заслуживал.

Это каннибальское суждение высказал М.А. Шолохов. Причем — дважды:

- ▶ В качестве примера недобросовестной критики можно привести статью К. Симонова о повести Ильи Эренбурга «Оттепель». Автор ее затушевывает недостатки повести вместо того, чтобы сказать о них прямо и резко. Нет, не интересами литературы руководствовался Симонов, когда писал свою статью.

(М. Шолохов. Речь на III съезде писателей Казахстана. Цит. по кн.: М. Шолохов. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. М., 1962. Стр. 429).

Мы критикуем его (Эренбурга. — Б.С.) не как борца за мир, а как писателя, а это — наше право. Вот, в частности, он обиделся на Симонова за его статью

об «Оттепели». Зря обиделся, потому что, не вырвись Симонов вперед со своей статьей, другой критик поиному сказал бы об «Оттепели». Симонов, по сути, спас Эренбурга от резкой критики.

(М. Шолохов.

Речь на II Всесоюзном съезде советских писателей.

Цит. по кн.: М. Шолохов. Собрание сочинений в 8 томах. Т. 8. Стр. 444).

Конечно, можно было бы ударить по Эренбургу и покрепче. Но и Симонов своей статьей нанес ему достаточно сильный удар. А главное, это был удар с охранительных, по сути, сталинистских позиций.

Да, мол, имели место отдельные слабости и недостатки. Но мы всегда, когда было нужно, на это указывали. А в общем и целом всё всегда было у нас хорошо и правильно, — и в жизни и в искусстве. («Все в порядке, все в порядке, Ворошилов на лошадке».) И сомневаться в этом мы не позволим никому. Даже Эренбургу.

Нет, не «даже Эренбургу». Эренбургу в особенности:

- ▶ Писательский и общественный авторитет Ильи Эренбурга, завоеванный его лучшими книгами, прекрасной публицистикой и его выдающейся общественной деятельностью, велик, и поэтому, когда такой писатель и общественный деятель в своем произведении дает неверную оценку нашего искусства и пропагандирует неверные взгляды на пути его развития, то людям, глядящим на эти вопросы иначе, чем И. Эренбург, очевидно, следует высказать свою точку зрения с той же категоричностью, с какой она высказана в «Оттепели»...

Неужели мы действительно, прочтя «Оттепель», окажемся перед печальной необходимостью выбирать только между Пуховым и Сабуровым?..

Достаточно поставить этот вопрос, чтобы убедиться в том, как элементарно несправедлива общая картина искусства, нарисованная в повести Эренбурга...

(К. Симонов.

*На литературные темы. Статьи.
1937—1955. Стр. 249).*

Читателям, которые не прочли в свое время повесть Эренбурга «Оттепель», а теперь, конечно, уже и не станут ее читать (и не надо!), тут надо объяснить, кто такие эти Пухов и Сабуров, которым Симонов — не без некоторых к тому оснований — уделяет в своей статье особое и как будто бы даже непомерно большое место.

Это — художники, в прошлом школьные товарищи. Оба талантливы. Но пути их разошлись еще в юности. Пухов растлил свой талант, без зазрения совести, изо дня в день штампую не имеющие ничего общего с истинным искусством парадные портреты колхозников и рабочих. В результате у него — просторная мастерская и прочие жизненные блага. А не изменивший искусству Сабуров ютится в жалкой комнатенке и упоенно, не заботясь о признании и официальном успехе, колдует над своими холстами, создавая пленительные пейзажи и портреты своей хромоножки жены, невзрачные черты которой его живопись преображает в чудо искусства.

Нарочитое противопоставление этих двух фигур не только возмутило, оно, судя по всему, больно задело Симонова. Недаром на протяжении всей своей статьи он возвращается к нему постоянно:

- ▶ Кто такой Владимир Пухов, почему он стал таким, какая среда и какие условия породили его?

Вначале Пухов характеризуется как циничный юноша... Однако дальше мы узнаем, что, окончив институт, именно этот юноша, попавший, по мнению матери, в дурную компанию, написал большой холст

«Пир в колхозе» и что «картину расхвалили, Володя получил в Москве мастерскую...» Кто расхвалил? Может быть, такие же циничные люди, как сам Володя Пухов? Кто дал мастерскую? Может быть, люди, не понимающие, кто такой Володя Пухов и что такое его картина (а судя по всему контексту — картина плохая). Не ищите конкретности. Мастерскую дал «кто-то», расхвалили Пухова «вообще».

Но есть же все-таки в искусстве и что-то светлое? Да. И автор его изображает. Это светлое — художник Сабуров, представитель истинного искусства, полюс, противоположный Пухову, всяческого рода халтуре, дележке пирогов, маститым и немаститым приспособленцам, нечестным книгам, глупым песням, бездарным пьесам о низкопоклонстве, дрянным ролям, унылым домам, панно с курами.

Между этими двумя полюсами ничего нет. С одной стороны — халтурщик Пухов, с другой — мученик Сабуров, у которого никто не выставляет ни его изумительные пейзажи, ни прекрасные портреты хромоножки жены.

Такое впечатление, словно для персонажей повести искусство вымерло. Как будто нет пьес, которые им нравятся, актеров, которых они любят, картин и скульптур, которые им дороги. Нет ничего. Существуют Пухов и Сабуров и пустота посередине.

(Там же. Стр. 261, 266, 269).

Во всем этом чувствуется какая-то личная задетость, личная обида. И понять природу этой обиды совсем нетрудно.

Да он и не стремится скрыть, утаить от читателя природу этой своей обиды, когда нарисованную Эренбурггом общую картину советского искусства — с полным на то основанием — распространяет и на литературу:

► Неужели мы действительно, прочтя «Оттепель», окажемся между печальной необходимостью выбирать только между Пуховым и Сабуровым? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы убедиться в том, как элементарно несправедлива и общая картина искусства, нарисованная в повести Эренбурга, и тот его взгляд на это искусство, применив который, например, в литературе, никак не найдешь в ней места хотя бы для самого Эренбурга: с Пуховым он, разумеется, ничего общего не имеет — об этом и подумать грешно, а причислить его к непонятым и непризнанным талантам тоже нет оснований.

Думая о позиции Эренбурга в этом вопросе, я допускаю, что можно резко разойтись в тех или иных оценках, но можно ли, не ставя себя в смешное положение, делать вид, что не существует целого большого искусства, не существует только потому, что автор повести почел за благо зажмуриться и увидеть сквозь щелку одних только Пуховых, Сабуровых и Танечек?

В повести высказан взгляд, несправедливый не только по отношению к Эренбургу, но и по отношению ко всем честным и даровитым советским художникам, составляющим силу и славу нашего искусства, ибо именно их трудам — отнюдь не всегда совершенным и свободным от ошибок и слабостей, но трудам большим и целеустремленным — обязано это искусство и той ролью, которую оно играет в жизни нашего народа, и тем местом, которое оно занимает в мировой культуре.

(Там же. Стр. 268—269).

Это уже прямо о себе.

Если в советской литературе сталинских времен — так же, как в живописи, — были только Пухов и Сабуров, а между ними — пустота, то кем же тогда был все эти годы он сам, Константин Михайлович Симонов, со своими шестью Сталинскими премиями, из которых только одну он считает незаслуженной?

Отождествить себя с Пуховым Симонов, разумеется, не может. («Об этом и подумать грешно».) Но тот способ существования, который избрал для себя Сабуров, для него совсем уж неприемлем. Быть Сабуровым он не только не может, но и не хочет:

- ▶ Да, с халтурщиками и приспособленцами, такими, как Пухов, мы ведем борьбу и готовы продолжать вести ее вместе с Эренбургом (с той только разницей, что для нас Пуховы ни в какой мере не жертвы сложившейся в нашем искусстве обстановки, а парии искусства, не заслуживающие ни оправдания, ни сочувствия). Но мы не собираемся бороться с Пуховыми под лозунгом Эренбурга: «Вперед, к истинному искусству Сабурова» (а другого истинного искусства в повести нет). Больше того, мне, например, странно, что именно Эренбург пытается создать в своей повести из Сабурова тот магнитный полюс, к которому якобы должно притягиваться все лучшее, что есть в сердцах людей искусства. Передо мной лежат на столе книги Эренбурга, сборники его статей и памфлетов, написанных за последние полтора десятилетия. Это книги о борьбе с фашизмом и расизмом, с поджигателями новых войн, книги, проникнутые духом советского гуманизма, книги, разумеется, не составляющие в этом смысле исключения среди многих других хороших боевых книг нашей литературы. В книгах Эренбурга, в его романах можно не соглашаться с тем или с другим. Но то, что они ни в какой мере не являются литературой для литературы, что это книги, если употребить здесь название одной из сталинградских статей Вас. Гроссмана, написанные на «направлении главного удара», — это никогда не стояло и не стоит под сомнением.

Здесь мы имеем дело с противоречием поистине удивительным, понять которое трудно, а примириться с которым нельзя.

(Там же. Стр. 269–270).

Тут слышится тот же начальственный окрик. Та же конечная цель: одернуть Эренбурга, осудить его уклон от официальной советской эстетики. Но понять эту эренбурговскую причуду ему действительно трудно. И в удивлении, которое она у него вызывает, нет и тени демагогии. Он действительно изумлен.

Как же так? — искренне недоумевает он. — Ведь мы же с Вами, Илья Григорьевич, товарищи по оружию. Все эти годы вместе сражались «на направлении главного удара», защищали одни и те же ценности, выполняли одни и те же сталинские поручения. Что ж теперь из себя целку строить, делать вид, что Вы — другой, не такой, как я, как все мы, одним миром мазанные...

Но Эренбург не притворялся. Он действительно был другой. И не в том даже тут было дело, что у него были другие художественные кумиры (несдавшийся Фальк, а не растливший свой дар Кончаловский). Не в том, что ни при какой погоде не повернулся бы у него язык и не поднялась рука поставить, как это сделал Симонов, имена Вучетича и Иогансона в один ряд с именами Сарьяна и Пластова. Не в том даже, что в молодые годы он бредил стихами Цветаевой и Пастернака, дружил с Мандельштамом и Бабелем.

Все это, конечно, тоже выразилось, выплеснулось в его «Оттепели». Но не это в ней было главным. Во всяком случае, не это сделало ее тем историческим событием, каким она стала.

Главным в ней было то, что она была ВЗДОХОМ ОБЛЕГЧЕНИЯ.

Есть рассказ (скорее всего выдуманный, легендарный) о том, как повели себя заключенные, томившиеся в одном из сталинских лагерей, когда им сообщили о смерти вождя.

— Шапки долой! — заорал «кум» (или кто-то другой из лагерного начальства), оскорбленный равнодушием эзков к великой всенародной потере. И в воздух полетели шапки.

На воле так открыто выразить свое ликование при известии, что «Ус откинул хвост», никто бы, конечно, не посмел.

Прочитав их, Эренбург поморщился:

— Почему — рядом? Вместе!

Сегодняшний читатель, наверно, даже и не ощутит всей глубины пропасти, лежащей между этими двумя определениями: «рядом» или «вместе» — не всё ли равно?

Но в этих двух, казалось бы, не столь уж различных определениях заключались две разные — и не просто несхожие, а прямо противоположные — исторические концепции. Если угодно, даже — два противостоящих одно другому мировоззрения.

«Рядом» — это значило, что коварный враг, как это уже не раз бывало в истории нашей страны, пробрался в самое сердце партии, сумел втереться в доверие самого ее вождя. И творил свое черное дело. И все плохое, все страшное, что было в нашей жизни, шло от него. А вождь — как был, так и оставался в ангельски чистых, незапятнанных белых ризах.

«Вместе» — это значило, что обо всех черных делах своего подручного Сталин знал. И не просто знал, а прямо поручал, приказывал ему их творить. Это значило, что Берия был орудием Сталина, послушным исполнителем его воли. Говоря попросту, это значило, что именно он, Сталин, а не какой-то там Берия, и был главным *врагом народа*.

Симонов к таким определениям тогда (да и потом тоже) был еще не готов.

Но кое-что о Сталине он в то время тоже уже знал:

- ▶ Вскоре после сообщения о фальсификации дела врачей членов и кандидатов в члены ЦК знакомили в Кремле, в двух или трех отведенных для этого комнатах, с документами, свидетельствующими о непосредственном участии Сталина во всей истории с «врачами-убийцами», с показаниями арестованного начальника следственной части бывшего Министерства государственной безопасности Рюмина о его разговорах со Сталиным, о требованиях Сталина ужесточить допросы — и так далее, и тому подобное. Были там показания

и других лиц, всякий раз связанные непосредственно с ролью Сталина в этом деле. Были записи разговоров со Сталиным на эту же тему. Не убежден, но, кажется, первоначально записанных на аппаратуру, а потом уже перенесенных на бумагу.

Я в три или четыре приема читал эти бумаги на протяжении недели примерно. Потом чтение это было прекращено, разом оборвано. Идея предоставить членам и кандидатам в члены ЦК эти документы для прочтения принадлежала, несомненно, Берии...

Чтение было тяжкое, записи были похожи на правду и свидетельствовали о болезненном психическом состоянии Сталина, о его подозрительности и жестокости, граничащих с психозом. Документы были сгруппированы таким образом, чтобы представить Сталина именно и только с этой стороны.

Вот он вам, ваш Сталин, как бы говорил Берия, не знаю, как вы, а я от него отрекаюсь. Не знаю, как вы, а я намерен сказать о нем всю правду. Разумеется, при этом он представлял в документах только ту правду, которая ему была нужна и выгодна, оставляя за скобками все остальное.

Около недели эти документы были в ходу. После этого с ними никого уже не знакомили...

Надо сказать, что, хотя цель Берии была достаточно подлой и она вскоре стала совершенно ясна мне, документы эти, пусть и специфически подобранные, не являлись фальшивыми. Поэтому к тому нравственному удару, который я пережил во время речи Хрущева на XX съезде, я был, наверное, больше готов, чем многие другие люди.

(К. Симонов.

Истории тяжелая вода. Стр. 495—496).

Несмотря на оговорки («... цель Берии была достаточно подлой...»; «... он представлял в документах только ту правду,

которая ему была нужна и выгодна, оставляя за скобками все остальное...»), из записи этой видно, что обрушившаяся на него в этих, хоть и тенденциозно подобранных, документах страшная правда о Сталине не стала для него шоком. Кое о чем, стало быть, он и раньше уже догадывался, а кое-что, может быть, даже и знал.

Но тут важно не то, что он знал (или узнал), а ЧТО при этом ЧУВСТВОВАЛ.

Об этом мы можем судить по такому его признанию:

- ▶ Я не был заядлым сталинистом ни в пятьдесят третьем, ни в пятьдесят четвертом году, ни при жизни Сталина. Но в пятьдесят четвертом году, после смерти Сталина, у меня в кабинете дома появилась понравившаяся мне фотография Сталина, снятая со скульптуры Вучетича на Волго-Донском канале, — сильное и умное лицо старого тигра. При жизни Сталина никогда его портретов у меня не висело и не стояло, а здесь взял и повесил. Это был не сталинизм, а скорей нечто вроде дворянско-интеллигентского гонора: вот когда у вас висели, у меня не висел, а теперь, когда у вас не висят, у меня висит. Кроме того, эта фотография нравилась мне.

В пятьдесят пятом году, издавая книгу стихотворений и поэм, я включил в нее очень плохие стихи, написанные в сорок третьем году, вскоре после Сталинграда. Стихи о том, как Сталин звонит Ленину из Царицына, как это повторяется уже в Великую Отечественную войну, когда безымянный генерал или командующий звонит из Сталинграда Сталину, как когда-то тот звонил Ленину. Стихотворение, не богатое ни по мысли, ни по исполнению, в свое время не напечатанное, так и оставшееся лежать у меня в архиве. А в пятьдесят пятом году я вдруг взял да и напечатал его. Зачем? Тоже, видимо, из чувства противоречия, в какой-то мере демонстративно.

(Там же. Стр. 505—506).

Можно ли представить себе, чтобы Эренбург в 1953 или 1954 году «из чувства противоречия» повесил у себя дома портрет Сталина? Или в 1955-м демонстративно включил в какую-нибудь свою книгу одну из тех апологетических статей о Сталине, которые при жизни Хозяина ему приходилось писать?

Особенно удивляться тут не приходится. Эренбург был на четверть века старше Симонова. Сталин еще только подбирался к власти, а у него за плечами уже была большая и сложная жизнь...

Но вот ЧТО думал и чувствовал в те дни другой поэт, сверстник Симонова:

В то утро в Мавзолее
Был похоронен Сталин.
А вечер был обычен —
Прозрачен и хрустален.
Шагал я тихо, мерно
Наедине с Москвой
И вот что думал, верно,
Как парень с головой:
Эпоха зрелищ кончена,
Пришла эпоха хлеба.
Перекур объявлен
У штурмовавших небо.
Перемотать портянки
Присел на час народ,
В своих ботинках спящий
Невесть который год.

Нет, я не думал этого,
А думал я другое:
Что вот он был — и нет его,
Гиганта и героя.
На брошенный, оставленный
Москва похожа дом.
Как будем жить без Сталина?

Я посмотрел кругом:
Москва была не грустная,
Москва была пустая.
Нельзя грустить без усталы.
Все до смерти устали.
Все спали, только дворники
Неистово мели,
Как будто рвали корни и
Скребли из-под земли,
Как будто выдирали из перезябшей почвы
Его приказов окрик, его декретов почерк:
Следы трехдневной смерти
И старые следы —
Тридцатилетней власти
Величья и беды.

Я шел все дальше, дальше,
И предо мной предстали
Его дворцы, заводы —
Все, что воздвигнул Сталин:
Высотных зданий башни,
Квадраты площадей...

Социализм был выстроен.
Поселим в нем людей.

Автор этого стихотворения — Борис Слуцкий, — как уже сказано, был сверстником Симонова. Точнее — почти сверстником (он был четырьмя годами его моложе). Стало быть, тоже принадлежал к поколению тех, кого «вырастил Сталин». Немудрено, что кое-что связывает, роднит это его стихотворение с тем, о чем думал и писал в те дни Константин Симонов.

Вот, например, слово «величье». (К нему мы еще вернемся, а пока оставим его на совести автора.) Или утверждение, что при Сталине «социализм был выстроен» и осталась теперь только самая малая малость: поселить в нем людей. Как у «парня с головой» мог повернуться язык выговорить такое?!

Но это всё — мысли, размышления. (Стихотворение так и называется: «Современные размышления».) А я — про чувства.

А чувство, которое вызвало к жизни это стихотворение, было то же, что продиктовало Эренбургу его «Оттепель»: ВЗДОХ ОБЛЕГЧЕНИЯ.

Слуцкий, стало быть, БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ ОТТЕПЕЛИ.

А Симонов...

Хотел написать: «А Симонов — не был». Но, подумав, решил, что это было бы неправильно.

Симонов глубже, чем Слуцкий (не говоря уже об Эренбурге), вмерз в лед сталинской «полярной преисподней». Поэтому и размораживался, оттаивал он медленнее. Но он тоже БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ ОТТЕПЕЛИ.

Ведь оттепель — еще не весна.

* * *

То, что на дворе уже не лютует зима, что уже начало подтаивать, помимо многих других примет и знаков намечающихся перемен, проявилось в том, что Эренбургу на статью Симонова позволили ответить.

Эренбургу, как мы знаем, и раньше было многое позволено, потому что «он Эренбург», но это, кажется, был первый случай, когда начальственный окрик вылился в дискуссию с незапланированным и не вполне ясным результатом.

Ответ Эренбурга был довольно-таки язвительным, можно даже сказать издевательским.

Уже само ее название («О статье К. Симонова») иронически повторяло, по существу, пародировало официозную стилистику статьи Симонова, которая, в соответствии с традициями советской литературной критики сталинских времен, была названа сухо, по-канцелярски: «Новая повесть Ильи Эренбурга».

В таком же пародийном стиле был выдержан весь ответ Эренбурга Симонову:

- ▶ Объяснение, видимо, следует искать в той поспешности, с какой написана статья...

Повторяя слова К. Симонова, я могу сказать, что в некоторых местах его статьи «торопливость переходит в легкомыслие»...

*(Литературная газета.
1954. №. 92. Стр. 3).*

И совсем уже пародийной, откровенно издевательской была заключительная реплика этого эренбургского ответа:

- ▶ Именно с этой точки зрения статья К. Симонова представляется мне «огорчительной для нашей литературы неудачей».

(Там же).

Эти ядовитые эренбургские выпады Симонов не оставил без ответа.

Но ответ этот последовал не сразу, а месяц спустя. И тон его был уже не таким официальным. Чувствовалась в нем даже какая-то подспудная, прямо не выраженная, личная обида:

- ▶ В статье И. Эренбурга содержатся намеки на предвзятость моих суждений о повести «Оттепель». Несмотря на всю прямоту и резкость спора по существу я не вижу повода к этим неуважительным намекам со стороны Эренбурга и оставляю их целиком на его совести.

(Литературная газета. 1954. № 114. Стр. 3).

Дискуссию эту надо было как-то завершить, и редакция, видимо, не очень ясно представляла себе, как это сделать. В результате слово решили предоставить читателям, — что тоже было в некотором роде новацией. Обзор читательских писем, появившийся на страницах той же «Литгазеты» 5 октября 1954 года, включал в себя десятки имен — учителей, военнослужащих, рабочих. Кто-то из них поддержал Симонова, кто-то — Эренбурга. Баланс, как водится, был соблюден, и дискуссия закончилась вроде как вничью.

Но был тут один пикантный момент.

Статья «Новая повесть Ильи Эренбурга» вышла в свет, когда редактором «Литературной газеты», на страницах которой она появилась, был ее автор — К.М. Симонов. А заключающий дискуссию ответ Симонова Эренбургу появился на страницах той же газеты, когда Симонов уже не был ее редактором. (Им стал Борис Рюриков.)

Как видно, Никита Сергеевич не забыл Симонову ту злосчастную его передовую и в конце концов все-таки решил отправить строптивного редактора в отставку.

Симонов в своих записках изображает дело так, что едва начавшийся скандал будто бы сразу же рассосался. Что, в сущности, даже и скандала-то никакого не было. Но скандал, видимо, все-таки был. Рассказывали, что Хрущев будто бы орал и топал на Симонова ногами. А Симонов будто ему на это ответил:

— Никита Сергеевич, мне не однажды приходилось выслушивать замечания о моей работе от товарища Сталина. Но Иосиф Виссарионович при этом ни разу не повысил голоса.

Хрущев будто бы осекся. Но эту реплику Симонову тоже, как видно, не забыл.

Оставив свой пост главного редактора «Литературной газеты», Симонов не перестал быть большим литературным начальником. Уйдя из «Литгазеты», он оставался вторым человеком в Союзе писателей. Поговаривали даже, что у него

есть шанс стать первым, заменив практически уже отстраненного от руководства Фадеева. (Первым в конце концов стал А. Сурков.)

Окончательно все это решилось на Втором съезде писателей (точнее — после съезда), который проходил в декабре 1954 года. А 17 августа того же года — в разгар его полемики с Эренбургом — Симонов был назначен главным редактором «Нового мира».

Это был второй его приход на эту должность.

Первый раз он получил это назначение через несколько дней после того, как Сталин сделал его первым замом Фадеева, то есть в сентябре 1946 года. Сталинская зима лютовала во всю ивановскую. Только что (в августе) постановлением ЦК «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и докладом Жданова Сталин объявил о наступлении новых холодов. Так что для того, чтобы делать интересный, хороший журнал, обстановка была самая неподходящая.

Тем не менее, Симонов принял это новое назначение с радостью, даже с энтузиазмом.

- ▶ За работу в журнале я взялся с увлечением. Заместителем ко мне согласился пойти мой товарищ по «Красной Звезде» Кривицкий, человек с опытом, блестящими журналистскими способностями и труднопереносимым, но твердым характером. Из старой редколлегии остались в журнале Шолохов и Федин, из них первый продолжал числиться так же, как он числился прежде, не принимая никакого участия в работе журнала, а второй, наоборот, участвовал в работе журнала — не буду об этом распространяться, потому что уже писал в своих воспоминаниях о Федине. Не отказались войти в редколлегию журнала и такой блестящий человек, как Валентин Катаев, и умница и кладезь знаний Борис Николаевич Агапов, в которого я влюбился во время нашей поездки в Японию и с которым мы впо-

следствии, после того как он пришел в «Новый мир», двенадцать лет работали бок о бок и в «Новом мире», и в «Литературной газете», и вновь в «Новом мире»...

В девятой книжке «Нового мира», подписанной предыдущим составом редколлегии, были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Разумеется, я не имею в виду, что новая редколлегия во главе с новым редактором не перепечатала бы на страницах «Нового мира» постановление и доклад, — конечно, перепечатала бы, если бы это не было сделано раньше. Но так уж вышло, что девятый номер, где были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова, был последним аккордом в работе прежней редколлегии, им нечто завершилось, а мы начинали как бы с чистого листа. Перелистывая сейчас тот сдвоенный — десятый-одиннадцатый — номер «Нового мира» 1946 года, с которого мы начали свою работу, думаю, что в те очень короткие сроки, которые у нас были, он был сделан неплохо и даже широко... Были в нем стихи Наровчатова, Смелякова, Луконина, проза Паустовского, письмо в редакцию Эренбурга о внимании к памяти павших на войне, киноповесть Довженко «Жизнь в цвету», по которой он потом поставил своего «Мичурина», и рассказ Андрея Платонова «Семья Иванова» («Возвращение»). Публикация этих двух вещей была для того времени связана с известным риском: после жестокой проработки Довженко в сорок четвертом году за его киноповесть об Украине это была первая публикация его новой вещи; как всегда в таких случаях, не было недостатка в охотниках читать эту вещь через лупу. Что касается рассказа Платонова «Семья Иванова», он очень нравился нам с Кривицким. Мы хотели напечатать Платонова, своего товарища по «Красной Звезде», в этом первом выпускаемом нами номере...

Очень хотелось, получив в свои руки эту возможность, продолжить этим рассказом о возвращении с войны то, что писал Платонов в годы войны в «Красной Звезде» и что как-то помогло ему обрести снова более или менее нормальное положение в литературе после сокрушительной критики тридцатых годов...

(К. Симонов.
Истории тяжелая вода.
Стр. 362–363).

Как видим, намерения у него были хорошие. О том, что из этого вышло, я уже рассказывал в главе «Сталин и Платонов», опираясь при этом на сравнительно недавно опубликованные дневники Л.К. Чуковской, проработавшей в том симоновском «Новом мире» полгода и оставившей об этом периоде своей жизни подробные, правдивые и нелицеприятные свидетельства.

Возвращаться сейчас к этому сюжету я уже не буду, приведу только отрывок из последнего ее письма К.М. Симонову, в котором она объясняет, почему не может принять его предложение продолжить их совместную работу:

► ИЗ ПИСЬМА Л.К. ЧУКОВСКОЙ
К.М. СИМОНОВУ

28/IV 1947

К сожалению, я вынуждена отказаться от нового Вашего предложения. Разумеется, мне совершенно все равно, в каком именно звании читать стихи и прозу для «Нового мира»; Вам я всегда рада помогать, потому что направленность Вашей деятельности представляется мне благородной, но то, что Вы отстраняете меня от заведования отделом именно сейчас, означает в данной ситуации, что Вы... санкционировали «линию» т. Кривицкого относительно меня и моей работы...

Что ж поделаешь, верно, Вам иначе нельзя. А жаль: в моих спорах с т. Кривицким я и по-человечески и принципиально права — не менее права, чем Вы в Вашем споре с Ермиловым, — и, в сущности говоря, это тот же самый спор...

(Л. Чуковская. Отрывки из дневника. Полгода в «Новом мире». Цит. по кн.: Л. Чуковская. Том второй. М., 2001. Стр. 389).

Если уж такая строгая и принципиальная дама, как Л.К. Чуковская, признает, что направленность редакторской деятельности Симонова в «Новом мире» представляется ей благородной, значит, так оно и было. А все дурное, с чем она столкнулась, полгода проработав в журнале, шло, значит, не от него, не от Симонова, а от его «злого гения» — Кривицкого.

И это тоже, наверно, так и было. Но ведь не обязательно было ему слушаться этого своего «злого гения». К тому же никто ведь не навязывал Кривицкого ему в замы. Он сам пригласил его на эту должность. А знал его хорошо, — стало быть, знал, что делал.

Видимо, права была Лидия Корнеева, заключив это свое послание репликой: «Что ж поделаешь, верно, Вам иначе нельзя».

Времена, повторяю, были лютые, и иначе, наверно, ему тогда и впрямь было нельзя.

Но в 1956-м, когда он снова стал редактором «Нового мира», времена были уже другие. Многое — не всё, конечно, но многое — теперь уже было можно.

Границы этого «можно» были тогда трудно различимы, и чтобы в полной мере реализовать эти вдруг открывшиеся новые возможности, нужна была известная смелость. Но Симонов их реализовал. И даже, я бы сказал, с некоторым превышением, как это потом выяснилось, переступив «рубеж запретной зоны».

Ярче всего это выразилось в том, что в первый же месяц своего редакторства он начал публиковать роман никому тогда еще не известного писателя Владимира Дудинцева «Не хлебом единым».

* * *

Выход в свет этого романа («Новый мир», 1956, №№8–10) стал политическим событием не менее, а может быть, даже более громким, чем эренбургская «Оттепель».

Казалось бы, трудно, почти невозможно было в тогдашней легальной печати пойти дальше тех разоблачений, которые сделал Хрущев в своем, уже переставшем к тому времени быть секретным, докладе. Но молодой, никому не известный автор романа сумел это сделать.

Тут дело было уже не в Сталине, а в созданной Сталиным СИСТЕМЕ.

Об этом заговорили вслух сразу же после выхода в свет октябрьской книжки «Нового мира» с окончанием романа.

22 октября в Центральном Доме литераторов состоялось обсуждение романа. Формально обсуждение это было цеховое. Мероприятие называлось: «Заседание секции прозы Московского отделения Союза писателей СССР». Но с первых же слов первых ораторов характер обсуждения выплеснулся далеко за рамки чисто цеховых, да и вообще литературных проблем.

Какая-то странная, тревожная нота прозвучала уже в открывшей собрание короткой вступительной речи Симона:

► **Константин Симонов**, главный редактор журнала «Новый мир»

Обсуждаемый сегодня роман Дудинцева увидел впервые свет на страницах нашего журнала. Поэтому

редакция хотела бы, чтобы сегодня состоялся настоящий профессиональный писательский разговор об этом первом крупном произведении молодого автора, что будет полезно и редакции, и автору. Нужно, несмотря на симпатии, которые возбудил он в читателях, говорить открыто и смело не только о его достоинствах, но и недостатках. Мы печатали этот роман... с большим интересом. Я лично убежден, что его написал человек, страстно любящий советскую власть и готовый бороться за нее. Повторяю, однако, что наши симпатии не должны мешать серьезному разговору.

*(Стенограмма заседания секции прозы
Московского отделения Союза писателей СССР
22 октября 1956 г.*

*Цит. по изданию: Мир Паустовского. № 23,
М., 2005. Стр. 35).*

Тут даже не одна, а по меньшей мере две странности.

Странно уже то, что главный редактор журнала, опубликовавшего роман, подчеркнуто, с некоторым даже нажимом призывает собравшихся «открыто и смело говорить о его недостатках». Помимо странности самого этого призыва не совсем понятно, почему для этого нужна какая-то особая открытость и даже смелость, как будто говорить о недостатках романа молодого автора кто-то может запретить.

Но еще более странно выглядит тут неожиданное, ничем и никем как будто не спровоцированное заявление Симонова о его убежденности, что этот роман «написал человек, страстно любящий советскую власть и готовый бороться за нее».

Никто на этот, только вчера вышедший в свет роман молодого автора как будто еще не нападает, а главный редактор напечатавшего его журнала почему-то уже считает нужным его защищать. От кого?

Это постепенно выясняется из выступлений следующих ораторов.

► **Лев Славин**

В своем романе Дудинцев, говоря остро и смело, сохранил чувство меры. Он не делает вредных обобщений. Он не говорит о том, что то, что произошло с его главным героем Лопаткиным, у нас происходит всегда, но он показал, что так происходит иногда, и доказывает, что так не должно быть никогда. Очень удались автору типы отрицательные, особенно Дроздов. Он человек умный, одаренный. Это-то, говоря откровенно, и страшно. Главное в нем — жажда власти. Он воплощенный продукт культа личности. Человек, растленный этим культом до мозга костей. Характер Дроздова как общественное явление — несомненное последствие культа личности Сталина. Роман построен на разоблачении личности Дроздова, на разоблачении беспощадном...

Николай Атаров

В появлении этого романа в год XX съезда КПСС нет ничего необычайного. Наоборот, это закономерно. Мы все стали после съезда дышать легче... Роман Дудинцева привлекает нас талантливостью, правдой жизни, непримиримостью... Мы вместе с Дудинцевым готовы воскликнуть, закрывая последнюю страницу романа: Дроздовы не имеют права говорить: «Государство — это я!» Косность, бюрократизм, которые еще есть в нашем аппарате, — это еще не есть наша государственность.

Сергей Михалков

Роман «Не хлебом единым» — явление принципиально положительное. Дудинцев не выступает против тех, кто занимает высокие посты, а против тех, кто плохо выполняет свои обязанности на этих постах! Мы все пережили страшную эпоху...

Многое, что сейчас говорится вокруг романа Дудинцева, рождено... политикой перестраховщиков. Я уверен, если бы в нашей печати появилась сейчас умная

и честная статья, в которой говорилось бы, что роман «Не хлебом единым» — положительное явление, то не было бы того нездорового интереса, который стал иногда к нему проявляться. Не было бы атмосферы скандала. Читателя легко понять — он встревожен тем, что Шутиковы и Дроздовы пытаются как-то «зажать» и автора, и роман. И в той «ходынке», в которой у нашего Дома литераторов чуть было не раздавили автора и его жену, сказывается прежде всего крайний интерес читателей к роману. Сказывается и его любовь к советской власти, и ненависть к Дроздовым. Сегодня читатели пришли толпой на улицу Воровского в тревоге за судьбы нашей литературы, желая отстоять роман от Шутиковых и Дроздовых.

(Там же. Стр. 36).

Вот, стало быть, где собака зарыта.

При входе в Центральный Дом литераторов, оказывается, была «ходынка». И устроители обсуждения перепуганы этим до смерти. Они боятся — и правильно боятся! — что этот непомерный читательский интерес к обсуждаемому роману будет объявлен «нездоровым», а сам роман — порочным, может быть, даже клеветническим.

И вот все они — даже Михалков! — стараются защитить Дудинцева от этих, пока еще невысказанных обвинений, опасных не только для Дудинцева, но и для них, хоть и осторожно, но все-таки поддержавших его роман.

Вот откуда все эти заклинания:

- ▶ Я лично убежден, что его написал человек, страстно любящий советскую власть и готовый бороться за нее...

Он не делает вредных обобщений...

В появлении этого романа в год XX съезда КПСС нет ничего необычайного. Наоборот, это закономерно...

Поддерживать, а тем более хвалить роман Дудинцева, как вскоре выяснилось, было и впрямь небезопасно. И они чувствовали это шкурой. Как выразился однажды А.Н. Толстой, — поротой задницей.

Опасность, как они предполагали, исходила от литературных «Шутиковых и Дроздовых», которых, — они знали это — в их среде было немало. Но литературные Шутиковы и Дроздовы пока затаились. И вышло так, что в тот вечер самым опасным для них (да и для Дудинцева) оказалось выступление совсем другого оратора, от которого этого никто не ждал:

► **Константин Паустовский**

Я не собираюсь говорить о литературных достоинствах или недостатках романа Дудинцева. Дело сейчас не в этом.

Роман Дудинцева — крупное общественное явление, и в этом его значение. Это — первое сражение с Дроздовыми, на которых наша литература должна обрушиться со всей силой своего гнева, пока они не исчезнут из нашей действительности...

Книга Дудинцева — грозное предупреждение. Опасность Дроздовых не уменьшилась. Они страшны своей живучестью, цепкостью, приспособляемостью... Сравнительно недавно мне пришлось быть среди Дроздовых довольно продолжительное время и вплотную их наблюдать. Это было на теплоходе «Победа». Половина пассажиров состояла из нашей интеллигенции — художников, писателей, ученых, рабочих, актеров. Это был один слой, который занимал преимущественно второй и третий классы. Другой слой составляли крупные, так называемые номенклатурные работники. С ними у нас никакого общения не было. И быть не могло. Потому что в большинстве своем Дроздовы невыносимы своей спесью, абсолютным равнодушием ко

всему — и я бы сказал, даже враждебностью ко всему, кроме своего положения и поводов для собственного чванства. Кроме того, они поражали невежеством...

Достаточно тех весьма «классических» вопросов, которые эти люди задавали проводникам и переводчикам. Приведу только два-три примера. Этого будет достаточно.

Вы знаете, что в Сикстинской капелле есть фрески Микеланджело «Страшный Суд». Один из Дроздовых спросил гида: «Что это у вас тут нарисовано? Суд над Муссолини?» (*смех*). А о чем свидетельствует такой вопрос, заданный в Афинах: «Как пролетариат допустил постройку Акрополя?»

Кроме того всё, что есть на Западе, по мнению Дроздовых, подлежит огульному осуждению. Когда мы шли Эгейским морем и мой сосед сказал мне на палубе: «Какое великолепное море!», то один из Дроздовых, стоявший рядом, грубо оборвал его: «А у нас что? Моря хуже? — И сказал тут же стоящему рядом другому Дроздову: — Надо будет этого товарища проверить». Это мелкий, но характерный случай, определяющий лицо Дроздовых.

Я говорю о тревоге, которую испытывает Дудинцев и все мы. Где корни этой тревоги? Почему так встревожен Дудинцев — человек, безусловно, большого мужества и большой совести?

Дело не в том, что есть несколько чинуш, как здесь кто-то говорил. Это явление гораздо более сложное и серьезное. Дело в том, что у нас в стране существует и даже процветает новая прослойка людей... Это племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего ни с революцией, ни с народом, ни с социализмом (*голоса с мест: «Правильно!»*)...

Величайшая заслуга Дудинцева в том, что он удалил по самому больному месту, что он пишет о самом

опасном явлении в нашем обществе. На это нельзя закрывать глаза, если мы не хотим, чтобы Дроздовы заполонили и опустошили страну...

Они узурпируют власть и право говорить от имени народа. Они выдают за мнение народа свои обскурантские взгляды. Они могут совершенно спокойно и бесцеремонно выйти вот на эту трибуну и разглагольствовать о романе Дудинцева, что он не нужен и вреден и что так думает народ и что народу нужно. (*Аплодисменты.*)

Вы извините меня, что я говорю слишком резко. Но я считаю, что никакой дипломатии и намёков в этом вопросе быть не может и не должно, потому что слишком серьёзно и слишком опасно.

Откуда они появились, Дроздовы? Это — наследие культа личности. Они выросли на нем, как на опаре... Они взошли на дрожжах 1937 года. Обстановка культа личности приучила их не считаться с народом. Народ для них навоз, удобрение для своего благополучия... Они воспитывались на потворстве низким человеческим качествам. Их оружие — предательство, ложь, клевета, интриги, моральное убийство и прямое убийство. Раз я уже заговорил об этом, то должен сказать, что если бы не было Дроздовых, то сейчас с нами, в нашей среде, жили и работали бы такие талантливые люди искусства, как Мейерхольд, Артем Веселый, Бабель и многие другие (*аплодисменты*). Этих людей и еще тысячи других, представлявших ум и талант нашего народа, уничтожили Дроздовы. Уничтожили во имя собственного вонючего благополучия...

Дроздовы характерны еще тем, что они создали страшный бытовой шаблон, вплоть до того, что одинаково одеваются и все говорят одинаково мертво с полным незнанием русского языка, по-казенному.

Это тяжелая сила, которая давит страну.

Дроздовы прикрываются словами о благе народа. В их устах эти слова звучат кощунственно и преступно. Нельзя давать им право говорить от имени народа и опустошать человеческие и материальные богатства страны ради их собственных интересов...

Мы знаем, что народ, осознавший свое достоинство, сбросит, конечно, Дроздовых со своего пути.

(Там же. Стр. 37–38).

Эта речь Паустовского замечательна во многих отношениях, и для того, чтобы не только тут вспомнить о ней, но и уделить ей на этих страницах так много места, причин было много. По силе и страстности она сравнима с одним из самых блистательных образцов неподцензурной отечественной публицистики — письмом Белинского Гоголю. Но не литературные, не художественные достоинства этой речи, — во всяком случае, не только они, — заставили меня предоставить ей на этих страницах так много места.

Политическое, я бы даже сказал, историческое значение этой речи не уступает, а может быть, даже и превосходит политическое и историческое значение романа, обсуждение которого стало для нее поводом.

Одна моя знакомая, работавшая тогда в «Новом мире» на скромной должности корректора и каким-то чудом сумевшая сквозь беснующуюся толпу, едва сдерживаемую конной милицией, проникнуть на то собрание, рассказывала мне, что Паустовский говорил так тихо, что ей, сидящей в одном из последних рядов, было его почти совсем не слышно.

Хорошо зная Константина Георгиевича еще по Литинституту, я легко могу это себе представить. Он и на семинарах своих всегда говорил тихо. Он вообще был человек тихий. Но эта его речь прогремела с громкостью поистине невероятной.

Ее пересказывали, переписывали от руки. Она стала листовкой, революционной прокламацией, со скоростью лесного пожара распространившейся не только по всей стране, но и за ее пределами:

- ▶ Долгое время вся Москва говорила только о том, как выступал Паустовский. С нетерпением ожидали появления текста его речи в какой-либо газете. К сожалению, этого мы не дождались. Но когда однажды к нам в дом приехал наш приятель польский журналист, мы бросились к нему, чтобы рассказать о самом главном, что случилось в России за последнее время. Каково же было наше удивление, когда наш гость, усмехнувшись, начал цитировать речь Паустовского. Он сообщил, что полный ее текст был сразу же вывешен на дверях Варшавского университета, и студенты, как и вся польская интеллигенция, заучивали ее наизусть.

*(Г. Корнилова. То, о чем забыть нельзя.
Там же. Стр. 35).*

Тихий голос Паустовского прозвучал так громко потому, что этот лирик и романтик, никогда прежде не влезавший в политику, был ПЕРВЫМ, сказавшим вслух о явлении, о котором политики, социологи и политологи заговорили и которому попытались дать название лишь годы спустя:

- ▶ Хотя соответствующие социологические исследования в стране либо не производятся, либо засекречены, но можно утверждать, что уже в 20–30-е годы и окончательно в последующие годы в нашей стране сформировалась и выделилась особая партийно-бюрократическая прослойка — «номенклатура», как они сами себя называют, «новый класс», как их назвал Джилас.

*(А. Сахаров.
О стране и мире. N.Y., 1975. Стр. 19).*

Облик этого «нового класса» первым запечатлел Дудинцев, и в этом и состояло политическое и историческое значение его романа. Но сказал о нем КАК О ЯВЛЕНИИ, как о сложившемся СОЦИАЛЬНОМ СЛОЕ, — Паустовский. (Подобно тому, как Обломова создал, вылепил, запечатлел Гончаров, а явление, вошедшее в историю России под именем *обломовщины*, обозначил Добролюбов.)

О том, как перепугала речь Паустовского ораторов, взявших слово после него, можно судить по выступлению одного, далеко не самого из них трусливого:

▶ **Валентин Овечкин**

Я хотел бы остановиться на выступлении товарища Паустовского, который, на мой взгляд, своими вредными обобщениями ставит роман под удар. Дает врагам Дудинцева оружие в руки. Они и так уже вопят, что он «оболгал» наше руководство. Меня удивляет также и то, что Паустовский так долго копил в себе свое возмущение, желчь и злобу против гнусности жизни, ни разу не попытавшись изжить их в своем творчестве. Судя по его произведениям, он благодушный человек. Оказалось, наоборот.

(Там же. Стр. 39).

Паустовский этот выпад не оставил без ответа.

▶ **Константин Паустовский**

...Относительно слов тов. Овечкина о том, что я копил, мол, копил и вдруг выступил. Просто мне не давали возможности говорить. На съезде писателей я безуспешно в течение всех дней съезда добивался слова, но мне его не дали.

Овечкин спрашивает, почему я в сравнительно недавние тяжелые времена не касался в своих книгах этих вопросов. По той же причине, по какой не касал-

ся этих вопросов с такой откровенностью, как сейчас, и сам Овечкин, и все другие писатели.

Кстати, это утверждение Овечкина по существу неверно. В те времена я считал одной из важнейших задач писателя призывать к достоинству человека, к культурности, к честности, к гуманности, то есть к тем качествам, которые прямо противоположны культу личности. Поэтому я и старался не упоминать с начала возникновения культа личности того человека, который был носителем этого культа.

(Там же. Стр. 39).

Тут уже Паустовского счел нужным одернуть и Симонов.

Сделал он это в своей короткой заключительной речи, которая, собственно, только этой реплике Паустовского и была посвящена:

► **Константин Симонов**

Я хотел бы сказать несколько слов о реплике и выступлении т. Паустовского. Да, у нас были люди, которые халтурили вокруг имени Сталина, занимались подхалимством. Но были и честные художники всех отраслей искусства. Я не знаю, как можно писать об истории советского общества, о первых пятилетках и об Отечественной войне, не упоминая этого имени. Не стоило товарищу Паустовскому теперь ставить себе в заслугу, что он никогда не упоминал имени Сталина в своем творчестве. Дроздовы были на теплоходе «Победа» во всех трех классах. Есть они и в нашей среде писателей. Дроздовы особенно охотно используют подобные выступления во вред Дудинцеву. Они и так уже говорят, что он оболгал руководителей.

На мой взгляд — в романе есть глубокая вера в силу советского общества, и этим, по сути дела, он и дорог нашему читателю.

(Там же. Стр. 41).

Говоря все это, Симонов, конечно, защищал себя, свои шесть Сталинских премий, из которых он только одну считал незаслуженной. Но главное тут было не это. Главная цель этой его маленькой речи состояла в том, чтобы отделить, оградить роман Дудинцева от той опасной интерпретации, которую придал ему своим выступлением Паустовский.

Не так уж трудно угадать, что думал, что чувствовал автор обсуждаемого романа, слушая эту взволнованную речь старого писателя. Но зачем гадать, если на этот счет у нас есть прямое свидетельство.

► ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.А. ДУДИНЦЕВА

...На сцену вышел Константин Георгиевич Паустовский. Я чрезвычайно уважал и сейчас уважаю этого человека и писателя. Но должен сказать, что еще в те времена, когда он приносил свои рассказы в «Комсомольскую правду», я замечал в нем некоторую, очень приятную кстати, инфантильность. Он был так непосредствен — этакое старое дитя, — и не чувствовалось в нем того тормозящего жизненного опыта, который должен контролировать каждое наше слово, каждый поступок. Его наивность, кстати, никому не приносила вреда, и мы, молодые работники «Комсомолки», с удовольствием читали его рассказы.

И вот тут, обсуждая мой роман, он вдруг «осадил» выступавших до него: «При чем тут XX съезд! Что вы тут говорите! Дудинцев правильно выдал этим бюрократам, завесил им...» Я не цитирую, а лишь излагаю по памяти.

Галерка, переполненная молодежью, — кстати, молодежь, видимо, представляет собой наиболее легкий материал, всегда в залах как бы всплывает, занимая места на самом верху, — тут же, как только Паустовский произнес эти слова, подняла крик, свист, затопала ногами и захлопала в ладоши. Константин Георгиевич, почувствовав контакт с молодежью и поощряемый ею,

давай еще больше развивать эту мысль. Он рассказал о том, как ездил с Дроздовыми в круиз по Средиземному морю, какие они все неграмотные и некультурные, прямо медведеподобные со своими толстыми затылками... И все это он напрямую связывал с моим романом: здорово, мол, молодец Дудинцев, открыл нам глаза на эту страшную бюрократию!

Симонов толкает меня коленом и кивает на тех, сидящих в креслах: у них у всех, как заведенные, забегали в блокнотах золотые перья.

— Все пропало! — тихо говорит Симонов.

И действительно — пропало... Пропало! За все это Симонов простился с креслом главного редактора «Нового мира» и был отправлен в «почетную ссылку» — на два года в Ташкент...

Вот что значит неосторожное слово. Как медведь из басни Крылова — убил булыжником комара на лбу пустынника.

(Там же. Стр. 45–46).

Трудно поверить, что, сравнивая Паустовского с медведем из крыловской басни, то есть, по сути, назвав его «услужливым дураком», который «опаснее врага», Дудинцев был искренен. Вряд ли он даже был искренен, пытаясь представить дело таким образом, что всему виной была инфантильность Константина Георгиевича, нехватка у него «тормозящего жизненного опыта», плюс еще тщеславное желание завоевать симпатии аплодирующей ему с галерки молодежи.

Скорее всего, это была тактика: я, мол, вовсе даже и не имел в виду ничего похожего на то, что там наболтал тогда этот старый осел.

Но все это, в конце концов, не так уж и важно.

Для моего сюжета в этом рассказе Дудинцева важно только одно. Вот эта реплика Симонова: «Все пропало!»

Это означало, что он понял: в границах дозволенного ситуацию уже не удержать. А переступить эти границы он не хотел. Да и не мог.

* * *

Реакция начальства последовала незамедлительно.

- ▶ ИЗ ЗАПИСКИ ОТДЕЛА
КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС О НЕКОТОРЫХ
ВОПРОСАХ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И О ФАКТАХ НЕПРАВИЛЬНЫХ
НАСТРОЕНИЙ СРЕДИ
ЧАСТИ ПИСАТЕЛЕЙ

1 декабря 1956 г.

ЦК КПСС

Одним из наиболее острых в литературной среде является сейчас вопрос об отношении к роману Дудинцева «Не хлебом единым». Среди руководителей Союза писателей высказываются резко противоположные суждения о романе. Одни считают его значительным произведением, написанным в духе решений XX съезда КПСС, другие — явлением вредным, идейно-порочным.

В романе Дудинцева с большой остротой разоблачаются типы дельцов и карьеристов, озабоченных только своим меццанским благополучием и подавляющих творческую инициативу новаторов (Дроздов, Шутиков, Авдиев, Невраев). Эти персонажи нарисованы писателем сильно и выразительно.

Главный недостаток романа Дудинцева состоит в том, что этой сплоченной группе хищников и карьеристов противостоят в качестве положительных героев люди душевно-надломленные, занимающие, как правило, оборонительные позиции...

Все это дает возможность нездоровым элементам использовать роман для клеветнических измышлений о том, что якобы социалистическая система не способствует творчеству и новаторству, порождает косность и бюрократизм. Эти элементы пытаются доказать, что выведенные в романе отрицательные герои будто бы воплощают в себе типичные черты руководящих кадров всего нашего государственного и партийного аппарата.

Тон такому клеветническому истолкованию задал на обсуждении в Союзе писателей К. Паустовский, заявивший, что роман зовет в бой против чиновников, которые захватили управление всей нашей жизнью и душат все честное, смелое и творческое...

Выступление Паустовского послужило как бы сигналом для различных нездоровых и озлобленных элементов, которые пытались в таком же духе комментировать книгу Дудинцева в выступлениях на дискуссиях и читательских конференциях. Показательно, что выступление Паустовского было полностью перепечатано в стенгазете физического факультета МГУ, что способствовало разжиганию нездоровых настроений среди студенческой молодежи.

Речь Паустовского на обсуждении романа Дудинцева выходит за рамки литературного спора, это выпад против советского и партийного аппарата, направленный на то, чтобы посеять в народе недоверие к государственным органам.

*(Аппарат ЦК КПСС и культура.
1953—1957. Документы. Стр. 570).*

В связи с Дудинцевым и Паустовским имя Симонова в этой Записке не упоминалось. Но оно тоже там возникло, хоть и по другому поводу:

- Большую остроту приобретает в настоящее время вопрос о партийных решениях о литературе и искусстве, принятых в 1946–1949 гг.

Секретарь правления СП СССР т. Симонов, выступая 30 октября с.г. на совещании заведующих кафедрами советской литературы, подверг критике доклад А.А. Жданова и постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и о кинофильме «Большая жизнь». Он говорил, что наряду с верными в этих документах содержатся неверные положения, ориентировавшие нашу литературу и критику на путь лакировки и сглаживания жизненных конфликтов.

Ряд критических замечаний т. Симонова является обоснованным и мотивированным...

В постановлении о журналах «Звезда» и «Ленинград» есть неверные и нуждающиеся в уточнении оценки и характеристики, связанные с проявлением культа личности в методах руководства литературой и искусством в прошлые годы. В оценках отдельных произведений литературы, музыки и кино иногда допускались ненужная регламентация, административный тон, окрик и грубость в отношении авторов, имевших ошибки в своем творчестве.

Однако основное содержание постановлений ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» и о репертуаре драматических театров совершенно правильно и в важнейших своих положениях сохраняет свое значение и сегодня. Борьба за высокую идейность литературы, против аполитичности, безыдейности, пессимизма, низкопоклонства; призыв глубже изучать жизнь советских людей, запросы народа; освещать коренные вопросы современности, воспитывать средствами искусства нашу молодежь бодрой, жизнерадостной, преданной родине и верящей в победу нашего дела, не боящейся трудностей, — все это было и остается важнейшей задачей деятелей литературы и искусства...

Хотя в выступлении т. Симонова и были верные критические замечания, сам факт выступления его с критикой постановления ЦК перед беспартийной аудиторией следует признать недопустимым для коммуниста. Такая критика решений ЦК, хотя бы в ней содержались и правильные положения, вносит путаницу в сознание творческих работников и молодежи, подрывает в их глазах авторитет партийного руководства.

(Там же).

По отношению к Симонову тон более мягкий. Авторы «Записки» даже признают, что «в выступлении т. Симонова и были верные критические замечания». Но сам факт его покушения на непогрешимость тех старых постановлений оценивается недвусмысленно и категорично. «Тов. Симонов» совершил поступок «недопустимый для коммуниста», а значит, согласно никем еще не отмененному канону партийного поведения должен признать ошибку, покаяться.

Но не только признавать ошибку и каяться, но даже отмежевываться от Дудинцева и Паустовского он пока еще не собирался:

- ▶ ИЗ ЗАПИСКИ ОТДЕЛА НАУКИ,
ШКОЛ И КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС
ПО РСФСР С СОГЛАСИЕМ
СЕКРЕТАРЕЙ ЦК КПСС
ОБ ОШИБОЧНОМ ВЫСТУПЛЕНИИ
К.М. СИМОНОВА НА ВСЕСОЮЗНОМ
СОВЕЩАНИИ РАБОТНИКОВ КАФЕДР
СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

25 мая 1957 г.

ЦК КПСС

В начале текущего учебного года 30 октября 1956 г. Министерство высшего образования СССР

совместно с Московским Государственным университетом проводило всесоюзное совещание работников кафедр советской литературы, на котором обсуждали проект программы по истории советской литературы. На этом совещании выступил писатель тов. Симонов.

Тов. Симонов подверг критике доклад А.А. Жданова и постановления ЦК партии 1946 г. по идеологическим вопросам. В своей речи тов. Симонов обосновывал причины появления романа В. Дудинцева «Не хлебом единым», который он охарактеризовал как смелое произведение, резко бичующее недостатки в жизни нашего общества. Далее т. Симонов настаивал на включении в программу изучения творчества К. Паустовского. В то же время тов. Симонов обрушился на таких писателей, как товарищи Грибачев, Бабаевский, которые как лакировщики, по его мнению, нанесли ущерб развитию советской литературы.

Выступление тов. Симонова было воспринято участниками совещания как установочное и нанесло большой вред, неправильно ориентируя вузовских работников в освещении принципиальных вопросов развития литературы. Критика постановления ЦК внесла путаницу в сознание преподавателей и молодежи, подрывая в их глазах авторитет партийного руководства.

(Там же. Стр. 670).

Главное тут — не сам донос, а «шапка», заголовок этого партийного документа. Точнее — одна фраза этого заголовка: «С СОГЛАСИЕМ СЕКРЕТАРЕЙ ЦК».

Высшее партийное руководство, стало быть, одобрило содержание этого доноса. И уж тут Симонов повел себя так, как всегда вел себя в подобных случаях:

- ИЗ ЗАПИСКИ ОТДЕЛА НАУКИ,
ШКОЛ И КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС ПО РСФСР
О ВЫСТУПЛЕНИЯХ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ
ЗАСЕДАНИИ ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЯ
МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

9 марта 1957 г.

ЦК КПСС

8 марта с. г. на заключительном заседании Пленума Правления Московского отделения Союза писателей СССР в связи с политически вредной речью Дудинцева выступил писатель К. Симонов...

Симонов охарактеризовал выступление Дудинцева одинаково тяжелым и вредным, как в свое время было выступление Паустовского, назвал выступления Дудинцева и Паустовского далекими от понимания подлинных задач советского писателя и ответственности перед обществом.

Симонов призвал аудиторию задуматься над смыслом аплодисментов, сопровождающих выступления Дудинцева и Паустовского... Дудинцеву следовало бы задуматься над поцелуйным обрядом за рубежом, задуматься, за что хвалит враг. Дудинцев не занял правильной позиции и пытается представить из себя жертву, ищет поддержки. Ему следовало бы отдать отчет в том, за что его хором хвалят...

Симонов разоблачил перед присутствующими вредность заявления Дудинцева о якобы тяжелой судьбе писателя в нашей стране...

Симонов признал, что редакция журнала «Новый мир» не проявила твердости в подходе к напечатанию этой книги, не увидела однобокости в изображении советского общества. Симонов отметил, что Дудинцев...

встал над романом и пытается сделать из этого произведения «программный документ эпохи»... хотя в литературе имеются лучшие произведения, как, например, Николая Островского, действительно отражавшие характер эпохи.

Симонов подверг резкой критике сообщение Дудинцева о тех обстоятельствах, в которых сложился роман. Симонов заявил, что он также много видел горечи на войне, но это не отравило его души...

Симонов подчеркнул, что Дудинцев видит в войне только одни поражения, он мог бы увидеть и победы. Верно, что в 1941 году было под Псковом 8 снарядов на одну пушку, но еще более верно то, что 40 тыс. стволов наших орудий обрушились на Берлин в 1945 году...

Симонов подверг критике Дудинцева и за неправильное освещение послевоенной жизни советской страны в романе и в выступлении на Пленуме...

Самое тяжелое впечатление на Симонова, по его словам, произвело утверждение Дудинцева о «ремешке», на котором мамыши в Англии водят детей, требование пустить его поплавать самостоятельно, поскольку якобы он овладевал «марксизмом-ленинизмом во всех инстанциях». Симонов прямо заявил, что в словах о «ремешке» нетрудно рассмотреть попытку отказаться от партийного руководства и от диктатуры пролетариата...

Симонов отметил, что за рубежом восхваляют Дудинцева как борца против советской действительности, и Дудинцев обязан был бы дать этим людям, которые его восхваляют, публичную пощечину. Симонов заметил, что в советской литературе не впервые появляются такие произведения, как роман Дудинцева и как его выступление на Пленуме... Надо ясно видеть, чего хочет враг...

Необходимо отметить, что т. Симонов в своем выступлении признал по существу ошибки, которые он допустил как редактор журнала «Новый мир», поместив роман Дудинцева «Не хлебом единым» и защищая его в предыдущих выступлениях.

(Там же. Стр. 631).

По уровню лжи и демагогии (при чем тут сорок тысяч стволов, которые обрушились на Берлин в 45-м году? При чем тут Николай Островский?) эта речь не уступает той, что он произнес после ареста Р. Бершадского.

Но тогда дело шло о жизни и смерти. Могли убить. И не как-нибудь там метафорически, а буквально. А сейчас... Что, собственно, ему грозило? Потеря редакторского кресла? Так он и так его потерял. И в Ташкент его никто не ссылаал, он сам по каким-то своим — тактическим — соображениям решил на два года туда уехать. Так стоило ли так мараться?

Вопрос этот был бы уместен, если бы, поступая так, как поступил, он действовал по расчету, и расчет этот не оправдался. Но не расчет лежал в основе этого его поступка. Он повел себя так, а не иначе, просто потому, что был ТАКИМ, КАКИМ БЫЛ. Потому что таким его ВЫРАСТИЛ СТАЛИН.

Но если это так, почему же, в таком случае, зная все это и не имея на этот счет никаких иллюзий, я назвал его ЧЕЛОВЕКОМ ОТТЕПЕЛИ?

* * *

Потому что такая уж она была, эта хрущевская оттепель.

В природе смена времен года предопределена, и какая погода будет в декабре, а какая в мае, — более или менее предсказуемо. Конечно, может случиться, что декабрь вопреки календарю окажется необычно теплым, а май неожиданно холодным. Но даже и в этих случаях можно не сомневаться,

что за весенней оттепелью, раньше или позже, но неизбежно последует весна, а за нею — и лето.

Иначе обстоит дело в смене социальных «времен года». Тут после короткой оттепели вполне может вновь — и надолго — вернуться зима.

В.О. Ключевский сказал про указ Петра Третьего о вольности дворянства, что он был бы вполне уместен, то есть имел бы смысл и историческое обоснование, если бы на другой день последовал другой указ: об отмене крепостного права. Он и последовал на другой день, — не без горькой иронии заметил Василий Осипович, — но через сто лет.

Продолжая эту мысль нашего великого историка, можно было бы сказать, что если бы исторический процесс шел «правильно», после Хрущева генсеком должен был стать Горбачев, и тогда за хрущевской «оттепелью» сразу последовала бы горбачевская «перестройка». Но случилось так, — и, видимо, не могло случиться иначе, — что после Хрущева нам пришлось пережить еще восемнадцать лет брежневского застоя, а потом еще два коротких царствования смертельно больных Андропова и Черненко.

В какой-то мере это, видимо, было неизбежно («Политика — искусство возможного», «История не знает сослагательного наклонения»), но немалую роль тут сыграли и некоторые особенности личности «нашего Никиты Сергеевича», как его тогда называли.

Хрущева в его, так сказать, «натуральную величину» я видел только однажды. Но этого одного раза мне хватило.

Было это в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, где проходил Третий Всесоюзный съезд советских писателей (это был май 1959 года).

Никита Сергеевич взошел на трибуну и, переждав читающуюся ему дозу не слишком горячих аплодисментов, развернул текст специально написанной для него речи. Я сидел близко и очень ясно видел не только ослепительно белые крахмальные манжеты, вылезавшие из рукавов его пиджа-

ка, но и руки его, каждое движение этих рук, и быстро меняющееся (об этом речь впереди) выражение его лица, не способного утаить ни одного, даже самого мимолетного душевного движения.

Прочитав несколько строк — не более половины страницы — лежащего перед ним казенного текста, он вдруг отложил его в сторону, улыбнулся какой-то милой, застенчивой, обезоруживающей улыбкой и сказал:

— Вот что хотите со мной делайте, — не могу я по бумажке читать... Без бумажки, конечно, труднее. Еще чего-нибудь не так скажешь... Особенно перед такой аудиторией, как ваша. Но не лежит у меня душа к этим бумажкам...

Это было сказано так непосредственно, так по-человечески хорошо, что зал сразу взорвался аплодисментами — на этот раз уже не прохладно-казенными, а искренними, идущими от души.

Почувствовав это, Хрущев сразу охамел. Только что он явно испытывал некоторую робость перед сидящими в зале инженерами человеческих душ. Но, охамев, сразу же взял руководящий, учительский тон. Стал объяснять писателям, как и о чем им следует писать, а о чем писать не следует.

Писательская аудитория сразу поскучнела. Он, видно, это почувствовал и вдруг, снова улыбнувшись своей милой застенчивой улыбкой, сказал:

— Ведь книги бывают разные. Над иной сидишь, зевашь, глаза сами так и смыкаются. Булавкой надо себя колоть, чтобы не заснуть. А вот роман Дудинцева «Не хлебом единым...» — честно скажу, читал без всяких булавок. Оторваться не мог!

Зал оживился. Вновь вспыхнули незапланированные аплодисменты.

И он сразу опомнился. Выражение его лица мгновенно изменилось: стало настороженным, подозрительным.

— Но, товарищи! — поднял он вверх указательный палец. — Ведь тем она еще вреднее — такая книга! Ведь если ее загла-

тываешь единым духом, не отрываясь, так сказать, некритически, — вреда от нее еще больше. Потому что книга-то написана не с наших позиций. Не зря же мы ее критиковали.

Зал снова приуныл. И он снова это почувствовал.

Вновь появилась на его лице та же милая, добродушная улыбка.

— Я ведь это не к тому, — успокоил он зал, — чтобы все время напоминать товарищам, которых мы критиковали, об их ошибках. Жучить их, травить, постоянно попрекать этими ошибками, тыкать им в нос эти их ошибки. Не надо этого!

Обрадованный зал вновь взорвался радостными аплодисментами. И лицо оратора в очередной раз мгновенно преобразилось. Стало не просто подозрительным, а прямо злобным. И в этой откровенной злобности — даже уродливым.

— Но и забывать не стоит! — выкрикнул он в аплодирующий зал.

Аплодисменты сразу смолкли — как отрезало.

Вынув из кармана ослепительно белый носовой платок, он потряс им перед ошеломленной аудиторией и, как иллюзионист, показывающий очередной фокус, завязал угол платка узлом.

— Вот! — показал он его приунывшим писателям. — Видите? Узелок завязал... На память... Чтобы не забыть... И не надейтесь, что забуду.

Писатели, сидящие в зале, уже ни на что не надеялись. А оратора уже несло совсем в другую сторону. Он вдруг вспомнил и стал декламировать стихи, сочиненные в пору его шахтерской молодости каким-то его дружкой-шахтером по имени Пантелей Махиня. Из тех стихов запомнились мне лишь отдельные строчки:

Люблю вечернею порою
Огни эмоций зажигать...

.....

Гореть, гореть и не стогать...

Эти стихи Никита Сергеевич прочел с большим чувством. И с той же милой своей, застенчивой улыбкой — вздохнул:

— Талантливый был человек...

И пожалел, что талантливому рабочему-самородку не удалось развить и реализовать свой поэтический дар.

Улыбка его в этот момент стала какой-то конфузливой, чуть ли не заискивающей, так что я даже подумал: уж не сам ли Никита Сергеевич в пору своей шахтерской молодости баловался стишками и не он ли и есть этот самый талантливый самородок Пантелей Махиня.

Всё это было по-своему даже трогательно. Но общий смысл всех этих его метаний был уже ясен: писатели должны учиться писать вот у этого самого Пантелея Махини. И у Николая Островского, которого Никита Сергеевич, не вспомнив его настоящей фамилии, назвал Павлом Корчагиным. И любой шаг в сторону от этих вешек, намеченных первым секретарем ЦК, будет рассматриваться как побег, и конвой будет открывать огонь без предупреждения.

Не могу тут не вспомнить рассказ знаменитого нашего летчика-испытателя Марка Лазаревича Галлая.

Марк был человек очень даже неглупый. Во всяком случае, насчет природы нашего родного государства никаких иллюзий у него вроде не было. Но в начале хрущевской оттепели он был в полном восторге от нашего нового вождя.

Эти его чувства, кстати сказать, тогда разделяли многие. Даже Ахматова говорила о себе, что она «хрущевка», то есть — сторонница и даже поклонница Хрущева.

Что — и как скоро — ее отрезвило, не знаю.

А Марка охледила и заставила задуматься реплика его старого отца.

— Понимаешь, Марик, — объяснил он сыну. — Просто это первый новый царь в твоей жизни.

Что касается меня, то мои иллюзии, — если таковые и были, — растаяли, как дым, вот тогда, в тот день, когда мне

привелось увидеть этого нашего «нового царя» своими глазами и услышать то, что он тогда наболтал, своими ушами.

Во всяком случае, у меня тогда создалось твердое убеждение, что человек этот, что называется, без царя в голове, и все мы сидим в самолете, которым управляет то ли болван, то ли безумец.

Случился у меня однажды разговор на эту тему с И.Г. Эренбургом, который в отличие от меня видел и слышал Никиту Сергеевича не однажды и у которого о нем сложилось совсем другое мнение.

Мы говорили о его непоследовательности, половинчатости. И тут я перешел границу дозволенного, назвав первого человека государства то ли недоумком, то ли малограмотным болваном, который и сам толком не знает, чего хочет.

— Вы ошибаетесь, — мягко возразил мне Илья Григорьевич. — У Никиты Сергеевича, конечно, немало недостатков, но это — серьезный политический человек.

Я сразу понял, что сказано это было не «страха ради иудейска», что Эренбург на самом деле считает невежественного и суматошного Хрущева «серьезным политическим человеком».

Но согласиться с этим я не мог.

— Да разве серьезный политический человек устроил бы всю эту истерику по поводу Пауэрса¹? — горячился я. — Ну, ладно. Истерика — это еще куда ни шло. Это в конце концов вопрос темперамента. Но разве серьезный политический человек сорвал бы из-за этого визит Эйзенхауэра? Разве серьезный политический человек наплевал бы на весь мир, в том числе и на Де Голля, который склонялся к мирному решению скандала? Да и сам Эйзенхауэр тоже ведь извинился. Серьез-

¹ В мае 1960 года наши ракеты случайно сбили самолет-разведчик У-2, пилотируемый американским летчиком Пауэрсом. Хрущев раздул этот инцидент до масштабов мирового скандала.

ный политический человек, как вы его назвали, не стал бы давать волю своим чувствам...

— Поверьте мне, — повторил Илья Григорьевич. — Это серьезный политический человек. И если он решил устроить всю эту, как вы говорите, истерику, значит, были у него для этого еще и какие-то другие причины, гораздо более важные, чем личная обида.

Тогда я с Ильей Григорьевичем так и не согласился. А теперь, полвека спустя, думаю, что не так уж он был и неправ. Не исключаю даже, что те метания из стороны в сторону, которые Н.С. продемонстрировал тогда собравшимся в Кремле писателям, тоже были своего рода спектаклем, нарочно разыгранным перед нами этим «серьезным политическим человеком».

Допустить и такую возможность меня побуждают некоторые, ранее неизвестные, а теперь ставшие доступными документы.

Например, вот этот.

► ИЗ МЕМУАРОВ Н.С. ХРУЩЕВА

Слово «оттепель» пустил в ход Эренбург. Он считал, что после смерти Сталина наступила в жизни людей оттепель. Решаясь на приход оттепели и идя на нее сознательно, руководство СССР, в том числе и я, одновременно побаивались ее: как бы из-за нее не наступило половодье, которое захлестнет нас и с которым нам будет трудно справиться. Опасались, что руководство не сумеет справиться со своими функциями и направлять процесс изменений по такому руслу, чтобы оно оставалось **советским**.

Такое вот откровенное признание.

О том, как велик был страх Хрущева перед силами, развязанными его «секретным» докладом, можно было судить уже и тогда по разным его публичным высказываниям.

Этот его «секретный» доклад по его собственному соизволению, — думаю даже, что не по соизволению, а по негласному его указу, — уже читался не только на закрытых, но и на открытых партийных собраниях, да и не только партийных. А в то же время (летом того же 1956 года) он то и дело, как некое заклинание, публично повторял, что «партия не позволит отдать имя Сталина врагам коммунизма».

Выступая на юбилейной сессии Верховного Совета СССР, посвященной сорокалетию Великой Октябрьской социалистической революции, он сказал:

- ▶ Критикуя неправильные стороны деятельности Сталина, партия боролась и будет бороться со всеми, кто будет клеветать на Сталина... Как преданный марксист-ленинец и стойкий революционер, Сталин займет должное место в истории!

5 апреля 1956 года в «Правде» появилась статья «Коммунистическая партия побеждала и побеждает верностью ленинизму», содержащая суровое предупреждение всем, кто —

- ▶ ...под видом осуждения культа личности пытаются поставить под сомнение правильность политики партии.

14 мая 1957 года, выступая на встрече с членами Правления Союза писателей СССР, Хрущев счел нужным особо остановиться на том, что среди интеллигенции —

- ▶ ...нашлись отдельные люди, которые начали терять почву под ногами, проявили известные шатания и колебания в оценке сложных идеологических вопросов, связанных с преодолением последствий культа личности. Нельзя скатываться на волне критики к огульному

отрицанию положительной роли Сталина, выскиванию только теневых сторон и ошибок в борьбе нашего народа за победу социализма.

Все это, естественно, тогда воспринималось, как откат, — чуть ли даже не отказ от политического курса, обозначенного XX партийным съездом и «секретным» хрущевским докладом. Даже появившееся 2 июля в «Правде» большое постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 года «О преодолении культа личности и его последствий», формально вроде как подтверждающее этот антисталинский курс, было воспринято, — и не без некоторых к тому оснований, — как шаг назад, прямо связанный с до смерти напугавшими тогдашних руководителей государства событиями в Польше и Венгрии.

Так оно на самом деле и было. И тут надо сказать, что события эти перепугали не только высшее партийное руководство, но и «рядовых» (на самом деле, конечно, не совсем рядовых) коммунистов. Детская писательница М.П. Прилежаева на каком-то писательском собрании в истерике кричала:

— Если это не остановить, у нас будет, как в Венгрии! Нас, коммунистов, будут вешать на фонарях!

А другая правоверная коммунистка Галина Серебрякова, отсидевшая свой срок в сталинских лагерях, заявила даже, что готова вновь там оказаться, если такая мера будет необходима, чтобы не подвергать опасности самые основы нашего советского строя.

Тогда мне казалось, что все эти их страхи сильно преувеличены. Но сейчас, ознакомившись с некоторыми опубликованными в последние годы документами, я убедился, что были они не такими уж беспочвенными.

Со всех концов страны поступали «наверх» донесения:

- ▶ ...о небывалой активизации всего антисоветского и антикоммунистического подполья, — как внутри страны, так и за ее пределами — с восторгом воспринявшего речь Хрущева на XX съезде...

Так, в 1957 году ЦК ВЛКСМ сообщил в ЦК КПСС, что вся группа семинара литературных переводчиков Литературного института имени Горького в ответ на объяснения происходящих в Венгрии событий вскопчила с мест с криками: «В Венгрии произошла революция. Нам тоже нужна такая революция, как в Венгрии»...

О том, насколько опасными для дела социализма были заблуждения юных «диссидентов» конца 50-х годов, можно судить по «программе» так называемой Ленинградской организации «Социал-прогрессивный союз», которая ставила себе целью «свержение коммунистической диктатуры и создание многопартийной системы в условиях парламентской демократии».

*(Л. Балаян.
Сталин и Хрущев).*

И чуть ли не в каждом из таких донесений неизменно всплывали имена Дудинцева и Паустовского, а вслед за ними и Симонова:

► ИЗ ПИСЬМА ЦК КПСС «ОБ УСИЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МАССАХ И ПРЕСЕЧЕНИИ ВЫЛАЗОК АНТИСОВЕТСКИХ, ВРАЖДЕБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ»

...За последнее время среди отдельных работников литературы и искусства, сползающих с партийных позиций, политически незрелых и настроенных обывательски, появились попытки подвергнуть сомнению правильность линии партии в развитии советской литературы и искусства, отойти от принципов социалистического реализма на позиции безыдейного искусства, стали выдвигаться требования «освободить» литературу и искусство от партийного руководства, обеспечить «свободу творчества», понимаемую в буржуазно-анархистском, индивидуалистическом духе.

В выступлениях отдельных писателей проявляются стремления охаять советский общественный строй. Такой характер, очерняющий советские порядки и наши кадры, носило, например, выступление писателя К. Паустовского в Центральном Доме литераторов при обсуждении романа В. Дудинцева «Не хлебом единым»...

Не нужно доказывать, что такие выступления ничего общего не имеют с линией партии в области литературы и искусства, подрывают авторитет партийного руководства. Отдельные руководители Союза писателей не дают отпора подобным, глубоко ошибочным взглядам. Более того, секретарь правления Союза писателей т. Симонов на всесоюзном совещании заведующих кафедрами советской литературы выступил по существу с ревизией некоторых важнейших положений известных решений ЦК по идеологическим вопросам.

*(Культура и власть от Сталина до Горбачева.
Доклад Н.С. Хрущева о культуре личности Сталина
на XX съезде КПСС. Документы.
М., 2002. Стр. 396–397).*

- ИЗ ЗАПИСКИ СЕКРЕТАРЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБКОМА КПСС
Ф.Р. КОЗЛОВА ОБ ОБСУЖДЕНИИ ПИСЬМА
ЦК КПСС «ОБ УСИЛЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МАССАХ И ПРЕСЕЧЕНИИ ВЫЛАЗОК
АНТИСОВЕТСКИХ ВРАЖДЕБНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ»

12 января 1957 г.

ЦК КПСС. Товарищу Хрущеву Н.С.

В Ленинграде и области в большинстве организаций прошли партийные собрания по обсуждению

письма ЦК КПСС «Об усилении политической работы партийных организаций в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов». Собрания проходят на высоком организационном и политическом уровне...

Коммунисты подвергают резкой критике недостатки внутрипартийной работы и запущенность политического воспитания молодежи в своих организациях.

На партийном собрании Института русской литературы Академии наук СССР коммунист т. Ковалев сказал, что крикуны типа Симонова и других демагогически заявляют о своей борьбе за ленинские нормы, тогда как сами подвергают ревизии решения ленинского Центрального Комитета партии по идеологическим вопросам...

Коммунисты резко критиковали порочную линию журнала «Новый мир», выступление К. Паустовского на обсуждении романа В. Дудинцева и выступление К. Симонова с критикой постановлений Центрального Комитета по идеологическим вопросам; отмечалось, что именно с такой позицией смыкаются и все нездоровые настроения, которые имели место в ленинградской писательской организации.

Поэт Лихарев подробно проанализировал статью К. Симонова в журнале «Новый мир» № 12 и показал вредность и порочность ее основных положений.

(Там же. 598—599).

Это торжество сталинистов длилось недолго.

Вскоре поднялась новая волна, новая, еще более крутая, чем после XX съезда, пропагандистская кампания публичных разоблачений кровавых преступлений Сталина.

К этому крутому повороту Хрущева вынудила попытка Молотова, Ворошилова, Маленкова и Кагановича отстранить

его от власти, отправить в отставку. (А может быть, и куда-нибудь подальше.)

Попытка не удалась. Но лидеры этой так называемой «антипартийной группы» обладали куда большей харизмой, чем «наш Никита Сергеевич».

Молотов долгие годы был главой правительства (Председателем Совнаркома). Он был единственным человеком (кроме Сталина) в составе тогдашнего Политбюро, о котором принято было говорить, что он «работал с Лениным». Ну, а о Ворошилове и говорить нечего! Его имя было легендой: «Климу Ворошилову письмо я написал...», «Все в порядке. Все в порядке, Ворошилов на лошадке...».)

У Хрущева перед ними было только одно преимущество: репутация смельчака, раскрывшего заговор Берии и открывшего народу — и всему миру — истинную, преступную роль Сталина. Антисталинизм был его **мандатом на власть**. И он не преминул этим мандатом воспользоваться.

Но вскоре опять начались метания.

Разрешишь опубликовать «Один день Ивана Денисовича» Солженицына и «Теркина на том свете» Твардовского, он тут же дал задний ход. Топал ногами на Эрнста Неизвестного. Орал на Аксенова («Что же, ты, значит, мстишь нам? Мстишь за отца?!») и на Вознесенского («Вот тебе паспорт, получай и катись к своим заграничным хозяевам!»).

Так и мотало его из стороны в сторону.

И так же вместе с ним — вслед за ним — из стороны в сторону мотало и Симонова.

* * *

О том, что заставило Симонова уехать в Ташкент, толком ничего не известно.

Почти ничего не известно и о том, как он там жил, чем занимался, каков был его официальный статус.

Разве только — вот это.

► В середине 50-х годов Константин Симонов поселился в Ташкенте.

Одни говорили, что он «попал в опалу», другие утверждали, что его отправили в ссылку...

Это была сенсация.

В старину сенсация такого рода называлась «лев в провинции».

Когда Симонов в первый раз пришел в редакцию журнала «Звезда Востока», где я тогда работал, двери стали хлопать со страшной быстротой.

Редакция разместилась на улице Первомайской, в помещении тамошнего Союза писателей, и все, кто только был в Союзе, по делам или по случайности, заглядывали в редакцию, чтобы посмотреть на Симонова.

Но это не развлекало и не радовало Симонова.

Провинция не любит «разжалованных».

Наверное, на чьих-то лицах он прочел насмешку, а в чьих-то глазах заметил огонек злорадства...

Вскоре собрался пленум Союза писателей.

Симонов сидел в президиуме, положив перед собой руки и сцепив пальцы.

Он был очень неспокоен внутренне, хотя внешне выглядел чрезмерно спокойным.

Речь его была короткой, прозаичной, почти деловой. Это говорил не поэт, не романист, а «дьяк, в приказах поседелый»...

Мне запомнилось только одно слово, сказанное им:
– Благородно...

(Э. Бабаев. Лев в провинции.

В кн.: Э. Бабаев. Воспоминания.

СПб., 2000. Стр. 187–188).

Это слово, как потом убедился автор этих воспоминаний, в лексиконе Симонова было самым любимым. Во всяком случае, наиболее часто употребляемым.

Я думаю, что Симонов решил уехать в Ташкент (никто, конечно, его туда не ссылал), потому что устал от необходимости лгать, выворачиваться, произносить речи, которые ему были **поперек души**. (Тоже одно из любимых его выражений.)

Оставаясь в Москве и занимая те должности, которые он там еще занимал, он вынужден был бы вести себя **неблаго-родно**. А ему этого уже смертельно не хотелось.

Я сужу об этом по тому, что он всегда, — ПОКА ЭТО БЫЛО МОЖНО, — старался, как выразился однажды Александр Сергеевич, «сохранить остатки благородства». А иногда даже — на свой страх и риск — отваживался и переступить границы дозволенного.

Напечатал «Партизанские рассказы» Зоценко.

Напечатал рассказ Платонова «Семья Ивановых».

Публично высек Бубеннова за его гнусную статейку о псевдонимах и — мало того! — осмелился при этом затронуть самого Шолохова.

Напечатал роман Дудинцева и, пока мог, защищал его.

Сделал все, что было в его силах, чтобы напечатать «Мастера и Маргариту» Булгакова.

Пытался (тогда это не вышло) напечатать прозу Мандельштама.

Когда секретарям Союза писателей были розданы для ознакомления и публичного осуждения арестованные рукописи Солженицына («Пир победителей» и др.), — сказал:

— Без ведома и разрешения автора я никаких рукописей не читаю.

В 1968-м, после вторжения в Чехословакию, отказался подписать одобряющее эту акцию заявление Секретариата СП. Мало того! Приехал в «Новый мир» к Твардовскому, заперся с ним в его кабинете, уговаривая (и уговорил!) тоже не подписывать этот постыдный документ. (Твардовский тогда был в растерянности и, спасая журнал, уже почти готов был подписать его.)

Даже в самые страшные времена лютой сталинской зимы Симонову хотелось — и иногда удавалось — поступать благородно. Ну, а уж теперь, в послесталинские, «вегетарианские» времена — и подавно.

Но это его стремление сохранить верность своему кодексу чести принимало порой довольно-таки причудливую, я бы даже сказал, парадоксальную форму.

* * *

В списке разоблаченных в 1949 году «безродных космополитов» оказался Б.В. Яковлев (Хольцман), бывший в то время заведующим отделом критики возглавляемого Симоновым «Нового мира».

Справедливости ради тут надо отметить, что до того, как его «разоблачили», Борис Владимирович и сам довольно активно и даже бойко разоблачал разнообразных врагов советской литературы. Он обвинял их во всех смертных грехах: например, в формализме, а то и в том же космополитизме.

Разоблачал он, правда, не живых формалистов и космополитов, а покойников, которым его статьи уже никак не могли повредить. То есть могли, конечно. Но разве только тем, что их книги выкидывали из издательских планов, что, конечно, им тоже было не безразлично и от чего они, наверно, ворочались там, в своих гробах.

Одной весьма бойкой своей статьей он уничтожил Велимира Хлебникова. Другой — еще более хлесткой — растоптал Александра Грина. (Из нее мне запомнилась только одна фраза. Но какая! «Всеякие были в России писатели, — писал он там, — талантливые и неталантливые, реакционные и прогрессивные. Но Грин от них от всех отличался одним совершенно поразительным свойством: он не любил свою Родину».)

Все эти статьи Борису Яковлеву заказывал Константин Михайлович Симонов. С тем, разумеется, чтобы публиковать их (во всяком случае, некоторые из них) в своем журнале.

Когда разразилась гроза, — то есть когда оказалось, что Б. Яковлев (Хольцман), только что разоблачивший космополита Грина, сам — один из тех, кого еще неистовый Виссарион называл «беспачпортными бродягами в человечестве», — Константин Михайлович, естественно, тут же его из журнала уволил. (Это я говорю ему не в укор: не в его власти было поступить иначе.)

С Яковлевым у Симонова личных отношений не было: только служебные. А с другим «безродным космополитом» — Александром Михайловичем Борщаговским — он дружил. Поэтому, когда стряслась с ним эта беда, он, подробно расспросив его о том, как тот собирается жить и чем заниматься, чуть ли не силком всучил ему довольно крупную сумму денег, чтобы тот лег на дно и спокойно писал давно задуманный им роман «Русский флаг». Яковлев же, не смея обратиться к Симонову прямо, но зная о добрых отношениях с ним Борщаговского, попросил Александра Михайловича, чтобы тот выцыганил для него у Симонова какую-то справку. Какое-то там письмо от редакции «Нового мира» в Спецхран Ленинской библиотеки, в котором бы говорилось, что такой-то, мол, не тунеядец, а полезный член общества.

Выслушав Борщаговского, Симонов сказал:

— Справку я ему, конечно, дам. Но, по правде говоря, не люблю я его... Ну что это такое! Надо какую-нибудь гадость о Хлебникове написать? Пожалуйста! О Г' ине? Извольте, можно и о Г' ине...

Темы и сюжеты всех этих статей — и о Хлебникове, и о Грине, — как я уже говорил, Борису Владимировичу подсказывал не кто иной, как он сам — К.М. Симонов. И не просто подсказывал: эти погромные статьи он ему официально (как редактор журнала) **заказывал**.

Но в отличие от нынешних наших «новых русских» тоже вынужденный прибегать время от времени к заказным убийствам, Константин Михайлович, как истинный аристократ, сохранял за собой право искренне презирать нанимаемых им для этой цели киллеров.

* * *

Не могу тут не вспомнить еще один — тоже принявший весьма своеобразную форму (хотя и совсем в другом роде) — благородный поступок Константина Михайловича.

В начале 1966 года, перед предстоящим очередным — XXIII съездом КПСС, пошли слухи, что на этом съезде собираются реабилитировать Сталина. Отдельные сигналы, признаки такой угрозы стали мелькать и в печати. И тут несколько бывших политэзков во главе с известным журналистом-международником Эрнстом Генри решили обратиться «на высочайшее имя» с письмом, требующим отказаться от этого намерения. Подписать такое письмо по их замыслу должны были самые выдающиеся и высокочтимые наши ученые, писатели, художники, артисты, — весь цвет советской интеллигенции. И им удалось собрать двадцать пять подписей.

Письмо — без колебаний — подписали академики: Л.А. Арцимович, П.А. Капица, М.Л. Леонтович, И.М. Майский, И.Е. Тамм; писатели: К.И. Чуковский, К.Г. Паустовский, В.П. Катаев, В.П. Некрасов, Б. Слуцкий, В. Тендряков; режиссеры: М.И. Ромм, М. Хуциев, Г. Товстоногов; артисты: Майя Плисецкая, Иннокентий Смоктуновский; художник П. Корин...

К.М. Симонова в числе подписавших это письмо не было, — хотя по своему общественному положению и тогдашней своей политической ориентации он, казалось бы, должен был там быть.

Неужели отказался?

Или собиравшие подписи энтузиасты даже не решились к нему обратиться?

Вполне могло быть и такое, поскольку на несколько отказов наткнуться им пришлось.

Самым решительным и категорическим образом отказался поставить под этим обращением свою подпись Сергей Тимофеевич Коненков.

В более корректной форме уклонился от этой миссии Сергей Владимирович Образцов.

► Пришел я в назначенный час, до обеда. Само собой, не один, а вместе с Эрнстом Генри.

Сергей Владимирович восседал за солидным письменным столом. Слева от двери посетителей ждал небольшой столик.

Несколько корректно-комплиментарных фраз — и беседа взошла на вершину. Я насторожился. Уловил противоборство — интеллектуалы красуются друг перед другом? Задели проблемы глобальные. Сергей Владимирович припомнил случай из гастрольных поездок по Европе. Долгожитель Лондона, отлучавшийся во Францию, Бельгию, Италию, Семен Николаевич тотчас припомнил случай не менее интересный. Диалог был увлекателен, но меня кольнуло: не подпишет!.. Стулья Эрнста Генри и мой соприкасались, сидели мы плотно. Намекаю коленкой: пора... Как же-с! Сергей Владимирович и Семен Николаевич лишь на подступах к коренной проблеме...

Наконец поднялись. Распрощались на высшем уровне... На ходу размышляю, отчего Сергей Владимирович попал в отказники...

Подозревать Образцова, что он в глубине души сохранял детский запас иллюзий, — детски наивно. Запас их был растрачен. Однако на концерты в Кремле Театр кукол звали гораздо чаще, чем знаменитых ба-

сов и теноров. Образцова выпускали за рубеж, когда театры академические о гастролях за кордоном робко грезили...

Предложение Эрнста Генри подписаться под «Обращением», осуждающим культ Сталина, подтолкнуло Сергея Владимировича к преграде этической. Щедро обласканному неприлично осуждать покойного благодетеля. Нельзя подойти к могиле и плюнуть, обнаружив перед почтенной публикой неприглядное двуличие. Или трехличие. Один Образцов — для Сталина, другой для публики, третий для себя.

(М. Кораллов.

*Как товарищ Сталин собирал автографы.
Новая газета. 29 октября 2010 г.).*

Может быть, и Симонову тоже не позволила подписать то письмо «преграда этическая»?

Да, безусловно было и это. Но — не только.

«Подойти и плюнуть» в могилу благодетеля и по его понятиям было бы неблагородно. Но помимо этого этического барьера у него был и другой.

- ▶ В 1965—1966 годах попытки реабилитации Сталина становились все более настойчивыми. Очень сильное давление в этом направлении на нашу идеологию и литературу исходило не только от новой партийной верхушки и средних партийных кругов, но и от влиятельных военных. Симонов не только хорошо знал все эти настроения, но и мог чувствовать из отношения к собственному творчеству. Оно менялось не в лучшую сторону...

В разговорах со мной Симонов высказывался вполне определенно и негативно о попытках реабилитации Сталина. Однако я переоценил его решимость бороться или как-то открыто протестовать против

подобных тенденций в нашей политической и культурной жизни...

В Москве появились слухи, что большая группа видных военачальников подписала обращение к съезду партии с требованием реабилитировать Сталина. Это требование не встретило тогда поддержки даже у Михаила Суслова и у части более осторожных членов партийного руководства.

В противовес требованиям самых крупных военных лидеров, где-то в недрах партийного аппарата родилось предложение организовать коллективное «антисталинское» письмо большой группы интеллигенции. За это дело взялся писатель и публицист Семен Николаевич Ростовский, более известный под псевдонимом Эрнст Генри...

Организаторы акции разумно полагали, что под «Открытым письмом» должны стоять имена людей, которых знала и уважала вся страна. Свои подписи поставили такие ученые, как Петр Капица, Игорь Тамм, Андрей Сахаров, писатели Корней Чуковский, Константин Паустовский, Виктор Некрасов, режиссеры Олег Ефремов, Михаил Ромм, Георгий Товстоногов и другие — всего более двадцати человек. Когда письмо было уже отправлено в ЦК, некоторые из крупных деятелей интеллигенции выразили желание к нему присоединиться. Ростовский составил второй, более короткий текст, под которым также подписались многие известные деятели науки и культуры.

Ростовский хотел, чтобы под этим документом стояла и подпись Константина Симонова, но тот отказался даже встретиться с этим публицистом. Кто-то сказал Ростовскому, что у Роя Медведева очень хорошие отношения с Симоновым. Семен Николаевич, с которым я раньше почти не был знаком (мы случайно встретились однажды в какой-то общей «околописа-

тельской» компании), попросил меня приехать. Дело было хорошее, и я охотно включился в сбор подписей. Благодаря моим усилиям под письмом к съезду появились подписи Владимира Дудинцева, Ильи Эренбурга, академика и генерала химика Ивана Кнунянца, кинорежиссера Григория Чухрая.

Заранее договорившись о встрече, я поехал и к Симонову...

После короткой беседы я сказал, что хочу познакомиться Константина Михайловича с одним важным документом, и передал ему копию «Открытого письма» — с указанием всех, кто его уже подписал. Если бы Симонов выразил какие-либо сомнения относительно текста документа или откровенно сказал мне, что он уже знает о существовании этого письма, но по каким-то причинам решил воздержаться от его подписания, то я бы ограничился общим разговором. Но Симонов неожиданно стал очень хвалить текст письма и тех, кто уже поставил под ним подпись. Он даже сказал: «Прекрасно написано, я готов подписаться под каждым словом этого письма». Конечно, Симонов не подозревал, что я имею какое-то отношение к сбору подписей. И когда я сказал, что именно за этим и приехал и что присоединиться к письму еще не поздно, Симонов явно растерялся. Мне стало неловко, что я поставил его в столь трудное положение. Симонов еще раз прочитал «Открытое письмо», мучительно думал и сказал, что некоторые фразы ему не слишком нравятся. Потом он еще помолчал и, неожиданно повеселев, сказал: «Знаете, Рой Александрович, я все же писатель. Я лучше сегодня вечером напишу собственное письмо с протестом против реабилитации Сталина. Два письма — это будет даже лучше». Я согласился с этим, и обед, на который я был приглашен, прошел весьма оживленно.

После этой встречи Симонов мне не звонил, и я решил, что никакого письма к съезду он не написал... Мне было как-то неудобно напоминать о себе, и я перестал приходить к нему...

*(Р. Медведев.
Из воспоминаний.
Константин Симонов).*

Однако, решив, что Симонов не выполнил своего обещания и никакого письма так и не написал, Рой Александрович ошибся.

- ▶ Только через тридцать лет — в 1996 году — из публикации в одном из журналов по истории я узнал, что Симонов сдержал слово и написал 23 марта 1966 года большое письмо в ЦК КПСС на имя Л.И. Брежнева с осторожным, но вполне определенным протестом против реабилитации Сталина.

«В своем отношении к Сталину, — писал в этом письме Симонов, — я многие годы был тем, кого называют сейчас «сталинистами», и как писатель-коммунист несу за это свою долю ответственности. Но тем большую ответственность несу я теперь за то, чтобы о Сталине и его культе непогрешимости, к созданию которого мы сами были причастны, говорилась полная историческая правда». Главной темой письма Симонова была «прямая ответственность Сталина» за тяжелые поражения в начале войны, за лишние жертвы и за репрессии среди военных кадров в 1937–1938 годах. «Вступив в войну после такого разгрома армейских кадров, — продолжал Симонов, — погибла бы любая страна. И то, что наша страна после этого не погибла — чудо, которое совершили народ и партия, а не Сталин».

Вспоминал Симонов и новое избивание кадров после войны. Надо поэтому не отрицать, а лишний раз подтвердить все то, что было сказано о Сталине на XX и XXII съездах КПСС, исключив ряд передержек, которые были у Хрущева. На этом большом письме стояла пометка помощника Брежнева: «Доложено 23 марта Брежневу Л.И., который в тот же день беседовал с тов. Симоновым. К.М. Александров». Беседа, видимо, была по телефону. Письмо Симонова отправлено в архив в 1986 году и опубликовано еще через десять лет в «Вестнике архива Президента Российской Федерации» (№ 5 за 1996 год, с. 131–134).

(Там же).

Судя по этому письму, никаких «сталинистских» иллюзий в то время у Симонова уже не было. Но относился он к Сталину все-таки не так, как те его собратья по перу, каждый из которых сразу, без колебаний поставил под «Открытым письмом съезду» свою подпись.

* * *

В том же 1966 году учитель и старший товарищ Симонова Павел Григорьевич Антокольский написал такое стихотворение (несколько строк из него я уже приводил на этих страницах):

Мы все, лауреаты премий,
Врученных в честь него,
Спокойно шедшие сквозь время,
Которое мертво.

Мы все, его однополчане,
Молчавшие, когда
Росла из нашего молчанья
Народная беда.

Таившиеся друг от друга,
Не спавшие ночей,
Когда из нашего же круга
Он делал палачей...

Мы – сеятели вечных, добрых
Разумных аксиом
За мрак Любянки, сумрак Допров
Ответственность несём.

И пусть нас переметит правнук
Презрением своим
Всех до единого, как равных, –
Мы сраму не таим.

И очевидность этих истин
Воистину проста.
И не мертвец нам ненавистен,
А наша немота.

Симонов в то время к такому самоосуждению был еще не готов. Для него «очевидность этих истин» тогда, – да и потом тоже – была совсем не проста. И не только потому, что, в отличие от Антокольского, он не стыдился премий, врученных ему «в честь него», а относился к ним (по крайней мере, к пяти из них) уважительно, как к честно заслуженной награде. Непростым было и его отношение к тому, в чью честь вручались эти премии, чье имя они носили.

К этой теме он возвращался постоянно. Не только в разговорах. И в трилогии «Живые и мертвые», и в комментарии к фронтовым дневникам «Разные дни войны», и в письмах к читателям.

Приведу одно из таких его писем, в котором он высказался на эту кровоточащую тему, пожалуй, с наибольшей отчетливостью, определенностью и полнотой.

► Я думаю, что споры о личности Сталина и о его роли в истории нашего общества — споры закономерные. Они будут еще происходить и в будущем. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет сказана, а до этого изучена вся правда, полная правда о всех сторонах деятельности Сталина во все периоды его жизни...

При этом, конечно, нужно все трезво взвешивать и нужно видеть разные стороны деятельности Сталина и не надо изображать его как какого-то ничтожного, мелкого, мелкотравчатого человека... Сталин, конечно, был очень и очень крупным человеком, человеком очень большого масштаба. Это был политик, личность, которую не выбросишь из истории...

Достаточно перечесть его переписку с Рузвельтом и Черчиллем, чтобы понять, какого масштаба и какого политического дарования был этот человек. И в то же время именно на этом человеке лежит ответственность за начало войны, стоившее нам столько лишних миллионов жизней и миллионов квадратных километров опустошенной территории. На этом человеке лежит ответственность за неготовность армии к войне. На этом человеке лежит ответственность за тридцать седьмой и тридцать восьмой годы, когда он разгромил кадры нашей армии и когда наша армия стала отставать в своей подготовке к войне от немцев, потому что к тридцать шестому году она шла впереди немцев. И только учиненный Сталиным разгром военных кадров, небывалый по масштабам разгром, привел к тому, что мы стали отставать от немцев и в подготовке к войне, и в качестве военных кадров...

В одном месте моей книжки (речь идет о романе «Солдатами не рождаются». — Б.С.) один из ее героев — Иван Алексеевич — говорит о Сталине, что это

человек великий и страшный. Я думаю, что это верная характеристика и, если следовать этой характеристике, можно написать правду о Сталине...

(К. Симонов. *Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине.* М., 1989. Стр. 15–17).

Я не стану входить в обсуждение высказанной в этом письме исторической концепции, близкой не только к тогдашней официальной, но и к нынешней (да, Сталин, конечно, был убийца и злодей, но и «эффективный менеджер»). Сегодня много чего можно было бы сказать не только о непомерной цене, которую заплатила страна за результат исторической деятельности Сталина (о чем иногда теперь все-таки говорят), но и о сомнительности самого результата (о чем, как правило, умалчивают). Но, повторяю, вдаваться в обсуждение этой темы, а тем более в полемику с не дожившим до наших дней писателем не собираюсь.

Остановлюсь только на короткой его формуле, которую он не уставал повторять до конца своих дней и которая выражала не столько рациональное, сколько эмоциональное его отношение к Сталину: **ВЕЛИКИЙ И СТРАШНЫЙ**.

* * *

Эту свою последнюю книгу («Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине») Симонов писал (диктовал) незадолго до смерти. Диктовал, не надеясь и не рассчитывая опубликовать ее при жизни, адресуясь к потомкам, быть может, даже далеким. Стало быть, не было у него при этом никакой нужды сдерживать себя, оглядываясь на цензуру, на господствующую в его время официальную, государственную историческую концепцию. Создавая эту книгу, он, быть может, впервые в жизни мог позволить себе — и по-

зволил — быть с будущими своими читателями откровенным до конца, до последней точки.

Как исторический документ, как источник информации книга эта, пожалуй, не имеет себе равных. Ценность ее, помимо всего прочего, определяется тем, что она основана не только и не столько на воспоминаниях, сколько на старых его дневниковых записях. Каждую тираду Сталина, каждое его слово он старался записать сразу по возвращении домой (непосредственно за Сталиным записывать не полагалось) и, обладая недюжинной памятью, сумел воспроизвести со стенографической точностью.

В своих размышлениях о Сталине, в оценке ставших в то время уже известными его злодеяний Симонов беспощаден. Но эмоциональный настрой этих его записей поражает неизбывным раболопным, коленапреклоненным восторгом, с каким он не только воспроизводит, но и комментирует каждое сталинское слово.

Какую бы чепуху ни молот Сталин по поводу обсуждаемых ими книг, каким бы ничтожным и даже жалким ни был самый предмет этих их тогдашних обсуждений, Симонова, записывающего и комментирующего каждую реплику вождя, не оставляет вера в значительность и даже мудрость очередного такого его высказывания.

- ▶ ...По всем вопросам литературы, даже самым незначительным, Сталин проявлял совершенно потрясающую меня осведомленность.

*(К. Симонов.
Истории тяжелая вода.
Стр. 402).*

О том, чего стоила эта потрясающая сталинская осведомленность, можно судить по таким, старательно записанным Симоновым и уважительно им комментируемым сталинским монологам:

- ...дошла очередь до обсуждения романа Коптяевой «Иван Иванович». Сталин счел нужным вступить за этот роман:

— Вот тут нам говорят, что в романе неверные отношения между Иваном Ивановичем и его женой. Но ведь что получается там у нее в романе? Получается так, как бывает в жизни. Он большой человек, у него своя большая работа. Он ей говорит: «Мне некогда». Он относится к ней не как к человеку и товарищу, а только как к украшению жизни. А ей встречается другой человек, который задевает эту слабую струнку, это слабое место, и она идет туда, к нему, к этому человеку. Так бывает и в жизни, так и у нас, больших людей, бывает. И это верно изображено в романе... Говорят о треугольниках, что тут в романе много треугольников. Ну и что же? Так бывает.

Когда после этого речь зашла о повести Янки Брыля «В Заболотье светает», которую хвалили и говорили, что повесть хорошая, Сталин недоверчиво спросил:

— А почему хорошая? Что, там все крестьяне хорошие? Все колхозы передовые? Никто ни с кем не спорит? Все в полном порядке? Классовой борьбы нет? Все вообще хорошо, поэтому и повесть хорошая. Да? А как художественно-то, хорошая это книга?

И только когда ему горячо подтвердили, что книга Янки Брыля действительно хороша и с художественной точки зрения, он согласился с ее выдвижением на премию...

- Усомнившись на этот раз в количестве книг, заслуживающих премию третьей степени, Сталин тут же предложил — совершенно неожиданно для всех присутствующих — дать премию Дмитрию Еремину за его роман «Гроза над Римом» и привел следующие мотивы: «У нас писатели пишут все об одном и том же,

все об одном и том же. Очень редко берутся за новое, неизвестное. У всех одни и те же темы. А вот человек взял и написал о незнакомой нам жизни. Я прочел и узнал, кто он такой. Оказывается, он сценарист, был там, в Италии, недолгое время, написал о положении в Италии, о назревании там революционной ситуации. Есть недостатки, есть, может быть, и промахи, но роман будет с интересом прочтен читателями. Он сыграет полезную роль.

В заключение заседания Сталин заговорил о нашей драматургии, выразил свое недовольство ею.

— Плохо с драматургией у нас, — сказал он. — Вот говорят, что нравится пьеса Первенцева, потому что там конфликт есть. Берут заграничную жизнь, потому что там есть конфликты. Как будто у нас в жизни нет конфликтов. Как будто у нас в жизни нет сволочей. И получается, что драматурги считают, что им запрещено писать об отрицательных явлениях. Критики все требуют от них идеалов, идеальной жизни. А если у кого-нибудь появляется что-нибудь отрицательное в его произведении, то сразу же на него нападают. Вот у Бабаевского в одной из его книг сказано про какую-то бабу, про обыкновенную отсталую бабу, или про людей, которые были в колхозе, а потом вышли, оказались отсталыми людьми. И сразу же напали на него, говорят, что этого быть не может, требуют, чтоб у нас все было идеальным; говорят, что мы не должны показывать неказовую сторону жизни, — а на самом деле мы должны показывать неказовую сторону жизни. Говорят так, словно у нас нет сволочей. Говорят, что у нас нет плохих людей, а у нас есть плохие и скверные люди. У нас есть еще немало фальшивых людей, немало плохих людей, и с ними надо бороться, и не показывать их — значит, совершать грех против правды. Раз есть зло, значит,

надо его лечить... У нас есть злые люди, плохие люди — это надо сказать драматургам. А критики им говорят, что этого у нас нет. Поэтому у нас и такая нищета в драматургии.

(Там же. Стр. 428, 435, 437, 459—460).

Всю эту словесную шелуху Симонов комментирует так:

- ▶ А теперь, оторвавшись от записей, скажу о своих нынешних мыслях по этому поводу. Было некое противоречие в том, как Сталин сам же расширял круг присуждаемых премий... И он же сам, причем главным образом это относилось к литературе, вдруг начинал проявлять требовательность, отводил слабые вещи, говорил о необходимости высокого художественного качества, вдавался в подробности — что вышло, что не вышло у автора, высказывался в том духе, что избыток публицистичности может испортить книгу, что надо держаться поближе к жизни, что литература не создается из одних положительных, идеальных героев, и так далее, и тому подобное.

Чем объяснить это противоречие в его суждениях и даже в поступках? Сменой настроений и душевных состояний? Вряд ли только этим... Прежде всего он действительно любил литературу, считал ее самым важным среди других искусств, самым решающим и в конечном итоге определяющим все или почти все остальное. Он любил читать и любил говорить о прочитанном с полным знанием предмета. Он помнил книги в подробностях. Где-то у него была — для меня это несомненно — некая собственная художественная жилка, может быть, шедшая от юношеского занятия поэзией, от пристрастия к ней... Вкус его отнюдь не был безошибочен. Но у него был свой вкус...

Наверное, у него внутри происходила невидимая для постороннего глаза борьба между личными, внутренними оценками книг и оценками их политическоего, сиюминутного значения...

(Там же. Стр. 435—436).

Тут дело даже не в том, что весь этот набор пошлостей, трюизмов и даже глупостей Симонов комментирует уважительно и серьезно.

Ему даже в голову не приходит, что все это говорится не о литературе, а о ПСЕВДОЛИТЕРАТУРЕ. И даже — АНТИЛИТЕРАТУРЕ.

Мой друг, художник Борис Биргер, однажды рассказал мне такую назидательную историю. Разговорился он как-то с одним своим собратом по живописному цеху, и тот поделился с ним своим жизненным успехом. Его сделали членом какого-то важного худсовета, или жюри, или, как это у них называлось, закупочной комиссии. В общем, они там должны были решать, какие из представляемых на их суд картин надлежит поощрить, а какие отвергнуть.

— Замечательно! — отреагировал на это сообщение Биргер. — Поздравляю!

— Да поздравлять вроде не с чем, — ответил приятель.

— Я понимаю, — сказал Биргер, — у тебя теперь будет много забот. Но ведь это же замечательно, что судьбу наших работ будут решать не только ничего не смыслящие в нашем деле чиновники, но и свой брат, художник.

— Так-то оно так, — возразил приятель. — Но понимаешь, какая штука! Сразу же выяснилось, что я для этого не годюсь. Представляешь, ставят перед нами картину. Все дружно, в один голос, начинают ее ругать. И то плохо, и это. В общем, никуда она, эта картина, не годится.

— А ты не согласен, что ли?

— То-то и дело, что согласен. Но следом за ней ставят другую, точно такую же. И тут все начинают так же дружно ее

хвалить. А я никакой, ну решительно никакой разницы между этими двумя картинками не вижу. Нет, брат, не гожусь я для этого дела.

— Ничего, — легкомысленно подбодрил его Биргер. — Привыкнешь, научишься.

На том они и расстались.

А через месяц-другой снова встретились.

— Ну, как? — спросил Биргер. — Как там твой худсовет?

— Плохо, брат, — хмуро ответил приятель. — Совсем плохо.

— Что? По-прежнему не понимаешь, что к чему?

— То-то и беда, что стал понимать. И разницу между ними научился видеть. И хвалю теперь то, что они все хвалят, и отвергаю то, что они отвергают. И тут я понял! Бежать мне надо с этого худсовета! Бежать!

Симонов сбежать с того «худсовета», который возглавлял Сталин, конечно, не мог. И удивляться тут надо не тому, что он не смог тогда, даже наедине с собой, подняться над этими примитивными, узколобыми сталинскими рассуждениями. Более всего поражает, что эти «мудрые» сталинские мысли сохраняли над ним свою власть и четверть века спустя, когда он комментировал их в последней, предсмертной своей книге.

* * *

О том, как тяжело было ему расставаться со своими «сталинистскими» иллюзиями, Симонов рассказал в стихотворении, написанном в феврале—марте 1956 года, но увидевшем свет уже только в новые, постсоветские времена. (При жизни он не мог, да и не пытался его напечатать.)

Редактор просит выстричь прочь
Из строчек имя Сталина.
Но он не может мне помочь
С тем, что в душе оставлено.

Уж тут не до искусства,
Плохие ли, хорошие,
На то они и чувства —
Они к костям приросшие.

Я с ними прошагал войну,
Я с ними юность прожил,
И лучше я их прокляну,
Чем оскверню их ложью.

Доверчивость и слепота —
Все так, всего хлебнули,
И имя это изо рта
У нас порой тянули.

Но ведь у каждого из нас —
И так оно бывало,
Что, слушая его приказ,
В глазах слеза стояла.

И с родиной соединив
То имя, как судьбу,
Шли в бой, душой не покривив
До гроба и в гробу.

И как быть со слезами,
Что в трауре знаменном
Не кто-нибудь, а сами
Глотали мы в Колонном?

Кому легко все это,
Тот просто жил, чтоб выжить.
Глагола «выстричь» нету!
Другой есть, трудный, — выжечь.

Да, много выжечь надо,
И вольно ли, невольно,
Куда ни ткнешься взглядом —
Везде до кости больно.

Но нам на плечи взвалено,
На всех нас, без изъятъя,
— За Родину, за Сталина! —
Разъять на два понятия.

Измерить все, что пройдено,
И имя то открыто
Взять отодрать от Родины
Везде, где зря пришито.

И этот труд ужасный
Проделает народ,
С душой прямой и ясной,
Сквозь всё идя вперед!

А строчки — дело совести.
По мне — так не спеши,
Пусть остаются повестью
Обманутой души.

Стихотворение очень личное, предельно искреннее. Но даже и в нем он не удержался от обязательного казенного словоблудия:

И этот труд ужасный
Проделает народ,
С душой прямой и ясной,
Сквозь всё идя вперед!

Бледностью, невыразительностью, поэтической беспомощностью (чего стоит одна только строка: «Сквозь всё идя вперед») это четверостишие резко контрастирует с исповедальным, лирическим строем всего стихотворения. Но это — ладно... Видно, считал, что без этого казенного поклона нельзя. Хуже — другое. То, что даже в самой этой своей предельно искренней лирической исповеди он не сумел обойтись без насильственно вколоченного в сознание

современников насквозь фальшивого **государственного мифа**.

Я имею в виду формулу: «За Родину, за Сталина!»

Даже сегодня еще можно услышать, что с этими словами бойцы поднимались в атаку. Шли на смерть и умирали. А поскольку это нередко повторяют и люди старшего поколения, — те, что жили тогда, в те, ныне уже легендарные времена, — многие верят, что так оно на самом деле и было.

На самом деле, однако, ничего подобного не было.

Все мои друзья, прошедшие войну, решительно утверждают, что не только сами никогда не шли в атаку с этими словами, но и ни разу не слышали, чтобы это делал кто-нибудь из их товарищей.

В одном таком разговоре со своим другом-фронтовиком, который даже слегка горячился, доказывая мне, что ничего похожего в натуре никогда не было, я примирительно сказал:

— Я понимаю, ты не кричал, подымаясь в атаку: «За Родину, за Сталина!» Твои бойцы, а также другие командиры взводов и рот, наверно, тоже этого не делали. Но политруки-то небось кричали? Им велено было так кричать, они и кричали.

— Нет, — упрямо покачал он головой. — И политруки не кричали. Если ты хочешь знать, что в таких случаях делали и что кричали политруки, прочти стихотворение Слуцкого «Как делают стихи».

Стихотворение это я хорошо знал, но послушался, перечитал его.

Прочитайте его и вы:

Стих встает, как солдат. Нет. Он — как политрук,
что обязан возглавить бросок,
отрывая от двух обмороженных рук
Землю (всю), глину (всю), весь песок.

Стих встает, а слова, как солдаты, лежат,
как славяне и как елдаши.
Вспоминают про избы, про жен, про лошаат.
Он-то встал, а кругом ни души.

И тогда политрук — впрочем, что же я вам
говорю, — стих — хватает наган,
Бьет слова рукояткою по головам,
сапогом бьет слова по ногам.

И слова из словесных окопов встают,
выползают из-под словаря,
и бегут за стихом, и при этом — поют,
мироздание все матеря.

И, хватаясь (зачеркнутые) за живот,
умирают, смирны и тихи.
Вот как роту в атаку подьемлют, и вот
как слагают стихи.

Знал ли всё это Симонов?

Наверно, знал. Не мог не знать. Но это знание не входило
в его собственный опыт.

Войну он прошел специальным корреспондентом «Крас-
ной Звезды», полковником. А мой товарищ, который, горя-
чаясь, упрямо убеждал меня, что, идя в атаку, «За Родину, за
Сталина» никто не кричал, был сперва рядовым, потом —
лейтенантом, командиром роты.

Да и у Слуцкого, который кончил войну майором, тоже
был другой, не тот, что у Симонова, военный опыт.

Но вот как коснулся этой темы и как решил ее другой
поэт, военный опыт которого был скорее сродни симонов-
скому.

Читая опубликованные недавно «Рабочие тетради» А.Т.
Твардовского, я наткнулся там на такую заготовку к «Терки-
ну на том свете»:

► ..Встреча Теркина на том свете с Верховным

(— Умер за меня?

— Нет, товарищ Сталин. За себя скорее.

— Но ведь кричал: «За Родину, за Сталина»?

— Как сказать, кричал больше матом.)

(Знамя. 2000, № 7.

Стр. 113).

Так этот замысел блеснул ему впервые.

На следующей же странице «Рабочих тетрадей» он получил некоторое развитие. Родилось четверостишие:

Уж кому-кому не знать,
Как не нам, солдатам,
Что ходить случалось в бой
Чаще — просто — с матом.

Спустя еще несколько страниц на свет явился уже целый стихотворный отрывок, в который отлился этот первоначальный набросок:

Тот, кто службе жизнь твою
Придал безвозмездно,
За кого ты пал в бою,
Как тебе известно.

Теркин вскинул бровь и вкось
Поглядел вползгляда
И устало молвил: Брось,
Я прошу, не надо.

— Почему же? А печать?
Не забыл, вояка,
Что ты должен был кричать,
Как ходил в атаку?

– Знаешь, лучше умолчим,
Лучше без огласки.
На том свете нет причин
Для такой подкраски.

Нам ли, друг, не знать с тобой,
Грамотные оба,
Что в бою, – на то он бой –
Слов подбор особый.

И вступали там в права,
Вот как были кстати,
Чаще прочих те слова,
Что не для печати.

На том свете и в самом деле уже нет причин врать, приукрашивать, подкрашивать реальность. Но, видать, остаются еще причины, чтобы кой о чем умолчать, кое-что до поры не предавать огласке.

По этой ли причине или по другой какой, но в окончательном тексте «Геркина на том свете» разговор этот выглядит гораздо бледнее, даже, я бы сказал, туманнее, чем в первоначальном своем виде:

– Тот, кто в этот комбинат
Нас послал с тобою.
С чьим ты именем, солдат,
Пал на поле боя.

Сам не помнишь? Так печать
Донесет до внуков,
Что ты должен был кричать.
Встав с гранатой. Ну-ка?

– Без печати нам с тобой
Знато-перезнато,
Что в бою – на то он бой –
Лишних слов не надо;

Что вступают там в права
И бывают кстати
Больше прочих те слова,
Что не для печати...

Даже и на том свете не решается герой Твардовского (или сам автор не разрешает ему, или его — автора — «внутренний редактор») сказать то, что ему хотелось, с той прямоотой, с какой он говорил об этом в первом авторском замысле. Тут говорит он это не в глаза самому Сталину, власть которого распространяется и на **тот свет**, хотя в описываемые времена он вроде еще жив (жив, но в то же время как бы и мертв — поистине жуткий образ), — а всего лишь фронтовому другу, который служит ему путеводителем по «тому свету». Да и говорит не так прямо, как это сперва было замыслено автором, а довольно-таки уклончиво.

Но даже и из этого уклончивого ответа ясно, что **ТЕ** слова, которые «печать донесет до внуков», он, солдат, **не кричал**, а только лишь **должен был** их кричать. В бою, где — на то он бой — «лишних слов не надо», кричал совсем другие. Стало быть, эти, предписанные ему, как раз и были там лишними.

Да, первоначальный свой замысел Твардовский слегка подпортил. Во всяком случае, ослабил. Но жизненной правде он не изменил.

А вот еще одна история на эту тему.

Ее рассказал мне Алексей Иванович Пантелеев — автор (точнее — один из авторов) знаменитой в 20-е годы «Республики Шкид».

В 1943 году он был отозван из армии в Военный отдел ЦК ВЛКСМ и получил там задание: написать для «Комсомольской правды» очерк о подвиге Александра Матросова.

Очерк писался, что называется, по горячим следам. Со дня гибели героя прошло всего несколько месяцев. Алексей Иванович поехал в часть, где служил Саша Матросов, рас-

спросил его однополчан, друзей, бывших свидетелями его подвига. Работал он над очерком с искренним интересом: Матросов, как оказалось, был бывший беспризорный, и автору «Республики Шкид» судьба парня показалась особенно близка.

Тут надо сказать, что Алексей Иванович был писатель скрупулезно честный, и очерк свой хотел написать (и написал) не то чтобы без вранья (это уж само собой), но даже и без всякой патетики, без котурнов, без всякого романтического пафоса. Он хотел рассказать о том, что произошло, так, как это было на самом деле. (Как выразился один мальчик, когда его спросили о стиле другого пантелеевского рассказа: «Стиль такой, как было».)

Вот этим простым и ясным своим стилем (таким, «как было») и написал он о подвиге Саши Матросова:

► Вражеский пулемет молчал.

Не дожидаясь команды, бойцы дружно поднялись в рост; многие уже рванулись вперед и с криком «ура!», беспорядочно стреляя, пробежали десяток-другой шагов в сторону дзота.

И вдруг пулемет ожил.

Он застучал лихорадочно, торопливо, захлебываясь. И люди, которые были уже совсем близко от цели, опять повалились в снег и, пятясь, поползли в сторону леса, а многие остались лежать на снегу, чтобы никогда больше не встать.

И тут все, кто мог видеть, увидели, как Саша Матросов выбежал из своего укрытия и с криком: «А, сволочь!» кинулся к вражескому дзоту. Товарищи видели, как на бегу он повернулся, припал на левую ногу и всей силой своего тела навалился на амбразуру.

Даже из этой короткой цитаты видно, каким щепетильно правдивым старается быть автор в каждой детали, каж-

дой подробности этого своего рассказа. Он не позволяет себе не то что фантазировать насчет того, о чем думал, что чувствовал его герой в момент совершения подвига, но даже рисуя картину происходящего извне, как бы со стороны, не осмеливается включить в это описание свое воображение, свою писательскую фантазию. Говорит только о том, **что и как** видели очевидцы, друзья Саши: «Товарищи видели...», «И тут все, кто мог видеть, увидели...» (Если и не понимал, то чувствовал, наверно, что **сознательно** закрыть своим телом амбразуру просто **физически невозможно**. Так увиделось это теми, кто смотрел на выбежавшего из укрытия Сашу — сзади.)

Но при всей этой своей скрупулезной точности одно крошечное отступление от правды писатель себе все-таки позволил. У него Саша Матросов выбегает из своего укрытия с криком: «А, сволочь!» В действительности же, как рассказывал мне Алексей Иванович, он выкрикнул в этот момент совсем другие, гораздо более крепкие слова.

Тех слов ни «Комсомольская правда», ни какая-либо другая газета, конечно, не напечатала бы ни при какой погоде: недаром же они так и назывались — «непечатными».

Но и эту придуманную писателем замену «Комсомольская правда» тоже не напечатала. Раскрыв наутро газету со своим очерком, Алексей Иванович прочел:

- ▶ И тут все, кто мог видеть, увидели, как Саша Матросов выбежал из своего укрытия и с криком: «За Родину, за Сталина!» кинулся к вражескому дзоту.

Этого, конечно, следовало ожидать.

Подвиг Александра Матросова, ставший едва ли не главным государственным мифом, не мог быть совершен со словами «А, сволочь!». Тут необходимы были совсем другие слова, и все знали — какие именно.

* * *

В том же 1956 году, когда Симонов написал это свое исповедальное стихотворение о том, как трудно ему было расставаться со своими «сталинистскими» иллюзиями, на ту же тему — и с той же откровенностью — высказался его сверстник Борис Слуцкий:

А мой хозяин не любил меня —
не знал меня, не слышал и не видел,
а все-таки боялся, как огня,
и сумрачно, угрюмо ненавидел.
Когда меня он плакать заставлял,
ему казалось: я притворно плачу.
Когда пред ним я голову склонял,
ему казалось: я усмешку прячу.
А я всю жизнь работал на него,
ложился поздно, поднимался рано.
Любил его. И за него был ранен.
Но мне не помогало ничего.
А я возил с собой его портрет.
В землянке вешал и в палатке вешал —
смотрел, смотрел, не уставал смотреть.
И с каждым годом мне все реже, реже
обидною казалась нелюбовь.
И ныне настроенья мне не губит
тот явный факт, что испокон веков
таких, как я, хозяева не любят.

В отличие от симоновского, которое я впервые прочел только недавно, то есть когда оно было напечатано, это стихотворение Слуцкого я узнал уже тогда, в 56-м. И не только потому, что в то время был уже хорошо знаком с его автором. Два стихотворения Слуцкого о Сталине («Бог» и вот это — «Хозяин») широко ходили тогда в самиздате.

Но не поэтому, — вернее, не только поэтому, — у меня возникло желание противопоставить его симоновскому.

Как я уже говорил, к Слуцкому у Симонова было особое отношение.

- ▶ Как-то мы говорили с Константином Михайловичем о современной поэзии, и он сказал о Слуцком: «Он в поэзии делает то, что хотел бы делать я, если бы сейчас писал стихи». Разговор был ни к чему не обязывающий, и мало ли что в этом случае может прийти человеку в голову... Но вот написанное Симоновым за несколько месяцев до смерти предисловие к «Избранному» Слуцкого, здесь мысли и слова взвешены, и та же мысль выражена, пожалуй, с еще большей определенностью, чем когда мы беседовали: «И о войне, и о послевоенном времени Слуцкий написал много таких стихов, читая которые нередко кажется: вот это ты хотел написать сам, но не написал, а вот об этом думал так же, как он, у тебя твоя мысль не воплотилась в стихи, а ему это удалось».

*(Л. Лазарев. «Как будто есть последние дела...».
В кн.: Константин Симонов
в воспоминаниях современников.
М., 1984. Стр. 289).*

Казалось бы, всё это — с небольшими отклонениями — можно отнести и к стихотворению Слуцкого «Хозяин». А к размышлениям Слуцкого о Сталине, выраженным им не в стихах, а в прозе, реплику Симонова: «... вот об этом думал так же, как он», можно как будто отнести даже и совсем без всяких отклонений.

- ▶ Любил ли я тогда Сталина?
А судьбу — любят? Рок, необходимость — любят?
Лучше, удобнее для души — любить. Говорят, осознанная необходимость становится свободой. Полюбленная необходимость тоже становится чем-то приемлемым и даже приятным.

Ценил, уважал, признавал значение, не видел ему альтернативы и, признаться, не искал альтернативы. С годами понимал его поступки все меньше (а во время войны, как мне казалось, понимал их полностью). Но старался понять, объяснить, оправдать. Точного, единственного слова для определения отношения к Сталину я, как видите, не нашел.

Все это относится к концу сороковых годов. С начала пятидесятых годов я стал все труднее, все меньше, все неохотнее сначала оправдывать его поступки, потом объяснять и наконец перестал их понимать.

*(Б. Слуцкий. После войны.
В кн.: Б. Слуцкий. О других и о себе.
М., 2005. Стр. 186).*

Нечто подобное мог бы, наверно, сказать о себе и Симонов. Но такое стихотворение, как «Хозяин» Слуцкого, он написать бы не смог. И не только потому, что его голосу не доставало той резкой выразительности, той мощи и поэтической энергии, какая была у Слуцкого.

Ни при какой погоде не мог бы он сказать:

А мой хозяин не любил меня —
Не знал меня, не слышал и не видел....
И сумрачно, угрюмо ненавидел
.....
Таких, как я, хозяева не любят.

Потому что таких, как он, хозяева любят. И кого-кого, но уж его-то Хозяин знал и любил.

Но эта хозяйская любовь была такой же, а может быть даже и более губительной, чем та сумрачная, угрюмая ненависть, о которой говорит в своем стихотворении Слуцкий.

* * *

В главе «Сталин и Эренбург» я подробно рассказал о том, как у именитых советских евреев вымогали подпись под «Открытым письмом», требующим казни разоблаченных «убийц в белых халатах».

Из всех, к кому тогда обратились, только один Эренбург сперва отказался подписать его. Остальные подписали сразу.

Подписал его и Василий Семенович Гроссман, который в то время уже далеко обогнал Эренбурга своим трезвым, беспощадным видением реальности.

И тем не менее, при всем своем трезвом и ясном понимании происходящего, он все-таки подписал то постыдное письмо.

Мучительный след этого поступка, тяготившего Василия Семеновича всю последующую его жизнь, остался в его романе «Жизнь и судьба». Там аналогичное письмо вынужден подписать один из главных его героев — Виктор Павлович Штрум.

Душевные терзания Штрума и все обстоятельства, связанные с этим его поступком, описаны с такой ужасающей конкретностью, что не возникает ни малейших сомнений: история эта автобиографична. Единственное отличие ситуации, описанной в романе, от той, что происходила с ним самим, состоит в том, что в романе она перенесена в другое, более раннее время. (Действие романа происходит во время войны, и ситуация, относящаяся к событиям 1953 года, естественно, описана в нем быть не могла.) Однако тема «врачей-убийц» там присутствует:

- ▶ Он прочел: «Беря под защиту выродков и извергов рода человеческого, Плетнева и Левина, запятнавших высокое звание врачей, вы льете воду на мельницу членоконенавистнической идеологии фашизма...»

Ковченко сказал:

— Мне говорили, что Иосиф Виссарионович знает об этом письме и одобряет инициативу наших ученых...

Тоска, отвращение, предчувствие своей покорности охватили его. Он ощущал ласковое дыхание великого государства, и у него не было силы броситься в ледяную тьму... Не было, не было сегодня в нем силы. Не страх сковывал его, совсем другое, томящее, покорное чувство...

Попробуй, отбрось всеильную руку, которая гладит тебя по голове, похлопывает по плечу...

Но тошно, тошно подписывать это подлое письмо. В голове возникали слова и ответы на них... «Товарищи, я болен, у меня спазм коронарных сосудов». «Чепуха: бегство в болезнь, у вас отличный цвет лица»...

«Товарищи, скажу вам совершенно откровенно, мне некоторые формулировки кажутся не совсем удачными...»

«Пожалуйста, пожалуйста, Виктор Павлович, давайте ваши предложения, мы с удовольствием изменим кажущиеся вам неудачными формулировки»...

«Ну, боже мой! Поймите, у меня есть совесть, мне больно, мне тяжело, да не обязан я, почему я должен подписывать, я так измучен, дайте мне право на свободную совесть».

И тут же — бессилие, замагниченность, послушное чувство закормленной и забалованной скотины, страх перед новым разорением жизни, страх перед новым страхом...

«Товарищи, все это настолько серьезно, что я хотел бы подумать, разрешите отложить решение хотя бы до завтра».

И тут он представил себе бессонную, мучительную ночь, колебания, нерешительность, внезапную реши-

мость и страх перед решимостью, опять нерешительность, опять решение. Все это выматывает подобно злой, безжалостной малярии. И самому растянуть эту пытку на часы. Нет у него силы. Скорей, скорей, скорей.

Он вынул автоматическую ручку.

(В. Гроссман. *Жизнь и судьба*.
М., 1998. Стр. 624–625).

Я вспомнил тут этот поразительно глубокий и точный анализ душевного состояния благородного человека, вынужденного совершить подлый поступок, ради вот этих нескольких строк:

► Не страх сковывал его, совсем другое, томящее, покорное чувство...

Он ощущал ласковое дыхание великого государства...

Попробуй, отбрось всесильную руку, которая гладит тебя по голове, похлопывает по плечу...

Строки эти (как и вся приведенная сцена) завершали одну из важных сюжетных линий романа. Перед этим автор подробно рассказывает о катастрофе, которая вот-вот должна была обрушиться на голову его героя. Готовился разгром научных теорий Штрума (наподобие того, который был учинен над учеными-генетиками, и того, который Сталин собирался учинить над последователями эйнштейновской теории относительности). Если бы этот погром состоялся, со Штрумом, как с ученым, было бы покончено. Да и не только как с ученым. Вся жизнь его была бы кончена.

Гибель была близка и, казалось, уже неизбежна.

И вдруг — случилось чудо.

► Зазвонил телефон. Теперь телефонные звонки вызывали в них растерянность, какую вызывает ночная телеграмма, вестница несчастий.

– Ах, знаю, мне обещали позвонить насчет работы в артели, – проговорила Людмила Николаевна.

Она сняла трубку, брови ее приподнялись, и она сказала:

– Сейчас подойдет.

– Тебя, – сказала она. Штрум глазами спросил: «Кто?»

Людмила Николаевна, прикрыв ладонью микрофон, сказала:

– Незнакомый голос, не вспомню.

Штрум взял трубку.

– Пожалуйста, я подожду, – сказал он и, глядя в спрашивающие глаза Людмилы, нащупал на столике карандаш, написал несколько кривых букв на клочке бумаги.

Людмила Николаевна, не замечая, что делает, медленно перекрестилась, потом перекрестила Виктора Павловича. Они молчали...

И вот голос, невысказанно похожий на тот, который 3 июля 1941 года обращался к народу, армии, всему миру, – «Товарищи, братья, друзья мои...», обращенный к одному лишь человеку, державшему в руке телефонную трубку, произнес:

– Здравствуйте, товарищ Штрум.

В эти секунды в смешении мыслей, отрывков мыслей, обрывков чувств в один ком соединились – торжество, слабость, страх перед чьей-то хулиганской мистификацией, исписанные страницы рукописи, анкетная страница, здание на Лубянской площади...

Возникло пронзительно ясное ощущение свершения судьбы, и с ним смешалась печаль о потере чего-то странно милого, трогательного, хорошего.

– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович, – сказал Штрум и поразился, неужели это он произнес в телефон эти немыслимые слова. – Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.

Разговор длился две или три минуты.

– Мне кажется, вы работаете в интересном направлении, – сказал Сталин.

Голос его, медленный, с горловым произношением, с значительностью звуковых подчеркиваний, казалось, звучал нарочито, настолько походил он на тот голос, который Штрум слушал по радио. Вот так, дурачась, Штрум иногда подражал этому голосу у себя дома. Вот так передавали его люди, слышавшие Сталина на съездах или вызванные к нему.

Неужели мистификация?

– Я верю в свою работу, – сказал Штрум.

Сталин помолчал, казалось, он обдумывал слова Штрума.

– Не испытываете ли вы недостатка в иностранной литературе в связи с военным временем, обеспечены ли вы аппаратурой? – спросил Сталин.

С поразившей его самой искренностью Штрум произнес:

– Большое спасибо, Иосиф Виссарионович, условия работы вполне нормальные, хорошие.

Людмила Николаевна, стоя, точно Сталин видел ее, слушала разговор. Штрум махнул на нее рукой: «Сядь, как не стыдно...» А Сталин снова молчал, обдумывая слова Штрума, и произнес:

– До свидания, товарищ Штрум, желаю вам успеха в работе.

– До свидания, товарищ Сталин.

Штрум положил трубку.

Они сидели друг против друга так же, как несколько минут назад, когда говорили о скатертях, проданных Людмилой Николаевной на Тишинском рынке.

— Желаю вам успеха в работе, — вдруг произнес Штрум с сильным грузинским акцентом.

В этой неизменности буфета, пианино, стульев, в том, что две немытые тарелки стояли на столе так же, как при разговоре об оправдоме, было что-то немыслимое, сводящее с ума. Ведь все изменилось, перевернулось, перед ними стояла иная судьба.

— Что он сказал тебе?

— Да ничего особенного, спросил, не мешает ли моей работе недостаток иностранной литературы, — сказал Штрум, стараясь казаться самому себе спокойным и безразличным.

Секундами ему становилось неловко за чувство счастья, охватившее его.

— Люда, Люда, — сказал он, — ты подумай, ведь я не покаялся, не поклонился, не писал ему письма. Он сам, сам позвонил!

(Там же. Стр. 570—571).

Этот телефонный звонок не только изменил, перевернул всю жизнь Виктора Павловича. Вот так же, словно прикосновением сказочного волшебного жезла, он в одно мгновение изменил его психику, деформировал его сознание:

- ▶ Странное, новое ощущение возникло в этот день у Штрума. Он постоянно возмущался тем, как обоготворяют Сталина. Газеты от первой до последней полосы были полны его именем. Портреты, бюсты, статуи, орагии, поэмы, гимны... Его называли отцом, гением...

Штрума возмущало, что имя Сталина затмевало Ленина, его военный гений противопоставлялся гражданскому складу ленинского ума. В одной из пьес

Алексея Толстого Ленин услужливо зажигал спичку, чтобы Сталин мог раскурить свою трубку... Историки, описывая роковые моменты жизни Советской страны, изображали дело так, что Ленин постоянно спрашивал совета у Сталина — и во время Кронштадтского мятежа, и при обороне Царицына, и во время польского наступления. Бакинской стачке, в которой участвовал Сталин, газете «Брззола», которую он когда-то редактировал, историки партии отводили больше места, чем всему революционному движению в России.

— Брззола, Брззола, — сердито повторял Виктор Павлович. — Был Желябов, был Плеханов, Кропоткин, были декабристы, а теперь одна Брззола, Брззола...

И вот сегодня Штрум не раздражался, не ужасался. Чем грандиозней была сталинская власть, чем оглушительней гимны и литавры, чем необъятней облака фимиама, дымившие у ног живого идола, тем сильнее было счастливое волнение Штрума.

(Там же. Стр. 576).

И вот — это ужасное, подлое письмо, которое он подписал. Не смог не подписать.

То, чего не смогла с ним сделать жестокая, тупая, неодолимая сила всесильного государства, сделала скупая сталинская ласка.

Виктора Павловича Штрума Сталин обласкал лишь однажды. И то «плохое, жалкое, подлое, что он сделал», тоже случилось с ним только однажды, было всего лишь эпизодом в его жизни, хоть и мучительным.

Симонова Сталин ласкал многократно. Он привык к этой сталинской ласке, большую часть своей жизни прожил, купаясь в ее лучах. И совершать поступки, которые были ему «поперек души», тоже стало для него делом привычным. Это была повседневная, будничная его жизнь.

Кого-то из героев этой моей книги Сталин ненавидел и потому убил. К кому-то из них не испытывал никаких чувств и тоже убил их. Над теми, кто уцелел, постоянно висел дамоклов меч его непредсказуемого гнева.

Симонова он, кажется, действительно любил. (Во всяком случае, в той мере, в какой был способен на такое чувство.) И раздавил его этой своей любовью.

Как тут не вспомнить классика:

Минуй нас гуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь.

ЧТО ВЫТЕКАЕТ

ЧТО ВЫТЕКАЕТ

Послесловие ко всей книге

На презентации второго тома этой книги Юлий Ким припомнил такую байку.

То ли на каком-то приеме в Кремле, то ли в театральной ложе подскочил к Сталину какой-то порученец и довольно долго что-то шептал ему на ухо. Сталин внимательно слушал, а дослушав, произнес всего два слова:

— Нэ вытекает.

Рассказав эту незатейливую историю, Юлий обернулся ко мне и спросил:

— Так что же все-таки вытекает из вашей книги, Бенедикт Михайлович? Что вытекает?

Вопрос застал меня врасплох. Да и книга была не кончена, мне предстояло написать еще два тома.

В общем, произнес я тогда нечто маловразумительное.

И вот — книга кончена. И теперь я, надеюсь, смогу уже более внятно ответить на этот непростой вопрос.

Итак: ЧТО ВЫТЕКАЕТ?

* * *

Этот отрывок из послесловия Л.Н. Толстого к рассказу Чехова «Душечка» я уже приводил однажды:

- Есть глубокий по смыслу рассказ в «Книге Числ» о том, как Валак, царь Моавитский, пригласил к себе Валаама для того, чтобы проклясть приблизившийся к его пределам народ израильский. Валак обещал Валааму за это много даров, и Валаам, соблазвившись, поехал к Валаку, но на пути был остановлен ангелом, которого видела ослица, но не видел Валаам. Несмотря на эту остановку, Валаам приехал к Валаку и взошел с ним на гору, где был приготовлен жертвенник с убитыми тельцами и овцами для проклятия. Валак ждал проклятия, но Валаам вместо проклятия благословил народ израильский...

И так и ушел Валаам, не получив даров, потому что вместо проклятья благословил врагов Валака.

«11. И сказал Валак Валааму: «Что ты сделал со мной! Я привел тебя сюда, чтобы ты проклял врагов моих, а ты вот благословляешь?»

12. И отвечал Валак и сказал: «Не должен ли я в полноте говорить то, что влагает Господь в уста мои?...»

То, что случилось с Валаамом, очень часто случается с настоящими поэтами-художниками. Соблазняясь ли обещаниями Валака — популярностью или своим ложным, навеянным взглядом, поэт не видит даже того ангела, который останавливает его.. и хочет проклинать, и вот благословляет.

(Л. Толстой.

Полное собрание сочинений., Т. 41.

М., 1957, стр.374).

Этим коротким своим замечанием Л.Н. Толстой затронул (в сущности, даже открыл) едва ли не главный закон художественного творчества.

Настоящий художник никогда не знает заранее, ЧТО в конечном счете скажется в произведении, которое он замыслил. И очень часто выходит так, что говорит он этим своим произведением совсем не то, что хотел, а иногда даже и прямо противоположное тому, что собирался сказать.

Но в этой своей короткой заметке Лев Николаевич не упомянул, что припомнившийся ему тут библейский рассказ про Валака и Валаама может служить еще и моделью вечно-го, неизменного и неразрешимого конфликта между художником и властью.

Продолжу цитату из «Книги Числ» с того места, на котором она оборвана у Толстого:

► 13. Тогда Валак ему сказал: «Пойдем на другое место, с которого ты увидишь этот народ... Прокляни их оттуда!»

14. Валак привел Валаама на холмы стражей, на вершину горы Фасти, построил там семь алтарей, и принёс жертвы, заколов на каждом алтаре по быку и по барану...

26. «Не говорил ли я тебе, что могу делать только то, что Господь повелит мне!» — ответил Валаам.

27. Тогда Валак сказал Валааму: «Тогда пойдём со мной на другое место, может быть, Господу будет угодно разрешить тебе проклясть их с другого места».

28. И вот Валак повел Валаама на вершину горы Фегор, обращенной к пустыне...

24. Гл. (1). И тут сошёл на Валаама Дух Божий, и Валаам сказал такие слова: «Говорит Валаам, сын Веора, я говорю о том, что ясно вижу... Народ Иакова, шатры твои прекрасны! Народ Израиля, дома твои прекрасны...»

10. Валак воспылил гневом на Валаама и сказал ему: «Я позвал тебя проклясть моих врагов, ты же их уже три раза благословил! Отправляйся домой! Я сказал, что щедро заплачу тебе, но Господь лишил тебя вознаграждения».

12. Ты послал за мной, — сказал Валаам, — и те люди просили меня прийти. Я сказал им: «Валак может дать мне полный дом серебра и золота, свой самый красивый дом, а я всё равно могу говорить лишь то, что велит мне Господь, я сам ничего не могу сделать ни плохого, ни хорошего, а должен говорить только то, что повелел мне Господь».

*(Библия.
Современный перевод библейских текстов.
М., 1993. Стр. 158–159).*

Валак наивно полагает, что если он приведет Валаама в другое место, возведет его на другую гору, «точка зрения» его изменится, и он выполнит то, что ему приказано. Но перемена места, с которого глядит пророк, ничего не меняет. И с этой второй, а потом и с третьей горы он видит то же, что увидал в первый раз.

Эту ошибку библейского царя повторяли все властители грядущих времен.

Писатель написал не то, что от него требовалось. И властителю представляется, что все дело в том, что он смотрел НЕ ОТТУДА, откуда надо было смотреть, и потому увидел НЕ ТО, что ему приказано было увидеть.

Именно такую претензию предъявил в свое время Николай Павлович Романов Михаилу Юрьевичу Лермонтову.

► ИЗ ПИСЬМА НИКОЛАЯ ПЕРВОГО ИМПЕРАТРИЦЕ

Такими романами портят нравы и ожесточают характер... Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности!.. Характер капитана набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался тому, что он-то и будет героем наших дней, потому что в этом разряде

людей встречаются куда более настоящие, чем те, которые так неразборчиво награждаются этим эпитетом. Несомненно Кавказский корпус насчитывает их немало, но редко кто умеет их разглядеть. Однако капитан появляется в этом сочинении как надежда, так и неосуществившаяся, и господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и таким простым характером; он заменяет его презренными, очень мало интересными лицами, которые, чем наводить скуку, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности — чтобы не вызывать отвращения. Счастливый путь, господин Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего капитана.

(Николай I — императрице.

В кн.: М.Ю. Лермонтов

в воспоминаниях современников.

М., 1972. Стр. 394—395).

Капитан — это Максим Максимович. Именно он, а не ипохондрик и мизантроп Печорин должен был, по мнению императора, быть выбран автором романа на роль героя нашего времени.

Реплика — «Счастливый путь, господин Лермонтов!» — звучала довольно-таки злоеще. Но Николай Павлович, — надо отдать ему должное, — не исключал, что там, куда по его воле изъязвлению отправится строптивый поручик, он «прочистит себе голову» и найдет для своего пера достойную натуру.

Сто лет спустя с таким же советом обратился к другому писателю другой самодержец.

► ИЗ ПИСЬМА В.И. ЛЕНИНА А.М. ГОРЬКОМУ

31/VII 1919

Питер — один из наиболее больных пунктов за последнее время... Если *наблюдать*, надо наблюдать вни-

зу, где можно *обозреть* работу нового строения жизни, в рабочем поселке провинции или в деревне... Вместо этого Вы поставили себя в... положение, в котором наблюдать нового строения новой жизни нельзя, положение, в котором все силы ухлопываются на большое брюзжание больной интеллигенции... В такое время приковать себя к самому больному пункту... Ни нового в армии, ни нового в деревне, ни нового на фабрике Вы здесь, как художник, наблюдатель изучать *не можете*...

Страна живет лихорадкой борьбы против буржуазии всего мира, мстящей бешено за ее свержение. Естественно. За первую Советскую республику — первые удары отовсюду. Естественно. Тут жить надо либо активным политиком, а если не лежит к политике душа, то как художнику наблюдать, как строят жизнь по-новому там, где нет центра бешеной атаки на столицу, бешеной борьбы с заговорами, бешеной злобы столичной интеллигенции, в деревне или на провинциальной фабрике (или на фронте). Там легко простым наблюдением отделить разложение старого от ростков нового...

Не хочу навязываться с советами, а не могу не сказать: радикально измените обстановку, и среду, и местожителство.

(В.И. Ленин. *О литературе и искусстве*. М., 1957. Стр. 300—302).

Ответ на все проклятые вопросы, которыми мучился Горький, был, таким образом, прост и кристально ясен: писатель видит НЕ ТО, потому что он смотрит НЕ ОТТУДА, откуда надо смотреть.

Ленин, конечно, был большой новатор. Но в данном случае он, — как и Николай Павлович, — лишь повторил то, что говорил Валааму библейский Валак. То есть — то, что всегда в подобных случаях, во все времена говорила художнику **власть**.

В сходстве (в сущности, тождестве) этих суждений столь несхожих меж собою людей, если вдуматься, нет ничего удивительного. В конце концов, и Владимира Ильича, и Николая Павловича можно понять. Они мыслили так, как только и могли мыслить. Но оба они — и Владимир Ильич, и Николай Павлович — не знали, что советы их, — даже если бы те, к кому эти советы были обращены, искренне захотели ими воспользоваться, — все равно не привели бы к желаемому (для них, для Ленина и царя желаемому) результату. Потому что результат зависит вовсе не от того, ОТКУДА И КУДА смотрит художник, а от ОСОБОГО СВОЙСТВА ЕГО ЗРЕНИЯ.

Само устройство глаз художника (разумеется, если это настоящий художник) таково, что, куда бы он ни смотрел, в какую бы сторону ни обращал свой взор, как бы ни старался увидеть то, что ему велят (или советуют, или упрашивают увидеть), он все равно видит СВОЁ.

ЧЕЛОВЕК ВЛАСТИ по самой природе своей, по коренному свойству своего мышления, по самому складу своей личности НЕСПОСОБЕН ПОНЯТЬ ХУДОЖНИКА.

Да он и не хочет его понимать, как, впрочем, и всю эту странную, загадочную, не имеющую с его точки зрения ни цели, ни смысла, сферу деятельности, имя которой — искусство.

С точки зрения человека власти логичнее, правильнее, чем терпеть ее, а тем более нянькаться с нею, было бы просто ее УПРАЗДНИТЬ.

- ▶ — Я, знаете, в искусстве не силен, — сказал Ленин... — искусство для меня — это что-то вроде интеллектуальной слепой кишки, и когда его пропагандная роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! — вырежем. За ненужностью.

(Ю. Анненков.
Дневник моих встреч. Цикл трагедий.
Л., 1991. Стр. 247).

Этот разговор Анненкова с Лениным об искусстве возник при следующих обстоятельствах:

- ▶ В 1921 году советская власть заказала мне портрет Ленина, и мне пришлось явиться в Кремль. Когда все очень несложные формальности были исполнены, меня привели в кабинет Ленина.

То, чего я инстинктивно ожидал, не произошло: Ленин не сидел за столом, углубившись в бумаги. Ленин не сделал обычной в таких случаях паузы, как бы с трудом отрываясь от дел и почти случайно заметив вошедшего. Напротив: как только я показался в дверях кабинета, Ленин быстро и учтиво встал с кресла, направляясь ко мне навстречу...

Мы сели друг против друга.

— Я — жертва нашей партии, — продолжал Ленин, — она заставляет меня позировать художникам. Скажите, в чем будут мои обязанности и как вы хотите меня изобразить?

В двух словах я рассказал, что Ленин олицетворяет собой движение и волю революции и что именно это я вижу необходимым отразить в портрете.

Л е н и н (*улыбаясь*). Но, простите, я ведь только скромный журналист. Я предполагал, что на вашем портрете я буду изображен просто сидящим за письменным столом. Когда я увижу ваш холст осуществленным так, как вы его мне представляете, то я непременно залезу под стол от смущения.

Я. Право и привилегия художника — создавать образы и даже легенды. Если наши произведения оказываются в противоречии с правдой, то будущее наказывает за это прежде всего нас самих. Но лишать себя этого права мы, художники, не можем и не должны. О Ленине-журналисте, простите меня, я не задумывал-

ся, а писать портрет обывателя с бородкой я считаю сейчас несвоевременным.

После короткого молчания (я сказал, конечно, много лишнего) Ленин улыбнулся и произнес:

— Хорошо. Я нахожу недопустимым навязывать художнику чужую волю. Оставим это право буржуазным заказчикам. Поступайте так, как вам кажется наиболее правильным. Я в вашем распоряжении, приказывайте, я буду повиноваться. Но сначала договоримся честно: я подчиняюсь партийной дисциплине, я исполняю волю партии, но я — не ваш сообщник.

(Там же. Стр. 245—246).

Итак, Ленин хотел бы, чтобы художник изобразил его таким, каким он был в натуре: скромным журналистом с лысиной и бородкой, сидящим за письменным столом. Но художник хотел, чтобы человек, изображенный на его портрете, «олицетворял собой движение и волю революции», и Ленин, считая «недопустимым навязывать художнику чужую волю», а также «подчиняясь партийной дисциплине», согласился на предложенные ему условия.

Сталин, как мы знаем, был верным учеником Ленина. Но в этом вопросе, как, впрочем, и в некоторых других, он решительно расходился с Учителем.

Он смотрел на это дело прямо противоположным образом.

* * *

На портретах и в скульптурных изображениях он хотел выглядеть не таким, каким был в натуре (рябым, низкорослым, низколобым), а именно олицетворять собой — нет, не «движение и волю революции», но — величие и мощь государства.

Некоторую роль тут, конечно, играло и простое человеческое желание выглядеть на портрете (не только живописном, но даже фотографическом) лучше, благообразнее, импозантнее, чем в жизни.

Не только на фотографиях и портретах, но и в жизни Сталин стремился выглядеть импозантнее, величественнее, чем это позволяла ему его внешность.

В 30-х годах состоял при нем некто Карл Паукер. Родом он был из Львова (тогда это была Австро-Венгрия), в молодости работал парикмахером в парикмахерской своего отца. Во время Первой мировой войны попал в русский плен. Стал коммунистом. Потом — чекистом. В конце жизни занимал весьма крупные чекистские должности. И был не просто вхож к Сталину, но даже как бы состоял при нем, уж не знаю, в каком статусе, ранге и качестве. Знаю только, что Сталин позволял ему себя брить. А это, как вы понимаете, была очень высокая степень доверия. (Что потом — в 37-м году — не мешало Сталину его расстрелять.)

Так вот, этот Паукер придумал Сталину такую форму одежды: сапоги на какой-то особой толстой подошве и скрытых, незаметных глазу каблуках, и длинная, долгополая, чуть ли не до пят, шинель, которая тоже создавала видимость более высокого роста вождя.

Что же касается искусства — портретов, скульптурных изображений, монументов и прочего, — то здесь Сталин не только был не прочь, но даже настаивал на том, чтобы его образ, изображаемый художниками, был совсем уже далек от реальности.

В отличие от Ленина Сталин не только был не против создания парадного образа вождя (мундир генералиссимуса, «царский» — во весь рост — портрет на здании Моссовета: левая ножка вперед, в руках — перчатки), он на этом парадном и даже легендарном образе настаивал. Отчасти даже сам был его создателем, во всяком случае, — вдохновителем.

Но не это было главным расхождением Сталина с Лениным в понимании роли и назначения искусства.

В противоположность Ленину Сталин не только не помышлял упразднить искусство, со временем вырезать его «за ненужностью», как некую «слепую кишку».

Напротив, он придавал искусству, а литературе особенно, огромное, поистине исключительное значение.

Он не любил, когда ему давали советы, а тем более рекомендации. Но один совет, одно обращенное к нему пожелание он выполнил беспрекословно:

Я хочу,
 Чтоб к штыку
 Приравняли перо.
С чугуном чтоб
 и с выделкой стали
о работе стихов,
 от Политбюро,
чтобы делал
 доклады Сталин.

Мог ведь и поморщиться: ишь, мол, чего захотел. Больно много на себя берешь. Поэт? Вот и сиди в своей поэтической лавочке, исправно плати фининспектору налоги и радуйся, что тебя не раскулачили.

Но то ли формула Маяковского пришла к нему по душе, то ли он сам до этого додумался, но постоянное обсуждение литературных новинок он и в самом деле вынес на Политбюро. И лично руководил этими обсуждениями, прямо давая понять соратникам, что дела литературные для него, — а значит, для Государства, — не менее, а может быть, даже и более важны, чем выплавка чугуна и стали.

Но не всякая литература была ему нужна, а — УПРАВЛЯЕМАЯ.

Управлять литературным процессом, как и всеми другими процессами, происходящими в стране, он хотел сам, лично. Держать их, так сказать, под своим личным контролем.

Дело это было непростое.

Художника нельзя подкупить, соблазнить лестью или дарами, как пытался сделать это библейский Валак с Валаамом. И некоторые властители это понимали и даже готовы были с этим считаться:

Не мне управлять песнопевца душою,
Он высшую силу признал над собою! —

говорит император в балладе Шиллера. (Перевод В.А. Жуковского.)

И о том же — у Пушкина:

Волхвы не боятся могучих владык,
И княжеский дар им не нужен.
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.

Попробуй, поуправляй такими!

Но Сталин в эту мистическую чушь не верил. Он исходил из того, что нет таких крепостей, которые большевики не могли бы взять, и был не так уж далек от истины. Так, во всяком случае, ему казалось.

* * *

Ленин искусство чувствовал и природу его понимал:

► Как-то пришел к нему и — вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

— Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты...
Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением

вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник...

*(М. Горький. В.И. Ленин.
В кн.: М. Горький. Полное собрание сочинений.
Том 12. М., 1974. Стр. 41).*

Остро ощущая силу воздействия художественной прозы Толстого и опасаясь распространения его реакционных идей, он понял, что эту глыбу — не обойти и не объехать. Пришлось потратить драгоценное время и написать статью «Лев Толстой как зеркало русской революции», чтобы хоть как-то себя обезопасить, встроив эту глыбу в систему своей идеологии.

Но такими полумерами можно было обойтись не всегда. Вот ЧТО, например, было ему делать с Бетховеном?

► Как-то вечером, в Москве, на квартире Е.П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейн, сказал:

— Ничего не знаю лучше «Appassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка...

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

— Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей... А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно...

(Там же. Стр. 42).

Эта ослабляющая, размягчающая, гуманизирующая сила искусства была, по его представлениям, опасна для кровавого и жестокого «дела пролетариата». Отсюда и эта ленинская

мысль, что искусство со временем придется — дзык! дзык! — вырезать, как слепую кишку.

Сталин в отличие от Ленина искусство не воспринимал.

...Встал, воплотивши трезвый век,
Суровый, жесткий человек,
Не понимавший Пастернака.

Эти знаменитые строки Н. Коржавина не следует истолковывать так, что Сталин не понимал именно Пастернака, не понимал из-за особой его поэтической сложности, как, скажем, человек, поэтический вкус которого был воспитан на более простых образцах: Пушкине или Некрасове.

Пастернак тут — символ поэзии вообще, поэзии как таковой

«Не понимавший Пастернака» — это значит, не понимающий поэзии, не нуждающийся в ней, органически не способный ее воспринимать.

Симонов, добросовестно записывая все высказывания Сталина на литературные темы, замечает, что у него были «провалы вкуса».

Но это были не провалы вкуса и даже не отсутствие вкуса. Это было отсутствие того органа, который делает человека способным воспринимать искусство.

Сталин не зря звонил Пастернаку и настойчиво спрашивал у него:

— Но он мастер? Мастер?

Сам не знал.

И точно так же он спрашивал про выдвинутую на Сталинскую премию повесть Янки Брыля «В Заболотье светает», которую хвалили и говорили, что повесть хорошая:

— А как художественно? Хорошая это книга?

Сам не знал.

Казалось бы, это отсутствие воспринимающего устройства должно было сильно облегчить Сталину выполнение поставленной им перед собой задачи.

В его распоряжении была тьма-тьмушая писателей и поэтов, которыми совсем нетрудно было бы управлять. Павленко, Панферов, Вирта, Бубеннов, Бабаевский, Суров, Долматовский, Ошанин, Лебедев-Кумач... Да мало ли еще, имя же им — легион... Вот из них и создавай управляемую литературу. Чего уж проще?

Но Сталин так не хотел.

Он хотел управлять **НАСТОЯЩИМИ ПИСАТЕЛЯМИ**. И понимал, что настоящих назначенцами заменить нельзя. Недаром же сказал Поликарпову:

— Других писателей для тебя у меня нет. А другого Поликарпова для наших писателей мы найдем.

И прогнал его с волчьим билетом, запретив даже близко подпускать к руководству литературой.

Разницы между настоящими и ненастоящими он, как уже было сказано, не ощущал. Но он хорошо — поименно — знал всех, кого **СЧИТАЮТ НАСТОЯЩИМИ**. Не только у нас в стране, но и в мире.

По его замыслу у него все должно было быть **САМОГО ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА**. Лучшие в мире музыканты (Гилельс, Ойстрах). Лучшие в мире шахматисты (Ботвинник, Таль). Это была **ВИТРИНА** возглавляемого им государства. И писатели у него должны были быть самые лучшие, признанные и чтимые таковыми всей мировой общественностью. Послал же он на Парижский конгресс писателей Бабеля и Пастернака. Не сразу, правда, а после того, как этого потребовали Мальро и Андре Жид, — но все-таки послал.

Вот и создаваемая им **УПРАВЛЯЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА** должна была состоять из признанных всем миром, всем, как тогда говорили, прогрессивным человечеством. А этого Агитпропу (всем этим Щербаковым, Стецким, Поликарповым) не поручишь, не доверишь. Тут был нужен индивидуальный подход. И с каждым приходилось возиться самому.

Некоторых при этом пришлось убить (Горького, Бабеля, Пильняка, Мандельштама, Артема Веселого, Ивана Катаева). Но с некоторыми приходилось работать: звонить им, пугать,

успокаивать, поощрять, обнадеживать, но при этом держать в постоянном напряжении.

Что говорить, работа тонкая, хлопотливая. Но никому другому доверить ее он не мог.

* * *

После той презентации, на которой Юлий Ким спросил меня: «Что же все-таки вытекает из Вашей книги, Бенедикт Михайлович?», у меня был разговор на эту тему с одним очень неглупым моим приятелем.

— Что, собственно, он от меня хотел? — пожаловался я ему на Кима. — Ведь единственный правдивый ответ, который я мог бы дать ему на этот вопрос, был бы похож на знаменитый ответ Льва Николаевича о том, что он хотел сказать своим романом «Анна Каренина»: «Ежели бы я пожелал правдиво ответить на этот вопрос, — сказал он, — я должен бы был написать заново весь свой роман, от начала до последней строчки».

— Да нет, — возразил мой умный приятель. — Ты просто не понял, что он имел в виду. Он хотел сказать: «Посмотрите, Бенедикт Михайлович, что у Вас получается. В книге Вашей — все наши гении, весь цвет нашей литературы: Горький, А.Н. Толстой, Замятин, Платонов, Бабель, Пастернак, Мандельштам, Пастернак, Ахматова... И всеми ими он, Сталин, вертит, как какой-нибудь Карабас Барабас своими куклами... Управляется с ними, как хочет, со своей плеткой треххвосткой. И все они — покорны, послушны его воле. Какая же грандиозная фигура этот Ваш Сталин, если он играет не только «услугами полулюдей», как сказал о нем Мандельштам, но и услугами ЛЮДЕЙ. И каких людей! Лучших из лучших!»

Выслушав это, я, признаться, был слегка обескуражен. Неужели и впрямь могло у меня получиться нечто подобное? (У писателя, как я уже говорил, сплошь и рядом выходит совсем не то, что он хотел написать. Так почему бы и со мной не могло случиться такое?)

Но вспомнив и мысленно пробежав все свои сюжеты, я успокоился.

Нет! Ничего такого у меня не получается.

Получается совсем другое.

* * *

Горький, соблазнившись дарами Валака, честно пытается исполнить то, что ему велено: благословить Хозяина. Обложившись присланными ему по его требованиям материалами, пытается написать его биографию. Но дальше двух-трех страниц о географии и истории Грузии дело не идет. И начальные страницы так и не написанной биографии отправляются в корзину.

По тому же приказу он пытается сочинить пьесу, разоблачающую старых интеллигентов, якобы ставших вредителями. Но опытная рука мастера не может справиться с этим простейшим заданием. Пьеса получается худосочная, бледная, фальшивая, и он сам отказывается продолжать ее.

Запуганный, затравленный Мандельштам пытается сочинить «Оду» Сталину, надеясь спасти этим свою жизнь. Но рука не подчиняется ему, и результат оказывается немногим выше, а местами даже и ниже того, что мог бы сочинить на эту тему Лебедев-Кумач.

Обласканный Сталиным за «Бурю» Эренбург сочиняет продолжение: пухлый роман «Девятый вал». Но роман оказывается таким беспомощным и убогим, что автор и сам мучительно стыдится его, в чем честно признается.

Булгаков, пытаясь выбраться из тупика, в котором оказался, пишет прославляющую Сталина пьесу «Батум». Пьеса эта не идет ни в какое сравнение с другими пьесами этого автора. Чтобы сочинить ее, — не надо быть Булгаковым. Но для Сталина и она оказывается недостаточно фальшивой, и он ее запрещает.

А.Н. Толстой особенно падок на щедрые дары Валака. Он любит комфорт, богатую, барскую жизнь. И когда Сталин заказывает ему роман о Гражданской войне с собою в главной роли, он охотно соглашается. Но роман в результате оказывается таким ничтожным, что, понимая Сталин чуть больше в том, что такое истинный художественный дар, немедленно приказал бы расстрелять автора за откровенную незатейливую халтуру.

Николай Тихонов, начинавший ярко и талантливо, превращается в беспомощного и унылого графомана.

Ахматова, пытаясь спасти сидящего в лагере заложника-сына, сочиняет цикл стихов о Сталине, но уровень этих стихов оказывается таким жалким, что друг ее Борис Викторович Томашевский отваживается сделать попытку хоть слегка улучшить их, подправить.

Николай Эрдман, блистательно вступивший на поприще драматурга пьесами «Мандат» и «Самоубийца», кончает бездарными заказными вестернами.

Фадеев по приказу Сталина портит, бесконечно ухудшает свой не бог весть какой, но все-таки искренний, на реальном, живом материале написанный роман «Молодая гвардия».

Катаев по тому же приказу уродует, калечит свою черноморскую эпопею.

Замятин, написавший Сталину душераздирающее письмо о невозможности жить и творить на родине, великодушно отпущен за границу, но и там ничего не пишет, умолкает.

Так же умолкает куда не уехавший и даже не мечтающий об отъезде блистательно начинавший Юрий Олеша.

И только два строптивца, не считаясь ни с чем, еще пытаются писать что-то свое: Платонов, который, может быть, и хотел бы, да просто не может иначе, и Пастернак, который переводит «Макбета», актуализируя шекспировские реплики трехсотлетней давности (которые, впрочем, и без того до изумления актуальны), и начинает писать (пока — в стол, для себя) «Доктора Живаго»...

С кем же остался Сталин?

Все с теми же Павленко и Виртой, Бубенновым и Бабаевским, Софроновым и Суровым, Ошаниным и Грибачевым.

Только с ними и мог он теперь создавать свою «управляемую литературу».

Повторилась старая история, ставшая сюжетом пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». И повторилась не на внешнем, фабульном, а на более глубоком, содержательном, можно сказать, философском уровне.

Кротко, безропотно, беспрекословно выполняет рыбка все требования обезумевшей старухи, начиная с самого ничтожного («Не печалься, ступай себе с богом, будет вам новое корыто») и кончая тем, что может казаться последним пределом человеческих желаний («Не печалься, ступай себе с богом, будет твоя старуха царицей».)

Мечта о неограниченной царской власти уравниена здесь с мечтой иметь новое корыто. Стилевой повтор указывает на то, что мечта о царских бармах недалеко ушла от мечты о новом корыте или новой избе, что все эти желания, при всей их несоизмеримости, лежат в одной плоскости, принадлежат к одному и тому же роду земных благ.

Рыбка отказывается выполнить лишь то желание, которое посягает на ее тайную свободу:

Чтоб служила мне рыбка золотая
И была бы у меня на посылках...

Вернее даже, рыбка не отказывается выполнить и это требование старухи:

Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.

Похоже на то, что случайная пленница бедного рыбака не то чтобы не хочет, а просто не может выполнить это последнее его желание.

Так оно, в сущности, и есть.

Последнее желание старухи оказалось невыполненным, потому что оно по самой природе своей было невыполнимо.

Старуха оказалась у разбитого корыта не потому, что ее претензии были несоразмерны ее способностям или заслугам. В этом смысле разрыв между предпоследним ее желанием (стать царицей) и последним, несбывшимся (быть владычицей морскою), даже не так велик, как между желанием иметь новое корыто и стремлением к царской власти. Право владеть земным царством она заслужила так же мало, как и право владеть морской стихией. Однако же это, первое, право было ей почему-то дано.

Старуха поплатилась не за непомерную свою жадность, а за то, что посягнула на нечто такое, на что не вправе посягать никто из смертных. Она посмела перейти некий предел. Она захотела несбыточного: изменить своей земной природе, переселиться в другую стихию: «Чтобы жить мне в океяне-море...»

В пределах земных желаний человеку доступно все. Сын сапожника может стать неограниченным властелином полумира. Но никому не дано перейти предел, положенный Богом. Никому не дано проникнуть в таинственную стихию, находящуюся во власти иных, высших сил.

Поэзия, как и море, — Божья стихия. А с Божьей стихией, говорил Пушкин, царям не совладать.

Поэт — пророк высших сил. Его душа неподвластна земным владыкам, потому что она находится в номенклатуре непосредственно у Господа Бога. Поэт может забыть об этом, он может поддаться лести, подкупу или уступить грубой силе, — все равно из этого ничего не выйдет. Он не может сам, по собственному усмотрению располагать своим поэтическим (пророческим) даром, потому что этот дар — не его собственность, он принадлежит не ему.

Как пушкинская старуха, Сталин пожелал, чтобы золотая рыбка искусства была у него на посылках.

И, как пушкинская старуха, остался у разбитого корыта.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАЛИН И БАБЕЛЬ.....	5
Документы	7
Сюжет первый. «Я ему не понравился...».....	15
Сюжет второй. «Он мне не понравился...»	42
Сюжет третий. «А хозяин вами интересуется...».....	144
СТАЛИН И ФАДЕЕВ	217
Документы	219
Сюжет первый. «Слабый ты человек, Фадеев...»	242
Сюжет второй. «Перерабатываю молодую гвардию в старую...»	292
Сюжет третий. «Жизнь моя, как писателя, теряет смысл...».....	389
Сюжет четвертый. «Обращаю внимание ЦК ВКП(б)...»	456
Сюжет пятый. «Я думал, что начинается самое страшное...».....	512
СТАЛИН И ЭРДМАН.....	595
Документы	597
Сюжет первый. «Суперами будут товарищи, знающие художественное дело...»	608
Сюжет второй. «Однажды ГПУ пришло к Эзопу...»	705
Сюжет третий. Лауреат Сталинской премии	740

СТАЛИН И СИМОНОВ	773
Документы	775
Сюжет первый. «Один – ему, другой – ей...»	795
Сюжет второй. «Если бы это дело было поручено мне...»	831
Сюжет третий. «Не за успехи, а за поведение...»	977
Сюжет четвертый. «Нас вырастил Сталин...»	1049
ЧТО ВЫТЕКАЕТ.....	1159
Что вытекает (Послесловие ко всей книге).....	1161

Литературно-художественное издание

СТАЛИН И ПИСАТЕЛИ

Сарнов Бенедикт Михайлович

СТАЛИН И ПИСАТЕЛИ

Книга четвертая

Ответственный редактор *А. Таривердиева*

Художественный редактор *Е. Савченко*

Технический редактор *Н. Носова*

Компьютерная верстка *Н. Билюкина*

Корректор *Л. Зубченко*

ООО «Издательство «Эксмо»

127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел. 411-68-86, 956-39-21.

Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 06.04.2011.

Формат 84x108 1/32. Гарнитура «Lazurski».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 62,16.

Тираж 5 000 экз. Заказ 4393.

Отпечатано с электронных носителей издательства.

ОАО "Тверской полиграфический комбинат". 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15

Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



ISBN 978-5-699-47622-0



9 785699 476220 >

Оптовая торговля книгами «Эксмо»:

ООО «ТД «Эксмо», 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

**По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»**
E-mail: International@eksmo-sale.ru

**International Sales: International wholesale customers should contact
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.**
international@eksmo-sale.ru

**По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,
в том числе в специальном оформлении,
обращаться по тел. 411-68-59, доб. 2115, 2117, 2118.**
E-mail: vipzakaz@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми

и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).
e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо» для оптовых покупателей:

В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Буховской Обороны, д. 84Е.
Тел. (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: Филиал ООО «РДЦ-Самара», ул. Фрезерная, д. 5.
Тел. (843) 570-40-45/46.

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Стачки, 243А.
Тел. (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел. (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел. +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел. +7 (383) 289-91-42. E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

В Киеве: ООО «РДЦ Эксмо-Украина», Московский пр-т, д. 9.
Тел./факс: (044) 495-79-80/81.

Во Львове: ТП ООО «Эксмо-Запад», ул. Бузкова, д. 2.
Тел./факс (032) 245-00-19.

В Симферополе: ООО «Эксмо-Крым», ул. Киевская, д. 153.
Тел./факс (0652) 22-90-03, 54-32-99.

В Казахстане: ТОО «РДЦ-Алматы», ул. Домбровского, д. 3а.
Тел./факс (727) 251-59-90/91. rdc-almaty@mail.ru

**Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо»
можно приобрести в магазинах «Новый книжный» и «Читай-город».**
Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444.
Звонок по России бесплатный.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Парк культуры и чтения», Невский пр-т, д. 46. Тел. (812) 601-0-601
www.bookvoed.ru

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.**

По-моему, Бабель не стоит того,
чтобы прашить валюту на его
поездку за границу. И. Ст.
(Из письма И. В. Сталина
Л. М. Казановичу. 26 июня 1932 г.)

Я не очень высокого мнения о пьесе "Самоубийство".
Ближайшие мои поварщи
считают, что она пустовата и даже вредна... Тем
не менее я не возражаю против
того, чтобы дать театру сделать опыт и
показать свое мастерство...
(Из письма И. В. Сталина
К. С. Станиславскому. 9 ноября 1931 г.)

Не вижу возможности дальше жить, т. к.
искусство, которому я отдал жизнь
свою, загублено партия и теперь
руководством партии и теперью
уже не может быть поправлено.
(А. А. Фадеев. В ЦК КПСС. 13 мая 1956 г.)

Редактор просит выстричь прочь
Из строчек имя Сталина.
Но он не может мне помочь
С тем, что в душе оставлено.
(К. М. Симонов. 1956 г.)

СТАЛИН

И
ПИСАТЕЛИ

ISBN 978-5-699-47622-0



9 785699 476220 >